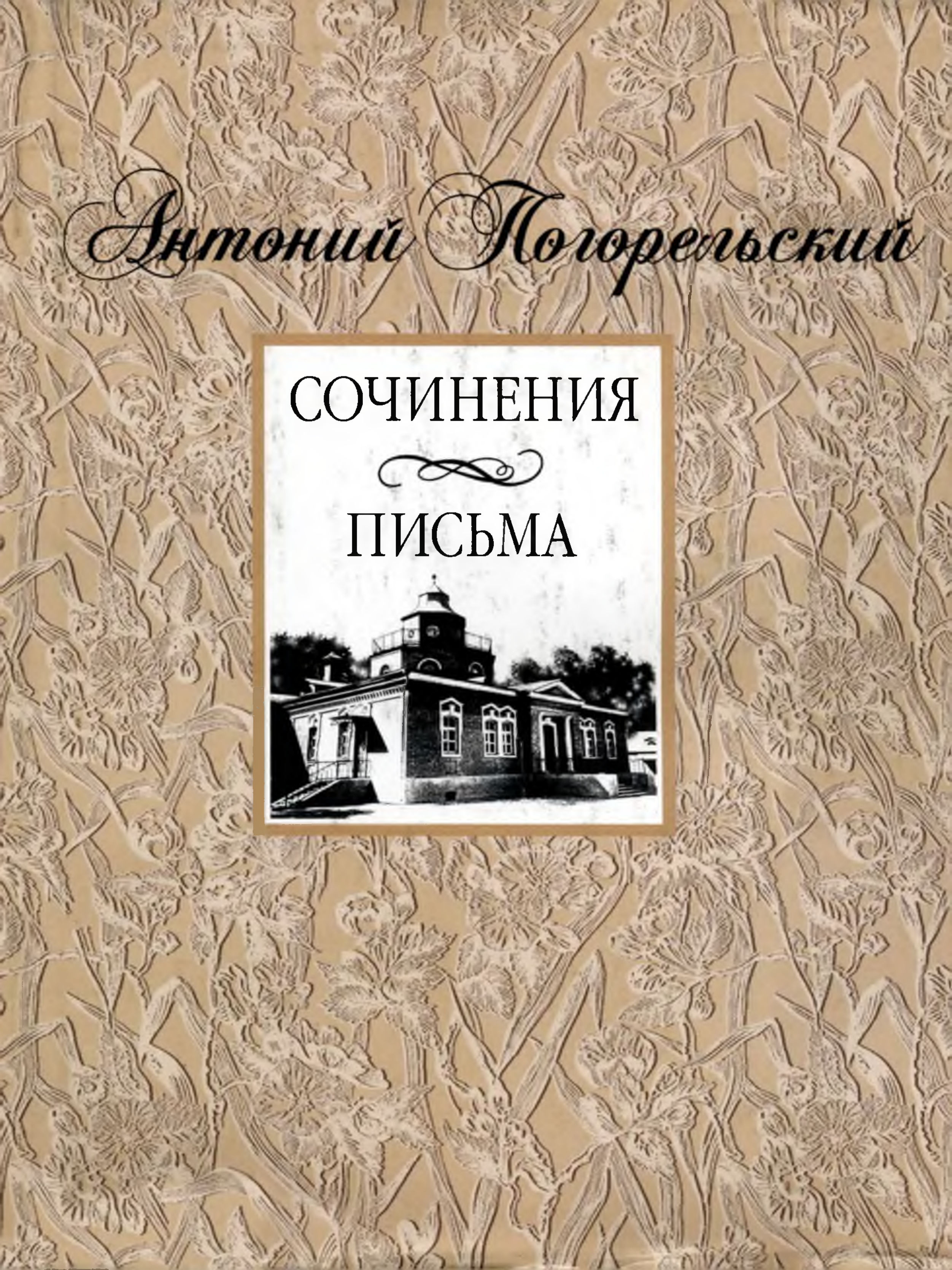

Антоний Погорельский
СОЧИНЕНИЯ
ПИСЬМА

Антоний Погорельский

сочинения

письма

А. А. ПЕРОВСКИЙ.

Литография. Неизвестный художник. ⟨Конец 1820-х—начало 1830-х гг.⟩.

Литературный музей Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН. С.-Петербург.

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ

Антоний Погорельский

сочинения
письма

Издание подготовила
М. А. Турьян

Санкт-Петербург
«НАУКА»
2010

УДК 821.161.1
ББК 83.3(2Рос=Рус)1
П43

Ответственный редактор
Б. Ф. ЕГОРОВ

Издание выпущено при поддержке Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга

ISBN 978-5-02-035700-6

Сочинения

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА

ДВÓЙНИК, ИЛИ МОИ ВЕЧЕРА В МАЛОРОССИИ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Вечер первый

В северной Малороссии — в той части, которую по произволу назвать можно и лесною, и песчаною, потому что названия эти равно ей приличны, — находится село П***. Среди оного, на постепенно возвышающемся холме, расположен большой сад в английском вкусе, к которому с северной стороны примыкает пространный двор, обнесенный каменною оградою; на дворе помещичий дом с принадлежащими к нему строениями. Из одних окошек дома виден сад, из других видна улица, а по ту сторону улицы зеленеются конопляники, составляющие главный доход жителей тамошнего края. Холм окружен крестьянскими избами, выстроенными в порядке и украшенными (на редкость в той стране) каменными трубами. В некотором расстоянии от села густой сосновый лес со всех сторон закрывает виды вдаль.[1]

В этом селе и в этом помещичьем доме жил я безвыездно несколько лет. Рассказывать, по каким причинам я жил там безвыездно, было бы вовсе излишне; довольно того, если скажу тебе, мой благосклонный читатель, что я — покорный слуга твой — не другой кто, как сам помещик того села. В течение нескольких лет моего там пребывания время проходило не совсем для меня весело, но не совсем и скучно, и я на то никак не жалуюсь; ибо где в поднебесной провести можно время совершенно счастливо, совершенно весело? Какой человек на свете (я говорю о людях несколько испытанных и не совсем молодых) может похвалиться, что он где-нибудь или когда-нибудь совершенно был счастлив? Если ты, любезный мой читатель, еще очень молод, — если приятности жиз-

ни представляются тебе еще в дали блестящей, то ты мне не поверишь; ты скажешь сам себе: «Теперь я, конечно, не могу назваться счастливым, теперь недостает у меня того, другого, например чинов, почестей, имения; но как скоро достигну до всего, чего желаю, что тогда помешает мне быть счастливым? Когда человек здоров, молод, богат, знатен, то он должен быть и счастлив». Ошибаешься, друг мой, молодой читатель! Со временем ты собственным опытом узнаешь, что совершенное благополучие не есть удел этой жизни и что, как бы ни повезло тебе счастие (чего от души желаю), все-таки оно не довезет тебя туда, куда стремиться будешь. «Чем дальше в море, тем больше горя», — говорил один старик, приятель мой. И я ему сначала не очень верил; а теперь верю!..

Но, спросишь ты у меня, что же тебе делать, чтоб быть, по крайней мере сколько возможно, счастливым? Скажу в ответ: старайся быть довольным судьбою своею и не завидуй судьбе других. Помни золотое правило, почерпнутое мною в молодости из одной учебной книги и которое нашел я чрезвычайно полезным в течение жизни своей:

Что Господом дано, ты тем и наслаждайся;
Чего же не дано, о том не сокрушайся.[2]

Не забывай никогда, что сокрушаться о том, что не дано тебе, ни к чему не служит. Сокрушением своим ты не достигнешь того, чего желаешь, а только потеряешь вкус к тому, что имеешь. Человека, пренебрегающего этим правилом, сравнить можно с солдатом, который во время похода вздумал бы крушиться о том, что у него, вместо щей да каши, нет сладких пирогов. Как часто, в горестные минуты, правило это меня утешало! Итак, любезный читатель, вот мой дружеский совет! Кушай на здоровье пироги, когда они у тебя есть; но не грусти о них и не посматривай другим в зубы, когда у тебя нет ничего, кроме щей да каши.

Пора, однако, обратиться к делу: я почти признался выше, что иногда и мне, несмотря на упомянутое золотое правило, бывало скучно. Чаще всего случалось это по вечерам, когда крестьяне, окончив сельские работы, предавались покою и около дома моего становилось пусто. Я тогда обыкновенно садился к открытому окну и в задумчивости слушал унылое пение молодых крестьянок, до поздней ночи веселящихся на вечеринках. Кому случалось слышать это пение в северной Малороссии, тому не покажется непонятным, что я не сердился на лай собак, крик филинов и визг летучих мышей, от времени до времени заглушавших песни красавиц.

В один прекрасный вечер я, по обыкновению сидя у окна, мечтал о будущем и не без грусти вспоминал о прошедшем. Неприметно пере-

ходя от воспоминания к воспоминанию, от мысли к мысли, я в воображении принялся за любимое занятие, когда бываю один и без дела... я начал строить воздушные замки. Живейшее воображение в таких случаях бывает лучшим архитектором. Я не могу пожаловаться на леность своего воображения, и потому воздушные здания с неописанною скоростию возвышались одно другого красивее, одно другого пышнее. Наконец взгромоздив замок, который огромностию и красотою своею превосходил все прочие, я вдруг опомнился и со вздохом обратился к настоящему! Если бы, подумал я, вместо всего несбыточного, которое бродит у тебя в голове, имел ты хотя одного доброго товарища, который бы делил с тобою длинные вечера! Но нет — и этого даже быть не может! Ты осужден оставаться одиноким; друзья твои далеко; и кто из них пожертвует собою, чтоб посетить тебя в такой глуши? Несмотря, однако ж, на то, будь доволен своею судьбою и помни:

Что Господом дано...

Не успел еще я договорить мысленно этого утешительного изречения, как послышалось мне, что кто-то тихо постучался в дверь. Сначала я принял это за игру воображения; но вторичный стук удостоверил меня, что я не ошибаюсь, и я в нетерпеливом любопытстве громко закричал:

— Милости просим!

Дверь отворилась без скрипа, и вошел в комнату мужчина средних лет и росту повыше среднего. Волосы его были кудрявые, глаза голубые, губы довольно толстые и нос вздернутый немного кверху. Он поклонился весьма ласково и когда подходил ко мне ближе, то я заметил, что он немного прихрамывает на правую ногу.[3] Нельзя представить себе, до какой степени поразило меня его появление! Кроме того, что я понять не мог, каким образом подошел он к дому так неприметно, что я не видал его, сидя у открытого окна, — кроме того, говорю я, внезапное появление его произвело во мне какое-то странное и неизъяснимое впечатление! При первом взгляде на него сердце мое забилось, — как это всегда случается при встрече с другом после долгой разлуки. Хотя я не сомневался, что вижу его в первый раз в жизни, но поступь его, малейшие его движения и вся вообще наружность напоминали мне что-то знакомое и, так сказать, родное. Я учтиво отвечал на сделанный мне поклон и не мог выговорить ни слова. Незнакомец, казалось, приметил мое замешательство и сказал с приятною улыбкою:

— Посещение мое удивляет вас, милостивый государь! но, зная, что вы одни и что иногда уединение вам тягостно, я вообразил, что сообщество мое в длинные осенние вечера не совсем будет для вас неприятно.

— Милостивый государь! — отвечал я, — вы как будто отгадали самые сокровенные мысли мои. В теперешнем расположении духа моего ничто не может быть для меня благодетельнее, как сообщество приятного товарища. Не знаю, имел ли я когда-нибудь удовольствие вас видеть; но вы кажетесь мне так знакомы, что я, признаюсь, горю нетерпением узнать, с кем имею честь говорить?

— Имя мое, — сказал незнакомец, — нимало не значительно, и мне даже трудно было бы объявить вам оное, потому что, сколько мне известно, оно не существует на русском языке.

— Каким это образом? — вскричал я с удивлением. — Вы, верно, знаете еще с юных лет, что собственное имя человека, или, лучше сказать, прозвание его, на всех языках остается неизменным, и потому позвольте сказать вам откровенно, если есть у вас имя на каком-нибудь языке, то должны вы иметь оное и на русском.

— Точно так, милостивый государь; но в том-то и дело, что у меня нет собственного имени; а если б непременно нужно было принять какое-нибудь, то ближе всего мне следовало бы называться так, как вы.

— Как я? почтенный незнакомец!.. Конечно, это весьма бы для меня было лестно, но...

— Не будем спорить о такой безделице; выслушайте меня, и вы согласитесь, что я говорю правду. Неудивительно, что черты лица моего вам кажутся знакомыми; мы друг на друга должны быть похожи как две капли воды... и потому, если вы, как я не сомневаюсь, хотя изредка смотритесь в зеркало, то должны во мне узнать самого себя.

Тут я взглянул на незнакомца пристальнее, и внезапно холодный пот облил меня с ног до головы... Я удостоверился, что он в самом деле совершенно похож был на меня. Не знаю, почему это мне показалось страшным, и (признаюсь теперь чистосердечно) я несколько дрожащим голосом сказал:

— Подлинно, милостивый государь! Теперь я вижу, чего не заметил сначала... Я близорук; но скажите, пожалуйте скажите, кто вы таковы?

— Не кто другой, — отвечал незнакомец, — как вы сами. Да! — продолжал он, увидя мое смущение, — я говорю точную правду. Вы, верно, слыхали, что иногда человеку является собственный его образ? Я, милостивый государь, я не кто иной, как образ ваш, явившийся вам.

— Батюшки! — вскричал я вне себя, — о государь мой! сколько ни было для меня приятно вас видеть, но теперь!.. Говорят, что такие явления случаются перед смертию... Неужто и вы, мой милостивец?..

— Стыдитесь, — сказал незнакомец, — стыдитесь таких вздорных предрассудков — и успокойтесь. Клянусь честию, что приход мой

не предвещает вам никакого несчастия; я пришел усладить по мере возможности уединение ваше, и если старания мои не совсем будут безуспешны, то сочту себя счастливым.

Слова незнакомца, уверительным голосом произнесенные, совершенно меня успокоили; я ему поверил, и в самом деле он не обманул меня. Теперь минуло уж десять лет после первого свидания нашего,[4] и я не только жив и здоров, но, говорят, даже приметно потолстел с того времени.

Пришед в себя от объявшего меня страха, я вспомнил, что не исполнил первого долга гостеприимства в отношении к почтенному гостю моему, и потому, взяв его за руку, просил сесть.

— Прошу со мною не церемониться, — сказал мой гость, — если вам не противно мое присутствие, то докажите это, обходясь со мною, как с давнишним и искренним другом вашим.

— Охотно! — отвечал я, — будем друзьями. Вы из обращения моего увидите, сколь лестно для меня знакомство ваше. Но позвольте спросить, как мне называть вас? Вы сами знаете, что без имени знакомство не знакомство; по крайней мере для меня как-то неловко иметь короткое обращение с человеком, которого имя мне неизвестно.

— Я уже говорил вам, что особенного имени у меня нет. Существа моего рода едва ли имеют даже название на русском языке, и потому я действительно затрудняюсь отвечать на вопрос ваш. В Германии, где подобные явления чаще случаются, нашу братью называют Doppeltgänger.[5] Можно бы было, конечно, это слово принять в наш язык, и оно не менее других было бы кстати; но так как у нас иностранных слов, говорят, уже слишком много, то я осмелюсь предложить называть меня Двойником. Что вы на это скажете, почтенный друг мой?

— Согласен, господин Двойник! для меня всё равно; впредь, если позволите, иначе вас называть не буду.

После того мы, сев друг подле друга, наслаждались приятною беседою. На вопрос: от чего происходит несправедливое мнение, будто явление двойника предвещает смерть того, кому он явится, мой приятель отвечал:

— Не могу с достоверностию объяснить происхождение предрассудка, которого неосновательность вы, впрочем, на опыте узнаете; но признаюсь откровенно, что не очень верю происшествиям, которые рассказывают о двойниках. Человек имеет особенную склонность ко всему чудесному, ко всему, выходящему из обыкновенного порядка, и если

кто-нибудь для шутки или по какому другому побуждению выдумает и расскажет происшествие, — как бы оно, впрочем, ни было нелепо и невероятно, — то, без малейшего сомнения, найдутся люди, которые не только поверят ему, но и передадут другим с прибавлениями и переменами. Впрочем, явление двойников не всегда предвещает смерть. Вы, верно, помните, что несколько лет тому назад много было говорено об одном молодом человеке, который, вошед в комнату, где обыкновенно занимался письменными делами, увидел самого себя, сидящего за письменным столом. Вы знаете, что он от того не умер.

— Так! но я и тогда не верил его рассказам; мне казалось, что молодой человек этот имел только в виду отличиться от других и привлечь на себя внимание чем-нибудь необыкновенным!

— И я того же мнения. Впрочем, я знал одного доктора в Германии, человека почтенного, который уверяет, что ему весьма часто является двойник и что он, наконец, так привык к этим явлениям, что на них никакого не обращает внимания. «Двойник, — рассказывает он, — входит иногда ко мне в комнату, когда я занят своими сочинениями. Не желая прервать занятий своих, я подвигаю ему стул и подаю трубку, а сам продолжаю писать. Двойник спокойно садится и, выкурив трубку, уходит, нимало мне не мешая».

— Но, может быть, почтенный доктор ваш немного помешан?

— И я так думаю. Ученые люди, привыкшие к сидячей жизни и беспрерывному напряжению ума, часто подвержены бывают подобным видениям, происходящим от чрезмерного сгущения крови. Иногда наяву с человеком бывает то, что мы часто испытываем во сне и что у простолюдинов называется: давление домового (Alpdrücken, cauchemar).[6] Вам, верно, известно, что случилось с славным поэтом Попе?

— Нет, — отвечал я.

— Попе рассказывает сам, что он однажды поздно ввечеру занимался сочинением поэмы. Слуге своему он заранее приказал идти спать и, выслав его из комнаты, по обыкновению запер дверь ключом. Углубленный в мечты, относившиеся к поэме, он нимало не думал о привидениях; вдруг... дверь, замкнутая накрепко, отворилась... и вошел в комнату старик небольшого роста, в длинном кудрявом парике, какие носили при Лудовике XIV. Платье на нем было не богатое, но весьма опрятное (сколько припомнить могу, светло-коричневого цвета), с прекрасными кружевными манжетами; на башмаках большие серебряные пряжки. Попе так поражен был сим явлением, что не промолвил ни слова и глядел на пришельца с удивлением! Старик, не обращая на него внимания, медленными шагами подошел к шкафу, в котором были книги

поэта. Он взглянул на некоторые заглавия сквозь стеклянные дверцы; потом отворил шкаф, покачал головою и начал все книги переворачивать вверх ногами. Попе хотел спросить, зачем он приводит в беспорядок его библиотеку; но слова замерли на его устах, когда он увидел, что старик, доставая книги с верхних полок, вместо того чтоб стать на стул, просто вытянулся до такой вышины, которая ему казалась нужною. Когда же, напротив, очередь дошла до книг, стоявших на самых нижних полках, старик, вместо того чтоб нагнуться, сжался и сделался самого маленького роста. Чтоб достать книги, находившиеся по обеим сторонам шкафа, он не сходил с места, но протягивал правую или левую руку, которые по мере надобности становились длиннее или короче. Таким образом он вытягивался и сжимался до тех пор, пока все книги перевернуты были вверх ногами. Окончив работу свою, старик запер шкаф и такими же медленными шагами вышел из комнаты, не взглянув ни разу на поэта. Дверь сама собою за ним затворилась... Попе несколько минут оставался недвижимым; наконец, собравшись с духом, подошел к дверям и увидел, что они заперты ключом. Удостоверившись, что в шкафе все книги без исключения стояли вверх ногами, он решился отложить до другого утра приведение в порядок своей библиотеки. Между тем охота писать стихи в нем вовсе исчезла; он разделся, лег в постель, потушил огонь и вскоре потом заснул крепким сном. Когда проснулся утром, первое его движение было подойти к шкафу, и, к крайнему удивлению, он нашел, что все книги стояли в надлежащем порядке и ни одной из них не было вверх ногами![7]

— Но, — прервал я Двойника, — не сон ли это был?

— Весьма вероятно, — отвечал он. — По крайней мере трудно было бы догадаться, какую цель имел старик, перевертывая книги поэта. Столь же непонятным кажется и то, что книги потом сами собою пришли в прежний порядок. Но такие происшествия нередко случаются с учеными, как уже я заметил прежде. Лет пятнадцать тому назад был я в Праге, где в одной из публичных библиотек находится весьма много старинных книг. Один из чиновников, служащих при библиотеке, — человек немолодых лет, почтенный и ученый, — рассказывал мне, что между старинными книгами есть рукопись тринадцатого века, содержащая в себе заклинания, посредством которых можно призывать злых духов и повелевать ими. Для меня книга эта показалась весьма любопытною, и я попросил позволения взглянуть на нее, что мне и было позволено. Но когда я, развернув листы, захотел читать, то библиотекарь побледнел и задрожал всем телом. «Сделайте милость, не читайте!» — вскричал он прерывающимся голосом. «Зачем же?» — спросил

я его. Старик схватил меня за руку и повел поспешно в другую комнату. Там он, тихо и беспрестанно оглядываясь, начал рассказывать следующее:

«Я служу при здешней библиотеке более тридцати лет. При вступлении моем в настоящую должность был я еще очень молод, не верил ничему и смеялся, когда рассказывали о привидениях и злых духах. Однажды случайно попалась мне рукопись, которую вы теперь видели. Будучи непривычен к странному образу письма, я с трудом разобрать мог заглавие; но как скоро удалось мне прочитать его, то любопытство мое сильно возбудилось. Я с большим старанием начал разбирать рукопись и наконец достиг до того, что мог читать оную без затруднения. В одно утро сидел я у стола; книга раскрытая лежала предо мною; я дошел до того места, где страшными заклинаниями (от воспоминания которых и теперь еще волосы у меня становятся дыбом!) злые духи вызываются из глубины ада и принуждены предстать читателю... Я уже сказал вам, что нимало не верил привидениям, и потому принялся читать заклинания. Не успел я прочитать одну строчку, как послышался мне тихий шепот, как будто кто-то говорил за моими плечами. Я оглянулся... всё утихло... Не видя ничего, я продолжал чтение. Вдруг... опять послышался мне шепот — и громче прежнего... Тут мне показалось, что он происходил от предмета, находившегося предо мною. Я поднял голову, и что же представилось моим глазам!.. На чернилице, стоявшей на столе, сидело привидение, ростом не более двух или трех вершков, с яркими глазами, с длинною бородою, с ногами, похожими на козлиные! Вы легко представить себе можете, до какой степени я испугался!.. Но, несмотря на то, — не помня, что делаю, — продолжал я читать далее. Чудовище, по мере чтения моего, становилось выше, глаза более и более сверкали, ноги делались кривее... Мне представилось, что маленькие рога начинали выходить из лба его, покрытого морщинами... притом рот его протянулся до ушей, а в глубине рта я заметил язык, похожий на змеиный, и клыки, подобные кабаньим!.. От ужаса я захлопнул книгу и вскочил со стула. В одно мгновение призрак исчез, и с того времени я никогда уже не решался продолжать чтение рукописи».[8]

— На лице старика, — продолжал Двойник, — во время рассказа написан был страх, произведенный воспоминанием. Ни просьбами, ни обещаниями не мог я побудить его раскрыть опять книгу. Я твердо уверен, что старик меня не обманывал и что он сам верил тому, что рассказывал.

— Итак, — спросил я Двойника, — вы не сомневаетесь в справедливости этого происшествия?

— Напротив того, — отвечал он, — я вижу в нем только доказательство, что воображение человека, воспаленное напряжением, ему несвойственным, может представлять ему вещи, которые в самом деле не существуют.

Между такими разговорами протекло довольно времени, и стенные часы пробили двенадцать. При первом ударе Двойник вскочил со стула.

— Пора теперь спать, почтенный друг, — сказал он мне, — желаю покойной ночи. Завтра, если позволите, мы опять увидимся.

— Повремените еще немного! — вскричал я. — Но, может быть, полуночный час и для двойников время роковое?.. В таком случае я не смею вас задерживать.

— Помилуйте! — возразил он. — Это опять один из самых странных человеческих предрассудков! Для нас часы все равны. Обыкновение разделять день на известное число частиц вовсе не нужно для духов. Уверяю вас, что у нас не знают ни Брегетов, ни Элликотов.[9] Я оставляю вас теперь потому единственно, что пора нам спать. Прощайте, до свиданья!

— Еще один вопрос, господин Двойник! Правда ли, что вы вообще боитесь петушиного крика?

— Вы меня смешите, — отвечал с громким хохотом Двойник, — может ли хриплый голос петуха устрашить кого-нибудь, не только духа? Но прощайте, спите покойно!

Новый приятель мой, не договорив речи, исчез... и последние слова его отозвались в ушах моих как будто издалека. Я последовал его совету и лег спать.

Вечер второй

На другой день, в обыкновенное время, то есть часу в десятом вечера, Двойник, по данному обещанию, посетил меня опять. Беседа нового товарища моего необыкновенно мне нравилась; он час от часу становился мне любезнее, и я откровенно в том ему признался.

— Если вы действительно меня любите, — отвечал он, — то, конечно, не откажете в просьбе, исполнение которой нисколько не может затруднить вас.

— Что вам угодно, любезный друг? — вскричал я. — Чем могу служить вам? говорите.

— Моя просьба, дорогой Антоний, состоит в том, чтоб вы иногда, в длинные вечера, сообщали мне сочинения свои... мне известно, что вы сочиняете.

— Ах, почтенный Двойник! признаюсь, что и я не без греха... Но произведения пера моего недостойны вашего внимания. Я писал сказки — маленькие повести...

— Нужды нет! — прервал меня Двойник. — Чтоб придать вам бодрости, и я иногда расскажу вам, что знаю. Мои повести будут не лучше ваших.

— Прекрасно! с этим условием охотно сообщу вам мой запас.

— Итак, начинайте, любезный друг!

Я выпрямился, немного покашлял и начал читать следующее:

ИЗИДОР И АНЮТА

Уже неприятель приближался к Москве. Длинные ряды телег, нагруженных тяжелоранеными воинами, медленно тянулись в город с большой Смоленской дороги. Они с трудом пробирались сквозь толпы жителей, с сокрушенным сердцем оставляющих любезный первопрестольный град! Разного рода повозки, наполненные рыдающими женщинами и детьми, тихо подвигались к заставе; к верху и к бокам, под козлами и на запятках привязаны были большие узлы. Лошади едва тащили тяжелые повозки; женская заботливость, казалось, предусмотрела всё, что нужно в долгую дорогу; но иные второпях забыли ларчик с бриллиантами, другие оставили в опустелом доме карманную книжку с деньгами. На всех лицах написана была сердечная горесть, — на многих жестокое отчаяние. Никто не предвидел грозы, незапно нагрянувшей на Москву; никто заблаговременно не принял мер к спасению... Здесь мать, прижав грудного младенца к трепещущему сердцу и ведя за руку малютку, едва начинающего ходить, влечется за другими, сама не зная куда... Там дряхлый старик, опираясь на посох, с трудом передвигает ослабевшие ноги. Подходя к заставе, он останавливается... еще раз взглядывает на родной город, где думал спокойно умереть... Стесненная грудь его едва подымается, и горькие слезы, может быть последние, дрожат в полупотухших очах!.. Купцы теснятся около лавок — не для спасения своего имущества, нет: рука их, не дрогнув, уничтожает плоды многолетних трудов, чтоб не достались они врагу ненавистному. Ужаснее всего положение тех, которые находятся в невозможности спастись! В безмолвном отчаянии взирают они на бегущих. Все вооружены; старинные копья и бердыши,[10] разнообразные сабли и кинжалы исторгнуты из оружейных, где обречены были на вечное бездействие. Все готовы умереть за отечество; но чувствуют, что не в силах ему помочь! Единственным

утешением служит им слабая надежда, что неприятель отражен будет от Москвы. В самом деле, мысль, что древняя русская столица с величественными храмами, с святыми иконами достанется неприятелю, — эта ужасная мысль не может утвердиться в народе. Русское сердце не постигает, каким образом нечестивый супостат осмелится вступить в священные царские чертоги!

Был первый час пополудни, когда въезжал в Дорогомиловскую заставу[11] молодой кирасирский офицер. По всему видно было, что он скакал несколько верст во всю прыть; вороной под ним конь покрыт был пеною. Солнце в то время ярко светило с синей высоты, но лучи его не отражались от золотого шишака и от серебряных лат, покрытых густою пылью. Молодой офицер ехал по улицам, кипящим от народа, и взоры его, казалось, кого-то искали между спасающимися женщинами. Иногда рука его останавливала коня, — он пристальнее всматривался в едущих, но, заметив ошибку свою, вновь понуждал коня и продолжал путь большою рысью. При переезде чрез Ехалов мост[12] лошадь его споткнулась.

— Бедный Феникс! — сказал офицер вполголоса, — любезный мой товарищ, этого за тобою не бывало! Как худо плачу тебе за верную твою службу!

Он погладил Феникса по шее и опять вонзил окровавленные шпоры в разодранные бока усталого коня.

В Красном Селе, в приходе Тихвинской Божией Матери,[13] стоял небольшой деревянный дом, который можно б было назвать хижиною, если бы он не находился внутри города. Молодой офицер поспешно соскочил с лошади и бросился в отворенную калитку, не дав себе даже времени привязать коня. На дворе верный страж дома — большая дворная собака — встретила его с униженными ласками; но он взбежал на крыльцо, не заметив даже доброго Бостона. В доме всё было безмолвно; только звук шпор и стук палаша, ударяющего по ступеням, раздавались в тишине. Молодой кирасир вошел в первую комнату, хотел идти далее... вдруг отворилась дверь, и прекрасная девушка кинулась в его объятия.

— Это ты, Изидор? — сказала она в радостном восторге, — слава Богу!

— Анюта, милая, дорогая Анюта! — вскричал Изидор, прижимая ее к кирасу, — зачем вы еще в Москве? где матушка?

— Тише, Изидор, тише!.. матушка нездорова... она — очень больна.

Изидор вздрогнул.

— Больна! — произнес он дрожащим голосом. — Больна! и в такое время!.. Ты знаешь, Анюта...

— Знаю, мой Изидор, — отвечала Анюта со слезами, — знаю, что неприятель будет в Москве, и отчаяние овладело было мною... Но ты с нами, и я теперь спокойна!

Они услышали голос матери, зовущий Анюту. Изидор хотел идти с нею, но она его остановила.

— Ради Бога! — сказала она, — подожди меня здесь, Изидор! Матушка очень слаба; надобно ее приготовить к свиданию с тобою. — Она ушла и оставила его одного.

Изидор, сложив руки, стоял среди комнаты, погруженный в тяжкую думу. Мысли, одна другой печальнее, одна другой ужаснее, теснились в его голове: неприятель вступит в город, а его мать больна и не может спастись! Анюта должна остаться с нею!.. Он любил мать со всею горячностию доброго сына; но Анюта, сирота, воспитанная в их доме, была его невеста! Он содрогался от ужаса, когда помышлял, что больная его мать будет в руках неприятеля; но кровь застывала в его жилах, самое мучительное чувство раздирало его сердце, когда представлялась ему Анюта, прелестная Анюта, во власти неистового врага!

Анюта позвала его к матери. Старушка лежала в постеле; бледность покрывала лицо ее. С трудом протянула она к нему руку.

— Сын мой, — сказала она умирающим голосом, — благодарю Создателя, что мне довелось тебя еще раз увидеть!.. Я не ожидала такого счастия. По крайней мере теперь умру спокойно... Анюта останется не без защитника. Да благословит вас Бог, мои дети!..

Старушка не в силах была говорить более. Изидор орошал слезами ее руку; Анюта рыдала.

Изидор находился в мучительном положении. И мать и невеста были успокоены его приездом, между тем как самое жестокое недоумение терзало его душу. Нельзя было и думать о спасении престарелой матери. Он готов был вынесть ее на себе из города, но малейшее движение причиняло ей нестерпимую боль и могло погасить едва тлеющую искру жизни. С другой стороны, как решиться оставить ее в руках неприятеля? и что тогда будет с Анютою?.. Время было дорого; он не мог не открыть своей невесте чувствований, его тревоживших. Старушка после приветствия, сделанного сыну, казалось, впала в забвение. Изидор с Анютою стояли в той же комнате у окна и разговаривали между собою вполголоса, полагая, что мать не слышит их.

— Анюта! — говорил Изидор, — думала ли ты об опасностях, которым подвергается молодая девушка, оставаясь в Москве? Знаешь ли ты, что при одной мысли о том холодный пот проступает по мне? Как? моя Анюта в руках неприятелей!.. Я бы лучше согласился...

— Любезный Изидор! — отвечала Анюта с невинною улыбкою, — я теперь совершенно спокойна, потому что ты со мною.

Изидор страшился объявить ей, что служба, долг, честь не дозволяют ему оставаться с ними; он сказал только, тяжело вздохнув:

— Могу ли я защитить тебя против целой армии? Охотно пожертвую жизнию; но когда меня не станет, что будет тогда?..

Старушка услышала их разговор и велела подойти ближе к себе.

— Любезные дети! — сказала она слабым голосом, — о чем вы беспокоитесь? Я стара, больна и чувствую, что смерть приближается ко мне скорыми шагами. Оставьте меня здесь и спасайтесь... Я не могу и не должна быть причиною вашего несчастия. Поспешайте, любезные дети! благословение матери вашей и последняя молитва ее будут вам сопутствовать!..

Изидор и Анюта упали на колени.

— Нет! — вскричали они оба в один голос, — нет, матушка, мы вас не оставим!

Тщетно старушка их уговаривала; они были непреклонны.

— Если должно нам умереть, — сказала Анюта, обняв Изидора, — то умрем вместе. Не страшна смерть, когда она не разлучает нас с милыми!

Изидор оставил мать и невесту и вышел в другую комнату. Долго ходил он взад и вперед большими шагами. Со всех сторон угрожали ему неминуемые бедствия, нигде не находил он спасения! Покинуть умирающую мать, отдать на поругание милую невесту... какой сын, какой любовник решился бы на то? Но бросить свои знамена и остаться в Москве, когда присяга, честь и русская кровь зовут его на поле брани... какая ужасная крайность для русского воина! В исступлении отчаяния Изидор ломал руки, скрежетал зубами и рвал на себе волосы... Наконец любовь и ревность одержали верх над долгом и честию: Изидор решился остаться...

Строгий читатель! прежде, нежели холодное сердце твое станет обвинять Изидора, вообрази себя на его месте — и ты о нем пожалеешь!

Изидор возвратился к матери.

— Анюта! — сказал он, — я отлучусь в свою комнату на короткое время... Оставь меня одного; я скоро возвращусь.

Решившись оставаться в Москве, Изидор должен был спрятать свой мундир, чтоб отдалить малейшее подозрение неприятеля. В глубокой печали вошел он в комнату. Здесь всё напоминало ему о днях счастливой, беззаботной молодости. Он вздохнул, вспомнив, с какими блистательными надеждами в последний раз оставил он родительский дом; как

разгоралась в нем кровь при мысли о славных бранях, его ожидавших! А теперь... куда девались очаровательные картины, освещенные восхитительною зарею молодости?.. Пусть и успеет он спасти умирающую мать от грозящей опасности; пусть удастся скрыть Анюту от алчных взоров необузданного врага, но что ожидает его в будущем? Бесчестие и раскаяние!..

Изидор подошел к шкафу, где лежала прежняя его одежда, которую незадолго пред тем променял он на блестящий кирасирский мундир. Медленно и дрожащими руками снимал он с себя воинские доспехи. «Увы! — думал он, — когда все вооружаются для спасения царя и отечества; когда все пылают нетерпением смешать кровь свою с кровию ненавистного врага... я, как презрительный трус, должен бежать от сражения!.. Вечное посрамление покроет мое имя... постигнет меня смерть постыдная, и никто не пожалеет о мнимом изменнике!..»

Изидор держал в руках палаш; медленно вынул он острое железо из стальных ножен; в последний раз хотел он взглянуть на верного товарища... Вдруг ужасная мысль как молния опалила его душу!.. Он приставил острый конец меча к бьющемуся сердцу... одно мгновение — и Изидор избегнет бесчестия, которого страшится более смерти!.. Но он вспомнил о матери, вспомнил об Анюте — и рука его онемела. Он опять вложил палаш в ножны и откинул его далеко от себя!

Уложив мундир свой, шишак и кирас[14] в сундук, Изидор понес его в сад. Там, под высоким кленом, который за несколько лет пред тем был свидетелем его детских забав, он глубоко зарыл сундук.

Когда засыпал он яму и прикрыл ее дерном, то ему показалось, что он похоронил в ней честь свою... Почти без памяти упал он на холодную землю... Долго лежал он неподвижно; наконец токи слез вырвались из его очей и облегчили стесненную грудь. Он встал и возвратился в дом.

Анюта обрадовалась, увидев его во фраке.

— Теперь я не буду ежеминутно дрожать за тебя, любезный Изидор, — сказала она, обняв его нежно. — Бог милостив; чего нам страшиться? Ведь и французы такие же люди, как мы! Пойдем к матушке; приезд твой возвратил ей силы, и она рада будет, когда удостоверится, что ты остаешься с нами.

Она взяла Изидора за руку и подвела к матери. Старушка в самом деле казалась гораздо бодрее прежнего. Увидя детей своих, она немного приподнялась.

— Изидор! — сказала она, — где ты так долго был?

— Матушка! — отвечала Анюта, — взгляните на него... Не правда ли, что ему пристало это платье? Теперь-то я совершенно покойна.

Пускай неприятель входит в Москву; храбрые воины наши недолго дадут ему здесь пожить! Всё опять будет по-старому, и мы будем счастливы!

— Храбрые наши воины! — повторил Изидор вздыхая, — а меня не будет с ними!

Старушка пристально на него посмотрела и как будто опомнилась от тяжелого сна.

— Изидор! — вскричала она, — что я вижу? Зачем ты не в мундире?

— Матушка! — отвечал Изидор дрожащим голосом, — я должен или оставить службу, или покинуть вас! Жребий мой решен: я остаюсь с вами!

— Изидор! благодарю тебя за твою любовь... Но отечество в опасности; оно тебя призывает — и голос его должен быть убедительнее слез матери.

— Матушка! могу ли оставить вас обеих во власти неприятеля?

— Сын мой! я желала, чтоб ты закрыл мои угасающие глаза... Но судьбы Господа неисповедимы! Если Ему угодно, то я готова умереть и одна.

— Матушка! не раздирайте моего сердца... я решился!

— Решился? на что? на бесчестное дело?.. Ты решился забыть долг, честь, присягу, данную тобою пред лицом Спасителя твоего! Знаешь ли ты, какая участь ожидает воина, оставившего свои знамена?

— Знаю, что меня ожидает смерть... Но я решился умереть с вами или за вас!

— Я не принимаю от тебя этой жертвы. Смерть не страшна, страшно бесчестие! Изидор, над нами Бог! Он нас защитит! А если суждено тебе умереть, то умри за отечество.

— Матушка, любезная матушка! пожалейте обо мне! Что будет с Анютой?

— И над нею рука Божия! Изидор, я чувствую, что близок мой конец... не отравляй последних часов моей жизни! Пусть закрою я глаза в отрадном уверении, что единственный сын мой не обесчестил имени отца своего!

В продолжение сего разговора Анюта стояла как приговоренная к смерти. Румянец щек ее потух, и наполненные слезами глаза попеременно обращались то на Изидора, то на старушку. Изидор упал на колени.

— Пусть будет по-вашему, матушка! — сказал он тихим голосом. — Иду готовиться к отъезду!

Анюта громко закричала и без памяти кинулась к нему на шею.

Сие зрелище привело Изидора в исступление.

— Нет, матушка, — сказал он решительно, — нет! не оставлю Анюты своей на поругание неприятелю... Вы не понимаете ужасного чувства, которое раздирает мое сердце при одном о ней помышлении!..

— Сын мой! ободрись, уповай на молитву матери и на благость Господню! Он нас не оставит. Но ты должен возвратиться в армию!

— Нет, матушка! это свыше сил человеческих...

— Изидор! — сказала мать с глубоким чувством, — веришь ли ты тому, что я тебя люблю со всею горячностию матери, имеющей единственного сына — радость моей жизни и утешение моей старости?

— Знаю, матушка.

— Так исполни последнюю просьбу мою, последнее мое приказание: оставь нас под кровом Божиим и возьми с собою благословение матери. Но если ты презришь законы чести, — если неприятель найдет тебя здесь в постыдном бездействии, то сердце мое тебя отвергнет... Изменник своему отечеству да устрашится проклятия умирающей матери!

Старушка приклонила голову к подушке и, казалось, от сильного напряжения лишилась чувств. Изидор подошел к Анюте.

— Друг мой! — сказал он едва внятным голосом, — ты видишь, что мне должно ехать! Завтра, прежде, нежели заря осветит печальную Москву, я удалюсь от вас... Анюта! не забывай, что ты моя!..

Потом он приблизился к матери.

— Матушка! — произнес он, приложив дрожащие уста к ее руке, — матушка, не кляните вашего сына! Я еду!..

Старушка не в силах была ему отвечать, но слабая рука ее благословила любезного сына и потом, как мертвая, опустилась на одеяло.

Бедная Анюта не говорила ни слова. Она не понимала опасности, ее ожидающей; но сердце ее цепенело от страха при мысли о том, что Изидор ее оставит — и в какое время!.. Она горько заплакала, когда он возвратился к ним — в кирасирском мундире. Настал вечер, и Изидор простился с матерью, которая от слабости едва могла открыть глаза, когда он поцеловал ее руку. Потом обратился он к Анюте и прижал ее к сердцу.

— Прости, мой друг! прости, моя Анюта! Да сохранит вас Бог!

Анюта крепко обняла милого друга и долго не пускала его из своих объятий.

— Мы еще увидимся, Изидор! — сказала она наконец, — мы еще раз простимся!

Изидор удалился в свою комнату. Ему не приходило даже на мысль отдыхать; самые ужасные картины мучили его воображение и терзали

его сердце. Ему представлялось, как неприятели входили в город и рассыпались по всем улицам, по всем домам. Пьяные солдаты врывались и в его хижину; мать его тогда уже скончалась: бесчеловечные ругались над мертвым телом. Один из них сильным ударом сабли отделил ее голову от охладевшего трупа... Голова покатилась под стол, и седые волосы ее разостлались по окровавленному полу... Громкий смех раздавался в его ушах!.. Из другой комнаты притащили плачущую Анюту... Алчные взоры хищников бродили по юным прелестям русской красавицы. Один из них обнял ее дымящеюся от крови рукою... Изидор ударил себя в грудь и подошел к открытому окну, чтоб рассеять мрачные мысли.

Ночь была прекрасная. Миллионы звезд ярким светом отделялись от темной лазури неба. Всё было тихо; ничего в природе не предвещало бедствий, угрожавших древней столице русского царства. Изидор пошел в сад; медленными шагами приблизился он к ветвистому клену. «Увы! — подумал он, — когда опять приду я под тень твою, какие чувства тогда наполнять будут мою душу? И где тогда будет Анюта?..»

Он услышал за собою тихий шорох, оглянулся — и Анюта бросилась в его объятия.

— Матушка почивает, — сказала она ему. — Любезный Изидор, я останусь с тобою; ты, верно, не будешь спать, и мои глаза также не смыкаются!

Они сели под клен на дерновую скамью. Анюта близко прижалась к Изидору; прелестная голова ее покоилась на его плече. Взоры их искали друг друга. Сердце Изидора сильно трепетало; пламень протекал в его жилах; уста их соединились в жаркий и продолжительный поцелуй... Они забыли предстоящую им разлуку, — забыли Москву в руках неприятеля, — забыли всё... кроме своей любви.

На другой день, когда утренняя заря начала разгонять мрак ночи, Изидор и Анюта встали с дерновой скамьи. Первые лучи восходящего солнца осветили живой румянец стыдливости на щеках Анюты. Слезы заблистали на прекрасных ее голубых глазах.

— Изидор! и ты меня оставишь... теперь?

— Анюта! мой милый друг, моя жизнь! час разлуки приближается; ты знаешь, что я должен ехать!

— Ах, Изидор! что со мною будет?.. Но нет, я не стану тебя удерживать. Поезжай с Богом; я готова на всё! И будь спокоен, мой Изидор! я лучше умру...

Изидор оседлал Феникса. Бодрый конь забыл уже вчерашнюю усталость; он грыз удила и бил копытом в землю. Изидор привязал его к забору и пошел к матери. Старушка казалась погруженною в слад-

кий сон; ее дыхание едва было приметно. Он тихонько приложился к ее руке.

— Если она проснется, — сказал он Анюте, — попроси ее, чтоб она благословила своего сына!

Они вместе сошли с крыльца.

— Теперь прости, моя Анюта, может быть, навеки!.. Прости — моя... на жизнь и на смерть моя!

— Будь спокоен, мой Изидор! — отвечала она. — Я буду помнить свой долг; ты увидишь меня достойною себя или — совсем меня не увидишь!

Они еще раз обнялись; слезы их смешались... Наконец Изидор насильно вырвался из ее объятий и сел на нетерпеливого коня.

— Будь покоен, мой Изидор! — еще раз повторила Анюта. Он взглянул на нее в последний раз: в правой ее руке блистал обнаженный кинжал; солнечные лучи играли на гладком железе.

— Вот мой защитник, — сказала Анюта. Изидор печально отвернул голову, ударил шпорами Феникса и вскоре скрылся из глаз своей Анюты. Долго стояла она на том месте, где он ее оставил. Наконец она опомнилась и возвратилась к матери.

В первый раз после шести недель, показавшихся верному русскому народу шестью веками, зазвучали опять колокола на высоких башнях величественного Кремля. Вздрогнули сердца немногих жителей, остававшихся в Москве во время нашествия французов; но, не зная, чему приписать давно не слышанный звук, они не смели еще выйти из домов своих. Наконец гром пушек и ружейные выстрелы достигли их слуха. Волнуемые страхом и надеждою, отважились они показаться за ворота — и восхищенный взор их встретил храбрых донцов, скачущих по улицам разоренной столицы!.. Какое радостное чувство объяло их при виде своих избавителей! Но мужественные русские воины не могли в полной мере разделять с ними этого чувства... Сердце их обливалось кровию, крупные слезы катились по смуглым их ланитам при виде престольного града. «Это ли Москва белокаменная!» — думали они, и взоры их тщетно искали знакомых мест посреди дымящихся развалин! Груды кирпича возвышались на месте огромных каменных палат; веселые деревянные домики превратились в кучи пепла и углей, и большие пространства внутри города являлись ужасными пустынями.

Вдоль по Новой Басманной скакал молодой кирасирский офицер, сопровождаемый несколькими казаками. Вороной конь его несся во всю прыть прямо к Ехалову мосту. На груди офицера блистал Георгиевский крест;[15] рука его, еще не исцеленная от тяжелой раны, была перевязана.

Он не обращал никакого внимания на развалины Москвы, на разбросанные по улицам трупы... взоры его стремились прямо вперед. На бледном лице его написаны были глубокая печаль и сильное нетерпение достигнуть желаемого места. Таким образом промчался он чрез Ехалов мост и направил путь к Красному Селу. Подъехав к церкви Тихвинской Божией Матери, он остановился, и изумленный взор его блуждал по всем сторонам. Он соскочил с лошади и пристальнее стал всматриваться в место, на котором находился. «Здесь, — думал он, — приходская наша церковь; тут — они жили!..»

Тщетно, бедный Изидор! тщетно будешь ты искать родительского дома! Свирепое пламя давно пожрало мирную хижину, где проводил ты счастливые дни юности, и осенние ветры успели уже развеять и пепел ее!.. Изидор долго стоял как вкопанный на одном месте. Вдруг громко вскрикнул он и бросился к высокому дереву, простиравшему к нему длинные обгорелые ветви. Он узнал клен, осенявший последнее свидание его с Анютою, и без чувств упал на землю. Бывшие с ним казаки подняли его и отнесли в дом, уцелевший от общего пожара.

Там пролежал он целый день в беспамятстве. Когда наступила ночь, он встал и, не сказав никому ни слова, вышел из дому и поспешными шагами пошел к своему саду. Один из товарищей его последовал за ним. Изидор подошел к клену. В это время выглянула из-за тучи луна, и при бледном свете ее видно было, что он с изумлением отскочил назад, как будто встретил что-то неожиданное! Потом он опять приблизился к дереву.

— Это ты, Анюта? — сказал он томным и вместе радостным голосом. — Отчего платье твое облито кровью?.. Где кинжал?

Ветер ударил в сухие ветви высокого клена — и в шорохе ветвей, и в свисте ветра товарищу Изидора послышался голос, отвечающий: «В моем сердце!..» Изидор глубоко вздохнул.

— Сядь подле меня, Анюта! — сказал он, опускаясь на дерновую скамью. — Я рад, что тебя вижу...

Луна скрылась за облаками, ночная темнота опять разостлалась по воздуху, и с нею водворилась глубокая тишина. Молодой офицер закутался в плащ и решился пробыть всю ночь при Изидоре, чтобы в случае нужды подать ему руку помощи; но Изидор был спокоен до самого рассвета. Тут встал он с скамьи и пошел с товарищем в дом, не отвечая ни слова на все его вопросы.

Таким образом провел он несколько дней. Пока солнце светило на горизонте, он спокойно оставался дома, не говорил ни с кем, но иногда улыбался, когда товарищи его ласкали и изъявляли участие в судьбе

его... Но как скоро наставала ночь, то невозможно было удержать его; он спешил к любезному своему клену. Товарищи, любившие храброго и доброго Изидора, попеременно стерегли его и всякий раз слышали, что он с кем-то разговаривает. Иногда рылся он между сгоревшими бревнами — остававшимися на том месте, где прежде стоял дом, — и как будто чего-то искал. Однажды (это было в четвертый день после вступления россиян в Москву) товарищ его, по обыкновению, подошел к нему на рассвете, чтоб проводить его домой. Изидор неподвижно сидел под кленом... Глаза его еще были открыты, но душа уже оставила бренное свое жилище. Окостеневшая рука его держала заржавленный кинжал... Перед ним лежал полуистлевший человеческий череп...

— Признаюсь откровенно, — сказал Двойник, когда я перестал читать, — что мне не очень нравится конец вашей повести. Для меня невероятным кажется свиданье Изидора с тенью Анюты, о котором вы намекаете. Неужели вы в самом деле думаете, что это́ возможно?

— Я думаю, — отвечал я, — что невозможного в таком явлении ничего нет. Этого рода предметы так для нас отвлеченны, так далеко превышают человеческое понятие, что безрассудно было бы отвергать их возможность. Правда, что доказать возможность эту не менее трудно; но я столько читал и слышал рассказов о людях, являвшихся после смерти, что в мнении моем некоторые из них по крайней мере заслуживают вероятие. Один лейпцигский врач, например, который и теперь еще жив, написал целую книгу под заглавием «Явление жены моей после смерти».[16] Сколько припомнить могу, явления эти начались тем, что, спустя несколько дней по смерти докторши, страстно любимой мужем, гитара ее, висевшая на стене, сама собою начала издавать звуки, а потом и целые аккорды. Когда доктор приучился к этому необыкновенному явлению, то в один вечер ему послышался голос покойницы... Сначала она произносила только по нескольку слов; спустя немного времени стала с ним разговаривать, а кончилось тем, что и сама показалась. Несмотря, однако ж, на любовь его к покойнице, первое ее появление до чрезвычайности его испугало. Наконец он к тому привык: с нетерпением ожидал ее прихода, разговаривал с нею часто и долго и советовался во всех делах, — одним словом, она по-прежнему осталась верным ему другом и сохранила после смерти все те приятные качества, которые украшали ее при жизни, с тою только разницею, что не так уже была капризна. Доктор сообщил о счастии своем нескольким друзьям, которые рассказали о том своим знакомым, — и, таким образом, свидания его с покойною женою сделались известны всему городу. Многие смея-

лись над ним, иные сожалели, считая его помешанным. Но когда доктор решился громко утверждать, что это точно справедливо, и когда наконец напечатал книгу, где подробно описал явления жены своей, тогда нашлись люди, которые ему поверили. И в самом деле, какую причину мог иметь человек, известный и ученый, обманывать целый свет и подвергать себя насмешкам неверующих, если бы действительно он не имел свиданий с покойницею?

— Ах, почтенный Антоний! — сказал Двойник, — я не буду спорить о возможности таких явлений, но, впрочем, как неудачно выбран пример, вами предлагаемый!

— Почему неудачно? Я сам читал эту книгу; она находится в моей библиотеке, и, если прикажете, я тотчас вам ее принесу.

— Верю, верю, любезный друг! книга эта и мне известна; я даже могу рассказать вам, чем кончилось самое происшествие, а именно: доктор ваш лет пятнадцать сряду утверждал, что жена ему является, и многие в том не сомневались, — как вдруг совесть его стала мучить, и он признался, что все рассказы его и книга, им напечатанная, не что иное, как одна выдумка.

— Неужели? — вскричал я с удивлением.

— Точно так. Доктор и теперь живет в Лейпциге, но лишился уважения публики и, верно, жалеет о прежних своих рассказах.

— Помилуйте! какую же он в том находил пользу?

— Для меня довольно понятно, как он был до того доведен. Сначала, может быть для шутки или чтоб чем-нибудь отличиться, рассказывал он свои чудесные приключения. Чем менее ему верили, тем более он утверждал, что говорит правду; наконец, чтоб не прослыть лжецом, решился даже напечатать о том книгу, полагая, что тогда никто в справедливости сомневаться не станет.

— Поэтому если б доктор не вздумал чрез несколько лет раскаяться в своей лжи, то многие остались бы в твердом уверении, что докторша действительно являлась ему после смерти?

— Без сомнения. Я уверен, что многие чудесные происшествия этого рода оканчивались бы таким же вздором, если б выдумавший оные был столько совестен, как ваш доктор.

— Согласитесь, однако, что случается много таких происшествий, в которых сомневаться никак нельзя. Мне пришел теперь на мысль анекдот, и я вам перескажу его. В одной знатной шведской фамилии хранится перстень, который я сам видел у графа Ст**,[17] бывшего в конце прошедшего столетия посланником в Париже. Это большой изумруд, изображающий голову Юпитера и принадлежащий, без сомнения, к ве-

личайшим редкостям, дошедшим до нас от римлян. Граф рассказывал мне следующее странное происшествие, в котором перстень этот играл значительную роль.

Мать графа имела поместье в окрестностях Вены и часто посещала столицу, где много у ней было знакомых и родных. Однажды приехала она туда поздно ввечеру и — не помню по какой причине — не остановилась в занимаемом ею обыкновенно доме, а расположилась в одном известном трактире. Графиня очень устала от дороги и потому, замкнув дверь, легла спать. Лишь только она уснула, как вдруг пробуждена была страшным шумом, как будто происходившим под полом. Она приподнялась в постели и сквозь кисейную занавеску, при свете ночника, увидела, что какой-то предмет, которого ясно разглядеть не могла, медленно выходит из-под полу! Предмет этот поднимался выше, выше — и потом начал подходить к кровати... Не успела она еще придумать, что ей делать, как занавесь вдруг раздернулась — и пред глаза графини предстала женщина высокого роста, бледная как смерть и закутанная в белой окровавленной простыне!.. В первую минуту она чрезвычайно испугалась. Собравшись, однако, с духом, подумала, что ей пригрезился страшный сон. Она протирала себе глаза, но тщетно: привидение стояло пред нею неподвижно! Графиня была женщина твердого духа и чистой совести и потому, перекрестясь, спросила:

— Чего ты от меня требуешь? Если могу тебе быть полезною, говори; если же нет, исчезни и оставь меня в покое!

— Обещайся исполнить мою просьбу, — отвечало привидение громко и внятно, хотя губы его не шевелились.

— Обещаюсь, — сказала графиня, — если просьба твоя не заключает в себе ничего, противного святой вере и законам.

— Так выслушай меня. В жизни я была законная жена трактирщика, хозяина этого дома. Изверг возненавидел меня и решился убить. Сегодня ровно минуло три года, как, зазвав меня в эту самую комнату в глубокую полночь, он запер дверь и из-под кровати вытащил большой топор, заранее им приготовленный... Сначала я думала, что он меня только стращает, и со слезами упала к его ногам. Но он безжалостно разрубил мне голову... Потом завернул тело мое в простыню и зарыл под полом. На другой день он объявил, что не знает, куда я делась; плакал, сулил большие деньги тому, кто меня отыщет, и, таким образом обманув всех, остался ненаказанным. Никто не подозревает его в убийстве, а кости мои до сих пор остаются непохороненными! Требую от тебя, — продолжал мертвец, бросив грозный взгляд на графиню, внимавшую ему с ужасом, — требую, чтобы завтра же ты съез-

дила к министру и настояла, чтобы отрыли мои кости и предали их земле.

— Охотно исполню твое желание, — отвечала графиня. — Но скажи сама, можно ли это сделать? Чем докажу я справедливость жалобы моей на твоего мужа? Положим даже, что меня послушают, и вследствие того здесь под полом действительно найдут человеческие кости, твой муж тогда скажет, что он не знает, по какому случаю они тут очутились.

— Объяви, что я сама тебе о том рассказала, — продолжало привидение.

— Хорошо; но кто мне поверит и не сочтут ли слов моих бредом?

Мертвец призадумался.

— Твоя правда, — сказал он по некотором молчании. — Я тебя, однако, научу, что сделать должно, чтобы тебе поверили. Изумрудный перстень твой известен всем здесь в городе; министр сам видел его несколько дней тому назад. Кинь его ко мне в голову, и завтра, когда отроют кости, он находиться будет в моем черепе.

При сих словах мертвец стал на колени, сбросил с себя простыню и положил раздвоенную голову на постель. Графиня вздрогнула... однако, перекрестившись, снова ободрилась, сняла с пальца перстень, бросила его в раздвоенную голову мертвеца и слышала, как он зазвенел, ударясь об кость...

— Благодарствую, — сказало, вставая, привидение и исчезло сквозь пол.

Графиня, проснувшись на другое утро, всё происшествие это сочла за странную грезу. Увидев, однако, что перстня нет на руке, она так живо вспомнила все подробности страшного видения, что не могла сомневаться в справедливости оного. Немедленно поехала она к министру, объяснила всё дело и настояла, чтоб подняли пол в той комнате, где она ночевала. Действительно найдены были там человеческие кости и остатки полуистлевшей простыни, на которой видны еще были следы запекшейся крови. Трактирщик нагло уверял, что ему неизвестно, чьи это кости. Но когда графиня, по обещанию, данному мертвецу, обвинила его в убийстве, рассказав в подробности всё ею виденное, и когда в разрубленном черепе нашли изумрудный перстень, то он побледнел, упал к ее ногам и признался в своем преступлении. Кости в тот же день были погребены на кладбище, а трактирщик вскоре потом получил должное наказание.

— Анекдот, вами рассказанный, — возразил Двойник, — довольно занимателен, и меня немного подирал мороз по коже, когда описывали

вы, как мертвец раздвоенную голову свою подносил графине и как перстень зазвенел, ударясь о пустой череп... Удивляюсь мужеству графини, ибо редкий мужчина мог бы сохранить при этом хладнокровие; но позвольте предложить вам маленькое сомнение. Анекдот ваш имеет большое сходство с повестью о двух друзьях, о которых говорит Цицерон; помните ли вы ее?

— Не совсем, — отвечал я.

— И я не очень помню подробностей, — продолжал Двойник, — но вот, кажется, как дело происходило: Цицерон рассказывает, что двое аркадян путешествовали вместе и, прибыв в Мегару, остановились в разных домах. Ночью один из них увидел во сне, что товарищ его убедительно просит прийти к нему на помощь, потому что хозяин трактира, в котором он остановился, намерен его зарезать. Видевший сон пробудился; но, считая явление это обыкновенным сном, не встал с постели и вскоре опять заснул. Товарищ его снова ему является, заклиная его со слезами как можно поспешить к нему.

— Хозяин уже приближается ко мне с большим ножом, — говорил он ему. — Если ты не поспешишь, то будет поздно!..

Путешественник вторично просыпается, но никак не может решиться поверить сну и опять засыпает. Наконец друг его является ему в третий раз и упрекает его в медленности.

— Теперь уже поздно, — говорит он. — Я зарезан и зарыт в таком-то месте. Постарайся по крайней мере, чтобы убийца мой не остался ненаказанным и чтобы над телом моим совершены были должные обряды.

Путешественник на другой день идет отыскивать друга своего, находит убитого в означенном месте и изобличает трактирщика в убийстве.[18]

Не согласитесь ли вы со мною, что есть некоторое сходство между этими двумя историями? — продолжал Двойник. — Что до меня касается, то мне кажется, что происшествие с графинею Ст** не что иное, как подражание Цицерону, раскрашенное, преувеличенное и приноровленное к новейшему вкусу.

— В вашей воле верить или не верить, — отвечал я. — Справок забирать теперь невозможно, ибо ни Цицерона, ни графини нет на свете; но я могу представить вам другой анекдот, который, кажется, менее подвергнуть можно сомнению. К известной английской фамилии Турбот, незадолго еще пред сим, принадлежал один молодой человек, который имел друга, любимого им страстно. Оба они вели жизнь развратную, ничему не верили и часто шутили над смертию, полагая в безумном своем кощунстве, что человек не имеет бессмертной души и что

одни слабоумные могут страшиться будущей жизни! Однажды, сидя за полною чашею пунша, они опять начали разговор об этом предмете и, воспаленные спиртовыми парами, дали друг другу клятву в том, что первый из них, который умрет, непременно явится другому, буде, против чаяния, после смерти удостоверится, что душа его бессмертна. Мысль эта столько показалась им забавною, что они шутя написали собственною кровию своею клятву, каждый на особом листе; потом разменялись листами и условились, что как скоро оставшийся в живых возьмет в руки полученное им от умершего друга обязательство, то сей последний непременно должен ему явиться.

Чрез несколько лет после того друг Турбота умер. Турбот сожалел о кончине его, но совсем забыл о клятвенном обещании. Прошло еще несколько лет, — как в один день Турбот пошел к себе в библиотеку, чтоб отыскать книгу, в которой имел нужду. Он отворил шкаф и нечаянно положил руку на исписанный кровию друга его лист, остававшийся столь долгое время в забвении. Вдруг слышит он голос, зовущий его по имени... Он оглянулся и увидел покойника, стоящего за ним! Тут вспомнил он о взаимной клятве и содрогнулся... Друг сказал ему:

— Турбот! доколе не протекло еще время невозвратно, — покайся, исправься! Я познал, что душа бессмертна; познал, что есть возмездие делам нашим в той жизни: тяжки настоящие мои страдания, но я заслужил их. Покайся, Турбот! доколе время не протекло невозвратно... Вот что оставляю тебе в знак прежней дружбы и в память нашего свидания!..

Сказав слова сии, он положил руку на дубовый стол, стоявший пред ним, и исчез. Турбот подошел к столу и с ужасом увидел, что толстая дубовая доска прогорела насквозь!.. Следы пяти пальцев несчастного друга его ясно были видны. Турбот после сего явления совершенно переменил образ жизни своей, обратился к вере и чрез несколько времени скончался с чувствованиями и надеждами истинного христианина. Стол и доныне хранится в его семействе.[19]

— Рассказанное вами происшествие весьма нравоучительно, — сказал Двойник, — и я очень далек от того, чтоб отвергать его возможность. Милосердый Создатель наш, с нежностию отца пекущийся о человеке, бесчисленными и различными путями ведет его ко благу. Я твердо уверен, что допускаются им иногда таковые явления для предостережения заблужденных. Однако я убежден и в том, что из тысячи таковых анекдотов, рассказываемых и печатаемых, может быть, найдется не более одного справедливого. Заметьте, что почти все они один на другой похожи; происшествие с Турботом имеет разительное сходство

с явлением, о котором повествует Штиллинг в сочинении своем «Феория духов».[20] И там является мертвец, увещевает и предостерегает знакомых и, наконец, взяв в руку книгу, прожигает ее пальцами насквозь.

— Скажите мне пожалуйте, какого вы мнения об этой «Феории духов»? — спросил я у Двойника. — Я давно о ней слышал, но до сего времени она не попадалась мне в руки.

— Штиллинг, — отвечал Двойник, — был человек, достойный уважения по добрым качествам и пламенной ревности к распространению полезных и назидательных истин. В сочинениях его, кои все стремятся к одной цели, вы найдете весьма много хорошего; но и он, как и многие другие, не во всем соблюдал меру и потому-то иногда, особливо в «Феории духов», вместо страха, который думает произвесть в читателях, возбуждает совсем другое чувство... Он рассказывает, например, что в известном учебном заведении в Брауншвейге, называемом Carolinum, за несколько лет пред сим умер один профессор. Спустя немного времени после смерти его некоторые ученики заметили, что он по-прежнему прохаживается по спальным их комнатам в колпаке и халате. Они об этом донесли начальникам, из которых один, тоже профессор, никак не хотел тому верить. Однажды он вошел в спальню учеников и, в гордом неверии своем, отважился громко просить покойника, чтобы он и ему явился. Не успел он договорить приглашения, как действительно предстал пред него умерший, с строгим видом и грозя ему пальцем!.. Вы можете себе представить, как испугался наш профессор! но послушайте далее. Ночью вдруг кто-то будит профессора; он открывает глаза и видит пред собою умершего! Покойник смотрит на него пристально и сердито. Наконец профессор решается спросить, чего он хочет? Покойник не отвечает ни слова, но делает движение губами, как будто курит трубку. Другого ответа он добиться никак не мог. В следующую ночь то же явление, те же вопросы и то же непонятное движение губами. Профессор в отчаянии напрягает ум свой, и наконец ему приходит счастливая мысль спросить у покойника: не за тем ли он является, что, может быть, его беспокоят долги, при жизни им не заплаченные? Покойник головою делает утвердительный знак, но продолжает шевелить губами.

— Не забыл ли ты заплатить за курительный табак?

Покойник повторяет тот же знак. На другой день забирается справка, и действительно находят, что усопший остался должным одному купцу два талера и несколько грошей за курительный табак. Кто опишет радость нашего профессора, коему наскучили ночные явления! Он спешит заплатить два талера и ввечеру ложится спать в сладкой надежде,

что уже ничто не потревожит его. Но не тут-то было! В полночь опять является неугомонный покойник, но так, что его не весьма ясно различить можно. Привидение сие, казалось, не так уже было плотно, как в прежние разы, и в некоторых местах было даже прозрачно. Оно продолжает делать знаки и движения, так, однако же, неясно, что бедный профессор никак разобрать их не может. Он догадывается, что это должны быть еще какие-нибудь долги; но какие? вот до чего добиться трудно. По долгом старании ему наконец удается разобрать, что знаки покойника имеют сходство с движением, какое делают, показывая на стене китайские тени и продергивая разрисованные стекла сквозь волшебный фонарь. Он опять забирает справку и узнает, что покойник, за несколько дней пред кончиною, взял у одного приятеля два такого рода стекла, которых, однако, не успел возвратить ему при жизни. Профессор отыскал стекла, отдал их настоящему хозяину, и с того времени привидение перестало являться... Но чему вы смеетесь, почтенный Антоний?

— Я воображаю себе, — отвечал я, — какая бы в России сделалась суматоха, если б у нас вошло в моду, чтобы люди, не заплатившие долгов своих, являлись после смерти и делали знаки!

— Надобно надеяться, что этого никогда не будет, — сказал Двойник. — Но обратимся опять к Штиллингу. В той же «Феории духов» вы найдете следующее рассуждение, довольно любопытное и оригинальное. Упоминая о привидении, которое будто бы в некоторых знатнейших германских домах является всегда перед кончиною одного из членов фамилии и которое в целой Германии известно под именем Белой женщины (die Weiße Frau),[21] Штиллинг входит в ученые исследования, кто такая была при жизни эта Белая женщина? Ему достоверным кажется, что Белая женщина — не графиня Орламинде, как обыкновенно полагают, но баронесса фон Лихтенштейн, из древней и знаменитой фамилии фон Розенберг, жившая в половине пятнадцатого столетия. Рассказав множество анекдотов об известном этом привидении, которое, по словам его, является во многих замках Богемии, также в Берлине, Бадене и Дармштадте, он упоминает о том, что покойница при жизни была католического исповедания, и, наконец, заключает таким образом: «Вероятно, Белая женщина после смерти *переменила закон* свой; иначе она бы не показывала такого благорасположения к лютеранским фамилиям». Вообще Штиллинг, кажется, не очень жалует католиков. В той же книге он повествует о привидении, которое и поныне беспокоит жителей одного дома. Они часто слышат, как оно ходит по чердаку, вздыхая и кряхтя, как будто на плечах у него тяжелая ноша, которую оно сбрасы-

вает иногда с таким шумом, что полы в доме трещат и окна дрожат. Два раза некоторым из жителей удавалось подсмотреть это привидение, и тогда оно показывалось в виде старого капуцина с большою бородою и в довольно замаранном колпаке.

Однажды в доме этом скончался набожный и добродетельный ткач, и заметили, что в это время привидение шумело более обыкновенного. Штиллинг увеличившийся этот шум объясняет так: дух был монах. Известно, что католические монахи уверены, что, кроме их веры, нет спасения; и потому духу чрезвычайно было досадно, что, несмотря на то, лютеранин в глазах его переселился в вечное блаженство, между тем как он, будучи католиком, всё еще не избавился от страданий!

Но всего страннее показалось мне следующее рассуждение: один из жителей того же дома, честный и добрый подмастерье, очень желал видеть капуцина. Однажды, услышав, что дух идет по лестнице на чердак, он тихонько пошел за ним и вдруг отворил дверь, обратясь лицом к тому месту, где происходил шум. К сожалению, он не успел его увидеть, а только показалось ему, что какая-то серая тень скрылась в хворосте, лежавшем в углу. Подмастерье бросился туда, долго рылся в хворосте, однако ничего не нашел. Автор, выхваляя отважность подмастерья, говорит, что он, будучи набожным человеком, конечно не имел причины опасаться капуцина; но что между тем поступил весьма неосторожно, роясь в хворосте голыми руками, потому что испарения духа могли бы произвесть очень опасные нарывы и болячки на руках...

— Полно! — вскричал я, — полно, господин Двойник! мне кажется, вы шутите! Возможно ли, чтоб это было напечатано в «Феории духов»?

— Прочитайте самую книгу, — возразил Двойник, — и вы между многими весьма назидательными истинами найдете и рассказанное мною о задолжалом профессоре, о Белой женщине и об отважном подмастерье. Но, как бы то ни было, обратимся к какому-нибудь иному предмету. Если бы кто подслушал сегодняшний разговор наш, то, верно бы, подумал, что мы ни о чем ином говорить не умеем.

— И у меня, — сказал я, — от всех привидений, явлений и мертвецов, которых сегодня ввечеру мы выводили на сцену, голова закружилась. Я полагаю, почтенный Двойник, причиною этому то, что вы, с позволения вашего, сами принадлежите к числу привидений; и потому разговор с вами неприметным образом, по какому-то магнетическому влиянию, клонится к предметам отвлеченным. Я неоднократно замечал в течение жизни своей силу этого магнетического влияния, которое иногда берет над нами верх против нашей воли. Так, например, я знаю од-

ного человека, в общем мнении слывущего не совсем глупым, но который между тем ничем не заменяемою пустотою своею приобрел такую неограниченную власть над всеми знакомыми, что никто не в состоянии говорить с ним об ином чем, кроме как о пустяках. Сколько раз покушался я начать с ним разговор о предметах, хотя немного серьезных! Он молчит, пучит глаза, смотрит на вас пристально и наконец до того доведет вас глупым и ничего не говорящим взглядом своим, что вы против воли от серьезного предмета перейдете к такому, который ему под силу, то есть к самому пустому.

— Весьма справедливо, — отвечал Двойник, — сделанное вами замечание относительно магнетического влияния посторонних лиц; однако еще чаще встречаем мы людей, которых не постороннее влияние, но какая-то внутренняя сила принуждает говорить, кстати и некстати, об одном и том же предмете. Возьмите в пример Клита, нам обоим довольно коротко знакомого. Начните с ним разговор о чем хотите... Будьте уверены, что он непременно сведет его на любимый свой предмет, то есть на самого себя. Ему говорят о Наполеоне.

— И я умру подобною смертию, — отвечает он, — кто так, как мы оба, привык работать головою, тот должен ожидать этого...

Вы спрашиваете у него, слышал ли он новую певицу?

— Слышал, — отвечает он,— но что касается до меня, то я никогда не имел приятного голоса, хотя, смею сказать, не совсем невежда в музыке, и проч.

Однажды как-то при нем заговорили о превращении Навуходоносора в быка... «Вот уж тут, — подумал я, — не к чему придраться Клиту». Поверите ли, что я ошибся, любезный Антоний? Мой Клит и тут нашелся...

— Что касается до меня, — сказал он с громким хохотом (ибо он всегда, и весьма часто один, смеется остроте своей), что касается до меня, то я никак бы не горевал, если б меня превратили в быка. Я не люблю мясного, да и по слабому здоровью употреблять его не могу: итак, я кушал бы травку и не имел бы никаких забот![22]

Он, верно, ожидал, что все закричат в один голос:

— Помилуйте, господин Клит! Какое бы это было для земного шара несчастие, если б вы сделались быком!

Никто, однако, не сказал ни слова. Еще я знаю другого...

— Будем говорить о чем-нибудь ином, — прервал я Двойника. — Всех подобных чудаков не пересчитаешь; да и какое нам до них дело? Вы обещались, любезный Двойник, сообщить мне что-нибудь из ваших сочинений; я жду этого с нетерпением. А между тем, чтобы не сбиться

нам опять на прежнюю дорогу, сделаем между собою условие, что как скоро кто-нибудь из нас, по магнетическому влиянию вашему, заговорит о привидениях, то другой тотчас его остановит.

— Весьма охотно! Итак, позвольте рассказать вам повесть, которую слышал я от одного полковника, по имени Ф**. Я буду говорить собственными его словами. Однако... не лучше ли оставить повесть эту до завтра?

— Как прикажете, любезный Двойник; и мне кажется, что сегодня слишком уже поздно.

Вечер третий

ПАГУБНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НЕОБУЗДАННОГО ВООБРАЖЕНИЯ

В мае 17** года предпринял я путешествие в Германию с молодым графом N..., которого отправил туда отец для окончательного учения в славном Лейпцигском университете. Наши родители служили долгое время вместе на поле чести и сохранили тесную связь дружбы в преклонных летах; а потому я не мог отказать в неотступной просьбе старому графу, который единственного наследника своего имени и богатства желал вверить сыну испытанного и неизменного друга.

Сопутнику моему (я назову его Алцестом) было тогда не более двадцати лет. Природный ум, развитый и украшенный добрым воспитанием, благородные качества души и пленительная наружность оправдывали чрезмерную к нему горячность отца и любовь всех, кто только знал его. Я пятнадцатью годами был старее его и чувствовал к нему привязанность старшего брата к младшему. В нем не были заметны недостатки и слабости, столь обыкновенные в молодых людях, которые с младенческих лет видят себя отличенными от других знатною породою и богатством. Одна только черта в его характере меня тревожила: Алцест, одаренный пылким воображением, имел непреодолимую страсть ко всему романическому, и, по несчастию, ему никогда не препятствовали удовлетворять оной. Он заливался слезами при чтении трогательного повествования; я даже неоднократно видел его страстно влюбленным в героиню какого-нибудь романа. Романические сочинения хотя еще не имели тогда таких страстных приверженцев и защитников, как ныне, — но Гетевы Вертер и Шарлотта и Жан-Жакова «Новая Элоиза» были уже известны. Я знал, что несколько молодых людей в Германии до того

потеряли рассудок от чтения сего рода произведений, что, желая подражать Вертеру, лишили себя жизни! К тому же в то время отвлеченная и запутанная философия Канта и Фихте была в большой моде в немецких университетах, и студенты, с свойственным неопытному юношеству жаром, предавались занятию наукою, которую и сами изобретатели едва ли понимали.[23]

Итак, я не без основания опасался, что неодолимая склонность Алцеста предаваться собственному слишком пылкому воображению может иметь пагубные для него последствия. Впрочем, меня некоторым образом успокоивало то, что он с терпением принимал дружеские мои советы. Несмотря на разность лет, отношения наши друг к другу основаны были на взаимном уважении. Алцест весьма обрадовался, узнав, что я согласен быть ему товарищем. Ему назначено было прожить два года в Лейпциге. Старый граф полагал, что сын его соделается чрез то более достойным высокого назначения, на которое знаменитое происхождение, заслуги отца и несметное богатство давали ему право. Итак, сколь ни трудно ему было расставаться с обожаемым сыном, но мысль, что разлука эта послужит к его пользе, превозмогла жестокую горесть родительского сердца, — и мы пустились в путь, снабженные достаточным числом векселей и сопровождаемые слезами и благословениями почтенных наших стариков.

Дорогою я не пропускал случая остерегать любезного спутника моего от влияния неукротимого его воображения, и мне казалось, что старания мои не совсем были безуспешны. Прибыв в Лейпциг, мы остановились в Гриммской улице, в доме, приготовленном для нас банкиром Фр.**, который предуведомлен был о нашем прибытии.

Первые две недели протекли в осматривании города и прелестных его окрестностей. Банкир познакомил нас в нескольких домах, коих хозяева, вопреки германской бережливости, любили принимать иностранцев. Читатель, которому случалось быть в Германии, конечно не оставил без замечания хорошего расположения немцев к русским. Итак, никому не покажется удивительным, что молодой, пригожий и богатый русский граф, изъясняющийся на немецком языке как природный саксонец, вскоре обратил на себя внимание всего небольшого, но многолюдного города. Алцест, имея в свежей памяти мои советы, был вежлив и ласков со всеми; но, казалось, не примечал ни своекорыстной похвалы матушек, ни приветливой улыбки дочек... Отвлеченные рассуждения важных и чинных профессоров и глубокие расчеты предприимчивых купцов занимали его более, нежели пленительные взгляды и шутливые разговоры лейпцигских красавиц.

Подарив несколько времени бесшумным удовольствиям, новыми нашими знакомыми нам доставленным, мы вскоре принялись за настоящее дело, за которым приехали в Германию. Алцест с жаром предался ученым занятиям, и я должен был отвлекать его от трудов излишних и для здоровья вредных.

Таким образом прожили мы около трех месяцев, как вдруг заметил я в товарище своем незапную перемену. Он сделался задумчив, убегал моего сообщества и охотно оставался один в своей комнате. Сначала приписывал я это какой-нибудь болезни или огорчению; но Алцест на вопросы мои отвечал, что он здоров и счастлив, и просил о нем не беспокоиться. Между тем задумчивость его час от часу увеличивалась. Когда казалось ему, что никто за ним не примечает, вздохи вырывались из груди его — и я поневоле должен был заключить, что им овладела сильная страсть к неизвестному мне предмету. Я внимательнее стал за ним примечать; но долго не мог ничего открыть. С некоторого времени он совершенно отстал от всех наших знакомых. Целые дни просиживал, запершись, в своей комнате, в которую неохотно впускал даже камердинера своего, находившегося при нем с самого младенчества. Не зная, каким образом объяснить странное поведение Алцеста, я решился поговорить о том с верным Иваном; но и от него ничего не узнал удовлетворительного. Старый слуга, покачав головою, сказал мне с печальным видом:

— Ведь то-то и беда, что вы, господа, ничему не верите; я боюсь, чтоб графа нашего не заколдовали! Лучше было бы оставаться нам дома; здесь хорошему ничему не бывать.

Что мне оставалось делать при таких обстоятельствах? Я любил Алцеста, как родного брата; трогательные просьбы почтенного отца его отзывались в душе моей; обязанность, принятая мною на себя, решительно требовала, чтобы я не допускал молодого графа предаваться задумчивости, тем более меня беспокоившей, что я не понимал ее причины. Я принял твердое намерение принудить его объясниться, хотя и не мог скрыть сам от себя, сколь таковая мера была затруднительна при пылком и непреклонном нраве юного моего друга.

Однажды Алцест, отобедав вместе со мною, по обыкновению намерен был удалиться в свою комнату.

— Не хотите ли вы прогуляться? — сказал я ему. — Погода прекрасная, и я поведу вас в такое место, которого вы еще не видали и которое вам, верно, понравится.

— Извините меня, любезный Ф..., — отвечал он, — я не могу идти с вами. У меня болит голова; мне надобно отдохнуть! — Сказав это, он поклонился и ушел к себе.

Я почти предвидел этот ответ; но, решившись во что б то ни стало принудить его к объяснению, я последовал за ним немного погодя и остановился у дверей. Граф ходил взад и вперед по комнате; потом подошел к окну, тяжело вздохнул и опять начал ходить. Я слышал, как он разговаривал сам с собою; казалось, будто он с нетерпением кого-то ожидал. Наконец он опять приблизился к окну.

— Вот она! — воскликнул он довольно громко, подвинул стул и сел.

В эту минуту я вдруг отворил дверь. Алцест вскочил поспешно, задернул у окошка занавесь и спросил у меня, закрасневшись и дрожащим голосом:

— Что вам угодно?

— Любезный граф! — отвечал я ему. — Я давно заметил, что вы от меня таитесь, и потому пришел спросить вас о причине этой скрытности, этой холодности, к которым не могу привыкнуть.

Он смешался и по некотором молчании сказал, потупив глаза в землю:

— Я люблю и уважаю вас по-прежнему, но, — прибавил он почти с сердцем, — мне нужно быть одному, и вы крайне меня обяжете, если оставите меня в покое.

— Алцест! — возразил я, — я поехал с вами из угождения к почтенному родителю вашему и по собственному вашему желанию. Если мое присутствие вам в тягость, если я потерял вашу доверенность, то мне делать здесь нечего и я немедленно отправлюсь назад. Прощайте! от всей души желаю вам счастия!

Алцест взглянул на меня; он заметил, что глаза мои наполнены были слезами, и доброе сердце его не могло противостоять горести друга. Он зарыдал и бросился ко мне на шею.

— Будь великодушен! — вскричал он, — прости меня! Я чувствую, что виноват пред тобою... Но с некоторых пор я сам не знаю, что делаю, что говорю... Сильная страсть, как бездонная пропасть, поглотила все чувства мои, все понятия!

Я обнял его и просил успокоиться.

— Вы меня удивляете, — сказал я. — Мне неизвестен предмет любви вашей; не понимаю даже, когда и где вы могли с ним познакомиться, но надеюсь, что он достоин Алцеста, и прошу мне открыть сердце ваше.

— Ах! — воскликнул он, — это не девушка, — это ангел. Я не знаю еще ни имени ее, ни звания, но уверен, что и то и другое соответствует такой небесной красоте! Вы увидите ее, любезный Ф..., и не будете удивляться моей страсти.

Он подвел меня к окну, отдернул занавесь и, указав на дом, находившийся против нашего, продолжал с восторгом:

— Взгляните и признайтесь, что вы никогда не видели подобного ангела!

Глаза мои быстро последовали направлению его перста; я увидел сидящую у окна девушку и в самом деле изумился! Никогда даже воображению моему не представлялась такая красавица. Гриммская улица неширока, и я мог рассмотреть все черты прелестного лица ее. Черные волосы небрежными кудрями упадали на плеча, белые, как каррарский мрамор. Ангельская невинность блистала в ее взорах. Нет! ни гений Рафаэля, ни пламенная кисть Корреджия — живописца граций, ни вдохновенный резец неизвестного ваятеля Медицейской Венеры[24] никогда не производили такого лица, такого стана, такого собрания прелестей неизъяснимых! Она взглянула на нас и улыбнулась. Какой взгляд, какая улыбка!

— Алцест, — сказал я, — не удивляюсь вашей страсти; она для меня теперь понятна... Но скажите, как могли вы победить любопытство ваше? Неужели не старались вы узнать имя этого ангела?

— Ах! — отвечал он, — я и сам недавно только узнал, что она здесь живет, хотя прелестный образ ее давно уже ношу в сердце. Месяца два тому назад я гулял за городом. Вечер был прекрасный, и я, задумавшись, забрел довольно далеко по большой дороге, ведущей в Алтенбург. Подходя к небольшому лесочку, я услышал спорящие между собою два голоса. Спор казался весьма жарким; но, не понимая языка, на котором говорили, я не мог отгадать, о чем шло дело. Из нескольких слов я успел только заключить, что изъяснялись по-испански.

Вы знаете, что я не любопытен, однако в эту минуту какая-то непонятная сила понуждала меня подойти ближе. Я увидел сидящую неподвижно под деревом девушку с опущенными вниз глáзами. Белый прозрачный вуаль, которым покрыто было ее лицо, не мешал мне различить ее прелестные черты! Она, казалось, не принимала никакого участия в том, что близ нее происходило, хотя, как я тотчас заметил, сама она была предметом слышанного мною жаркого спора. Перед нею стояли два человека, которых голос и движения изъявляли величайшую ярость. Один из них — высокий мужчина в красном плаще, в треугольной шляпе — хотел подойти к красавице; а другой — гораздо меньший ростом, худощавый, в светло-сером сертуке, в круглой серой шляпе с широкими полями — не допускал его. Ссора кончилась дракою. Уже красный плащ повалил на землю своего соперника, уже протягивал он руки к сидящей под деревом девушке, — а я всё еще стоял неподвижно,

не зная, кому из них предложить свою помощь... Наконец взор, брошенный мною на лицо высокого мужчины, решил мое недоумение. Вы не можете представить, какая адская радость выражалась в его физиогномии! Уже схватил он за руку девицу, как вдруг я выскочил из-за кустов.

— Остановись! — закричал я ему по-немецки. — Я не позволю никакого буйства!

Неожиданное мое появление удивило их. Красный плащ взглянул на меня пристально и громко захохотал.

— Пускай же эта госпожа сама решит, кому она хочет принадлежать! — вскричал он.

Я подошел к ней, почтительно поклонился и сказал:

— Ожидаю ваших приказаний, милостивая государыня!

Но она всё молчала... Я догадался, что она была в обмороке.

Между тем мужчина в сером сертуке подошел к своему сопернику.

— Вентурино! — сказал он ему, — теперь ты со мною не сладишь. Советую тебе удалиться!

— Хорошо! — отвечал красный плащ, — мы с тобою в другой раз разочтемся. А вас, — продолжал он, обратясь ко мне, — вас, граф, поздравляю от всего сердца. Рыцарский ваш подвиг в свое время будет достойно вознагражден. — Выговорив сии слова, он опять захохотал и скрылся между деревьями. Еще несколько минут спустя после того слышен был вдали громкий его хохот, который, не знаю почему, вселял в меня ужас!

Оставшись с соперником красного плаща, я изъявил сожаление и сердечное участие свое в положении страдалицы.

— Это пройдет, — отвечал он, схватил ее под руку, и она открыла глаза!

Я бросился к ней, но незнакомец не допустил меня предложить ей мои услуги. Он сам вывел ее из лесочка, посадил в коляску и, сев подле нее, приказал кучеру ехать. Я был в таком смущении, что не успел выговорить ни одного слова; когда же опомнился, то коляска была далеко. Не знаю, обмануло ли меня воображение мое, но я заметил, что при прощании со мною на лице незнакомца показалась та же адская улыбка, которая прежде поразила меня в его сопернике.

Тут Алцест задумался и, помолчав несколько секунд, продолжал:

— С этой роковой минуты образ неизвестного мне ангела не выходил из моей памяти. Не поверяя никому чувствований сердца, я старался отыскать сам предмет любви моей и как безумный бродил по всем лейпцигским улицам. Но все поиски оставались тщетными. Единствен-

ное утешение мое состояло в том, чтобы, сидя в своей комнате, предаваться сладкой надежде когда-нибудь с нею опять встретиться. Образ ее сопровождал меня повсюду; но вместе с ним преследовали меня и пронзительный хохот красного плаща, и адская радость, изображавшаяся в чертах человека в сером сертуке! Представьте ж себе мое восхищение, когда, сегодня поутру, нечаянно взглянув на этот дом, я увидел у окна свою прелестную незнакомку!.. Теперь я счастлив! Мы смотрим друг на друга... она мне кланяется и улыбается... и если самолюбие меня не обманывает, то она не совсем ко мне равнодушна.

Во всё продолжение его рассказа я не спускал глаз с сидящей против нас красавицы. Она как будто догадывалась, что о ней говорят; от времени до времени приятная улыбка являлась на ее розовых устах, но чем более я в нее всматривался, тем страннее она мне казалась. Не знаю сам отчего, но какой-то страх овладел мною. Мне представилось, будто из-за прекрасных плеч ее попеременно показывались две безобразные головы: одна в треугольной черной шляпе, другая в круглой серой с большими полями. Стыдясь сам своего ребячества, я оставил Алцеста, дав ему наперед обещание употребить все силы для получения верных и подробных сведений о незнакомой красавице.

В тот день было уже поздно, и я отложил исполнение своего обещания до другого утра. Между тем мне хотелось развлечь себя чтением, но глаза мои пробегали страницы, не передавая занятой незнакомкою душе моей ни одной мысли. Комната Алцеста была над моею спальней, и ко мне доходили его вздохи, слышались шаги его; он прохаживался по комнате и всякий раз у окна останавливался. Признаюсь, что и я не мог удержаться, чтоб не подойти к окошку. Незнакомка всё еще сидела на том же месте. Удивительно, что прелестный образ ее и в моем воображении никак не мог разлучиться с отвратительным видом обоих соперников! Красный плащ и серый сертук мелькали перед моими глазами в глубине ее комнаты, которая вся была видна из моих окошек. Настала ночь; незнакомка закрыла окно и отошла. При свете зажженных ламп я видел, что она села за арфу, и вскоре сладкие звуки итальянской музыки очаровали слух мой.

Наконец я лег спать, однако с трудом мог заснуть. В самом глубоком сне звуки арфы раздавались в ушах моих и смешивались с пронзительным хохотом, о котором рассказывал Алцест...

На другой день рано поутру я занялся собиранием сведений о незнакомке и узнал без больших хлопот, что весь тот дом занят приезжим профессором Андрони, прибывшим из Неаполя несколько недель тому назад. Андрони — сказано мне — испросил от Университетского сове-

та позволение читать лекции чистой математики, механики и астрономии и вскоре откроет курс сих наук. Он, по-видимому, человек весьма достаточный, ибо за наем дома платит довольно дорого, а за несколько дней перед его приездом прибыл сюда его обоз, состоящий из многих повозок и нескольких тяжело навьюченных мулов. Сам он живет в нижнем этаже, а верхний занимает дочь его, Аделина, девица красоты необыкновенной. Она еще ни с кем не знакома, и до сих пор ее видали только у окна. Впрочем, любимая его наука механика, и комнаты дочери его, сколько могли заметить соседи, наполнены разными машинами и инструментами, привезенными из Неаполя в обозе.

С сими известиями я поспешил к Алцесту. Он кинулся ко мне на шею и в радостном восторге воскликнул:

— Любезный Ф...! мы будем слушать его лекции... мы с ним познакомимся... мы сблизимся с Аделиною!..

— Очень хорошо, — отвечал я, — но не забудьте, что завтрашнего дня начинается ярмонка, которая продолжится две недели, и что лекции господина Андрони, вероятно, не прежде начнутся, как по окончании оной.

Мы решились, однако, того же утра идти к нему и просить о принятии нас в число его слушателей. Граф не мог дождаться минуты, которая должна была познакомить нас с отцом Аделины. Он тотчас хотел к нему отправиться, хотя не было еще семи часов утра, и я с трудом мог упросить его дождаться удобнейшего времени. Он надеялся ее увидеть!.. Наконец ударил час, нетерпеливо ожиданный, — и мы почтительно постучались у дверей профессора. Андрони встретил нас сам.

— Это он! — шепнул мне на ухо Алцест.

На нем был богатый малиновый халат с крупными золотыми цветами. Маленький черный паричок с толстым пучком придавал какой-то странный вид длинному орлиному носу, огненным глазам и оливковому цвету лица, доказывавшим южное происхождение профессора. Он просил нас сесть и тонким пронзительным голоском спросил:

— Что к вашим услугам?

Никогда не видывал я физиогномии более отвратительной. Какая-то язвительная насмешливость изображалась в вздернутых ноздрях, в судорожном кривлянии рта и в пискливом его голосе. Но я вспомнил, что он отец Аделины, и с учтивостию сказал ему, что он видит пред собою русских дворян, желающих посещать его лекции. Он внес имена наши в записную книжку, поблагодарил за честь и сделал несколько вопросов о России. Казалось, что ему известно было многое, до отечества нашего относящееся. Графа он либо не узнал, либо притворился, что ни-

когда его не видывал. Заметив, что я со вниманием рассматриваю все предметы в его покоях, он с велеречием начал рассказывать о редкостях, вывезенных им из Египта, и о драгоценных манускриптах, найденных в развалинах Помпеи и Геркулана,[25] главный надзор над коими некогда вверен ему был его величеством королем Неаполитанским. Он обещался, когда раскрыты будут ящики, привезенные в обозе, показать нам остовы чудовищ, извлеченных из пучин Сциллы и Харибды[26] посредством изобретенной им машины. Будучи страстным охотником до древностей, я слушал рассказы его со вниманием, хотя неприятный голос его такое же на меня произвел действие, какое испытываем, когда острым железом царапают стекло или когда режут пробку.

Между тем Алцест, попеременно бледнея и краснея, ожидал минуты, в которую удастся ему молвить слово об Аделине. Потеряв наконец терпение, он прервал речь профессора и сказал ему дрожащим от робости голосом:

— Государь мой! позвольте мне... я некогда имел счастие... дочь вашу... каково ее здоровье?..

Андрони обратил на него огненные глаза, и тонкие губы его скривились в улыбку.

— А-а! — вскричал он, — так это вы? понимаю!.. — Он призадумался и потом прибавил: — Я очень благодарен вам за услугу, мне оказанную; но имею важные причины желать, чтобы вы не сказывали никому о случае, нас познакомившем... Я вижу, — продолжал он, заметив замешательство графа, — что тайна эта уже не может называться тайною, но если вы никому иному не вверили ее, кроме вашего товарища, то я буду спокоен, когда господин полковник Ф... даст мне честное слово, что он никому о ней говорить не будет.

Требование профессора крайне меня удивило и увеличило отвращение, которое я уже к нему имел. Все неприятные впечатления, внушенные мне рассказом Алцеста и собственным моим наблюдением, как будто слились в одну точку в душе моей, и я хотел было сказать ему наотрез, что я тогда только соглашусь хранить его тайну, когда он объяснит причины, побуждающие его к такому требованию. Но Алцест предупредил меня; страшась прогневать отца Аделины, он поспешил его уверить, что я с удовольствием удовлетворю его желание, — и я принужденным нашелся дать ему честное слово. После того мы откланялись, и Андрони проводил нас до сеней, повторяя неоднократно, что посещения наши всегда будут ему приятны.

Мы оставили дом его с разными чувствами. Алцест не помнил себя от восхищения, что успел проложить себе путь к сближению с Адели-

ною. Я же, напротив того, был задумчив и печален. Какое-то унылое предчувствие наполняло мою душу, хотя и сам я не понимал, отчего оно во мне возродилось. Странная фигура и отвратительное лицо профессора, неприятный его голос и злобная усмешка сливались в воображении моем с сверхъестественною красотою его дочери и с адским хохотом красного плаща... и всё это вместе составляло смесь, от которой я чувствовал, что волосы мои подымались дыбом!

Возвратившись домой, я старался успокоиться, смеясь сам над собою. «Андрони, — думал я, — не что иное, как чудак, каких на свете много. Он человек ученый, и это достоинство может заставить забыть неприятный голос его. Красный плащ, вероятно, какой-нибудь пренебреженный любовник; а Аделина... Аделина — прелестная девушка, в которую до безумия влюблен Алцест... Во всем этом ничего нет удивительного».

С сими размышлениями я подошел к окну и опять увидел Аделину. Она взглянула на меня, поклонилась мне с неизъяснимою приятностию, — и печальные предчувствия мои исчезли как сон!

На другой день мы опять явились у Андрони. Он принял нас как старых знакомых и, побеседовав немного с нами, сам предложил пойти в верхний этаж. Легко представить себе можно, с каким восхищением Алцест принял такое предложение! Казалось, что профессор это заметил; он обратился ко мне и сказал с усмешкою:

— Вы теперь не увидите моей дочери; она никогда не жила в большом свете и потому чрезвычайно застенчива.

Алцест тяжело вздохнул и печально взглянул на меня. Я понял причину его печали и сам не мог не пожалеть о том, что не увижу Аделины. Андрони, по-видимому, не замечал нашего огорчения. Он показывал нам модели разных машин и объяснял в подробности их действия. Большие орга́ны с флейтами обратили на себя мое внимание. Андрони дернул за снурок, и прекрасная музыка загремела. Я не мог довольно похвалить верность игры и приятный тон инструмента.

— Это ничего не стоящая безделка! — сказал мне Андрони, — орга́ны эти составлены мною в часы, свободные от важнейших занятий.

В это время очаровательная гармония раздалась в ближней комнате, в которую дверь была заперта.

— Моя Аделина играет на арфе, — сказал профессор, обратясь к нам с улыбкою. Мы слушали со вниманием. Никакое перо не в состоянии изобразить всей обворожительности, всей прелести игры ее. Я вне себя был от удивления! Алцест просил профессора позволить ему послушать вблизи небесную игру его дочери.

— Аделина моя крайне стыдлива, — отвечал Андрони, — похвалы ваши приведут ее в замешательство, и я уверен, что она не согласится играть в вашем присутствии. К тому же, — прибавил он, — она не ожидала вашего посещения и теперь еще в утреннем уборе. В другой раз ей приятно будет с вами познакомиться.

Пробыв еще немного, мы распрощались с хозяином и возвратились домой, очарованные талантами Аделины.

Вечером посетил нас профессор. Он одет был по-старинному, однако ж весьма богато. Тот же черный паричок прикрывал его голову, но кафтан был на нем желтый бархатный, камзол и исподнее платье глазетовые,[27] и маленькая стальная шпага висела на левом его бедре.

— Я пришел предложить вам погулять по ярмонке, — сказал он. — Дочь моя никогда не видала такого многолюдства, и вы меня обяжете, если не откажетесь прогуляться с нами.

Разумеется, что мы с удовольствием согласились на его предложение.

Бывали ль вы в Лейпциге во время ярмонки, любезный читатель? Если нет, то трудно мне будет изобразить вам картину, представившуюся глазам нашим, когда мы подошли к площади Неймарк. Бесчисленное множество людей обоего пола и всех состояний в разных видах и одеяниях толпились по улицам; нижние этажи всех домов превращены были в лавки, которых стены и окна испещрены развешанными хитрою рукою разноцветными товарами. На площади так было тесно, что мы с трудом могли пройти по оной.

Здесь взгромоздившийся на подмостки шарлатан, в шляпе с широким мишурным галуном, в кафтане, вышитом золотыми блестками, выхвалял свои капли и божился, что они исцеляют от всех болезней. Далее, на таких же подмостках, коверкались обезьяны. Тут вымазанный смолою и осыпанный пухом и перьями проказник выдавал себя за дикаря, недавно вывезенного из Новой Голландии;[28] а там — большой деревянный слон удивлял зрителей искусными движениями хобота. Со всех сторон, на всех европейских языках купцы предлагали нам товары. Увлеченные толпою, которая пробиралась в один из домов, окружающих площадь, мы вошли в залы, где щегольски одетые, расчесанные и распудренные игроки с бриллиантовыми перстнями на всех пальцах метали банк. В Лейпциге правительство на время ярмонки отступает от строгих правил и позволяет азартные игры.

Алцест, в начале прогулки нашей, желая идти с Аделиною, подал ей руку; но Андрони предупредил его, подскочив с торопливостию, и сам схватил ее за руку. Такая неучтивость профессора сильно огорчила графа.

Мне самому она показалась странною, хотя, впрочем, я с удовольствием видел заботливость Андрони удалять графа от своей дочери. Странность профессора, красота Аделины и возрастающая к ней страсть моего друга делали неприятное на меня впечатление; но вскоре необыкновенное зрелище, представлявшееся глазам моим со всех сторон, привлекло на себя всё мое внимание. Занимаясь рассматриванием разнообразных предметов, находившихся предо мною, и оглушенный шумом толпившегося около нас народа, я не замечал, что глаза всех обращены были на нас. Громкие восклицания нескольких студентов, восхищавшихся красотою Аделины, наконец вывели меня из рассеянности: я взглянул на прелестную нашу спутницу. Она шла подле отца с потупленными вниз очами, не обращая ни малейшего внимания на то, что вокруг нее происходило. Можно было подумать, что она ничего не видит и ничего не слышит. Меня удивило такое равнодушие в молодой прекрасной девушке.

Распростясь с Андрони и его дочерью и возвратясь домой, граф с восхищением говорил об Аделине.

— Вы, кажется, совсем не разговаривали с нею? — спросил я у него.

— Признаюсь, — отвечал он, — я почти уверен, что бедная Аделина весьма несчастна! Отец ее более похож на тирана, нежели на отца. Нельзя по крайней мере не подумать этого, видя столь непонятную робость и молчаливость. Беспрестанная ее задумчивость огорчает меня до глубины сердца. При прощании я спросил у ней, весело ли ей было на ярмонке, и, не получив никакого ответа, повторил мой вопрос.

— Аделина! что же ты не отвечаешь, когда говорят с тобою? — вскричал профессор и с сердцем дернул ее за руку. Она вздрогнула, робко на меня посмотрела и вполголоса сказала:

— Весело.

При всем том, любезный Ф..., я имею причины надеяться, что она ко мне неравнодушна. Во время прогулки нашей она иногда взглядывала на меня с таким чувством, с таким выражением!..

— Алцест! — прервал я его. — Вы чувствительны и добродетельны; скажите откровенно, какие, думаете вы, будет иметь последствия эта страсть, которая совершенно вами овладела?

— Какие последствия? — вскричал он с жаром. — Можете ли вы ожидать иных, кроме женитьбы, если я ей понравлюсь и если отец ее на то будет согласен?

— А ваш родитель?

— Батюшка меня любит и не пожелает моего несчастия. Союз с таким ангелом, как Аделина, для меня не унизителен, не бесчестен. Она могла б быть украшением трона!

Я замолчал, зная, что противоречие не произведет ничего доброго, а напротив, еще больше раздражит пылкого молодого человека. Но с первою почтою счел я обязанностию известить обо всем старого графа.

День ото дня знакомство Алцеста с профессором Андрони делалось теснее. Я также посещал его довольно часто. Старик принимал нас ласково, но никогда не случалось нам наслаждаться сообществом его дочери. Он всегда находил какой-нибудь предлог, которым старался извинить ее отсутствие; то она, по словам его, не совсем была здорова; то занималась необходимыми по хозяйству делами, — одним словом, он, очевидно, хотел, чтоб мы не были вместе с нею. Казалось, что он опасался, чтоб мы не открыли какой-нибудь важной для него тайны. Признаюсь, мне неоднократно приходило на мысль, что Андрони не отец Аделины, а ревнивый опекун, влюбленный в свою воспитанницу.

Между тем Алцест ежедневно проводил целые часы у окна и любовался Аделиною, которая, по-видимому, также находила удовольствие на него смотреть. Вскоре они завели взаимные между собою сношения знаками. Алцест уверен был, что она к нему неравнодушна, и любовь его еще более от того воспламенилась. Тщетно просил я его не предаваться так слепо страсти своей: советы мои не имели никакого действия!

И я, с своей стороны, — хотя, впрочем, совершенно с другою целию — часто наблюдал за Аделиною, когда она сидела у окна. Я не мог не удивляться необыкновенной красоте ее; но, при всем том, я видел в ней нечто странное, нечто такое, чего никак не мог объяснить себе. На ее лице ни одного раза не заметил я ни выражения восторга, ни движения любопытства, — одним словом, никакой страсти. Такая холодная нечувствительность, так сказать, отталкивала мое сердце и в иные минуты производила во мне невольный страх, которого я внутренно стыдился. Что касается до Алцеста, он не видал в ней никаких недостатков. Он любил ее так горячо, что каждый взгляд ее, каждое движение приводило его в восторг.

Таким образом провели мы несколько недель, и страсть Алцеста перестала быть тайною. Все в городе говорили о близкой женитьбе молодого, богатого русского графа на дочери профессора Андрони, а я с нетерпением ожидал ответа на письмо, отправленное мною в Россию.

Однажды, рано поутру, пошел я к профессору, чтоб попросить у него объяснения одной трудной математической задачи. В нижнем этаже дверь была заперта, и я, считая себя домашним человеком, решился идти вверх, надеясь там найти его. В первой комнате не было никого, и я пошел далее. Вообразите ж себе, каким был я объят ужасом, когда, отво-

рив двери, увидел Аделину, лежавшую без чувств на диване!.. Голова ее, опустившаяся с дивана, лежала на полу; длинные черные волосы, не связанные и ничем не придерживаемые, совершенно закрывали прекрасное лицо ее. Мне показалось, что в ней нет ни малейшей искры жизни. Я громко закричал, и в самое это мгновение вошел Андрони...

— Скорей пошлите, — бегите за доктором! — кричал я ему. — Дочь ваша умирает, а может быть, уже...

Андрони хладнокровно подошел ко мне, взял меня за руку и отвел далее от дивана.

— Государь мой! — сказал он, — мне неизвестны русские обыкновения, но полагаю, что у вас, так же как у нас, в Италии, молодому человеку не позволяется входить без спросу в комнату молодой девицы.

Равнодушие его меня взбесило.

— Господин профессор! — отвечал я, — насмешка эта вовсе не у места. Удивляюсь хладнокровию вашему при виде умирающей дочери... Позвольте вам, однако, заметить, что близкое наше знакомство дает мне некоторое право принимать участие в положении Аделины.

При сих словах какая-то язвительная насмешливость выразилась в резких чертах Андрони.

— Если участие ваше основано на дружеском ко мне и дочери моей расположении, — сказал он, — то вы, конечно, правы. Но в таком случае я должен вам объявить, что беспокойство ваше напрасно. Дочь моя здорова; это ничего не значащий припадок.

Он приблизился к ней, схватил ее за руку и громко назвал по имени. Она в тот же миг открыла глаза и взглянула на меня как будто ни в чем не бывало!.. Андрони вывел ее в другую комнату, затворил дверь и возвратился ко мне.

— Я надеюсь, что вы теперь успокоились? — сказал он, усмехаясь.

Я был в крайнем замешательстве и не знал, что отвечать. Мы раскланялись с профессором; он проводил меня до дверей, и мне показалось, что он запер за мною задвижкой. Я невольно остановился и стал прислушиваться. Всё было тихо и безмолвно; потом услышал я какой-то странный шум, как будто заводят большие стенные часы. Опасаясь, наконец, чтоб Андрони не застал меня подслушивающего у дверей, я поспешно сошел с лестницы. Выходя на улицу, невольно взглянул я вверх и, к удивлению моему, увидел Аделину, сидящую у окна в полном блеске красоты и молодости!

Необыкновенная, можно сказать, чудная сцена сия сделала глубокое на меня впечатление. Я решился рассказать о ней графу. Не успел я начать мое повествование, как вошел к нам Андрони. Я замолчал.

— Вы, конечно, рассказываете графу о болезни моей дочери? — спросил он улыбаясь. — Господин полковник, — продолжал он, обратясь к Алцесту, — принимает самое живое участие в моей дочери! Маленький обморок, ничего не значащий припадок, которому часто бывают подвержены молодые и слишком чувствительные девушки, крайне испугал его. Хочу, однако, доказать вам, что дочь моя вне всякой опасности, и я, нарочно для этого, пришел вас попросить сделать мне честь пожаловать ко мне на бал сегодня вечером.

— На бал? — вскричали мы оба в один голос.

Чтобы понять, от чего произошло наше удивление, надобно заметить, что, кроме нас, Андрони не принимал никого в дом свой. Несмотря на все старания студентов и других молодых людей, никому, кроме нас, до сих пор не посчастливилось увидеть ее иначе, как только в окошко; и потому, невзирая на то что мы уже некоторым образом привыкли к странностям профессора, намерение его — дать бал — изумило нас. Андрони не мог не заметить этого.

— Приглашение мое вас удивляет? — сказал он нам. — Но я давно желал познакомить дочь мою с здешним модным светом. Пора отучать ее от робости, не приличной ее летам. Прощайте; спешу заняться приготовлениями к балу. Вечером мы увидимся!

Пожав нам руки, он поспешно удалился.

Мы остались одни. Тщетно старался я внушить Алцесту недоверчивость к Андрони и умолял его быть осторожным. Я, к крайнему огорчению, увидел, что советы и наставления мои были ему неприятны. Когда рассказывал я ему, в каком положении застал Аделину, на лице его изобразилось сильное беспокойство; но он ничего не находил необыкновенного ни в поступках старика, ни в внезапном выздоровлении дочери. Мысль, что он весь вечер проведет с Аделиною, совершенно овладела его воображением, и он не обращал никакого внимания на слова мои.

Настал вечер, столь нетерпеливо ожиданный графом, и мы отправились в дом профессора, который, в праздничном бархатном кафтане своем, встретил нас с веселым видом. Вошед в залу, я не мог не удивиться искусству, с каким успел ее убрать Андрони в такое короткое время. Всё было странно, но всё прекрасно, всё со вкусом. Глаза наши при входе не были поражены ярким светом ламп и многочисленных свечей. Алебастровая огромная люстра, висевшая посреди комнаты, изливала томный свет, как будто происходивший от сияния луны. Вдоль по стенам стояли померанцевые деревья,[29] коих промежутки украшены были расставленными в фарфоровых вазах цветущими растениями, наполнявшими воздух благоуханием. Казалось, что профессор для украшения за-

лы своей истощил все оранжереи Лейпцига и окрестностей. На зеленых ветвях больших померанцевых дерев висели разноцветные лампы, которых блеск сливался с сиянием от алебастровой люстры, и озаренные сим чудным светом двигающиеся по зале в разных направлениях гости, у которых на лице написано было любопытство и удивление, придавали всему вид чего-то волшебного.

Собрание было весьма многочисленно, несмотря на то что незапное и неожиданное приглашение Андрони совершенно было противно германскому этикету. Почти ни один из гостей не был знаком с хозяином; но никто не отказался от бала: все любопытствовали видеть вблизи прелестную Аделину, о которой рассказывали в городе чудеса.

При входе в залу глаза графа искали ее между лейпцигскими красавицами, но ее тут не было. Профессор объявил гостям, что дочь его скоро будет, и просил начать танцы, не дожидаясь ее прибытия. Все с участием спрашивали об ее здоровье и получили в ответ, что она занята необходимыми делами, по окончании которых непременно явится. В другое время дамы, удостоившие профессора посещением своим, вероятно, обиделись бы тем, что хозяйка их не встретила; но тут, где всё было необыкновенно, где всё носило на себе печать какой-то чудной странности, никто не изъявил неудовольствия за такую неучтивость. Танцы начались. По тогдашнему обыкновению в Германии, каждый кавалер при открытии бала избирал даму, с которою уже танцевал в продолжение всего вечера. Алцест, который во весь тот день занимался сладостною мечтою, что Аделина будет его дамою, обманутый в своей надежде, с печальным видом сел под померанцевое дерево и с рассеянностию смотрел на веселящихся гостей.

Бал начался менуэтом, а за ним следовали и другие танцы. В средине одного шумного экосеза[30] вдруг отворилась дверь и вошла в залу Аделина... Она одета была весьма богато, в испанском вкусе. Малиновое бархатное платье, вышитое золотом, богатый кружевной воротник, которого частые складки прикрывали высокую грудь ее, драгоценные каменья, украшавшие ее волосы, давали ей вид величественный и важный. При входе она с приятностию поклонилась. Андрони взял ее за руку и повел к стулу; а Алцест, увидев ее, в восторге своем не мог удержаться от громкого восклицания. Все оглянулись... гости забыли об экосезе и обступили Аделину, которая, с приметною робостию встав с своего стула, кланялась на все стороны.

Не могу изобразить впечатления, произведенного ее появлением во всем собрании! В самом деле, она блеском красоты своей помрачала всех лейпцигских красавиц. Дамы перешептывались друг с другом; мужчины

с завистию посматривали на Алцеста, который между тем пожирал ее глазами. Профессор с трудом мог уговорить гостей окончить начатый экосез. Сам он ни на минуту не отходил от Аделины, которая на делаемые ей вопросы отвечала едва внятным голосом. Андрони часто говорил за нее, приписывая чрезмерную робость ее незнанию немецкого языка и непривычке находиться в таком многолюдном обществе. Что касается до меня, — мысль о ревнивом опекуне опять пришла мне на ум... и хотя, с одной стороны, мысль эта внушала мне отвращение к Андрони, но, с другой — она служила мне некоторым утешением, потому что горячность профессора к Аделине считал я оплотом против любви графа.

Все гости, не исключая меня, желали, чтоб Аделина танцевала, и все приступали к Андрони... Он с замешательством извинялся, говоря, что дочь его, родившаяся в Южной Европе и воспитанная в уединении, не имеет понятия о танцах, употребительных в Германии. Долго просьбы наши были безуспешны. Наконец, убежденный нашею докучливостию, профессор перед самым концом бала объявил нам, хотя, впрочем, с видимою досадою, что, для удовлетворения желания таких дорогих гостей, дочь его протанцует фанданго. Испанская пляска сия в тогдашнее время еще мало была известна в Германии; многие из гостей даже никогда не слыхивали ее названия, и любопытство собрания от того увеличилось. Загремела музыка, гости стали в пространный круг, и Аделина начала пляску свою.

Неоднократно случалось мне во время пребывания моего в Гишпании видеть самых лучших танцовщиц, но я должен признаться, что ни одна из них не танцевала с таким искусством, как Аделина! Прелестные ножки ее двигались с неимоверным проворством; все движения тела были живописны. Но при всем том мне показалось, что в ней недостает той живости, той непринужденности, без которых самый искусный балетмейстер сходен с бездушною куклою, прыгающею на пружинах. Несколько раз в продолжение пляски Аделина сбивалась с такта и столь явно, что Андрони за нужное счел сложить вину на музыкантов, приписывая это их неведению и неискусству. Пляска кончилась при громких рукоплесканиях восхищенных зрителей. Аделина, казалось, весьма устала; она чрез силу дотащилась до стула с помощию отца, и Андрони довольно ясно дал заметить гостям, что бал кончился.

Стали разъезжаться; мы с Алцестом были в числе последних. Граф стоял как вкопанный и в безмолвном восторге не спускал глаз с Аделины. Между тем бо́льшая часть разноцветных ламп погасла; померкнувший свет алебастровой люстры и темная тень от деревьев всем предметам давали вид неопределенный. Мне сделалось что-то грустно и вместе страшно; я настоятельно начал просить графа пойти домой и с трудом мог

его уговорить. Когда мы выходили из залы, я нечаянно оглянулся, и мне показалось, будто из того угла, где сидели музыканты, вышел высокий мужчина в красном плаще и в треугольной шляпе... Медленными шагами прошел он чрез комнату и скрылся во внутренние покои. На лице его выражалось что-то зверское. Я не мог не вспомнить о Вентурино... Возвратясь домой, я рассказал о том графу, но он не хотел мне верить.

На другой день рано поутру разбудила меня эстафета, присланная из Дрездена. Корреспондент мой уведомлял меня, что банкир N. N., у которого хранилась значительная сумма, принадлежавшая графу, объявил себя банкротом. Присутствие мое в Дрездене было необходимо, и я принужденным нашелся немедленно послать за курьерскими лошадьми. Легко себе представить можно, каково мне было оставить графа в его положении! Но от Лейпцига до Дрездена не так далеко, особливо для русского. «Пробежать верст полтораста, — думал я, — мне не в диковинку. Если возвращение мое сделается нужным, верный Иван отправит ко мне эстафету, и я тотчас явлюсь в Лейпциге». Сколько я, однако, ни старался утешить себя такими рассуждениями, какая-то непонятная тоска стесняла мою грудь! Чудное появление Вентурино в доме Андрони беспрестанно приходило мне на ум. Распростившись уже с графом, я опять к нему воротился и умолял его не посещать профессора в мое отсутствие. Но он не слушал меня и не понимал! Я с сокрушенным сердцем оставил его.

Не буду говорить о пребывании моем в Дрездене. Неудовольствия, с которыми я там боролся, потеря весьма значительной суммы — всё это ничего не значит в сравнении с ужасными событиями, ожидавшими меня в Лейпциге! На третий день получил я эстафету от Ивана, который умолял меня возвратиться к графу. «Барин мой, — писал он, — со времени отъезда вашего был неразлучен с проклятым итальянцем. Сегодня поутру он уведомил меня, что женится на дочери фигляра!.. Он даже не хочет дожидаться ни возвращения вашего, ни родительского благословения. Напрасно валялся я у ног его!.. Поспешите! может быть, вы успеете предупредить несчастие».

Письмо это крайне меня испугало. В продолжение нескольких минут я не мог опомниться, наконец как сумасшедший побежал на почтовый двор. Просьбы мои, и в особенности звенящий кошелек, придали несколько живости почтмейстеру, и не прошло еще часу, как я сидел уже в дорожной коляске. Но какое мучение ожидало меня на пути! Кто не путешествовал по Саксонии, кто не испытал над собою флегмы саксонских почтальонов, тот не может понять моей досады, моего отчаяния! Ни просьбы, ни обещания, ни деньги, ни угрозы не в состоянии были

принудить двигаться проворнее почтальонов, которых бесчувственность в этом отношении может равняться только с неповоротливостию тяжелых лошадей, ими управляемых. Как часто дорогою вспоминал я о любезной нашей России!

Измученный напрасным старанием хотя немного оживить почтарей и терзаемый ожиданием несчастий, которые представлялись моему воображению, я дотащился наконец до Лейпцига. Это было поздно ввечеру. Когда въехал я в заставу, медленное движение коляски показалось мне еще несноснее; я с нетерпением выскочил и побежал по Гриммской улице, оставя далеко за собою изумленного своего саксонца. При входе в комнату Алцеста встретил меня Иван, бледный как полотно.

— Где граф? — спросил я.

— Граф сегодня ввечеру обвенчался и переехал к своему тестю, — отвечал он мне дрожащим голосом... — Я хотел идти за ним, но меня не пустили!..

Не расспрашивая его ни о чем более, я бросился в дом Андрони. В сенях попался мне навстречу высокий мужчина, которого лицо показалось мне знакомым. Я узнал Вентурино. Он одет был в черную мантию, какую обыкновенно носят в Германии духовные особы. На голове у него был распудренный парик с длинными локонами. «Вентурино в пасторском облачении!» — подумал я... и воображению моему ясно представилось, что такое беззаконное переряжение должно непременно означать какой-нибудь злой умысел, которого цель, однако, для меня была непонятна!

В первой комнате нашел я профессора, занимающегося чтением, — и он, казалось, вовсе меня не заметил.

— Ради Бога! — вскричал я. — Что вы сделали с моим другом?

— А! это вы, господин полковник? — сказал Андрони, обратясь ко мне с спокойным видом. — Мы не ожидали, чтобы вы так скоро кончили дела ваши. Зять мой очень обрадуется, когда узнает, что вы возвратились.

— Зять ваш? — отвечал я с сердцем. — Неужели вы думаете, что я позволю вам ругаться над моим другом?..

— Вы забываетесь, господин полковник! — возразил Андрони, не теряя хладнокровия. — Говорите потише; вы можете испугать графиню, да и графу не очень приятно будет видеть любезного наставника своего в таком положении.

Насмешка его вывела меня из терпения.

— Изверг рода человеческого! — закричал я в исступлении. — Говори, что значит эта комедия? Зачем ты товарища своего — такого же

плута, как ты сам, — нарядил в пасторы?.. Но я разрушу ваши козни. Немедленно веди меня к Алцесту!

Андрони очевидно смешался при этих словах. Он побледнел, губы у него задрожали, и огненные глаза его засверкали от ярости... Вскоре, однако, он опять пришел в себя.

— Государь мой! — произнес он, задыхаясь от злости, — вы не имеете права повелевать мною. Завтра поутру Алцест отмстит за оскорбленную честь своего тестя! Но сегодня вы его не увидите. Новобрачные желают быть одни. Итак, советую вам удалиться и не забывать, что вы находитесь в моем доме и что угрозы ваши совершенно бесполезны.

— Завтра поутру, — отвечал я, смущенный уверительным его голосом, — завтра поутру я с тобою разделаюсь! Не воображай, что ты избегнешь заслуженного наказания!

Я вышел из комнаты, захлопнул дверь и услышал за собою пронзительный хохот Андрони...

Возвратясь домой, я предался размышлению. Замешательство Андрони ясно доказывало, что мнимый пастор, встретившийся со мною, был не кто иной, как Вентурино. Но какие причины могли побудить профессора к столь беззаконному поступку? Какую пользу находил он в поругании собственной дочери, соединив ее с графом такими узами, которые могли быть расторгнуты без малейшего труда? Я терялся в догадках, однако твердо решился на другой день поутру объявить местному начальству о преступлении профессора. Признаюсь, я с некоторым удовольствием помышлял о том, что Алцесту приключение сие может послужить уроком, который навсегда излечит его от страсти к романическому... С сими мыслями я лег спать, хотя и предчувствовал, что беспокойство мое не даст мне во всю ночь сомкнуть глаз.

Было около полуночи, когда я услышал, что кто-то бежит ко мне по лестнице. Немного погодя дверь отворилась, и я, к крайнему изумлению, увидел графа — в халате, с растрепанными волосами!.. Вид его показывал человека, находящегося в отчаянии.

— Любезнейший Ф...! — вскричал он, бросившись ко мне на шею. — Спасите меня... спасите от сумасшествия!

— Что с вами сделалось, любезный Алцест? — спросил я, испугавшись и вскочив поспешно с постели.

Граф был в таком положении, что почти не мог говорить. Из отрывистых и несвязных речей его узнал я наконец такое происшествие, при воспоминании которого и теперь еще у меня волосы становятся дыбом!

На другой день отъезда моего в Дрезден сильная страсть Алцеста дошла до того, что он решился просить у Андрони руку Аделины. Старик, по-видимому, весьма обрадовался этому предложению, но требовал — по причинам, которые впоследствии обещался объяснить, — чтобы бракосочетание совершено было втайне. Влюбленный Алцест на всё согласился. Ввечеру призван был пастор в дом Андрони, и обряд совершен в присутствии одного отца, без свидетелей. Аделина после того удалилась в свою спальню... Чрез несколько времени впустили туда и Алцеста. «Вы без труда поверите, любезный Ф..., — говорил мне граф, — что я с восторгом бросился в объятия жены моей. Мысль, что я обладаю Аделиною, что наконец могу назвать ее своею, приводила меня в неизъяснимое восхищение. Вообразите же себе, как я испугался, когда, осыпав ее поцелуями, заметил, что она не отвечает на ласки мои! Она лежала, как будто лишенная всех чувств... В смятении моем не знал я, что делать; вспомнив, однако, что на уборном столике стояла склянка с крепким уксусом, я вздумал потереть ей виски и грудь. Но какими словами опишу вам ужас, меня объявший, когда от сильного натирания вдруг прелестная грудь моей Аделины лопнула и из отверстия показался... большой клочок хлопчатой бумаги! Сам не помню, как я выбежал из комнаты и как очутился здесь!

Я не знал, что подумать, услышав рассказ Алцеста. Мне вообразилось, что несчастный друг мой лишился ума, и я всячески старался его успокоить.

— Опомнитесь, любезный граф! — говорил я ему. — Вам, верно, пригрезился какой-нибудь страшный сон!

— Нет! — отвечал он, обливаясь слезами, — я не спал... Я видел ясно хлопчатую бумагу, высунувшуюся из груди бедной моей Аделины... Пойдемте, пойдемте! я докажу вам, что это не сон!

Желая его успокоить, я поспешил одеться и пошел с ним. Войдя в сени, граф от сильного волнения чувств пришел в такую слабость, что, конечно, упал бы, если б я не подхватил его под руку. Он дрожал всеми членами, и я с трудом взвел его на лестницу. Я сам был в ужасном положении... Сердце мое сильно билось; печальные предчувствия теснились в моей душе. В глубоком молчании прошли мы первые комнаты, где не встретили никого. Наконец отворил я спальню — и оцепенел при виде того, что мне представилось! Аделина на кровати лежала полунагая. Профессор сидел подле нее. На горбатом носу его надеты были большие очки; левою рукою он упирался об Аделину, а в правой держал кривую иглу, которою зашивал ей грудь!.. Из одного конца прорехи, еще не зашитой, торчала хлопчатая бумага. На обнаженном боку

Аделины усмотрел я глубокое отверстие, в которое, при входе нашем, Вентурино вложил длинный ключ, какие употребляются для заведения больших стенных часов. Злодеи так были заняты своею работою, что не заметили, как мы вошли в комнату.

Не успел я еще опомниться, как Алцест с ужасным криком бросился на Андрони. На лице его изображалась ярость... Он замахнулся на него тростью и, может быть, убил бы его на месте, если б Вентурино не удержал его руку.

Андрони пришел в исступление от злости. Он схватил тяжелый молот, подле него лежавший, и ударил Аделину прямо в голову!.. В одно мгновение лицо ее совершенно преобразилось! Прелестный носик ее сплюснулся, белые жемчужные зубы посыпались из раздробленных челюстей!..

— Вот твоя жена! — приговаривал Андрони, продолжая ударять молотом по Аделине...

От одного удара прекрасные голубые глаза ее выскочили из глазных ямок и отлетели далеко в сторону... Бешенство овладело бедным Алцестом... Он схватил с полу глаза своей Аделины и стремглав выбежал из комнаты, громко смеясь и скрежеща зубами!.. Я последовал за ним. Вышед из дому, Алцест остановился на минуту; потом испустил жалостный вопль и вдруг как стрела помчался вдоль по Гриммской улице.

Я не мог догнать его. Когда уже был я на улице, мне слышался хохот Вентурино, пронзительный крик Андрони и стук молота, как будто разбивающего колеса в больших стенных часах.

Остаток ночи и весь следующий день бродил я, с верным Иваном, по Лейпцигу и тщетно искал графа. В глубокую полночь возвратился я домой... без него! В окошках дома, занимаемого Андрони, не было огня. Дворник, отворяя нам дверь, рассказал мне, что в то же утро профессор выехал из города в открытой коляске. Подле него сидел высокий мужчина в красном плаще и в треугольной шляпе. За ними следовало несколько телег с разною поклажею.

На другой день пришел ко мне начальник городской полиции и объявил, что на берегу реки Эльстер, подле самого глубокого места, найден батистовый платок с меткою «С. А.» и два финифтяные глаза. Платок был Алцестов, но тело несчастного моего друга не могли отыскать.

Я поспешно уехал в Россию. В самый день отъезда вошел в комнату мою один из служителей старого графа, отправленный ко мне курьером. Под Варшавою разбили его лошади; он целые три недели без памяти пролежал на почтовом дворе и оттого замедлил приездом. Я распечатал пакет. Граф писал ко мне:

«Умоляю вас всем, что для вас дорого, любезный Ф..., спешите исторгнуть сына моего из пропасти, в которую без вас он неминуемо повергнется! Если нужно, употребите силу, передаю вам родительскую власть мою. Профессор, о котором вы пишете, мне слишком известен. Он человек весьма ученый и притом искуснейший механик-вентрилок.[31] Я познакомился с ним еще в молодых летах в Мадрите. Некоторый случай сделал его непримиримым врагом моим, и он поклялся мстить мне и всему моему роду... Ради Бога, не теряйте времени!»

Возвратясь в отечество, я уже не застал в живых старого графа...

— Почтенный Двойник! — сказал я, выслушав рассказ о *пагубном влиянии необузданного воображения.* — Вы не хотели верить возможности появления Анюты в повести, которую имел я честь вам прочитать, а сами рассказали мне теперь совершенную небылицу. Есть ли какое-нибудь в том правдоподобие, чтоб человек влюбился в куклу? И можно ли так искусно составить куклу, чтоб она гуляла по улицам, плясала на балах, приседала и улыбалась... и между тем бы никто не заметил, что она не живая?

— Что касается до первого вопроса вашего, — отвечал Двойник, — может ли человек влюбиться в куклу? то, мне кажется, мудреного в этом ничего нет. Взгляните на свет: сколько встретите вы кукол обоего пола, которые совершенно ничего иного не делают и делать не умеют, как только гуляют по улицам, пляшут на балах, приседают и улыбаются. Несмотря на то, частехонько в них влюбляются и даже иногда предпочитают их людям, несравненно достойнейшим! К тому же происшествие это совсем не ново: вспомните о Пигмалионе, который, как говорит предание, влюбился в статую, им самим сделанную, пред которою наша кукла по крайней мере имеет то преимущество, что она двигалась.

— Может ли быть кукла, спрашиваете вы еще, — продолжал Двойник, — так искусно составлена, чтоб была похожа на живую? Ах, любезный Антоний! до чего не умудрится ум человеческий! Сколько примеров могу я вам напомнить об автоматах, не менее моей куклы удивительных! Не помню, где читал я, что какой-то механик составил деревянного ворона, который при въезде одного римского императора в город Ахен подлетел к нему и проговорил внятным голосом весьма красноречивое приветствие на латинском языке...[32] Кому неизвестно, что знаменитый Алберт (ученый астролог, живший в тринадцатом столетии и прозванный Великим) составил куклу, над которою трудился беспрерывно тридцать лет? Кукла эта, названная *Андроидою Алберта Великого,* по свидетельству тогдашних писателей, так была умна, что Алберт сове-

товался с нею во всех важных случаях; но, к сожалению, один из его учеников, которому надоела неумолкаемая болтливость этой куклы, однажды в сердцах разбил ее на части.[33] И в наши времена видели во всех столицах Европы одного искусника, который возил с собою и показывал за деньги небольшого деревянного турку, умеющего играть в шахматы и обыгрывающего известнейших игроков. Подобных примеров мог бы я насчитать множество, если бы у меня была не такая плохая память. В тысяча восемьсот пятнадцатом году физик Робертсон, бывший пред тем в России и показывавший фантасмагорические представления, хвалился, что он изобрел нового рода клавикорды, которые выговаривали целые слова человеческим голосом. Я сам видел клавикорды эти в Париже: к ним приделана была кукла в человеческий рост, щегольски одетая в женское платье, с модною на голове шляпкою. Робертсон садился за клавикорды, и, по мере того как перебирал клавиши, кукла выговаривала (правда, голосом довольно диким) несколько слов, как-то: papa, maman, mon frère, ma sœur, vive le Roi![a] и тому подобное. Множество русских, бывших в то время в Париже, конечно, не забыли об этой кукле Робертсона.[34]

— При всем том, — возразил я, — вы никак меня не уверите, чтобы человек умный, каким описываете молодого графа, мог влюбиться в куклу. Пускай бы это случилось с глупцом; но человек такой умный...

— Умный! умный! — прервал меня с некоторою досадою Двойник. — Да можете ли вы в точности определить, что такое умный человек? и разве никогда не случалось вам видеть, что люди, слывущие в свете умными, делают такие глупости, которые непростительны были бы дуракам?

— В самом деле, — отвечал я, — нередко случалось мне видеть это, и я никогда не мог понять, отчего это происходит? Сделайте дружеское одолжение, любезный Двойник, объясните мне загадку эту и вместе с тем научите, каким образом должно определять степень ума у людей? Вы, верно, более меня в этом имеете сведений; а я, признаюсь, в течение жизни моей с умными людьми неоднократно попадал впросак. Я чувствительно вам буду обязан.

— Вы знаете, дражайший Антоний, что я не в силах вам отказать в чем бы то ни было, а потому постараюсь исполнить ваше желание. Но оставим разговор этот до другого раза. Назначенное нами для разлуки время давно протекло. Прощайте!

Конец первой части

---

[a] папа, мама, мой брат, моя сестра, да здравствует король! (*фр.*)

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Вечер четвертый

На другой день, лишь только уселись мы по обыкновенным местам, Двойник начал разговор так:

— Я обещался объяснить вам, любезнейший Антоний, почему люди, слывущие в свете умными, часто делают глупости; а потом научить вас, каким образом должно определять степень ума человеческого. Обязанность, принятая мною, нелегка, почтенный друг; и потому я должен просить вас заранее принять замечания мои с дружескою снисходительностью. Ум человеческий и вообще всё, что только относится к душевным способностям человека, есть такая загадка, которую совершенно разрешить нам удастся разве в будущей жизни.

Всевышнему угодно было понятия наши об отвлеченных предметах ограничить резкою чертою, чрез которую умнейший человек при всем старании, при всех усилиях своих никак, сам собою, переступить не может. Всё, что находится за сею чертою, навсегда останется для нас неизвестным, и потому не ожидайте от меня совершенно удовлетворительного истолкования и, так сказать, анатомии человеческого ума. Замечания мои основаны на простой опытности: я смотрел на людей, наблюдал их действия, размышлял о причинах и всякий раз более удостоверялся, что каждое усилие переступить чрез начертанную нам границу не только бесполезно, но ведет нас кратчайшим путем к заблуждению.

В свете обыкновенно называют человека умным, не определяя ни рода, ни степени его ума. Но слово *ум* есть выражение общее, которое не представляет нам никакого точного понятия. Ум разделить можно на большое число родов, совершенно между собою различных и один от другого не зависящих. Так, например, остроумие, проницательность, здравый рассудок, понятливость и прочее суть различные роды ума, из которых человек может обладать иными, не имея в себе ни малейшего признака других. Вы, верно, встречали людей, например, очень острых, но которые совершенно лишены здравого рассудка; или, напротив, таких, которые с избытком наделены сим последним, но зато не имеют ни малейшей остроты. Иногда случается также, что качества, приобретаемые воспитанием,[35] как например ученость, — которая сама по себе не дает еще права на название умного человека, — в свете принимаются за ум. Бывает и то, что такие качества, которые назвать можно второстепенными — ибо они сами собою не составляют еще ума, как напри-

мер хитрость, — доставляют человеку славу умного потому только, что они более других в глаза бросаются. Начнем определением, который род ума пред прочими должен иметь преимущество.

Самое короткое размышление удостоверит вас, что важнейший, полезнейший и необходимейший из родов ума есть здравый рассудок.[36] К другим родам относится он, как алмаз к прочим драгоценным каменьям. Но что я говорю? — яхонт, изумруд драгоценны и без алмаза; но острота, проницательность и все другие роды ума без здравого рассудка — ничто. Он есть краеугольный камень всего здания, необходимый регулатор или правильник всех прочих родов, которые без него бродят, сами не зная где и зачем, как стадо без пастыря. К несчастию, не всегда обращают должное внимание на неоцененное это качество, о котором бо́льшая часть людей и не помышляет, потому что другие роды ума блистательнее. Заметьте, любезный Антоний, что если для совершения какого-нибудь дела представляются два кандидата, из которых один не учен, не остр, не ловок, но имеет здравый рассудок, — а другой, хотя совершенно лишен оного, но зато остер, сметлив, хитер, то, наверное, предпочтут последнего, хотя первый, без сомнения, во всяком случае был бы полезнее.

Из сказанного мною вы некоторым образом сами объяснить себе можете, почему люди, слывущие умными, делают непростительные глупости. Примеры приведут это еще в большую ясность: X, например, имеет здравый рассудок, остроту и прочее, но нет у него проницательности; будьте уверены, что всякий хитрый глупец его обманет и доведет до глупости. Y не имеет недостатка в разных родах ума; он даже и не без проницательности, но не понятлив и не сметлив, так что хотя проникает людей, но не скоро; и потому человек, имеющий гораздо менее ума, может заставить его сделать глупость, прежде нежели успеет он опомниться. Наконец, Z остер, понятлив, учен, хитер — одним словом, в глазах света считается умнейшим человеком, но, к несчастию, не имеет здравого рассудка; и потому Z всегда и на каждом шагу будет делать глупости.

Обратимся к другим родам ума. Исчислить все оные невозможно или по крайней мере весьма трудно; к тому же вы сами в состоянии дополнить мое исчисление, буде пожелаете. Главнейшие, после здравого рассудка, роды ума, по мнению моему, суть: проницательность, понятливость, глубокомыслие, дальновидность, ясность, сметливость (le tacte) и остроумие (der Schärfsinn), которого не должно смешивать с остротою (der Witz). Есть еще роды ума, названные мною выше второстепенными, таковы: хитрость, острота и тому подобное. Ко всем этим родам

прибавьте еще два качества, из которых одно природное, другое же приобретается воспитанием, а именно память и ученость, — и вы будете иметь материалы, из соединения коих в разных количествах составляется целое, называемое в свете *умом*.

Постараемся определить яснее некоторые из таковых родов.

О *здравом рассудке* я говорил выше, и потому здесь прибавлю только, что этот род гораздо реже других встречается большими массами.

Проницательность также принадлежит к редким дарам природы. Вы часто увидите людей, не имеющих недостатка в других родах ума и даже в здравом рассудке, но без малейшей проницательности. Такой человек может быть весьма полезным во многих случаях, но только не в таких, где познание людей должно быть главнейшею потребностью.

Понятливость весьма также нужна; но не так часто в свете встречается, как противоположные ей качества: тупость и бестолковость.

Глубокомыслие есть тот род ума, который менее других необходим в общежитии. В ученых исследованиях, особенно о предметах отвлеченных, обойтись без него нельзя; но для текущих дел жизни он не столько нужен. Люди глубокомысленные бывают обыкновенно молчаливы и задумчивы; оттого-то происходит, что многие глупцы, — которые стараются казаться задумчивыми, часто морщат лоб и при том умеют молчать, — в свете слывут глубокомысленными.

Дальновидность есть способность из настоящего выводить верные заключения о будущем и некоторым образом предвидеть конец начатого дела или последствия какого-либо действия. Сей род ума встречается весьма редко.

Ясность есть качество, в важных делах очень нужное, но притом также довольно редкое. Бывают люди умные, которые, при здравом рассудке, при проницательности, остроумии и большом обилии хороших мыслей, вовсе не имеют ясности. Голова у них подобна сараю, в котором без разбора и порядка набросаны разнообразные и разноценные вещи.

Сметливость (le tacte) есть такое качество, которое объяснить всего труднее. На русском языке нет ему даже настоящего названия; ибо сметливость не совсем выражает то понятие, которое заключается во французском слове (le tacte). Это какое-то чутье или инстинкт, вовсе не зависящий от прочих родов ума, однако более других имеющий сродство с здравым рассудком. Он помогает нам, например, из многих средств, ведущих к одной и той же цели, избрать именно не только удобнейшее, но и приличнейшее. Он научает нас избегать всего, в чем только можем мы неприятным образом столкнуться с мнениями других; одним словом, он не допускает нас ни до одного шага, который бы вредил достижению

предполагаемой нами цели или был бы неприличен или бесполезен. Русские в чужих краях славятся этим качеством, как весьма между ими нередким.

Остроумие (der Schärfsinn) не требует больших объяснений. Оно обыкновенно бывает сопряжено с здравым рассудком, по крайней мере в некоторой степени; без понятливости же и проницательности даже и существовать оно не может. Отличительная черта его — быстрота. Остроумие назвать можно *корнем* прочих родов ума.

Перейдем теперь к второстепенным родам ума, кои суть: острота, хитрость и ум гостинный (esprit de société).

Остротою (der Witz) называю я способность говорить острые слова, в каждом предмете без труда находить смешную сторону и тому подобное. С остротою часто соединена бывает колкость ума, а иногда порождает она склонность к насмешливости, которая есть порок. Когда у вас будут дети, любезный Антоний, не радуйтесь их остроте и не поощряйте их к оной. Часто, очень часто острота служит ко вреду того, кто ее имеет, и я знаю не одного человека, который внутренно жалеет о том, что он слишком остер. Качество это, конечно, само по себе не только не вредно, но даже полезно и приятно; но беда в том, что переход от остроты к колкости и от колкости к насмешливости так легок и так заманчив, что редко кто от него удержаться может.

Хитрость — слово, не требующее никакого объяснения. Я замечу только, что много есть людей хитрых, которые притом очень глупы.

Гостинный ум (esprit de société) также не требует больших объяснений, хотя выражение это совершенно ново. Оно означает способность приятным образом занимать компанию, особливо дам. По достоинству род сей принадлежит к числу последних, но притом он один из полезнейших — если не для общества, по крайней мере для того, кто им обладает. Впрочем, гостинный ум разделяется на разные разряды, смотря по разным гостиным. Часто случается, что человек, который блестит умом в одной гостиной, совершенно глупеет, переходя в другую.

Для составления себе ясного понятия о человеке, слывущем умным, надлежит наблюдать со вниманием: который из описанных здесь родов в нем первенствует и в какой мере или в каком количестве он одарен прочими родами? Итак, если услышите вы, что кого-нибудь называют умным, то советую вам сделать следующую над ним поверку:

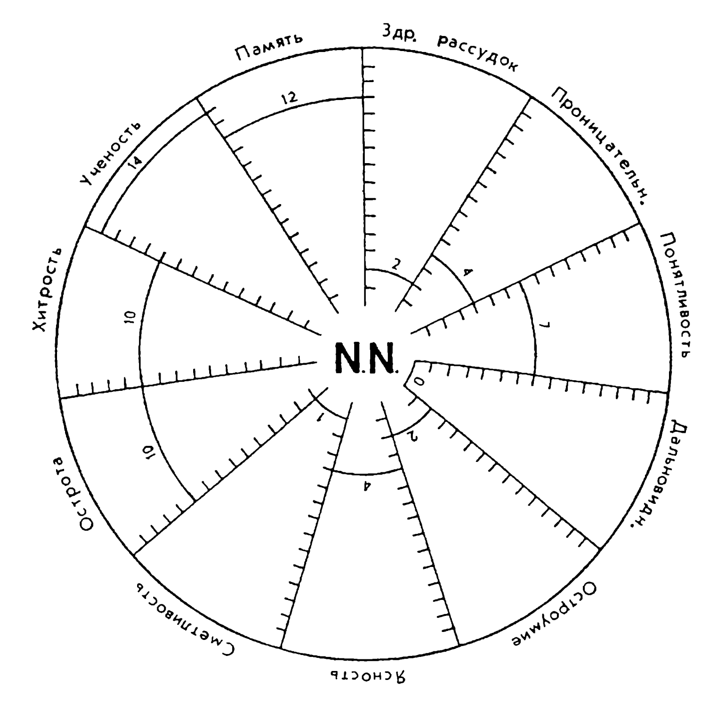
N. N. слывет умным; посмотрим, сколько он имеет:

здравого рассудка,
проницательности,

понятливости,
глубокомыслия,
дальновидности,
остроумия,
ясности,
сметливости,
остроты,
хитрости,
учености,
памяти?

Положите примерно, что высшая степень каждого рода ума будет 15 градусов, и изобразите потом следующую фигуру, в которой легко означить можно, сколько градусов имеет N. N. в каждом роде ума. (Смотри фигуру первую.)

Вы видите, что по фигуре сей N. N. имеет здравого рассудка 2 градуса, проницательности 4, понятливости 7, дальновидности ничего, остро-



Фигура первая.

умия 2, ясности 4, сметливости 1, остроты 10, хитрости 10, учености 14, памяти 12 градусов.

Итак, взглянув на фигуру эту, можете вы вдруг обозреть, из чего составляется ум N. N. Вы видите, что он человек чрезвычайно ученый и что первенствующий в нем род ума есть память, за которою следуют острота, хитрость и так далее. Приведите все роды в порядок по числу градусов, и выйдет следующее заключение: N. N. с чрезвычайною ученостию соединяет необыкновенную память, имеет весьма много остроты и хитрости и довольно понятливости; нет у него также недостатка в некотором количестве проницательности и ясности; но зато остроумия и здравого рассудка очень мало, сметливости и того меньше, дальновидности совсем нет, а глубокомыслия и не ищите.

Но если по сей одной фигуре вы вздумаете судить и о способностях N. N., то вы непременно ошибетесь; постараюсь изложить вам яснее, почему.

Чтоб составить себе точное понятие о человеке, относительно способностей его, надлежит сверх определения родов ума, которым он одарен, принять еще в соображение и другие свойства души, имеющие с умом теснейшую связь. Все пороки и слабости человеческие, как-то: ненависть, злоба, подлость, мстительность, зависть, корыстолюбие, самолюбие, эгоизм, гордость, надменность, тщеславие, упрямство, легкомыслие, имеют сильнейшее на наш ум влияние. Весьма часто они управляют умом, вместо того чтоб ум управлял ими, и от этого превратного положения проистекают действия совсем противные тем, какие произвел бы один ум без влияния пороков или страстей. Разные роды ума человека со всеми их оттенками и разного рода пороки его со всеми также оттенками находятся в беспрестанном движении и борьбе между собою. Сердце человеческое, любезный Антоний, такой лабиринт, в котором самый искусный наблюдатель не скоро найдет нить Ариадны. Итак, если для определения степени ума человеческого необходимо иметь немалое количество сметливости и проницательности, то тем более требуются оные при составлении понятия о других душевных свойствах. Здесь надлежало бы мне войти в подробное описание этих свойств и определить каждое из них, как выше поступил я с родами ума; но это потребовало бы весьма много времени и увлекло бы меня за пределы дружеской беседы нашей. Двойник ваш, любезный Антоний, не для того является вам, чтобы читать философские лекции: он имеет целью только усладить ваше уединение. Итак, я постараюсь сколь можно короче изложить мысли мои о предмете, раздробление которого завело бы нас слишком далеко.

Я говорил выше, что пороки имеют сильнейшее влияние на ум человеческий, — и вам, быть может, показалось странным, что я упомянул токмо о порочных свойствах души, не сказав ни слова о добрых ее качествах, как-то: о великодушии, твердости, решительности, добродушии, сострадательности и прочее. Неоспоримо, что и добрые качества имеют тесную связь с умом нашим; но я потому об них не упомянул, что они ни в каком случае не затмевают его и, следственно, не препятствуют природному его действию; пороки же и слабости, напротив, портят его и дают ему совершенно ложное направление.

Пороки человеческие, так же как и роды ума, разделить можно на высшие и низшие разряды. К высшему разряду принадлежат: зависть, злоба, самолюбие, эгоизм, гордость и тому подобное; к низшему — тщеславие, легкомыслие, ветреность, нескромность и прочее. Первые буду я называть собственно пороками, последние слабостями. И те и другие имеют вредное влияние на наш ум, а потому необходимо нужно принять их в соображение при определении способностей человека. Избегая всякого подробного описания, я не могу, однако, не коснуться, хотя мимоходом, некоторых из означенных пороков, требующих особенного пояснения.

Самолюбие, например, и *эгоизм* часто смешиваются один с другим, хотя, по мнению моему, оба сии порока имеют свои собственные, совершенно отличные черты и производят разные действия, а потому должны подлежать особенному разделению.

Самолюбие имеет, конечно, близкое сродство с эгоизмом, но в таком же сродстве находится оно и с другими пороками, и поэтому многие не без причины называют оное корнем всех прочих пороков. Здесь, однако, должно заметить, что под словом «самолюбие» не разумею я того чувства собственного достоинства, которое, не выходя из границ умеренности, нимало не предосудительно для человека; от такого самолюбия не изъяты люди самые скромные и добродетельные. Любить себя до некоторой степени позволено и должно; но ставить себя выше ближнего, считать себя лучшим и совершеннейшим, унижая, пренебрегая и презирая других без основания, — вот самолюбие, о котором я говорю! Эгоизм обыкновенно соединен бывает с большим количеством самолюбия; но последнее это свойство часто встречается и без эгоизма. Я знаю людей, которые при чрезмерном самолюбии не только не имеют ни малейшего эгоизма, но даже в высшей степени одарены всеми противоположными ему качествами. Они добры, щедры, всегда готовы, не колеблясь, жертвовать собственным имением и спокойствием для блага других; но притом внутренно величают себя и терзаются завистью, когда находят в других высокие добродетели.

Эгоист, напротив того, никогда не может быть ни прямо великодушным, ни добрым, ни щедрым. Все действия его клонятся только к собственной его пользе; всё в мире относит он собственно к себе. Он щедр и сыплет деньгами, чтоб достигнуть того, что считает для себя полезным или приятным; но скуп и жалеет о копейке, когда не предвидит никакой для себя пользы. Он в состоянии сделать добро, но с тем, чтобы оно не стоило ему ни труда, ни денег. Иногда он может решиться даже и на великодушный поступок; но посмотрите на него внимательно, и вы увидите, что он имел при том цель, собственно к нему относящуюся. По наружности он кажется приверженным к друзьям своим; но это потому только, что он имеет в них нужду или просто к ним привык и без них ему скучно; доставьте ему другое, приятнейшее занятие, — он об них и не вспомнит. Скажу еще более: он, кажется, обожает жену свою и страстно любит детей; но и это чувство в нем, так сказать, не бескорыстно: он любит их для себя, а не для них. Если жена его или дети умрут, он всячески стараться будет скорее забыть их; он будет бояться плакать, чтоб не испортить своих глаз... И притом если он не глуп, то будет уметь скрыть холодность сердца своего под личиною твердости духа.

Таковое описание эгоиста вам, может быть, покажется преувеличенным, но вы ошибетесь, любезный Антоний! Таких людей на свете более, нежели вы думаете; но так как они, для собственной своей пользы, иногда бывают добры и ласковы, то эгоизм их не всякому заметен.

Здесь должен я сказать также несколько слов еще об одном пороке, который в свете чаще встречается, нежели как вы, может быть, полагаете: это *зависть*. Поэты описывают ее в образе женщины тощей и исхудалой, с ехидным взглядом, с жалом вместо языка, с вялыми губами, с ядоточными устами... Невидимо вкрадывается она в пышные палаты вельможи и в хижину бедного и не только заседает иногда в собраниях ученых и знатных людей, но часто занимает первое место в гостиных большого света. Как испугалась бы иная дама, когда бы у ней вдруг открылись глаза и она бы увидела, что гнусное это исчадие повсюду ее сопровождает, и в то самое время, когда она, терзая добрую славу других, в гордом ослеплении считает себя поборницею добродетели, зависть стоит за ее плечами и шепчет ей на ухо...

Но порок этот, по несчастию, не всегда принимает на себя вид такой отвратительный и потому иногда находит путь к сердцу благороднейших людей. Так, мой друг! — бывают люди, справедливо заслуживающие уважение наше по отличным качествам ума и сердца, которые сами не замечают, что в их суждения о ближнем вмешивается зависть. Правда, что она, являясь в обществе уважаемого человека и будучи закрыта не-

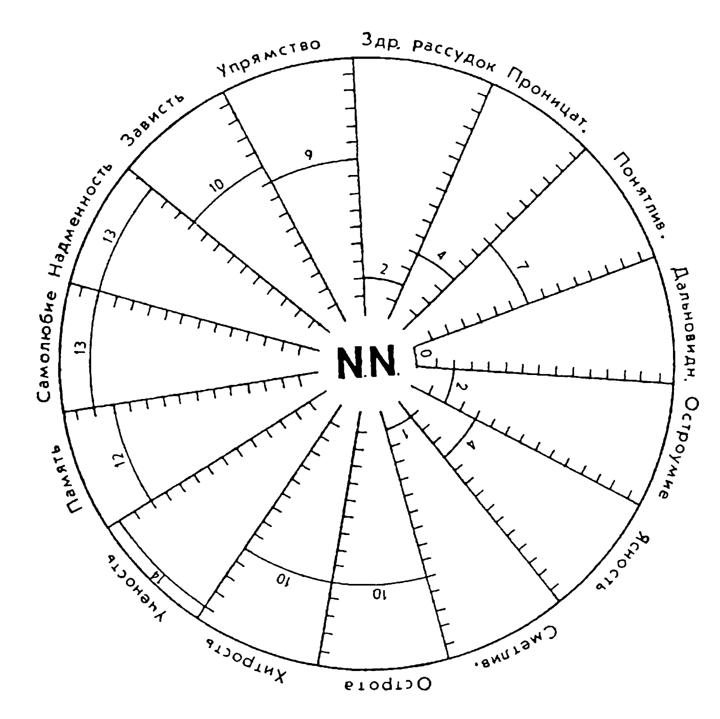
проницаемым покрывалом, редко кем узнана быть может; но при всем том она по-прежнему остается завистью. Возьмите в пример Фрола: он добр, чувствителен, умен, великодушен; он верный друг своих друзей и не враг своих врагов... Казалось бы, что зависть не найдет места в благородном его сердце. Увы! даже и туда она вкрасться умеет. Заметьте, что Фрол — который готов извинять слабости других, который иногда, по излишней снисходительности, находит добродетели там, где их нет решительно, — этот самый Фрол, как скоро дело идет о людях, равных ему добрыми качествами, судит необыкновенно строго и даже находит некоторое в том удовольствие, чтобы отыскивать в них недостатки!

Зависть эта еще заметнее в суждениях Фрола о людях к нему близких, связанных с ним коротким знакомством и дружбою; ибо он преимущественно в кругу друзей и знакомых желает быть первым и не терпит соперничества — и потому-то очень редко оспаривает совершенства посторонних лиц. Он защищает их слабости и даже иногда ставит выше себя тех, которые занимают гораздо низшую против него степень нравственного совершенства. Но как скоро покажется ему, что кто-нибудь, в кругу его знакомых, может похитить у него первенство, которое считает он природным своим достоянием, тогда зависть, неприметным для него самого образом, берет верх над добротою его сердца. Тогда не упускает он случая обращать внимание на недостатки своего соперника и увеличивать их, хотя бы он был самый близкий к нему человек. Перед ним, например, выхваляют ум друга его; он на то соглашается, но притом замечает, что ум этот был бы еще совершеннее, если бы не был затмеваем таким-то недостатком. Вы видите его невеселым, даже печальным; спросите о причине — и он скажет вам, что досадует на друга своего за то, что сей последний, несмотря на изящные свои качества, не может отстать от такой-то слабости. «Если б этот человек, — говорит он с видом душевного прискорбия, — при отличных способностях и редких добродетелях, которыми он так щедро наделен природою, имел более основательности, более постоянства и прочего, — что бы из него было!..» Иногда он, под видом дружеского участия, бранит друга своего в кругу знакомых за недостатки, которых тот вовсе не имеет, и просит его преодолеть слабости, которых в нем нет! Таким образом, мало-помалу разрушает он приобретенное другом его уважение и на развалинах оного опять садится на первое место... При всем том он прольет последнюю каплю крови за того, кого старается унизить во мнении других. Он для спокойствия его продаст последний кафтан свой и готов идти в землекопы, чтоб только облегчить его участь, если б нужда того потребова-

ла. Вот, любезный Антоний, какие странные противоречия встречаются в бедном человеческом сердце!

Но обратимся опять к фигурам нашим. Я сказал выше, что фигура, означающая одни роды ума N. N., недостаточна для составления понятия и о способностях его. Вы теперь сами чувствуете, что показание душевных его недостатков для полного о нем понятия необходимо; итак, к той фигуре надобно б было прибавить еще множество разделений с означением, какие N. N. имеет пороки и слабости и в какой мере. Но так как фигура вышла бы слишком велика, если бы для каждого порока сделали вы особое разделение, то довольно будет заметить по крайней мере главнейшие. Положим, например, что N. N. особенно самолюбив, надменен, завистлив и упрям; итак, к означенной фигуре прибавьте еще четыре разделения для упомянутых пороков. Таким образом, фигура, представляющая полное понятие о N. N., будет следующая. (Смотри фигуру вторую.)

Дополненная эта фигура может дать вам довольно ясное и точное понятие о способностях N. N. Вы увидите, что при всей хитрости и ост-

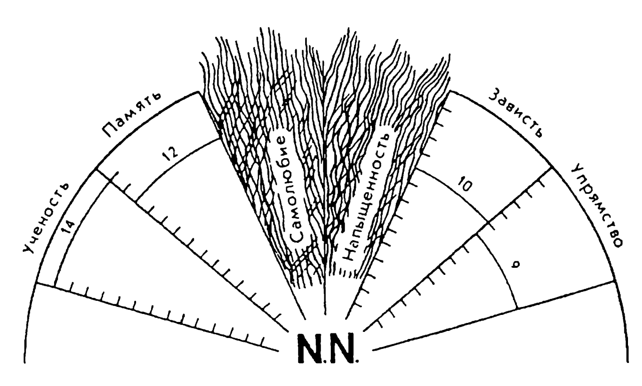


Фигура вторая.

роте своей он часто должен ошибаться по недостатку здравого рассудка и сметливости. При взгляде на чрезмерное количество *самолюбия*, *напыщенности* и нераздельного с ними *упрямства* вам не покажется удивительным, что три эти качества, составляющие в сложности 35 градусов, во всех случаях будут превозмогать здравый рассудок, проницательность, понятливость и сметливость N. N., которых у него всего-навсе только 14 градусов.

Обратив внимание на десять градусов *зависти*, вы без труда поймете, что порок этот, соединенный с самолюбием, надменностию и упрямством, мог бы затмить несравненно бо́льшую меру здравого рассудка, нежели сколько оного имеет N. N., — и вы из всего того выведете справедливое заключение, что человек, подобный N. N., не заслуживает названия умного и никуда почти не может быть употреблен с пользою. Несмотря, однако, на то, он в общем мнении всегда будет слыть очень умным, потому что ученость, память, хитрость и острота его должны обморочить людей невнимательных и ленивых, которые составляют несравненно бо́льшую часть так называемой публики.

В заключение сих замечаний я должен еще сказать вам, что душевные недостатки наши имеют то особенное свойство, что они увеличиваются в удивительной прогрессии, если человек не постарается заблаговременно истреблять их. Оттого-то происходит, что умнейшие люди, как например Вольтер и другие, гордостию и самолюбием доведены были до таких заблуждений, в которых изобличены быть могут людьми самого обыкновенного и простого ума. Недостаток, дошедший до такой степени, далеко превышает 15 градусов (принятые мною за высшую степень); а потому я изображаю оный таким образом. (Смотри фигуру третью.)



Фигура третья.

Вот, любезный Антоний, наблюдения, сделанные мною над умом человеческим. Они, мне кажется, могут служить достаточным ответом на два вопроса: первый — почему люди, слывущие в свете умными, часто делают глупости? и второй — каким образом можно определить степень ума человеческого? В исчислении разных родов ума и душевных недостатков пропущены мною весьма многие; но повторяю, что вы сами, смотря по обстоятельствам, можете оные дополнить.

— От искреннего сердца благодарю вас, почтенный Двойник, за принятый вами на себя труд. В заключениях ваших я нахожу много справедливого; но позвольте сделать вам еще один вопрос. Вы научили меня, каким образом составлять фигуру, показывающую степень ума и способностей; это очень хорошо. Наставьте же меня теперь, как мне должно *узнавать* разные роды ума человека и душевные его качества? Без необходимого сего познания мне ни к чему не послужат фигуры ваши; ибо не зная человека, я не могу определить: сколько градусов того или другого рода ума или порока он имеет?

— Эта задача, — сказал Двойник, — еще мудренее первых двух. Трудно, очень трудно разрешить ее. Вы хотите научиться узнавать разные роды ума человека и душевные его способности? Вообразите себе, любезный Антоний, открытый сверху сосуд, в котором находится множество веществ не в равном количестве, беспрестанно движущихся так, что то один предмет взберется наверх, то другой. Положим, что вы желаете знать, какие вещества заключаются в этом сосуде и в каком именно количестве, но что опрокинуть его, чтоб увидеть дно, вы не в силах; что в таком случае вам делать остается? Стоять перед сосудом, внимательно наблюдать, какие предметы наверх взбираются и которые из них чаще прочих показываются; наконец дождаться, пока все предметы одни за другими явятся пред глаза ваши, — и только тогда вы с некоторою вероятностию судить можете о том, что заключается в сосуде. Почти таким же образом, но с бóльшим терпением, должно наблюдать и человека... Бывают, конечно, люди, которые так проницательны и имеют такое верное чутье, что с первого почти взгляда угадывают, что в сосуде кроется; но такие люди редки, очень редки; да и они иногда ошибаются. К этому прибавить я должен еще и то, что если природа не одарила вас достаточным количеством здравого рассудка, проницательности и сметливости, то никакими уроками невозможно научить вас познанию людей.

— Когда так (не прогневайтесь, почтенный друг, за мою откровенность!), то, по мнению моему, фигуры ваши совершенно бесполезны; ибо того, кто не одарен природною способностию познавать людей, они

научить тому не могут; а тот, кто от природы получил сию способность, не имеет в фигурах никакой нужды.

— Любезный Антоний! — отвечал Двойник, — я не виноват, что разрешение первых двух вопросов родило третий, на который удовлетворительного ответа я дать вам не в силах. Впрочем, я должен вам заметить, что вы крайне ошибаетесь, полагая, что тот, кто от природы получил способность познавать людей, не имеет никакой нужды в предложенных мною фигурах. Фигуры эти имеют целью привести в надлежащий порядок сделанные уже над кем-нибудь наблюдения и представляют легкий способ означать, в какой между собою мере находятся различного рода умы и недостатки человека, нам уже известного. Одним словом, они могут служить к пояснению понятий наших по сему предмету и способствовать к тому, чтоб с большею легкостию и некоторою вероятностию выводить заключение: как такой-то человек в таком-то случае поступит? Я ласкаю себя надеждою, что, смотря с этой точки на сообщенные мною вам мысли и замечания, вы не найдете их совершенно бесполезными. Но оставим эти разговоры до другого удобного случая... Теперь ваша очередь прочитать что-нибудь из своих сочинений. Впрочем, довольно уже поздно... Итак, до будущего свидания.

Тут мы расстались.

Вечер пятый

— Начинайте же, любезнейший Антоний! — сказал Двойник, посетивший меня на следующий вечер.

— Охотно, почтенный Двойник. Но прежде нежели исполню я желание ваше, я должен спросить у вас, читаете ли вы «Литературные новости», издаваемые при «Русском инвалиде»?[37]

— Нет! Признаюсь, я так занят, что недостает у меня на то времени.

— В таком случае без зазрения совести прочту вам повесть моего сочинения, напечатанную несколько лет тому назад в упомянутых «Новостях».

ЛАФЕРТОВСКАЯ МАКОВНИЦА

Лет за пятнадцать пред сожжением Москвы недалеко от Проломной заставы[38] стоял небольшой деревянный домик с пятью окошками в главном фасаде и с небольшою над средним окном светлицею. Посре-

ди маленького дворика, окруженного ветхим забором, виден был колодезь. В двух углах стояли полуразвалившиеся анбары, из которых один служил пристанищем нескольким индейским и русским курам, в мирном согласии разделявшим укрепленную поперек анбара веху. Перед домом из-за низкого палисадника поднимались две или три рябины и, казалось, с пренебрежением смотрели на кусты черной смородины и малины, растущие у ног их. Подле самого крыльца выкопан был в земле небольшой погреб для хранения съестных припасов.

В сей-то убогий домик переехал жить отставной почтальон Онуфрич с женою Ивановною и с дочерью Марьею. Онуфрич, будучи еще молодым человеком, лет двадцать прослужил в поле[39] и дослужился до ефрейторского чина; потом столько же лет верою и правдою продолжал службу в московском почтамте; никогда, или по крайней мере ни за какую вину, не бывал штрафован и наконец вышел в чистую отставку и на инвалидное содержание. Дом был его собственный, доставшийся ему по наследству от недавно скончавшейся престарелой его тетки. Сия старушка, при жизни своей, во всей Лафертовской части[40] известна была под названием *Лафертовской маковницы*, ибо промысл ее состоял в продаже медовых маковых лепешек, которые умела она печь с особенным искусством. Каждый день, какая бы ни была погода, старушка выходила рано поутру из своего домика и направляла путь к Проломной заставе, имея на голове корзинку, наполненную маковниками. Прибыв к заставе, она расстилала чистое полотенце, перевертывала вверх дном корзинку и в правильном порядке раскладывала свои маковники. Таким образом сидела она до вечера, не предлагая никому своего товара и продавая оный в глубоком молчании. Лишь только начинало смеркаться, старушка собирала лепешки свои в корзинку и отправлялась медленными шагами домой. Солдаты, стоящие на карауле, любили ее, ибо она иногда потчевала их безденежно сладкими маковниками.

Но этот промысл старушки служил только личиною, прикрывавшею совсем иное ремесло. В глубокий вечер, когда в прочих частях города начинали зажигать фонари, а в окрестностях ее дома расстилалась ночная темнота, люди разного звания и состояния робко приближались к хижине и тихо стучались в калитку. Большая цепная собака Султан громким лаем провозглашала чужих. Старушка отворяла дверь, длинными костяными пальцами брала за руку посетителя и вводила его в низкие хоромы. Там, при мелькающем свете лампады, на шатком дубовом столе лежала колода карт, на которых от частого употребления едва можно было различить бубны от червей; на лежанке стоял кофейник из крас-

ной меди, а на стене висело решето. Старушка, предварительно приняв от гостя добровольное подаяние — смотря по обстоятельствам, — бралась за карты или прибегала к кофейнику и к решету. Из красноречивых ее уст изливались рекою пророчества о будущих благах, и упоенные сладкою надеждою посетители при выходе из дома нередко вознаграждали ее вдвое более, нежели при входе.

Таким образом жизнь ее протекала покойно в мирных сих занятиях. Правда, что завистливые соседи называли ее за глаза колдуньею и ведьмою; но зато в глаза ей низко кланялись, умильно улыбались и величали бабушкою. Такое к ней уважение отчасти произошло от того, что когда-то один из соседей вздумал донести полиции, будто бы Лафертовская маковница занимается непозволительным гаданием в карты и на кофе и даже знается с подозрительными людьми! На другой же день явился полицейский, вошел в дом, долго занимался строгим обыском и наконец при выходе объявил, что он не нашел ничего. Неизвестно, какие средства употребила почтенная старушка в доказательство своей невинности; да и не в том дело! Довольно того, что донос найден был неосновательным. Казалось, что сама судьба вступилась за бедную Маковницу, ибо скоро после того сын доносчика, резвый мальчик, бегая по двору, упал на гвоздь и выколол себе глаз; потом жена его нечаянно поскользнулась и вывихнула ногу; наконец, в довершение всех несчастий, лучшая корова их, не будучи прежде ничем больна, вдруг пала. Отчаянный сосед насилу умилостивил старушку слезами и подарками — и с того времени всё соседство обходилось с нею с должным уважением. Те только, которые, переменяя квартиру, переселялись далеко от Лафертовской части, как например на Пресненские пруды, в Хамовники[41] или на Пятницкую, — те только осмеливались громко называть Маковницу ведьмою. Они уверяли, что сами видали, как в темные ночи налетал на дом старухи большой ворон с яркими, как раскаленный уголь, глазами; иные даже божились, что любимый черный кот, каждое утро провожающий старуху до ворот и каждый вечер ее встречающий, не кто иной, как сам нечистый дух.

Слухи эти наконец дошли и до Онуфрича, который, по должности своей, имел свободный доступ в передние многих домов. Онуфрич был человек набожный, и мысль, что родная тетка его свела короткое знакомство с нечистым, сильно потревожила его душу. Долго не знал он, на что решиться.

— Ивановна! — сказал он наконец в один вечер, подымая ногу и вступая на смиренное ложе, — Ивановна, дело решено! Завтра поутру пойду к тетке и постараюсь уговорить ее, чтоб она бросила про-

клятое ремесло свое. Вот она уже, слава Богу, добивает девятой десяток; а в такие лета пора принесть покаяние, пора и о душе подумать!

Это намерение Онуфрича крайне не понравилось жене его. Лафертовскую маковницу все считали богатою, и Онуфрич был единственный ее наследник.

— Голубчик! — отвечала она ему, поглаживая его по наморщенному лбу, — сделай милость, не мешайся в чужие дела. У нас и своих забот довольно: вот уже теперь и Маша подрастает; придет пора выдать ее замуж, а где нам взять женихов без приданого? Ты знаешь, что тетка твоя любит дочь нашу; она ей крестная мать, и когда дело дойдет до свадьбы, то не от кого иного, кроме ее, ожидать нам милостей. Итак, если ты жалеешь Машу, если любишь меня хоть немножко, то оставь добрую старушку в покое. Ты знаешь, душенька...

Ивановна хотела продолжать, как заметила, что Онуфрич храпит. Она печально на него взглянула, вспомнив, что в прежние годы он не так хладнокровно слушал ее речи; отвернулась в другую сторону и вскоре сама захрапела.

На другое утро, когда еще Ивановна покоилась в объятиях глубокого сна, Онуфрич тихонько поднялся с постели, смиренно помолился иконе Николая Чудотворца, вытер суконкою блистающего на картузе орла и почтальонский свой знак и надел мундир. Потом, подкрепив сердце большою рюмкою ерофеича,[42] вышел в сени. Там прицепил он тяжелую саблю свою, еще раз перекрестился и отправился к Проломной заставе.

Старушка приняла его ласково.

— Эй, эй! племянничек, — сказала она ему, — какая напасть выгнала тебя так рано из дому да еще в такую даль! Ну, ну, добро пожаловать; просим садиться.

Онуфрич сел подле нее на скамью, закашлял и не знал, с чего начать. В эту минуту дряхлая старушка показалась ему страшнее, нежели лет тридцать тому назад турецкая батарея. Наконец он вдруг собрался с духом.

— Тетушка! — сказал он ей твердым голосом, — я пришел поговорить с вами о важном деле.

— Говори, мой милой, — отвечала старушка, — а я послушаю.

— Тетушка! недолго уже вам остается жить на свете; пора покаяться, пора отказаться от сатаны и от наваждений его.

Старушка не дала ему продолжать. Губы ее посинели, глаза налились кровью, нос громко начал стукаться об бороду.

— Вон из моего дому! — закричала она задыхающимся от злости голосом. — Вон, окаянный!.. и чтоб проклятые ноги твои навсегда подкосились, когда опять ты ступишь на порог мой!

Она подняла сухую руку... Онуфрич перепугался до полусмерти; прежняя, давно потерянная гибкость вдруг возвратилась в его ноги: он одним махом соскочил с лестницы и добежал до дому, ни разу не оглянувшись.

С того времени все связи между старушкою и семейством Онуфрича совершенно прервались. Таким образом прошло несколько лет. Маша пришла в совершенный возраст и была прекрасна, как майский день; молодые люди за нею бегали; старики, глядя на нее, жалели о прошедшей своей молодости. Но Маша была бедна, и женихи не являлись. Ивановна чаще стала вспоминать о старой тетке и никак не могла утешиться.

— Отец твой, — часто говаривала она Марье, — тогда рехнулся в уме! Чего ему было соваться туда, где его не спрашивали? Теперь сидеть тебе в девках!

Лет двадцать тому назад, когда Ивановна была молода и хороша, она бы не отчаялась уговорить Онуфрича, чтоб он попросил прощения у тетушки и с нею примирился; но с тех пор как розы на ее ланитах стали уступать место морщинам, Онуфрич вспомнил, что муж есть глава жены своей, — и бедная Ивановна с горестью принуждена была отказаться от прежней власти. Онуфрич не только сам никогда не говорил о старушке, но строго запретил жене и дочери упоминать о ней. Несмотря на то, Ивановна вознамерилась сблизиться с теткою. Не смея действовать явно, она решилась тайно от мужа побывать у старушки и уверить ее, что ни она, ни дочь нимало не причастны дурачеству ее племянника.

Наконец случай поблагоприятствовал ее намерению: Онуфрича на время откомандировали на место заболевшего станционного смотрителя, и Ивановна с трудом при прощанье могла скрыть радость свою. Не успела она проводить дорогого мужа за заставу, не успела еще отереть глаз от слез, как схватила дочь свою под руку и поспешила с нею домой.

— Машенька! — сказала она ей, — скорей оденься получше; мы пойдем в гости.

— К кому, матушка? — спросила Маша с удивлением.

— К добрым людям, — отвечала мать. — Скорей, скорей, Машенька; не теряй времени; теперь уже смеркается, а нам идти далеко.

Маша подошла к висящему на стене в бумажной рамке зеркалу, гладко зачесала волосы за уши и утвердила длинную темно-русую косу

роговою гребенкою; потом надела красное ситцевое платье и шелковый платочек на шею; еще раза два повернулась перед зеркалом и объявила матушке, что она готова.

Дорогою Ивановна открыла дочери, что они идут к тетке.

— Пока дойдем мы до ее дома, — сказала она, — сделается темно, и мы, верно, ее застанем. Смотри же, Маша, поцелуй у тетки ручку и скажи, что ты соскучилась, давно не видав ее. Она сначала будет сердиться, но я ее умилостивлю; ведь не мы виноваты, что мой старик спятил с ума.

В сих разговорах они приблизились к дому старушки. Сквозь закрытые ставни сверкал огонь.

— Смотри же, не забудь поцеловать ручку, — повторила еще Ивановна, подходя к двери. Султан громко залаял. Калитка отворилась, старушка протянула руку и ввела их в комнату. Она приняла их за обыкновенных вечерних гостей своих.

— Милостивая государыня тетушка! — начала речь Ивановна.

— Убирайтесь к черту! — закричала старуха, узнав племянницу. — Зачем вы сюда пришли? Я вас не знаю и знать не хочу.

Ивановна начала рассказывать, бранить мужа и просить прощенья; но старуха была неумолима.

— Говорю вам, убирайтесь! — кричала она, — а не то!.. — Она подняла на них руку.

Маша испугалась, вспомнила приказание матушки и, громко рыдая, бросилась целовать ее руки.

— Бабушка сударыня! — говорила она, — не гневайтесь на меня; я так рада, что опять вас увидела!

Слезы Машины наконец тронули старуху.

— Перестань плакать, — сказала она, — я на тебя не сердита: знаю, что ты ни в чем не виновата, мое дитятко! Не плачь же, Машенька! Как ты выросла, как похорошела!

Она потрепала ее по щеке.

— Садись подле меня, — продолжала она, — милости просим садиться, Марфа Ивановна! Каким образом вы обо мне вспомнили после столь долгого времени?

Ивановна обрадовалась этому вопросу и начала рассказывать: как она уговаривала мужа, как он ее не послушался, как запретил им ходить к тетушке, как они огорчались и как, наконец, она воспользовалась отсутствием Онуфрича, чтоб засвидетельствовать тетушке нижайшее почтение.

Старушка с нетерпением выслушала рассказы Ивановны.

— Быть так, — сказала она ей, — я не злопамятна; но если вы искренно желаете, чтоб я забыла прошедшее, то обещайтесь, что во всем

будете следовать моей воле! С этим условием я приму вас опять в свою милость и сделаю Машу счастливою.

Ивановна поклялась, что все ее приказания будут свято исполнены.

— Хорошо, — молвила старуха, — теперь идите с Богом; а завтра ввечеру пускай Маша придет ко мне одна, не ранее, однако, половины двенадцатого часа. Слышишь ли, Маша? Приходи одна.

Ивановна хотела было отвечать, но старуха не дала ей выговорить ни слова. Она встала, выпроводила их из дому и захлопнула за ними дверь.

Ночь была темная. Долго шли они, взявшись за руки, не говоря ни слова. Наконец, подходя уже к зажженным фонарям, Маша робко оглянулась и прервала молчание.

— Матушка! — сказала она вполголоса, — неужели я завтра пойду одна к бабушке, ночью и в двенадцатом часу?..

— Ты слышала, что приказано тебе прийти одной. Впрочем, я могу проводить тебя до половины дороги.

Маша замолчала и предалась размышлениям. В то время когда отец ее поссорился с своей теткой, Маше было не более тринадцати лет; она тогда не понимала причины этой ссоры и только жалела, что ее более не водили к доброй старушке, которая всегда ее ласкала и потчевала медовым маком. После того, хотя и пришла уже она в совершенный возраст, но Онуфрич никогда не говорил ни слова об этом предмете; а мать всегда отзывалась о старушке с хорошей стороны и всю вину слагала на Онуфрича. Таким образом, Маша в тот вечер с удовольствием последовала за матерью. Но когда старуха приняла их с бранью, когда Маша при дрожащем свете лампады взглянула на посиневшее от злости лицо ее, тогда сердце в ней содрогнулось от страха. В продолжение длинного рассказа Ивановны воображению ее представилось, как будто в густом тумане, всё то, что в детстве своем она слышала о бабушке... и если б в это время старуха не держала ее за руку, то, может быть, она бросилась бы бежать из дому. Итак, можно вообразить, с каким чувством она помышляла о завтрашнем дне.

Возвратясь домой, Маша со слезами просила мать, чтоб она не посылала ее к бабушке; но просьбы ее были тщетны.

— Какая же ты дура, — говорила ей Ивановна, — чего тут бояться? Я тихонько провожу тебя почти до дому, дорогой тебя никто не тронет, а беззубая бабушка тоже тебя не съест!

Следующий день Маша весь проплакала. Начало смеркаться — и ужас ее увеличился; но Ивановна как будто ничего не примечала, — она почти насильно ее нарядила.

— Чем более ты будешь плакать, тем для тебя хуже, — сказала она. — Что-то скажет бабушка, когда увидит красные твои глаза!

Между тем кукушка на стенных часах прокричала одиннадцать раз. Ивановна набрала в рот холодной воды, брызнула Маше в лицо и потащила ее за собою.

Маша следовала за матерью, как жертва, которую ведут на заклание. Сердце ее громко билось, ноги через силу двигались, и таким образом они прибыли в Лафертовскую часть. Еще несколько минут шли они вместе; но лишь только Ивановна увидела мелькающий вдали между ставней огонь, как пустила руку Машину.

— Теперь иди одна, — сказала она, — далее я не смею тебя провожать.

Маша в отчаянье бросилась к ней в ноги.

— Полно дурачиться! — вскричала мать строгим голосом. — Что тебе сделается? будь послушна и не вводи меня в сердце!

Бедная Маша собрала последние силы и тихими шагами удалилась от матери. Тогда был в исходе двенадцатый час; никто с нею не повстречался, и нигде, кроме старушкина дома, не видно было огня. Казалось, будто вымерли все жители той части города; мрачная тишина царствовала повсюду; один только глухой шум от собственных ее шагов отзывался у нее в ушах. Наконец пришла она к домику и трепещущею рукою дотронулась до калитки... Вдали на колокольне Никиты-мученика[43] ударило двенадцать часов. Звуки колокола в тишине черной ночи дрожащим гулом расстилались по воздуху и доходили до ее слуха. Внутри домика кот громко промяукал двенадцать раз... Она сильно вздрогнула и хотела бежать... но вдруг раздался громкий лай цепной собаки, заскрипела калитка — и длинные пальцы старухи схватили ее за руку. Маша не помнила, как взошла на крылечко и как очутилась в бабушкиной комнате... Пришед немного в себя, она увидела, что сидит на скамье; перед ней стояла старуха и терла виски ее муравьиным спиртом.

— Как ты напугана, моя голубка! — говорила она ей. — Ну, ну! темнота на дворе самая прекрасная; но ты, мое дитятко, еще не узнала ее цены и потому боишься. Отдохни немного; пора нам приняться за дело!

Маша не отвечала ни слова; утомленные от слез глаза ее следовали за всеми движениями бабушки. Старуха подвинула стол на средину комнаты, из стенного шкафа вынула большую темно-алую свечку, зажгла ее и прикрепила к столу, а лампаду потушила. Комната осветилась розовым светом. Всё пространство от полу до потолка как будто напол-

нилось длинными нитками кровавого цвета, которые тянулись по воздуху в разных направлениях — то свертывались в клуб, то опять развивались, как змеи...

— Прекрасно! — сказала старушка и взяла Машу за руку. — Теперь иди за мною.

Маша дрожала всеми членами; она боялась идти за бабушкой, но еще более боялась ее рассердить. С трудом поднялась она на ноги.

— Держись крепко за полы мои, — прибавила старуха, — и следуй за мной... не бойся ничего!

Старуха начала ходить кругом стола и протяжным напевом произносила непонятные слова; перед нею плавно выступал черный кот с сверкающими глазами и с поднятым вверх хвостом. Маша крепко зажмурилась и трепещущими шагами шла за бабушкой. Трижды три раза старуха обошла вокруг стола, продолжая таинственный напев свой, сопровождаемый мурлыканьем кота. Вдруг она остановилась и замолчала... Маша невольно раскрыла глаза — те же кровавые нитки всё еще растягивались по воздуху. Но, бросив нечаянно взгляд на черного кота, она увидела, что на нем зеленый мундирный сертук; а на место прежней котовой круглой головки показалось ей человеческое лицо, которое, вытаращa глаза, устремляло взоры прямо на нее... Она громко закричала и без чувств упала на землю...

Когда она опомнилась, дубовый стол стоял на старом месте, темно-алой свечки уже не было и на столе по-прежнему горела лампада; бабушка сидела подле нее и смотрела ей в глаза, усмехаясь с веселым видом.

— Какая же ты, Маша, трусиха! — говорила она ей. — Но до того нужды нет; я и без тебя кончила дело. Поздравляю тебя, родная, — поздравляю тебя с женихом! Он человек очень мне знакомый и должен тебе нравиться. Маша, я чувствую, что недолго мне осталось жить на белом свете: кровь моя уже слишком медленно течет по жилам и временем сердце останавливается... Мой верный друг, — продолжала старуха, взглянув на кота, — давно уже зовет меня туда, где остылая кровь моя опять согреется. Хотелось бы мне еще немного пожить под светлым солнышком, хотелось бы еще полюбоваться золотыми денежками... но последний час мой скоро стукнет. Что ж делать! чему быть, тому не миновать.

— Ты, моя Маша, — продолжала она, вялыми губами поцеловав ее в лоб, — ты после меня обладать будешь моими сокровищами; тебя я всегда любила и охотно уступаю тебе место! Но выслушай меня со вниманием: придет жених, назначенный тебе тою силою,

которая управляет большею частию браков... Я для тебя выпросила этого жениха; будь послушна и выдь за него. Он научит тебя той науке, которая помогла мне накопить себе клад; общими вашими силами он нарастет еще вдвое, — и прах мой будет покоен. Вот тебе ключ; береги его пуще глаза своего. Мне не позволено сказать тебе, где спрятаны мои деньги; но как скоро ты выйдешь замуж, всё тебе откроется!

Старуха сама повесила ей на шею маленький ключ, надетый на черный снурок. В эту минуту кот громко промяукал два раза.

— Вот уже настал третий час утра, — сказала бабушка. — Иди теперь домой, дорогое мое дитя! Прощай! может быть, мы уже не увидимся... — Она проводила Машу на улицу, вошла опять в дом и затворила за собой калитку.

При бледном свете луны Маша скорыми шагами поспешила домой. Она была рада, что ночное ее свидание с бабушкой кончилось, и с удовольствием помышляла о будущем своем богатстве. Долго Ивановна ожидала ее с нетерпением.

— Слава Богу! — сказала она, увидев ее. — Я уже боялась, чтоб с тобою чего-нибудь не случилось. Рассказывай скорей, что ты делала у бабушки?

Маша готовилась повиноваться, но сильная усталость мешала ей говорить. Ивановна, заметив, что глаза ее невольно смыкаются, оставила до другого утра удовлетворение своего любопытства, сама раздела любезную дочку и уложила ее в постель, где она вскоре заснула глубоким сном.

Проснувшись на другой день, Маша насилу собралась с мыслями. Ей казалось, что всё случившееся с нею накануне не что иное, как тяжелый сон; когда же взглянула нечаянно на висящий у нее на шее ключ, то удостоверилась в истине всего, ею виденного, — и обо всем с подробностью рассказала матери. Ивановна была вне себя от радости.

— Видишь ли теперь, — сказала она, — как хорошо я сделала, что не послушалась твоих слез?

Весь тот день мать с дочерью провели в сладких мечтах о будущем благополучии. Ивановна строго запретила Маше ни слова не говорить отцу о свидании своем с бабушкой.

— Он человек упрямый и вздорливый, — примолвила она, — и в состоянии всё дело испортить.

Против всякого ожидания Онуфрич приехал на следующий день поздно ввечеру. Станционный смотритель, которого должность ему при-

казано было исправлять, нечаянно выздоровел, и он воспользовался первою едущею в Москву почтою, чтоб возвратиться домой.

Не успел он еще рассказать жене и дочери, по какому случаю он так скоро воротился, как вошел к ним в комнату прежний его товарищ, который тогда служил будочником в Лафертовской части, неподалеку от дома Маковницы.

— Тетушка приказала долго жить! — сказал он, не дав себе даже времени сперва поздороваться.

Маша и Ивановна взглянули друг на друга.

— Упокой, Господи, ее душу! — воскликнул Онуфрич, смиренно сложив руки. — Помолимся за покойницу, она имеет нужду в наших молитвах!

Он начал читать молитву. Ивановна с дочерью крестились и клали земные поклоны; но на уме у них были сокровища, их ожидающие. Вдруг они обе вздрогнули в одно время... Им показалось, что покойница с улицы смотрит к ним в комнату и им кланяется! Онуфрич и будочник, молившиеся с усердием, ничего не заметили.

Несмотря на то что было уже поздно, Онуфрич отправился в дом покойной тетки. Дорогою прежний товарищ его рассказывал всё, что ему известно было о ее смерти.

— Вчера, — говорил он, — тетка твоя в обыкновенное время пришла к себе; соседи видели, что у нее в доме светился огонь. Но сегодня она уже не являлась у Проломной, и из этого заключили, что она нездорова. Наконец, под вечер, решились войти к ней в комнату, но ее не застали уже в живых: так иные рассказывают о смерти старухи. Другие утверждают, что в прошедшую ночь что-то необыкновенное происходило в ее доме. Сильная буря, говорят, бушевала около хижины, тогда как везде погода стояла тихая; собаки из всего околотка собрались перед ее окном и громко выли; мяуканье ее кота слышно было издалека... Что касается до меня, то я нынешнюю ночь спокойно проспал; но товарищ мой, стоявший на часах, уверяет, что он видел, как с самого Введенского кладбища[44] прыгающие по земле огоньки длинными рядами тянулись к ее дому и, доходя до калитки, один за другим, как будто проскакивая под нее, исчезали. Необыкновенный шум, свист, хохот и крик, говорят, слышен был в ее доме до самого рассвета. Странно, что до сих пор нигде не могли отыскать черного ее кота!

Онуфрич с горестию внимал рассказу будочника, не отвечая ему ни слова. Таким образом пришли они в дом покойницы. Услужливые соседки, забыв страх, который внушала им старушка при жизни, успели

ее уже омыть и одеть в праздничное платье. Когда Онуфрич вошел в комнату, старушка лежала на столе. В головах у ней сидел дьячок и читал псалтырь. Онуфрич, поблагодарив соседок, послал купить восковых свеч, заказал гроб, распорядился, чтоб было что попить и поесть желающим проводить ночь у покойницы, и отправился домой. Выходя из комнаты, он никак не мог решиться поцеловать у тетушки руку.

В следующий день назначено быть похоронам. Ивановна для себя и для дочери взяла напрокат черные платья, и обе явились в глубоком трауре. Сначала всё шло надлежащим порядком. Одна только Ивановна, прощаясь с теткою, вдруг отскочила назад, побледнела и сильно задрожала. Она уверяла всех, что ей сделалось дурно; но после того тихонько призналась Маше, что ей показалось, будто покойница разинула рот и хотела схватить ее за нос. Когда же стали поднимать гроб, то он сделался так тяжел, как будто налитой свинцом, и шесть широкоплечих почтальонов насилу могли его вынесть и поставить на дроги. Лошади сильно храпели, и с трудом можно было их принудить двигаться вперед.

Эти обстоятельства и собственные замечания Маши подали ей повод к размышлениям. Она вспомнила, какими средствами сокровища покойницы были собраны, и обладание оными показалось ей не весьма лестным. В некоторые минуты ключ, висящий у нее на шее, как тяжелый камень давил ей грудь, и она неоднократно принимала намерение всё открыть отцу и просить у него совета; но Ивановна строго за ней присматривала и беспрестанно твердила, что она всех их сделает несчастными, если не станет слушаться приказаний старушки. Демон корыстолюбия совершенно овладел душою Ивановны, и она не могла дождаться времени, когда явится суженый жених и откроет средство завладеть кладом. Хотя она и боялась думать о покойнице и хотя при воспоминании об ней холодный пот выступал у нее на лице, но в душе ее жадность к золоту была сильнее страха, и она беспрестанно докучала мужу, чтоб он переехал в Лафертовскую часть, уверяя, что всякий их осудит, если они жить будут на наемной квартире тогда, когда у них есть собственный дом.

Между тем Онуфрич, отслужив свои годы и получив отставку, начал помышлять о покое. Мысль о доме производила в нем неприятное впечатление, когда вспоминал он о той, от которой он ему достался. Он даже всякий раз невольно вздрагивал, когда случалось ему вступать в комнату, где прежде жила старуха. Но Онуфрич был набожен и благочестив и верил, что никакие нечистые силы не имеют власти над чистою со-

вестью, и потому, рассудив, что ему выгоднее жить в своем доме, нежели занимать квартиру, он решился превозмочь свое отвращение и переехать.

Ивановна сильно обрадовалась, когда Онуфрич велел переноситься в лафертовский дом.

— Увидишь, Маша, — сказала она дочери, — что теперь скоро явится жених. То-то мы заживем, когда у нас будет полна палата золота. Как удивятся прежние соседи наши, когда мы въедем к ним на двор в твоей карете, да еще, может быть, и четверней!..

Маша молча на нее смотрела и печально улыбалась. С некоторых пор у нее совсем иное было на уме.

За несколько дней перед их разговором (они еще жили на прежней квартире) Маша в одно утро, задумавшись, сидела у окна. Мимо ее прошел молодой хорошо одетый мужчина, взглянул на нее и учтиво снял шляпу. Маша ему тоже поклонилась и сама не знала, от чего вдруг закраснелась! Немного погодя тот же молодой человек прошел назад, потом обернулся, прошел еще и опять воротился. Всякий раз он смотрел на нее, и у Маши всякий раз сильно билось сердце. Маше уже минуло семнадцать лет, но до сего времени никогда не случалось, чтоб у нее билось сердце, когда кто-нибудь проходил мимо окошек. Ей показалось это странным, и она после обеда села к окну — для того только, чтоб узнать, забьется ли сердце, когда опять пройдет молодой мужчина... Таким образом она просидела до вечера, однако никто не являлся. Наконец, когда подали огонь, она отошла от окна и целый вечер была печальна и задумчива; она досадовала, что ей не удалось повторить опыта над своим сердцем.

На другой день Маша, только что проснулась, тотчас вскочила с постели, поспешно умылась, оделась, помолилась Богу и села к окну. Взоры ее устремлены были в ту сторону, откуда накануне шел незнакомец. Наконец она его увидела; глаза его еще издали ее искали, а когда подошел он ближе, взоры их как будто нечаянно встретились. Маша, забывшись, приложила руку к сердцу, чтоб узнать, бьется ли оно?.. Молодой человек, заметив сие движение и, вероятно, не понимая, что оно значит, тоже приложил руку к сердцу... Маша опомнилась, покраснела и отскочила назад. После того она целый день уже не подходила к окну, опасаясь увидеть молодого человека. Несмотря на то, он не выходил у нее из памяти; она старалась думать о других предметах, но усилия ее были напрасны.

Чтоб разбить мысли, она вздумала ввечеру идти в гости к одной вдове, жившей с ними в соседстве. Входя к ней в комнату, к крайнему удивлению, увидела она того самого незнакомца, которого тщетно за-

быть старалась. Маша испугалась, покраснела, потом побледнела и не знала, что сказать. Слезы заблистали у ней в глазах. Незнакомец опять ее не понял... он печально ей поклонился, вздохнул — и вышел вон. Она еще более смешалась и с досады заплакала. Встревоженная соседка посадила ее возле себя и с участием спросила о причине ее огорчения. Маша сама неясно понимала, о чем плакала, и потому не могла объявить причины; внутренно же она приняла твердое намерение сколько можно убегать незнакомца, который довел ее до слез. Эта мысль ее поуспокоила. Она вступила в разговор с соседкой и начала ей рассказывать о домашних своих делах и о том, что они, может быть, скоро переедут в Лафертовскую часть.

— Жаль мне, — сказала вдова, — очень жаль, что лишусь добрых соседей; и не я одна о том жалеть буду. Я знаю одного человека, который очень огорчится, когда узнает эту новость.

Маша опять покраснела; хотела спросить, кто этот человек, но не могла выговорить ни слова. Услужливая соседка, верно, угадала мысли ее, ибо она продолжала так:

— Вы не знаете молодого мужчины, который теперь вышел из комнаты? Может быть, вы даже и не заметили, что он вчера и сегодня проходил мимо вашего дома; но он вас видел и нарочно зашел ко мне, чтоб расспросить у меня об вас. Не знаю, ошибаюсь ли я или нет, а мне кажется, что вы крепко задели бедное его сердечко! Чего тут краснеть? — прибавила она, заметив, что у Маши разгорелись щеки. — Он человек молодой, пригожий и если нравится Машеньке, то, может быть, скоро дойдет дело и до свадьбы.

При сих словах Машенька невольно вспомнила о бабушке. «Ах! — сказала она сама себе, — не это ли жених мне назначенный?» Но вскоре мысль эта уступила место другой, не столь приятной. «Не может быть, — подумала она, — чтоб такой пригожий молодец имел короткую связь с покойницею. Он так мил, одет так щеголевато, что, верно, не умел бы удвоить бабушкина клада!» Между тем соседка продолжала ей рассказывать, что он хотя из мещанского состояния, но поведения хорошего и трезвого, и сидельцем в суконном ряду. Денег у него больших нет, зато жалованье получает изрядное, и кто знает? Может быть, хозяин когда-нибудь примет его в товарищи!

— Итак, — прибавила она, — послушайся доброго совета: не отказывай молодцу. Деньги не делают счастья! Вот бабушка твоя, — прости, Господи, мое согрешение! — денег у нее было неведь сколько; а теперь куда всё это девалось?.. И черный кот, говорят, провалился сквозь землю — и деньги туда же!

Маша внутренно очень согласна была с мнением соседки; и ей также показалось, что лучше быть бедною и жить с любезным незнакомцем, нежели богатой и принадлежать — бог знает кому! Она чуть было не открылась во всем; но, вспомнив строгие приказания матери и опасаясь собственной своей слабости, поспешно встала и простилась. Выходя уже из комнаты, она, однако, не могла утерпеть, чтоб не спросить об имени незнакомца.

— Его зовут Улияном, — отвечала соседка.

С этого времени Улиян не выходил из мыслей у Маши: всё в нем, даже имя, ей нравилось. Но чтоб принадлежать ему, надобно было отказаться от сокровищ, оставленных бабушкою. Улиян был небогат, и, верно, думала она, ни батюшка, ни матушка не согласятся за него меня выдать! В этом мнении еще более она уверилась тем, что Ивановна беспрестанно твердила о богатстве, их ожидающем, и о счастливой жизни, которая тогда начнется. Итак, страшась гнева матери, Маша решилась не думать больше об Улияне: она остерегалась подходить к окну, избегала всяких разговоров с соседкою и старалась казаться веселою; но черты Улияна твердо врезались в ее сердце.

Между тем настал день, в который должно было переехать в лафертовский дом. Онуфрич заранее туда отправился, приказав жене и дочери следовать за ним с пожитками, уложенными еще накануне. Подъехали двое роспусок;[45] извозчики с помощию соседей вынесли сундуки и мебель. Ивановна и Маша, каждая взяла в руки по большому узлу, и маленький караван тихим шагом потянулся к Проломной заставе. Проходя мимо квартиры вдовы-соседки, Маша невольно подняла глаза: у открытого окошка стоял Улиян с поникшею головою; глубокая печаль изображалась во всех чертах его. Маша как будто его не заметила и отворотилась в противную сторону; но горькие слезы градом покатились по бледному ее лицу.

В доме давно уже ожидал их Онуфрич. Он подал мнение свое, куда поставить привезенную мебель, и объяснил им, каким образом он думает расположиться в новом жилище.

— В этом чулане, — сказал он Ивановне, — будет наша спальня; подле нее, в маленькой комнате, поставятся образа; а здесь будет и гостиная наша, и столовая. Маша может спать наверху в светлице. Никогда, — продолжал он, — не случалось мне жить так на просторе: но не знаю, почему у меня сердце не на месте. Дай Бог, чтоб мы здесь были так же счастливы, как в прежних тесных комнатах!

Ивановна невольно улыбнулась. «Дай срок! — подумала она, — в таких ли мы будем жить палатах!»

Радость Ивановны, однако, в тот же день гораздо поуменьшилась: лишь только настал вечер, как пронзительный свист раздался по комнатам и ставни застучали.

— Что это такое? — вскричала Ивановна.

— Это ветер, — хладнокровно отвечал Онуфрич, — видно, ставни неплотно запираются; завтра надобно будет починить.

Она замолчала и бросила значительный взгляд на Машу, ибо в свисте ветра находила она сходство с голосом старухи.

В это время Маша смиренно сидела в углу и не слыхала ни свисту ветра, ни стуку ставней — она думала об Улияне. Ивановне страшнее показалось то, что только ей одной послышался голос старухи. После ужина она вышла в сени, чтоб спрятать остатки от умеренного их стола; подошла к шкафу, поставила подле себя на пол свечку и начала устанавливать на полки блюда и тарелки. Вдруг услышала она подле себя шорох, и кто-то легонько ударил ее по плечу... Она оглянулась... за нею стояла покойница в том самом платье, в котором ее похоронили!.. Лицо ее было сердито; она подняла руку и грозила ей пальцем. Ивановна, в сильном ужасе, громко вскричала. Онуфрич и Маша бросились к ней в сени.

— Что с тобою делается? — закричал Онуфрич, увидя, что она была бледна как полотно и дрожала всеми членами.

— Тетушка! — сказала она трепещущим голосом... Она хотела продолжать, но тетушка опять явилась пред нею... лицо ее казалось еще сердитее — и она еще строже ей грозила. Слова замерли на устах Ивановны...

— Оставь мертвых в покое, — отвечал Онуфрич, взяв ее за руку и вводя обратно в комнату. — Помолись Богу, и греза от тебя отстанет. Пойдем, ложись в постель: пора спать!

Ивановна легла, но покойница всё представлялась ее глазам в том же сердитом виде. Онуфрич, спокойно раздевшись, громко начал молиться, и Ивановна заметила, что по мере того, как она вслушивалась в молитвы, вид покойницы становился бледнее, бледнее — и наконец совсем исчез.

И Маша тоже беспокойно провела эту ночь. При входе в светлицу ей представилось, будто тень бабушки мелькала перед нею, — но не в том грозном виде, в котором являлась она Ивановне. Лицо ее было весело, и она умильно ей улыбалась. Маша перекрестилась — и тень пропала. Сначала она сочла это игрою воображения, и мысль об Улияне помогла ей разогнать мысль о бабушке; она довольно спокойно легла спать и вскоре заснула. Вдруг, около полуночи, что-то ее разбудило.

Ей показалось, что холодная рука гладила ее по лицу... она вскочила. Перед образом горела лампада, и в комнате не видно было ничего необыкновенного; но сердце в ней трепетало от страха: она внятно слышала, что кто-то ходит по комнате и тяжело вздыхает... Потом как будто дверь отворилась и заскрипела... и кто-то сошел вниз по лестнице.

Маша дрожала как лист. Тщетно старалась она опять заснуть. Она встала с постели, поправила светильню лампады и подошла к окну. Ночь была темная. Сначала Маша ничего не видала; потом показалось ей, будто на дворе, подле самого колодца, вспыхнули два небольшие огонька. Огоньки эти попеременно то погасали, то опять вспыхивали; потом они как будто ярче загорели, и Маша ясно увидела, как подле колодца стояла покойная бабушка и манила ее к себе рукою... За нею на задних лапах сидел черный кот, и оба глаза его в густом мраке светились, как огни. Маша отошла прочь от окна, бросилась на постель и крепко закутала голову в одеяло. Долго казалось ей, будто бабушка ходит по комнате, шарит по углам и тихо зовет ее по имени. Один раз ей даже представилось, что старушка хотела сдернуть с нее одеяло; Маша еще крепче в него завернулась. Наконец всё утихло, но Маша во всю ночь уже не могла сомкнуть глаз.

На другой день решилась она объявить матери, что откроет всё отцу своему и отдаст ему ключ, полученный от бабушки. Ивановна во время вечернего страха и сама бы рада была отказаться от всех сокровищ; но когда поутру взошло красное солнышко и яркими лучами осветило комнату, то и страх исчез, как будто его никогда не бывало. Наместо того веселые картины будущей счастливой жизни опять заняли ее воображение. «Не вечно же будет пугать меня покойница, — думала она, — выйдет Маша замуж, и старуха успокоится. Да и чего теперь она хочет? Уж не за то ли она гневается, что я никак не намерена сберегать ее сокровища? Нет, тетушка! гневайся сколько угодно; а мы протрем глаза твоим рублевикам!» Тщетно Маша упрашивала мать, чтоб она позволила ей открыть отцу их тайну.

— Ты насильно отталкиваешь от себя счастие, — отвечала Ивановна. — Погоди еще хотя дня два, — верно, скоро явится жених твой, и всё пойдет на лад.

— Дня два! — повторила Маша, — я не переживу и одной такой ночи, какова была прошедшая.

— Пустое, — сказала ей мать, — может быть, и сегодня всё дело придет к концу.

Маша не знала, что делать. С одной стороны, она чувствовала необходимость рассказать всё отцу; с другой — боялась рассердить мать,

которая никогда бы ей этого не простила. Будучи в крайнем недоумении, — на что решиться, вышла она со двора и в задумчивости бродила долго по самым уединенным улицам Лафертовской части. Наконец, не придумав ничего, воротилась домой. Ивановна встретила ее в сенях.

— Маша! — сказала она ей, — скорей поди вверх и приоденься: уж более часу сидит с отцом жених твой и тебя ожидает.

У Маши сильно забилось сердце, и она пошла к себе. Тут слезы ручьем полились из глаз ее. Улиян представился ее воображению в том печальном виде, в котором она видела его в последний раз. Она забыла наряжаться. Наконец строгий голос матери прервал ее размышления.

— Маша! долго ли тебе прихорашиваться? — кричала Ивановна снизу. — Сойди сюда!

Маша поспешила вниз в том же платье, в котором вошла в свою светлицу. Она отворила дверь и оцепенела!.. На скамье, подле Онуфрича, сидел мужчина небольшого росту, в зеленом мундирном сертуке; то самое лицо устремило на нее взор, которое некогда видела она у черного кота. Она остановилась в дверях и не могла идти далее.

— Подойди поближе, — сказал Онуфрич, — что с тобою сделалось?

— Батюшка! это бабушкин черный кот, — отвечала Маша, забывшись и указывая на гостя, который странным образом повертывал головою и умильно на нее поглядывал, почти совсем зажмурив глаза.

— С ума ты сошла! — вскричал Онуфрич с досадою. — Какой кот? Это господин титулярный советник Аристарх Фалелеич Мурлыкин, который делает тебе честь и просит твоей руки.

При сих словах Аристарх Фалелеич встал, плавно выступая, приблизился к ней и хотел поцеловать у нее руку. Маша громко закричала и подалась назад. Онуфрич с сердцем вскочил с скамейки.

— Что это значит? — закричал он. — Эдакая ты неучтивая, точно деревенская девка!

Однако ж Маша его не слушала.

— Батюшка! — сказала она ему вне себя, — воля ваша! это бабушкин черный кот! Велите ему скинуть перчатки; вы увидите, что у него есть когти. — С сими словами она вышла из комнаты и убежала в светлицу.

Аристарх Фалелеич тихо что-то ворчал себе под нос. Онуфрич и Ивановна были в крайнем замешательстве, но Мурлыкин подошел к ним, всё так же улыбаясь.

— Это ничего, сударь, — сказал он, сильно картавя, — ничего, сударыня, прошу не прогневаться! Завтра я опять приду, завтра дорогая невеста лучше меня примет.

После того он несколько раз им поклонился, с приятностию выгибая круглую свою спину, и вышел вон. Маша смотрела из окна и видела, как Аристарх Фалелеич сошел с лестницы и, тихо передвигая ноги, удалился; но, дошед до конца дома, он вдруг повернул за угол и пустился бежать как стрела. Большая соседская собака с громким лаем во всю прыть кинулась за ним, однако не могла его догнать.

Ударило двенадцать часов; настало время обедать. В глубоком молчании все трое сели за стол, и никому не хотелось кушать. Ивановна от времени до времени сердито взглядывала на Машу, которая сидела с потупленными глазами. Онуфрич тоже был задумчив. В конце обеда принесли Онуфричу письмо; он распечатал — и на лице его изобразилась радость. Потом он встал из-за стола, поспешно надел новый сертук, взял в руки шляпу и трость и готовился идти со двора.

— Куда ты идешь, Онуфрич? — спросила Ивановна.

— Я скоро ворочусь, — отвечал он и вышел.

Лишь только он затворил за собою дверь, как Ивановна начала бранить Машу.

— Негодная! — сказала она ей, — так-то любишь и почитаешь ты мать свою? Так-то повинуешься ты родителям? Но я тебе говорю, что приму тебя в руки! Только смей опять подурачиться, когда пожалует к нам завтра Аристарх Фалелеич!

— Матушка! — отвечала Маша со слезами, — я во всем рада слушаться, только не выдавайте меня за бабушкина кота!

— Какую дичь ты опять запорола? — сказала Ивановна. — Стыдись, сударыня; все знают, что он титулярный советник.

— Может быть, и так, матушка, — отвечала бедная Маша, горько рыдая, — но он кот, право кот!

Сколько ни бранила ее Ивановна, сколько ее ни уговаривала, но она всё твердила, что никак не согласится выйти замуж за бабушкина кота; и наконец Ивановна в сердцах выгнала ее из комнаты. Маша пошла в свою светлицу и опять принялась горько плакать.

Спустя несколько времени она услышала, что отец ее воротился домой, и немного погодя ее кликнули. Она сошла вниз; Онуфрич взял ее за руку и обнял с нежностию.

— Маша! — сказал он ей, — ты всегда была добрая девушка и послушная дочь!

Маша заплакала и поцеловала у него руку.

— Теперь ты можешь доказать нам, что ты нас любишь! Слушай меня со вниманием. Ты, я думаю, помнишь о маркитанте, о котором я часто вам рассказывал и с которым свел я такую дружбу во время турецкой войны: он тогда был человек бедный, и я имел случай оказать ему важные услуги. Мы принуждены были расстаться и поклялись вечно помнить друг друга. С того времени прошло более тридцати лет, и я совершенно потерял его из виду. Сегодня за обедом получил я от него письмо; он недавно приехал в Москву и узнал, где я живу. Я поспешил к нему; ты можешь себе представить, как мы обрадовались друг другу. Приятель мой имел случай вступить в подряды, разбогател и теперь приехал сюда жить на покое. Узнав, что у меня есть дочь, он обрадовался; мы ударили по рукам, и я просватал тебя за его единственного сына. Старики не любят терять времени — и сегодня ввечеру они оба у нас будут.

Маша еще горче заплакала; она вспомнила об Улияне.

— Послушай, Маша! — сказал Онуфрич, — сегодня поутру сватался за тебя Мурлыкин; он человек богатый, которого знают все в здешнем околотке. Ты за него выйти не захотела; и признаюсь, — хотя я очень знаю, что титулярный советник не может быть котом или кот титулярным советником, — однако мне самому он показался подозрительным. Но сын приятеля моего — человек молодой, хороший, и ты не имеешь никакой причины ему отказать. Итак, вот тебе мое последнее слово: если не хочешь отдать руку свою тому, которого я выбрал, то готовься завтра поутру согласиться на предложение Аристарха Фалелеича... Поди и одумайся.

Маша в сильном огорчении возвратилась в свою светлицу. Она давно решилась ни для чего в свете не выходить за Мурлыкина; но принадлежать другому, а не Улияну — вот что показалось ей жестоким! Немного погодя вошла к ней Ивановна.

— Милая Маша! — сказала она ей, — послушайся моего совета. Всё равно, выходить тебе за Мурлыкина или за маркитанта: откажи последнему и ступай за первого. Отец хотя и говорил, что маркитант богат, но ведь я отца твоего знаю! У него всякий богат, у кого сотня рублей за пазухой. Маша! подумай, сколько у нас будет денег... а Мурлыкин, право, не противен. Хотя он уже не совсем молод, но зато как вежлив, как ласков! Он будет тебя носить на руках.

Маша плакала, не отвечая ни слова; а Ивановна, думая, что она согласилась, вышла вон, дабы муж не заметил, что она ее уговаривала. Между тем Маша, скрепя сердце, решилась принесть отцу на жертву любовь свою к Улияну. «Постараюсь его забыть, — сказала

она сама себе, — пускай батюшка будет счастлив моим послушанием. Я и так перед ним виновата, что против его воли связалась с бабушкой!»

Лишь только смерклось, Маша тихонько сошла с лестницы и направила шаги прямо к колодезю. Едва вступила она на двор, как вдруг вихрь поднялся вокруг нее, и казалось, будто земля колеблется под ее ногами... Толстая жаба с отвратительным криком бросилась к ней прямо навстречу, но Маша перекрестилась и с твердостию пошла вперед. Подходя к колодезю, послышался ей жалостный вопль, как будто выходящий с самого дна. Черный кот печально сидел на срубе и мяукал унылым голосом. Маша отворотилась и подошла ближе; твердою рукою сняла она с шеи снурок и с ним ключ, полученный от бабушки.

— Возьми назад свой подарок! — сказала она. — Не надо мне ни жениха твоего, ни денег твоих; возьми и оставь нас в покое.

Она бросила ключ прямо в колодезь; черный кот завизжал и кинулся туда же; вода в колодезе сильно закипела... Маша пошла домой. С груди ее свалился тяжелый камень.

Подходя к дому, Маша услышала незнакомый голос, разговаривающий с ее отцом. Онуфрич встретил ее у дверей и взял за руку.

— Вот дочь моя! — сказал он, подводя ее к почтенному старику с седою бородою, который сидел на лавке. Маша поклонилась ему в пояс.

— Онуфрич! — сказал старик, — познакомь же ее с женихом.

Маша робко оглянулась — подле нее стоял Улиян! Она закричала и упала в его объятия...

Я не в силах описать восхищения обоих любовников. Онуфрич и старик узнали, что они уже давно познакомились, — и радость их удвоилась. Ивановна утешилась, узнав, что у будущего свата несколько сот тысяч чистых денег в ломбарде. Улиян тоже удивился этому известию, ибо он никогда не думал, чтоб отец его был так богат. Недели чрез две после того их обвенчали.

В день свадьбы, ввечеру, когда за ужином в доме Улияна веселые гости пили за здоровье молодых, вошел в комнату известный будочник и объявил Онуфричу, что в самое то время, когда венчали Машу, потолок в лафертовском доме провалился и весь дом разрушился.

— Я и так не намерен был долее в нем жить, — сказал Онуфрич. — Садись с нами, мой прежний товарищ, налей стакан цимлянского и пожелай молодым счастия и — многие лета!

Эта повесть, — сказал Двойник, — более мне нравится, чем «Изидор и Анюта»; напрасно, однако ж, вы не прибавили развязки. Иной и в самом деле подумает, что Машина бабушка была колдунья.

— Для суеверных людей развязок не напасешься, — отвечал я. — Впрочем, кто непременно желает знать развязку моей повести, тот пускай прочитает «Литературные новости» 1825 года. Там найдет он развязку, сочиненную почтенным издателем «Инвалида»,[46] которую я для того не пересказал вам, что не хочу присвоивать чужого добра. Да неужто вы не верите гаданию на картах и на кофейной гуще?

— Виноват, дражайший Антоний, нимало не верю. Из любопытства я нарочно знакомился со всеми ворожеями и ворожейками, которых только отыскать мог, и каждое новое такого рода знакомство более и более меня утверждало в моем неверии.

— Согласитесь, однако, что иногда отгадывают будущее по картам!

— Соглашаюсь, любезный друг, но это ничего не доказывает. Что мудреного, если, часто гадая, что-нибудь и отгадаешь? Самому записному вралю иногда случается сказать правду; но за то не перестает он быть вралем.

— Но, — прервал я Двойника, — вам, верно, не случалось встречать настоящих ворожеек, а потому вы и не верите гаданию. Что, например, скажете вы о госпоже Le Normand, которая, говорят, предсказала судьбу первой супруге Наполеона, императрице Иозефине, тогда, когда Наполеон и не помышлял еще о разводе?

— Я имел честь лично познакомиться с госпожою Le Normand в бытность мою в Париже. Иозефина была еще в свежей памяти у парижан, и я точно помню, что носились слухи, будто бы Le Normand ей предсказывала, что она умрет на соломе. Вы знаете, что пророчество это не сбылось. Между тем ворожея лет десять после того воспользовалась давно забытыми слухами и напечатала, что она когда-то предсказывала Иозефине участь, ее постигшую... В то время новые и важнейшие происшествия занимали французов и изгладили из памяти их бедную Иозефину с мнимым предсказанием Le Normand; и никто не счел за нужное противоречить ее хвастовству. Что касается до меня, то, познакомившись с нею, я удостоверился в том, в чем и прежде не сомневался, а именно что она не что иное, как обыкновенная шарлатанка. Я опишу вам в подробности наше знакомство.

В одно утро я на площади Лудовика XV взял фиакр и приказал ему ехать к Le Normand. Жилище ее известно всем извозчикам в Париже, и потому фиакр мой, не требуя дальнейших объяснений, привез меня прямо к ее квартире. При входе в переднюю горничная встретила меня

с таинственным видом и спросила, что мне угодно? Я отвечал, что желаю посоветоваться с знаменитою ее госпожою.

— Покорнейше прошу подождать немного, — сказала она, отворяя дверь в гостиную, — барыня теперь занята.

Я вошел в гостиную и, подходя к окну, увидел, что горничная уже успела выбежать на улицу и весьма прилежно разговаривает с моим кучером, который, вероятно, не мог доставить ей никаких обо мне сведений.

Меня заставили довольно долго дожидаться, и я от скуки принялся рассматривать комнату, в которой находился. Она была убрана в новейшем вкусе: на камельке и столах бронзы, на стенах картины, а на окнах фарфоровые горшки с цветами. Прохаживаяся вдоль и поперек по комнате, я заметил, что зеленая занавесь, которая закрывала стеклянную дверь, ведущую во внутренние покои, от времени до времени шевелилась, и один раз мне удалось на одно мгновение увидеть два большие черные глаза, которые, как я после удостоверился, принадлежали самой волшебнице. Наконец, та же горничная пришла мне объявить, что госпожа Le Normand меня ожидает. Отворили стеклянную дверь, и я вступил в храм Пифии, которая присела передо мною новейшим манером. Я увидел женщину лет за сорок, среднего роста, довольно дородную, с большими черными глазами и такими же бровями. Горничная подала мне стул и вышла вон.

На столе, среди комнаты, стояли небесные глобусы и лежали разные математические инструменты, а между ними набитые чучелы: небольшой крокодил, ящерица и змея. По стенам развешаны были картины, представляющие разные магические фигуры. В одном углу стоял человеческий скелет, завешенный черным флером; в другом заметил я на полке три или четыре стеклянные банки с уродами в спирте. На просьбу мою открыть мне будущую судьбу, она отвечала вопросом: на каких картах я хочу, чтоб она загадала, на больших или на маленьких?

— Какая между ними разница? — спросил я.

— Гадание на маленьких картах стоит пять франков, а на больших десять.

— В таком случае прошу загадать на больших.

Волшебница взяла колоду карт, которые действительно были весьма большого размера, с странными изображениями и магическими знаками, помешала их, пошептала над ними, так же как и у нас в России это делается, и потом разложила их на столе. Тут начала она рассказывать мне многое, о котором могу объявить вам только, что ничего из сказанного со мною не сбылось.

Окончив гадание, волшебница встала, опять присела передо мною и весьма милостиво приняла от меня десять франков.[47] Потом спросила: не хочу ли я, чтоб она написала мой гороскоп, в котором означено будет всё, что со мною должно случиться в течение жизни?

— Очень хорошо, — отвечал я.

— Какой гороскоп прикажете, большой или маленький?

— А какая между ними разница?

— Большой стоит два луидора, а маленький один; но зато в большом гораздо более подробностей.

— Ну так напишите мне большой; я люблю подробности.

Дней чрез несколько я заехал опять к ней, получил подробный гороскоп и заплатил два луидора... Вот вам верное и точное описание моего знакомства с знаменитою госпожою Le Normand.

— А гороскоп? — спросил я у Двойника.

— Гороскоп как гороскоп, — отвечал он. — В нем весьма подробно описано всё, что должно было со мною случиться; но, к несчастию, волшебница на письме так же ошиблась, как на словах, то есть ни одно из предсказаний ее не сбылось. Если вы собираете рукописи знаменитых людей, то я готов подарить вам этот гороскоп, который с начала до конца писан рукою госпожи Le Normand.

— Покорно благодарю. Расскажите мне лучше, отчего так часто встречаются между умными и образованными людьми такие, кои верят гаданию, волшебству и колдовству?

— Оттого, любезный Антоний, что — как справедливо говорится пословица — на каждого мудреца довольно простоты. Кстати припоминаю я теперь, что между многими другими родами ума и душевных недостатков, не помещенными в сделанном мною выше исчислении, забыто также *легковерие*, которое между тем очень часто играет немаловажную роль в деяниях людских. Впрочем, правду сказать, нынешний свет скорее упрекать можно в неверии, нежели в легковерии. В древние времена это было совсем напротив. Геродот и Диодор Сицилийский, Цицерон и Плиний, Юлий Кесарь и Юлиан верили волшебству, колдовству и привидениям. Известнейшие древние авторы, и между ними сам Платон, говорят об этих предметах как о вещах весьма обыкновенных.

В средние веки еще более преданы были этому суеверию. Ужас меня берет всякий раз, когда я читаю, сколько в то время пострадало невинных людей за мнимое волшебство, — сколько сожжено и казнено ведьм и колдунов! И это случалось не только в Испании, которую привыкли мы обвинять за ее инквизицию, но в учтивой Франции и в важной Гер-

мании, и тогда уже славившихся просвещением! В царствование Генриха IV во Франции, по приговорам судов и парламентов, сожжено множество колдунов, ведьм и оборотней. В 1628 году Деборд (Desbordes), камердинер герцога Лотарингского Карла IV, обвинен был в колдовстве. Рассказывают, что герцог возымел на него подозрение с того времени, как камердинер сей, будучи с ним на охоте, дал ему и всей многочисленной компании великолепный пир, без малейших к тому приготовлений и не имея при себе ничего, кроме маленького ящичка, из которого он брал всё, что нужно было для пиршества. В тот же день Деборд приказал трем казненным ворам, которых трупы висели на виселицах, сойти с оных и потом опять возвратиться на прежние места. В другой раз он велел изображенным на обоях лицам отделиться от стен и стать посреди комнаты. Бедного Деборда судили формальным порядком и публично сожгли на костре.[48]

Преследования колдунов продолжались еще в царствование Лудовика XIV[49] и после оного. В Германии также, и уже после того, как возникла Реформация,[50] во время Тридцатилетней войны[51] и даже долгое время после оной, во всех концах, у католиков и лютеран, публично жгли ведьм, — и число сих жертв самого непростительного суеверия теперь кажется нам неимоверным!

Древние не так жестоко поступали с колдунами, хотя и у них встречаем мы примеры людей, осужденных на смерть за волшебство. Тацит рассказывает, что Тиберий обучался магии и потом, осудив на смерть всех волшебников, вместе с ними велел умертвить и учителя своего Фрасивула.[52] Во времена Клавдия[53] также казнили одного римлянина за волшебство. Павзаний говорит,[54] что в Афинах учреждено было особенное судилище для отыскания и наказания волшебников. Но примеры смертных казней у них не так были часты, хотя суеверие это для них, погруженных во мраке идолопоклонничества, извинительнее было, нежели для нас. Признаюсь, что я имею некоторое пристрастие к древним; и потому, может быть, повести римлян и греков о ведьмах и привидениях для меня несравненно занимательнее всего, что в теперешнее время о том пишут и рассказывают.

— Часто ли, — спросил я у Двойника, — в их творениях встречаются подобные рассказы?

— Весьма часто, — отвечал он. — В то время вовсе не знали так называемых крепких умов (esprits forts). Как подумаешь, любезный Антоний, как с тех пор свет переменился! Тогда славнейшие мудрецы боялись отвергать то, чего не понимали; а теперь — посмотрите на детей, едва из школы вышедших: они никому и ничему не верят, никого и ни-

чего не боятся; а что касается до отвлеченных предметов, так им море по колено!

— Не верьте этому, почтенный Двойник! не верьте пожалуйте! Бедные дети принимают только на себя вид крепких умов, между тем как у них совсем иное на душе. Виноваты не они, а родители и воспитатели, которые не умеют ни укрощать самолюбия их, ни давать правильное направление неопытному и пылкому их уму. Но я прервал начатый вами разговор о древних. Весьма бы мне приятно было, если бы вы рассказали какое-нибудь древнее происшествие о привидениях или колдовстве.

— Вы уже слышали от меня, — отвечал Двойник, — приключение двух аркадян, о котором повествует Цицерон. Оно почерпнуто им из Спевзиппа.[55] Ту же самую историю рассказывает Валерий Максим с небольшими отступлениями.[56] Вообще сказать можно, что в редком авторе не найдете вы чего-либо касательно сего предмета. Геродот — кроме других этого рода анекдотов — рассказывает о привидении, являвшемся два раза Ксерксу пред войною персов с греками.[57] Плутарх, Аппиан и Флор упоминают о явлении, которое видел Брут.[58] Плиний рассказывает даже, что к одному из собственных его невольников неоднократно лазило привидение в окно, для того чтоб остричь ему волосы... Приключения с мертвецами, которые беспокоят живых, потому что кости их не погребены, также очень часто у них встречаются. Тот же Плиний с большими подробностями рассказывает случившееся с философом Афенодором, который, прибыв в Афины, нанял за весьма дешевую цену дом, остававшийся долгое время без жильцов по той причине, что в полночь приходило туда привидение в образе сухого и угрюмого старика в цепях, с длинною бородою и всклоченными волосами. Афенодор переехал жить в тот дом и узнал от старика, что кости его зарыты на дворе. На другой день их отрывают, погребают торжественно — и с того времени в доме сделалось спокойно.[59]

— Если вы желаете иметь сведения о тогдашних ведьмах, — продолжал Двойник, — то можете оные почерпнуть также из творений древних авторов. Читали ль вы «Золотого осла» Апулеева?

— Нет, — отвечал я.

— Жаль, — сказал Двойник, — эта книга весьма любопытна во многих отношениях. На русском языке есть перевод Кострова, напечатанный в Москве 1780 года. Перевод этот довольно хорош, но писан языком грубым и ныне обветшалым. Если когда-нибудь вздумают сделать новое издание, то надобно будет, кроме исправлений касательно языка, выпустить несколько неблагопристойных сцен и выражений.

В Апулее найдете вы, кроме любопытных подробностей о жизни древних, об Элевзинских таинствах и прочем, множество страшных историй, которые даже годились бы для баллад. Если вам угодно, я расскажу из него повесть об одном купце, по имени Сократе, зарезанном ведьмою, которая заткнула потом рану его грецкою губкою... Бедный Сократ, не заметив этого, ходил еще несколько часов и разговаривал с своими товарищами. Наконец он почувствовал жажду и лишь только выпил воды, как губка намокла, выпала из раны, и он без дыхания упал на землю... Я должен, однако, предварить вас, что история эта ужасна!

— Так лучше не рассказывайте, — прервал я Двойника. — Я не люблю ужасных историй.

— В таком случае расскажу вам другую повесть, тоже из Апулея. Телефрон на пиршестве у Биррены повествует следующим образом: «В молодости моей отправился я из Милета, чтоб видеть олимпийские игры и осмотреть все достопамятности славной вашей области. Прошед всю Фессалию, прибыл я, к несчастию моему, в город Лариссу, где бродил по улицам и старался сыскать себе пропитание, будучи весьма беден и не имея даже насущного хлеба. Нечаянно пришел я на площадь и увидел старика высокого роста, который стоял на камне и громким голосом кричал народу: „Если кто согласен стеречь мертвого, тот пусть со мною торгуется о цене". С удивлением спросил я у одного из проходящих: что это значит? „Неужели, — сказал я ему, — в стране вашей мертвецы уходят?" — „Молчи, молодой человек! — отвечал он. — Ты, видно, иностранец и не помышляешь о том, что находишься среди Фессалии, где волшебницы обыкновенно обезображивают лицо у мертвых и уносят некоторые части тела для своих чар!" Слова эти еще более возбудили мое любопытство, и я опять спросил у него: „Скажи пожалуй, каким же образом у вас стерегут мертвых?" — „Во-первых, — отвечал он, — должно целую ночь стоять на карауле, не смыкая глаз, и пристально смотреть на лежащий перед тобою труп, ни под каким видом не оглядываясь ни на одну минуту; в противном случае эти проклятые старухи, превратившись в какое-нибудь животное, так искусно и проворно подкрадываются, что даже солнце не могло бы их приметить. Они обыкновенно принимают на себя вид собак, мышей, птиц, а иногда даже мух; между тем, силою волшебства своего, стараются погрузить в глубокий сон того, кто охраняет тело. Одним словом, невозможно описать всех хитрых уловок, употребляемых волшебницами для достижения своей цели... Несмотря на то, за эту опасную должность редко платят более пяти или шести золотых статиров. Но я забыл упомянуть

еще об одном важнейшем обстоятельстве, а именно: если обязавшийся стеречь тело поутру не возвратит оного в совершенной целости, то у него самого насильно отрезывают те части, которые во время ночи украдены будут у мертвого".

Узнав обо всем обстоятельно, я смело подошел к старику и сказал ему решительно: „Полно тебе кричать; я готов стеречь твоего мертвеца, — скажи только, много ли я за то получу?" — „Шесть золотых статиров, — отвечал он. — Но послушай, юноша! — не забывай, что тебе поручено будет стеречь сына такого человека, который в целом городе считается из первых, и потому непременно ты должен охранить его от проклятых Гарпий". — „Экой вздор! — отвечал я смеясь, — разве ты не видишь, что я человек неутомимый и неусыпный. Уверяю тебя, что взор самого Аргуса не быстрее моего".

Старик, не сказав на это ни слова, повел меня в один дом, у которого большие вороты были заперты. Мы взошли на двор чрез маленькие задние дверцы, и он ввел меня в темный покой, где все окна были закрыты. Там увидел я женщину в черном платье, обливающуюся слезами. К ней подвел меня старик, сказав, что я берусь охранять тело ее мужа. Она откинула на обе стороны длинные волосы, закрывавшие лицо, которое, несмотря на печаль и смущение, показалось мне прекрасным, посмотрела на меня пристально и сказала: „Прошу тебя убедительно, старайся как можно тщательнее исполнить принятую тобою обязанность!" — „Об этом не беспокойтесь, — отвечал я, — обещайтесь только дать мне еще сколько-нибудь сверх договоренной цены". Она согласилась и немедленно повела меня в другой покой, где лежало тело ее мужа, покрытое белою пеленою. Открыв его, она подозвала приглашенных нарочно для сего свидетелей и показала им, что тело нисколько не повреждено: нос на своем месте, глаза не испорчены, уши и губы целы и подбородок таков, как был прежде. Один из свидетелей между тем записывал все ее слова на таблице, к которой приложила она печать свою и удалилась.

„Милостивая государыня! — закричал я вслед за нею. — Прикажите дать мне всё нужное!" — „А что тебе надобно?" — был ее ответ. „Мне нужна, — сказал я, — во-первых, большая лампада с достаточным количеством масла на всю ночь; потом несколько кружек вина и что-нибудь из кушанья, оставшегося от ужина".— „Как тебе не стыдно! — прервала она меня с досадою. — Ты требуешь остатков от ужина в таком доме, где с отчаяния уже несколько дней о кушанье и не помышляли. Или ты думаешь, что тебя сюда на пир позвали? Пристойнее бы тебе плакать и горевать вместе с нами, — потом, подозвав служан-

ку, — Миррена! — сказала она ей, — подай сюда тотчас лампаду с маслом". После того заперли меня с мертвым телом и удалились в другую часть дома.

Оставшись один для охранения покойника, я хорошенько протер себе глаза, чтоб приготовиться к новой свой должности, и от скуки начал петь, прохаживаясь по комнате. Между тем день склонился к вечеру, настала ночь, и повсюду водворилось глубокое молчание. Наконец, когда наступила полночь, вдруг объял меня страх и ужас! Я увидел маленького зверька, подобного кунице, который, вбежав в комнату, стал прямо против меня и так пристально вперил на меня острые глаза свои, что дерзость этой маленькой твари привела меня в смущение. „Убирайся отсель, мерзкая тварь! — закричал я, — убирайся в свою нору, пока не ушибу тебя!" Зверек тотчас убежал и скрылся от моих взоров. Потом вдруг объял меня такой сильный и непреодолимый сон...»[60]

Тут вспомнил я обещание, данное нами друг другу, и, хотя против желания, прервал Двойника.

— Повесть ваша весьма любопытна, — сказал я, — и мне бы очень хотелось знать, что происходило после того, как Телефрон заснул, но мы обещались взаимно напоминать друг другу, как скоро заговорим о подобных предметах, и я должен исполнить свое обещание. Прошу вас, однако, на этот только раз, сделать исключение из правила.

— Нет, любезный Антоний! — отвечал Двойник. — Вы знаете русскую пословицу: не давши слова, крепись, а давши, держись; и потому никак на то не могу согласиться. А чтоб вы более меня не просили, я теперь же вам откланяюсь... Прощайте!

Вечер шестой

— Сегодня, — начал Двойник при свидании нашем в следующий вечер, — расскажу я вам истинное приключение, случившееся с одним москвичом, моим приятелем. Я тогда же написал оное с собственных его слов. Вот оно.

ПУТЕШЕСТВИЕ В ДИЛИЖАНСЕ

Однажды вечером в дружеской беседе разговор зашел об учрежденных по петербургскому тракту дилижансах. Некоторые из приятелей моих, собственным опытом дознавшие пользу и выгоды этого учреждения, хвалили оное; а молодой Р., которого пламенная привязанность ко всему русскому иногда доводит до несправедливых суждений, утверждал, что дилижансы наши гораздо превосходнее тех, какие существуют в чужих краях.

— Кареты, — говорил он, — несравненно покойнее, проводники учтивее. Главное же преимущество наших дилижансов пред иностранными состоит в скорой езде. Если дорога изрядная, то путешествие от Москвы до Петербурга не продолжается более трех суток; и вы согласитесь со мною, что такая скорость в чужих краях, особливо в Германии, показалась бы невероятною. Может ли быть, — продолжал он, — что-нибудь скучнее и утомительнее немецких дилижансов? Вообразите себе огромную повозку, запряженную высокими, длинными тучными аргамаками,[61] которые от рождения своего никогда не бегали даже маленькою рысью. Нет! я однажды только испытал такое путешествие, да и то не рад был жизни. Сидя в огромном этом ящике, едва-едва подвигающемся вперед, я воображал, что нахожусь в лазаретной фуре... В самом деле, молчаливые мои спутники походили на больных, которых везут в гошпиталь, и одно только разноголосное их храпенье, когда они спали, свидетельствовало о том, что я еду не с покойниками.

— Полно, братец! — прервал я молодого Р. — Qui dit trop, ne dit rien.[a] Я не езжал в русских дилижансах, но иностранные довольно мне известны. Правда, что они двигаются немного медленно, но медленность эта вознаграждается такими выгодами, которые едва ли можно найти в России.

— А чем бы именно? — спросил Р.

— Приятным обществом, весьма нередко встречаемым в иностранных дилижансах, — отвечал я. — Мне неоднократно случалось путешествовать в Германии и скажу беспристрастно, что не проходило ни одного раза, чтоб не познакомился я с каким-нибудь человеком, занимательным по уму, просвещению или по крайней мере по оригинальности. Иногда встречались и такие знакомства, которых приятное впечатление и теперь, по прошествии десяти с лишком лет, не изгладилось еще из моей памяти.

---

[a] Кто много говорит, тот не говорит ничего. (*фр.*)

— Скажи лучше, из твоего сердца, — подхватил Р. — Мне очень известно романическое твое воображение и страсть везде искать оригиналов, а таким тебе кажется даже тот, у кого кафтан необыкновенного покроя или криво застегнут. Длинная коса или запачканный табаком камзол достаточны, в твоих глазах, для того чтобы поставить человека на степень оригинала, — и я нимало не сомневаюсь, что таких оригиналов ты находил в Германии много. Если же, вдобавок, случай привел сидеть тебе напротив или подле какой-нибудь круглоликой немочки, то неудивительно, что путешествия в Германии оставили приятное в тебе впечатление.

Все засмеялись; я закраснелся, посмотрел на часы — и мы разошлись, не решив задачи: какие дилижансы лучше, наши или иностранные?

На другой день обыкновенная утренняя моя прогулка нечаянно довела меня до Мясницкой. Проходя мимо конторы дилижансов, я увидел карету, готовую отправиться в путь. Не знаю, вчерашний ли разговор побудил меня обратить особенное на нее внимание или по другой какой причине, — довольно, что я очутился в конторе с твердым намерением ехать в Петербург.

— Много ли пассажиров? — спросил я у управляющего.

— В дилижансе занято одно только место, — отвечал он, — да вряд ли и будет более, потому что чрез час он должен отправиться, а никто не является.

Известие, что дилижанс пуст, почти отбило у меня охоту к путешествию; но сам не знаю почему, я вдруг решился записать свое имя и поспешил домой, чтоб приготовиться к отъезду. Не прошло еще часу, как я уже опять находился на Мясницкой. Спутник мой, закутанный в большом плаще, ожидал минуты отправления; мы сели в карету, ямщик ударил по лошадям — и вот мы уже на пути к Петербургу.

Вы, верно, ожидаете, что дорогою приключилось со мною что-нибудь необыкновенное, достойное моего повествования, а вашего любопытства? Если так, то вы в совершенном заблуждении. Мы доехали до столицы Севера без малейшего приключения; лошади везде были готовы, дорога была прекрасная, ничего в экипаже не ломалось, — одним словом, я удостоверился, что дилижансы наши если не лучше, то по крайней мере не хуже иностранных. Но если и не встретилось со мною никакого происшествия, выходящего из обыкновенного порядка, то в замену сего знакомство с моим товарищем и рассказы его показались мне столь занимательными и необыкновенными, что по приезде в Петербург я немедленно написал в подробности всё слышанное мною.

Садясь в дилижанс, я быстрым взором окинул моего спутника. Он показался мне человеком лет пятидесяти. Широкий плащ, которым он был закутан, препятствовал мне рассмотреть все черты лица его; но пламенные черные глаза являли душу пылкую и твердую, а густые навислые брови и глубокие морщины на высоком челе показывали мужа, испытанного горестями и несчастиями. Мне не нужно, кажется, упоминать, что при первом взгляде на незнакомого родилось во мне сильное желание с ним сблизиться. На приветствие мое он отвечал с учтивостию, в которой, однако, заметно было отвращение вступать со мною в разговор, и мы, сказав друг другу несколько слов, оба замолчали. По произношению его я тотчас отгадал, что незнакомец мой не русский. Он прижался к одному углу, а я к другому, и таким образом проехали мы первую станцию в совершенном безмолвии. От времени до времени я посматривал на него сбоку. Один раз незнакомец вынул из кармана платок, раскрыл немного плащ, и я заметил у него в петлице знаки Св. Лудовика и Почетного легиона.[62] «Без сомнения, француз!» — подумал я и, по прибытии в Черную Грязь,[63] поспешил выйти из кареты и спросить у проводника об имени моего спутника. Проводник подал мне подорожный лист, и я прочитал: «Отставной французской службы полковник Фан дер К...» Вот всё, что мог я узнать о товарище моем в продолжение первого дня.

Настала ночь, и проводник велел остановиться, чтоб зажечь фонари. Фан дер К... вдруг обратился ко мне; на лице его изображалось беспокойство.

— Милостивый государь! — сказал он, — позвольте мне спросить, не будет ли вам противно, если фонари останутся незажженными?

Вопрос этот немного удивил меня, но я отвечал ему на французском языке:

— Нимало не противно, государь мой; для меня всё равно.

— Мне весьма приятно, что вы говорите по-французски, — сказал полковник, — я свободнее могу объясниться с вами. Вы так снисходительны, что я осмеливаюсь еще просить вас, чтобы вы сами приказали проводнику не зажигать фонарей. Он вас, верно, охотнее послушается.

Я тотчас исполнил его желание; несмотря, однако, на настоятельные мои просьбы, проводник никак не согласился.

— Я должен оберегать экипаж и пассажиров, — был его ответ. — Ночь темная, и если случится какое несчастие, то мне беда будет.

Сопутник мой, по-видимому, слушал разговор наш с возрастающим беспокойством. Заметив наконец, что все старания напрасны, он тяжело вздохнул и сказал печальным голосом:

— Чувствительно благодарю вас за принятый труд; вижу, что делать нечего!

Пожелав мне покойного сна, он опять прижался в угол.

Сколь ни показалась мне странною просьба о незажигании фонарей, но я не мог никак решиться спросить о причине оной. В лице полковника, в словах его и во всей его наружности заключалось что-то таинственное, чего проникнуть я никакими догадками не мог, но что сильно увеличило желание мое познакомиться с ним короче. При слабом свете фонарей я видел, что товарищ мой сильно был встревожен. Я слышал, что тяжелые вздохи вырывались из его груди; меня самого объяло уныние. Немного погодя он привстал и оборотился ко мне. Мне показалось, что он всматривается, сплю ли я? и я закрыл глаза. Он вынул карманные часы, — они пробили двенадцать.

— Боже мой! — сказал он вполголоса, — какая страшная ночь!

Притворившись спящим, я наблюдал за ним целую ночь: он провел ее в непрестанном беспокойстве; перед рассветом он успокоился и заснул. Тщетно старался я последовать его примеру; несмотря на усталость мою, сон убегал меня упорно.

Тверская мостовая разбудила моего товарища. Он пристально взглянул на меня.

— Вы почти не спали прошлую ночь, — сказал я ему. — Вы, конечно, нездоровы?

— Нездоров? — отвечал он. — Дай Бог, чтобы я был нездоров! По несчастию, ничто меня не берет; здоровье у меня железное!.. Государь мой! — продолжал он по некотором молчании, заметив мое удивление, — поступки мои должны казаться вам странными, и если я вас обеспокоил, то надеюсь, что вы меня простите. Это совершенно было против моей воли. Я очень знаю, что общество мое должно для вас и для каждого быть тягостным, — и потому я никак бы не решился ехать в дилижансе, если б не полагал наверное, что буду один. В конторе мне сказали, что места никем не заняты; увидев вас, я подумал, что вы, может быть, займете которое-нибудь из наружных мест; а когда вы сели со мною в карету, то поздно уже было воротиться.

Я начал было уверять его, что он напрасно считает сообщество свое для меня неприятным; но он прервал меня на первых словах.

— Убедительно прошу вас оставить комплименты, — сказал он. — Я знаю самого себя. Если достанет у вас терпения выслушать меня до конца, то вы, надеюсь, обо мне пожалеете... Мы друг с другом не знакомы; внутренний голос говорит мне, однако, что вы добрый человек и примете во мне участие. Доверенность моя к вам самого меня удив-

ляет; я никому на свете совершенно не открывался. Но, видно, так угодно судьбе.

— Полковник! — вскричал я, с жаром схватив его руку. — Не сомневайтесь в том, что доверенность ваша относиться будет к человеку, умеющему ее ценить; и если в чем-нибудь я могу вам быть полезным, то за особенное почту счастие...

— Я уверен в вашей искренности, — отвечал полковник, — но никакая человеческая сила не в состоянии помочь моему горю. Повремените немного, — вы всё узнаете! Если не ошибаюсь, мы здесь должны переменить лошадей. Рассказ мой будет длинен, и чтоб нам не помешали, я начну его, как скоро опять пустимся в дорогу.

Читатель легко себе может представить, с каким нетерпением я ожидал минуты, которая должна была сблизить меня с человеком, возбудившим во мне живейшее участие, несмотря на недавнее знакомство наше.

Лишь только экипаж наш подвинулся опять вперед, товарищ мой начал свое повествование.

— Вы видите пред собою, — сказал он, — человека, который бесспорно назвать себя может несчастнейшим из смертных. Но вы удивитесь, когда я скажу вам, что несчастие мое происходит от обезьяны!

— От обезьяны! — вскричал я с изумлением. — Вы, конечно, шутите!

— От обезьяны, — повторил полковник с тяжелым вздохом, — от обезьяны, которой судьба тесно сопряжена с моею... Увы! сколько уже прошло тому лет, как шутки не приходят мне на ум! Выслушайте меня, и странность эта объяснится.

Я родился на острове Борнео. Отец мой, прослуживший лучшую часть жизни республике Соединенных Штатов, взял наконец отставку и решился последние свои дни провести в Борнео, где за несколько лет пред тем женился. Я был младший из детей и от роду имел не более нескольких недель, когда отец мой, оставя службу, поселился в небольшом поместье. Дом наш с одной стороны имел вид на море, а с другой — прилегал к густому лесу, простирающемуся до неизвестных стран, лежащих посреди Борнео. И поныне еще ни один европеец не проникал в те места. Подвиг этот предоставлен, может быть, будущим векам; но до сего времени не удавалось никому преодолеть препятствия, повсюду встречающие смельчаков, которые отваживаются углубиться в непроходимые леса сего острова. На каждом шагу бездонные пропасти и ревущие потоки останавливают путешественника. Дикие звери грозят ему смертию со всех сторон, и во мраке непроницаемых лесов

каждый шаг может пробудить ядовитых змей, скрывающихся в густой, высокой траве. Одним словом, многократные покушения правительства победить препятствия, которыми природа оградила внутренность острова, до сего времени не имели иного последствия, кроме погибели большого числа людей.

Но ужаснейшие и лютейшие враги европейцев, отваживающихся на отчаянное это предприятие, суть большого рода обезьяны, которыми наполнены дремучие леса острова. Животные эти — в совершенную противоположность прочим зверям, которые более или менее боятся человека, — нападают на людей, не страшась даже огнестрельного оружия. Одаренные неимоверным инстинктом, они нападения свои производят как будто по обдуманному плану. Самые сильные из них, вооружившись толстыми дубинами, составляют главную линию атаки, между тем как бесчисленное множество прочих со всех сторон бросают в неприятелей камнями, и так метко, что ни один не пролетает даром. Иногда обезьяны, скрывшись в самых дальних ветвях необозримой вышины дерев, допускают пройти мимо своего убежища, потом с быстротою стрелы опускаются на землю, вскакивают на плечи, острыми когтями выдирают глаза и грызут голову.

Вот, любезнейший друг, каковы обезьяны в моем отечестве! Все природные жители острова и бо́льшая часть простолюдинов из европейцев твердо уверены, что обезьяны эти суть особенный род диких людей, одаренных умом; и в этом мнении они тем более утверждаются, что животные сии, столь лютые против взрослых мужчин, оказывают особенную привязанность к женщинам и детям, которых редко убивают, но стараются увлекать с собою во глубину непроходимых лесов своих. Многие, и весьма ученые, испытатели природы последнее это обстоятельство сначала поставляли в числе басен, но теперь никто не сомневается в справедливости оного, и я сам, по несчастию, могу служить неопровергаемым тому доказательством.

Полковник Фан дер К... замолчал; печальные воспоминания, казалось, сильно волновали его душу; наконец он ободрился и продолжал:

— Я сказывал вам, что мне было не более нескольких недель, когда отец мой поселился в поместье своем. Первые четыре года жизни моей не оставили никакого впечатления в моей памяти, и оттого единственно я могу назвать их счастливыми, ибо все без исключения воспоминания мои, как острые ножи, раздирают мое сердце.

Мне минуло четыре года. В одно утро, когда я играл недалеко от родительского дому под присмотром няньки, толпа обезьян незапно показалась из лесу и нас окружила. На жалостный вопль устрашенной ня-

ни моей служители бросились к нам, но уже поздно! Хищники увлекли нас далеко в лес, и вскоре крик служителей совершенно потерялся из моего слуха. Участь няни моей осталась в неизвестности. Я не могу вспомнить ни времени, ни обстоятельств разлуки нашей. Сей первый период в жизни моей покрыт для меня туманом, и мне только представляется, как давно виденный сон, что похитители мои с удивительною скоростию бежали со мною. Обезьяна, державшая меня в лапах, вероятно, всячески старалась меня беречь; ибо, когда вскоре потом вся толпа остановилась на лужайке, окруженной густым лесом, меня, ничем не поврежденного, посадили на мягкую траву. Помнится мне, что животные эти подняли громкий визг и крик и что, при появлении одной большой обезьяны, все утихли. Обезьяна эта взяла меня в лапы и унесла с собою.

Не знаю, что происходило со мною в первые дни моего похищения. Воспоминания мои сливаются в живые и ясные картины около того только времени, когда я уже совсем привык к новому образу жизни. Память моя представляет мне пространную и покойную пещеру, где я жил с обезьяною. Набросанный в углу мягкий мох составлял для нас покойное ложе, и воспитательница моя холила и лелеяла меня с чрезвычайною нежностию.

Не знаю, будут ли вам понятны чувства, поселившиеся тогда в душе моей... Не покажется ли вам странным, если я вам признаюсь, что за нежность воспитательницы моей я платил взаимною любовию? что на ласки ее отвечал я ласками? Не забудьте, что мне не более было четырех лет и что в этом нежном возрасте едва развивающаяся душа не имеет еще той разборчивости, которая впоследствии столь резко отличает нас от прочих животных. Посмотрите со вниманием на дитя, которого вскармливают рожком: вы заметите, что оно нежность свою обращает к этому бездушному предмету, и тогда вам менее покажется удивительным привязанность моя к твари, одаренной некоторым умом.

Я провел более четырех лет в этом положении. Вскоре научился я с легкостию лазить на самые гладкие и высокие пальмы, сбивать камнями плоды с дерев, прыгать чрез рвы, — одним словом, в прогулках наших я редко отставал от воспитательницы моей, которая любовалась моими успехами. Она не препятствовала мне отлучаться из пещеры одному, радовалась, когда я возвращался домой, и награждала меня нежными ласками, когда приносил я добычу, состоявшую в кокосовых орехах, бананах и других плодах. Странно, что другие обезьяны, встречавшиеся со мною, никогда не причиняли мне ни малейшего вреда; казалось, что ди-

кий народ этот, так сказать, усыновил меня из уважения к моей воспитательнице.

Я совершенно забыл говорить; воспитательницу мою, не знаю сам почему, я прозвал Туту, — и она знала свое имя. Это был единственный звук, уподобляющийся человеческому языку. Впрочем, я во всем подражал моей воспитательнице: я визжал и пищал, как она. Во всё время пребывания моего с нею родительский дом вовсе не приходил мне на ум; я был счастлив. Туту моя ни на одну минуту не изменялась в привязанности своей ко мне; я не понимал языка ее, но нежные ласки и горячая ко мне любовь ее понятны были сердцу младенца!.. Не помню в ней ни капризов, ни других признаков дурного или избалованного нрава. Скажу более: в продолжение целой жизни моей я мало встречал женщин такого кроткого и доброго характера, такой непринужденной любезности и ничем непоколебимой веселости. Увы! нравственные совершенства этой доброй твари усугубляют ужасную вину, которая до конца бедственной жизни моей, а может быть и долее, будет тяготить мою душу!..

В одно утро, по обыкновению, я отправился за добычею. Всё, что в этот роковой день со мною приключилось, со всеми подробностями навсегда впечатлелось в моей памяти. Когда я пробежал довольно большое пространство, изощренный навыком взор мой открыл на самой вершине высокой пальмы птичье гнездо. Увидеть оное и взлезть на дерево было дело одного мгновения. Но как изобразить вам удивление, меня поразившее при виде, открывшемся предо мною! Глазам моим представилось море во всем своем величии. Необыкновенное это зрелище с первого взгляда поглотило всё мое внимание. Я забыл о птичьем гнезде...

Темные и для меня еще непонятные картины теснились в уме моем. Нечаянно обратил я взор немного в сторону, и новый предмет с быстротою молнии зажег в душе моей луч воспоминания о прежнем бытии. Это был родительский дом! Какая-то непобедимая сила заставила меня слезть с дерева и повлекла ближе, ближе к незнакомому предмету... Вышед из леса и подошед к дому, я увидел детей, сидящих перед оным и занимающихся невинными играми. Я остановился в недальнем от них расстоянии; они меня не замечали. Наконец я подошел еще ближе; жалостный вопль вырвался из груди моей, и я невольно протянул к ним руки.

— Маменька, маменька! — вскричала вдруг младшая сестра моя, девочка лет семи. — Подите скорей сюда, посмотрите, посмотрите!

Голос человеческий, голос сестры моей, слово «маменька!» разбудили в спящей душе моей давно забытые чувства; но я не мог еще понять

оных. Добрая мать моя на крик детей к нам вышла и, увидев меня пред ними, с распростертыми руками:

— Милосердый бог! — вскричала она, — это Фриц! — и бросилась ко мне! В одно мгновение окружили меня братья, сестры, отец, мать, служители. Матушка крепко прижала меня к сердцу; но я не умел отвечать на ее ласки. Рассказы родителей, впоследствии времени, дополнили в памяти моей понятие о том, что со мною происходило; но тогда я не понимал ничего... я стоял на одном месте как вкопанный, как бездушный. Темные воспоминания о прежнем существовании боролись во мне с привычкою к дикой жизни, с привязанностию к воспитательнице моей. Неизъяснимая горесть, соединенная с невольным страхом, вдруг стеснила мое сердце. Слабая искра давних воспоминаний, едва только во мне взгоревшаяся, потухла от сильного натиска диких чувствований, к которым привык я в лесу.

— Туту, Туту! — вскричал я, вырвался из объятий матери и больно укусил ее в руку... С трудом меня схватили, связали мне руки и ноги и отнесли в дом, где чрез несколько времени я успокоился.

Новое перерождение мое в человека совершалось хотя постепенно, но довольно быстро. В первую неделю я уже начал понимать слова родственников моих; вскоре после того я сам понемногу начал объясняться и тем несказанно обрадовал матушку, которая, по заботливой своей ко мне нежности, опасалась, что я навсегда лишился способности говорить. По прошествии трех или четырех месяцев по возвращении моем в родительский дом не осталось во мне никаких следов дикости, кроме необыкновенной в летах моих силы, проворства и ловкости.

Долговременное пребывание мое в лесу не имело вредного влияния даже на умственные мои способности. Казалось, что судьба желала вознаградить с лихвою потерянное время; ибо успехи мои в учении так были велики и быстры, что вскоре я далеко превзошел всех детей одного со мною возраста. При всем том в глубине сердца моего сохранялась сильная привязанность к дикой воспитательнице моей; но я до сего времени не понимаю, по какому тайному побуждению я всегда старался скрыть чувство это от моих родителей? Может быть, это происходило оттого, что родители мои при всяком случае показывали сильнейшую ненависть к обезьянам. Несчастные эти твари внушают такой ужас всем вообще жителям острова Борнео, что убиение одной из них считается благополучным происшествием. Как часто младенческий ум мой тревожим был мыслию, что добрая моя Туту огорчается моим отсутствием и ищет меня повсюду: в любимых дуплах наших, в пещерах и ямах, которые часто были свидетелями взаимной нашей привязанности! Я ужа-

сался, помышляя, что в поисках своих она может приблизиться к жилищу нашему; что жестокая пуля пронзит верное сердце ее и что я увижу неодушевленный труп ее, с торжеством влекомый к нам в дом... Воображению моему представлялось, что в глазах моих благодетельницу мою — вторую мою мать — терзают безжалостно и окровавленные члены ее бросают на съедение голодным собакам... В эти минуты отчаяние сжимало юное мое сердце; я делался молчалив и не способен к учению, и любимые мои игрушки не в состоянии были меня развеселить! Мне слышался знакомый голос любезной моей Туту; мне казалось, что она манит меня к себе, — и я почти готов был возвратиться в лес.

Прошло около трех лет после возвращения моего к родителям. В один вечер всё семейство наше, собравшись на прелестный луг перед домом, наслаждалось благорастворенным воздухом. Перед нами не более как в четверть версты расстилался лес, как густая зеленая занавесь. Вдруг пронзительный крик раздался к нам из лесу... Я вздрогнул; сердце мое узнало голос бедной Туту.

— Что это за крик? — спросила матушка.

— С некоторых пор, — отвечал мой родитель, — проклятые обезьяны опять являются около дому нашего. Но я взял свои меры: у нас всегда в готовности заряженные ружья!

Я ужаснулся, мороз подирал меня по коже, волосы стали дыбом... Я бы рад был пожертвовать жизнию, чтобы только предостеречь мою воспитательницу; но за мною строго присматривали. Приблизиться к лесу мне не было никакой возможности; а если б и удалось обмануть бдительный надзор всех домашних, то как бы я мог объяснить ей опасность, которой она подвергалась? Отчаянье овладело мною при мысли о моем бессилии, и я горько заплакал! Отец мой взглянул на меня внимательно, шепнул что-то матушке на ухо... меня отвели домой и уложили спать. Кровать моя стояла подле самого окна; я слышал, как спустили с цепи собаку, как слуги ходили около дому и бренчали ружьями. Под самым окном моим один из них остановился, — стук шомпола и щелканье курка раздались в ушах моих. По мне выступил холодный пот... С растерзанным сердцем я сложил руки и целую ночь молился о спасении бедной моей Туту.

В продолжение нескольких дней не преставали стеречь обезьяну. Не могу описать вам мучительного положения, в котором я находился. Я должен был скрывать свои чувствования; никто бы их не понял; все с ужасом и омерзением говорили о предмете, наполнявшем мое сердце. Наконец родители мои, по-видимому, перестали опасаться; ночной караул не так уже стал строг и потом вовсе прекратился.

Однако я долго не мог успокоиться; мысль, что несчастная воспитательница моя будет поймана или убита, беспрестанно меня тревожила, — и всякий раз, когда я ложился спать, я прислушивался с трепетом, не услышу ли знакомого голоса. В одну ночь показалось мне, что кто-то тихо царапается в окно; я привстал с постели и при свете луны узнал мою воспитательницу. Как изобразить, что я почувствовал?.. Радость ее видеть, опасение, чтоб ее не поймали, попеременно волновали мою душу. Тихонько отворил я окно, она протянула ко мне лапу; с жаром схватил я ее и прижал к груди. Нежные ласки напомнили мне счастливую и беззаботную жизнь, которую проводил я в лесу. В сердце моем, как дальний отголосок, отозвалось желание возвратиться в пещеру; но любовь моя к родителям, к братьям и сестрам одержала верх над этим желанием. Мне тогда уже было одиннадцать лет; я начинал понимать свое достоинство, и, несмотря на привязанность мою к бедной Туту, я чувствовал различие, существующее между человеком и обезьяною. Осыпав ее ласками, я старался объяснить ей знаками, чтоб она удалилась. Она как будто поняла меня, — с быстротою стрелы побежала прочь и вскоре скрылась из моих глаз.

С этого времени добрая Туту каждую ночь посещала меня, и долго свидания наши происходили без малейшего препятствия. Обыкновенно я ожидал ее прибытия; проницательный взор мой еще издали узнавал ее, несмотря на темноту ночи, и я заблаговременно отворял окно. Иногда сон преодолевал меня; тогда Туту легонько отворяла окошко, которого никогда я не запирал задвижкою, протягивала ко мне лапу и осторожно меня будила. Увы! сердце мое не предчувствовало ужасного происшествия, долженствовавшего прекратить наши свидания!

В один вечер я много резвился с братьями и сестрами и от усталости крепко заснул, лишь только лег в постель. Говорят, что сны предвещают нам будущее и что душа наша, так сказать, отделяясь от тела, имеет способность открывать нам то, что наяву от нас бывает скрыто. Может быть, это справедливо; но я по крайней мере в тот день не испытал прозорливости души моей. Еще поныне живо помню тогдашний мой сон. Мне снилось, будто я играю с братьями и сестрами и будто Туту участвует в наших играх. Мне представилось, что никто из родных моих не чувствует к ней той ненависти, которая столько ужасала меня наяву; напротив того, все ласкали бедную Туту, и душа моя плавала в восхищении. Упоенный столь сладостным зрелищем, я бросился в объятия батюшки и со слезами благодарил его за оказываемую любовь... Вдруг страшный крик раздался в ушах моих; я проснулся и вскочил с постели! Предо мною стоял батюшка; ярость изображалась во

всех его чертах; в левой руке держал он зажженный фонарь, в правой обнаженную саблю. Вдали слышал я жалостный вопль, который постепенно становился слабее и слабее... я узнал голос бедной моей Туту!

С трепетом взглянул я на батюшку.

— Мне не удалось убить проклятую обезьяну, — сказал он, — надеюсь, однако, что впредь она не будет тревожить твоего сна.

Матушка вошла в комнату.

— Что это значит? — вскричала она, — одеяло Фрица в крови! — Она бросилась ко мне.

— Это ничего, — отвечал батюшка. — Проходя мимо его комнаты, мне послышалось, что кто-то отворяет окно; я выглянул из дверей и при свете луны увидел большую обезьяну, стоящую у Фрицева окна. Я побежал к себе, взял саблю и фонарь и, к счастию, успел возвратиться в самую ту минуту, как обезьяна, отворив окно, протягивала лапу к Фрицу.... Из всех сил ударил я саблею, и отрубленная лапа отлетела прочь, а обезьяна скрылась в лес. Думаю, что у нее пройдет охота посещать Фрица!

Долго не мог я опомниться и не понимал, что со мною делалось; рассказ батюшкин всё объяснил... С ужасом взглянул я на одеяло — отрубленная лапа бедной Туту лежала у ног моих... Я пришел в исступление! Батюшка концом сабли поднял лапу и бросил ее в открытое окно.

Не помню, что со мною далее происходило; думаю, что я упал в обморок...

На другой день батюшка и матушка всячески старались разогнать грусть, меня терзавшую,— но я не отвечал на их ласки. В сердце моем возродилось какое-то чувство, которое как бы отталкивало меня от них. Мне кажется, что я уже не так нежно любил отца моего... Я не мог не видеть в нем гонителя доброй моей Туту, которую я привык почитать своею благодетельницею! Ввечеру я вышел на крыльцо; воспоминание о вчерашнем дне стесняло мое сердце, — я хотел подышать чистым воздухом. На лугу перед домом большая дворная собака наша играла с каким-то предметом, которого различить я не мог. Сам не понимаю, почему пришло мне в голову закричать «апорт!», и собака, приученная к повиновению, тотчас принесла ко мне в зубах — обгложенную лапу бедной моей Туту... я узнал ее и без чувств упал на землю.

Печальное это происшествие сделало глубокое впечатление на нрав мой; я перестал быть ребенком, детские игры нимало меня не забавляли.

Я учился хорошо; но когда, в часы отдохновения, братья и сестры мои предавались веселости, свойственной их летам, я сидел один в задумчивости, и все старания родителей моих меня рассеять были тщетны. О бедной моей Туту я не имел никакого известия и не знал, пережила ли она последнее наше свидание.

Таким образом протекло несколько годов. Сестры мои вышли замуж, братья вступили в службу. Мне минуло восемнадцать лет, когда отец мой скончался; матушка вскоре за ним последовала, и я остался один — один с своею тоскою... Я убегал знакомства с соседями; во всей окружности меня знали под именем Молчаливого Фрица. Время мое делилось между чтением и обработыванием сада моего. Иногда я ходил гулять, и всегда один; на плече у меня висело ружье, но единственно потому, что на острове Борнео все жители таким образом вооружены. Впрочем, в этих уединенных прогулках никогда мне не случалось употреблять свое оружие. Часто я углублялся в лес, но и там бродил в совершенной безопасности. Казалось, будто между мною и страшными для прочих жителей обезьянами заключен был тайный союз, который препятствовал им нападать на меня.

Однажды я сел отдохнуть под высокое кокосовое дерево. Мне послышался шорох, происходящий на самой вершине. Я поднял голову и увидел большую обезьяну, медленно спускающуюся ко мне. Зрелище это, которое всякого другого привело бы в ужас, нимало меня не обеспокоило. Я пристальнее стал всматриваться, — сердце мое сильно билось... Я заметил, что у обезьяны недоставало одной лапы, и все сомнения мои исчезли: это была Туту! Бедная тварь меня узнала; она бросилась ко мне, визжала, прыгала и всячески старалась изъявить свою радость. Я отвечал на ее ласки и не мог удержать слез, видя ее изувеченною и вспомнив, что привязанность ко мне была причиною ее несчастия.

Полковник немного помолчал и печально взглянул на меня. Заметив, что я растроган его рассказом, он пожал мне руку и продолжал:

— Я уверен, что вы не осудите меня, если я вам признаюсь, что встречу эту я считал величайшим для себя благом. Лишенный родителей, разлученный с родственниками, не имея ни друзей, ни знакомых, мог ли я быть равнодушным к этому доброму животному, которое за меня так жестоко пострадало и, несмотря на то, любило меня с прежнею горячностию?

Всякий день ходил я в лес для свидания с бедною Туту: я видел в ней единственное существо, принимающее во мне участие, и привязанность моя к ней день от дня увеличивалась. Но теперь я приближаюсь

к такой эпохе жизни моей, которой воспоминание раздирает мое сердце... дайте мне время собраться с духом...

Глубокая печаль выражалась в мужественных чертах полковника; я сам чрезвычайно был тронут. Рассказ спутника моего перенес воображение мое как будто в новый мир, в котором всё являлось мне в странном и необыкновенном виде. При всем том взаимная друг к другу привязанность полковника и Туту для меня была понятна. Я вспомнил, как часто случалось мне видеть, до какой степени может простираться в человеке страсть к лошадям, собакам, кошкам и другим животным! И страсть эта, иногда поглощающая священные чувства родства и дружбы, обыкновенно не основана на тех побудительных причинах, которые привязанность Фан дер К... к обезьяне соделывали достойною уважения. С нетерпением ожидал я продолжения, но полковник весь тот день провел в унылой задумчивости, которую прервать не имел я духу. Эта ночь еще была беспокойнее первой. Я наблюдал за ним со вниманием; мне казалось, что он видит пред собою какой-нибудь предмет, его ужасающий. Он что-то говорил вполголоса; я не мог различить слов его, но мне слышалось неоднократно имя его воспитательницы — бедной Туту.

На другой день товарищ мой продолжал рассказ свой таким образом:

— Сколь искренно ни любил я добрую Туту, сколь ни казалась для меня утешительною привязанность единственного существа в мире, которое принимало во мне участие, однако она не могла удовлетворить вполне требований души моей. Я достиг уже тех лет, когда сердце юноши начинает биться иным против прежнего размером; когда воркованье горлицы и страстная песнь соловья для него становятся понятными; когда журчанье вод, шорох листьев, аромат цветов говорят ему языком таинственным и вместе с сладкою тоскою вливают новую, еще не разгаданную жизнь в алчущую грудь его. И во мне возродились чувства, дотоле неизвестные, и волнения одинокого сердца моего повлекли меня к людям, которых прежде убегал я упорно!..

На острове Борнео 20 февраля, в день Льва Катанского, празднуют ежегодно собирание плодов, которые в это время бывают обильнее, нежели в прочие времена года. В этот день бо́льшая часть жителей собирается на берегу моря на пространном лугу, усеянном тенистыми деревьями. С самого восхождения солнца молодые люди обоего пола в прохладной сени занимаются разными играми или при звуке музыки кружатся в веселых плясках. Старики и старухи, сидя на мягкой мураве, смотрят на веселую беспечность детей своих, с удовольствием воспоми-

ная о протекшей молодости. Настает время обеда, и общество разделяется на разные группы. Богатые разноцветные ковры расстилаются по зеленой ниве, и заботливые хозяйки расставливают привезенные с собою съестные припасы.

Молодые люди посещают рассеянные по всему лугу семейственные круги, и везде их принимают с непринужденным гостеприимством. Со всех сторон слышны радостные песни. Весь тот день посвящен веселости, и вы не увидите ни одного печального лица. У кого грусть на сердце, тот или забывает ее на время, или остается дома. Когда солнце начнет склоняться к западу и вечерняя прохлада расстилается по воздуху, тогда все собираются в полукруг; посреди оного возвышается высокий гладкий шест, на вершине которого блестит вызолоченный деревянный орел с распростертыми крыльями.

Пылкие юноши, побуждаемые нетерпеливым желанием отличиться, наперерыв стараются показать свое искусство перед зрителями и из самопалов бросают в орла тупые стрелы. Вскоре орел разлетается на части; голова, крылья, ноги, хвост упадают на землю, и на шесте остается крепко утвержденное туловище птицы. Тут начинаются другого рода игры. Должно с одного приема взлезть на гладкий и зыбкий шест, снять с вершины остаток орла и с ним спуститься на землю. Действие это требует особенной ловкости и силы и редко кому удается. Победитель из рук прекрасной девушки, при радостном крике зрителей, получает венок, сплетенный из цветов и сопровождаемый поцелуем.

Настало 20 число февраля. С утра мне не приходило в голову участвовать в общем празднике. По обыкновению моему, я бродил по лесу, стараясь разогнать грусть, меня терзавшую. Нечаянно приблизился я к лугу... Издали слышен был громкий крик и радостные песни веселящегося народа; во мне родилась мысль идти далее. Долго желание это боролось с робостию; наконец я решился подойти ближе и остановился в нескольких шагах от одной веселой группы. Мне показалось, что приход мой изумил всех; начали пошептывать между собою, и я хотел было возвратиться назад в лес, — как вдруг одна дама, немолодых уже лет, отделилась от других и подошла ко мне.

— Это вы, Фриц? — сказала она, взяв меня за руку, и я узнал в ней приятельницу дома нашего, которая при жизни матушки часто у нас бывала и знала меня в малолетстве.

Воспоминание о доброй моей матери, которая так нежно нас всех любила, и чувство теперешнего моего сиротства и одиночества меня чрезвычайно растрогали. Слезы навернулись на глазах моих; я поце-

ловал у нее руку и не в силах был противиться приглашению занять место в веселом кругу ее семейства. Все приняли меня с непринужденною учтивостию; девицы приветствовали нового гостя с ласковым добросердечием, между ними была младшая дочь хозяйки, прелестная Амалия... Ах, друг мой! зачем жестокая судьба в тот день против воли привела меня в круг людей, которых до того времени избегал я по какому-то унылому предчувствию! Зачем взоры мои при первой встрече с Амалией невольно искали ее взоров? Зачем голос ее, и только один ее голос, при первом поражении слуха моего привел мое сердце в трепет и наполнил его неизъяснимым чувством сладостной грусти?

Я сел подле нее... Мой друг! вы имеете чувствительное сердце; вы, верно, любили! Увольте меня от описания того робкого недоумения, той сладостной надежды и страстного восхищения, которые попеременно наполняли и волновали мою душу! Я мало говорил с Амалией, но мы скоро поняли друг друга...

Начались обыкновенные игры. Все собрались в пространный полукруг около шеста. Амалии назначено было вручить венок счастливому победителю. Молодые люди, вооруженные самопалами, с приметным рвением спешили окружить шест. Я горел нетерпением присоединиться к ним; робость меня удерживала. Один раз я схватил самопал, но руки мои задрожали, и я принужден был отдать его другому. Вскоре орел разлетелся на куски. На вершине шеста осталось одно туловище... Счастливец, которому удастся его снять, должен получить из рук Амалии венок, сопровождаемый поцелуем! Я в первый раз видел Амалию; но кто, кроме меня, мог иметь право на этот венок — на этот поцелуй? Я твердо решился лезть на шест, но ноги мои прикованы были к земле. Я внутренно рвался с досады на самого себя, но не в силах был преодолеть свою робость. Между тем молодой человек, прекрасный собою, приближается; он скидает с себя кафтан, бросает страстный взгляд на Амалию — и смело обеими руками хватается за шест. И я взглянул на Амалию — и задрожал от ревности... Я посмотрел опять на шест; молодой человек поднимался кверху... Голова моя закружилась, я бледнел и краснел попеременно... Вот уж он приблизился к самой вершине; он протягивает руку, дотрогивается до орла... Глаза мои затмились, я не мог смотреть долее... я ничего не видел. Вдруг раздался крик зрителей. Поднимаю глаза... соперник мой не мог удержаться наверху и быстро скользил к земле... Орел еще был на шесте. Опять я взглянул на Амалию, и она глядела на меня улыбаясь. Улыбка эта меня оживила; я страшился, чтоб кто-нибудь другой меня не предупредил. Одно мгновение — и я стою у шеста; еще один взгляд на Амалию — и я подни-

маюсь кверху... Чрез несколько секунд достиг я вершины, снял орла и спустился с ним вниз. Тут встретили меня рукоплескания зрителей; но они едва касались слуха моего и не доходили до сердца; оно занято было одним только чувством... предощущением поцелуя Амалии! Я бросился к ее ногам; она упала в мои объятия, — мы оба забыли о венке...

С этого рокового вечера началась совершенно новая для меня жизнь. На другое утро рано я был уже в доме Амалии: меня приняли ласково, как старинного друга, как близкого родственника. Не прошло еще двух недель, как я сделался женихом Амалии; свадьбе нашей назначено быть чрез два месяца.

Дни протекшего счастия! Вы, как молния, пролетели мимо меня и в быстром полете своем навсегда истребили спокойствие моей души!.. Зачем не разрушили вы и памяти моей? зачем не увлекли с собою воспоминания, что я некогда был счастлив?..

Мой друг! я действительно тогда был счастлив. Весь день проводил я с Амалиею, кроме нескольких минут по восхождении солнца, посвящаемых той, которая, после Амалии, для меня всего дороже была в мире. Вы отгадаете, что я говорю о бедной Туту. Всякое утро ходил я в лес; всякое утро Туту меня там встречала. Казалось, что она меня еще более любила с тех пор, как я, познакомившись с Амалиею, не так долго, как прежде, оставался с нею. Одна мысль меня тревожила, — одного только недоставало к совершенному моему благополучию: Амалия не знала связи моей с Туту, и я не мог решиться ей о том сказать.

Я имел случай заметить, что и она питала такую же ненависть, такое же отвращение к большим обезьянам, как прочие жители острова Борнео. Однако я ласкал себя надеждою, что любовь ее ко мне преодолеет это предубеждение, и при первом удобном случае намерен был поговорить с нею.

Однажды, когда пришел я к Амалии, мне показалось, что она не так ласково меня приняла, как обыкновенно. Не зная, чему приписать это, я с нетерпением ожидал минуты, когда мы будем одни. Она, казалось, и сама того желала, ибо вскоре потом пошла в сад, куда и я за нею последовал. Лишь только мы вошли в уединенную аллею, Амалия обратилась ко мне.

— Фриц! — сказала она, — мы недавно знакомы друг с другом, но я люблю вас нежно, — вы это знаете! Скоро настанет день, в который священный обряд должен соединить нас неразрывными узами. Теперь еще время одуматься, — тогда будет поздно...

— Что вы говорите, Амалия? — прервал я ее с жаром. — Что с вами сделалось?

— Выслушайте меня спокойно, — отвечала она. — Мы дали слово принадлежать друг другу; но я скорей соглашусь от вас отказаться, нежели быть виною вашего несчастия... Дайте мне договорить, Фриц! Я знаю, что вы любите другую...

У меня не стало терпения ее выслушать.

— Амалия! — вскричал я, — любезная Амалия! Я вас не понимаю. Кто мог внушить вам такое гнусное мнение обо мне? Как! я люблю другую?..

— Неоткровенность эта, — сказала Амалия со слезами, — почти обиднее для меня, нежели неверность ваша. Не думайте обманывать меня далее; я докажу вам, что мне известно всё... Я знала, что вы всякое утро один ходите в лес, и любопытство побудило меня стараться узнать, какие вы к тому имеете причины. Сегодня, еще до света, я уже была близ дома вашего; солнце взошло, и я увидела, как вы приближались к лесу, как оглядывались на все стороны, опасаясь, чтоб вас кто-нибудь не приметил; я следовала за вами и спряталась за дерево. Ах, Фриц! я увидела, что вы с нетерпением кого-то ожидали; на лице вашем написано было беспокойство... Я дрожала как лист от страха и от мучительной неизвестности... Наконец вы увидели кого-то вдали, и печаль ваша превратилась в восхищение. «Вот она!» — вскричали вы громко, бросились далее в лес и скрылись из глаз моих... Слово «она» открыло мне тайну вашу, Фриц!.. Вы меня обманули!

— Милая, любезная Амалия! — вскричал я и упал к ее ногам. — Теперь настала минута совершенно открыть вам мое сердце; но не вините меня в неверности! Вы всё узнаете... Та, с которою имел я сегодня свидание, которую посещаю всякое утро в лесу, не женщина!

— Что вы говорите, Фриц? Возможно ли?

— Точно так, любезная Амалия! Выслушайте меня с терпением; давно желал я открыть вам эту тайну.

Мой друг! мы сели на дерновую скамью, и я рассказал Амалии происшествия жизни моей с того времени, как обезьяны меня похитили и утащили в лес. Я старался описать ей живейшими красками все добрые качества Туту, чтоб возбудить в ней участие к бедной этой твари. Я не мог удержаться от слез, когда говорил о том, как она пострадала за привязанность свою ко мне; наконец, я рассказал, как после долговременной разлуки мы опять увиделись, — как в продолжение нескольких лет Туту была единственным предметом, наполнявшим мое сердце.

— О Амалия! — сказал я, кончив мой рассказ, — вы добры и чувствительны; вы не пожелаете, чтоб я заплатил гнусною неблагодарностию за оказанные мне благодеяния и любовь; вы не будете препятствовать моим свиданиям с Туту, а может быть, со временем я столько буду счастлив, что вы согласитесь ее видеть. Нежная, добрая Туту достойна любви вашей.

— Нет! — вскричала Амалия, с ужасом вскочив с скамейки. — Нет, Фриц! это уже слишком много. Видеть вашу Туту?.. Я думаю, я умерла бы от страха. Фриц! — продолжала она, заметив мое смущение, — рассказ ваш так меня поразил, что я не знаю, что вам отвечать. Дайте мне опомниться; я должна собраться с мыслями, с духом... Прошу вас, оставьте меня сегодня одну. Завтра мы будем продолжать разговор наш. Я, право, думаю, что я нездорова, — мне надобно отдохнуть.

Я не мог выговорить ни слова; поцеловал у нее руку и тихими шагами пошел домой. Мой друг! это был последний поцелуй, последнее свидание мое с Амалиею...

Несколько часов спустя после того мне принесли записку от Амалии. Записка эта — я должен признаться — дышала любовию; но между тем Амалия требовала, — решительно требовала, чтоб я совсем отказался от Туту... Она описывала мне ужас и омерзение, которые с малых лет ей внушены были к этим обезьянам.

«Никогда, — говорила она, — никогда, Фриц, я не буду в силах равнодушно смотреть на эту связь. Всякий раз, когда ты от меня удалишься, я буду думать, что ты спешишь к Туту, которая, несмотря на романическую твою привязанность, все-таки не что иное, как гнусная обезьяна! Одну из нас ты должен непременно оставить! Избирай между нами... Если ты хотя немного меня любишь, Фриц, то выбор этот для тебя не будет затруднителен. Неужели ты променяешь меня на обезьяну?»

Мой друг! Вам известно, чем я был обязан бедной Туту; скажите, мог ли я согласиться на то, чтобы ее покинуть?.. Но я страстно любил Амалию; представьте же, в каком я находился положении! Я бросился в дом Амалии; там приняла меня ее мать.

— Я всё знаю, — сказала она, — говорите, на что вы решились?

— Я пришел просить Амалию сжалиться над бедною Туту!..

— Государь мой! — отвечала она, — если б дочь моя была столько слаба, что согласилась бы делить любовь вашу с обезьяною, то я бы до того не допустила. Чего не должна я опасаться вперед, когда и теперь уже вы для невесты не можете пожертвовать такою мерзкою тварью?

Нет, государь мой! вы не увидитесь с Амалией до тех пор, пока не дадите честного слова, что связь ваша с обезьяной навсегда прекратилась!

Она ушла, а я с отчаянием в сердце возвратился домой.

Остаток дня того провел я в мучительном беспокойстве. Сделаться неблагодарным против моей воспитательницы мне казалось невозможным; да и как мог я ее оставить? Я твердо был уверен, что Туту, как скоро я прекращу свиданья наши, решится выйти из лесу; и тогда она подвергнется неминуемой гибели... С другой стороны, как мог я отказаться от Амалии, которую любил я страстно, которую неоднократно клялся любить вечно?.. Ах, друг мой! я был в ужаснейшем положении!

Во всю ночь я не мог сомкнуть глаз ни на одну минуту. Рано поутру, лишь только солнце озарило остров, я встал с своего ложа, по обыкновению моему накинул ружье на плечо и пошел в лес. Там встретила меня Туту. Бедная Туту старалась веселыми прыжками и ужимками показать, как она рада была меня видеть! Но я стоял перед нею как вкопанный, с поникшею головою. Туту не привыкла видеть меня в таком положении; она еще более начала ко мне ласкаться и нечаянно дернула лапою за шнурок, на котором висел у меня на шее портрет Амалии; он упал на землю... Мой друг! я взглянул на прелестные черты ее; потом невольно посмотрел на Туту, и в эту минуту Амалия в сердце моем взяла верх над обезьяною. Я поднял портрет и в первый раз в жизни оттолкнул от себя Туту; потом отворотился от нее и хотел выйти из лесу. Я намерен был идти к Амалии. Сделав несколько шагов, я оглянулся... Туту тихонько шла за мною; я закричал на нее с досадою, еще сделал несколько шагов, опять оглянулся и увидел, что она всё за мною следует... Тут бешенство овладело мною... Я представил себе, что она в состоянии сыскать меня даже у Амалии... Мысли мои помутились... Я сам не знал, что делал. Ружье было заряжено; одно мгновение — раздался выстрел... бедная Туту пала к ногам моим, и я в то же время упал на землю, лишенный памяти...

Не знаю, сколько времени продолжался мой обморок. Когда я пришел опять в себя, Туту лежала подле меня, плавая в крови. Угасающий взор ее встретился с моим взором... Я бросился к ней, чтоб перевязать ее рану. Увы! уже было поздно! Она еще раз полизала мою руку — руку своего убийцы, и умерла в моих объятиях. Тут фурии отчаяния овладели мною... Я убил благодетельницу мою, вторую мою мать!.. Я ожидал, что земля разверзется подо мною; я недостоин был жить на свете. Сердце мое наполнилось ненавистью к Амалии; я стыдился и вместе ненавидел всех. Мне показалось страшно быть в отцовском до-

ме; я боялся, чтоб он не обрушился над моею головою. Всё меня пугало, всё внушало мне ужас. Куда ни бросал я взоры, умирающая Туту представлялась моим глазам; везде я слышал ее голос... На другой день я отправился на французском корабле в Европу.

Не буду рассказывать вам подробно дальнейших похождений моей жизни... Я вступил в службу Французской республики, надеясь в пылу кровавых битв забыть Туту и заглушить упреки совести моей. Я искал смерти, но она упорно меня убегала... Везде, везде тень убитой Туту меня преследовала! В пылу сражения, когда пули летали мимо ушей моих, свист их казался мне визгом бедной обезьяны. Ночью, когда товарищи отдыхали на биваках около огня, я один лежал с открытыми глазами; образ Туту показывался мне и в темной дали, и в дыму, клубящемся над огнем бивак, и в уединенном облаке, отделяющемся от темного неба. Когда утомленные вежды мои смыкались, — я незапно пробуждался и видел лежащую подле меня Туту, плавающую в крови и лижущую мои руки... Ах, мой друг! вы мне, верно, не поверите — да и собственный мой рассудок тому противится, — но я не могу не думать, что тень, меня преследующая, есть тень моей бедной Туту. Иногда, особливо в глухую полночь, я вижу ясно образ моей Туту; я ощущаю ее ласки; мне кажется... нет! мне не кажется, а я точно чувствую, что она лижет мою кровожадную руку...

Так кончил рассказ полковник Фан дер К... Я не отвечал ему ни слова. Тогда день клонился к вечеру, и мне самому показалось, что, кроме нас обоих, в карете находится еще третье существо, которого глаза мои различить не могли. Настала полночь, и мне послышалось, что кто-то царапает по стеклу окна... Я прижался в угол, закрыл глаза; однако заснуть не мог. Во всю ночь тяжкие вздохи полковника и визг бедной Туту раздавались в ушах моих.

На другой день, рано поутру, мы прибыли в Петербург; я расстался с Фан дер К... и с тех пор не видал его. Говорят, что он вскоре потом поехал в Новую Голландию, где съеден был дикими... Мир тени его! Лучше быть съедену дикими, нежели мучиться угрызениями совести.

Рассказанную вами теперь повесть, — сказал я Двойнику, — охуждать я не буду как из свойственной мне учтивости, так и потому, что она действительно показалась мне довольно занимательною. При всем том не могу не заметить, что все рассказы ваши немного отзываются какою-то оригинальностию, которая не всякому понравится. Намедни говорили вы о графе, который помешался в уме оттого, что влюбился в кук-

лу. А теперь и того лучше... Полковник — военный человек, привыкший к ужасам войны, — сходит с ума оттого, что когда-то застрелил обезьяну!.. Воля ваша, почтенный Двойник, а такие происшествия что-то не в природе!

— Не в природе? — вскричал Двойник, — я вижу, любезный Антоний, что вы не очень внимательно наблюдали природу человека. Нет деяния столь безумного, до которого не мог бы доведен быть человек, не умеющий обуздать своего воображения... Это говорю я относительно похождений графа N. Что же касается до полковника Фан дер К..., то безумие его (если так назвать это можно) происходило от иных причин. Фан дер К... мучила совесть — этот верный и строгий Аргус, которого сто глаз бдительно надсматривают за всеми поступками нашими, пока мы сами не усыпили его.[64] Страдания полковника проистекли от неблагодарности его к Туту; а неблагодарность, любезный Антоний, есть преступление столь гнусное, что чувствительный человек, имевший несчастие поступить так бесчеловечно с благодетельницей своей — хотя бы она была и обезьяна, — никогда не может быть покоен, если не найдет средств загладить вину свою! В свете на каждом шагу мы встречаем людей неблагодарных; но порок этот оттого не менее гнусен, что он обыкновенен.

— Согласен, почтенный Двойник, что, смотря с этой точки на мучения Фан дер К..., их понять нетрудно. Не буду спорить с вами также и о том, что неблагодарность часто в свете встречается. Но согласитесь же и вы со мною, что, с другой стороны, столь же нередко встречаем мы людей, требующих благодарности, не имея ни малейшего на то права. Нет ничего обыкновеннее, как слышать упреки в неблагодарности, и я часто удивлялся бесстыдству некоторых людей, кои или требуют неистощимой признательности за самые маловажные услуги, или даже называют себя благодетелями за то, что в таком-то случае не столько нам вредили, сколько, по мнению их, они имели к тому возможности!

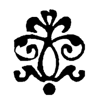
— И то и другое нехорошо, любезный Антоний; и для того-то поставьте себе за правило: за оказанные вам благодеяния или услуги считайте себя вечным должником, хотя бы вы имели счастие воздать за оные во сто крат; собственные же ваши услуги и благодеяния, как бы они ни были велики, считайте всегда безделками. Но пора нам расстаться; мы сегодня просидели долее обыкновенного.

— Прощайте, почтенный Двойник! Если б вы не так устали, то я бы желал узнать от вас: в самом ли деле обезьяны на острове Борнео таковы, как изображает их Фан дер К...?

— Охотно удовлетворю ваше любопытство. Но оставим до зав... тра... э... тот... раз... го... вор... Про... щай... те!..

Двойник исчез, и последние слова его так уже были невнятны, что я до сих пор еще не знаю, точно ли он их произнес, или мне только так показалось.

Конец второй части



ПОСЕТИТЕЛЬ МАГИКА

(С АНГЛИЙСКОГО)

Прекрасный осенний день клонился к концу, и вечерние тени уже начали собираться над Флоренциею: в это время послышалось Корнелию Агриппе,*[1] что кто-то тихо, но торопливо стучится в дверь, и вскоре потом незнакомый вошел в комнату, в которой философ сидел за книгами.

Незнакомец, несмотря на привлекательную наружность и на приемы, показывавшие образованного человека, имел вид столь необыкновенный и притом таинственный, что философ пришел в недоумение: страх ли этот гость ему внушает или отвращение? Трудно было определить лета его, ибо следы юности и маститой старости в нем перемешаны были самым странным образом. На щеках его не видно было ни одной морщины: ни одна складка не показывалась над его бровями, и большие черные глаза сверкали со всею живостию пылкого юноши; но высокий стан его казался согбенным от тяжести лет, густые и кудрявые седины осеняли его чело, а голос его был слабый и дрожащий, хотя притом столь приятный, что проникал в душу, подобно трогательной мелодии. Одежда его во всем походила на одежду флорентийских дворян того времени, кроме шелкового пояса, который казался исписанным восточными характерами;[2] в руках держал он страннический посох. Смертная бледность покрывала его лицо, но все черты являли красоту необыкновенную и выражали глубокую мудрость и сильнейшую горесть.

— Извините меня, ученый муж, — сказал он, обратясь к философу. — Слава ваша, наполнив вселенную, достигла до слуха каждого; и потому я не мог оставить Флоренцию, не покусившись познакомиться с человеком, которым столь справедливо гордится она, как драгоценнейшим украшением своим.

---

* Ученый астролог, магик и философ, живший в 13 столетии. *Здесь звездочкой обозначено примечание автора.*

— Добро пожаловать, государь мой, — отвечал Агриппа, — но я опасаюсь, что беспокойство и любопытство ваши не будут достойно вознаграждены. Вы видите во мне человека, который, вопреки правилам благоразумия, никогда не помышлял о приобретении почести, богатства и проводил дни свои в трудах, бесприбыльном учении и в изыскании тайн природы, — одним словом, человека, посвятившего долговременную жизнь свою отвлеченным наукам.

— Тебе ли говорить о долговременной жизни! — воскликнул незнакомец, и печальная улыбка показалась на его устах, — тебе ли, который, едва тому осьмой десяток лет, как оставил младенческую колыбель? Тебе ли, которого ожидает спокойная могила, нетерпеливо желая принять тебя в гостеприимные свои объятия? Сегодня еще бродил я между могилами, между утешительными и тихими могилами: я видел приветливую улыбку их, озаренную лучами заходящего солнца! В молодости моей часто завидовал я солнцу; путь его казался мне так светел, так славен, так продолжителен! Но теперь я иначе мыслю: увы! приятнее почивать в тихой могиле, нежели быть подобным бедному солнцу. Каждый вечер оно спускается за горы, как будто для покоя, но назавтра вновь должно оно начать свое путешествие; оно опять должно пройти всё тот же путь, скучный и единообразный, но притом трудный и беспокойный. Для него нет могилы, и вечерняя и утренняя роса не что иное, как слезы, которые оно проливает о горькой участи своей.

Агриппа любил природу и был глубокий наблюдатель чудес ее и потому в течение жизни своей неоднократно любовался явлениями, которые теперь описывал незнакомый; но чувства и мысли, изъясненные сим последним, столь различны были с его собственными ощущениями и показались ему столь необыкновенными, что он слушал гостя своего в безмолвном удивлении. Незнакомец, однако, вскоре сам прервал его размышления.

— Виноват, — сказал он, — я не объявил еще вам о цели моего посещения. До меня дошли странные слухи о каком-то чудном зеркале, составленном вами помощию глубоких познаний ваших, которое отражает образ того отдаленного или даже умершего человека, коего увидеть желаешь. Для моих глаз в этом наружном, видимом мире нет ничего ни утешительного, ни приятного. Могила сокрыла всех, кого я любил. Время быстрым течением своим далеко унесло всё то, что некогда служило к моему утешению. Земля есть юдоль плача; но между слезами, орошающими юдоль сию, нет ни одной, которая текла бы для меня... Источник слез собственного сердца моего также иссяк. Мне хотелось бы еще раз, хоть на одно мгновение, взглянуть на существо, мною лю-

бимое. Мне хотелось бы еще раз увидеть эти прекрасные глаза, эту стройную поступь, прелестью своею пристыжавшие серну; эти брови, эти милые черты, в коих Всемогущий изобразил всю неизреченную благость свою. Я желал бы еще раз взглянуть на всё то, что было для меня так мило и чего я лишился. Это зрелище было бы для моего сердца драгоценнее всего в мире, всего — кроме могилы, кроме могилы!

Страстные речи незнакомца такое возымели действие над Агриппою (неохотно показывавшим зеркало свое тем, кто его о том просил, хотя часто предлагали ему за то дорогие подарки и высокие почести), что он тотчас согласился исполнить желание непонятного своего гостя.

— Кого желал бы ты видеть? — спросил он.

— Дитя мое, родную, милую дочь мою Мириаму, — отвечал незнакомец.

Корнелий немедленно завесил окно, чтоб ни один луч небесного света не мог проникнуть в комнату, поставил незнакомца подле себя по правую руку и начал петь тихим и протяжным голосом, на неизвестном языке. В продолжение сего ему казалось, что незнакомец иногда сопровождал его голосом своим, хотя звуки, им слышанные, так были невнятны и неопределенны, что сам он не был уверен, не в собственном ли только его воображении они существуют. По мере того как Корнелий продолжал пение, комната становилась светлее и светлее, хотя нельзя было догадаться, откуда свет этот происходил. Наконец незнакомец ясно увидел большое зеркало, закрывающее целую стену и как будто подернутое густым инеем или туманом.

— Была ли она связана священными узами брака? — спросил Корнелий.

— Она умерла в девстве, непорочная и чистая, как снег!

— Сколько времени протекло с тех пор, как приняла ее могила?

Чело незнакомца мгновенно помрачилось, и он вскричал с приметным нетерпением:

— Много, много лет с тех пор прошло, — больше, нежели станет у меня времени сосчитать!

— Однако, — сказал Агриппа, — мне необходимо нужно это знать. Я должен жезлом сим очертить один круг для каждого десятка лет, протекшего с того дня, как она умерла, и когда кругами этими означится время ее кончины, тогда ты в зеркале узришь ее образ.

— Так черти же круги! — отвечал незнакомец и горько зарыдал, — черти и берегись, чтоб силы твои не истощились.

Корнелий Агриппа взглянул на непонятного гостя своего с некоторым страхом; но полагая, что странные речи его происходят от сильного

огорчения и необыкновенных несчастий, решился исполнить его требование. Итак, он принялся чертить круги волшебным жезлом своим; но, несмотря на то что рука его начала уставать, всё было тщетно, и казалось, что жезл лишился обыкновенной своей силы. Наконец он обратился к незнакомцу и вскричал:

— Кто ты таков, непостижимый? Присутствие твое меня смущает! Жезл этот, обращаясь по правилам науки моей, описал уже дважды двести лет, и при всем том зеркало ничего не отражает. Или ты издеваешься надо мною и особа, которую видеть ты хотел, быть может, никогда не существовала!

— Черти круги, черти! — был глухой и единственный ответ незнакомца.

Любопытство Агриппы, которому, впрочем, чудеса не в диковинку были, чрезвычайно возбудилось сими словами; но какое-то тайное чувство страха, воспрещающее ему бросить жезл свой, превозмогло в нем все сомнения относительно незнакомца. Он продолжал чертить круги, и когда рука его уставала, тогда печальные и торжественные восклицания незнакомца: «Черти круги, черти!» — побуждали его к новым усилиям. Наконец жезл, по счислению его, описал около тысячи двухсот лет; туман, покрывавший зеркало, исчез, и незнакомец, с радостным криком подняв голову, вперил глаза свои в картину, в зеркале представившуюся.

Пред ними открылось прелестное, романтическое местоположение. Вдали вздымались к небу великие горы, увенчанные кедрами. Быстрый поток протекал у подножия их, а впереди видны были пасущиеся верблюды. Подле светлого, прозрачного ручья несколько овечек утоляли жажду, и высокая пальма ограждала тенью своею от лучей полуденного солнца молодую девицу чрезвычайной красоты, в богатой восточной одежде.

— Это она! это она! — вскричал незнакомец, бросившись к зеркалу, — но Корнелий остановил его.

— Берегись, неосторожный! — сказал он, — не оставляй этого места! С каждым шагом, приближающим тебя к зеркалу, изображение сделается тусклее; а если подойдешь ты еще ближе, то оно исчезнет невозвратно.

Быв предостережен таким образом, незнакомец остановился; но смущение его столь было велико, что он принужден был прислониться к плечу философа, а между тем от времени до времени делал восклицания, изъявляющие удивление, печаль и восхищение: «Это она, это точно она! Как будто живая! Как она прелестна! Мириама, дочь моя! выговори хотя одно слово. О небо! она движется, она улыбается! О! поговори со мною немного или хоть вздохни единый раз! Увы! всё молчишь, всё мертво,

подобно сердцу моему! Улыбнись еще раз! Подари меня еще улыбкой, той улыбкой, которую тысячи лет не могли изгладить из сердца моего. — Старик! напрасно ты меня удерживаешь. Я не могу — я хочу обнять ее».

Выговорив последние сии слова, он поспешно бросился к зеркалу; но картина исчезла, зеркало опять покрылось туманом, и незнакомец без чувства упал на землю.

Когда он пришел в память, то увидел себя в руках Агриппы, который тер его виски и смотрел на него с удивлением и страхом. Незнакомец немедленно вскочил на ноги с возобновленными силами и, схватив за руку философа, сказал ему: «Благодарю за твою доброту и снисхождение и за сладкое, хотя горестное, явление, которое представил ты моим глазам». Сказав слова сии, он всунул ему в руку тяжелый кошелек; но Корнелий не хотел его принять:

— Нет, нет! — воскликнул он, — оставь у себя свое золото, приятель! Я, право, еще не знаю, может ли принять от тебя что-нибудь добрый христианин; но, как бы то ни было, я почту себя достаточно вознагражденным, если ты скажешь мне, кто ты таков?

— Взгляни, — сказал незнакомец, указывая на большую историческую картину, висевшую на стене по левую руку.

— Это, — отвечал философ, — мастерское произведение искусства, — картина, написанная одним из древнейших, но отличнейших художников наших, представляющая Спасителя, несущего крест.

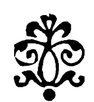
— Взгляни еще! — продолжал незнакомец, устремив на него пристально сверкающие взоры и указывая на изображенную на левой стороне картины фигуру.

Корнелий посмотрел и увидел с удивлением (чего не заметил еще до того времени) разительное сходство сей фигуры с незнакомцем, как будто бы это был портрет его.

— Это, — сказал Корнелий с выражением ужаса, — должно представлять того злосчастного изверга, который толкнул божественного Искупителя нашего, не могущего далее нести крест, и за то осужден блуждать по земному шару до второго пришествия.

— Это я, это я! — вскричал незнакомец и, бросившись вон из дому, исчез из глаз философа.

Тут Корнелий Агриппа узнал, что его посетил *Вечный жид*.[3]



ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ

ВОЛШЕБНАЯ ПОВЕСТЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Лет сорок тому назад в С.-Петербурге, на Васильевском острову, в Первой линии, жил-был содержатель мужского пансиона, который еще и до сих пор, вероятно, у многих остался в свежей памяти, хотя дом, где пансион тот помещался, давно уже уступил место другому, нисколько не похожему на прежний.[1] В то время Петербург наш уже славился в целой Европе своею красотою, хотя и далеко еще не был таким, как теперь. Тогда на проспектах Васильевского острова не было веселых тенистых аллей: деревянные подмостки, часто из гнилых досок сколоченные, заступали место нынешних прекрасных тротуаров.[2] Исакиевский мост[3] — узкий в то время и неровный — совсем иной представлял вид, нежели как теперь; да и самая площадь Исакиевская[4] вовсе не такова была. Тогда монумент Петра Великого от Исакиевской церкви отделен был канавою; Адмиралтейство не было обсажено деревьями; манеж Конногвардейский не украшал площади прекрасным нынешним фасадом;[5] одним словом, Петербург тогдашний не то был, что теперешний. Города перед людьми имеют, между прочим, то преимущество, что они иногда с летами становятся красивее... впрочем, не о том теперь идет дело. В другой раз и при другом случае я, может быть, поговорю с вами пространнее о переменах, происшедших в Петербурге в течение моего века, — теперь же обратимся опять к пансиону, который, лет сорок тому назад, находился на Васильевском острову, в Первой линии.

Дом, которого теперь — как уже вам сказывал — вы не найдете, был о двух этажах, крытый голландскими черепицами. Крыльцо, по которому в него входили, было деревянное и выдавалось на улицу... Из сеней довольно крутая лестница вела в верхнее жилье, состоявшее из осьми

или девяти комнат, в которых с одной стороны жил содержатель пансиона, а с другой были классы. Дортуары, или спальные комнаты детей, находились в нижнем этаже, по правую сторону сеней, а по левую жили две старушки, голландки, из которых каждой было более ста лет и которые собственными глазами видали Петра Великого и даже с ним говаривали. В нынешнее время вряд ли в целой России вы встретите человека, который бы видал Петра Великого: настанет время, когда и наши следы сотрутся с лица земного! Всё проходит, всё исчезает в бренном мире нашем... Но не о том теперь идет дело!

В числе тридцати или сорока детей, обучавшихся в том пансионе, находился один мальчик, по имени Алеша, которому тогда было не более девяти или десяти лет. Родители его, жившие далеко-далеко от Петербурга, года за два перед тем привезли его в столицу, отдали в пансион и возвратились домой, заплатив учителю условленную плату за несколько лет вперед. Алеша был мальчик умненькой, миленькой, учился хорошо, и все его любили и ласкали; однако, несмотря на то, ему часто скучно бывало в пансионе, а иногда даже и грустно. Особливо сначала он никак не мог приучиться к мысли, что он разлучен с родными своими; но потом, мало-помалу, он стал привыкать к своему положению, и бывали даже минуты, когда, играя с товарищами, он думал, что в пансионе гораздо веселее, нежели в родительском доме. Вообще дни учения для него проходили скоро и приятно; но когда наставала суббота и все товарищи его спешили домой к родным, тогда Алеша горько чувствовал свое одиночество. По воскресеньям и праздникам он весь день оставался один, и тогда единственным утешением его было чтение книг, которые учитель позволял ему брать из небольшой своей библиотеки. Учитель был родом немец, а в то время в немецкой литературе господствовала мода на рыцарские романы и на волшебные повести, — и библиотека, которою пользовался наш Алеша, большею частию состояла из книг сего рода.

Итак Алеша, будучи еще в десятилетнем возрасте, знал уже наизусть деяния славнейших рыцарей, по крайней мере так, как они описаны были в романах. Любимое его занятие в длинные зимние вечера, по воскресеньям и другим праздничным дням, было мысленно переноситься в старинные, давно прошедшие веки... Особливо в вакантное время — как например об Рождестве или в Светлое Христово Воскресенье, — когда он бывал разлучен надолго со своими товарищами, когда часто целые дни просиживал в уединении, — юное воображение его бродило по рыцарским замкам, по страшным развалинам или по темным дремучим лесам.

Я забыл сказать вам, что к дому этому принадлежал довольно пространный двор, отделенный от переулка деревянным забором из барочных досок.[6] Ворота и калитка, кои вели в переулок, всегда были заперты, и потому Алеше никогда не удавалось побывать в этом переулке, который сильно возбуждал его любопытство. Всякий раз, когда позволяли ему в часы отдохновения играть на дворе, первое движение его было — подбегать к забору. Тут он становился на цыпочки и пристально смотрел в круглые дырочки, которыми усеян был забор. Алеша не знал, что дырочки эти происходили от деревянных гвоздей, коими прежде сколочены были барки, и ему казалось, что какая-нибудь добрая волшебница нарочно для него провертела эти дырочки. Он всё ожидал, что когда-нибудь эта волшебница явится в переулке и сквозь дырочку подаст ему игрушку, или талисман, или письмецо от папеньки или маменьки, от которых не получал он давно уже никакого известия. Но, к крайнему его сожалению, не являлся никто даже похожий на волшебницу.

Другое занятие Алеши состояло в том, чтобы кормить курочек, которые жили около забора в нарочно для них выстроенном домике и целый день играли и бегали на дворе. Алеша очень коротко с ними познакомился, всех знал по имени, разнимал их драки, а забияк наказывал тем, что иногда несколько дней сряду не давал им ничего от крошек, которые всегда после обеда и ужина он собирал со скатерти. Между курами он особенно любил одну черную хохлатую, названную Чернушкою. Чернушка была к нему ласковее других; она даже иногда позволяла себя гладить, и потому Алеша лучшие кусочки приносил ей. Она была нрава тихого; редко прохаживалась с другими и, казалось, любила Алешу более, нежели подруг своих.

Однажды (это было во время вакаций между Новым годом и Крещеньем — день был прекрасный и необыкновенно теплый, не более трех или четырех градусов морозу) Алеше позволили поиграть на дворе. В тот день учитель и жена его в больших были хлопотах. Они давали обед директору училищ, и еще накануне, с утра до позднего вечера, везде в доме мыли полы, вытирали пыль и вощили красного дерева столы и комоды. Сам учитель ездил закупать провизию для стола: белую архангельскую телятину, огромный окорок и из Милютиных лавок[7] киевское варенье. Алеша тоже, по мере сил, способствовал приготовлениям: его заставили из белой бумаги вырезывать красивую сетку на окорок и украшать бумажною резьбою нарочно купленные шесть восковых свечей. В назначенный день рано поутру явился парикмахер и показал свое искусство над буклями, тупеем и длинной косой учителя.[8] Потом принялся за супругу его, напомадил и напудрил у ней локоны и шиньон и

взгромоздил на ее голове целую оранжерею разных цветов, между которыми блистали искусным образом помещенные два бриллиантовые перстня, когда-то подаренные мужу ее родителями учеников. По окончании головного убора, накинула она на себя старый изношенный салоп и отправилась хлопотать по хозяйству, наблюдая притом строго, чтоб как-нибудь не испортилась прическа; и для того сама она не входила в кухню, а давала приказания свои кухарке, стоя в дверях. В необходимых же случаях посылала туда мужа своего, у которого прическа не так была высока.

В продолжение всех этих забот Алешу нашего совсем забыли, и он тем воспользовался, чтоб на просторе играть на дворе. По обыкновению своему, он подошел сначала к дощатому забору и долго смотрел в дырочку; но и в этот день никто почти не проходил по переулку, и он со вздохом обратился к любезным своим курочкам. Не успел он присесть на бревно и только что начал манить их к себе, как вдруг увидел подле себя кухарку с большим ножом. Алеше никогда не нравилась эта кухарка — сердитая и бранчивая чухонка;[9] но с тех пор, как он заметил, что она-то была причиною, что от времени до времени уменьшалось число его курочек, он еще менее стал ее любить. Когда же однажды нечаянно увидел он в кухне одного хорошенького, очень любимого им петушка, повешенного за ноги с перерезанным горлом, — то возымел он к ней ужас и отвращение. Увидев ее теперь с ножом, он тотчас догадался, что это значит, — и чувствуя с горестию, что он не в силах помочь своим друзьям, вскочил и побежал далеко прочь.

— Алеша, Алеша! Помоги мне поймать курицу! — кричала кухарка.

Но Алеша принялся бежать еще пуще, спрятался у забора за курятником и сам не замечал, как слезки одна за другою выкатывались из его глаз и упадали на землю.

Довольно долго стоял он у курятника, и сердце в нем сильно билось, между тем как кухарка бегала по двору — то манила курочек: «Цып, цып, цып!», то бранила их по-чухонски.

Вдруг сердце у Алеши еще сильнее забилось... ему послышался голос любимой его Чернушки!

Она кудахтала самым отчаянным образом, и ему показалось, что она кричит:

Кудах, кудах, кудуху,
Алеша, спаси Чернуху!
Кудуху, кудуху,
Чернуху, Чернуху!

Алеша никак не мог долее оставаться на своем месте... он, громко всхлипывая, побежал к кухарке и бросился к ней на шею в ту самую минуту, как она поймала уже Чернушку за крыло.

— Любезная, милая Тринушка! — вскричал он, обливаясь слезами. — Пожалуйста, не тронь мою Чернуху!

Алеша так неожиданно бросился на шею к кухарке, что она упустила из рук Чернушку, которая, воспользовавшись этим, от страха взлетела на кровлю сарая и там продолжала кудахтать. Но Алеше теперь слышалось, будто она дразнит кухарку и кричит:

Кудах, кудах, кудуху,
Не поймала ты Чернуху!
Кудуху, кудуху,
Чернуху, Чернуху!

Между тем кухарка вне себя была от досады!

— Руммаль пойс![a] — кричала она. — Вотта я паду кассаину и пошалюсь. Шорна курис нада режить... Он леннива... он яишка не делать, он сыплатка не сижить.

Тут хотела она бежать к учителю, но Алеша не допустил ее. Он прицепился к полам ее платья и так умильно стал просить, что она остановилась.

— Душенька, Тринушка! — говорил он. — Ты такая хорошенькая, чистенькая, добренькая... Пожалуйста, оставь мою Чернушку! Вот посмотри, что я тебе подарю, если ты будешь добра!

Алеша вынул из кармана империал,[10] составлявший всё его имение, который берег он пуще глаза своего, потому что это был подарок доброй его бабушки... Кухарка взглянула на золотую монету, окинула взором окошки дома, чтоб удостовериться, что никто их не видит, — и протянула руку за империалом... Алеше очень, очень жаль было империала, но он вспомнил о Чернушке — и с твердостию отдал чухонке драгоценный подарок.

Таким образом Чернушка спасена была от жестокой и неминуемой смерти.

Лишь только кухарка удалилась в дом, Чернушка слетела с кровли и подбежала к Алеше. Она как будто знала, что он ее избавитель: кружилась около него, хлопала крыльями и кудахтала веселым голосом. Всё утро она ходила за ним по двору, как собачка, и казалось, будто хочет

[a] — Глупый мальчик! (*финск.*)

что-то сказать ему, да не может. По крайней мере, он никак не мог разобрать ее кудахтанья.

Часа за два перед обедом начали собираться гости. Алешу позвали вверх, надели на него рубашку с круглым воротником и батистовыми манжетами с мелкими складками, белые шароварцы и широкий шелковый голубой кушак. Длинные русые волосы, висевшие у него почти до пояса, хорошенько расчесали, разделили на две ровные части и переложили наперед по обе стороны груди. Так наряжали тогда детей. Потом научили, каким образом он должен шаркнуть ногой, когда войдет в комнату директор, и что должен отвечать, если будут сделаны ему какие-нибудь вопросы. В другое время Алеша был бы очень рад приезду директора, коего давно хотелось ему видеть, потому что, судя по почтению, с каким отзывались о нем учитель и учительша, он воображал, что это должен быть какой-нибудь знаменитый рыцарь в блестящих латах и в шлеме с большими перьями. Но на тот раз любопытство это уступило место мысли, исключительно тогда его занимавшей, — о черной курице. Ему всё представлялось, как кухарка за нею бегала с ножом и как Чернушка кудахтала разными голосами. Притом ему очень досадно было, что не мог он разобрать, что она ему сказать хотела, — и его так и тянуло к курятнику... Но делать было нечего: надлежало дожидаться, пока кончится обед!

Наконец приехал директор. Приезд его возвестила учительша, давно уже сидевшая у окна, пристально смотря в ту сторону, откуда его ждали. Всё пришло в движение: учитель стремглав бросился из дверей, чтоб встретить его внизу у крыльца; гости встали с мест своих, и даже Алеша на минуту забыл о своей курочке и подошел к окну, чтоб посмотреть, как рыцарь будет слезать с ретивого коня. Но ему не удалось увидеть его, ибо он успел уже войти в дом; у крыльца же вместо ретивого коня стояли обыкновенные извозчичьи сани. Алеша очень этому удивился! «Если бы я был рыцарь, — подумал он, — то никогда бы не ездил на извозчике — а всегда верхом!»

Между тем отворили настежь все двери, и учительша начала приседать в ожидании столь почтенного гостя, который вскоре потом показался. Сперва нельзя было видеть его за толстою учительшею, стоявшею в самых дверях; но когда она, окончив длинное приветствие свое, присела ниже обыкновенного, Алеша, к крайнему удивлению, из-за нее увидел... не шлем пернатый, но просто маленькую лысую головку, набело распудренную, единственным украшением которой, как после заметил Алеша, был маленький пучок! Когда вошел он в гостиную, Алеша еще более удивился, увидев, что, несмотря на простой серый фрак, быв-

ший на директоре вместо блестящих лат, все обращались с ним необыкновенно почтительно.

Сколь, однако ж, ни казалось всё это странным Алеше, сколь в другое время он бы ни был обрадован необыкновенным убранством стола, на котором также парадировал и украшенный им окорок,[11] — но в этот день он не обращал большого на то внимания. У него в головке всё бродило утреннее происшествие с Чернушкою. Подали десерт: разного рода варенья, яблоки, бергамоты,[12] финики, винные ягоды[13] и грецкие орехи; но и тут он ни на одно мгновение не переставал помышлять о своей курочке, и только что встали из-за стола, как он с трепещущим от страха и надежды сердцем подошел к учителю и спросил, можно ли идти поиграть на дворе.

— Подите, — отвечал учитель, — только недолго там будьте; уж скоро сделается темно.

Алеша поспешно надел свою красную бекешь[14] на беличьем меху и зеленую бархатную шапочку с собольим околышком и побежал к забору. Когда он туда прибыл, курочки начали уже собираться на ночлег и, сонные, не очень обрадовались принесенным крошкам. Одна Чернушка, казалось, не чувствовала охоты ко сну: она весело к нему подбежала, захлопала крыльями и опять начала кудахтать. Алеша долго с нею играл; наконец, когда сделалось темно и настала пора идти домой, он сам затворил курятник, удостоверившись наперед, что любезная его курочка уселась на шесте. Когда он выходил из курятника, ему показалось, что глаза у Чернушки светятся в темноте, как звездочки, и что она тихонько ему говорит:

— Алеша, Алеша! Останься со мною!

Алеша возвратился в дом и весь вечер просидел один в классных комнатах, между тем как на другой половине часу до одиннадцатого пробыли гости и на нескольких столах играли в вист. Прежде, нежели они разъехались, Алеша пошел в нижний этаж в спальню, разделся, лег в постель и потушил огонь. Долго не мог он заснуть; наконец сон его преодолел, и он только что успел во сне разговориться с Чернушкою, как, к сожалению, пробужден был шумом разъезжающихся гостей. Немного погодя, учитель, провожавший директора со свечкою, вошел к нему в комнату, посмотрел, всё ли в порядке, и вышел вон, замкнув дверь ключом.

Ночь была месячная, и сквозь ставни, неплотно затворявшиеся, упадал в комнату бледный луч луны. Алеша лежал с открытыми глазами и долго слушал, как в верхнем жилье, над его головою, ходили по комнатам и приводили в порядок стулья и столы. Наконец всё утихло...

Он взглянул на стоявшую подле него кровать, немного освещенную месячным сиянием, и заметил, что белая простыня, висящая почти до полу, легко шевелилась. Он пристальнее стал всматриваться... ему послышалось, как будто что-то под кроватью царапается, — и немного погодя показалось, что кто-то тихим голосом зовет его:

— Алеша, Алеша!

Алеша испугался!.. Он один был в комнате, и ему тотчас пришло на мысль, что под кроватью должен быть вор. Но потом, рассудив, что вор не называл бы его по имени, он несколько ободрился, хотя сердце в нем дрожало. Он немного приподнялся в постеле и еще яснее увидел, что простыня шевелится... еще внятнее услышал, что кто-то говорит:

— Алеша, Алеша!

Вдруг белая простыня приподнялась, и из-под нее вышла... черная курица!

— Ах! Это ты, Чернушка! — невольно вскричал Алеша. — Как ты зашла сюда?

Чернушка захлопала крыльями, взлетела к нему на кровать и сказала человеческим голосом:

— Это я, Алеша! Ты не боишься меня, не правда ли?

— Зачем я тебя буду бояться? — отвечал он. — Я тебя люблю; только для меня странно, что ты так хорошо говоришь: я совсем не знал, что ты говорить умеешь!

— Если ты меня не боишься, — продолжала курица, — так поди за мною; я тебе покажу что-нибудь хорошенькое. Одевайся скорее!

— Какая ты, Чернушка, смешная! — сказал Алеша. — Как мне можно одеться в темноте? Я платья своего теперь не сыщу; я и тебя насилу вижу!

— Постараюсь этому помочь, — сказала курочка.

Тут она закудахтала странным голосом, и вдруг откуда ни взялись маленькие свечки в серебряных шандалах, не больше как с Алешин маленький пальчик. Шандалы эти очутились на полу, на стульях, на окнах, даже на рукомойнике, и в комнате сделалось так светло, как будто днем. Алеша начал одеваться, а курочка подавала ему платье, и таким образом он вскоре совсем был одет.

Когда Алеша был готов, Чернушка опять закудахтала, и все свечки исчезли.

— Иди за мною, — сказала она ему, и он смело последовал за нею. Из глаз ее выходили как будто лучи, которые освещали всё вокруг них, хотя не так ярко, как маленькие свечки. Они прошли чрез переднюю...

— Дверь заперта ключом, — сказал Алеша; но курочка ему не отвечала: она хлопнула крыльями, и дверь сама собою отворилась...

Потом, прошед чрез сени, обратились они к комнатам, где жили столетние старушки-голландки. Алеша никогда у них не бывал, но слыхал, что комнаты у них убраны по-старинному, что у одной из них большой серый попугай, а у другой серая кошка, очень умная, которая умеет прыгать чрез обруч и подавать лапку. Ему давно хотелось всё это видеть, и потому он очень обрадовался, когда курочка опять хлопнула крыльями и дверь в старушкины покои отворилась. Алеша в первой комнате увидел всякого рода странные мебели: резные стулья, кресла, столы и комоды. Большая лежанка была из голландских изразцов, на которых нарисованы были синей мура́вой[15] люди и звери. Алеша хотел было остановиться, чтоб рассмотреть мебели, а особливо фигуры на лежанке, но Чернушка ему не позволила. Они вошли во вторую комнату — и тут-то Алеша обрадовался! В прекрасной золотой клетке сидел большой серый попугай с красным хвостом. Алеша тотчас хотел подбежать к нему. Чернушка опять его не допустила.

— Не трогай здесь ничего, — сказала она. — Берегись разбудить старушек!

Тут только Алеша заметил, что подле попугая стояла кровать с белыми кисейными занавесками, сквозь которые он мог различить старушку, лежащую с закрытыми глазами: она показалась ему как будто восковая. В другом углу стояла такая же точно кровать, где спала другая старушка, а подле нее сидела серая кошка и умывалась передними лапами. Проходя мимо нее, Алеша не мог утерпеть, чтоб не попросить у ней лапки... Вдруг она громко замяукала, попугай нахохлился и начал громко кричать: «Дурррак! дурррак!» В то самое время видно было сквозь кисейные занавески, что старушки приподнялись в постеле... Чернушка поспешно удалилась, Алеша побежал за нею, дверь вслед за ними сильно захлопнулась... и еще долго слышно было, как попугай кричал: «Дурррак! дурррак!»

— Как тебе не стыдно! — сказала Чернушка, когда они удалились от комнат старушек. — Ты, верно, разбудил рыцарей...

— Каких рыцарей? — спросил Алеша.

— Ты увидишь, — отвечала курочка. — Не бойся, однако ж, ничего, иди за мною смело.

Они спустились вниз по лестнице, как будто в погреб, и долго-долго шли по разным переходам и коридорам, которых прежде Алеша никогда не видывал. Иногда коридоры эти так были низки и узки, что Алеша принужден был нагибаться. Вдруг вошли они в залу, освещенную тремя

большими хрустальными люстрами. Зала была без окошек, и по обеим сторонам висели на стенах рыцари в блестящих латах, с большими перьями на шлемах, с копьями и щитами в железных руках. Чернушка шла вперед на цыпочках и Алеше велела следовать за собою тихонько-тихонько... В конце залы была большая дверь из светлой желтой меди. Лишь только они подошли к ней, как соскочили со стен два рыцаря, ударили копьями об щиты и бросились на черную курицу. Чернушка подняла хохол, распустила крылья... Вдруг сделалась большая-большая, выше рыцарей, — и начала с ними сражаться! Рыцари сильно на нее наступали, а она защищалась крыльями и носом. Алеше сделалось страшно, сердце в нем сильно затрепетало — и он упал в обморок.

Когда пришел он опять в себя, солнце сквозь ставни освещало комнату, и он лежал в своей постеле: не видно было ни Чернушки, ни рыцарей. Алеша долго не мог опомниться. Он не понимал, что с ним было ночью: во сне ли всё то видел или в самом деле это происходило? Он оделся и пошел вверх, но у него не выходило из головы виденное им в прошлую ночь. С нетерпением ожидал он минуты, когда можно ему будет идти играть на двор, но весь тот день, как нарочно, шел сильный снег, и нельзя было и подумать, чтоб выйти из дому.

За обедом учительша между прочими разговорами объявила мужу, что черная курица непонятно куда спряталась.

— Впрочем, — прибавила она, — беда невелика, если бы она и пропала; она давно назначена была на кухню. Вообрази себе, душенька, что с тех пор как она у нас в доме, она не снесла ни одного яичка.

Алеша чуть-чуть не заплакал, хотя и пришло ему на мысль, что лучше, чтоб ее нигде не находили, нежели чтоб попала она на кухню.

После обеда Алеша остался опять один в классных комнатах. Он беспрестанно думал о том, что происходило в прошедшую ночь, и не мог никак утешиться о потере любезной Чернушки. Иногда ему казалось, что он непременно должен ее увидеть в следующую ночь, несмотря на то что она пропала из курятника; но потом ему казалось, что это дело несбыточное, и он опять погружался в печаль.

Настало время ложиться спать, и Алеша с нетерпением разделся и лег в постель. Не успел он взглянуть на соседнюю кровать, опять освещенную тихим лунным сиянием, как зашевелилась белая простыня — точно так, как накануне... Опять послышался ему голос, его зовущий: «Алеша, Алеша!» — и немного погодя вышла из-под кровати Чернушка и взлетела к нему на постель.

— Ах! Здравствуй, Чернушка! — вскричал он вне себя от радости. — Я боялся, что никогда тебя не увижу; здорова ли ты?

— Здорова, — отвечала курочка, — но чуть было не занемогла по твоей милости.

— Как это, Чернушка? — спросил Алеша, испугавшись.

— Ты добрый мальчик, — продолжала курочка, — но притом ты ветрен и никогда не слушаешься с первого слова, а это нехорошо! Вчера я говорила тебе, чтоб ты ничего не трогал в комнатах старушек, — несмотря на то, ты не мог утерпеть, чтобы не попросить у кошки лапку. Кошка разбудила попугая, попугай старушек, старушки рыцарей — и я насилу с ними сладила!

— Виноват, любезная Чернушка, вперед не буду! Пожалуйста, поведи меня сегодня опять туда. Ты увидишь, что я буду послушен.

— Хорошо, — сказала курочка, — увидим!

Курочка закудахтала, как накануне, и те же маленькие свечки явились в тех же серебряных шандалах. Алеша опять оделся и пошел за курицею. Опять вошли они в покои старушек, но в этот раз он уже ни до чего не дотрогивался. Когда они проходили чрез первую комнату, то ему показалось, что люди и звери, нарисованные на лежанке, делают разные смешные гримасы и манят его к себе, но он нарочно от них отвернулся. Во второй комнате старушки-голландки, так же как накануне, лежали в постелях, будто восковые; попугай смотрел на Алешу и хлопал глазами; серая кошка опять умывалась лапками. На уборном столе перед зеркалом Алеша увидел две фарфоровые китайские куклы, которых вчера он не заметил. Они кивали ему головою, но он помнил приказание Чернушки и прошел не останавливаясь, однако не мог утерпеть, чтоб мимоходом им не поклониться. Куколки тотчас соскочили со стола и побежали за ним, всё кивая головою. Чуть-чуть он не остановился — так они показались ему забавными; но Чернушка оглянулась на него с сердитым видом, и он опомнился.

Куколки проводили их до дверей и, видя, что Алеша на них не смотрит, возвратились на свои места.

Опять спустились они с лестницы, ходили по переходам и коридорам и пришли в ту же залу, освещенную тремя хрустальными люстрами. Те же рыцари висели на стенах, и опять — когда приблизились они к двери из желтой меди — два рыцаря сошли со стены и заступили им дорогу. Казалось, однако, что они не так сердиты были, как накануне; они едва тащили ноги, как осенние мухи, и видно было, что они чрез силу держали свои копья... Чернушка сделалась большая и нахохлилась; но только что ударила их крыльями, как они рассыпались на части, — и Алеша увидел, что то были пустые латы! Медная дверь сама собою отворилась, и они пошли далее. Немного погодя вошли они в другую

залу, пространную, но невысокую, так что Алеша мог достать рукою до потолка. Зала эта освещена была такими же маленькими свечками, какие он видел в своей комнате, но шандалы были не серебряные, а золотые. Тут Чернушка оставила Алешу.

— Побудь здесь немного, — сказала она ему, — я скоро приду назад. Сегодня был ты умен, хотя неосторожно поступил, поклонясь фарфоровым куколкам. Если б ты им не поклонился, то рыцари остались бы на стене. Впрочем, ты сегодня не разбудил старушек, и оттого рыцари не имели никакой силы. — После сего Чернушка вышла из залы.

Оставшись один, Алеша со вниманием стал рассматривать залу, которая очень богато была убрана. Ему показалось, что стены сделаны из лабрадора, какой он видел в минеральном кабинете, имеющемся в пансионе; панели и двери были из чистого золота. В конце залы, под зеленым балдахином, на возвышенном месте, стояли кресла из золота.

Алеша очень любовался этим убранством, но странным показалось ему, что всё было в самом маленьком виде, как будто для небольших кукол.

Между тем как он с любопытством всё рассматривал, отворилась боковая дверь, прежде им не замеченная, и вошло множество маленьких людей, ростом не более как с пол-аршина, в нарядных разноцветных платьях. Вид их был важен: иные по одеянию казались военными, другие — гражданскими чиновниками. На всех были круглые с перьями шляпы, наподобие испанских. Они не замечали Алеши, прохаживались чинно по комнатам и громко между собою говорили, но он не мог понять, что они говорили. Долго смотрел он на них молча и только что хотел подойти к одному из них с вопросом, как отворилась большая дверь в конце залы... Все замолкли, стали к стенам в два ряда и сняли шляпы. В одно мгновение комната сделалась еще светлее; все маленькие свечки еще ярче загорели — и Алеша увидел двадцать маленьких рыцарей, в золотых латах, с пунцовыми на шлемах перьями, которые попарно входили тихим маршем. Потом в глубоком молчании стали они по обеим сторонам кресел. Немного погодя вошел в залу человек с величественною осанкою, на голове с венцом, блестящим драгоценными камнями. На нем была светло-зеленая мантия, подбитая мышьим мехом, с длинным шлейфом, который несли двадцать маленьких пажей в пунцовых платьях. Алеша тотчас догадался, что это должен быть король. Он низко ему поклонился. Король отвечал на поклон его весьма ласково и сел в золотые кресла. Потом что-то приказал одному из стоявших подле него рыцарей, который, подошед к Алеше, объявил ему, чтоб он приблизился к креслам. Алеша повиновался.

— Мне давно было известно, — сказал король, — что ты добрый мальчик; но третьего дня ты оказал великую услугу моему народу и за то заслуживаешь награду. Мой главный министр донес мне, что ты спас его от неизбежной и жестокой смерти.

— Когда? — спросил Алеша с удивлением.

— Третьего дня на дворе, — отвечал король. — Вот тот, который обязан тебе жизнию.

Алеша взглянул на того, на которого указывал король, и тут только заметил, что между придворными стоял маленький человек, одетый весь в черное. На голове у него была особенного рода шапка малинового цвета, наверху с зубчиками, надетая немного набок; а на шее был платок, очень накрахмаленный, отчего казался он немного синеватым. Он умильно улыбался, глядя на Алешу, которому лицо его показалось знакомым, хотя не мог он вспомнить, где его видал.

Сколь для Алеши ни было лестно, что приписывали ему такой благородный поступок, но он любил правду и потому, сделав низкий поклон, сказал:

— Господин король! Я не могу принять на свой счет того, чего никогда не делал. Третьего дня я имел счастие избавить от смерти не министра вашего, а черную нашу курицу, которую не любила кухарка за то, что не снесла она ни одного яйца...

— Что ты говоришь? — прервал его с гневом король. — Мой министр — не курица, а заслуженный чиновник!

Тут подошел министр ближе, и Алеша увидел, что в самом деле это была его любезная Чернушка. Он очень обрадовался и попросил у короля извинения, хотя никак не мог понять, что это значит.

— Скажи мне, чего ты желаешь? — продолжал король. — Если я в силах, то непременно исполню твое требование.

— Говори смело, Алеша! — шепнул ему на ухо министр.

Алеша задумался и не знал, чего пожелать. Если б дали ему более времени, то он, может быть, и придумал бы что-нибудь хорошенькое; но так как ему казалось неучтивым заставить дожидаться короля, то он поспешил с ответом.

— Я бы желал, — сказал он, — чтобы, не учившись, я всегда знал урок свой, какой бы мне ни задали.

— Не думал я, что ты такой ленивец, — отвечал король, покачав головою. — Но делать нечего: я должен исполнить свое обещание.

Он махнул рукою, и паж поднес золотое блюдо, на котором лежало одно конопляное семечко.

— Возьми это семечко, — сказал король. — Пока оно будет у тебя, ты всегда знать будешь урок свой, какой бы тебе ни задали, с тем, однако, условием, чтоб ты ни под каким предлогом никому не сказывал ни одного слова о том, что ты здесь видел или впредь увидишь. Малейшая нескромность лишит тебя навсегда наших милостей, а нам наделает множество хлопот и неприятностей.

Алеша взял конопляное зерно, завернул в бумажку и положил в карман, обещаясь быть молчаливым и скромным. Король после того встал с кресел и тем же порядком вышел из залы, приказав прежде министру угостить Алешу как можно лучше.

Лишь только король удалился, как окружили Алешу все придворные и начали его всячески ласкать, изъявляя признательность свою за то, что он избавил министра. Они все предлагали ему свои услуги: одни спрашивали, не хочет ли он погулять в саду или посмотреть королевский зверинец; другие приглашали его на охоту. Алеша не знал, на что решиться. Наконец министр объявил, что сам будет показывать подземные редкости дорогому гостю.

Сначала повел он его в сад, устроенный в английском вкусе. Дорожки усеяны были крупными разноцветными камышками, отражавшими свет от бесчисленных маленьких ламп, которыми увешаны были деревья. Этот блеск чрезвычайно понравился Алеше.

— Камни эти, — сказал министр, — у вас называются драгоценными. Это всё бриллианты, яхонты, изумруды и аметисты.

— Ах, когда бы у нас этим усыпаны были дорожки! — вскричал Алеша.

— Тогда и у вас бы они так же были малоценны, как здесь, — отвечал министр.

Деревья также показались Алеше отменно красивыми, хотя притом очень странными. Они были разного цвета: красные, зеленые, коричневые, белые, голубые и лиловые. Когда посмотрел он на них со вниманием, то увидел, что это не что иное, как разного рода мох, только выше и толще обыкновенного. Министр рассказал ему, что мох этот выписан королем за большие деньги из дальних стран и из самой глубины земного шара.

Из сада пошли они в зверинец. Там показали Алеше диких зверей, которые привязаны были на золотых цепях. Всматриваясь внимательнее, он, к удивлению своему, увидел, что дикие эти звери были не что иное, как большие крысы, кроты, хорьки и подобные им звери, живущие в земле и под полами. Ему это очень показалось смешно, но он из учтивости не сказал ни слова.

Возвратившись в комнаты после прогулки, Алеша в большой зале нашел накрытый стол, на котором расставлены были разного рода конфекты, пироги, паштеты и фрукты. Блюда все были из чистого золота, а бутылки и стаканы выточенные из цельных бриллиантов, яхонтов и изумрудов.

— Кушай что угодно, — сказал министр, — с собою же брать ничего не позволяется.

Алеша в тот день очень хорошо поужинал, и потому ему вовсе не хотелось кушать.

— Вы обещались взять меня с собою на охоту, — сказал он.

— Очень хорошо, — отвечал министр. — Я думаю, что лошади уже оседланы.

Тут он свистнул, и вошли конюхи, ведущие в поводах — палочки, у которых набалдашники были резной работы и представляли лошадиные головы. Министр с большою ловкостью вскочил на свою лошадь; Алеше подвели палку гораздо более других.

— Берегись, — сказал министр, — чтоб лошадь тебя не сбросила: она не из самых смирных.

Алеша внутренно смеялся этому, но когда он взял палку между ног, то увидел, что совет министра был небесполезен. Палка начала под ним увертываться и манежиться,[16] как настоящая лошадь, и он насилу мог усидеть.

Между тем затрубили в рога, и охотники пустились скакать во всю прыть по разным переходам и коридорам. Долго они так скакали, и Алеша от них не отставал, хотя с трудом мог сдерживать бешеную палку свою... Вдруг из одного бокового коридора выскочило несколько крыс, таких больших, каких Алеша никогда не видывал. Они хотели пробежать мимо, но когда министр приказал их окружить, то они остановились и начали защищаться храбро. Несмотря, однако, на то, они были побеждены мужеством и искусством охотников. Восемь крыс легли на месте, три обратились в бегство, а одну, довольно тяжело раненную, министр велел вылечить и отвесть в зверинец.

По окончании охоты Алеша так устал, что глазки его невольно закрывались... при всем том ему хотелось обо многом поговорить с Чернушкою, и он попросил позволения возвратиться в залу, из которой они выехали на охоту.

Министр на то согласился; большою рысью поехали они назад и по прибытии в залу отдали лошадей конюхам, раскланялись с придворными и охотниками и сели друг подле друга на принесенные им стулья.

— Скажи, пожалуйста, — начал Алеша, — зачем вы убили бедных крыс, которые вас не беспокоят и живут так далеко от вашего жилища?

— Если б мы их не истребляли, — сказал министр, — то они вскоре бы нас выгнали из комнат наших и истребили бы все наши съестные припасы. К тому же мышьи и крысьи меха у нас в высокой цене, по причине их легкости и мягкости. Одним знатным особам позволено их у нас употреблять.

— Да скажи мне пожалуй, кто вы таковы? — продолжал Алеша.

— Неужели ты никогда не слыхал, что под землею живет народ наш? — отвечал министр. — Правда, не многим удается нас видеть, однако бывали примеры, особливо в старину, что мы выходили на свет и показывались людям. Теперь это редко случается, потому что люди сделались очень нескромны. А у нас существует закон, что если тот, кому мы показались, не сохранит этого в тайне, то мы принуждены бываем немедленно оставить местопребывание наше и идти — далеко-далеко в другие страны. Ты легко представить себе можешь, что королю нашему невесело было бы оставить все здешние заведения и с целым народом переселиться в неизвестные земли. И потому убедительно тебя прошу быть как можно скромнее, ибо в противном случае ты нас всех сделаешь несчастными, а особливо меня. Из благодарности я упросил короля призвать тебя сюда; но он никогда мне не простит, если по твоей нескромности мы принуждены будем оставить этот край...

— Я даю тебе честное слово, что никогда не буду ни с кем об вас говорить, — прервал его Алеша. — Я теперь вспомнил, что читал в одной книжке о гномах, которые живут под землею. Пишут, что в некотором городе очень разбогател один сапожник в самое короткое время, так что никто не понимал, откуда взялось его богатство. Наконец как-то узнали, что он шил сапоги и башмаки на гномов, плативших ему за то очень дорого.

— Быть может, что это правда, — отвечал министр.

— Но, — сказал ему Алеша, — объясни мне, любезная Чернушка, отчего ты, будучи министром, являешься в свет в виде курицы и какую связь имеете вы с старушками-голландками?

Чернушка, желая удовлетворить его любопытству, начала было рассказывать ему подробно о многом; но при самом начале ее рассказа глаза Алешины закрылись и он крепко заснул. Проснувшись на другое утро, он лежал в своей постеле.

Долго не мог он опомниться и не знал, что ему думать... Чернушка и министр, король и рыцари, голландки и крысы — всё это смешалось в его голове, и он насилу мысленно привел в порядок всё, виденное им

в прошлую ночь. Вспомнив, что король подарил ему конопляное зерно, он поспешно бросился к своему платью и действительно нашел в кармане бумажку, в которой завернуто было конопляное семечко. «Увидим, — подумал он, сдержит ли слово свое король! Завтра начнутся классы, а я еще не успел выучить всех своих уроков».

Исторический урок особенно его беспокоил: ему задано было выучить наизусть несколько страниц из Шрековой «Всемирной истории»,[17] и он не знал еще ни одного слова! Настал понедельник, съехались пансионеры, и начались классы. От десяти часов до двенадцати преподавал историю сам содержатель пансиона. У Алеши сильно билось сердце... Пока дошла до него очередь, он несколько раз ощупывал лежащую в кармане бумажку с конопляным зернышком... Наконец его вызвали. С трепетом подошел он к учителю, открыл рот, сам еще не зная, что сказать, и — безошибочно, не останавливаясь, проговорил заданное. Учитель очень его хвалил, однако Алеша не принимал его хвалу с тем удовольствием, которое прежде чувствовал он в подобных случаях. Внутренний голос ему говорил, что он не заслуживает этой похвалы, потому что урок этот не стоил ему никакого труда.

В продолжение нескольких недель учители не могли нахвалиться Алешею. Все уроки без исключения знал он совершенно, все переводы с одного языка на другой были без ошибок, так что не могли надивиться чрезвычайными его успехами. Алеша внутренно стыдился этих похвал: ему совестно было, что поставляли его в пример товарищам, тогда как он вовсе того не заслуживал.

В течение этого времени Чернушка к нему не являлась, несмотря на то что Алеша, особливо в первые недели после получения конопляного зернышка, не пропускал почти ни одного дня без того, чтобы ее не звать, когда ложился спать. Сначала он очень о том горевал, но потом успокоился мыслию, что она, вероятно, занята важными делами по своему званию. Впоследствии же похвалы, которыми все его осыпали, так его заняли, что он довольно редко о ней вспоминал.

Между тем слух о необыкновенных его способностях[18] разнесся вскоре по целому Петербургу. Сам директор училищ приезжал несколько раз в пансион и любовался Алешею. Учитель носил его на руках, ибо чрез него пансион вошел в славу. Со всех концов города съезжались родители и приставали к нему, чтоб он детей их принял к себе, в надежде, что и они такие же будут ученые, как Алеша. Вскоре пансион так наполнился, что не было уже места для новых пансионеров, и учитель с учительшею начали помышлять о том, чтоб нанять дом, гораздо пространнейший того, в котором они жили.

Алеша, как сказал я уже выше, сначала стыдился похвал, чувствуя, что вовсе их не заслуживает, но мало-помалу он стал к ним привыкать, и наконец самолюбие его дошло до того, что он принимал, не краснеясь, похвалы, которыми его осыпали. Он много стал о себе думать, важничал перед другими мальчиками и вообразил себе, что он гораздо лучше и умнее всех их. Нрав Алешин от этого совсем испортился: из доброго, милого и скромного мальчика он сделался гордый и непослушный. Совесть часто его в том упрекала, и внутренний голос ему говорил: «Алеша, не гордись! Не приписывай самому себе того, что не тебе принадлежит; благодари судьбу за то, что она тебе доставила выгоды против других детей, но не думай, что ты лучше их. Если ты не исправишься, то никто тебя любить не будет, и тогда ты, при всей своей учености, будешь самое несчастное дитя!»

Иногда он и принимал намерение исправиться; но, к несчастию, самолюбие так в нем было сильно, что заглушало голос совести, и он день ото дня становился хуже, и день ото дня товарищи менее его любили.

Притом Алеша сделался страшный шалун. Не имея нужды твердить уроков, которые ему задавали, он в то время, когда другие дети готовились к классам, занимался шалостями, и эта праздность еще более портила его нрав. Наконец он так надоел всем дурным своим нравом, что учитель серьезно начал думать о средствах к исправлению такого дурного мальчика — и для того задавал ему уроки вдвое и втрое бо́льшие, нежели другим; но и это нисколько не помогало. Алеша вовсе не учился, а все-таки знал урок с начала до конца, без малейшей ошибки.

Однажды учитель, не зная, что с ним делать, задал ему выучить наизусть страниц двадцать к другому утру и надеялся, что он, по крайней мере, в этот день будет смирнее. Куды! Наш Алеша и не думал об уроке! В этот день он нарочно шалил более обыкновенного, и учитель тщетно грозил ему наказанием, если на другое утро не будет он знать урока. Алеша внутренно смеялся этим угрозам, будучи уверен, что конопляное зернышко поможет ему непременно. На следующий день, в назначенный час, учитель взял в руки книжку, из которой задан был урок Алеше, подозвал его к себе и велел проговорить заданное. Все дети с любопытством обратили на Алешу внимание, и сам учитель не знал, что подумать, когда Алеша, несмотря на то что вовсе накануне не твердил урока, смело встал со скамейки и подошел к нему. Алеша нимало не сомневался в том, что и этот раз ему удастся показать свою

необыкновенную способность: он разинул рот... и не мог выговорить ни слова!

— Что ж вы молчите? — сказал ему учитель. — Говорите урок.

Алеша покраснел, потом побледнел, опять покраснел, начал мять свои руки, слезы у него от страха навернулись на глазах... всё тщетно! Он не мог выговорить ни одного слова, потому что, надеясь на конопляное зерно, он даже и не заглядывал в книгу.

— Что это значит, Алеша? — закричал учитель. — Зачем вы не хотите говорить?

Алеша сам не знал, чему приписать такую странность, всунул руку в карман, чтоб ощупать семечко... но как описать его отчаяние, когда он его не нашел! Слезы градом полились из глаз его... он горько плакал и все-таки не мог сказать ни слова.

Между тем учитель терял терпение. Привыкнув к тому, что Алеша всегда отвечал безошибочно и не запинаясь, ему казалось невозможным, чтоб он не знал по крайней мере начала урока, и потому приписывал молчание его упрямству.

— Подите в спальню, — сказал он, — и оставайтесь там, пока совершенно будете знать урок.

Алешу отвели в нижний этаж, дали ему книгу и заперли дверь ключом.

Лишь только он остался один, как начал везде искать конопляное зернышко. Он долго шарил у себя в карманах, ползал по полу, смотрел под кроватью, перебирал одеяло, подушки, простыню — всё напрасно! Нигде не было и следов любезного зернышка! Он старался вспомнить, где он мог его потерять, и наконец уверился, что выронил его как-нибудь накануне, играя на дворе. Но каким образом найти его? Он заперт был в комнате, а если б и позволили выйти на двор, так и это, вероятно, ни к чему бы не послужило, ибо он знал, что курочки лакомы на коноплю, и зернышко его, верно, которая-нибудь из них успела склевать! Отчаявшись отыскать его, он вздумал призвать к себе на помощь Чернушку.

— Милая Чернушка! — говорил он. — Любезный министр! Пожалуйста, явись мне и дай другое зернышко! Я, право, вперед буду осторожнее...

Но никто не отвечал на его просьбы, и он наконец сел на стул и опять принялся горько плакать.

Между тем настала пора обедать; дверь отворилась, и вошел учитель.

— Знаете ли вы теперь урок? — спросил он у Алеши.

Алеша, громко всхлипывая, принужден был сказать, что не знает.

— Ну так оставайтесь здесь, пока выучите! — сказал учитель, велел подать ему стакан воды и кусок ржаного хлеба и оставил его опять одного.

Алеша стал твердить наизусть, но ничего не входило ему в голову. Он давно отвык от занятий, да и как вытвердить двадцать печатных страниц! Сколько он ни трудился, сколько ни напрягал свою память, но когда настал вечер, он не знал более двух или трех страниц, да и то плохо. Когда пришло время другим детям ложиться спать, все товарищи его разом нагрянули в комнату, и с ними пришел опять учитель.

— Алеша! Знаете ли вы урок? — спросил он.

И бедный Алеша сквозь слезы отвечал:

— Знаю только две страницы.

— Так видно и завтра придется вам просидеть здесь на хлебе и на воде, — сказал учитель, пожелал другим детям покойного сна и удалился.

Алеша остался с товарищами. Тогда, когда он был доброе и скромное дитя, все его любили, и если, бывало, подвергался он наказанию, то все о нем жалели, и это ему служило утешением; но теперь никто не обращал на него внимания: все с презрением на него смотрели и не говорили с ним ни слова. Он решился сам начать разговор с одним мальчиком, с которым в прежнее время был очень дружен, но тот от него отворотился, не отвечая. Алеша обратился к другому, но и тот говорить с ним не хотел и даже оттолкнул его от себя, когда он опять с ним заговорил. Тут несчастный Алеша почувствовал, что он заслуживает такое с ним обхождение товарищей. Обливаясь слезами, лег он в свою постель, но никак не мог заснуть.

Долго лежал он таким образом и с горестию вспоминал о минувших счастливых днях. Все дети уже наслаждались сладким сном, один только он заснуть не мог! «И Чернушка меня оставила», — подумал Алеша, и слезы вновь полились у него из глаз.

Вдруг... простыня у соседней кровати зашевелилась, подобно как в первый тот день, когда к нему явилась черная курица. Сердце в нем стало биться сильнее... он желал, чтоб Чернушка вышла опять из-под кровати; но не смел надеяться, что желание его исполнится.

— Чернушка, Чернушка! — сказал он наконец вполголоса...

Простыня приподнялась, и к нему на постель взлетела черная курица.

— Ах, Чернушка! — сказал Алеша вне себя от радости. — Я не смел надеяться, что с тобою увижусь! Ты меня не забыла?

— Нет, — отвечала она, — я не могу забыть оказанной тобою услуги, хотя тот Алеша, который спас меня от смерти, вовсе не похож на того, которого теперь перед собою вижу. Ты тогда был добрый мальчик, скромный и учтивый, и все тебя любили, а теперь... я не узнаю тебя!

Алеша горько заплакал, а Чернушка продолжала давать ему наставления. Долго она с ним разговаривала и со слезами упрашивала его исправиться. Наконец, когда уже начинал показываться дневной свет, курочка ему сказала:

— Теперь я должна тебя оставить, Алеша! Вот конопляное зерно, которое выронил ты на дворе. Напрасно ты думал, что потерял его невозвратно. Король наш слишком великодушен, чтоб лишить тебя оного за твою неосторожность. Помни, однако, что ты дал честное слово сохранять в тайне всё, что тебе о нас известно... Алеша! К теперешним худым свойствам твоим не прибавь еще худшего — неблагодарности!

Алеша с восхищением взял любезное свое семечко из лапок курицы и обещался употребить все силы свои, чтоб исправиться!

— Ты увидишь, милая Чернушка, — сказал он, — что я сегодня же совсем другой буду...

— Не полагай, — отвечала Чернушка, — что так легко исправиться от пороков, когда они уже взяли над нами верх. Пороки обыкновенно входят в дверь, а выходят в щелочку, и потому, если хочешь исправиться, то должен беспрестанно и строго смотреть за собою. Но прощай!.. Пора нам расстаться!

Алеша, оставшись один, начал рассматривать свое зернышко и не мог им налюбоваться. Теперь-то он совершенно спокоен был насчет урока, и вчерашнее горе не оставило в нем никаких следов. Он с радостию думал о том, как будут все удивляться, когда он безошибочно проговорит двадцать страниц, — и мысль, что он опять возьмет верх над товарищами, которые не хотели с ним говорить, ласкала его самолюбие. Об исправлении самого себя он хотя и не забыл, но думал, что это не может быть так трудно, как говорила Чернушка. «Будто не от меня зависит исправиться! — мыслил он. — Стоит только захотеть, и все опять меня любить будут...»

Увы! Бедный Алеша не знал, что для исправления самого себя необходимо должно начать тем, чтоб откинуть самолюбие и излишнюю самонадеянность.

Когда поутру собрались дети в классы, Алешу позвали вверх. Он вошел с веселым и торжествующим видом.

— Знаете ли вы урок ваш? — спросил учитель, взглянув на него строго.

— Знаю, — отвечал Алеша смело.

Он начал говорить и проговорил все двадцать страниц без малейшей ошибки и остановки. Учитель вне себя был от удивления, а Алеша гордо посматривал на своих товарищей.

От глаз учителя не скрылся гордый вид Алешин.

— Вы знаете урок свой, — сказал он ему, — это правда, — но зачем вы вчера не хотели его сказать?

— Вчера я не знал его, — отвечал Алеша.

— Быть не может, — прервал его учитель. — Вчера ввечеру вы мне сказали, что знаете только две страницы, да и то плохо, а теперь без ошибки проговорили все двадцать! Когда же вы его выучили?

Алеша замолчал. Наконец дрожащим голосом сказал он:

— Я выучил его сегодня поутру!

Но тут вдруг все дети, огорченные его надменностию, закричали в один голос:

— Он неправду говорит; он и книги в руки не брал сегодня поутру!

Алеша вздрогнул, потупил глаза в землю и не сказал ни слова.

— Отвечайте же! — продолжал учитель, — когда выучили вы урок?

Но Алеша не прерывал молчания: он так поражен был сим неожиданным вопросом и недоброжелательством, которое оказывали ему все его товарищи, что не мог опомниться.

Между тем учитель, полагая, что он накануне не хотел сказывать урока из упрямства, счел за нужное строго наказать его.

— Чем более вы от природы имеете способностей и дарований, — сказал он Алеше, — тем скромнее и послушнее вы должны быть. Не для того Бог дал вам ум, чтоб вы во зло его употребляли. Вы заслуживаете наказание за вчерашнее упрямство, а сегодня вы еще увеличили вину вашу тем, что солгали. Господа! — продолжал учитель, обратясь к пансионерам. — Запрещаю всем вам говорить с Алешею до тех пор, пока он совершенно исправится. А так как, вероятно, для него это небольшое наказание, то велите подать розги.

Принесли розги... Алеша был в отчаянии! В первый еще раз с тех пор, как существовал пансион, наказывали розгами, и кого же — Алешу, который так много о себе думал, который считал себя лучше и умнее всех! Какой стыд!..

Он, рыдая, бросился к учителю и обещался совершенно исправиться...

— Надо было думать об этом прежде, — был ему ответ.

Слезы и раскаяние Алеши тронули товарищей, и они начали просить за него; а Алеша, чувствуя, что не заслужил их сострадания, еще горше стал плакать! Наконец учитель приведен был в жалость.

— Хорошо! — сказал он. — Я прощу вас ради просьбы товарищей ваших, но с тем, чтоб вы пред всеми признались в вашей вине и объявили, когда вы выучили заданный урок?

Алеша совершенно потерял голову... он забыл обещание, данное подземельному королю и его министру, и начал рассказывать о черной курице, о рыцарях, о маленьких людях...

Учитель не дал ему договорить...

— Как! — вскричал он с гневом. — Вместо того чтобы раскаяться в дурном поведении вашем, вы меня еще вздумали дурачить, рассказывая сказку о черной курице?.. Этого слишком уже много. Нет, дети! Вы видите сами, что его нельзя не наказать!

И бедного Алешу высекли!!

С поникшею головою, с растерзанным сердцем, Алеша пошел в нижний этаж, в спальные комнаты. Он был как убитый... стыд и раскаяние наполняли его душу! Когда чрез несколько часов он немного успокоился и положил руку в карман... конопляного зернышка в нем не было! Алеша горько заплакал, чувствуя, что потерял его невозвратно!

Ввечеру, когда другие дети пришли спать, он также лег в постель, но заснуть никак не мог! Как раскаивался он в дурном поведении своем! Он решительно принял намерение исправиться, хотя чувствовал, что конопляное зернышко возвратить невозможно!

Около полуночи пошевелилась опять простыня у соседней кровати... Алеша, который накануне этому радовался, теперь закрыл глаза... он боялся увидеть Чернушку! Совесть его мучила. Он вспомнил, что еще вчера ввечеру так уверительно говорил Чернушке, что непременно исправится, — и вместо того... Что он ей теперь скажет?

Несколько времени лежал он с закрытыми глазами. Ему слышался шорох от поднимающейся простыни...Кто-то подошел к его кровати — и голос, знакомый голос, назвал его по имени:

— Алеша, Алеша!

Но он стыдился открыть глаза, а между тем слезы из них выкатывались и текли по его щекам...

Вдруг кто-то дернул за одеяло...Алеша невольно проглянул, и перед ним стояла Чернушка — не в виде курицы, а в черном платье, в мали-

новой шапочке с зубчиками и в белом накрахмаленном шейном платке, точно как он видел ее в подземной зале.

— Алеша! — сказал министр. — Я вижу, что ты не спишь...Прощай! Я пришел с тобою проститься, более мы не увидимся!..

Алеша громко зарыдал.

— Прощай! — воскликнул он. — Прощай! И, если можешь, прости меня! Я знаю, что виноват перед тобою, но я жестоко за то наказан!

— Алеша! — сказал сквозь слезы министр. — Я тебя прощаю; не могу забыть, что ты спас жизнь мою, и всё тебя люблю, хотя ты сделал меня несчастным, может быть, навеки!.. Прощай! Мне позволено видеться с тобою на самое короткое время. Еще в течение нынешней ночи король с целым народом своим должен переселиться далеко-далеко от здешних мест! Все в отчаянии, все проливают слезы. Мы несколько столетий жили здесь так счастливо, так покойно!..

Алеша бросился целовать маленькие ручки министра. Схватив его за руку, он увидел на ней что-то блестящее, и в то же самое время какой-то необыкновенный звук поразил его слух...

— Что это такое? — спросил он с изумлением.

Министр поднял обе руки кверху, и Алеша увидел, что они были скованы золотою цепью... Он ужаснулся!..

— Твоя нескромность причиною, что я осужден носить эти цепи, — сказал министр с глубоким вздохом, — но не плачь, Алеша! Твои слезы помочь мне не могут. Одним только ты можешь меня утешить в моем несчастии: старайся исправиться и будь опять таким же добрым мальчиком, как был прежде. Прощай в последний раз!

Министр пожал Алеше руку и скрылся под соседнюю кровать.

— Чернушка, Чернушка! — кричал ему вслед Алеша, но Чернушка не отвечала.

Во всю ночь не мог он сомкнуть глаз ни на минуту. За час перед рассветом послышалось ему, что под полом что-то шумит. Он встал с постели, приложил к полу ухо и долго слышал стук маленьких колес и шум, как будто множество маленьких людей проходило. Между шумом этим слышен был также плач женщин и детей и голос министра Чернушки, который кричал ему:

— Прощай, Алеша! Прощай навеки!..

На другой день поутру дети, проснувшись, увидели Алешу, лежащего на полу без памяти. Его подняли, положили в постель и послали за доктором, который объявил, что у него сильная горячка.

Недель через шесть Алеша, с помощию Божиею, выздоровел, и всё происходившее с ним перед болезнию казалось ему тяжелым сном. Ни учитель, ни товарищи не напоминали ему ни слова ни о черной курице, ни о наказании, которому он подвергся. Алеша же сам стыдился об этом говорить и старался быть послушным, добрым, скромным и прилежным. Все его снова полюбили и стали ласкать, и он сделался примером для своих товарищей, хотя уже и не мог выучить наизусть двадцать печатных страниц вдруг — которых, впрочем, ему и не задавали.

МАГНЕТИЗЕР

(ОТРЫВОК ИЗ НОВОГО РОМАНА)

Глава I

Пермской губернии, в городе Екатеринбурге, в одном доме — которого местоположение по известным мне причинам я означить не намерен, — ввечеру, часу в восьмом, на большом четвероугольном столе, покрытом ярославскою алою с белыми узорами скатертью, дымился огромный самовар из красной меди. На самоваре стоял большой серебряный чайник старинной чеканной работы с выгнутым круглым носиком. Подле самовара, на большом овальном жестяном подносе, на котором довольно искусно изображено было красками изгнание из рая Адама и Евы, установлено было несколько чашек белого фарфора с нарисованными на них тюльпанами, незабудками и розами. Тут же, подле фарфорового молочника с густыми желтыми сливками, лежало ситечко из плоской серебряной проволоки. Немного подальше блестящий хрустальный графин с лучшим ямайским ромом стоял подле серебряного стакана, в котором вправлены были русские медали, выбитые в память различных знаменитых происшествий. Большая серебряная корзина резной работы наполнена была сухарями.

Все сии предметы освещены были двумя сальными свечами в серебряных шандалах, а самый стол, на котором всё это было расставлено, стоял перед диваном красного дерева, обтянутым черным сафьяном, в иных местах немного потертым и обитым гвóздичками с круглыми медными головками.

На диване против самовара сидела женщина средних лет, довольно дородная. Брови у нее были черные дугою, глаза большие, голубые, обыкновенно потупленные в землю, что придавало ей вид скромности. Голова ее была повязана голубым шелковым платком с бахромчатою кай-

мою, уши украшены длинными серьгами из мелкого жемчугу. На плеча накинут был черный атласный салоп с воротником, обшитым широкими кружевами. Подле нее, против серебряного стакана, сидел мужчина лет пятидесяти в кафтане из тонкого синего сукна: на груди его из-под широко расчесанной темно-русой бороды светлелась золотая медаль на алой ленте;[1] красный носовой платок с синими полосками и тульская серебряная табакерка с чернью лежали подле него на диване. В руках держал он тоненькую книжку в цветной обертке и, казалось, читал с большим вниманием.

Против них на стуле сидела молодая прекрасная девушка лет девятнадцати. Она одета была просто — впрочем, по новейшей моде; но в ушах ее блистали бриллианты высокой цены, лилейная шея украшалась несколькими рядами крупного, ровного жемчугу, а длинные каштановые волосы сдерживаемы были на голове гребнем, драгоценными каменьями украшенным. Все приемы и вообще наружность ее показывали тонкую образованность, приобретаемую в обществах Петербурга и Москвы. Увидев ее в настоящем положении, иной подумал бы, что она в глухой сибирский край и в этот дом перенесена из столицы какою-нибудь волшебною силою. Она погружена была в задумчивость и не замечала нежных взглядов, бросаемых на нее от времени до времени дородною женщиною, которая, казалось, любовалась ее красотою. Внимательный наблюдатель тотчас узнал бы в этих двух особах мать и дочь.

— Полно тебе читать, Анисим Аникеевич, — сказала дородная женщина. — Уж мне, право, эти петербургские журналы. Как придет почта, так дня два к нему и приступу нет. Смотри, уж самовар скоро выкипит; чай настоялся, как пиво доброе, а ты и не принимался еще пить!

— Тотчас, Гавриловна! — вымолвил Анисим Аникеевич, не сводя глаз с книжки и подавая ей серебряный стакан. — Пашенька, — продолжал он, — сочни-ка со свечки.[2]

Молодая девушка поспешила исполнить его приказание. «Верно, что-нибудь интересное, батюшка!» — сказала она.

— Да такое интересное, — отвечал с жаром Анисим Аникеевич, положив на диван раскрытую книгу, а на нее серебряную табакерку с чернью, — такое интересное, что я отроду не слыхивал, да и во сне мне не грезилось!

— Ах, мои матушки! — вскричала Степанида Гавриловна, — уж не опять ли было наводнение в Питере?

— Не наводнение, матушка, а наваждение, если это, прости Господи, не враки! Дело идет о каком-то магнетизме. Слыхала ли ты про него, когда была в Петербурге, Пашенька?

Пашенька вздрогнула, как будто вспомнила о чем-то страшном и отвратительном.

— Слыхала, батюшка! — сказала она вполголоса.

— Рассказывай, что такое? — вскричал Анисим Аникеевич и опять поставил на стол серебряный стакан, поднесенный уже к губам.

— Года четыре тому назад, — начала рассказывать Пашенька, — когда только что взяли меня из пансиона, я часто бывала в доме графини N***. У них была горничная девушка, которая вдруг впала в страшную и необыкновенную болезнь. Звали ее Катериной. Катерина сначала редко, потом чаще, наконец, раза два или три в день получала припадки, во время которых она плакала, смеялась, говорила бог знает что, чего после сама никак не помнила! Припадки эти оканчивались обыкновенно конвульсиями...

— А что это такое, конвульсии? — спросила Степанида Гавриловна.

— Конвульсии, — отвечал Анисим Аникеевич с приметным нетерпением, — не что иное, как кривлянья, — вот как ты кривляешься, когда страдаешь животом...

— Конвульсии не то, что кривлянье, — подхватила Паша, вступясь за мать, — это род судорог...

— Знаю, мой друг, знаю, — прервал ее отец, качая головой. — Продолжай, Пашенька.

— Припадки Катерины обыкновенно оканчивались конвульсиями, на которые страшно было смотреть! Мне несколько раз случалось видеть эти конвульсии, и от одного воспоминания у меня на голове волосы шевелятся! Вообразите себе, батюшка, что в продолжение этих конвульсий двое мужчин не в состоянии были ее удержать; она так изгибалась, что никто не мог смотреть на нее без ужаса! Иногда голова ее заворачивалась назад так, что сходилась почти с ногами...

— Упаси Господи! — вскричала Гавриловна. — Пашенька! да она, верно, была беснующаяся?

— И в Петербурге многие так полагали, — сказала Паша.

— Вот видишь, Анисим! — опять вскричала Гавриловна, — стало быть, я еще не совсем пошлая дура! И в Петербурге верят беснующимся...

— Ах, матушка! кто говорит, что ты дура? — сказал с досадою Аникеевич. — Я знаю, что ты умна, чересчур умна! (Надоела, как горькая редька, — проворчал он себе под нос.) Продолжай, Пашенька!

— Лучшие петербургские доктора съезжались в дом графини N*** и уверяли, что это не что иное, как нервические припадки, истерика; но никто между тем не в силах был помочь Катерине. День от дня припадки становились чаще и сильнее, несмотря на капли, порошки и ванны. Графиня наконец согласилась призвать одну известную ворожею, которая тогда жила в Коломне у Харламова моста.[3] Она приехала, много говорила, выпила несколько чашек кофею и обещалась непременно вылечить больную. Во время припадка она над нею шептала, на нее плевала, чем-то ее опрыскивала; а бедной Катерине все-таки не делалось лучше! Наконец прогнали ворожею и опять принялись за докторские капли, которые, впрочем, по-прежнему нимало не помогали. В то время приехал в Петербург из Неаполя один итальянец, маркиз, и принят был в лучшие общества. Он посещал и дом графини. Однажды случайно упомянули о болезни Катерины... Маркиз слушал рассказ о ней с необычайным вниманием.

— Нельзя ли видеть вашу больную? — сказал он наконец.

— Для чего? — спросила графиня.

— Может быть, я в силах ей помочь, — отвечал маркиз.

Графиня сначала не знала, на что решиться; но не находя никакого препятствия в исполнении желания маркиза, согласилась на оное и сама повела его к Катерине. Они вошли к ней в самую ту минуту, как больная изнемогала от мучений одного из ужаснейших ее припадков. Случайно я была тогда у нее. Маркиз при входе в комнату устремил проницательный взор свой прямо на больную, подошел к кровати, схватил руку — и больная задрожала, потом успокоилась; все члены ее пришли опять в естественное свое положение; она несколько раз тяжело вздохнула, после того открыла глаза... Конвульсии совершенно прекратились, и в тот день она была здорова, хотя очень слаба. Вид этого итальянца с первого на него взгляда сделал неприятное на меня впечатление; но когда увидела я, что он одним наложением руки своей прекратил страдания бедной Катерины, то я не могла удержаться от невольного восклицания. Маркиз вдруг поворотил голову ко мне... из черных, пламенных глаз своих он бросил на меня взор... мне показалось, что взор этот осуществился и в виде огненной стрелы вонзился в мое сердце. Я почувствовала невольный страх; я почувствовала, что ноги мои подгибаются, и чрез силу могла выйти из комнаты.

Пашенька замолчала, робко оглянулась на все стороны и, казалось, как будто чего-то страшилась...

— Что ж, вылечил ли он Катерину? — спросила Степанида Гавриловна, не замечая смущения дочери.

Паша вздрогнула и отвечала тихо:

— Говорят, что он ее совсем вылечил; но зато я страдала долгое время после того...

— Как? чем? Мы об этом ничего не знали! — вскричали в один голос отец и мать.

— Болезнь эта не препятствовала мне писать к вам с каждою почтою, — продолжала Пашенька, — и я не хотела вас беспокоить. Впрочем, тогдашнее положение мое не совсем можно назвать болезнию, хотя страдания мои были чрезмерны. Я не могла без содрогания думать о маркизе; но в иное время мне, напротив того, казалось, что он один может избавить меня от этой несносной тоски, от этого неизъяснимого уныния, которые, иногда совсем неожиданно и непонятным для меня образом, пробуждались в душе моей и терзали ее. Я не могу описать тогдашних ощущений моих; но уверяю вас, что и теперь еще, при одном воспоминании, на меня находит ужас.

— Плюнь на дьявола! — вскричала Степанида Гавриловна и при сих словах сама плюнула в сторону.

— Перекрестись, Пашенька! — сказал Анисим Аникеевич и сам перекрестился.

Паша тоже перекрестилась с сердечным умилением; потом, смиренно сложив руки и устремив взор прямо пред собою, продолжала начатый рассказ:

— Припадки эти делались со мною реже, когда в следующую после того весну мы поехали в Ревель. Прелестные местоположения, благорастворенный воздух, веселое общество, может быть, и купанье в море меня рассеяли, и я возвратилась в Петербург, совершенно выздоровев. Вскоре после того я отправилась в Екатеринбург, к вам, любезные родители, и здесь до нынешнего вечера не чувствовала никаких признаков прежней болезни. Теперь только, кажется, как будто чувствую что-то похожее на тогдашнее мое положение. Но надеюсь, что это пройдет к завтрему. Меня клонит сон; позвольте мне пожелать вам покойной ночи.

Паша встала со стула, поцеловала руку у батюшки и у матушки, которые благословили ее, и отправилась в свою комнату в сопровождении встревоженной матери.

Анисим Аникеевич в глубоком раздумье остался на диване. Несколько времени спустя после того вошла опять Гавриловна.

— Проклятые журналы! — сказала она, входя в комнату. — Если б ты не говорил об этом магатизе или как его зовут, то и Пашенька бы не занемогла...

— Полно браниться, Гавриловна! — отвечал ей муж, — у меня не то на уме! Какова Пашенька?

— Пашенька, слава Богу, заснула, только что легла в постель; однако дай же мне договорить.

— Так и нам спать пора, — прервал ее Анисим Аникеевич. — Помолись-ка Богу да ложись!

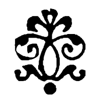
Они пошли в спальню. Степанида Гавриловна давно уже храпела, когда Анисим Аникеевич всё еще стоял перед кивотом и клал поклоны Николаю Чудотворцу.

Глава II

Анисим Аникеевич Фесюрин родился в Москве. Отец его — хозяин мелочной лавочки в Немецкой слободе[4] — по мере возможности старался дать ему хорошее воспитание и на восьмом еще году начал посылать его в народное училище. Анисим был мальчик смышленый и прилежный и потому в течение двух или трех лет научился всему, чему в то время можно было научиться в народных училищах; он читал и писал хорошо и знал арифметику до тройного правила. Притом он был добронравен, проворен и деятелен и потому сделался весьма полезным отцу своему, который вверил ему всю счетную часть по небольшой своей торговле. Заметили даже, что, с тех пор как пригожий, краснощекий Аниска (у которого шелковые кудри, в кружок остриженные, всегда были порядочно вычесаны, лицо и руки умыты, а синий кафтан не замаран ни пухом, ни салом) сделался главным действующим лицом в этой лавочке, число покупщиков значительно умножилось. Все кухарки из соседства брали соленые огурцы и квас охотнее у него, чем у других, а горничные девушки сахар и кофе, у него покупаемый, предпочитали всякому другому. Аниска, так сказать, вошел в моду; а когда впоследствии мягкий пушок пробился на верхней губе его и глаза ярче начали светиться, то число покупщиц от того не уменьшилось: напротив того, многие из соседственных барынь гораздо чаще стали бранить своих девушек за беспрестанное беганье в лавочку. Барыни не подозревали, что причиною всех сих домашних беспорядков был наш Аниска, которого тогда некоторые начинали уже честить Анисимом Аникеевичем.

По улице, где была лавочка Анисима, часто проходил один разносчик, торговавший старыми книгами, и всякий раз заходил в эту лавочку. Анисим всегда был ему рад, потому что разносчик позволял ему перелистывать книги, между тем как сам, расположившись на скамье, лако-

мился кусочком паюсной икры или балыком. Таким образом в Анисиме возбудилась охота к чтению, и он часто с сожалением помышлял о том, как бы для него приятно было, если б отец его вместо мелочной лавки имел книжную. От прозорливых глаз букиниста не скрылась сия охота Анисима, и он разговорами своими еще более воспламенял воображение молодого лавочника, стараясь переманить его к себе в товарищи. Отец Анисима имел довольно хорошее состояние, и букинисту весьма выгодным казалось найти в Анисиме не только деятельного товарища, но и средства к распространению небольшой своей торговли...



МОНАСТЫРКА

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава I

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Солнце было на закате, и багрово-огненные лучи его, озаряя покрытый черными тучами небосклон, предвещали непогоду, когда ямщик мой остановил лошадей у довольно крутого пригорка и слез с козел, чтоб затормозить колесо.

— Далеко ли до Р**? — спросил я его.

— Да буде ще верстов з пьять добрых! — отвечал он.

— А дорога хороша?

— А тож! дорога гладка, от як тик; тилки пискив богато!*

«Так не скоро же мы доедем, — подумал я, печально взглянув на четверку измученных лошадей, через силу тащивших легкую, открытую мою коляску. — Дай Бог только, чтоб дождь не промочил меня до костей!»

Читателю, желающему знать, куда я ехал и почему так опасался дождя, да будет известно, что я спешил на крестины к знакомому мне помещику, жившему от меня верстах в семидесяти. Дней за пять перед тем он сам приезжал звать меня в крестные отцы родившемуся у него первому ребенку, и я принужден был принять его приглашение, хотя в то время очень был занят важными для меня делами и потому внутренне сожалел, что выбор его пал на меня. Крестины, по особенному

* — А как же! Дорога гладкая, вот как ток; только песков много! *Здесь и далее звездочками обозначены переводы и примечания автора.*

случаю, назначены были часу в восьмом утра, тотчас после ранней обедни, и мне непременно должно было прибыть туда накануне. Село приятеля моего находилось немного в стороне от столбовой Черниговской дороги, и я расчел, что для выигрышу времени мне выгоднее ехать на почтовых, нежели на своих, хотя таким образом делал я кругу более двадцати верст. «Станции в Малороссии теперь довольно исправны, — думал я, — и лошади везде хорошие; и так я легко могу совершить путь свой до сумерек!» В тот день погода была прекрасная, и я, завернувшись от пыли в шинель, сел в коляску и пустился в дорогу.

«Человек предполагает, а Бог располагает!» — говорит пословица, справедливость которой я узнал тут на опыте. Не успел я проехать и половины дороги, как поднялся ветер и в скором времени нагнал множество дождевых туч. Лошади попадались мне везде только что возвратившиеся с гону, и хотя на каждой станции, к утешению моему, предсказывали мне, что на следующей я найду *коней свижых*, но предсказания эти, к несчастию, не сбывались: лошади везде равно были утомлены от случившихся в то время частых разъездов курьеров и фельдъегерей. Наконец на предпоследней станции мне решительно объявили, что лошадей нет вовсе, — кроме одной курьерской тройки, которую дать мне было невозможно. С нетерпением выскочил я из коляски и спросил записную тетрадь писаря, чтоб удостовериться, что меня не обманывают. В Малороссии не на всех станциях есть казенные смотрители. Усастый, тучный украйнец, не отвечая мне ни слова, покривил рот, почесал подбритую в кружок голову, медленными шагами вышел в другую комнату и минут через пять принес запачканный лист бумаги, вероятно служивший ему, между прочим, для упражнения в чистописании и на котором, кроме выписок из подорожних, нацарапано было так много постороннего, что надлежало иметь особенное искусство для извлечения из каллиграфического сего лабиринта того, что мне нужно было узнать.

— Что это за вздор? — вскричал я с досадою, бросив на пол поданную мне бумагу, — разве нет у тебя порядочной тетради?

Писарь хладнокровно нагнулся, поднял с полу бумагу и подал мне ее опять, не говоря ни слова.

— Что ж ты не отвечаешь? Нет у вас другой тетради?

— Нема!*

— Как «нема»! Разве не приказано вам иметь всегда особую чистую книгу для внесения подорожень и означения вышедших в разгон лошадей?

* — Нет; не имеется!

— Эге!*

— Ну!.. так зачем же ее нет?

— Э! пане! не всё то робитца, що приказу́ють!**

— Как! — вскричал я с возрастающим гневом, — ты, кажется, насмехаешься надо мною? Ты хвастаешься, что не всё делается, что приказывается?

— Ни, пане, не фастаю!

— Как же ты смеешь не исполнять приказаний начальства?

— А колы в ме́не нема бумаги, пане?***

Делать было нечего! Я принял опять запачканный лист из рук писаря, занялся разбиранием спутанного счета лошадей и открыл, что, за действительным расходом и оставлением фельдъегерской тройки, десять лошадей должны находиться на станции.

— Где же эти лошади? — спросил я.

Писарь с прежним хладнокровием отвечал, что нет ни одной дома, что тройку взял сам содержатель станции, а остальных велел отдать под экипаж знакомой ему барыне, за несколько часов проехавшей к нему в гости, без подорожней. Тщетно грозил я пожаловаться начальству, флегматик писарь отвечал преравнодушно: «Як заугодно!»

Наконец флегма его вывела меня совершенно из терпения, и я — признаюсь теперь в грехе — потерял из виду, что добиваю уже пятый десяток лет. Мне вздумалось тряхнуть военною стариною, и я начал требовать лошадей неотступно, угрожая в противном случае жалобою, наказанием и — бог знает чем! Но лишь только я возвысил голос, как писарь мой притворился совсем глухим и, не обращая внимания на бесполезный крик мой, не отвечал ни слова. Чем громче я кричал, тем более он морщился, показывал пальцем на ухо и твердил только:

— Звыните, ваше благородие, я ничо́го не чую.

Угрозы мои не изменили ни одной черты неподвижной физиономии упрямого украйнца, и глухота его прошла тогда только, когда я успокоился и, решившись испытать иные средства, всунул ему в руку целковый. Тогда он поклонился низенько и объявил, что хотя лошадей у него действительно не имеется, но можно нанять пару у священника, а другую у шинкаря еврея и таким образом доехать до следующей станции, где не будет, верно, никакой остановки, потому что там город и, в случае нужды, достать можно обывательских. Разумеется, что я охотно со-

* Выражение утвердительное: да! конечно!

** — Э! Сударь, не всё то делается, что приказывают!

*** — А когда у меня нет бумаги?

гласился. Не прошло получаса, как коляска моя, за двойные прогоны, была заложена тощею четверкою, и я отправился в путь, провожаемый низкими поклонами обоих хозяев, которые оба убедительно просили меня поберечь лошадей и ехать тише, чтоб их не загнать.

Просьбы сии, как я вскоре заметил, были совершенно излишние, ибо лошади шли обычным шагом, нимало не тревожась ударами ямщика, прельщенного обещанием на водку и всячески старавшегося понудить их прибавить хотя немного шагу. Таким образом дотащился я до того пригорка, у которого благосклонный читатель видел меня в начале сей главы.

Лошади мои, сбежав с пригорка маленькою рысью, продолжали путь тем же ровным шагом, какой принят был ими при выезде из станции. Углубленный в размышления о скорой и исправной нашей русской езде, коей — как гласят многие печатные книги — нет подобной в целой Европе, я было забыл о тучах, надо мною висевших, как вдруг полившийся крупный дождь вывел меня из задумчивости. Верх моей коляски — признаться, немного подержанной — поднять было невозможно, и потому я, закутавшись крепко в шинель, должен был, для охранения себя от дождя, ограничиться желанием, чтоб непогода прекратилась. Но желания мои остались без исполнения: когда мы доехали до маленького города Р**, шинель и праздничный под нею кафтан промокли до последней нитки! Я поневоле решился остановиться тут на ночь, чтоб на другой день на рассвете отправиться к месту моего назначения.

— Слава Богу! — вскричал я невольно громким голосом, когда коляска остановилась пред небольшим, по наружности чистеньким домиком, где, по уверению ямщика, я мог найти ночлег и отдых от утомительного путешествия. В окнах домика светился огонь, внутри слышен был звук гитары, сопровождаемый довольно приятным голосом, а в дверях ласково встретила меня старушка, освещенная сальною свечкою, которую держал стоявший подле нее оборванный мальчишка. Слышанные мною еще прежде вступления в дом звуки малороссийской любимой моей песни «Не ходы, Грыцю, на вечерныци», к тому же усталость от дороги и лихорадочная дрожь от дождя расположили меня заранее находить прекрасным всё, что увижу я в этом доме; и расположение это нимало не изменилось, когда представилась мне на глаза певица довольно красивой наружности, которая при входе моем замолкла и, поклонившись с веселою улыбкою, положила гитару на стол.

— Это дочь моя, — сказала старушка полурусским и полуукраинским наречием, — она играет и на гуслях, да теперь они отданы в починку столяру. Довольно дорого мне стоило ее воспитание; да ведь нельзя же иначе! Сами вы знаете, наше дело дворянское.

В Малороссии мне во многих маленьких городках, на большой дороге лежащих, случалось останавливаться в трактирах такого роду, и везде почти я находил старушку хозяйку, молодую дочь и гитару; везде мне на первых порах хозяева намекали тем или другим образом, что они дворяне; везде также я — если о том осведомлялся у других — узнавал, что дворянство это довольно сомнительно, но об этом в другой раз! Шляхетные мои хозяева угостили меня очень хорошо, напоили чаем и подали вкусный ужин, после которого, пожелав им доброй ночи, я поспешил улечься на кожаной софе, чтоб поспать несколько часов.

Лишь только я потушил огонь и закрыл глаза, как почувствовал, что с головы до ног осыпан целым роем насекомых, коих пользы на свете, несмотря на все напряжения ума моего, я до сих пор еще не мог постигнуть. Конечно, трудно найти человека, который бы любил этих насекомых; но нелегко тоже найти и такого, который бы до такой степени имел к ним отвращение, как я! С ужасом вскочил я с постели, зажег свечку и хотя издали, но с некоторым удовольствием смотрел, как испуганные мои неприятели спешили скрыться в своих убежищах. Зная, что после того мне решительно невозможно будет сомкнуть глаза в этом доме, я охотно бы поискал другой квартиры; но в то время уже было поздно и дождь шел проливной; к тому же ничто меня не удостоверяло, что на новой квартире я избегну этой язвы, и потому я принял намерение просидеть, не ложась, целую ночь.

Желая хотя немного разогнать скуку, начал я искать какой-нибудь книги для чтения, но поиски мои были напрасны. Между тем нечаянно попался мне в руки дамский рабочий мешок, или ридикюль, в котором, как мне показалось, были какие-то бумаги. От природы я не любопытен и очень хорошо знаю, что никогда не должно заглядывать в дамские ридикюли, а особливо читать без позволения хранящихся в оных бумаг; но пусть читатель вообразит себя на моем месте, и тогда он, верно, не строго меня осудит, если признаюсь ему, что я обрадовался этой находке. Не медля нимало, я начал опоражнивать мешок и, вынув из него носовой платок, ножницы, игольник, моток ниток, восковой огарок и завернутый в тряпке мозольный пластырь, наконец добрался до бумаг. Сначала разбор их мне показался не очень занимательным: несколько записок о забранном в лавке чае, сахаре и цикорном кофе; несколько счетов за обеды и ужины проезжающих; рецепт воды для умыванья — и два любовные письма, из которых, судя по слогу, одно было от дьячка, а другое от приходского учителя. Я хотел было положить мешок на место, как увидел еще пакет с письмами, которых почерк показался мне, при первом уже взгляде, отличным от прочих. Но как удивился я, усмотрев,

что письма эти совершенно иного разбору, нежели другие бумаги, так что я понять не мог, какими судьбами они попали в мешок хозяйской дочери! По-видимому, они писаны были за несколько лет пред тем воспитанницею Смольного монастыря к ее подруге; но, без подписи, не представляли никаких подробных сведений о сочинительнице. Это еще более возбудило мое любопытство, и я с нетерпением ожидал утра.

На рассвете хозяйка крепко постучалась в мою дверь, полагая, что я еще сплю. Она изумилась, увидев меня на ногах, и никак не могла понять, отчего я не мог спать на софе. Она уверяла, что у нее в целом доме нет ни одного клопа, да и быть не может, потому что она имеет легкое и верное от них средство, а именно: всякий год, когда цветет конопля, расставлять по углам комнат по три свежих стебля. Не находя никакой надобности доказывать ей, что средство ее либо вовсе недействительно, либо не каждый год ею употребляется, я оставил ее в приятном заблуждении и принялся расспрашивать о найденных мною в мешке письмах; но она ничего о них не знала. Призванная на помощь дочь, узнав, о чем идет дело, нахмурила брови и бросила на меня сердитый взгляд; но пошарив немного в мешке, удостоверившись, что любовные послания целы, и ощупав сверх того положенную мною туда ассигнацию, успокоилась и приняла прежний умильный вид. Она рассказала мне, что письма эти забыты у них в доме года за два перед тем одною проезжею госпожою, которой имени она не помнит; что сначала была их целая связка, но что потом они растерялись. Вот всё, что мог я узнать! Хозяйская дочь охотно согласилась подарить их мне, и я оставил дворянский трактир с твердым намерением употребить все старания, чтоб разведать подробнее о неизвестной сочинительнице писем.

Чтобы читатель мог видеть, основательно ли было мое любопытство, предлагаю на благоусмотрение его найденные мною в вышереченном мешке три письма.

Глава II

ПРОДОЛЖЕНИЕ

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

Ах! Маша, милая Маша! Вот уж целую неделю я прожила у тетушки в Малороссии и всё еще не привыкла! Что будет со мною вперед — не знаю! а теперь мне кажется, что никогда не привыкну ни к жизни этой, ни к этим людям! И во сне, и наяву мне грезится Петербург, и

Нева, и монастырь,[1] и ты, мой милый друг! и Р**, и С**, и Ф**, и все вы, добрые, незабвенные мои подружки! Ах, Маша! пиши ко мне; не забывай, что мы обещались вечно любить друг друга, когда еще были в *кофейных!* Сколько раз мы потом возобновляли это обещание и в *голубых, и* в *белых!*[2] Не забудь этого, моя Маша! А я теперь имею нужду в твоей дружбе — более нежели когда-нибудь: я чувствую себя здесь совершенно одинокою; кажется, как будто весь свет меня бросил или я живу в другом свете! Но ведь ты еще не знаешь, отчего мне здесь так грустно?

В продолжение целой дороги от Петербурга до Барвенова я, хотя беспрестанно думала о монастыре, но при всем том с удовольствием помышляла и о близком свидании моем с родными. Мне так хотелось видеть тетеньку и кузин! (Скажу мимоходом, что здесь я называю их сестрицами.) Я воображала, что тетенька будет похожа на А**, а кузин я представляла себе: старшую, как Н** (которая теперь попала в пепиньерки),[3] меньшую, как тебя, моя Маша, или по крайней мере как Р**. Как же я ошиблась в своих расчетах!

Мы прибыли в Барвеново довольно рано утром.

— Это Барвеново! — сказала мне с веселым видом женщина, которую посылали за мною в Петербург.

Я поспешно высунула голову из кареты, чтоб скорее увидеть это Барвеново, столько мне расхваленное дорогой... Ах, Маша! мне стыдно тебе признаться... Я думала, что Барвеново хоть немножко похоже на Царское Село или хоть на Каменный остров; а вместо того — поверишь ли? — таки нимало, нимало! Я увидела множество домиков низеньких, маленьких; вместо кровель на них кое-как набросана была почерневшая солома... Все без труб, Маша, а иные так перевисли на один бок, что страшно смотреть... Улицы узкие, кривые, грязные!

«Так это Барвеново!» — подумала я, и сердце во мне забилось, точно как бывало в монастыре перед экзаменом. Из домиков выбежали дети и женщины: первые в изорванных рубашках, а последние почти тоже в одних рубашках, только носят они здесь род передников — кадрилье красные с синим и зеленым.[4] Они низко поклонились (мне или карете — не знаю); и мужики, тут бывшие, тоже сняли шапки и низко кланялись. Ты думаешь, верно, любезная Маша, что мужики здесь такие, как в Петербурге кучера или, может быть, как чухонцы, которые там продают масло? Совсем нет! На них длинные белые кафтаны и такие же шапки... шляп я здесь вовсе не видала, а голова у них, ma chère, совсем обрита, только наверху оставлен хохол. Впрочем, они, кажется, *такие добрые!*

Мы переехали чрез узкую плотину и чрез мост, который был еще у́же и притом без перил, повернули влево и взъехали на двор, прямо к крыльцу. Двор был полон людей; они все бежали за каретой и кричали: «Се наша панночка, се наша панночка!» Женщины и дети, следовавшие за нами с самого въезда в село, остановились на улице и смотрели на нас в ворота. На крыльце стояла дама высокая, толстая, седая, в большом мужском колпаке и в красной стамедовой юбке;[5] на шее у нее накинут был ситцевый платок, едва прикрывающий плечи. Ноги ее, Маша! ноги были босы! Она подала мне руку, поцеловала меня в губы и сказала: «Здорово, Галечка! Як же ти пидросла!»

Маша! не показывай никому моего письма: эта дама была — моя тетенька! (Здесь никто меня не называет Анютою... тетенька и сестрицы зовут Галечкой, люди почти все панночкой, а иные Ганною Трохвымовною, по батюшке. Они говорят, что Анюта или Галечка всё равно; но мне это не нравится... пожалуйста, милая Машенька, никогда не зови меня Галечкою.)

Мы вошли в комнату небольшую, но довольно чисто прибранную: она бы мне нравилась, если б не так была низка, а то мне бывает в ней душно! Почти вслед за нами вбежали мои кузины. «От се дочки мои, — сказала мне тетенька, — се Праску́та, а се Гапочка!»

Они были в утреннем наряде, то есть волоса связаны широкою черной лентой, в черных салопах, без корсетов, и — пожалуйста, Маша! не рассказывай никому! — в больших кожаных сапогах! Впрочем, они *такие добрые!* особливо Гапочка мне нравится. Они очень друг на друга похожи и недурны собою, но только слишком толсты и краснощеки. Во всем монастыре у нас нет ни одной такой толстой, краснощекой, как мои кузины.

Мы скоро между собою познакомились. Они бог знает как рады были, что я приехала. Расспрашивали про Петербург, про монастырь, про балы — я даже устала от рассказов. Потом я принуждена была показывать им все свои платья — вот тут-то бы ты их послушала! Нынешние модные рукава им не нравятся, да и нельзя им надеть рукавов из газа: руки у них такие красные! Больше всего им полюбилась моя шляпка с перьями — знаешь, от m-me Xavier? Впрочем, у них более нарядов, нежели у меня, только без вкуса! Довольно жемчугу и брильянтов, но всё старинные фасоны. Я советовала тетеньке послать в Петербург к m-r Дювалю или к Ремплеру,[6] но она и слышать об этом не хочет. «Що ти городышь, Галя! — сказала она мне, — ти збылась с пантелыку!» (Это, по-здешнему, кажется, значит: ты с ума сошла.)

После обеда кузины повели меня по хозяйству, показывали винокурню, мельницу, амбары, подвалы и сарай, где откармливают свиней, Маша! — какие же они толстые! Кузины очень хорошо знают хозяйство; говорят, и я должна приучаться к этому...

Более всего мне надоел язык, которым здесь изъясняются. Поверишь ли, что я почти ничего не понимаю?

Вчера ввечеру сидела я в комнате и читала книжку; тетенька на крыльце разговаривала с винокуром. Ты не знаешь, что такое винокур, Маша? Это жид, который делает вино. Они много говорили о барде... я ничего не понимала, только слышала, что тетенька говорила: «Береги барду, береги барду!» — а жид отвечал: «Как зе, васе благородие, не берец; барда прекрасная, барда отлицная!» Я в Петербурге читала Жуковского сочинения и помнила, что он говорит о бардах...[7] барда, в дистракции[8] мне как-то представилось, что которую так хвалят, должна быть жена какого-нибудь барда, или поэта... и только что ушел винокур, я подбежала к тетеньке и просила познакомить меня с бардою. «А що тоби с нею робыть! — отвечала тетенька. — Я чула, що миются бардой, щоб шкура була билие...» Ах, Маша! как же мне стыдно было, когда я узнала, что такое барда! Здесь барда не то, что у вас в Петербурге: здесь так называют гущу, которая остается на дне, когда делают вино!

Но ты, может быть, не поняла тетенькиных слов? Она сказала мне, если перевесть их на русское: «А что тебе с нею делать? Я слышала, что моются бардою, для того чтоб кожа сделалась белее...» Миются по-малороссийски значит моются, а шкурой называют мою кожу, Маша!

Но тебе, я думаю, надоело и письмо мое, и малороссийское наречие. В другой раз я буду писать к тебе про тетеньку, как будто она говорит по-русски. Прощай, милая Машенька! кланяйся Р** и С** и поцелуй за меня Ф**. С будущею почтой опять к тебе писать буду.

P. S. Я забыла тебе сказать, что тетенька не целый день ходит босая, а кузины надевают сапоги только по утрам, особливо когда на дворе грязно. К обеду они обыкновенно одеваются довольно порядочно: тетенька на голове носит шелковый темный платок, почти как у нас купчихи, только другим манером; а у кузин платьев довольно и все почти новые, только талии слишком коротки, и всегда они ходят без корсета. Я предлагала им свои, да им они не впору — слишком узки. Прощай, любезная Машенька!

ПИСЬМО ВТОРОЕ

Вот еще прошла неделя, любезная Маша, с тех пор как я сюда приехала. О Петербург! я никогда тебя не забуду. Какая разница между Петербургом и Барвеновом! Я успела познакомиться с нашими соседями, и познакомилась довольно коротко. Здесь, Машенька, не так, как в столице: когда здесь с кем-нибудь познакомишься, так это не на шутку! Гости приезжают обыкновенно часу в десятом утра и остаются до поздней ночи, а иногда до другого дня. Тут нельзя не познакомиться коротко! С утра до ночи сидишь вместе, обо всем переговоришь, что есть на душе. A propos, ma chère! сколько у тебя душ? Я до сих пор не знаю; может быть, и ты сама еще о том не думала? Здесь это первый или второй вопрос, когда с кем познакомишься; я могла бы тебе рассказать, сколько душ у каждой из наших соседок. При этом случае я узнала, что и у меня их триста, в том числе около пятидесяти в бегах; только я еще не могла добиться, ma chère, куда они бежали и зачем.

Сначала разговоры эти казались мне очень странными; но теперь начинаю к ним привыкать. Вообще люди здесь все *такие добрые*, и мне очень жаль, если ты, судя по первому моему письму, их не полюбишь. Меня здесь все любят и ласкают, и только что узнали, что я приехала из Петербурга, как начали к нам съезжаться соседи одни за другими. Всякий день гости, так что у меня голова идет кругом. А как здесь много кушают, Маша! ты представить себе этого не можешь. Поутру пьют чай с сухарями и кренделями; потом, часа через два, сни́дают, то есть завтракают; потом обедают; после того полдничают; потом пьют чай и, наконец, вечеряют, то есть ужинают. Не думай, что я шучу, Маша! После ужина еще подают изюм, миндаль и разные варенья. Кроме того, кузины мои целый день грызут каленые орехи; я не понимаю, как у них зубы не ломаются!

Тетенька меня очень любит, и я тоже ее люблю; я просила ее, чтобы она не носила по утрам мужского колпака и не ходила босиком. Она за то не рассердилась, однако и не послушалась меня. «И матушка, и бабушка, и прабабушка ходили в колпаках, — отвечала она, — и я сама к тому с малолетства привыкла, а теперь, на старости, некстати мне перенимать ваши моды. А что касается до того, что ты меня видела босиком, так сама ты в том виновата: я так обрадовалась, когда ты приехала, что забыла и чулки надеть!»

Тетенька мне всё это сказала не так, как я к тебе пишу; но я обещалась в письмах своих не употреблять малороссийского наречия; ты бы ведь ни слова не поняла, и я насилу понимаю! И это правда, ma chère,

что тетеньку я с тех пор не видала босиком: она по утрам ходит в шерстяных чулках, но, правду сказать, без башмаков.

С каким нетерпением я ожидаю от тебя писем! Всякий раз, когда наш жид приезжает из города (здесь у всякого помещика есть свой жид), бегу к нему навстречу... Мне кажется, что я в состоянии буду его поцеловать, когда он привезет мне от тебя письмо! Ах, Маша! неужели ты меня забыла? Нет, этого быть не может! Мы так давно друг друга любим!

Прощай, милая Машенька! Бог с тобою! Сегодня я не могу писать к тебе много потому, что мы едем на бал к здешнему хорунжему (это такой чин):[9] я обещалась причесать моих кузин по-петербургски, и они в первый раз сегодня надевают корсеты, которые мы кое-как здесь сшили. Прощай, Маша!

ПИСЬМО ТРЕТИЕ

Благодарю тебя за письмо твое от 5 июня, милая, любезная Маша! Как мне было весело его получить! Как я рада, что ты меня не забыла! Какая ты добрая! Ты еще не получила моих писем? Как долго ходит почта! Если б я была государь, у меня всякий день ездили бы фельдъегери из Петербурга в Барвеново и из Барвенова в Петербург.

Ах, Маша! на прошедшей неделе я писала к тебе, что еду на бал... Как много нового со мною с тех пор случилось! Если б ты знала! но я тебе всё расскажу по порядку.

На бале очень было весело... Он начался в шесть часов, и мы танцевали почти до рассвета... Французских кадрилей здесь вовсе не знают. Польские, экосезы, простые кадрили[10] — вот, кажется, всё, да и то совсем не так, как учила нас мадам Дидело![11] Мазурку мы протанцевали одну — только очень нехорошо! Мой кавалер был учитель арифметики из здешнего поветового училища.[12] Он много стучит ногами, и сапоги у него очень пахнут дегтем. Мне дух этот не нравится, а тетенька и кузины говорят, что он очень полезен для здоровья. Учитель этот из здешних танцоров считается лучшим, и он сам, кажется, в том уверен. В мазурке, — ты знаешь, когда кавалер обнимает даму одною рукою и вертит ее кругом себя? — он так швырнул меня, что я отлетела далеко от него и чуть-чуть не упала. Тетенька говорит, что я сама виновата, потому что у меня талья слишком тонка, так что здесь и обхватить ее не умеют.

Машенька! знаешь ли ты Блистовского,[13] который в Петербурге служит в гвардии? Чин его штабс-ротмистр; у него два креста: один в пет-

лице, а другой на шее,[14] и еще белая медаль на голубой ленте.[15] Его зовут Владимиром Александровичем. Он воспитывался в Петербурге у какого-то аббе Николя.[16] Росту он высокого, волосы каштановые кудрявые, глаза голубые, похожие на твои, и усы у него, ma chère, небольшие, но прекрасные, каких еще ни у кого я не видала! Нрав у него тихий и скромный, и очень доброе сердце. Он говорит, что видал тебя часто на Невском проспекте и один раз на бале, не помню у кого-то. Он очень знаком и дружен с твоим братом. Если ты его не знаешь, так, пожалуйста, ma chère, справься об нем. Мне очень, очень нужно узнать об его нраве: и напиши ко мне с первою почтою. Слышишь ли, ma chère, пожалуйста, не забудь, с первою почтою!

У него здесь в соседстве тысяча душ, и он приехал сюда покупать лошадей для полка; кажется, это называют: за ремонтом? Тебе очень легко о нем узнать можно: спроси только об офицере, который поехал за ремонтом в Малороссию...

Я познакомилась с ним на бале. Когда учитель меня швырнул в сторону, я бы упала, если б меня не поддержал Блистовский. Учителю очень было стыдно, — он извинялся тем, что на нем новые сапоги, которые забыл он подмазать мелом, и более танцевать не хотел. Чтоб не расстроить мазурки, Блистовский заступил его место. Ах! Маша! как он мило танцует и как легко с ним вальсировать! Ты представить себе не можешь!

Кажется, Маша, я ему очень понравилась. По крайней мере он сказал мне это в тот же вечер на бале. Но, может быть, он только пошутил? Ведь за молодыми людьми, говорят, это бывает! Однако он, кажется, такой скромный и, верно, в этом на других не похож.

На другой день после бала он приезжал к нам. Праскута думает, что это для нее, потому что на бале он танцевал с нею круглое польское; а потом, когда мы уезжали, подал ей шаль. Но это быть не может! Не правда ли, Маша? Скажу тебе откровенно, по секрету: я знаю, что он не для нее приезжает. Вчерась, когда мы ходили гулять — за грибами, — он сказал мне тихонько, что ездит для меня, и даже — Маша! пожалуйста, не говори о том никому — он спросил у меня позволения говорить с тетушкой... я ничего ему не отвечала... Напиши мне, ma chère, хорошо ли я сделала, что ему не отвечала? Чтоб он не подумал, что я на него рассердилась!

Блистовский очень хорошо играет на флейте и поет. Голос у него очень, очень приятный! Вчера ввечеру он аккомпанировал мне, когда играла я на клавикордах, а потом мы пели дуэт... Итальянская музыка тетеньке не очень нравится. Праскута и Гапочка тоже поют, и поют охотно; но они никогда не учились. При гостях они не любят петь мало-

российские песни, которые все прекрасны... Вместо их здесь в большой моде «Кто мог любить так страстно, как я любил тебя»[17] — и еще «Всех цветочков боле розу я любил».[18] Тетушка тоже иногда поет «Я в пустыню удаляюсь»[19] и «Заря утрення взошла, ко мне Машенька пришла».[20]

Тетенька только третьего дня узнала, что я пою. У нас был Блистовский; я по просьбе его села за клавикорды и спела «Di tanti palpiti».[21] Тетенька с нетерпением меня слушала.

— По-каковски это? — сказала она, когда я перестала. — Голос хорош, но что за песня, в которой ни слова понять нельзя. Неужто вас в монастыре учили петь только по-французски да по-немецки? Лизавета Филипповна! спойте-ка пожалуйте песенку, которую прислали вам из Киева. Вот эта мне нравится: она и нежна и чувствительна!

Лизавета Филипповна сидела за пяльцами. (Это одна барышня, которая иногда гостит у нас по нескольку дней.) Она посмотрела сбоку на Блистовского, покраснела и, опять потупив глаза в пяльцы, начала петь песенку, присланную из Киева. У нее голос прекрасный, Маша; только Блистовский говорит, что мой ему лучше нравится. Постараюсь достать от Лизаветы Филипповны эту песню и спишу ее для тебя, буква в букву, с сохранением малороссийского выговора. Она начинается так:

Долг велыть з тобой растатця,
Честь велыть тебья забить.[22]

Песня эта, должно быть, русская; но здесь так странно выговаривают русские слова, что часто их понять нельзя. Ты, может быть, не догадаешься, например, что *велыть тебья забить* должно значить то же, что *велит тебя забыть*, но здесь все уверены, что это чистое русское наречие.

Я пришлю тебе и ноты к этой песне, любезная Маша!

Голос довольно хорош, не знаю, как понравятся тебе слова. Здесь от них с ума сходят. Это любимая песня в здешних обществах.

Прощай, милая Машенька; не забудь справиться о Блистовском и отвечай мне с первою почтою. Мысленно тебя обнимаю тысячу раз!

Приехав в село Н**, я тотчас по окончании священного обряда и взаимных поздравлений начал осведомляться о сочинительнице писем. Лишь только приятель мой прочитал первое письмо, как догадался, кем оно писано.

— Это моя родственница, — сказал он с довольным видом, — прекрасная и прелюбезная женщина, которая, к сожалению, теперь немного

нездорова и потому не могла приехать на крестины. Вам надобно с нею познакомиться; она воспитана в Смольном монастыре, очень умна, добра и в целой губернии пользуется общим уважением. Когда-нибудь расскажу вам ее приключения, не совсем обыкновенные. Позвольте мне прочитать эти письма и показать их жене моей. Она знакома с нею с самого приезда ее из Петербурга.

Я подал ему письма, и он начал читать их с приметным удовольствием; но, дочитав до конца, призадумался и отдал мне их назад.

— Вы хотели показать их супруге вашей? — спросил я.

— Да, — отвечал он, смешавшись несколько, — но лучше оставить это до другого раза.

Я посмотрел на него с удивлением.

— Послушайте, — продолжал он, заметив это, — скажу вам откровенно причину, почему не хочу показывать жене писем этих. Лизавета Филипповна, о которой упоминается в третьем письме, именно моя жена. Вы знаете, каковы женщины, даже самые добрые! Она, конечно, ее очень любит; но при всем том... я не хотел бы...

— Понимаю!.. — отвечал я и спрятал письма в карман. Вскоре потом я лично познакомился с сочинительницею писем. Она рассказала мне все приключения жизни своей и позволила их издать в свет. Некоторые другие особы, также игравшие роли в сих приключениях, пополнили то, чего недоставало в ее рассказах, и таким образом составилась книга, которая ныне представляется публике.

Глава III

ОТЕЦ АНЮТЫ

Трофим Алексеевич Орленко происходил от древней малороссийской фамилии и считал между предками своими двух или трех полковников и даже одного генерального писаря.[23] Когда, по воле незабвенной Екатерины, Малороссия приняла новое образование и последний гетман клейноды звания своего, бунчук и булаву, положил в фамильный архив для вечной памяти потомства,[24] тогда многие чиновники прежнего правления начали искать мест при новых властях. Но отец Трофима Алексеевича не захотел приобретенный на службе старинный казачий чин бунчукового товарища[25] переменить на предлагаемый ему новый, майорский, и потому решился провесть остаток дней на покое, в небольшом предковском имении, находившемся в Сосницком повете.[26]

— Я человек прежнего века, — говаривал он своему сыну, — и поздно мне перестроиваться на новый лад, но ты, Трофим, молод и здоров; тебе открывается новое поле: служи царице-матушке нашей верою и правдою, как следует казаку. Об одном только прошу тебя: служи в коннице. Не могу вообразить сына своего в царской службе иначе как на коне и с доброю саблею в руках!

И молодой Орленко охотно обещался исполнить желание почтенного отца. Когда минуло ему восемнадцать лет, старик повез его в Батурин, явился к фельдмаршалу, которого, по старой привычке, всё еще называл гетманом,[27] представил ему сына и принят был ласково. Фельдмаршал благословил молодого Трофима, подарил ему прекрасную верховую лошадь с кошарского завода и пятьсот рублей. Сверх того, вручил он ему письмо к шефу гусарского полка, стоявшего неподалеку от Батурина, и чрез несколько дней старик Орленко имел удовольствие видеть сына своего в гусарском мундире, на борзом коне и с саблею в руках. Но недолго довелось ему любоваться Трофимом; вскоре потом полку назначен был поход. Молодой Орленко был исправен на службе и храбр против неприятеля; начальники и товарищи любили его за правоту и добродушие. В турецкую войну[28] получил он Георгиевский крест за отбитие пушки, а во французскую кампанию с Суворовым[29] заслужил ордена Св. Анны и Иоанна Иерусалимского.[30] Как часто в роскошных долинах благословенной Италии и на снежных высотах сурового Сен-Готгарда,[31] в пылу сражения и среди увеселений на зимних квартирах вспоминал он о старом отце и о радости, с какою встретит он его по возвращении в отечество! Но когда, украшенный ранами и лаврами, он получил чистую отставку с чином майора и приехал в свою деревню, то не застал уже в живых почтенного старика.

Трофим Алексеевич, отдав должную дань благодарности памяти покойного, принял в собственное распоряжение доставшееся ему имение и тотчас занялся устройством хозяйственной части. Он выстроил новую винокурню и скотный двор, вычинил кубы и котлы и, удовлетворив таким образом необходимейшим потребностям малороссийского хозяйства, приступил к починке собственного дома, который находился в самом жалком положении. Исправив кровлю и выкрасив ее ярким красным цветом с белыми отводами, перестлав вновь все полы и огородив двор и сад палисадником, он вздумал, что дом этот для него одного слишком просторен и слишком красив, а оттого родилась в нем мысль, что молодая хозяйка была бы в этом доме не лишняя. Мысль эта очень ему понравилась, и так как в военной службе он сделал привычку действовать решительно, то на другой же день отправился с визитами к соседям,

чтоб высмотреть, не встретит ли девушки с теми качествами, каких желал он будущей своей жене. Казалось, что судьба благоприятствовала его намерению: дочь первого соседа, к которому он заехал, так ему полюбилась, что он не счел за нужное продолжать свои поиски. Недели чрез две после первого посещения он сделал предложение, которое принято было с явною радостию отцом и с тайным удовольствием дочерью; а так как немного оставалось до Великого поста, то и поспешили сыграть свадьбу, — и Трофим Алексеевич на масленице имел уже удовольствие потчевать гостей блинами, испеченными под хозяйственным надзором молодой его супруги.

Кому неизвестно, что вступающие в супружество по любви, а не по принуждению, живут обыкновенно в течение первых недель после свадьбы в совершенном блаженстве и что все предметы, настоящие и будущие, представляются им в радужных цветах? Но, увы! цвета сии от времени бледнеют; а по мере того как яркость их теряется, и супружеское блаженство становится умереннее, умереннее, наконец, от оного остается либо очень мало, либо ничего, либо хуже, чем ничего. Участь эта, как известно всякому, за немногими исключениями постигает почти всех женатых и замужних смертных. Но Трофиму Алексеевичу посчастливилось попасть именно в число тех немногих, коих супружеское блаженство от времени не уменьшается, а возрастает. Жена его (о редкость, достойная удивления!) ни в нраве своем, ни в обхождении с мужем нимало не переменилась после свадьбы. Она сохранила ту же скромность, ту же уступчивость, ту же упредительную приветливость, которые пленили нашего майора, когда была она девицею. Прошел уже целый год после женитьбы, и ему всё еще казалось, что невозможно быть счастливее его; но когда в конце года родилась у него дочь, живое подобие обожаемой жены, тогда он почувствовал, чего недоставало ему прежде для совершенного счастия.

Такое положение Трофима Алексеевича продолжалось беспрерывно в течение нескольких лет. Коротких знакомых у них было весьма немного: соседи, видя его уединенный образ жизни, мало-помалу от него отстали, и он о том не горевал, ибо в кругу маленького семейства его скука известна была по одному только названию. Между хозяйственными занятиями, взлелеиванием маленькой Анюты и взаимными ласками время протекало приятно и неприметно. Иногда приезжала к ним гостить двоюродная его сестра, бывшая замужем за подкоморием[32] ближнего повета. Анна Андреевна Лосенкова была женщина простая, добродушная, и Трофим Алексеевич любил и уважал ее за отличные качества ее души, которые заставляли забывать совершенную ее необразованность

и незнание правил светского общежития. Уединенная их жизнь немного изменялась только во время Сосницкой ярмонки.[33] Тогда приезжал в тамошние свои поместья один дальний родственник Трофима Алексеевича, познакомившийся с ним уже после его женитьбы, которого бóльшая часть имения находилась в Полтавской губернии. С этим родственником необходимо нужно познакомить читателей моих покороче.

Клим Сидорович Дюндик считал себя старшим в роде и от всей родни своей, которая была небогата, требовал особенного почтения, хотя по душевным качествам никто менее его не имел на то права. Он был подл и низок в отношении к высшим, надменен и горд с равными и низшими, притом зол, мстителен, глуп и хвастлив; но, владея тремя тысячами душ, пользовался некоторым уважением и даже однажды выбран был дворянством в поветовые маршалы![34] Он немало гордился этим, хотя на следующее трехлетие его вновь и не выбрали — по его словам, за твердость характера и неуступчивость против губернатора, а по уверению других, за совершенную неспособность к делам, глупость и надменность. Впрочем, при всем слабоумии его не недоставало в нем ни хитрости, ни некоторой ловкости к достижению своих намерений. Он, например, успел, угощая губернских чиновников и всячески угождая знатным людям, выхлопотать представление, по коему получил Владимирский крест[35] за устроенный будто бы в имении его лазарет, в котором, как он божился, лечили больных безденежно. Когда какой-нибудь случайный человек проезжал через его деревню, он всегда к нему являлся с приглашением отобедать или по крайней мере выкушать чаю. Часто проезжий соглашался, и тогда Клим Сидорович обыкновенно умел наводить разговор на благотворительность и другие христианские добродетели, рассказывал о лазарете своем и показывал план, чисто и красиво начерченный губернским архитектором, которому он заплатил за это довольно дорого.

— Как жаль, — говорил он, — что ваше превосходительство не изволите проезжать чрез имение мое в Черниговской губернии! Я бы нижайше просил остановиться в моем доме: вы, может быть, удостоили бы посещением и больницу мою.

Так говорил он, когда был в Полтавской губернии. В Черниговской же, напротив того, он приглашал посетить больницу, находящуюся, по словам его, в Полтавской губернии, показывая, впрочем, тот же план, который он всегда возил с собою. Проезжающий, не имея времени поверять его рассказы, благодарил за хлеб-соль и, возвращаясь в Петербург, нимало не сомневался, что у Дюндика в имении есть превосходный лазарет. Случилось даже, что в то самое время, когда представление

о нем поступило в Петербург, два чиновника, угощенные Климом Сидоровичем, один в Черниговской, а другой в Полтавской губерниях, встретились у того самого вельможи, от которого зависело дать ход представлению. Вельможа, знав, что они оба недавно были в Малороссии, вздумал спросить их мнения.

— Я его очень хорошо знаю, — сказал один из них, — предобрейший человек, истинный друг человечества![36] В Полтавской губернии у него превосходный лазарет на пятьдесят кроватей... я знаю этот лазарет...

— Вы ошибаетесь, — прервал его другой чиновник, живший с ним не в ладах, — правда, что Клим Сидорович истинный христианин и что у него в имении есть устроенная примерно больница, но не в Полтавской губернии, а в Черниговской.

— Помилуйте, — возразил первый, — я будто не знаю, что говорю! Лазарет именно в Полтавской губернии, я это точно знаю... я его видел.

— Ведь и я не слеп, — вскричал второй, — и я его видел в Черниговской губернии!

Вельможа, чтоб решить спор, посмотрел в представление; но там о лазарете сказано было глухо, не упоминая, где именно он устроен. Итак, не имея причины сомневаться в справедливости обоих чиновников, он вообразил, что у Дюндика устроены больницы в двух губерниях; а как, впрочем, два, никогда ни в чем не согласные, чиновника на этот раз единодушно утверждали, что Клим Сидорович истинный христианин и друг человечества, то вельможа счел за священную обязанность о нем ходатайствовать, в чем и успел совершенно.

Клим Сидорович, как сказал я выше, приезжал обыкновенно в соседство Трофима Алексеевича на время Сосницкой ярмонки. Поместье его было в близком от города расстоянии, и во всё продолжение ярмонки к нему съезжались знакомые, которых угощал он завтраками, обедами и ужинами, пуншем и чаем. У таковых хлебосолов в Малороссии скатерть никогда со стола не снимается, ибо, кроме регулярных покормок, повара должны целый день иметь в готовности кушанье для приезжающих в необыкновенное время гостей, которых, по правилам общежития, хозяин обязан всегда потчевать кушаньем и которые очень редко отказываются, в какой бы час они ни приехали. Впрочем, не должно думать, что такое хлебосольство разорительно. Съестные припасы в Малороссии дешевы и к тому же употребляются домашние. Винокуренный завод снабжает мясом и лакомым для украинцев салом, крестьяне — яйцами и птицею; водка и наливки также не покупаются; пунш

для обыкновенных гостей составляется с спиртом, настоянным на муравьях и называемым мурашко́вым, а для редких гостей подают ром, который в новейшие времена умудрились также делать дома из хлебного вина. Гости неприхотливы, едят с благодарностию предлагаемое и, в угождение хозяину, стараются наперерыв рассказывать новости о том, что слышали на ярмонке, что прочитали в «Московских ведомостях» и что происходит у каждого в соседстве. Таким-то образом и Клим Сидорович, совсем потерявший из виду родственника своего, узнал, что он вышел в отставку, успел жениться и живет в своей деревне, занимаясь хозяйством. Сначала новость эта не возбудила в нем никакого любопытства, ибо он не обращал большого внимания на небогатую свою родню; но когда он услышал, что родственник его майор и кавалер трех орденов, то и запылала в нем родственная любовь.

— А, — сказал он, — да я его очень хорошо знаю; он мне близкий родственник, внучатный брат. Удивляюсь, что он еще у меня не был! Верно, не знает, что я здесь. Покойный отец мой записал его в службу, и я даже неоднократно ему помогал, посылая к нему в полк деньги!

Разумеется, что всё это была ложь, но Клим Сидорович редко упускал случай солгать что-нибудь в свою похвалу. Между тем, будучи внутренно не совсем уверен, что майор Орленко к нему явится, он в тот же день отправил к нему человека с приглашением к обеду. Он не сомневался, что такое приглашение будет принято с благодарностию; но в какую пришел он досаду, когда посланный возвратился с поклоном от Трофима Алексеевича и с извинением, что ему никак нельзя быть! Что начать в таком случае? С одной стороны, не позволяла ему гордость сделать первое посещение, с другой, больно было показать пред прочими гостями, что майор Орленко не очень дорожит его родством. Конечно, он бы мог выдавать его за неблагодарного, не чувствующего оказанных ему благодеяний, и он было уже на то решился; но увидев, что все отзываются о майоре с уважением, он догадался, что, может быть, ему не поверят, и потому решился съездить к нему, сколь ни казалось ему это горьким. Но и тут Клим Сидорович умел охранить свое самолюбие: он объявил, что ему нужно осмотреть один отдаленный хутор, и, возвращаясь оттуда, заехал к майору как будто нечаянно.

Трофим Алексеевич принял его учтиво, но довольно холодно, ибо физиономия его и приемы сначала не пришлись ему по сердцу. Но когда Дюндик с уверительностию стал говорить о тесной дружбе, соединявшей их родителей, о важных услугах, оказанных его отцом покойному бунчуковому товарищу, и когда мимоходом коснулся обязанностей

истинного христианина и лазарета на пятьдесят кроватей, тогда Орленко усомнился в своем искусстве отгадывать качества людей по физиономии, крепко пожал ему руку и обещался непременно приехать на другой день. Таким образом началось знакомство между двумя родственниками.

С того времени майор Орленко всякий раз посещал Клима Сидоровича, когда он приезжал в Черниговскую губернию. Будучи сам правдив и добродушен, он легко поверил, что внучатный брат его, которого, впрочем, видал редко, действительно так добр, каковым хотел казаться, и, полагая, сверх того, что отец его был облагодетельствован отцом Дюндика, он во всяком случае оказывал ему всевозможное уважение. Он даже, согласясь на неотступные его просьбы, решился съездить, хоть на короткое время, в Полтавскую губернию, чтоб познакомиться с его женою. Уже назначен был день отъезда, как вдруг судьба посетила его таким несчастием, которое совершенно разрушило его спокойствие. Добрая жена, его единственный и верный друг, нечаянно простудившись, впала в сильную горячку, на девятый день прекратившую ее жизнь, несмотря на помощь врача, призванного из ближайшего города.

Легко представить себе можно отчаяние бедного Орленка! В продолжение нескольких дней он не мог пролить ни одной слезы, не мог выговорить ни одного слова, и доктор начал опасаться, что он не в силах будет перенести сей удар. Двоюродная сестра его, Лосенкова, услышав о сем несчастии, поспешила к нему и усильнейшими просьбами с трудом могла уговорить его употреблять хотя немного пищи. Наконец ласки маленькой его дочери, пятилетней Анюты, нашли доступ к стесненному его сердцу. Он крепко прижал ее к груди, в первый раз после смерти жены слезы полились из глаз его, и доктор начал надеяться на сохранение его жизни. Но надежда эта скоро разрушилась! Орленко день ото дня становился слабее, прогрустил еще месяца четыре, и, наконец, слуга его, пришедший, по обыкновению, утром в его комнату, не нашел уже его в живых. В письменном столике его найдено короткое завещание, сочиненное за несколько дней до кончины. В нем он назначил Клима Сидоровича опекуном дочери своей и просил его быть ей покровителем и благодетелем. Анна Андреевна, с горькими слезами отдав последний долг покойному, запечатала завещание в пакет и отправила его по почте к Климу Сидоровичу; а невинную малютку Анюту взяла с собой, чтоб воспитать ее вместе с двумя своими дочерьми.

Глава IV

ТЕТУШКА И ОПЕКУН

Анна Андреевна Лосенкова жила в принадлежащем ей селе Барвенове, в расстоянии около ста верст от деревни покойного Орленка. Муж ее, бывший подкоморием, оставил после смерти своей имение довольно расстроенное и двух малолетних дочерей, почти одних лет с Анютою. Анна Андреевна не имела ни малейшего понятия ни об английском сельском домоводстве, ни о педагогике, а потому ей и не приходило на мысль в затруднительном своем положении прибегнуть к «Московским ведомостям» для приискания искусного управителя и ученой гувернантки. Вместо сего легкого и верного средства она, по простоте своей, отслужив усердно молебен и твердо полагаясь на помощь Всевышнего, решилась принять в собственное свое попечение и детей, и имение. И в самом деле молитва ее за Богом не пропала! При наблюдении простого правила, чтоб расходы всегда были менее прихода, успела она в короткое время выплатить все долги мужа. Притом дети ее, видя перед глазами пример доброй, скромной и некапризной матери, еще в младенческих летах показывали хороший нрав и добрые качества. Бедная сирота Анюта тотчас с ними подружилась, и не прошло еще двух месяцев, как она совершенно привыкла к семейству Лосенковых. Добрая тетушка любила ее как свою дочь, а дети считали Анюту родною сестрою. В этих летах впечатления, произведенные несчастием, хотя бывают сильны, но непродолжительны, и в сердце невинной малютки скоро изгладились следы печальных воспоминаний о смерти родителей.

О Климе Сидоровиче долго не было ни малейшего слуху, и тетушка начала уже опасаться, не потерялось ли на почте отправленное к нему завещание. К некоторому ее успокоению, она, однако, узнала, что управитель его получил уже приказание принять имение покойного в свое ведение. Из этого она должна была заключить, что завещание до него дошло; но при всем том не понимала, отчего сам опекун не приехал наведаться о сироте или по крайней мере не написал хотя несколько строчек. Доброй тетушке и в голову не приходило, чтоб опекун так мало заботился о вверенном попечению его залоге; она обманывалась в нем так же, как обманулся и покойный Орленко, и беспокоилась уже о том, не занемог ли он.

Читатель, для которого открыто сердце Клима Сидоровича, весьма бы, однако, ошибся, если б подумал, что завещание покойного майора принято им было с неудовольствием. Напротив того, он весьма оному обрадовался, ибо тут представлялся ему новый случай хвалиться перед

всеми своею добродетелью. Чего не рассказывал он о благодеяниях, какими и сам он и отец его осыпали всё семейство майора! Многие ему верили, ибо в рассказах своих он упоминал о таких подробностях, которые, казалось, не могли быть совершенною выдумкою. Некому было доказывать его неправду, а к тому же и сам майор в завещании своем припоминал о благодеяниях, семейству его оказанных. Зато завещание сие хранилось у Клима Сидоровича как драгоценность вместе с планом славного лазарета, и он в течение нескольких месяцев никогда не выезжал со двора, не взяв его с собою. Но в продолжение сих хвастливых рассказов он совершенно забыл о бедной Анюте. Наконец, когда один из его знакомых спросил однажды случайно, куда она теперь пристроена, Клим Сидорович вспомнил, что ему необходимо нужно, для света, принять какие-нибудь меры в отношении к ней. Сначала ему вздумалось, что удобно было бы взять ее к себе; ибо и у него были две дочери, немногими годами постарее Анюты. В голове его тотчас родилась мысль о выгодах, могущих произойти от этого доброго дела, и ему уже чудились разные трогательные сцены, пленявшие его воображение. Например, ему представлялось, что заедет в дом его, по дороге, какой-нибудь знатный сановник — чего доброго, может быть, и министр! После обеда или во время чая (как случится) войдут в комнату три девочки, чисто умытые, с расчесанными косами и, на этот раз, все три в одинаких платьях. «Это, конечно, ваши дочери?» — спросит министр. «Только две из них, ваше высокопревосходительство! третья — бедная сиротка, которую я воспитываю совершенно наравне с родными моими детьми. Без меня ей, несчастной, некуда деваться; но я помню учение святого Евангелия и думаю себе, что Бог, ваше высокопревосходительство, за то не оставит моих детей! Подойди ближе, Анюта! не бойся, миленькая! Не правда ли, что тебе у меня хорошо жить?» Анюта, помня прежде данное ей приказание, поцелует у него с нежностию руку, и министр подумает: какой благодетельный человек! А это при случае пригодится. Конечно, случиться может и так, что министр заедет в такой день, когда Марфа Петровна (супруга Клима Сидоровича), может быть, накануне немного неосторожно потрепала сиротку по щекам и следы еще на другой день отчасти будут видны; но ведь и это беда небольшая! Министр, верно, не заметит, что у сиротки одна щека краснее и пухлее другой; а если, против чаяния, спросит, от чего? так можно же сказать, что у нее болят зубы!

Таким образом роскошное воображение Клима Сидоровича представляло ему в разных видах пользу, какую он может извлечь для себя, приняв Анюту в свой дом, и чем более он о том помышлял, тем более

представлялось ему выгод. «Когда она вырастет, — думал он, — так мы выдадим ее замуж! Девочка, кажется, будет недурна собою; к тому же у нее без малого триста душ, а в теперешнее тяжелое время и это не безделица! Почему же не отдать ее, например, за секретаря генерального суда? У меня будет свой ходатай по тяжбам, да еще какой! и тогда кто против Клима Сидоровича!»

Между тем бедная Анюта играла и резвилась с своими сестрами, не помышляя о том, что у нее есть опекун, от которого она совершенно зависит; а доброй тетушке и во сне не грезилось, что опекун этот мысленно отрекомендовал уже Анюту министру и потом выдал ее замуж за секретаря генерального суда! Но милосердый промысл, пекущийся о сирых, избавил ее от корыстных видов, угрожавших ей со стороны опекуна.

Клим Сидорович на этот раз ошибся в расчете. Вспоминая, в планах своих, о Марфе Петровне, он хотя отдавал ей полную справедливость, придумывая заранее средства, как скрыть от министра распухлые щеки бедной Анюты (ибо Марфа Петровна была во всех отношениях достойная его супруга), но не предвидел, чтобы предложение взять Анюту в дом могло быть ею отвергнуто. К счастию Анюты, Марфа Петровна была очень не в духе в ту самую минуту, когда Клим Сидорович явился к ней с предложением. Она только что успела разбранить еврея-шинкаря, возвратившегося с ярмонки и не умевшего купить на салоп именно такого атласу, какой она приказывала. Большие, как смоль, глаза ее сверкали еще от гнева, когда муж вошел в комнату. Если б он догадался выждать благоприятное время, то дело было бы в шляпе; но «на каждого мудреца довольно простоты», — говорит пословица, кольми же паче на Клима Сидоровича! Будучи уверен, что спекуляция его послужит еще к утишению ее гнева, он со всевозможным красноречием начал рассказывать, какие выгоды они могут получить от этого благодеяния; но не успел он еще договорить, как Марфа Петровна раскричалась:

— Убирайся ты сам и с глупой своей девчонкой! Чтоб и духу ее не слышно было в моем доме! Мой дом не богадельня! Мой дом не воспитательный! Вот тебе — на! Мне и свои дуры надоели, а я еще стану возиться черт знает с кем!

Смекнул муженек, что пришел не вовремя, но ошибку поправить уж было поздно!

На другой день он, однако, опять отважился начать разговор о том же. Марфа Петровна тогда была в хорошем расположении и потому выслушала мужа до конца. Внутренно доводы его показались ей довольно убедительными, и она даже колебалась в своем упрямстве; но, вспомнив правило, которого всегда держалась: ни в чем не уступать

мужу и исполнять волю свою, не слушая ни просьб его, ни убеждений, — она сказала наотрез:

— Не хочу, не хочу! и никогда хотеть не буду — хоть ты тресни!

После этого Клим Сидорович не смел уже ее более беспокоить, из опыта зная, что старания его ни к чему бы не послужили.

Прошло около года после смерти майора, и добрая тетушка успела уже так свыкнуться с мыслию, что Анюта действительно ее дочь, что на вопрос: сколько у нее детей? она, верно, отвечала бы: трое! Анюта между тем любила ее как родную мать и верно бы горько расплакалась, если б кто-нибудь вздумал ее разуверить в том, что она не родная дочь Анны Андреевны. От Клима Сидоровича не было никаких отзывов, и казалось, что ничто не могло потревожить семейного спокойствия тетушки, как вдруг, совсем неожиданно, получила она письмо, погрузившее ее в горесть, близкую к отчаянию. Но прежде, нежели расскажу читателю содержание сего письма, должен я поневоле обратиться опять к опекуну нашей сироты.

Совершенно потеряв надежду уговорить жену свою после двух неудачных покушений, о которых рассказал я выше, Дюндик совсем перестал думать об Анюте, вспоминая о ней только изредка, когда, увлекаемый желанием похвастаться перед новым гостем, он вынимал из ящика завещание покойного майора. Таким образом случилось однажды, что обедал у него соседний помещик, отставной полковник, находившийся перед тем долгое время в отсутствии. Помещик был человек умный и просвещенный и знал лично майора, когда был еще в службе. Узнав из рассказов хозяина, что майор уже с год как умер и оставил малолетнюю дочь, он с участием стал расспрашивать о теперешней ее судьбе. Клим Сидорович сначала немного смешался; но вскоре, опомнясь, отвечал, что отдал ее на воспитание родной тетке, которой за то платит из собственного своего кармана значительную сумму.

— Однако, — заметил полковник, — Анна Андреевна, сколько мне известно, хотя добрая женщина, но не в состоянии доставить дитяти приличное воспитание.

— Конечно так, — отвечал опекун, запинаясь, — но извольте видеть... я, конечно, охотно взял бы ее к себе; да у меня... видите ли... в доме тесновато: детская не очень большая... впрочем, может быть, со временем... конечно, по долгу христианскому...

Помещик, имея, как умный человек, довольно точное понятие о Климе Сидоровиче, поспешил вывесть его из замешательства,

— Почему бы вам не отдать ее в Смольный монастырь? — сказал он. — Там она получила бы такое образование, какого и в столице де-

тям своим было бы трудно доставить частному человеку; здесь же это вовсе невозможно.

— Да я, право, не знаю... конечно, ваша правда... только я думаю, что это очень затруднительно...

— Нисколько! Стоит подать прошение.

— Да я не знаю, кому и как!

— Я охотно вам в этом помогу.

— Ну! а если ее в самом деле примут? Ведь надобно будет отвезть ее в Петербург. Сами посудите, как это затруднительно.

— И на это есть средство, — сказал полковник, — я недели через две думаю сам ехать в столицу, куда везу также свою дочь, уже принятую в Смольный. Поверьте мне Анюту на руки; я рад буду оказать эту маловажную услугу дочери майора Орленка.

Климу Сидоровичу отговариваться было нечем; к тому же для него было всё равно, в Петербурге ли она будет воспитываться или в селе Барвенове. Он согласился на предложение полковника, вручил ему письмо к Анне Андреевне, в котором, по праву опекуна, требовал, чтоб она отдала ему Анюту для доставления в Петербург, — и на другой день уже рассказывал всем, что, заботясь о воспитании этой бедной сиротки, он уговорил полковника взять ее с собою и что полковник, по дружбе к нему, на то согласился.

Полковник, желая выполнить в точности принятую на себя обязанность, сам поехал в Барвеново. По прочтении письма бедная тетушка громко зарыдала и бросилась целовать Анюту. Требование сие пришло так неожиданно, что она было занемогла не на шутку от горестной мысли с нею расстаться. Рассказы тронутого полковника о Смольном монастыре, о образе тамошнего воспитания детей, о материнском попечении августейшей их покровительницы[37] ее немного успокоили; но она просила со слезами оставить Анюту хотя еще на несколько дней. Полковник не мог отказать неотступным ее просьбам и прожил целую неделю в Барвенове. Он успел короче познакомиться с тетушкой и, узнав ее кроткое сердце, ее скромную и незаносчивую добродетель, возымел к ней искреннее уважение. «Если б невозможно было поместить Анюту в монастырь, — подумал он, — то несравненно бы полезнее для нее было оставаться у доброй, хотя необразованной, тетушки, нежели у злой и полупросвещенной Марфы Петровны».

Не буду описывать горести тетушки, когда в последний раз при прощании обняла она заплаканную Анюту и, перекрестив ее, посадила к полковнику в карету.

— Ой! загубила я свою Галечку!* — говорила она, обливаясь слезами, и долгое время ласки собственных ее малюток не могли развлечь глубокой ее печали.

Глава V

СМОЛЬНЫЙ МОНАСТЫРЬ И ВЫПУСК ИЗ ОНОГО

Кто имеет понятие о образе жизни и воспитании в Смольном монастыре, тот легко поверит, что Анюте немного нужно было времени, чтоб привыкнуть к новому своему положению. Вскоре она коротко познакомилась с подружками своими, и среди невинных забав и нетягостного учения время протекало неприметно. Анюту все в монастыре любили: она была доброе и ласковое дитя, притом так послушна и прилежна, что никогда не подавала ни малейшего повода к неудовольствию. Таким образом быстро протекло несколько лет, и маленькая деревенская девочка Анюта сделалась прелестною молодою девицею, в которой не осталось ни малейших следов прежнего воспитания. Время выпуска ее из монастыря приближалось между тем скорыми шагами, и сердце в ней сжималось от невольного трепета при мысли о роковой минуте, долженствовавшей разлучить ее навсегда с милыми подружками, с добрыми наставницами, с тихою и однообразною монастырскою жизнию. Анюта оставила Малороссию в самых нежных младенческих летах, и Смольный монастырь с тех пор сделался для нее как бы новою родиною, в которой сосредоточивались все ее мысли, желания и заботы. Вне монастырских стен одна только тетушка иногда занимала ее воображение, да и та представлялась ей совсем в ином виде, нежели какова была в самом деле. Все местные впечатления, вывезенные ею из Барвенова, давно уже исчезли из ее памяти и уступили место другим картинам, заимствовавшим краски свои от новых понятий, развивавшихся в ее уме. Тетушка, например, представлялась ей в образе одной инспектрисы, более других ею любимой, а двоюродных сестер она уподобляла тем из своих подружек, которые наиболее ей нравились. Даже тетушкин дом в селе Барвенове получил в ее воображении другой фасад и совсем иное расположение комнат. Он казался ей, конечно, меньше монастыря, — однако не слишком меньше! И комнаты в нем, как ей помнилось, были

* Ой! потеряла я свою Анюту!

светлые, высокие и богато убранные, хотя, впрочем, не такие огромные, как например большая монастырская зала! Что ж касается до сада — о! так тетушкин сад был гораздо пространнее и милее монастырского, и сколько в нем было цветов! Анюта очень твердо помнила, что тетушка позволяла ей рвать цветов сколько угодно и что, несмотря на то, количество их никогда не убавлялось.

Наконец настало время выпуска; частные испытания кончились и наступили публичные. Как сильно билось сердце Анюты, когда приблизился последний день пребывания ее в монастыре! Почти целую ночь не смыкала она глаз, а когда засыпала на короткое время и воображение представляло ей веселые и заманчивые картины светской жизни, тогда мысль о разлуке с монастырем и о неизвестности будущей судьбы пробуждала ее внезапно.

Дочь полковника Р**, поступившая в монастырь в одно время с нею, принадлежала к тому же выпуску, и отец ее взял Анюту к себе вместе с дочерью. В продолжение пребывания их в Смольном он опять вступил в службу и совсем поселился в Петербурге; итак, Анюте пришлось остаться у него в доме до тех пор, пока тетушка, с которою он между тем сохранил дружеские сношения, пришлет за нею из Малороссии. Анюта связана была тесною дружбою с дочерью полковника, и добрая Маша во всех отношениях заслуживала привязанность своей подруги и платила ей взаимною любовью. Они поверяли друг другу всё, что у них было на сердце, — а в первое время вступления их в свет было о чем поговорить между собою! Всё казалось им так странно, так дико, — всё им представлялось в ином виде, нежели как они воображали прежде! В первые разы, когда они являлись в обществе, им казалось, что все обращают внимание на каждое их слово, на каждое их движение! По вечерам они сообщали друг другу мысли свои и замечания о виденном ими в продолжение дня; разговоры эти часто не прекращались и тогда, когда они уже лежали в постеле, а иногда лучи восходящего солнца находили их еще не спящими.

Таким образом прошло несколько месяцев. Полковник успел в это время познакомить их с достопамятностями пышного Петербурга и посетил с ними ближайшие окрестности столицы. Как полюбились Анюте веселые острова Невы![38] Как понравились ей роскошные сады Петергофа, Царского Села и Павловска! Будущая сельская жизнь в Барвенове в воображении ее украшалась мыслию, что тетушкин сад похож хотя на один из тех, которыми любовалась она в Петербурге.

Около конца мая приехала женщина, присланная тетушкою за Анютою. Клара Кашпаровна была толстая и добрая немка лет за пятьдесят,

родом из Белых Меж,* которую тетушка считала женщиною опытною, ибо она говорила по-немецки и несколько раз бывала в Киеве на контрактах.[39] Во всей окружности Барвенова Клара Кашпаровна была в большой чести, потому что превосходно варила варенья, приготовляла наливки и умела покупать дешево всё, что ей поручали. Кроме того, никто не умел с такою бережливостью скроить платье и из обрезков материи, по-видимому негодных, составить наколку или другой наряд или же выгадать жилет хотя дворецкому! Она охотно согласилась съездить в Петербург на счет тетушкин и, сверх удовольствия, надеялась извлечь некоторую пользу из этого путешествия, запасясь в столице новыми выкройками для малороссийских модниц.

Но Петербург не очень ей понравился. Она чувствовала себя как будто связанною в доме полковника и потому, исправив данные ей в Малороссии поручения, беспрестанно поспешала отъездом.

— Ну что здесь за жизнь! — твердила она Анюте. — На улицах так тесно, что индо ходить нельзя: того и смотри, что собьют с ног, особливо на Невском пришпекте! А дома-то уж чересчур высоки, лезешь, лезешь на лестницу, словно на колокольню, так что ноги подкашиваются; а из окошка посмотришь — так голова закружится! То ли дело у нас, в Барвенове!

Анюте очень не хотелось оставить Петербург, но делать было нечего! Ударил наконец час разлуки, день ото дня отлагаемый; все прощальные визиты были кончены, всё было готово к отъезду, все предлоги к дальнейшей отсрочке были истощены! В последний раз еще поехала она в монастырь распроститься со всеми... в последний раз посетила она классы, дортуары, сад! Каждая комната, каждый уголок стоил ей новых слез! В продолжение долговременного там пребывания сердце ее успело породниться даже с бездушными предметами, находившимися пред глазами ее с младенческих лет! Оставляя монастырь и Петербург, ей казалось, что везут ее в другое государство, — в другую часть света!

Дома дорожная карета была уже заложена. Полковник с Машею проводили Анюту до Трех Рук.[40] Там они еще раз обнялись и возобновили обещание писать с каждою почтою, еще раз друг друга перекрестили и расстались — надолго! Анюта, сев в карету, прижалась в уголок, и слезы под зеленым вуалем лились ручьем из глаз ее, пока наконец благодетельный сон представил воображению ее любезный монастырь, великолепный Петербург и милую, незабвенную Машу!

---

* Немецкая колония в Черниговской губернии.

Глава VI

ВОЗВРАЩЕНИЕ В МАЛОРОССИЮ

Из писем Анюты, помещенных во второй главе сей книги, читателям уже известно, в какое она пришла удивление, когда, по приезде в Барвеново, всё нашла в ином виде, нежели как предполагала. Другая на месте ее, вероятно, потеряла бы всю бодрость духа и день и ночь проводила бы в слезах или, может быть, с досадою и презрением смотрела бы на тетушку и на сестер и наконец сама сделалась бы ненавистною для всех родных своих и знакомых. Но Анюта была не такова: напитанная доброю нравственностью и приученная к скромности, она и не помышляла насмехаться над другими, что они не так одеты, как она, или пренебрегать теми, которых случай лишил светского воспитания. За то все ее любили и уважали; сестры без зависти взирали на ее преимущества, а тетушка не могла ею налюбоваться. Анюта хотя всегда с сожалением вспоминала о Петербурге, но, повинуясь с покорностию определениям судьбы, искренно вознамерилась приучить себя к новому положению, в котором находилась. Когда же узнала она добрые качества и горячую к ней любовь тетушки, когда услышала от посторонних, что Анна Андреевна ее, оставленную после родителей сиротою, призрела с материнскою нежностию, тогда из благодарного сердца ее изгладились все сравнения между тетушкою и инспектрисою, между кузинами и монастырскими подружками. Она научилась собственным опытом, что не одеянье и не наружный блеск составляют достоинство человека; а полюбив искренно своих родных, она даже стала находить удовольствие в сельской жизни, которая в первые дни казалась ей столь неприятною.

Как правдивый историк, я, впрочем, нахожусь в необходимости признаться читателю, что и другое обстоятельство, независимое от добрых качеств тетушки, немало способствовало к украшению в глазах Анюты деревенской жизни в Барвенове. Штабс-ротмистр Блистовский, которого видела она на бале у хорунжего, сделал сильное впечатление на неопытное сердце, созданное для нежнейших чувствований. Сначала она сама того не знала; ей казалось, что он более других ей нравился потому только, что обращением своим напоминает ей любезный Петербург. В невинной неопытности своей она даже не примечала действия, произведенного ею на Блистовского, и его старания понравиться ей приписывала простой учтивости. Заблуждение, в котором находилась она относительно собственного своего сердца, еще усилилось, когда узнала она, что Блистовский недавно приехал из Петербурга, где видел и Ма-

шу; тогда ей показалось так натурально, что она с ним более любила говорить, нежели с другими! По возвращении ее с бала домой Блистовский не выходил у ней из мыслей; но как эти мысли о нем смешивались обыкновенно с воспоминаниями о Петербурге и о Маше, то она долго еще оставалась в заблуждении насчет истинных чувствований своего сердца.

Между тем Блистовский, более ее опытный, уверился при первом взгляде на Анюту, что от нее зависеть будет счастие или несчастие всей его жизни. Он долго жил в Петербурге, бывал в чужих краях и уже не раз приезжал в Малороссию, где находилась значительная часть его имения; однако ни в Петербурге, ни в Малороссии и нигде ни одна девушка не производила на него такого впечатления, как Анюта! И это впечатление не казалось ему действием одной красоты ее! Конечно, высокий стройный ее стан, большие голубые глаза, осененные длинными черными ресницами, и вся вообще прелестная наружность ее пленяли его взоры; но и прежде того случалось иногда, что сердце его билось сильнее при виде подобного стана, подобных глаз! Не один раз в жизни встречал он девушек, которые нравились ему своею красотою; но ни в ком еще не находил столько кротости и добродушия, такой милой и невинной улыбки, такого пленительного выражения во всех чертах! Вступив с нею в разговор, он поражен был ее здравыми суждениями, и даже самая ее неопытность и незнание света придавали ей какую-то необыкновенную прелесть. «Нет! — подумал он, — такая наружность не может быть обманчивою!» И самому себе дал слово употребить все усилия, чтоб снискать ее любовь.

Блистовский был нрава твердого и решительного и, будучи притом богат и не имея родителей, зависел совершенно от себя. Он принял намерение не откладывать надолго решения судьбы своей, познакомиться с Анютою покороче и при первом случае с нею объясниться. На другой же день после бала он отправился в Барвеново.

В Малороссии в тех домах, где не успели еще променять старинного русского гостеприимства на новые светские приличия, не нужно много времени, чтоб коротко познакомиться с семейством и быть принятым, как родной. Правда, конечно, и то, что богатый и холостой гвардейский офицер в провинциях бывает всегда принимаем отлично хорошо; но если вникнуть внимательно в причины такого приема, то нетрудно открыть, что часто в этом руководствуются не одним гостеприимством. Мне самому случалось видеть в некоторых домах, как ласкали молодого человека, еще холостого, и как вскоре потом принимали его, когда он являлся в тот же дом уже женатый. Несходство между обоими приемами

было разительное, хотя молодой человек в течение этого времени не переменился ни лицом, ни душою. Но как бы то ни было, а тетушка — как нам известно — не принадлежала к числу людей модного разбора и потому приняла Блистовского с обыкновенным радушием, нимало не заботясь о причинах его посещения. Анюта обрадовалась, когда он неожиданно вошел в комнату, и, в невинном заблуждении, не думала скрывать своего удовольствия, полагая, что она радуется только случаю поговорить о милой Машеньке! У бедной Праскуты тоже забилось сердце: она считала, что Блистовский приехал для нее, и покраснела по уши!

Мы не будем томить читателей наших распространением рассказа о том, что им уже известно из писем Анюты. Блистовский приезжал почти ежедневно в Барвеново, всякий день открывал новые достоинства в своей любезной и всякий день более влюблялся. Несколько раз просил он позволения у Анюты поговорить с тетушкою, но не мог добиться решительного ответа. Наконец, получив ее согласие, он не замедлил им воспользоваться.

Это было перед вечером. Тетушка сидела в беседке, сколоченной из тонких латв,[41] около которых обвивались хмель и красные бобы; она со вниманием слушала приказчика, доносившего об успехах жатвы.

— Милости просим, Владимир Александрович! — сказала она. — Не хотите ли поучиться хозяйству? Вот у нас жито в нынешнем году, благодарение милосердному Богу, хорошо уродилось! Пятнадцать коп на десятине,[42] а в ином месте, где поближе к селению, и еще более! Каков-то будет вымолот? Боюсь только, чтоб у нас конопли не побило градом, как у соседей. Вот у Ивана Ивановича вся, говорят, пропала, как будто подкошена! До сих пор Господь нас миловал; как-то будет вперед!

Владимиру было не до конопли и не до жита, но надлежало подождать, пока кончится тетушкин разговор с приказчиком. Долго слушал он ее рассуждения о жатве и о молотьбе, о гречке, овсе и коноплях, о починках, необходимых в винокурне, и проч. От любовного нетерпения разговор этот ему показался еще длиннее, нежели каков был в самом деле, и он мысленно несколько раз перекрестился от радости, когда приказчик, приняв последнее приказание и наставление, поцеловал у барыни ручку и, низко поклонясь, удалился из беседки.

— Извините, Владимир Александрович! — сказала тетушка. — А я за хозяйскими хлопотами совсем забыла, что вам невесело меня слушать. Но не прогневайтесь, ведь вы у нас не чужие! Зачем вы оставили барышень? уж не поссорились ли вы с ними?

— Я пришел с вами поговорить наедине, Анна Андреевна! От вас зависит участь моя, счастие или несчастие всей моей жизни.

— С нами сила Господня! что с вами сделалось? Какое влияние я, маленький человек, могу иметь на судьбу вашу? Или вы шутите со мною, Владимир Александрович?

— Я очень далек от шуток, тетушка! Позволите ли вы мне впредь всегда так вас называть?

— А почему же нет, мой батюшка? — пожалуй, если это вам делает удовольствие! Да что вам в этом?

— Тетушка! я люблю Анюту! сделайте меня счастливейшим из смертных: согласитесь отдать мне ее руку!

— Так вот дело-то в чем! — сказала тетушка протяжным голосом и призадумалась. Это предложение пришло совсем неожиданно, хотя с некоторых пор посещения Блистовского сделались для ней весьма замечательными. Мы уже объяснили читателям, что Анна Андреевна не принадлежала к числу людей, оказывающих гостеприимство из каких-нибудь видов, и потому в другое время Блистовский мог бы ездить несколько лет в ее дом и ей бы на ум не приходило присматривать за ним и добиваться, не влюблен ли он в которую-нибудь из барышень. Но на этот раз особенный случай обратил ее внимание на частые посещения молодого офицера.

С некоторого времени тетушка заметила, что Праскута ее совершенно переменилась. Она сделалась печальна и задумчива; живой румянец на щеках ее начал пропадать, и часто глаза ее казались заплаканными. Сначала тетушка вообразила, что Праскута нездорова, и, несмотря на ее уверения в противном, поила ее разными травами и другими лекарствами из домашней лаборатории, но болезнь от того не прекращалась! Праскута всё делалась задумчивее и печальнее, а тетушка более и более о ней беспокоилась. Наконец, при всей простоте своей, тетушка начала смекать, что странная болезнь Праскуты имеет какую-то связь с Блистовским. В самый тот день, когда Владимир посватался за Анюту, тетушка делала новые наблюдения над своею дочерью и еще более утвердилась в своих догадках. От глаз ее не скрылось, что Праскута попеременно бледнела и краснела, когда еще издали послышался знакомый стук коляски Блистовского; а когда коляска начала приближаться к крыльцу, Праскута встала из-за пялец и поспешила выйти из комнаты.

— Куда ты идешь, Праскута? — спросила Анна Андреевна.

— У меня есть дело, матушка! — отвечала Праскута, и тетушке показалось, что в глазах ее блистали слезы, когда, выходя из комнаты, она нечаянно оглянулась.

Бедная Праскута с некоторого времени заметила взаимную друг к другу любовь Владимира и Анюты!

Итак, вот о чем задумалась тетушка, услышав предложение Блистовского! Она любила Анюту столь же горячо, как родных дочерей своих, но при всем том не могла быть равнодушною к положению Праскуты. Она вообразила себе, какой удар для нее будет известие о сватовстве Владимира, — и сердце ее разрывалось при мысли, что счастие одной из дочерей ее сопряжено с несчастием другой. Наконец всегдашняя надежда Анны Андреевны на промысл Божий ее ободрила. «Бог милостив! — подумала она, — и нас не оставит. Праскута еще так молода, что успеет полюбить другого! Анюта же, верно, будет счастлива за таким добрым человеком, каков Владимир Александрович».

Между тем Блистовский сидел как на иголках; он не мог понять причины недоумения тетушки и вообразил себе, что она, может быть, имеет насчет его какие-нибудь сомнения. Вскоре, однако, тетушка вывела его из беспокойства.

— Владимир Александрович! — сказала она дрожащим от умиления голосом, — я считаю вас добрым и честным человеком и надеюсь, что Галечка будет с вами счастлива. Возьмите ее, благословляю вас от всего сердца!

Владимир, вне себя от радости, кинулся на шею к Анне Андреевне. Он целовал ее руки, называл ее любезною, милою, доброю тетушкою и хотел тотчас бежать к Анюте.

— Погодите немного! — сказала растроганная тетушка, — дайте мне утереть слезы; пойдем вместе!

Из беседки до дому было очень недалеко, но Владимиру, принужденному идти медленно подле тетушки, дорога показалась несносно продолжительною.

— Вы, кажется, нарочно идете тише обыкновенного, тетушка? — сказал он.

— А мне так кажется, — отвечала она смеясь, — что вы сегодня ходите скорее обыкновенного.

Дошед до крыльца, Владимир никак не утерпел, чтоб не упредить тетушки.

— Анюта, моя Анюта! — вскричал он, вошед в комнату, где она с Гапочкою сидела на софе. Он с жаром схватил ее руку и пал к ее ногам. Анюта сперва пришла в замешательство, побледнела и не знала, что ей делать. Но взглянув нечаянно и видя, что тетушка стоит перед нею с веселою улыбкою, она, по какому-то внутреннему чувствованию, догадалась, что это значит. Голова ее невольно и ей самой неведомо

опустилась на плечо Владимира, и уста их соединились в нежный поцелуй.

Вскоре в доме узнали, что Анюта невеста, и все пришли ее поздравить. И Праскута о том узнала; хотела... сойти вниз, но у нее не стало духа! Она сказалась больною, обвязала себе голову и легла в постель. Анна Андреевна пошла к ней: она не предлагала уже ей лекарства, а только нежно обняла ее, тихонько поплакала над нею и благословила ее, не говоря ни слова. Потом возвратилась она к Анюте и старалась казаться веселою. Настало время пить чай. Анюта села к столу, а Владимир поместился подле нее, чтоб ей помогать. На лице обоих любовников ясно изображались чувствования, которыми преисполнены были их сердца. Анюта в этот день разливала чай не с таким искусством, как обыкновенно, и добрая тетушка неоднократно журила ее за рассеянность. Владимир между тем не спускал ее с глаз и в восторге своем не замечал, что она забыла положить сахару в его чашку. Он предавался сладостным мечтаниям о будущем: иногда ему представлялось, что он женат уже на Анюте, что молодая супруга разливает чай у него дома, а тетушка приехала к ним погостить. Мысли его улетали еще далее... Вдруг Анна Андреевна поспешно вскочила со стула, поставила чашку на стол и вскричала:

— Ах я дура! Прости меня, Господи! Ну что я наделала? Галечка, друг мой! виновата пред тобою; виновата пред вами обоими! Ну как могла я согласиться на предложение Владимира Александровича! Боже мой, Боже мой! что теперь делать!

Владимир испугался и тоже вскочил с места. Анюта смотрела на Анну Андреевну с удивлением, не говоря ни слова. Никто не понимал, что сделалось с тетушкой, которая между тем продолжала свои восклицания, будучи, по-видимому, весьма встревожена. Наконец Владимир подошел к ней и взял ее за руку:

— Помилуйте, тетушка! что с вами сделалось? — сказал он.

— Совсем забыла о Климе Сидоровиче! Правда, о нем уже давно нет ни духу ни слуху! как в воду канул. Между тем ведь я знаю, мои батюшки, что он жив и здоров, прости меня, Господи!

Владимир и Анюта всё еще не понимали тетушки.

— Какой Клим Сидорович? — вскричали они оба почти в один голос.

— Да твой опекун, Галя! которому покойный отец твой, царство ему небесное, тебя вверил перед смертью и от которого ты зависишь! Без него нам ничего решить не можно; а я, старая дура, ведь совсем о нем забыла! Придется написать к нему; а пока от него не получим ответа, не прогневайтесь, дети! я беру слово свое назад!

Анюта редко слыхала о Климе Сидоровиче и, не имев никакого с ним сношения, едва помнила его имя, а тем еще менее помышляла о том, что он может иметь какое-нибудь влияние на ее участь. В первый раз в жизни она услышала теперь, что покойный отец вверил ее попечению Дюндика. Владимир также изумился: он никогда не слыхал, что у Анюты есть опекун, и хотя не мог предполагать, чтобы опекун этот помешал его браку, но, предвидя, что переписка с ним может отдалить его счастие, он очень огорчился сим новым открытием. В этом расположении духа решился он испытать, нельзя ли обойтись без помощи Клима Сидоровича.

— Тетушка! — сказал он. — Мне кажется, вы напрасно так беспокоитесь. Если Анютин опекун давно не давал о себе известия, то это знак, что он о ней не заботится, а в таком случае незачем у него и спрашиваться. Вы заступаете место ее родителей, и, кроме вас, нам не нужно ни у кого просить согласия.

— Тише, мой батюшка, тише! Правда, что я считаю Анюту своею родною дочерью; правда и то, что Клим Сидорович мало о ней думает — не в упрек ему сказать! С тех пор как братец Трофим Петрович закрыл глаза, опекун-то, полно, справлялся ли об ней хоть один раз? но при всем том воля отцовская — воля Божия. Скажи, мой друг Анюта: если б покойный отец твой был жив, ты бы его послушалась?

— Вы, верно, в том не сомневаетесь, тетушка!

— Нет, мой друг, не сомневаюсь! Итак, если ты слушалась бы его живого, так еще более должна почитать волю его, когда уже нет его на свете. Ведь правду я говорю, Галечка? Нет, Владимир Александрович! Воля ваша, а тут делать нечего! Спроситься Клима Сидоровича надобно!

Должно было покориться требованию тетушки! Сам Владимир чувствовал, что она совершенно права и что без согласия опекуна, назначенного отцом Анютиным, неприлично было бы располагать ее рукою. Итак, положили написать с первою почтою к Климу Сидоровичу, а до получения от него ответа не рассказывать никому о том, что случилось в этот вечер. Тетушка поуспокоилась, рассудив, что ответ она, без сомнения, получит благоприятный, потому что опекун не мог иметь никаких причин к отказу. Однако, несмотря на то что и прочие разделяли надежду тетушки, веселие этого вечера немного расстроилось сим неожиданным затруднением.

В первые минуты Владимир так поражен был поступком тетушки, что и не думал расспрашивать подробнее о новооткрытом опекуне. Но когда дело дошло до расчетов, чрез сколько времени можно иметь ответ, и Владимир при этом случае узнал, что опекун живет в Полтавской губер-

нии, то ему вдруг пришла мысль, не тот ли самый это Клим Сидорович, с которым познакомился он в прошлом году? Когда же узнал притом, что он прозывается Дюндиком, то все сомнения его исчезли, но открытие это нимало его не радовало. Он довольно хорошо знал Клима Сидоровича и Марфу Петровну, и некоторые особенные обстоятельства заставляли его думать, что они не поспешат ответом на письмо. Мысль эта очень его тревожила. Пройдя несколько раз в задумчивости по комнате взад и вперед, он решился наконец сам ехать в Полтавскую губернию, несмотря на неприятность расстаться с Анютою по меньшей мере на неделю.

— Тетушка! — сказал он, когда намерение это в нем утвердилось, — мне кажется, всего лучше будет, если я сам съезжу к опекуну Анютину.

— И конечно так, Владимир Александрович! Поезжайте с Богом! А мы между тем Анюту вашу беречь будем пуще глаза. Поэтому и мне не нужно писать длинного письма, что я, признаться, не очень и люблю. Да правду сказать, я не умела бы описать вас хорошенько; а теперь вы сами с ним познакомитесь, и он увидит, какого жениха себе нажила моя Галечка!

— Да я с ним уже знаком, тетушка! прошлого года я довольно часто видал его в Ромнах.

— Так это и того лучше! Стало быть, ему и раздумывать недолго будет, и вы скорее к нам возвратитесь. Ну, слава Богу, всё к лучшему! А я совсем не воображала, что вы его знаете. Смотри пожалуй, как это кстати! Когда же вы располагаете ехать?

Владимир взглянул на Анюту и вздрогнул при мысли, что он должен ее оставить; наконец он сказал, собравшись с духом:

— Я думаю ехать завтра, тетушка! Чем скорее поеду, тем скорее ворочусь!

— Ну так я к завтрему приготовлю свое письмецо!

И в самом деле, на другой же день ввечеру подъехала к низенькому крыльцу тетушкина дома телега с лихою тройкою. Владимир распростился со всеми, крепко прижал к сердцу Анюту, не внимая увещаниям доброй Анны Андреевны; потом взгромоздился на повозку и поскакал во весь дух. Тетушка, Анюта и Гапочка остались на крыльце и смотрели ему вслед, пока не улеглась последняя пыль, поднятая на дороге скачущею тройкой.

Дом тетушкин как будто опустел после отъезда Владимира, и долго мирные жители Барвенова не могли привыкнуть к его отсутствию. Везде царствовало какое-то уныние, умноженное еще беспокойством о пе-

чальном положении Праскуты; но, к чести сей последней, я должен сказать, что известие о затруднении, встретившемся относительно сговора Анюты, нисколько ее не обрадовало.

Между тем, пока Владимир находиться будет на большой Полтавской дороге, мы расскажем читателям, отчего воспоминание о прежнем знакомстве с Климом Сидоровичем так сильно и неприятно на него подействовало. Но для сего нужно перенестись мысленно за год перед описанною нами в главе сей эпохою.

Глава VII

ЦЫГАНСКИЙ АТАМАН

Конная ярмонка приходила к концу, когда Владимир в прошлом году приехал в Ромны[43] и, не дав себе времени переодеться, отправился в дорожном мундирном сюртуке на площадь, уже начинавшую пустеть. Продавцы, имевшие удачу в торговле, сламывали коновязи, весело прикрикивая на табуны свои, с которыми спешили на другие ярмонки. На площади оставались те только, которым не удалось сделать выгодной продажи; с печальным видом стояли они как вкопанные, опустив голову, или же прохаживались между лошадьми, с неудовольствием поглядывая на счастливых своих соперников.

По прибытии Владимира на площадь окружили его жиды и цыганы, предлагая наперерыв свои услуги.

— Позалуйте сюда, васе благородие! — говорил один.

— Я и в прослом году вам слузил, васе высокородие! — уверял другой.

— Ваше превосходительство! мы старые знакомые, — кричал третий, — уж мне грешно вас обманывать! Услужу вам, как отцу родному!

Больше всех вертелся около него один цыган, которого наружность особенно привлекла на себя внимание Блистовского. Он одет был лучше всех других: синий на нем кафтан из нелинючего сукна не был оборван, как у собратий его. Он опоясан был широким малиновым кушаком, окрашенным малороссийским червецом.[44] Круглая поярковая шляпа[45] его, на манер кучерской, несмотря на необыкновенную величину, едва прикрывала темя и надета была с небольшим наклоном к правому уху; из-под широкой палевой ленты, около шляпы этой обвязанной, торчал конец павлиньего пера; шея же повязана была алым платком, коего кончики висели на груди. Желтый цвет лица, небольшой орлиный нос и

резкие черты явно свидетельствовали об индейском его происхождении, а черные беглые глаза, как раскаленные угли, сверкали из глазных ям. Из-под шляпы его вились густые черные кудри, и такого же цвета борода и усы покрывали всю нижнюю половину его лица. Росту он был небольшого, но широкие плечи и длинные жилистые руки показывали необыкновенную его силу. Хотя он больше других надоедал своею навязчивостию, но при всем том Блистовский не мог не любоваться его ловкостию и проворством. Прочие цыганы, по-видимому, оказывали ему уважение и называли его атаманом.

С самого прибытия Блистовского на конную площадь атаман пристал к нему, уговаривая его купить пару гнедых лошадей, которых продавец, казалось, вовсе не заботился приискивать покупщиков на свой товар. Это был человек лет пятидесяти, у которого черные усы начинали уже седеть. Несмотря на несносный жар, тогда бывший, подбритая голова его покрыта была круглою черною шапкою из бараньего меху и представляла странную несообразность с остальным одеянием его, состоявшим из широких холстинных шаровар и такой же рубахи, носившей на себе явные следы долговременного употребления. Кожу́х его, или нагольный тулуп,[46] разостлан был на земле, и он сидел на нем с поджатыми босыми ногами, не обращая ни малейшего внимания на проходящих. Подле него, прямо против солнца, стояли сапоги, или чоботы, только что вымазанные дегтем; от времени до времени он бросал на них умильные взгляды, как будто любуясь игрою солнечных лучей, на них отражавшихся. На лице его изображалось какое-то страдательное довольствие судьбою своею, но самый строгий наблюдатель едва ли мог бы различить, происходит ли это довольствие от увеселительного зрелища лоснящихся сапогов или от приятного вкуса огромной желтой дыни, которую он грыз, не замечая, что сок из нее лился ручьями по бритой бороде его и упадал крупным дождем на высокую мышковатую грудь.[47] Путешественник, находящийся в первый раз на Украине, вероятно, удивился бы странному его равнодушию; но Блистовский, сам малороссиянин, легко отгадал, что этот хладнокровный барышник должен быть крестьянин какого-нибудь помещика, поручившего ему продажу своих лошадей.

В справедливости догадки своей он еще более утвердился, когда, следуя приглашению цыганского атамана, подошел поближе к гнедым лошадям. Быв довольно искусным знатоком, он тотчас заметил в них явные признаки, что они очень долго ходили в дышле, хотя атаман клятвенно уверял, что это молодые верховые лошади, вызываясь притом сам на них проскакать, чтоб доказать, как они живы и исполнены огня.

Походив между коновязьми, Владимир, несмотря на уверения своих провожатых, вскоре увидел, что на ярмонке нет ничего достойного его внимания. Он хотел уже оставить площадь, как заметил в одном из отдаленнейших косяков несколько вороных лошадей, показавшихся ему столь видными, что он решился подойти поближе. Лишь только провожатые его заметили сие намерение, как закричали все в один голос:

— Васе благородие! не ходите туда! Залеть будете; ей зе богу, залеть будете; там вас обманут. Купите лутце здесь, мы льуди цесные!

С такими восклицаниями провожали они его до тех пор, пока далее приняли его другие, такие же ревностные ходатаи. Из этого Владимир заключил, что площадь разделена на несколько отделений, из которых каждое имело своих особенных жидов и цыган, коих попечению вверена была продажа лошадей. Из всех прежних его провожатых один только атаман от него не отстал. Казалось, что он имел особенную пред всеми другими привилегию, которую, может быть, доставили ему между его земляками звание атамана, а между жидами широкие его плеча и жилистые руки. Присоединившись к новой партии, атаман начал играть и новую роль: он теперь уже хулил лошадей прежнего отделения и без меры расхваливал вороных, которые действительно оказались годными для покупки.

По требованию его выводили одну за другою, и, между тем как хозяин, объявив цену, в молчании ожидал решения Блистовского, цыганы и жиды, особливо атаман, превозносили их во всех статьях. Атаман попеременно садился на каждую, показывал их шаг, рысь и скачь и не мог ими нахвалиться.

— Да это такие кони, — говорил он с свойственным нации его жаром, — что им и конца не будет! Если ваше превосходительство их купите, они служить вам будут вечно; и дети ваши, дай Бог им здоровья, меня за них благодарить будут еще на том свете!

В продолжение этих торгов новое лицо появилось между ними. Это был человек лет шестидесяти, с редкими и совсем седыми на голове волосами. Росту он был довольно высокого и собою дородный. На толстом и румяном лице его не видно было ни одной черты хотя сколько-нибудь замечательной, или, лучше сказать, все черты лица его были равно незначительны. При первом взгляде выражение его физиономии могло бы показаться добрым, ибо на устах его всегда была видна улыбка; но при внимательном наблюдении всякий мог заметить, что улыбка сия, никогда не изменяющаяся и, так сказать, неподвижная, не имеет никакого значения, так, как и большие выпуклые глаза его, которые, по неопределенному их цвету и по невыразительности, можно было бы на-

звать оловянными. Одеяние его также не представляло ничего особенного. На нем был зеленый довольно поношенный сафьянный картуз, светло-серый нанковый сюртук и такие же панталоны. Быв несколько времени безмолвным свидетелем уверток и уловок цыганского атамана, он наконец подошел к Владимиру, приподнял левою рукою картуз и, откинув голову назад, вместо того чтоб нагнуть ее наперед, сказал ему:

— Мое почтение! Позвольте спросить... чин ваш и фамилия?

— Штабс-ротмистр Блистовский.

— Конечно, изволите служить в *** драгунском полку, что стоит здесь около Андреевки?[48]

— Я служу в *** гвардейском полку.

— А! честь имею рекомендоваться; я здешний помещик; вы, может быть, обо мне слыхали в Петербурге: Дюндик, бывший маршал дворянства.

При сих словах Клим Сидорович изъявил почтение свое Владимиру уже наклонением головы наперед и снял картуз правою рукою. Притом — как будто желая поправить косынку, толсто обвернутую около шеи его, — он расстегнул верхние пуговицы сюртука и выставил напоказ Владимирский крест четвертой степени, бывший дотоле как бы в заключении, — вероятно, для того чтоб не слишком ослепить зрителей.

— Вы изволите покупать лошадей? — продолжал он вполголоса, обратясь к Владимиру с дружеским видом. — Что просят?

— Не слишком дорого! Они, кажется, недурны!

— Ну, если это для полка, так не советую! Дружески вам доложу, что лошади не крепкие... лошади слабые!

Продавец, стоявший до того времени неподвижно и почти безмолвно, пришел в некоторое движение, услышав, что новопришедший старается очернить достоинство его товара. Он несколько раз оглядывался, как бы желая призвать к себе на помощь атамана; но блудящие его взоры не находили своего говорливого наперсника: атаман, при первом вступлении в разговор Клима Сидоровича, скрылся в толпе. Увидев наконец, что ему придется отстаивать лошадей своих одному, он вышел из обычайной флегмы и, окинув с ног до головы Клима Сидоровича, сказал, бросая на него исподлобья сердитые взгляды:

— Вы, сударь, не в свое дело мешаетесь! Кони мои совсем без пороков, и я в другое время не отдал бы их за такую цену. Я за них отвечаю, кони добрые...

— Что ты врешь, мошенник! — прервал его Клим Сидорович с особенным ударением на последнее слово. — Эдакой плут! вздумал обманывать приезжих! да еще господ офицеров, покупающих по казен-

ной надобности! Смотри пожалуй, будто я не знаю твоих лошадей! Ведь они с хлыновского завода?

— Нет! с карлинского! Вот извольте посмотреть на тавро.

— Ну!.. еще-таки! Будто я не то же говорю? Хлыновский... карлинский, будто не всё равно! Всё одна порода... На обоих заводах лошади все никуда не годятся!

Блистовский, хотя не согласен был с мнением нового знакомца своего, но, из уважения к его сединам и из признательности за участие, не хотел явно показать недоверчивости своей к познаниям Клима Сидоровича и потому удалился от вороных лошадей, приняв, впрочем, намерение возвратиться к ним, когда оставит его Дюндик.

Несчастный продавец, обманутый в своей надежде, провожал их бранью — сперва тихонько, потом возвышая голос, по мере их удаления, и, наконец, когда почти совсем потерял их из виду, громкими проклятиями.

Между тем Клим Сидорович рассказывал Блистовскому с добродушною доверчивостию об услугах, оказанных им дворянству, об интригах, воспрепятствовавших вторичному его выбору, и о славном своем лазарете. В замену сих новостей он допросился, сколько у Владимира душ, и, узнав, что он богат и холост, удвоил свою учтивость. Он проводил его до самой квартиры и не прежде его оставил, как взяв слово, что он непременно в тот день у него отобедает.

— Вы познакомитесь с моею Марфою Петровною, — прибавил он между прочим, — она вам очень рада будет. Смею сказать, что вы у нас не соскучитесь... Ведь я знаю, что вы, паничи, любите говорить по-французски, а мои дочери не хуже петербургского, то и дело, что между собою: коман ву порте? фор биень, мусье! — я тоже около них понаучился... почти всё понимаю! А что они... так, право, мне иногда надоедают! Всё по-французски да по-французски! Зато у них славный учитель: обучался в Москве, в ниверситете, и сам книги пишет... Ей-богу, не лгу! Ну — вы увидите! Правда, я денег на них не жалею: учитель получает у меня четыреста рублей в год и, разумеется, харчи мои! Да кроме того, почти каждый год подарок: то сукна домашнего на пару, то из своего платья что-нибудь, фрак или жилет, или что случится! С тех пор как дочери мои подросли, я употребляю его по хозяйству: присматривает за винокурней да ведет счет с шинкарями. Ученый ко всему пригодится! Ну, вы сами увидите! Прощайте, почтеннейший, до свиданья! Мы обедаем по-петербургски, не ранее часа!

Владимир поспешил переодеться, чтоб иметь время перед обедом побывать на конной площади. По приезде туда он встречен был опять

теми же жидами и цыганами, кроме атамана; но, не останавливаясь с ними, пошел далее к тому месту, где оставил вороных лошадей. К удивлению его, их уже там не было, и продавец, стоя на коленях, с печальным видом считал и пересчитывал серебряные деньги, стоявшие столбиками перед ним. На вопрос, где вороные, он покачал головою, почесался за ухом и сказал с досадою:

— Да они уже проданы; теперь только их увели... вон, вон они идут, сердечные! А жаль, ваше благородие, что не вам они достались; лошади, ей-богу, добрые, и я их отдал за полцены. Пришла лихая година, хоть в петлю полезай, а продать надобно было. Ну! в другой раз меня на эту проклятую ярмонку и калачом не заманишь!

— Да кому ты их продал? — спросил Блистовский с торопливостию.

— Кому? а провал его знает! Цыган купил их для какого-то пана. Принужден был уступить проклятому за бесценок. Почему мне знать, что вы воротитесь! А лошади, ей-богу, добрые!

— Да я охотно бы их у тебя купил!

— А я рад бы вам их продать. Зачем вам было уходить, ваше благородие! Мне дело-то к спеху: ярмонка кончается, а я, почитай, совсем исхарчился; пришлось хоть утопиться! Да вот не досчитаюсь еще двух целковых; а как цыган их платил, так, кажется, все были!

Он опять принялся считать, а Блистовский отправился к Климу Сидоровичу, сетуя на самого себя, что упустил хорошую покупку.

Глава VIII

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК

К назначенному часу Владимир приехал в дом, нанимаемый Климом Сидоровичем. Дом этот был деревянный, как все почти домы в Ромнах, и находился на обсаженной деревьями Полтавской улице. Двор тесно застроен был флигелями и небольшими домиками, которые все занимались приезжими, между тем как хозяин с женою и старшею дочерью помещался в чулане, получавшем свет со двора из открытых дверей. Двое младших детей хозяина вместе с челядью проводили целый день на дворе или за воротами; ночью же или во время дождя детей брали в сени, бывшие перед чуланом, а челядь искала себе приюта где хотела. Во время ярмонки в Ромнах бывает общее переселение всех жителей: бóльшая часть хозяев отдают внаймы домы свои приезжим,

сами же переселяются в какой-нибудь уголок, где проживают кое-как в продолжение целой ярмонки. Даже те из них, которым состояние позволяет не отдавать внаймы домов своих, мало ими в это время пользуются, ибо к ним наезжает столько родственников, друзей и гостей, что самим бывает тесно в собственных домах.

Хозяева, у которых жил Клим Сидорович, были ему сродни, и, несмотря на их незнатность и недостаточное состояние, он не отказывался от этого родства потому, что, пользуясь оным, останавливался в их доме. Клим Сидорович хотя был богат, однако любил сберечь копейку, особливо когда можно было это сделать, сохраняя приличия. Родственники его, кроме дома и нескольких душ дворовых людей, не имели никакого состояния: бедные люди эти целый год должны были жить тем, что приобретали отдачею внаймы дома своего; но Клим Сидорович и Марфа Петровна не обращали никакого на то внимания. Они обыкновенно приезжали в Ромны в самом начале ярмонки, спеша занять ту часть дома, которая окнами была на улицу и потому стоила дороже всех прочих; а добрые хозяева, по простодушию своему, не только не смели на то жаловаться, но должны были, напротив того, радоваться посещению таких знатных родственников.

Стол уже был накрыт в первой комнате от сеней, когда приехал Блистовский. Клим Сидорович встретил его тут, переодетый уже во фрак, и повел тотчас во вторую комнату: там ожидала их разряженная Марфа Петровна, сидя на софе за большим столом, на котором расставлены были разного рода закуски и несколько стеклянных графинов с разноцветными водками, или, лучше сказать, спиртами. Она приветствовала Владимира, привстав немного с софы, и, посадив его подле себя, начала потчевать закускою и водкою.

Марфа Петровна была женщина лет сорока пяти, высокая и дородная, сохранившая несколько остатков прежней красоты своей. Черные быстрые глаза ее еще не совсем лишились прежнего своего блеска, и пунцовая тока на темных волосах[49] очень была ей к лицу, хотя белые на ней перья сделались почти серыми от роменской пыли и хотя, вообще, наряд ее не соответствовал ни времени года, ни обеденной поре. Живой румянец, на щеках ее игравший, очень ее молодил, особливо в глазах Блистовского, который не тотчас заметил, что свежий цвет лица ее был действием китайских румян. Правда, что недостаток передних зубов немного мог бы нарушить тайну ее лет, ибо, за неимением в Малороссии ни Сосротов, ни Деспинов,[50] некому было оные вставить; но Марфа Петровна умела как-то залепливать воском сии опустошения неумолимого времени, которые посему и ускользнули от внимания Блистовского.

— А мои барышни еще не воротились из лавок, — сказала Марфа Петровна наречием, которое считала она русским, хотя оно сильно отзывалось благословенною Украйною, — как зайдут к мадам Дюлу, так ради просидеть там целый день! Клим Сидорович! пошлите-ка Хвыльку* сказать барышням, что пора обедать!

— Уж побежал Петька!

— Говорю вам, чтоб пошел Хвылька! — вскричала Марфа Петровна, нахмурив брови и бросив строгий взгляд на мужа. — Покорно прошу выкушать водки, — продолжала она, обратясь к Блистовскому с веселою улыбкою, — не угодно ли настойки Трофимовского;[51] она очень полезна для здоровья.

Между тем как Блистовский откланивался от настойки, раздался шум в передней комнате, и он услышал женский голос, кричавший громко:

— Фуа, Фуа! Кессé-кессé-кессé-ля! Кессé-кессé-кессé-ля!

Владимир не знал, что и думать; но Дюндик, потирая с довольным видом руки и мигая одним глазом в ту сторону, откуда слышен был голос, сказал ему:

— Ну! не говорил ли я вам, что мои барышни ни на шаг без французского языка? Вот только что вошли в комнату, а уж и задребезжали! Вера Климовна! Софья Климовна! да войдите же к нам!

Дверь растворилась, и влетели в комнату две девушки в соломенных шляпках, собою красивые и одетые совершенно по предпоследнему нумеру московского «Дамского журнала».[52] Владимиру накануне случайно попался на глаза этот нумер, когда, проезжая чрез небольшой городок, он зашел к почтовому экспедитору, который, по обыкновению многих из сих господ, сам прочитывал журналы и газеты прежде, нежели отсылал их к нетерпеливо ожидающим подписчикам.

Владимир встал и поклонился барышням, а Клим Сидорович счел обязанностию рекомендовать ему своих дочерей:

— Вот это мои дочери, — сказал он, — Вера и Софья Климовны, прошу их любить и жаловать! Ну, дети! рекомендую вам Владимира Александровича, господина ротмистра гвардии, который приехал из Петербурга и очень рад, что с вами может поговорить по-французски...

Владимир поклонился и не успел еще выговорить ни слова, как обе барышни обратились к нему, говоря наперерыв что-то такое, чего он никак разобрать не мог, несмотря на всевозможное напряжение внимания. То казалось ему, что некоторые звуки имели отдаленное сходство с французским, то опять слышались ему такие слова, которые, по его мне-

* Филипп.

нию, не могли принадлежать ни одному из европейских языков. Не понимая ничего, он пришел в замешательство, закраснелся и наконец отвечал:

— Извините, сударыня, я ничего не понимаю!

— Так вы не говорите по-французски! — сказали барышни с видом сожаления и удивления, — а батюшка сказывал, что вы только что приехали из Петербурга и любите французский язык!

Блистовский так поражен был сим неожиданным упреком, что не отвечал ни слова: между тем слуга пришел повестить, что подано кушанье, и тем прекратил разговор барышень, который Владимиру ежеминутно становился тягостнее.

Прежде, нежели пошли обедать, Клим Сидорович и супруга его опять стали просить Владимира выкушать водки, подавая сами тому пример. Чтоб избавиться от потчеванья, он решился выпить полрюмки из того графина, которым пользовалась Марфа Петровна; но, проглотив немного, он чуть было не задохнулся: так она была крепка! Владимир подал руку хозяйке, и все отправились к обеду. Выходя в другую комнату, Владимир нечаянно оглянулся и крайне удивился, увидев, что барышни подошли к столику и как ни в чем не бывало налили себе понемногу той же самой водки и выпили ее, даже не поморщившись.

Обед был довольно продолжителен, и кушанья подавали много, довольно хорошо изготовленного; но Владимир почти ничего не мог есть: густая черная пыль проникала сквозь закрытые окна, и ее поневоле должно было глотать вместе с кушаньем. В продолжение обеда барышни несколько раз начинали разговаривать между собою на том неизвестном языке, которому и перед тем уже удивлялся Блистовский.

Когда встали из-за стола, Владимир, успевший познакомиться покороче с семейством Дюндика, принял намерение расспросить подробнее о неизвестном языке, как скоро можно будет сделать это без нескромности. Случай тотчас к тому представился: Софья Климовна, смотря в окошко на проходящих, вдруг закричала:

— Фуа! Фуа! поди, пожалуйста, сюда.

— Позвольте узнать, — подхватил Блистовский, — что такое значит Фуа?

— Фуа! — отвечала Софья Климовна, взглянув на него с удивлением, — Фуа это имя сестрицы!

— Да сестрицу вашу ведь зовут Верою?

— Конечно так, — сказала, улыбнувшись, Софья, — имя ее по-русски Вера, но по-французски зовут ее Фуа!

— У нас в Петербурге Вера, женское имя, и по-французски называется Вера.

— Напрасно! — вскричала Софья с торжествующим видом, — я могла бы вам показать в лексиконе мусье Татищева, что Вера по-французски Фуа!

— Позвольте же вам сделать еще один вопрос: перед обедом я слышал одно выражение, хотя для меня непонятное, но которое осталось у меня твердо в памяти; что значит кессé-кессé-кессé-ля?

— Вы не знаете, что значит: кессé-кессé-кессé-ля? Быть не может! Вы шутите, Владимир Александрович?

— Клянусь честию, что не понимаю!

— Ну! кессé-кессé-кессé-ля значит на французском языке: *что такое?*

— А!.. Qu'est-ce que c'est, que cela!.. Теперь я понимаю!

Владимир прекратил тут расспросы свои относительно неизвестного языка и, вслушиваясь внимательнее в разговоры барышень, действительно заметил, что они говорят по-французски, но притом так странно выговаривают и такие необыкновенные употребляют слова и выражения, что без большой привычки понять их никак невозможно. Это не подало ему выгодного мнения об учителе, получающем четыреста рублей ежегодного жалованья, кроме харчей и подарков, но он воздержался от всяких на этот счет замечаний, и потому семейство Клима Сидоровича осталось в твердой уверенности, что Блистовский не знает французского языка. Незнание это было между ними предметом разговоров, когда он их оставил, и Клим Сидорович долго рассуждал с дочерьми о выгодах данного им воспитания и о предусмотрительности своей, заставившей его нанять такого хорошего для них учителя.

— Вы видите, любезные дети, — говорил он, — что и в самом Петербурге не всем удается получить такое воспитание, каким вы пользовались. Да и не у всех, правда, бывают такие рачительные родители, как у вас! Вот, например, Блистовский! Ну чем он не молодец? Богат, умен, собою виден и гвардии капитан, а по-французски-то ни слова! А это не безделица! Вот когда вы, даст Бог, поедете в Петербург, так с вашим воспитанием вас, верно, тотчас возьмут ко двору.

— Дай Бог, батюшка! — отвечали барышни. — Жаль, однако, что Блистовский не знает по-французски! Он так мил, так любезен!

— Однако вы при нем-то не очень болтайте по-французски, — сказал Дюндик, — ведь ему невесело вас слушать, когда сам он ничего не понимает! А поберечь-то его надобно: недаром он сегодня так посматривал на Веру! Ну! если он, даст Бог, только заикнется про нее, так я обеими руками ее отдам!

— Да и я уж ей говорила! — вскричала Марфа Петровна, — что стыдно было бы упустить этакого жениха! Что за беда, что он не говорит по-французски? Ведь и мы с тобою ничего не понимаем, а от того, слава Богу, не хуже других! Смотри же, Вера! держи ухо востро! А ты, Софья, при случае выхваляй сестрицу. Ведь она старшая, ей прежде должно выйти замуж! Не бойся, и до тебя очередь дойдет! Блистовский будет сегодня ввечеру в собрании: будь же с ним поласковее, Вера!.. да зашнуруйся покрепче! Слышишь ли!

— Слушаю, матушка!

Вера Климовна посмотрела с довольным видом в зеркало; а Софья потупила глаза и вздохнула. На этот раз она внутренно жалела, что была моложе сестры своей!

Собрания, о коих упоминала Марфа Петровна, в Ромнах во время ярмонки бывают каждый вечер в довольно пространном доме, выстроенном на ярмоночной или, по-тамошнему, на ярмарковой площади. Там собирается дворянство, платя за вход умеренную цену; одни играют в коммерческие игры, другие проводят время в танцах, а охотники до ужинов там ужинают более или менее хорошо, смотря по искусству повара, который на то время откупает право угощать посетителей. Собрания сии бывают иногда весьма многолюдны, иногда же так пусты, что подрядчик разоряется от малого числа гостей. Замечательно притом, что последнее случается не оттого, чтобы приезжие в иной год менее имели охоты ездить в собрание, нежели в другой. Нет! добрых жителей Малороссии, равно как и вообще провинций наших, нельзя винить в недостатке собеседливости, и бóльшая часть барынь и барышень, имеющих привычку приезжать на ярмонку, вздыхают по роменским собраниям, как дети вздыхают по игрушкам, ибо тут представляется им почти единственный случай потанцевать, повеселиться и показаться в свете. Тут же нередко кладутся первые основания супружеских союзов, и это также для многих не последним служит побуждением к посещению собраний. Но при всем том в Ромнах существует, или по крайней мере в то время существовал, странный предрассудок, что никто не хотел приезжать первый на бал, считая это как бы унизительным: многие, приехав в собрание и видя, что никого еще нет, спешили домой, скрепясь сердцем. Итак, в Ромнах, несмотря на пламенное желание всех, могли быть собрания в двух только случаях: если судьба благоприятствовала публике таким образом, что несколько карет съезжалось случайно в одно время, или же если какое-нибудь семейство, приехав наперед, так сказать, жертвовало собою и оставалось ожидать других.

Тот год, когда Владимир находился на ярмонке, был год счастливый, ибо давно уже собрания не бывали так многолюдны, и потому, прибыв туда, он нашел все комнаты полными гостей; и семейство Дюндика уже было там. Не нужно уверять читателей, что барышни с живым усердием выполняли приказания, данные им матушкою. Вера Климовна всячески старалась понравиться Владимиру и даже довольно в том успела. Какого молодого человека, еще не занятого другим предметом, не тронет внимательность молодой красивой девушки? Даже странное лепетанье барышень на языке, который считали они французским, возбуждало в Блистовском не смех, а сожаление, и он долго размышлял о том, каким бы образом открыть им глаза, не огорчая их самолюбия. Софья Климовна, с своей стороны, также исполняла добросовестно поручение матери, и всякий, наблюдающий искусство, с каким выхваляла она добрый нрав и хорошие качества сестры, легко мог заключить, что она не в первый уже раз исполняет подобные поручения.

В продолжение бала подошел к Блистовскому один полтавский помещик, познакомившийся с ним в лавках и находившийся с женою своею в собрании. Случайно заговорили они между собою по-французски, и Владимир, в жару разговора, сначала и не заметил, что дочери Дюндика стояли за ним и слушали его с удивлением. Оглянувшись и увидев сердитые взгляды, бросаемые на него Верою и Софьею, Владимир подошел было к ним, чтоб объясниться; но они обе отвернулись от него и во весь вечер явно убегали всякого с ним разговора. Он заметил также, что они очень жарко разговаривали с отцом, который немного погодя приблизился к нему и сказал с обыкновенною своею улыбкою:

— Мои барышни на вас сердятся, Владимир Александрович, за то, что вы так над ними подшутили! Экой проказник! Притворяется, будто ни слова не понимает, а с другими разговаривает не хуже моего Софроныча! Но не беспокойтесь, я опять вас помирю!

— Клянусь честию, что я и не думал подшучивать над дочерьми вашими, — отвечал Владимир, досадуя, что его в том подозревают, — я действительно ничего не понимал, — продолжал он, — и, если угодно, докажу вам почему...

— Хорошо! хорошо! Увидим, когда завтра к нам пожалуете! — прервал его Дюндик, всё улыбаясь, — а Вера моя не на шутку на вас рассердилась; да и с Марфой Петровной вы не скоро разделаетесь!

Дюндик отошел от него, грозя ему умильно пальцем; и Владимир, раздосадованный таким на него подозрением, вскоре потом оставил собрание и возвратился домой.

Глава IX

ОБЪЯСНЕНИЕ

На другой день Владимир едва успел встать и одеться, как вошел к нему в комнату Клим Сидорович.

— Доброго утра, — сказал он. — Я нечаянно шел мимо квартиры вашей и подумал себе: дай-ка посмотрю, рано ли он встает? Всё ли вы в добром здоровье? А мои барышни всё еще сердятся! Уж я вчера стоял за вас горою; но они никак забыть не могут, что вы над ними так подшутили!

— Я вчера еще уверял вас, Клим Сидорович, что мне и в голову не приходило над ними подшучивать.

— Полноте, полноте! Как же вы при мне утверждали, что их не понимаете, а при всем том в собрании разговаривали с другими по-французски?

— Не прогневайтесь, Клим Сидорович! Но дочери ваши говорят не по-французски!

— По-каковски же? — спросил Дюндик с досадою.

— Не знаю! только не по-французски!

— Вот это прекрасно! Я разве не держал у себя в доме Софроныча, чтоб он обучал их французскому языку? Разве я не платил ему за то жалованья? Четыреста рублей в год, кроме харчей и подарков!

— Всему этому я верю! Но я должен сказать вам откровенно, что, по моему мнению, вероятно, Софроныч сам не знает того, чему учил.

— Помилуйте, Владимир Александрович! Ведь он написал печатную книгу! Я могу вам ее показать: на одной стороне по-русски, а на другой по-французски. Ведь из нее-то дети мои и учились!

— Весьма любопытен видеть эту книгу, а между тем, повторяю, что дети ваши так странно выговаривают и употребляют такие необыкновенные слова и выражения, что понять их никак невозможно.

— Ах уж вы, петербургские паничи! — сказал Дюндик, покачивая головою и с трудом удерживаясь от гнева. — Ну что за беда, если они и не так хорошо выговаривают, как природные французы? Все-таки они знают язык, а выговору-то всегда научиться можно!

— Сомневаюсь, очень сомневаюсь! Я не из тех, которые считают необходимым, чтоб русский выговаривал французские слова как природный француз; но дочери ваши уж чересчур дурно выговаривают! К тому же употребляемые ими выражения ясно доказывают, что учитель их едва ли слыхал когда-нибудь, как говорят по-французски.

Клим Сидорович после столь решительного приговора о познаниях барышень призадумался, и твердая доверенность его к Софронычу немного поколебалась. Почесавшись за ухом, он сказал Владимиру:

— Так неужто пропали все мои деньги и все труды Софроныча! Поэтому дочерям моим никогда нельзя и показаться в Петербурге?

— А почему же так? — спросил Владимир с удивлением.

— Да потому, что в петербургских обществах и ступить нельзя без французского языка. Я читал в печатных книгах, что там всех не понимающих французского языка презирают и что они и показаться не могут в большом свете, не навлекая на себя от всех насмешек.

— Те, которые говорят это, верно, не знают большого света и потому напрасно его обвиняют. Французский язык, конечно, у нас почти необходим, но это потому, что он таков и в остальной просвещенной Европе. Язык этот теперь сделался везде придворным и дипломатическим и потому в Петербурге, так, как в Лондоне и в Вене, в Мадриде и в Стокгольме, употребляется в большом свете. Было время, когда латинский язык был дипломатическим и придворным; тогда даже и дамы объяснялись на нем правильно и свободно, и за то никто их не осуждал. Говорить, что французский язык употребляется в Петербурге в большом свете, — значит говорить правду (впрочем, ни для кого не предосудительную); но утверждать, что большой свет презирает не говорящих на этом языке, — значит клепать на него напрасно...

— Так вы будете уверять вопреки печатному, что в столице не насмехаются над не знающими французского языка!

— Мне по крайней мере не случалось этого видеть. Напротив того, я встречал в большом свете уважение к заслугам и к истинному таланту без всякого на то внимания, говорит ли кто по-французски. Некоторые из известнейших авторов наших, живущие в большом свете и, впрочем, знающие французский язык, никогда почти не имеют случая изъясняться на оном, потому что все говорят с ними по-русски. Мне легко было бы назвать вам многих, если б мог я предполагать, что имена их вам известны.

— Ну! так поэтому и над моими барышнями никто смеяться не будет, когда они приедут в Петербург?

— Вы можете быть в том уверены, если они сами будут говорить по-русски. Но решительно им советую избегать всех разговоров на французском языке. В Петербурге так, как и в чужих краях, есть класс щеголей — старых и молодых, которые, не зная французского языка, любят объясняться на оном даже с своими соотечественниками. Такие люди, конечно, смешны; но они были бы смешными везде, ибо охо-

тою напрашиваются на насмешки, говоря без всякой надобности на таком языке, которого не понимают. В этом винить должно не общество, но их самих. Нет ничего в том смешного, если русский не говорит на иностранном языке, но смешно, если кто-нибудь, какой бы он нации ни был, из одного хвастовства и без надобности щеголяет таким языком, которого не понимает.

— Да как же я сам читал в печатной книге, что в большом свете даже стыдятся того, кто не говорит по-французски?

— Мало ли что печатается! Россия весьма была бы достойна сожаления, если бы всё то было справедливо, что о ней печатают! Вообще господа писатели должны бы приступать осторожнее к печатанию суждений своих о нравах, обычаях и недостатках нашего отечества. Предоставим врагам нашим писать карикатуры на русский народ, но русскому автору никогда не должно терять из виду, что теперь и в чужих краях начинают обращать внимание на нашу литературу. Приятно ли нам будет, если иностранцы, основываясь на собственных наших сочинениях, возымеют совершенно превратное о нас понятие? Без надлежащей осмотрительности можно и с самыми добрыми намерениями провиниться пред отечеством, коего слава и доброе имя должны быть драгоценны для каждого. Полезно, конечно, выводить наружу пороки и недостатки, но зачем пороки нескольких лиц приписывать целым сословиям? Зачем обвинять общество в недостатках, которые или вовсе не существуют, или принадлежат немногим членам оного?..

Владимир так разгорячился, говоря о сем предмете, что не скоро бы еще окончил речь свою, если б продолжительная и довольно громкая зевота Клима Сидоровича не вразумила его, что он напрасно теряет слова с человеком, едва их понимающим. Итак, он вдруг замолчал, а Дюндик воспользовался этим, чтоб приступить к нему с просьбою отправиться к Марфе Петровне для заключения мира с нею и с барышнями.

Хотя Клим Сидорович и начал уже колебаться в мнении своем относительно Софроныча, но всё еще сохранял некоторую надежду, что Владимир, может быть, преувеличивает незнание барышень. Он твердо полагался на сочиненную Софронычем книгу, по счастию отыскавшуюся между бельем и уборами, привезенными из деревни. Владимиру очень не хотелось исполнить его просьбу, но он решился на то потому, что мысль о том, что его обвиняли в насмешливости, была для него тягостна.

Когда пришли они к Марфе Петровне, дамы, по-видимому, их уже ожидали, ибо были разряжены, невзирая на раннюю пору. Они сидели около стола, перед софою, и, казалось, заняты были общим совещанием

о разложенных Верою Климовною картах и о червонном короле, предмете их гадания.

Обе барышни раскраснелись при виде Блистовского, и все три дамы бросали на него взоры не очень ласковые, хотя суровое выражение их глаз имело различные степени. Сердитее всех казалась Марфа Петровна; за нею следовала младшая дочь, Софья Климовна; а менее всех обнаруживала гнева Вера, коей суровость смягчена была выражением нежного упрека. Увидев Блистовского, она смешала карты, перед нею лежавшие, как будто опасаясь, чтоб он не заметил, о чем она загадывает. После обыкновенных приветствий Владимир, по приглашению Марфы Петровны, сел возле нее. В продолжение нескольких секунд царствовало общее молчание, ибо все более или менее были в смущении и не знали, с чего начать. Клим Сидорович всех больше недоумевал и как будто чего-то боялся. Когда Марфа Петровна бывала не в духе, супруг ее всегда казался самым скромным и молчаливым человеком. Наконец Софья Климовна первая прервала молчание:

— Хорошо же вы с нами вчерась поступили, Владимир Александрович! — сказала она.

— Да! — подхватила Марфа Петровна, — правду сказать, мы никогда этого от вас не ожидали! Мы, конечно, в Петербурге не бывали, однако дочери мои, позвольте сказать, не такого разбору, чтоб можно было над ними смеяться. Не прогневайтесь, Владимир Александрович!

Вера Климовна не сказала ни слова, но взоры ее пристально устремлены были на Блистовского, который, заметив это, еще более смешался.

— Я не заслуживаю этих упреков, сударыня! — сказал он наконец, обратясь к раздраженной Марфе Петровне, — я имел уже честь объясниться с Климом Сидоровичем, и он, кажется, уверен, что мне и в голову не приходило насмехаться!

Дюндик между тем стоял неподвижно и не знал, что отвечать на неожиданный вызов Владимира.

— Ну что ж ты стоишь как чурбан! — вскричала Марфа Петровна. — Разве нет у тебя языка?

— Как не быть, матушка! Но ведь Владимир Александрович утверждает, что барышни наши действительно не умеют говорить — что их понять никак нельзя...

— Вот прекрасно! — вскричала Марфа Петровна, и глаза ее засверкали. — А Софроныч-то разве даром у нас хлеб ел?

— И Софроныч будто ничего не знает...

— Вот это очень мило! — вскричали обе барышни с горьким смехом. — Софроныч ничего не знает! А разве он не сочинил книгу?

— Позвольте же вам показать его сочинение! — прибавила Софья, обратясь к Владимиру и встав со стула.

— Пожалуйте, сударыня! — отвечал он и не рад был жизни, что решился к ним прийти.

Софья вышла на минуту в другую комнату и возвратилась оттуда, имея в руках небольшую книгу в шестнадцатую долю листа, которую и подала она Блистовскому с торжественным видом.

Владимир, раскрыв ее, прочитал следующее заглавие: «Jardin de Paradis pour leçon des enfants etc. Райский вертоград для детского чтения и проч.».*

Он стал читать далее и изумился, увидев напечатанною совершенную бессмыслицу, так что он с трудом мог воздержаться от громкого смеха.

Между тем как он перелистывал это сочинение, взоры всех с нетерпением устремлены были на него. Заметив, что он закусил губы от смеха, Марфа Петровна сказала вне себя от досады:

— Ну-с! и это смешно, что ли?

— Это вовсе не по-французски, сударыня! Удивляюсь медному лбу автора, осмелившегося напечатать такой вздор!

— От часу не легче! — вскричала Марфа Петровна и взглянула на дочерей своих, как бы ожидая, чтоб они опровергли обвинения Блистовского; но барышни не говорили ни слова. Они начинали сомневаться в познаниях Софроныча, и огорчение, ощущаемое ими при сей мысли, согнало румянец со щек их. У Веры Климовны даже навернулись на глазах слезы.

Владимиру тягостно было смотреть на жалкое положение бедных девушек; но делать было нечего! Надлежало кончить начатое, и потому он со всевозможною скромностию стал объяснять им, почему книга, изданная Софронычем, явно доказывает совершенное его незнание французского языка. Доказательства эти и уверительный тон наконец убедили всех слушателей.

— Ах он разбойник! — вскричал Клим Сидорович. — Вот дай-ка мне воротиться домой, уж я его проучу!

— Ах он мошенник! — воскликнула Марфа Петровна, задыхаясь от злости.

---

* Книга эта вышла в печать в Москве, 1818 года, в университетской типографии. Хотя имя автора не показано на заглавном листе, но мы имеем причины думать, что Софроныч не напрасно приписывал себе честь сего сочинения. Всякий, кому угодно будет сравнить французский язык, употребленный в этой книге, с языком, которому научились дочери Дюндика, охотно с нами согласится.

— Ах он мошенник! — повторили за нею обе барышни.

— Тотчас долой его со двора! — сказал Клим Сидорович.

— Этого не довольно, батюшка! — заметили разгневанные барышни.

Семейство Дюндика долго еще продолжало такого рода восклицания, и все друг пред другом наперерыв возвышали наказание, которое, по мнению их, заслуживал жалкий Софроныч. Владимир заметил, что барышни при этом случае оказывались не милостивее прочих. Он воспользовался первою благоприятною минутою, чтоб откланяться, и возвратился домой, крайне сожалея, что неумышленно огорчил их открытием невежества бедного Софроныча.

Глава X

СМЕРТОУБИЙСТВО

По совершенном окончании конной ярмонки Блистовскому нечего было делать в Ромнах, и потому он вознамерился выехать оттуда на другой день. Вечером ему еще раз хотелось посетить собрание. Он нашел его столь же многолюдным, как накануне; но Дюндиковых там не было: они остались дома горевать о потерянном французском языке.

Повертевшись немного в толпе веселящихся, Владимир уже намерен был идти домой, как вдруг услышал в ближней комнате необычайный шум и крик. Он бросился туда и увидел, что всё общество находилось в смятении. Дамы, с видом сожаления и участия, окружали молодую девушку, сидевшую в креслах и бледную как полотно, между тем как мужчины суетились по комнате и весьма горячо разговаривали с полицейскими чиновниками. Владимир с трудом мог добиться толку; он узнал наконец причину сего смятения, поразившую его удивлением.

— Вам, конечно, небезызвестно, — сказал ему один из гостей, — что в прошлом году все иностранные газеты наполнены были рассказами о появившихся в Париже шалунах, которые находили в том удовольствие, чтобы пугать женщин, укалывая их острыми иглами и прожигая их наряды и платья какою-то едкою кислотою. На такие подвиги сыскались охотники и у нас! Еще в прошлом году один подражатель французских проказников перепортил здесь множество дамских уборов и перепугал до полусмерти многих дам. Несмотря на все старания, не могли его открыть, и прошлогодняя ярмонка кончилась тем, что не удалось найти ни малейших к тому следов. Мы надеялись, что на этот раз ярмон-

ка пройдет спокойнее, ибо в первые дни не слышно было ничего; но вот сегодня опять начались эти проказы, и притом так неосторожно, что у бедной девушки не только испорчено платье, но и сожжено тело сквозь рукав!

— Странно, — заметил Блистовский, — что еще не открыли этого шалуна, заслуживающего примерное наказание!

— Это оттого, что даже не знают, кого подозревать, а осматривать у всех карманы нельзя же! К тому же для совершенного изобличения надлежало бы поймать его в минуту самого преступления, что не так легко!

В продолжение сих разговоров собрание опять успокоилось; испуганная девица уехала домой, а гости вновь занялись танцами, как будто ничего не случилось. Владимир прохаживался по комнатам и для провождения времени умственно разбирал физиономии, стараясь разгадать, которая из них внушает более подозрения. Труд его был напрасен; но при разборе этом попался ему на глаза один молодой человек, лет двадцати пяти, одетый по последней моде. Покрой платья его, новейшего французского вкуса, свидетельствовал, что он только что приехал из столицы, а все приемы являли в нем франта второго или третьего разбора — одного из тех, кои в Петербурге отличаются на всех публичных гуляньях, толкая людей безгласных и нахально заглядывая под шляпку каждой женщине, не имеющей мужчин-провожатых. Блистовский, конечно, не имел причин подозревать его в шалостях, беспокоивших в то время роменскую публику, но взоры его невольно на нем останавливались, потому что он видел в нем настоящий образец упомянутых франтов.

Расспросив об имени его, он узнал, что этого молодого человека зовут Прыжковым, что он родом из малороссиян, но, будучи воспитан в Петербурге, переделал, по примеру многих других, малороссийское прозвание на русский манер, прибавя *в* к настоящей фамилии своей, бывшей первоначально *Прыжко*.

Господин Прыжков, с своей стороны, также обратил внимание на молодого гвардейского офицера. Предполагая, что петербургские жители, встречаясь в провинциях, должны непременно ощущать взаимное друг к другу влечение, он неоднократно покушался вступить с ним в разговор, сообщая ему, на дурном французском языке, насмешливые замечания насчет всех гостей, бывших в собрании. Несмотря на отвращение, которое с самого начала почувствовал к нему Владимир, он, однако, из светского приличия отвечал ему учтиво, хотя довольно отрывисто и холодно; но франт наш не замечал этой холодности; господину Прыжкову

и на ум не приходило, чтоб такой милый и благовоспитанный малый, каким он себя считал, мог кому-нибудь не нравиться! Увидев, что Блистовский пошел в ту комнату, где играли в карты, и он за ним туда последовал. Сев подле него и протянув ноги во всю длину их так, что проходящие мимо должны были обходить кругом, чтоб его не задеть, он приставил к глазу лорнет и продолжал критические свои замечания. Блистовский долго его слушал, не говоря ни слова; наконец представилась их взорам почтенная старушка, коей старомодный наряд особенно возбуждал грубую насмешливость Прыжкова. Он не оставил без замечания ни одной складки на ее платье, ни одной морщины на лице, — одним словом, всё в ней представляло новую пищу его язвительности.

— Да знаете ли вы эту даму? — спросил у него Владимир, выведенный из терпения.

— Как не знать! — отвечал франт, усмехаясь с довольным видом. — Это моя родная бабушка! Я люблю ее страстно и всякий день к ней являюсь с почтением, потому что у этого антика пятьсот душ, которые, по смерти ее, должны достаться мне! Надобно же иметь мое терпение!

Блистовский не в силах был его слушать долее и, не сказав ни слова, отошел прочь. Прыжков, однако, несмотря на то, чрез несколько времени опять стал к нему навязываться, но Владимир отвернулся от него с явным презрением.

Между тем наступило время разъезжаться по домам, и Владимир вместе с прочими вышел в тесные сени, где множество дам ожидали своих экипажей. Случайно пришлось ему стоять подле Прыжкова. Владимир нечаянно взглянул на него и, к крайнему удивлению, заметил, что франт наш тихонько вынул из кармана небольшой ручной шприц, которым принялся обрызгивать платье находившейся перед ним почтенной старушки, своей бабушки. Неожиданное это явление взорвало Блистовского так, что он сам себя не помнил: с быстротою ястреба, стремящегося на свою добычу, он бросился на Прыжкова, который при виде угрожающей ему опасности тщетно старался скрыться в толпе. Блистовский так крепко схватил его за руку, что не допустил выронить из оной шприц, и, несмотря на все сопротивления, держал его до тех пор, пока подоспел полицмейстер. Прыжкова взяли под стражу, не слушая его пустых извинений и уверений. Всё пришло в смятение. Когда стали его выводить, отчаянный франт, видя, что нет никакой возможности избежать заслуженного наказания, с яростию обратился к Блистовскому.

— Я, сударь, найду вас после и непременно с вами рассчитаюсь! — сказал он, скрежеща зубами.

— Хорошо! — отвечал хладнокровно Блистовский, — меня найти нетрудно.

Прыжкова повели под караулом, и гости разъехались, благодаря Блистовского за то, что он избавил их от такого человека. Одна бедная старушка, бабушка, не разделяла общего довольствия: она так поражена была неожиданным поступком своего внука и наследника, что долго не могла опомниться. Ее посадили в карету и увезли домой, где она тотчас слегла в постель и сильно занемогла.

На другой день Блистовский, помня вызов Прыжкова, счел обязанностию справиться о нем, чтоб узнать, что с ним сделалось. Его уведомили, что Прыжков содержится под строгим арестом, от которого, вероятно, нескоро освободится. Итак, Блистовский, видя, что делать тут нечего, решился уехать; но пред отъездом хотел еще распроститься с семейством Дюндика. Отправившись к нему, он дорогою встретился с одним знакомым, от которого узнал случайно, что Прыжков родной племянник и любимец Марфы Петровны! Известие это привело его в крайнее недоумение. Услышав притом, что почтенная Марфа Петровна так на него разгневана за поимку своего племянника, что и говорить о нем не может, не выходя из себя, Блистовский при таких обстоятельствах почел правилом благоразумия уехать не простившись.

Оставляя Ромны, он долго размышлял о странном сцеплении обстоятельств, которые против воли привели его в столь неприятные сношения с семейством Дюндика. Одна мысль его утешала: «По крайней мере, — думал он, — мне упрекать себя не в чем. Дюндиковых же я, вероятно, никогда более не увижу, а может быть, не доведется мне и слышать об них!» Но вскоре потом один неожиданный случай опять напомнил ему о Климе Сидоровиче.

В Черниговской губернии за несколько верст до станции Ф**, куда он ехал, сломалась его повозка. Блистовский, поручив человеку своему вместе с ямщиком изыскивать средства, каким образом удобнее доставить ее на станцию для починки, сам отправился туда пешком. День был необыкновенно жаркий, и, несмотря на наступающие уже сумерки, воздух был тяжел и душен. Блистовский скоро устал от глубокого песка, по которому шел, и, увидев в правой стороне тропинку, ведущую в сосновый лес, решился идти по ней, надеясь, что она выведет его опять на столбовую дорогу. Таким образом прошел он некоторое расстояние лесом, как вдруг показалось ему, что он сбился с дороги. Он остановился, прислушиваясь к звону колокольчика, привязанного к его лошадям, но повсюду царствовало глубокое молчание. Воротиться считал он поте-

рею времени; к тому же тропинка, по которой он шел, неоднократно разделялась на несколько других, ведущих в разные стороны, и он сомневался, чтоб мог найти настоящую дорогу при беспрестанно умножающейся темноте. В таком недоумении он решился идти далее, полагая, что наконец выйдет из лесу к какому-нибудь селению, где можно будет взять провожатого до станции. Но вечереющий день минуту от минуты становился темнее, лес гуще, а по мере того ослабевала и надежда Блистовского. Увидев наконец, что и тропинка делалась теснее и непроходимее, так что он беспрерывно ударялся лбом об ветви или спотыкался о корни дерев, он начал кричать изо всей силы в надежде, что услышит его какой-нибудь лесничий или запоздалый дровосек; но одно эхо ему отвечало. Утомившись наконец от бесполезного крика, он пошел далее, подвигаясь вперед с величайшею осторожностию, чтоб не выколоть глаз острыми сучьями, на каждом шагу ему встречавшимися. Таким образом прошло еще около получаса; между тем наступила совершенная ночь, и Владимир уже шел ощупью, зажмурясь притом для охранения глаз, которые в темноте для него были бесполезны. Но лес всё не редел, и Владимир опять остановился, чтоб посоветоваться с самим собою. Можно легко представить себе, как он был доволен, когда, открыв глаза, увидел мелькающий вдали, сквозь чащу леса, огонек! Не медля нимало, направил он туда стопы свои, но это было дело нелегкое! В густоте и мраке леса он потерял даже ту тесную тропинку, по которой шел дотоле. Хворост хрустел под его ногами, удары от нависших сучьев учащались; иногда он сталкивался с огромными пнями больших дерев, которых никоим образом не мог различить в темноте. Наконец до слуха его достиг звук голоса человеческого, и в то же время запах горящих дров возвестил ему их близость, хотя самый огонь скрыт был чащею. Блистовский сделал еще несколько шагов и невольно остановился, когда начал различать голоса нескольких людей, разговаривавших между собою. Хотя он никак не думал, чтобы в этом лесу угрожала ему какая-либо опасность, полагая, наверное, что замеченный им огонь разложен лесничими или, может быть, майданщиками,[53] но при всем том он начал прислушиваться к их разговору.

— Дшарро́, дшарро́! — раздался суровый и охриплый голос, признанный Владимиром за голос старухи.

— Дшарро́! слышишь ли?

— Он спит, матушка! — сказал другой женский голос, приятнее и моложе первого. — Дшарро́! тебя кличет ма́мо!

— Что это! и выспаться не дадут! — отвечал наконец плаксивый голос молодого мужчины, — ну что опять случилось?

Старуха. Встань-ка! да поди посмотри, что тут около нас шевелится, словно ведмедь! Так и трещит лес!

Мужчина. Вот тебе на! Пойду я туда, если это ведмедь!

Старуха. Дурак! ведь знаешь, что ведмедей здесь нет! Посмотри, не подкрался ли кто?

Мужчина. Не ведмедь, так, может быть, еще хуже ведмеда! Ну кто, кроме лешего, об эту пору будет подкрадываться!

Молодая женщина. Ты, верно, боишься, чтоб тебе не явился покойный Васька, о котором ты вчера так плакал!

Мужчина. Бояться не боюсь, а жаль мне бедной бороды; он такой был добрый! Ну как у отца на него рука поднялась? Я его прошу да упрашиваю, а он ему пыр ножом в грудь! С одного удара так и свалился с ног!

Старуха. Ты знаешь, что нужны были деньги.

Мужчина. Ну да много ли он взял? Три полтины-то всего! Стоило ли того, чтоб зарезать Ваську?[54]

Старуха. Ведь думали взять больше! Да полно тараторить. Встань да посмотри! А вот идет и Дод!

Раздался лай собаки с противной стороны леса, и Владимир стал сожалеть, что не успел удалиться прежде. Разговор этот казался ему довольно ясным; он не имел при себе никакого оружия, и потому не оставалось для него иного средства к спасению, как попытаться уйти, пока не подоспеют другие. Он тихонько нагнулся и, пошарив руками по земле, нашел толстый сук, который и поднял для защищения себя в случае нужды. Потом со всевозможною осторожностию начал удаляться; но лишь только опять затрещал под его ногами хворост, как толстый голос отозвался в его ушах: «Арапка́! Орелка! лови, лови!» — и в одно мгновение бросились на него две собаки, которые, судя по их лаю, были необыкновенной величины.

Блистовский был в самом затруднительном положении. Темнота в густом лесе около него столь была велика, что он решительно не мог различить ни одного предмета, хотя бы оный находился совершенно подле него.

Он подвергался опасности быть разорванным собаками, между тем как не имел никакой возможности защититься ни от них, ни от разбойников, которых нападения ожидал ежеминутно. К счастию, собаки не так были злы, как казалось судя по грозному их лаю, и Блистовский, размахивая около себя суком, вскоре одержал победу; одна из них, которую случайно он задел, с большим визгом бросилась назад. Блистовский опять покусился идти: но лишь только сделал несколько шагов, как вдруг трескучий огонь зажженных смоляных лучин блеснул ему в глаза.

Внезапный переход от самой глубокой темноты к яркому свету такое имел действие на его зрение, что он не мог ничего разглядеть, и не успел он еще опомниться, как почувствовал себя схваченным сзади сильными руками, которые, держа его крепко, как будто в клещах, потащили сквозь чащу и вывели на небольшую площадку.

Владимиру представилось тут явление, совсем для него необыкновенное. Под дубом огромной толщины, которого кривые и кудрявые ветви при первом взгляде отличались от прямых сосен, его окружавших, раскинут был род шатра, составленного из небольших шестов, верхними концами накрест соединенных и покрытых грубою парусиною. Под нарядною этою палаткою, с одной стороны открытою, сидели, или, лучше сказать, лежали, на свежей скошенной траве две женщины — одна старая, другая молодая, — с длинными черными волосами, в большом беспорядке упадающими на плеча. Одежда их состояла из лоскутьев, и обе прикрыты были изношенными нагольными тулупами. Подле них расставлена была домашняя утварь: небольшой котел и несколько глиняных горшков. Раненная Блистовским собака, не переставая визжать, прижималась к ногам их, между тем как другая сердито глядела на него, оскаля зубы. Прямо перед ними стояла крытая телега, и тощий малорослый вол спокойно отдыхал подле нее от дневных трудов. Вся эта дикая картина освещена была огнем, разложенным между палаткою и телегою.

Прошло несколько секунд, и клещи, схватившие Владимира, всё еще его не выпускали. В отчаянии он оглянулся... но лишь только оборотил голову, как, к крайнему его изумлению, руки, державшие его сзади, внезапно опустились, и противник его, человек страшного вида, с густою всклоченною бородою, пал к его ногам.

— Ваше благородие! — вскричал он. — Извините, не взыщите! Ей-богу, я не знал, что это вы!

В одно мгновение вскочили обе женщины и подошли к нему; в то же время приблизился и молодой человек лет семнадцати, который прежде стоял в тени и потому не был им замечен. Бородач между тем всё еще лежал у ног Блистовского и не переставал просить помилования. Вскоре присоединились к нему все прочие, восклицая в один голос:

— Извините, ваше благородие! Ради Бога, не взыщите!

Блистовский остолбенел от удивления. Неожиданная перемена его положения так его поразила, что он в первую минуту не нашелся, что сказать и что делать. Видя наконец, что все ожидают его решения, он спросил:

— Чего вы от меня хотите? Кто вы таковы? Встань и отвечай! — прибавил он, обратясь к тому, который лежал у его ног.

Незнакомец встал, продолжая кланяться ему в пояс и не говоря ни слова.

— Кто ты таков? — спросил опять Владимир.

— А вы меня не узнаете, ваше благородие? — произнес незнакомец униженно.

Блистовский посмотрел на него внимательнее. Оборванный нагольный тулуп составлял весь его наряд; всклоченные волоса и густая борода почти совсем скрывали лицо; но черты его, сколько можно было разглядеть их, показались ему не совсем незнакомыми, хотя не мог он припомнить, где их видел.

— Кто ты таков? — повторил он еще раз, — я тебя не знаю!

— Цыганский атаман, которого вы видели на ярмонке, ваше благородие!

Лишь только он выговорил сии слова, как Блистовский тотчас узнал в нем того цыгана, который на ярмонке так настоятельно уговаривал его купить вороных лошадей; а потом, как сказывал продавец, сам купил их для какого-то пана. Но, несмотря на то что узнал он в нем знакомого человека, встреча эта нимало его не успокоила, ибо разговор, подслушанный им прежде, не выходил у него из ума. Тут, однако, не место было с ним объясняться.

— Теперь помню! — сказал Блистовский. — Да что ты здесь делаешь?

— А еду с жинкою и дитками на другую ярмонку, ваше благородие! Да дорогою заехать надобно к управителю, чтоб заплатить оброк. Извините, ваше благородие! Ей-богу, не узнал вас! Я думал, что это какой-нибудь беглый солдат, который хочет украсть нашего волика!

Блистовский не очень доверял словам атамана; но, видя, что ему никакого нет средства без помощи его выпутаться из затруднительного положения, в котором находится, он принял намерение скрывать свою недоверчивость.

— Далеко ли до большой дороги? — спросил он так хладнокровно, как будто ничего не опасался.

— Версты две с небольшим...

— А там до станции сколько?

— Да еще будет версты три.

— Можешь ли ты меня туда проводить?

— С большим удовольствием, ваше благородие! Да как вы сюда зашли?

— Я заблудился... Но пойдем, пожалуйста, скорее, мне нельзя терять времени.

— Тотчас, ваше благородие!

Атаман сказал несколько слов семейству своему на цыганском языке и отправился в путь. Женщины и молодой цыган, прощаясь с Блистовским, низко кланялись и просили опять, чтоб он не взыскал за то, что его не узнали.

Блистовский несколько времени шел рядом с атаманом и хотя был не боязлив, но не мог воздержаться от мысли: не ведет ли его цыган в такое место, где можно удобнее его ограбить? Рассказ о зарезанном Ваське всё представлялся его воображению, и он от времени до времени крепче сжимал в руке толстый сук, поднятый им в лесу, как единственное орудие, которым, в случае нужды, он мог бы защитить жизнь свою. Но, углубившись далее в лес, он поневоле начал сомневаться в злых умыслах своего спутника, ибо, когда взошли они на тесную тропинку, где два человека с трудом могли идти рядом, цыган, обратясь к Блистовскому, сказал:

— Позвольте мне идти вперед, ваше благородие! Да держитесь за кушак мой, вам будет ловче.

Владимир охотно принял это предложение, обеспечивавшее его от всякого внезапного нападения, и таким образом продолжали они путь до самой столбовой дороги. Он почти уверен был, что цыган поспешит назад, как скоро они выберутся из лесу; но и тут он ошибся в своих предположениях. Вышед из гущи, атаман указал на мелькающий вдали огонь и сказал:

— Вот там станция, ваше благородие! Прикажете ли проводить вас туда?

— Проводи! — отвечал Блистовский, и цыган опять пустился в путь с явною охотою.

Дорогой Владимир размышлял о странной противоположности между поведением атамана относительно его и злодеянием, учиненным накануне. Ему даже приходило на мысль, что он, может быть, недослышал речей цыганского семейства или их не хорошо понял; но сколько он о том ни раздумывал, все размышления его оканчивались тем, что подслушанный им разговор прямо относился к зарезанному человеку. Итак, он решился задержать атамана по прибытии в деревню, а между тем вздумал допросить его сам предварительно; ибо при всем том доверенность и спокойствие, с коими атаман его провожал, невольно поколебали его подозрение. Когда уже вошли они в деревню, Блистовский, обратясь к нему, вдруг сказал ему суровым голосом:

— Цыган! я знаю, что ты вчера зарезал Ваську!

Атаман остановился, взглянул на него с удивлением и потом, продолжая идти далее, отвечал, потупив взор:

— Правда, ваше благородие! Да кто вам сказал это?

— Как! — вскричал Блистовский, — ты в том не запираешься!

— Да в чем тут запираться? Мне и самому жаль было, да делать нечего! Надобно было заплатить оброк: управитель наш такой строгий! Бедный Васька! Если б я знал наперед, что мне так мало дадут за его шкуру, так быть бы ему и теперь еще в живых!

Владимир тут только догадался, что зарезанный Васька должен быть не кто иной, как козел, и он внутренне устыдился своего подозрения. Не желая, однако, выказать свою ошибку, он продолжал разговор:

— Да зачем же ты не продал его живого?

— А вот видите, ваше благородие! Я водил Ваську на базар, да никто его не покупал, потому что он был стар. Он жил у нас лет пятнадцать! Почти ровесник сыну моему, которого вы видели в лесу, ваше благородие! Он же ему и тезка был: ведь и сына моего зовут Ваською! Да, правда, и меня зовут Васильем...

— Как же мне послышалось, что сына твоего не так называли? Кажется, Ша́ро или Жа́ро...

— Дшарро́, ваше благородие! Это по-нашему значит сын или сынок. Так вот, видите ли: я привел Ваську назад; жаль мне его было, да нечего делать! Мы и рассудили, что лучше его зарезать: шкуру продать особо, а мясо-то нам самим пригодилось бы! У меня так сердце и защемило, когда я взял в руки нож, а Дшарро́ мой зарюмил хуже ребенка! Ведь, почитай, взросли вместе, ваше благородие! Ну, дело сделано, поправить его нельзя! Шкуру я продал, а до мяса никто из нас и дотронуться не хотел! Мы зарыли его в лесу, чтоб не съели волки, а Васька мой и теперь о нем еще плачет. Правду сказать, ваше благородие, он и не похож на настоящего цыгана: как пожил несколько годов на панском дворе форейтором,[55] так совсем изнежился и ни на что не годится! Мне, правда, больно не хотелось его туда отдавать, да ведь не наша воля, воля панская!

— А чьи вы? — спросил Блистовский.

— Дюндика, ваше благородие, Клима Сидоровича, — вот того пана, с которым я видел вас на ярмонке...

— Скажи пожалуй, — прервал его Владимир, — для кого ты купил вороных лошадей, которых я торговал?

— Да для него же, ваше благородие, для Клима Сидоровича. Гнедые-то лошади тоже ведь его были; кони старые, разбитые, мне никак не удалось их продать! А вороные-то ему тотчас понравились: только что их увидел и мигнул мне, — а я ведь его понимаю! Мне, слава Богу, такие дела не впервые! Ну, этот раз грешно на него жаловаться! За то, что я купил ему лошадей дешево, он отпустил моего Ваську: уж я давно

его о том просил... да куды! бывало, и приступу нет! Барин строгий! азартный! Не дай Бог, например, не заплатить оброка в положенный срок! беда, ваше благородие!

Между разговорами этими они дошли до станции, и Блистовский, желая чем-нибудь загладить неосновательное подозрение свое на цыгана Василья, подарил ему, при прощанье, двадцатипятирублевую ассигнацию.

Атаман долго не мог опомниться от радости.

— Дай Бог вам счастья, ваше благородие! — воскликнул он. — Вечно рад служить вам, что хотите прикажите, всё исполню! Ах, зачем Бог не привел вас вчерась, ваше благородие! Мой бедный Васька теперь был бы еще жив!

Глава XI

ПРИМИРЕНИЕ

Рассказав читателям о сношениях, существовавших за год перед тем между Владимиром и опекуном Анюты, возвратимся к жениху нашему, скачущему в перекладной телеге по большой Полтавской дороге.

В продолжение сего путешествия Владимир неоднократно приводил себе на память все обстоятельства знакомства своего с Дюндиком, и воспоминания эти немало его беспокоили: мог ли он ожидать себе ласкового приема от опекуна? Он разрушил приятное заблуждение всего семейства относительно познаний барышень и потом публично изобличил шалуна племянника: это были такие преступления в глазах Марфы Петровны, что Блистовский никак не мог надеяться на ее снисходительность, а тем менее ожидать совершенного прощения и хорошего приема. И потому он готовился к неприятностям всякого рода; воображение его представляло ему живо сверкающие от гнева глаза Марфы Петровны, сердитые взгляды барышень и лживую улыбку Клима Сидоровича. При всем том он не терял надежды преодолеть все затруднения. Имея слово Анюты и согласие тетушки, он не предполагал, чтобы власть Клима Сидоровича как опекуна могла воспрепятствовать его браку, — и однако ж, несмотря на то, он с некоторым содроганием помышлял о неприятностях, его ожидавших. Но что значили все эти неприятности в сравнении с тем блаженством, которого он достигнуть надеялся! «Каков бы ни был прием Дюндиковых, сколь бы ни была велика их ненависть, — думал он в утешение себе, — но ведь всё это должно же кончиться согласием

опекуна. Какое право имеет он противиться браку нашему без важных причин? А таких причин, слава Богу, нет вовсе, да и быть не может».

Таковы были размышления Владимира, когда въехал он в селение, где имел жительство Клим Сидорович. Он остановился на станции и, приказав не откладывать телеги, спешил переодеться, чтоб явиться к дамам в приличном виде. Тогда был час седьмой вечера, и Марфа Петровна, откушав чай, стояла с дочерьми на крыльце и ожидала Клима Сидоровича, чтобы вместе идти прогуляться по деревне. Еще издали увидели они телегу и, по направлению ее, заключили, что она едет к ним на двор. Взоры их устремились в ту сторону с любопытством.

— Это должен быть секретарь поветового суда или комиссар, — сказала Марфа Петровна.

— Нет, матушка, — заметила Софья, — на нем ведь военная шинель.

— А будто ты не знаешь, что они все любят наряжаться по-военному.

— Матушка! — вскричала вдруг Вера Климовна, — это, кажется, Блистовский!

— Вот тебе на! — подхватила Марфа Петровна с язвительною усмешкою, — уж пора бы тебе забыть о нем! Ну зачем его принесет сюда нелегкая?

— Матушка! это точно Блистовский! ей-богу, Блистовский! Я узнала его усы и бакенбарты! Матушка! может быть, он приехал за мно...

— Молчи! что за дурь тебе в голову лезет...

Марфа Петровна не могла продолжать речь свою, ибо в это время телега взъехала на двор, и все, к крайнему удивлению, увидели, что Вера не ошиблась в своей догадке.

Когда Блистовский соскочил с телеги и взошел на крыльцо, Марфа Петровна еще не опомнилась от своего удивления и не придумала, как принять неожиданного гостя. Она стояла как вкопанная, вытаращив глаза, с полуоткрытым ртом. Ей хотелось что-то сказать, но язык не поворачивался. Сердце ее кипело злобою против Блистовского, и в другое время она бы знала, как его встретить; но немногие слова, сказанные Верою о причине его приезда, подействовали на нее, как электрический удар, и она онемела от недоумения.

Владимир между тем, сняв фуражку, подошел к ручке, спросил о здоровье и осведомился о Климе Сидоровиче.

— Он тотчас будет, — сказала Марфа Петровна, пришед наконец в себя. — Софья! посмотри, что делает отец! Не угодно ли пожаловать в комнату, Владимир Александрович?

Софья Климовна хотела идти за отцом; но Вера ее предупредила. При виде Блистовского она раскраснелась и сердце в ней забилось так сильно, что смущение ее очевидно было для каждого. С одной стороны, ей очень хотелось остаться тут; с другой, надобно же было приуготовить батюшку, чтоб он приласкал приезжего.

В продолжение того времени, как Блистовский входил в комнату, Марфа Петровна успела совершенно опомниться и приняла веселый вид. Сколь она ни была разгневана на гостя своего, но мысль, внушенная ей восклицанием Веры, казалась довольно основательною и заслуживала всякое внимание. И в самом деле, зачем было приезжать к ним Блистовскому, если б не имел он видов на Веру?

Лишь только они уселись на софе, как вошел и Клим Сидорович. Вера не только успела уведомить его, что приехал Блистовский, но и сообщила ему наскоро свои догадки насчет этого приезда; а Дюндик, как человек сметливый, сам дополнил то, чего она не досказала. Бросив при входе беглый взгляд на жену свою и увидев из ее лица, что гнев ее смягчился, он обыкновенную улыбку свою настроил, сколько можно, еще ласковее и подошел к Блистовскому с распростертыми объятиями!

— Какая неожиданная радость! — вскричал он. — Недаром у меня сегодня целое утро чесался нос! Я тотчас сказал, что будет к нам дорогой гость! Ну, добро пожаловать, Владимир Александрович! А мы думали, что вы нас совсем забыли. Легко ли! целый год мы не видались.

— У меня есть до вас дело, Клим Сидорович!

— Дело? Очень рад! ха-ха-ха! Очень рад иметь с вами дело. А чем могу служить вам, если смею спросить?

— Мне хотелось бы поговорить с вами наедине.

— Ба! да, видно, у вас секреты!..

— Нет, не секреты. Если вам угодно, я сейчас же вам объясню всё...

Сколь ни было неприятно Блистовскому говорить при Марфе Петровне и барышнях, но он на то решился, чтоб скорее избавиться от мучительного положения, в котором он находился. Клим Сидорович, однако, не допустил его до того. Он не имел никакого сомнения насчет дела, о котором хотел с ним говорить Владимир: мог ли разговор его касаться чего-нибудь другого, кроме Веры? Но что ему отвечать в таком случае? Не успев переговорить наперед с своею супругою и не спросив ее приказаний, он не смел допустить Блистовского до объяснений и потому, опять громко захохотав, сказал:

— Знаете ли что, Владимир Александрович? О делах говорить надобно, уже отдохнувши от дороги. Ведь вы у нас переночуете?

Блистовский поклонился.

— Ну так о деле-то мы можем поговорить и завтра. Я прикажу внести в дом все вещи ваши из коляски.

— Владимир Александрович приехал в телеге, батюшка, — сказала Вера Климовна.

— В телеге? ха-ха-ха! Ну так велю вынесть всё из телеги.

Клим Сидорович вышел в переднюю, и в скором времени чемодан, оставленный Блистовским на станции, перенесен был в дом. «Уж видно, что влюблен по уши! — подумал Клим Сидорович. — Дожидался целый год, да, знать, пришлось ему невтерпеж! А то кто бы ему велел скакать на перекладных!»

Между тем Марфа Петровна продолжала разговаривать с Владимиром. Почтительный его вид и учтивости, которые считал он себя обязанным говорить жене опекуна Анюты, более и более утверждали ее в мнении, что он приехал свататься на Вере, и она ежеминутно становилась ласковее. Гнев ее на Блистовского за французский язык и за племянника казался ослабевающим и по крайней мере на время уступал место предположениям и расчетам, относившимся до предстоявшего сватовства. Что касается до Веры, то все неприятные воспоминания прошлого года исчезли при первом взгляде на Блистовского; и Софья также умилостивилась, видя, что все другие забыли прошедшее.

Владимиру, не подозревавшему и в прошлом году непременного намерения Дюндиковых выдать за него дочь свою, теперь тем менее приходило в голову, чтобы приезд его приписывали любви к Вере. Он еще не имел случая заметить, что в иных домах каждый взгляд, брошенный на молодую девушку, считают признаком любви, — каждое учтивое слово, ей сказанное, принимают за любовное объяснение, за которым ожидают немедленно сватовства. По этим правилам, которых придерживались и Дюндиковы, не могло быть для них никакого сомнения в намерениях Блистовского. Что он в прошлом году был влюблен в Веру, это уже они считали совершенно доказанным. Что он уехал из Ромен не простившись, это также было очень натурально: он стыдился показаться им на глаза после того, что сделал с Прыжковым. Что потом целый год о нем не было никакого слуху, — ну... это, вероятно, происходило оттого, что он старался превозмочь свою страсть. А что он не в силах был ее превозмочь, тому служил явным доказательством теперешний его приезд на перекладных и желание объясниться с Климом Сидоровичем наедине! И как он был учтив, как был ласков! На лице его и во всех приемах изображалась какая-то боязливость, какое-то уныние... «Бедненькой! — думала Вера, — как бы он развеселился, когда бы знал, что я знаю!»

Владимир между тем занят был одною мыслию об Анюте. Видя неожиданно ласковый прием Дюндиковых, он благодарил судьбу за то, что ошибся в своих предположениях насчет их, и самого себя винил, что судил о них так несправедливо. «Вот как легко ошибиться можно в людях! — думал он. — Марфа Петровна совсем не такова, какою я считал ее. Она посердилась на меня за французский язык и за племянника: это и неудивительно! Что касается до Клима Сидоровича, то двуличный поступок его относительно покупки лошадей на ярмонке, конечно, не очень благороден, да, впрочем, Бог с ним! я охотно простил бы ему и не то».

Таким образом в этот вечер все были довольны друг другом, и когда после ужина расстались, каждый оставался в надежде, что завтрашняя развязка удовлетворит ожиданию всех.

Клим Сидорович сам проводил Владимира в назначенный ему флигель и, удостоверившись лично, что всё в надлежащем порядке, возвратился к Марфе Петровне, ожидавшей его с нетерпением вместе с барышнями.

— Ну, — сказал он, войдя к ним в комнату, — слава Богу! уложил его спать, всё в порядке! Прекрасный молодой человек этот Блистовский!

— Да приказали ль вы, чтоб стукач не ходил у него под окошками эту ночь? — сказала Марфа Петровна. — Спросили ль вы, что он кушает по утрам: чай или кофе?

— Да надобно бы приказать, батюшка, — подхватила Вера, — чтоб Султана привязали где-нибудь подалее. Он так громко лает, а Блистовский, я чай, устал от дороги. Шутка ли, — продолжала она с довольным видом, — скакать на перекладных!

— Всё сделано, всё приказано! — отвечал Дюндик. — Ну, — прибавил он, обратясь к жене своей, — не говорил ли я вам, что Вере нашей быть за Блистовским?

— Как же! Уж ты всегда всё наперед знаешь, мой батюшка! Только и свету, что в твои окошки. Я и сама знала, что этим когда-нибудь да кончится.

— А вы ж говорили, что никогда этому не бывать!

— Хорошо, хорошо! Мало ли что говорят на свете! Да теперь дело не в том, а мне вот что пришло в голову: ведь они с Прыжковым-то не очень ладят. Счастье, что поехал он в хутор на охоту, а то если б они здесь вдруг столкнулись, так быть бы беде! Когда он хотел воротиться, Вера?

— Да завтра ввечеру, матушка.

— Ну вот, видишь ли? А Блистовский теперь, верно, долго у нас проживет. Как бы это сделать?

— Правда! — сказал Клим Сидорович, — об этом надобно подумать.

— Вот то-то и есть! Кабы не я, так никому бы и в голову это не пришло!

— Что ж нам делать? — заметила испуганная Вера.

— А вот что, Клим Сидорович. Напишите-ка вы к Прыжкову, что я его прошу, чтоб он сюда не приезжал ни под каким видом до тех пор, пока ему не дадут знать. Да напишите, что Блистовский приехал свататься на Вере, что дело почти уже слажено! Слышите ли? Ведь он не дурак: поймет, что это не шутка.

— Тотчас напишу, Марфа Петровна!

— Позвольте лучше написать мне! — подхватила Вера.

— Вот это и того лучше! Напиши же ты: ты умнее отца. Да прикажи, чтоб поехал кто-нибудь верхом да чтоб отыскали его непременно. Если нет на хуторе, так, может быть, у кого-нибудь в соседстве. Да чтоб его разбудили непременно! Слышишь ли, Вера?

— Слушаю, матушка!

Вера поспешила исполнить приказание матери, а Клим Сидорович с супругою остались разговаривать о завтрашнем дне.

— Послушай! — сказала Марфа Петровна, — ты сам не напоминай ему, что он с тобою говорить хотел, пускай он начнет о том первый.

— Статочное ли дело, матушка, чтоб я ему напомнил! Не бойтесь, он, верно, сам начнет.

— То-то; не надобно ему показывать, что мы этого желаем! Когда он тебя просить будет отдать за него Веру, скажи, что тебе надобно посоветоваться со мною, что сам собою ты ничего решить не можешь, что ты не знаешь еще, согласна ли Вера... Уж сам придумывай, как лучше! Ведь меня с тобою не будет, так смотри же, не проврись!

— Не таковской, матушка!

— То-то. Признаюсь, я все-таки терпеть его не могу! Никогда не прощу ему, что он, прошлого года, так умничал. Ну!.. дай-ка ему только жениться на Вере! Уж я научу ее, как с ним жить! Уж мы примем его в руки!

— Мне кажется, Марфа Петровна, лучше забыть про старое.

— Забыть! — вскричала Марфа Петровна, — да я еще сроду ничего не забывала. Забыть! Вот прекрасно! Что ж! У меня от старости память ослабела, что ли? Господи, помилуй меня грешную! Да кто мне велит забывать?

— Что за польза, — возразил смиренно Клим Сидорович, — если они не будут жить в ладах? Бог с ними! Что нам мешаться в их житье?

— Ах ты!.. — отвечала супруга его, взглянув на него с презрением. — Не тебе бы говорить, не мне бы слушать!.. Уж верно, я лучше тебя знаю, как поступать с мужьями! Что! мы разве не ладно живем друг с другом? а?

— Ладно, матушка! очень ладно! Я только думал...

— Подумай-ка лучше о том, чтоб завтра всё было в порядке!

Нежные супруги легли спать, и вскоре в целом доме водворилась глубокая тишина, хотя не все наслаждались сном. В числе последних был и Блистовский. «Завтра, — думал он, — решится моя участь! Тотчас после объяснения с Климом Сидоровичем поскачу назад в Барвеново и дня через два опять буду с Анютою! дай Бог, чтоб скорее настало утро!..»

Утро почти уже настало, когда он заснул.

Глава XII

НЕУДАЧА

На другой день, лишь только Владимир раскрыл глаза, явился к нему посланный от Клима Сидоровича с поклоном и спросил: угодно ли ему кушать чай у себя или у барыни, которая уже встала. Владимир отвечал, что тотчас будет.

Барышни были в полном наряде, а на лице Марфы Петровны опять играл живой румянец, подобно как прошлого года в Ромнах. Вчера, когда Владимир приехал так нечаянно, Марфа Петровна была бледна, и он, вспомнив эту бледность лица ее, когда уже ложился спать, пенял самому себе, что не изъявил сердечного участия своего насчет ее здоровья. Увидев же ее поутру в полном блеске прошлогодней красоты, он поспешил загладить вчерашнюю свою ошибку.

— Вы вчера не очень были здоровы, сударыня? — сказал он.

— Вчерась? Нет, я, слава Богу, была здорова. Кто вам это сказал?

— Да я это думал потому, что вы так были бледны...

Марфа Петровна бросила на него знакомый ему сердитый взгляд, барышни потупили глаза, а Клим Сидорович закашлял и понюхал табаку. Блистовский тут только догадался, что Марфа Петровна была нарумянена: он тоже немного смешался; но уже поздно было поправить свою недогадливость. Обиженная красавица, приняв вопрос Блистов-

ского за насмешку, не могла скрыть своего негодования и мысленно дала себе слово отплатить ему и за эту обиду, когда он сделается ее зятем. Разговор между ими продолжался самый скучный, несмотря на то что Блистовский всячески старался развеселить всех рассказами о Петербурге и о прочем.

Перед самым концом завтрака послышался звон колокольчика от едущей повозки. Софья подбежала к окошку и в ту же минуту возвратилась с расстроенным видом.

— Это он! — сказала она вполголоса, и Вера, тотчас понявшая, о ком говорит сестра ее, поспешно вскочила со стула и выбежала в сени, чтоб предупредить всякую неприятную встречу.

— Поздравляю, chère cousine! — вскричал Прыжков, увидев ее, — что, дело кончено? Сговор был? Вы видите, что я сам приехал вас поздравить.

— Ради Бога! — отвечала Вера, — разве вы не получили моего письма?!

— Как не получить! За тем-то я и приехал!

— Да ведь мы просили вас не являться до тех пор, пока вам дадут знать! Пожалуйста, поезжайте назад. Кстати ли теперь заводить ссоры!

— Какие ссоры? За сумасшедшего вы меня принимаете, что ли? Зачем я буду ссориться с будущим кузеном?

— Да вы сказывали, что если когда-нибудь с ним встретитесь...

— Ба! мало ли что говорится! Кто старое помянет, тому глаз вон! Да скажите, кончено ли дело?

— Побожитесь прежде, что не будете с ним ссориться!

— Ей-богу, и не думаю о том! Говорите же, можно ли мне будет поздравить его женихом?

— Нет, ради Бога, не поздравляйте! Он еще не сватался формально, а только просил у батюшки позволения поговорить с ним наедине!

В продолжение этого разговора перестали пить чай. Блистовский приблизился к окну и увидел на дворе небольшую открытую коляску, заложенную четверней. Он спросил, кто приехал? — но все уверяли, что не знают.

Немного погодя отворилась дверь и вошел с веселым лицом — Прыжков. Он сначала показал вид, что не замечает гостя, поцеловал у своей тетушки ручку, поздравствовался с прочими и потом, обратясь к Владимиру и как будто только что узнав его, вскричал, подходя к нему с распростертыми руками:

— Ба! да это Владимир Александрович! как рад, что вас вижу! Давно ли изволили приехать в наш край?

Блистовский отступил немного назад, взглянул на него с удивлением и отвечал ему вполголоса:

— Вы, милостивый государь, забыли, что прошлого года сбирались со мною рассчитаться!

— Полноте, полноте, Владимир Александрович. К чему припоминать давно прошедшее! Я вас душевно люблю и почитаю...

— Так же как почтенную бабушку вашу?

— А вы не забыли о покойнице? Теперь ее уж нет на свете! Да полноте сердиться! Кажется, я более вас имел бы на то причин, а не сержусь! Спросите у тетушки, спросите у кузин, с каким уважением я всегда об вас отзывался.

— Это правда! — подхватила Марфа Петровна. — У него сердце такое доброе!

Прыжков всё стоял перед Блистовским с протянутой рукой; а барышни, особливо Вера, смотрели на него так умильно, что Владимир наконец, вспомнив причины, заставлявшие его щадить Дюндиковых, подал руку Прыжкову. Но в самое то время, как будто жалея об этом, он отступил от него и, обратясь к Климу Сидоровичу, напомнил ему, что пора поговорить о деле.

— Сию минуту, почтеннейший! — отвечал Дюндик, — я совершенно к вашим услугам.

Он взял Владимира за руку, и оба отправились в отдаленный покой.

Лишь только они вышли, как Марфа Петровна сказала своему племяннику с видом удивления:

— Ну, мой батюшка! я очень рада, что у вас дело так обошлось, но, признаться, не ожидала этого от тебя!

— Э, тетушка! Обстоятельства всё на свете переменяют! Кстати ли мне было ссориться с вашим зятем!

В самом деле, Прыжков давно уже потерял охоту драться с Владимиром. Во время нахождения его около двух месяцев под арестом жар в нем совсем простыл, и потому когда после ареста он приехал в Петербург, то не только не старался отыскать Блистовского, но боялся с ним встретиться, хотя в душе его всё еще таились злоба и мщение. Спустя несколько времени бабушка его скончалась, вероятно, от последствий сыгранной над нею шутки; а как она не успела перед смертию переменить завещания своего, то он наследовал ее имение, вышел в отставку и поселился в Малороссии, в соседстве Дюндиковых. Поспешность, с которою он выехал из Петербурга, происходила частию от желания его удалиться от местопребывания Блистовского, и даже, когда он жил в своей деревне, его иногда подирал по коже мороз при мысли,

что он может как-нибудь с ним встретиться. Получив письмо от Веры, которым извещали его о приезде Владимира, он случай этот почел самым благоприятным для примирения и вот почему поспешил в дом своей тетки, вместо того чтоб, по желанию ее, остаться на хуторе.

Дюндик между тем привел Блистовского в комнату, назначенную для выслушания его предложения, запер за собою дверь и, посадив его подле себя на кресла, ожидал, потирая руки, что он ему скажет.

— Клим Сидорович! — начал Владимир, — в прошлом году, когда имел я честь познакомиться с вами в Ромнах, я никак не предвидел, что от вас зависеть будет решение моей участи...

— Да, да! — отвечал с довольным видом Дюндик, — этого предвидеть никогда не можно!

— Позвольте мне надеяться, Клим Сидорович, что неудовольствия, которые поневоле я нанес семейству вашему, не оставили никакого невыгодного на мой счет мнения!

— Помилуйте, Владимир Александрович! Божусь вам истинным Богом, что я, с своей стороны, рад сделать всё, что вам угодно, но, между нами будь сказано, моя Марфа Петровна...

— Да мое дело до Марфы Петровны вовсе не касается...

— Ну, этого не говорите! Конечно, я всегда главное лицо, но ведь и она имеет право сказать словечко! Впрочем, — продолжал он, нашептывая ему на ухо, — скажу вам откровенно, только, чур! меня не выдавайте! и Марфа Петровна внутренно согласна!

— Согласна! — вскричал Владимир с удивлением. — Да почему вы знаете, зачем я приехал?

— Ха-ха-ха! Почему я знаю! Ведь мы люди не совсем простые, ха-ха-ха! Даром, что мы не бывали в Петербурге, Владимир Александрович!

— Если так, то позвольте принесть вам чувствительнейшую мою благодарность! Я и сам полагал, что вы не можете иметь никаких причин отказать мне в руке Анны...

— Анны! — прервал его торопливо Клим Сидорович, — вы хотите сказать — Веры?

— Нет, я говорю об Анне Трофимовне...

— Об какой Анне Трофимовне? — вскричал Дюндик, вскочив с кресел.

— Об Анне Трофимовне Орленковой.

— Позвольте... — сказал Клим Сидорович в крайнем замешательстве. — Да как же это... где вы ее видели, где с нею познакомились?

— У тетки ее, Анны Андреевны Лосенковой. Вот от нее письмо к вам.

— Анна Трофимовна Орленкова! Да она разве не в Петербурге?

— Уж несколько месяцев живет она у тетки своей, где и познакомился я с нею.

— О, так позвольте, это дело другое! Я ее опекун, покойный Трофим Алексеевич вверил мне ее на смертном одре. Я должен отвечать за нее Богу...

— Как же вы несколько минут тому назад сами сказали, что согласны?

— Я это сказал? Так у меня совсем другое было на уме! Нет, позвольте мне подумать... я... я теперь никак согласиться не могу!

— Клим Сидорович! — вскричал Блистовский, начиная терять терпение. — Мне кажется, что шутки тут не у места...

— Какие шутки! — отвечал Дюндик, подвигаясь к дверям в явном смущении. — Дело это нешуточное! Мне непременно надобно посоветоваться, подумать...

Выговорив слова сии, он поспешно отворил дверь и с размаху ударил в лоб Марфу Петровну, подслушивавшую их разговор.

— Ах ты проклятый! — закричала Марфа Петровна, отлетев на несколько шагов назад и весьма небрежно упав на пол. Она так сильно ушиблась, что в первые минуты сама не могла подняться на ноги. Дюндик и Блистовский бросились к ней на помощь, но она, в бешенстве от стыда и боли, не хотела их допустить к себе и, толкаясь руками и ногами, продолжала кричать во всё горло. Нарядный чепец ее спал у нее с головы. Длинные черные волосы развевались около нее, как змеи около фурии, и большой красный волдырь на открытом лбу свидетельствовал, что толчок, ею полученный, был не из числа легких.

На крик ее сбежались барышни, Прыжков и слуги, с трудом они ее подняли. Но лишь только почувствовала она, что стоит на ногах, как опять принялась бранить бедного мужа, который с поникшею головою, бледный и остолбенелый, не смел даже ничего сказать в свое извинение.

— Ах ты негодный! — кричала она, всхлипывая и задыхаясь. — Ах ты неуч! Уж говорю я, что придется мне умереть от твоих рук. Эдакой медведь!

— Матушка! — отвечал Клим Сидорович с покорностию, — ведь я не виноват...

— А кто же виноват? Я, что ли? Разве ты не мог отворить двери тихонько? Разве не мог наперед покашлять?

— Я бы охотно покашлял, матушка, да как мне знать, что ты за дверьми? Зачем ты не сказала мне прежде?..

— Вот тебе на! Зачем не сказала прежде! А у тебя самого разве нет догадки? На что тебе Бог дал ум? Да, правда, у тебя никогда его и не бывало!

— Извини, матушка! Ей-богу, не нарочно! Вот Владимир Александрович свидетель...

— Ну уж!.. хорош твой Владимир Александрович! Вера! веди меня в спальню: я сама идти не могу; да скажи отцу, чтоб шел за нами!

Вера Климовна, ни слова не говоря, взяла матушку под руку и отправилась с нею в спальню. За ними поплелся и Клим Сидорович, как приговоренный к смерти. Немного погодя вышел из комнаты Прыжков, а потом пришли позвать к матушке и Софью Климовну. Владимир остался, не зная, что ему начать в таковых обстоятельствах.

Между тем Марфа Петровна, прибыв в спальню, тотчас легла в постель и велела примачивать себе лоб холодным уксусом. Клим Сидорович и Вера не смели прерывать молчания и ожидали, пока позволено им будет говорить. Наконец, когда боль Марфы Петровны поутихла, она обратилась к мужу и сказала сердитым голосом:

— Ну, мой батюшка! Хорош же и Блистовский твой! Что теперь скажешь?

— Матушка! — заметила робко Вера, — да Блистовский, кажется, в этом совсем не виноват!

— Не виноват! Спроси-ка у отца, о чем они с ним разговаривали! Ведь ты, я чай, думаешь, что он сватался на тебе!

— А на ком же, матушка! Неужто на Софье?

— Как бы не так! Еще бы на Софье! А то на глупой этой девчонке — на Орленковой! Смотри пожалуй, ну ей ли иметь такого жениха! Да никогда этому не бывать! Скорее умру, чем допущу до этого! Слышишь ли?

— Слушаю, матушка! — отвечал Клим Сидорович.

— Да какая это Орленкова? — спросила Вера.

— А вот та, которой отец твой навязался в опекуны! Уж я всегда говорила, что от этого знакомства не нажить нам добра!

— Да виноват ли я, матушка...

— Ты никогда ни в чем не виноват! Зачем тебе было отсылать ее в Петербург? Оставил бы ее у тетки, так и вышла бы она замуж за какого-нибудь подьячего! А то послал ее еще в монастырь! Она, я чай, там и по-французски и по-немецки научилась, тогда как твоим дурам и носу нельзя показать в Петербурге! Только я тебе говорю: если ты до-

пустишь ее выйти за Блистовского, так не слыхать тебе от меня доброго словечка! Сохрани тебя Бог, если он на ней женится!

— Да уж как-нибудь да сладим дело! Теперь только не знаю, что мне начать с Блистовским-то?

— Как не знаешь? Ну, скажи ему наотрез, что не отдашь, да и полно! Что с ним церемониться!

— Он этим не успокоится! Ведь не драться же мне с ним! И то уж он так косо на меня взглянул, когда не тотчас я согласился, что я поспешил выйти из комнаты!

Как ни была разгневана Марфа Петровна, но не могла не чувствовать, что нужно выдумать какой-нибудь благовидный предлог, чтоб, на первый случай, выпроводить Владимира из дому. Между обоими супругами началось о том совещание, и никто из них не обращал внимания на Веру Климовну, которая так поражена была сею неожиданною вестию, что принялась горько плакать. В одно мгновение разрушились все воздушные замки, ею с таким удовольствием выстроенные; все картины, увеселявшие ее воображение с вчерашнего вечера, исчезли, как будто от мановения волшебного жезла! Легко себе представить можно, что происходило в ее сердце! Надлежало проститься с мыслью выйти за богатого, любезного гвардейского офицера, проститься с надеждою блистать в Петербурге! И все эти выгоды, всё это будущее благополучие, которым она мысленно себя утешала, надлежало уступить — бог знает кому!

Между тем совещание супругов кончилось положением: объявить Владимиру, что Марфа Петровна занемогла и лежит в постеле, а Клим Сидорович ни на минуту оставить ее не может. Софье Климовне поручили сказать об этом Блистовскому и за тем-то и отозвали ее к матери.

Когда она о том объявила Владимиру, он на первый случай не мог придумать, что ему делать. Он догадывался, что болезнь хозяйки дома служила только предлогом к его удалению, и предвидел, что ему ни к чему не послужит ожидать ее выздоровления. Но, с другой стороны, не хотел он уехать, не получив решительного ответа; итак, он попросил Софью Климовну возвратиться к батюшке и узнать, будет ли ответ на письмо Анны Андреевны. Софья долго не хотела исполнить его просьбы, говоря, что ей запретили беспокоить матушку и прочее; но когда Владимир решительно объявил, что в таком случае он дождется, пока можно будет видеться с Климом Сидоровичем, она наконец согласилась войти в спальню Марфы Петровны и возвратилась оттуда с извинением, что батюшке никак нельзя самому выйти, но что об известном деле он не замедлит писать к Анне Андреевне по почте.

Предвидя, что нельзя дождаться другого ответа, Владимир простился с Софьей Климовной и, приказав чемодан свой отнесть на почтовую станцию, сам пошел вслед за ним и, не медля ни минуты, отправился обратно в Барвеново.

Конец первой части

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава XIII

НЕОЖИДАННОЕ ПОСЕЩЕНИЕ

Возвращаясь к Анюте, Владимир непрестанно думал о том, каким образом уговорить тетушку, чтоб она не ожидала согласия опекуна. Последнее его свидание с Климом Сидоровичем и с его семейством вполне открыло злой и мстительный нрав Марфы Петровны, а вместе и влияние ее на бездушного супруга. Владимир предвидел препятствия, угрожающие его любви, и всю надежду свою полагал на добродушие тетушки, которая, при горячей привязанности к Анюте, не могла ее предать совершенно во власть опекуна, ни в каком отношении не исполняющего обязанностей своего звания.

В сем расположении приехал он в Барвеново. Анюта, Гапочка, тетушка встретили его с радостными восклицаниями: они ожидали его несколькими днями позже. Анюта первая заметила, что он печален, и с нежным участием спросила об его здоровье.

— Э, Галечка! — сказала тетушка. — Ты видишь, что он устал с дороги! Жениху нет времени быть нездоровым! Что ж, Владимир Александрович? Застали ль вы Клима Сидоровича? Я чай, сам обещался приехать на свадьбу?

Владимир с сокрушенным сердцем начал рассказывать всё, случившееся с ним в доме Дюндиковых. Все слушали его со вниманием, и рассказ его прерываем был только восклицаниями недовольной тетушки, для которой такие нравы, какие описывал Блистовский, были совершенно непонятны. Анюте также всё это казалось так ново, так странно, что она не могла произнести ни слова, ожидая, что скажет тетушка.

— Ну, Владимир Александрович! — вскричала Анна Андреевна, когда он кончил свое повествование, — если б не вы это рассказывали,

то я, право бы, не поверила! никак бы не поверила!.. Да что ж он ко мне хочет писать?

— Не знаю, тетушка! Я думаю, что он совсем писать не будет или по крайней мере напишет не скоро. По моему мнению, нам незачем и ожидать его писем. Мы сделали с своей стороны всё, чего долг требовал, а теперь, кажется, можем обойтись и без его согласия.

— Вам, Владимир Александрович, позволено так думать! Ведь вы жених! Но я все-таки другого мнения!

— Да неужто участь Анюты должно подвергнуть пустым капризам опекуна, не имевшего никогда ни малейшего о ней попечения!

— Ведь мы еще не знаем, что он напишет. Дождемся ответа на мое письмо и тогда посмотрим, что нам делать должно!

— Вы увидите, что он совсем отвечать не будет...

— Так мы еще раз к нему напишем!

Тетушка всё оставалась при своем мнении, несмотря на красноречивые убеждения Блистовского, который наконец умолк в надежде при случае возобновить свои домогательства.

Таким образом прошла целая неделя, в продолжение которой Блистовский неоднократно покушался уговорить тетушку, чтоб она решила судьбу его без содействия Дюндика, но старания его были тщетны. Сколь ни желала Анна Андреевна счастия любезной своей Анюте, но при всем том непоколебимо оставалась при своем мнении. Печаль Владимира возрастала еще при мысли, что ему скоро должно будет возвратиться в Петербург по делам службы, и он содрогался, когда воображению его представлялась возможность, что до отъезда его, которого не мог он долее откладывать, не получится никакого решительного ответа от Клима Сидоровича. Сентябрь был на дворе, и Блистовский имел намерение отпроситься в отпуск на несколько месяцев; но для получения сего отпуска ему надлежало, по некоторым обстоятельствам, непременно самому явиться в полк.

Анюта между тем с покорностию исполняла волю доброй тетушки, не понимая нетерпения Блистовского.

— Ты не можешь сомневаться в моей любви, — говорила она ему, — тетушка также согласна на брак наш; итак, о чем ты беспокоишься? Опекун не может оставить письма без ответа: почему же нам его не дожидаться в угодность тетушке? Мне самой кажется, Владимир, что наш долг повиноваться опекуну, назначенному покойным отцом моим!

Пылкий любовник иногда упрекал Анюту в холодности; но когда страстные взоры его встречались с прелестными глазами Анюты, в которых отражалась вся невинность души ее, когда он замечал слезы, воз-

бужденные несправедливым его подозрением, — тогда с раскаянием повергался к ее ногам и просил прощения.

Между тем время проходило, день отъезда его в Петербург быстро приближался, а от Дюндика не было никакого ответа. Тетушка, несмотря на преклонность лет своих, вздумала было сама к нему поехать; но на кого ей оставить детей? На кого покинуть Праскуту, всё еще находящуюся в том же болезненном положении и не имеющую никакого утешения в сердечном сокрушении своем, кроме нежной любви матери? Праскута не завидовала своей счастливой сопернице, и препятствия, встретившиеся со стороны Дюндика, беспокоили ее более, нежели самую Анюту. Она яснее предвидела всё, что угрожало совершению их желаний, и доброе сердце ее о том соболезновало, несмотря на несчастную страсть. Но девическая стыдливость не допускала ее быть откровенною с Анютою и заставляла избегать всяких с нею объяснений. Веселая и беззаботная Гапочка также не внушала ей никакой доверенности; итак, нежная любовь доброй матери была единственным ее утешением в безотрадном положении. Анна Андреевна хотя никогда не говорила с Праскутою о причине ее горести, но нежные ее ласки и безмолвная о ней заботливость явно показывали, что она читала в сердце своей дочери, и Праскута часто целовала руки ее со слезами признательности. Итак, могла ли Анна Андреевна решиться оставить ее одну?

Таким образом настал час разлуки. Накануне отъезда Владимир написал к Климу Сидоровичу письмо, в котором, извещая о кратковременной своей отлучке из Малороссии, убедительно просил его не замедлить ответом своим Анне Андреевне. В письме этом, почтительном, но притом показывающем твердость, он намекал Дюндику, что опекун не имеет права отказать в просимом у него согласии без важных причин, и наконец заметил, что дальнейшую, ни на чем не основанную проволочку в сем деле он сочтет знаком явной к себе неприязни и нестерпимою обидою.

Письмо это он отправил по эстафете и с стесненным сердцем сел в повозку, приготовленную в долгий путь. Все провожали его со слезами.

— Возвратитесь к нам скорее! — кричала ему вслед тетушка. Анюта не могла выговорить ни слова, она долго плакала, и добрая Анна Андреевна принуждена была утешать ее уверениями, что Владимир скоро возвратится и что тогда уже не нужно будет им опять расставаться.

Протекло еще несколько недель; Анюта и тетушка успели уже получить письмо от Владимира из Петербурга, а от Клима Сидоровича всё еще не было никакого известия. Все полагали наверное, что он не пре-

рвет своего молчания, и тетушка уже начинала раздумывать: писать ли к нему еще, или, по совету Блистовского, оставить его в покое и, приняв на себя всю ответственность, благословить их брак. Сердце ее было согласно с сим последним мнением; но она никак не могла на то решиться. Воля умершего отца Анюты казалась ей столь священною, что никакие умствования не в силах были ей противостоять. «Нет, — думала она, — мне непременно должно еще раз написать к Климу Сидоровичу! Если бы покойный братец, Трофим Алексеевич, хотя одним словом упомянул обо мне в завещании, то я имела бы какое-нибудь право решить участь Галечкину. Но он вверил ее одному Дюндику, а мне не предоставил никакой над нею власти. Я имею только право любить ее, как родную мою дочь, — и в этом никто мне не препятствует!»

Тетушке, в простодушии ее, и на ум не приходило винить покойника за то, что он забыл о ней в завещании; ей самой казалось, что богатому и знатному Климу Сидоровичу (таковым она его считала) гораздо приличнее быть опекуном, нежели ей; и до сего времени еще, несмотря на рассказы Владимира, поведение Дюндика представлялось ей более странным и непонятным, нежели предосудительным. В добродетельное сердце ее с трудом могли проникнуть понятия о таких людях, каков был Клим Сидорович.

Итак, тетушка решилась писать к опекуну. Это для нее было дело нелегкое. Долго думала она, как начать и чем кончить, и наконец, составив примерно план письму своему, отыскала лист почтовой бумаги, попросила Анюту очинить перо и, по окончании всех приготовлений, села к письменному столу. Барышни в той же комнате заняты были рукодельем. Вдруг услышали они стук едущего экипажа и побежали к окну. Сама тетушка оставила письмо свое и приблизилась к ним. В это время заворачивала на двор тяжелая четвероместная карета старинного фасона, заложенная десятью крестьянскими измученными лошадьми; шесть запряжены были в ряд, а четыре на вынос с двумя форейторами. На козлах подле крестьянина, служившего ямщиком, сидел лакей в запачканном китайчатом платье, а на запятках были еще два человека в таком же наряде. Карета, несмотря на большое число лошадей, ее тащивших, и на крик и удары кучера и форейторов, подвигалась медленно вперед и наконец остановилась у крыльца тетушкина дома.

— Кто это? — спрашивали друг у друга тетушка и дочери ее с удивлением, ибо из всех знакомых их никому не мог принадлежать этот экипаж.

Между тем все трое слуг соскочили с мест своих и отворили дверцы кареты, из которой, с помощью их, вылез высокий, дородный мужчи-

на в светло-сером нанковом сертуке[56] и изношенном зеленом сафьянном картузе. Большой Владимирский четвертой степени крест висел у него в петлице на длинной ленте. Он взошел по ступеням, поддерживаемый лакеями, остановился на одно мгновение на крыльце, гордым взором окинул весь двор и строение и вошел в дом.

— Кто это? — опять вскричали жители Барвенова и не успели еще дать друг другу ответа, как дверь растворилась и незнакомец вступил к ним в комнату.

— Вы, конечно, Анна Андреевна? — сказал он, обратясь к тетушке с важным видом.

— Точно так! — отвечала она, смешавшись немного. — Позвольте спросить?..

— Неужто вы меня не знаете? — спросил с удивлением незнакомец.

— Лицо ваше мне очень знакомо, но, право, не помню.

— Ха-ха-ха! Я думаю, что знакомо! Я Дюндик. Мы ведь, кажется, сродни, Анна Андреевна!

— Клим Сидорович! — вскричала тетушка, — Клим Сидорович! Ну, никак бы не догадалась!

Анюта, услышав имя опекуна своего, приблизилась шага на два, хотела к нему подойти, но остановилась, как будто удерживаемая каким-то страхом.

— Ну уж, Анна Андреевна! — сказал Дюндик, без церемонии расположась на софе. — Не думал я, что вы меня не узнаете!

— Виновата, мой батюшка! Сколько лет вас не видала. Скорее бы я думала, что сегодня будет преставление света, нежели чтоб вы к нам пожаловали. Да как же состарились, Клим Сидорович!

— Я что-то не замечаю, чтоб очень постарел, — сказал Клим Сидорович, с довольным видом посматривая в зеркало боком и поправляя крест свой.

— Не прогневайтесь, мой батюшка! Ведь мы все не молодеем, а стареем. Такова воля Божия!

— Хорошо, хорошо! Да где же у вас сиротка, что у меня в опеке?

— Вы говорите об Анне Трофимовне? — отвечала тетушка с недовольным видом. — Вот она!

— Подойди же ко мне, душенька! — продолжал Дюндик, подняв величественно голову, — подойди, не бойся!

Анюта попеременно бледнела и краснела: приемы опекуна казались ей столь странными и необыкновенными, что она не могла не чувствовать некоторого содрогания. Не таковым воображала она себе друга покой-

ного отца своего, того человека, которому перед кончиною он вверил участь единственной дочери! Вопреки рассказам Блистовского, сердце ее, приобыкшее чувствовать уважение к священной памяти отца, отказывалось верить словам Владимира, когда он обвинял ее опекуна, и часто она его самого обвиняла в несправедливости. Но теперь, при виде Клима Сидоровича, всё, что говорил Блистовский, вдруг пришло ей на память и показалось вероятным, хотя сама она изъяснить не могла причины сей перемены в своих чувствованиях. Несмотря, однако ж, на то, она, повинуясь приказанию опекуна, встала со стула и подошла к нему.

— Ну, подойди ж ближе! — повторил Дюндик и протянул ей руку. — Будь смелее, миленькая! Чего ты боишься?

Клим Сидорович протянул руку не для ободрения Анюты, а просто для того, чтоб сиротка, его опеке вверенная, поцеловала ее с почтением. Конечно, такая мысль не пришла бы ему на ум, если б был тут Блистовский; но мы увидим, что и все путешествие Дюндика рассчитано было на время отсутствия молодого офицера, которого эстафету он получил как следовало.

Анюта, не подозревая нимало, чтоб опекун ожидал от нее подобного знака уважения, в крайнем смущении стояла перед ним неподвижно, потупив глаза и не говоря ни слова.

Клим Сидорович взглянул на нее так пристально, как только позволяли ему оловянные его глаза. Дерзость молодой девушки, не показывающей ни малейшей охоты облобызать отеческую его руку, чрезвычайно изумила его. Но когда он разглядел ее внимательно, когда увидел, как стояла она перед ним в полном блеске девической красоты, скромно и вместе величественно, то чувство невольного уважения проникло в закоснелую его душу. Он в замешательстве опустил протянутую руку и, повертевшись немного на софе, встал, кряхтя, и подошел к ней со всею учтивостию, к которой он был способен.

— Анна Трофимовна! — сказал он ласково. — Я бы никак вас не узнал! Как вы выросли, как переменились!

Анюта поклонилась, не отвечая ни слова; но тетушка, давно уже смотревшая с нетерпением на гордое обхождение Дюндика, сказала с сердцем:

— Ну, мой батюшка! Мудрено ли, что вы ее не знаете? Прости меня, Господи! Хорош опекун, который лет чрез пятнадцать в первый раз о ней вспомнил! Не прогневайтесь, Клим Сидорович! Я женщина простая: что на сердце, то на языке.

Ни Анюта, ни сестры ее никогда не видали Анны Андреевны в таком гневе; но Клим Сидорович, оказывая пренебрежение к любезной ее

Галечке, нанес тетушке самую чувствительную обиду. Она сама не постигала, откуда взялось у нее столько духу, чтоб говорить так смело с важным опекуном.

Дюндик между тем был в крайнем замешательстве. Важный вид, принятый им на себя, совершенно исчез, и на лице его осталась одна обыкновенная глупая его улыбка. Он поворачивал глаза на все стороны и потирал руки, не зная, что отвечать. Наконец он сказал запинаясь:

— Анна Андреевна!.. я не знаю... право, не знаю... за что вы на меня гневаетесь?

— Да правду сказать, я и сама не знаю, как вы довели меня до того, Клим Сидорович! Я и не помню, когда бы так сердилась! Ну, мы все люди грешные! Ведь и камень, говорят, терпит-терпит, да и треснет, а я женщина слабая, простая! Извините, Клим Сидорович! Чем бы вас попотчевать, не прикажете ли чаю? Гапочка, вели подать самовар! Что нехорошо, то нехорошо! Виновата я, что погорячилась, да и вы не правы, Клим Сидорович, что во всё время не вздумали ни разу справиться об Анюте.

— Я!.. Помилуйте, матушка! Да я почти с каждою почтою писал об ней к полковнику Р**, когда была она в монастыре! Легко ли, сколько в эти годы я денег переплатил на почту? Что письмо, то рубль из кармана, а иногда и с лишком! Спросите-ка у полковника, я чай, надоел ему своими расспросами!

Анюта взглянула на него с удивлением; ей казалось странным, что полковник никогда не упоминал о Климе Сидоровиче; но она не смела сомневаться в словах опекуна. Тетушка покачала головою; ей также не верилось в то, что говорил Дюндик, но уверительный тон его привел ее в недоумение, и она спешила прекратить этот разговор.

— Не угодно ли чего покушать, Клим Сидорович? Я второпях, извините, и забыла у вас спросить. Вы, может быть, сегодня еще не обедали?

— Покорно благодарю, Анна Андреевна! я выпью чаю.

Опекун в продолжение целого вечера старался быть сколько можно любезнее и относительно Анюты истощил весь небольшой свой запас учтивости. Чем более он смотрел на прелестную, благовоспитанную девушку, тем почтительнее он становился, и когда ввечеру они расстались, обхождение его с нею переменилось до такой степени, что он сам не понимал, каким образом с начала знакомства своего мог он говорить ей «ты» и «душенька»! При прощании он не только не осмелился поднесть ей свою руку, но сам подошел к ее руке и самым умильным и ласковым голосом пожелал ей покойной ночи.

Прибыв в отведенную ему комнату, он, против обыкновения своего, долго не мог заснуть. Его беспокоила мысль, что на другой день надобно будет приступить к исполнению поручения Марфы Петровны. В то время, когда супруга его объясняла выдуманный ею план, ему казалось так легко привесть его в действие. А теперь план этот представился ему совсем в ином виде! Он, конечно, и тогда уже ожидал некоторого сопротивления со стороны тетушки; но с нею, думал он, нетрудно будет сладить! Одно посещение такого важного человека, как он, должно было произвесть сильное впечатление на Анну Андреевну. Что ж касается до самой Анюты, то Клим Сидорович и Марфа Петровна вовсе ее не опасались.

— Теперь дурака-то там нет! — говорила она при прощании, разумея под этим названием Блистовского, — так некому с тобою спорить! Когда приедешь в Барвеново, ты долго с ними не рассуждай, а просто объяви, что девчонка должна ехать с тобою! Лосенкова, может быть, просить будет, чтоб ее оставили, да ее слушать нечего. Ведь мы опекуны, а не они; следовательно, девка зависит от нас, а не от нее. С самого приезда ты должен поступать решительно, так они и не посмеют умничать!

— Да не взять ли с собою кого-нибудь из женщин? Ведь, может быть, с нею никого нет?

— Вот тебе на! Экая барыня! А разве она не может ехать одна? Стану я ее баловать! Давно ли она из монастыря? Там у них, не бойся, прислуги-то очень много!

Всё, что тогда говорила мужу Марфа Петровна, казалось ему весьма основательным, и вообще поручение взять Анюту от тетушки представлялось совсем нетрудным; он даже радовался, что не задали ему чего-нибудь помудренее. Конечно, мысль о Блистовском немного его тревожила, но ведь Блистовский уехал в Петербург, а до его возвращения, по плану Марфы Петровны, надлежало быть большим переменам! Вот каковы были размышления опекуна, когда ехал он в Барвеново, а теперь всё явилось ему в другом и неожиданном виде! И Анна Андреевна-то, видно, не совсем такова была, какою он ее считал; что ж касается до Анюты... «Ой-ой-ой! — думал Клим Сидорович, вздыхая и покачивая головою. — И сама Марфа Петровна не так бы о ней заговорила, если бы ее увидела! А у меня теперь и язык не поворотится что-нибудь ей приказать. Ну как мне быть с нею? Охотою-то вряд ли она поедет! Да правду сказать, умно сделает, если останется».

При всем том волосы у него становились дыбом при одной только мысли, как его встретит Марфа Петровна, если он возвратится без

Анюты! Клим Сидорович долго не спал, переваливаясь с бока на бок, наконец благодетельный Морфей сомкнул его вежды. Но и во сне преследовал его гневный образ Марфы Петровны, грозящий ему ладонью и взирающий на него сердитым глазом.

Глава XIV

РАЗЛУКА

Все на другой день давно уже встали, когда Клим Сидорович покоился еще глубоким сном. Размышления о затруднениях, ожидающих его в исполнении данных ему поручений, мешали ему заснуть почти до самого утра, и потому он в этот день проснулся необыкновенно поздно.

Тетушка и Анюта между тем мысленно почти уже примирились с Климом Сидоровичем. Накануне он в продолжение целого вечера так был учтив и ласков и так много рассказывал о доброте своей и о приверженности к памяти покойного майора, что Анюта начала поглядывать на него с участием и не доверяла собственному сердцу своему, не чувствовавшему никакого влечения к опекуну. При Анне Андреевне, знавшей так коротко майора, Дюндик, конечно, не смел слишком распространяться о великих одолжениях, оказанных покойному; но один рассказ о славном его лазарете уже достаточен был для возбуждения в добродушных и доверчивых слушательницах искреннего к нему уважения. Тетушка внутренно раскаивалась в своей запальчивости, и невежливые приемы Дюндика при первой встрече с Анютою теперь показались простодушной Анне Андреевне обыкновенным обращением почтенного и доброго старика. Как жалела она, что на эту пору Блистовский был в отсутствии! Анна Андреевна нимало не сомневалась, что опекун приехал к ним для того единственно, чтоб присутствовать при сговоре Анютином. Дюндик, хотя не объявлял еще причины своего приезда, но зачем бы ему приехать, если б не для того? С каким участием он спрашивал вчера, давно ли уехал Блистовский в Петербург, и как сожалел, что его не застал! Как он пенял на слабость здоровья своего и на домашние хлопоты, препятствовавшие ему поспеть в Барвеново ранее! Обратясь к такому выгодному мнению о Климе Сидоровиче, Анна Андреевна начала немного досадовать на Блистовского. «Ведь прехороший человек наш Владимир Александрович! — говорила она сама себе, — а, правду сказать, довольно опрометчив! Кабы более имел терпения, так верно бы получил согласие опекуна, когда был у него в Будище![57] А то,

и в самом деле, не мог же Клим Сидорович для него бросить свою больную жену. Что за важность, что он не в первую минуту согласился на его предложение: ведь это именно и доказывает, что он заботится о ней более, нежели как мы полагали!»

Таким образом Анна Андреевна, по доброте своей, толковала в хорошую сторону все поступки Дюндика и, считая себя перед ним виновною, вознамерилась загладить вчерашнюю свою запальчивость. В этом расположении встретила она Клима Сидоровича, когда он к ним явился. Опекун между тем успел обдумать хорошенько наставления, данные ему Марфою Петровною: он положил на весы, с одной стороны, опалу, его ожидающую, если он не исполнит ее воли; с другой, неудовольствие тетушки и Анюты, когда он предложит им разлучиться друг с другом. Последствием сих размышлений было, что Дюндик решился не отлагать долее своего объяснения, и потому, посидев немного, поговорив о незначащих предметах, он обратился к Анюте.

— А вы и не подозреваете, Анна Трофимовна! — сказал он, — что я приехал за вами?

— В самом деле? — отвечала она с улыбкою, принимая слова его за шутку.

— Я говорю серьезно! — продолжал Дюндик, — моя Марфа Петровна ожидает вас с нетерпением, и я ей обещался привезть вас с собою непременно...

— Как! зачем? — прервала его тетушка с торопливостию.

— Да надобно же Анне Трофимовне познакомиться с женою моею и детьми! — отвечал Клим Сидорович в большом замешательстве, не смея поднять на нее глаз.

— Так за этим вы приехали! — сказала тетушка с приметным неудовольствием, — а Владимиру Александровичу что мы скажем?

— Да ему что до этого?

— Жениху-то что до этого, Клим Сидорович? Я полагала, что вы приехали с тем, чтоб самим благословить Анюту: жених скоро возвратится из Петербурга, и пора это дело кончить, Клим Сидорович!

— Ну!.. Анна Андреевна!.. Ведь сговору еще не было, а до тех пор и женихом его называть нельзя!

— Как! разве вы имеете причины не соглашаться на его предложение?

— Господи Боже мой! Анна Андреевна! Я только говорю, что приехал просить Анну Трофимовну, чтоб они у нас погостили!

Тетушка закусила себе губы и замолчала, вспомнив, что опять чуть было не рассердилась. Требование Дюндика ее очень огорчило, и опе-

кун, желая увезть от нее любезную Галечку, опять представился ей самым неприятным человеком; но, впрочем, имела ли она право за то сердиться? Не натурально ли было желание опекуна познакомить Анюту с своим семейством? Не умея согласить противоположных чувств, в ней боровшихся, она в замешательстве посматривала на Анюту, как бы приглашая ее, чтоб она сама отвечала Дюндику. Но бедная Анюта в продолжение этих переговоров хранила молчание: какое-то глухое предчувствие представляло ей поездку к Марфе Петровне в самом неприятном виде, и она потупила глаза, ожидая помощи от тетушки. Несколько секунд прошло таким образом, и никто не говорил ни слова.

— Так вы едете со мною? — спросил Дюндик, прервав общее молчание.

Решительный этот вопрос и необходимость отвечать внушили несколько бодрости Анюте: она сказала вполголоса:

— Надобно об этом подумать, Клим Сидорович!

— Да о чем тут думать? Карета у меня просторная, покойная; прикажите уложить в чемодан вещи ваши и платья, да и дело с концом.

— Нет, Клим Сидорович! Позвольте мне подумать и посоветоваться с тетушкою!

— Разве я не опекун ваш? Чего тут советоваться! Анна Андреевна не может помешать вам ехать со мною!

— Вы мой опекун, конечно! — отвечала Анюта твердым голосом, — но позвольте сказать вам откровенно: я знакома с вами только со вчерашнего вечера, а тетушка с малолетства заступила мне родную мать, и я из воли ее никогда не выйду!

— Вот это прекрасно! — проворчал Дюндик с досадою. — Я, кажется, тоже не чужой человек! А как опекун более всякого другого имею право вам советовать! Не Анне Андреевне вы поручены покойным братом, а мне!

Анна Андреевна между тем, огорченная словами опекуна и тронутая привязанностию Анюты, бросилась к ней на шею и начала ее целовать.

— Да, моя Галечка! — вскричала она сквозь слезы, — ты моя дочь! родное мое дитя! Бог свидетель, что я люблю тебя не менее других! Нет, Клим Сидорович! Не мешайте нам любить друг друга!

— Помилуйте, матушка Анна Андреевна! я и не думаю мешать! Я только говорю, что обещался Марфе Петровне непременно привезть с собою Анну Трофимовну.

— С собою! Теперь? Нет, уж этому-то никогда не бывать, Клим Сидорович! Прошу не прогневаться!

— Почему ж не бывать, матушка? Я разве не опекун?

— Опекун как опекун! Пусть так, прости меня, Господи! Да если уж надобно Галечке ехать, так я сама ее привезу.

— Милости просим, Анна Андреевна, милости просим!.. Да что скажет Марфа Петровна, когда не привезу я с собою Анны Трофимовны?

— А что ей угодно будет, то и скажет!

— В том-то и дело, Анна Андреевна, что я наперед знаю, что ей угодно будет. Нет! уж вы отпустите со мною Анну Трофимовну.

Клим Сидорович долго еще уговаривал тетушку; но старания его были тщетны. Не имея достаточных причин отказать ему в просьбе его, тетушка по крайней мере старалась отдалить решительную минуту и потому объявила наотрез, что прежде завтрашнего утра ничего не может обещать утвердительно, хотя заранее его уведомляет, что Анюта теперь не поедет с ним ни в каком случае. Клим Сидорович чувствовал, что не в силах поставить на своем, и поневоле принужден был уступить тетушке. Он весь этот день посвятил на то, чтоб утвердить Анюту в добром о нем мнении, и действительно успел в том рассказами о своих добродетелях и намеками об одолжениях, оказанных покойному майору. К вечеру неопытная Анюта совершенно была уверена, что опекун ее человек самый добрый и благодетельный.

Дюндик, почти не спавший прошлую ночь, рано удалился в свою комнату, и тетушка воспользовалась этим, чтоб поговорить с Анютою о его предложении. Разговор их кончился тем, что Анюте неприлично отказаться от приглашения опекуна.

— Как бы то ни было, — говорила тетушка, — а он твой опекун, Анюта, да еще какой опекун! назначенный покойным отцом твоим, царство ему небесное! Я, признаться, виновата перед ним, что обвиняла его понапрасну! Да и то правда, почему ж мне знать, что он писал о тебе к полковнику каждую почту? А тот ведь никогда ни словечка не говорил о письмах Клима Сидоровича! Но все-таки я виновата: не судите, и сами судимы не будете, говорит святое Евангелие. При всем том, греха таить нечего! а что-то очень мне не хочется, чтоб ты туда ехала!

— И мне очень не хочется, тетушка! Впрочем, ведь мы не надолго туда едем?

— Что там делать долго, Галечка?

Когда на другой день объявили Дюндику, что Анюта отправится в дорогу с Анною Андреевною вскоре после его отъезда, он вздрогнул, несмотря на то что заранее к тому был приготовлен. Он долго чесался за ухом, вздыхал и не говорил ни слова; память его живо представила ему строгие приказания Марфы Петровны непременно привезть с собою Анюту! «Ну что я ей скажу в извинение? — думал он. — Пове-

рит ли она, что никак нельзя было их уговорить? И могу ли я ей признаться, что у меня язык не поворачивается приказывать этой Анюте, которую она называет девчонкою? Ну, Марфа Петровна, сами увидите, какова эта девчонка!»

Всего более беспокоило Клима Сидоровича, что тетушка решилась сопутствовать Анюте; ибо в план Марфы Петровны непременно входило их разлучить. С унылым сердцем уселся он в просторную свою карету и отправился домой с таким точно чувством, с каким провинившийся слуга является к строгому, беспощадному господину.

Анна Андреевна намерена была выехать из Барвенова несколько дней спустя после опекуна и потому, не теряя времени, начала готовиться в дорогу. Сердце ее разрывалось при мысли о Праскуте, которую надлежало оставить одну; но какое-то предчувствие внушало ей, что присутствие ее в доме Дюндика будет полезно для Анюты, и потому она с стесненным сердцем продолжала заниматься приготовлениями к отъезду. Уж день и час были назначены; карета, в которой Анюта приехала из Петербурга, подвезена была к крыльцу, и тетушка, посвящавшая всё свободное время свое больной дочери, по обыкновению отправилась к ней в комнату, с трудом удерживаясь от слез. Она застала Праскуту, лежащую на постели в сильном жару. Легко себе представить можно беспокойство бедной матери! Хотя вскоре удостоверилась она, что положение Праскуты не представляет никакой опасности, но этот случай привел ей на память все печальные мысли, и перед тем уже ее тревожившие. Она всегда думала с сокрушением о необходимости расстаться с несчастною своею дочерью; но теперь, когда при самом отъезде ее Праскута занемогла, Анна Андреевна не в силах была преодолеть своих опасений. Она решилась отложить путешествие до другого времени и поспешила уведомить Клима Сидоровича о встретившемся препятствии. На этот раз опекун не замедлил ответом. Он писал к Анне Андреевне, что всё семейство его ожидает Анюту с нетерпением и что он в непродолжительном времени сам за нею приедет.

Тетушка находилась в большом затруднении. С одной стороны, болезнь Праскуты ее удостоверила, сколь горько ей будет с нею расставаться, с другой, ей никак не хотелось отпустить Анюту одну. Недоумение ее оттого возросло еще, что Анюта, видя беспокойство тетушки, решительно объявила, что не допустит ее оставить Праскуту. Что оставалось Анне Андреевне делать в таком положении? Размышляя, каким бы образом согласить все сии неудобства, она вспомнила о Кларе Кашпаровне, сопутствовавшей племяннице ее из Петербурга. Тетушка полагала, что никто лучше Клары Кашпаровны заменить ее не может, и,

с согласия Анюты, послала к ней приглашение приехать в Барвеново. Услужливая немка явилась немедленно; карету опять подвезли к крыльцу, и день отъезда Анюты опять назначен был решительно. Все уверены были, что отсутствие ее не может никак продолжиться более двух или трех недель, и сколь ни горько им было расставаться, но они друг перед другом старались скрыть свою печаль, взаимно утешая себя тем, что разлука их будет непродолжительна и что время отсутствия Анюты пройдет неприметно.

— Однако ты пиши ко мне чаще, Галечка! — говорила тетушка, и Анюта от всего сердца дала слово, кроме почты, пользоваться всеми случаями, чтоб уведомлять о себе тетушку.

Накануне отъезда, когда Анюта, пожелав тетушке покойной ночи, ушла к себе в комнату и час разлуки казался ей уже почти наступившим, сердце ее невольно трепетало при мысли о предстоявшей ей поездке. Она пеняла самой себе за непростительную свою слабость; но сердце ее не повиновалось внушениям рассудка. Печальные предчувствия наполняли ее душу, хотя она считала их неосновательными и стыдилась своей боязливости. В этом положении прибегла она к единственному и вернейшему убежищу от скорби и печали: с сердечным умилением бросилась она на колени и долго молилась пред образом Спасителя. Молитва ее успокоила: она подошла к кровати, еще раз перекрестилась, еще раз поручила благому промыслу себя, тетушку и... Владимира и думала заснуть спокойно до следующего утра.

Вдруг послышался ей тихий шорох шагов, будто бы приближающихся к дверям ее комнаты. Она остановилась и начала прислушиваться: кто-то тихонько стал поворачивать замком... сердце у Анюты невольно забилось... Она вспомнила, что забыла запереть дверь задвижкою. Невольный крик чуть было не вырвался из ее груди, но дверь тихо отворилась и — вошла Праскута!

Страх Анюты исчез при виде сестры ее; но она удивилась, не зная, чему приписать столь позднее и необыкновенное посещение. С того времени, как Владимир посватался на Анюте, обе сестры избегали случая быть друг с другом наедине. Анюте с самого начала известна была привязанность Праскуты к Блистовскому; она сердечно о ней жалела и еще более ее полюбила, заметив, что бедная страдалица не чувствовала никакой к ней ненависти. Праскута принадлежала к числу тех редких существ, которые никогда не ропщут на искушения, ниспосылаемые им свыше, и, принимая искреннее участие в страданиях ближнего, никогда даже не удивляются собственным своим. Зависть, во всех бесчисленных своих видах и изменениях, совершенно чужда была чистой душе Пра-

скуты: отдавая полную справедливость своей сопернице, она не находила странным предпочтения, оказываемого ей Владимиром, и негодовала только на самую себя за то, что так неосновательно уверила себя в его любви. Она всячески старалась победить страсть свою, и печаль ее более происходила от стыда, что не умела скрыть тайны своего сердца.

Обе сестры несколько времени хранили молчание. Праскута была бледна и стояла неподвижно, потупив глаза и не решаясь начать разговор. Анюта первая опомнилась. Она ласково взяла ее за руку и, обняв ее нежно, посадила подле себя в креслы.

— Сестрица! — сказала наконец Праскута, всё не поднимая глаз, — я пришла к тебе с просьбою. Пожалуйста, не откажи мне в ней!

— С удовольствием, любезная сестрица! — отвечала Анюта, — что тебе угодно?

— Останься здесь! не езди к Дюндиковым!

— Что ты говоришь, Праскута! Да как мне это сделать и зачем?

— Я что-то боюсь этой поездки! Она, мне кажется, не обещает добра!

— Почему ты так думаешь? — вскричала встревоженная Анюта, и без того не чувствуя большой охоты ехать.

— Сама не знаю! Только я на твоем месте ни за что бы не поехала к Климу Сидоровичу!

— Что тебе вздумалось, Праскута! Ведь я еду ненадолго — всего недели на две! О чем тут тревожиться?

— Опасения мои могут тебе казаться смешными, Анюта! Я и сама долго не решалась, говорить ли тебе о них... Опекун твой мне очень не нравится! Он, кажется, такой притворный, неоткровенный!

— Как тебе не стыдно, Праскута! Он такой добрый!

— Нет, Анюта, воля твоя, а ты его берегись! Зачем он дождался отсутствия Владимира Александровича? Откуда у него вдруг взялась такая нежность, что и жить без тебя не может! Воля твоя, у Дюндика намерения недобрые!

— Полно, сестрица, ты меня пугаешь! Подозрение твое ни на чем не основано!

— Анюта! — сказала Праскута, раскрасневшись, — я люблю тебя искренно, люблю... и жениха твоего! От души желаю вам счастия, и потому-то поездка твоя меня беспокоит. Я не в силах преодолеть мысль, что Дюндик не желает вам добра. Одна притворная улыбка его уже доказывает, что он нехороший человек!

— Бедный Клим Сидорович! — отвечала Анюта, — я не понимаю, отчего никто его не любит! И Блистовский тоже дурного о нем мне-

ния! — продолжала она, задумавшись. — Но, впрочем, как бы то ни было, а теперь делать нечего: если не поеду я сама, то он, верно, приедет за мною... Я успею возвратиться к тому времени, когда Владимир будет из Петербурга.

— Твоя поездка, Анюта, у меня как камень на сердце! Сама не могу дать себе отчета в чувствах моих... Если уже тебе надобно ехать непременно, то старайся по крайней мере возвратиться к нам скорее... и... еще прошу тебя об одной милости, любезная, милая Анюта: не сомневайся в искренней моей любви и прости, что в последнее время я казалась холодною...

Праскута бросилась к ней на шею, громко рыдая... Анюта также заплакала. Они нежно обняли друг друга, и союз между сими прекрасными душами заключен был навсегда без дальних объяснений. Они понимали друг друга, хотя недоставало у них ни силы, ни умения выразить свои чувствования словами.

Анюта в этот вечер долго не ложилась спать. Сестра ее давно уже удалилась в свою комнату, а она всё еще сидела у открытого окна, и взоры ее блуждали по темной лазури неба. Невинная душа ее искала совета и утешения там — за неизмеримым пространством, куда не достигает никогда взор человека, но куда долетает душа его на крилах веры, покорная к провидению. Чистая мысль ее самой ей неприметно превратилась в теплую молитву, и вскоре ей показалось, как будто блестящие звезды нашептывают ей утешительные слова, коих сладостный, таинственный смысл понятен был ее сердцу...

Анюта легла в постель совершенно успокоенная, и тихий, сладкий сон, невидимо слетевший с горней высоты, осенил ее легкими своими крилами.

На другой день она отправилась в дорогу, сопровождаемая благословениями тетушки и искренними желаниями всех жителей Барвенова.

Глава XV

Бедная Анюта не понимала настоящего своего положения! В продолжение путешествия от Барвенова до Будища (поместья Дюндиковых) она, хотя была печальна, но утешалась надеждою скорого возвращения к тетушке и притом твердо была уверена, что с этою поездкою непременно должны прекратиться все затруднения, предстоявшие любви ее. Неопытный ум ее не подозревал, что грозные тучи уже начинали собираться над нею; она не доверяла даже печальным предчувствиям, стес-

нившим ее сердце при первом невольном сравнении села Будища с поместьем доброй тетушки.

Какая разница между угрюмым видом будисских жителей и радушною приветливостию, с которою встречали ее в Барвенове, когда приехала она из Петербурга! Теперь никто не бежал за ее каретою; крестьяне, снимая шапки и низко кланяясь, посматривали на нее исподлобья, нахмурив брови; а дети, завидя еще издалека карету, стремглав убегали в дворы свои, стараясь скрыться от нее, как цыплята скрываются при появлении коршуна. Страх их, вероятно, происходил оттого, что карета Анютина похожа была на карету Марфы Петровны, а Марфа Петровна, как небезызвестно читателям, вовсе не имела свойств, могущих внушить крестьянам симпатические к ней чувствования.

— Вот это должен быть панской двор! — сказала Клара Кашпаровна, когда проехали они несколько улиц, и Анюта в задумчивости высунулась из кареты.

Двор Клима Сидоровича был обнесен решетчатым деревянным забором, за которым возвышался довольно пространный дом необыкновенной, хотя, впрочем, весьма не блистательной архитектуры. Дом этот играл важную роль в летописях села Будища: крестьяне, проходя мимо, даже в темное ночное время с почтением снимали перед ним шапки, и самые соседи смотрели на него с некоторым благоговением; ибо он был двухэтажный и притом каменный, что в Малороссии всегда внушает уважение к помещику. Так как постройка его была одним из важнейших подвигов в жизни Дюндика, то я считаю небесполезным рассказать о том подробнее.

Никто, взглянув на жилище Клима Сидоровича, не вообразил бы себе, что первое основание оному положено было уже лет двадцать тому назад. Неокрашенная кровля, неотштукатуренные стены и несколько невставленных окон верхнего жилья казались несомненными признаками недавнего предприятия, и по ним трудно было бы отгадать, что постройка эта затеяна Климом Сидоровичем, когда он был еще женихом Марфы Петровны. Предположение выстроить себе каменный дом и в то время уже было любимым предметом их разговоров, и в этом отношении они совершенно согласны были между собою. Оба уверены были, что каменный дом усугубит уважение, которого и без того считали они себя вправе требовать от соседей, и потому по совершении брака всю деятельность свою обратили на исполнение общего желания. Судя по первым приемам, можно было ожидать, что здание это воздвигнется с необыкновенною скоростию, — но случилось иначе!

Молодые супруги не успели еще опомниться от свадебных пиров и увеселений, как уже отдали строгий приказ о заготовлении нужных для построения материалов. Все жители Будища, от мала до велика, должны были, оставя немедленно другие работы, заняться деланием кирпича; все мужичьи лошади употреблены были для перевозки бревен и досок из дальней лесной дачи. Поля между тем оставались незасеянными, лошади падали десятками, крестьяне украдкою плакали; но в Климе Сидоровиче дрожало сердце от радости при виде кирпича и леса, которые симметрически складывались на двух гумнах, отнятых для сей потребности у поселян.

Вскоре для постройки нового дома приготовлено было всё, что не требовало наличных издержек, и Клим Сидорович уже приказал снесть несколько крестьянских хат, рассчитывая, что большие деревья, их осенявшие, могли бы служить украшением предполагаемого при новом доме сада; одним словом, всё было готово, недоставало только архитектора. Конечно, нетрудно было преодолеть и это препятствие: стоило только выписать архитектора из ближнего города, и Клим Сидорович действительно так был догадлив, что приступил к этому немедленно. Но, увы! требования художника, впрочем довольно умеренные, так далеко превосходили расчеты Дюндика, что он никак не мог ни на что решиться. Сколько ни торговался Клим Сидорович, архитектор не уменьшал объявленной сначала цены, и еще, что всего хуже, когда Марфа Петровна наконец позволила своему супругу согласиться на оную, то упрямый художник, которому наскучили продолжительные переторжки, потребовал деньги вперед. Вот это уже никак не входило в соображение Дюндиковых! Заплатив деньги вперед, они лишались возможности сделать прижимку архитектору по окончании работ; а этот изворот для расчетливого хозяина служит такою важною подмогою, что Клим Сидорович считал непростительным грехом от оного отказаться. К несчастию, другого архитектора в той губернии тогда не было; итак, поневоле надлежало отложить постройку до удобнейшего времени. Таким образом неприметно протекло несколько лет. Между тем родились и подросли Софья и Вера Климовны, а дом всё не строился, материалы в худо накрытых гумнах уже начинали портиться, и бедные крестьяне тяжко вздыхали при мысли, что придется им вновь готовить кирпич и возить лес. Вдруг появление Софроныча озарило всех лучом надежды. Сочинитель книги на французском языке казался Климу Сидоровичу таким необыкновенным гением, что он долго не хотел верить собственному его признанию в совершенном невежестве по части архитектуры и настоятельно требовал, чтоб он выстроил ему дом. Но Софроныч, при всей

отважности своей, боялся за то приняться и потому должен был беспрестанно слушать упреки, а иногда и брань своих меценатов. Чего не претерпел он за то, что в его время не преподавали архитектуры в университетах! «Если б смыслил я в этом деле хоть одну крошку, — часто думал он, — уж я бы им сварганил дом! Но теперь... нет! отвага чересчур была бы велика!»

Наконец судьба сжалилась над бедными крестьянами и над Софронычем. Столяр, немец, живший прежде в губернском городе и там обанкротившийся, проезжая случайно чрез Будище, зашел спросить, нет ли для него работы. Тут узнал он о затруднении Клима Сидоровича и, подстрекаемый страхом голодной смерти, предложил свои услуги, хотя, подобно Софронычу, не имел ни малейшего понятия об архитектуре. Предложение его было принято с радостию, и постройка наконец началась к совершенному удовольствию всех.

Но в доме этом, как того и ожидать должно было, всё носило отпечаток совершенного невежества столяра, который его строил. Нигде не было соблюдено надлежащей пропорции: окна были узкие и слишком высокие, двери низкие и широкие, комнаты темные, стены кривые, лестницы крутые и неудобные. При всем том Клим Сидорович, не замечая сих недостатков, радовался успешному исполнению своих желаний и благословлял судьбу, пославшую ему такого дешевого архитектора. Когда постройка уже приходила к концу, столяр, к удивлению своему, заметил, что одна комната в бельэтаже будет без окошек и без дверей. Делать было нечего; сколько он ни ломал себе голову, но не находил никакой возможности вполне исправить сделанную ошибку: дверь проломать было нетрудно, но свету взять неоткуда! Тут уже и Клим Сидорович стал догадываться, что дело не совсем в порядке; но он скоро утешился, когда Софроныч побожился, что и в Москве бывают дома с недостатками, а Марфа Петровна даже извлекла некоторую пользу из темной комнаты, предназначив ее на то, чтоб запирать туда девок за небольшие проступки, не заслуживающие строжайшего наказания. До сих пор всё шло довольно хорошо, ибо издержки на дом были самые маловажные; но когда пришлось штукатурить стены, расписывать комнаты и красить кровлю, на что требовались непременно наличные деньги, скупость Дюндиковых опять поставила их в затруднительное положение. По долгом совещании они наконец положили: дома не штукатурить, кровли не красить, а вместо живописи оклеить стены бумажными обоями; но чтоб заменить чем-нибудь и сию неизбежную издержку, Марфа Петровна решила отказать столяру, в котором, по мнению ее, не было уже большой надобности. Как решено, так и сделано! Столя-

ра прогнали под ничтожным предлогом, и Клим Сидорович сам заступил его место при помощи Софроныча. Можно легко себе представить, что от этой перемены постройка пошла не лучше; но главная цель была достигнута: они имели двухэтажный каменный дом, которому все соседи удивлялись. Желая как можно скорее насладиться приятностями нового жилища, они поспешили в него переехать, оставя недостроенными несколько комнат верхнего жилья, в которых не предстояло необходимой надобности.

В новом доме одно из любимейших занятий всего семейства Дюндиковых состояло в том, чтоб смотреть из окошек, чему весьма благоприятствовало самое положение дома. Он находился прямо против шинка, и из него видно было всё, что там происходило. Конечно, близкое соседство строгих господ не очень нравилось усердным посетителям шинка; но зато оно имело ту выгоду, что шум и драки редко бывали между последними. Страх неминуемого и скорого наказания обыкновенно превозмогал в них даже силу спиртных паров; а если когда и случалось исключение, то Клим Сидорович лично прекращал возникавшие ссоры самыми действительными мерами. Сама барыня и даже барышни нередко участвовали в этом общеполезном деле; одним словом, близость шинка для всего семейства была неисчерпаемым источником приятного и полезного препровождения времени. Софроныч тоже очень доволен был этим соседством: он любил, чтоб всё, для него необходимое, находилось у него близко под рукою. Но пора обратиться к нашим путешественницам.

Когда карета подъехала к крыльцу, Анюту встретил один из лакеев Дюндика и на вопрос Клары Кашпаровны: «Дома ли паны?» — отвечал: «Не знаю». Анюта очень удивилась такому ответу, ибо, не выходив еще из кареты, она заметила широкое лицо опекуна, выглядывавшее из нижнего этажа, и несколько женских голов, высунувшихся из окон верхнего; но не успела она еще выйти, как уже все скрылись. Путешественницам нашим между тем отворили двери, и они вошли в пространную залу, где оставили их одних.

Долго сидели они в зале, и никто к ним не являлся. Наконец Клара Кашпаровна, потеряв терпение, вышла из залы и с трудом отыскала человека, у которого опять спросила:

— Дома ли хозяева?

На этот раз ей отвечали, что о них уже докладывали и что барыня скоро просить их будет к себе. Еще протекло около четверти часа, в продолжение которых Клара Кашпаровна нетерпеливо прохаживалась по комнате, а Анюта сидела в задумчивости, мечтая о тетушке и о Владимире; наконец пришли повестить, что барыня их ожидает. Они немед-

ленно последовали за посланным, который ввел их в гостиную, где хозяйка дома, сидя величественно на софе, как будто на троне, приветствовала их одним наклонением головы, не вставая с места.

Сухой прием этот привел в замешательство бедную Анюту: сначала она подошла к хозяйке, чтоб поцеловаться, но видя, что Марфа Петровна осталась неподвижною, она с робостью села подле нее, не говоря ни слова. Клара Кашпаровна, подождав немного, чтоб пригласили ее присесть, и смекнув, что ожидания ее будут напрасны, также опустилась на стул немного подалее. Глубокое молчание царствовало в продолжение нескольких секунд; барыня между тем с надменным видом осматривала Анюту с ног до головы, отчего бедная девушка беспрестанно краснела. Наконец Марфа Петровна решилась прервать молчание.

— Зачем вы не приехали сюда с опекуном вашим, Фекла Кузьминишна? — сказала она.

Анюта, приведенная в замешательство еще прежде этого вопроса, не отвечала ни слова, не поняв даже в первую минуту, что он касался до нее.

— Ну! — продолжала Марфа Петровна, — я спрашиваю, зачем вы не приехали прежде с Климом Сидоровичем?

— Барышню зовут Анной Трофимовной, матушка! — подхватила Клара Кашпаровна.

— Право? я и не знала этого... Ну, беда невелика!.. Отчего же мне в голову пришло, что зовут ее Кузьминишной? Да! она ужасно как похожа на дочь дворецкого нашего... только та, не прогневайтесь, немного попригожее и помоложе... а который вам год?

— Восемнадцать лет.

— Неужто? я думала по крайней мере за двадцать! Что ж, я чай, в монастыре своем научились по-французски и по-тальянски!

— Я говорю по-французски.

— Здесь это совсем не в моде! Мы люди русские... иностранного не любим... Вот мои дочери говорят по-французски, могу сказать, не хуже других, да я им запретила коверкать язык... Покорно прошу не вводить у меня в доме этих заморских затей... я попугаев не терплю, понимаете ли?

Бедная Анюта не знала, что отвечать. Она еще более закраснелась и робко взглянула на Марфу Петровну; но, встретив ее сверкающие взоры, опять потупила голову, и слезы брызнули из глаз ее.

— Это что такое? — вскричала Марфа Петровна, — о чем это, сударыня, вы плачете? Смотри пожалуй, какая нежная! Обидно вам, что ли, что я даю вам советы?

Анюта, не привыкшая к такому обращению и сама стыдясь своей робости, еще пуще заплакала, и в самое это время вошел Клим Сидорович с обеими дочерьми. Бедная Анюта спешила утереть глаза; но тщетно старалась она воздержаться от слез. Между тем барышни, довольно учтиво поклонившись, подошли к ней целоваться, а Дюндик остановился у дверей, не зная, что начать. Невольное уважение к Анюте, а может быть и некоторое о ней сожаление, сильно в нем боролось со страхом прогневать свою супругу. Марфа Петровна заметила его недоумение.

— Ну, что ж ты остановился? — вскричала она, — чего испугался? И тебе не хочется ли поплакать за компанию?

— Да кажется, не о чем, матушка!

— Как не о чем? Разве ты не видишь, как разнежилась твоя расхваленная? Иной подумал бы, что с нею и не ведь что сделали, а я и пальцем до нее не дотрогивалась! Вот тебе петербургское воспитание!

— Да что с нею сделалось, матушка? — спросили в один голос барышни, поглядывая сбоку на Анюту и с любопытством ее осматривая.

— А спросите у нее у самой! Она расплакалась о том, что у меня в доме не велят говорить по-французски! Ну уж монастырское воспитание! Благодарю Бога всевышнего, что мои дочери не наглотались петербургского воздуха! Вот так из русских делаются чужестранками! Упаси нас, Господи, и помилуй! А ты все-таки ни слова не говоришь? Ведь ты опекун? Да, правда, в тебе самом нет русского духу! Я чай, сам заговорил бы по-французски, если б умел...

— Сохрани меня Господи, матушка! Ни за какие деньги!

— Ну так что ж ты ничего ей не скажешь? — прикрикнула на него Марфа Петровна.

— Да Анна Трофимовна, я думаю, сами чувствуют, что ты дело говоришь, матушка! — сказал наконец испуганный Клим Сидорович. — Сам Бог не велит нам говорить по-французски! Ведь если б была на то воля Божия, чтоб русские говорили по-французски, так у нас — так у нас — этот язык был бы природным! Не так ли, Анна Трофимовна?

Клим Сидорович так доволен был сим логическим доказательством бесполезности французского языка, что гордо выпрямил спину и посмотрел с торжествующим видом на свою супругу, которая всё еще бросала сердитые взгляды на бедную Анюту.

Между тем продолжение сцены этой произвело на Анюту совсем иное действие, нежели какого ожидать можно было, судя по ее робости. Чувство собственного достоинства в ней вдруг пробудилось от столь не-

приличного с нею обхождения: она перестала плакать; скромно, но притом без робости, взглянула на Марфу Петровну и сказала ей твердым голосом:

— Извините меня, сударыня! Я чувствую, что приехала не вовремя... я оставила тетушку не очень здоровою... Позвольте мне немного отдохнуть и отправиться обратно в Барвеново...

Марфа Петровна остолбенела, увидев столь неожиданную решительность Анюты; тут она почувствовала, что некстати обнаружила свою злобу. Еще прежде приезда Анюты она часто раздумывала, каким бы образом помешать, чтоб ненавистная сиротка не чванилась французским языком перед ее барышнями, ибо она нимало не сомневалась, что Анюта воспользуется этим преимуществом, чтоб взять верх над ними. При всем том она не имела намерения поступить с нею так сурово при первом свидании; но когда она увидела красоту Анюты, зависть еще сильнее в ней закипела и совершенно затмила ее рассудок. Теперь она начала жалеть о своей опрометчивости, но не знала, как исправить свою ошибку. Удержать Анюту насильно не было никакой возможности, особливо при Кларе Кашпаровне, которую нелегко было бы привесть в робость. А между тем она была уверена, что планы ее разрушатся навсегда, если она выпустит Анюту из дому. Каким образом заманить ее к себе опять? И как тогда воспрепятствовать ее соединению с Блистовским? В досаде на самую себя она готова была рвать на себе волосы и наконец, в полном чувстве бессильной злобы своей, сама принялась горько плакать.

При виде слез Марфы Петровны бедная Анюта опять оробела: ей пришло на мысль, что она, может быть, поступила нескромно, показав столь явно свое неудовольствие. Во всю жизнь свою Анюта никого еще не огорчала умышленно, а тут при первом вступлении в дом она привела в слезы женщину, почтенную летами, жену опекуна своего! Хотя не чувствовала она в себе никакой вины, но робкая ее скромность не позволяла обвинять исключительно и Марфу Петровну, а горькие слезы, сею последнею проливаемые, вдруг изгладили из доброго сердца Анюты неприятное впечатление, произведенное суровым ее приемом. Чем более Марфа Петровна плакала, тем более Анюта начинала находить себя виноватою и наконец в недоумении своем готова была просить извинения. Смущение ее не скрылось от проницательности барышень, и Вера Климовна, скоро поняв, каким образом воспользоваться ее неопытностию, подошла к ней и шепнула ей на ухо ласковым голосом:

— Бога ради, не огорчайте матушки, она очень нездорова. Вчера целый день била ее лихорадка, она не спала во всю ночь!

Эта выдумка решила все сомнения Анюты и в глазах ее объяснила самым удовлетворительным образом странное поведение Марфы Петровны. Выразительные черты ее лица так живо изобразили сожаление о больной, что Вера Климовна, не сомневаясь уже в ее согласии, поспешно обратилась к матери и сказала:

— Я покажу Анне Трофимовне комнату, для нее приготовленную.

Марфа Петровна, в знак согласия, кивнула головою, а барышни, не теряя времени, схватили Анюту под руки и увели ее из гостиной, пригласив с собою и Клару Кашпаровну.

Лишь только они вышли, Марфа Петровна погрозила им вслед кулаком, но, задыхаясь от злости, не могла выговорить ни слова.

Глава XVI

ПРИНУЖДЕННАЯ РАЗЛУКА

Слезы Марфы Петровны не переставали еще долго, когда осталась она одна с мужем; и надобно признаться, что она проливала их не без причин. Необходимость казаться ласковою, когда неукротимая ненависть внушала ей совсем другое, была для нее таким мучительным чувством, что она не в силах была его перенесть. А когда вдобавок к тому ей приходило на мысль, что должно принуждать себя не перед важною какою-нибудь особою, но перед этою ничтожною девчонкою, перед этою ненавистною монастыркою, тогда она приходила в совершенное исступление. Клим Сидорович между тем стоял перед нею вытянувшись и едва осмеливался переводить дух. Правая его рука немного приподнята была кверху, и первые три пальца сложены были вместе: иной подумал бы, что он намерен от страха перекреститься, но вместо того он держал ими табак, который боялся поднести к носу, чтоб движением руки не раздражить еще более своей гневной супруги. Несмотря, однако, на все сии предосторожности, Марфа Петровна, как скоро немного пришла в себя, обратилась к мужу с громкими упреками.

— Вот до чего я дожила! — вскричала она. — Вот каково иметь мужем такую бесчувственную тушу, как ты! Ну-таки есть ли в тебе совесть? Видит, что бедная жена его в таком положении, и он хоть бы полсловечка! Стоит, повеся нос, да табак понюхивает! Как будто у него нет языка в глотке!

— Да умилосердись, матушка! Что же мне делать? Я, Бог свидетель, не знаю даже, о чем ты плачешь?

— О чем я плачу, чурбан! Я разве не мать? Мне разве весело видеть, что чужие берут верх над родными моими дочерьми? Брось-ка свою курячью слепоту да взгляни на монастырку... твои дочери точно шинкарки перед нею: ни ступить, ни шагнуть не умеют; а вместо французского языка чему ты их научил с своим Софронычем? а?

— Да что ж мне делать, Марфа Петровна...

— Что тебе делать? А кто виноват, что Орленкова более нравится Блистовскому, чем Вера?

— Неужто я, матушка?

— Небось не ты? Кто тебе велел отправить ее в монастырь, где научилась она тому, что нам и во сне никогда не грезилось? А я, бедная мать, еще должна перед нею притворяться и посматривать ей в глаза, тогда как я бы их у ней выцарапать хотела, да и у тебя тут же...

Упреки эти и крик Марфы Петровны прекратились тогда только, когда она совершенно выбилась из сил. Отдохнув немного и собравшись с мыслями, она вспомнила, что в подобных случаях слезы не ведут ни к чему; и для того, укротив гнев свой на Клима Сидоровича, начала с ним советоваться о том, что оставалось им делать для достижения своей цели.

Когда Клим Сидорович возвратился из поездки своей в Барвеново, Марфа Петровна никак не могла простить ему, что не привез он с собою Анюты. Обещание Анны Андреевны самой проводить ее к ним нимало ее не утешало, ибо присутствие тетушки она не без основания считала важною помехою в исполнении своего намерения. Потому-то она в то время и решилась отправить мужа опять в Барвеново, хотя и тут не была уверена, что ему удастся разлучить Анюту с тетушкою. Но теперь случай поблагоприятствовал Марфе Петровне свыше ее ожиданий. Анюта сама явилась к ней в дом, не дождавшись вторичного приезда опекуна, и вместо тетушки сопровождала ее Клара Кашпаровна, с которою гораздо легче было управиться. Вникнув в это обстоятельство, столь благоприятное для ее видов, Марфа Петровна перестала огорчаться тем, что ей должно было на первый случай притворствовать перед монастыркою. Мысль об успехе, который теперь казался ей несомнительным, ее развеселила, а с переменою ее расположения духа совершенно переменилось и обращение ее с мужем. Она довольно ласково вступила с ним в подробный разговор, и примиренные супруги, постановив между собою основные пункты заговора против беззащитной сиротки, расстались почти друзьями.

Между тем Анюту привели в назначенную ей комнату, примыкавшую с одной стороны к спальне барышень, с другой к недостроенным

покоям. Вера и Софья Климовны приказали внести все пожитки своей гостьи и сами помогали расстанавливать их по комнате. Кларе Кашпаровне отведен был особый покой в флигеле, и хотя Анюта внутренно желала, чтоб поместили их вместе, но не смела изъявить этого желания, опасаясь обеспокоить тем барышень, находившихся в таком близком с нею соседстве.

Анюта по добродушию своему легко поверила рассказам о болезни Марфы Петровны и, считая себя виноватою перед нею, решилась пробыть в Будищах по крайней мере целую неделю, чтоб ласковым обращением с опекуншею загладить мнимый свой проступок. Обе барышни всячески старались ей понравиться и с удовольствием видели, что старания эти были небезуспешны. Анюта, не имев ни малейшего подозрения о заговоре семейства Дюндиковых, не сомневалась в искренности их ласк и тем более сожалела о недоразумении, случившемся между ею и Марфою Петровною. Таким образом молодые девушки скоро познакомились между собою, и когда Клим Сидорович пришел спустя несколько времени позвать их вниз к обеду, Анюта уже совершенно убеждена была в дружеском к себе расположении новых своих подруг. И Марфа Петровна между тем умела скрыть настоящие свои чувствования, встретила ее с приятною улыбкою и ласково подала ей руку, которую бедная Анюта, по невольному движению доброго и невинного сердца, поцеловала.

Весь остаток дня этого они, по наружности, провели довольно весело. Марфа Петровна, приняв твердое намерение казаться доброю и притом уверенная, что невозможно на первых порах удержать Анюту насильно, удачно скрывала свою ненависть, утешаясь тем, что принужденная ее ласковость не будет продолжительна. «Дай срок, голубушка! — думала она, — и на моей улице будет праздник!» И всякий раз, когда вспоминала она об этом празднике, кровь у ней в сердце клокотала от радости и в глазах сверкали искры. Между тем с притворным участием расспрашивала она о монастырской жизни, о тетушке и рассказывала о связях своих с покойным майором, которого она сроду и в глаза не видала. Другая на месте Анюты, при всем старании Дюндиковых скрыть настоящие свои чувствования, вероятно бы их отгадала, ибо злость Марфы Петровны и зависть дочерей против воли их проникали сквозь личину дружбы; но Анюта слишком еще была неопытна. Один Клим Сидорович казался ей странным и на самого себя непохожим. Почтительное обращение его с нею в доме тетушки теперь уступило место какой-то принужденной учтивости, иногда прерываемой такими приемами, которые ей приводили на память первую с ним встречу в Барвенове. Но она не обращала большого внимания на эту перемену, и никакие подозрения

ей на ум не приходили. Клара Кашпаровна, напротив того, хотя и проникла лживые ласки Дюндиковых, но, с одной стороны, не имела случая поговорить с Анютою наедине, с другой же, считала излишним огорчить ее этим открытием. Она не предвидела никакой опасности для Анюты, и пребывание их в Будищах казалось ей неизбежною необходимостию, которой тем более надлежало покориться с терпением, что это пребывание, по мнению ее, не могло быть продолжительным.

На другой день поутру, когда все собрались к чаю и недоставало одной Клары Кашпаровны, которую с намерением забыли позвать, Марфа Петровна, как будто нечаянно заметив ее отсутствие, спросила вдруг у Клима Сидоровича:

— А где Клара Кашпаровна? Зачем ее не позвали к чаю?

— Да она, верно, укладывается, матушка! — отвечал Дюндик. — Ведь вы сегодня ее отправите, Анна Трофимовна? — продолжал он, обратясь к Анюте, которая при таком странном для ней вопросе взглянула на него с удивлением.

— Куда, Клим Сидорович?

— Да куда угодно. Мне почему знать куда! Лучше бы ей, однако ж, заехать в Барвеново, вы с нею написали бы к тетушке.

— Да на что это, Клим Сидорович? Она проводит меня назад; мы и с тетушкой так условились!

— Ну... как хотите. Чтоб она только не соскучилась, вас дожидавшись!

— Верно, не соскучится. Клара Кашпаровна такая добрая! Она обещалась пробыть со мною неделю в Будищах, а потом еще хотела погостить несколько дней у нас. Мы все ее очень любим.

— Неделю! — вскричали в один голос Марфа Петровна и обе дочери.— Вы хотите остаться у нас только одну неделю?

— Долее никак мне невозможно! Тетушка будет беспокоиться: я обещалась непременно...

— Как вам не стыдно, Анна Трофимовна! Вы совсем нас не любите! — сказали барышни.

— Да я никак вас не выпущу, — подхватил Дюндик. — Вы довольно долго жили у тетушки, теперь надобно пожить у нас. Я не знаю, за что вы нас не любите, Анна Трофимовна! Батюшка ваш, покойник, нас, кажется, жаловал...

— И я вас люблю и почитаю, да только я обещалась тетушке...

— Уж мне эта тетушка! — нетерпеливо прервал ее Дюндик. — Неужто она такая важная барыня, что по ее дудочке всем плясать должно!

Анюта раскраснелась и взглянула на опекуна. Огорчение, возбужденное в ней неуважительным тоном, с которым относился он о тетушке, так живо отразилось в ее глазах, что сама Марфа Петровна пришла в замешательство. Она побоялась, чтоб Анюта не вздумала, по-вчерашнему, от них уехать, и потому бросила значительный взгляд на мужа, который, поняв оный, тотчас замолчал и опустил глаза в землю.

— Уж вы непременно всегда пересолите во всем, — сказала ему Марфа Петровна с видом упрека. — Мы, конечно, все желаем, чтоб Анна Трофимовна осталась с нами подолее, да что ж делать, если ей невозможно...

Анюта хотела отвечать, но в самое это время вошла Клара Кашпаровна, которая, увидев, что ее никто не приглашает, решилась прийти сама собою. Вера и Софья тотчас вступили с нею в разговор, чтоб отклонить внимание Анюты от прежнего предмета.

После чая подали коляску, и барышни пригласили Анюту ехать с ними кататься. Марфа Петровна и супруг ее остались дома под предлогом занятий по хозяйству. Погода в тот день была прекрасна, и прогулка молодых девушек продолжалась несколько часов. Отъехав на несколько верст от села, они вышли из коляски, чтоб погулять в прекрасной дубовой роще, принадлежавшей к владениям Дюндика. Время протекло неприметно, и, когда возвратились они в дом, стол уж был накрыт, и вскоре по приезде их сели обедать.

Анюта в первую минуту заметила, что не было тут Клары Кашпаровны. Сначала она подумала, что она не замедлит прийти; но, увидев по прошествии некоторого времени, что спутница ее всё еще не являлась, она решилась о ней осведомиться.

— Клара Кашпаровна поехала погостить до завтра здесь в соседстве, — отвечал равнодушно Клим Сидорович. — Ведь у ней знакомых-то много, по всей Малороссии!

Анюта знала, что у Клары Кашпаровны действительно были знакомые в соседстве, и потому ей не показалась удивительною ее отлучка. Неласковое с нею обращение всего семейства так было очевидно, что Анюта даже обрадовалась этому известию и внутренне желала, чтоб отсутствие ее продолжилось долее, чем до следующего утра. Как бы испугалась она, если бы знала, что добрая немка не возвратится в дом Клима Сидоровича!

Лишь только поутру поехали они гулять, как Марфа Петровна, приказав призвать к себе Клару Кашпаровну, объявила ей без обиняков, что Анюта решилась остаться у них в доме, а ее велела просить немедленно отправиться в Барвеново, чтобы уведомить о том тетушку. Не-

ожиданное это известие крайне изумило Клару Кашпаровну. Такой поступок со стороны Анюты показался ей совсем невероятным, и потому она объявила наотрез, что никак не поедет, не переговорив наперед с Анной Трофимовной и не получив от нее письма к тетушке. Но с Марфою Петровною сладить было нелегко. Она рассердилась, начала говорить о праве, которое муж ее имел над Анютою вследствие завещания отца ее, и наконец решительно подтвердила, что Клара Кашпаровна должна ехать непременно. Сколько сия последняя ни была нетруслива, но поостереглась, увидя ее в таком гневе; при всем том, однако, не могла воздержаться, чтоб не показать, что она не дается в обман в этом случае.

— Воля ваша, матушка! — сказала она. — Гневайтесь сколько угодно, а я знаю Анну Трофимовну получше вашего. Быть не может, чтоб она не хотела возвратиться к тетушке. Вы удерживаете ее насильно!

— А когда бы и так! Кому какое до того дело! Я опекунша и имею на то право...

— Извините, матушка, не у вас она под опекой, а у Клима Сидоровича...

— Да чего вы так растараторились? Она в опеке у Клима Сидоровича, а Клим Сидорович у меня; так и выходит, что все-таки у меня она в опеке, а не у вас! Впрочем, ваше дело молчать, а не учить меня. Видишь, какая! Ее будто спрашивают! Из-за нее да я в доме своем не буду госпожою! Нет, матушка! пораньше было бы вам встать для этого!.. Да что тут долго разговаривать! Карета ваша должна быть готова: вот Бог, а вот двери!

Бедная Клара Кашпаровна никак не ожидала такой тяжкой обиды. Разогорченная, долго не знала она, что отвечать; наконец сказала прерывающимся от досады голосом:

— Прекрасно, матушка Марфа Петровна!.. Могу сказать, что этого сроду со мною не бывало!.. Не беспокойтесь, сударыня! Я сама поеду. И не приведи меня, Господи, чтоб опять нога моя была у вас в доме!.. Спасибо, сударыня, за хлеб, за соль, за приятное угощение да за ласковое обхождение! И вас благодарю, Клим Сидорович, за то, что выгоняете меня из дому, как шальную собаку. Буду хвалиться вашими ласками, батюшка, буду хвалиться!

— Я вас не выгоняю, Клара Кашпаровна, — сказал Клим Сидорович в большом замешательстве, — я только покорно прошу ехать в Барвеново или куда самим угодно... Анна Трофимовна остаются жить у нас...

— Спасибо, мой батюшка, спасибо! Буду хвалиться вашим угощением!..

Клара Кашпаровна с сими словами вышла из комнаты, сопровождаемая громким смехом Марфы Петровны, а Дюндик пошел за нею вслед, всё уверяя ее, что ее не выгоняют из дому. Мысль, что известие об этом приключении вскоре распространится повсюду, его несколько тревожила; ему известно было, что Клара Кашпаровна любима была всеми. О Блистовском он также вспомнил при этом случае, и сердце в нем забилось сильнее обыкновенного. Если бы не супруга его, то он решился бы оставить Анюту совсем в покое. «Пускай бы она выходила замуж, — думал он, — за кого угодно! Но Марфа Петровна... о, Марфа Петровна! И ведь это, в случае неудачи, оборвется на мне!» Подобные мысли теснились в его уме толпою, и он с поникшей головой проводил Клару Кашпаровну до самого крыльца.

— Мое почтение Анне Андреевне! — сказал он, когда она начала сходить с лестницы. — Да не поминайте нас лихом!

— Буду помнить, батюшка! Буду помнить! — отвечала Клара Кашпаровна и, не оглядываясь на него, пошла в свой флигель, откуда через несколько минут отправилась в путь в той самой карете, в которой приехала она накануне с Анютою. Крестьянин, сопровождавший их из Барвенова, поехал с нею по приказанию Клима Сидоровича, который, кроме того, велел еще проводить их собственному своему человеку для доставления обратно господских лошадей, с ними отправленных. Мы увидим после, что всё это устроено было не без намерения.

Итак, Анюта лишилась единственной подпоры, бывшей у ней в доме опекуна. Удаление такого неприятного свидетеля, какова была Клара Кашпаровна, обрадовало всё семейство Дюндиковых, и в первый вечер уже была заметна перемена в обращении их с Анютою. Клим Сидорович говорил много и, описывая велеречиво оказанные им покойному майору благодеяния, хвалился всегдашним к нему почтением сего последнего. Он неоднократно коснулся также и завещания, по которому будто бы Анюта отдана была совершенно в его зависимость, и смело уверял, что единственно по усильной его просьбе полковник Р** тогда взял ее с собою в Петербург. Тут Марфа Петровна, перебив его речь, заметила, что он напрасно хвастается этим подвигом. Она начала рассуждать о вредных следствиях петербургского воспитания, о бесполезности иностранных языков, в особенности французского, — и все рассуждения эти приправляла колкими выходками на монастырь. Хотя разговоры сии не выходили из границ благопристойности и, казалось, не относились прямо к Анюте, но у бедной девушки неоднократно навертывались на глазах слезы при слушании неосновательных и несправедливых суждений о монастырском воспитании, которому она

столько была обязана. Несколько раз покушалась она, со всевозможною скромностию, опровергать мнения Марфы Петровны; но увидев, что это ее раздражало, она перестала ей противоречить. К новому огорчению Анюты, и новые ее подруги уже не столько были ласковы с нею, как перед обедом; и она в недоумении своем тщетно разбирала все поступки свои, не понимая никак причины такой перемены.

Удалившись после ужина в свою комнату, она долго размышляла о странном с нею обхождении всего семейства. Неприятные мысли невольно представлялись ее воображению и долго мешали ей заснуть. Тут вспомнила она, что в течение почти двухдневного ее пребывания в этом доме никто не упомянул ни однажды о Блистовском. Опасения доброй Праскуты также ей пришли на ум; она начала теперь подозревать глухо, что они действительно могли быть основательны, хотя, с другой стороны, никак не понимала, каким бы образом Дюндиковы могли воспрепятствовать ее браку с Владимиром? Сердце ее сильно билось при этих размышлениях; но надежда дней через пять отправиться обратно домой ее ободряла. Воспоминания о тихой, безмятежной жизни в Барвенове, о нежной заботливости простодушной Анны Андреевны, о искренней, бескорыстной привязанности бедной Праскуты — разгоняли мрачные думы ее, как солнечные лучи рассеивают черные тучи на небе. При всем том она не могла совершенно избавиться от печальных, хотя неопределенных, предчувствий, упорно ее преследовавших.

На другой день обхождение семейства Дюндиковых еще более удостоверило Анюту в их недоброжелательстве. Барышни, когда она к ним обращалась, отвечали сухо и отрывисто; Клим Сидорович всячески избегал разговоров с нею, а Марфа Петровна почти не старалась скрывать свою злобу, и ядовитые взгляды ее приводили иногда в трепет бедную монастырку. Во время обеда, в продолжение которого никто не говорил с нею почти ни слова, приехал Прыжков. Анюта сначала обрадовалась появлению нового лица, прервавшего неприятное ее положение. Она вовсе не была знакома с приезжим гостем и не подозревала, что это тот самый молодец, которого похождения в Ромнах известны ей были чрез Блистовского. После первых приветствий Прыжков как будто без намерения стал рассказывать, что он на пути к ним заезжал к их соседу, где видел Клару Кашпаровну, которая при нем отправилась в Барвеново к Анне Андреевне Лосенковой. Можно представить себе смущение Анюты!

— Быть не может! — вскричала она с торопливостию, покраснев по уши. — Вы, верно, ошибаетесь, это была не Клара Кашпаровна!

— Могу вас уверить, сударыня! — отвечал Прыжков хладнокровно, — что я не ошибся. Я очень хорошо знаю Клару Кашпаровну, и она при мне садилась в карету.

— Боже мой! что ей это вздумалось? Как же она меня оставила одну? Не слыхали ли вы, зачем она туда поехала?

— Я очень долго разговаривал с Кларой Кашпаровной; она так была мила и весела, как мне давно не случалось ее видеть. Она надеялась чрез несколько дней возвратиться сюда из Барвенова, и, вероятно, как сказывала она, с Анной Андреевной.

— Чего вы испугались, матушка! — подхватил Клим Сидорович, заметив смущение Анюты. — Как будто вы здесь между чужими?

— Я не испугалась; а мне кажется это странным и непонятным...

— Ничего тут нет непонятного! Клара Кашпаровна разочла, что ей веселее пробыть в Барвенове, пока вы погостите у нас. И Бог с нею, мы за это не в претензии!

— Да тетушка приказывала...

— О чем тут толковать! — прервала с нетерпением Марфа Петровна. — Экая беда! Что с вами сделается? Ведь мы не съедим же вас без Клары Кашпаровны! Да, впрочем, матушка, если для вас так неприятно оставаться у нас, так во всякую минуту можете ехать с Богом!

— Нет, Марфа Петровна! Уж в этом вы меня извините, — сказал с важностию Клим Сидорович. — Я не соглашусь отпустить Анну Трофимовну одну. Уж если пошло на то, так надобно дожидаться известия от Анны Андреевны; да, верно, она сама сюда будет. Ведь Барвеново не за горами!

Анюта замолчала. Она чувствовала, что не в силах противоборствовать воле опекуна, и потому, скрепясь сердцем, решилась с терпением ожидать последствий сего неожиданного приключения. После обеда она, не говоря ни слова, отправилась в свою комнату и там, без свидетелей, предалась своему горю. Впрочем, она хотя вовсе не понимала поступка Клары Кашпаровны, но твердо была уверена, что в скором времени получит известие от тетушки, и даже не сомневалась, что не замедлят ее избавить от Дюндиковых, которых неприязненное расположение ежеминутно становилось очевиднее.

Таким образом провела она остаток этого дня и весь следующий. Угрюмое с нею обращение Марфы Петровны и явное невнимание самого Дюндика и барышень делали положение ее весьма тягостным; и одному только Прыжкову иногда удавалось развлекать грустные мысли ее разговорами о Петербурге и о тамошних ее знакомых, с которыми, по уверению его, он находился в связях.

Глава XVII

ЗАВЕЩАНИЕ

Сколь ни чувствовала себя несчастною Анюта, удостоверившись наконец в дурном к ней расположении всего семейства Дюндика, сколь она в таких обстоятельствах ни горевала о том, что у них в доме одна, без защиты, но положение это показалось бы ей еще несноснее, если бы могла она понять в полной мере ненависть опекуна и в особенности Марфы Петровны. Но, не чувствуя себя виновною ни в чем, она все действия их старалась приписать каким-нибудь недоразумениям и утешалась — надеждою, что, во всяком случае, тетушка по возвращении Клары Кашпаровны в Барвеново не преминет в скором времени приехать за нею. Марфа Петровна с своей стороны, движимая злостию и подстрекаемая опасением, что соединенные силы Анны Андреевны и Блистовского успеют исторгнуть из когтей ее бедную сироту, удвоила напряжение ума своего к достижению предполагаемой ею цели и, для большего успеха, решилась призвать на совет достойного своего племянника. Прыжков, как нам уже известно, во всех отношениях заслуживал ее доверенность; но особенно в этом случае он готов был оказать ей всю помощь, которой только можно было от него ожидать; и к тому побуждала его, кроме желания отомстить Блистовскому, еще другая, не менее важная причина. При первой встрече красота Анюты произвела на него глубокое впечатление, и потому он рад был, что представилась ему возможность удовлетворить в одно время злобе своей против Блистовского и любви к его невесте. Обе страсти сии так сильно на него действовали, что поглотили в нем даже чувство страха, внушаемого Блистовским. К тому же он полагал, что найдет средство избежать его мщения, которое, впрочем, уже будет без цели, когда Анюта сделается его женою. При первых словах Марфы Петровны он открыл ей свои виды, и хотя она с неудовольствием помышляла о том, что Анюта будет ее племянницею, но скоро на то согласилась, быв уверена, что союз этот составит несчастие как Владимира, так и ненавистной монастырки. Вследствие того дана была особенная инструкция Климу Сидоровичу, как главному их орудию, хотя безгласному, но необходимому; и так как время было дорого, то решились действовать по условленному плану безотлагательно.

В следующее утро Анюта едва успела встать и одеться, как вошел к ней в комнату с важным видом опекун и тщательно затворил за собою дверь. Анюта, увидя его, встала и пошла к нему навстречу.

— Сидите, Анна Трофимовна, сидите! — сказал он, сам усевшись в кресла. — Мне надобно переговорить с вами о важном деле.

Анюта молчала.

— Пора, матушка, объявить вам мнение мое о сватовстве Владимира Александровича. Мнение решительное, которого ничто переменить не может, ни ваши просьбы, ни пустословие Анны Андреевны, которая вообще не в свое дело мешается, ни даже, — продолжал он, замявшись невольно, — угрозы господина Блистовского, напрасно думающего, что я его боюсь; я... я не боюсь никого на свете!

Анюта побледнела от внутреннего волнения, сколько она ни старалась казаться хладнокровною. Не зная, что отвечать на грозное предисловие опекуна, она потупила глаза, не прерывая молчания.

— Я объявляю вам однажды навсегда, сударыня, что вы должны забыть Блистовского, ибо я никогда не соглашусь, чтобы вы за него вышли: я запрещаю вам и думать о нем. Слышите ли?

Анюта поднялась со стула; требование опекуна казалось ей слишком дерзким, и она отвечала ему довольно твердым голосом:

— Я дала слово Владимиру Александровичу; тетушка нас благословила, а вы не имеете ни причины, ни права этому противиться. Извините меня, Клим Сидорович, я не считаю себя обязанною в этом случае исполнить ваши приказания.

— Вы не считаете себя обязанною, я не имею права? Разве забыли вы, что я опекун и заступаю место отца вашего?

— Если б батюшка был жив, он, верно, не отказал бы нам в своем согласии, а так как его нет на свете, то я решилась следовать советам тетушки, которая призрела меня с малолетства, и верно...

— Опять тетушка да тетушка! Плевать бы я на нее хотел, слышите ли? Однажды навсегда запрещаю вам думать о Блистовском.

— А я, — сказала Анюта, выведенная из терпения грубостию опекуна, — а я однажды навсегда вам объявляю, что не намерена вас слушаться. Стыдитесь, Клим Сидорович; таким образом говорить о тетушке.

— Ха-ха-ха! Вот тебе на! Вы еще вздумали учить меня! Посмотрим, надолго ли у вас станет храбрости-то! Знаете ли вы почерк руки покойного батюшки?

— Я никогда его не видала.

— А! Так вы не видали и завещания его?

— Вы мне его не показывали.

— Хорошо, я вам покажу его... Увидим, что вы скажете, матушка, увидим, кого вам надобно слушаться, меня или Анны Андреевны!..

С сими словами Дюндик подошел к дверям, осторожно отворил их, чтоб опять не ударить в лоб Марфу Петровну, и вышел из комнаты.

Взоры Анюты, устремленные на опекуна, долго оставались неподвижны по выходе его. Мысль теснилась за мыслью в ее уме, и она не знала, на чем остановиться. Решительное приказание Дюндика не очень ее испугало, ибо неприличные отзывы его о тетушке раздражили ее до такой степени, что она почувствовала в себе довольно силы для сопротивления; но он упомянул о завещании, об этом свидетельстве священной воли покойного отца ее, против которой бороться считала она святотатством. Она никогда не видала этого завещания, ибо, когда Клим Сидорович приезжал в Барвеново, его случайно не было с ним, а с тех пор, как она находилась у него в доме, ей хотя и приходило неоднократно на ум его прочитать, но она не решалась о том попросить опекуна, который совершенно переменил обхождение свое с нею. «Впрочем, — подумала она, — может ли оно дать ему право поступать со мною так самовластно? Тетушка часто рассказывала об этом завещании, и, по словам ее, батюшка поручил меня только в покровительство Клима Сидоровича. Мне тогда было не более пяти лет от роду; итак, могло ли оно касаться до моего замужества?» Размышления эти ее немного ободрили, но спустя несколько времени недоумение, внушенное словами Дюндика, опять взяло верх над ее умом. В иные минуты она, приводя себе на память читанные ею романы, думала даже, не назначил ли ее батюшка к монашеской жизни; но потом отвергала она эту мысль как несбыточную, несообразную ни с русскими обыкновениями, ни с известными ей по рассказам тетушки правилами покойника. «К тому же, — заметила она сама себе, — тетушка верно бы мне что-нибудь сказала об этом; но не промолчала ли она о том единственно для того, чтоб меня не огорчить?»

Колеблемая таким образом множеством противоположных мыслей и догадок, она между нетерпением и страхом ожидала возвращения Дюндика, обещавшего показать ей завещание; но опекун не возвращался. Беспокойство бедной Анюты ежеминутно возрастало, и наконец обессиленная мучительною борьбою, происходившею в ее душе, она почти без чувств села в кресла, тщетно стараясь отдалить печальные предчувствия, которые против воли толпились в ее душе.

В этом мучительном положении провела она несколько часов. Около нее всё было тихо, в соседней комнате, где жили барышни, не слыхать было никакого движения.

Наконец услышала она тяжелые шаги опекуна. Сердце ее затрепетало, ей хотелось встать, но она почувствовала, что ноги ее подкашивались, и принуждена была опять опуститься в кресла. Отворилась дверь, и во-

шел Клим Сидорович. В другой комнате мелькнуло сердитое лицо Марфы Петровны, изображающее любопытное внимание, и хотя дверь тотчас опять затворилась и Анюта не могла даже отдать себе ясного отчета, точно ли она ее видела, но сердце в ней еще сильнее забилось; ей представилось глухо, как будто она должна услышать смертный свой приговор, а Марфа Петровна готовится войти, чтоб быть свидетельницею ее мучения.

Дюндик держал в руках бумагу. Брови его были нахмурены и лоб наморщен. Ожидая сопротивления со стороны нашей страдалицы и быв научен женою, он заранее принял на себя самый строгий вид, но при виде бедной Анюты, сидящей в креслах неподвижно, бледной и с наполненными слез глазами, суровое лицо его смягчилось; давно заглушенная совесть неожиданно в нем зашевелилась, и он готов был спросить с участием о ее здоровье. Человеколюбивое движение это, однако, недолго продолжалось: он вспомнил, что жена его стоит за дверьми, и опять нахмурил брови. При всем том он не тотчас решился проговорить вытверженный урок. Беззащитная сирота, с трепетом ожидавшая от него решения своей участи, представлялась ему, как строгий судья изобличенному преступнику. Наконец он собрался с духом и, стараясь превозмочь овладевшую им робость, подошел к ней и почти прокричал:

— Что ж, надумались ли вы, сударыня? Отказываетесь ли вы от Блистовского?

— Нет! — отвечала Анюта. Слово это, выговоренное тихо, но твердым голосом, стоило ей большого напряжения сил, и она потом молча протянула руку, чтоб принять от него завещание.

— Позвольте-с, я сам прочитаю.

Дюндик начал читать. Пока продолжались точные слова завещания, он читал громко и внятно, но когда дошел он до следующей статьи, голос его задрожал и сделался неясным:

«Если дочь моя вздумает вступить в замужество, то приказываю ей ни под каким видом не принимать на себя никаких обязанностей без согласия почтенного своего опекуна, а моего благодетеля, господина надворного советника и кавалера Клима Сидоровича Дюндика. Буде же она, дочь моя, отважится вступить в брак против его воли, то в таком случае лишаю ее родительского благословения и предаю ее проклятию».

— Проклятию! — вскричала диким голосом Анюта, вскочив со стула. — Покажите, ради Бога, покажите!

Клим Сидорович подал ей бумагу и дрожащим пальцем указал на слово «проклятие».

— Проклятию! — вскричала еще раз Анюта и без чувств упала к его ногам.

Когда пришла она в память, в комнате уже не было никого, и она лежала на своей постеле. Долго старалась она уверить себя, что всё, с нею происходившее, было не что иное, как тяжелый сон; но, бросив нечаянно взор на стоящий перед нею столик, она с ужасом увидела на нем роковое завещание. Дрожащими руками она его развернула и, прочитав страшные слова, в нем заключающиеся, залилась горькими слезами.

Оставим на время Анюту и перенесемся в нижний этаж дома, в покои Марфы Петровны. Она сидела на софе с торжественным видом. Перед нею с расстроенным лицом сидел Прыжков, а немного поодаль стоял Клим Сидорович, которого глупая рожа изъявляла, по возможности, недоумение и неудовольствие.

— Экая диковинка! — сказала Марфа Петровна, обращаясь к Прыжкову, — не видал ты никогда девушки в обмороке! Экая невидальщина!

— Да посудите, тетушка, что теперь уже часа два, как она лежит без чувств, как мертвая...

— Ну, что за беда! Не бойся, будет жива. Я и сама, когда была в девках, часто падала в обморок. Бывало, что-нибудь не по нутру, да нельзя на своем поставить, тотчас глаза зажмурю. Не правда ли, Клим Сидорович?

— Точно так, Марфа Петровна.

— Боюсь только, чтоб она не занемогла, — сказал Прыжков. — Признаться, я крепко испугался, увидев ее без движения и бледную как полотно.

— Да и я не на шутку трухнул, — подхватил Дюндик, — когда она шлепнулась об пол.

— Молчи! Тебя не спрашивают, — прервала его Марфа Петровна. — А ты, видно, в самом деле влюблен по уши, — продолжала она, обратясь к Прыжкову. — Вот уж этого я от тебя никак не ожидала!

— Как бы то ни было, тетушка, вы знаете наше условие. Я готов вам служить, но с тем, чтоб и вы мне помогали. А между тем, так как она должна быть моею женою, вы поступайте с нею как с будущею племянницею и без нужды не огорчайте... Мне ее жаль!

— Вот тебе на, мой батюшка! Я разве медведица какая? Что мне за нужда ее огорчать? По мне хоть бы ее на свете не было! Мне лишь бы проучить Блистовского, да и ее тоже, чтоб они впредь не умничали; а потом, пожалуй себе, возьми ее, я и знать о том не хочу! — Ты оставил у нее завещание?

— Я положил его на стол, матушка.

— Пускай на досуге читает. Счастье, что она не знает руки покойника, а то бы с нею наплясались, — девка упрямая! Ну, теперь дело, почитай, сделано, остается тебе склонить ее на свою сторону, да я думаю, это немудрено: когда увидит, что нельзя быть за Блистовским, так она рада будет и за тебя выйти!

— В этом я не сомневаюсь, тетушка, — отвечал Прыжков с самонадеянностью. — Та беда только, что время коротко. Пока мы ее будем уговаривать, пока она согласится, Анна Андреевна может явиться к нам как снег на голову или, чего доброго, и сам Блистовский. Тогда пропали все труды наши, а с ними — мы и не развяжемся.

— Да, — сказал Дюндик, почесывая голову, — тогда плохо нам будет. Вам-то ничего, а каково мне с ними рассчитываться!

— Вот уж вы оба и струсили, — вскричала Марфа Петровна. — О чем тут хлопотать? Опекун запретил ей думать о Блистовском — он же прикажет идти за другого: она теперь должна послушаться.

— Всё опекун да опекун! — сказал вполголоса Клим Сидорович со вздохом.

По мнению Марфы Петровны, надлежало объявить Анюте о нареченном супруге тотчас, когда она опомнится от обморока.

— Надобно ковать железо, пока горячо, чтоб она не имела времени одуматься; чего с нею церемониться!

Прыжков, однако, был другого мнения. Сколь ни желал он обладать Анютою, но боялся ожесточить ее излишнею строгостию и тем испортить всё дело.

— Я уверен, — сказал он, — что она, уважая память отца, не захочет выйти из повиновения опекуну. Но дайте ей успокоиться от первого удара. Погодите дня два или три; в это время не приедут сюда ни Анна Андреевна, ни Блистовский; вероятно, и Клара Кашпаровна до сих пор еще не дотащилась до Барвенова. А потом пускай Клим Сидорович объявит ей свою волю.

С этим был согласен и Дюндик. Не имея решительного голоса в совете, он и тому обрадовался, что новый разговор его с Анютою, к которому приступил бы он очень неохотно, отложили на несколько дней.

Между тем бедная Анюта плакала, молилась; потом опять начинала плакать, опять молилась; и всё не знала, каким образом согласить любовь к Владимиру с священным долгом повиновения отцу. «Если б он был жив, — думала она, — верно бы он не отказал в своем согласии!» Иногда ей казалось возможным в этом случае не слушаться опекуна, потому что покойный отец ее, верно, не желал ее несчастия и, вероятно,

не предвидел, что опекун употребит во зло данную ему власть. Уже она решалась объявить о том Климу Сидоровичу, но вдруг страшное слово «проклятие» возникало в ее воображении и, как пламенный меч херувима пред вратами рая, заграждало всякую мысль о браке с Владимиром. Наконец после долгой и мучительной борьбы она приняла намерение принесть на жертву, что ей дороже всего было в мире, — любовь к Блистовскому.

Барышни, от времени до времени смотревшие на нее в щелку, давно уже видели, что она пришла в память; но, уведомив о том Марфу Петровну, получили приказание ее не тревожить. Этим кратковременным отдыхом обязана она была Прыжкову, опасавшемуся, чтоб вид Дюндиковых не погрузил ее опять в прежнее положение. Он так горячо за нее вступился, что успел убедить Марфу Петровну, чтоб в этот день никто ее не беспокоил, и потому, когда в обеденное время пришли звать ее вниз и она отказалась, сказав, что нездорова, то Марфа Петровна прислала к ней кушанье в комнату и велела сказать, что она советует ей не вставать с постели.

Под вечер зашли на короткое время барышни и ласково расспрашивали об ее здоровье. Но ни Клим Сидорович, ни Марфа Петровна, по просьбе Прыжкова, не являлись к ней во весь тот день.

Анюта легла спать, но сон убегал ее упорно. Только к утру могла она заснуть, да и тут страшные сновидения сначала тревожили ее покой. Ей казалось, что она идет по узкой тропинке, усыпанной скользкими камешками, на покате крутого утеса, под которым в глубине шумело море. Она напрягала все силы свои, чтоб не сорваться вниз: камешки под ногами ее шевелились как живые и жалостно стонали, когда она по ним ступала; из ущелин утеса раздавались дикие смехи. Большие летучие мыши с разрумяненными человеческими лицами летали перед нею и смотрели на нее сердитыми глазами, прихлопывая с шумом длинными седыми ресницами. Голова ее кружилась, она желала воротиться, но дорога так была узка, что нельзя было повернуться, не упав в пропасть. Она хотела остановиться, но непреодолимая сила понуждала ее спешить вперед, вперед. Вдали слышала она голос тетушки, разговаривавшей с Праскутою; вот и голос Владимира послышался ей прямо перед нею; он звал ее к себе нежными словами... Вот уже тропинка кончалась, и она в конце видела Блистовского и тетушку... Еще несколько шагов, и она будет с ними!.. Но камни под ее ногами еще жалостнее застонали, смехи в ущелинах раздавались с большею дикостию, летучие мыши с человеческими лицами так и вертелись перед ее глазами. В необъятном страхе она хотела броситься к Владимиру, но вдруг из ущелины пока-

зался Клим Сидорович с козлиными ногами и с большими рогами на голове. Обеими руками развернул он перед нею бумагу, на которой пламенными буквами написано было слово «проклятие!», — Анюта в отчаянии зажмурилась, отскочила и упала в пропасть. Она думала, что погибла совершенно, с трепетом открыла глаза и увидела себя в Барвенове, в известной беседке, обросшей хмелем и красными бобами. Подле нее сидела тетушка и ласково на нее смотрела; Владимир с другого боку прижимал ее руку к сердцу, а перед нею стояла Праскута и улыбалась. Она взглянула из беседки на большую дорогу и видела, как тяжелая карета опекуна, нагруженная всем семейством Дюндиковых, уезжала из селения. «Как же ты долго спала!» — сказала ей тетушка, и Анюта, приняв за сон всё, что происходило с нею с тех пор, как она рассталась с Барвеновым, забыла о Дюндике и о завещании и по-прежнему была счастлива среди своих любезных.

Как грустно сделалось Анюте, когда она, проснувшись в самом деле, удостоверилась, что находится у Дюндика. Но, несмотря на то, последняя половина виденного ею сна укрепила ее силы и оставила в душе надежду, что не всё еще потеряно. «В самом деле, — думала она, — что нужно для моего счастия? Согласие Клима Сидоровича? А почему же мне не надеяться, что он по крайней мере со временем переменит мысли свои о Блистовском? Надобно только вооружиться терпением, а между тем, может быть, самое повиновение мое его обезоружит».

Одобренная этой мыслию, она приняла Клима Сидоровича довольно спокойно, когда пришел он к ней в продолжение утра.

— Я вчера забыл у вас завещание покойного Трофима Алексеевича, — сказал он. — Вы, верно, прочитали его еще раз на досуге?

— Читала, Клим Сидорович.

— И что намерены вы делать?

— Я намерена повиноваться воле батюшки, — отвечала она сквозь слезы.

— Ну вот это хорошо. За это хвалю вас, ей-богу, хвалю! Надобно всегда меня слушаться, я дурного не посоветую. Не забывайте никогда, что я вам второй отец!

В самом деле, Дюндик не ожидал столь скорого решения и несказанно обрадовался, увидев, что ему не нужно вступать в новые споры. Он поспешил уйти, чтоб сообщить товарищам своим о благополучном успехе, и тем избавил Анюту от своего присутствия.

Всё семейство, не исключая Марфы Петровны, приняло ее весьма благосклонно, когда пришла она к ним, и никто не упоминал ни сло-

ва о вчерашнем. Прыжков в особенности старался ей угождать, и Анюта, слишком занятая своим горем и вовсе не подозревая его видов, взирала с благодарностью на его учтивость.

Дюндики радовались успеху своего коварства.

— Кажется, недолго она будет горевать о Блистовском, — сказала Марфа Петровна с торжественным видом. — А он, дурак, я чай, думает, что она без него жить не может!

— Хоть много мне было хлопот, — говорил Клим Сидорович, гордо посматривая на все стороны, — да по крайней мере недаром!.. Ну, теперь, кажется, дело-то будет в шапке!

И Прыжков ласкал себя надеждою, что она не противостоит его любезности, особливо при помощи грозного завещания.

Низкие души! Они не имели понятия о том, с какою твердостию добродетельный человек переносит самые тяжкие несчастия, когда подкрепляет его убеждение в исполнении долга и чистая надежда на провидение! Они не подозревали, что эта надежда, как бесценное сокровище, хранилась в невинном сердце Анюты и тихо, как голос ангела-хранителя, нашептывала ей утешительную мысль, что рано или поздно она будет вознаграждена за свои страдания.

Таким образом прошел весь этот день, и Анюта, с растерзанным сердцем, но с довольно покойным духом легла спать. Силы ее истощены были претерпенными накануне огорчениями, и потому она от усталости сомкнула глаза, и вскоре легкие сновидения, порхая около нее, начали погружать ее в сладкий сон. Но и эту ночь предназначено ей было провесть в тревоге.

Она находилась еще в том приятном забвении, которое обыкновенно предшествует крепкому сну, как вдруг послышалось ей, что кто-то тихонько стучится в дверь.

Анюта вздрогнула. Сначала приняла она это за обман воображения и вновь хотела закрыть глаза, но стук опять повторился, и так внятно, что не осталось для нее никакого сомнения. Она приподнялась в постеле — глубокое молчание царствовало в комнате; потом опять кто-то постучался, так же тихо и внятно.

Уже выше замечено было, что в Анютиной спальне находилось двое дверей, из которых одна вела в покои барышень, а другая в пустые комнаты недостроенного этажа. Последняя эта дверь заперта была задвижкою со стороны Анюты, которой иногда случалось отворять ее днем из любопытства. В тех комнатах еще не были намощены полы, а окошки с давнего времени оставались невставленными. Она знала, что ни изнутри дома, ни снаружи не было туда никакого хода, кроме из ее

комнаты, и, несмотря на то, в эту-то дверь слышен был стук, прервавший ее сон.

В другое время Анюта вероятно бы испугалась; но в этот день столь много важнейших обстоятельств занимало ее воображение, что для страха в нем почти не было места. К тому же, как говорится, утопающий для спасения своего хватается даже за соломинку; и в глубине души Анюты глухо отозвалась мысль, что этот случай имеет, может быть, какую-нибудь связь с несчастным ее положением. В таких затруднительных обстоятельствах, в каких тогда была Анюта, самые невероятные предположения могут показаться возможными; а потому и ей пришло на ум: не вестник ли это от Владимира или от тетушки? Или, может быть, — при этой мысли холодный пот выступил по ней — не священная ли тень покойного отца спустилась из горней обители, чтоб ее утешить, укрепить, наставить? Сердце ее сильно забилось; она подняла взоры к небу — луна так ласково светила в окно, лучи ее так весело играли на стенах ее комнаты... Анюта перекрестилась, вскочила с постели, накинула на себя салоп и твердыми шагами приблизилась к таинственной двери.

Глава XVIII

НЕЗНАКОМЕЦ

Когда Анюта подошла к двери, стук опять возобновился, и она услышала очень внятно, что кто-то за дверью зовет ее по имени:

— Анна Трофимовна! Анна Трофимовна!

— Кто там? — спросила она вполголоса.

— Добрый человек. Отворите, Анна Трофимовна, отворите. Только тише, ради Бога, тише!

Анюта собралась с духом. С трепещущим сердцем и дрожащею рукою отодвинула она задвижку, дверь со скрипом отворилась, и, к неизъяснимому страху, она при лунном свете увидела пред собою безобразную фигуру, с ног до головы покрытую длинною темною шерстью, с сверкающими, как раскаленные угли, глазами.

Вся бодрость ее мгновенно исчезла при виде такого чудовища, и она, не помня сама себя, громко вскрикнула. Казалось, что и чудовище не менее ее испугалось: оно отскочило и громким голосом произнесло:

— Ах я пустая голова! Извините, матушка Анна Трофимовна!

Потом с быстротою молнии чудовище вскочило к ней в комнату, несмотря на крик ее, насильно всунуло ей в руку небольшую бумагу и скрылось опять в пустые покои, захлопнув за собою дверь.

Всё это продолжалось не более нескольких секунд. Анюта перестала кричать и стояла еще посреди комнаты, когда отворилась другая дверь и вдруг бросились к ней обе барышни, сопровождаемые горничною девушкою. Немного погодя вошла и Марфа Петровна с супругом и племянником.

Комната осветилась принесенными ими зажженными свечами, и Анюта совершенно опомнилась. В крайнем замешательстве стояла она неподвижно на одном месте, крепко закутанная в салоп; полученную ею бумагу она невольно сжала в руке.

— Что с вами сделалось? — в один голос вскричали Клим Сидорович и барышни.

— Что это вы так раскричались? — спросила Марфа Петровна. — Перепугали до смерти всех! Что с вами случилось? Зачем вы так кричали?

— И сама не знаю! — отвечала Анюта, запинаясь. — Внутренний голос внушал ей не открывать причины своего испуга; к тому же она слишком мало имела к ним доверенности, чтоб быть откровенною. — Я думаю, что мне что-нибудь пригрезилось.

Все, по-видимому, довольствовались ее ответом и хотели уже уйти; одна Марфа Петровна, сбираясь выйти вместе с другими, ворчала про себя:

— Ни минуты нет от нее покоя. Чтоб ее...

Вдруг в пустых покоях раздался шум, и все остановились.

— Это что такое? — сказала Марфа Петровна. Прыжков подошел поближе.

— Дверь не замкнута! — вскричал он и поспешно отворил ее. В конце пустой комнаты, при месячном сиянии, увидел он черную фигуру, подвигающуюся к окну, и стремглав бросился туда, чтоб ее схватить; но, не зная или забыв, что пол там не был настлан, он споткнулся на бревно и упал изо всей мочи.

— Ловите! Ловите! — кричал он во всё горло, несмотря на чувствуемую им боль. — Скорее сюда огня! Клим Сидорович! Марфа Петровна!

Дюндик не очень спешил исполнить его желание; но Марфа Петровна, вырвав у мужа из рук шандал, вошла в пустые покои, а за нею последовали и все прочие, кроме Анюты.

Прыжкова подняли и поставили на ноги.

— Ищите, он должен быть здесь, не упустите его! — говорил он им запыхаясь.

— Кто, о ком вы говорите? Кого вы видели? — спрашивали наперерыв все.

— Не знаю, — отвечал он, — но я видел ясно, как он подвигался к окну вон там, в этом углу. Если это не сам дьявол, так он еще и теперь должен быть здесь. Кроме его, никто не выскочит из второго этажа, не сломив себе шеи.

По его требованию начали искать во всех углах и не нашли никого. Подходя к окну, Прыжкову опять показалось, что та же самая фигура крадется на дворе в тени около забора.

— Гей! — закричал он, — сторожа, сюда! Султан! чужой! ату его, ату!

На крик этот начали сбегаться люди. Султана спустили с цепи, и Прыжков, прихрамывая, побежал вниз, чтоб участвовать в поимке незнакомца.

— Ворота заперты, убежать ему некуда! — кричал он Марфе Петровне, и все пустились за ним, движимые любопытством, хотя не без боязни.

Пока они сходили с лестницы, на дворе раздавался громкий лай собаки; потом послышался им жалкий визг и стон, за которым последовала опять тишина. Сбежав на двор, они, к крайнему изумлению, увидели сторожей и прочих слуг, окружающих бедного Султана, лежавшего перед ними без дыхания. Кровь лилась из широкой раны, нанесенной ему в горло. На всех лицах изображался страх. Несмотря на старания Прыжкова, на дворе не нашли никого; никто, кроме его, не видал описанного им человека; никто не знал, кто убил Султана. Один только сторож утверждал, что он видел, как большой косматый медведь перелезал через забор.

— Это не медведь, — сказал Прыжков, со вниманием осмотрев Султана. — Рана эта сделана ножом.

— Ведьма или оборотень, — проворчал себе под нос Клим Сидорович, которого давно уже начала пронимать дрожь, и слуги, услышав слова своего господина, повторили их дрожащим голосом. Все начали креститься и разошлись по ночлегам, боязливо оглядываясь. Один Прыжков не соглашался с общим мнением.

В продолжение этого времени Анюта, оставшись одна, заперла обе двери и, удостоверившись, что никто не может войти к ней ни с той, ни с другой стороны, легла в постель. Полученную ею бумагу, сложенную письмом, она не выпускала из рук. Любопытство сильно побуждало ее

узнать содержание, но она боялась спросить огня, чтоб не дать повода к подозрению. При месячном сиянии она, развернув бумагу, успела различить, что на ней что-то написано, хотя, при всем старании, не могла разобрать ни одного слова. Открытие это еще более возбудило ее любопытство, однако делать было нечего; она поневоле решилась дождаться следующего утра. Беспокойство не позволяло ей опять заснуть: между тем она слышала лай и стон Султана, вскоре после того вдруг прекратившийся; разговоры людей на дворе глухо раздавались в ее ушах, и всё это еще более ее тревожило. Спустя несколько времени барышни спросили ее сквозь дверь:

— Уж вы легли спать, Анна Трофимовна?

— Легла, — отвечала она.

— А мы так были на дворе. Вы знаете, что зарезали бедного Султана?.

— Кто? — спросила Анюта.

— А Бог знает, кто! Виноватого не нашли. Но прощайте, пора спать.

— Прощайте, желаю вам покойной ночи.

Барышни удалились, но рассказанное ими возродило в ней новые размышления. Что это за непонятное существо, которое исчезло, как привидение, не оставя никаких следов, по коим можно было бы догадаться, куда оно скрылось? И кто мог убить злого и сильного Султана? Она полагала, что в таинственной бумаге, вероятно, заключалась развязка этой загадки, но надлежало взять терпение и дожидаться рассвета. Таким образом лежала она без сна до того времени, пока начала заниматься заря. Лишь только первые лучи восходящего солнца осветили небо, она поспешно вскочила, подбежала к окошку и развернула письмо. Почерк показался ей знакомым. С возрастающим удивлением прочитала она следующие строки:

«Вы, сударыня Анна Трофимовна, верно, удивились, что я уехала от Дюндиковых, не простившись с вами. Ну, правду сказать, никогда не ожидала я этакого сраму от Марфы Петровны; да и Клим Сидорович ничем не лучше ее. Друг друга стоят! Ведь вы, матушка, верно, не знаете, что они меня насильно выпроводили из дому, ей-богу — ну так! И хотели меня еще уверить, что это вы меня высылаете. Будто я вас не знаю, ангел мой! Чтоб язык у них не поворотился. Извините, сударыня Анна Трофимовна, чувствую, что грешно мне ругаться на старости лет, но я так на них сердита, право, ну что всего бы на свете им пожелала, кроме добра. Да накажет же их Бог за их дела! Боюсь за вас, сударыня, что вы остались у них одни, без защиты. Ведь не без злого умысла

они меня выслали; а какая у них цель, придумать точно не могу, а полагаю, что хотят расстроить вас с Владимиром Александровичем; да не бывать этому, не бывать! Однако берегитесь, матушка, они на всё способны! И в голову нам того не придет, что они придумать могут вам во вред. Но не робейте, ангел мой, и им не поддавайтесь. Дотащусь же я как-нибудь до тетушки Анны Андреевны, а она не оставит вас в волчьей яме, за это отвечаю! Вообразите себе, матушка, что не успела я проехать верст двадцать, как передняя ось у кареты сломалась. Ведь подпилили ее нарочно, окаянные! Простите великодушно, сударыня, не могу утерпеть, чтобы их не бранить. А кучер-то их, шельма, на другой день ни свет ни заря увел лошадей и оставил меня одну с сломанною каретою. Письмо это я нацарапала к вам, не зная, дойдет ли оно до вас. Впрочем, податель, кажется, человек хороший; если б не он, то до сих пор сидела бы я над каретой да плакала. Ведь и они люди крещеные, такие же, как и мы, матушка! И между ими есть и честные, и плуты. А он, кажись, добрый человек и знаком с Владимиром Александровичем. Сам вызвался отдать вам письмо это непременно. Христос с вами, мой ангел, будьте здоровы и не поддавайтесь Марфе Петровне».

Письмо это привело в ужас Анюту. «Господи! — подумала она, — к каким людям я попалась! И что я им сделала, что они так меня преследуют. Боже мой! Вот от кого зависит моя участь!»

Она горько заплакала и сквозь слезы неоднократно прочитывала письмо Клары Кашпаровны. Чтение это произвело, однако, благодетельное на нее действие: чем более она удостоверялась в злых умыслах опекуна, тем более рождалось в ней бодрости оным противиться, и наконец даже мысль, что Дюндик, может быть, показывал ей ложное завещание, — мелькнула в ее душе. Хотя страшилась она предаваться этой мысли, но, несмотря на то, надежда более и более в ней укоренялась. Когда же вспомнила она, каким непонятным, чудным образом дошло до нее это письмо, сердце ее наполнялось признательностью к провидению, пославшему ей утешение в горести. «Постараюсь всё переносить терпеливо, — сказала она сама себе, — пока приедет тетушка, буду молиться Богу: Он меня не оставит!» При всем том любопытство ее касательно чудного вестника Клары Кашпаровны осталось неудовлетворенным, ибо из письма не могла она никак догадаться, кто он таков.

Непонятное происшествие, случившееся в прошедшую ночь, занимало также и Дюндиковых, когда рано поутру сошлись они с Прыжковым у Марфы Петровны.

— Воля ваша, матушка, — говорил Клим Сидорович, еще не опомнившийся от вчерашнего испуга, — о чем тут ломать голову? Очевид-

но, как дважды два — четыре, что это был оборотень. Ну может ли обыкновенный человек, если не поддерживает его дьявольская сила, выскочить в окно с такой вышины? И отчего не остановил его Султан? Отчего из всех людей никто не видал его, кроме Тараски, который даром что кос, а видит лучше всех, особенно ночью, потому что у него мать была ведьма, в чем побожится всё село.

— Да ведь и Прыжков его видел, — заметила Марфа Петровна, — неужто и его мать была ведьма!

— А почему ж бы и не так? — подхватил Клим Сидорович сгоряча, забыв, что Прыжкова мать была родная сестра Марфы Петровны. — Может быть, и она была не без греха. Мне помнится, об ней довольно говаривали в молодости моей, что она по отцу принадлежит к такому роду, который не совсем чист перед Богом, что касается до колдовства...

Клим Сидорович приметил тут, хотя уже поздно, что попал впросак, и со страху закусил себе язык так крепко, что от боли высунул его далеко изо рта; но плачевная фигура его не растрогала Марфы Петровны.

— Дурак! — закричала она, пылая от гнева, — ты и в молодости был дурак, и теперь дурак, и всегда дураком будешь! Стало быть, по-твоему, и я ведьма?

Бедный Дюндик совершенно стал в тупик. Ссора между ними не скоро бы кончилась, если б Прыжков не вступил в посредничество и не отклонил внимания Марфы Петровны своими размышлениями о вчерашнем происшествии.

— По моему мнению, — сказал он, — вчерашнее видение — не ведьма и не оборотень, а гораздо хуже этого. Тут должна крыться какая-нибудь штука Блистовского, хотя и не могу я ее в точности проникнуть. Отчего дверь в пустые покои была отперта? Зачем Анна Трофимовна, когда вошли мы к ней, стояла посреди комнаты?

— Но если это был посланный Блистовского, — заметила Марфа Петровна, — зачем она так раскричалась?

— Вот этого-то я не понимаю. Она сказала нам, что ей пригрезился сон: положим, что это правда и что во сне выскочила она из постели и выбежала на середину комнаты, но отчего она была в салопе? Вы видите, что и с ее стороны дело не совсем ладно. Боюсь, что за вчерашним оборотнем явится и сам Блистовский, прежде нежели успеем мы кончить дело.

— А что бы ты советовал?

— Я думаю, что Клим Сидорович может объявить ей сегодня же о моем предложении. Посмотрим, что она скажет; а между тем советую уехать отсюда так, чтоб никто не знал куда; пускай нас здесь ищут.

Совет этот довольно понравился Марфе Петровне. Хотя по образу воспитания своего и она готова была верить ведьмам и оборотням, но довольно было для нее и самой тени возможности, что вчерашнее происшествие имело какую-нибудь связь с Блистовским, чтоб побудить ее ко всему. Пуще всего боялась она разрушения своих козней против Анюты, а потому скоро приняла предложение Прыжкова. Что касается до Клима Сидоровича, то ему, по обыкновению, осталось только исполнить ее волю. Итак, затруднение состояло в том единственно, куда им уехать?

В конце Кролевецкого повета, в темном, непроходимом бору, отдаленном от большой дороги, Клим Сидорович имел уединенный хутор, где, кроме полуразвалившейся мельницы и такой же винокурни, был небольшой домик, в котором он приставал, когда в прежние времена случалось ему посещать это имение. Селение, к коему принадлежал хутор, находилось верстах в пяти от оного, а в самом хуторе всегдашнее пребывание имел один только мельник с своим семейством. Винокурня уже несколько лет как была заброшена, и потому, кроме крестьян, ездивших туда во время больших засух, когда другие мельницы находились в бездействии, никто туда не заглядывал. Самому приказчику, жившему в селе, хутор этот известен был почти по одному названию, а бóльшая часть соседних помещиков не ведала даже о его существовании. Марфа Петровна знала его по одной только наслышке и по тому, что Клим Сидорович в число опасных похождений своей жизни включал и поездки свои в этот хутор. Он любил рассказывать о густом лесе, подходящем почти к самому строению, о множестве медведей, волков и рысей, в нем обитающих, и о славном малороссийском разбойнике Гаркуше,[58] который, по преданиям, когда-то имел там главное пристанище.

В этот-то хутор Марфа Петровна по совету Прыжкова решилась переселиться вместе с Анютою, дабы на досуге без всякого опасения от Блистовского довершить начатое предприятие. Чтобы вернее сохранить тайну этого путешествия, положено было даже и барышням не говорить ни слова о хуторе и вместо того объявить, что поедут в Полтаву.

Между тем Клим Сидорович в назначенное супругою время отправился, скрепясь с духом, к Анюте. Мы знаем, что он по природе имел большую склонность вредить ближнему; но склонность эту он любил удовлетворять тогда только, когда это не стоило ему излишних хлопот, и потому в течение жизни неоднократно ему случалось не делать зла единственно из лености и неповоротливости. Если же к хлопотам присоединялась еще какая-нибудь опасность, то он готов был оставить в покое величайшего своего неприятеля. Это расположение не делать зла из лености или боязни он называл в себе добродушием. В настоящем случае

одни хлопоты давно бы заставили его отступиться от Анюты, если бы и не имел он справедливых причин страшиться мщения Блистовского, которое беспрестанно ему мерещилось. К тому же рассуждения Прыжкова о вчерашнем происшествии вселили в него мысль, что Блистовский, может быть, в союзе с оборотнем, а это и того более его пугало. Но что ему оставалось делать? Он находился между двумя бедами: с одной стороны угрожали ему Блистовский и оборотень, а с другой Марфа Петровна, которая для него была страшнее и того и другого.

Он удивился, когда Анюта встретила его без всякого замешательства, и, после краткого вступления о вчерашнем происшествии и об ее здоровье, приступил к делу.

— Анна Трофимовна, — сказал он, — мне приятно было видеть, что вы так охотно решились исполнить мою волю. Я думаю только об истинной пользе вашей. Посудите сами: зачем бы мне не согласиться на то, чтоб вы вышли за Блистовского, ну какой мне от этого барыш? Поверьте, если б не было важных причин, которых, к сожалению, открыть вам не могу, то благословил бы вас обеими руками.

Анюта закраснелась и не отвечала ни слова,

— Я надеюсь, — продолжал он, — что вы и впредь также будете послушны и никогда не забудете, что я ваш второй отец. Вот, например, я теперь вам докажу, что желаю вашего счастия. Вы не имеете ни отца, ни матери и в таких летах, что пора выйти замуж. Вот у меня есть для вас жених: хороший дворянин, богатый помещик, человек умный, воспитанный, крепких напитков не употребляет, говорит по-французски не хуже вашего, собою молодец, мужчина ловкий, приятный, одним словом, — вы его знаете — это Онисим Федорович Прыжков, родной племянник моей жены и Святой Анны третьей степени кавалер. Он предлагает вам свою руку, и я на то согласен. Что вы на это скажете?

— Вы надо мною насмехаетесь, — отвечала Анюта с досадою.

— Ей-богу, я говорю серьезно. Хотите ли, чтоб я его позвал? Он здесь, стоит за дверью.

— Клим Сидорович! — вскричала Анюта, вскочив со стула,— этого уже слишком много. Прошу вас не употреблять во зло власти вашей и оставить меня в покое.

— Вот тебе на! Что вы так взбеленились? Ей-богу, не понимаю. Я серьезно спрашиваю вас, хотите ли вы выйти за Онисима Федоровича?

— Не хочу. Пожалуйте оставьте меня в покое.

— Что с вами сделалось, Анна Трофимовна? Я спрашиваю у вас решительно, принимаете ли вы его предложение?

— А я вам отвечаю решительно: нет!

— О-о! Так-то вы слушаетесь вашего опекуна? Вы забыли, что я могу вам приказать?

— Этого вы приказать мне не можете. А если и прикажете, то я не имею обязанности вам повиноваться.

— Вот это для меня ново. Разве забыли вы завещание? Хорошему же вас научили в монастыре! А проклятие отца вашего разве ничего?

Анюта вышла из терпения. Глаза ее засверкали; она подошла к нему ближе и сказала твердым голосом:

— Клим Сидорович! Не говорите мне о батюшке. В завещании, которое вы мне показывали, стоит, чтоб я не выходила замуж без вашего согласия. Если действительно такова была его воля, то я ей повинуюсь... но там не сказано, чтоб я дала слово тому, кого вы назначите, и потому убедительно прошу вас избавить меня навсегда от подобных предложений. Я хочу исполнить волю батюшки, а не вашу.

Выговорив слова эти, она отвернулась от него и подошла к окну.

Дюндик слушал ее, вытаращив глаза и разинув рот от удивления.

— Как? как! — проговорил он, — увидим, Анна Трофимовна, увидим!

Более он ничего не умел сказать, потому что на подобный случай не получал никакого наставления. В полном замешательстве вышел он вон и отправился к своей повелительнице, которая вместе с Прыжковым слышала весь разговор и ожидала его в другой комнате.

— Ну, матушка, — сказал Дюндик, когда они удалились к себе, — теперь делайте сами, что хотите, а я вовсе не знаю, что начать. Слышали вы, как она мне отвечала? Прыжков правду говорил: недаром являлся вчерась оборотень. Куда! и не похожа на прежнюю скромницу. Хорош я опекун! Я стоял перед ней как мальчишка!

— Подлинно как мальчишка, — заметила Марфа Петровна, — уж я бы ей на твоем месте доказала дружбу.

— А что б вы сделали, матушка? Вы видите, что она теперь и от завещания не унимается.

В самом деле, и Марфа Петровна была в затруднении, хотя, по обыкновению, не могла утерпеть, чтоб за неудачу не побранить мужа.

— Вы видите, — сказал Прыжков, — что вчерашний оборотень имеет какую-нибудь связь с Блистовским. Иначе отчего бы она вдруг так переменилась? Заметили вы, что она теперь заговорила совсем в другом тоне?

— Я так очень заметил, — подхватил Дюндик, — по чести, я вовсе не знал, что ей отвечать.

— А всё это ваша вина, — прервала его Марфа Петровна. — Как вы не догадались написать в завещании, чтоб она непременно вышла за того, кого опекун назначит. Теперь трудно исправить эту ошибку.

— Да и завещание-то теперь не очень действует, — отвечал Прыжков. — Вы слышали, что она сказала: *если это действительно воля батюшки*? Стало быть, она не совсем тому верит? Но теперь, на первый случай, надобно поспешить отъездом, это главное; а там увидим, что будет далее.

Весь день прошел в приготовлениях к отъезду. Барышням поручено было объявить Анюте, что в следующее утро рано они поедут в Полтаву. Ей очень непонятно было такое известие, но могла ли она противиться? Анюта в короткое время, проведенное с Дюндиковыми, приобрела уже столько опытности, что без труда отгадала причину неожиданной и поспешной их поездки. Она не сомневалась, что путешествие это скрывает новые против нее козни; но при всем том должна была безотговорочно покориться необходимости. К тому же она твердо была уверена, что тетушка, не отыскав ее в деревне, немедленно поедет за нею в Полтаву и что таким образом, вопреки стараниям Дюндиковых, неприятное положение ее продлится только немногими днями.

В продолжение всего этого дня она только во время обеда видела хозяев дома. Никто не упоминал ни слова о последнем разговоре ее с опекуном. Прыжков был молчаливее обыкновенного: он казался печальным и тяжко вздыхал, когда страстные взоры его встречались с холодным взглядом Анюты, которая, впрочем, всячески избегала этой встречи.

Глава XIX

УЕДИНЕННЫЙ ХУТОР

В то самое время, когда на другое утро Марфа Петровна с дочерьми и с Анютою садились в карету, подали Климу Сидоровичу пакет, присланный с эстафетою. При первом взгляде он узнал почерк Анны Андреевны; тут же было и другое письмо на имя Анюты. Марфа Петровна, увидя, что приехавший из города слуга отдал мужу ее пакет, открыла уже рот, чтобы потребовать оный себе; но Дюндик мигнул ей так значительно, что она догадалась, о чем идет дело, поспешила усесться и приказала кучеру ехать. Тетушка в письме своем к Климу Сидоровичу жаловалась на то, что он задержал Анюту против ее воли, и пеняла ему за Клару Кашпаровну. «Вы, милостивый государь Клим Сидорович, —

писала она в заключение, — на меня не прогневайтесь, если напомню вам, что святая православная вера наша не велит нам лгать: что будто Галечка осталась у вас по доброй воле и отослала Кашпаровну, не написав ко мне даже ни строчки, — так это ложь, мой батюшка, совершенная ложь, прости меня, Господи! Я человек маленький, Клим Сидорович; только скажу вам без лести: если вы обидите мою Галечку хоть на волос, так вы от меня нигде места не найдете. Дойду до самого царя, не токмо что до губернатора! Прошу на меня не прогневаться. Я бы сама к вам приехала вместо эстафеты, да ожидаем Владимира Александровича с часа на час: уж пусть лучше поедем вместе. Затем, пожелав вам доброго здоровья и всякого благополучия, а милостивой государыне Марфе Петровне свидетельствую мое почтение. Стыдитесь, батюшка, что забыли закон христианский; в ваши лета, Клим Сидорович, до суда Божьего недалеко».

В Анютином письме, которое Дюндик распечатал без обиняков, Анна Андреевна уговаривала любезную свою Галечку быть спокойною и обещалась в скором времени приехать за нею вместе с Владимиром. Оба письма Клим Сидорович читал, сидя в коляске с Прыжковым, и, не удерживаемый присутствием строгой супруги, дал волю своему неудовольствию.

— Уж я с самого начала видел, что из этого не будет добра, — говорил он. — Ведь надобно же Марфе Петровне взять себе в голову, чтоб непременно расстроить эту свадьбу. Плюнула бы на них, да и полно; а то разгневалась за то, что Блистовский не посватался за Веру. Экая беда! Как будто без него нет женихов на свете. Я ведь и сам, кажется, отец и не менее люблю дочь, да на всё есть и время и мера. Если б можно было задеть их так, чтоб самим не попасть в петлю, — зачем нет? Я не прочь. А то, смотри пожалуй, одна взбалмочная Лосенкова наварит нам такую кашу, что мы и жизни не рады будем. Чего доброго: баба сумасшедшая, пожалуй, напишет к государю... От нее это станется!

— О чем заранее хлопотать, дядюшка! — сказал Прыжков. — Подумаем лучше, как воспользоваться временем, пока Блистовский не откроет, куда мы уехали. А что касается до угроз Анны Андреевны, так о том покамест горевать нечего. Улита едет, когда-то будет! Пускай ее жалуется, нельзя же ведь от вас отнять, что вы опекун!

— А ложное завещание?

— Да кто его видел? Кто может доказать на нас? А хотя бы и доказали, ведь мы не в суд его предъявили. Вольно было Анне Трофимовне верить пустой бумаге, которую для ее же пользы вы сочинили

как опекун. Впрочем, до этих объяснений еще далеко; а между тем пускай себе Анна Андреевна с Блистовским прогуливаются от Барвенова до Будища, а от Будища до Полтавы. Пока они будут разъезжать то взад, то вперед, мы, может быть, успеем и Анюту переманить на свою сторону. Я еще не потерял надежды.

— Да, тебе любо чужими руками жар загребать! — сказал Дюндик, немного успокоенный словами Прыжкова, — а мне-то каково? ведь всё лежит на мне: без меня вы и шагу сделать не можете.

Письмо Анны Андреевны не только не устрашило Прыжкова, но, напротив того, удостоверило его, что Владимир еще не возвратился в Малороссию, и это немного успокоило его подозрение о ночном происшествии в пустых комнатах, в котором, по-видимому, Блистовский не имел никакого участия. Однако он не мог быть совершенно спокойным. Ему казалось не подверженным сомнению, что непонятное это происшествие имело влияние на Анюту, ибо оно одно, по мнению его, могло внушить ей в следующее утро столько решимости против опекуна. «Но если это так, — подумал он опять, — если явление этого человека действительно послужило к ее ободрению, то зачем же она раскричалась, зачем она так была испугана?» Тщетно старался он разгадать эту загадку: она оставалась для него неразрешимою.

Анюта между тем, сидя в карете, предавалась размышлениям о том же предмете, и никто ее в том не тревожил, ибо Марфа Петровна не говорила с нею ни слова, а барышни болтали о полтавских знакомых, которые не возбуждали в ней никакого участия. Она с благодарностию вспоминала о незнакомце, который с такою отважностию подвергал жизнь свою очевидной опасности для того только, чтоб доставить ей письмо. Она досадовала на себя за трусость, лишившую ее случая чрез него уведомить тетушку о своем положении и вместе узнать, кто он таков, ибо из письма Клары Кашпаровны невозможно было сделать о нем никакого заключения.

Путешественники наши остановились только на короткое время, чтоб покормить лошадей, а потом опять пустились в путь. Пока отдыхали лошади, Марфа Петровна сочла за нужное втайне объявить дочерям, что они едут не в Полтаву, а в хутор, ибо скоро приходилось своротить с Полтавской дороги, и она не без основания опасалась, что они, не быв о том предварены, могли бы вопросами своими вселить подозрение в Анюте. Известие это крайне им не понравилось; но когда объяснили им причины, к тому побудившие, они охотно покорились необходимости и вознамерились всеми силами способствовать достижению общей цели.

Таким образом ехали они два дня, в продолжение которых не случилось ничего достойного замечания. Полтавская дорога давно уже осталась в стороне, а Анюте и в голову не приходило, что путешествие их имело иное назначение. В исходе второго дня, когда карета поворотила на узкую и неровную дорогу, Марфа Петровна сказала, как будто мимоходом, что они будут иметь ночлег в принадлежащем им хуторе, который посещает она в первый раз.

— Ах, это, верно, в Шендре, — вскричала Вера с видом удовольствия, — я давно желала побывать в этом хуторе. Говорят, местоположение прекрасное?

— Он окружен лесом, — отвечала Марфа Петровна, — в котором бывает множество грибов и разного рода ягод.

— Ах, как я люблю ходить за грибами! — подхватила Софья, — мы там проживем несколько дней, маменька, не правда ли?

— День и другой, может быть, пробудем. Надобно же осмотреть хозяйство.

В разговоре этом Анюта не нашла ничего подозрительного, хотя сожалела, что прибытие ее в Полтаву и, следственно, свидание с тетушкою чрез то отдалится. Что касается до барышень, то, несмотря на изъявленную ими прежде радость, даже окрестности хутора уже не обещали им ничего утешительного. И в самом деле, они редко кому могли бы внушить иное чувство, кроме тоски или ужаса.

Густая тьма окружила их, когда въехали они в частый сосновый бор, куда не могли проникнуть слабеющие лучи вечернего солнца. Бессчетное множество ворон и галок, собираясь на ночлег, тесными стаями тянулись над ними и с пронзительным гарканьем опускались на высокие вершины дерев. Усталые кони едва подвигались вперед по глубокому песку, и крик кучеров, их понуждающих, раздавался по лесу диким гулом. Барышни молча прижались друг к другу, и все им известные повести о разбойниках, привидениях и леших начали освежаться в их памяти в страшных картинах. У Марфы Петровны сердце также не совсем было на месте. И мать, и дочери за то внутренно проклинали бедную монастырку, которая между тем нимало не помышляла ни о разбойниках, ни о привидениях; мысли ее в это время блуждали в Барвенове.

Уже поздно вечером прибыли они в хутор, где встречены были Климом Сидоровичем и Прыжковым, отправившимися туда вперед. Они успели кое-как очистить и прибрать господский домик, в котором назначено было поместиться Марфе Петровне с дочерьми и с Анютою; для самих же себя устроили они ночлег в небольшой избе, стоявшей неподалеку от главного дома. Все так устали от скучной и продолжитель-

ной дороги в лесу, что вскоре по приезде поспешили разойтись по своим комнатам.

Анюте досталась небольшая угловая комната, служившая первоначально чуланом и из которой дверь была прямо на двор, имевший в ширину не более осьми или десяти шагов и окруженный плетнем, к коему плотно примыкал густой лес. Подле ее комнаты за глухою стеною была столовая, которая отвечала и за гостиную, а за нею следовали покои Марфы Петровны и дочерей ее. Из всех путешественников одна, может быть, Анюта легла спать без всяких предубеждений против этого хутора, который во всех других произвел более или менее неприятные впечатления.

Она покоилась еще крепким сном, когда на другое утро разбудили ее громкие разговоры прочих путешественников, вставших ранее обыкновенного по причине беспокойного ночлега и уже собравшихся в соседней комнате. Все жаловались на проведенную почти без сна ночь. Марфе Петровне мешал спать филин, кричавший, как уверяла она, до самого утра; а дочери ее, кроме того, слышали еще какой-то странный шепот под окнами и подозрительный свист в лесу. Это подало Дюндику повод рассказывать об известном разбойнике Гаркуше, имевшем в этом бору главное пристанище.

— Вот тогда-то было время страшное! — говорил он, — оно еще в свежей у меня памяти. Бывало, вдруг пронесется молва, что к такому-то помещику будет Гаркуша; откуда молва бралась — никто не знал, только никогда она не проходила даром. Что ж? И в голову никому не приходило готовиться к защите — сохрани Бог! Что успеет бедный помещик забрать из лучших вещей, то в охапку, да и давай Бог ноги! Ни души в доме не останется; а Гаркуша придет, выберет себе на просторе, что ему нужно, да и поминай как звали! Случалось иногда, что иной помещик сдуру даст знать о том земской полиции — и того хуже! Пока полиция собирается, а Гаркуша все-таки придет, ограбит да вдобавок еще зажжет дом со всех четырех углов. То-то, подлинно, было время!.. Нас тогда Бог миловал: Гаркуша, спасибо ему, нашего ничего не трогал. Может быть, из благодарности за то, что имел спокойный приют в этом лесу.

— А кто тогда жил в хуторе, батюшка?

— Да хутора тогда еще не было. Винокурня-то выстроена после Гаркуши. Тогда стояла здесь одна старая мельница, да и в ней завозу не бывало вовсе. Кому охота была ездить на мельницу! Я еще помню, что тут, где теперь этот дом, поставлен был большой деревянный крест, потому что на самом этом месте Гаркуша зарезал женщину, да еще с груд-

ным ребенком. Бывало, мельник рассказывал, что в ночную пору часто около этого креста играли два огонька, один побольше, а другой поменьше: это, верно, были души убитых, и в то же время всегда в лесу слышен был такой стон, что у мельника на голове волосы подымались как щетина!

— Ах, Господи! — вскричали Вера и Софья, побледнев. — Разве нельзя было выстроить дома в ином месте?

— Да, вы говорите. Был у меня приказчик, англичанин; нечего сказать, человек преискусный, он и винокурню здесь устроил — да ведь они ничему не верят! Ему, видно, надоели поговорки об этом кресте и об Гаркуше; он, ни дай ни возьми, — взял, выкопал крест да и построил тут дом. Я ужаснулся, когда узнал эти проказы, но поздно было поправить дело! Англичанина, разумеется, я тотчас прогнал, а дом остался. Не ломать же его!

— Маменька, — сказала Вера, обратясь к Марфе Петровне, — вот отчего слышен был ночью шепот и свист! Ой, кабы нам скорее отсюда убраться!

Марфа Петровна сидела, пригорюнившись, и не говорила ни слова. Она почти столько же, как супруг ее, боялась привидений, а дикий и уединенный хутор весьма способен был к поддержанию этой боязни. Проведенная под напевом филина ночь и того более расположила ее к подобным впечатлениям, и потому она молча и с любопытством слушала долгие рассказы Клима Сидоровича, который, быв одобрен необычайным ее вниманием, с удвоенною охотою распространялся об этом предмете. Прыжков, хотя и покушался смеяться над его рассказами, но, заметив, что шутки его раздражали слушателей, решился молчать.

Разговоры эти прекратились тогда только, когда вошла к ним Анюта. Все, кроме Прыжкова, взглянули на нее с таким суровым видом, что она смешалась, не зная, чему приписать явное их неудовольствие. Могла ли она вообразить себе, что они на нее сердились за пребывание свое в страшном для них хуторе!

После чаю пошли они взглянуть на мельницу и на винокурню, но прогулка эта мало им доставила развлечения. Всё казалось им так уныло, так дико, что, несмотря на старания Прыжкова, ему не удалось развеселить их ни на одну минуту. Весь день прошел в тщетных покушениях чем-нибудь разогнать скуку. Марфа Петровна, сидя на крыльце, считала тальки[59] и бранила приказчицу; барышни бродили около пруда, заросшего тростником, ловили рыбу на удочку и искали грибов по опушке бора; но хутор от этого не переменял своего мрачного вида. Когда настал вечер и солнце скрылось за лесом, рассказы Клима Сидо-

ровича начали оживляться в их воображении: им показалось страшно оставаться в присутствии древних сосен, современных Гаркуше, и они поспешили домой. Но и тут, на самом пороге, встретило их воспоминание о зарезанной женщине и о скачущих огоньках.

Таким образом прожили они в хуторе около трех дней, и положение их становилось ежеминутно несноснее. Анюта, не понимая причины, заставлявшей их оставаться в таком месте, которое, очевидно, им не нравилось, неоднократно спрашивала, зачем не продолжают пути в Полтаву; но на эти вопросы отвечали ей явными подлогами, и она наконец перестала говорить об отъезде. Между тем ни Дюндик, ни сам Прыжков не знали, что начать с Анютою: заставить Клима Сидоровича ее уговаривать было бы вовсе безуспешно, а надежда Прыжкова любезностию своею тронуть ее сердце также совсем почти исчезла. Он ясно видел, что она не обращала на него никакого внимания; а когда их нарочно оставляли одних, чтоб доставить ему случай ее пленить, она удалялась в свою комнату, невзирая на строгие приказания Марфы Петровны, которые иногда доходили почти до брани.

Итак, несносная для всех жизнь в хуторе не принесла никакой пользы их видам, кроме удаления Анюты от тетушки. Рано или поздно она, однако же, должна была открыть их местопребывание, и они чувствовали, что в таком случае уже навсегда прекратилось бы влияние опекуна на Анюту. Надлежало принять какие-нибудь решительные меры, тем более что Марфа Петровна не могла равнодушно думать о продолжении пребывания своего в хуторе. Но сколько ни ломали они себе голову, никто не мог придумать ничего дельного, и Марфа Петровна после каждого разговора об этом предмете становилась недовольнее и сердитее. Ко всему этому присоединились еще и толки слуг, которые громко поговаривали, что в ночное время в хуторе что-то неладно. Сначала не обращали большого внимания на эти толки, которые Прыжков всегда объявлял пустяками; да и в самом деле они не заключали в себе ничего важного. Иной видел, что на кровле господского дома что-то шевелилось; другой рассказывал, что вечером встретил он черную кошку, которая не хотела посторониться с дороги; третий уверял, что каждую ночь кто-то царапается в дверь кухни. Всё это хотя увеличило страх Дюндика и его семейства, но, по мнению Прыжкова, могло быть объяснено самым естественным образом.

В исходе третьего дня рассказы эти приняли, однако, вид более важный, так что возбудили внимание самого Прыжкова. В этот вечер кучер в величайшем страхе прибежал на кухню и объявил, что, вошед в конюшню, чтоб лечь спать, он нашел всех лошадей повороченных хвостом

к яслям. В самое то время повар, открыв кастрюльку, в которой на ужин готовилась курица, вместо оной нашел лошадиное копыто!

Вести эти в ту же минуту дошли до Клима Сидоровича, который, побледнев от страха, сообщил их жене и дочерям и перепугал их до полусмерти. В справедливости этого происшествия невозможно было сомневаться, ибо кучер и повар ссылались на свидетелей, к тому же копыто находилось еще в кастрюльке, а до лошадей кучер после того и не дотрогивался. Прыжков отправился туда, чтоб удостовериться собственными глазами; но и тут не нашел он в этом ничего сверхъестественного и утверждал, что, верно, кто-нибудь из людей же сыграл эту шутку. Он грозил исследовать это дело на другой день и обещался строго наказать виновного. Но при всем том ему не удалось успокоить ни Клима Сидоровича, ни Марфу Петровну.

После ужина, до которого никто из всего семейства не хотел и коснуться, Дюндик боялся идти один в свою избу и потому, под предлогом, что в темноте опасается упасть, приказал двум лакеям вести себя под руки. В самом деле, ночь была ужасно темная, так что фонарь, который нес один из слуг, едва освещал перед ними дорогу. Клим Сидорович, крепко упираясь на своих вожатых, счастливо спустился с крыльца; но не успел он еще ступить двух или трех шагов, как кто-то сзади сорвал с него картуз.

— Полно дурачиться, Прыжков! — закричал он с сердцем, — с ума ты сошел, что ли?

Он остановился. Всё около него было тихо, ничто не шевелилось.

— Повеса негодный, — продолжал Дюндик голосом, уже потерявшим немного твердость, — где ты? Что за глупые шутки!

— Онисим Федорович остался с барынею, — сказал один из людей.

— Не может быть! Да кто же сорвал с меня картуз?

— Не могу доложить, ваше высокородие.

Клим Сидорович задрожал всем телом и, крепко схватившись обеими руками за лакеев, поспешно возвратился. При входе в комнату он увидел Прыжкова, сидящего на софе подле Марфы Петровны.

— Что это значит? — вскричала она, заметив, что он побледнел и дрожал как лист.

— Хоть вы меня убейте на месте, так я не выйду из этой комнаты, — сказал Дюндик, бросившись в кресла. — Да расточатся врази твои...[60]

— Что с вами сделалось, дядюшка? — спросил Прыжков с удивлением.

— То-то, дядюшка. А всему виноват ты! Если б не ты, так мы бы не приехали в этот проклятый хутор. Тьфу, с нами сила Господня! Господи, помилуй мя грешного. Верую во единого...[61]

Дюндик долго не мог опомниться и продолжал прерывать восклицания свои всеми молитвами, которые приходили ему на память. Наконец, когда добились от него толку, Прыжков захохотал во всё горло.

— Не стыдно ли вам, дядюшка! — сказал он ему. — У вас ветром сдернуло с головы картуз, а вы себе воображаете, что это домовой или тень Гаркуши! Ну как вам не стыдно быть так трусливу!

— Вот тебе на, ветер! Будто я не знаю, что ветер и что... В руце твоя предаю себя, Господи! Помилуй мя грешного, помилуй мя![62]

Сколько ни уговаривал его Прыжков, он всё оставался при своем и ни под каким видом не хотел идти к себе. Марфа Петровна, хотя верила словам мужа, но, опасаясь, что он, быв столько напуган, не даст ей спать целую ночь, старалась также его успокоить, скрывая притом, что и она находится в подобном положении. Наконец настоянием своим довела она до того, что он согласился уйти, с тем, однако ж, условием, чтоб проводил его Прыжков. Итак, бедный Клим Сидорович отправился в свою избу, приняв всевозможные предосторожности к охранению себя от новой беды: Прыжков должен был идти впереди; за ним следовал сам Дюндик, плотно прижавшись к лакеям, которые поддерживали его с обеих сторон; ход заключал еще третий слуга, вооруженный порядочною дубиною. Вдобавок Клим Сидорович крепко зажмурил глаза, чтоб не видать ничего неприятного, и, беспрестанно читая в уме молитвы, благополучно достиг таким образом до своего ночлега.

Легко представить себе можно, что и Марфа Петровна не провела этой ночи покойно. Выпроводив мужа, она также отправилась к себе, крепко-накрепко приказала затворить двери и заставила девок своих, лежавших тут же на полу, громко разговаривать между собою. Но средство это, в подобных случаях неоднократно ей помогавшее, оказалось на этот раз недействительным. В величайшем беспокойстве бросалась она нетерпеливо с боку на бок, напрасно ожидая сна. Филин, несносный филин, и в эту ночь беспрестанно повторял свою дикую песнь; иногда даже представлялось Марфе Петровне, что крик его не совсем похож был на обыкновенный голос этой птицы, но она старалась удалить от себя эту мысль, еще умножавшую в ней страх. Затруднительное положение, в котором находилась она в отношении к Анюте, также немало ее тревожило. Когда Клим Сидорович ввечеру так неожиданно возвратился к ней без картуза, она именно об этом предмете разговаривала с Прыжковым и настоятельно требовала, чтоб он придумал средство

к скорейшей развязке. Теперь всё это вместе занимало ее воображение и так ее беспокоило, что она не могла заснуть ни на одну минуту. Едва солнце начало показываться на небе, как вскочила она с постели и послала позвать к себе Прыжкова.

Он удивился, увидя ее бледную, с впалыми глазами и столько переменившуюся в лице, что она казалась одержима тяжелою и изнурительною болезнию.

— Уж как ты себе хочешь! — сказала она ему, лишь только его завидела, — а я долее не останусь в этой чертовой берлоге. Что будет, то будет, а здесь мне нет житья!

Старания Прыжкова хотя немного ее успокоить были совершенно тщетны, и она объявила наотрез, что не останется тут ночевать ни под каким видом. Итак, надлежало взять решительные меры касательно Анюты, ибо им казалось тяжело вдруг отказаться от выгод, которых прежде ожидали от пребывания своего в хуторе. После долгого совещания наконец придумали они средство, которое, по мнению их, обещало успех несомненный и притом не препятствовало Марфе Петровне в этот же день оставить ненавистный хутор.

Анюта стояла над пропастью, и погибель ее казалась неизбежною. Мы увидим после, в чем состояли новые умыслы ее гонительницы и какие они имели последствия.

Глава XX

ПОБЕГ

Из тогдашних жителей хутора менее всех беспокоилась о привидениях Анюта. Хотя сначала и старались всячески скрывать от нее слухи о чрезвычайных происшествиях, которые столько всех занимали, но, несмотря на принятые предосторожности, не можно было помешать, чтоб не дошло и до нее несколько подозрительных рассказов, которые, без сомнения, должны были внушить ей страх. При всем том она не показывала ни малейшего беспокойства, и сам Прыжков не мог надивиться ее равнодушию. И мы, признаться, не менее его бы удивлялись, если б не были посвящены во все таинства ее чувствований, если б не были нам известны сокровеннейшие изгибы ее сердца.

Странное происшествие в Будище, имевшее целью доставление ей письма от Клары Кашпаровны, не выходило ни на минуту из ума нашей монастырки. Ей казалось, что с того времени она находится под силь-

ным покровительством лица, хотя ей неизвестного и для нее непонятного, но в благорасположении которого она твердо была уверена потому, что не могла сомневаться в связи оного с любезным Барвеновым. В продолжение самого путешествия она беспрестанно ожидала, что нечаянным или необыкновенным образом получит весть от тетушки или от Блистовского, и потому часто со вниманием всматривалась даже в такие предметы, на которые в другое время она совсем бы не смотрела. Когда останавливались они в крестьянских хатах, она на тусклых оконных стеклах искала значительной надписи или вглядывалась, не найдет ли чего-нибудь подобного на светлых, вымазанных мелом стенах. Иногда ей казалось, что встречающиеся с нею люди делают ей знаки; а один раз она твердо уверилась, что ручной голубь, который во время обеда, воркуя, подбирал около нее крохи, должен непременно доставить ей записочку от Блистовского. И хотя не нашла она ничего ни на темно-зеленых стеклах, ни на белых стенах, хотя у голубя, которого взяла она в руки, не было записки под крылышком, но она не могла бросить приятной для себя надежды.

В первый день прибытия их в хутор, когда все уже разошлись на ночлег и Анюта пошла к себе в комнату, в которую не иначе могла войти, как со двора, ей послышалось, будто что-то шевелится за плетнем. Невольно она взглянула и действительно удостоверилась в том, что не ошиблась. Ей даже довольно ясно показалось, что два сверкающие глаза глядели на нее пристально и скрылись. Но всё сделалось так скоро, притом же тогда было так темно, что она не могла ничего различить. Обстоятельство это возобновило, однако, в воображении ее мысль о том непонятном человеке, посредством которого получила она письмо от Клары Кашпаровны.

На другой вечер при возвращении в свою комнату представилось ей то же явление. Она остановилась и ожидала, что из-за плетня вдруг явится пред нею та косматая фигура, которая столько испугала ее в Будище, и твердо вознамерилась на этот раз не закричать. Но ожидания ее были тщетны и с таким же малым успехом возобновлялись каждый вечер. Между тем дошедшие до нее слухи о необыкновенных происшествиях еще более утвердили ее в прежнем мнении, и она потому не находила в них ничего сверхъестественного. Она полагала, что тот, который так искусно умел исчезнуть из пустых комнат будищского дома, конечно, в состоянии переставить лошадей хвостом к яслям или сдернуть картуз с Клима Сидоровича. Таким образом те же самые обстоятельства, которые прочих устрашали, служили, напротив того, к ее ободрению; и она более и более уверялась в том, что была невидимо охра-

няема сильным защитником, который в случае нужды мог подать ей руку помощи.

В тот самый день, когда Марфа Петровна после проведенной ею беспокойной ночи непременно решилась оставить хутор и когда уже она приготовлялась втайне к отъезду, Анюта, вошед вскоре после обеда в свою комнату, нашла на окошке письмо, запечатанное и надписанное на ее имя. При виде оного ей тотчас пришел на ум вестник Клары Кашпаровны; она с нетерпением сорвала печать и, к крайнему изумлению, прочла следующие строки:

«Вас, сударыня Анна Трофимовна, обманывают: вы не в Полтаву едете; везут вас бог знает куда, так что, может быть, после и отыскать вас не можно будет. Этот хутор не на Полтавской дороге, и они вам беду готовят. Тетушка Анна Андреевна с барином Владимиром Александровичем приезжали в Будище за вами и там вас не нашли; им сказали, что будто уехали в Полтаву. Они отправились за вами вслед и узнали, что вы по Полтавской дороге вовсе не проезжали. Вот и разъехались мы в разные стороны, чтоб вас отыскивать, и я так счастлив, что вас, сударыня, отыскал. А у Клима Сидоровича что-нибудь да недоброе на уме; они сегодня собираются ехать из хутора и людям запретили вам про то сказывать. Тетушка отсюда верстах в двадцати изволили занемочь крепко; сами писать не смогут, а приказали просить, чтоб вы приехали к ним со мною. Да чтоб Клим Сидорович и Марфа Петровна про то не сведали, сохрани Боже! Они вас к тетушке не пустят и увезут бог весть куда! Вы извольте пойти по той тропинке, что против ваших окошек; с пути сбиться не можно, а там выйдете на широкую дорогу, где я буду ожидать вас с каретою. Не бойтесь, сударыня, да не теряйте времени, а то будет поздно. Они сегодня же перед вечером уезжают и завезут вас бог знает куда! А тетушка Анна Андреевна больно занемогли!»

Можно представить себе, как испугалась Анюта, прочитав это письмо. Тетушка в двадцати верстах от нее и больна, — может быть, даже больна опасно, ибо без того она написала бы к ней хоть одну строчку. В душевном беспокойстве о тетушке она почти забыла о собственном своем положении; она ни минуты не помыслила о том, каким образом ей одной пуститься в темный бор — для тетушки она готова была броситься хоть в огонь. Ей не пришло на ум ни малейшего сомнения о справедливости полученного ею письма; всё это совершенно согласно было с ее ожиданиями; и она, не медля нимало, бросилась бы бежать по назначенной тропинке, если б не вспомнила, что благоразумие требует прежде посмотреть, чем занимаются Дюндики и можно ли ей будет пойти в лес, не внушив им подозрения. Сердце сильно в ней билось и

колени ее дрожали, когда вышла она в гостиную, где незадолго пред тем всех их оставила; но там уже не было никого. Анюта решилась идти к ним в спальню, сама еще не зная, какой придумать к тому предлог. Она застала их в полном занятии с горничными девушками, которые спешили укладывать в чемоданы платье и белье. Приход ее, казалось, привел их в замешательство.

— Что вам угодно, Анна Трофимовна? — спросила отрывисто Марфа Петровна.

— Ничего, — отвечала, запинаясь, Анюта. — Я только хотела спросить, не угодно ли будет идти теперь погулять; погода, кажется, прекрасная!

Сказав это, она испугалась, помыслив, что, может быть, и в самом деле согласятся на ее предложение; но, к крайнему ее удовольствию, Марфа Петровна отвечала довольно сурово, что ей теперь не до гулянья.

— Вы уже укладываетесь, — заметила Анюта, — разве мы скоро поедем отсюда?

— Нет!.. не скоро... это так только... надобно же быть готову заранее.

Анюта еще более удостоверилась, что известие незнакомого о предполагаемом отъезде Дюндиковых было совершенно справедливо, и поспешила выйти, чтоб не терять времени. Как она боялась, чтоб ее не задержали! Дабы не внушить подозрения, она сначала принудила себя идти медленно по назначенной тропинке и боялась даже оглядываться. Но при первом изгибе дороги, как скоро она могла заключить, что густота леса скрывает ее от взоров жителей хутора, она пустилась бежать, как будто совершила какое-нибудь преступление. Вдруг пришло ей на мысль, что она легко может встретить Прыжкова, иногда занимавшегося охотою; что бы он подумал, увидев ее бежавшую? Кто-нибудь из служителей или работников также мог ее встретить и донесть о том Климу Сидоровичу, прежде нежели бы она успела достигнуть ожидающей ее кареты. Мысль эта заставила ее остановиться. Она оглянулась на все стороны и начала прислушиваться; но, не заметив ничего подозрительного, продолжала путь поспешными шагами. Лес всё становился темнее и темнее; ей представилось, что она может заблудиться. «Что тогда будет со мною?» — подумала она, и холодный пот выступил по ней при этой мысли. Но желание увидеться с бедною тетушкою и избавиться от преследований Дюндиковых ее ободряло. Несмотря на то что начинало уже смеркаться, она ясно могла различить, что тропинка, по которой она шла, нигде не разделялась, и это подало ей надежду, что она не собьется с дороги. В самом деле, вышла она наконец на небольшую площадку,

где, к крайнему удовольствию своему, увидела ожиданную с таким нетерпением карету. Человек, ей вовсе незнакомый, подошел с таинственным видом и объявил о себе, что он камердинер Блистовского.

— Не опасайтесь ничего, сударыня, — сказал он ей тихонько, — извольте сесть в карету. Часа через два мы будем у тетушки.

Он отворил дверцы, помог ей войти, а сам уселся на козлах. В карете была женщина. Анюта не могла различить черты ее лица, потому что на дворе уже смеркалось; к тому же все занавески были опущены, вероятно из предосторожности. «Не Клара Кашпаровна ли это?» — подумала она сначала. Но ростом женщина эта не была похожа на Клару Кашпаровну, и Анюта, рассмотрев ее внимательнее, удостоверилась, что она ее не знает.

— Кто со мною в карете? — спросила она наконец, обратясь к ней.

— Тише, сударыня, тише, — отвечала она вполголоса, — ради Бога! не говорите ни слова, пока мы не выедем из лесу.

— Да скажите мне, что сделалось с тетушкой, чем она нездорова?

— Ради Христа, не говорите ни слова. Тетушка слегка простудилась; это ничего, совершенно ничего, сущая безделица! Вы скоро ее увидите, только возьмите терпение и не говорите ни слова.

Анюта замолчала. Любопытство узнать, кто эта женщина, недолго ее беспокоило. Она легко представить себе могла, что это должна быть знакомая Анны Андреевны, пользовавшаяся полною ее доверенностию; иначе бы ей не дали такого поручения. К тому же нетерпение увидеться с тетушкою, опасение найти ее больною, надежда в непродолжительном времени соединиться со всеми любезными ее сердцу — всё это совершенно заняло ее воображение. Читатели легко представить себе могут, что и Блистовский немаловажное занимал место в ее мыслях. Последние козни Дюндиковых, о которых она была уведомлена письмом камердинера, подтвердили в ней подозрение, что страшное для нее завещание могло быть подложно. Она по крайней мере была уверена, что тетушке совершенно должно быть известно содержание оного; и в самом несчастном случае — если действительно покойный майор Орленко предоставил Дюндику решение ее судьбы, и тут она, с помощию Анны Андреевны, надеялась приискать способ, как смягчить опекуна. Предавшись приятным этим мыслям, она оставила в покое свою сопутницу и с нетерпением ожидала той счастливой минуты, когда она бросится в объятия тетушки. По расчету ее давно уже прошло около двух часов с тех пор, как она села в карету, а они всё еще не выехали из лесу, который ежеминутно становился темнее. «Но, может быть, — подумала она, — время мне кажется медленным от нетерпения».

Вдруг карета остановилась. Слышно было, что кучер с другим слугою слезли с козел и довольно громко между собою рассуждали. Женщина, бывшая с Анютою, показывала большое беспокойство и наконец опустила окошко, к которому тотчас подошел слуга, сидевший прежде с кучером на козлах. Анюта не могла разобрать, что он сказал; но женщина, выслушав его с нетерпением, велела отворить дверцы и выскочила из кареты.

— Что там сделалось? — вскричала Анюта и хотела следовать за нею, но слуга ее не допустил.

— Сидите, сударыня, — сказал он, — не беспокойтесь, это ничего. Поперек дороги лежит срубленное дерево, надобно его стащить, да теперь так темно, что хоть глаз выколи. Мы высечем огня.

Анюта успокоилась. Между тем хлопоты около кареты продолжались очень долго. Она видела, что женщина усердно помогала людям, и удивлялась ее проворству и ловкости, с коими она бралась за дело вовсе не женское. Между тем высекли огонь и зажгли один из каретных фонарей, который женщина взяла в руки, чтоб посветить кучеру и слуге, трудившимся около тяжелого дерева, совершенно заградившего дорогу. Нечаянно свет из фонаря ударил прямо в лицо незнакомой, и Анюта, к крайнему удивлению, в сопутнице своей, несмотря на расчесанные букли и большой чепец, закрывавший почти всё лицо ее, узнала — Прыжкова!

Анюта обмерла от страха и чрез силу удержалась от громкого крика. Все мысли ее перепутались у ней в голове. Она ясно почувствовала, что окружена изменою, но каким образом это случилось и с какою целию? с согласия ли опекуна она так жестоко была обманута или без его ведома? И если опекун в одном заговоре с Прыжковым, то у кого ей теперь искать защиты? Всё это теснилось в ее уме. Беспокойство ее так было велико, положение ее казалось так ужасно, что она не могла придумать, что ей делать. Несмотря, однако, на страх, ее объявший, она помнила, что главное старание ее должно состоять в том, чтоб освободиться от власти Прыжкова, которого злые умыслы уже тем одним достаточно доказывались, что он переодет был женщиною. Случай от него избавиться казался удобным. Лежавшая поперек дороги большая сосна представляла такие препятствия, которые не скоро можно было преодолеть. Анюта надеялась, что ей удастся выскочить из кареты и скрыться в лес. Но что начать после того? Каким образом она одна, без защиты, не зная дороги, проберется сквозь густой, темный бор? А если ей и удастся выйти на большую дорогу и добраться до какого-нибудь селения, куда обратится она потом? Всё это хотя и приходило ей на мысль,

но настоящее положение ее было столь ужасно, что нужнее всего показалось ей от оного избавиться, а там, подумала она, пусть будет воля Божия! Итак, она решилась бежать.

Избрав то время, когда Прыжков с обоими слугами находился на одной стороне кареты, она осторожно высунула голову в опущенное окно, дрожащею рукою отворила дверцы, потом несколько раз перекрестилась и, предав себя промыслу Всевышнего, выскочила из кареты. Не медля ни минуты, бросилась она прямо в лес и со всею поспешностью, какую допускала бывшая тогда совершенная темнота, начала пробираться между деревьев. Отошед несколько сажен от кареты и не заметив никакой за собою погони, она начала льститься надеждою, что ей удастся избавиться от своего преследователя. Она рассчитывала, что лес не может далеко простираться, потому что они уже так долго в нем ехали, и полагала, что если только успеет она добраться до какого-нибудь селения, то найдет средство либо нанять повозку до Барвенова, либо велит проводить себя до первого помещичьего дома, где, верно, не откажут ей в покровительстве и доставят возможность уведомить о себе тетушку. Но все эти приятные предположения вдруг уступили место новым опасениям. Она услышала шум в том направлении, где была карета, и вскоре уверилась, что побег ее замечен и что за нею гонятся. Голос Прыжкова достигал до ее слуха:

— Ты иди вправо, а ты влево, — кричал он, — а я пойду с этой стороны. Смотрите не зевайте. Она должна быть очень недалеко отсюда.

Анюта удвоила шаги, но ее беспрестанно задерживали кустарники, наполнявшие все промежутки между большими деревьями. Башмаки ее, сшитые из тонкой материи, скоро разорвались; она чувствовала нестерпимую боль в ногах, не привыкших ходить по колючему хворосту, и наконец, к необъяснимому страху, удостоверилась, что у нее скоро не станет сил продолжать путь таким образом. Между тем шум к ней приближался и свет от фонаря начал мелькать между деревьев; вдруг в недальнем от нее расстоянии раздался голос Прыжкова:

— Анна Трофимовна! Остановитесь! Я вас вижу, остановитесь! Вы от меня не уйдете!

В величайшем душевном страхе хотела она бежать далее, но чувствовала, что ноги отказываются ей служить, и спряталась за куст. Еще сохраняла она надежду, хотя слабую, что ее, может быть, не найдут; но чрез несколько мгновений увидела она пред собою Прыжкова. Чепец с головы его упал, фальшивые букли сдвинулись на одну сторону, женское платье его почти совсем было разорвано и висело на нем в клочках. В одной руке держал он фонарь, другою схватил ее.

— Анна Трофимовна! — сказал он ей, — возвратитесь доброю волею в карету, а то я принужден буду тащить вас насильно.

Анюта взглянула на него и на лице его заметила так мало снисходительности, что сочла за излишнее приступить к напрасным просьбам и увещаниям. Не отвечая ему ни слова, она начала кричать из всей мочи.

— Помогите! Ради Христа, помогите, спасите!

— Кричите сколько угодно, — сказал Прыжков. — Здесь никто вас не услышит, кроме людей моих. Кричите на здоровье, кричите!

В самом деле, Прыжков нимало не опасался ее крика и уверен был, что он послужит только к тому, чтоб привлечь людей его, которые тогда помогли бы отнесть ее в карету. Уже слышно было, что они приближались... Вдруг кто-то сзади накинул на него мешок, и не успел он опомниться, как голова его была крепко-накрепко закутана. От одного удара по руке его фонарь отлетел в сторону и потух; а от другого, еще сильнейшего, он принужден был пустить Анюту, которую держал за платье. Рот у него так крепко был закутан и завязан, что он не мог кричать; тщетно барахтался он руками: непреодолимая сила мигом связала ему руки и ноги и бросила его наземь, как пук соломы. Всё это сделалось так проворно, что Анюта никак не могла понять, что случилось с Прыжковым, тем более что она осталась в совершенной темноте, когда огонь погас в фонаре. Когда приметила она, что Прыжков уже не держал ее за платье, она покусилась было встать, чтоб идти далее, но невидимая рука приподняла ее с земли, и она почувствовала, что ее понесли скорыми шагами. Ей пришло на ум, что она попалась в руки разбойников; она хотела закричать, но не могла: мысли ее смутились, и она лишилась чувств.

Глава XXI

НЕОЖИДАННАЯ ВСТРЕЧА

К сожалению моему, я должен на некоторое время покинуть Анюту в лесу, чтоб рассказать, что происходило с тетушкой с тех пор, как оставили мы ее в Барвенове.

Мне не нужно уверять читателей, что тетушка была крайне опечалена отъездом своей Галечки, хотя и не полагала, что отсутствие ее будет продолжительно. Тем еще менее могла она вообразить себе, что в доме опекуна Анюта встретит какие-либо неудовольствия; но при всем том она тосковала об этой разлуке и рассчитывала часы и минуты, когда опять с нею увидится. Между тем здоровье Праскуты совершенно по-

правилось; живое и непринужденное участие, с каковым она рассуждала о взаимной друг к другу привязанности Владимира и Анюты, и нетерпение, с которым ожидала она возвращения их в Барвеново, удостоверили добрую тетушку, что ей удалось преодолеть несчастную страсть свою, и она с сердечным умилением благодарила за то провидение. Таким образом протекло несколько времени, и тетушка стала веселее. Блистовского ожидали из Петербурга с часу на час; Анюта, по расчету тетушки, также должна была возвратиться в самом непродолжительном времени; Праскута была весела и здорова — итак, чего недоставало для спокойствия Анны Андреевны?

В один прекрасный, тихий вечер тетушка, просидев долее обыкновенного в известной нам беседке и досыта переговорив с приказчиком о крестьянских нуждах, о больных в деревне, о готовившихся свадьбах, о сельских работах и других хозяйственных предметах, возвращалась домой в самом веселом расположении духа. Припевая вполголоса любимую песенку, взошла она на крыльцо, отворила дверь в гостиную и остолбенела... Она увидела Клару Кашпаровну в измятом дорожном платье, в запыленном чепчике, сидевшую посреди комнаты на стуле и что-то рассказывавшую с громким рыданием. Гапочка и Праскута стояли перед нею и с расстроенным лицом слушали ее повествования... Анюты тут не было!

Первая мысль, поразившая Анну Андреевну, была, что с Анютою, верно, случилось какое-либо несчастие, и она торопливо обратилась к Кларе Кашпаровне с вопросом:

— Куда вы девали Галечку? Зачем ее здесь нет?

— Анна Трофимовна, матушка... осталась у Клима Сидоровича.

— Как? зачем? что это значит? Зачем оставили вы ее одну?

Клара Кашпаровна утерла слезы и принялась подробно рассказывать всё, что с нею случилось. Когда дошла она до тяжкой обиды, ей причиненной, и до объявления Марфы Петровны, будто бы Анюта велела ей ехать назад, не простившись с нею и не написав ни слова к тетушке, добрая немка опять заплакала, а Анна Андреевна перебила ее речь:

— Брешут они, брешут! — вскричала она. — Ей-богу, брешут, прости меня, Господи!

Клара Кашпаровна продолжала рассказывать, как она принуждена была ехать из Будища, как сломилась ось ее кареты и как кучер Клима Сидоровича уехал тайным образом, оставя ее одну в селении, где не было ни порядочного кузнеца, ни возможности нанять лошадей, чтоб продолжать путь.

— Я кричала, плакала, бранила Дюндиковых, — говорила Клара Кашпаровна, — но это ни к чему не послужило, и я до сих пор сидела бы в проклятом селении этом, если б не послал мне Бог доброго человека, цыгана, случайно тут проезжавшего и который, дай Боже ему здравствовать, вывел меня из беды! Он-то и надоумил меня, что ось нарочно была подпилена! В самом деле, матушка Анна Андреевна, уж прямо добрый человек, даром что цыган! Починил мою карету, нанял для меня лошадей и проводил меня за несколько верст из селения. Нечего греха таить, я не стерпела, матушка, рассказала ему про Клима Сидоровича и отвела душу. Уж побранила я Дюндиковых вволю! Ведь не с кем, кроме цыгана, там и слова молвить было. Я так была зла, что им самим бы не спустила, если б тогда попались на глаза. И что же вышло, сударыня? Цыган-то этот ведь собственный их крепостной человек! Да как узнал он, что Анна Трофимовна невеста Владимира Александровича, то он так и всплеснул руками! Он очень хорошо знает Владимира Александровича и сам вызвался во что бы то ни стало доставить от меня письмо Анне Трофимовне. И, верно, доставил, матушка. Человек он подлинно честный; без него я никак бы не выпуталась из этих хлопот!

Длинное повествование Клары Кашпаровны беспрестанно прерываемо было восклицаниями тетушки. То она бранила Дюндиковых, то жалела об Анюте, то упрекала себя в том, что не поехала с нею.

— Уж я бы не дала в обиду Галечку, — говорила она, — что он о себе воображает, этот Дюндик со своей Марфой Петровной? Какое право он имеет удерживать ее насильно? Опекун, — да мы знаем, какой он опекун! Трофим Петрович, царство ему небесное, назначил его, чтоб он имел о ней попечение, пока она была ребенком, да он и тогда о ней не заботился. Какое же теперь имеет на нее право?

При всем простодушии Анны Андреевны она ясно увидела, что Дюндик намерен препятствовать браку Анюты. Поступок его с Кларой Кашпаровной явно доказывал, что он не был разборчив в избрании средств к достижению своих намерений, и потому она легко себе представила, как тягостно было положение Анюты. Она недолго думала, что ей делать в таковых обстоятельствах, и тотчас решилась отправиться немедленно к Дюндиковым, хотя не могла никак предполагать, чтоб Анюта в доме опекуна подвергалась какой-нибудь опасности. Приготовления к отъезду были непродолжительны, и она бы в тот же вечер выехала в сопровождении Клары Кашпаровны, если б не получила от Блистовского письма, по которому должно было ежеминутно ожидать его приезда. Блистовский находился уже в Черниговской губернии, но, имев необходимую надобность видеться с одним родственником, с которым

у него были важные денежные расчеты, он заехал к нему на возвратном пути из Петербурга, а оттуда отправил нарочного для извещения о том тетушки и Анюты. Он нимало не сомневался, что невеста его давно уже возвратилась от Дюндиковых: с какою поспешностию бросил бы он все денежные дела, если б мог подозревать, в каком она находилась положении!

Сколь ни велико было нетерпение Анны Андреевны ехать к Анюте, но она сочла необходимым дождаться приезда Владимира. Она чувствовала, что не только советы его не будут ей бесполезны, но надеялась, что присутствие его послужит к преодолению препятствий, ожидаемых со стороны опекуна, и потому намерена была пригласить его ехать с нею к Дюндиковым. Последние поступки опекуна столько ее раздражили, что она теперь уже не помышляла о испрашивании согласия его на брак Анюты и уже считала Блистовского как бы родственником своим. Итак, решившись его дождаться, она между тем отправила в Будище эстафету с письмами, которых содержание мы сообщили выше.

В самом деле, Владимир приехал на другой день. Нетрудно себе представить, с каким жаром он принял предложение тетушки сопутствовать ей к Дюндику. Он горел нетерпением увидеть свою Анюту, и так как все приготовления к отъезду кончены были накануне, то часа через два по прибытии его в Барвеново они были уже на пути в Будище.

Владимир для скорейшей езды воспользовался бывшею у него подорожною, и маленькая коляска его с курьерскою быстротою помчалась по гладкой Черниговской дороге. В первый раз в жизни довелось тетушке ехать так скоро, и если бы ее не подкрепляло желание освободить свою Галечку из когтей опекуна, то она уже на первых порах попросила бы пощады. Клару Кашпаровну они оставили в Барвенове и из слуг никого не взяли с собою, чтобы не отяготить легкой повозки Блистовского. Они полагали на возвратном пути поместить Анюту с тетушкою, а Владимир сопровождал бы их на перекладной. Путешествие их не имело ничего замечательного до самого Будища, куда прибыли они на третий день. Дорогою, когда усталость и беспокойства позволяли Анне Андреевне пускаться в разговоры, она рассуждала с Владимиром о Климе Сидоровиче и о препятствиях, которые он, конечно, придумает, чтоб удержать у себя в доме Анюту. Они предвидели, что не обойдется без ссоры между ними и Марфою Петровною; но тетушка была на всё готова, а Блистовского и подавно не устрашал гнев опекуна и его супруги.

В этом расположении въехали они в село и издалека еще устремили взоры на знакомый им каменный двухэтажный дом. Они не могли до-

ждаться минуты, когда коляска подъедет к крыльцу. Владимир мысленно уже наслаждался первою сладкою минутою свидания, а тетушка в уме своем готовила достойное приветствие опекуну. Но как изумились они, когда нашли ворота запертыми! Оба, не говоря ни слова, поспешно выскочили из коляски. Владимир с нетерпением ударил ногою в калитку, и они взошли на двор, где всё было пусто и безмолвно; их не встретил даже лай собаки. В доме ставни были закрыты; им не осталось никакого сомнения, что в нем не было жителей.

— Боже милостивый! — вскричала Анна Андреевна, — что это значит, не случилось ли какого несчастия?

Владимир не отвечал ни слова; с стесненным сердцем бросился он в людскую избу, чтоб отыскать кого-нибудь из слуг, и с трудом нашел сторожа, спокойно лежавшего на скамье, который, протирая глаза, объявил, что паны уже несколько дней, как уехали, но куда? — этого он объяснить не мог.

— Про то знают старшие, — сказал он, — да их теперь нет дома. В селе у нас свадьба: священник выдает замуж поповну, и все наши туда отозваны, а меня, вишь, оставили стеречь дворец.

Более невозможно было добиться от него толку, и Блистовский, оставя Анну Андреевну, отправился было в священнический дом для отобрания дальнейших справок. Между тем сидевшие в шинке поселяне, увидев, что остановилась у ворот коляска, поспешили о том дать знать; и прежде нежели Владимир успел выйти на улицу, уже явились некоторые из слуг Клима Сидоровича, и путешественники наши услышали, что господа уехали в Полтаву. По какой причине и надолго ли? — того никто не знал. Один из людей, бывший словоохотнее прочих, прибавил только, что неожиданная поездка эта, без сомнения, произошла оттого, что в пустых покоях дома начал показываться домовой. Он рассказал известное уже нам ночное приключение, но с такими прикрасами и объяснениями, что Владимир ничего не понял из слов его и вовсе бы не слушал его повествования, если б обстоятельство, что всё это началось в комнате Анны Трофимовны, не возбудило его внимания. Узнав, однако, что Анюта была здорова и что не случилось с нею никакого несчастия, они решились, не теряя времени в пустых разговорах, отправиться за нею в Полтаву.

Неожиданное это обстоятельство несказанно огорчило путешественников наших. Итак, свидание с Анютою опять отсрочено было на неопределенное время! Им обоим пришло на мысль, что, может быть, пока они прибудут в Полтаву, Дюндиковы оттуда выедут в другое место, ибо казалось очевидно, что отсутствие опекуна не имело иной цели,

кроме желания удалить Анюту от тетушки. Как бы то ни было, им иного ничего не оставалось делать, как продолжать свое путешествие, и Анна Андреевна, стараясь превозмочь усталость свою, торопила ямщиков почти столько же, сколько и сам Владимир. Таким образом проехали они две станции, забирая на пути справки о проезде Дюндика и его семейства.

Клим Сидорович был весьма известен во всей губернии, и они везде получали подробные о нем сведения; услышав же, что он ехал на своих и с тяжелыми экипажами, они начинали уже льститься надеждою, что им, может быть, удастся догнать его еще до Полтавы. Но приятная надежда эта исчезла вдруг по прибытии на третью станцию. Тут, к крайнему удивлению, узнали они, что никто в селении не видал Дюндиковых, и сколько о них ни расспрашивал Владимир, он от всех получал один и тот же ответ. В недоумении своем они решили, что Дюндик, вероятно, проехал чрез селение это рано поутру или поздно вечером и потому никому не попадался на глаза. И так продолжали они путь далее, останавливаясь в каждом селении и получая везде на вопросы свои тот же неудовлетворительный ответ. Наконец, доехав до четвертой станции без малейшего успеха, они не могли долее сомневаться, что совершенно потеряли след тех, кого искали. Полтавская дорога от самого Будища была прямая; итак, они ясно удостоверились, что Дюндик поехал в другое место, объявив с намерением в доме своем, что едет в Полтаву, дабы на случай приезда тетушки дать поискам ее ложное направление. Всё это теперь казалось им бесспорно и привело их в крайнее замешательство. Оба вовсе не знали о существовании хутора Шендры и никак не могли придумать, куда обратиться для отыскания Анюты. По долгом совещании они решили, что всего вернее возвратиться в Будище и там остановиться в каменном доме опекуна до тех пор, пока получат достоверное известие о местопребывании хозяев.

— Не может быть, — говорил Владимир, — чтобы в Будище никто не знал, где находится Клим Сидорович. Там главное имение его, и если он в самом деле уехал, никому не сказав куда, то неизвестность эта во всяком случае не может быть продолжительна.

Блистовский намерен был в случае неудачи оставить там Анну Андреевну, а сам отправиться в Полтаву, чтоб с помощию правительства отыскать Дюндика. Звание жениха давало ему достаточное на то право; к тому же и Анна Андреевна, как ближайшая родственница Анюты, могла надеяться на покровительство начальства. Сверх того, Блистовский, имея знакомых в Полтаве, непременно надеялся, что в скором времени получит удовлетворение.

Между тем бедная тетушка, не привыкшая к скорой и безостановочной езде и, сверх того, встревоженная новыми препятствиями, которые так неожиданно представились в самое то время, когда думала она обнять свою Анюту, так ослабела, что Владимир начал опасаться, чтоб она не занемогла. Он решился тут переночевать и дать отдохнуть ей хотя немного; но это не так было легко, как он сначала воображал. В целом селении не было ни одного дома, где бы они могли пристать, кроме простой корчмы, имевшей еще то неудобство, что она вместе была и шинком. Несмотря на то, они нашлись вынужденными остановиться в ней.

Корчма по малороссийскому обычаю разделена была сенями на две ровные половины: с одной стороны, где находился шинок, приставали проезжие; с другой была жилая комната шинкаря, помещавшегося в ней довольно тесно с многочисленным семейством. Блистовский уговорил хозяина очистить для Анны Андреевны свою комнату, а сам расположился провесть ночь в коляске. Добрая тетушка, уставшая от дороги и занятая одною только Анютою, нашла квартиру свою очень удобною, а Владимир пошел хлопотать, чтоб промыслить что-нибудь на ужин. Быв принужден для сего неоднократно входить в противоположную сторону дома, куда перебралась шинкарка с своим семейством, Владимир заметил там человека, которого вид, отличный от прочих гостей, привлек на себя его внимание. Он был уже немолодых лет и с какою-то смешною важностию сидел на скамейке за столом, на котором стояла перед ним еще не допитая кварта горелки.[63] По временам он похлебывал из кварты, надменно посматривая на мужиков, сидящих в почтительном от него расстоянии, и, казалось, боролся со сном, который начинал преодолевать его. На нем был синий сертук, уже очень изношенный и такой широкий, что при первом взгляде всякий мог бы отгадать, что в давнопрошедшие времена он принадлежал кому-нибудь подороднее теперешнего хозяина. Стоячий воротник на сертуке хотя совершенно лишился первобытного цвета, но при всем том сохранил еще некоторые оттенки, по которым внимательный наблюдатель мог бы заключить, что он когда-то был малиновый. Блистовский, не имевший досуга входить в такое подробное разбирательство цвета одеяния его, счел оное за зеленое и потому сначала принял незнакомого за отставного приказного, тем более что неподалеку от него в углу увидел он старую шпагу без темляка.[64] Внимание Блистовского оттого особенно на него обратилось, что из-за пазухи торчала у него книга и что подле него лежал потертый кулек, также набитый туго книгами. Любопытство побудило его спросить у шинкаря, кто он такой?

— А кто его знает! — получил он в ответ, — он не здешний; пришел сюда уже довольно хмельной часа два тому назад, выпил кварты две горелки, а теперь за третьей засыпает. Вот всё, что я о нем знаю.

После умеренного ужина Владимир, пожелав тетушке покойной ночи, отправился в свою коляску и мимоходом хотел еще раз подтвердить, чтоб не было ночью шуму и чтоб сколько можно остерегались тревожить Анну Андреевну. Войдя в шинок, он увидел шинкаря, тщетно старавшегося разбудить упомянутого незнакомца, чтоб дать место чумакам,[65] расположившимся тут отужинать. Наконец от довольно сильного толчка незнакомец проснулся, начал протирать глаза и с неудовольствием произнес:

— Кессé, кессé, кессé-ля, кессé, кессé, кессé-ля!

— Софроныч! — вскричал Владимир с удивлением.

— Жё! — отвечал незнакомец.

Блистовский, уверившись таким образом, что он видит пред собою французского учителя дочерей Дюндика, принял меры, чтоб ему дали выспаться, и крепко наказал шинкарю не отпускать его на другой день до тех пор, пока он с ним не увидится.

Между тем как утомленная от дороги тетушка покоилась крепким сном, Владимир, занятый мыслию об отыскании Анюты, не мог сомкнуть глаз ни на минуту. Размышления его прерваны были Софронычем, который на рассвете вышел на улицу уже протрезвившийся и, громко зевая, протягивал на свежем воздухе одеревенелые от сна члены свои. Увидев его, Блистовский выскочил из коляски и подошел к нему.

Участие, принимаемое им в Софроныче, имело причину в добром его сердце. Еще накануне он по бедному одеянию его заключил, что он должен быть в нищете, и, приписывая несчастное его положение гневу Клима Сидоровича, возбужденному на него так неумышленно Блистовским в Ромнах, он считал обязанностью помочь ему по возможности. Из первых речей Софроныча он удостоверился, что не ошибся в своем предположении, ибо бывший ментор Дюндиковых дочерей горько начал жаловаться на неблагодарность Клима Сидоровича.

— Поверите ли, мон женераль (имя и отчество мне неизвестно), — говорил он, — что обе барышни стараниями моими доведены были до того, что говорили по-французски не хуже меня! Клянусь, что не лгу! Сверх того, я полезен был Климу Сидоровичу и в других отношениях: я выстроил ему каменный дом, которому подобного нет в целом повете; я служил ему секретарем, стряпчим, управителем, дворецким, винокуром, собеседником, — одним словом, я был самым необходимым чле-

ном семейства. Было даже время, — правда, оно давно прошло, я тогда был помоложе и, без хвастовства сказать, ловкий мужчина, — где и сама Марфа Петровна мною не гнушалась и брала у меня уроки, то есть во французском языке. И вдруг, после двадцатилетней верной службы, выгнали меня из дому, как шальную собаку, а за что? и до сих пор не знаю! Прошлого года Клим Сидорович, по обыкновению, поехал на Роменскую ярмонку и оттуда прислал повеление не медля ни минуты согнать меня со двора, называя обманщиком, мошенником и бог знает чем! Я к нему писал несколько раз, но не получал ответа. С тех пор скитаюсь по белому свету, не зная, куда приклонить голову. Деньжонки, какие были, уж приходят к концу, места никакого не сыскивается, и Бог знает, что со мною будет!

Жалкая участь бедного Софроныча растрогала Блистовского. Желая загладить неумышленную свою пред ним вину, он ему предложил поселиться у него в деревне и обещался его не оставлять. Благодарность Софроныча была безмерна. Он хотел броситься в ноги Владимиру и клялся посвятить ему по смерть все таланты, которыми одарила его щедрая природа.

Когда проснулась тетушка и начали приготовляться к отъезду, Софроныч, желая оказать усердие свое к новому благотворителю, всячески заботился около коляски и помогал укладываться. Анна Андреевна, узнав плачевные похождения его, громко осуждала жестокий поступок Клима Сидоровича и тем приобрела совершенную признательность Софроныча. Рассуждая о Дюндике, тетушка, у которой сердце было преисполнено мыслью об Анюте, не могла воздержаться, чтоб не упомянуть о предмете теперешнего их путешествия. Она горько жаловалась на злонамеренное отсутствие опекуна и в высочайшей степени возбудила внимание и любопытство нового своего знакомого.

— Расскажите мне подробно, какое у вас до него дело, матушка, — сказал он, — я так коротко знаю Клима Сидоровича, что могу вам подать добрый совет во всем, что до него касается.

Блистовский, полагая, что Софроныч действительно может для них быть полезен, рассказал ему, каким образом они, отыскивая Дюндика, совершенно потеряли след его в двух станциях от Будища, несмотря на то что им объявили за верное, что он поехал в Полтаву. Притом он объяснил причины, которые он имел подозревать, что Дюндик умышленно от них скрывается.

— В двух станциях от Будища! — вскричал Софроныч с видом размышления, приложив палец к носу и покачивая головою. — Так в двух станциях от Будища они своротили с Полтавской дороги! Пого-

дите немножко. О! да они, верно, отправились в хутор Шендру. Это такое убежище, где, кроме меня, никто их не отыщет. Но будьте благонадежны, мусье женераль; от меня Клим Сидорович не скроется, хотя бы он зарылся в сыру землю, как крот!

Софроныч тут рассказал об уединенном положении хутора, и путешественники наши согласились, что мысль его заслуживала внимания. Они решились переменить прежний план свой и последовать совету Софроныча, который в качестве проводника занял место на козлах подле ямщика и, обвороженный приятною для него мыслию предстать пред Дюндиком под сильною защитою нового мецената, с веселым видом принялся погонять лошадей.

Быв принуждены вскоре оставить почтовую дорогу, они продолжали путешествие гораздо медленнее прежнего. Несмотря, однако ж, на трудность, встречаемую в Малороссии в наеме лошадей по проселочным дорогам, Блистовский, не жалея денег, наконец достиг до известного нам соснового бора, где им должно было поворотить к хутору. Густой, темный лес подал Анне Андреевне новый повод сердиться на Клима Сидоровича и на Марфу Петровну.

— Смотри пожалуй, — говорила она, — куда они вздумали завезть мою бедную Галечку! Да здесь одним волкам да медведям и жить. Добро же, Клим Сидорович, прости меня, Господи! Уж я пропою вам такую песенку, что у вас зазвенит в ушах... Бедная моя Галечка, куда ее завезли!

Блистовский, с своей стороны, более думал об удовольствии увидеть Анюту, нежели о темном боре, чрез который они проезжали.

В этом расположении прибыли они в хутор Шендру. При первом взгляде оба удостоверились, что там не было никого, и сам Софроныч повесил нос, увидя, что предположение его оказалось ошибочным; но когда подоспевший к коляске приказчик объявил, что Дюндики действительно приезжали туда и только третьего дня вечером выехали в Королевец, они несколько ободрились, ибо вновь возымели надежду догнать опекуна, которого следы теперь были найдены. Тут встретило их, однако, новое огорчение, тем сильнее их поразившее, что они никак его не ожидали. Расспрашивая, по обыкновению, об Анюте, они узнали от приказчика, что часа за два пред отъездом вдруг пропала Анна Трофимовна и что, несмотря на все старания, никак нельзя было дознаться, куда она девалась!

Легко представить себе можно, какое впечатление произвело это известие на наших путешественников! Владимир был вне себя, тетушка громко зарыдала, а приказчик, не понимая участия, которое принимали

они в Анюте, испугался, увидя их положение. Он принужден был рассказать в величайшей подробности всё, что происходило на хуторе, и в особенности все обстоятельства, предшествовавшие исчезанию Анюты. Он уведомил их, как Марфа Петровна неожиданно велела готовиться к отъезду и как спешила укладываться, чтоб в тот же вечер остановиться на ночлеге в ближайшем селении; как Прыжков уехал заранее в двуместной карете и как, наконец, в минуту самого отъезда узнали, что Анны Трофимовны нет.

Из слов приказчика можно было заметить, сколько ему самому казалось удивительным, что господа его уехали из хутора, оставя неисследованным непонятное приключение с Анютою.

Блистовский должен был напрягать все душевные силы свои, чтоб спокойно выслушать эти рассказы, когда самое мучительное беспокойство терзало сердце его и боролось в нем с яростию против опекуна. Никто без сожаления не мог бы взглянуть на бедную тетушку: она казалась лишенною рассудка. Когда громкие упреки, коими сначала осыпала она Дюндика, умолкли, на лице ее изобразилось отчаяние, и крупные слезы градом покатились из глаз.

Мало-помалу Блистовский опомнился. Из рассказа приказчика он почерпнул слабую надежду, что еще не всё для него пропало. Ему показалось вероятным, что Дюндиковым была известна участь Анюты; иначе они не оставили бы хутора, не употребив всевозможного старания отыскать ее. Какая бы ни была их ненависть, но они не могли не знать, что подвергались за нее тяжкой ответственности, и во всяком случае должны были перед отъездом поручить приказчику продолжать поиски в хуторе и в лесу. Упущение сей столь простой и естественной обязанности казалось достаточным доказательством, что они знали, где она находится, и потому Блистовский счел необходимым как можно скорее догнать Дюндика, чтоб принудить его отдать отчет в своем поведении. В этом намерении он с строгим видом обратился к приказчику и приказал объявить без обиняков, куда поехал Клим Сидорович. Приказчик поклялся, что он точно уехал в Королевец, и уверял, что сам провожал его до первого ночлега. И в самом деле, он не имел причины скрывать истину, ибо Дюндики, вовсе не ожидав приезда Блистовского в хутор и полагая, что их искать будут в Полтаве, не запретили ему сказывать, куда они отправились.

— Я уверен, — сказал приказчик, — что вы в эту же ночь можете догнать Клима Сидоровича, лишь бы вам удалось засветло выбраться из леса. Там пойдет дорога столбовая прямо до Королевца, а они, по моему расчету, не далее отъехали, как верст шестьдесят.

Итак, Блистовский, уверенный, что его не обманывают, решился пуститься немедленно в погоню за Дюндиком и объявил о том Анне Андреевне.

— Как хотите, — отвечала бедная тетушка, заливаясь слезами, — вы лучше знаете, что тут делать. Вся моя надежда на Бога: он не оставит мою бедную Галечку.

С тяжелым сердцем они сели в коляску и опять пустились в бор. Чтобы попасть на королевецкую дорогу, им надлежало долго ехать лесом; но Софроныч, которому известны были тамошние места, взялся провесть их благополучно.

Главнейшее затруднение теперь состояло в усталости лошадей, которые через силу тащили их по песчаной дороге, вопреки стараниям кучера и крику Софроныча, опять занявшего место свое на козлах.

Но обратимся к Анюте, которую принуждены мы были оставить в таком ужасном положении.

Глава XXII

ВСЕМУ НА СВЕТЕ ЕСТЬ КОНЕЦ

Уже прошло несколько минут после того, как Анюта пробудилась от обморока, и всё еще не могла она совершенно опомниться и не понимала, что с нею происходило. Зрелище, представившееся ее взорам, так было необыкновенно, что она не умела отдать себе отчета в том, что видела. Да правду сказать, и всякий другой на ее месте нашелся бы не в меньшем затруднении. Она лежала на свежем сене; перед нею не в дальнем расстоянии разложен был огонь, который багровым светом озарял мрачный бор, ее окружавший. Над нею из грубой парусины раскинут был род шатра, прикрытого длинными кудрявыми ветвями столетнего дуба, которого свежая зелень резко отличалась от темных сосен. «Господи! где я? — подумала она, озираясь с робостию на все стороны. — Это похоже на притон разбойников!» По мере того как она приходила в себя, похождения того вечера начали освежаться в ее памяти; она припомнила, что с нею случилось, и с боязливым вниманием принялась рассматривать все предметы, представлявшиеся ее глазам: в стороне от шатра стояла большая крытая телега, охраняемая большою собакою; другая такая же собака лежала у ног Анюты и смотрела на нее умными глазами; немного подалее пасся вол; людей не было видно нигде. Анюта хотела встать, но боялась, чтобы на нее не бросились собаки.

Спустя несколько времени показался из-за деревьев человек, который, обратясь к ней спиною, подошел к огню. На нем был нагольный тулуп, а на голове овчинная шапка, из-под которой вились длинные черные кудри.

— Надобно прибавить дров, — сказал он громко. — Дшарро, дшарро!

Анюта вздрогнула. На крик стоявшего перед огнем мужчины откликнулся другой мужской голос:

— Батько!

— Ты не смотришь за огнем, ленивец! Принеси еще хворосту!

Молодой человек, видный собою, принес в охапке хворост. Черты лица его, которые при свете пылающего огня Анюта легко могла различить, не показывали ничего зверского, ничего страшного.

Она заметила, что никто из них не носил на себе никакого оружия, и мысль о разбойниках начинала ослабевать в ее уме. Но это не могло совершенно успокоить ее; приключения того вечера всё оставались для нее непонятною загадкою. В этом мучительном недоумении она воскликнула:

— Господи! спаси меня!

Лишь только выговорила она сии слова, как стоявший у огня мужчина поспешно оборотился и, сняв шапку, подошел к ней. Анюта увидела пред собою незнакомого человека небольшого роста, но широкоплечего; густые черные кудри покрывали его голову и соединялись с бородою такого же цвета.

— Кто ты таков? — спросила Анюта дрожащим голосом, ибо, несмотря на ласковую его наружность, она не могла преодолеть своего страха.

— Цыганский атаман Василий! — отвечал он с низким поклоном. — Слава Богу, что вы очнулись!

В одно мгновение всё прояснилось в памяти Анюты: она вспомнила похождение Блистовского с цыганским атаманом, столько раз ею слышанное, и даже предметы, ее окружавшие, показались ей теперь как бы знакомыми. Желая, однако, удостовериться в своей догадке, она спросила:

— Знаешь ли ты Владимира Александровича?

— Как не знать, матушка Анна Трофимовна!

— Да почему ж ты знаешь мое имя?

— Ваше имя, сударыня? Да я же вам в Будище приносил письмо от немки вашей. Простите великодушно, матушка, что я вас тогда так напугал; да ведь иначе нельзя было. Кабы меня поймали, пропал бы я навеки и со всею семьею!

— Так это ты? — вскричала Анюта с удивлением. — Да ведь ты крепостной человек Клима Сидоровича?

— Точно так, матушка. Оттого-то я так и боялся попасться им в руки; пропадший бы я человек был навсегда! Да Бог милостив, не дал меня погубить за доброе дело! Недаром мой Васька столько лет проездил форейтором у панов: нам известны все закоулки в доме. А Клим-то Сидорович и Марфа Петровна — ведь я их знаю, матушка, почитай как самого себя. Сердитая барыня, нечего сказать; не приведи Бог, какая сердитая!

— Да как же ты решился подвергать себя такой опасности?

— Мы все во власти Божией, матушка! Без воли его и волос с головы не упадет! Я же был в долгу у вашего Владимира Александровича; да как рассказала мне немка, что ее насильно выслали из Будища, так я тотчас смекнул всё дело. И прежде я знал, что они вас не терпят за то, что Владимир Александрович не женился на Вере Климовне. Ведь дворовые-то люди, сударыня, всё замечают; от них ничего не скроется, а через них и до нашего брата многое доходит. Да правду сказать, одна у них и отрада, чтоб пересуживать господ, особливо дурных; а у Клима Сидоровича в целом доме не найдется ни одного человека, который пожелал бы ему добра!

Он рассказал Анюте подробно, каким образом он в вывороченном кожухе взобрался по уступам неотштукатуренной стены в окно; потом из оного по веревке спустился на двор, а оттуда, зарезав для защиты своей несчастного Султана, перебрался через забор в поле. Кому случалось видеть в Малороссии, с какою ловкостию удальцы лазят за пчелами на высокие бортевые деревья,[66] на которых иногда нет ни одного сука до самой вершины, тот легко поверит, что подвиг этот не очень был затруднителен для нашего атамана.

Когда после того Клим Сидорович отправился в путь, цыган следовал за ним издали и, к удивлению своему увидев, что Дюндиковы после второй станции своротили с Полтавской дороги, тотчас догадался, куда они намерены были ехать.

В лесу, окружающем хутор Шендру, атаман Василий был совершенно дома; там было любимое его местопребывание и главнейшее пристанище; туда возвращался он непременно после каждого кочевания по губернии. В этом самом лесу он год пред тем познакомился с Владимиром; в нем ему известны были каждое замечательное дерево, каждое значительное дупло; иные из них даже служили верными хранилищами домашнего бутора,[67] а изредка и вещей, которые нужно было на время скрыть от профанов. Кто перед Богом не грешен, перед царем не вино-

ват!.. Одним словом, Клим Сидорович, поселившись на время в хуторе Шендре, попал как бы в магический круг, в котором все действия его подвергались волшебному влиянию атамана Василия. Приняв под покровительство свое бедную Анюту, он, конечно, имел в виду сделать доброе дело; но кроме того, он, правду сказать, подстрекаем был и ненавистью к господам, которые между многочисленными слугами своими по собственной вине не имели ни одного приверженца.

Сначала цыган Василий вздумал пугать приезжих гостей без всякой цели, единственно для собственной своей забавы. Первый успех ободрил его к продолжению, и он, с помощию сына, который, кроме других дарований, умел отлично подражать крику филина, произвел в действо сверхъестественные явления, побудившие Дюндиковых оставить хутор.

Заблаговременный отъезд Прыжкова в карете возбудил подозрение его; а когда, наблюдая за ним тайно, увидел он его переряжавшегося в лесу в женское платье, он отчасти отгадал его намерение, хотя не знал мер, принятых к исполнению оного. На всякий случай счел он за нужное положить преграду Прыжкову и для того повалил большую сосну поперек дороги, ведущей из бора в том направлении, где остановилась карета.

Атаман намерен был, если предположение его сбудется, следовать за ним тайком, чтоб после уведомить о том Владимира; но побег Анюты подал ему случай действовать решительнее. Мы видели, каким образом избавил он ее от Прыжкова, который после того неподвижно и безгласно лежал под деревом до тех пор, пока с трудом отыскали его люди.

Анюта с жадным вниманием слушала рассказы цыгана, и сердце ее сжималось от ужаса при воспоминании опасностей, угрожавших ей в доме опекуна и которые теперь только обнаружились пред нею в полной мере.

Постоянная ненависть коварных ее гонителей приводила ее в трепет. Она страшилась, чтоб они не открыли теперешнего ее убежища, чувствуя, что в таком случае бедный Василий не в силах был бы защитить ее против собственных своих господ. Она открыла ему свои опасения, но Василий утверждал решительно, что она находится у него в совершенной безопасности.

— Поверьте, матушка, — сказал он с довольным видом, — что сюда нескоро кто заберется! Вот уже годов десятка с два, как мне известно это местечко, и до сих пор никому еще не случилось меня здесь найти, хотя все знают, что я часто живу в этом лесу. Правда, в прошлом году нечаянно забрел сюда ваш Владимир Александрович, да это

ведь не всякому удастся! На то, видно, тогда была особенная воля Божия, для того, матушка, чтоб я теперь мог пригодиться вам в черный день.

Уверения Василия ободрили Анюту, хотя и не могли ее совсем успокоить. Но, при всей ненадежности теперешнего ее положения, она в полной мере чувствовала, сколь была обязана атаману, подвергавшему себя неминуемой беде, если б его участие в этом деле когда-нибудь дошло до сведения Клима Сидоровича. Она из полноты сердца изъявила ему свою признательность, а растроганный атаман не умел отвечать на ее слова иным образом, как беспрестанно кланяясь ей в ноги.

Надлежало, однако, подумать, как доехать до тетушки и притом не попасться опять во власть Дюндиковым. Атаман советовал, чтоб Анюта оставалась в настоящем убежище до тех пор, пока они удостоверятся, что семейство опекуна совсем удалилось из тех мест. Потом Василий вызывался доставить ее в крытой телеге своей до ближайшего помещичьего дома, где могла бы она спокойно ожидать известий от своих.

Василий ее предупредил, что для удаления от себя подозрения он принужден будет оставить ее одну в некотором расстоянии от помещичьего дома. Относительно же настоящего ее местопребывания он вновь повторил, что у него не подвергалась она ни малейшей опасности. Он объяснил ей, что в лесу этом имел он еще другое гласное жилище, где принимал посещения соседних жителей.

— Когда кому до меня дело, — продолжал он, — так меня там и ищут, а это, матушка, совсем в противоположной стороне бора. Там у меня почти всегда находится кто-нибудь из моего семейства; теперь оставил я там дочь, которая в случае чего-нибудь неожиданного немедленно меня уведомит.

Условившись таким образом с Анютою, он поручил ее покровительству жены и сына, а сам отправился собирать сведения о Дюндиковых.

Между тем как Анюта предавалась размышлениям о превратности судьбы своей и мысленно переносилась в Смольный монастырь, где в недавнем еще времени проводила она дни так тихо и единообразно, жена атамана заботилась о ее угощении.

Читатели, которым цыганский быт известен по одной только наружности, может быть, не без отвращения подумают об этом угощении, но они крайне ошибутся. Конечно, обыкновенный вид, под которым цыганы нам представляются, не имеет ничего привлекательного, так, как и вседневная пища их вряд ли возбудит охоту в ком-нибудь другом, кро-

ме цыгана; но в особенных, весьма редких случаях всё это изменяется совершенно. Для таковых случаев цыганское семейство хранит в сокровеннейшем углу подвижного жилища своего одеяния, совсем отличные от обыкновенных, и вседневная домашняя утварь уступает место другой, блистательнейшей. Преобразование сие простирается и до пищи, так что иного праздничного цыганского блюда не отвергнул бы от стола своего самый разборчивый гастроном.

Смело, любезный читатель, можно удариться с вами об заклад, что вы не вдруг узнаете знакомого вам цыгана, когда, подобно блестящему мотыльку, развертывающемуся из скромной оболочки гусеницы, он, сбросив с себя запачканный тулуп, явится пред вами в национальном костюме, часто богатом, но всегда цвета яркого, предпочтительно алого.

В настоящих обстоятельствах жена атамана, конечно, не могла заниматься нарядами; но зато она слишком высоко ценила честь, оказанную ей присутствием Анюты, чтоб не угостить ее достойным образом.

С заботливостью внимательной хозяйки она поставила перед гостьею дымящийся самовар из светлой красной меди, чайник, сахарницу и чашку, хотя разрозненные, но тем не менее из гжельского фарфору,[68] и ко всему этому присовокупила даже и серебряное ситечко, и серебряную же ложечку! Не будем изыскивать, принадлежали ли ей драгоценные предметы сии по праву наследства или благоприобретения; довольно, что утомленная Анюта с большим удовольствием выпила несколько чашек хорошего чаю, которые при помощи связки бубликов укрепили истощенные ее силы.

В диком сем уединении пробыла Анюта около двух дней, и хотя ей трудно было привыкать к оному, хотя, вопреки уверениям Василья, она беспрестанно страшилась, чтоб не открыли ее убежища, но всё это казалось ей сносным в сравнении с жизнью в доме опекуна. Надежда наконец соединиться с тетушкой служила ей утешением и помогала переносить терпеливо трудности, сопряженные с ее положением.

Она редко видала Василья, который возвращался домой только на самое короткое время. Чрез него узнала она об отъезде в Королевец семейства Дюндиковых. Он уведомил ее также, что Прыжков, когда наконец отыскали его под деревом, находился в таком жалком положении, что у него пропала охота преследовать Анюту. Через силу и слабым голосом приказал он людям своим отвезти его прямо к себе в деревню, не возвращаясь в хутор, и даже не дал знать Марфе Петровне о бедственном приключении своем.

Атаман рассказывал о нем с видом сожаления, которое, однако, не показалось ей весьма искренним.

— Видно, матушка Анна Трофимовна, — говорил он, — я задел его немного неосторожно, да ведь это, впрочем, не моя вина! Вольно ж ему было мешаться не в свое дело!

Атаман, несмотря на отъезд опекуна, не решался пускаться в путь до тех пор, пока семейство Клима Сидоровича не удалилось совершенно из окрестностей хутора.

Наконец настал желанный час. Атаман объявил о том Анюте, и в один миг сняли лагерь и начали собираться в поход. Драгоценная утварь, извлеченная ради дорогого гостя из хранилищ, опять размещена была по обычным местам.

Заложили крытую телегу, которую тонкая внимательность атамана внутри украсила лесными цветами, и Анюта расположилась в ней на свежем папоротнике. У нее сильно билось сердце. Цыганы вместе с нею набожно перекрестились, собаки весело залаяли, Василий громко свистнул, и караван тронулся с места.

Между тем как знакомый нам тощий вол медленным шагом влечет за собою телегу по песчаной лесной дороге и Анюта, колеблемая страхом и надеждою, то думает о свидании с тетушкой, то страшится опять попасть в руки опекуна, мы на короткое время возвратимся к Блистовскому, путешествующему почти с такою же медленностью в том же бору.

Усталые кони его не успели отъехать версты две от хутора, как он удостоверился, что ему невозможно будет выбраться засветло из лесу.

Солнце уже склонялось к западу, тень деревьев начинала сгущаться, а коляска едва подвигалась вперед назло постоянным стараниям ямщика и красноречивым понуждениям Софроныча, снявшего с себя сертук, чтоб свободнее действовать. Владимир приходил в отчаяние, Анна Андреевна тихонько утирала слезы. Вдруг... послышался им громкий лай собак; человек, которого черты лица трудно было различить в сумерках, подошел к коляске, сверкающими глазами пристально взглянул на путешественников и громогласно закричал:

— Стой!

Лошади, как будто ожидавшие этого приказания, остановились, а Владимир, рассерженный сим новым препятствием, нетерпеливо вскочил; но не успел он еще выговорить ни одного слова, как незнакомец, сняв овчинную шапку, произнес радостным голосом:

— Батюшка Владимир Александрович! Как вас Бог сюда занес? Слава Богу, слава тебе, Всевышний!

— Кто ты таков? — спросил Владимир, — чего тебе надобно?

— Цыганский атаман Василий, ваше благородие. И Анна Трофимовна ведь здесь, ваше благородие! Слава Богу! А я было перепугался до смерти: да как же мне отгадать, что это вы!

— Как! что! Боже милостивый! — воскликнули Блистовский и Анна Андреевна.

В одно мгновение Владимир выскочил из коляски и побежал за цыганом вперед по песчаной дороге. Тетушка с помощию Софроныча следовала за ними.

— Анна Трофимовна! — кричал Василий, приближаясь к крытой телеге, — выходите, выходите!

Встревоженная Анюта, не понимая, что это значит, вышла из телеги и пала в объятия Владимира.

Благосклонные читатели, конечно, не захотят требовать от меня невозможного и извинят, если не буду я описывать взаимного восторга любовников, восхищения доброй тетушки! Неожиданною этою встречею прекратились искушения судьбы, посланные нашей монастырке.

Чрез несколько дней все достигли благополучно Барвенова, а спустя три недели после того Клим Сидорович получил от Анны Андреевны учтивое письмо с извещением о бракосочетании Анны Трофимовны Орленковой с гвардии штабс-ротмистром Владимиром Александровичем Блистовским.

Успокоив вас, дражайшие читатели, относительно участи Владимира и Анюты, мне, однако, совестно было бы с вами расстаться, не дав отчета в том, что случилось с прочими лицами, может быть также возбудившими ваше участие. Увы! не о всех могу я вам дать равно отрадные вести!

Марфа Петровна, узнав о женитьбе Владимира, задохлась от гнева в точном смысле этого выражения. Прочитав письмо Анны Андреевны, она покраснела, потом посинела, кровь хлынула ей в голову, и она упала со стула. Ее подняли, положили в постелю и послали в ближайший город за доктором; но еще до прибытия его она скончалась, тщетно напрягая все силы, чтоб говорить. Перед самою кончиною только удалось ей выговорить несколько невнятных слов. Климу Сидоровичу, около ней хлопотавшему и в то время неотлучно находившемуся при ней, послышалось, что она ему сказала:

— Прощай, мой милый!

Но прочие свидетели утверждают единогласно, будто бы она произнесла:

— Отвяжись, дурак!

Предоставляю читателям избрать из двух рассказов сих тот, который покажется им правдоподобнее.

Лишившись супруги, Клим Сидорович надлежащим порядком поплакал, потосковал, но не слишком долго. Спустя полгода после ее смерти он начал тучнеть необыкновенным образом и теперь дошел уже до того, что с трудом передвигает ноги.

Жизнь его самая завидная! Ночи он проводит в безмятежном сне, а днем в сладкой неге покоится в больших креслах у окна, где занимается разнообразными явлениями, коими радует его противолежащий шинок. Когда наезжают к нему соседи, он по-прежнему рассказывает о своем лазарете, о завещании покойного майора и особливо об отличном воспитании и выгодном замужестве, которые доставил он Анне Трофимовне. Дочери его морщатся при этих рассказах, но Клим Сидорович не обращает на то внимания. Впрочем, они до сих пор еще не выходили замуж и никак не понимают причины непростительной оплошности молодых людей, не замечающих их достоинств.

Прыжков по выздоровлении своем продал имение свое в Малороссии и поехал в Париж. Оттуда долго не получали никакого о нем известия; теперь, наконец, носятся слухи, будто бы одним утром нашли его в Пале-Рояле[69] повешенным перед самым входом в 9-й нумер, где обыкновенно играл он в рулетку. Не могу, однако, сказать ничего о нем достоверного, ибо я, признаться, мало заботился о его участи.

Анюта живет благополучно в своем поместье, где Владимир, по выходе в отставку, основал свое пребывание. Если вы, любезный читатель, желаете посмотреть на счастливое семейство, так заезжайте к ним, когда случай приведет вас в благословенную Малороссию. Они живут недалеко от большой дороги, и всякий, кого вы спросите, охотно укажет вам, как лучше проехать к доброй монастырке; ибо и она, так же как Клим Сидорович, известна в целой губернии, хотя по другим отношениям. Поверьте моему слову, вас примут с старинным русским гостеприимством, и вы не пожалеете о новом знакомстве.

Может быть, посчастливится вам застать у нее и почтенную тетушку, которая часто гостит у любезной своей Галечки и нянчится с двумя ее сыновьями, а своими крестниками, так точно, как будто бы они были родные ее внуки. Что касается до Клары Кашпаровны, то она почти безвыездно живет у Владимира.

Верстах в трех от поместья Анны Трофимовны на проселочной дороге, впрочем довольно широкой и не слишком тряской, стоит небольшой деревянный новый домик, обитый тесом, с железною кровлею, зе-

леным цветом окрашенною. Дом этот, о семи светлых больших окнах, имеет мезонин с балконом и, сверх того, ганьку — род открытых сеней, где малороссияне охотно проводят вечера на прохладе. Там живет с мужем своим Агафья Алексеевна Погорельская, которую вы, любезные читатели, знали под именем Гапочки. После этого вступления вы, конечно, догадаетесь, что Гапочка вышла за меня замуж, и не ошибетесь в своей догадке. Уже три года, как мы счастливы; жена моя гораздо моложе меня, но до сих пор это не мешало нашему благополучию; авось и вперед Бог меня помилует! И мы имеем теперь двух сыновей, из которых меньшой, Антоша, — бойкий черноглазый мальчик, очевидно любимец Анны Андреевны, хотя и уверяет она, что всех любит равно. Если вы, любезный читатель, побывав у соседей моих, захотите заехать ко мне — милости просим! Вы крайне обяжете и меня, и Гапочку. Впрочем, мы, вероятно, увидимся прежде у Владимира Александровича, ибо почти всегда бываем вместе.

Праскута еще не замужем, но если верить догадкам жены моей, то некоторый молодой человек, которого до времени я назвать не могу, скоро, очень скоро предложит ей руку. Дай Бог! Он человек хороший, а Праскута, право, милая девушка!

Софроныч, слава Богу, здоров, хотя, вопреки увещаниям Анны Андреевны, не успел еще отучиться от любимого своего напитка. Надобно, однако, отдать ему справедливость, что теперь он более ⟨не⟩ пьет запоем. Он завел училище для крестьянских детей, а в свободное время сочиняет новую французскую книгу с русским переводом, которая, по уверению его, будет еще лучше первой. Несколько времени тому он в длинном письме на французском диалекте предлагал ее Александру Филипповичу Смирдину,[70] но не получил ответа: может быть, письмо его не дошло до своего назначения.

Софроныч имеет большое горе, которому, однако, пособить мы не в силах. Он страстно желает из благодарности обучать детей наших французскому языку и скорбит о том, что мы не соглашаемся.

Остается теперь сказать несколько слов об атамане Василье. Вскоре после смерти Марфы Петровны Анюта в одно утро отвела в сторону Владимира и что-то говорила ему с большим чувством. Вследствие этого разговора послали тотчас за почтовыми лошадьми, заложили коляску и подвезли ее к крыльцу. Анюта очень торопила Владимира, без слез с ним распростилась и с сухими глазами провожала его, когда он уезжал. Слуги удивлялись, что Анна Трофимовна так скоро после свадьбы отправила мужа в дорогу, да еще без слез! Но загадка эта разрешилась в скором времени.

Чрез несколько дней Владимир возвратился и привез о собою отпускную цыгану Василью со всем его семейством, подписанную Климом Сидоровичем и законным образом засвидетельствованную. Об этой отпускной ходят разные толки: иные уверяют, что Клим Сидорович, увидев Блистовского, так испугался, что немедленно подписал отпускную; другие же утверждают, что Владимир за выкуп цыгана заплатил значительную сумму. Ни он, ни Анюта никогда не объясняли, который из сих толков справедливее; но я, с своей стороны, полагаю, что оба они не без основания, то есть что Клим Сидорович вместе и испугался, и взял деньги. Как бы то ни было, а цыган Василий с семейством своим теперь блаженствует. Он завел большой торг лошадьми, разъезжает по ярмонкам, всегда ходит в синем кафтане из тонкого сукна и часто нас посещает. Дети наши его не боятся, особенно мой Антоша: когда цыган берет его на руки, он смело теребит черную его бороду. Анна Андреевна очень забавляется смелостию малютки, а атаман радуется до слез ловкости и силе Антона Антоновича.

Конец

СТИХОТВОРЕНИЯ

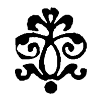
Неелов беспутный!
С ума ты слетел;
От лиры бесструнной
Стихов захотел!
Ты знаешь, повеса,
Что я не поэт,
Ни меры, ни веса
В стихах моих нет;
А тащишь насильно
Меня на Парнас;
И так изобильно
Хлыстовых[1] у нас.
Ах! сам же, бывало,
Я их осуждал;
Над ними немало
Я сам хохотал;
А ныне не смею
Тебе отказать —
Тружуся, потею
И должен писать!

Продолжение впредь

ПОСЛАНИЕ К ДРУГУ МОЕМУ N. N., ВОЕННОМУ ЧЕЛОВЕКУ

Судьба определила
Владеть тебе мечом,
А мне она вручила
Чернилицу с пером.
Ах! Как, мой друг, завидно
Мне, глядя на тебя.
Я признаюсь — обидно
С тобой сравнить себя!
В серебряных ты латах
Летишь, как вихрь, с конем —
А я — сижу в палатах
С обгрызанным пером!
Прекрасную слезами
Насилу тронул я;
Ты — шевельнул усами,
И Хлоя уж твоя!
Но чу! — вдруг отозвался
Вдали оружий звук;
Признаться, испугался
Твой бедный статской друг!
А ты — напрасно Хлоя
Зовет тебя, стеня, —
Ты, помня долг героя,
Садишься на коня;
Булатный меч милее
Тебе любви оков.
Спеши, мой друг, скорее,
Лети сразить врагов.

Я вижу, как в мундире,
В лощеных сапогах,
Ты, сидя на мортире,
Врагам вселяешь страх;
Игривый ветр колеблет
На шлеме твой султан,
Твой взор лишь стан объемлет —
Уж весь трепещет стан;
Вот ты уж капитаном,
И вскоре генерал, —
В победе над султаном
Визиря в плен ты взял:
Ты весь засыпан в злате,
Сияет грудь звездой;
А я — сижу в халате,
Любуюся тобой.
Но вот уж час свиданья:
Исчез приятный сон!!
Не вижу звезд сиянья,
Визирь не взят в полон —
И с чем же возвратился
Ты к нам из дальних стран?
Здоровьем истощился —
И опустел карман.
За всё сие наградой:
Корнетом без ноги;
Твердишь ты всем с досадой:
Проклятые враги!
И к Хлое поспешивши,
Увы, бедняк узнал,
Что, рог луне отбивши,
Ты сам с рогами стал.
А я — здесь у камина
Счастлив своей судьбой:
Остался хоть без чина,
Но с Лизой и с ногой.



Абдул-визирь
На лбу пузырь
    Свой холит и лелеет.
Bayle, геометр,
Взяв термометр,
    Пшеницу в поле сеет.

А Бонапарт
С колодой карт
    В Россию поспешает.
Садясь в балон,
Он за бостон
    Сесть Папу приглашает.

Но Папин сын,
Взяв апельсин,
    В нос батюшки швыряет.
А в море кит
На них глядит
    И в ноздрях ковыряет.

Тут Магомет,
Надев корсет
    И жаждою терзаем,
Воды нагрев
И к ним подсев,
    Их подчивает чаем.

То зря, комар
На самовар
    Вскочив, в жару потеет.

Селена тут,
Взяв в руки жгут,
Его по ляжкам греет.

Станища мух,
Скрепя свой дух,
Им хлопает в ладоши,
А Епиктет,
Чтоб менует
Плясать, надел калоши.

Министр Пит
В углу сидит
И на гудке играет.
Но входит поп
И, сняв салоп,
Учтиво приседает.

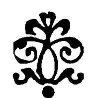
Вольтер старик,
Свой сняв парик,
В нем яицы взбивает,
А Жан Расин,
Как добрый сын,
От жалости рыдает.

СТРАННИК-ПЕВЕЦ

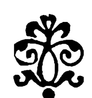
Беспечный певец, углубленный в мечты,
Идет незнакомой дорогой;
Кругом все богатства прелестной весны
Рассыпаны щедро природой.
Как бархатом пышным, поля и луга
И холмы покрыты цветами;
Как в брачную ризу, одеты леса
Цветов ароматных гроздями,
И мед златокрылые пьют мотыльки,
По ветвям душистым порхая;
И птицы, в веселом восторге, поют,
Подругам приюты сплетая.
По камушкам пестрым игривый ручей
Несет извиваяся воды,
И солнце сияет, — и в блеске лучей
Красуется юность природы!
И странника огнь вдохновенья объял,
Он жизни не чувствует бремя;
И ясные к небу он взоры поднял
И видит — грядущее время!
И юного дух воскриленный Певца
Восторгом священным пылает;
И мысль воспарила к престолу Творца, —
И в струны Певец ударяет:
О, слава тебе, всемогущий Творец!
Всё жизнь от тебя восприяло,
В тебе и ничтожества бездны конец, —
И чистой любови начало.

Любовь оживляет из тленности прах,
Из пепла цветы возрождает;
И в смертном врожденный к бессмертному страх
Святая любовь — побеждает!
И лира умолкла, и голос Певца
С зеленых холмов повторился;
Унылая в сердце спустилась мечта, —
И трепет в груди поселился.
И ветры завыли, и черною мглой
Покрылись небесные своды,
Ручей взволновался, и вихри горой
Вздымают кипящие воды.
И вьюга в изломанных ветвях свистит,
Тяжелые тучи летают,
И гром из небес воспаленных гремит,
И молнии грозно сверкают.
И странник во мраке глубоком идет,
Покрова от бури не зная.
В руках охладевших он лиру несет,
От бури ее охраняя.

О лира! найдешь ли от бури покров?
Свершитесь, мечтанья, надежды!
Ведите под мирный усталого кров
Смежить утомленные вежды!
Ах, страшны мне черный без выхода лес
И вранов унылые крики —
Иль скрылось навеки светило небес
И птички умолкли навеки?



Друг юности моей! Ты требуешь совета?
Ты хочешь, чтобы план я точный начертал,
Как сыну твоему, среди соблазнов света,
Среди невидимых, подводных, острых скал
По морю жизни плыть — безвредно, безмятежно?
Задача трудная! — мой друг, — в юдоли сей
Для бедствий мы живем, — и горе неизбежно;
Чрезмерно счастлив тот, кто на закате дней
Успел свой ломкий челн спасти от сокрушенья
И твердым якорем на верном грунте стать!
Но сколько есть пловцов, которым нет спасенья,
Которым суждено предвечно — погибать!



К ТИНДАРИДЕ

ГОРАЦИЯ КНИГА I. ОДА IV

Velox amoenum saepe Lucretilem

Нередко быстрый Фавн любезный свой Ликей[1]
На холм приятного Лукретила меняет;
Он резвых коз моих, от пламенных лучей,
От бурь дождливых охраняет.

Козла угрюмого веселая семья
Там щиплет тимиан, бродя в кустах свободно:
Не страшна ей в траве зеленая змея,
Ни в хлеве лютый волк голодный.

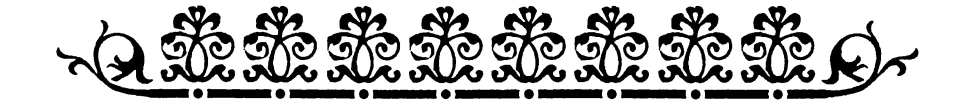
Меж тем в пологостях роскошного леска
Свирели сладкий звук вдоль Устики[2] несется,
И гладких скал крутых касаяся слегка,
В долинах эхом раздается.

О Тиндарида! Здесь под кровом я богов;
Приятна песнь моя и жертва им убога.
Посыплется тебе тут сельских всех даров
Богатство из обильна рога!

В уединенной здесь долине ты уйдешь
От зноя Сирия[3] — и в рощах сей Темпеи[4]
На лире тейской[5] страсть к Улиссу воспоешь
И Пенелопы и Цирцеи.[6]

Здесь легкий сок гроздей лесвийских[7] ты со мной
Из чаши будешь пить под сению прохладной;
Раздора не страшись: здесь с пылким Вакхом[8] в бой
Арей[9] не вступит кровожадный.

От гнева Кира[10] ты не будешь трепетать:
Не прийдет наглою он злостью воспаленный
В ревнивой ярости с тебя одежду рвать
И в локоны венок вплетенный!



СТАТЬИ

ДИАНОМЕТР,[1] ИЛИ [СПОСОБ ИЗМЕРЯТЬ КАЧЕСТВО И МЕРУ] МАСШТАБ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО УМА [В ОТНОШЕНИИ К ПРОЧИМ КАЧЕСТВАМ ДУШИ] И ДЛЯ СООБРАЖЕНИЯ ОНОГО С ПРОЧИМИ КАЧЕСТВАМИ ДУШИ

⟨1⟩

Самая древняя и самая трудная наука в мире, без сомнения, есть познание человека. Когда род человеческий погружен был [еще] в невежестве, тогда [все] люди, конечно, более заботились [только] о доставлении себе дневного пропитания, нежели о познании друг друга в отношении метафизическом; [но с тех пор как некоторые из них начали мыслить о себе и в отношении метафизическом] но [с тех пор] как [они] скоро они догадались, что в земной оболочке нашей сокрывается нечто непонятное, невидимое превосходное [названное душою], — с того самого времени [они начали умствовать] начались умствования о сем непонятном веществе. Сколько от изобретения искусства писать до наших времен исписано па́пиру, пергаменту и бумаги о сем предмете! Сколько еще испишется бумаги, пока будут существовать чернилы и бумажные фабрики! И все труды [их] наши были и будут бесполезны, и все старания [наши] проникнуть тьму, нас окружающую, никогда не увенчаются успехом! Пред очами смертных задернута темная завеса, для них непроницаемая: самый умный — одаренный [редкими] необыкновенными ⟨л. 33⟩ способностями — человек изредка только усматривает за оною мелькающие огни, освещающие ее слабо и местами; но не может различить того, что за нею происходит; обыкновенный же человек — тот не [видит] примечает и самой завесы!

Но самая непонятность сего предмета имеет нечто привлекательное. Душа наша, по естеству своему, стремится исторгнуть себя из уз, природою на нее наложенных, и потому всякой взгляд в сию неизвестную землю для наблюдательного человека любопытен и занимателен.

Догадливый читатель, сообразив сие краткое предисловие с заглавием статьи, без сомнения подумает, что автор для того только описал великие трудности, встречающие каждого на сем поприще, чтобы заранее снискать снисхождение читателей; и я откровенно признаюсь, что он не ошибается. Сим чистосердечным признанием надеюсь обезоружить вас, строгие критики! будьте снисходительны к мечтателю, неверным слогом вступающему на стезю ухабистую, избитую величайшими мудрецами всех времен и всех [веков] земель. Рассудите милостиво, что когда сбивались ⟨л. 33 об.⟩ мудрецы, то извинительно спотыкаться [и] мне!

Приступаю к делу.

В продолжение довольно долговременной жизни моей бывал я в разных странах и государствах и видел довольно близко людей, известных умом, ученостию и другими [отличными] дарованиями. Будучи от природы любопытен, я внимательным оком наблюдал их действия и, соображая оные с умом, коим они славились, изумлялся, видя, что действия сии часто не отвечали ожиданию. Случалось мне встречать людей, которых все называли умными; я с ними знакомился короче, находил, что действительно они заслуживают сие название, радовался, когда судьба возводила их на степени, на которых могли они принесть пользу своими дарованиями, и потом удивлялся, что, несмотря на великий ум свой, они творили глупости. С другой стороны, знал я людей, слывущих простаками; фортуна открывала им поприще знаменитое, и они, к удивлению моему, проходили оное со славою или по крайней мере не с бесславием! Как часто встречал я людей умных, которые во всю жизнь свою не делали ничего умного, между тем как простаки совершали подвиги, требующие ума.[a] Скажите, гг. читатели, не случалось ли и вам испытать то же самое? Таковые примеры сколь не кажутся странными, однако нередки, и каждый из вас, если потрудится [подумать] поискать, то в ⟨л. 37⟩ собственном кругу своем найдет таковых людей, — иной, может быть, и сам принадлежит к числу оных. Отчего, спрашивал я у самого себя, происходит сие противоречие? Посмотрите на Ераста. С самого младенчества он казался редким произведением природы. [Умен] Он был умницей еще в колыбели, — [философ в училище] был философом еще в училище, — [любимцем] любимец стариков при самом

[a] *Фраза*: Как часто ~ требующие ума. — *вписана на полях.*

вступлении в свет;[a] Ераст остер, учен, — чего недостает [Ерасту] ему, чтобы быть полезным обществу? Последуйте за ним: [скорыми] быстрыми шагами он пробегает путь, ведущий к государственным [креслам] местам. На крыльях славы своей он переносится за преграды, затрудняющие другому поприще службы; осталось ступить ему еще два только шага — и он будет министром! Глаза всех обращены на него, [ожидают] ожидаем чудес; но по какой непонятной причине ожидания [публики] наши не оправданы, — отчего Ераст, славный, умный Ераст, на поверку выходит пустой и неспособный чиновник? Отчего Дамоиз — человек простой, ума не отличного, Дамоиз, которого в присутствии [Ераста] первого совсем забывали, — заступил [должность Ераста] его должность, исполняет ее с пользою и похвалой.[в]

Думал я [о сем] долго и [догадался, что сии] долго не мог объяснить сего явного противоречия. Наконец догадался, что ошибки наши в выборе и назначении людей ⟨л. 37 об.⟩ происходят от того, что мы не имеем верного масштаба для измерения ума человеческого,[c] и для [узнания] определения степени, в каком отношении оный находится[d] к другим качествам души. И потому в [всех] [выборах] суждениях наших о людях действуем мы только по наружному внушению и, так сказать, ощупью. Мы видим, что человек умен, но не можем определить [до какой степени] степени его ума, не [можем определить] имеем верного средства к соображению сего ума с другими качествами души, а без сего могут ли иметь [твердое основание] основательность наши суждения? Для произведения дела, требующего ума, достаточно ли употребить первого умного человека, который нам попадется? Нет! Ум есть качество генерическое (родовое): заключающее в себе несколько видов (espèces), друг от друга отличных. Можно обладать некоторыми из сих видов и иметь совершенный недостаток в других, и потому человек очень умный может испортить дело, когда недостает у него вида, [сему делу свой⟨ственного⟩] для дела сего потребного, между тем как другой, не столько

---

[a] *Рядом со словами*: Он был умницей ~ при самом вступлении в свет — *на полях вписано и зачеркнуто*: Еще в колыбели он был умен, как старик, — в [отрочестве] училище он был философ.

[в] *Далее следует незачеркнутое (вероятно, ошибочно) начало фразы*: И отчего ⟨же⟩ — *и ее зачеркнутое продолжение на полях*: мы так грубо ошиблись в суждениях наших о Ерасте и Дамоизе?

[c] *Вместо*: что ошибки наши ~ для измерения ума человеческого — *было начато*: *а.* что ошибка наша в выборе и назначении людей происходит от разных причин, из которых глав⟨ная⟩ имеется та, что мы не имеем до сих пор *б.* что главная причина сему та, что мы всегда ошибаемся в суждениях наших с любых

[d] *Слово ошибочно зачеркнуто.*

умный, удачно сие дело кончит, потому что имеет вид, оному свойственный. Любопытство заставило [мне] меня [думать] размышлять, от чего происходят сии разнообразные виды человеческого ума? По долгом размышлении объяснил я сие наконец следующим образом. ⟨л. 31⟩

Душа человеческая во всех людях одинакова — относительно к уму, то есть всякой человек: младенец, взрослый или старик, умный, глупый или помешанный, имеет в себе душу равно умную. Разница состоит только в том, что душа, будучи заключена в теле и не имея никаких средств обнаруживать себя иным образом, как посредством органов сего тела, заставляет действовать оные не так, как умеет, а как позволяют ей сии органы. Итак, младенец не может рассуждать, подобно взрослому человеку, потому что органы его не дошли до надлежащей зрелости; дряхлый старик теряет пылкость ума, отличавшую его в молодости, потому что органы его ослабели; помешанный действует безумно, потому органы его расстроены; а дурак говорит глупо, потому что умная душа его не может обнаружиться, — по недостатку необходимых для сего органов. Вы думаете, нап⟨ример⟩, что в Феклисте нет ума, потому что он вечно делает и говорит глупости? Вы грубо ошибаетесь, — в нем столько же ума, как и у вас, но недостает только органов! Вы воображаете, что Хлыстов не имеет такого дара поезии, как Державин [Крылов] и Жуковский? Опять та же ошибка! Поверьте, душа его те же самые имеет способности; но, к несчастью, никак не может оных обнаружить. Постараемся объяснить сие сравнением. Из одного ⟨л. 31 об.⟩ источника проведено несколько фонтанов; все они равной силы, равной чистоты, все равно способны ко всему, на что употребляются фонтаны. Но художник [их] [устраивающий фонтаны сии] заключил их в трубы разной величины и разных видов. Одному фонтану назначил подниматься величественно вверх и на большой высоте [рассыпаться в бесчисленное множество радужных искр] разделяться [светлыми и яркими лучами] на светлые и яркие лучи, другому на меньшей [высоте] против первого высоте рассыпаться в блестящие радужные искры, а третий фонтан по неизвестным нам причинам [назначен] определен к самому низкому употреблению, и дабы никто не мог их [не] смешивать между собою, [даже в то время] дал последнему вид нечистого сосуда. Вот Державин! Вот Жуковский, вот Хлыстов![2]

Некоторые полуумные люди делали мне возражение, что мысль моя не нова и что она почерпнута из систем доктора Галля![3] И там и тут, говорят они, всё основано на органах. Так, гг. критики, везде органы, но при сем том разница в [обеих] сих системах существенная, и вот в чем она состоит. По моему мнению, душа у всех одинакова, а по системе Галля каждая душа имеет качества, различные от других душ.

Качества сии по приписываемой им упругости стремятся к голове и производят [на оной] шишки, а шишки сии, как новые гиероглифы (имеющему ключ к оным) объясняют способности, пороки и добродетели человека. ⟨л. 32⟩ Видите, в чем состоит разница, и можете избрать себе любое.

Итак, система моя открывает, отчего часто самые умные люди делают непростительные глупости, и vice versa.[a] Но сего не довольно: посредством оной вы еще можете объяснить, отчего люди, одаренные умом, дарованиями и ученостию, на одной какой-нибудь [статье] точке кажутся и бывают помешанными. Сколько [бы] мог бы я вывести на сцену образцов! Вы знаете Леонора? Он человек умный, ученый, [скромный и] тихой — во всю жизнь свою он не обидел [никого] ни одного человека. [Но попытайтесь] Он со всеми учтив, ласков и приветлив, но попытайтесь сказать ему, что «История» Карамзина не есть маковка совершенства, и вы испугаетесь! Глаза его наливаются кровью — кулаки сжимаются — волосы видимо подымаются дыбом, — скромный, тихой Леонор вне себя. Близкое ли родство, тесная ли дружба привязывает его к почтенному историографу? Нет, он едва знаком с ним. ⟨л. 32 об.⟩

⟨2⟩

Ум есть название генерическое [которое часто смешивают].

Ум имеет многие качества, друг от друга не зависящие и которые часто смешивают без разбору.

Качества сии удобно разделить можно на два рода: на качества природные и качества приобретенные.

К первым принадлежат: память, остроумие, догадливость, понятливость, [беглость] пылкость, проницательность — здравый рассудок, дар поэзии. К вторым принадлежит ученость.

Дабы иметь достаточное понятие о человеке, не довольно знать, умен ли он и какого роду имеет ум. Ум имеет столь тесную связь с другими качествами души, что необходимо нужно знать оные, дабы, соображая вместе сии качества, вывесть заключение.[4] Итак, душа имеет два рода качества:

1-е. Качества, относящиеся к уму.

2-е. Качества, относящиеся к нраву.

О качествах, относящихся к уму, мы говорили выше.

Качества, относящиеся к нраву, суть решимость, постоянство, терпеливость, опрометчивость, ветреность, трусость [гордость], надменность, тщеславие, упрямство, хитрость, леность, трудолюбие. ⟨л. 40⟩

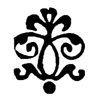
---

[a] наоборот (*лат.*)

⟨3⟩

Человеку, одаренному [отличным] способностями, надлежало бы довольствоваться тем, чтобы направлять оные на предметы, подвластные его органам. Но [нет] он обыкновенно требует более и напрягает душу [свою] на [такие предметы которые] то, что находится вне границ ума человеческого и о [которых] чем получит он понятие разве тогда, когда душа его, сбросив оковы, [наложенные на нее бренным телом] на нее наложенные, совершенно [будет] [почувствует] будет свободною. Сюда принадлежат между проч⟨ими⟩ мистики, желающие проникнуть тайны, [скрытые от] хранимые [священною] религиею, непризванные толкователи Свящ⟨енного⟩ писания, философы, [старающиеся тайну] которые заглядывают за завесу, скрывающую от нас мир духовный, искатели философского кам̆ня и тому подобные.

Сие толкование разнообразности видов человеческого ума успокоило меня только на короткое время. [Встретилась мне] Представилась другая [мысль] задача, которая разрешением чрезвычайно меня затрудняла. Каким образом, думал я, можно [объяснить] описать сии различные свойства человеческого ума коротко, ясно и так, чтоб из соображения оных между собою можно было вывесть заключение о человеке? Я воображаю себя на месте министра или другого чиновника, от [которого] коего зависит выбор человека, которому [ввер⟨ят⟩ государство] должно вверить государственные дела. Представляются несколько кандидатов; все они умны: один хорошо пишет стихи, другой сыплет острыми словами, третий знает мертвые языки и говорит, как Цицерон. На ком [решится] остановится мой выбор? Я, конечно, могу узнать разнообразные качества ума каждого, но каким средством сообразить оные между собою — каким образом привесть их в связь с прочими душевными качествами, дабы после вывесть заключение безошибочное? — вот задача мудреная! Но утешьтесь, люди, важным саном и властию облеченные, — я ее решу. Решу не пустыми словами, а фигурою [имеющею вид] геометрическою, а геометрия, как вам небезызвестно, основана на математике, на которой основано всё. ⟨л. 35⟩



⟨ПИСЬМО К ИЗДАТЕЛЮ «ВЕСТНИКА ЕВРОПЫ»⟩

С некоторого времени в издаваемом вами «Вестнике» часто печатаются статьи под заглавием «мыслей», «правил», «характеров» и т. п. Авторы сих «мыслей» суть люди небезызвестные на поприще словесности нашей, и произведения пера их иногда можно читать с удовольствием. Но чем известнее автор, тем священнее обязанность его пред публикою быть разборчивым в своих сочинениях; ибо творения [известного] такого писателя, напечатанные в хорошем журнале, многими читателями принимаются за образцы — и рождают подражателей, которые только [умножают] увеличивают число пустых произведений, и без того изобильных. Сие побуждает меня изложить мнение мое о упоминаемом роде сочинений, и я надеюсь, что почтенные авторы не оскорбятся беззлобным сим рассуждением, имеющим целью не личное к [кому-нибудь] кому-либо притязание, но пользу общую.

«Правила», «мысли», «описания характеров» и проч. принадлежат к такой отрасли словесности, которой первое начало теряется в самых давних временах. Тогда еще, когда искусство писать не было изобретено, старики передавали изустно молодым людям на опыте основанные правила свои, мысли и [нраво⟨учительные⟩] поучительные описания характеров. Таковые мысли [сначала были новыми открытиями еще в младенчестве пребывающего человеческого ума и, будучи], изложенные кратко и разительно, легко врезывались в память и [из] сохранялись из века в век. Каждый народ может представить множество сего рода произведений, и самые пословицы наши не что иное суть, как изложенные в екстракте правила, мысли и портреты, из которых многие [в] спорить могут в справедливости и разительности с «характерами» Лабрюера и с «правилами» Ларошфуко.[1] Первоначально мысли сии были новыми открытиями в младенчестве пребывающего человеческого ума — и потому истины, которые тогда могли прославить того, кто первый нашел их в своем уме, ныне, сделавшись слишком известными, не

[поражают более] удивляют уже никого. Поле так теперь изрыто, что обработывать оное не иначе мы должны, как удостоверясь, что открыли что-нибудь новое или что по крайней мере старое умели представить в лучшем и разительном виде. По сей-то причине нет ничего на свете труднее, как написать правила или мысли, заслуживающие внимания публики, так как, с другой стороны, нет труда легче и неблагодарнее, как перемалывать [истины] мысли всем известные. Вольтер сказал весьма справедливо: первый, который, желая изъяснить, что удовольствия смешаны с горестями, уподобил их розам с шипами, без сомнения, имел ум, но те, которые его слова повторяют, ума своего тем не доказывают.[2]

Итак, от сочинителя «правил», «портр⟨етов⟩» и «мыслей» мы имеем право требовать: 1-е. Чтоб он научил нас чему-нибудь новому. 2-е. Чтоб мысль свою он выражал немногими краткими и разительными чертами. 3-е. Чтоб старые и известные уже истины он показывал [бы] нам с новой точки зрения, изъясняясь притом сильно и красноречиво, и, наконец, 4-е. Чтоб употребляемые им сравнения не были противны логике и хорошему вкусу.

Гг. сочинители, может быть, скажут [нам], что [все сии] правила сии им известны и что они [руководствуются сими правилами] и без моего напоминания ими руководствуются в составлении своих статей. В доказательство противного я осмелюсь разобрать здесь несколько «мыслей», напечатанных в 5-м № «Вестника Европы» нынешнего года,[3] — я говорю: *несколько*, потому что не хочу обременять [терпение] читателей подробным разбирательством всех, — впрочем, замечу, что в целом собрании сих «мыслей и характеров» не нашел я более двух или трех довольно новых и [разительных] занимательных.

Приступаю к разбору.

«Люди становятся иногда нашими недоброхотами, оттого что мы были свидетелями их предосудительных слабостей».[4]

Кто не согласится с сочинителем в сей истине и кому из читателей она не была известна, и не читавши ее в «Вестнике»?

«Весьма многие на поприще жизни не действуют, а движутся».[5]

Сие давно вошло в пословицу: о человеке ленивом, без ума и без души, говорят: он не живет, а движется.

«Человеку нужно нравственное воспитание, без которого он не многим чем разнствует от зверя».[6]

Прошу г-на сочинителя отыскать аксиому, которая была бы обыкновеннее и известнее сей.

«Некоторые писатели, принимаясь за перо, должны накинуть покрывало на статую бога вкуса».[7]

Иными словами: некоторые писатели не имеют понятия о хорошем вкусе. Кто сего не знает? Спрашивается теперь, к чему служит перемалывание сих давно известных правил и мыслей, которым в детстве еще мы научаемся из букварей и прописей? Раскрываю азбуку, по которой учится читать маленький сын соседа моего, и нахожу в параграфе о складах: «Ти-ше е-дешь, да-ле бу-дешь.[8] — К чему привыкнешь в молодости, от того не отвыкнешь в старости.[9] — Наука в развратном человеке есть пагубное орудие к причинению зла»[10] — и проч. и проч.

Мысли сии, взятые наудачу из первого попавшегося мне в руки букваря, не менее новы, не менее справедливы и занимательны тех, которые напечатаны г-ном сочинителем упомянутой статьи.

Угодно ли вам прочитать уподобление недостаточное? Из той же статьи извлекаю следующее:

«Люди порочные, проповедующие добродетель, подобны человеку, в незнакомой стране указывающему дорогу».[11] ⟨л. 23 об.⟩

Кроме какого-нибудь шалуна, никто в незнакомой стране не будет указывать дорогу, а исключение из правила не есть правило [весьма часто люди добродетельные не имеют дара проповедовать добродетель, и мы не ⟨*1 нрзб*⟩ нередко]. Можно ли утверждать, что порочным людям дорога к добродетели незнакома? Сколько же, напротив, встречаем [мы] людей порочных, которым известна добродетель и которые могут указывать нам настоящую к ней дорогу? Изречение одного проповедника: делайте то, что я говорю, а не то, что я делаю, — весьма известно.[12] Если б сочинитель уподобил порочного человека столбу [который], указывающему дорогу, по которой сам он не ходит, то сие сравнение было бы не скажу красноречивее, но по крайней мере справедливее.

Дабы не показаться пристрастным в суждениях моих, да позволено мне будет сделать еще замечание на «мысли» другого сочинителя, напечатавшего оные в 6-м № прошлогоднего «Вестника Европы».[13]

«Модное воспитание начинается с того, что причесывает молодых людей à la girouette,[a] а оканчивается тем, что делает из них самые верные подвижные барометры».[14]

Неужели прическа à la girouette (признаюсь, что впервые слышу название сие) есть отличительная черта начала модного воспитания? Что же касается до окончания оного, то мысль сия не нова: мне помнится, что лет пятнадцать тому назад я смеялся сей мысли, как остроумному слову, сказанному в дружеской беседе, и — пусть извинит меня любезный сочинитель, которого, впрочем, весьма уважаю, — если заме-

---

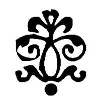
[a] на манер флюгера (*фр.*)

чу, что сравнение молодого человека с барометром или термометром противно строгим правилам хорошего вкуса?

Извлекаю еще одну мысль из того же № 1819-го года:

«Лучше ничего не делать, чем делать пустое и бесполезное. Я желал бы, чтобы особенно гг. сочинители и издатели согласились с этим мнением».[15]

Разделяя от чистого сердца такое желание с издателем сей мысли, я прибавлю, что оно-то было побудительною причиною, заставившею меня написать сии замечания. ⟨л. 22⟩



⟨О ВЫСТАВКЕ В АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ⟩

⟨ПИСЬМО К ИЗДАТЕЛЮ⟩

С большим удовольствием принялся я читать в журнале вашем статью о Академии художеств. И я, так же коль и сочинитель оной, житель московской, и я несколько раз, приезжая из Москвы, собирался быть в Академии, и я — ни разу не бывал в ней до нынешней выставки. Сие единообразие в любви к художествам между мною и почтенным земляком моим возбудило во мне какое-то сладостное [чувство] ощущение, которого словами изъяснить я не в силах. Когда чувствительный человек в течение жизни встречает кого-нибудь, которого понятия и вкусы согласны с его понятиями и вкусами, то он не может воздержаться от некоторого симпатического чувства, которому вольно или невольно он покоряется. Старинная пословица: similis simili gaudet[a] — на сем правиле основана. Симпатия сия бывает еще сильнее, когда во вкусах наших мы встречаемся с земляком, — вот почему, милостивый государь, я по прочтении первых строк пристрастился к неизвестному мне сочинителю упомянутой статьи. [К сему пристрастию прибавилось еще и любопытство: посмотрим, думал я, как судить будет о художниках человек, с редким простодушием признающийся, что он в них не знаток и не охотник! ⟨л. 4⟩

По прочтении статьи я увидел, что земляк мой не свои суждения передает читателям «С⟨ына⟩ о⟨течества⟩». Он на Васильевском острову отыскал какого-то старинного художника, которого решения принимает законными. Не будем говорить здесь о сих решениях! Г-н старинный художник Т., если дойдут до него сии замечания, может быть, вправе будет заметить, что он совсем не то говорил и что земляк мой, не имея ни любви к художествам, ни, следовательно, понятия об оных, совсем

[a] подобный подобному радуется (*лат.*)

иначе пересказывает его суждения! И потому коснусь только таких предметов, которые принадлежат собственно земляку моему. Считаю за нужное объявить предварительно, что я не критиковать его намерен, а только желаю с ним объясниться о некоторых предметах.]

Пристрастие сие заставляет меня, извините моему чистосердечию, взять сторону земляка моего против вас, [милостивый государь!] г-н журналист! Да, милостивый государь, против вас, ибо вы из благодарности за прекрасную статью, ваш журнал украшающую, обязаны были предостеречь г-на Замечателя от некоторых ошибок, которые весьма легко бы было исправить... Я не говорю об ошибках в суждениях о художестве, г-н Замечатель в оных не виноват, ибо не свои суждения он передает публике, а суждения какого-то стороннего художника Т., которого он имел счастие отыскать на Васильевском острову. Я упомяну только о том, что принадлежит собственно земляку моему, — выписываю его слова. ⟨л. 4 об.⟩

Если б N. N. помолчал несколько минут долее, то, вероятно, успел бы выдумать что-нибудь получше.

«*Это столп России!*»

Не понимаю, что ему хотелось изъяснить сими словами? Думал ли он этим сказать, что это произведение русское, *столбы, сделанные в России из русского камня?* — или подразумевал он этим... что-нибудь другое? Толкование тут необходимо!

«Твоей России!»

Воображаю почтенного земляка моего с Исакиевской площади, беседующего с монументом Петра Великого. Зрелище прямо трогательное! Но жаль, что он не приготовился к сему разговору; он бы не сказал Петру Первому, что *на сих колоссах* созидается храм Веры и величия России. Колоссы сии, [вероятно] без сомнения, употреблены будут на украшение храма, а не на сваи![1]

«В Египте, как известно, искусство каменоломное оставило памятники, до сих пор нас изумляющие огромностию цельных гранитов, но и в самом Египте едва ли рука человеческая из сердца гор исхитила подобные громады!»[2]

Искусство *каменоломное*, [любезный] почтенный земляк, исхитило в Египте из сердца гор громады, весом и величиной гораздо превосходящие наши колонны. Сии последние имеют вышины 56 фут⟨ов⟩. Толщины — от 6 до 7 футов.[3] [Славный колосс] Славная статуя Озимандия [описанная Диодором], и которая находится в Фивах, имеет вышины 68 футов и ширины в плечах от 19 до 20 футов.[4] Плиний говорит о гранитном цельном обелиске, которого в царствование Птоломея Фила-

делфия везли водою и который вышиною был с лишком в 114 футов.[5] В развалинах Луксора еще видеть можно два обелиска, из которых один в 70 футов и другой в 75. Обелиск, который находится в развалинах Карнака, вышиною в 91 фут. В Фивах, подле гробницы Озимандия, [находится] видны развалины. 〈л. 5〉[6]

Далее (стр. 207): «Поспешим, поспешим, если в продолжение пяти лет *затворничества* художники наши *не безмолвию* посвящали время свое».[7]

Из чего заключает г-н Замечатель, что художники наши в продолжение пяти лет были *затворниками*? И какую связь имеет *безмолвие* с художеством? Разве нужно непременно *болтать при произведении работ*?

(Стр. 208): «В таких разговорах *оканчивали* мы *тротуар* Кадетского корпуса».

Ошибка хронологическая! Зачем вы допустили сию ошибку, г-н журналист? Вам, как жителю Петербурга, должно быть известно: 1-е. Что не в нынешнем году сей тротуар *окончен*.[8] 2-е. Что не г-н Замечатель его *оканчивал*.

На той же странице: «Боюсь замедлить их нетерпеливость — видеть выставку».

Что значит: *замедлить нетерпеливость*?[9] Это, кажется, не по-русски.

(Стр. 208): «Прежде, — [говорил] сказал художник Т., *снимая* в *парадных сенях сертук*, — прежде человеку, как я, пожилому не так-то приятно было в этих сенях снимать *верхнее* платье; из прежних решетчатых ворот на круглый двор сквозной ветер нес ужасно; легко можно было простудиться».[10]

Верю, почтенный художник, охотно верю, что *не так-то приятно* снимать *верхнее* платье, когда ветер несет *ужасно*, но признаюсь вам, что весь [эпизод сей] рассказ сей о том, что в парадных сенях сняли сертук и что прежде вам неприятно было снимать *верхнее* платье, не всякому покажется интерес〈ным〉. 〈л. 5 об.〉 Г-н Замечатель мог бы нам сказать, что теперь сени теплее и лучше прежнего, не упоминая ни о *сертуке* вашем, ни о *верхнем* платье. Впрочем, не один земляк мой заметил, что новое начальство Академии неусыпно печется о усовершенствовании оной во всех частях. Весьма похвально, конечно, что при важнейших занятиях не забываются и мелочные, но, разделяя вместе с вами признательность к сему начальству, мы должны заметить вам, что вы весьма странный выбрали термин для изъяснения попечительности начальства. «Новое начальство, — говорите вы (стр. 212), — надобно сказать правду, *чрез-*

вычайно хлопотливо». Сей эпитет так вам понравился, что вы [повторяете] несколько строк ниже опять повторяете: «*Новое начальство хлопотливо!*»[11] Позвольте сказать, что приличнее бы было сказать: «Новое начальство *попечительно!*» — ибо *хлопотливость* не есть качество, заслуживающее похвалы, — и вообще слово сие представляет воображению что-то смешное (burlesque), которого вы, верно, не желали изъяснить.

(Стр. 213): «*Мир идей и чувств* затолпился предо мною».

Метафора немного темная! Идеи и чувства могли бы толпиться в вас, а не *перед* вами.

(Стр. 213 и 216): «„Не правда ли, здесь присутствует *божество*? Вы его *чувствуете*, смотря на этого Аполлона..." Но толпа нескромная [зрителей] посетителей, начинавших смотреть нам в глаза, вывела нас из *припадков энтузиазма*! (Жаль, ⟨л. 2⟩ право жаль!) Я начал смотреть (что ж вы прежде делали?), а художник изъясняться *хладнокровнее*. „Не правда ли, — говорил он, — что это истинный храм художеств: здесь кажется *есть какой-то запах Италии*"».[12]

Мне кажется, что г-н художник не весьма был хладнокровен, говоря сие [Помню теперь, что я не имел чести его зн⟨ать⟩], ибо смело сказать можно, что в сей комнате, наполненной множеством зрителей всякого звания, не пахло ни апельсинами, ни лимонами!

На стр. 219-й: Речь, адресованная к Наполеону, в иных местах немного надута, напр⟨имер⟩: «Тот, который целый мир *простирал в подножие* гордости своей». Далее: «*Повелитель мира!*»[13] Когда Бонапарт был повелителем мира? И зачем клепать на него то, что никогда не было!

Стр. 220. «Он понял мое молчание и подвел к маленькой фигуре коня, *ведомого всадником*».

Всадник перестает быть всадником, когда он не сидит на коне, а ведет его.[14]

(Стр. 223): «Если эта работа из начальных — она ручается за талант, идущий по хорошей дороге».

Талант идет *по дороге!* Здесь талант слишком живо и резко олицетворен.

(Стр. 224): «Прежде нежели Д. Л. Нарышкин приобрел Иоанна Доминикин*ова*»; далее (стр. 225): «творения Доминикин*ова*».

Славный живописец Dominico Zampieri, [обыкновенно известный] получивший прозвание Доминикин, а не Доминикин*ов*.[15] Маленькая частичка *-ов*, прибавленная г-ном Замечателем, совершенно ⟨л. 2 об.⟩ излишняя. Иной подумает, что *Доминикинов* русский художник.

На стр. 225. Почтенный земляк мой называет Суворова первым из полководцев *нового мира*.[16]

Под названием «новый мир» обыкновенно разумеется Америка, а кто не знает, что Суворов никогда не бывал в Америке!

На той же стр. 225. Г-н Замечатель изъясняется так: «Но вот наконец и картины, которые *любители мертвой природы* не проходили без внимания».

Из слов сих всякий заключит, что картины сии изображают [или какой-нибудь] или дикой бесплодный камень, или африканскую [степь] [песочную] песчаную пустыню, или мертвые [степи Ледовитого] ледяные [моря] степи которого-нибудь из полюсов, — совсем не то! Г-н Замечатель мертвою природою называет цветы и фрукты!!! [Вообще сказать можно, что речение «мертвая природа» не весьма удачно.] Надобно признаться, что [земляк мой едва ли не первый] речение сие немного неудачно. Что более растений и цветов доказывает нам животворную силу никогда не умирающей природы?

[Продолжение обещано]

⟨НАБРОСКИ⟩

⟨1⟩

[Цветы и фрукты считать] Мертвою природою назвать цветы и фрукты — [которые] сии живые доказательства [животворной силы] плодородной силы никогда не умирающей природы. ⟨л. 3⟩

⟨2⟩

Прекрасные гранитные колонны, назначенные для украшения [Исакиевской церкви] Исакиевского собора, не только привлекают на себя внимание [не только любителей и знатоков] знатоков и любителей изящных художеств, но [вообще каждого] внушают [справедливое удивление] огромностию своей справедливое [в них] удивление, кто их видит... [Человек и] [Люди, не умеющие] **[**Даже такие люди, которые не привыкли размышлять и не умеющие сообразить, сколько труда употреблено на выламливание и на перевозку [их] таких колоссов, придают оным цены, при виде сих огромных масс остаются изумленными!**]** Сей памятник [пламенной] любви Александра к изящному [Александр] позднейшим [потомству] векам гласить будет о [гигантских] исполинских успехах

России во всем, что до просвещения касается. И в самой вещи [которой из них] какое иностранное государство в состоянии представить потомству столь неоспоримые доказательства величия и славы! Который из монархов, ныне существующих, может, подобно российскому самодержцу, мановением скиптра передвигать с места на место каменные горы! [Гордые иностранцы! В] Кичливые иностранцы! Смиритесь пред столицею Севера: [там] здесь, среди болот и лесов, процветают художества, которые доныне казались уделом [благословенных] благословеннейших климатов шара земного!

Монолифы сии живо напоминают нам о [гигантских] художественных произведениях такого народа, с которым [ни один] никакой другой сравниться не может в [непонятном] исполнении чудеснейших ⟨л. 6⟩ предприятий. Египтяне, [которых древность науки теряется в хаосе младенчества человеческого рода, которых сокрытие с лица земного считается не веками, а тысячелетиями, египтяне одни превзошли нас колоссальными памятниками, поражающими нас своею огромностию. Греки и римляне считали древним народом] по [мнению] свидетельству древних [находились] находившиеся на вершине просвещения в [еще] тех еще отдаленных временах, когда, по мнению нашему, род человеческий был в младенчестве, египтяне одни далеко превзошли нас в [гигантском сем] искусстве побеждать природу, [расслоивая горы, сотворенные, кажется] рассекая на части огромные утесы, которые, казалось, сотворены были для вечности. **[**Почитатель древности, сравнивая между собою [произведения] художественные произведения [русских и] египтян и русских**]** Сие исполинское искусство сближает [так сказать] между собою два народа, разделенные необъятным пространством нескольких тысячелетий; и наблюдательный почитатель древности [с удовольствием встречает на брегах Невы искры того гения, которого произведения он созерцал с благоговением] [видит с удивлением] изумляется, видя на брегах Невы [образчики колонн] повторение в малом виде того, что поражало удивлением греков и римлян, приобыкших ко всему великому. Предполагая, что сравнение наших гранитных столбов с колоссами египтян может приятно занять читателей «С⟨ына⟩ о⟨течества⟩», я [не считаю излишним сделать краткое описание отличнейших] приступаю к краткому описанию оных. ⟨л. 6 об.⟩

⟨ТРИ СТАТЬИ О ПОЭМЕ «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» А. С. ПУШКИНА⟩

ЗАМЕЧАНИЯ НА ПИСЬМО К СОЧИНИТЕЛЮ КРИТИКИ НА ПОЭМУ «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА»

(ПИСЬМО К ИЗДАТЕЛЮ)

Бедный поэт! Не успел он еще отдохнуть от тяжкого нападения г-на В., как является г-н N. N. с полною котомкою вопросов, из которых один хитрее другого! Оба господа сии, вероятно, теперь вступят в ученую переписку, и ваш счастливый журнал выбран цирком, на коем происходить будет сей assaut d'esprit![a] Спешим, милостивый государь, поздравить вас с сею радостью.

Какой свет излиется на российскую словесность из вопросов г-на N. N., из ответов г-на В.! Но, разделяя сию приятную надежду со всеми любителями русского слова, мы, с другой стороны, не можем не пожалеть о сочинителе поэмы, который, при первом почти шаге на Парнас, встречает таких судей! Вопрос за вопросом, удар за ударом — ах, милостивый государь, какой молодой стихотворец может выдержать такой строгий допрос, как мы читали в письме г-на N. N.? Иной подумает, что дело идет не о поэме, а об уголовном преступлении: «Зачем Финн рассказывал свою историю? Зачем Руслан внимал его рассказам? Зачем Руслан присвистывает? Зачем Фарлаф ищет Людмилу? Зачем маленький карло с большою бородою? Зачем он приходил к Людмиле? Зачем она сорвала с него шапку? Зачем он позволил ей это сделать?» и проч. и проч.

Trop est trop! Et il faut avouez que vous êtes *trop* curieux, monsieur N. N.[б] (Однажды навсегда просим извинить нас, г-н издатель, что

---

[a] взрыв остроумия (*фр.*)

[б] Что слишком, то слишком. И надо признаться, что вы *слишком* любопытны, господин N. N. (*фр.*)

мы русское письмо наше прибавляем французскими фразами: они и для слуха приятнее, и несравненно выразительнее, например: «Commençons par le commencement» — гораздо нежнее и звучнее, нежели: «Начнем сначала».)[1]

Но обратимся к делу.

Прочитав со вниманием письмо г-на N. N. (которое, признаться, понравилось нам гораздо более критики г-на В. по той причине, что оно гораздо короче), мы не могли не пожалеть о том, что самого сочинителя поэмы нет теперь в Петербурге. Конечно, никто лучше его не мог бы удовлетворить любопытству вопрошателя, и мы уверены, что он бы не отказал служить г-ну N. N. всеми сведениями, которые нужно ему иметь о героях «Руслана и Людмилы». Почтенный критик обратился с вопросами своими к г-ну В., — но будет ли сей последний разрешать оные! Судя по разбору его, напечатанному в четырех книжках вашего журнала, он и сам не мог разгадать, например, почему *добрый* Финн делал *добро* Руслану, тогда когда *злая* Наина ему делала *зло*? (см. № 35, стр. 74). В сем недоумении мы решились принять на себя труд отвечать на вопросы, и если наши ответы покажутся недостаточными, то мы надеемся, что нас извинят ради доброго намерения.

Начнем с первого вопроса — «Commençons par le commencement»: «Зачем Финн дожидается Руслана?» — Пусть отвечает сам Финн г-ну N. N.:

Уж двадцать лет я здесь один
Во мраке старой жизни вяну;
Но наконец *дождался дня,*
Давно предвиденного мною.

(стр. 18)

Из сего мы видим, что волшебник имел дар предузнавать будущее; итак, он дожидался Руслана потому, что давно предвидел, что он к нему приедет. Кажется, довольно ясно?

«Зачем Финн рассказывал Руслану свою историю?» — Затем, чтобы Руслан знал, кто он таков: впрочем, старики обыкновенно бывают словоохотны, и гораздо удивительнее бы было, если б Финн не рассказывал своей истории.

«Как может Руслан в таком несчастном положении *с жадностию* внимать рассказам старца?» — И тут нет ничего мудреного. Положение Руслана уже не было несчастное, когда он внимал с жадно-

стию рассказам. Финн ободрил его с самого начала и поселил в него надежду:

Но *зла* промчится *быстрый* миг,
На время рок тебя постиг.
⟨. . . . .⟩
Узнай, Руслан; твой оскорбитель
Волшебник страшный Черномор...
⟨. . . . .⟩
Еще ничей в его обитель
Не проникал доныне взор;
Но *ты, злых козней истребитель,*
В нее ты вступишь, *и злодей*
Погибнет от руки твоей.

(стр. 18)

Далее (стр. 19):

...тебе ужасна
Любовь седого колдуна:
Спокойся, *знай: она напрасна*
И юной деве не страшна.

и проч.

Что же в том удивительного, что ободренный и успокоенный Руслан с жадностию слушал историю своего благодетеля?

«Зачем Руслан *присвистывает*, отправляясь в путь?» — Дурная привычка, г-н N. N.! Больше ничего. Не забудьте пожалуйте, что вы читаете сказку, да к тому ж еще *шуточную* (как весьма остроумно заметил г-н В. в своей критике): зачем же Руслану не присвистывать? Может быть, рыцари тогдашнего времени вместо употребляемых ныне английских хлыстиков присвистывали на лошадей? Если б автор сказал, что Руслан просвистал арию из какой-нибудь оперы, то это, конечно, показалось бы странным в его положении, но присвистнуть, право, ему можно позволить!

«Зачем Фарлаф, с своею трусостию, поехал искать Людмилы? Иные скажут: затем, чтоб упасть в грязный ров: et puis on en rit et cela fait toujours plaisir».[a] — Фарлаф поехал искать Людмилу, несмотря на трусость свою, потому, что трусы часто ездят туда же, куда ездят храбрые люди. Таковые примеры совсем не редки. Что же касается до

---

[a] и, кроме того, это смешно, что всегда доставляет удовольствие (*фр.*)

bon mot[а] насчет грязного рва, то надобно отдать ему справедливость: оно довольно остро!

«Справедливо ли сравнение (стр. 43), которое вы так хвалите? Случалось ли вам это видеть?» — Сравнение точно справедливо, г-н N. N., и г-н В. не напрасно его хвалит: оно нравится весьма многим. Случалось ли г-ну В. *это* видеть? — Не знаем, милостивый государь! Такие редкости не всякому удастся видеть. Сочинитель поэмы говорит (стр. 43):

С порога хижины моей
Так видел я, средь летних дней,
Когда за курицей трусливой

и проч.

Предоставляем самому г-ну В. отвечать на сей вопрос, который не касается до русской словесности. И в самом деле, какая до того нужда ученому свету, случалось ли г-ну В. видеть, как петухи бегают за курицами? Это вопрос совсем партикулярный.

«Зачем маленький карло с большою бородою приходил к Людмиле?» — Ceci est bien méchant, m-r N. N.[б] Мы, простодушные люди, полагаем, что он приходил к Людмиле из одной только учтивости: она жила у него, и он, как хозяин дома, за нужное счел сделать ей визит. Впрочем, может быть, он и другие намерения имел, но — не надобно судить о ближнем слишком строго.

«Как Людмиле пришла в голову странная мысль схватить с колдуна шапку? (впрочем, в испуге чего не наделаешь!)» — Так точно, г-н N. N.! Другой причины не было, и нам очень приятно видеть, что вы сами собою успели разрешить сей важный вопрос!

«Как колдун позволил Людмиле *это* сделать?» — Вы ошибаетесь, г-н критик! Колдун не позволил ей *это* сделать. Прочитайте опять со вниманием поэму, и вы увидите сами, что она *это* сделала без позволения.

«Каким образом Руслан бросил Рогдая, как ребенка, в воду?» — Здесь ответ не затруднителен. Читайте Пушкина:

Они схватились на конях...
⟨. . . . .⟩
Их члены злобой съединенны;
Объяты, молча, костенеют;[2]

[а] остроты (*фр.*)
[б] Это зло, господин N. N. (*фр.*)

По жилам быстрый огнь бежит;
На вражьей груди грудь дрожит —
И вот — колеблются, слабеют —
Кому-то пасть... вдруг *витязь мой,*
Вскипев, железною рукой
С седла наездника срывает,
Подъемлет, держит над собой
И в волны с берега бросает.

Какого еще требуете толкования?

Есть еще много вопросов в письме г-на N. N., столь же важных, но, желая разделить с г-ном В. благодарность читателей, мы предоставляем ему удовольствие отвечать на оные. Мы уверены, что он исполнит сию приятную обязанность — как нельзя лучше! Один только из сих вопросов, может быть, затруднит его — и в самом деле трудно догадаться: «Зачем карло не вылез из котомки убитого Руслана?» — И нам сие сначала показалось весьма странным; но в последствии времени мы узнали от достоверных особ, что карло не вылез из котомки затем, что он никак *не мог* вылезть. Руслан прежде смерти крепко-накрепко затянул котомку ремнем, оставив небольшое отверстие, чрез которое карло мог просовывать одну только голову. Мы весьма рады, что судьба доставила нам случай узнать о сем важном обстоятельстве, и долгом считаем довести оное до всеобщего сведения.

В заключение: благодарим г-на N. N. за то, что вопросами своими он подал повод к объяснению некоторых темных мест в поэме.

Село Хмарино. К. Григорий Б—в.

ЗАМЕЧАНИЯ НА РАЗБОР ПОЭМЫ «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА», НАПЕЧАТАННЫЙ В 34, 35, 36 И 37 КНИЖКАХ «СЫНА ОТЕЧЕСТВА»

(ПИСЬМО К ИЗДАТЕЛЮ)

Прекрасная поэма, коею мастерское перо Пушкина обогатило словесность нашу, дала повод к пространному разбору оной в издаваемом вами журнале. Хотя снисхождение, заставившее вас напечатать сие плодовитое сочинение, дает нам право думать, что вы, милостивый государь, движимы были некоторым пристрастием к неизвестному нам критику, но надежда на справедливость вашу рождает в нас твердое увере-

ние, что вы не откажетесь принять и наши замечания. Писав оные, мы не имели иной цели, кроме желания показать, что решительный тон, который позволяют себе иногда гг. критики, нимало не доказывает познаний их в тех предметах, кои они берутся разбирать. Поэма Пушкина, конечно, свыше критики г-на В., и мы бы не обратили никакого на оную внимания, если б не опасались, что учительский вид, им на себя взятый, может привесть в заблуждение некоторых читателей вашего журнала. Люди, одаренные слишком пужливою совестью, могут, упираясь на остроумное изречение г-на В., подумать, что стихи Пушкина в самом деле *грешные;* другие опасаться будут, что нежный слух их потерпит от рифм, кои примерная учтивость г-на Разбирателя назвала *мужицкими;* зачем же, милостивый государь, и тех и других лишить удовольствия читать превосходное сочинение?

Но, не имея плодовитости г-на В. и желая, чтоб замечания наши поместиться могли не в 4-х, а в одной книжке «Сына отечества», мы спешим приступить к делу.

Бóльшая часть разбора состоит из переложения в скучную прозу прекрасных стихов Пушкина. От времени до времени являются рассуждения и сентенции, которые либо ничего не значат, либо совершенно ложны. Из уважения к терпению читателей мы быстро пробежим 34, 35 и 36 номера и немного долее остановимся на 37-м, где автор разбора, представляя нам, так сказать, в экстракте мнимые ошибки Пушкина, наиболее обнаруживает, что он взялся за такое дело, которого совсем не понимает.

С самого начала (№ 34, стр. 12) г-н В., желая доказать нам, что поэмы должны быть писаны в стихах, говорит: «Хорошие судьи полагают, что прозаическая поэма есть противоречие в словах, чудовищное произведение в искусстве».

Если г-н В. считает себя в числе сих хороших судей, то мы заметим ему, что он, вероятно, не знает различия между прозаическою поэмою и поэмою, писанною в прозе. Не стихи составляют отличительный характер поэзии. Например, в поэме «Марфа-посадница», писанной в прозе, несравненно более поэзии, нежели в поэме «Искусства и науки», писанной в стихах.[1]

На стр. 15 г. критик говорит: «Поэма „Руслан и Людмила" не эпическая, не *описательная* и не дидактическая. Какая же она? — *богатырская:* в ней описываются богатыри; *волшебная:* в ней действуют волшебники; *шуточная,* что доказывается следующими многочисленными выписками» (следуют выписки на $2^1/_2$ страницах). «Ныне, — продолжает г-н В., — сей род поэзии называется *романтическим*».

Следовательно, смесь богатырского, волшебного и шуточного составляет романтическое! Прекрасная дефиниция! Неужели не случалось никогда г-ну В. читать творения так называемые романтические, в коих не было ничего ни волшебного, ни богатырского, ни шуточного? Советуем ему прочитать лорда Бейрона, признанного первым сочинителем в сем роде: там он найдет многое, где нет ничего ни волшебного, ни шуточного, ни богатырского. Желательно бы было также знать, почему г-н В. к трем определениям своим не прибавил еще четвертого: *описательная*, потому что в ней описываются богатыри, волшебники, сражения, сады и проч.

Где же тут логика?

Еще вопрошаем г-на критика: почему он счел за нужное третье определение свое, что поэма *шуточная*, подкрепить выписками на двух с половиною страницах, тогда когда при первых двух определениях он полагал, что довольно одного его слова, *без* выписок? Где же опять логика? И не значит ли это тратить бумагу по-пустому?

Обращаемся к № 35, стр. 66.

«В поэме Пушкина действуют: благодетельный Финн, *которого имени, не знаю почему, сочинитель не объявил нам*, злой колдун Черномор, голова Черноморова брата и злая волшебница Наина. Характеры их хорошо нарисованы, и в продолжение шести песен постоянно и ровно выдержаны».

Легкий упрек г-на В. за то, что Пушкин не объявил имени волшебника Финна, доказывает тонкую разборчивость критика. В самом деле жаль, что любопытство его остается неудовлетворенным; просим убедительно Пушкина во втором издании исправить сию важную ошибку! Но мы надеемся, что г-н В. из благодарности согласится удовлетворить и нас. Мы, например, весьма любопытны знать: какой характер он нашел в голове Черноморова брата, выдержанный, по его словам, постоянно и ровно в продолжение шести песен?

Далее: стр. 74. «Немаловажною погрешностию в чудесном почитаю то, что автор не объявил нам причины, заставляющей волшебника Финна благодетельствовать русскому витязю, а волшебницу Наину ненавидеть и гнать его».

Сожалеем, что никак не можем согласиться считать сие погрешностию. Уверяем г-на В., что, читая поэму Пушкина, мы без большого напряжения ума догадались, что Финн благодетельствует Руслану потому, что он добрый волшебник, а Наина его ненавидит потому, что она злая колдунья. Во всех почти сего рода повестях действуют добрые и злые волшебники, из которых первые защищают героя от гонений по-

следних. Сверх того, ненависть Наины к Руслану объясняется злобою ее на Финна:

Уже зовет меня могила;
Но чувства прежние свои
Еще старушка не забыла,
И пламя позднее любви
С досады в злобу превратила.
Душою черной зло любя,
Колдунья старая, конечно,
Возненавидит и тебя,

и проч.

Чем же виноват Пушкин, что г-н В. и тут еще не догадался, зачем Наина гонит Руслана? Если б молодой поэт наш писал для одного только г-на Разбирателя, то, конечно, надлежало бы ему применяться к *его* понятливости, но так как поэма писана не для него одного, то Пушкину позволено было надеяться, что бо́льшая часть его читателей будет догадливее г-на В.

Г-н критик, доказав в сем случае довольно ясно свою недогадливость, зато далее недостаток сей вознаграждает с лихвою. Suum cuique![a]

«Характер Рогдая, — говорит он (№ 36, стр. 97), — изображен смелою кистью Орловского,[2] мрачными красками Корреджия:[3]

...угрюм, молчит — ни слова...
Страшась неведомой судьбы
И мучась ревностью напрасной,
Всех больше беспокоен он,
И часто взор его ужасный
На князя мрачно устремлен.

Прочитав сии стихи, мы с *ужасом* видим пред собою одного из тех *хладнокровных воинов-убийц*, которые не умеют прощать, для которых *кровопролитие есть забава, а слезы несчастных — пища*».

Удивляемся пылкому воображению г-на В.! Из взоров Рогдая, мучимого ревностью, мрачно устремленных на князя, он заключает с ужасом, что он из тех хладнокровных воинов-убийц, которые не умеют прощать, и проч.

Объясните нам, г-н В., отчего произошла у вас такая ненависть к сему несчастному? Красноречивое описание того, что вы с *ужасом*

[a] Каждому свое! (*лат.*)

видите пред собою, помышляя о Рогдае, гораздо б приличнее было, говоря о Фарлафе, который хладнокровно убил спящего Руслана, тогда когда Рогдай сражался с счастливым соперником своим честным образом. Кто дал вам право так строго судить о Рогдае, которого, вероятно, сам Пушкин не считал таким кровопийцею, каковым он представляется в ваших очах?

На стр. 105 того же № робкое целомудрие г-на В. строго вооружается против некоторых шуточных эпизодов Пушкина. Эпизоды сии, конечно, напоминают нам, что пламенный гений юного поэта не освободился еще от пылких страстей, впрочем весьма извинительных в его лета, но положим, что девственный слух г-на В. справедливо оскорбился описанием приключений Ратмира в замке, всё не надлежало ему упускать из виду, что самая строгая нравственность не исключает учтивости и что можно быть или казаться Катоном, не быв притом невежливым.[4] Называть стихи Пушкина *площадными шутками* — значит не иметь понятия о достоинстве критика.

Наконец, добрались мы до № 37.

«Обращения, или прологи, Пушкина, — говорит г-н В. (стр. 146), — не совсем счастливы: он хотел быть в них забавным, блистать остротою ума и вместо того *почти везде* остроты его натянуты, плоски».

Почти везде, г-н критик? Как милостиво! Что, если докажем вам, что острота, коею *вы* блистать хотели, *везде* плоска? Желали бы мы привесть вам на память известную истину, что часто в глазе ближнего мы видим былинку, когда в собственном глазе не видим бревна; но опасаемся, чтоб вы не назвали сию истину *общею и сто раз сказанною и пересказанною мыслию*! (см. № 37, стр. 147).

«В полной уверенности, — продолжает г-н В., — что автор исправит их при втором издании, заметим здесь маленькие погрешности против языка».

Не знаем, на чем основывает г-н критик *полную* свою *уверенность*, но надеемся, что Пушкин не слепо доверять будет его замечаниям. В доказательство неосновательности оных приведем в пример следующие:

Вот под горой *путем широким*
Широкий пересекся путь.

«Мы говорим: зимний путь, летний путь, но пересекается дорога другою дорогою, а не путем».

Признаемся откровенно, что до сих пор мы не знали сего тонкого различия. Нам кажется, что путь и дорога — всё равно; говорится:

зимний путь, летний путь, зимняя дорога, летняя дорога. В военной терминологии даже принято выражение: *покрытый путь*, а покрытая дорога не употребляется.

Трепеща, хладною рукой
Он вопрошает мрак немой...

«*Вопрошать мрак немой* — смело до непонятности, и если допустить сие выражение, то можно будет написать: *говорящий мрак, болтающий мрак, болтун мрак; спорящий мрак, мрак, делающий неблагопристойные вопросы и, не краснея, на них отвечающий; жалкий, пагубный мрак!*»

Как остро, г-н В.! Какое богатство в мыслях и какая убедительная логика в доказательствах! Вы не допускаете выражения: *мрак немой*, потому что не можно написать: *мрак болтающий*. По сему правилу нельзя будет сказать: монумент *стоит* на площади, потому что нельзя сказать: монумент *прыгает* на площади!

С ужасным пламенным челом.

«То есть с *красным, вишневым лбом*».
Как это плоско, г-н В.!

И пламень роковой.

«Растолкуйте мне, что это за пламень? Уж не брат ли он *дикому* пламени?»

Какая натянутая острота, г-н В.! Желательно знать, почему вам не нравится роковой пламень? Роковым назвать можно каждый предмет, который служит орудием року. Роковой меч, роковой удар, роковой пламень, роковой час и проч.

Могильным голосом.

«К стыду моему, должен признаться, что *я не постигаю*, что такое могильный, гробовой голос: не голос ли это какого-нибудь неизвестного нам музыкального орудия?»

Признайтесь, г-н критик, что вы воображаете, что сказали тут весьма острое словцо? Крайне ошибаетесь, г-н В.: оно и плоско, и натянуто, и жалко! Что же касается до того, что вы *не постигаете*, что такое могильный голос, то, между нами будь сказано, вы, видно, многого еще не постигаете: могильный голос значит голос, который кажется выхо-

дящим из могилы, по-немецки — Grabes-stimme, по-французски — voix sépulcrale.

От ужаса зажмуря очи...

«Славянское слово *очи* высоко для простонародного русского глагола *жмуриться*. Лучше бы автору *зажмурить глаза*».

И эта шутка не из последних! Но в простонародном русском языке слово *очи* так же употребительно, как слово *глаза*, следовательно, и шутка не у места, и привязка совершенно пустая.

Со вздохом витязь благодарный
Объемлет *старца-колдуна*.

«Под словом *колдун* подразумевается понятие о старости, и слово *старец* в сем стихе совершенно лишнее».

Полно, так ли, г-н В.? Колдун может быть и старый, и молодой, и средних лет; не знаем, на чем вы основываете мнение ваше о колдунах.

Копье, кольчугу, шлем, *перчатки*...

«Полно, существовали ли тогда рыцарские перчатки? Помнится, что еще нет».

Эй, г-н В.! Так вы, видно, не только ученый критик, но и искусный антикварий? Вам помнится, что перчатки тогда еще *не существовали*? Обяжите нас, объяснив, когда именно они *начали существовать*, если вам о том помнится.

Всё утро *сладко* продремав...

«Не опечатка ли это? Надобно бы сказать: всё утро продремав».

Уж этого-то никак не понимаем! Почему же нельзя сладко дремать? Правда, вы тотчас найдетесь; вы скажете, что если допустить выражение *сладко дремать*, то можно будет написать *кисло дремать* (см. выше: немой мрак, болтающий мрак). Позвольте вам на сие отвечать, что мы из опыту знаем, что выражение сие справедливо; ибо, читая ваш разбор, мы несколько раз принимались дремать и, *помнится*, довольно *сладко*.

Объехав голову кругом,
Щекотит ноздри копиём,[5]

и проч.

«Мужицкие рифмы!»[6]

Человек, менее вас образованный, назвал бы их просто *бедными*. Что значит «мужицкие рифмы»? Следуя собственному примеру вашему, имеем право спросить: разве бывают мещанские рифмы, поповские рифмы, дворянские рифмы, купеческие рифмы? — и проч.

Дикий пламень.

«Скоро мы станем писать: ручной пламень, ласковый, вежливый пламень».

Не знаем, *что* вы скоро станете писать, но не можем не заметить вам, г-н изобретатель термина *мужицкие рифмы*, что вы благоразумнее бы поступили, оставив в покое *дикий пламень*.

Уста дрожащие открыты,
Огромны зубы стеснены.

«Или открыты и уста, и зубы, или уста закрыты, а зубы стиснуты».

Вот это новое! Желательно бы знать, какое препятствие г-н В. находит в том, чтоб открыть уста, когда зубы стиснуты? Вообще заметить должно, что понятия г-на критика о наружных и внутренних действиях тела человеческого довольно необыкновенны. Так, например, в № 36, стр. 108, упоминая о стихе Пушкина:

Сердца их гневом стеснены... —

г-н В. утверждает, что гнев не *стесняет, а расширяет* сердце! Советуем Пушкину не писать стихов, не изучившись прежде анатомии у г-на В.

Вот мнение наше о разборе «Руслана и Людмилы»! Отдавая полную справедливость отличному дарованию Пушкина, сего юного гиганта в словесности нашей, мы, однако, уверены, что основательный разбор его поэмы, поясненный светом истинной критики, был бы полезен и занимателен. Мы желаем только, чтобы труд сей на себя принял писатель опытнее, ученее и учтивее г-на В.!

Павловск. П. К—в.

1820 сентября 15 дня.

ОТВЕТ
НА СКРОМНЫЙ ОТВЕТ Г-НА М. К—ВА

Я читал ответ, который вам, милостивый государь, угодно называть *скромным*, но *скромного* в нем ничего не нашел. Покорнейше прошу за то на меня не гневаться, я говорю это не в *осуждение* вам, а только в *предосторожность*. Откровенно признаюсь, что я сначала намерен был оставить без ответа скромную вылазку вашу на мою антикритику, но вы обнаружили свету, кто сочинитель разбора «Руслана и Людмилы», и тем поставили меня в необходимость оправдаться пред читателями «С⟨ына⟩ о⟨течества⟩» в непростительной смелости: быть противных мыслей с членом Российской Академии, с ординарным профессором, с доктором философии, с сочинителем речей, посланий и сатир и проч. и проч. и проч. (смотри продолжение титлов и сочинений — № 43-й, стр. 113-я и 114-я).

Начну с того, что, не обязан будучи знать, что мистическая буква *В*, поставленная в конце разбора поэмы, заключает в себе такое множество ученых титлов, я не мог догадаться, кто сочинил сей разбор. Даже и теперь, по прочтении вашего скромного ответа, и теперь я бы сомневался в сей неожиданной новости, если б не *вы*, милостивый государь, приняли труд меня наставить на истинный путь. Итак, сочинитель разбора есть тот самый писатель, который перевел «Енеиду» с *латинского*, проповеди с *немецкого* и «Век Лудовика XIV» с *французского*.[1] Смотрите пожалуйте, как легко можно обмануться! Кто бы это подумал! Я, по крайней мере, судя по плоским шуткам, по странным и неосновательным привязкам, по неучтивым нападкам, полагал, что разбор сей сочинен каким-нибудь новичком, которому за долг счел пожелать более опытности, учености и учтивости! Приношу повинную голову в сей неумышленной ошибке, но, удовлетворив таким образом искреннему желанию моему снискать великодушное прощение почтеннейшего г-на В., да позволено мне будет побеседовать немного с скромным защитником его.

Какая непонятная причина побудила вас, милостивый государь, обороняться от моей антикритики учеными дипломами г-на В.? Удивляюсь памяти вашей, украшенной столь завидными сведениями о всех ученых званиях вашего клиента, но какую связь имеют они с разбором? Если б г-н В. получил оные за сочинение сего разбора, то *дело ваше*, конечно, было бы *в шляпе*, вы бы тогда имели право сказать: неприлично *многоученому остроумцу Замечателю* критиковать то, что одобрено столь многими учеными сословиями, и я спорить бы с вами не стал. Но будем

откровенны друг против друга, милостивый государь! Неужели думаете вы, какое бы то ни было ученое общество согласилось бы сделать г-на В. сочленом своим, если б он не имел иных заслуг, кроме упомянутого разбора? Весь ответ ваш, милостивый государь, основан на правилах столь же ничтожных. Что нам за дело до того, что рецензент при сочинении рецензии руководствовался иностранными журналами и Лагарпом,[2] когда он не умел или не хотел подражать им в том, что достойно подражания. Чем же похож разбор г-на В. на рецензии, которые читали вы в «Mercure de France», «Allgemeine Literatur Zeitung», «Cours de Littérature» de La Harpe и проч.? — Плодовитостью!!! Пространные разборы Лагарпа, милостивый государь, не тем хороши, что они пространны, — рецензии не аршинами меряются и не на весах взвешиваются, а должны иметь иные достоинства.

Спрашиваю вас, в котором из иностранных или отечественных журналов г-н В. нашел, что бедные рифмы надлежит называть мужицкими, что роковой пламень *брат* дикому пламеню, что колдуны всегда бывают старые, что нельзя *сладко* дремать и проч. и проч. Из какого образца он почерпнул логический довод, что нельзя сказать мрак *немой*, потому что нельзя сказать мрак *болтающий*? Сии-то ошибки вам надлежало бы оправдать, скромный мой соперник, вместо рассуждений о моих пороках и добродетелях,[3] кои ни до литературы, ни до вас не касаются и по сей причине не заслуживают ответа.

Напрасно вы берете на себя труд перелаживать по-своему цель, которую я имел при напечатании моей антикритики. Мне никогда не приходило на мысль досадовать на рецензента за то, что он не признал стихотворения Пушкина *непогрешительным*. Я и сам не признаю его поэму безошибочною. Погрешности найти можно в писателях, которые гораздо известнее Пушкина, но разница состоит в том, что те ошибки, которые думал найти г-н В., по мнению моему и многих других, совсем не существуют. Смею утверждать даже, что увенчанный, первоклассный писатель, на свидетельство которого вы упираетесь,[4] не мог одобрить разбора г-на В. в отношении к логике, к остроте и к вежливости. И я не менее «Невского зрителя» сожалею о том, что картины Пушкина слишком чувственны,[5] но никто до г-н⟨а⟩ В. не позволял себе называть их *площадными шутками*. Вот, милостивый государь, в чем состоит моя претензия на г-на В., она весьма ясно изложена в моих замечаниях (стр. 79). Из чего же вы взяли, что я желаю, чтобы кто-нибудь, разбирая поэму Пушкина, назвал ее *училищем нравственности*? Богатая мысль сия принадлежит вам одним, государь мой, она есть ваша собственность, и я никакого не имею на нее права.

Вы, обещавшись шаг за шагом идти за антикритикою, пропустили весьма много статей моих, вероятно потому, что никакого дельного возражения не могли придумать. Изгибистое защищение новоизобретенного термина *мужицкие рифмы* нимало не оправдывает оного. Если слово *копиём* заслуживает, по вашему мнению, эпитет *грубого*, то какое название надлежит дать термину *мужицкие рифмы*, который кроме грубости заключает в себе совершенную бессмыслицу?

Я читал и перечитывал параграф VI ответа вашего и нимало не убедился в основательности ваших доводов. Г-н В. сделал следующее *логическое* (!!) предложение. Наш молодой поэт поступил очень хорошо, написав сию богатырскую повесть *стихами*, и предпочел идти по следам Ариосто и Виланда, а не *Флориана*.[6] Хорошие судьи, истинные знатоки изящного, не одобряют такого рода творений *в прозе, ибо прозаическая поэма есть противоречие в словах, чудовищное произведение в искусстве.*

Воля ваша, милостивый государь, а я опять повторяю то, что сказал в замечаниях. Вероятно, г-н В. не знает различия между *прозаическою поэмою* и *поэмою, писанною в прозе.*

Если хорошие судьи не одобряют поэм, писанных в прозе, то конечно не *потому, что прозаическая поэма* есть чудовищное произведение в искусстве, — в сем, по мнению вашему, *логическом* предложении нет ни логики, нижé смысла.

В параграфе XV вы утверждаете, что стихи:

Убью... преграды все разрушу...
⟨. . . . .⟩
Теперь-то девица поплачет... —

оправдывают негодование г-на В. на Рогдая. Пусть так, милостивый государь! но прошу вас прочитать опять сей разбор, вы увидите, что г-н В. не из сих стихов заключил, что *кровопролития* для Рогдая забава и *слезы невинных пища*. Почтенный Разбиратель изъясняется именно сими словами. «Характер Рогдая изображен смелою кистью Орловского, *мрачными красками Корреджия:*

...угрюм, молчит — ни слова...
Стра⟨шась неведомой судьбы
И мучась ревностью напрасной,
Всех больше беспокоен он;
И часто взор его ужасный
На князя мрачно устремлен⟩.

Прочитав сии стихи, ⟨мы с ужасом видим пред собою одного из тех хладнокровных воинов-убийц, которые не умеют прощать, для которых кровопролитие есть забава, а слезы несчастных — пища⟩».

Ссылаюсь на беспристрастных читателей: справедливо ли я заметил, что в стихах сих видна одна ревность? Тут нет еще ни злодейства, ни кровопролития, ни прочих ужасов, которые пылкое воображение г-н⟨а⟩ В. *видит перед собою*. Стих же:

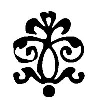
Убью... преграды все разрушу... —

является в поэме Пушкина ровно 17 страниц после тех стихов, которые столь безвинно внушают ужас г-ну Разбирателю. При сем случае не могу не упомянуть еще об одном обстоятельстве, которое я пропустил в своих замечаниях. Желательно знать, из каких иностранных журналов г-н В. извлек определение, что Корреджио писал *мрачными красками*? Признаюсь, что впервые слышу о сем важном открытии! Как! Желая похвалить Пушкина за удачное описание *воина-убийцы, хладнокровного злодея*, г-н В. сравнивает описание сие с картинами Корреджия! — Корреджия, которого одушевленная кисть оставила нам памятники, дышащие негою, легкостию и приятством, того Корреджия, прозванного живописцем граций! Вероятно, г-н В. слышал о знаменитой картине, известной под названием *Ночь Корреджия*,[7] но он не знает, что картина сия ни с какой стороны не может быть названа мрачною: она, напротив, изображает радостнейшее событие для всего человеческого рода; она отличается именно чудесным расположением света! Художники настоящего и времян будущих, если (от чего да избавит вас Бог) дойдет до вас разбор г-на В., не дерзайте смеяться над неудачным сим сравнением; вам представят длинную опись всех его титлов, сочинений и переводов — и вы будете виноваты.

Остается теперь, скромный защитник вежливого Разбирателя, поговорить с вами о неучтивостях, которые столь строго на мне вы взыскиваете, тогда когда в г-не В. они вам кажутся приятны. Дружба, милостивый государь, есть чувство достойное уважения, я уважаю чувство сие и в вас, но не могу не заметить, что оно делает вас слишком пристрастным. Неужели, не шутя, вы требуете, чтоб я неловкие шутки г-на В. принимал за острые слова! Неужели вы думаете, что дипломы вашего друга дают ему право говорить нелепости, которые тем непростительнее, что они истекают из пера ординарного профессора, доктора философии и проч. и проч. Примите, милостивый государь, в заключение сего последнего *письменного* ответа откровенное изложение мыслей моих о поэме Пушкина и о разборе оной.

Я уважаю талант юного поэта нашего (с которым я *почти не знаком лично*). Я думаю, что никто еще из наших соотечественников в *таких* молодых летах не подавал *такой* надежды на будущее время, как он. Потому-то весьма бы было *полезно для Пушкина и занимательно для читателей его*, если б нашелся критик, который, устранясь от самолюбия, не выдавал бы плоские свои насмешки за остроумные изречения, неосновательные суждения — за логические доводы и ученые дипломы — за привилегии быть невежливым!

Впрочем, долгом считаю объявить, что личности я не имею никакой ни против г-на В., ни даже против вас!



⟨О НАРОДНОМ ПРОСВЕЩЕНИИ В РОССИИ⟩

Исполняя высочайшую волю Вашего императорского величества, осмеливаюсь всеподданнейше представить мнение мое о народном просвещении в России. Для лучшего объяснения мыслей моих по сему предмету почитаю необходимым коснуться, хотя слегка, того направления, какое приняла учебная часть в начале царствования в Бозе почивающего императора Александра Павловича, — заметить ход оной в продолжение упомянутого царствования и, наконец, вкратце изложить средства к исправлению недостатков по сей части.

Восшествие на престол покойного императора составляет совершенно новую эпоху в просвещении нашего отечества. Пламенная душа юного монарха восхотела, чтобы степень просвещения народов, подвластных его скипетру, соответствовала могуществу оного, и в короткое время самодержавная воля воздвигла и образовала училища и университеты во всех концах империи. Назначены для сих заведений суммы, призваны иностранные профессоры и наставники, и молодые люди, которых родители спешили воспользоваться привилегиями, государем дарованными, отовсюду стекались в сии училища. Началось производство в ученые степени, открылась щедрая раздача дипломов: кандидатам, магистрам и докторам, загремели похвальные речи, в которых прославлялось быстрое возвышение просвещения, — и наружный блеск сей подал повод к ложному мнению, будто бы в самом деле Россия просвещается. Но при новом образовании учебной части упущены были из виду два коренные и ничем не опровергаемые правила: 1) что истинное просвещение (я разумею такое, которое клонилось бы к благоденствию народа, еще мало образованного) не состоит в количестве умствователей и полуученых писателей; 2) что система народного просвещения необходимо должна быть применена к системе правительства и что те же самые правила, которые могут возвысить одно государство, служат к потрясению другого, на иных основах утвержденного.

По мнению моему, цель учебных заведений в России, относительно просвещения народного, главнейше должна состоять в распространении познаний, на положительных и точных науках основанных. Мы имеем нужду в медиках, химиках, технологах, — но весьма сомнительно, чтобы появление в отечестве нашем русских Кантов и Фихте принесло какую-либо оному пользу. Отвлеченные науки, как например метафизика и другие, принадлежат, так сказать, к роскоши ума человеческого; а роскошь сия, не ограниченная пределами умеренности и не приспособленная к нуждам народа еще нового, не может не быть вредна для оного. И потому упущение из виду различия, какое (преимущественно в России) надлежало бы наблюдать между науками точными и отвлеченными, составляет одну из ошибок, сделанных у нас при образовании университетов. Я не говорю, что надлежит запретить преподавание наук отвлеченных и уничтожить кафедры оных, при университетах учрежденные; но полагаю, что необходимо нужно бы было заключить преподавание сие в пределы, самим правительством назначенные и резкими чертами отделенные от всякого самовольного лжемудрствования. Руководствуясь примерами других государств, мы долженствовали бы принять в образец учебные заведения Австрии, в которых никогда не возникало и тени беспорядков, справедливо обративших, в последние времена, внимание правительства на прочие германские университеты; но вместо того мы сделались подражателями университетов Геттингенского, Йенского и им подобных, невзирая на то что ни системы тех государств, ни потребности тех народов не имеют сходства с нашими. Мы даже превзошли недостатками самые образцы наши, ибо в тех университетах профессоры не имеют иных обязанностей, кроме преподавания наук, тогда когда у нас управление учебным округом вверено им непосредственно и почти независимо от высшего начальства. Посему наши профессоры, находя более выгод, более пищи для самолюбия в занятии разнообразными предметами по управлению округом, пренебрегают упражнениями учеными, которые долженствовали бы составлять единственную их обязанность.

Некоторые из привилегий, дарованных университетам, по мнению моему, также не только бесполезны для распространения отечественного просвещения, но могут даже нанести существенный вред.[1] В иностранных государствах степени магистра, доктора и тому подобные суть не что иное, как ученые титла, не дающие особенных прав и потому никакого влияния на дух и характер народный не имеющие; у нас же с сими степенями соединяются вместе и чины; а что всего важнее, некоторым из них присвоено даже дворянское достоинство. Итак, дарование потомственного дворянства, — сие важное право, которое в целом свете

государи предоставляют собственно себе, — зависит у нас от частных лиц! В государстве, управляемом самодержавною властию, одна особа монарха должна быть для подданных единственным источником столь важных преимуществ, каковы суть чины и дворянство, и пренебрежение сей неопровергаемой истины может иметь самое пагубное влияние на нравственность народа.

Не смею обременять внимание Вашего императорского величества подробным исчислением всего, что, по моему мнению, в устройстве учебных заведений наших находится несообразного с духом монархического правления и истинною целию народного просвещения. Цель сия во всех землях должна состоять в воспитании настоящего поколения соответственно системе того государства, которому, по определению провидения, оно принадлежит. В России же при образовании юношества надлежит в особенности избегать всего, что только, каким бы то ни было образом, может ослабить приверженность к престолу, сему краеугольному камню всего огромного здания. Каждое отступление от сего правила, рано или поздно, должно произвесть вредные последствия, и потому-то производство в чины и возведение в дворянское достоинство *мимо государя* считаю я решительно вредным. Молодой человек, выпущенный из пансиона титулярным советником или получивший в университете степень доктора, дающую ему чин коллежского асессора и с тем вместе потомственное дворянство, не приписывает сей милости щедротам государя, но мнимым заслугам своим, а таковая самонадеянность при самом вступлении на поприще службы, вероятно, не споспешествует к соделанию его ревностным чиновником и подданным, преданным особе монарха, мимо которого он достиг незаслуженного достоинства.

Столь же вредное на юношество влияние должно иметь принятое в учебных заведениях наших правило, высочайшею волею утвержденное, которое возбраняет телесные наказания в училищах.[2] Не будучи защитником методы прежних времен, когда строгие телесные наказания считались необходимым основанием воспитания, я не могу, однако же, одобрить такое правило, которое отвергнуто даже в Англии. Дитя, ведающее, что наставник ни в коем случае *не смеет* его наказать, приобыкает к духу непокорности, с летами постепенно возрастающему. Оно мечтает о правах своих, преждевременно почитает себя зрелым человеком и таким образом приучается судить и рядить о предметах, далеко превышающих слабые его понятия. Наконец, самонадеянность сия доводит молодого человека до того, что в 18 или 20 лет он считает себя в силах помышлять о преобразовании государства и вправе действовать сообразно своим предположениям.

В предпоследние года царствования покойного императора Министерство народного просвещения, заметив, что учебные заведения наши не соответствуют цели своей, начало принимать меры к исправлению ощутительных ошибок, вкравшихся в образование учебной части. Но меры сии, не основанные на познании точного положения, в котором находятся учебные в России заведения, и несообразные с потребностями отечества нашего, вступившего в первый ряд государств европейских, причинили более вреда, нежели пользы. Они ограничивались большею частию учреждением во всех почти училищах библейских и мистических обществ, утеснением наук, самих по себе не вредных, и исключением из университетов людей, которые, при надлежащем за ними надзоре, могли бы быть полезны обществу.

Таким образом, университеты наши (я говорю в особенности о Харьковском, более других мне известном) пришли в совершенный упадок. Внутреннее достоинство их не возвысилось, и надлежащая цель не достигнута, между тем как они лишились и того наружного блеска, который имели с самого начала своего существования.

Для приведения отечественных заведений в положение, соответственное истинной цели оных, в отношении как к самой России, так и к степени просвещения прочих европейских государств, надлежит, мне кажется, отступить от направления, данного сей части в начале царствования покойного государя, но не следовать и ходу, принятому Министерством просвещения в предпоследние годы сего царствования.

Средствами к тому полагаю я следующие:[3]

1) Для избежания вредного лжемудрствования в науках отвлеченных надлежит во всей империи ввести единообразное преподавание оных по книгам, правительством одобренным, от которых отступать профессорам ни в каком случае позволять не следует.

2) Усилить и распространить, преимущественно пред другими, науки положительные и точные, как-то: медицину, химию, технологию, математику, механику и другие им подобные.

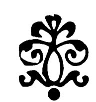
3) В университетах, сколько можно, отделить от занятий профессоров всё то, что относится к гражданскому управлению округом.

4) Исправить совершенно уставы как университетов, так и низших учебных заведений и приискать способы к умножению штатов их, без излишнего отягощения казны.

5) Вышеупомянутое право производства в чины и дворянское достоинство заменить другими привилегиями, с которыми не соединялась бы власть, одной особе монарха принадлежащая.

Некоторые из сих предположений обратили уже внимание нынешнего министра народного просвещения[4] при самом вступлении его в сию должность. Впрочем, каждое из них требует зрелого размышления и глубоких соображений, и изъяснение на бумаге всего, что только о сих предметах сказать можно, далеко превосходит пределы данного мне Вами, всемилостивейший государь, приказания. Здесь я мог только сокращенно изложить мнение мое о просвещении любезного отечества нашего и безмерно счастливым себя почту, если оное удостоится снисходительного Вашего императорского величества воззрения.

Апреля 20-го дня 1826-го года.



ИВАН ВЫЖИГИН НРАВСТВЕННО-САТИРИЧЕСКИЙ РОМАН, В 4-х ЧАСТЯХ, СОЧ. ФАДЕЯ БУЛГАРИНА

Критику вообще так часто достается говорить о недостатках сочинений и так редко о добрых их качествах, что мы, приступая к разбору «Выжигина», прежде всего спешим отдать справедливость *хорошему*.

Нам приятно сказать, что в книге сей читатели найдут все постыдные и порочные качества людей в их настоящем свете; некоторые образцы добродетели, трогающей и восхищающей душу, и следствия тех и другой. Слог, коим написано сие сочинение, везде гладок и правилен и часто блестит выражениями весьма удачными. Некоторые описания верны и занимательны: они списаны с натуры. Вот, однако ж, всё, что можно сказать в пользу сего романа, без сомнения заслуживающего снисхождение, как первое в сем роде оригинальное сочинение русское, — и недостатки его далеко превышают достоинства.

Автор «Выжигина» предстает пред суд публики как литератор и как россиянин.[1] Итак, будем рассматривать сие сочинение как роман просто и как роман русский, в коем описываются отечественные нравы, обычаи и злоупотребления.

Цель романов вообще есть двоякая: нравиться и научать. Г-н Булгарин очень ошибается, если полагает, что для первого достаточна шутливость рассказа, а для второго потребны только одни наставления, почерпнутые из общих топических мест.[2] Верность изображений физической и нравственной природы, точность описания, соединяемая с приятною формою рассказа, занимая ум, знакомит нас со светом и сильно действует на нашу волю. Сих условий мы не находим в «Выжигине». Вместо того чтоб видеть в нем (как было обещано в «Сев⟨ерной⟩ пч⟨еле⟩») панораму обществ московских, петербургских, венецианских, константинопольских и проч. и проч., мы находим карикатурно

первые и ничего о последних.[3] Разве рассказ Выжигина о Венеции дает нам какое-нибудь новое понятие о сем городе? О том, что в Венеции ездят в гондолах; что в Константинополе есть часть города, населенная христианами и называемая *Перою*, — знали мы давно, и даже из кратких географий; итак, не стоило труда сообщать нам подобные новости.[4]

Описания Москвы и ее обыкновений подробнее; но вообще неверны. Г-н сочинитель ошибается, если полагает, что, придав своим действующим лицам титулы графов и князей, он знакомит читателей с лучшим московским обществом, несмотря, что сии лица действуют, как мещане уездного города. И что значит лучшее *московское* общество? Образ жизни и обращение у людей лучшего тона одинаковы во всей Европе: оттенки оного весьма слабы и совсем не заметны между обществами двух городов одного и того же государства, почти из одних и тех же лиц составленными. Если же сочинитель, паче чаяния, хотел представить нам средний круг московских обществ, то не воспользовался многими чертами, собственно характеру оного принадлежащими. Всякой, кто *бывал* в Москве, согласится с нами.

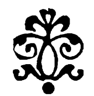
«Ив⟨ан⟩ Выжигин» не менее изобилует противоречиями и несообразностями; в доказательство приведем следующий пример:

Выжигин воспитывается в пенсионе N.N. Учители в оном никуда не годятся: они набраны, по пословице, *кто с борку, кто с сосенки*, и несмотря на то, он делает быстрые успехи во франц⟨узском⟩ языке, музыке и проч. Если бы г-н Булгарин менее любил преувеличивать (outrer) в своих сочинениях, то не сделал бы подобной неосмотрительности; он удовольствовался бы показанием, что в частных пенсионах наших нет недостатка в преподавателях; но существует таковый в надзоре за учением и нравственностию воспитанников. Та же охота преувеличивать заставила его из прекрасного урока псовым охотникам сделать уродливую бесполезную карикатуру. Благодаря просвещению у нас мало уже осталось *Глаздуриных*, а псовые охотники, забывающие гражданские обязанности свои и безусловно предающиеся сей страсти, еще существуют в России.[5] Но они не такие невежды, какими угодно было г-ну Булгарину представить В⟨ыжигин⟩а, и потому не примут сего урока на свой счет: они будут смеяться ему вместе с другими, зная, что неспособны сами быть такими неучами. Итак, спрашивается: достигнута ли в сем случае благородная цель г-на сочинителя?

Форма сего романа есть историческая, или повествовательная: г-н Булгарин забыл, кажется, что таковый образ изложения весьма при-

ятно может быть соединяем с формою драматическою; в противном случае чтение «Выжигина» не было бы так утомительно.

Вышепоказанные противоречия и несообразности кажутся нам достаточными, чтобы определить достоинство сей книги в гумористическом ее отношении...



ПИСЬМО К БАРОНУ ГУМБОЛЬДТУ

⟨ИЗ ПУБЛИКАЦИИ «НОВАЯ ТЯЖБА О БУКВЕ Ъ»⟩[1]

Милостивый государь!

Слава, которую глубокие и разнообразные познания и важные творения ваши доставили вам, была не чужда нам задолго до вашего прибытия в Россию, и удивление, встретившее вас на всем пространстве сей империи, было только одним из старинных завоеваний обширного вашего ума. Сие чувствование, казалось, уже достигло высшей степени; но со всем тем личные ваши достоинства еще более усилили оное: ваша снисходительность, ваша обязательная вежливость, ваше свободное и блестящее красноречие родили во всех, имевших честь узнать вас, искреннее уважение и привязанность, кои, может быть, лестнее самого удивления.

Для чего, милостивый государь, из среды сих единодушных кликов восхищения, столь заслуженного, должен возвыситься голос, обвиняющий вас в несправедливости, голос существа, коего преклонные лета должны б были задобрить ваше снисхождение и коего старинные заслуги приобрели право на уважение общее? Увы, милостивый государь! это существо... я! Считаю себя вправе жаловаться на вас, и, в тяжкой моей горести, мне остается одно только утешение: надежда, что, узнав меня покороче, вы раскаетесь в нанесенной мне обиде и что великодушным покровительством вашим замените ту неприязнь, которую, по-видимому, ко мне питаете. Удостойте выслушать мое опровдание, и да не помешает вам моя мнимая незначительность внимательно склонить ко мне слух ваш.

Я буква ъ и занимаю довольно важное место в русской азбуке. Около десяти веков протекло со дня моего рождения, и никто не осмеливался отвергать действительность мою и оспоривать те заслуги, кои оказала я и доныне оказываю российскому языку. Только в исходе минувшего столетия некоторые безвестные вводители новизны, искавшие славы Геростратов, замышляли лишить меня прав моих; но общее мнение скоро произрекло им правый суд, и нападения их были заглушены окри-

ком наших отличнейших и ученейших литераторов. Что до меня касается, то я с жалостию смотрела на моих ненавистников, и никогда, ни на миг не поселили они во мне страха о моем существовании. Скоро даже я вовсе о них позабыла; Россия также.

Но каково было мое удивление, когда я узнала недавно, что вы, барон, разделяете несправедливое мнение этих господ! Я тотчас поняла, что кто-либо оклеветал меня перед вами и что, по всей вероятности, скрыли от вас мои заслуги. Я сильно была опечалена; но, не попуская унынию овладеть мною, решилась изложить вам мое дело с доверенностию и прямодушием. Так, милостивый государь, осмеливаюсь прибегнуть к вашему здравомыслию, и это уже меня успокоивает!

Преждевременное торжество врагов моих будет ненадолго; вы познаете грубое сплетение их клеветы: я приобрету в вас покровителя и тогда останусь благонадежна в моей безопасности на предбудущее время. Приступаю к делу.

Почти все согласные буквы в русском языке имеют два явные звука: один твердый, а другой мягкий: я, *ъ*, имею честь быть представительницей первого, а двойчатка — сестра моя *ь* — второго.

С первого взгляда можно бы подумать, что легко было бы исключить одну из нас: тогда оставшаяся выражала бы звук, ей свойственный, а ее отсутствие соответствовало бы знаку исключенному. То же думают и мои гонители, кои, однако же, не осмелились посягать на существование сестры моей, которой необходимая польза казалась им ощутительнее моей. Посему-то я буду говорить собственно о себе, а для большего удобства и ясности прошу позволения говорить о себе в третьем лице.

Ъ, кроме обязанности своей придавать твердый выговор согласным буквам, после которых находится, служит еще к познанию словопроизводства. Люди, вникавшие хотя несколько в язык русский, основательно думают, что *ъ* есть не что иное, как сокращение буквы *о*. Весьма даже вероятно, что в древнем славянском языке *ъ* произносилось как *о* короткое. Доказательства, что *ъ* и *о* в собственном смысле суть одна и та же буква, встречаются поминутно в русском языке, равно как и в других славянских наречиях. Славянские речения *како*, *тако* пишутся и выговариваются по-русски *какъ*, *такъ*. *Тамъ* и *тамо*, *однакъ* и *однако* суть совершенно слова однозначащие и без различия употребляются в языке русском. Предлоги *въ*, *съ*, *предъ*, *изъ* и проч. и проч. часто переменяются в *во*, *со*, *предо*, *изо* и проч. Малороссийское слово *як* есть явным образом славянское *яко*. Первое лицо множественного числа настоящего времени изъявительного наклонения всех русских глаголов кончится всегда на *ъ*, а малороссийских на *о*. Напр⟨имер⟩, мы *делаемъ* —

мы *делаемо*. То же и в будущем времени: мы *сделаемъ*, мы *сделаемо*. Легко можно б было расплодить сии примеры до бесконечности. В древних славянских рукописях находим даже, что многие слова, как-то: *полкъ, волкъ, востокъ, борзый* — писались неотступно: *пълкъ, вълкъ, въстокъ, бързый* и т. д. Это в особенности придает великую вероятность вышеприведенному предположению, что в прежние времена ъ выговаривалось всегда как *о* короткое, хотя и то возможное дело, что в конце слов буква сия заключала в себе звук неопределенный, почти такой же, как французское безгласное *e*, когда им оканчивается какое-либо слово, напр⟨имер⟩ tent*e*, band*e*, chanc*e*. Если мы не примем за правило, что ъ есть не что иное, как *о*, то как же мы объясним его употребление в средине некоторых слов, каковы *пълк*, *вълк* и т. п.? А слов сих очень много. Самое начертание буквы ъ может в некотором смысле послужить доказательством ее тожества с буквой *о*, ибо весьма вероятно, что она писывалась первобытно таким образом: *ŏ*, для означения, что это *о* краткое, подобно как *й* доныне означает краткое *и*.

Правда, что для слуха нашего показалось бы очень странным, когда б мы вздумали теперь заменить буквой *о* все ъ, коими кончатся у нас слова; но этим ничего не доказывается против тожества обеих сих букв. Произношение в каком-либо языке не подвергается ли со временем еще бóльшим и страннейшим изменениям? Правда и то, что многие слова, кончающиеся ныне в русском и новом славянском языках на ъ, в древнем славянском оканчивались на ь. Таковая перемена последовала, например, со всеми вообще глаголами. Третье лицо настоящего времени изъявительного наклонения в обоих числах неизменно оканчивается на *тъ*, тогда как в древнем славянском языке его окончание было на *ть*. Но сии новейшие исключения, изменившие старинное употребление буквы ъ, не могут уничтожить многочисленных доказательств тожества ее с буквою *о*. Посему буква ъ останется навсегда драгоценным памятником древнего произношения славянского языка, и в сем виде будет всегда по праву иметь место в азбуке русской. Хранение словопроизводных памятников языка всегда почиталось предметом весьма важным; и если французы, немцы и другие народы почли за нужное не заменять букв *ph* одною буквой *f* в словах *philosophie*, *phase* и т. п.; если они по-прежнему пишут *athée* вместо *atée*, то для чего же хотеть, чтобы русские отступили от сего правила, уничтожив свое ъ? Но кроме этимологической важности сей буквы есть и другие немаловажные причины, по каким сохранение оной становится необходимым.

Буква ъ, как представительница твердого выговора согласных букв в русском языке, ставится не только в конце слов, но и в средине оных,

и здесь-то всего более необходимость оной кажется ясною даже и для тех, кои не имеют никакого сведения в словопроизводстве русского языка. Почти все слова, в состав коих входят предлоги *безъ*, *взъ*, *возъ*, *въ*, *изъ*, *объ*, *отъ*, *предъ*, *разъ*, *съ* и т. п., не могут обойтись без буквы ъ, когда предлоги сии стоят пред гласною буквой. Язык русский имеет множество таковых слов, и если бы в них исключили ъ, тогда бы они совершенно изменились в произношении, даже иногда и в значении своем. Приведу несколько примеров и постараюсь выразить произношение слов немецкими буквами, более для сего способными, нежели французские. Удержу притом русские буквы *ж*, *ш*, *ы*, *я*, *й*, коих звук весьма трудно изобразить письменно на других языках. Возьмем слова:

Въездъ (die Einfahrt), подъемный мостъ (die Zugbrücke), изъявление (die Bezeugung), предъидущий (der Vorgehende), объедать (abfressen, schmarotzen), съужение (die Verengung).

Когда ъ в них находится (как и должно сему быть), тогда слова сии выговариваются таким образом:

W-jes'd, pod-jem-ный, is'-я-wle-ni-je, pred-ы-du-щiй, ob-je-dat, su-же-ni-je.

Исключив же букву ъ, должно б было произносить:

Wes'd, po-dem-ный, i-sя-wle-ni-je, pre-di-du-щiй, obe-dat, su-же-ni-je.

Разность в произношении, от того происходящая, ощутительна всякому, но для русского она разительна. В нашем языке есть звуки, которые, если не вовсе невозможно, то по крайней мере трудно выразить буквами другого языка. Таково, между прочими, *я*, когда перед ним стоит согласная буква, не отделенная от него буквою ъ. Когда же, напротив того, *я* стоит само по себе или отделено буквою ъ от предшествовавшей согласной, тогда буквы *ja* выражают его совершенно. В слове *изъявление* слог *зъя* может весьма хорошо выразиться буквами *s'ja*; но отняв ъ, мы получили бы слог *зя*, который выговаривается совсем отлично и коего звук не может даже быть передан немецкими буквами. Посему никак невозможно обойтись без ъ в слове *изъявление*.

Слово *предъидущий* также представляет собою особенность, о которой я должна упомянуть. Когда, в сложных словах, ъ стоит пред *и*, тогда сия последняя буква выговаривается как *ы*, ибо *ы* есть не иное что, как обыкновенное *i*, сделавшееся твердым чрез прибавку ъ. Это доказывается всеми древними славянскими рукописями, в коих *ы* почти всегда изображалось таким образом: *ъι*. Из сего явствует, что, выбросив ъ из слова *предъидущий*, мы бы совершенно изменили произношение сего слова.

Слова *объедать* и *обедать* не только различно произносятся, но имеют и совершенно разное знаменование. Ob'jedat значит abfressen, тогда как obedat значит zu Mittag essen.

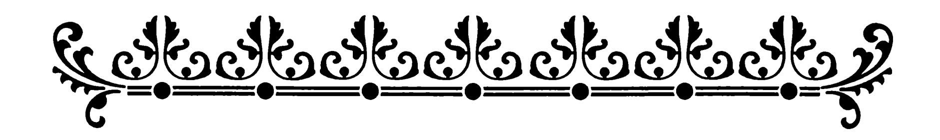
Вот, милостивый государь, краткое изложение причин, кои всегда будут препятствием к исключению буквы ъ из русского букваря. Смею надеяться, что сего краткого изложения достаточно будет к оправданию меня в глазах ваших и к доказательству, что я, не подвергаясь упреку в излишнем самолюбии, могу удерживать за собою право гражданства в том языке, в котором я жила искони, и могу опереться в том на тысячелетнюю давность. Примите вместе с сим уверения мои, что я нисколько не досадую на вас за то, что вы неосновательно знали права мои: я легко понимаю, что вы могли быть введены в заблуждение. Но что некоторые из русских не признают сих прав, что они не ведают того, что изгнанием меня изменился бы совершенно дух языка их, — сего, по совести, не могу я постигнуть! Признаюсь вам откровенно, барон, что кроме весьма естественного желания оправдаться перед вами у меня была еще другая причина написать к вам сие письмо. Я боялась, чтобы, опираясь на мнение ваше, некоторые из сих господ не вздумали снова поднять войну, обратившуюся некогда ко вреду их предшественников. Недоумки, желая возвыситься над толпою, охотно цепляются даже за самые заблуждения мужа знаменитого. Иные из них, оставлявшие меня доселе в покое, и теперь уже пристают к вашему мнению, чтоб очернить меня. Я уверена, что они не успеют мне повредить; но, в качестве соотечественницы, я желала бы даже избавить их от стыда, наносимого неудачею. Удостоив меня вашим покровительством, вы наложите на них молчание, а меня навсегда оградите от всякого нового нападения.

С глубочайшим почтением и вечною преданностию имею честь быть, милостивый государь,

покорнейшею вашею услужницей.

С.-Петербург. Буква Ъ.
28 ноября 1829 г.[2]

Письма



А. А. ПЕРОВСКИЙ — П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

⟨1⟩

19 (31) января 1810 г. Москва

19-го генваря 1809 г.[a]

Что тебе сказать, милый князь? После долговременного и неприятнейшего путешествия я наконец в тяжелой своей коляске, которую на дороге тысячу раз проклинал, вчерась поутру прибыл в Москву[1] и желал тебе с нынешнею почтою дать известие о твоих — через несколько часов после моего приезду отправился к Карамзиным. Николая Михайловича я не видал, потому что он после кончины княгини[2] сделался очень, очень нездоров. Катерина Андреевна[3] сказала, что он был болен горячкою и что только третий день, как он вне опасности, а то доктора отчаивались в его выздоровлении. Теперь, слава Богу, вся опасность миновалась, и Катерина Андреевна начинает свободнее дышать. Князь Алексей Григорьевич еще здесь в Москве, он в большой горести и как скоро опомнится, думает отправиться в армию.[4] Вот всё, что я до сих пор знаю. Жуковского я еще не видал и, кроме Карамзиных, ни у кого не был.

В сию минуту я получаю письмо от князя Алексея Григорьевича, который просит меня побывать у него. Готовься, милый князь, слышать еще одну неприятную новость: отец князя Алексея Григорьевича вчера поутру скончался.[5] Не знаю никаких подробностей еще ни о чем, потому никого не видал, а почта здесь уходит весьма рано, и для того ничего более к тебе и не пишу. Катер⟨ина⟩ Андр⟨еевна⟩ хотела сегодня к тебе писать и, верно, лучше моего тебе всё перескажет. Между тем, мой друг, будь спокоен, судьба, кажется, довольно уже над тобою потешилась и,

---

[a] *Так в рукописи, описка вместо*: «1810 г.».

верно, на долгое время тебя оставит в покое. На сие письмо мне не отвечай, я сам скоро думаю выехать. Петру Алексеевичу и Елизавете Семеновне мое всенижайшее почтение,[6] я для того к ним сам не пишу, что еще не имел времени исполнить ни одной их комиссии, не успел даже видаться с Иваном Алексеевичем.[7] Новостей политических никаких нет, кроме той, что 17-го генваря был новый выбор министров,[8] но еще не знают, чем кончился. Прощай, целую тебя в мыслях.

Искренно тебе приверженный

А. Перовский.

⟨2⟩

26 января (7 февраля) 1810 г. Москва

Москва. 26-го генваря 1810 г.[a]

Видно, милый мой князь, никому из нас не быть без беды. Я жалел и жалею о тебе, пожалей же и ты обо мне. Из последнего моего письма, которое ты, конечно, получил, ты видел, что я сбирался ехать к вам как можно скорее, исполнив в точности всё мне препорученное. Я, так сказать, уже одною ногою стоял в кибитке, как вдруг весь дом наш превратился в настоящий лазарет. Граф опять занемог,[1] матушка очень, очень больна подагрою во всем теле, так что малейшее движение такую ей причиняет боль, что она беспрестанно падает в обморок, три сестры нездоровы простудою и лежат в постелях, а четвертая готовится лечь. При всем том я, как скоро матушке будет легче, непременно отправлюсь к вам, — может быть, я вместе с сим письмом, может быть, даже прежде еще буду к вам, но из предосторожности посылаю все мне препорученные письма чрез почту. Теперь стану говорить тебе о том, что тебя более интересует: все твои, слава Богу, здоровы. Карамзин совсем уже вне опасности, ходит по комнате — Катерина Андреевна здорова, князь Алексей Григорьевич также; из письма его, которое я должен был тебе отдать лично, увидишь ты, что он очень желает тебя видеть; если ты не решишься ехать в Москву, то он хочет приехать к тебе в Нижний и даже в Казань. Карамзины на этих днях переезжают в Кушникова дом, что на Никитской,[2] Жуковский никак не хотел решиться ехать, прилагаю при сем его к тебе письмо.[3] Князь Андрей Петрович[4]

---

[a] *Было*: 1809 г.

также к тебе пишет. Катерина Андреевна также. Мне, право, так совестно, милый князь, что я не сам тебе все сии письмы отдаю, я обещался всем твоим родным непременно ехать вчерась ⟨в⟩вечеру, но что ж делать! L'homme propose et Dieu dispose.[a] Не мы располагаем судьбою, а судьба нами. Новостей никаких тебе сказать не могу, две петербургские почты ничего нового не сказали. Димитриев, министр юстиции, живет в доме, который занимал князь Лопухин, и получает 27 000 р⟨ублей⟩ жалования. Князь — президентом Гражданского департамента в Совете.[5] Неизвестно еще, какие будут новые министры. 17-го числа, говорят, был выбор оных, но с сегодняшнею почтою мы ничего верного не узнали. Говорят здесь в городе, что учереждены разные Сенаты, что будет Сенат Казанский, Сенат Киевский и проч.,[6] но это еще не верно. На этих днях скончался князь Иван Сергеевич Гагарин.[7] Вяземский князь Иван Григорьевич, брат графини Разумовской,[8] болен при смерти в Курске, и она к нему вчерась послала доктора на перекладных. Всё касающееся до Петра Алексеевича и Елизаветы Семеновны, слава Богу, здоровы, я два раза был у Марьи Крестьяновны,[9] она совсем была бы здорова, если б рука ей позволяла выезжать, впрочем, она прогуливается в комнате. Я везу Петру Алексеевичу табак, клеонку, мелинькие бумажки и диплом на звание почетного члена Императорского общества испытателей природы, которое на сих днях его избрало.[10] Все московские приятели единогласно желают скорого его сюда возвращения. Сколько вопросов, сколько рассказов! Всё это расскажу лично. Надеюсь, друг мой, что ты по получении письма князь Алексея Григорьевича, если расположен будешь ехать в Москву не тотчас, взбудоражишься и что я тебя еще застану, потому что чрез два дни непременно выеду, это дальнейший мой срок. А может быть, выеду и завтрашнего дня. Прощай, милый мой князь, — поверь, что я искренно и неложно к тебе привязан и что от всего сердца желаю тебе благополучия. Нижайшее мое почтение Петру Алексеевичу и Елизавете Семеновне. Сушкову дружеский поклон.[11] Деньги ты, я чай, получил. Князь Андрей Петрович сказал мне, что они к тебе отосланы. Ты себе представить не можешь, сколько здесь везде больных, все от праздников, даваемых при императоре.[12] Князь Николай Алексеевич Голицын также умер.[13] Прощай, милый и любезный князь. Не знаю, где письмо мое вас застанет, признаюсь, что мне очень, очень завидно, что ты несколько дней более моего пробыл в Казани, а может быть, и теперь еще вы там! а я здесь в самом печальном положении с больными!!!

---

[a] Человек предполагает, а Бог располагает. (*фр.*)

⟨3⟩

26 февраля (10 марта) 1810 г. Владимир

L'homme propose et Dieu dispose! милый князь! Верно, ты себе не воображаешь никак, какие чудеса творятся здесь. Не понимаю, зачем мне пришла дурацкая мысль в голову остаться так долго здесь и не ехать с вами в Москву. Вообрази ты себе, что третьего дни в это самое время, как я почти готов был садиться в кибитку и поскакать к вам, вдруг Петр Алексеевич получает именное повеление от государя сделать следствие в Казани! Bon gré mal gré[а] мне надобно непременно туда ехать. Не говоря о том, сколь прискорбно мне, находясь, так сказать, уже у ворот Москвы, опять удалиться от оной на тысячу верст, — мне благоразумие, честь и совесть запрещает ехать в Казань: ты знаешь мое положение и легко поверишь мне, что я охотно бы отдал десять лет жизни моей, чтоб избавиться от проклятой этой Комиссии! Что я там буду делать — что скажу — я в такой досаде, в таком отчаянии, что не знаю, куда деться. Всякая ошибка влечет за собою наказание.[1]

Князь Иван Михайлович велел тебе кланяться и просить тебя отдать напечатать как можно скорее в «Аглае» следующие стихи, которые он сочинил на Обрескову:

Быть чувствительной, любезной,
Всех пленять, во всех странах
Пылкий ум с душою нежной,
Вид богов носить в чертах.
Вот что целый свет щитает
Невозможным отыскать,
Но тому ль, тебя кто знает,
Ето чудом почитать.

Тебе, я думаю, известны стихи Visapoure к Лизавете Семеновне: Être bonne, indulgente et belle.[б] Л⟨изавета⟩ С⟨еменовна⟩ показала их князь И⟨вану⟩ М⟨ихайловичу⟩, и он тотчас же, то есть в четверть часа, переложивши их на русское, написал мелом на ломберном столе.[2]

Сообщаю тебе также стихи, которые он мне сочинил, надобно тебе сказать, что он меня очень полюбил и иначе не называет, как любезнейшим своим сыном или mon enfant cher.[в]

[а] Хочешь не хочешь (*фр.*)
[б] Быть доброй, снисходительной и прекрасной (*фр.*)
[в] мое дорогое дитя (*фр.*)

Что ты, Перовский, мил, тебе то всякой скажет,
Кто скромен так, как ты, кто так же добр и тих,
Тому ко щастью путь любовь везде покажет.
От сердца моего к тебе летит сей стих,
От сердца, в коем ты вселил такое чувство,
Какого даже трон владыкам не дает.
Под солнцем гибнет всё — богатство, честь, искусство,
Любовь, одна любовь и свет переживет.[3]

Прощай, милый друг, желаю тебе счастья, здоровья и душу спокойнее моей! Пиши ко мне почаще, любезный князь, и если тебе то не будет в тягость, на всякой почте. Не знаю еще, где буду жить в Казани, но в сем и нужды нет, письма твои, просто адресованные на мое имя, верно, дойдут до меня. Напиши мне пожалуй, что ты делаешь в Москве и как нашел своих: я так привык делить с тобою и радости, и печали, что всё до тебя касающееся не менее меня интересует, как самого тебя.

Сушкову от меня поклон, — Жуковскому, пожалуйста, также. Прощай, прощай. Дай Бог, чтоб это всё кончилось скоро и хорошо.

Adieu.

Перовский.

Прилагаю при сем к тебе письмо, кажется, от Чемесова.[4]

Владимир.
1810, февраля 26-го.

⟨4⟩

16 (28) января 1812 г. Петербург

Весьма благодарен тебе, любезный князь, за московские новости, которые ты мне сообщил. Вообрази, что то же самое и в Петербурге случилось, и здесь начали писать: 12-й год, и что для меня всего удивительнее: перемена сия сделалась в ту же самую минуту и здесь, и в Москве. Quelle sympathie entre les deux capitales![a] Пушкина я еще не видал,[1] заезжал к нему два раза, но не заставал дома. «Беседа», как скоро покажется в свете, непременно тебе будет доставлена.[2] Нового у нас здесь много: все улицы покрыты снегом, а набережные обложены гранитом, иные уверяют, что на Исакиевской площади воздвигнут монумент Пет-

[a] Какое единодушие между двумя столицами! (*фр.*)

ру Великому, изображающий его сидящего на коне, но наверное тебе сие утверждать не могу. Весьма обрадовало меня известие о поносе К.[3] — но жаль, что ты не уведомил меня, какого он роду: кровавый ли или простой? И по скольку раз он ходит срать? Впрочем, подтирать ему есть чем, потому что сочинения его, кажется, напечатаны на мягкой бумаге. À propos de срать! Скажи пожалуй Неелову, что дело его находится не у Быстревского ⟨?⟩, как он мне сказывал, а у Тихоновича и что очередь ему будет чрез месяц.[4] Вельегорский[5] занимается теперь одною любовию и целый день с большим чувством поет: о девица-кррррррррррасавица. Но прощай, любезный друг, спешу в свой департамент. À propos de красавицы! Княгиня получила, верно, на прошедшей почте письмо от Прасковьи Николаевны,[6] писанное моею рукою. Желательно мне знать, отгадали ли вы это? Прощай еще раз, мой друг, и верь, что образ твой пламенными чертами врезан в сердце

любящего тебя

16-го генваря 1812. А. Перовского.

P. S. Уехал ли Петр Александрович в деревню?

⟨5⟩

9 (21) февраля 1812 г. Петербург

Пишу тебе несколько строчек, любезный князь, потому что сегодня никак не имею времени писать к тебе много. Итак: je vous annonce la réception de votre aimable lettre et je vous remercie des charmants vers que vous avez composés.[a, 1] Что ж делать, любезный друг, что П. Н. Г. написала к жене твоей такое письмо. Только не думай, чтоб я его сочинял: оно было циркулярное ко всем родным,[2] а я к твоей княгине писал его для того, что надеялся, что зрение моей рукописи возбудит в Ваших сиятельствах радость необычайную. Впрочем, по отпуске сего письма я, слава Богу, жив и здоров, а впредь уповаю на всещедрого Создателя моего и твоего и общего нашего. Посылаю к тебе заочное мое благословение и от вас того же желаю и пребуду

ваш вечный богомолец

9-го февраля 1812. Алексей Перовский.

---

[a] сообщаю тебе о получении твоего дружеского письма и благодарю за прелестные стихи, которые ты мне сочинил (*фр.*)

А. А. ПЕРОВСКИЙ — А. К. РАЗУМОВСКОМУ

Июнь (не ранее 12 ст. ст.)—июль (не позднее 10 ст. ст.) 1812 г.
Петербург

Избегая разговоров, которые для Вас неприятны, а для меня слишком огорчительны, решился я письменно отвечать Вам на всё то, что Вы мне сказали.

Прошу Вас, оставя всё предубеждение, выслушать меня хладнокровно и без гнева. Я смело умоляю Вас о сей милости: отец, имеющий Ваши правила и Ваше сердце, не может отказать в просьбе сей сыну, хотя бы он в самом деле заслужил его гнев; тем менее такому, который всегда старался приобресть себе его любовь и благосклонность. Я не буду извинять пред Вами шаг, мною теперь предпринимаемый, тем, что стремление пролить кровь свою за отечество основано на чести и на любви к отечеству и посему никогда не может казаться презрительным: Вы имеете другое о сих вещах понятие, нежели я, и я слишком бы был дерзок, если б осмелился подумать, что Вы, будучи гораздо опытнее и умнее меня, от моих слов перемените Ваш образ мыслей. Итак, скажу я Вам только, почему переход мой в военную службу, несмотря на то что Вы мне говорили, не могу я считать преступлением и почему Ваше обхождение со мною мне кажется слишком жестоким и несправедливым. Если я еще не совсем лишился Вашей благосклонности, то откровенное изъяснение моих мыслей не может Вас обидеть...

С самого того времени, как я начал себя помнить и понимать собственные свои чувства, я не преставал стараться приобресть себе Вашу благосклонность. Если иногда наносил Вам огорчение какими-нибудь проступками, то они, верно, никогда не происходили ни от дурного сердца, ни от недостатка к Вам почтения. Сердце мое никогда не довольствовалось сим почтением; я вас любил всегда больше в сто крат, нежели самого себя, и любовь сия, в том Бог свидетель, может прекратиться только с моею жизнию. Привязанность сия к Вам была всегдашним моим путеводителем, она одна была причиною моего старания заслужить Ваше доброжелательство; боязнь лишиться имения, которое я надеялся когда-нибудь от Вас получить, или какие бы то ни было другие тому подобные причины никогда не имели никакого на меня влияния. Тщательно стараясь строго выполнять то, что предписывали мне долг и честь, я уверен, что никто не может меня укорить, чтоб я когда-нибудь упускал их из виду. Я успел приобресть себе любовь людей

почтенных, которых и Вы сами уважаете и которые, к сожалению моему, меня лучше знают, нежели Вы. Смело ссылаюсь на их свидетельство. До сих пор я мнил, что мне удалось снискать себе и Вашу любовь, для меня несравненно драгоценнейшую всего на свете. Чем же теперь я вдруг навлек на себя Ваше негодование? Неужели изъявлением желания переменить род службы заслужил я от Вас столь несправедливую и для меня уничижительную угрозу, что Вы меня выкинете из дому и лишите навсегда помощи, которую я от Вас мог ожидать? Можете ли Вы думать, граф, что сердце мое столь низко, чувства столь подлы, что я решуся оставить свое намерение не от опасения потерять Вашу любовь, а от боязни лишиться имения? Никогда слова сии не изгладятся из моей мысли: если Бог услышит мою молитву и возвратит мне Вашу любовь, которой теперь лишаюсь, и тогда я не престану сожалеть, что Вы могли так обо мне подумать. Я знаю, что Вы можете приписать сие излишнему самолюбию, но я решился говорить откровенно. Да будут открыты пред Вами сокровеннейшие изгибы моего сердца, как они открыты пред самим Богом. Язык сердца, желающий говорить к сердцу, не имеет нужды скрывать своих чувств. Я думаю чрез то исполнить мой долг, а в Вашей воле поступить со мною, как Вам угодно: я твердо понесу крест, Вашею рукою на меня возлагаемый, и не позволю себе ни малейшего ропота.

Я думаю, что, вступая в военную службу в то время, когда отечество может иметь во мне нужду, я исполняю долг верного сына оного, долг тем не менее священный, что он некоторым кажется смешным и презрительным. Я думаю, что стремление к исполнению сего долга может быть сопряжено и с собственною моею пользою: оно может доставить мне честь и отличия, а сие, без всякого сомнения, есть главная побудительная причина во всякой государственной службе. Но всеми сими причинами, сколь они мне ни кажутся основательными, я бы охотно пожертвовал из покорности к Вашей воле, если б мне сие *было возможно*. Поверьте, что сопротивление Вашему желанию меня гораздо более, нежели Вас самих, огорчает. Вашему сердцу гораздо должно быть легче сему поверить, нежели представить себе во мне изверга, влекомого одним порывом слепого честолюбия и ставящего в ничто огорчения, которые он может Вам тем причинить! Итак — прибегаю в последний раз к Вашему сердцу, к чувствам, которые имели Вы ко мне прежде, нежели объявил я Вам свое желание, и прошу Вас предаться внушению Вашего великодушия, верно влекущего Вас простить сына, который до сих пор ничем не заслуживал Вашего негодования. Я не прошу у Вас ни денег, ни какой-нибудь другой по-

мощи; пускай нужда и нищета меня постигнут, я буду уметь их переносить: одно лишение Вашего благословения может меня погубить невозвратно.

Алексей Перовский.

А. А. ПЕРОВСКИЙ — С. И. ТУРГЕНЕВУ

⟨1⟩

29 апреля (11 мая) 1816 г. Петербург

С.-Петербург. 29-го апреля 1816.

Не знаю, любезнейший друг мой, помнишь ли ты обо мне, живучи в шуму столицы мира и находясь на стези некогда сделаться великим дипломатом и великим человеком![1] О тебе можно сказать: vous êtes du bois dont on fait les maréchaux ou les grands hommes![а] — а мне то, что греческие цари говорили пред Троей:

Οὔτε ποτ' ἐν πολέμῳ ἐναρίθμιος οὔτ' ἐνὶ βουλῇ.[б, 2]

Не шутя я думаю, что теперешнее твое положение тебе и выгодно для службы, и приятно. Я, право, завидую тебе, особливо в том, что ты живешь в прекрасном климате. У нас еще морозы и снеги, а у вас теперь:

Nunc formosissimus annus. — Virg. Ecl. 3.[в, 3]

Но поговорим о делах наших, любезный друг!

«Celebrare domestica facta, Aetas⟨?⟩»,[г] — говорит Гораций.[4] Я брату твоему Александру заплатил пятьсот рублей, хоть брат же твой Николай никак не велел мне ему их отдавать до тех пор, пока он или ты о том ко мне напишут.

Письма твоего с бумагами моими, которые ты отправил ко мне на другой день отъезда моего из Парижа,[5] я не получал, почему и прошу

[а] ты из того дерева, из которого делают маршалов и великих людей (*фр.*)

[б] Значащим ты никогда не бывал — ни в боях, ни в советах. (*греч.; пер. Н. И. Гнедича*)

[в] Теперь прекраснейшее из времен года. — Верг⟨илий⟩. Экл⟨ога⟩ 3. (*лат.; пер. А. В. Черновской*)

[г] «Время почтить вниманием домашние дела» (*лат.; пер. А. В. Черновской*)

тебя уведомить, чрез кого ты всё сие послал? Может быть, в числе бумаг были такие, которых мне потерять неприятно будет. Что тебе сказать нового о нашем крае? Репнин всё еще не генерал-губернатором... я с ним всё на такой же ноге, как и прежде.[6]

Injuriae, suspiciones, inimicitiae, induciae, bellum, pax rursum. — Terent.[а, 7]

Недавно он очень на меня рассердился за то, что я, просясь в отпуск до 1-го сентября, объявил, что по истечении оного хочу идти в отставку. Что с ним делать?

Elleborum frustra, cum jam cutis aegra tumebit, pascentes videas.[б, 8]

Однако я, несмотря на то, все-таки возьму отставку.

Vixi et quem dederat cursum fortuna peregi. — Virg.[в, 9]

Ты скажешь мне на сие, что я молод и служить должно и что при Репнине быть мне выгодно, но не забывай, мой милый, что Гораций говорит:

Vitae summa brevis spem nos vetat inchoare longam. — Od. 4. Lib. 1.[г, 10]

Миронов, который теперь комендантом в главной квартире,[11] пишет ко мне, что он женится, он не говорит на ком, но рассказывает о своей невесте:

Vera incessu patuit dea![д, 12]

Он, как говорят, очень давно с нею знаком.

Amores de tenero meditatur ungui. — Hor. Liv. 3. Od. 6.[е, 13]

[а] Обиды, подозрения, вражда, перемирие, война, снова мир. — Теренц⟨ий⟩ (*лат.; пер. А. В. Черновской*)

[б] Ты можешь видеть тех, кто напрасно пожирает чемерицу, когда больная кожа уже вздулась (*лат.; пер. А. В. Черновской; ср.*: Ты посмотри-ка на тех, что просят себе чемерицы, // Только как вспухнут уже. — *пер. Ф. А. Петровского*)

[в] Я прожила и тот путь, что судьба даровала, свершила. — Верг⟨илий⟩ (*лат.; пер. А. А. Фета*)

[г] Непродолжительность жизни не позволяет нам далеко простирать надежду. — Ода 4. Кн. 1 (*лат.; пер. А. В. Черновской*)

[д] По поступи видно истинную богиню! (*лат.; пер. А. В. Черновской*)

[е] С младых ногтей помышляет о любви. — Гор⟨аций⟩. Кн. 3. Ода 6 (*лат.; пер. А. В. Черновской*)

Прощай, любезнейший Тургенев, Бог с тобою, пиши ко мне, что у вас делается.

Est natura hominum novitatis avida.[a, 14]

Итак, и о новостях ваших пиши ко мне. Прощай, мысленно тебя обнимаю.

Верный твой друг
А. Перовский.

---

[a] Человеческая природа жаждет новизны. (*лат.; пер. А. В. Черновской*)

⟨2⟩

28 июля (9 августа) 1816 г. Петербург

28-го июля 1816.

Сбираюсь писать к тебе длинное письмо, любезный друг, но ты его, я думаю, не скоро получишь: я так же ленив, как был, и так же мало люблю переписываться, как прежде. Ты, может быть, бранишь меня за то, что редко к тебе пишу, но когда узнаешь, что из всех моих знакомых и приятелей, вне России находящихся, я с приезда моего сюда писал к тебе только одному,[1] так ты почувствуешь, сколь для тебя такое отличие должно быть лестно. Шутки в сторону, мне совестно против Мериана, что я к нему ничего не писал, пожалуй постарайся держать меня у него en bonne odeur,[a] я его очень люблю и уважаю.[2] Ейхгорну скажи, что аттестат я ему пришлю самой лучший, он у меня уже заготовлен, но недостает только подписи Репнина, и та сегодня или завтра явится.[3]

Репнин наконец генерал-губернатором. Дай Бог ему здоровья, а я с ним не поеду, как еще решено было при тебе в Париже.[4] Не знаю, мой друг, кто тебе наврал чепуху о потере имения моего? Я и понять не могу, на чем основан этот пустяк: благодаря Бога я всё в том же положении, в котором был, и имения потерять никак не мог по известной тебе немецкой пословице: wo nichts ist, da hat der Kaiser sein Recht verloren.[б]

Что делает Иван Николаевич Rondin?[5] Когда увидишь его, так поклонись и поцелуй в розовую щечку.

---

[a] *Здесь*: на хорошем счету (*фр.*)

[б] где нет ничего, там сам император теряет право (*нем.*)

Прощай, с будущим курьером более, мне много о чем надобно с тобою побеседовать, да лень, однако решусь: Not bricht Eisen.[а] А мне, право, есть до тебя дело. Желаю тебе счастия, благополучия и здоровья, всем знакомым кланяйся.

Твой
А. Перовский.

Ейхгорн просил меня, чтоб в твоем письме написал к нему несколько строчек, так как сегодня у меня нет времени, то оставляю до будущего раза, а между тем дай ему прочитать следующий совет:

Seyen Sie vernünftig führen Sie sich gut auf und machen Sie daß wehn wir uns wiedersehen, ⟨*1 нрзб*⟩ vor ⟨*1 нрзб*⟩ verloren als gewonnen hat. Künftig mehr.[б]

P.S. Еще одно слово: пожалуй, любезный мой, старайся писать немного четким почерком, а то ты теперь хуже еще пишешь, нежели прежде.

[а] нужда ломает железо (*нем.*)

[б] Будьте разумны, ведите себя хорошо и позаботьтесь о том, чтобы когда мы снова увидимся, X по отношению к Y скорее потерял, чем выиграл. Подробности потом. (*нем.*)

⟨3⟩

8 (20) ноября 1817 г. Петербург

Любезный Иван Сергеевич,[а] исполни мою всепокорнейшую просьбу: по получении сего немедленно поставь в первую лотарею, которая будет разыгрываться, n'importe laquelle,[б] следующую *терну* simple,[в] без амбов и проч.:

67. 35. 2.[1]

Главное состоит в том, чтоб ты, нимало не медля, по получении сего письма пошел в первую bureau de loterie[г] и поставил сии номера. Брату твоему Николаю я вручил здесь на сей конец 10 ф⟨ранков⟩ — итак, ты поставь десять франков. Деньги, которые ты, без сомнения, выигра-

---

[а] *Так в рукописи; описка вместо: «Сергей Иванович».*

[б] неважно какую (*фр.*)

[в] простую (*фр.*)

[г] лотерейное бюро (*фр.*)

ешь, отправь тотчас сюда в Петербург на имя мое чрез банкира, адресовав оные братьям Ливио.[2] Следует росписк брат твоего Николая.
Приписка рукой Н. И. Тургенева:

Десять рублей получил. Прошу и для меня поставить 10 же франков и на тех же условиях, как и для Перовского, и в той же лотерее и те же самые номера. Да не забудь прислать выигрыш.[3]

8-го ноября 1817. Н. Тургенев.
С.-Петербург.

А. А. ПЕРОВСКИЙ — С. С. УВАРОВУ

⟨1⟩

30 сентября (12 октября) 1819 г. Яготин

Jagotine, le 30 septembre 1819.

C'est à mon retour de Blistova, où je suis allé aussitôt après votre départ d'ici, que j'ai reçu la lettre, que vous m'avez adressée d'Orel... Je profite du départ de ce courrier pour vous répondre et je désire de tout mon cœur, qu'il vous trouve déjà à Pétersbourg, reposé des fatigues de votre voyage et guéri de votre mal de mains.

Je n'ai été point présent à l'expédition de vos chevaux et si quelque chose leur a manquée en route, je m'en lave les mains. Avant de partir j'avais ordonné à Timofeyeff de préparer un char quelconque, qui puisse leur servir de magasin durant leur marche. Les conducteurs auraient pu aussi s'y reposer en cas de fatigue, mais le bas-officier envoyé d'Orel a refusé nettement de prendre un équipage en objectant que ceux qui seraient fatigués pourraient monter les chevaux. Si j'avais été là, j'aurais insisté sur l'équipage, car en montant les chevaux, ils ont pu les gâter. Ma sœur[1] aussi a été fâchée de ce contretemps, car vous lui aviez fait espérer de pouvoir envoyer quelque chose à Pétersbourg par cette occasion.

Depuis votre départ, nous menons absolument le même genre de vie, que lorsque vous étiez avec nous. Rien de nouveau — aucun changement; la seule chose remarquable qui soit arrivée à Jagotine dans cet espace de temps et qui a fait diversion à l'uniformité qui y règne: c'est l'éclipse de la lune: nous avons pris ce jour-là le thé une heure plus tard que de coutume. J'oubliais celle de ⟨*1 нрзб*⟩ qui est parti il y a quelques jours.

Le comte s'est toujours bien porté, à une petite indisposition hémorrohoïdale près, qui heureusement est passée. Il vous envoie une nouvelle доверенность pour la maison des enfants trouvés;[2] la première était peut-être suffisante, mais dans ces sortes de cas il vaut mieux faire trop que trop peu. Pour comble de précautions il en envoie une pareille à Léon pour en faire usage en cas que vous ne soyez pas encore arrivé à Pétersbourg (ce que je crois impossible). Le comte prétend, que lorsqu'il s'agit de recevoir de l'argent, il faut se dépêcher et ne point laisser échapper les occasions.

Que vous dirai-je encore? Les nouveaux revirements, que vous allez faire, vous fourniront des moyens infinis de libérer la terre de ma sœur.[3] C'est un point qui me tient fortement au cœur et vous m'excuserez sans doute si, tout en comptant sur votre promesse, j'ai cru qu'il n'était pas superflu de le rappeler à votre souvenir.

Le comte se propose de rester ici jusqu'à la mi-octobre. Ma sœur attend Basile,[4] qui doit l'escorter à Pétersbourg. Quant à moi je reste en me recommandant à la miséricorde Divine et à l'indulgence de Tourguéneff, mon patron.[5] Mon voyage de Crimée s'en est allé en vapeurs (germanisme): impossible de laisser le comte dans la solitude dans laquelle il se trouve actuellement. Je n'ai eu aucune nouvelle de Kapnist,[6] mais je ne doute pas qu'il vienne à Potchep à la fin du mois d'octobre!

Ma sœur vous fait faire bien des compliments et moi, je vous prie d'être persuadé que je suis bien sincèrement et de tout mon cœur votre tout dévoué serviteur.

Alexis Peroffsky.

Basile est arrivé hier.

Перевод:

Яготин, 30 сентября 1819.

Возвратившись из Блистовы, куда я отправился сразу после вашего отъезда отсюда, я получил ваше письмо, посланное из Орла... Пользуюсь случаем, чтобы вам ответить, и от всего сердца желаю, чтобы письмо вас застало уже в Петербурге, отдохнувшего от дорожных тягот и оправившегося от болей в руках.

Я не присутствовал при отправлении ваших лошадей, и если что-то в дороге с ними было не так, я умываю руки. До своего отъезда я приказал Тимофееву приготовить какую-нибудь повозку, которая во время пути могла бы послужить кладовой для корма. Погонщики, устав, могли бы также там отдыхать, но унтер-офицер, присланный из Орла, решительно отказался взять экипаж, заявив, что тот, кто устанет, смо-

жет ехать верхом. Если бы я был на месте, я бы настоял на экипаже, потому что верховая езда могла повредить лошадям. Моя сестра[1] тоже была недовольна этим досадным упущением, поскольку вы ей позволили надеяться, что она сможет кое-что отправить в Петербург с этой оказией.

После вашего отъезда мы ведем ровно такую же жизнь, как и при вас. Ничего нового — никаких перемен. Единственное знаменательное событие, случившееся в Яготине за это время и нарушившее однообразие, которое царит здесь, это лунное затмение: в тот день мы пили чай на час позже обычного. Я забыл ⟨*1 нрзб*⟩ произошло несколько дней тому назад.

Граф чувствовал себя всё время хорошо, за исключением небольшого геморроидального недомогания, к счастью уже прошедшего. Он вам посылает новую доверенность для детского приюта,[2] может быть, достаточно первой — но в такого рода делах лучше перестараться, чем недостараться. К вящей осмотрительности такую же доверенность он посылает Льву, коей можно воспользоваться, если вы еще не добрались до Петербурга (что я нахожу невозможным). Граф утверждает, что, когда дело касается получения денег, нужно спешить и не упускать случая.

Что мне еще написать вам? Новые шаги, которые вы будете осуществлять, предоставят вам неограниченные возможности для освобождения земель моей сестры.[3] Этот вопрос очень меня беспокоит, и вы, без сомнения, извините меня, что я, всецело полагаясь на ваше обещание, счел нелишним напомнить вам о нем.

Граф предполагает остаться здесь до середины октября. Сестра ждет Василия,[4] который должен сопроводить ее в Петербург. Что до меня, я остаюсь, доверившись Божьему милосердию и снисходительности Тургенева, моего покровителя.[5] Мое путешествие в Крым испарилось (германизм): невозможно оставить графа в одиночестве, в каковом он пребывает сейчас. Не имею никаких известий от Капниста,[6] но не сомневаюсь, что в конце октября он приедет в Почеп.

Сестра кланяется вам, а я искренне и от всего сердца остаюсь вашим преданным слугой.

Алексей Перовский.

Василий приехал вчера.

⟨2⟩

30 января (11 февраля) 1820 г. Почеп

Potchep, le 30 janvier 1820.

Me proposant tous les jours de partir pour Pétersbourg, j'ai différé jusqu'à ce moment de vous écrire; mais comme le comte me retient ici et que définitivement je ne partirai point cet hiver,[1] je m'empresse de vous donner des nouvelles de ce pays-ci.

Nous attendons tous les jours Kapniste, qui devait arriver le 22: je crois que les mauvais chemins l'ont retenu jusqu'à ce moment. Vous savez de quelle importance est son arrivée, aussi ne manquerai-je point de vous informer du résultat de son voyage, aussitôt qu'il y aura quelque chose de décidé.[2] Je vous dirai en attendant que le comte a été extrêmement affecté tous ces jours-ci à l'occasion d'un ⟨*1 нрзб*⟩ qui ordonne de confisquer et de mettre en vente quelque millier de paysans engagés à cause d'une somme de 70 000 r⟨oubles⟩, qui n'a pas été payée à terme. Ayant appris que je vous écris, il me charge de vous dire, qu'il en a tant d'inquiétude pour cette affaire, qu'il a pensé tomber malade et qu'il ne peut vous écrire aujourd'hui étant dans de cruels embarras pour se procurer la somme exigée.[3] Il s'étonne de ce que personne ne lui a écrit à ce sujet. Dépêchez-vous, je vous prie, de lui répondre sur cela.

J'en viens à l'affaire de ma sœur Tolstoy. De grâce, faites quelque chose et tâchez de nous tirer d'embarras. Je sais d'après les papiers de ⟨*1 нрзб*⟩ que sa terre n'est point engagée en deux endroits différents, comme vous l'aviez supposé d'abord... Il ne serait donc point difficile de remplacer Blistova par d'autres paysans et vous lui rendrez par là un service inappréciable. Elle vous prie de prendre cette affaire à cœur et nous espérons tous les deux que vous voudrez bien vous en occuper.[4]

Peut-être aurai-je sous peu quelque chose de plus intéressant à vous mander, en attendant je vous prie de croire que je suis à jamais votre très humble et tout dévoué serviteur.

Alexis Peroffsky.

Перевод:

Почеп, 30 января 1820.

Предполагая всякий день уехать в Петербург, я до сих пор медлил написать вам; но поскольку граф удерживает меня здесь и я решительно не уеду этой зимой,[1] спешу сообщить местные новости.

Всякий день ждем Капниста, который должен был приехать 22-го: думаю, его задержали плохие дороги. Вы знаете, как важен его приезд, посему непременно сообщу о результатах, как только будет что-то определенное.[2] Тем временем скажу вам, что граф был крайне огорчен все последние дни по причине ⟨*1 нрзб*⟩, что вынуждает конфисковать и выставить на продажу около тысячи крестьян, отданных в залог под сумму в 70 000 р⟨ублей⟩, не выплаченную в срок. Узнав, что я пишу вам, он просит сказать, что так обеспокоен этим делом, что боится заболеть и не может пока вам написать, поскольку находится в жестоком недоумении, как достать требуемую сумму.[3] Он удивляется, что никто не написал ему об этом деле. Поспешите, прошу вас, ответить ему на сей счет.

Перехожу к делу моей сестры Толстой. Смилуйтесь, сделайте что-нибудь, помогите выпутаться из затруднения. Я знаю из бумаг ⟨*1 нрзб*⟩, что ее земля не заложена в двух разных местах, как вы сначала предположили... Таким образом, будет несложно заменить Блистову другими крестьянами, и этим вы ей окажете неоценимую услугу. Она просит вас отнестись к этому делу с участием, и мы оба надеемся, что вы займетесь им.[4]

Может быть, скоро у меня будут более интересные известия для вас, а пока, прошу верить, что я всегда остаюсь вашим нижайшим и преданным слугой.

Алексей Перовский.

⟨3⟩

23 марта (4 апреля) 1820 г. Почеп

Potchep, le 23 mars 1820.

J'ai tardé jusqu'à present de vous écrire, espérant vous dire quelque chose de satisfaisant relativement au séjour de Kapniste à Potchep, mais le voilà parti sans un résultat quelconque.[1] Le p⟨rin⟩ce Repnine a passé ici quelques jours, et le c⟨om⟩te lui a parlé à ce sujet sans cependant lui dire rien de positif. Vous connaissez son impatience et combien il prend à cœur toutes les affaires qui concernent ses démêlés avec Novitzky: le voilà derechef inquiet sur ce qu'il n'a jusqu'à présent aucune nouvelle de la suite de votre démarche auprès de Miloradovitch. De grâce, tranquillisez le sur ce point et informez de ce que ce dernier a répondu; n'importe que sa réponse ait été favorable ou non.

Vous savez sans doute que nous avons expédié à Pétersbourg par le dernier courrier une réfutation superficielle du compte rendu de Novitzky.[2] Ce n'est qu'une sorte de précis historique de ses faits et gestes: la réfutation détaillée et appuyée de documents et de chiffres sera bientôt terminée. Je vous avoue que je crains fort, que cela ne devienne encore une source de désagrément pour le comte; car Novitzky ne manquera pas de réfuter de son côté et probablement il le fera avec grossièreté. Ceci nécessitera encore une réponse de notre part, et il s'engagera une guerre de plume, qui n'aboutira peut-être à rien. Il me paraît qu'un procès avec Novitzky est inévitable, si vous ne parvenez à le mettre à la raison, en lui faisant rendre des documents qu'il peut avoir gardé et en lui donnant en échange les 30 mille r⟨oubles⟩ qu'il a prêtés à différents individus.

Le comte est toujours dans de grandes inquiètudes sur la marche de ses affaires à Pétersbourg dont il continue d'être mécontent, et ses inquiètudes absorbent un temps qu'il aurait peut-être employé à autre chose. Je ne manquerai pas de vous écrire aussitôt qu'il y aura quelque chose de décisif sur le tapis.

Nous n'allons pas à Yagotine cette année. Il se fait une réforme générale dans la régie des terres de Potchep et de Шептаки; réforme qui nécessite la présence du c⟨omte⟩, et où je suis employé au détriment de ma santé qui souffre beaucoup des désagréments avec lesquels j'ai à lutter. J'attends avec impatience l'arrivée du printemps pour me retirer pour quelque temps à Blistova et je projette en outre un voyage à Odessa pour prendre des bains de mer. Titoff est dans ce moment intendant de Potchep, par intérim. C'est un bien brave homme et qui ne manque pas de connaissances; mais qui est en revanche d'une lanteur assomante et ce n'est pas la qualité qui plaît de plus dans ce pays-ci.

La brochure que vous m'avez envoyée m'a fait le plus grand plaisir. J'aurai reconnu le style de Батюшков quand même vous ne l'auriez point nommé, et je ne vous flatte point en vous disant que la prose et les vers français ne déparent point la poésie de Батюшков et que dans quelques endroits vous l'avez même surpassé.[3]

Depuis une quinzaine de jours je suis continuellement malade et je garde la chambre et quelquefois le lit de deux jours l'un. C'est aujourd'hui mon jour de maladie, et je termine cette lettre étant accablé d'un mal de tête des plus voilents.

Portez-vous bien et soyez persuadé que je suis bien sincèrement et de tout mon cœur tout à vous.

A. Peroffsky.

Ma sœur vous remercie de votre souvenir et je la rappelle au vôtre.

Перевод:

Почеп, 23 марта 1820.

До сих пор не спешил вам писать, поскольку надеялся, что смогу сообщить что-нибудь удовлетворительное относительно пребывания Капниста в Почепе, но вот он уехал без какого-либо результата.[1] Князь Репнин провел здесь несколько дней, и граф говорил с ним на ту же тему, не сказав ему, однако, ничего положительного. Вы знаете его нетерпеливость и как близко к сердцу принимает он всё касающееся его распри с Новицким: вот он опять обеспокоен тем, что до сих пор ничего не знает о результатах вашей попытки похлопотать перед Милорадовичем. Будьте милостивы, успокойте его на сей счет и сообщите, что вам ответил последний, вне зависимости от того, был ли его ответ благоприятен или нет.

Вы несомненно знаете, что с последней почтой мы отправили в Петербург составленное в общих чертах опровержение отчета Новицкого.[2] Это всего лишь своего рода исторический беглый взгляд на его проделки: детальное опровержение, подкрепленное документами и цифрами, скоро будет закончено. Признаюсь, что очень опасаюсь, как бы это не стало еще одним источником неприятностей для графа, так как Новицкий не преминет выступить с опровержением со своей стороны и, вероятно, самым грубым образом. Это сделает неизбежным появление нового ответа с нашей стороны, и начнется война перьев, которая может ни к чему не привести. Мне кажется, что тяжба с Новицким неизбежна, если вы не сумеете заставить его послушаться и вернуть документы, которые могут быть у него, а взамен отдать ему 30 тысяч р⟨ублей⟩, которые он ссудил разным лицам.

Граф по-прежнему беспокоится о ходе своих дел в Петербурге, коими он продолжает быть недоволен, и его беспокойство поглощает время, которое он мог бы употребить иначе. Не премину написать вам, как только появится что-либо определенное.

Мы не едем в Яготин в этом году. Проводятся всеобщие преобразования в управлении землями Почепа и Шептаки, — преобразования, требующие присутствия графа, к чему и меня привлекли в ущерб моему здоровью, которое очень страдает из-за неприятностей, с коими мне приходится бороться. С нетерпением жду прихода весны, чтобы уехать на некоторое время в Блистову; кроме того, я замышляю путешествие в Одессу для морских купаний. Титов сейчас временно является управляющим Почепа. Это очень славный малый и довольно осведомленный, но зато он отличается убийствен-

ной медлительностью, а это не то свойство, которое ценится в здешних краях.

Книга, которую вы прислали, доставила мне самое большое удовольствие. Я узнал бы стиль Батюшкова, даже если бы вы мне его не назвали, и я нимало не польщу вам, сказав, что французские проза и стихи нисколько не портят поэзию Батюшкова, а в некоторых случаях вы его даже превосходите.[3]

Вот уже две недели, как я болею и через день не покидаю спальни, а иногда и кровати. Сегодня как раз день болезни, и я заканчиваю это письмо, поскольку меня одолела жесточайшая головная боль.

Будьте здоровы и верьте, что я искренне и от всего сердца предан вам.

А. Перовский.

Сестра благодарит вас за память и просит напомнить вам о ней.

⟨4⟩

27 апреля (9 мая) 1820 г. Почеп

J'ai reçu votre dernière lettre et je m'empresse d'y répondre quoique désolé de n'avoir rien de très consolant à vous dire par rapport à la demande que vous avez adressez au comte.[1] Du moins je le crains: car il me charge de vous dire qu'étant malade il lui est impossible de vous répondre aujourd'hui et qu'il ne peut vous dire rien de positif sur ce que vous lui écrivez. En attendant il est fâché de ce que vous ne l'informez ni de l'affaire de Novitzky, ni du reste des paysans d'Ucraine qu'il suppose en état d'être engagés au lombard, ni de la somme qui lui reste du dernier emprunt que vous avez fait. Le comte est réellement sérieusement indisposé depuis quelques jours: il a un fort rhume et son impatience augmente encore sa maladie. C'est moi qui en souffre le plus, mais je me résignerais volontiers à mon sort si je pouvais contribuer à sa tranquillité; malheureusement je ne puis trop me flatter de cet espoir.

Quant à vos autres affaires, elles sont en bon train. Le comte s'en occupe très sérieusement et j'espère sous peu vous en donner des nouvelles positives.

Je suis bien fâché que la libération de Blistova soit encore entravée par de nouvelles difficultés.[2] Il y a un sort attaché à tout ce qui regarde ma pauvre sœur. Где тонко, тут и рвется!

Je vous souhaite toutes sortes de prospérités dans vos entreprises qui me paraissent très bien calculées, mais je ne vous conseille pas de trop compter sur le secours du comte. Au reste ce n'est qu'une supposition assez probable, il est vrai. Il vous écrira lui-même par la poste prochaine.

Tout à vous

Potchep, le 27 avril 1820. Alexis Peroffsky.

Перевод:

Получил ваше последнее письмо и спешу на него ответить, хотя, к сожалению, не могу сообщить ничего утешительного касательно вашей просьбы к графу.[1] По крайней мере, мне так кажется, поскольку он мне поручил передать, что, будучи больным, он не может вам сегодня ответить и не имеет сообщить ничего положительного насчет того, о чем вы ему пишете. Между тем он сердится, что вы не сообщаете ему ни о деле Новицкого, ни об оставшихся украинских крестьянах, которые, как он предполагает, заложены в ссудную казну, ни о сумме, оставшейся от последнего вашего займа. Граф в самом деле серьезно нездоров вот уже несколько дней: у него сильная простуда, а его раздражительность еще усугубляет болезнь. Больше всего от этого страдаю я, но я бы охотно покорился своей судьбе, если бы мог содействовать спокойствию его духа; к несчастью, не могу тешить себя этой надеждой.

Что касается прочих ваших дел, они продвигаются благополучно. Граф ими занимается очень серьезно, и я надеюсь вскоре сообщить вам о них положительные известия.

Меня очень огорчает, что освобождению Блистовы мешают очередные трудности.[2] Какой-то рок преследует всё, что касается моей бедной сестры. Где тонко, тут и рвется!

Желаю вам всяческой удачи в ваших предприятиях, которые, мне кажется, вы тщательно обдумали, но не советую слишком рассчитывать на помощь графа. Впрочем, это всего лишь предположение, достаточно вероятное, по правде говоря. Он вам напишет сам со следующей почтой.

Всегда ваш

Почеп, 27 апреля 1820. Алексей Перовский.

⟨5⟩

5 (17) апреля 1822 г. Почеп

Potchep, le 5 avril 1822.

Je me vois obligé de vous donner une bien triste nouvelle. Le comte est décédé ce matin á 4 heures. La p⟨rin⟩cesse Repnine est à Potchep depuis quelques jours.[1] Les dernières dispositions du comte se trouvent entre les mains de Николай Семенович Мордвинов[2] ⟨*2 нрзб*⟩, je l'envoie par la même estafette.

Alexis Peroffsky.

На обороте:

Его превосходительству
Сергею Семеновичу Уварову.
По естафете.
В С.-Петербурге.
В собственном доме на Морской.

Перевод:

Почеп, 5 апреля 1822.

Вынужден сообщить вам очень печальное известие. Граф скончался сегодня утром в 4 часа. Княгиня Репнина в Почепе уже несколько дней.[1] Последние распоряжения графа находятся у Николая Семеновича Мордвинова[2] ⟨*2 нрзб*⟩, посылаю с той же эстафетой.

Алексей Перовский.

⟨6⟩

30 августа (11 сентября) 1822 г. (?)

Je vous envoie ci-jointe la quittance que vous me demandez;[1] j'espère qu'elle est en règle, si non, vous voudrez bien m'en envoyer une toute faite, et je la signerai.

Votre dévoué

Le 30 août 1822. A. Peroffsky.

Перевод:

Посылаю вам прилагаемую расписку, которую вы у меня просите;[1] надеюсь, она в порядке, если нет, пришлите мне готовую расписку, и я ее подпишу.

Преданный вам

30 августа 1822. А. Перовский.

А. А. ПЕРОВСКИЙ — ВЕЛИКОМУ КНЯЗЮ НИКОЛАЮ ПАВЛОВИЧУ

6 (18) июня 1824 г. Новгород-Северский

Monseigneur!

La bienveillante sollicitude, que Votre Altesse Impériale a daignée de tout temps témoigner à mon frère Bazile, m'inspire le courage d'avoir recours à sa protection. Sans avoir le bonheur d'être personnellement connu de Votre Altesse Impériale, j'ai eu ma part, de l'intérêt que vous avez bien voulu prendre au sort de toute ma famille;[1] et comblé de vos bontés, Monseigneur, c'est à titre d'un de vos plus dévoués et de vos plus reconnaissants serviteurs que j'ose réclamer votre indulgence.

Votre Altesse Impériale connaît les embarras dans lesquels nous nous sommes trouvés par suite de la mauvaise volonté que le c⟨om⟩te Pierre Razoumoffsky a mis à liquider les dettes de son père. Depuis la mort du c⟨om⟩te Alexis plus de deux ans se sont écoulés et nous n'avons pas encore la perspective d'être payés.[2] Notre patience, les concessions que nous avons offertes, n'ont servi qu'à inspirer à notre débiteur l'idée que le paiment de ces dettes pouvait être éludé. Entouré de gens qui le trompent et n'ayant aucune connaissance des lois, il s'est laissé persuader, que quand même il ne parviendrait point à annuller les lettres de change de son père, il pourrait au moins en contestant leur validité, retarder leur liquidation pour un terme très éloigné. Il avait cependant commencé par reconnaître authentiquement la légalité de nos prétentions, mais ces bonnes dispositions n'ont pas été de longue durée. Bazile et moi avaient même consenti à sa sollicitation à échanger nos lettres de change contre des biens-fonds et nous conclûmes un acte, par lequel le c⟨om⟩te s'obligea à nous mettre incessamment en possession légale de nos terres. Un an et demi s'est écoulé depuis, sans qu'il ait songé à rem-

plir ses engagements. En attendant cet acte nous met dans l'impossibilité de prétendre au paiement de nos lettres de change, et les terres que nous sommes censés avoir achetées se détériorent. Celle de Bazile surtout est ruinée de fond en comble par les intendants qui ne la ménagent point, depuis qu'ils savent qu'elle doit changer de maître. En outre elle est à la veille d'être vendue à l'encan, pour acquitter une dette de la Banque Impériale, dont elle est grevée.

D'un autre côté mon frère Léon, revenu de l'Italie au mois d'octobre de l'année passée s'est trouvé dans des embarras d'un autre genre. Arrivé à Moscou il apprit, que le c⟨om⟩te, sans réfléchir qu'il avait précédemment reconnu la légalité de nos prétentions, venait de présenter une supplique aux tribunaux, protestant contre le paiement des lettres de change que ma mère possède, sous prétexte que son père n'avait jamais emprunté l'argent dont il y est question. Nos lettres de change se trouvant absolument dans la même catégorie, Léon se vit obligé de demander qu'on mit arrêt sur les biens du c⟨om⟩te, jusqu'à ce qu'il eut acquitté les dettes de son père. D'autres créanciers du défunt avaient déjà fait cette démarche, à laquelle ils étaient d'autaut plus portés, qu'ils voyaient qu'au lieu de songer à des engagements qu'il devait regarder comme sacrés, le c⟨om⟩te vendait à tort et à travers tout ce dont il pouvait faire de l'argent[3] et dépensait les sommes qu'il recevait de la manière la plus ridicule. Il n'y a pas de doute qu'en le laissant continuer ce train pendant encore une année, il lui resterait à peine de quoi satisfaire aux dettes de la couronne et ses créanciers se trouveraient entièrement frustrés du paiement.

Les choses en étant là, je résolus au commencement de cette année de me rendre à Odessa, pour tâcher de prouver au c⟨om⟩te qu'il était de son propre intérêt d'apaiser ses créanciers, en changeant de conduite à leur égard. Mais tous mes éfforts furent infructueux. Ni mes prières, ni les représentations de personnes aussi marquantes que respectables et qui s'intéressaient à lui, n'eurent le moindre effet. Exaspéré de ce qu'on avait trouvé moyen de mettre un terme à la dilapidation de ses biens et persuadé qu'un procès de ce genre pouvait être traîné pendant vingt ans et plus, il se refusa à toute proposition raisonnable.

Le dérangement dans lequel cet entêtement et ce manque de bonne foi nous plongèrent, fut tel que j'eus l'idée d'implorer l'appui de l'Empereur. Mais la crainte d'importuner Sa Majesté Impériale, qui nous a déjà comblé de tant de bienfaits, a jusqu'à présent retardé cette démarche. Je voulois d'ailleurs encore une fois essayer les voies de conciliation et ce n'est qu'à sa dernière extrémité que je me serais décidé à avoir recours à l'inépuisable bonté de notre Souverain adoré.

Une nouvelle qui vient de me parvenir dans ce moment, me force à rompre le silence plus tôt que je ne l'aurais désiré. Nicolas Peroffsky, gouverneur de Théodosie,[4] m'ayant envoyé sa copie d'une lettre que le c⟨om⟩te Razoumoffsky doit avoir adressée à Sa Majesté,[5] me met dans la nécessité de solliciter l'intervention de Votre Altesse Impériale. Je prends la liberté de la soumettre ci-jointe à Votre Altesse Impériale et j'ose la supplier de daigner nous justifier aux yeux de l'Empereur de l'inculpation qu'elle porte contre nous. Ce n'est pas nous qui avons mis empêchement à l'accomplissement des volontés du défunt c⟨om⟩te Razoumoffsky. Bien loin de là c'est au contraire moi, qui au lit de mort de mon père, l'ai prié de faire un sort à Nicolas et chacun de mes frères s'ils ont été à ma place, ont agit de même. Nous faisons les vœux les plus sincères pour que Sa Majesté veuille bien écouter favorablement la demande du comte; mais nous ne saurions souffrir qu'il nous noircisse aux yeux de notre Souverain, dont la bonne opinion est ce que nous avons de plus précieux au monde. Il y a longtemps que le comte aurait dû assurer le sort de Nicolas et s'il y avait songé plus tôt, il n'aurait pas eu besoin d'importuner Sa Majesté, car c'est à tort qu'il nous accuse d'avoir dérangé ses affaires. Il n'y aurait pas eu le moindre démêlé entre nous s'il avait agi avec bonne foi et s'il avait eu effectivement pour la mémoire de son père les sentiments dont il fait parade dans sa supplique à l'Empereur.

Je sens, Monseigneur, combien j'ai besoin de votre indulgence pour cette longue lettre, mais je supplie Votre Altesse Impériale de daigner songer aux motifs qui m'y ont porté. L'Empereur a tant fait pour nous et notre respectueux attachement pour sa personne sacrée est tel, que toute tentative de nous mettre mal dans son esprit nous blesse jusqu'au fond de l'âme. Notre ruine totale nous serait mille fois préférable à la perte de sa bienveillance et c'est la crainte d'y être éxposés, qui me force de vous conjurer de nous préserver de ce malheur.

Je charge mon beau-frère Krijeanoffsky[6] de soumettre à Votre Altesse Impériale une note détaillée sur notre affaire,[7] que je lui ai envoyée aujourd'hui. Si vous daignez y jeter les yeux, Monseigneur, elle servira de preuve à Votre Altesse Impériale, que notre conduite à l'égard du c⟨om⟩te Razoumoffsky ne s'est pas écartée un moment des règles de la délicatesse, que c'est lui qui nous a forcé à rechercher l'appui des lois, et que les personnes auxquelles vous avez bien voulu prendre intérêt n'en ont jamais été indignes.

Je suis avec le plus profond respect, Monseigneur, de Votre Altesse Impériale le très humble et très obéissant serviteur.

Novgorod-Severskoi. Alexis Peroffsky.
Le 6 juin 1824.[8]

Перевод:

Ваше высочество!

Благосклонное попечение, постоянно оказываемое Вашим высочеством моему брату Василию, дает мне смелость прибегнуть к вашей защите. Не имея счастья быть лично представленным Вашему императорскому высочеству, я, однако же, вместе со всей моей семьей удостоился вашего участия в нашей судьбе;[1] и, осыпанный вашими милостями, будучи одним из преданнейших и признательнейших ваших слуг, осмеливаюсь просить вас о снисхождении.

Вашему императорскому высочеству известно затруднительное положение, в коем мы оказались вследствие нежелания графа Петра Разумовского уплатить долги своего отца. После смерти графа Алексея прошло более двух лет, а мы всё еще не имеем надежды получить причитающееся нам.[2] Наше терпение, сделанные нами уступки только лишь внушили нашему должнику мысль о возможности уклониться от уплаты долгов. Окруженный людьми, которые его обманывают, не зная законов, он позволил себе внушить, что в случае, если он не сумеет уничтожить заемные письма отца, он по крайней мере сможет, оспорив их законность, отложить расчет на очень отдаленный срок. Ранее он при всем том признал законность наших требований, но сии благие намерения оказались недолгими. Василий и я даже согласились на его просьбу обменять наши заемные письма на поместья и заключили договор, согласно которому граф обязался немедленно передать нам в законное владение наши имения. С тех пор прошло полгода, а он и не подумал выполнить свои обязательства. Тем временем этот договор не позволяет нам требовать уплаты по нашим заемным письмам, а имения, которые считаются купленными нами, приходят в упадок. Особенно имение Василия совершенно разорено управляющими, которые, зная, что владелец его сменится, нисколько им не занимаются. Сверх того, оно вот-вот уйдет с молотка для уплаты долга Государственному банку.

С другой стороны, мой брат Лев, вернувшись в октябре прошлого года из Италии, оказался в затруднении иного рода. По прибытии в Москву он узнал, что граф, не задумываясь о том, что ранее признал законность наших требований, подал прошение в суд, протестуя против уплаты по векселям, принадлежащим моей матери, под тем предлогом, что его отец никогда не занимал денег, о коих идет речь. Поскольку наши векселя относятся к тому же разряду, Лев счел себя обязанным попросить наложить арест на имущество графа, пока тот не уплатит долги своего отца. Другие кредиторы покойного уже предприняли подобный

шаг, каковой они тем более поспешили совершить, что видели, как, вместо того чтобы подумать о священных обязательствах, граф без разбора начал продавать всё, что можно превратить в деньги,[3] а вырученные суммы тратить наиглупейшим образом. Нет сомнения, что если б он продолжал так действовать еще год, ему едва хватило бы средств на уплату казенных долгов, а его кредиторы не получили бы ничего.

При таком положении вещей я решил в начале года отправиться в Одессу, дабы попытаться внушить графу, что в его собственных интересах успокоить кредиторов, изменив свое поведение в отношении их. Но все мои усилия оказались безрезультатны. Ни мои просьбы, ни увещания лиц сколь известных, столь и уважаемых, желающих ему добра, не возымели никакого действия. Раздраженный усилиями извне положить конец расточению его имущества и уверенный, что тяжба такого рода может затянуться более чем на двадцать лет, он отвергал всякое разумное предложение.

Расстройство, в которое нас повергли это упрямство и отсутствие добросовестности, оказалось столь тягостным, что я хотел умолять о помощи императора. Но, боясь докучать Его императорскому величеству, и без того осыпавшему нас благодеяниями, я до сих пор не решался на этот шаг. Я хотел еще раз попытаться найти пути к примирению и только в крайнем случае решился бы прибегнуть к неистощимой милости нашего обожаемого государя.

Известие, которое я только что получил, вынуждает меня прервать молчание прежде, чем мне бы того хотелось. Присланная мне Николаем Перовским, губернатором Феодосии,[4] копия письма, которое граф Разумовский, вероятно, послал Его величеству,[5] вынуждает меня ходатайствовать о вмешательстве Вашего императорского высочества. Я беру на себя смелость переслать его Вашему императорскому высочеству и осмеливаюсь умолять удостоить нас вашей защиты в глазах императора против содержащегося в нем обвинения. Не мы противодействовали осуществлению воли покойного графа Разумовского. Совершенно напротив, я у смертного одра моего отца просил его устроить судьбу Николая, и каждый из моих братьев, будь он на моем месте, поступил бы так же. Мы искренне желаем, чтобы Его величество соблаговолил выслушать просьбу графа, но мы не можем допустить, чтобы он очернял нас в глазах нашего государя, доброе мнение коего — самое ценное, чем мы владеем. Уже давно граф должен был бы обеспечить судьбу Николая, и подумай он о том раньше, ему не пришлось бы докучать Его величеству, потому что он несправедливо обвиняет нас в расстройстве его дел. Между нами не возникло бы ни малейшей распри, если бы

он поступил по совести и действительно имел в память об отце те чувства, которые выставляет напоказ в своем прошении.

Ваше высочество, я понимаю, насколько нуждаюсь в вашем снисхождении, написав столь длинное послание, но умоляю Ваше императорское высочество понять причины, к тому меня вынудившие. Государь столько сделал для нас и наша почтительная преданность его священной особе такова, что всякая попытка очернить нас перед ним ранит до глубины души. Полное разорение было бы в тысячу раз предпочтительнее потери его расположения, и опасение лишиться его заставляет меня заклинать вас спасти нас от подобного несчастья.

Поручаю моему деверю Крыжановскому[6] передать Вашему императорскому высочеству подробную записку о нашем деле,[7] которую я ему сегодня послал. Если вы соизволите заглянуть в нее, Ваше высочество, она послужит доказательством того, что в отношении графа Разумовского мы не совершили ни одного неделикатного поступка и что это он вынудил нас искать поддержки закона, а лица, которым вы оказали внимание, никогда не поступали так, чтобы оказаться недостойными его.

Остаюсь с глубоким почтением Вашего высочества преданным и всепокорным слугой.

Новгород-Северский. Алексей Перовский.
6 июня 1824.[8]

А. А. ПЕРОВСКИЙ — АЛЕКСАНДРУ I

20 марта (1 апреля) 1825 г. Петербург

Sire!

Si c'est un devoir pour tout sujet fidèle de servir son Souverain, ce devoir doit être doublement sacré pour moi, et je n'aurais pas attendu jusqu'à ce moment pour demander du service à Votre Majesté Impériale, si des motifs pressants dont vous daignerez sans doute approuver la justice, n'avaient mis des entraves à mes vœux les plus ardents. Étant l'aîné de ma famille et par conséquent tuteur né des deux orphelins auxquels la générosité de Votre Majesté a donné une nouvelle existence,[1] — chargé en outre de la régie des bien de mes frères cadets et des embarras d'un procès dont dépend notre fortune,[2] je me trouve dans l'impossibilité de me fixer dans la capitale ou de remplir un emploi, qui m'éloignerait de l'Ucraine. Jusqu'à présent j'ai

supporté cette croix avec fermeté quelque pénible qu'il m'ait été de me voir à l'âge de trente cinq ans, nul pour le service et inutile à ma patrie.[3] Mais il existe un poste, Sire, qui comblerait mes vœux sans me forcer de perdre de vue les intérêts de ma famille. C'est celui de curateur de l'Université de Kharkoff. Le ministre de l'instruction publique n'est pas contraire à ma nomination[4] et m'a même promis de la soumettre à la sanction de Votre Majesté Impériale. Souffrez, Sire, que de mon côté j'ose mettre à vos pieds l'expression de mon désir ardent d'obtenir cette place. Ce n'est pas l'ambition des rangs, qui me porte à la briguer, c'est celle bien plus noble d'être utile et d'avoir le bonheur de justifier un jour les bienfaits d'un maître adoré. Si l'emploi que j'ambitionne demande des connaissances étendues, il se trouvera sans doute un grand nombre de personnes plus dignes que moi de l'occuper; mais si, comme je le crois, le devoir principal d'un curateur est d'inculquer à la jeunesse le respect de la religion et un dévouement sans bornes pour le Souverain, que Dieu lui a donné, j'ose soutenir hardiment que dans cette fonction personne ne me surpassera en zèle. Que Votre Majesté daigne me pardonner le parti, que j'ai pris de lui écrire: votre prochain départ,[5] Sire, et la nécessité où je me trouve de quitter sous peu Pétersbourg, m'ont décidé à cette démarche importune. En vous écrivant j'ai osé éspérer que Votre Majesté Impériale ne prendrait pas en mauvaisse part mon impatience de rentrer au service; j'ai encore osé compter, Sire, sur cette indulgence longanime, dont j'ai eu le bonheur d'avoir des preuves multipliées.

Je suis avec respect, Sire, de Votre Majesté Impériale le très humble et très fidèle sujet.

St. Pétersbourg, le 20 mars 1825. Alexis Peroffsky.

Перевод:

Ваше величество!

Если долг всякого верноподданного — служить своему государю, долг этот вдвойне должен быть священным для меня, и я не стал бы дожидаться настоящей минуты, чтобы обратиться с просьбой о службе к Вашему императорскому величеству, если б важные причины, справедливость коих вы, без сомнения, соблаговолите признать, не препятствовали моим самым горячим желаниям. Будучи старшим в моей семье и являясь, следовательно, по рождению опекуном двоих сирот, коим великодушие Вашего величества дало новое существование;[1] сверх того, занимаясь имениями моих младших братьев и будучи занят делами, связанными с тяжбой, от которой зависит наше положение,[2] я не имею никакой возможности жить постоянно в столице или исправлять должность, выну-

дившую бы меня покинуть Украину. До сих пор я твердо нес этот крест, как бы тяжело мне ни было осознавать, что в возрасте тридцати пяти лет я не исполняю никакой службы и не приношу никакой пользы отечеству.[3] Есть, однако, государь, должность, совершенно отвечающая моим желаниям и не принуждающая меня пренебречь интересами моей семьи. Это место попечителя Харьковского университета. Министр народного просвещения не возражает против моего назначения,[4] и он даже обещал испросить на то согласие Вашего императорского величества. Позвольте же мне, государь, со своей стороны иметь дерзость нижайше просить вас удовлетворить мое горячее желание получить это назначение. Добиваться его меня заставляет не стремление к чинам, но иное, гораздо более благородное желание быть полезным и иметь счастье отблагодарить однажды за содеянные благодеяния обожаемого покровителя. Коль скоро должность, получить которую я стремлюсь, требует обширных познаний, без сомнения, найдется достаточно людей, более меня достойных занять ее; но если, как я полагаю, главная задача попечителя — внушать юношеству уважение к вере и безграничную преданность государю, избранному Богом, осмелюсь утверждать, что тут никто не превзойдет меня в усердии. Ваше величество, соблаговолите простить меня за то, что решился вам писать: ваш близкий отъезд[5] и то, что я вынужден в скором времени покинуть Петербург, побудили меня докучать вам. Обращаясь к вам, смею надеяться, что Ваше императорское величество не истолкует неверно мое нетерпеливое желание вернуться на службу; я также осмеливаюсь, государь, рассчитывать на долготерпеливое снисхождение, многочисленные доказательства коего я имел счастье испытать.

С почтением остаюсь, государь, Вашего императорского величества покорным и преданным слугой.

С.-Петербург, 20 марта 1825. Алексей Перовский.

А. А. ПЕРОВСКИЙ — А. С. ШИШКОВУ

28 июня (10 июля) 1825 г. Погорельцы

Милостивый государь Александр Семенович!

Предложение Вашего высокопревосходительства, последовавшее ко мне от 10-го июня за № 1468-м с приложением при оном в копии указа Правительствующего Сената о высочайшем повелении быть мне

исправляющим должность попечителя Харьковского учебного округа,[1] я имел честь получить сего июня 26-го числа и, вследствие оного, вступил в отправление высочайше возложенной на меня должности.

С глубочайшим высокопочтением и преданностию честь имею пребыть навсегда, милостивый государь,

Вашего высокопревосходительства покорнейший слуга

Июня 28 дня 1825 года. Алексей Перовский.
Село Погорельцы.

А. А. ПЕРОВСКИЙ — НИКОЛАЮ I

⟨1⟩

22 декабря (3 января) 1825 г. Харьков

Sire,

Il y a très peu de temps encore, qu'à Taganrog je fus comblé des marques de bienveillance de l'Auguste Bienfaiteur que je pleure maintenant![1] Je le pleurerai toujours; mais la reconnaissance éternelle que j'ai vouée à sa mémoire est identique avec celle que je dois à Votre Majesté Impériale: c'est vous, Sire, qui êtes le monteur des bienfaits répandus sur toute ma famille par le défunt Empereur.[2]

Daignez permettre, Sire, que me prévalant de ces sentiments, j'ose déposer aux pieds de Votre Majesté Impériale l'expression de mon respectueux dévouement, les vœux fervents que je forme pour votre bonheur, désormais inséparable de celui de vos sujets.

Je suis avec respect, Sire, de Votre Majesté Impériale le plus fidèle et le plus soumis sujet.

Kharkoff. Alexis Peroffsky.
Le 22 décembre 1825.

Перевод:

Ваше величество,

Совсем недавно в Таганроге мне щедро были оказаны знаки благоволения со стороны августейшего благодетеля, которого я теперь оплакиваю![1] Я буду оплакивать его всегда, но вечная признательность его

памяти равна моей признательности Вашему императорскому величеству: вы, государь, продолжаете оказывать благодеяния, кои расточал на всё мое семейство покойный император.[2]

Преисполненный этих чувств, покорнейше прошу вас, государь, позволить принести к ногам Вашего императорского величества выражение моей благоговейной преданности, горячие молитвы о вашем благополучии, отныне неотделимом от благополучия ваших подданных.

С почтением остаюсь, государь, Вашего императорского величества самым верным и преданным слугой.

Харьков. Алексей Перовский.
22 декабря 1825.

⟨2⟩

1 (13) января 1826 г. Харьков

Sire, dès que la première nouvelle de la catastrophe du 14 a percé à Kharkoff j'ai regardé comme un devoir sacré d'employer tous mes efforts pour découvrir si cet infâme attentat n'avait point de ramifications tant parmi les jeunes gens qui étudient ici que parmi les employés de l'université, et c'est une bien douce satisfaction pour mon cœur, Sire, de pouvoir certifier à Votre Majesté Impériale, que tout le monde ici est en horreur des monstrueuses menées dont quelques scélérats ont voulu entacher le caractère de vos peuples.

En entrant dans la fonction du curateur, j'avais déjà porté une attention toute particulière sur les opinions de mes subordonnés, j'ai redoublé de vigilance depuis que le malheur arrivé à Pétersbourg eut parvenu jusqu'à moi. L'arrestation de c⟨om⟩te Bulgari m'ayant fait supposer qu'il pouvait avoir été impliqué dans cette détestable affaire, je vous avoue, Sire, que j'ai craint un moment qu'il n'ait formé des liaisons avec ces jeunes gens. Heureusement il n'y en a aucune apparence,[1] mais je n'en ai pas moins cru nécessaire de prendre de mesures pour que dorénavant savoir au fait de tout ce qui se passe et même de tout ce qui se dit. La nature des informations que je me suis vu obligé de prendre, m'a mis dans le cas de connaître aussi les opinions des habitants de Kharkoff et je m'empresse de porter à la connaissance de Votre Majesté Impériale, que tout ici paraît entièrement tranquille et en ordre. Le gouverneur d'ailleurs est un homme dévoué au trône et tout à fait de bons principes.[2] Sire, si j'ai osé importuner Votre Majesté Impériale par cette

lettre, j'en ai puisé la force dans mon profond dévouement pour votre personne sacré. La fidélité que je dois à mon Souverain et la reconnaissance éternelle que vos bienfaits ont depuis longtemps gravé dans mon cœur me feront regarder toujours comme un bonheur suprême de pouvoir signaler ces sentiments qui m'animeront jusqu'au dernier moment de ma vie. Daignez, Sire, accueillir avec indulgence cette expression sincère de mes respectueux attachements pour Votre Majesté Impériale.

Je suis avec respect, Sire, de Votre Majesté Impériale le fidèle et soumis sujet.

Kharkoff. Alexis Peroffski.

Le 1 janvier 1826.

Перевод:

Ваше величество! Как только первое известие о несчастном событии 14 числа дошло до Харькова, я счел священным долгом приложить все усилия для выяснения, не пустило ли это подлое преступление свои корни как среди молодых людей, обучающихся здесь, так и среди служащих университета, и, к великому моему удовольствию, государь, я могу уверить Ваше императорское величество в том, что все здесь испытывают отвращение к чудовищным проискам, коими несколько извергов задумали запятнать достоинство вашего народа.

Вступив в должность попечителя, я сразу уделил особое внимание взглядам моих подчиненных. Когда известие о случившемся в Петербурге несчастии дошло до меня, я удвоил бдительность. Поскольку арест графа Булгари заставил меня предположить, что и он мог быть замешан в этом отвратительном деле, уверяю вас, Ваше величество, что я опасался, не связан ли он с этими молодыми людьми. К счастью, нет никаких признаков сего.[1] Тем не менее я счел необходимым принять меры, дабы впредь знать подробно обо всем, что происходит и даже говорится. Характер сведений, которые я вынужден был собрать, заставил меня осведомиться также о взглядах жителей Харькова, и я спешу сообщить вам, Ваше императорское величество, что всё здесь представляется совершенно спокойным и в порядке. Притом здешний губернатор — человек преданный трону и в высшей степени привержен нравственным правилам.[2] Ваше величество, если я осмелился докучать вам этим письмом, то потому лишь, что для написания его черпал силы в моей глубокой преданности вашей священной особе. Верность моему государю и вечная признательность, которую ваши благодеяния запечатлели в моем сердце, навсегда делают для меня высшим счастьем выказывать эти

чувства, и они будут воодушевлять меня до конца моих дней. Ваше величество, соблаговолите снисходительно принять искреннее уверение в моем глубоком к вам почтении.

С благоговением остаюсь Вашего величества верным и преданным слугой.

Харьков. Алексей Перовский.
1 января 1826.

А. А. ПЕРОВСКИЙ — А. К. ТОЛСТОМУ

⟨1⟩

26 января (7 февраля) 1824 г. Погорельцы (?)

Милой мой Алеханчик! Мне очень жаль, что я не могу остаться до завтрего.[1] Если б мне можно было, то я бы никогда с тобою не расставался, мой милый друг. Будь паюшка без меня, учись хорошенько, мой ангельчик, а я скоро назад приеду и привезу тебе что-нибудь редкое. Пиши ко мне, мой любезный сыночек! Прощай, цалую тебя миллион раз в мыслях.

Твой дядя
26-го января 1824-го года. Аликсинка.

На обороте:

Миленькому моему Алешиньке.
В собственные руки.

⟨2⟩

Конец января—10-е числа февраля 1824 г. Чернигов (?)

Милый мой Алеханчик! Ты себе представить не можешь, как мне скучно без тебя и без мамы... Я несколько раз хотел воротиться назад в Погорельцы, но никак нельзя мне не ехать в Крым,[1] и поневоле я должен оставить своего маленького ангельчика! Я у князя Репнина[2] выпросил живую лось нарочно, чтоб тебе сделать удовольствие. Я знаю,

что ты любишь разных зверей, и эту лось тебе дарю для маминых именин. Она будет твоя, и мамина, и моя. Только когда ее приведут, то будь осторожен и близко не подходи. Это очень опасно. Лоси очень сильны и лягаются так, что особливо передними ногами могут одним ударом убить человека до смерти. Помни же, мой милый Алехаша, и сам близко не подходи, и маму не пускай. Для нее можно в саду загородить маленькой дворик, где она будет жить. Кормить ее надобно сеном; она ест тоже и овес, а больше всего любит листья с дерев. Не правда ли, ты рад, что у тебя будет лось? Прощай, мой милый Алехашечка, будь паюшка и будь всегда мое утешение, учись хорошенько, ты видишь, как это полезно, сначала тебе скучно иногда было учиться, а теперь ты, верно, сам доволен, что тебя выучили читать и писать? Прощай, мой дружочек, кланяйся от меня няне, и доктору, и Роберу,[3] и Пете,[4] когда его увидишь, а у мамы поцелуй за меня ручку и глазки. Да еще погладь за меня Вичку и Скампера, а Нептуну скажи, что он дурак.

На обороте:

Милому Алешиньке.
В собственные ручки.

⟨3⟩

19 февраля (3 марта) 1824 г. Феодосия

Благодарю тебя за твое письмо, миленькой Алешинька. Я читал его с большим удовольствием и надеюсь, что ты также получил те письма, которые писал я к тебе из Чернигова. Я нашел здесь для тебя маленького верблюденка, осленька и также маленькую дикую козу, но жаль, что мне нельзя будет взять их с собою в бричку, а надобно будет после послать за ними. Маленького татарчика я еще не отыскал, который бы согласен был к тебе ехать. Их здесь очень много, но никто не хочет оставить Крым и ехать в Малороссию. Прощай, мой миленькой мальчишка, будь здоров и будь паюшка и забавляй без меня свою маму, чтоб ей не было скучно. Цалую тебя в мыслях от всей души и от всего сердца.

Кланяйся от меня няне, и доктору, и Роберу, также и Пете, когда ты его увидишь.

Феодосия.
19-го февраля 1824.

⟨4⟩

16 (28) октября 1824 г. Николаев

Николаев.[1] 16-го октября 1824.

Так как ты был умник во всё время болезни твоей, мой милый Ханчик, так я посылаю тебе при сем 15 ⟨рубл⟩ев, которые остались у меня лишними от путевых издержек. Это не в счет твоего жалованья. До свиданья, любезный дружочек. Целую тебя много раз в мыслях!

⟨5⟩

21 января (2 февраля) 1825 г. Петербург

Милый друг мой Алешечка!

Благодарю тебя за твои письма, я всегда очень рад, когда ты ко мне пишешь. Я хотел купить тебе фантазмагорию,[1] да здесь нет готовых, а надобно заказать. Если успеют сделать к моему отъезду, так я тебе ее привезу.

Здесь теперь показывают зверей разных:[2] есть львы, тигры, леопарды, белый медведь, слон и очень много обезьян. Львы и слон добрые, а прочие все злые. Между обезьянами есть тоже добрые. Я их еще не видал, а когда увижу, так тебе о том напишу. Еще есть там две большие змеи живые, которых называют по-латыни *воа*, а по-русски *удав*, по-немецки Riefenschauge. Они очень злые, могут задавить быка и, задавивши, проглотить его совсем. А когда проглотят, так им после несколько месяцев не хочется есть, и тогда они сделаются смирные. Прощай, милый дружочек, дорогой мой Алехашка. Кланяйся Капитолине[3] и няне и поцелуй за меня маму нашу.

21-го генваря 1825-го года.

На обороте:

Алеханчику.

⟨6⟩

6 (18) февраля 1825 г. Петербург

С.-Петербург. 6-го февраля 1825.

Любезный мой дружочек Алешечка! Дай Бог, чтоб ты был здоров; мне очень, очень было жаль, что я не был с тобою, когда ты был болен. Мне очень скучно без тебя, мой милый ангельчик, и я стараюсь скорей кончить дела мои, чтоб к тебе опять приехать. Благодарю тебя за басню, которую ты мне прислал про Льва да про Мышку, и за две песни про Султана да про Мужика с Козаком.[1] Я нарочно ездил смотреть зверей, чтоб тебе рассказать о них. Они очень хороши, и я бы желал, чтоб ты их видел. Там есть два льва, один старый, а другой молодой. У старого льва в клетке сидит маленькая собачка, беленькой шпиц, которого лев очень любит. Когда льву принесут кушать, так собачка всегда бросается на кушанье, и лев ни до чего не дотрогивается, пока собачка не наестся. Недавно лев был очень болен, и собачка его караулила: когда кто-нибудь ко льву подходил, то собачка лаяла и никого к нему не допускала. На них очень весело смотреть. Еще там есть несколько тигров и леопардов, которые очень сердиты, — и белый медведь, который совсем не похож на нашего медведя. Он очень зол, и ему досадно, что в комнате слишком для него тепло, потому что он привык жить на Ледовитом море, где всегда холодно — и где он беспрестанно сидит на льде. Здесь он всё качается из угла в угол. В этом доме четыре комнаты, полные разных зверят. В первой комнате львы, тигры, леопарды, белый медведь и гиена, которая чрезвычайно зла и беспрестанно бросается на решетку и хочет кусать людей. Во второй комнате множество разного рода обезьян. Они пресмешные, все коверкаются и делают гримасы. Еще есть в той комнате шакаль (chacal), маленькой зверь с большую кошку, который тоже очень сердит. В 3-й комнате в большом стеклянном ящике две змеи, о которых я тебе уже писал. Когда они не голодны, то они очень смирны, я большую змею хватал за голову и вытаскивал из ящика, и она мне ничего не сделала. Тут же четыре молоденьких крокодила, которые не более четверти аршина каждый. Я тоже их брал на руки. С ними можно играть, и они никакого вреда не могут сделать. В четвертой комнате есть страус и очень много разных попугаев, которые все очень шумят, кричат, свистят и болтают так, что иногда уши зажать надобно. Теперь расскажу тебе о слоне, которого я видел в другом месте. Слон этот очень добрый и умный. Когда ему прикажут, так он станет на колени или ляжет на спину и ноги кверху

подымет, как собачка. Дадут ему ружье заряженное: он схватит его хоботом и выстрелит. Если бросить платок, то он его подымет и принесет, как собака. Он тоже трубит в трубу, когда ему прикажут. Если дать ему бутылку с водкой, которую он очень любит, то он вынет пробку хоботом, выпьет бутылку и опять ее отдаст назад.[2] Подле него стоит кружка, он берет из рук деньги и кладет их в кружку. У меня он вынул хоботом гривенничек из жилета. Прощай, миленькой мой Алешечка, Бог с тобою, будь здоров, моя душа, поцелуй за меня маму и кланяйся Капитолиночке, няне и доктору. Прощай до свидания.

⟨7⟩

12 (24) февраля 1827 г. Петербург

Милой мой дружочек Алеша!

Извини меня, что я долго не отвечал тебе на твои письма, но я теперь чрезвычайно занят, а к тому же я так уверен был, что маминька твоя скоро приедет в Петербург, что полагал вовсе не нужным к тебе, мой милый друг, писать. После же, когда я узнал, что маминька не хочет ко мне приехать, мне так стало грустно, что ты себе представить не можешь! Дай Бог, мой ангел любезный, чтоб вы оба были только здоровы; я надеюсь, что когда ты получишь это письмо, то уже совершенно здоров будешь. Скучно мне очень без тебя, мой любезный Алешинька, да что же делать! Надобно покориться судьбе. Тем более мне скучно, что я не знаю, можно ли мне будет скоро к вам приехать. Прощай, мой милый Ханчик, Бог с тобою, теперь я чаще к тебе писать буду, если можно, всякую почту. Будь умник и береги маму. Шемиот тебе кланяется,[1] Никса и Саша[2] тоже, и Воейковы[3] тоже. У нас здесь погода прескверная, сегодня 22 градуса. Прощай, мой ангел сердечный, тысячу раз обнимаю тебя в мыслях.

12 февр⟨аля⟩ 1827.

На обороте:

Ханочке, моему милому и дорогому другу.

⟨8⟩

14 (26) февраля 1827 г. Петербург

Милый друг мой Алешечка!

Маминька пишет ко мне, что ты умник и с терпением переносишь твою болезнь. Благодарю тебя за то, моя душа! Дай Бог, чтоб ты скорее совсем выздоровел! Прощай, мой милый Ханчик, мне сегодня нельзя писать к тебе более. От всего сердца цалую тебя в мыслях.

14-го февраля 1827.

⟨9⟩

4 (16) ноября 1827 г. Берлин

Берлин. 17[а]/4 ноября 1827.

Ханочка, мой милый друг, благодарю тебя за письма твои, я рад бы чаще к тебе писать, да не знаю, что тебе сказать, кроме того, что мне без мамы и без тебя скучно, очень скучно, мой милый Алеша! Мурочка[1] пишет ко мне, что ты хорошо учишься. Благодарю тебя за то, мой милый ангел, пожалуйста, старайся учиться и будь умник: это одно утешить меня может, что я не с вами! И как мне весело будет, когда я опять с тобою увижусь и найду тебя умнее и ученее, нежели теперь! Кланяйся от меня Шаду и погладь за меня Каро.[2] Будь здоров, мой друг сердечный. Прощай, цалую тебя много-много раз в мыслях!

На обороте:

Милому другу моему Ханочке.

[а] *Так в рукописи, описка вместо*: «16»

⟨10⟩

24 августа (5 сентября) 1828 г. Одесса

Благодарствуй, мой милый друг Алеханочка, за твои письма, которые я всегда получаю и читаю с большим удовольствием. Я к тебе писал из Погорелец[1] и уведомил тебя, почему я не взял никакой собаки!

Мне очень жаль, что бедные эти четыре собачки убиты, да делать было нечего! У Nicolas[2] здесь есть одна прекрасная собака из Вичкиных детей, черная с желтым, которую ему мама подарила. Она гораздо более Вички и ее зовут Скампер. О делфине я не забуду и раковин тоже для тебя приготовлю непременно. Здесь чрезвычайно жарко и винограду множество. Я бы очень желал, чтобы ты был со мною, тебе бы здесь очень понравилось. Прощай, мой милый друг, сегодня не успею писать к тебе более. Тебе кланяются Адлерберг и мадам Баранова,[3] а я тебя тысячу тысяч раз цалую в мыслях. Христос с тобою, будь умен и здоров и учись хорошо!

Одесса.
24 августа 1828.

На обороте:

Алеше.

⟨11⟩

29 сентября (11 октября) 1828 г. Одесса

Одесса. 29-го сентября 1828.

Милый друг мой Алеханчик! Надеюсь, что письмо это застанет тебя уже совсем здоровым. Благодарю Бога, что он избавил тебя от такой тяжкой болезни, и ты, мой Ханчик, теперь стараться должен вести себя еще лучше, нежели прежде. Этим одним ты можешь доказать маминьке, что ты чувствуешь благодарность за ее о тебе попечения и беспокойство!

Скоро мне можно будет ехать в Петербург,[1] и я заранее радуюсь, что вас увижу, моих друзей! Сегодня я от твоего имени дал пирожок с говядиной той собачке, о которой писал к тебе в последнем письме моем, и она очень была довольна, шевелила хвостом и после того довольно далеко за мною бежала, прихрамывая. Прощай, мое дорогое дитя! Христос с тобою! Цалую тебя тысячу раз в мыслях и благословляю тебя!

На обороте:

Алеше.

⟨12⟩

26 июня (8 июля) 1829 г. Петербург

С.-Петербург. 26-го июня 1829.

Благодарю тебя, любезный Алешка, за твои письма, я чаще бы тебе отвечал, если б было у меня более времени, но я так занят, что едва нахожу время писать. Я просил маминьку, чтобы она тебе дала десять рублей в счет медалей; надеюсь, что ты их уже получил. До сих пор я не успел еще их продать, потому что живу на даче,[1] я тебе больше бы прислал денег за медали, но у меня самого мало. Ты видишь, милый Ханчик, по опыту, как нужно беречь деньги, оттого-то и говорится пословица: *береги копейку на черный день!* Когда у тебя были деньги, ты их мотал по пустякам, а как пришел черный день, т⟨о⟩ е⟨сть⟩ нужда в деньгах, так у тебя их и не было! Не надобно никогда предаваться тому, что желаешь в первую минуту: ты сам уже испытал, и не один раз, что когда ты купишь что-нибудь, чего тебе очень хотелось, то и охота к тому пройдет, и деньги истрачены по-пустому. Хорошо еще, что случайно у тебя есть медали, а если бы их не было, ты бы и оставался без денег. Деньги прожить легко, а нажить трудно. Вообрази себе, что еще с тобою случиться могло бы! Например, ты истратишь свои деньги на пустячки, которые надоедят тебе на другой же день: вдруг ты увидишь какого-нибудь бедного человека, у которого нет ни платья, ни пищи, ни дров, чтоб согреться в холодную зиму, и к тому еще дети, умирающие с голоду. Ты бы рад ему помочь, тебе его жаль — и Бог велит помогать ближнему — но у тебя нет ни копейки! Каково же тебе будет, если вспомнишь, что ты мог бы избавить его от несчастия, когда бы накануне не истратил деньги свои на пустяки!

Каро тебе кланяется, он очень состарелся во время твоего отсутствия, и шерсть у него со спины слезает, а глаз не поправляется. Боюсь, чтоб он не ослеп на другой глаз. Намедни он меня испугал: повадился бегать играть с другими собаками и, убежав после обеда, не воротился к вечеру. Настала ночь, а его нет! Настало утро, его всё нет! Я уже думал, что он совсем пропал, как вдруг он возвратился с повинною головою! Я его подозвал и больно высек, и он так чувствовал свою вину, что даже не визжал, хотя я его сек больно хлыстом. Тебя он всё помнит и визжит, когда о тебе заговоришь. Прощай, милый Ханчик, целую тебя мысленно. Ты мне не пишешь, что делает Сибок? Умнее ли он теперь? Прощай, поцелуй у маминьки ручку

и будь умник. Стихи, которые ты сочинил на день рождения маминьки,[2] я получил, но они нехороши, хуже всех других, которые ты писал.

На обороте:

Алеше.

⟨13⟩

24 июля (5 августа) 1832 г. Николаев

Николаев. 24-го июля 1832.

Очень тебе благодарен, любезный Алеша, за твои письма и прошу тебя продолжать так и впредь. Я всегда очень радуюсь, когда получаю от тебя письма, к тому же мне здесь так скучно и так грустно, что ты себе представить не можешь. Лучше бы вы сделали, если бы поехали со мною: когда я тебя звал, любезный Алеша, ты не хотел мне пожертвовать поездкою в Травеминде,[1] теперь ты и туда не попал, и меня оставил одного, то есть мне не сделал удовольствия, а себе не принес никакой пользы. Погорельцы очень похорошели, и тебе бы теперь очень понравились, твои ослы тоже здоровы и живут около гумна. Картуш сделался преумный, только он так привык к Шотам,[2] что от них не отходит; а меня он совсем забыл, неблагодарный пес! Прощай, мой милый друг, целую тебя тысячу раз в мыслях и остаюсь верный и нелицемерный.

На обороте:

Herrn Herrn von Алеша!

⟨14⟩

26 декабря (7 января) 1833 г. Оренбург

Оренбург. 26-го декабря 1833.

Благодарю тебя, милый Хануля, за письмо твое от 15-го декабря и очень сожалею, что время не позволяет ответить тебе в подробности сегодня. Кланяйся г-ну Шредеру[1] и попроси его, чтоб он написал к Шмидту несколько слов и отправил бы ему die Platten zum Drucken

des Tabacks-papiers zu $^1/_2$ und $^1/_4$ Tl.[a, 2] Всё это находится в моем кабинете. Потом скажи Никите Сергеевичу Меркулову, что я прошу его немедленно отправить 5 пудов сахарной патоки в Почеп на имя Реута[3] для доставления в Погорельцы. Прощай, мой милый Ханчик, благословляю тебя мысленно и целую тысячу раз. Каро тебе кланяется, Вася[4] очень рад был его видеть. Прощай, моя душа!

На обороте:

Алеше.

---

[a] пластинки для резки папиросной бумаги на половинки и четвертинки (*нем.*)

⟨15⟩

8 (20) января 1834 г. Оренбург

Оренбург. 8-го генваря 1834.

Благодарю тебя за письма твои, любезный друг Алеша. Напиши пожалуй с первой почтой к Шмидту или в погорельскую контору, что⟨б⟩ они, буде у них есть деньги, закупили подешевле ржи и овса, сколько им нужно. Что же касается до маслобойни, то это можно оставить до времени: я знаю, что есть прекрасное место для этого, но знаю и то, что выстроить маслобойни у меня никто не умеет, и потому и камни будут лишние. К тому же они заказаны не по надлежащей мерке.

Жаль мне очень, мой милый друг, что Адами не умеет вылечить тебя от лихорадки,[1] но это не колеблет веры моей в гомеопатию. Здесь я видел чрезвычайные опыты чудесной ее силы, и один из самых записных врагов гомеопатии принужден был публично признаться, что он перед нею виноват; ибо несколько ⟨*2 нрзб*⟩, принятые им с насмешливым видом, привели его в такое положение, что он не знал, куда деться.[2] Прощай, милый Ханчик, целую тебя тысячу раз в мыслях. Да сохранит тебя Бог; будь здоров и меня не забывай!

На обороте:

Алеше.

⟨16⟩

18 (30) марта 1835 г. Петербург

С.-Петербург. 18-го марта 1835.

Поздравляю тебя с прошедшими именинами,[1] любезный друг Ханочка. Пожалуйста, побереги себя, пока у тебя совсем пройдет лихорадка; и я тоже из симпатии немного простудился. Саша и Ники тебе кланяются: они очень переменились, особливо Саша; я думаю, ты его бы не узнал. Он, кажется, больше тебя ростом. Третьего дня я ездил смотреть картину Брюлова,[2] которая меня изумила. В самом деле — удивительное произведение! Я более часу ее рассматривал и часто вспоминал о тебе, жалея, что ты ее не видишь. Мой Гауергманн тоже очень хорош в своем роде.[3] Саша и Ники очень жалуются, что ты к ним не пишешь. Ники говорит, что пишет к тебе он, а ты отвечаешь Саше. Прощай, милый друг, мысленно тебя тысячу раз обнимаю.

Не спеши с «Loup-garou».[4] Лучше оставь его на время, а то испортишь. Большую пьесу можно делать помаленьку, и если тебе придет между тем другое что-нибудь на мысль, так ты можешь и другим заняться.

⟨17⟩

22 марта (3 апреля) 1835 г. Петербург

Москва.[a] 22 марта 1835.

Я не отвечал еще на вопрос твой, любезный Хашка. Должен ли ты приготовляться на русскую историю и будешь ли держать экзамен?[1] Что касается до последнего, то не могу ничего сказать определительного, ибо перемена узаконений относительно этого предмета еще не совершилась окончательно, и потому я нахожусь в недоумении, как и что делать? Но к русской истории во всяком случае необходимо приготовляться: какого роду бы ни был экзамен, русскую историю всегда спрашивать будут. Итак, приготовляйся, сколько можешь.

---

[a] *Так в рукописи, описка вместо: «С.-Петербург».*

Я не видал еще Рейтлингера,[2] а надеюсь его увидеть послезавтра в воскресенье. И Жуковского еще не видал: теперь идут экзамены у великого князя, и он очень занят;[3] однако он сегодня назвался ко мне обедать. Прощай, моя душа, обнимаю тебя всем сердцем мысленно.

Борька тебе много кланяется[4] и Флери[5] тоже.

На обороте:

Его сиятельству
графу Алексею Константиновичу Толстому.
В Москве, на Тверской, в доме Олсуфьева.

⟨18⟩

27 марта (8 апреля) 1835 г. Петербург

С.-Петербург. 27-го марта 1835.

Уведомляю тебя, мой любезный мальчик, что я отдал письмо твое Александру Ивановичу, который очень сожалел, что оно без конца. Я также вручил ему от твоего имени 25 ⟨рубл⟩ей, хотя неохотно, по причинам, тебе уже изъясненным. Александр Иванович вырос, но на мои глаза подурнел; впрочем, очень счастлив своим положением,[1] Сашу и Нику я уже два раза видел; они жалуются на твое молчание. Они, кажется, оба выше тебя ростом. И Жуковского я видел, любезный карапузик. Он апробует последнюю твою пиэсу и велел тебе сказать, что он отроду не говорил Ване, что «Вершины Альп» нехороши: они, напротив, ему нравятся.[2] Он только сказал ему, что греческие пиэсы твои он предпочитает потому, что они доказывают, что ты занимаешься древними. Фишера я только видел на одну минуту и не успел еще переговорить о форштмейстере;[3] хорошо, что ты мне о нем напомнил, а то бы я забыл, чисто! Прощай, моя душенька, обнимаю тебя мысленно от всего сердца. Поцелуй за меня матушку.

⟨19⟩

4 (16) апреля 1835 г. Петербург

С.-Петербург. 4-го апреля.

Могу писать к тебе только несколько строчек, любезное дитя. Тебе надобно будет непременно будущею зимою экзаменоваться в университете на степень кандидата. Узнай от Курбатовых[1] подробно, в чем состоит этот экзамен, какие науки требуются по отделению словесных наук, какие в оном профессора и проч. Все эти сведения приготовь к моему приезду. Прощай, мысленно тебя обнимаю тысячу раз. Поцелуй у маменьки ручку.

На обороте:

Любезному другу моему Алеше!

⟨20⟩

9 (21) апреля 1835 г. Петербург

С.-Петербург. 9-го апреля 1835.

Поздравляю тебя с праздником,[1] моя душенька, и благодарю за письмо твое. Вчера видел я у Адлербергов портрет m-me Stogg ⟨?⟩,[2] который мне очень понравился. Я не видал еще ни Фишера, ни Флери с тех пор, как ты мне напомнил о форштмейстере, и потому не мог о нем справиться. Очень желаю, чтоб мне удалось его завербовать. Хорошо, что ты напомнил мне о gobolous и о цветном горошке.

В одном из писем твоих ты говоришь, что тебе кажется, будто я не совсем доволен картиною Гауергманна. Нет, мой друг, я очень доволен, и в этом роде, мне кажется, трудно сделать что-нибудь совершеннее: я тебе только сказал, что сравнить ее достоинство с достоинством картины Брюлова никак невозможно. Брюлова картину считаю я самою первоклассною и полагаю, что она ничем не уступает отличнейшим произведениям, а может быть, и превосходит лучшие картины всех времен без исключения. Прощай, мой милый Ханчик, будь здоров и не забывай меня. Мысленно обнимаю тебя от всего сердца!

⟨21⟩

6 (18) июня 1835 г. Погорельцы

Погорельцы. 6/18-го июня 1835.

Милый друг мой Алеша! Я получил письмо твое из ⟨*1 нрзб*⟩ и очень ему был рад: я вовсе не на шутку тебе говорил при твоем отъезде,[1] что я не буду нимало в претензии, если ты будешь писать ко мне по нескольку строчек: пиши только почаще. Вообрази себе, что бедный Дрозд,[2] кажется, сошел с ума! Он беспрестанно ходит в задумчивости взад и вперед, и когда я на несколько дней отлучился в Красный Рог, то он никак не хотел верить, что меня здесь нет, и везде меня искал, чтобы вручить мне записку о наряде. Впрочем, у нас всё по-старому. Скампер хромает, Буковский[3] рассказывает анéкдоты и фыркает и проч. и проч. Да вот еще новость: Шмидт при отъезде подарил Шоту свою Диану и взял с собою только одного Пердри да еще собачку, которую получил он от Питера ⟨?⟩. Прощай, душа моя, кланяйся от меня Шредеру и еще кому-нибудь, если встретишь знакомого мне, да побрани Авдотью[4] за то, что она увезла мои карты, мне нечем делать grand-patience по ее милости. Христос с тобою, сердечно тебя целую в мыслях.

На обороте:

Monsieur le comte Alexis Tolstoy.
À Carlsbad poste restante.
Графу Алексею Константиновичу Толстому.
В Карлсбаде чрез Радзивилов.

⟨22⟩

17 (29) июня 1835 г. Погорельцы

Погорельцы. 17-го июня 1835.

Надеюсь, милый друг мой, что письмо это застанет тебя и маминьку и всех вас в добром здоровье. Ты уже успел теперь осмотреться в Карлсбаде и побывать по всем знакомым местам и стежечкам! Дай Бог, чтоб ты проводил время приятно и весело; а мы здесь хлопочем и потеем, ибо дела много, жары ужасные, а дождя нет ни капли, так что индо становится жутко. Впрочем все, слава Богу, здоровы, кроме Скампера,

у которого всё еще нога болит. Прощай, мое милое дитя! До сих пор не получал я еще от вас писем, кроме из Лемберга, и с большим нетерпением жду известия, что вы благополучно приехали в Вену, а оттуда в Карлсбад. Тысячу раз тебя мысленно обнимаю; поцелуй за меня маменьку и кланяйся тете Маше,[1] если она с вами. Христос да сохранит вас!

На обороте:

À Monsieur le comte Alexis de Tolstoy.
À Carlsbad poste restante.
Графу Алексею Константиновичу Толстому.
В Карлсбаде чрез Радзивилов.

⟨23⟩

27 июня (9 июля) 1835 г. Погорельцы

Погорельцы. 27-го июня/9 июля 1835.

Благодарю тебя, моя душенька, за исправную твою со мною переписку. Я мысленно гулял с тобою по Вене, читая письмо твое, и любовался любимыми нашими местечками. Признаюсь тебе, что у меня сердце сжимается, вспомнив о прошедших годах и помыслив, как бы мне приятно было быть с вами! Но нечего делать! Дай Бог, по крайней мере, чтоб вам было весело и чтоб вы были здоровы и счастливы! Воображаю себе, как ты теперь наслаждаешься Карлсбадом! Христос с тобою, мой любезный дружочек!

У нас здесь жары пренесносные и дождей почти нет вовсе. Скампер тебе кланяется, он теперь совсем выздоровел и очень мне надоедает, целый день лает на чужих собак, и голосишка у него такой пронзительный. Я раза два катался в Надежине по озеру и видел множество уток; а голубей диких несметное число![1] Прощай, мое любезное дитя, обнимаю тебя тысячу раз в мыслях. Кланяйся тете Маше и Шредеру! Да сохранит тебя Бог!

P. S. Ящик твой № 28-й перевезен сюда из Красного Рога.

На обороте:

À Monsieur le comte Alexis Tolstoy.
À Carlsbad poste restante.
Графу Алексею Константиновичу Толстому.
В Карлсбаде чрез Радзивилов.

А. А. ПЕРОВСКИЙ — Н. И. ГРЕЧУ

22 февраля (6 марта) 1827 г. Петербург

Милостивый государь мой Николай Иванович,

Согласно положению Комитета рассмотрения учебных пособий, состоявшемуся вследствие письма Вашего ко мне от 14-го сего февраля и утвержденному г-ном председателем Комитета устройства учебных заведений, возвращаю при сем доставленные Вами ко мне в рукописи два руководства Ваши к российской грамматике,[1] имея честь быть с истинным почтением Вашим, милостивый государь, покорнейшим слугою.

22 февраля 1827. Алексей Перовский.

P. S. При сем и третия непереплетенная рукопись.

А. А. ПЕРОВСКИЙ — С. И. ДОДАЕВУ-МАГАРСКОМУ (ДОДАШВИЛИ)

7 (19) марта 1828 г. Петербург

Милостивый государь мой Соломон Иванович! Сочинение Ваше под названием «Курс философии, часть 1-ая, Логика» по возвращении моем из-за границы[1] я получил и, рассмотрев оное, нашел, оно как по содержанию своему, так и по способу изложения заслуживает особенное внимание. Такое счастливое начало упражнений Ваших по предмету, столь важному и столь мало у нас обработанному, ручается за последствия, еще более счастливые, и потому мне весьма приятно изъявить Вам за сей похвальный и полезный труд Ваш мою совершенную благодарность и уверить Вас, что продолжение таковаго труда и вообще занятия Ваши по учебной части не останутся в свое время без соответственной оным награды. С должным почтением честь имею быть Вашим, милостивый государь, покорным слугою.

7 марта 1828, С.-Петербург. А. Перовский.

А. А. ПЕРОВСКИЙ — К. А. ЛИВЕНУ

14 (26) января 1830 г. Петербург

Комитет, рассмотрев рукописи Мерзлякова,[1] нашел, что они суть не что иное, как почти буквальный перевод известной книги Гейнзия «Der Redner und Dichter»,[2] и перевод очень неудачный, с прибавлением авторов древних и европейских из Эшенбурга[3] и с присовокуплением русских, весьма недостаточных. Что касается до примеров, то оные или переведены из Гейнзия же, или заимствованы без разбора из старых наших риторик и пиитик, а потому все почти обветшалые. Так, в пример иронии приводится: «Счастливы те народы, у коих богов полны огороды!»[4] Или для показания слога сатиры приводится сатир Антиоха Кантемира «К уму своему».[5] Даже самые опечатки старых примеров не исправлены как следует.

А. А. ПЕРОВСКИЙ — В. Ф. ВЯЗЕМСКОЙ

1 (13) июня 1830 г. Москва

Je n'ai pas tout de suite répondu à votre aimable billet, chère et bonne princesse, parce que j'étais fermement décidé de vous porter la réponse le lendemain en personne. Différents empêchements m'ont fait remettre ce petit voyage de jour au jour et de cette manière je suis arrivé imperceptiblement jusqu'au moment de mon départ sans avoir été à Astafievo et sans même avoir l'espoir d'y aller.

Le temps presse,
Et mes cheveux se dressent,[1]

quand je pense que je dois être de retour de l'Egypte vers la fin d'août:[2] jugez comme je dois me dépêcher! J'ai même défendu à ma sœur de m'accompagner jusqu'à la première station comme elle en avait le projet: cette défense jointe aux eaux qu'elle prend la privent du plaisir de se rendre à votre invitation:[3] ce qu'elle aurait fait avec empressement; car elle vous connaît sans vous avoir vu et vous aime sans vous connaître. Adieu donc, princesse de mon cœur, je vous baise les mains bien tendrement. Pensez à

moi de temps en temps et dans vos moments de loisir priez quelquefois que les vents soient propices à mon voyage[4] afin que je puisse vous revoir bientôt.

Tout à vous comme toujours et pour toujours
Peroffsky.

P.S. Je vous envoie une de mes filles que je vous prie de recevoir avec amitié.[5]

Moscou, le 1-er juin 1830.

Перевод:

Я не ответил сразу на ваше любезное послание, дорогая и добрая княгиня, потому что решительно хотел на другой день передать вам мой ответ лично. Разного рода препятствия вынуждали меня откладывать мою поездку со дня на день, и таким образом незаметно наступило время отъезда, а я так и не побывал в Астафьеве, и уже нет надежды туда попасть.

Время торопит,
И волосы дыбом встают,[1]

когда я думаю, что должен возвратиться из Египта к концу августа:[2] судите сами, как я должен спешить! Я даже запретил сестре провожать меня до первой станции, как она намеревалась: этот запрет и воды, которые она принимает, лишают ее удовольствия принять ваше приглашение,[3] что она с готовностью бы сделала, так как знает вас, не видав вас, и любит, еще не познакомившись с вами. Итак, прощайте, дорогая княгиня, нежно целую ваши руки. Думайте обо мне время от времени и на досуге молитесь иногда, чтобы Бог послал мне попутный ветер[4] и чтобы я вскорости смог вновь увидеть вас.

Ваш как всегда и навсегда
Перовский.

P. S. Посылаю к вам одну из моих девиц с просьбой дружески ее принять.[5]

Москва, 1 июня 1830.

А. А. ПЕРОВСКИЙ — А. С. ПУШКИНУ

Начало февраля 1833 г. Петербург

Вот тебе, моя прелесть, две главы «Монастырки», которые прошу всепокорнейше рассмотреть поскорее, потому что мне бы желалось, буде можно, завтра отвезть их в типографию. Продолжение последует в скором времени: одна глава у Вяземского, две переписываются, а последняя сочиняется. Вот и всё! Посылаю и напечатанное начало 2-й части, чтоб мог ты видеть связь. Прощай до свиданья: нежно целую тебя в мыслях.

А. Перовский.

А. А. ПЕРОВСКИЙ — Л. А. ПЕРОВСКОМУ

⟨1⟩

29 марта (10 апреля) 1834 г. Москва

Moscou, le 29 mars 1834.

Pour cette fois-ci, vous êtes décidément dans votre tort, mon cher Léon, car je n'ai pas volé la записка en question et j'en suis sûr. Cherchez-la dans un des tiroirs de la grande table qui est dans votre chambre à coucher et vous la trouverez à votre honte et à ma justification. Cependant comme on ne peut répondre de rien je vais faire des perquisitions sévères mais je prévois d'avance qu'elles ne peuvent être qu'infructueuses. Je suis désolé que votre traitement homéopathique ne marche pas aussi vite que vous l'auriez désiré, je vous engage néanmoins sérieusement à persister, quant à ce que votre imagination se refuse à se mettre en jeu, cela n'y fait rien: cette méthode n'ayant pas besoin d'une foi spéculative. Ici, l'homéopathie fait merveille, Schröder qui s'y est adonné avec zèle fait des miracles: si par hasard vous rencontrez Krouglikow-Csernichef, demandez-lui en des nouvelles — vous serez tout stupéfait.[1] L'esculape fainéant est un scélérat, craignant que son crédit ne s'en aille en fumée, il cherche à dénigrer l'homéopathie tant qu'il peut: il n'est pas impossible cependant que le petit ⟨*1 нрзб*⟩ ait la consomption, mais si cela est, ce n'est pas à coup sûr l'homéopathie qui la lui a donneé,

ni l'allopathie qui l'en aurait guéri. Informez-moi, je vous en prie, s'il continue à vomir: je le lui désire de tout mon cœur.[2]

Je vous dirai, mon cher ami, qu'ayant, devant ma course solitaire de Pétersbourg à Moscou, sérieusement et mûrement pesé le pour et le contre relativement à notre acquisition aurifère, je me suis décidé à écrire dès mon arrivée ici à Basile: *d'arrêter* s'il est possible, en attendant, toute démarche acquisitaire. Je ne sais si vous approuverez cette démarche, mais je n'avais pas le temps de demander votre avis, depuis j'ai encore réfléchi sur cette affaire et le résultat était toujours le même, savoir, qu'il ne faut pas se dépêcher. Je voudrais bien que Basile puisse encore arrêter cet achat, car quelque riches que nous soyons une quinzaine de millions jetés par la fenêtre ne laisserait pas que de nous déranger un tant soit peu. Si vous êtes d'un avis contraire, vous aurez le temps encore dans une couple de mois de renouer.[3] L'affaire de teptiares va aussi être décidée à Pétersbourg dans le Межевой департамент[4] à ce que m'écrit Bazile. Pour premier résultat, j'ai déjà obtenu d'après la lettre que j'ai écrite de Pétersbourg et dont je vous ai fait lecture dans le temps, qu'on nous accorde un répit de 8 mois pour le premier paiement. Je désirerais bien, je le répète, que Basile parvienne à faire rétrograder le marché, — mais s'il est déjà trop avancé il faudra boire le vin qu'on a tiré. Écrivez-moi votre opinion là-dessus. Sur ce, je prie Dieu de vous avoir dans sa sainte garde! Dès que les lots de l'emprunt polonais[5] seront sortis, envoyez-les moi et puis ayez la complaisance de vous rendre au magasin cosmétique[6] et d'y acheter pour moi cinq ou six paquets de plumes métalliques Perry *Double* Patent W.S.

J'embrasse ⟨*1 нрзб*⟩ de tout mon cœur!

Перевод:

Москва, 29 марта 1834.

На сей раз вы решительно заблуждаетесь, дорогой Лев, поскольку я не крал этой записки, я в этом уверен. Поищите ее в одном из ящиков большого стола в вашей спальне, и вы ее найдете, к вашему стыду и моему оправданию. Впрочем, поскольку ручаться ни за что нельзя, я предприму тщательные розыски, хотя заранее предвижу: они будут безрезультатны. Я очень огорчен тем, что ваше гомеопатическое лечение продвигается не так быстро, как вам бы хотелось, тем не менее я серьезно призываю вас продолжать; что же до того, что ваш ум отказывается принимать в этом участие, то это неважно: сей метод не нуждается в умозрительном доверии. Здесь гомеопатия дает превосходные результаты, Шредер, который со всем пылом отдался ей, творит чудеса: если

случайно встретите Кругликова-Чернышева, спросите у него новости — вы будете изумлены.[1] Бездельник эскулап — злодей, он боится, что доверие к нему улетучится подобно дыму, вот и старается очернить гомеопатию, как только может; однако нельзя отрицать, что у малыша ⟨*1 нрзб*⟩ может быть чахотка, если это и так, то, конечно, не гомеопатия в этом повинна, а аллопатия может и не помочь. Сообщите мне, прошу вас, продолжается ли рвота: от всего сердца желаю ему этого.[2]

Скажу вам, дорогой друг, что перед моим одиноким путешествием из Петербурга в Москву, серьезно и трезво взвесив все за и против относительно нашего золотоносного приобретения, я решился, как только приеду сюда, написать Василию: *остановить* пока, если возможно, всякие действия. Не знаю, одобрите ли вы этот шаг, но у меня не было времени узнать ваше мнение, после я еще раздумывал об этом и пришел к тому же заключению, а именно: не нужно торопиться. Очень хотелось бы, чтобы Василий успел приостановить эту покупку, поскольку, как бы богаты мы ни были, пятнадцать миллионов, выкинутых на ветер, все-таки несколько нас обеспокоили бы. Если вы придерживаетесь иного мнения, у вас будет еще пара месяцев, чтобы начать всё сначала.[3] Дело тептярей тоже будет решаться в Петербурге в Межевом департаменте,[4] как мне пишет Василий. Что касается первого результата, то благодаря письму, которое я написал из Петербурга и которое в свое время вам читал, я добился отсрочки первого платежа на 8 месяцев. Повторю, я бы очень хотел, чтобы Василий сумел приостановить покупку — но если уже поздно, придется выпить вино, коль скоро бутылка откупорена. Сообщите мне ваше мнение на сей счет. На этом — храни вас Господь! Как только билеты польского займа[5] выйдут, вышлите их мне и окажите любезность — зайдите в косметический магазин[6] и купите для меня пять или шесть пачек металлических перьев Perry *Double* Patent W.S.

Обнимаю от всего сердца.

⟨2⟩

19 (31) августа 1835 г. Погорельцы

Pogoreltsi, le 19 août 1835.

Mon cher Léon, j'ai été bien content de recevoir votre lettre du 26 juillet,[1] qui m'a servi de nouvelle preuve que vous êtes un jeune homme aussi laborieux qu'industrieux: j'approuve toutes vos démarches et je donne mon parfait consentement à l'installation de s-r Кузмин.[2] Je m'en vais sans diffé-

rer lui envoyer une доверенность; mais avant de lui donner une instruction detaillée, il faut que je m'abouche avec Zotoff de Moscou et voici pourquoi. Titus a déjà une доверенность de ma part et comme jusqu'à présent c'est lui qui a ⟨*1 нрзб*⟩ tous les frais, je crains fort qu'en lui envoyant tout d'un coup un поверенный comme de la neige sur la tête, cela ne produise un mauvais effet. Si par hasard il se cabre et se rechigne il peut en résulter une остановка dans les travaux: car je serai peut-être embarassé de faire toutes ces opérations pour mon compte. D'ailleurs mon поверенный devra toujours être subordonné en quelque sorte à mon compagnon et voilà pourquoi il est, je pense, indispensable qu'avant de lancer définitivement une instruction, je m'abouche avec le quidam. C'est dommage que vous n'ayez pu voir Titus pendant votre course vagabonde.[3] Votre lettre a le défaut de ne pas m'avoir indiqué où il faut que je vous adresse ma réponse, de manière que je vous l'envoie au hasard à Pétersbourg. Au reste vous avez dû ignorer vous-même combien de temps les insurrections d'Orenburg vous retiendront à Simbirsk. Quelqu'expéditif que soit notre ami Bousinski dans ces sortes d' occasions, je crains que cette fois-ci il ne calmera pas l'orage aussi facilement qu'il l'a fait antérieurement. Il est plus aisé, ce me semble, de faire rentrer dans l'obéissance des cosaques habitués à une certaine discipline, que des moujiks enragés.[4] Il est à voir aussi, que le canon à une éloquence toute particulière.

Vous me dites, mon cher Léon, qu'il faut que je mette de l'eau dans mon vin par rapport aux mines d'or et que j'en mette beaucoup? Après avoir lu et relu votre lettre avec beaucoup d'attention je me suis décidé à n'en pas mettre du tout ou au moins à n'en pas mettre plus que je n'en mettais autrefois. Que les terres de Goussiatnikov soient meilleures que les nôtres[5] je le crois, qu'ils aient 20 verstes quand nous n'en avons que dix, tant mieux pour eux, mais toujours est-il que nous en avons dix cependant et que si le sort nous est propice nous pouvons encore y trouver de quoi dorer les pillules de la vie. Huit jours avant de recevoir votre lettre, j'en ai reçu une de s-r Astafieff dont voici un extrait: «...что в Каратабынской волости открыт весьма значительный пласт золотоносных россыпей. Он простирается на версту длиною, а широта хотя надлежащим образом еще не обследована, но, по знанию моему местности, она не может быть мала...[6] Все сии сведения имею я от Александра Григорьевича Зотова, у которого читал письмо Тита Поликарповича. Я полагаю, что г. Зотов поспешит сообщить обо всем прямо к В⟨аше⟩му прево⟨сходительст⟩ву;[7] что же касается до содержания золота по Каратабынскому прииску, который, по мнению штейгеров, не более $^1/_2$ золотника,[8] то едва ли можно принять сие за основание, по поверхностному их обзору: я думаю, что в сложности будет более».

Si cette nouvelle était fondée, nous n'avions pas été si fort à plaindre, car un tiers de золотник présente déjà de grands avantages; mais vous sentez bien que je crois plus à ce que vous avez vu, qu'à ce qu'Astafieff dit avoir lu. Cependant ne serait-il pas possible que les поверенные de Zotoff aient voulu vous cacher le véritable état des choses, vu que vous êtes tombé au milieu d'eux comme une bombe et qu' ils n'avaient reçu aucun ordre de leur chef à votre sujet? Ce n'est là qu'une supposition; mais je compte toujours écrire à Zotoff le moscovite, pour savoir ce qui en est. Au reste voilà ce que nous devons vous dire: s'il est écrit dans le grand livre des déstins que nous aurons beaucoup d'or, nous en aurons. Si non — non!

Il a été écrit dans le susdit livre que l'année courante serait fort désavantageuse pour moi quant aux revenus de mes terres et cela est effectivement arrivé. L'année passée à cette époque les eaux de vie se vendaient à 5 r⟨ou⟩b⟨les⟩ le vedro. J'en ai 18 m⟨ille⟩ dans mes magasins qui auraient donc dû me fournir la somme de 90 m⟨ille⟩ r⟨ou⟩b⟨les⟩. Et cela ne m'aurait pas encore extrêmement enchanté vu que le seigle dont cette eau de vie a été faite, valait l'hiver dernier 2 r⟨ou⟩b⟨les⟩ 10 cop⟨ecks⟩ le poud. Malgré cela je l'offre à qui veut l'acheter pour 3 r⟨oubles⟩, et je ne puis parvenir à la vendre, de façon que je suis à sec tout à fait. Pour surcroit d'embarras, le c⟨om⟩te Pierre Rasoumoffski qui me devait 25 m⟨ille⟩ r⟨ou⟩b⟨les⟩ et qui me fait informer que je puis les toucher à Moscou, est mort et toutes les affaires ont été arrêtées. Au moment où Kourbatoff, tendait la main pour mettre l'argent en poche, il arriva une estafette d' Odessa avec la nouvelle de sa mort et l'ordre du gouvernment de suspendre toutes les opérations.[9] Enfin cette année pour moi est presque *au superlatif*! Ajoutez à cela encore des fortuis procés dont l'un, celui avec Ouvaroff, me coûte beaucoup et en argent et en désagrément.[10] La Poupée[11] n'est pas encore arrivée: je vous ai écrit, je crois, que Libkovits, qu'elle croyait trouver à Vienne, s'était rendu à Jérusalem[12] pendant qu'elle se préparait à aller le voir ce qui a été un fort désappointement pour elle. Comme on attend son retour au mois d'octobre elle m'a demandé de rester à l'étranger jusqu'à cette époque, mais j'ai dû lui refuser net et j'attends son arrivée ici dans une quinzaine de jours si toutefois elle m'écrit. Avec tout cela je compte me rendre à Moscou avant les neiges pour pouvoir préparer Alocha à l'examen qu'il devra subir.[13] Il est clair que je ne manquerai pas de faire une apparition à Pétersbourg aussi. En attendant, adieu, mon cher Léon, je vous embrasse de tout mon cœur et vous aurais peut-être écrit d'avantage si j'étais sûr que vous êtes à Pétersbourg.

Que Dieu vous bénisse! Vous ne me dites rien sur l'état de votre santé!

Перевод:

Погорельцы, 19 августа 1835.

Мой дорогой Лев, был очень рад получить ваше письмо от 26 июля,[1] которое послужило новым подтверждением того, что вы столь же трудолюбивый, сколь и предприимчивый молодой человек: одобряю все ваши действия и совершенно согласен с устройством г-на Кузмина.[2] Я немедля пошлю ему доверенность; но прежде чем дать ему подробную инструкцию, нужно, чтобы я договорился с Зотовым из Москвы, и вот почему. У Тита уже есть доверенность от меня, и так как до сих пор он ⟨*1 нрзб*⟩ все расходы, я очень опасаюсь, что поверенный, вдруг обрушившийся на него, как снег на голову, будет плохо принят. Если паче чаяния он заартачится и начнет брюзжать, может случиться остановка в работах: поэтому я могу оказаться в сложном положении со всеми моими делами. Притом мой поверенный в любом случае должен в некотором роде быть в подчинении у моего компаньона; вот почему я полагаю необходимым, прежде чем окончательно составить инструкцию, переговорить с этим незнакомцем. Жаль, что вы не сумели повидать Тита во время вашего бродяжничания.[3] Недостаток вашего письма состоит в том, что вы мне не указали, куда посылать ответ, так что я отправляю его в Петербург наудачу. Впрочем, вы сами, должно быть, не знали, как долго оренбургские волнения задержат вас в Симбирске. Каким бы проворным ни был в такого рода делах наш друг Бузинский, боюсь, что на этот раз он не успокоит бурю столь же легко, как делал это прежде. Легче, мне кажется, заставить повиноваться казаков, приученных к определенной дисциплине, чем разъяренных мужиков.[4] Следует также понимать, что красноречие пушки — красноречие совершенно особого свойства.

Вы пишете, дорогой Лев, что касательно золотых приисков мне следует «разбавить вино водой» и «налить воды побольше»? Прочтя и перечтя ваше письмо с большим вниманием, я решил вовсе не лить воды или по крайней мере не лить ее больше, чем всегда. В то, что земли Гусятникова лучше наших,[5] я верю; что у него 20 верст, а у нас всего лишь десять, — тем лучше для них, но тем не менее у нас их десять, и если судьба улыбнется нам, мы найдем тут, чем позолотить пилюлю жизни. За неделю до вашего письма я получил письмо от г-на Астафьева, вот выдержка оттуда: «...что в Каратабынской волости открыт весьма значительный пласт золотоносных россыпей. Он простирается на версту длиною, а широта хотя надлежащим образом еще не обследована, но, по знанию моему местности, она не может быть мала...[6] Все сии

сведения имею я от Александра Григорьевича Зотова, у которого читал письмо Тита Поликарповича. Я полагаю, что г. Зотов поспешит сообщить обо всем прямо к в⟨аше⟩му прево⟨сходительст⟩ву;[7] что же касается до содержания золота по Каратабынскому прииску, который, по мнению штейгеров, не более $^1/_2$ золотника,[8] то едва ли можно принять сие за основание, по поверхностному их обзору: я думаю, что в сложности будет более».

Если это известие имеет под собой основание, значит, мы не в таком уж незавидном положении, так как даже треть золотника представляет большие преимущества; но вы прекрасно понимаете — я более верю тому, что видели вы, нежели тому, что прочел Астафьев. А что, однако, если поверенные Зотова захотели скрыть от вас настоящее положение вещей — ведь вы обрушились на них, как бомба, и у них не было распоряжения начальства на ваш счет. Это всего лишь предположение, но я думаю написать москвичу Зотову, дабы узнать, в чем дело. Впрочем, вот что должно вам сказать: если в книге судеб сказано, что у нас будет много золота, оно у нас будет. Если нет — значит, нет!

В упомянутой книге было написано, что нынешний год обещает быть очень неблагоприятным для меня в том, что касается доходов от моих земель, и это действительно так. В прошлом году в это время водка продавалась по 5 рублей ведро. У меня 18 т⟨ысяч⟩ в моих магазинах, я должен был бы получить 90 т⟨ысяч⟩ рублей. И это не может приводить меня в чрезмерный восторг, принимая во внимание то, что рожь, из которой эта водка сделана, стоила прошедшей зимой 2 р⟨убля⟩ 10 коп⟨еек⟩ за пуд. Несмотря на это, я уступаю ее покупателю за 3 р⟨убля⟩ и не могу продать, так что пребываю совсем без гроша. В довершение всех неприятностей г⟨раф⟩ Петр Разумовский, который должен был мне 25 т⟨ысяч⟩ рублей и который сообщает, что я могу получить эти деньги в Москве, умирает, и всё останавливается. В тот момент, когда Курбатов протянул руку, чтобы положить деньги в карман, из Одессы пришла эстафета с сообщением о его смерти и приказом правительства о приостановлении всех операций.[9] Словом, этот год для меня нечто почти *чрезвычайное*! Добавьте к этому еще и непредвиденные тяжбы, одна из которых, с Уваровым, обходится мне дорого в отношении и денег, и неприятностей.[10] Кукла[11] еще не приехала: я вам, кажется, писал, что Либковиц, коего она думала найти в Вене, уехал в Иерусалим,[12] пока она к нему собиралась, и это явилось для нее большим разочарованием. Поскольку его возвращения ждут в октябре, она просила меня позволить ей остаться за границей до этого времени, но я был вынуждéн наотрез отказать и жду ее появления здесь через две

недели, если все-таки она мне напишет. Учитывая все эти обстоятельства, я рассчитываю быть в Москве до снега, чтобы подготовить Алешу к экзамену, который ему предстоит.[13] Ясно, что в Петербурге я непременно тоже буду. Тем временем прощайте, дорогой Лев, сердечно обнимаю. Я написал бы вам больше, если бы был уверен, что вы в Петербурге.

Благослови вас Бог! Вы ничего не пишете о своем здоровье!

⟨3⟩

16 (28) сентября 1835 г. Погорельцы

Pogoreltsi, le 16 sept⟨embre⟩ 1835.

Je vous écris cette lettre à l'aventure, mon cher Léon, comme un couple d'antérieures ne sachant où vous êtes. Voici une relation que j'ai reçue aujourd'hui et qui donne quelque espoir relativement à l'or. Je vous avoue que je n'ai pas encore perdu l'ésperance pour la Каратабынская malgré le mauvais commencement.[1]

J'attends tous les jours l'arrivée de la Poupée. Elle a tiré sur vous une lettre de change de 2 m⟨ille⟩ r⟨ou⟩b⟨les⟩. Mais comme j'ignore si vous êtes à Pétersbourg, j'envoie par le courrier d'aujourd'hui cet argent à Krijeanoffsky[2] en le sommant de le poster de suite à Stiglits.[3]

Je vous en aurai dit davantage, si je savais où vous vous trouvez.

Que Dieu vous bénisse!

Перевод:

Погорельцы, 16 сент⟨ября⟩ 1835.

Пишу это письмо наудачу, дорогой Лев, как и два предыдущих, поскольку не знаю, где вы. Вот реляция, которую я получил сегодня и которая дает некоторую надежду в том, что касается золота. Уверяю вас, что еще не перестал надеяться на успех Каратабынской, несмотря на плохое начало.[1]

Каждый день жду появления Куклы. Она перевела на вас вексель на 2 т⟨ысячи⟩ р⟨ублей⟩. Но так как я не знаю, в Петербурге ли вы, я сегодняшней почтой посылаю эти деньги Крыжановскому[2] с настоятельной просьбой переправить затем их Штиглицу.[3]

При случае напишу больше, знать бы, где вы.

Благослови вас Бог!

⟨4⟩

18 (30) сентября 1835 г. Погорельцы

Pogoreltsi, le 18 sept⟨embre⟩ 1835.

J'ai été bien aise, mon cher ami, d'apprendre par votre lettre du 7 sept⟨embre⟩ que vous êtes arrivé sain et sauf dans vos foyers: je vous écrivais encore dernièrement tout à fait à l'aventure, ne sachant absolument pas où vous étiez. L'amiral m'a envoyé par le dernier courrier copie de toutes les marques de satisfaction qui lui sont parvenues par les canaux soit d'Adlerberg, soit du ministre relativement à la manière expéditive de terminer les révoltes:[1] il en parait fort content; mais il n'approuve pas tout à fait mes opérations aurifères, parce qu'il est entièrement dans l'ignorance sur tout ce qui s'y fait. À propos des aurifères voici mon humble opinion.

ARTICLE I

Il était essentiel tant que la кортома n'était pas encore légalisée[2] et qu'il se présentait des difficultés de tout genre pour le terminer, que Bazile fût au courant de la marche de nos affaires. J'étais aussi d'avis alors, qu'il y est un agent diplomatique près la cour d'Orenbourg de la part de Zotoff; mais actuellement que nous sommes reçus en possession tranquille de ces domaines, quel besoin y-a-t-il qu'il y aît un diplomate dont la charge ne serait qu'une sinécure et je suis moi contre les sinécures en imitation du parlement d'Angleterre. Cet homme, tout au plus, n'aurait autre chose à faire qu'à informer l'amiral du train dont vont les exploitations et voilà tout. Or il suffit, ce me semble, que Bazile reçoive de temps en temps un rapport sommaire sur l'état des affaires, uniquement pour l'acquis de sa curiosité du reste bien naturelle. Quant aux empêchements, incidents et qui peuvent survenir à l'avenir, il est clair que Zotto ou son delegué doivent s'empresser d'en informer qui de droit, et je crois qu'il ne le négligeront nullement. Pour les rapports ci-dessus mentionnés ils peuvent être envoyés par poste ou par occasion par celui qui aura à diriger les mines.

ARTICLE II

Les rapports officiels à établir entre la direction et moi demandant à être considéres sous différents points de vue et tous sujets à être discutés mûrement et avec beaucoup d'attention. Au premier coup d'œil il paraîtrait avan-

tageux et même essentiel d'avoir près des mines un chargé de pouvoir installé et gagé par moi, indépendant en quelque sorte des frères Zotto[3] et comme qui dirait ma créature de la tête aux pieds. C'est sous ce point de vue que j'avais considéré d'abord le recrutement de l'individu recommandé par le s-r Sanguin;[4] mais ayant ensuite réflechi plus mûrement à l'état de la question, j'ai cru plus raisonnable de laisser tout cela en status quo et voici pourquoi: je n'ai aucune raison de croire que les frères Zotto veuillent tricher dans cette occasion et cette idée ne me vient pas d'une opinion bonasse sur l'intégrité du genre humain en général en des susdits frères en particulier; mais bien de la persuasion intime que j'ai, qu'une tricherie dans cette affaire serait diametralement opposée à leurs propres intérêts. En effet ne serait ce pas jouer trop gros jeu de leur part? D'abord en trichant sur la quantité du métal exploité ce n'est pas contre ma personne seulement qu'ils agiraient: ils se mettraient en même temps en flagrant délit contre les règlements sévères du gouvernement, et croyez vous que des gens comme eux, riches et considérés, voudraient risquer d'encourir les punitions de la loi pour gagner quoi? Quelques millions de roubles! La tricherie ne peut donc, à mon avis, exister que sous le rapport des frais et là aussi il n'est pas probable qu'ils voudraient se perdre de réputation à mes yeux pour si peu de chose. Reste donc la crainte que le s-r Егоров[5] ne veuille profiter en grossissant le budget de la dépense: cela n'est pas impossible mais il faudrait dans ce cas qu'il trompa les frères Zotto comme il me tromperait moi, et cela ne lui serait pas facile vu que ces messieurs sont probablement difficiles à tromper sur cet article. Quant à la supposition que les Zotto voudraient donner la main à Егоров pour me tromper en commun sur les dépenses, je la répète encore comme entièrement invraisemblable. Venons actuellement à d'autres considérations encore plus importantes. Vous savez que dès le commencement j'ai donné une доверенность à Titus et que ce témoignage de ma confiance a eu au moins cela de bon que jusqu'à présent je n'ai pas été tourmenté pour les frais de шифровка ni d'établissement de machines, ni d'exploitation. Mais si actuellement j'envoyais un chargé d'affaire de ma part pour surveiller les travaux indépendamment de Titus, la suite naturelle de cette démarche intempestive serait qu'on me présentait poliment une note des dépenses pour le passé et des frais pour l'avenir. Vous voyez que je me mettrai, tout de suite, dans une position fort gênante. Il serait, sans doute, fort ·agéable, de mettre sous ma dépendence toute la direction aurifère y compris Titus lui-même car je conviens que j'ai un peu l'air d'être sous tutelle, mais je m'en consolerai comme de tant d'autres choses dans la vie. Il ne faut pas perdre de vue que je me trouve en quelque façon dans la position de la fille de feu Dêmidoff à laquelle son père disait avec tant de rai-

son: «Sachez, mademoiselle, que l'on n'est jamais majeure quand on manque d'argent».[6] D'ailleurs croyez-vous, que les affaires iraient mieux si tous les travaux rélèveront de mon chef? Mais je ne le crois pas, car Titus étant sur les lieux et ayant l'expérience de la chose la dirigera infiniment mieux que moi. Et quant au risque d'être triché, je crois que j'ai traité ce sujet suffisamement.

ARTICLE III

Disons quelques mots sur la note que Bazile vous a envoyée et que vous m'avez fait passer. Il est indubitable que la кортома des terres convoités par Гусятников[7] est ouverte à tout le monde; mais Bazile a mal fait de ne pas agir dans cette occasion plus directement. Il aurait dû de mon avis aller droit au but; mais en vous envoyant une note, que vous me deviez passer et que je dois passer à Zotto de Moscou, pour que celui-ci la passe à Titus; d'Orenbourg à Pétersbourg, de Pétersbourg à Pogoreltsi, de là à Moscou, et de Moscou à Orenbourg, c'est comme si le Pape pour entendre la messe à l'église de St. Pierre, irait avant à Milan, puis à Venise et puis à Florence. Le St. Père s'il agissait de la sorte, arriverait très probablement bien après la messe de St. Pierre; de même nous arriverons vraisemblablement aussi trop tard. Quoique'il en soit, mais j'en écris aujourd'hui à Moscou et je recommenderai à Zotto de faire la plus grande dilijence. Vous voyez que les Zotto sont inévitables; car si кортома en question doit avoir lieu, qui détournera l'argent?

Je vous envoie ci-joint des copies de quelques lettres antérieures que j'ai reçues il y a quelques temps des susdits frères.[8] Elles ne vous apprendront rien de nouveau, puisque l'essence se trouve dans le rapport de Егоров, que vous aviez reçu par le dernier courrier; mais il peut y avoir quelques détails qui vous interésseront et elles font d'ailleurs partie de la collection. Malgré le mauvais succès de la Каратабынская je n'ai pas encore abandonné l'espoir qu'il s'y trouvera quelque chose de bon et vous voyez par le rapport de Егоров qu'il ne l'a pas abandonné non plus. Dès qu'il pourra trouver une quantité plus considérable d'ouvriers il recommencera ses recherches.

Ayant coulé à fond les affaires aurifères, je vous dirai quelques mots sur moi personnellement. Je suis depuis près d'un mois à attendre de minute en minute l'arrivée de la Poupée qui d'après des lettres arrivées de Dresde à son adresse, doit avoir définitivement quitté cette ville le 29 août. Voilà donc 20 jours aujourd'hui qu'ils sont en route et Dieu veuille que cette longueur

ne vienne d'une rechute qu'Alocha peut avoir eu, car le pauvre garçon paraît avoir été sérieusement malade.[9] C'est après leur arrivée que je pourrai fixer le jour de mon départ d'ici, pour le moment j'ignore totalement quand je pourrai quitter ces parages. Je passe un été bien désagréable et cela provenait en grande partie d'un maudit procès que j'ai sur les bras avec Ouvaroff. Ce dernier a agi comme un J⟨ean⟩ F⟨outre⟩ qu'il est, car lui ayant écrit une lettre très amicale et trop polie même, accompagnée d'une note sur l'affaire, d'une carte où il pouvait vérifier l'état de la chose, je lui proposais de terminer à l'amiable soit en acceptant quelques centaines de dessiatines de ma part, soit en choisissant à Pétersbourg même des arbitres. Croirez-vous qu'il ne m'a pas même accusé la réception de ma lettre que je lui ai envoyée par estafette? J'ai trouvé cela, je l'avoue, un peu trop fort et je ne réponds pas de ne pas lui faire passer un bien mauvais quart d'heure si jamais je le rencontre, fût-ce même au Щукин двор dont il est le chef immédiat.[10] A cette occasion j'ai apprécié la manière dont la justice se fait dans ces contrées et j'en ai été revolté, non pas parce que j'en ai pâti, mais parce que j'y ai vu une nouvelle preuve que des gens qui n'ont pas le moyen de payer ou d'effrayer le Губернское правление de Чернигов, ne peuvent jamais gagner leur cause quelque sainte et juste qu'elle puisse être. En verité si l'on pendait ces messieurs à commencer par le gouverneur, ils n'auraient que ce qu'ils méritent. Imaginez-vous que la cheville sur laquelle tourne tout le procès, c'est de savoir si le Шведский хутор se trouve dans le Сосницкой уезд ou dans le Новгород-Северский parce que s'il est dans le premier, Ouvaroff ne peut avoir la moindre prétention sur lui, vu que feu le comte par son acte de donation n'a donné à m-me Ouvaroff *rien* dans le Сосницкий уезд. Or, moi je produis pour prouver qu'il est dans le Сосницкий: 1. L'acte de vente du хутор fait et enregistré à Сосницы et dans lequel il est nommément dit qu'il est de cet уезд. 2. Des plans du хутор faits depuis 30 ans et qui témoignent qu'il appartient à Сосницы. 3. Un указ du Губернское правление, qui lors de mes constructions navales quand ce même хутор fut engagé à l'Amirauté de Nikolaev,[11] ordonne au сосницкий уездный землемер de lever un plan sur les lieux. 4. Ce même plan levé sur les lieux, signé par le землемер. Or, Филипченко que vous connaissez ne veut pas que le хутор soit dépendant de Сосницы parce qu'il a décidé que l'affaire doit être jugée à Novgorod-Seversk dont le tribunal est acheté par lui. Il va donc chez le gouverneur et celui-ci ordonne contre toutes les lois que l'affaire soit remise au Novgorod-Severskoi Нижний земский суд. En attendant le Сосницкий, fort de son droit, avait déjà fait un следствие en ma faveur: le Губернское правление annule ce следствие et fait demande au *губернский* землемер dans quel district le хутор. Celui-là répond qu'il n'est et ne peut être que dans

le Сосницкий. Le gouverneur annule la rapport du землемер et ordonne au Нежинский межевой судья de se rendre sur les lieux et de décider l'affaire en disant (notez bien cela!), чтобы он в присутствии поверенного Перовского допросил свидетелей, представленных Филипченкой, и принял бы его, Филипченки, показания, по которым бы и решили, в каком уезде хутор находится и где должно слушать дело? Le межевой судья arrive; Филипченко présente ses preuves qui ne sont qu'une vingtaine de moujiks; moi je veux présenter de mon côté des preuves et des moujiks; mais le судья refuse d'entendre mes preuves et répond par écrit, что он должен по указу Правления решить по показаниям Филипченки только в *присутствии* моего поверенного, от которого свидетелей и доказательства принимать он не вправе. Nonobstant cela les свидетели de Филипченко за присягою показали *против* самого Филипченка, le межевой судья examine la position, tourne et retourne autour du pot et est obligé de convenir que le хутор appartient à Сосница, il envoie donc toute l'affaire dans cette dernière ville pour y être jugée. Vous croyez que c'est là tout? Non, Филипченко va à Чернигов et obtient du gouverneur l'envoi d'un член Губернского правления pour recommencer le следствие. Et tous ces ordres illégaux se sont succédés sans interruption dans l'intervalle de trois mois à peu près. Филипченко n'a qu'à aller à Чернигов et aussitôt le gouverneur, qui a, dit-on, reçu une lettre de Ouvaroff où il le prie de protéger son affaire au plutôt, le gouverneur remplit ses désirs contre lois et justice! Heureusement pour moi le Сосницкий уездный суд a eu le temps, avant l'arrivée du член Губернского правления, de juger l'affaire qu'il a décidé en ma faveur. Le Губернское правление d'après les règlements n'y a plus rien à faire et il ne reste à Филипченко d'autre ressource que d'en appeler à la Гражданская палата. Je m'aperçois que j'ai rempli quelques pages en vous contant toutes ces tracasseries et j'en suis presque honteux; mais vous en pourriez croire à quel point je suis revolté de toutes ces injustices, Grand Dieu! Si l'on agit de la sorte avec moi qui puis me défendre, que deviendrait donc un autre qui n'aurait ni argent à dépenser, ni d'autres moyens de résistance! Si mon récit vous a ennuyé, comme je n'en doute pas, supposez que vous l'ayez lu en votre qualité de sénateur qui vous procure souvent des lectures de cette espèce. En attendant il faut que vous vous exécutiez en écoutant encore un autre récit dans le même genre, mais que je ne puis vous épargner, ayant besoin de votre assistance. Écoutez!

Vous savez ou vous ne savez pas qu'à la suite du procès que j'ai eu avec le défunt c⟨om⟩te Pierre relativement à l'achat de Kamenski. L'affaire fut portée au Comité des ministres qui entre autres décide avec la confirmation de feu l'Empereur, que la запись que j'avais fait avec le c⟨om⟩te et qu'il ne

voulait plus effectuer, soit reconnue légale et que je reçoive une данная des terres achetées, puisque mon antagoniste se refusait de donner une купчая. Cela fut fait; mais dans la susdite запись il était dit aussi que le c⟨om⟩te me devait 25 m⟨ille⟩ r⟨ou⟩b⟨les⟩ de неустойка. Je laissai pendant quelque temps cette affaire préférant réclamer cette неустойка par des lettres particulières, mais comme par ce moyen je ne parvenais à rien je me vois obligé de présenter une supplique. Il faut que j'avoue aussi que j'avais un peu négligé cette affaire, par une espèce d'insouciance, la somme me paraissant dans le temps de ma prospérité assez insignifiante. Quoiqu'il en soit, mais parce que je m'aperçus que c'était une duperie de lui faire cadeau de cette somme, d'autant plus qu'il m'avait entraîné dans de très fortes dépenses qui équivalaient à cette somme (p⟨ar⟩ ex⟨emple⟩ j'avais payé de ma poche le Опекунский совет, tandis que d'après la terme de la запись, c'était à lui à faire ce paiement), je me décidais à plaider. Comme l'affaire était claire et qu'il n'y avait pas moyen d'aller contre une décision du Comité des ministres sanctionnée par S⟨a⟩ M⟨ajesté⟩ le Новгород-Северский суд décide en ma faveur. L'homme d'affaire du c⟨om⟩te ayant pris pour procureur le coquin de Филипченко, qu'on appelle à la Гражданская палата, en présentant une supplique où il conteste de nouveau la légalité des lettres de change du c⟨om⟩te Alexis et la Гражданская палата au lieu de confirmer le décision du tribunal de Новгород-Северской, imagine un Крюгов par lequel elle ordonne de recommencer le jugement le trouvant insuffisamment motivé. Mon homme d'affaires s'en plaignit au 3-me Département du Sénat. Sur ces entrefaites le c⟨om⟩te Pierre me fit prier de m'arranger avec lui à l'amiable et me fit offrir par un quidam à Moscou la moitié et ensuite les trois-quarts de la somme que je réclamais. Je refusais. Il renouvelle sa demande lorsque je vais dans mes terres cet été et son homme d'affaires arrive chez moi avec les mêmes propositions qu'on m'avait déjà fait à Moscou. Je refusais encore. Enfin je reçus il y a quelques semaines une lettre de son homme d'affaires où il me disait qu'il avait reçu de son patron l'ordre de me prévenir, que ne désirant pas avoir de procès avec moi il consentait à me payer l'argent qu'il me devait, qu'en conséquence il avait déjà ordonné à son chargé de pouvoirs à Moscou de remettre cette somme contre ma quittance. En conséquence de cela j'écrivais de suite à Kourbatoff en lui envoyant et ma quittance et la lettre originale du c⟨om⟩te à son homme d'affaires ici et je le préviens de se rendre chez l'homme que le c⟨om⟩te avait designé pour me payer. Kourbatoff remplit ma commission, il se rendit chez l'individu indiqué qui répondit qu'il payerait de suite mais en attendant qu'ils conversaient sur le mode du paiement, arriva une estafette avec la nouvelle de la mort du c⟨om⟩te et en même temps un ordre du gouvernement obtenu par Ouvaroff d'arrêter

toutes les affaires.[12] Je fus donc pour le moment frustré du paiement dont j'avais grand besoin, entre nous soit dit. Dans cet état de choses, je m'adresse à vous pour deux choses que voici: 1-er. Ouvaroff ayant publié dans toutes les gazettes que tous ceux qui ont des réclamations à faire relativement au défunt doivent l'adresser à lui dans un terme désigné, faut-il que je lui fasse parvenir ma réclamation? Je crois que non, car ma réclamation étant déjà saisie par les tribunaux n'est pas, ce me semble, du nombre de celles qui peuvent être annulées, si l'on ne s'adresse pas à Ouvaroff. Si vous êtes d'un avis contraire, dites-moi dans quelle forme et comment je dois faire cette démarche? 2. L'on vient de me mander de Чернигов que le Sénat sur la plainte de mon homme d'affaires a lancé un указ à la Палата pour lui demander объяснение de sa démarche. La Палата donnera naturellement quelques mauvaises raisons que le Sénat peut considérer sous le véritable point de vue et qu'il peut aussi admettre comme justes si la fantaisie lui en prend. Ne pourriez-vous pas, en expliquant l'affaire à qui il appartient, obtenir que le Sénat confirme la sentence du tribunal de Новгород-Северский, ce qui abrégerait infiniment la marche de cette affaire qui sans cela durerait Dieu sait combien de temps encore?

Je vous assure, mon cher Léon, que je n'en peux plus et que je suis effrayé en jetant un coup d'œil sur mon griffonage. Le courage me manque presque de relire ce que j'ai écrit, comment ferez donc vous? Enfin que Dieu vous bénisse. Je vous embrasse de tout mon cœur et vous quitte pour écrire aux frères Zotto.

Adieu et au revoir!

P. S. N'ayant pas le temps de faire tirer les copies dont je vous parle au commencement de mon épître, je vous envoie les originaux. Si vous voulez les garder, envoyez m'en une copie.

Перевод:

Погорельцы, 18 сент⟨ября⟩ 1835.

Был очень рад, дорогой друг, узнать из вашего письма от 7 сент⟨ября⟩, что вы, целый и невредимый, добрались до своего домашнего очага: совсем еще недавно писал вам совершенно наудачу, не зная, где вы. Адмирал прислал мне с последней почтой копию всех дошедших до него, либо через Адлерберга, либо через министра, благоприятных свидетельств скорейшего окончания мятежа:[1] он этим, похоже, очень доволен; а вот мои предприятия по золотодобыче он не слишком одобряет, но это по неведению всего того, что в этом отношении делается. Кстати о золотодобыче — вот мое скромное мнение.

СТАТЬЯ I

Важно было, пока кортома не была узаконена[2] и возникали разного рода трудности, связанные с окончанием предприятия, чтобы Василий был в курсе наших дел. Также я держался того мнения, что необходим был дипломатический агент при оренбургском дворе со стороны Зотова, но теперь, когда мы спокойно владеем этими угодьями, для чего нам дипломат, миссия которого превратится в синекуру, а я, в подражание английскому парламенту, против синекур. В любом случае этот человек должен будет только сообщать адмиралу о ходе разработок — и это всё. Достаточно, как мне кажется, чтобы Василий получал время от времени суммарное донесение о положении дел, единственно для удовлетворения своего любопытства, впрочем очень естественного. Относительно сложностей, разных случаев, кои могут иметь место в будущем, ясно, что Зотто или его посланный должны будут поторопиться сообщить об этом, что справедливо, и думаю, они не станут этим пренебрегать. Что же касается вышеупомянутых донесений, то они могут быть посланы почтой или с оказией тем, кто будет управлять шахтами.

СТАТЬЯ II

На официальные отношения, кои должно установить между управляющими и мной, следует взглянуть с разных позиций и здраво и очень внимательно обсудить. На первый взгляд кажется полезным и даже самым важным иметь на шахтах уполномоченного, назначенного и оплачиваемого мною, в определенном смысле не зависящего от братьев Зотто,[3] являющегося, так сказать, моей собственной креатурой с головы до пят. Именно под таким углом зрения я сперва рассматривал человека, рекомендованного г-ном Сангиным,[4] но затем, здраво поразмыслив о сути вопроса, счел более разумным оставить всё status quo, и вот почему: у меня нет ни малейшего повода думать, что братья Зотто станут плутовать в данном случае. Эта мысль посетила меня не по причине простодушной уверенности в честности человеческого рода вообще и означенных братьев в частности, но от внутренней убежденности, что плутовство в этом деле было бы решительно противно их собственным интересам. В самом деле, разве это не было бы слишком рискованно для них? Во-первых, жульничая с количеством используемого металла, они стали бы действовать не только против меня, одновременно они совершили бы преступление против суровых правительственных законов,

и неужели вы верите, что люди, подобные им, богатые и уважаемые, стали бы рисковать, навлекая на себя законное наказание, чтобы получить — что? Несколько миллионов рублей! Обман, таким образом, по моему мнению, может существовать только в отношении расходов, да и тут, может статься, они не захотели бы рисковать своей репутацией из-за такой малости. Остается опасение, как бы г-н Егоров[5] не надумал извлечь выгоду, увеличивая смету расходов: это не невозможно, но в таком случае пришлось бы обмануть братьев Зотто, да и меня, а это непросто, учитывая, что сих господ трудно обмануть по данной статье. Что же до предположения, будто братья Зотто захотят протянуть руку Егорову, дабы сообща обмануть меня на предмет расходов, повторю еще раз, оно совершенно неправдоподобно. Перейдем теперь к другим, еще более важным соображениям. Вы знаете, что с самого начала я дал доверенность Титу, и это свидетельство моего доверия по крайней мере уже тем хорошо, что мне до сих пор не приходилось беспокоиться ни о расходах шифровки, ни об установке машин, ни о выработке. Но если бы теперь я послал поверенного для наблюдения за работами независимо от Тита, естественным следствием этого несвоевременного шага стало бы вежливое представление мне записки о расходах в прошлом и об убытках в будущем. Как видите, я бы сразу оказался в очень затруднительном положении. Было бы, несомненно, очень приятно все управление по золотодобыче, включая самого Тита, подчинить мне, так как, сознаюсь, я чувствую себя в известном смысле опекаемым, но смогу утешиться в этом отношении, как и в отношении многих других жизненных обстоятельств. Не следует упускать из виду, что в некотором роде я нахожусь в положении дочери покойного Демидова, которой отец говорил с большим основанием: «Знайте, барышня, нельзя думать, что достиг совершеннолетия до тех пор, пока не обзавелся деньгами».[6] Однако уверены ли вы, что дела пойдут лучше, если все работы станут зависеть от моей воли? Я так не думаю, ибо Тит, будучи на месте и имея опыт в деле, справится много лучше моего. А что до опасения быть обманутым, думаю, я достаточно осветил сей сюжет.

СТАТЬЯ III

Скажем несколько слов о записке, высланной вам Василием и переданной вами мне. Без сомнения, кортома земель, на которые зарится Гусятников,[7] доступна всем; но Василий поступил плохо, не действуя в этом случае более открыто. По моему мнению, ему следовало идти

прямо к цели, а не отправлять вам записку, которую вы должны были передать мне, а я — Зотто в Москве, с тем чтобы последний переправил ее Титу; из Оренбурга в Петербург, из Петербурга в Погорельцы, оттуда в Москву, а из Москвы в Оренбург — это как если бы Папа, желая послушать мессу в соборе Святого Петра, поехал в Милан, затем в Венецию, а затем во Флоренцию. Если б дело обстояло так, Святой отец прибыл бы в собор Святого Петра много позже окончания мессы; вот и мы, очень возможно, прибудем тоже слишком поздно. Как бы то ни было, сегодня же напишу в Москву и посоветую Зотто поторопиться. Вы же видите, Зотто неизбежны, так как если означенная кортома должна иметь место, кто будет пускать в оборот деньги?

Я прилагаю копии нескольких предыдущих писем, полученных некоторое время назад от поименованных братьев.[8] Вы не узнаете из них ничего нового, поскольку основное есть в донесении Егорова, которое вы получили с последней почтой, но там могут быть некоторые подробности, для вас интересные, а кроме того, они составляют часть коллекции. Несмотря на неудачу в Каратабынской, я не теряю надежды, что там найдется что-нибудь стоящее, и вы видите из донесения Егорова, что он ее тоже не потерял. Как только он сможет найти побольше рабочих, он возобновит поиски.

Разобрав во всех подробностях золотоносные дела, напишу несколько слов о себе. Вот уж почти месяц каждую минуту жду приезда Куклы, которая, если верить письмам из Дрездена на ее имя, должна была окончательно уехать оттуда 29 августа. Итак, сегодня 20 дней, как они в пути, и дай Бог, чтобы причиной этой задержки не был возможный возврат Алешиной болезни, поскольку, похоже, мальчик был серьезно болен.[9] Только после их приезда я смогу назвать день своего отъезда отсюда, в настоящее время я совсем не знаю, когда смогу покинуть эти края. Я провожу очень неприятное лето, и во многом из-за проклятого процесса с Уваровым, который целиком на мне. Последний поступил как подлец, каковым он и является. Ведь я написал ему очень дружественное и даже чересчур вежливое письмо с запиской о деле и картой, сверясь с которой он может уяснить себе его суть, и предложил ему закончить дело полюбовно, либо приняв от меня несколько сот десятин, либо выбрав судей прямо в Петербурге. Верите ли, он даже не подтвердил получение письма, посланного мною по эстафете! Я, признаюсь, счел, что это уж чересчур, и не могу ручаться, что не заставлю его провести пренеприятные четверть часа, если когда-либо его встречу, пусть даже на Щукином дворе, где он прямой начальник.[10] По такому случаю

я сумел оценить, коим образом вершится правосудие в этих краях, и возмутился, не потому, что я из-за этого страдаю, но потому, что я увидел новое доказательство того, что люди, не имеющие возможности платить или припугнуть Губернское правление Чернигова, не могут выиграть дело, каким бы верным и справедливым оно ни было. В самом деле, если повесить этих господ, начиная с губернатора, они бы только получили по заслугам. Вообразите, что пружина всего процесса — необходимость выяснения, находится ли Шведский хутор в Сосницком уезде или в Новгород-Северском, поскольку, если он относится к первому, Уваров не может иметь ни малейших притязаний на него, учитывая, что покойный граф своей дарственной *ничего* не оставил в Сосницком госпоже Уваровой. Я же предъявляю в доказательство того, что он находится в Сосницком: 1. Акт о продаже хутора, составленный и внесенный в протокол в Сосницах, в коем именно сказано, что он принадлежит к этому уезду. 2. Планы хутора, сделанные 30 лет назад, свидетельствующие о его принадлежности к Сосницам. 3. Указ Губернского правления, в котором в период моих кораблестроительных дел, когда этот самый хутор был заложен в Николаевское адмиралтейство,[11] дается распоряжение сосницкому уездному землемеру составить план этих мест. 4. Этот самый план, составленный на месте, подписанный землемером. Однако Филипченко, которого вы знаете, не хочет, чтобы хутор был отнесен к Сосницам, поскольку он решил, что дело должно слушаться в Новгород-Северске, где суд им куплен. Итак, он идет к губернатору, и последний приказывает, вопреки всем законам, передать дело в Новгород-Северский Нижний земский суд. Тем временем Сосницкий суд на законном основании уже провел следствие в мою пользу: Губернское правление отменяет его и обращается с запросом к *губернскому* землемеру, в каком уезде этот хутор. Тот отвечает, что он находится и не может не находиться нигде, кроме как в Сосницком. Губернатор признает недействительным свидетельство землемера и приказывает нежинскому межевому судье отправиться на место и решить дело, заявив (отметьте это!), чтобы он в присутствии поверенного Перовского допросил свидетелей, представленных Филипченкой, и принял бы его, Филипченки, показания, по которым бы и решили, в каком уезде хутор находится и где должно слушать дело? Межевой судья приезжает; Филипченко представляет своих свидетелей, каковые всего лишь двадцать мужиков, я, со своей стороны, тоже могу представить свидетелей и мужиков; но судья отказывается выслушать моих свидетелей и дает письменный ответ, что он должен по указу Правления решить по показаниям Филипченки только в *присутствии* моего поверенного, от которого

свидетелей и доказательства принимать он не вправе. Невзирая на это, свидетели Филипченко за присягою показали *против* самого Филипченка, межевой судья разбирает дело, ходит вокруг да около и вынужден признать, что хутор принадлежит Соснице, и переправляет всё дело в этот последний город для проведения суда. Думаете, этим дело закончилось? Нет, Филипченко едет в Чернигов и добивается от губернатора назначения члена Губернского правления для возобновления следствия. И все эти противозаконные распоряжения последовали одно за другим примерно в трехмесячный промежуток. Филипченко всего лишь едет в Чернигов, и тотчас же губернатор, который, говорят, получил письмо от Уварова с просьбой посодействовать его делу как можно быстрее, выполняет его желания вопреки законам и справедливости! На мое счастье Сосницкий уездный суд успел до приезда члена Губернского правления рассмотреть дело и решить его в мою пользу. Губернскому правлению, согласно закону, в данном случае делать нечего, и последняя надежда Филипченко — обратиться в Гражданскую палату. Я вижу, что исписал несколько страниц, рассказывая вам обо всех этих хлопотах, и мне сделалось почти стыдно; но вы можете поверить, до какой степени я возмущен всей этой несправедливостью, великий Боже! Если так поступают со мной, тем, кто может защищаться, то что сталось бы с тем, у кого нет ни денег, ни иных способов защиты! Если мое повествование вас утомило, как я подозреваю, думайте, что вы его прочли как сенатор, а сей титул вам часто предоставляет чтение подобного рода. Тем временем придется вам выслушать еще один рассказ в том же духе, не могу вас пощадить, поскольку нуждаюсь в вашей помощи. Слушайте же!

Я не знаю, известно ли вам, каково следствие процесса с покойным графом Петром касательно покупки Каменской. Дело передали в Комитет министров, который в числе прочего решает, с одобрения покойного императора, что запись, которую я сделал с графом и каковую он больше не желал исполнять, признана законной и что я получаю данную на купленные земли, поскольку мой противник отказался дать купчую. Это было сделано; но в указанной записи было также сказано, что граф должен мне 25 т⟨ысяч⟩ рублей неустойки. Я на некоторое время оставил это дело без движения, предпочитая требовать эту неустойку через частные письма, но поскольку таким способом не смог ничего добиться, был вынужден подать прошение. Должен признаться также, что я несколько запустил это дело, по причине некоторой беспечности, так как сумма показалась мне в период моего благополучия довольно незначительной. Как бы то ни было, но коль скоро я увидел, что это надува-

тельство — дарить такую сумму, тем более что он меня втянул в очень большие расходы, равные этой сумме (например, я из своего кармана оплатил Опекунский совет, в то время как, согласно помете в записи, платить должен был он), я решился начать тяжбу. Так как дело было ясное и не было способа пойти против решения Комитета министров, одобренного Е⟨го⟩ в⟨еличеством⟩, Новгород-Северский суд решает дело в мою пользу. Управляющий графа, выбрав поверенным этого мошенника Филипченко, которого вызывают в Гражданскую палату, представляет прошение, в котором снова подтверждает законность заемных писем графа Алексея, а Гражданская палата, вместо того чтобы подтвердить решение Новгород-Северского суда, выдумывает некоего Крюгова, с помощью которого она приказывает возобновить судебное разбирательство, находя его недостаточно мотивированным. Мой поверенный подает жалобу в 3-е Отделение Сената. Между тем граф Петр просит меня уладить дело полюбовно и передает мне через человека в Москве сначала половину, а затем три четверти требуемой мною суммы. Я отказываюсь. Он возобновляет свою просьбу этим летом, когда я прибыл в имение, и его поверенный приезжает ко мне с теми же предложениями, какие мне уже были сделаны в Москве. Я опять отказываюсь. Наконец, несколько недель назад я получил от его поверенного письмо, где он, по распоряжению своего патрона, сообщает, что тот, не желая судиться, согласен выплатить мне деньги, которые должен, и посему уже предписал своему поверенному в Москве передать мне эту сумму в обмен на расписку. Вследствие этого я написал Курбатову, послав ему и мою расписку, и оригинал письма графа к его поверенному здесь; и я попросил его пойти к человеку, названному графом, который должен отдать мне деньги. Курбатов выполнил мое поручение, пошел к указанному человеку, который сказал, что деньги выплатит, но пока они договаривались о способе выплаты, пришли эстафета с известием о смерти графа и одновременно приказ правительства, полученный Уваровым, о приостановлении всех дел.[12] В результате я лишен возможности получить деньги, которые, между нами говоря, мне очень нужны. При таком положении вещей я обращаюсь к вам по двум следующим обстоятельствам: 1. Поскольку Уваров опубликовал во всех газетах сообщение о том, что все, у кого есть иски к покойному, должны направить их ему в указанный срок, должен ли я направить ему свое требование? Полагаю, что нет, поскольку мое ходатайство уже принято к рассмотрению в суде, а оно не из числа тех, кои могут быть не учтены, даже и без обращения к Уварову. Если вы думаете иначе, скажите, в какой форме и как должно хлопотать? 2. Меня только что уведомили

из Чернигова, что Сенат на основании жалобы моего поверенного направил указ в Палату, чтобы потребовать у него объяснений. Палата естественно приведет ряд ложных доказательств, которые Сенат может расценить как настоящие и счесть их справедливыми, если захочет. Не могли бы вы, объяснив суть дела кому следует, добиться от Сената утверждения приговора Новгород-Северского суда, что бесконечно сократило бы сроки решения этого дела, которое иначе продлится еще бог знает сколько времени?

Уверяю вас, мой дорогой Лев, что не имею более сил и что с ужасом смотрю на свои каракули. Мне не хватает духу перечесть то, что я написал, как же вы справитесь? Словом, благослови вас Бог. Обнимаю вас от всего сердца и покидаю, чтобы написать братьям Зотто.

Прощайте и до свидания!

P. S. Не имея времени сделать копии, о которых говорил в начале моего послания, отправляю вам оригиналы. Если вы захотите их оставить себе, пришлите мне копию.

⟨5⟩

23 сентября (5 октября) 1835 г. Погорельцы

Pogoreltsi, le 23 sept⟨embre⟩ 1835.

Mon cher ami, je ne puis vous écrire que quelques mots aujourd'hui, parce que Annette vient d'arriver saine et sauve et que mes moments en attedant sont comptés. Voici la copie d'un nouveau донесение de l'Oural,[1] j'attends avec impatience la poste prochaine pour voir comment seront faits les nouveau приискн dont il parle et qu'il appelle изрядные.

Bonjour et adieu!

Перевод:

Погорельцы, 23 сент⟨ября⟩ 1835.

Дорогой друг, могу написать вам сегодня только несколько слов, поскольку Аннет только что приехала целая и невредимая и времени у меня покамест нет. Вот копия нового донесения с Урала,[1] с нетерпением жду следующей почты, чтобы узнать, как будет дело с новыми приисками, о которых он говорит и которые называет изрядными.

Всего доброго и прощайте!

⟨6⟩

30 сентября (12 октября) 1835 г. Погорельцы

Pogoreltsi, le 30 septembre 1835.

J'ai tout à fait oublié de vous dire, mon cher Léon, qu'il y a quelques mois déjà que j'ai reçu de Bellizard et C[ie] 8 volumes de Cazanova[1] avec une расписка que vous devez signer; car c'est à votre nom que les livres ont été reçus. Le libraire m'écrit que mon fils (c'est vous) n'étant pas à Pétersbourg, il m'envoie le papier en question. Le voici: signez-le, je vous prie, et faites le remettre au susdit individu.

J'ai fixé mon départ d'ici au 7 octobre, mais comme je passerais encore quelques jours à Krasnoi Rog je ne compte guère être à Moscou, qu'après le 20. La dernière poste qui devait m'apporter des nouvelles des mines d'après la promesse de Егоров que je vous ai déjà communiqué, ne m'a rien apporté du tout. Si je suis plus heureux demain, je ne manquerai pas de vous les communiquer.

Bonjour, que Dieu vous bénisse.

Перевод:

Погорельцы, 30 сентября 1835.

Совсем забыл вам сказать, дорогой Лев, что вот уже несколько месяцев, как я получил от Беллизара и К° 8 томов Казановы[1] с распиской, которую вы должны подписать, так как книги были получены на ваше имя. Книгопродавец мне написал, что поскольку мой сын (это вы) сейчас не в Петербурге, документ он посылает мне. Вот он: подпишите его, пожалуйста, и верните вышепоименованному лицу.

Я назначил днем своего отъезда отсюда 7 октября, но поскольку я проведу несколько дней в Красном Роге, я рассчитываю быть в Москве только после 20. Последняя почта, с которой должны были прийти новости с шахт, обещанные Егоровым, о чем я вам уже сообщал, не принесла мне ничего. Если завтра я буду счастливее, непременно сообщу.

Прощайте, и да благословит вас Бог.

⟨7⟩

7 (19) октября 1835 г. Погорельцы

Pogoreltsi, le 7 octobre 1835.

Voici, mon cher ami, la continuation des rapports aurifères qui me sont arrivés cette fois-ci plus tard qu'ils n'auraient dû. Vous voyez que cela ⟨va⟩ toujours en avant clopin-clopant; d'après l'avant dernier rapport du 21 août j'avais espéré qu'il y aurait quelque chose de plus important dans le village Карагутино, mais ce qui est différé n'est pas perdu. Астафьев m'a envoyé la copie d'une lettre que son ami Жуковский[1] lui a écrit, je vous en envoie l'extrait qui se rapporte à notre Eldorado. Ce qu'il y a de certain c'est que Zoto, Titus ayant des raisons à lui connues, cède une partielle de sa part dans votre кортома à Жуковский, le *vieux* Zotoff est entré en pourparlers avec ce dernier pour lui acheter ce que Titus lui avait cédé.

Nos revenus du pays sont jusqu'à présent en suspens: j'ai plus de 20 m⟨ille⟩ vedros d'eau de vie faisant une bonne partie de mon revenu annuel qui attendent jusqu'à présent un acheteur; et comme je l'attendais toujours en vain, je me suis décidé, vous étant absent, d'expédier une partie de la somme dûe à la banque à Krijeanoffsky mais comme on lui a envoyé de l'or et de l'argent blanc au lieu d'assignats, il a trouvé plus sage au lieu de le porter tout de suite où il fallait, de me demander encore à quel prix je consens разменять полуимпериалы и серебро![2] Je crains beaucoup que de cette manière la banque ne se trouve dans des dispositions hostiles à mon égard.

Je compte quitter Pogoreltsi le 11 ou le 12 et Krasnoi Rog environs le 19 ou 20 d'octobre de manière que je serai à Moscou avant le 24 ou 25. Adressez-moi, je vous prie, vos lettres à la Басманная parce que j'ignore encore où je me logerai définitivement ayant abandonné ma ci-devant demeure chez Alssouffieff.[3]

Adieu, je vous embrasse de tout mon cœur.

Extrait de la lettre ci-dessus mentionnée

Каратабынская волость оказалась не заслуживающею внимания: зарыто в ней тысяч пять рублей и оставлены работы. В Кубельтской, наоборот, благонадежность есть: уже открылись пески и не на малом пространстве, в золотнике ото ста пудов.* Также богатая медная руда и чистый малахит; но сей последний, то есть малахит, еще под спудом, ибо

* Depuis les rapports officiels c'est exagéré.

башкирец, представивший кусок, не указал места присутствия оного, отзываясь болезнию. Легко может оказаться ложь, по врожденной наклонности азиатцев к обману из корысти; но о последнем коль интересном я не замедлю вас уведомить.

Перевод:

Погорельцы, 7 октября 1835.

Вот, дорогой друг, продолжение донесений о приисках, которые на этот раз дошли до меня позже, чем должны бы. Как видите, дело движется вперед, прихрамывая; судя по предпоследнему донесению от 21 августа, я надеялся, что найдется нечто более значительное в деревне Карагутино, однако что отложено, то еще не потеряно. Астафьев прислал мне копию письма, которое ему написал его друг Жуковский,[1] посылаю вам оттуда отрывок, относящийся к нашему Эльдорадо. Что тут верно, так это то, что Зотто, поскольку у Тита есть на то известные ему причины, уступает малую часть своей доли в вашей кортоме Жуковскому. *Старик* Зотов вступил в переговоры с последним, чтобы купить у него то, что Тит ему уступил.

Наши местные доходы остаются неопределенными: у меня более 20 т⟨ысяч⟩ ведер водки, составляющих добрую часть моего годового дохода, они до сих пор ждут покупателя. А поскольку я тщетно его дожидался, то решился в ваше отсутствие отослать часть суммы, которую я должен в банке, Крыжановскому, но, поскольку ему было послано золото и серебро вместо ассигнаций, он счел более разумным, вместо того чтобы сразу же отнести деньги куда следует, сначала узнать у меня, за какую цену я соглашусь разменять полуимпериалы и серебро![2] Поэтому я очень опасаюсь, что банк настроен по отношению ко мне враждебно.

Рассчитываю покинуть Погорельцы 11 или 12, а Красный Рог около 19 или 20 октября, таким образом, буду в Москве до 24 или 25. Посылайте мне, пожалуйста, письма на Басманную, потому что еще не знаю окончательно, где остановлюсь, от предыдущей квартиры у Алсуфьева я отказался.[3]

Прощайте, сердечно обнимаю.

Отрывок из вышеупомянутого письма

Каратабынская волость оказалась не заслуживающею внимания: зарыто в ней тысяч пять рублей и оставлены работы. В Кубельтской, наоборот, благонадежность есть: уже открылись пески, и не на малом

пространстве, в золотнике ото ста пудов.* Также богатая медная руда и чистый малахит; но сей последний, то есть малахит, еще под спудом, ибо башкирец, представивший кусок, не указал места присутствия оного, отзываясь болезнию. Легко может оказаться ложь, по врожденной наклонности азиатцев к обману из корысти; но о последнем коль интересном я не замедлю вас уведомить.

* Судя по официальным донесениям, это преувеличено. (*фр.*)

⟨8⟩

10 (22) октября 1835 г. Погорельцы

Pogoreltsi, le 10 octobre 1835.

Voici, mon cher Léon, la continuation des rapports aurifères.[1] Ce ne sont comme vous voyez que des essais et j'attends avec la même impatience qui vous pénètre sans doute aussi, qu'on commence l'exploitation un peu en grand. Il y a longtemps que j'aurais dû recevoir quelques lignes de vous: je compte quitter Pogoreltsi ces jours-ci, mon départ était fixé à après-demain, mais je crois que je resterai une journée de plus, vu qu'Annette est assez fortement indisposée. Bonjour, que Dieu vous bénisse!

Перевод:

Погорельцы, 10 октября 1835.

Вот, дорогой мой Лев, продолжение донесений по приискам.[1] Это, как видите, всего лишь пробы, и я жду с тем же нетерпением, какое, без сомнения, испытываете и вы, когда начнутся более серьезные разработки. Я бы давно уже должен был получить несколько строк от вас: рассчитываю покинуть Погорельцы на днях, мой отъезд был назначен на послезавтра, но думаю, что останусь еще на день, тем более что Аннет весьма нездорова. Прощайте, и да благослови вас Бог!

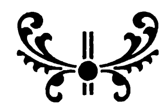
А. А. ПЕРОВСКИЙ — М. П. ПОГОДИНУ

8 (20) декабря 1835 г. Москва

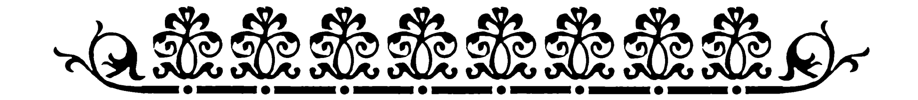
Мне крайняя нужда с Вами видеться,[1] почтеннейший Михаил Петрович, и я целый день сегодня собирался к Вам; но сильный мороз и слабое здоровье заставили меня остаться дома. Не сделаете ли Вы мне одолжение пожаловать ко мне завтра поутру? Вы чувствительно меня обяжете, и я в надежде на снисходительность Вашу ожидать Вас буду от 9-ти часов до двух.

Примите уверение в искреннем уважении, с коим честь имею быть Ваш покорнейший слуга

Воскресенье. Алексей Перовский.
8-го декабря 1835.
На Тверской, в доме Олсуфьева.



Дополнения



I. МАТЕРИАЛЫ К БИОГРАФИИ А. А. ПЕРОВСКОГО

А. А. ПЕРОВСКИЙ — А. Н. ГОЛИЦЫНУ

Январь (не позднее 9 ст. ст.) 1819 г. Петербург (?)

Сиятельнейший князь,
милостивый государь,

В твердом уповании на справедливость Вашего сиятельства, я осмеливаюсь обратиться к Вам с покорнейшею просьбою не отказать мне в начальническом покровительстве в следующем деле.

1807-го года, октября 16-го, Московский университет по экзамену произвел меня в доктора философии и словесных наук. Степень сия, соответствующая чину коллежского асессора, дала мне право на получение следующего чина по выслуге пяти лет. В продолжение сего времени я проходил службу в Прав⟨ительствующем⟩ Сенате и при министре финансов и, наконец, в 1812-м году, за несколько месяцев пред выслугою узаконенных для получения следующего чина лет, вступил в военную службу, в которой дослужился до штаб-ротмистров гвардии. По окончании войны я оставил военную службу и определен в вверенное Вашему сиятельству министерство надворным советником 1816-го года декабря 27-го.

Военное начальство, не входя в разбирательство прежней службы моей и имея в виду одно только звание штаб-ротмистра гвардии, не могло дать мне старшинства в чине надворного советника, и таким образом всё время, проведенное мною в походах, совершенно для службы моей пропало. Если б в 1812-м году я не вступил в военную службу, то 16-го октября того же года получил бы чин надвор⟨ного⟩ совет⟨ника⟩, а чрез шесть лет, то есть 1818-го года 16-го октября, произведен бы был в коллежские советники. Вместо того служба моя в чине надвор⟨ного⟩ совет⟨ника⟩ считается только с 27-го декабря 1816-го

года, и я потерял четыре года с половиною потому только, что в роковое для России время я считал священным долгом принесть жизнь мою на жертву государю и отечеству.

Обратив милостивое внимание на сие краткое изложение службы моей, Ваше сиятельство усмотреть изволите, что мне, по всей справедливости, следовало быть коллежским советником с 16-го октября 1818-го года. Я не смею сомневаться в том, что Ваше сиятельство не лишите служащего под начальством Вашим чиновника сильного покровительства Вашего. Дело мое, в существе своем столь ясное, не может быть решено иначе как докладом государю императору, и я осмеливаюсь просить Вас, сиятельнейший князь, довести оное до сведения Его импер⟨аторского⟩ величества или позволить мне самому повергнуть к стопам милостивого монарха нашего всеподданнейшее мое прошение.

Поручая себя в милостивое благорасположение Вашего сиятельства, с совершенным высокопочитанием и преданностию честь имею пребыть, сиятельнейший князь,

Вашим покорнейшим слугою.

В. А. ПЕРОВСКИЙ — В. А. ЖУКОВСКОМУ

⟨1⟩

10 (22) апреля 1822 г. Почеп

Почеп. 10 апреля.

Всё кончено, любезный друг; как ни спешил я, приехал поздно, граф скончался на другой день выезда моего из Петербурга, скорая езда доставила мне, однако же, последнее утешение: еще раз взглянуть и проститься с покойником, из телеги прямо в церковь.[1] Тебе не нужно мне описывать состояние мое; после трехлетней разлуки нашел я отца в гробе; несмотря на все старания мои, с трудом мог я узнать некоторые только черты обезображенного уж лица его. Утешительно знать, как оставил он жизнь сию, кто знал его, удивится твердости, християнской покорности в мучениях и спокойствию, с каковым ожидал он приближения смерти. В продолжение десяти суток ожидал он каждую минуту последнего из-

дыхания, делал распоряжения, самые подробные, молился или заставлял читать молитвы, во время которых забывал обыкновенно страдания, сам трогал пульс свой и расчислял, сколько остается еще жить ему. Брат не отходил от постели его,[2] от начала болезни до последней минуты; ему продиктовал он два завещания, по его напоминовению примирился с сыном,[3] наделил Перовского Таврического[4] и велел ему написать статью для сестер и для него, сказавши: пиши что хочешь, я на всё согласен. Брат от всего отказался, в числе свидетелей не было никого из наследников; сестрам дадут они то, что приказывал граф, если захотят, а мы довольны тем, что дано нам прежде; брат завещанием сим сделан главным исполнителем последней воли графа. К нему во многом должны относиться сами наследники, и увидят, как и для кого воспользовался он последней доверенностию его. Из нас, к счастию, не найдется ни одного, который бы в полной мере не был благодарен Алексею за поступок его. В последние три дни была при графе княг⟨иня⟩ Репнина.[5] Вот, милый друг Василий, краткое описание страшных минут, утешительных тем, что заглаживают вполне всё, что в жизни могло быть не совсем похвального; никто не вправе роптать на него, всех вспомнил.

Прощай, любезный, в другой раз буду писать тебе более, береги Ал⟨ександру⟩ Андр⟨еевну⟩,[6] кланяйся Тургеневу[7] и не забывай

верного твоего

В. П⟨еровского⟩.

Я приехал сюда в прошедшую субботу утром.

⟨2⟩

14 (26) апреля 1822 г. Почеп

14 апреля. Почеп.

Пользуюсь еще раз эстафетой, любезный друг, чтобы написать тебе несколько слов. Ангелу нашему писать нынче не буду,[1] потому что нахожусь в самом невыгодном для того расположении. Неприятностям разного рода нет счету; мы сносим всё терпеливо, к всему приготовившись прежде, но теперь задевают, оспоривают самое законное наследство наше: *честь*. Подлые люди, не знавши, что находится в завещании покойного графа, думая, что оно совершенно в пользу нашу, и желая прислужиться законным наследникам, подали во все присутственные места против оного протест (при сем прилагаемый), сверх того, донос,

что в последние минуты жизни графской пользовались приближенные к нему *мы* слабостию его: расхищали имущество и проч. Несмотря на то что брат, стоя на коленах пред смертным одром, думал только об успокоении умирающего отца, примирил его с законными детьми, отказался при духовнике и свидетелях от всех личных завещаний и выгод, несмотря на всё это, бумаги, исполненные гнуснейшими на счет его клеветами, возымели ход свой и дошли до министра внутр⟨енних⟩ дел.[2] Я пишу о том нынче к великому князю,[3] прошу довести всё до сведения государя, не хочу другой награды — за прошлую и будущую службу мою. Имеющая здесь голос княгиня Репнина, обязанная брату тем, что присутствовала при смерти отца своего, вступается за нас слабо, утешая тем, что данное нам при жизни покойного не будет отнято; брат объявил ей, что мы этого не страшимся, пусть всё данное возьмут, нового от них ничего не хотим, они ни наградить, ни наказать нас не в силах, мы свыше расчетов и интересов; счастливый тем, что граф умер на руках его, что в последние минуты доказал он, сыновнею любовью, что пред Богом нет разницы между детьми законными и незаконными, Алексей не требует другой награды, как чтобы память графская не была помрачена подлыми и злыми людьми. Говори всем, что знаешь. Прощай, друг мой, будьте все здоровы; пиши мне о здоровье Алек⟨сандры⟩ Андр⟨еевны⟩ и поцелуй у нее за меня ручки.

Василий.

⟨А. А. ПЕРОВСКИЙ О ЗАВЕЩАНИИ А. К. РАЗУМОВСКОГО⟩

ОБЪЯСНЕНИЕ

Для лучшего доразумения того, что покойному графу угодно было приказывать в завещании своем относительно меня, надлежит знать: что в продолжение последних годов его жизни я имел счастие пользоваться полною его доверенностию и что он не предпринимал ничего без предварительного мне о том сообщения. Прибыв 17 марта сего года в Почеп из С.-Петербурга, где я находился по его делам, я застал его хотя больным, но в таком положении, которое не подавало никакого поводу помышлять о скорой его кончине. С 17 по 23 марта я почти безотлучно был с ним наедине, и мы разговаривали как вообще о делах его, так и о том, что по желанию его должно было происходить по его кончине.

Граф никогда не боялся смерти и с добрым духом и надеждою на милосердие Божие часто (будучи еще здоровым) говаривал о том времени, когда провидению заблагорассудится прекратить его жизнь. Так как я по приказанию его должен был оставаться в Почепе только две недели, а потом отправиться обратно в Петербург для исполнения его поручений, то он сказывал мне, что непременно хочет воспользоваться моим здесь присутствием, для того чтобы сделать подробную и полную духовную. По поводу сего он паки распространялся о многих предметах, о которых потом не успел подробно упомянуть в своем завещании. К сему же относятся его слова, «что мне одному совершенно известны как дела, так и воля его и что многое, чего он сказать не имеет сил, я подробно знаю». Граф всегда надеялся и твердо уверен был, что никто из детей не будет противиться не только воле его, письменно изъясненной, но даже словесно кем-нибудь объявленной. Будучи, таким образом, хранителем и объяснителем священной воли его, я, с чистою совестию и благоговейным страхом к Богу и к праху благодетеля и отца моего, объявляю законным его детям нижеследующее.

Касательно первого пункта, в запросе ко мне от графа Петра Алексеевича и княгини Варвары Алексеевны заключенного, объясняю: картины и вещи, о которых дано мне особенное приказание, относятся к тому, что лет за десять пред сим граф Алексей Кирилович взял у адмирала Николая Семеновича Мордвинова[1] оригинальные в значительном количестве рисунки высокой цены. Рисунки сии были или расхищены французами в 1812-м году, или затеряны иным случаем. Граф желал, чтоб в замену сих рисунок Н. С. Мордвинов выбрал себе из картин или вещей, в Петербурге ныне находящихся, что ему самому угодно будет. О сем был у меня с ним разговор в первых днях по прибытии моем в Почеп, и он не забыл о том и при объявлении последней воли своей. Собственные же слова его при объявлении сей статьи были следующие: «Движимость, в Петербурге находящуюся, употребить на уплату долгов, как тебе известно или нет: я тебе ее дарю, только не забудь, чтоб Николай Семенович выбрал из картин и вещей, что ему угодно, взамен своих рисунков, которые потеряны в Москве». Я позволил себе из сей статьи выпустить то, что сказано было в мою пользу, потому что, особливо тогда, не только не желал я себе никакого от графа нового дара, но и готов был отказаться от того, что имею. Мне казалось неприличным в изъявлении последней воли его говорить о собственном моем интересе, а может быть, удержало меня от того и предчувствие от тех мерзких толков и клевет, которых не мог я избежать, несмотря на мои

старания. О сем упомянул я только для того, чтоб последние слова покойного известны были вполне его детям; а между тем, дабы прекратить клеветникам всякой повод к новым клеветам, объявляю сим торжественно, что если бы наследники графа захотели отдать мне движимость, в Петербурге находящуюся, то я ее не принял бы ни под каким видом. Благодеяниями покойного графа будучи обеспечен от нужды, я заранее отказываюсь от всех распоряжений, которые почтение к памяти родителя могло бы внушить детям его в мою пользу. Во второй статье сказано, что «граф желает, чтоб при уплате долгов дети его действовали по моим советам, потому что мне одному как дела его, так и воля совершенно известны»; сие относится к тому, что если бы при исполнении воли его в уплате долгов встретились между наследниками какие-либо недоумения, то граф ожидал, что и по смерти его оные будут объяснены и разрешены его волею. Сии недоразумения большею частию могут быть разрешены планом для уплаты долгов, мною сочиненным и в полной силе графом апробованным. План сей должен найтись в одном из кабинетов графа. В третьей статье, до меня касающейся, сказано, что «графу говорить много трудно, но что обо всем подробно знаю я». Сия статья, так же как и предыдущая, относится к объяснениям, которых от меня требовать вправе наследники, буде встретятся какие-либо недоразумения в исполнении завещания. Она же обязывает меня дополнить то, что граф не успел подробно изъяснить в духовной. Главнейшие предметы, к сей статье относящиеся, суть следующие: 1-е. Воля покойного графа, неоднократно мне объявленная, была: чтобы наличность, какого бы названия или роду оная ни была, принадлежала бесспорно тому из детей его, кому записано или отказано имение, в котором наличность сия находиться будет в минуту кончины. Вследствие сего он приказывал мне после смерти запечатать кабинет вместе с генералом Денисьевым и коллежским советником Дубовиком.[2] Но печати сии должны были оставаться только до прибытия княгини или князя Репниных. Как же княгиня прибыла в Почеп прежде кончины родителя своего, то и печатать я не имел уже никакой надобности, ибо она, по воле графа, вступала в распоряжение наличностию здесь имеющегося, яко бесспорно собственностию своею. Из вещей, в кабинете находящихся, желал он, чтоб княгиня по собственному своему усмотрению дала каждому из нас что-нибудь в память. 2-е. Казенные пошлины, долженствующие быть внесены по актам, сделанным им при жизни своей в пользу детей и воспитанников своих, отнюдь не должны падать на тех, которым имения те записаны; но вся сумма, которую составят пошлины сии, должна поступить в массу собственных покойника долгов.

3-е. Как в числе имений, отданных графом воспитанникам своим, находятся такие, которые, будучи в залоге, в комиссариате, могут быть взяты в казну, то непременная воля графа была, чтобы из той части Шептаковской волости, которая никому не отдана и не отказана, представлено было в комиссариат достаточное количество свободных душ в замену и для освобождения тех имений, которые им отданы были воспитанникам своим. Имения сии суть: Стакорщина и Багриновка, подаренные действительному статскому советнику Николаю Перовскому, и Лариновка, отданная подполковнице Ольге Жемчужниковой.[3] 4-я статья заключает в себе следующее: «Ему (то есть воспитаннику графа Алексею) известно также, кого из людей надлежит наградить и кому дать отпускные». Графу в последние дни жизни своей невозможно было назвать поименно всех тех служителей своих, которых находил он достойными награждения, и потому он поручил мне объявить об оных наследникам, основываясь на том, что мне должно быть известно, кто из них заслужил признательность своего господина. Но так как я не имею списков всем дворовым людям графа, то и невозможно мне дать наследникам полное о них сведение. Потому ограничиваюсь упоминанием о тех только, которые наиболее мне известны, предоставляя самим наследникам, в исполнение воли родителя своего, из числа мною не названных наградить тех, которые по собственному их усмотрению найдутся достойными того.

Исполнив таким образом желание графа Петра Алексеевича и княгини Варвары Алексеевны, я долгом почитаю присовокупить к сему объяснению еще некоторые приказания, графом словесно мне данные. 25 марта, после утверждения уже покойником духовных завещаний, он приказал мне: 1-е. Только что закроет он глаза навеки, вручить коллежскому советнику Дубовику золотую табакерку в память дружеского расположения, которое он всегда к нему имел. Табакерка сия, по приказанию графа, в то же время была отыскана и, по требованию его, поставлена перед ним на стол, дабы можно было ее вручить г-ну Дубовику тотчас по кончине графа. 2-е. Брегетовые золотые часы с репетициею, лежащие перед им на столе, приказал он мне взять себе, так же тотчас по кончине его. 3-е. Генерал-маиору Денисьеву велел он отдать, не ожидая кончины, лучший токарный станок свой со всеми принадлежащими к оному инструментами. 4-е. Статскому советнику Капнисту велел дать в память карту полуострова Крима.[4] Из сих 4-х приказаний первые два исполнены были мною по желанию графа, но последние два остались неисполненными, потому что токарный станок невозможно было взять без шуму, а карту я не имел времени найти. Сии были

последние приказания, данные им 25 марта. 26-го поутру, прежде соборования графа святым елеем, он на напоминание матери моей, что он всегда желал улучшить состояние замужних сестер моих, призвал меня к постели и приказывал объявить наследникам, что он требует, чтоб каждой из замужних сестер моих из Шептаковской волости дано было еще по триста душ в прибавку того, что уже они от него получили прежде. Во время сего приказания находились в комнате и свидетелями были мать моя, сестра моя графиня Анна Толстая, доктор Бонгард и (как мне кажется) который-нибудь из камердинеров графа. После же сего последнего приказания покойный граф мне никаких более не давал.

Почеп. На подлинном подписал: Алексей Перовский.
22 апреля 1822 г.

⟨ФОРМУЛЯРНЫЙ СПИСОК А. А. ПЕРОВСКОГО⟩

О СЛУЖБЕ СТАТСКОГО СОВЕТНИКА ПЕРОВСКОГО

Состоящий ныне не у дел статский советник Перовский вступил в Московский университет студентом 1805-го года августа 16-го; произведен в доктора философии и словесных наук 1807 года 16-го октября; переименован в коллежские асессоры и вступил Правительствующего Сената в 6-й Департамент 1808-го года 9-го генваря. Впоследствии служил некоторое время в Канцелярии министра финансов, откуда уволен 1812-го года генваря 9-го[1] и июля 10-го того же года определен в 3-й Украйнский казачий полк штаб-ротмистром. В 1814-м году генваря 9-го переведен лейб-гвардии в Уланский полк тем же чином. В 1816-м году сентября 8-го уволен из военной службы с переименованием в надворные советники. В ноябре 1816-го определен в Департамент духовных дел иностранных исповеданий[2] чиновником по особым поручениям. 9-го генваря 1819-го года пожалован в коллежские советники.[3] Июля 3-го дня 1822-го года уволен от службы статским советником. Имеет российские ордена: Святого Владимира 4-й степени и Св⟨ятой⟩ Анны 2-го класса с алмазными украшениями.[4]

⟨ЗАВЕЩАНИЕ А. А. ПЕРОВСКОГО⟩

Во имя Отца и Сына и Святаго духа, аминь.

Дабы в случае смерти моей имеющее остаться после меня благоприобретенное имение распределено было согласно воле моей, я написал сие духовное завещание, которым сим и постановляю к точному и непременному исполнению нижеследующее: 1-е. Родной сестре моей графине Анне Алексеевне Толстой оставляю принадлежащие мне в Черниговской губернии село Камень и деревню Будисская слобода с крестьянами, землями, строениями, со всеми угодьями и заведениями и со всем движимым и недвижимым имуществом, которое в упомянутых селе и деревне находиться будут в час моей кончины. 2-е. Родному племяннику моему графу Алексею Константиновичу Толстому оставляю Черниговской губернии: село Погорельцы, слободу Лосевку, слободу Шевченкову, хутор Шведчину с крестьянами, землями, строениями, заведениями, со всеми угодьями и со всем движимым и недвижимым имением, которое в упомянутом селе, слободах и хуторах находиться будет в час моей кончины. 3-е. Наличные деньги, если после меня останутся, должны, по уплате из оных долгов, разделены быть на две ровные половины, из которых одна поступить имеет в полное владение и распоряжение упомянутой сестры моей графини Анны Алексеевны; а другая половина принадлежать должна упомянутому племяннику моему графу Алексею Константиновичу. 4-е. Если племянник мой граф Алексей Константинович во время кончины моей еще находиться будет в несовершенных летах, то достающаяся на долю его наличная сумма имеет быть внесена в Государственный банк для приращения процентами до совершеннолетия его. 5-е. *Движимое имущество, могущее после меня остаться, кроме означенного в 1, 2 и 3 пунктах сего завещания, принадлежать должно сестре моей графине Анне Алексеевне.* 6-е. Если после кончины моей останется еще какое-либо недвижимое благоприобретенное имение, кроме вышеозначенных, то оное разделено быть должно на две ровные части между сестрою моею графинею Анною Алексеевною и племянником моим графом Алексеем Константиновичем. 7-е. Душеприказчиками моими, а вместе и опекунами упомянутого племянника моего графа Толстого во время его несовершеннолетия, назначаю родных братьев моих: двора Его императорского величества гофмейстера Льва Алексеевича и генерал-адъютанта Василья Алексеевича; а кроме их прошу еще принять на себя опеку над племянником моим генерал-адъютанта Владимира Федоровича Адлер-

берга. 8-е. Если который-нибудь из означенных двух наследников моих волею Божиею умрет, в таком случае всё имение мое без изъятия, движимое и недвижимое, принадлежать должно тому, кто из них в живых останется. Завещание сие мною самим сочинено в полном уме и совершенной памяти и, с приложением герба моего, собственною рукою моею написано и подписано при упрошенных мною свидетелях.

С.-Петербург.
Маия 7 дня 1830 года.

На подлинной подписали: действительный статский советник и кавалер Алексей Алексеев сын Перовский.

У сего завещания свидетелем был и в том, что завещатель находился в полном уме и совершенной памяти, подписуюсь: гофмейстер Лев Алексеев сын Перовский. В том же свидетельствую: генерал-адъютант Василий Алексеев сын Перовский.

Сие духовное завещание действительного статского советника Алексея Алексеевича Перовского представлено было в С.-Петербургский Опекунский совет для хранения в запечатанном куверте 13 маия 1830 года при объявлении, подписанном им самим, а поданном, по доверию его, феодосийским купцом Васильем Цимсеном; по представлении же выданной в приеме того завещания расписки и получении достоверного сведения о кончине действительного статского советника Алексея Алексеевича Перовского, последовавшей 9 июля сего 1836 года в Варшаве, вышеозначенный куверт, согласно сделанному завещателем распоряжению, распечатан в собрании Опекунского совета 24-го сего сентября в присутствии уполномоченного коллежского советника Николая Михайлова и заключавшееся в оном куверте духовное завещание прочтено; по выслушании коего Опекунский совет положил: означенное завещание, по оставлении копии с оного и по учинении на подлинном сей надписи, препроводить, на основании Свода гражданских законов, тома 10, статьи 642, во 2-й Департамент С.-Петербургской Палаты гражданского суда для поступления по законам.

Сентября 29 дня 1836 года.

На подлинной подписали: Почетные опекуны: Сергей Кушников, князь Николай Шаховской, Алексей Васильчиков, Николай Новосильцов, граф Александр Апраксин, директор Александр Ховен, директор Петр Делич, экспедитор Михайла Тихомиров.

1836 года декабря 22 дня, по указу Его императорского величества, Санкт-Петербургской Палаты гражданского суда 2-й Департамент, по выслушании дела, по сообщению здешнего Опекунского совета о засвидетельствовании сего завещания, определил: как из доставленного здешним Опекунским советом хранившегося в оном духовного завещания покойного действительного статского советника Алексея Алексеевича Перовского видно, что оное собственноручно им писано и подписано 1830 года маия 7 дня, следовательно до издания еще новых правил о завещаниях 1-го октября 1831 года, высочайше утвержденных, действительность коего подписавшиеся на нем свидетели чрез отобранных в присутствии Палаты удостоверения утвердили и спору противу оного ни от кого не предъявлено; то посему, записав завещание г. Перовского в книгу, для домашних духовных завещаний заведенную, и сделав на нем о явке и подтверждении допросами засвидетельствование, выдать душеприказчикам, с распискою в той книге, с тем чтобы подлинное завещание, на основании Свода законов гражданских, тома 10, статей 555, 556, 670 и 671, явлено было для ввода завещанным имением во владение, взыскания крепостных пошлин и учинения об нем публикаций в «Ведомостях» обеих столиц по принадлежности, где следует. О чем на основании указа Правительствующего Сената от 19 ноября сего 1836 года, по состоянию завещанного имения в Черниговской губернии, тамошнюю и здешнюю Казенные палаты уведомить сообщениями. В сем же Департаменте взыскать: за записку завещания в книгу 10 р., за лист гербовой бумаги, на коем завещанию сему по объявленной завещанному имению цене до одного миллиона рублей писанным быть долженствовало, 2000 р. и за негербовую десять листов бумагу, по делу сему употребленную, 10 руб., а всего две тысячи двадцать рублей, кои взысканы и в приход записаны генваря 5 дня 1837 года.

На подлинной подписали: заседатель от дворянства Василий Гренев, секретарь Митусевич, столоначальник Смирнов.

У сей надписи Его императорского величества сего Департамента Палаты печать.

А. А. ТОЛСТАЯ — Л. А. ПЕРОВСКОМУ

⟨1⟩

18 (30) июня 1834 г. Погорельцы

Pogoreltsy, le 18 juin 1834.

Pardonnez, cher Papa, si la première lettre que je vous adresse se trouve être une lettre d'intérêt par la raison que je vous demanderai de vouloir bien me faire crédit de *six cent roubles* que je vous supplie d'envoyer à Vienne à «Arnstein et Eskeles» pour le prince François de Lobkoviez.[1] C'est un argent que je lui dois pour des comissions, il en advient, dans ce moment, que le gouvernement et moi nous sommes tout à fait à sec; ce qui ne laisse pas que d'être fort désagréable par les chaleurs qu'il fait.[2] Vous m'obligerez sensiblement, et je vous rembourserai cette petite somme sous peu de jours.

Dites à Edouard que je le somme de m'écrire par le salut de son âme. On n'a jamais rencontré un немец plus impertinent que lui, il ne daigne seulement pas donner signe de vie! Que sera ce donc lorsqu'il remplacera Tchern⟨ychov⟩ et que ce dernier ira se mettre à la place de Golitzin (nouvelle de Moscou).[3]

Alexis est très satisfait de tout ce que Smith a fait à Pogoreltsy, toujours est-il qu'il a énormement gagné au change. Alocha est tout heureux, il jouit de la vie de campagne autant qu'il peut. Ses héros dans ce moment sont Hercule et Achile. Il ne marche pas autrement qu'une massue ou une lance à la main!

Adieu, cher Léon, je vous embrasse de tout mon cœur. Portez-vous bien et aimez moi un peu. A propos, pendant mon séjour à Moscou j'ai souvent vu la tante militaire,[4] elle raffole toujours de vous... à cette occasion je me suis souvenue de: «Мужчины все...».[5]

На обороте:

Его превосходительству
Милостивому государю
Льву Алексеевичу *Перовскому*.
В С.-П⟨етер⟩бурге.
В Удельном департаменте.

Перевод:

Погорельцы, 18 июня 1834.

Простите, дорогой Папа, что первое же письмо, которое я вам посылаю, преследует корыстные цели, поскольку хочу просить вас одолжить мне *шестьсот рублей*, кои умоляю отослать в Вену в контору

«Арнштейн и Эскель» для князя Франсуа де Лобковица.[1] Я должна эти деньги за покупки; итак, получается, что в настоящее время правительство и я — мы совершенно задыхаемся без денег, что не слишком приятно в такую жару, как сейчас.[2] Вы меня премного обяжете; я вам верну эту небольшую сумму в ближайшее время.

Скажите Эдуарду — я настаиваю, чтобы он мне написал ради спасения собственной души. Не бывало более наглого немца, он не соизволит даже подать признака жизни! Что же это будет, когда он заменит Черн⟨ышева⟩, а последний займет место Голицына (новость из Москвы).[3]

Алексей совершенно удовлетворен всем, что Смит сделал в Погорельцах, всё же он сильно выгадал на курсе. Алеша абсолютно счастлив; наслаждается деревенской жизнью, как может. Сейчас его герои — Геркулес и Ахилл. Расхаживает, не выпуская из рук палицы либо копья!

Прощайте, дорогой Лев, обнимаю вас от всего сердца. Не болейте, вспоминайте обо мне иногда. Кстати, будучи в Москве, я часто виделась с военной тетушкой,[4] она всё еще без ума от вас... по этому случаю я вспомнила: «Мужчины все...».[5]

⟨2⟩

16 (28) марта 1836 г. Погорельцы

Tout est fini pour le pauvre Schrœder![1] Il est mort hier soir! C'était le 14-ème jour de sa maladie; vous pouvez vous faire une idée de notre désolation. À présent, mon cher ami, écoutez-moi: ceci est *tout à fait confidentiel.* Il y a une couple de mois, où à peu près, qu'Alexis a commencé à tousser et à se plaindre du mal au côté et à la poitrine, c'est une espèce de toux qui a l'air de venir de plus profond de la poitrine. Schrœd⟨er⟩ m'a toujours dit que cela pouvait devenir dangeureux parce qu'Alex⟨is⟩ se laisse trop aller à ses noires inspirations tout en se ménageant fort peu dans sa nourriture qu'il serait à désirer qu'il fit un voyage — il ne se promène jamais, il ne va absolument nulle part, ne voit personne et il a beau dire qu'il ne s'ennuie pas — cet isolement, ce manque de distractions porte atteinte à son humeur et le rend tout à fait maussade sans qu'il s'en doute. Il y a deux-trois semaines qu'il me disait (d'un air de conviction) de ne pas l'embrasser parce qu'il se croyait étique et que je pouvais gagner son mal etc. etc. En un mot le grand mal est que son imagination est fortement frappée, et je vous avoue que

j'ai bien peur que la maladie et la mort de Schr⟨œder⟩ n'achèvent de ruiner sa santé. Vous savez que Schr⟨œder⟩ a gagné sa fièvre chaude en soignant des malades dans la maison, il y en a eu cinq, dont deux étaient condamnés par le médecin, à présent tous ils se portent bien. Schr⟨œder⟩ a eu la même fièvre chaude nerveuse, avec des taches sur tout le corps, il avait aussi des convulsions horribles, je l'ai vu furtivement quatre jours avant sa mort. Alexis ne me permettait pas d'entrer parce que j'ai les nerfs dans un état pitoyable, il croyait aussi qu'on pouvait gagner la maladie. Alocha entrait tous les jours, mais le plus rarement possible. Quant à lui il y allait, tout malade qu'il est, vingt fois par jour. Tout cela, je vous dis, j'ai bien peur que cela ne le rende plus malade encore. Il tousse plus fort et il est tout à fait souffrant, je l'ai persuadé avec beaucoup de peine à faire une promenade aujourd'hui, parce que nous avons très beau temps. Enfin écrivez-lui, imaginez tout ce qu'il vous plaira pour le persuader de venir à Pétersbourg; un voyage pour lui est indispensable. Cela le remettrait tout à fait. Je lui ai proposé d'emmener Alocha, mais il ne le veut pas à cause de T. Je ne sais trop s'il vous a fait la confidence, qu'il a été obligé de remettre son voyage parce qu'il n'avait pas un sou et qu'excepté donc le voyage arrivé à P⟨étersbourg⟩ il lui faudra donner 2000 r⟨oubles⟩ à T.[2] À présent il ne sera pas embarassé pour le voyage. Ecrivez-lui donc, mon cher Léon, pour qu'il vienne pour son procès[3] etc. etc. Et dites (sans me trahir, autrement tout serait perdu) qu'en cas qu'il soit embarassé vous lui donnerez quelques mil⟨le⟩ de r⟨oubles⟩ dès qu'il sera à Péter⟨sbourg⟩. Je pense qu'il partira alors tout de suite après Pâques ou pendant la semaine. Duloff fera le voyage avec lui.[4] On a emporté le corps quelques heures après à l'église. Adieu, mon cher ami, déchirez ma lettre et écrivez-lui tout de suite. Je vous embrasse tendrement.

Le 16 mars.

Перевод:

16 марта.

Всё кончено для бедного Шредера![1] Он скончался вчера вечером! Это был 14-й день его болезни; вообразите наше горе. А теперь, друг мой, выслушайте меня: это *совершенно конфиденциально*. Два месяца назад, или около того, Алексей начал кашлять и жаловаться на боль в боку и груди. Это кашель такого рода, какой идет из самой глубины груди. Шред⟨ер⟩ мне всё время говорил, что это может быть опасно, потому что Алекс⟨ей⟩ слишком подвержен черным мыслям, кроме того, он мало заботится о своем питании, и что было бы желательно для него

совершить путешествие — он совсем не гуляет, никуда не ездит, никого не видит, и, пусть он говорит, что не скучает, — это уединение, отсутствие развлечений портят его нрав, делают его совсем угрюмым, хотя он этого и не подозревает. Две-три недели тому назад он мне говорил (с полным убеждением), чтобы я его не целовала, потому что он чахоточный и я могу заразиться и проч. и проч. Одним словом, главное зло в том, что воображение его очень разыгралось, и, уверяю вас, я боюсь, что болезнь и смерть Шр⟨едера⟩ в конце концов разрушат его здоровье. Вы знаете, что Шр⟨едер⟩ заразился горячкой, ухаживая за больными в доме, их было пятеро, двое из них, по мнению врача, были обречены, но теперь они все здоровы. Шр⟨едер⟩ заболел такой же нервной горячкой, по всему телу у него пошли пятна, были ужасные судороги. Я тайком навестила его за четыре дня до смерти — Алексей не позволял мне входить, поскольку нервы мои в жалком состоянии, — к тому же он опасался, что можно заразиться. Алеша бывал каждый день, но неподолгу. Что до него самого, он туда ходил, несмотря на свою болезнь, двадцать раз на дню. Всё это, говорю вам, боюсь, еще усугубит его болезнь. Он кашляет сильнее, ему очень неможется, я с большим трудом убедила его прогуляться сегодня, поскольку у нас стоит прекрасная погода. Прошу, напишите ему, придумайте всё, что захотите, чтобы уговорить его поехать в Петербург: путешествие ему необходимо. Это его бы совершенно приободрило. Я ему предложила взять с собой Алешу, но он не хочет из-за Т. Не знаю, сообщил ли он вам, что был вынужден отложить свое путешествие, потому что остался без копейки и потому, что, кроме расходов на дорогу, по прибытии в П⟨етербург⟩ ему надо дать Т. 2000 р⟨ублей⟩.[2] Теперь затруднений для поездки нет. Напишите же ему, дорогой Лев, чтобы он приехал ради своей тяжбы[3] и проч. и проч. И скажите (не выдавая меня, иначе всё пропало), что, если у него есть денежные затруднения, вы ему дадите несколько тыс⟨яч⟩ р⟨ублей⟩ по приезде его в Петер⟨бург⟩. Думаю, тогда он поедет сразу после Пасхи или на неделе. Дулов поедет с ним.[4] Тело несколько часов спустя после смерти увезли в церковь. Прощайте, дорогой друг, разорвите мое письмо и напишите ему сразу же. Нежно обнимаю.

16 марта.

⟨3⟩

18(30) августа 1836 г. Дрезден

Dresde. 30/18 août 1836.

Aurais-je jamais pensé, que je n'écrirai sous d'aussi tristes auspices! Combien nous étions loin, mon cher Léon, de prévoir cet horrible malheur lorsque nous nous sommes quittés. Et lui-même, il était si gai en voyage; sa bonne humeur lui était revenue; si parfois il parlait de ses funestes pressentiments, il faisait aussi des plans dans l'avenir. Il ne crachait presque plus de sang, toussait beaucoup moins et semblait être mieux! À Varsovie il a monté au 3-ème étage tout d'une haleine et cinq jours après — il n'existait plus! Vous redire ses souffrances est impossible — elles étaient atroces. Dimanche il a mangé avec nous et a voulu même que je lui garde une soupe que j'avais préparée pour le soir. Vers les sept heures il a eu des étouffements, il a demandé à être saigné et puis il s'est assis sur son lit et ne s'est plus relevé. Il a essayé mais il n'a pas pu se coucher pour un seul instant. Je le soutenais dans mes bras lorsqu'il est mort... Jusqu'au dernier moment il n'a pas perdu sa présence d'esprit — plusieurs fois il a pris congé de nous. C'était affreux de le voir souffrir. Jeudi de grand matin il nous a dit d'ouvrir les fenêtres, d'ôter le paravent et d'avancer le lit — il regardait ⟨*1 нрзб*⟩ le Ciel — a neuf heures le pauvre Ange n'existait plus! Une demie heure avant de fermer les yeux pour toujours il a dit d'une voix forte: «Прощайте, друзья!» Mais si haut, que la femme de chambre à travers une porte fermée l'a entendu. Durant ces quatres jours personne n'est entré excepté le médecin. Cet homme s'est très mal conduit, jugez. Le pauvre Alexis n'était en peine que de nous savoir seuls; cette idée le tourmentait sans cesse. Il a dit au docteur trois jours avant: «Je sais que je ne me releverai plus, mais je voudrais à cause de ma sœur, que vous soyez là au moment critique, et puis il faut lui éviter tous les horribles détails après ma mort. Je vous donne trois m⟨ille⟩ r⟨oubles⟩, consentez-vous?» etc. La veille déjà sans dire gare le médecin s'était absenté pour trois heures, ce qui a fortement agité le pauvre Alexis qui lui a remis un petit billet à ce sujet — tout cela pour ne pas parler en ma présence! Enfin jeudi, plusieurs heures avant sa mort, le voyant agonisant, le médecin s'est levé pour s'en aller, Alocha et moi nous nous sommes jetté un regard de désespoir, mais nous n'avons osé remuer pour le retenir. Jugez, s'il l'avait demandé, comme la conduite de cet homme aurait empoisonné ses derniers moments! Ce trait-là a exalté mon courage. Je lui ai dit à haute voix les prières — il a eu encore la force de me presser la main! Et plus tard Alocha et moi, nous l'avons habillé etc. etc. Nous ne l'avons quitté que lorsqu'on

l'a mis en terre. Vous comprenez bien l'état cruel de mon âme. Oh! Comme il avait du regret à nous quitter, que de fois il nous a embrassés. J'ai bien la résignation d'une chrétienne, mais mon courage faiblit, je sens toujours davantage le vide affreux qu'il a laissé dans mon existence. Comprenez-vous cette folie qu'il y avait *du vague* dans ma douleur et à présent je suis pénétrée de l'idée qu'il est mort.

Je parts demain, je compte m'embarquer le 29, donc les premiers jours de sept⟨embre⟩ je serai à Pétersbourg.[1]

Adieu! Je vous embrasse.

Перевод:

Дрезден. 30/18 августа 1836.

Могла ли я думать, что буду писать в столь печальный час! Как далеки мы были, мой дорогой Лев, от мысли о таком страшном несчастье, когда расстались. И он сам, он был так весел во время путешествия; к нему вернулось его хорошее расположение духа; если иногда он и заговаривал о своих мрачных предчувствиях, то тем не менее строил и планы на будущее. Он почти не харкал кровью, кашлял гораздо меньше, и казалось, что ему лучше! В Варшаве он одним духом поднялся на 4-й этаж, а через пять дней его не стало! Пересказать вам его страдания невозможно — они были жестоки. В воскресенье он поел с нами и захотел даже, чтобы я оставила на вечер приготовленный мною суп. Около семи часов он начал задыхаться, попросил, чтоб ему пустили кровь, а потом сел на постели и больше уж с нее не поднялся. Он попытался, но не смог лечь ни на мгновенье. Он умер у меня на руках... До самого последнего момента он не терял присутствия духа — несколько раз простился с нами. Было ужасно видеть, как он страдает. В четверг рано утром попросил нас открыть окна, убрать ширму и подвинуть кровать — он смотрел ⟨*1 нрзб*⟩ на Небо — в девять часов бедного Ангела не стало! За полчаса перед тем, как навсегда закрыть глаза, он твердым голосом сказал: «Прощайте, друзья!» Сказал так громко, что горничная услышала его через закрытую дверь. В эти четыре дня никто не приходил, кроме врача. Этот человек повел себя очень дурно — посудите сами. Бедный Алексей беспокоился только о нас, зная, что мы одни; эта мысль беспрестанно мучила его. Он сказал доктору за три дня: «Я знаю, что уже не поднимусь, но ради сестры я хотел бы, чтоб вы были здесь в критическую минуту, нужно избавить ее от страшных обстоятельств моей кончины. Я дам вам три т⟨ысячи⟩ р⟨ублей⟩, вы согласны?» и проч. Уже накануне врач безо всяких объяснений отсутст-

вовал три часа, что сильно взволновало бедного Алексея, который передал ему на этот счет записку — всё это для того, чтобы не говорить с ним в моем присутствии! Наконец в четверг, за несколько часов до конца, врач, видя, что он уже в агонии, поднялся, собираясь уйти, мы с Алешей в отчаянии переглянулись, но не осмелились тронуться с места, чтобы удержать его. Посудите сами, если б Алексей его об этом попросил, как бы поведение этого человека отравило его последние минуты! Это происшествие придало мне смелости. Я прочла ему вслух молитвы — ему еще достало сил пожать мне руку! Потом мы с Алешей одели его и проч. и проч. Мы не расставались с ним, пока его не опустили в землю. Вы понимаете, как тяжело у меня на душе. О! Как он не хотел покидать нас, сколько раз он обнял нас... Такова воля Божья, но мужество оставляет меня, я всё более чувствую страшную пустоту после его ухода. Понимаете ли вы это безрассудное ощущение: в моем горе была *некая неопределенность*, а теперь я знаю одно — он умер.

Я уезжаю завтра, надеюсь сесть на корабль 29-го, таким образом в первых числах сент⟨ября⟩ буду в Петербурге.[1]

Прощайте! обнимаю вас.

П. А. КУРБАТОВ — В. А. ПЕРОВСКОМУ

2 (14) июля 1837 г. Москва

Moscou, le 2 juillet.

Les souffrances de maman ont fini, elle est décédée le 27 de juin à 1 $^3/_4$ après midi en conservant sa mémoire presque jusqu'à son dernier moment. Trois jours avant elle s'est encore communiée. Ses angoisses ont duré deux jours, cependant elle reconnaissait tous ceux qui l'entouraient, mais on avait de la peine à comprendre ce qu'elle disait; peu avant sa mort elle priait encore. Elle est morte comme si elle s'était endormie, sans qu'on s'est aperçu de ce moment. D'après son désir le corps sera transporté au monastère près de Курск,[1] aujourd'hui будет отпевание. П⟨етр⟩ В⟨асильевич⟩[2] a été très affecté, mais avec tout cela il disait et faisait des choses tout à fait singulières. Il n'a pas voulu et s'est trouvé offensé que la police mette les sceaux, mais je suis parvenu à le persuader qu'il cachète au moins les effets en diamants que nous avons trouvés dans une petite caisse et en partie dans un bureau, il m'a remis le cachet et a gardé les clefs. Il a ordonné d'en faire autant à Женск et à Кульнево et à Малиновка,[3] c'⟨est⟩-à-d⟨ire⟩ que le Мглин-

ской земской суд appose le scellé conjointement avec le sien. Il me remet le testament pour le présenter в Моск⟨овскую⟩ гражд⟨анскую⟩ палату для утверждения. П⟨етр⟩ В⟨асильевич⟩ ira conduire le corps et a l'intention de retourner à Moscou pour voir Léon,[4] ce qui est essentiel. Voici, mon cher ami, ce que je pensai devoir vous communiquer pour le moment. Adieu, que Dieu vous conserve.

Votre tout dévoué

P. Kourbatoff.

Ma femme vous embrasse, elle est indisposée. J'ai aussi écrit à Léon en adressant à Симбирск.

Перевод:

Москва. 2 июля.

Страдания мамы закончились, она скончалась 27 июня без четверти два днем, оставаясь в памяти почти до последней минуты. За три дня до этого она причастилась. Предсмертное состояние длилось два дня, однако она узнавала всех окружающих, хотя с трудом можно было понять, что она говорит; незадолго до смерти она еще молилась. Она умерла, как заснула, — мы не заметили, когда это случилось. Согласно ее желанию тело будет перевезено в монастырь около Курска.[1] Сегодня будет отпевание. П⟨етр⟩ В⟨асильевич⟩[2] был очень опечален, но при всем том он говорил и делал очень странные вещи. Он оскорбился и не пожелал, чтобы полиция наложила печати, однако я сумел убедить его по крайней мере опечатать алмазные украшения, которые мы нашли в шкатулке и частично в бюро; он отдал мне печать и оставил у себя ключи. Он велел сделать то же в Женске, и в Кульневе, и в Малиновке,[3] то есть чтобы Мглинский земский суд приложил печать вместе с его печатью. Он передает мне завещание для представления его в Московскую гражданскую палату для утверждения. П⟨етр⟩ В⟨асильевич⟩ будет сопровождать тело и намеревается возвратиться в Москву, чтобы повидать Льва,[4] что самое главное. Пока, дорогой друг, это все, что я счел необходимым вам сообщить. Прощайте, храни вас Бог.

Всегда преданный вам

П. Курбатов.

Жена обнимает вас, ей нездоровится. Я также написал Льву в Симбирск.

П. В. ДЕНИСЬЕВ — В. А. ПЕРОВСКОМУ

27 января (8 февраля) 1838 г. Азерны

27 генваря 1838 года, с. Азерны.

Почтеннейший Василий Алексеевич,

По нахождение моему в Курской губернии в своей деревни, где и получил письмо ваше, приехал сюды отдать поклон покойной своей жене и друга моево, а вашей маминьки, и, отправивши полугодовое поминовение в Каренской пустыни 24-го декабря прошедшева года,[1] выеду отсель в Малороссию 31-го генваря сего года, прося вас, почтеннейший Василий Алексеевич, о вашем ка мне благорасположении и не воображать, что бы я вас забыл, и я по жизнь мою не магу забыть детей друга моева, с которую более шестидесяти лет были мы в приязни, с младых лет вместе и возпитывались в доме отца моево, и добродетельная ея душа в жизни сваей многих ощастливила и в незабвенной памяти остается у многих, здесь в Курске об ней очень сожалеют, и на похоронах было до 50 человек господ, любящих ея, в том числе все маи родныи, что же касается до таво, что не писал к вам, откровено гаварю вам, что, лишившись ея, был до чрезвычаиности поражен и не в силах был описывать кончину ея, несколько раз принимался писать к вам, и всегда была залита бумага слезами моими, не думаите, что бы маминька ваша вас забыла, всегда имела попечении о положении вашем, любила вас и при смерти своей за очно вас благословляла, и окончила сваю жизнь спокойно, по-христиански, всегда безпакоилась и сожалела, что ея обстоятельства затрудняли иногда делать материнскии вспомоществовании, ана не лишала вас наследства, как вы описываете. А что в духовной ея назначено по смерть маю пользоватся назначенным трем вам братьям, после смерти маей в вечное и потомственное ваше владение Малиновку и Безлесное, каторое и разделить между собою по равной части, и в своей той же духовной упомянула, что и при жизни я своей магу отдать часть имения, назначенного мне по жизненное владение на условиях, какия будут приняты с обоих сторон, я ей гаварил, что вы таковым назначением будете не довольны и обидитесь, ана сказала мне, что свое назначение пересказала вам, и вы все одобрили, и надеется на вас, что вы так дабры, что ни в чем меня безпокоить не будете, я упорствовал и не хотел пользоватся, ана етим обидилась, заплакала и просила усерно меня, чтобы по назначению ея по духовнои принял бы по смерть свою имении, представила мне необходимыи надобности, зная,

что я без сего не в силах выполнить волю ея, и что поручает мне по обещанию ея выстроить две церкви, одну на Азерне, а другую в Кулиневе, и когда я согласился на ея предложении, ана вдруг переменилась, зделалась как здоровая, благодарила и начала целовать меня, а я плакать, предвидя, что лишаюсь неоцененной и добродетельной своей жены и друга маево, доказательством вам может служить о моем интересе и то, что по закону седмую часть всегда магу я получить, и для меня бы очень давольно было, и сего я не хотел, в 29-м годе была зделана ею духовная, которую привезла мне в Киев по нахождению моему в должности презуса,[2] и в онои ана мне назначила в вечное и потомственное владение 500 душ, и сего я не принял, возвратил ей, и просил ея сие уничтожить, и чтобы старалась наградить всех вас, а мне не нужно, для моих наследников давольно будит таво, что я имею, и я всегда разсуждал, что для вас не выгодно ожидать маей смерти и не пользоватся, жизнь наша в воли Божией, быть может, и я долго праживу, а вы чрез ето время упустите устройства в Малиновки и Безлесном, конной завод я перевел с Азерны в Малиновку и всё нужное к оному устроил, на конюшни стоят 17 жеребцов и до 100 маток должно там находится, етот год съезжу посмотреть, и как бы вы меня обрадовали, естли бы из вас в ето время кто-нибудь приехал бы, я все положении о Малиновки разсказал бы вам, а описывать подробно затруднительно, я ближе июля месяца там не магу быть, вновь выстроенную каменную церковь время подходит освятить, которая стоит восемьдесят тысячь, надобно о разходе взять отчет, управляющии тамошний безпрестано пишит и требует денег, не оставляйте меня без, почтеннейшии Василей Алексеичь, Вашим уведомлением о пребывании Вашим, и любите меня, вы узнаете, что я буду достоин сего, я же, с своей стороны, всегда постараюсь оказать себя в удавольствие ваше, заключаю сие с душевным желанием иметь вам совершенное здоровье и спакоиствие и с засвидетельствованием маего вам почтения остаюсь ваш покорный слуга

Петр Денисьев.

А. ЛИРОНДЕЛЬ — Л. Б. МОДЗАЛЕВСКОМУ

13 мая 1928 г. Клермон

Clermont, le 13 mai 1928.

Monsieur,

Un de nos amis, m-r Marcel Orbec, 57 bis, avenue De La Motte-Picquet, Paris, possède des miniatures de la famille Perovski—Tolstoi que j'ai souvent admirés chez lui.

Sachant que vous vous occupez spécialement de Ал⟨ексей⟩ Конст⟨антинович⟩ Толстой (par m-r ⟨*1 нрзб*⟩) je lui ai demandé la permission de vous signaler ces documents iconographiques. Très aimablement il m'y a autirisé et a même procédé à leur photographie que je vous envoie, accompagnée d'une lettre explicative de m-r Orbec sur leur origine.

J'ai appris avec un grand chagrin le terrible malheur qui vous a frappé: j'ai rencontré m-r votre père à l'Académie des sciences et gardé de son obligeance courtoise un souvenir qui ne s'efface pas.[1]

Veuillez croire, monsieur, à ma sympathie sincère et à mes sentiments dévoués.

André Lirondelle,
recteur de l'Université Clermont-Ferrand.
France.

Перевод:

Клермон, 13 мая 1928.

Сударь,

Один из наших друзей, г-н Марсель Орбек, 57 бис, проспект Де ла Мот-Пике, Париж, владеет миниатюрами семьи Перовских—Толстых, которыми я часто любовался у него.

Зная, что вы специально занимаетесь Ал⟨ексеем⟩ Конст⟨антиновичем⟩ Толстым (от г-на ⟨*1 нрзб*⟩), я попросил у него позволения сообщить вам об этих иконографических документах. Он очень любезно мне это разрешил и даже сделал их фотографии, которые я вам посылаю в сопровождении объяснительной записки г-на Орбека об их происхождении.

С большим огорчением узнал о страшном несчастье, поразившем вас: я встречал вашего отца в Академии наук и сохранил незабываемое воспоминание о его учтивой обязательности.[1]

Примите, сударь, уверение в моей искренней симпатии и преданности.

Андре Лиронделъ,
ректор Университета Клермон-Ферран.
Франция.

Приложение.

⟨ОТРЫВОК ИЗ ОБЪЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ Г-НА ОРБЕКА⟩

Pour vous rappeler comment j'ai été mis en possession de ces miniatures il faut vous dire qu'il y a une quinzaine d'années est mort dans sa propriété de Crimée, près de Sébastopol, monsieur Nicolas Lvovitch Perowski, frère de Sophie Perowskaia, appartenant à une branche cadette de la famille Perowski qui ne portait pas le titre de comtes.[2] M-r Nicolas Perowski dont le père avait été gouverneur civil de Pétersbourg,[3] était un monarchiste convaincu, tout opposé sous ce rapport aux opinions de sa sœur qui a été exécutée, comme vous, le savez à la suite de l'attentat commis contre Alexandre II. Le frère de Nicolas, Vassili, était également d'opinions avancées.[4] Il vit encore et j'ai même appris que le gouvernement russe actuel lui sert une pension en souvenir de l'acte commis par sa sœur.

Bref, après la mort de Nicolas Perowski, de nombreux objets constituant des souvenirs de famille, passèrent à son frère Vassili et celui-ci n'y tenant guère, aurait fait savoir à ma grand-mère, sa tante par alliance, qu'il serait disposé à s'en défaire. C'est ainsi, qu'interessé par ces objets, parmi lesquels j'avais choisi les quatres miniatures particulièrement interessantes et belles, rehausées par les souvenirs qui s'y rattachaient, j'ai acheté ces 4 miniatures.

M-r Vassili Perowski en me les vendant m'a précisé les personnages qui y étaient peints. J'ai marqué les miniatures de numéros:

1. Comte Alexis Cyrillowitch Razoumowski, ministre de l'instruction publique sous Alexandre I-er, grand-père du poète (miniature non signée).

2. Mademoiselle Marie Mikhailowna Sobolewskaia, dont le comte Alexis Cyrillowitch Razoumowski eut neuf enfants, légitimés sous le nom des comtes Perowski. Elle fut donc la grand-mère du poète. (La miniature est signée et datée comme suit: Œchs[5] pinx. 1808.)

3. Comtesse Anna Alexeievna Tolstaia, née Perowskaia, fille des précédents, mère du poète, qu'elle tient sur ses genoux enfant de 5 à 6 ans (?). La description du physique de la comtesse et du poète que vous donnez

dans votre ouvrage permettent de retrouver les traits essentiels dans la miniature. (La miniature est signée: E. Martin[6] — 74.) (On peut supposer que le chiffre 74 indique l'opus du miniaturiste. (№ d'ordre).)

4. Comte Lew Alexeewitch Perowski, oncle du poète, qui fut ministre de l'intérieur sous Nicolas I-er.

Перевод:

Чтобы напомнить вам, как я стал владельцем этих миниатюр, должен сообщить, что лет пятнадцать назад в своем имении в Крыму, около Севастополя, умер господин Николай Львович Перовский, брат Софьи Перовской, принадлежавший к представителям младшей ветви семьи Перовских, не имевшим графского титула.[2] Г-н Николай Перовский, отец которого был гражданским губернатором Петербурга,[3] был убежденным монархистом, полной противоположностью в этом отношении взглядам своей сестры, которая, как вы знаете, была казнена после покушения на Александра II. Брат Николая, Василий, тоже придерживался крайних взглядов.[4] Он жив еще, и я даже узнал, что нынешнее русское правительство выплачивает ему пенсию в память о деянии сестры.

Короче говоря, после смерти Николая Перовского многие вещи, являющиеся семейными реликвиями, перешли к его брату Василию, а последний, не дорожа ими, сообщил моей бабушке, его неродной тетушке (тетушке по браку), что он был бы рад от них избавиться. Вот каким образом, заинтересовавшись этими вещами, среди которых я выбрал четыре миниатюры, особенно интересные и красивые, к тому же памятные, я купил эти 4 миниатюры.

Г-н Василий Перовский, продавая их мне, указал, кто именно на них изображен. Я пронумеровал миниатюры:

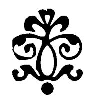
1. Граф Алексей Кириллович Разумовский, министр народного просвещения при Александре I, дед поэта (миниатюра не подписана).

2. Мадемуазель Мария Михайловна Соболевская, от которой граф Алексей Кириллович Разумовский имел девятерых детей, усыновленных им под именем графов Перовских. Таким образом, она была бабкой поэта. (Миниатюра подписана и датирована следующим образом: Œchs[5] pinx. 1808.)

3. Графиня Анна Алексеевна Толстая, урожденная Перовская, дочь вышеозначенных, мать поэта, которая держит на коленях ребенка 5—6 лет(?). Описание внешности графини и поэта, которое вы приводите в своей работе, позволяет увидеть главные черты на миниатюре. (Ми-

ниатюра подписана: E. Martin[6] — 74.) (Можно предположить, что цифра 74 указывает номер произведения миниатюриста (порядковый номер).)

4. Граф Лев Алексеевич Перовский, дядюшка поэта, министр внутренних дел при Николае I.



II. ИЗ РАННИХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ОПЫТОВ А. А. ПЕРОВСКОГО

N. Karamzin

DIE ARME LISE

ÜBERSETZT AUS DEM RUSSISCHEN

Vielleicht kennt kein Einwohner von Moskau die umliegenden Gegenden dieser Stadt so gut als ich, weil keiner so oft als ich auf dem Felde ist, keiner so oft als ich, ohne Plan, ohne Absicht, in Wäldern und auf Wiesen, auf Hügeln und in Thälern herumirrt. Jeden Sommer finde ich schöne Gegenden, die mir vorher nicht bekannt waren, oder neue Schönheiten in den schon bekannten.

Aber keine Gegend ist mir so angenehm als die, wo sich die finstern, gothischen Thürme des S*** Klosters erheben. Wenn man auf diesem Berge steht, sieht man auf der rechten Seite fast ganz Moskau, diese ungeheure Masse von Häusern und Kirchen, welche sich den Augen als ein majestätisches Amphitheater darstellt: ein herrliches Bild, besonders wenn die Sonne es bescheint; wenn des Abends ihre Strahlen auf den unzähligen goldenen Kuppeln, auf den unzähligen himmelwärts sich erhebenden Kreuzen glänzen. Unten breiten sich reiche, dunkelgrüne, blühende Wiesen aus; weiter hin fließt in gelbem Sande ein heller, klarer Strom, dessen Wellen sich um die leichten Ruder kleiner Fischerböthe kräuseln, oder unter dem Steuerruder schwerbeladener Schiffe rauschen, welche aus den fruchtbarsten Gegenden Russland's kommen, um mit ihren Schätzen das unersättliche Moskau zu füllen. Jenseits des Flusses ist ein Eichenwald, um welchen unzählige Heerden Vieh weiden; junge Hirten sitzen im Schatten der Bäume und singen schwermüthige Volkslieder, um sich die Sommertage zu verkürzen, welche für sie so einförmig sind. Weiterhin blinken hinter dickbelaubten Ulmen die goldenen Thürme des D** Klosters; noch weiter, fast am Ende des Hori-

zonts sieht man in bläulicher Ferne die Sperlingsberge. Auf der linken Seite sind weite Kornfelder, kleine Wälder, einige Dörfer und in der Weite das Dorf Kolomenskoe mit seinem hohen Pallaste.

Oft besuche ich diesen Ort, und fast immer bewillkommne ich dort den Frühling; auch in den finstern Herbsttagen gehe ich dahin, um mit der Natur zu trauern. Fürchterlich sausen die Winde in den Mauern des verödeten Klosters, zwischen den dichtbewachsenen Gräbern und in den finstern Gängen und Zellen. Da horche ich oft, auf die Ruinen der Grabsteine gestützt, auf das dumpfe Strömen der Zeit, die der unendliche Abgrund der Vergangenheit verschlingt — Gedanken, vor denen mein Herz zurückbebt; zuweilen besuche ich die Zellen und stelle mir diejenigen vor, welche sie bewohnten — welche traurige Bilder! Hier ein Greis, der vor dem gekreuzigten Heilande kniet und ihn um Erlösung von den irdischen Fesseln anflehet; denn keine Freude dieses Lebens reitzt ihn mehr, seine Gefühle sind abgestorben, nur das Gefühl seiner Krankheit und Schwäche bleibt ihm. Da sieht ein junger Mönch — mit blassem Angesichte und hohlen Augen — ins Feld durch sein vergittertes Fenster, er sieht wie die muntern Vögel frey in der Luft herumschwärmen — sieht es und vergiesst bittere Thränen. Er trauert, welkt dahin, und der traurige Ton der Kiostergloke verkündet mir seinen frühzeitigen Tod. Zuweilen betracht'ich an der Pforte des Tempels die Darstellung der in diesem Kloster vorgefallenen Wunder — hier fallen Fische vom Himmel, um die Bewohner des von unzähligen Feinden belagerten Klosters zu sättigen; dort bringt das Bild der Mutter Gottes die Feinde zur Flucht. Alles dieses erinnert mich an jene traurigen Zeiten der Geschichte unseres Vaterlandes, wo die grausamen Tataren und Litthauer mit Feuer und Schwerdt die umliegenden Gegenden von Russlands Hauptstadt verheerten und das unglückliche Moskau wie eine hülflose Wittwe von Gott allein Rettung von seinem Unglücke erwartete.

Aber öfter reißt mich das Andenken an das bedauernswürdige Schicksal der armen Lise zu den Mauern des S*** Klosters hin. Ach! Ich liebe die Gegenstände, welche mein Herz rühren und mich Thränen zärtlicher Wehmuth vergießen lassen!

Einige hundert Schritte von den Mauern des Klosters, neben einem kleinen Birkenwalde, steht auf einer grünen Wiese eine leere Hütte, ohne Thüren, ohne Fenster, ohne Fußboden; das Dach ist längst verfault und eingefallen. In dieser Hütte wohnte vor ungefähr dreyssig Jahren die schöne liebenswürdige Lise mit ihrer alten Mutter.

Lisens Vater war ein ziemlich begüterter Landmann; denn er liebte die Arbeit, bearbeitete sein Land gut und war mässig und nüchtern. Aber bald nach seinem Tode verarmte seine Frau und Tochter. Der faule Miethling bearbeitete das Feld schlecht, und es gab nicht mehr so viel Korn als vorher.

Sie waren gezwungen es zu vermiethen und für einen sehr geringen Preis. Dazu kam noch, dass die arme Wittwe, welche unaufhörlich den Tod ihres Mannes beweinte — denn auch Landleute haben ein Herz! — von Tage zu Tage schwächer wurde und nicht mehr arbeiten konnte. Lise allein, sie war funfzehn Jahre alt, — Lise schonte ihr zartes Alter, ihre seltene Schönheit nicht und arbeitete Tag und Nacht — sie strikte Strümpfe, webte Leinewand, des Frühlings pflückte sie Blumen, des Sommers Beeren, und brachte alles dieses zum Verkauf nach der Stadt. Die gefühlvolle gute Alte sahe die unermüdliche Betriebsamkeit ihrer Tochter und drückte sie oft an ihr schwachschlagendes Herz, nannte sie ihren Schutzengel, ihre Wohlthäterinn, die Freude ihre Alters, und bat Gott, sie für ihre kindliche Liebe zu belohnen. «Gott hat mir Hände gegeben zum Arbeiten, — sagte dann Lise, — du nährtest mich an deiner Brust und pflegtest mich, als ich ein Kind war: jetzt ist die Reihe an mir, dich zu pflegen. Höre auf dich zu betrüben, höre auf zu weinen; unsere Thränen werden den Vater nicht wieder zum Leben bringen». Aber oft konnte die zärtliche Lise ihre eigenen Thränen nicht zurückhalten — ach! Sie fühlte es wohl, dass sie einen Vater verlohren hatte; aber, um ihre Mutter zu beruhigen, suchte sie den Kummer ihres Herzens zu verbergen und heiter und ruhig zu scheinen. «In der andern Welt, liebe Lise (antwortete die traurige Alte), in der andern Welt werde ich aufhören zu weinen. Dort, sagt man, wird jeder zufrieden seyn: auch ich werde dann zufrieden seyn, weil ich deinen Vater sehen werde. Nur jetzt habe ich keine Lust zu sterben — was wird aus dir werden, wenn ich nicht mehr da bin? Wem soll ich dich anvertrauen? Nein, Gott gebe, dass du erst versorgt bist! Vielleicht findet sich bald ein braver Mann. Dann werde ich euch meine Lieben, segnen und mich ruhig ins kalte Grab legen».

Zwey Jahre waren seit dem Tode von Liesens Vater verflossen. Die Felder bedeckten sich mit Blumen, und Lise ging mit einem Mayblymenstrauße in die Stadt. Ein junger gutgekleideter Mann, mit einem angenehmen Gesicht, begegnete ihr auf der Straße. Sie zeigte ihm ihren Blumenstrauß und erröthete. «Verkaufst du ihn, liebes Mädchen?» — fragte er lächelnd. — «Ja», — antwortete sie. — «Und was verlangst du für ihn?» — «Fünf Kopecken». — «Das ist zu wohlfeil, hier hast du einen Rubel». Lise erstaunte, wagte es, den jungen Mann anzusehen, — erröthete noch mehr, senkte ihre Blicke zur Erde und sagte, dass sie den Rubel nicht annehmen könne. «Und warum nicht?» — «Weil ich nichts überflüssiges brauche». — «Ich glaube, dass ein Strauß Mayblumen, von einem hübschen Mädchen gepflückt nicht weniger als einen Rubel kostet. Wenn du ihn aber nicht annehmen willst, so nimm diese fünf Kopecken. Ich wünschte immer von dir Blumen zu kaufen, ich wünschte, dass du sie ausser mir, für niemanden pflücken solltest».

Lise gab ihren Strauß ab, nahm fünf Kopecken, dankte und wollte gehen; aber der Unbekannte hielt sie bey der Hand zurück. «Wo gehst du denn hin, liebes Mädchen?» — «Nach Hause». — «Und wo wohnst du?» Lise sagte ihm, wo sie wohne und ging. Der junge Mann wollte sie nicht halten, vielleicht, weil die Vorübergehenden stehen zu bleiben und sie mit einem spöttischen Lächeln anzusehen schienen.

Lise kehrte nach Hause zurück und erzählte ihrer Mutter, was ihr widerfahren war. «Du hast gut daran gethan, dass du den Rubel nicht annahmst. Vielleicht war es ein böser Mensch...» — «Ach nein, liebe Mutter! das glaube ich nicht. Er hatte so ein gutes Gesicht, solch eine Stimme...» — «Indessen, Lise, ist es besser, sich von seiner Hände Arbeit zu nähren und nichts anzunehmen, was man nicht verdient hat. Du weißt noch nicht, meine Liebe, wie böse Leute einem armen Mädchen wehe thun können! Ich bin immer so unruhig, wenn du nach der Stadt gehst; immer stelle ich ein Licht vor unser Heiligenbild, und bitte Gott, dass er dich vor allem Unglücke bewahren mögte».

Lisens Augen waren voller Thränen und sie umarmte ihre Mutter.

Den andern Tag suchte Lise die schönsten Mayblumen und ging wieder mit ihnen nach der Stadt. Ihre Augen suchten allenthalben. Viele wollten ihren Strauß kaufen, allein sie antwortete, er sey nicht zu kaufen, und sahe sich beständig nach allen Seiten um. Der Abend kam; sie musste nach Hause zurückkehren, und der Blumenstrauß wurde in den Moskwa-Strom geworfen. «So soll dich denn keiner besitzen!» — sagte Lise und fühlte eine Leere in ihrem Herzen, von der sie sich selbst nicht Rechenschaft zu geben wusste. Den folgenden Tag gegen Abend saß sie am Fenster, spann, und sang mit leiser Stimme traurige Lieder; plötzlich sprang sie auf und rief: «Ach!..» Der junge Unbekannte stand draußen an ihrem Fenster.

«Was fehlt dir?» — fragte die erschrockene Mutter, welche neben ihr saß. — «Nichts, — antwortete Lise mit furchtsamer Stimme, — ich sahe ihn». — «Wen?» — «Den Herrn, der mir meine Blumen gekauft hat». Die Alte sahe aus dem Fenster. Der junge Mann grüsste sie sehr höflich und mit einer so freundlichen Miene, dass sie nichts als gutes von ihm denken konnte. «Guten Tag, liebe Alte!» — sagte er zu ihr. — Ich bin sehr müde: hast du nicht etwas frische Milch?» Die dienstfertige Lise lief, ohne auf die Antwort ihrer Mutter zu warten, — vielleicht weil sie sie ohnedies wusste, in den Keller — brachte einen reinen irdenen Topf mit einem hölzernen Deckel, nahm ein Glas, spülte es aus, wischte es mit einem reinen Tuche ab, goss ein, und reichte es ihm durchs Fenster mit niedergeschlagenen Augen. Der Unbekannte trank — und Nektar aus Hebe's Händen hätte ihm nicht so angenehm geschmeckt. Jedermann wird errathen, dass er der schönen Lise dafür dankte und mehr mit Blicken als mit Worten. Indes-

sen erzählte ihm die gutherzige Alte von ihrem Unglücke und ihren Freuden — von dem Tode ihres Mannes und den vortrefflichen Eigenschaften ihrer Tochter, von ihrer Arbeitsamkeit und Zärtlichkeit. Er hörte ihr mit Aufmerksamkeit zu; allein seine Augen waren — ist es nöthig zu sagen, wo? Und Lise, die furchtsame Lise, sahe von Zeit zu Zeit den jungen Mann an; aber der Blitz erscheint und schwindet nicht so schnell in den Wolken, als ihre Augen zur Erde sich senkten, wenn sie die seinigen begegneten. «Ich wünschte? — sagte er zu der Mutter, — dass deine Tochter ihre Arbeit niemandem außer mir verkaufen mögte. Auf diese Art wird sie nicht nöthig haben, oft nach der Stadt zu gehen, und du wirst von ihr nicht getrennt werden. Ich selbst kann von Zeit zu Zeit zu euch kommen». Hier glänzte Freude in Lisens Augen, eine Freude, die sie umsonst zu verbergen suchte; ihre Wangen glüheten wie die Abendröthe an einem hellen Sommerabend; sie sahe auf ihren linken Aermel, und zupfte an ihm mit ihrer rechten Hand. Die Alte nahm mit Freuden dieses Anerbieten an, indem sie gar keine schlechte Absicht dabey vermuthete, und versicherte den Unbekannten, dass die Leinewand, welche Lise webe, und die Strümpfe, die sie stricke, sehr gut seyen und länger getragen werden können, als andere. Es wurde finster, und der junge Mann wollte gehen. «Wie sollen wir dich denn nennen, lieber, freundlicher Herr?» — fragte die Alte. — «Ich heiße Erast». — «Erast! — sagte leise Lise, — Erast!» Sie wiederholte einigemale diesen Namen, als wenn sie sich ihn ins Gedächtniss prägen wolle. Erast nahm auf Wiedersehen von ihnen Abschied und ging. Lise begleitete ihn mit den Augen, und die Mutter saß in tiefem Nachdenken, ergriff dann die Hand ihrer Tochter und sagte zu ihr: «Ach, Lise, wie schön und gut ist er! Wenn dein Bräutigam so wie er wäre!» Lisens Herz bebte bey diesen Worten. «Mutter! Mutter! wie kann das seyn? Er ist ja ein Herr; und unter den Landleuten...» — Lise konnte nicht endigen.

Jetzt muss der Leser erfahren, dass dieser junge Mann, dieser Erast, ein ziemlich reicher Edelmann war, mit Verstand und einem guten Herzen, welches gut von Natur, aber schwach und leichtsinnig war. Er führte ein zerstreutes Leben, dachte nur an seine Vergnügungen, die er in den Freuden der großen Welt suchte, aber oft nicht fand, darüber verdrießlich wurde und sich dann über sein Schicksal beklagte. Lisens Schönheit hatte gleich das erstemal Eindruk auf sein Herz gemacht. Er hatte Romane, Idillen gelesen, besaß eine ziemlich lebhafte Einbildungskraft und dachte sich oft in jenes poetische Zeitalter, wo alle Menschen ohne Sorgen auf den Wiesen spatzieren gingen, sich in reinen Quellen badeten, einander wie Turteltauben küssten, unter Rosen und Myrthen ausruheten und in glücklichem Müssiggange lebten. Er glaubte in Lisen dasjenige gefunden zu haben, was sein Herz so lange

gesucht hatte. «Die Natur ladet mich in ihre Arme ein, zu ihren reinsten Freuden», — dachte er und entschloss sich, wenigstens auf einige Zeit — die grosse Welt zu verlassen.

Wir kehren zu Lisen zurück. Die Nacht kam — die Mutter segnete ihre Tochter und wünschte ihr einen ruhigen Schlaf; aber diesesmal wurde ihr Wunsch nicht erfüllt: Lise schlief sehr schlecht. Der neue Gast ihrer Seele, das Bild Erastens, stellte sich ihr so lebendig vor, dass sie fast alle Augenblicke erwachte, erwachte, um zu seufzen. Noch vor Sonnenaufgang stand Lise auf, ging ans Ufer des Flusses, setzte sich auf den Rasen und sahe traurig den weißen Nebeln zu, die in der Luft schwebten, sich in die Höhe erhoben und glänzende Tropfen auf der grünen Hülle der Natur zurükließen. Allenthalben herrschte Stille. Aber bald erweckte das aufgehende Licht des Tages alles Lebende: Wälder und Büsche wurden lebendig: die Vögel flogen aus ihren Nestern und fingen an zu singen; die Blumen erhoben ihre Kelche, um die Strahlen des allbelebenden Lichts in sich aufzunehmen. Aber Lise saß noch immer traurig da. Ach, Lise, Lise! Was ist dir wiederfahren? Bisher erwachtest du zusammen mit den Vögeln, du vergnügtest dich des Morgens, so wie sie, und das Bild einer reinen, freudigen Seele spiegelte sich in deinen Augen, so wie sich die Sonne im Thau des Himmels spiegelt; aber jetzt bist du in Gedanken, und die allgemeine Freude der Natur ist deinem Herzen fremd. Unterdessen hütete ein junger Hirt seine Heerden längst dem Ufer des Flußes und spielte auf der Flöte. Lise heftete ihre Blicke auf ihn und dachte: «Wenn derjenige, der jetzt meine ganze Seele beschäftigt, ein gemeiner Landmann, ein Hirt wäre, — und jetzt seine Heerde vor meinen Augen hüten würde: ach! ich würde ihn lächelnd grüßen und ihm freundlich sagen: „Guten Morgen, lieber Hirt! Wo hin führst du deine Heerde? Auch hier wächst grünes Gras, für deine Schaafe; auch hier blühen Blumen, aus denen ich dir einen Kranz auf den Hut flechten kann". Er würde mich heiter ansehen — würde vielleicht mich bey der Hand nehmen... Unmöglich! Unmöglich!» Der Hirt, ging, auf seiner Flöte spielend, vorüber, und ein naher Hügel verbarg ihn mit seiner bunten Heerde.

Plötzlich hörte Lise das Geräusch der Ruder — sah auf den Fluss und erblikte ein Boot, und in dem Boote — Erast.

Alle Adern zitterten in ihr und gewiss nicht vor Furcht. Sie stand auf, wollte gehen und konnte nicht. Erast sprang ans Ufer, trat zu Lisen und — dass was sie für unmöglich hielt, geschah eines Theils; denn er sah sie freundlich an, nahm sie bey der Hand... Und Lise, Lise stand da mit niedergeschlagenen Augen, mit brennenden Wangen, mit klopfendem Herzen — konnte ihre Hand nicht zurück ziehen — konnte sich nicht abwenden, als er sich ihr mit seinen Rosenlippen näherte... ach! er küsste sie, küsste sie mit

solch einem Feuer, dass sie glaubte, die ganze Welt brenne! «Liebe Lise! — sagte Erast, — liebe Lise! Ich liebe dich!» — und diese Worte hallten in ihrer Seele wieder, wie eine himmlische, entzückende Harmonie; sie glaubte kaum ihren Ohren und... ich werfe die Feder weg. Ich will nur sagen, dass in diesem Augenblicke des Entzückens Lisens Furchtsamkeit verschwand — Erast erfuhr, dass er geliebt sey, leidenschaftlich geliebt mit einem reinen, unschuldigen, offenen Herzen.

Sie saßen auf Rasen, so dass zwischen ihnen beyden sehr wenig Platz blieb — sahen einander in die Augen — sagten einander: «Liebe mich!» Und zwey Stunden verflogen, wie ein Augenblick. Endlich erinnerte sich Lise, dass ihre Mutter über ihre lange Abwesenheit vielleicht unruhig seyn mögte. Sie mussten sich trennen. «Ach, Erast! — sagte sie, — wirst du mich immer lieben?» — «Immer, liebe Lise, immer!» — antwortete er. — «Und du kannst es mir beschwören?» — «Ja, liebe Lise, ja!» — «Nein! Ich verlange keinen Schwur. Ich glaube dir, Erast, ich glaube dir. Du kannst die arme Lise nicht betrügen. Nein dass kannst du nicht!» — «Nein, nein, theure Lise!» — «Wie glücklich bin ich! Und wie wird sich meine Mutter freuen, wenn sie erfährt, dass du mich liebst!» — «Ach nein, Lise! Du musst ihr nichts davon sagen». — «Und warum denn nicht?» — «Alte Leute sind gewöhnlich misstrauisch. Sie wird gleich etwas schlechtes dabey denken». — «Das ist nicht möglich». — «Allein ich bitte dich ihr kein Wort davon zu sagen». — «Gut; ich muss dir gehorchen, ob gleich ich ihr nichts zu verschweigen wünschte». Sie nahmen Abschied von einander, küssten sich zum letztenmale, und versprachen, alle Abende einander zu sehen, entweder am Ufer des Flusses, oder im Birkenwalde, oder irgendwo neben Lisens Hütte, aber, alle Abende, ganz gewiss. Lise ging, aber sahe hundertmal nach Erast zurück, der immer noch am Ufer stand und ihr nachsah.

Lise kehrte nach ihrer Hütte nicht in der vorigen Gemütsstimmung zurück. Auf ihrem Gesichte und in allen ihren Bewegungen sahe man die Freude ihres Herzens. «Er liebt mich!» — dachte sie und war entzückt über diesen Gedanken. «Ach, Mutter!» — sagte Lise zu ihrer Mutter, die nur eben erwacht war. — Ach, Mutter! welch ein schöner Morgen! Wie alles so schön im Freyen ist! Niemals haben die Lerchen so herrlich gesungen; noch nie schien die Sonne so hell; die Blumen hatten noch nie einen so angenehmen Geruch wie heute!» Die Alte ging, auf ihre Krücke gestützt, auf die Wiese, um die Morgenluft zu genießen. Der Morgen schien ihr in der That äußerst angenehm zu seyn; ihre liebe Tochter mit ihrem frohen Gemüthe schien ihr die ganze Natur zu erheitern. «Ach, Lise! — sagte sie, — wie doch alles so schön von Gott erschaffen ist! Bald sind es sechzig Jahre, dass ich auf der Welt lebe, und immer kann ich mich nicht genug über seine Wunder freuen;

ich kann mich nicht genug freuen über den reinen Himmel, der einem großen Zelte gleicht, und über die Erde, die sich alle Tage mit neuen Blumen und neuem Grase bedeckt. Der Himmlische Vater muss den Menschen sehr lieben, weil er diese Welt so schön für ihn geschmückt hat. Ach, Lise! Wer würde sterben wollen, wenn wir nicht zuweilen hier Kummer hätten?.. Gewiss muss das so seyn. Vielleicht würden wir nicht an unsere Seele denken, wenn niemals Thränen aus unsern Augen fließen würden?» Und Lise dachte: «Ach! ich werde eher meine Seele vergessen als meinen Freund!»

Von dieser Zeit an, sahen sich Erast und Lise, aus Furcht, ihr gegenseitig gegebenes Wort zu brechen, alle Abende (wenn Lisens Mutter sich schlafen legte) entweder am Ufer des Flußes, oder im Birkenwalde, aber öfter im Schatten hundertjähriger Eichen, welche nicht weit von der Hütte, einen tiefen reinen Teich beschatteten, der vor alten Zeiten gegraben war. Da versilberte oft der Mond, dessen Strahlen durch die grünen Zweige drangen, Lisens blondes Haar, mit dem die Westwinde und die Hand ihres lieben Freundes spielten; oft beschienen diese Strahlen eine glänzende Thräne der Liebe in den Augen der zärtlichen Lise, welche dann Erast mit seinen Küßen abtrocknete. Sie umarmten sich — allein die keusche, schamhafte Cinthie verbarg sich nicht vor ihnen hinter den Wolken: ihre Umarmungen waren rein und unschuldig. «Wenn du, — sagte Lise zu Erast, — wenn du mir sagst: „Ich liebe dich, meine Theure!" — wenn du mich an dein Herz drückst und mich mit deinen freundlichen Augen dabey ansiehst: ach! dann fühle ich mich so wohl, so wohl, dass ich mich selbst vergesse, dass ich alles vergesse, — außer meinen Erast. Sonderbar, mein Freund, sonderbar, dass ich, ohne dich zu kennen, ruhig und zufrieden leben konnte! Jetzt ist es mir unbegreiflich; jestzt scheint es mir, dass ohne dich das Leben kein Leben, sondern nichts als Kummer und Langeweile ist. Ohne deine Augen, scheint der helle Mond finster zu seyn: ohne deine Stimme, ist der Gesang der Nachtigall einförmig und langweilig; ohne deinen Odem, ist der sanfte Westwind mir unangenehm». Erast freute sich über seine Chloe — so nannte er Lisen — und schien sich selbst liebenswürdiger zu seyn, weil Lise ihn so liebte. Alle glänzenden Freuden der großen Welt schienen ihm nicht zu seyen in Vergleich mit denen, mit welchen die leidenschaftliche Freundschaft eines reinen Gemüths sein Herz bereicherte. Mit Unwillen erinnerte er sich jetzt der verächtlichen Wollust, an welcher bisher seine Sinne Gefallen fanden. «Ich werde mit Lisen wie ein Bruder mit seiner Schwester leben (dachte er), ich werde ihre Liebe nicht missbrauchen und immer glücklich seyen!» Unbedachtsamer junger Mensch! Kennst du dein Herz? Kannst du für dessen Gefühle Bürge seyn? Wird dein Verstand immer Herr deiner Leidenschaften seyn?

Lise verlangte, dass Erast ihre Mutter oft besuchen sollte: «Ich liebe sie, — sagte sie, — und wünsche ihr Gutes: und es scheint mir, dass dich zu sehen ein großes Glück für jedermann ist». In der That freute sich die Alte immer darüber, wenn sie ihn sah. Sie unterredete sich gerne mit ihm von ihrem seeligen Manne und erzählte ihm von den Tagen ihrer Jugend: wie sie zum erstenmale ihren lieben Iwan sah, wie er sie liebte und in welcher Liebe und Eintracht sie mit einander lebten. «Ach! wir haben einander nie satt sehen können, bis auf den Augenblick, wo der grausame Tod ihn von mir wegriss. Er starb in meinen Armen!» Erast hörte ihr mit Vergnügen zu. Er kaufte ihr Lisens Arbeit ab, welche er immer zehnmal theurer bezahlen wollte, als sie dafür verlangte; aber die Alte nahm es nie an.

Auf diese Art vergingen einige Wochen. Eines Abends wartete Erast lange auf seine Lise. Endlich kam sie, aber so traurig, dass er darüber erschrack; ihre Augen waren roth von vielem Weinen. «Lise, Lise! Was ist dir widerfahren?» — «Ach, Erast! ich habe geweint!» — «Worüber? Was fehlt dir?» — «Ich muss dir alles sagen. Mich freyet der Sohn eines reichen Landmanns aus dem benachbarten Dorfe; meine Mutter will, dass ich ihn heyrathe?» — «Und du bist es zufrieden?» — «Grausamer! Wie kannst du mich so fragen? Ich bedaure meine Mutter; sie weint und sagt, dass ich sie nicht glücklich sehen will, dass sie in ihrer Todesstunde nicht ruhig seyn kann, wenn ich, während sie noch lebt, nicht versorgt bin. Ach! meine Mutter weiß nicht, dass ich einen so lieben Freund besitze!» Erast umarmte Lisen; sagte, dass ihr Glück ihm theurer als alles in der Welt ist; dass nach dem Tode ihrer Mutter er sie zu sich nehmen und mit ihr auf dem Lande und in finstern Wäldern unzertrennlich und wie im Paradiese leben wird. «Indessen kannst du mein Mann nicht werden?» — sagte Lise mit einem leisen Seufzer. — «Und warum?» — «Ich bin eine Bäuerinn». — «Du beleidigst mich. Für deinen Freund ist nichts so wichtig, als eine gefühlvolle, unschuldige Seele — und Lise wird immer meinem Herzen die Nächste seyn».

Sie warf sich in seine Arme — und in dieser Stunde musste die Unschuld fallen! Erast fühlte ein ungewöhnliches Wallen im Blute — nie hatte Lise ihm so schön geschienen — nie hatten ihre Liebkosungen ihn so gerührt — nie waren ihre Küsse so glühend gewesen — sie wusste nichts, fürchtete nichts — die Finsterniss des Abends machte die Begierden rege — kein einziger Stern blinkte am Himmel — kein Lichtstrahl konnte ihre Verirrungen beleuchten — Erast fühlt ein Beben in seinem Körper — Lise auch, ohne zu wissen, wovon — ohne zu wissen, was mit ihr vorging... Ach! Lise, Lise! Wo ist deine Mutter? Wo ist dein Schutzengel? Wo — ist deine Unschuld?

Ihr Taumel war bald vorüber. Lise begriff ihre Gefühle nicht, wunderte sich und fragte. Erast schwieg, suchte Worte und fand keine. «Ach! ich fürchte, — sagte Lise, — ich fürchte mich vor dem, was uns widerfahren ist! Es schien mir, dass ich sterbe, dass meine Seele... Nein, ich kann das nicht ausdrücken!.. Du schweigst, Erast? Du seufzst?.. Gott! Was bedeutet das?» Indessen blitzte es, und der Donner krachte. Lise zitterte am ganzen Körper. «Erast, Erast! — sagte sie, — es ist mir so fürchterlich! Ich fürchte, dass mich der Donner wie eine Verbrecherinn erschlägt!» Schrecklich brauste der Sturm; der Regen strömte aus den schwarzen Wolken — es schien, als ob die Natur über Lisens verlohrne Unschuld trauerte. Erast suchte Lisen zu beruhigen und begleitete sie bis zur Hütte. Thränen floßen aus ihren Augen, als sie Abschied von ihm nahm. «Ach, Erast! mache mich glauben, dass wir so glücklich bleiben werden, als wir bisher gewesen sind!» — «Das werden wir, Lise, das werden wir!» — antwortete er. «Das gebe Gott! Ich muss deinen Versicherungen glauben: denn ich liebe dich ja! Aber mein Herz... Genug! Lebe wohl! Morgen, morgen sehen wir uns wieder».

Sie setzten ihre Zusammenkünfte fort; allein wie verändert war jetzt alles! Erast konnte nicht mehr mir den unschuldigen Liebkosungen seiner Lise zufrieden seyn — es genügte ihm nicht an ihren liebevollen Blicken — an dem Berühren ihrer Hand, an ihren Küssen, an ihren reinen Umarmungen. Er forderte mehr, und immer mehr, und zuletzt blieb nichts mehr zu verlangen übrig — und wer sein Herz kennt, wer über die Eigenschaft seiner zärtlichsten Vergnügen nachgedacht hat, der wird gewiss darüber mit mir einig seyn, dass das Erfüllen aller Wünsche die gefährlichste Versuchung der Liebe ist. Lise war in den Augen Erasts nicht mehr dieser Engel der Unschuld, der seine Einbildungskraft entflammte und seine Seele entzückte. Die platonische Liebe hatte Gefühlen Platz gemacht, auf die er keinesweges stolz seyn konnte und die ihm nicht neu waren. Was Lisen anbetrifft, so ergab sie sich ihm ganz, lebte nur für ihn, gehorchte in allem seinem Willen, und war glücklich, wenn er zufrieden war. Sie merkte in seinem Umgange eine Veränderung und sagte oft zu ihm: «Sonst warst du vergnügter; sonst waren wir beyde ruhiger und glücklicher; und sonst fürchtete ich nicht so sehr deine Liebe zu verlieren!» Zuweilen, wenn sie Abschied von einander nahmen, sagte er zu ihr: «Morgen, Lise, werde ich dich nicht sehen können: ich habe sehr wichtige Geschäfte» — und allemal seufzte Lise bey diesen Worten.

Endlich sahe sie ihn fünf Tage hintereinander nicht; und befand sich in der größten Unruhe; den sechsten Tag, kam er mit einem traurigen Gesichte und sagte zu ihr: «Liebe Lise! Ich muss mich auf einige Zeit von dir trennen. Du weißt, dass jetzt Krieg ist; ich bin in Diensten; mein Regiment hat Befehl auszurücken». Lise erblasste und ware beynahe in Ohnmacht gefallen.

Erast liebkosete sie; sagte, dass er ewig seine theure Lise lieben würde und nach seiner Zurückkunft hoffe, sich nie wieder von ihr zu trennen. Lange schwieg sie, vergoss einen Storm der bittersten Thränen, ergriff seine Hand, und indem sie ihn mit aller Zärtlichkeit der Liebe ansah, fragte sie: «Du kannst nicht bleiben?» — «Ich kann wohl, aber es ist schimpflich für mich. Jedermann wird mich verachten; jedermann als einen Feigen verabscheuen, als einen unwürdigen Sohn des Vaterlandes». — «Ach, wenn es so ist, — sagte Lise, — so reise hin, reise, wohin Gott dich ruft! Aber du kannst getödtet werden». — «Der Tod für's Vaterland ist nicht fürchterlich, liebe Lise». — «Ich werde sterben, wenn du nicht mehr da seyn wirst». — «Aber warum sollen wir das Aergste denken? Ich hoffe am Leben zu bleiben, ich hoffe zu dir, meine Liebe, wiederzurückzukehren». — «Gott gebe das! Gott gebe das! Alle Tage, alle Augenblicke werde ich ihn darum bitten. Ach! warum kann ich weder lesen noch schreiben! Du würdest mir von allem, was dir widerfährt, Nachricht geben; und ich würde dir von meinen Thränen schreiben!» — «Nein, thue das nicht, liebe Lise; bewahre deine Tage für deinen Freund auf. Ich will nicht, dass du in meiner Abwesenheit weinst». — «Grausamer Mensch! Auch diesen letzten Trost willst du mir rauben! Nein! Bey dieser Trennung werde ich nicht eher zu weinen aufhören, als bis mein Herz sich verzehrt». — «Denke an den angenehmen Augenblick des Wiedersehens». — «Ja ich werde an ihn denken! Ach, wenn er doch geschwinder kommen sollte! Lieber, theurer Erast! erinnere dich deiner armen Lise, die dich mehr liebt, als sich selbst!»

Aber ich kann alles nicht beschreiben, was sie einander bey dieser Gelegenheit sagten. Den folgenden Tag sollte ihre letzte Zusammenkunft seyn.

Erast wollte auch von Lisens Mutter Abschied nehmen, welche ihre Thränen nicht zurückhalten konnte, als sie erfuhr, dass der freundliche, liebe Herr ins Feld gehen musste. Er zwang sie, einiges Geld von ihm anzunehmen, und sagte: «Ich will nicht, dass Lise in meiner Abwesenheit jemandem anders ihre Arbeit verkaufe, die nach unserer Verabredung mir allein gehört». Die Alte überschüttete ihn mit Seegenswünschen. «Gebe der Himmel, — sagte sie, — dass du glücklich zu uns zurückkehren solltest und dass ich dich noch einmal in diesem Leben wiedersähe! Vielleicht wird meine Lise während dieser Zeit einen Bräutigam nach ihrem Sinne finden. Wie würde ich Gott danken, wenn du zu ihrer Hochzeit hierherkämst! Und, wenn Lise Kinder haben wird, so wisse, lieber Herr, dass du sie zur Taufe halten musst! Ach! ich mögte das wohl erleben!» Lise stand neben ihrer Mutter und wagte es nicht, sie anzublicken. Der Leser kann sich leicht vorstellen, was sie in diesem Augenblicke fühlte.

Aber was fühlte sie, als Erast sie zum letztenmale umarmte, sie zum letztenmale an sein Herz drückte und sagte: «Leb wohl, Lise!..» Welch ein

rührendes Bild! Die Morgenröthe strömte wie ein rosenrothes Meer von Osten über. Erast stand unter der Zweigen einer hohen Eiche und hielt in seinen Armen die blasse, trostlose, bekümmerte Freundinn, welche von ihm und zugleicher Zeit von ihrer Seele Abschied nahm. Die ganze Natur war in Stillschweigen versunken.

Lise schluchzte — Erast weinte — verließ sie — sie fiel zur Erde — stellte sich auf die Kniee — erhob die Hände gen Himmel und sahe Erasten nach, der sich immer weiter — weiter entfernte und zuletzt verschwand — die Sonne ging auf, und die verlassene arme Lise verlohr Sinne und Gedächtnis.

Sie kam wieder zu sich — und die Welt schien ihr leer und traurig. Alle Annehmlichkeiten der Natur verschwanden für sie mit dem Geliebten ihres Herzens. «Ach! — dachte sie, — warum bin ich in dieser Einöde geblieben? Was hält mich zurück, meinem lieben Erast nachzufliegen? Der Krieg hat nichts fürchterliches für mich, fürchterlich ist mir der Ort, wo mein Geliebter nicht ist. Ich will mit ihm leben, mit ihm sterben, oder mit meinem Tode sein theures Leben erretten. Warte, warte, mein Freund! Ich komme dir nach!» Schon wollte sie Erasten nacheilen; aber der Gedanke: «Ich habe eine Mutter!» — hielt sie zurück. Lise seufzte und ging mit gesenktem Kopfe und langsamen Schritten zu ihrer Hütte. Von dieser Stunde an waren ihre Tage, Tage des Kummers und der Trauer, einer Trauer, welche vor einer zärtlichen Mutter verborgen werden musste: desto mehr litt ihr Herz. Es erleichterte sich nur dann, wenn Lise im Dickechte des Waldes frey und ungestört Thränen vergießen und über die Trennung von ihrem Geliebten seufzen konnte. Oft vereinigte die traurende Turteltaube ihre Stimme mit ihren Klagen. Aber zuweilen — doch äusserst selten — erhellte ein goldener Strahl der Hoffnung, ein Strahl des Trostes ihren finstern Kummer. «Wie glücklich werde ich seyn, wenn er zu mir zurückkehren wird! Wie wird sich alles verändern!» Von diesem Gedanken wurde ihr Blick heller, die Rosen auf ihren Wangen wurden frischer, und Lise lächelte wie ein schöner Maymorgen nach einer stürmischen Nacht. Auf diese Art verflossen zwey Monathe.

Eines Tages ging Lise nach Moskau, um Rosenwasser zu kaufen, mit welchem ihre Mutter ihre Augen heilte. Auf einer großen Straße begegnete ihr ein prächtiger Wagen, und in dem Wagen erblickte sie Erast. «Ach!» — rief Lise, und stürzte zu ihm; aber der Wagen fuhr vorbey und kehrte in einen Hof. Erast stieg aus dem Wagen und wollte schon auf die Treppe eines großen Hauses steigen, als er auf einmal — sich in Lisens Armen befand. Er erblasste — darauf ohne ein einziges Wort auf ihre Ausrufungen zu sagen, nahm er sie bey der Hand, führte sie in sein Kabinet, schloss die Thüre zu und sagte: «Lise! Die Umstände haben sich jetzt geän-

dert; ich werde heyrathen; du musst mich in Ruhe lassen und mich um deiner selbst willen vergessen. Ich habe dich geliebt und liebe dich noch jetzt — das heisst, ich wünsche dir alles Gute. Hier sind hundert Rubel (er legte das Geld in ihre Tasche), nimm sie — erlaube, dass ich dich zum letztenmale umarme und — gehe nach Hause». Ehe noch Lise sich besinnen konnte, führte er sie aus dem Kabinete und sagte zu seinem Bedienten: «Führe dieses Mädchen aus dem Hause heraus».

Mein Herz weint Blut in diesem Augenblicke. Ich vergesse, dass Erast ein Mensch ist — ich mögte ihm fluchen — aber meine Zunge rührt sich nicht — ich sehe gen Himmel und Thränen fallen aus meinen Augen. Ach, warum schreibe ich nicht einen Roman, sondern traurige Wahrheit!

Also hatte Erast Lisen betrogen, als er ihr sagte, dass er zur Armee abginge? —Nein, er war in der That bey der Armee; aber statt mit dem Feinde zu kämpfen, hatte er Karten gespielt und sein ganzes Vermögen verspielt. Bald wurde der Friede geschlossen, und Erast kehrte nach Moskau zurück belastet mit Schulden. Es blieb ihm nur ein einziges Mittel übrig, seine Umstände zu verbessern, — eine bejahrte, reiche Wittwe zu heyrathen, welche schon seit langer Zeit in ihn verliebt war. Er entschloss sich dazu und wohnte jetzt in ihrem Hause, nachdem er seiner Lise einen herzlichen Seufzer gewidmet hatte. Aber kann dies alles ihn rechtfertigen?

Lise befand sich auf der Straße in einer Lage, die keine Feder zu beschreiben im Stande ist. «Er, er hat mich aus dem Hause gejagt? Er — liebt eine andere? Ich bin verlohren!» — so waren ihre Gedanken, ihre Gefühle! Eine schreckliche Ohnmacht unterbrach sie auf einige Zeit. Eine mitleidige Frau, die auf der Straße ging, sahe Lisen auf der Erde liegen und suchte sie wieder zu sich zu bringen. Die Unglückliche öffnete die Augen — stand mit Hülfe dieser guten Frau auf — dankte ihr und ging, ohne selbst zu wissen wohin. «Ich kann nicht mehr leben, — dachte Lise, — nein, ich kann nicht!.. Oh, wenn der Himmel über mir einstürzen sollte! Wenn doch die Erde mich Arme verschlingen mögte! Nein! Der Himmel stürzt nicht; die Erde bebt nicht! Wehe mir!» Sie ging aus der Stadt heraus und sahe sich plötzlich am Ufer eines tiefen Teichs, im Schatten alter Eichen, welche noch vor wenigen Wochen die stummen Zeugen ihres Entzückens waren. Diese Erinnerung erschütterte ihre Seele; die fürchterlichste Qual malte sich auf ihrem Gesichte. Aber nach einigen Augenblicken versank sie in ein dumpfes Nachdenken, dann — sahe sie sich um und erblickte die Tochter ihres Nachbarn, ein Mädchen von fünfzehn Jahren, die auf dem Wege ging — sie rufte sie zu sich, nahm aus der Tasche das Geld, was sie von Erast bekommen hatte, gab es ihr und sagte: «Liebes Hannchen, liebe Freundinn! Bringe dieses Geld zu meiner Mutter, es ist nicht gestohlen — sage ihr,

dass Lise gegen sie sehr schuldig ist; dass ich ihr meine Liebe zu einem grausamen Menschen — zu E... aber warum braucht sie seinen Namen zu wissen? Sage, dass er mich betrogen hat — bitte sie, dass sie mir vergeben mögte — Gott wird ihr helfen — küsse ihre Hand, so wie ich jetzt die deinige küsse — sage, dass die arme Lise sie umarmt — sage ihr, dass ich...» Bey diesen Worten stürtzte sie sich ins Wasser. Hannchen schrie laut auf, fing an zu weinen; konnte sie aber nicht erretten: lief ins Dorf — es kamen Leute und zogen Lisen aus dem Wasser; aber sie war schon todt.

Auf diese Art endigte ihr Leben ein Mädchen, das schön an Körper und Seele war. Wenn wir uns da, im künftigen Leben sehen, so werde ich dich kennen lernen, zärtliche Lise!

Man begrub sie neben dem Teiche, unter einer finstern Eiche, und setzte ein hölzernes Kreutz auf ihren Grabhügel. Hier sitze ich oft in tiefem Nachdenken — vor meinen Augen der Teich; über mir rauschen die Blätter.

Lisens Mutter hörte den schrecklichen Tod ihrer Tochter, und das Blut erstarrte in ihren Adern von Schrecken — ihre Augen schlossen sich auf immer. Die Hütte blieb leer. In ihr sauset der Wind, und die abergläubischen Landleute, die des Nachts diesen Lerm hören, sagen: «Da seufzt ein Todter; da seufzt die arme Lise!»

Erast blieb bis ans Ende seines Lebens unglücklich. Da er Lisens Schicksal erfuhr, konnte er sich nicht trösten und hielt sich für ihren Mörder. Ich machte seine Bekanntschaft ein Jahr vor seinem Tode. Er selbst erzählte mir diese Geschichte und führte mich an Lisens Grab. Jetzt sind sie vielleicht schon versöhnt.

ТРИ ПРОБНЫЕ ЛЕКЦИИ НА НЕМЕЦКОМ, ФРАНЦУЗСКОМ И РОССИЙСКОМ ЯЗЫКАХ, ЧИТАННЫЕ В ИМПЕРАТОРСКОМ МОСКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ДОКТОРСКОЙ СТЕПЕНИ

⟨*Лекция третья*⟩

О РАСТЕНИЯХ, КОТОРЫЕ БЫ ПОЛЕЗНО БЫЛО РАЗМНОЖАТЬ В РОССИИ

Можно сказать, что почти все части натуральной истории равно полезны и важны, потому что всякая часть доставляет человеку такие выгоды, которых никакая другая заменить собою не может. Так, напри-

мер: астрономия и физика дали нам способ, посредством торговли и мореплавания, узнать дальнейшие страны света и иметь с ними сообщение; минералогия купно с химиею научила нас употреблению металлов, и в особенности железа; царство животных снабжает нас нужнейшими потребностями жизни, пищею и одеждою. Но при всем том ботаника, кажется, более всех других частей натуральной истории приносит нам пользы, и по сей причине сия наука есть одна из самонужнейших.

Вы, милостивые государи, будете в этом со мною согласны, когда помыслите, что то искусство, которое делает государства благополучными и цветущими, которое переменяет нравы целых народов, которое диких и скитающихся людей делает кроткими и общежительными, что сие искусство — я говорю о земледелии — есть не что иное, как часть ботаники. Главнейшая же должность занимающихся ею есть помогать экономам; подавать им идеи, споспешествующие усовершенствованию сельского домоводства; заботиться о лучших способах производить оные в действо и стараться как можно более разводить полезные растения, показывая средства легко и с успехом размножать оные. Россия занимает не последнее место между государствами, которых жители руководствуются правилами ботаники. Доказательством сему служить могут труды многих достаточных частных людей и членов Императорского Экономического общества. Старания сии сделать общеполезными такие растения, которые у нас неизвестны, — при великой обширности государства, при различных в оном климатах и родах земли, — не могут остаться безуспешны.

Так, например, весьма бы полезно было развести в России *сарачинское пшено*. В южных странах Волги, которые довольно населены и в которых по сей причине сеяние обыкновенного водяного сарачинского пшена было бы вредно, — можно разводить китайское *горное пшено*, которое не требует столько воды и не вредит здоровью жителей тех мест, подле которых оно растет. Обыкновенное же пшено можно бы сеять в малонаселенных местах около Кавказа. Давно уже известен в тамошних странах род пшена (porgho, holius sorghum), растение весьма полезное и стоящее большего размножения по причине муки, которую делают из его зерна и которая, особливо для рабочих людей, доставляет весьма здоровую и сытную пищу. Далее к северу весьма бы выгодно было размножение *сибирской* и *татарской гречихи*, которая не столько боится мороза, как обыкновенная, нами употребляемая, не требует почти никаких трудов и притом дает столь же приятную и здоровую пищу, как и наша гречиха. Жители большей части Средней Сибири сеют ее и употребляют с немалою для себя пользою. К растениям, которые сдела-

лись весьма значащими для земледелия, принадлежит также (knekelrübe) *большая репа*. Оставив растения, которые могут служить нам пищею, обратимся к одному весьма достойному примечания, находящемуся со льном и с пенькою, которые столь важны для российской торговли, в одном классе. Обработывание оного на берегах морей Черного и Каспийского, если бы только было успешно, по крайней мере столь же великие доставило бы выгоды, как лен и пенька. Я говорю о так называемом *льне Новой Зеландии* (phormium tenax), открытом во время путешествия Кукова,[1] которой обработывается уже в Южной Франции и обещает хороший успех. Сие растение не нужно сеять всякой год; оно пускает корень, которой переживает зиму и посредством которого весьма удобно может распложаться. Оно имеет листья длиною от полутора до двух аршин, которых жилочки крепостью и блеском превосходят все другие, до сих пор известные, такого рода произрастения. Они весьма походят на шелк, и когда хорошо приготовлены, не портятся от воды. Южная половина Крыма и земли, находящиеся за Кавказом, также весьма были бы для сего удобны. Опыты, которые в России деланы были над разведением растения, приносящего *хлопчатую бумагу*, не могли быть безуспешны; но они еще более доставили бы выгод, если б употреблены были к сему американские того ж роду растения, которые б вознаградили большею прибылью старания сельских экономов.

Опыты разведения *индига*, которые во всей Европе были неудачны, — может быть, не были бы таковыми в жарких степях Южной России. Вероятно, Сибирь имеет еще множество других красильных растений, которые нам еще неизвестны и которых открытия должны мы ожидать от рачительности будущих времен.

Другая часть науки о растениях, в которой еще яснее видно великое влияние на оную ученой ботаники и которой распространение по всему свету довольно доказывает ее пользу, есть *садовое искусство* со всеми своими отраслями. Оно, кроме полезности своей, доставляет человеку чистейшие удовольствия. Особые части сего искусства в иных государствах приведены на высшую степень совершенства, как напр⟨имер⟩ разведение цветных луковиц в Голландии, фруктовых деревьев во Франции, самых редких иностранных растений в Англии и проч. При всех трудностях, с которыми должна бороться Россия для достижения равного степени совершенства, нигде не стараются о том с бо́льшим прилежанием и успехом, как у нас; но, к сожалению, не в южных странах, где прекрасный климат и хорошая земля более споспешествовали бы таким стараниям.

Мы можем похвалиться, что и в нашем отечестве есть много растений, которые весьма полезны и примечания достойны. К таковым принадлежит весьма вкусная так называемая *морская капуста* (crambe maritima), которой очень много в Крыму; она весьма скоро, не требуя усилий, распложается и почти не боится холода. Также весьма важно и достойно внимания сельских хозяев того же роду растение, природное Венгрии, а может быть и Молдавии, и некоторым другим местам на берегах Днестра. Оно называется *хлебной корень*, или *татария*, и имеет весьма большой корень, дающий хорошую и здоровую пищу, хотя не весьма нежную.

Малороссия и берега Волги могли бы снабжать всю Россию прекраснейшими цветами и плодами; тем прекратился бы дорогой и невыгодной для нас вывоз сих произведений из чужих краев. Весьма странно, что тюльпаны, которых настоящее отечество есть Россия, в Голландии, посредством великих стараний, гораздо прекраснее, нежели в самой России.

Еще прежде должен бы я упомянуть о растении, которым изобилует Россия, от Средней Сибири до Камчатки, и которое не требует большого за собою хождения, а может приносить величайшую пользу. Я говорю о так называемой *сладкой траве* (heracleum sibiricum). Во всем Севере нет растения, которое содержало бы в себе столь много сахару. Камчадалы, которые совсем не знают искусства делать сахар, сушат корешки сего растения, и после, чрез одно только отряхивание оных, получают из пуда около четверти фунта сахарного песку. Если обратить внимание только на одну пользу, которую сие растение приносило бы для гнания горячего вина, то вышла б из того уже та выгода, что меньше на сие употребляли б хлеба. Гмелин говорит, что из 3 или $2\,^1/_2$ пудов сих корешков можно получить целое ведро простой водки.[2] Не многие растения требуют так мало стараний и забот, как это.

В восточной части России от реки Волги находится еще много кореньев весьма вкусных и здоровых. По большей части они растут сами по себе, но многие из них заслуживают быть разводимы; к таковым принадлежит растение, называемое *бес*, или *калдык* (erythronium, dens canis), и камчатская лилия (зарана). Первое находится уже во многих садах для украшения, весьма легко размножается и без всяких трудов могло бы быть разводимо.

Важнее всего размножение *виноградников*, для которых южные страны России, кажется, нарочно сотворены. Напр⟨имер⟩, на Кавказских горах растет самородный *виноград*. Недоставало только у нас до сих пор *знания* приуготовлять из него хорошее вино; но Паллас принес

в этом отечеству нашему такую же пользу, как Шапталь Франции.[3] Весьма вероятно, что обработывание винограда в России могло бы в короткое время достигнуть такого же совершенства, как и в других землях. *Грузия* представляет России случай расплодить не только оранжевые, гранатные и оливковые деревья, но даже, может быть, и то растение, которое всем сделалось нужнейшею потребностию и всей Европе стоит великих денежных сумм; я говорю о *чае*, особливо *черном*, которой растет в северной части Китая. Обработывание оного в таком климате, как грузинской, весьма возможно. Опыты к разведению и приуготовлению оного, конечно, сначала будут не во всем удачны; но прибыль, которую принес бы даже посредственной чай, столь велика, что вознаградила бы все употребленные на то иждивение и труды.

Еще одно отделение ботаники составляет *наука о лесоводстве*, которая день ото дня делается важнее. Известно, что Россия во многих странах изобилует лесами всякого рода; однако ж есть и такие места, где терпят ныне великой недостаток в дровах, а особливо в строевом лесе. Внутренние губернии России богаты деревьями, которые весьма бы полезно было размножать и которые послужили бы украшением тех мест, где б они росли. К таковым принадлежит, во-первых, *лиственница*, которая может расти на самой дурной земле и имеет дерево гораздо лучше всякого другого хвойного лесу. К ним же принадлежат *ель* и *кедр*; первая, по великому и прямому своему стволу, может быть употреблена на разные строения лучше обыкновенной сосны; также черная береза, обыкновенная северная белая ольха и множество родов сибирских акаций, из которых обыкновенная всем известная акация дает великое множество семян, которые могут служить и для пищи.

Не упоминая о великом количестве других прекрасных и преполезных растений, которыми особливо Южная Россия изобилует, обратимся к той спасительной части ботаники, которая одна заслуживает величайшее внимание в рассуждении пользы, приносимой ею человеческому роду. Я говорю о помощи, которую нам доставляют познания действий растений на животных и на человека. Польза сей части ботаники столь велика и неоспорима и столь тесно сопряжена с медициною, что всякой врач непременно должен быть вместе и ботаником. Правда, что в числе полезных для медицины трав и растений весьма много таких, которых открытием обязаны мы одному случаю; но и тогда ботаника нужна для большего удостоверения в пользе оных. Так, например, открытием, что *хина* лучшее средство против лихорадки, обязаны мы случаю; но ботаники после того нашли несколько родов хины, еще первой полезнее, как например красную хину, желтую хину и проч.

Россия весьма богата употребительными в медицине растениями; едва ли не самое полезнейшее из них есть примечания достойное rhododendron chrysanthum, *пьяная трава*. Рассказы о ее действиях почти невероятны; сию траву весьма редко у нас употребляют, но в чужих краях она употребляется и даже в аптеках считается драгоценною редкостию. Мы имеем великое множество разных родов ароматической *полыни*, artemisia; также много у нас родов *валерианы* и *генцианы*. Сибирь производит множество ядовитых растений, которые в руках искусного *врача* не только теряют вредные свойства, но делаются полезными и действительнейшими лекарствами.

Вам известно, милостивые государи, что статья, до которой теперь только слегка я коснулся, могла бы подать обильную материю для длинного *ученого* рассуждения; но не употреблю во зло снисхождения вашего и поспешу по возможности своей исполнить долг, возлагаемый на меня признательностию. Сей долг от всех других тем отличается, что он содержит в себе приятнейшую для меня награду. Ваше ободрение слабых моих успехов превзошло мою надежду, и я не осмелился бы считать себя достойным отличия, которым вы, именитые мужи, почтили меня, если б не под вашим же руководством проходил я науки и если б не ваш разум сообщил моему часть своего богатства. Примите, милостивые государи, должную дань справедливой моей благодарности. Она пребудет вовеки незабвенною в душе моей. Пока буду чувствовать, что ношу на себе сей священный долг, до тех пор не перестану иметь выгодного мнения о собственном своем сердце.

МОЛОДОЙ ОХОТНИК...

⟨ПЕРЕВОД НАЧАЛА НОВЕЛЛЫ-СКАЗКИ Л. ТИКА «РУНЕНБЕРГ»⟩

Молодой охотник во внутренности гор сидел в задумчивости у расставленных им для ловли птиц сетей; журчание вод и шелест рощи раздавались в уединении. Он помышлял о своей участи, о том, что в таких молодых летах оставил он отца, мать, родину [и], всех знакомых и друзей в своей деревне, чтоб искать чужих стран и удалиться из круга обыкновенных своих занятий, потом, опомнясь, он с некоторым удивлением взглянул на окружавшие [свои] его места и на растянутые пред ним сети. Большие тучи тянулись по небосклону и терялись за горами, птицы пели в кустарнике, и эхо [им] повторяло их пение. Он медленны-

ми шагами сошел с гор и сел [на берег] у ручья, шумно извивающегося по камням. Он [слушал] прислушивался [беспрестанно] к изменяющемуся журчанию вод; казалось, будто волны ему непонятным языком говорили тысячу вещей, чрезвычайно для него важных, и он тосковал, что не понимал их речей. Потом он опять смотрел на окрестности, и ему казалось, что он весел и счастлив: таким образом он ободрился и громким голосом запел охотничью песнь.

Во время пения его солнце совсем опустилось, и широкие тени расстилались по долине. Свежий сумрак начал покрывать землю, и одни только вершины гор и рощей позлащались вечерним светом. Христиану всё становилось грустнее, ему не хотелось возвращаться к своим сетям и не хотелось остаться тут, [ему] всё казалось ему так пусто, и он сожалел, что с ним никого нет, желал опять быть с людьми. Теперь он желал иметь книги, которые он прежде видел у своего отца и которых он никогда не хотел читать, несмотря на частые увещевания отца своего; ему пришла на память молодость.

С САМЫХ МОЛОДЫХ ЛЕТ...

[Случалось мне] С самых молодых лет я чрезвычайный был охотник до чтения. Все книги, которые попадались мне в руки, какого бы роду и звания они ни были, я прочитывал с жадностию. Когда товарищи мои, следуя внушениям юной беспечности, занимались свойственными их возрасту играми, — я убегал от оных и искал уединенного уголка, где [бы] беспрепятственно [я] мог заняться любимым моим упражнением. [С] [Пламенное воображение десятилетнего мальчика с неизъяснимым удовольствием] Особенное же удовольствие доставляло мне чтение романов. К счастию, я никогда почти не имел недостатка в оных: отец мой, достаточный купец маленького городка в Калужской губернии, с восхищением видел страсть мою к книгам и нарочно для меня (ибо он сам не читал ничего, кроме «Московских ведомостей») вступил в переписку с Глазуновым. Каждый понедельник тяжелая почта привозила в наш городок ящик с книгами, адресованный на имя отца [и на другой же день] моего, который, никогда не жалуясь на [сии] издержки, открывал дубовый сундук, вынимал следующие по счету деньги и отправлял оные к мос...[a]

---

[a] *Слово не дописано.*

⟨ПЛАН НЕОСУЩЕСТВЛЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ⟩

Глава I. Рождение.

« — «II. Первое воспитание и смерть родителей.

« — «III. Следствия сей смерти — N. N. поступает в дом дальней родственницы.

Описание характера и образа жизни сей родственницы.

Г⟨лава⟩ IV. Знакомство новое с молодою девушкою. — [Не зрелая] Любовь.

Объяснение любви.

Г⟨лава⟩ V. Продолжение предыдущего. Старуха догадывается о любви и застает [их] молодых любовников — выгоняет К. Л. ⟨?⟩ из дому.

Тайное свидание с Аннушкою. — Ануфрич.

Г⟨лава⟩ VI. Разговор Ануфрича с Иваном. — Ануфрич советует Ивану служить.

Служба штатская. — Служба военная. Главное препятствие Ивана состоит в деньгах, а ни в той ни в другой приобрести оные невозможно.

Ануфрич приглашает Ивана прийти к нему на другой день.

Г⟨лава⟩ VII. Ануфрич открывает Ивану, что он нашел золотую руду. — Воздушные замки Ануфрича. — Ануфрич рассказывает свою историю. — Обещает Ивану половину барыша, ожидаемого от золотой руды, и советует ему ехать в Петербург и упросить, чтобы рассмотрели руду. Совет Ануфрича. — Ануфрич дает ему денег.

Г⟨лава⟩ VIII. Прощание Ивана с Ануфричем. — Обещание хранить верность взаимную. Иван отправляется в путь. — Описание путешествия.

Г⟨лава⟩ IX. Прибытие в Петербург. Иван следует советам Ануфрича, ищет знакомства с к⟨апитал⟩истами ⟨?⟩ — Надежда удачи. Обещания.

Г⟨лава⟩ X. Радость Ивана. — Он близок к удаче. — Иван проговаривается и теряет покровителей.

Г⟨лава⟩ XI. Отчаянье Ивана. — Новая надежда, новое знакомство, новые ошибки и вторичная неудача.

Г⟨лава⟩ XII. Иван обращается к жур⟨налистам?⟩ — надежда удачи, его секут и выгоняют.

Г⟨лава⟩ XIII. Иван хочет сделаться масоном. — Какое препятствие он находит в том. — Получает письмо от Ануфрича.

Г⟨лава⟩ XIV. В чем состояло письмо. — Ануфрич уведомляет о перемене положения Аннушки. — Иван решается ехать домой.

Г⟨лава⟩ XV. Приезд в дом. — Окончание.

III. ИЗ ТВОРЧЕСКОЙ ИСТОРИИ ЦИКЛА «ДВÓЙНИК, ИЛИ МОИ ВЕЧЕРА В МАЛОРОССИИ»

ИЗИДОР И АНЮТА

ВАРИАНТЫ ЧЕРНОВОГО АВТОГРАФА

С. 16.

11 *После:* приближался к Москве. — *а. Начато:* Слухи *б.* На площадях и по улицам толпился народ беспрестанно

11 ряды телег / *а.* ряды повозок *б.* ряды крестьянских телег◊

12—13 с большой Смоленской дороги / *Начато:* с большой дороги, ведущей из Смоленска, и

13—15 Они с трудом ~ любезный первопрестольный град! / *а.* На улицах встречались с толпами жителей, оставляющих — увы! на разорение — первопрестольный град! *б. Начато:* На улицах с трудом они пробирались *в.* На улицах они с трудом пробирались сквозь кучи жителей, с сокрушенным сердцем оставляющих [древний] любезный первопрестольный град!◊

15 Разного рода повозки / Здесь кареты и коляски

16 к верху и к бокам / *а. Начато:* вверху *б.* к бокам повозок◊

17 большие узлы / большие узлы и ящики◊

18 казалось / кажется◊

18—19 предусмотрела всё ~ в долгую дорогу / *а. Начато:* всё *б.* запаслась всем нужным в большую дорогу *в. Начато:* все малозначущие надобности предусмотрены и предопреждены, но забыты

19 но иные второпях забыли / *Начато:* но, может быть, забыты

19 ларчик / ящик

19—20 с бриллиантами / с драгоценными каменьями◊

20 *Слова*: в опустелом доме — *вписаны*.

20 *После:* карманную книжку с деньгами. — *вписано:* Толпы людей разного звания и возраста удалялись из города пешком,

всякий старался [унесть] взять с собою, что у него было драгоценнее.◊

21—23 *Текста:* На всех лицах ~ к спасению... — *нет.*

23—24 Здесь мать, прижав грудного младенца к трепещущему сердцу / *а. Начато:* Там множество *б. Начато:* Там женщина пешком *в.* Там мать пешия с грудным ребенком◊

25 едва начинающего ходить / *а. Как в тексте. б.* начинающего ходить◊

25 влечется за другими / *а.* спасается вместе с другими *б.* идет за другими◊

25 сама не зная куда.../ Куда? сама [то] не знает!◊

26 Там дряхлый старик / *а.* Далее старик *б.* Далее дряхлый старик◊

26 опираясь / упираясь

26 с трудом передвигает / едва влачит◊

27 Подходя к заставе / Доходя до заставы◊

27 взглядывает / озирается◊

28 город / град

28 где думал спокойно умереть... / в коем родился и [в коем] где думал умереть...◊

28—29 Стесненная грудь его едва подымается, и / Он [уже] не имеет силы вздохнуть, но◊

29—30 в полупотухших очах / в потухших его очах◊

30—31 Купцы теснятся ~ своего имущества / *а. Начато:* В городе около лавок *б.* В городе теснятся купцы около [своих] лавок, они не стараются спасти свое имущество◊

31 не дрогнув / не содрогаясь◊

31 плоды / товар

32 врагу ненавистному. / ненавистному врагу. На площадях, по улицам [рассеянные толпы] рассеян народ, в безмолвном [молчании] отчаянии взирающий на [убегающих] спасающихся.◊

С. 16—17.

32—2 *Текста:* Ужаснее всего ~ от Москвы. — *нет.*

С. 17.

2 В самом деле ~ столица / Мысль, что древняя русская столица◊

2 *После*: древняя русская столица — покажется воспоминанием, достанется неприятелю

4 эта ужасная мысль / сия ужасная мысль◊
4 не может утвердиться в народе / *а.* не может поместиться в их голове *б.* не может поместиться в их уме◊
4 Русское сердце / Они
5 супостат / Бонапарт◊
5 осмелится / осквернит
7 когда въезжал / как въехал◊
7—8 в Дорогомиловскую заставу / *а.* в ⟨*пропуск*⟩ заставу *б. Начато:* в Москворецкую
8 молодой кирасирский офицер / молодой офицер
8—10 По всему видно было ~ покрыт был пеною. / *а.* Усталый вороной конь под ним покрыт был пеною. *б.* По всему видно было, что он скакал несколько верст во всю прыть, ибо вороной конь под ним покрыт был белою пеною.◊
10 Солнце ~ светило / Солнце светило
10 с синей высоты / с голубой высоты
11 золотого / позолоченного
12 кипящим от народа / *а.* наполненным толпами народа *б.* наполненным народом◊
13 между спасающимися женщинами / между женщинами, спасающимися от неприятеля
13—16 Иногда рука его ~ большою рысью. / *а. Начато:* окровавленные шпоры *б.* [опять] он вновь вонзал окровавленные шпоры в разодранные бока усталого коня и продолжал путь свой большою рысью.
14 рука его / левая рука
14 в едущих / *а.* в какую-нибудь повозку *б.* в едущую повозку◊
15 но, заметив ошибку свою / потом, заметив свою ошибку
16 При переезде через Ехалов мост / *а.* Переехав чрез Салтыковский мост *б.* Переехав чрез [Яузский] Ехалов мост◊
17—18 любезный мой товарищ ~ не бывало / этого за тобою не бывало
18—19 Как худо плачу тебе за верную твою службу! / Как дурно я плачу за верные твои услуги!◊
22—23 В Красном Селе ~ небольшой деревянный дом / *а. Начато:* В Красном Селе, там, где начинается *б.* В Красном Селе стоял небольшой домик *в.* В Красном Селе, в приходе Тихвинской Божией матери, стоял небольшой деревянный домик◊
24 если бы он не находился / *а.* если бы не стоял *б.* если бы не находился он◊
26 коня / своего коня◊

26—27 На дворе верный страж дома ~ с униженными ласками / *Начато*: На дворе не встретил он никого

27 с униженными ласками / с радостным лаем

27—28 но он взбежал на крыльцо, не заметив даже / но он мимоходом бросил взгляд, не приласкав даже

28—29 безмолвно / тихо

29 только звук / один только звук

31 прекрасная девушка / молодая прекрасная девушка

31 кинулась / бросилась

33 в радостном восторге / *а.* с радостным воплем *б.* в радостном восхищении◊

35 милая / моя милая

35 вскричал / отвечал

35—36 прижимая ее к кирасу ~ где матушка? / прижимая ее к трепещущему сердцу, — где матушка?

39 произнес / сказал◊

С. 18.

5 остановила / не допустила◊

6 подожди меня / погоди

7 надобно ее приготовить к свиданию с тобою / надобно ее приуготовить◊

9—10 погруженный в тяжкую думу / *а. Начато:* глаза его то потуплялись в землю, то *б. Начато:* и взор то потуплялся в землю *в.* с поникшею главою, с потупленными в землю очами *г.* погруженный в тяжелую думу◊

11 неприятель вступит / неприятель скоро вступит◊

11 его мать / мать его◊

13 но Анюта, сирота, воспитанная / *Начато:* Анюта, прелестная Анюта, воспитанная

13 в их доме / в его доме

14 *После:* содрогался от ужаса — *а. Начато:* волосы *б.* холодный пот выступал на челе его

14—15 когда помышлял ~ будет в руках неприятеля / *а.* когда помышлял он о матери *б.* когда помышлял о больной матери, находящейся в руках неистового врага *в.* когда помышлял о том, что больная его мать будет в руках неприятеля◊

16 самое мучительное чувство раздирало его сердце / *а.* какое-то чувство, о котором прежде не имел он понятия, раздирало его сердце *б. Начато:* какое-то ужасное

16—17 представлялась ему / ему представлялась◊
17 прелестная Анюта / Анюта
17 неистового врага / неприятеля
18 в постеле / на постеле◊
18 бледность / смертная бледность◊
19 лицо ее / ее лицо◊
19 С трудом ~ руку. / *а.* Изидор бросился перед нею на колени, старушка подала ему дрожащую руку. *б. Начато:* Она
20 сказала она / сказала она ему
21 Создателя / Создателя моего◊
21 не ожидала / не надеялась
22 По крайней мере теперь умру спокойно... / *Начато:* По крайней мере теперь буду
22—23 Анюта останется не без защитника. / *Начато:* ибо Анюта останется с
23 Бог / Боже
24 не в силах была / не имела силы
24—25 Изидор ~ ее руку / Изидор в безмолвном отчаянии лобызал ее руку
25 Анюта рыдала / Анюта громко рыдала◊
26 в мучительном положении / *а.* в самом ужасном положении *б. Как в тексте. в.* в ужасном положении *г.* в затруднительном положении◊
27 самое жестокое / самое отчаянное
28 о спасении престарелой матери / о том, чтобы спасти престарелую мать от неприятеля◊
29 Он готов был ~ из города / *а.* Изидор и Анюта ее бы на себе вынесли из города *б.* Он бы на себе ее вынес из города *в.* Он, подобно Энею, на себе бы ее вынес из города◊
29 малейшее / самое малейшее
29—30 причиняло ей нестерпимую боль / *а.* производило ужасающую боль *б.* производило в ней нестерпимую боль◊
30—31 и могло погасить ~ искру жизни / *а. Начато:* она могла *б.* и подвергало и ⟨*1 нрзб*⟩ жизни *в.* и могло подвергнуть опасности едва тлеющую искру ее жизни◊
31 С другой стороны ~ оставить / *а. Начато:* Но каким образом *б.* С другой стороны, как решиться на то, чтобы оставить◊
31—32 и что тогда будет с Анютою? / *Начато:* Каким образом
32—33 Время было дорого ~ своей невесте / *а.* Он не мог скрыть от Анюты *б. Начато:* Тщетно он старался *в. Начато:* Время было дорого, и он решил открыть

33 тревоживших / тревожащих

33—34 Старушка ~ впала в забвение. / *а.* Мать его лежала на смертном одре и казалась в забвении. *б.* Старушка после сделанного [Изидору] сыну своему приветствия, казалось, находилась в забвении.◊

35 стояли ~ у окна / стояли в той же комнате

36 мать / старушка

36 не слышит их / их не слышит◊

37 думала ли / подумала ли

37 об опасностях / *Начато:* об полож⟨ении⟩

37—38 которым подвергается ~ в Москве / *а. Начато:* которым ты *б.* которым подвергается, оставаясь в Москве, молодая прекрасная девушка◊

39 проступает по мне / выступает на моем челе◊

40 в руках неприятелей / во власти неприятеля◊

С. 19.

1 отвечала Анюта с невинною улыбкою / *а.* ответствовала она ему *б.* ответствовала она, умильно улыбаясь *в.* ответствовала она с невинною улыбкою◊

3 Изидор страшился ~ честь / *а. Начато:* Изидор не хотел сказать ей, что *б. Начато:* Изидор не хотел привесть ее в отчаяние, объявив, что долг *в.* Изидор страшился ей объявить, что служба, присяга, честь ⟨*1 нрзб*⟩◊

4 он сказал ~ вздохнув / он, вздохнув, отвечал ей

5 — Могу ли / — Как могу

5 защитить / защищать

5—6 *Текст:* Охотно ~ что будет тогда?.. — *вписан.*

5—6 пожертвую / пожертвую я◊

6 но когда / но потом, когда◊

6 что будет тогда / что тогда будет◊

7 подойти ближе / подойти им ближе

9—10 и чувствую, что смерть приближается ко мне / *а.* и смерть приближается ко мне *б.* и чувствую, смерть приближается◊

12—13 благословение матери вашей и последняя молитва ее будут вам сопутствовать!.. / *а.* благословение матери вашей и ее молитва последуют за вами. *б.* благословение матери вашей и ее молитва будут вам сопутствовать!◊

14 упали на колени / громко рыдая, упали на колени

18—19 сказала Анюта ~ то умрем / сказала Анюта, так умрем

22—23 угрожали ему неминуемые бедствия / *а.* окружали зловещие пропасти *б.* окружали его зловещие пропасти◊

23 нигде ~ спасения! / нигде он не видел спасения.

23 Покинуть / *а.* Бросить *б.* Оставить

24 милую невесту / любезную невесту◊

24—25 какой любовник решился бы на то / какой юноша на сие бы решился◊

25 Но бросить / Но, с другой стороны, бросить

27 какая ужасная крайность / какое ужасное положение

27 воина / офицера◊

28 руки / свои руки◊

28 рвал на себе волосы / рвал свои волосы

29 одержали верх над долгом и честию / одержали победу над долгом и над честию◊

31—32 станет обвинять Изидора, вообрази / *Начато: а.* позволит себе винить *б.* позволит себе его обвинить, — перенеси себя *в.* позволит себе его обвинить◊

32 и ты о нем пожалеешь / и ты будешь о нем жалеть

33 к матери / в комнату

34 сказал он / сказал он с печальным видом

34—35 я отлучусь ~ Оставь меня одного / *а.* я необходимо должен отлучиться и возвращусь к тебе не более как чрез полчаса *б.* не более как чрез полчаса я опять у вас буду ⟨*неск. нрзб*⟩

35 возвращусь / возвращусь назад◊

36 оставаться / остаться

36—37 должен был спрятать ~ подозрение неприятеля / *а.* должен был кинуть мундир и скрыть от неприятеля всё могущее [открыть] [дать] открыть им настоящее его звание *б.* должен был надеть гражданское платье и спрятать свой мундир, чтобы ⟨*1 нрзб*⟩ удалить от неприятеля малейшее подозрение◊

38 вошел он в комнату / *а.* пошел он в свою комнату *б.* пошел он к себе◊

38 о днях / дни◊

40 в последний раз оставил он / он в последний раз оставил◊

40 родительский / материнский

С. 20.

1 разгоралась / кипела◊

1 его ожидавших! / его ожидающих, — как думал он приобресть лавры, кои осенили бы и Анюту его.◊

2 очаровательные картины / *а.* сии восхитительные картины *б.* веселые картины◊

2 освещенные / *а. Как в тексте. б.* освещаемые

3 молодости / юности◊

3 Пусть и успеет / Положим, что успеет◊

3—4 спасти умирающую мать / спасти мать

4 от грозящей опасности / *а.* от ужасов, ей грозящих *б.* от грозящей ей опасности◊

4 скрыть / сокрыть◊

5 взоров / очей◊

5 но что ожидает его в будущем / *а. Начато:* но потом *б.* но что ожидало его в будущем времени◊

6 раскаяние / поношение

7—8 где лежала ~ променял он / в котором лежали прежние его одеяния, незадолго пред тем промененные◊

9 Медленно / Медленно он стал раздеваться

10—11 когда все ~ царя и отечества / тогда когда все вооружаются для спасения отечества

11 когда все ~ кровь свою / *а.* когда дряхлые старики и слабые юноши алчут пролить кровь свою *б.* когда дряхлые старики и слабые отроки равно алчут смешать кровь свою◊

12—13 я, как презрительный трус, должен бежать от сражения / тогда я, — и, верно, я один в целом русском царстве, — как презрительный трус, оставляю [свои знамена и скрываюсь] знамена свои◊

13 Вечное посрамление / *а.* И вечный стыд *б.* И вечное посрамление◊

13—14 смерть постыдная / смерть бесславная и пошлая ⟨?⟩

14 о мнимом / о гнусном◊

15 держал / в сие время держал◊

15 медленно вынул он / он медленно вынул◊

17 как молния опалила / как зажигающий луч молнии, [пролетела] проникла◊

17—18 Он приставил / *Начато:* Скорою рукою он вынул

19 более смерти / пуще смерти◊

20 и рука его онемела / и напряженные мышцы руки его [ослабели] ослабли◊

21 *После:* вложил палаш в ножны — *начато:* и ⟨*1 нрзб*⟩ собрал и в безмолвном отчаянии продолжал укладывать

22 Уложив ~ Изидор понес / Изидор уложил мундир свой, шишак и кирас в сундук и [отнес] понес◊

23 *После:* под высоким кленом — бывшим свидетелем игр его
23 который за несколько лет / где за несколько лет
24 он глубоко зарыл сундук / он вырыл яму и опустил в нее сундук
25—26 Когда засыпал ~ честь свою.../ *а.* Ему показалось, что он тут похоронил свою честь. *б. Начато:* Засыпав яму [опять землею] [землею] и прикрыв ее дерном, ему показалось [как]
26—27 Почти без памяти ~ на холодную землю... / *а.* и он почти без памяти упал на землю. *б.* и он почти без памяти упал [на ⟨*1 нрзб*⟩ дерн] на холодную землю.◊
27 лежал он неподвижно / лежал он тут
28 и облегчили стесненную грудь / и возвратили ему память
28 возвратился / пошел
29 Анюта ~ во фраке. / *а. Начато:* Вверху *б. Начато:* У двери встретила его Анюта, и *в.* Анюта обрадовалась, увидя его [в сертуке] во фраке.◊
30 я не буду / я уже не буду
30—31 любезный Изидор ~ Бог милостив / Любезный Изидор! Бог милостив!◊
31—32 страшиться / опасаться◊
32 Пойдем к матушке / *Начато: а.* Пойдем, матушка *б.* Пойдем к матушке, и она
34 остаешься / останешься
35 взяла Изидора / взяла его◊
35 подвела к матери / подвела его к постели матери
40 платье / одеяние◊

С. 21.

1 воины наши / наши воины◊
1—2 дадут ему / ему дадут◊
2 Всё ~ по-старому / *а.* Всё опять придет в прежний порядок *б.* Всё опять будет по-прежнему
2—3 *После:* и мы будем счастливы! — *начато:* Старушка пристально посмотрела на своего сына
4 повторил Изидор, вздыхая / *Начато*: повторил томным голосом
6 опомнилась / вдруг опомнилась
8 *После:* что я вижу? — *начато:* Кто позволил тебе
13 за твою любовь / за любовь твою, но честь твоя мне дороже всего
13—15 Но отечество ~ слез матери. / *а. Начато:* Отечество тебя зовет *б. Начато:* Отечество в опасности, отечество тебя зовет,

неужели ты думаешь, что глас матери твоей *в.* Но отечество в опасности, оно тебя призывает, и глас его должен быть сильнее гласа матери.◊

17 я желала ~ мои угасающие глаза / *а.* я желала бы, чтобы ты закрыл мне глаза *б.* я желала, чтобы ты [мне] закрыл сии угасающие глаза◊

18—19 Если Ему угодно ~ и одна. / *а.* Если ⟨*1 нрзб*⟩ возможно, я буду уметь умереть и одна. *б.* Если Ему так угодно, то я готова умереть и одна.

20 я решился / я уже решился

22 *После:* Спасителя твоего! — Сын мой! Я не принимаю от тебя таковой жертвы!

23 воина / офицера

26 этой жертвы / сей жертвы◊

26—27 страшно / но страшно

31 рука Божия / кров Божий◊

31—32 близок мой конец / недолго мне осталось жить на свете

32 не отравляй ~ моей жизни / не предавай отчаянию последние часы [твоей матери] моей жизни◊

33 в отрадном уверении / *а.* в уверенности *б.* в уверении◊

33—34 имени отца своего! / своего имени.◊

36 Румянец щек ее потух / *а. Начато:* Бледность покрыла *б.* Румянец исчез с ее ланит◊

38 — Пусть будет по-вашему, матушка! — сказал / — Быть так, — вскричал

39 Иду готовиться к отъезду! / Пойду надеть мундир.

40 кинулась / упала◊

С. 22.

1 привело Изидора в исступление / *а.* привело в отчаяние Изидора *б.* привело в исступление Изидора◊

2 решительно / твердым голосом

2 не оставлю / не оставлю я◊

3 неприятелю / врагу

3 *После:* неприятелю... — *начато:* Лучше перенесу тысячу смертей, нежели

4 при одном о ней помышлении!.. / при одном помышлении о ней.◊

5 ободрись, уповай / *а. Начато:* ободрись, собери свои *б.* ободрись, собери силы свои. Уповай

5 матери / умирающей матери

6 возвратиться / ехать◊
12 исполни / послушай же
14 Но если ты презришь / *а.* Но, сын мой, если не исполнишь *б.* Но если ты отвергнешь
14 неприятель найдет / неприятель при вступлении в Москву найдет◊
16 своему отечеству / своего отечества◊
17—18 Старушка ~ лишилась чувств. / *а. Начато:* Старушка после сих слов опустила голову на подушку и от сильного напряжения чувств осталась без [как без] *б.* Старушка приклонила голову к подушке и [после] от сильного напряжения казалась лишенная чувств.◊
21 от вас / от тебя
23 произнес он / *а.* сказал он ей *б.* сказал он◊
23 дрожащие / трепещущие
23—24 к ее руке / к ослабевшей ее руке
24 *После:* Я еду — в армию!
28 но сердце ее цепенело от страха / *а. Как в тексте. б.* но сердце цепенело в ней от страха◊
28—29 что Изидор ее оставит / *Начато:* что она останется
29 он / Изидор
30 в кирасирском / в блестящем
31—32 простился с матерью ~ ее руку / *а.* подошел к матери, которая, казалось, лежала без памяти *б. Начато:* простился с матерью, которая [еще более ⟨*1 нрзб*⟩] так была слаба, что
32 обратился он / он обратился◊
34 *После:* Да сохранит вас Бог! — *а. Начато:* Она ему *б.* Она не отвечала ему ни слова, только взоры блуждали по комнате.
35 Анюта ~ милого друга / *а.* Она крепко обняла его *б.* Она крепко обняла своего друга *в.* Она крепко обняла милого друга◊
39 удалился / пошел◊
39—40 не приходило даже на мысль отдыхать / не пришло даже на мысль отдохнуть

С. 23.

1 входили / въезжали
2—3 и в его хижину / и в его дом
3 мать ~ скончалась / матери его уже не было в живых
3 бесчеловечные / но бесчеловечные◊

4 над мертвым телом / *Начато: а.* над холодным *б.* над охладевшим трупом старухи — громкие слова раздавались по комнатам

5 под стол / на пол

5—6 волосы ее / ее волосы◊

6 смех / их смех

7 в его ушах / по комнатам

7 плачущую Анюту / Анюту

8 хищников / их

8 русской красавицы / молодой россиянки◊

9—10 ударил себя в грудь / заскрежетал зубами◊

10 к открытому окну / к окну

10 мрачные мысли / свои мысли◊

12—13 ничего в природе не предвещало / *а.* ничто не предвещало *б.* ничто в природе не предвещало◊

13 угрожавших древней столице / долженствующих нагрянуть на [столицу] древнюю столицу◊

15 подумал / сказал

15 приду я / я приду◊

20 не будешь спать / не думаешь спать◊

21 не смыкаются / *а.* не закрываются *б.* не могут закрыться◊

22 под клен / *а. Как в тексте. б. Начато:* ⟨на⟩ дерновую *в.* под кленом◊

23 прелестная / прекрасная

23 Взоры / Уста

24—25 *После:* в его жилах — Анюта забыла весь свет, кроме своего Изидора

25 в жаркий / в долгий

26—27 Они забыли ~ кроме / и они забыли весь свет, кроме

28 начала разгонять мрак ночи / *а. Начато:* осветила *б.* начала прогонять мрак ночной *в.* начала прогонять ночной мрак◊

29 встали / поднялись◊

30 румянец стыдливости / *а.* румянец *б.* румянец девственной стыдливости◊

31 заблистали / блистали

37 я лучше умру... / я буду уметь умереть!◊

38 Феникса / верного Феникса◊

38 Бодрый / Добрый

38 забыл уже / *а. Начато:* отдохнул *б.* уже забыл◊

39 он грыз / он нетерпеливо грыз
39 бил / ударял◊
40 и пошел / и пошел вверх◊

С. 23—24.

40—1 погруженною в сладкий сон / погруженная в сладком сне◊

С. 24.

1 ее дыхание / дыхание ее◊
3 попроси / то попроси
4 благословила своего сына / меня благословила
5 вместе сошли / оба сошли
5 *После:* сошли с крыльца — *начато:* и [подошли] приближались
6 — Теперь прости / — Теперь прощай
6 может быть, навеки / прости навеки
6—7 Прости ~ и на смерть моя! / Прости, моя супруга, — [и] сохрани себя для меня...◊
8—9 Я буду помнить свой долг / *а.* Твоя супруга будет достойна Изидора *б.* Супруга твоя будет помнить свой долг◊
9—10 меня не увидишь / не увидишь◊
11 смешались / смешались вместе◊
14 в правой ее руке / *а.* в руке *б.* в правой руке ее◊
14—15 блистал обнаженный кинжал / блистал кинжал
16—17 отвернул голову / отвернул свой взор
17 Феникса / своего коня
18 Долго стояла она / Она долго стояла
18 где / на котором◊
19 и возвратилась / *Начато:* и медленными шагами
20—21 показавшихся ~ шестью веками / показавшихся веками жителям, оставшимся в Москве
21—22 зазвучали ~ величественного Кремля / *а.* загремели колокола в величественном Кремле *б.* загремели опять колокола с высоких башен величественного Кремля◊
22—24 Вздрогнули сердца ~ чему приписать / Немногие жители, оставшиеся в Москве во время нашествия французов, вздрогнули, но, не зная еще, чему приписать
24—25 выйти из домов своих / оставить домов своих◊
26 Волнуемые страхом и надеждою / Между страхом и надеждою◊

26—27 показаться за ворота / *а.* выйти на улицу *б.* выйти за ворота◊

28 разоренной столицы / *а.* опустелой Москвы *б.* разоренной Москвы◊

28—29 при виде / *а. Как в тексте. б.* увидя

28—29 *После:* объяло их при виде — *начато: а.* престольного града *б.* развалин *в.* величественных

29—30 не могли ~ этого чувства / *а.* не в полной мере разделяли счастие избавленных ими *б.* не могли в полной мере разделять счастие избавленных ими◊

33 посреди дымящихся развалин / *Начато: а.* посреди мест, украшенных огромными ⟨*1 нрзб*⟩ *б. Начато:* между развалинами, дымящимися *в.* между дымящимися развалинами◊

34 возвышались на месте / заступали место◊

34 *После:* огромных каменных палат — *начато:* кучи угля

35 домики / домы◊

35—36 большие пространства ~ ужасными пустынями / целые пространства прежде ⟨*1 нрзб*⟩ жилищами ⟨*1 нрзб*⟩ являлись ужасными пустынями

39 к Ехалову мосту / *а. Начато:* к Яузскому мосту, и всадник *б.* к Яузскому мосту, между тем как всадник понуждал его еще шпорами и ударами, безжалостно раздирая бока его *в.* к Эхолову мосту, но он еще сильнее понуждал его, безжалостно раздирая его бедра◊

39 На груди / *Начато:* Рука его

39—40 блистал Георгиевский крест / блестел крест храбрости◊

40 еще не исцеленная / *а.* была перевязана *б.* еще не зажившая

С. 25.

1—2 на разбросанные / на валяющиеся◊

2 *После:* прямо вперед — и, кажется, хотели достигать⟨?⟩ до желанного места.

3—4 достигнуть / достичь до◊

4 промчался он чрез Ехалов мост / *а.* он переехал Яузский мост *б.* он переехал Эхолов мост

5—6 Подъехав к церкви Тихвинской Божией матери / *Начато:* Подъехав к улице

6 он остановился / он остановил коня◊

6 изумленный взор его блуждал / изумленные глаза его блуждали◊

6—7 по всем сторонам / *Начато:* по опустелым

8—9 приходская наша церковь; тут — они жили!.. / *а. Начато:* церковь, — здесь был дом *б. Начато:* церковь, — тут должен быть дом мой *в.* церковь Тихвинской, тут жила — она!◊

10—11 родительского дома! / *а.* дом. *б.* родительский дом.◊

11 Свирепое пламя давно пожрало / Жестокий пламень давно пожрал◊

11 где / в которой◊

12—13 успели уже развеять и пепел ее!.. / *а.* успели уже развеять пепел... *б. Начато:* оставшиеся *в.* уже успели развеять оставшийся от него пепел...◊

13—14 громко вскрикнул он / он громко вскричал◊

14 простиравшему / простирающему◊

15 обгорелые ветви / лишенные листьев ветви◊

16 Бывшие с ним казаки / Казаки, бывшие с ним◊

17 подняли его / его подняли◊

17 отнесли / отнесли его◊

17 уцелевший / спасшийся◊

18 Там / Здесь◊

19—20 поспешными шагами пошел / направил стопы свои прямо

20 *После:* к своему саду. — *начато:* Там сел он

20—21 *После:* последовал за ним — из дома.

21—22 В это время ~ видно было / *а.* при лунном свете приметно было *б.* в сие время показалась луна, и при свете ее видно было◊

22—23 отскочил назад / отскочил

23 встретил / увидел◊

23 он опять / опять он

25—26 томным и вместе радостным голосом / томным голосом

26 Отчего / Но отчего

27—28 *Текста:* Ветер ударил ~ отвечающий — *нет.*

29 *После:* «В моем сердце!..» — отвечал женский голос [похожий на звук], сходный с звуком гармоники. — Изидор! я достойна тебя!
— А где матушка?
— Она умерла прежде вступления неприятеля.
Офицер, последовавший за Изидором, слышал голос, ему отвечающий, но не видал никого.◊

30 подле меня / ко мне

30 опускаясь / садясь [под]◊

31 *После:* что тебя вижу... — *начато: а.* Молодой офицер не хотел *б.* Молодой офицер страшился подойти к нему. Густая туча закрыла луну

32 за облаками / *Начато: а.* за мрачными *б.* за густыми
34 *После:* в плащ — *начато:* и лег
34 пробыть / остаться тут
34—35 чтобы в случае нужды подать ему руку помощи / чтобы подать ему руку помощи в случае нужды
36 Тут встал он / потом встал◊
36 и пошел с товарищем в дом / и пошел вместе в дом
37 ни слова на все его вопросы / ему ни слова на его вопросы◊
39 дома / в доме
39 не говорил / он не говорил◊

С. 25—26.

40—1 изъявляли участие в судьбе его.../ *а.* показывали ему участие. *б.* показывали ему участие, которое принимали они в его судьбе.◊

С. 26.

1 невозможно было удержать его / нельзя было удержать его никаким образом◊
2 спешил / поспешал◊
2—3 храброго и доброго Изидора / его
3 всякий раз / всегда
4—5 рылся он ~ остававшимися на том месте / *а.* он рылся в сожженных бревнах, оставшихся на том месте *б.* он рылся между сожженными бревнами, оставшимися на том месте◊
5—6 и как будто / и казалось, как будто◊
7—8 товарищ его ~ домой / *а. Начато:* они поутру *б. Начато:* они на рассвете заметили, что Изидор *в.* товарищи, по обыкновению, подошли к [Изидору] нему на рассвете, чтобы проводить его домой◊
8 Изидор / Но он
9—10 душа уже оставила бренное свое жилище / *а.* душа его оставила бренное его тело *б.* душа его уже оставила бренное тело◊
10—11 *Фразы:* Окостеневшая рука его держала заржавленный кинжал... — *нет.*
11 Перед ним ~ череп... / обеими руками прижал он крепко к сердцу полусгоревший человеческий череп.◊

НЕСЧАСТНАЯ ЛЮБОВЬ ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

*ВАРИАНТЫ АВТОРИЗОВАННОЙ КОПИИ**

С. 36.

13—15 В мае 17** года ~ в славном Лейпцигском университете. / *а.* В 1780-м году, в маие месяце, отправился я в Германию с молодым графом Н***, предпринявшим кончить курс учения в славном Л⟨ейпцигском⟩ университете. *б.* В мае 1780-м году[a] предпринял я путешествие в Германию с молодым графом Н***, которого отправил туда его отец для окончания курса учения в славном Лейпцигском университете.◊

15—16 служили долгое время вместе на поле чести и сохранили / служив долгое время вместе на поле чести, сохранили

17—18 в неотступной просьбе старому графу / неотступной просьбе старого графа◊

18 и богатства / и имения

19 испытанного и неизменного друга / верного и неизменного друга◊

С. 36—37.

20—12 Сопутнику моему ~ на взаимном уважении. / Сопутнику моему (я назову его Алцестом) было не более двадцати лет; но [пылкий его ум и пламенная душа, казалось, соделывали его зрелым мужем] [пылкий его ум и пламенная душа показывали его совершенным] пылкий его ум и пламенная душа показывали его зрелых лет человеком, и, несмотря на то что я пятнадцатью годами был [старее его] его старее, [отношения наши] наши отношения друг к другу [носили на себе печать взаимного уважения] основаны были на взаимном уважении.◊

С. 36.

20—21 было тогда не более двадцати лет / *а.* было не более 20-ти лет *б.* было не более двадцати лет от роду◊

---

* *Ниже следует свод вариантов писарской копии и вариантов авторской правки по тексту копии. Текст копии до правки отражают варианты, обозначенные буквой а., и не имеющие буквенного обозначения варианты, отмеченные ромбом. Правка по тексту копии отражена в вариантах, обозначенных буквами б., в., г.; в вариантах, не отмеченных ромбом, а также в случаях, где использованы квадратные скобки.*

[a] *Так в копии.*

С. 37.

11—12 *После*: основаны были на взаимном уважении. — Итак, не в качестве ментора я сопутствовал ему, но в виде человека, которому тесная связь родителей наших и долговременный навык быть вместе давали право ближайшего родственника.◊

12—13 *Фразы:* Алцест весьма обрадовался ~ быть ему товарищем. — *нет.*

13 Ему / Алцесту◊

13 прожить / пробыть◊

13—14 в Лейпциге / в Л⟨ейпциге⟩

14 Старый граф полагал, что сын его соделается через то / дабы соделаться◊

15—16 высокого назначения ~ давали ему право / поста, к которому призывали его знаменитое происхождение, заслуги отца и несметное богатство

16—17 Итак, сколь ни трудно ему было / Сколь ни трудно было старому графу Н.◊

17 эта / сия◊

18—19 горесть родительского сердца / горесть отца◊

20—21 наших стариков / стариков наших◊

22—24 *Фразы*: Дорогою я не пропускал случая ~ старания мои не совсем были безуспешны. — *нет.*

24—25 Прибыв в Лейпциг ~ банкиром Фр.** / *а.* В Л⟨ейпциге⟩ остановились мы в Гр⟨иммской⟩ улице, на квартире, заготовленной для нас банкиром Фр. *б.* В Лейпциге остановились мы в Гриммской улице, на квартире, приготовленной для нас банкиром Фр.◊

27 протекли / *а. Как в тексте. б.* прошли◊

28 его окрестностей / окрестностей оного◊

28 Банкир познакомил нас / *а.* с помощью банкира нашего мы познакомились *б.* наш банкир познакомил нас◊

28 коих / которых◊

29 *После*: вопреки германской бережливости — и торговых своих занятий◊

30 случалось / случилось◊

30 в Германии / в чужих краях◊

30—31 не оставил / не оставит

31 хорошего расположения немцев к русским / *а.* сколь хорошо в Германии расположены к русским жители обоего пола *б.* хорошего расположения немцев и немочек к русским

32 пригожий / прекрасный

35—36 имея в свежей памяти ~ не примечал / вежливый и ласковый со всеми, не примечал◊

36 своекорыстной / корыстной◊

37 дочек / дочерей◊

37—40 Отвлеченные рассуждения ~ лейпцигских красавиц. / *а. Начато:* отвлеченный рассуждениями милых профессоров *б.* отвлеченные рассуждения чинных профессоров и глубокие расчеты задумчивых купцов-спекуляторов, казалось, приятнее [казались приятнее] для него приманчивых и шутливых речей лейпцигских красавиц. *в.* отвлеченные рассуждения чинных профессоров и глубокие расчеты задумчивых купцов-спекуляторов были ему приятнее, нежели пленительные взгляды и шутливые разговоры лейпцигских красавиц.◊

С. 38.

1 бесшумным / бесшутливым

1—2 новыми нашими знакомыми нам доставленным / предлагаемым новыми нашими знакомыми◊

2—3 принялись за настоящее дело ~ в Германию / *а.* принялись за настоящую цель нашего прибытия *б. Начато:* совершенно *в.* принялись за настоящее дело, за коим приехали в Германию, и посвятили наукам всё наше время *г.* принялись за настоящее дело, за коим приехали в Германию◊

3 с жаром / с свойственным ему жаром◊

3—4 ученым занятиям / наукам

4—5 и я должен был~и для здоровья вредных / *а.* и я с трудом мог его отвлекать от излишних и для здоровья его вредных занятий *б.* и я должен был отвлекать его от трудов излишних и для здоровья его вредных◊

7 незапную / внезапную◊

8 в своей комнате / в своем кабинете

9 это / сие◊

9—10 на вопросы мои / на все вопросы мои◊

10 и просил /*а. Как в тексте б.* и просит◊

11 Когда казалось / иногда, когда казалось◊

13 что им овладела сильная страсть / что он обладает сильною страстью

15 не мог ничего открыть / не мог открыть ничего

16 от всех наших знакомых / от всех знакомых наших◊

16 Целые дни просиживал / Весь день почти сидел
19 странное поведение / поведение
19 я решился / я решил◊
22 — Ведь / — Вить◊
22 ничему не верите / нам не верите
22 я боюсь / а я боюсь◊
23 Лучше было бы / *а.* Лутче бы было *б.* Лутче было бы◊
24 здесь / сдесь◊
25 Что мне оставалось делать при таких обстоятельствах? / При таких обстоятельствах что мне оставалось делать?◊
27—28 решительно / повелительно
28 чтобы / чтоб◊
29—30 не понимал ее причины / не понимал причины оной
30—31 при пылком и непреклонном нраве / при пылком, непреклонном нраве◊
30—31 при пылком и непреклонном нраве юного моего друга / при пылком и непреклонном нраве моего друга и страсти его к уединению и мечтательности
30—31 *После:* при пылком и непреклонном нраве юного моего друга — *начато:* мне надлежало объявить себя открытым врагом
33—34 намерен был удалиться / хотел удалиться◊
39 Сказав это / *а.* Сказав слова сии *б.* Сказав сие◊

С. 39.

1 этот ответ / ответ его◊
2 я последовал за ним / пошел за ним◊
6 приблизился / подошел◊
7 воскликнул / сказал◊
8 В эту минуту / В сию минуту◊
12—13 вы от меня таитесь / вы меня убегаете
13 и потому пришел / пришел
13—14 о причине этой скрытности, этой холодности / о причине [сей] этой особенности, этой холодности◊
14 к которым / к которой◊
14 *После:* не могу привыкнуть — несмотря на все мои старания
15 смешался / *а.* пришел в замешательство *б.* замешался◊
15—16 потупив глаза в землю / *а.* с потупленными очами *б.* потупя глаза в землю◊

16—17 прибавил он почти с сердцем / прибавив с сердцем
20 возразил я / ответствовал я ему◊
21—22 мое присутствие / присутствие мое
22 если я потерял вашу доверенность / *а.* потерял я доверенность вашу *б.* если потерял я вашу доверенность◊
22—23 делать здесь / здесь делать◊
23 отправлюсь / отправляюсь◊
24 желаю вам счастия! / желаю, чтоб вы были благополучны.◊
27 зарыдал / громко зарыдал
29 пред / перед◊
33 сказал я / сказал я ему◊
34 не понимаю даже / непонятно даже для меня◊
34—35 вы могли с ним познакомиться / вы с ним познакомились◊
35 Алцеста / графа Алцеста◊
35 прошу мне открыть / прошу вас открыть мне◊
38—39 соответствует такой небесной красоте / *а.* соответственно небесной красоте ее *б.* соответствует небесной красоте ее◊

С. 40.

1 и указав / и указал
1—2 дом, находившийся против нашего / дом, находящийся против того, в котором мы жили
2 продолжал с восторгом / сказал мне с восторгом◊
3 — Взгляните / — Посмотрите на нее
3 что вы никогда не видели / что никогда не видали вы◊
5 я увидел / и я увидел◊
9 небрежными / непринужденными
10 Ангельская невинность блистала в ее взорах. / *а.* Ангельская внешность показывалась во всех чертах ее. *б.* Ангельская внешность блистала во всех чертах ее.◊
11 ни пламенная кисть Корреджия — живописца граций / ни кисть живописца граций Корреджия
11—12 ни вдохновенный резец неизвестного ваятеля / ни искусство неизвестного творца
13 такого стана / такого ангела
16 вашей страсти / страсти вашей
18 имя этого ангела / *а.* имени сего ангела *б.* имя, жилище сего ангела *в.* имя сего ангела◊
19 я и сам недавно только узнал / я недавно только узнал◊
20 хотя / хоть◊

20 давно уже ношу в сердце / *а. Начато:* довольно *б.* давно уже врезался в мое сердце◊

20—21 Месяца два тому назад я гулял за городом. / *а.* Несколько месяцев тому назад я пошел гулять за город. *б.* Несколько месяцев тому назад я гулял за городом.◊

21 Вечер был прекрасный / Вечер был прекрасен◊

23 *После:* Подходя к небольшому лесочку — прилежащему к большой дороге◊

25 я не мог отгадать / мне нельзя было отгадать◊

25 нескольких / некоторых

26 я успел только заключить / я мог только заключить◊

26 по-испански / на испанском языке◊

27 однако в эту минуту / но в сию минуту

28 понуждала / влекла

28 ближе / поближе

29 девушку с опущенными вниз глазами / *а.* прекрасную девушку, которой глаза устремлены были в землю *б.* прекрасную девушку, которой глаза опущены были в землю◊

29—31 *Текста:* Белый прозрачный вуаль ~ ее прелестные черты! — *нет.*

32 что близ нее происходило / что происходило около ее◊

32—33 сама она ~ жаркого спора / *а.* она-то самая была причиною слышанного мною спора *б.* она сама была предметом слышанного мною жаркого спора◊

35 треугольной / трехугольной◊

36 хотел подойти к красавице / хотел приблизиться к девушке

37 в круглой серой шляпе / в серой шляпе

38 не допускал его / не допускал его к ней

38—39 Уже красный плащ повалил на землю / *а.* Уже красной плащ сильною рукою поверг на землю *б.* Уже красной плащ сильною рукою повалил на землю◊

40 всё еще стоял / всё стоял

С. 41.

1 кому из них / которому из них

1 свою / мою◊

1 взор / взгляд

2 на лицо / на физиогномию◊

3 Вы не можете представить / Вы себе не можете представить◊

3—4 в его физиогномии / на его лице◊

4—5 выскочил из-за кустов / выскочил из кустов, меня скрывавших◊

6 — Остановись! ~ по-немецки. / — Остановитесь, — закричал я по-немецки.
7 никакого буйства / никакого насилия
8 удивило их / их удивило◊
10 эта / сия◊
12 почтительно поклонился / низко ей поклонился
13 — Ожидаю ~ милостивая государыня! / — Сударыня, ожидаю ваших приказаний!
14 догадался / *а.* уверился *б.* увидел
14 была / находилась◊
16 теперь ты со мною не сладишь. / *а.* ты меня не преодолеешь! *б.* тебе не торжествовать надо мною!◊
18—19 мы с тобою в другой раз разочтемся / в другой раз мы с тобою разочтемся◊
20 Рыцарский ваш подвиг / Рыцарской поступок
21 достойно вознагражден / достоин вознаграждения
21 сии слова / слова сии
21 опять захохотал / *а. Как в тексте. б.* адски захохотал
23 громкий его хохот / громкий смех его◊
25—26 Оставшись ~ в положении страдалицы. / Я изъявил сожаление о положении, в котором находилась девица.
25—26 и сердечное участие / и участие
27 отвечал он / сказал незнакомец◊
29—30 *Фразы:* Я бросился к ней ~ мои услуги. — *нет.*
30—31 Он сам вывел ее из лесочка ~ ехать. / *а.* Мы оба ее вывели из лесочка, посадили в коляску, которая стояла при выходе из оного, и незнакомец, садясь подле нее, поблагодарил меня и приказал кучеру ехать. *б.* Мы оба вывели ее из лесочка, посадили в коляску, и незнакомец, садясь подле нее, поблагодарил меня и приказал кучеру ехать.◊
31 Я был в таком смущении / Я в таком был смущении
32 когда же опомнился ~ далеко / а когда я опомнился, то коляска уже уехала далеко
34—35 на лице незнакомца ~ в его сопернике / *а.* та же адская улыбка показалась на лице незнакомца, которая прежде поразила меня в его сопернике *б.* на лице незнакомца показалась та же адская улыбка, которою прежде испугал меня его соперник◊
36 Тут Алцест задумался / *а.* После сих слов Алцест задумался *б.* Рассказав мне свое романтическое приключение, Алцест задумался *в.* Алцест задумался◊

36 продолжал / продолжал таким образом◊

37 — С этой роковой минуты образ неизвестного мне ангела / — С той роковой минуты образ неизвестного ангела

38—40 Не поверяя никому чувствований сердца ~ по всем лейпцигским улицам. / Не доверяя никому чувствований сердца моего, я старался отыскать ее сам и, подобно безумному, бродил по всем улицам.

40 Но все поиски оставались тщетными. / *а.* Но все старания мои были тщетны. *б.* Но, увы! все мои поиски оставались тщетны.◊

С. 42.

1 в своей комнате / в комнате своей

2 с нею опять встретиться / *а.* опять с нею увидеться *б.* опять с нею встретиться◊

3 вместе с ним / вместе с оным

5 в чертах человека в сером сертуке / *а.* в чертах обоих соперников *б.* в чертах малорослого человечка в сером сертуке

5 Представьте ж себе / Вообразите себе◊

6—7 когда, сегодня поутру ~ свою прелестную незнакомку!.. / *а. Начато:* когда дня три тому назад нечаянно взглянул в сей *б.* когда дня три тому назад, нечаянно взглянув на этот дом, я увидел предмет страсти моей, сидящий у окна. *в.* когда дня три тому назад, нечаянно взглянув на этот дом, я увидел у окна свою прелестную незнакомку.◊

7 Теперь я счастлив! / С того времени я тогда только счастлив, когда ее вижу.◊

9 не совсем ко мне равнодушна / не совсем равнодушна к моей страсти

10 его рассказа / сего рассказа◊

10—11 не спускал глаз ~ красавицы / *а.* не спускал с глаз сидящую против нас красоту *б.* не спускал с глаз сидящую против нас красавицу◊

11 что о ней говорят / *Начато:* что мы

12 приятная / небесная◊

12 на ее розовых устах / на ее устах

12 *После:* на ее розовых устах — *начато: а.* красота ее была *б.* красота ее очаровывала; но как-то

13 но чем более я в нее всматривался / *Начато:* но не знаю сам отчего, чем более прелестные глаза ее ничего не выражали, тем больше

13 *После:* тем страннее она мне казалась. — *начато:* Наконец

14—15 Мне представилось / Мне представлялось

15—16 будто из-за прекрасных плеч ее ~ две безобразные головы / *а.* будто из-за мраморных плечей ее показывались попеременно два угрюмых лица *б.* будто из-за стройных плеч ее попеременно показывались две безобразные головы◊

16 в треугольной / в трехугольной◊

20—21 я отложил ~ до другого утра / я отложил до другого утра исполнение моего обещания◊

21 мне хотелось развлечь себя чтением / хотелось развлечься чтением

22 но глаза мои пробегали / но взоры мои пробегли

22—23 занятой незнакомкою душе моей ни одной мысли / *а.* ни одной мысли занятому неизвестною красавицею уму моему *б.* ни одной мысли занятой незнакомкою душе моей◊

23—25 Комната Алцеста ~ по комнате / Надо мною была комната Алцеста, я слышал, как он вздыхал, слышал, как он прохаживался по комнате

23 над моею спальней / над моей спальнею◊

25 и всякий раз у окна останавливался / *а.* как приближался к окну, не мог утерпеть, чтоб самому не подойти к оному *б.* *Начато:* и всякий раз остановяся

25—26 Признаюсь ~ к окошку. / *а.* *Начато:* Признаюсь, к стыду своему, что я сам не мог утерпеть *б.* Признаюсь, что и я не мог утерпеть, чтоб самому не подойти к окошку.◊

28 с отвратительным видом / с отвратительным изображением◊

29 перед / пред

29—30 в глубине ее комнаты / в мрачной глубине ее комнаты◊

30 была видна / видна была◊

31 закрыла окно и отошла / *а.* закрыла окно свое, отошла далее от оного *б.* закрыла свое окно и отошла далее от оного◊

32—33 села за арфу ~ слух мой / села к арфе, и вскоре очаровательная музыка в италианском вкусе поразила слух мой

34 однако / но

36 рассказывал Алцест / рассказывал мне Алцест◊

38 и узнал / Я узнал◊

С. 42—43.

40—1 Андрони — сказано мне ~ и астрономии / *а.* А потом, сказали мне, у Университетского правления испросил позволение читать лекции о чистой математике, астрономии и механике *б.* Андрони,

сказали мне, испросил от Университетского совета позволение читать лекции чистой математики, механики и астрономии◊

С. 43.

2 курс сих наук / курс сим наукам

4 перед его приездом прибыл сюда / *а.* перед его прибытием приехал сюда *б.* перед его приездом приехал сюда◊

6—8 дочь его ~ видали только у окна. / дочь его по имени Аделина, необыкновенной красоты девушка, которая ни с кем не знакома и которую до сих пор видели только у окна.

11—13 Он кинулся ко мне на шею ~ мы будем слушать / Он кинулся ко мне на шею: — Любезный Ф. — сказал он мне в радостном восторге, — мы будем слушать◊

15 отвечал я / отвечал я ему◊

17—18 как по окончании оной / как по прошествии оной

30 доказывавшим / доказывающим

30—31 просил нас сесть / пригласил нас присесть◊

31 голоском / голосом◊

33 не видывал я / я не видывал◊

34 насмешливость / насмешка

34 изображалась в вздернутых ноздрях / показывалась в вздернутом носе◊

37 русских / российских◊

37 желающих посещать его лекции / желающих воспользоваться его учением

37 внес / записал◊

38 поблагодарил / поблагодарил нас◊

39 о России / о России, о дворе и о вельможах◊

С. 44.

2 с велеречием / с большим велеречием

3—4 найденных / найденных им◊

6 ящики / все ящики◊

7 остовы / останки◊

8 Будучи страстным охотником / Будучи страстный охотник◊

9 рассказы его / речи его◊

9—10 хотя неприятный голос его ~ какое испытываем / несмотря на то что пронзительный и неприятный голос его производил на меня такое же действие, какое производится◊

13 удастся ему ~ об Аделине / удостоится молвить слово Аделине

16—17 дочь вашу / дочь ваша◊

18 огненные глаза / огненные глаза свои◊

20—21 Он призадумался / Он немного задумался◊

24 тайна эта / сия тайна◊

25 кроме вашего товарища / как вашему товарищу◊

28 Требование профессора / Сие требование профессора◊

30—31 как будто слились в одну точку / как будто стеклись в единую точку◊

33 побуждающие его к такому требованию / побуждающие к сему требованию◊

33—34 предупредил меня/ меня предупредил◊

34 отца Аделины / отца своей Аделины◊

35 его желание / его желанию◊

36 После того мы откланялись / После сего мы ему откланялись◊

37 проводил / провожал

38 всегда будут ему приятны / для него весьма будут приятны◊

39 с разными чувствами / с розными чувствами

С. 45.

3 Странная / Страшная

6 и всё это вместе / и всё сие вместе◊

8 Возвратившись / Возвратясь◊

8—9 смеясь сам над собою / надсмехаясь над собою◊

9 не что иное, как чудак, каких / не что иное, как оригинал, каковых

10 это / сие◊

10—11 забыть неприятный голос его / забыть о неприятном его голосе

13 до безумия / по уши

13 Во всем этом / и во всем этом◊

15 опять увидел / увидел опять◊

17 исчезли как сон / *а. Как в тексте. б.* как сон исчезли◊

19—20 сам предложил пойти в верхний этаж / *а.* сам предложил следовать за ним в верхний этаж *б.* сам предложил идти с собою в верхний этаж◊

20 Легко представить себе можно /*а.* Можете себе легко представить *б.* Можно себе легко представить◊

21 такое / *а.* сие *б.* это◊

21—22 это заметил; он обратился / сие заметил, ибо он обратился◊

23 — Вы теперь не увидите моей дочери / *а.* Вы увидите дочь мою, — говорят, что она очень хороша собою *б.* Вы увидите

дочь мою, ее называют красавицей; но я должен вас предуведомить, что◊

24 *После:* и потому чрезвычайно застенчива. — Вошед в комнату Аделины, она встала и учтиво нам поклонилась. Граф подбежал к ней и спросил ее о здоровье. Она отвечала ему тихим голосом и с потупленными очами.◊

25—27 *Текста:* Алцест тяжело вздохнул ~ не замечал нашего огорчения. — *нет.*

27—28 Он показывал нам / Между тем Андрони показывал нам◊

28 их действия / действие оных◊

30 за снурок / за шнурок◊

30 прекрасная музыка загремела / *а.* прекрасная музыка раздалась по комнате *б.* небесная музыка загремела◊

30—31 довольно похвалить верность игры / *а.* не хвалить точность игры *б.* довольно хвалить верность игры◊

31 инструмента / сего инструмента◊

32 — Это ничего не стоящая безделка! / *а.* — Это самая безделица! *б.* — Это ничего не стоящая безделица!◊

32 сказал мне Андрони / сказал он мне◊

33 орга́ны эти составлены мною / *а.* сии орга́ны изобретения моего составлены *б.* сии орга́ны моего изобретения составлены◊

33 в часы, свободные от важнейших занятий / в свободные от важнейших занятий часы

34—37 В это время ~ Мы слушали со вниманием. / Теперь, — продолжил он, — вы услышите [другой род музыки] другого рода музыку. Аделина! Сыграй нам что-нибудь на арфе.

Аделина придвинула [себе богатую] к себе великолепную арфу, подле нее [стоящую] стоявшую, [розовые пальцы] и розовые пальчики ее с [непонятным] непостижимым искусством [пустились] побежали по струнам.◊

37—38 не в состоянии изобразить ~ игры ее / *а.* не в силах выразить очаровательной гармонии ее игры *б.* не в силах выразить всю очаровательность, всю прелесть игры ее◊

38—39 Я вне себя был / *а. Как в тексте. б.* Я был вне себя◊

39—40 Алцест просил ~ его дочери. / Алцест пожирал [ее] глазами красавицу, отец ее посматривал то на нее, то на нас и, казалось, восхищался нашим восхищением. [Проиграв несколько времени] Сыграв несколько пьес, Аделина встала, [скромно нам поклонилась] присела нам с застенчивостью и удалилась [в другую] в ближайшую комнату.◊

С. 46.

1 — Аделина моя крайне стыдлива / — Дочь моя чрезвычайно стыдлива◊

1 отвечал / заметил◊

1—2 похвалы ваши ~ в замешательство / и [появления] похвалы ваши приводят ее в замешательство◊

2—5 *Текста:* и я уверен ~ ей приятно будет с вами познакомиться. — *нет.*

6—7 Пробыв еще немного ~ и возвратились домой / *а.* Мы оставили дом его *б.* Посидев еще немного, мы встали, раскланялись с хозяином и возвратились домой◊

7 талантами / *а.* красотами и талантами; *б.* красотою и талантами◊

8 Вечером посетил нас профессор. / Ввечеру профессор посетил нас.

8 Он одет был по-старинному / Он одет был в старинном вкусе

10 был на нем / на нем был

10 исподнее платье / исподнее

11 и маленькая стальная шпага висела на левом его бедре / *а.* и маленькая стальная шпага украшала левое его бедро *б.* он имел маленькую стальную шпагу *в.* и маленькая стальная шпага украшала левое его бедро◊

12 погулять по ярмонке / посмотреть на ярмонку

13 такого многолюдства / такого многолюдного стечения

14 прогуляться с нами / *а.* нас проводить *б.* быть нашими товарищами *в.* быть нашими проводниками◊

17 в Лейпциге / в Л⟨ейпциге⟩

18 изобразить / описать

19 когда мы подошли к площади Неймарк / когда, удалившись от того конца Гримм⟨ской⟩ улицы, в котором был наш дом, мы направили свои стопы к площади [Неймаркской] Неймарк◊

19—20 Бесчисленное множество людей обоего пола / Бессчетное множество народа

21—22 превращены были / превратились◊

22 окна / окны◊

22—23 испещрены ~ товарами / *а.* испещрены были развешенными с тщательным искусством товарами *б.* испещрены хитрою рукою развешенными разноцветными товарами◊

23—24 На площади ~ по оной. / *а.* Площадь так усеяна была людьми, что с трудом можно было пройти чрез оную. *б.* *Начато:* На

площадь так стекались покупатели *в. Начато:* На площади так стало *г.* На площади было так тесно, что с трудом мы могли пройти чрез оную.◊

25 Здесь взгромоздившийся / *а.* В одном углу взлезший *б.* В одном углу громоздившийся°

25—26 в шляпе ~ в кафтане, вышитом золотыми блестками / с широким мишурным галуном на шляпе, вышитом золотыми блестками кафтане

26—27 выхвалял свои капли ~ от всех болезней / *а.* выхвалял всецелительные свои капли *б.* выхвалял свои капли и божился, что это ⟨*1 нрзб*⟩ лекарство от всех болезней

28 Тут / *а.* Здесь *б.* В одном углу◊

29 проказник ~ за дикаря / мужик являлся в виде дикого человека

30 а там / *а.* там *б.* в другом◊

32 на всех европейских языках ~ товары / предлагали нам товары на всех европейских языках

33 которая пробиралась в один из домов / стремящеюся в один из домов

34—36 где щегольски одетые ~ метали банк / *а.* где щегольски одетые господа с [разглаженными] расчесанными и распудренными волосами и в бриллиантовых на всех пальцах перстнях метали банк *б.* где рыцари [и хваты]чужих карманов, щегольски одетые, расчесанные и распудренные, с бриллиантовыми перстнями на всех пальцах, метали банк◊

36 В Лейпциге / В Л⟨ейпциге⟩

36—37 от строгих правил / от строгих своих правил◊

С. 46—47.

38—4 *Текста:* Алцест, в начале прогулки нашей ~ делали неприятное на меня впечатление — *нет.*

С. 47.

4—6 но вскоре необыкновенное зрелище ~ всё мое внимание / Сие для нас необыкновенное зрелище привлекло на себя [новое] всё мое внимание◊

6 *После:* всё мое внимание. — Я шел с профессором, а граф вел под руку свою Аделину.◊

7 находившихся / находящихся◊

7—8 толпившегося / толпящегося◊

8 я не замечал / я сначала не заметил◊

8—9 что глаза всех обращены были на нас / *а.* что все глаза обращены были на нас *б.* что все глаза на нас обращены были◊

9 восхищавшихся / восхищающихся◊

10—11 на прелестную нашу спутницу / на нее

12—13 не обращая ни малейшего внимания на то, что вокруг нее происходило / *а. Начато:* нимало [ничем] не занималась *б.* нимало не занимаясь тем, что вокруг нее происходило◊

13 Можно было подумать / Казалось

13 не видит / *а.* не видела *б.* не видала◊

13—14 не слышит / *а.* не слышала *б.* не слыхала◊

14 Меня удивило ~ в молодой прекрасной девушке. / Такое равнодушие в молодой прекрасной девушке меня удивило.

15 Распростясь / Распростившись

15 и его дочерью / и с его дочерью

16 говорил об Аделине / [говорил] рассказывал мне о приятных минутах, проведенных им на ярмонке◊

17 с нею / с Аделиною

18—19 я почти уверен ~ весьма несчастна! / что я почти уверен, что Аделина находится в несчастном положении.◊

20 Нельзя по крайней мере ~ видя / По крайней мере я ничему иному не могу приписать◊

20—21 столь непонятную робость и молчаливость / *а.* чрезмерную робость ее *б.* чрезмерную робость ее и молчаливость◊

21 Беспрестанная ее задумчивость огорчает / *а.* Беспрестанная ее задумчивость огорчала *б.* Беспрестанная задумчивость ее огорчает◊

22—23 весело ли ей было на ярмонке / понравилась ли ей ярмонка

24 когда говорят с тобою / когда с тобою говорят

25 вскричал профессор ~ за руку / закричал отец и дернул ее за руку

27 — Весело. / — Понравилось.

30 *После:* с таким выражением — а при прощании [так] крепко-крепко пожала мою руку.◊

31 прервал я его / сказал я ему◊

33 эта / сия◊

34 — Какие последствия? / — Какие будет иметь последствия?

35 понравлюсь / нравлюсь◊

35 и если отец ее / *а.* если отец ее *б.* и если родитель ее

39 для меня не унизителен, не бесчестен / никому не может принесть бесчестия

С. 48.

1—2 противоречие ~ молодого человека / простые речи ни к чему бы не послужили, как к большему раздражению его страсти

2—3 Но с первою почтою ~ старого графа. / *а.* С первою почтою я обязанностию счел написать о том старому графу. *б.* Но с первою почтою счел я обязанностию известить о наших обстоятельствах старого графа.◊

4 День ото дня знакомство / С того дни связь

4—5 *После:* делалось теснее. — Наконец, он целые дни проводил у него в доме.◊

5 посещал его довольно часто / *а.* довольно часто их посещал *б.* был довольно часто

5—10 Старик принимал ~ вместе с нею. / [Андрони] Старик не препятствовал графу видеться с его дочерью; он даже с удовольствием [примечал] замечал увеличивающуюся страсть Алцеста; [но] однако при всем том никогда не позволял Аделине оставаться одной [с которым-нибудь] ни с кем из нас.◊

10 Казалось, что / *а. Как в тексте б.* Казалось, будто◊

10—11 опасался / опасается◊

11 чтоб мы не открыли ~ тайны / *а. Как в тексте. б.* чтобы дочь его в его отсутствие не открыла нам какой-нибудь тайны◊

11—24 Признаюсь, мне неоднократно ~ не мог объяснить себе. / Аделина всё была так же молчалива, как в первые дни нашего знакомства. Когда мы приходили к [отцу ее] ее родителю, то [она либо сидела за пяльцами, либо занималась музыкою или рисованием] [обыкновенно] всегда находили ее или за пяльцами, или за рисованием. Алцест садился подле нее, восхищался [ею и] ее блестящими талантами, но на все вопросы его она обыкновенно отвечала короткими словами и вполголоса. В глазах моих Аделина и тогда, когда я короче с нею познакомился, была идолом женского совершенства; но при всем том я видел в ней нечто странное, [которое] нечто такое, чего я никак [объяснить не мог] [себе] не мог объяснить себе. Всё семейство сие для меня казалось такою загадкою, которую разрешить я не был в силах. Чрезмерное подобострастие Аделины к своему отцу и, так сказать, рабское ее [послушание] повиновение для меня были непонятны: казалось, что она двигается одним только его мановением и что кроме его [весь] целый свет [для нее ничто] для нее не существует.◊

24—25 На ее лице / На лице ее

25—26 ни одного раза ~ никакой страсти / *а.* я не замечал ни одного разу ни малейшего движения радости, любопытства или другой какой страсти *б.* я ни одного раза не заметил ни выражения восторга, ни движения любопытства, одним словом: никакой страсти◊

26 Такая холодная / Сия покорная

29 Что касается до Алцеста ~ никаких недостатков. / Но Алцест не видел в ней сих недостатков.

30 так горячо / *а.* столь хорошо *б.* столь горячо◊

30 что каждый взгляд ее, каждое движение / что каждое слово, каждое движение ее◊

32—33 перестала быть тайною. Все в городе / столько обнаруживалась, что все в городе

33 о близкой женитьбе / о женитьбе

35 на письмо ~ в Россию / *а.* на отправленное мною в Россию письмо *б.* на отправленное мною письмо в Россию◊

36 пошел я / я пошел◊

36—37 попросить у него объяснения / попросить его о объяснении

38—39 идти вверх / идти к Аделине◊

39 его / *а.* ее отца *б.* ее родителя◊

40 Вообразите ж себе / Но вообразите

С. 48—49.

40—1 когда, отворив двери ~ на диване / *а.* когда увидел Аделину без чувств на диване *б.* когда увидел Аделину, лежащую без чувств на диване◊

С. 49.

3—4 совершенно закрывали прекрасное лицо ее / прикрывали прекрасное ее лицо

3—4 *После:* прекрасное лицо ее. — [я] Поспешно бросился я к ней и приподнял ее голову.◊

5 в самое это мгновение / *а.* в самую сию минуту *б.* в самое сие мгновение◊

6 — Скорей пошлите, — бегите / — Скорей пошлите девку

8—9 отвел далее от дивана / отвел от дивана◊

10 русские / российские◊

14 отвечал я / отвечал я ему◊

14 эта / сия◊

16 Позвольте вам, однако, заметить / Но позвольте вам заметить

16—17 что близкое наше знакомство ~ в положении Аделины / что тесная связь, которую допустили вы между Аделиною и другом моим графом Алцестом, дает мне полное право принимать участие в ее положении◊

18 насмешливость / радость◊

20—21 — Если участие ваше ~ правы. / — Если вы говорите как друг жениха моей дочери, то вы правы.◊

22 объявить / заметить◊

25 в тот же миг / в то же мгновение

26 Андрони вывел / *а.* Он повел *б.* Он вывел◊

29—37 Я был в крайнем замешательстве ~ в полном блеске красоты и молодости! / «Нет, — возразил я с досадою, — я не могу поверить, чтобы дочь ваша была вне опасности и прошу вас позволить мне привесть сюда доктора». — «Странный человек! — сказал он, — желаете ли вы, чтоб она сама уверила вас, что ей [не нужно] доктора не нужно». Он опять [пошел] вышел в другую комнату и запер ее за собою. Я стал прислушиваться. Всё было тихо и безмолвно, потом услышал я какой-то странный шум и треск, — дверь опять отворилась, и Андрони вывел ко мне Аделину, в полном блеске [юности и красоты] красоты и молодости. Живой румянец играл на ее щеках. Никогда не видывал я ее [такою] столь веселою, такою прелестною. «Аделина, — сказал профессор, — уверь г⟨осподина⟩ полковника Ф., что ты здорова и не имеешь нужды в докторе!» — «В докторе?» — повторила Аделина и громко засмеялась! Никогда еще с самого начала знакомства нашего я не слыхал от нее такого громкого смеха, я пришел в крайнее замешательство, [распрощался] распростился с профессором и с дочерью его и пошел домой.◊

38 Необыкновенная, можно сказать, чудная сцена сия / Необыкновенная сцена сия

40 как вошел к нам Андрони / как вдруг отворилась дверь и вошел к нам — Андрони◊

С. 50.

2 спросил он улыбаясь / *а.* сказал он смеючись *б.* сказал он улыбаясь◊

2—3 обратясь / обернясь

3 принимает самое живое участие в моей дочери / весьма живое принимает участие в моей дочери, разумеется, как в невесте своего друга◊

4 часто бывают / многие бывают

5—6 крайне испугал его / крайне его испугал

6 Хочу, однако, доказать вам / *а.* Но чтоб доказать вам *б.* Хочу доказать вам◊

6—7 вне всякой опасности, и я, нарочно для этого, пришел / *а.* вне опасности, я нарошно пришел *б.* вне всякой опасности и нарошно для этого пришел◊

8 ко мне на бал сегодня вечером. / ко мне сегодня вечером на бал. Я надеюсь, что Аделина [танцевать будет] протанцует до полуночи.◊

11 не принимал никого в дом свой / *а.* не принимал никого к себе в дом *б.* не принимал никого в дом к себе◊

13 не посчастливилось / не удавалось

13—14 как только в окошко / *а.* как сидящую у окна *б.* как в окошко◊

14—16 и потому, невзирая на то что ~ Андрони не мог не заметить этого. / Тем страннее показалась нам сия внезапная перемена.

17 сказал он нам / сказал нам Андрони◊

17—18 давно желал / давно уже желал

18 с здешним модным светом / с светом

18—20 Пора отучать ее ~ Вечером мы увидимся! / Робость, приличная профессорской дочери, не пристала будущей супруге [графа русского] русского графа. К тому же весь город давно уже говорит о [тесном знакомстве нашем] взаимной вашей страсти, граф! И честь Аделины требует, чтобы она показалась публике [в виде] как ваша невеста». [Алцест] Пылкий граф с восхищением кинулся к нему на шею: «Итак, Аделина моя, — вскричал он [в величайшем восторге] с живейшей радостью. — Любезный Ф., я счастливейший из смертных!»◊

21 Пожав нам руки, он поспешно удалился. / *а.* Андрони удалился от нас, чтобы разослать билеты и заняться приуготовлением к балу. *б.* Андрони поспешил от нас, чтобы разослать билеты и заняться приготовлениями к балу.◊

22 *Фразы:* Мы остались одни. — *нет.*

22—23 Тщетно старался я ~ и умолял его быть осторожным. / *а.* Тщетно я старался уговаривать графа подумать о шаге, который намеревался он сделать. *б.* Тщетно убеждал я графа подумать о шаге, который он делает.◊

23—24 Я, к крайнему огорчению ~ были ему неприятны. / *а.* Он меня не слушал — в восторге своем он уподоблялся повредившемуся

в уме. *б. Начато:* Жалкий молодой человек был слеп и глух *в.* Жалкий молодой человек оглох и в сладком упоении блаженства совершенно потерял рассудок!◊

24—29 *Текста:* Когда рассказывал я ему ~ на слова мои. — *нет.*

30—32 Настал вечер ~ с веселым видом. / Настал вечер, и мы отправились в дом профессора.◊

32—34 Вошед в залу ~ в такое короткое время. / Комнаты его были великолепно убраны [и освещены] и ярко освещены. Несмотря на краткость времени, он успел украсить их с большим вкусом. Я удивился [деятельности его и искусству] его знанию в этом деле и расторопности.◊

С. 50—51.

34—6 *Текста:* Всё было странно ~ чего-то волшебного. — *нет.*

С. 51.

7 весьма многочисленно / *а.* весьма многочисленное *б.* многочисленно◊

7—10 несмотря на то что ~ но никто не отказался от бала / *а.* никто не отказывался от балу, сколь такое внезапное приглашение не было противно германскому этикету *б.* никто не отказался от бала, хотя при этом внезапном приглашении не соблюден был строгий германский этикет◊

10 все любопытствовали / все любопытны были

10—11 видеть вблизи прелестную Аделину ~ чудеса / *а.* видеть вблизи Аделину и познакомиться с отцом ее, о котором в городе рассказывали чудеса *б.* видеть вблизи Аделину и познакомиться с отцом ее, о котором чудеса рассказывали в городе◊

С. 51—57.

12—21 При входе в залу ~ и вдруг как стрела помчался вдоль по Гриммской улице. / Аделина помрачала всех [л⟨ейпцигских⟩ дам чрезмерною своею] лейпцигских [красавиц] дам и девиц красотою и блеском драгоценных каменьев, которыми [она] была украшена. Мужчины с завистью поглядывали на Алцеста, дамы шептали друг другу на ухо. Загремела музыка — и начался менуэт. По тогдашнему обыкновению в Германии, каждый кавалер с начала бала [подымал] поднимал даму, с которою уже танцевал в продолжение всего вечера. Само собою разумеется,

что [дама] дамою Алцеста была Аделина. Я отказался от танцев и сел у дверей. Гром музыки, шум разговаривающих, шарканье танцующих и беспрестанные вопросы оступивших меня знакомых и незнакомых не помешали мне наблюдать за единственною парою, в которой я принимал участие. Аделина танцевала [с чрезвычайным искусством] чрезвычайно легко и приятно; [но и тут мне показалось, что] однако мне и тут показалось, будто недостает в ней той живости, [того приятства] той резвости, без [которых самые искусные плясуны походят на деревянных кукол] коих самый искусный балетмейстер [похож на бездушную куклу, прыгающую на пружинах] сходен с бездушною куклою, прыгающею на пружинах. Впрочем, бал был [весьма шумный и весьма веселый] жив и шумен; все от души веселились, несмотря на то что почти никто из гостей не был прежде знаком с хозяином.

[В самой средине] В продолжение бала я заметил стоящего недалеко от меня высокого мужчину. Смуглый цвет и резкие черты лица его обратили на себя мое внимание, я спросил у [некоторых знакомых своих] своих знакомых о его имени, но никто [его не знал] не мог удовлетворить моего любопытства. Незнакомец не спускал глаз с Алцеста, и [иногда] нередко [язвительные усмешки являлись] язвительная усмешка показывалась на [его] устах его. Я подошел к графу, который, кончив экосес, сел подле своей [любезной] возлюбленной. В самую ту минуту он взглянул на незнакомца: «Красный плащ!» — шепнул он мне на ухо и побледнел. Мы оба посмотрели на Аделину, но на лице ее не [замечено было] заметили никакого особенного движения. «Я имею предчувствие, — сказал я тихонько графу, — что бал сей не так весело кончится, как он начался». [Страшусь] «Боюсь за *Аделину*, — отвечал он мне. — *Ради Бога, любезный Ф., не отходите от нас*». В [сие] это время всё собрание пришло в смятение, гости [толпились около] окружили незнакомца. Среди общего шума мы услышали пронзительный голос профессора. «Вентурино, — кричал он, — зачем ты [сюда явился] пришел сюда? [Чего ты требуешь?] Что тебе надобно?» — «Отдай мне Аделину! — отвечал [грубый голос незнакомца] незнакомец сердито и грубым голосом. Граф вздрогнул и крепко схватил Аделину за руку. Музыка перестала играть, гости в недоумении [смотрели] посматривали друг на друга [,между тем спор между соперниками усилился] [,как буд-

то спрашивая один у другого: что это значит? Кто этот чудный пришлец?] Между тем спор между обеими соперниками становился жарче. Они начали говорить на неизвестном [мне] нам языке. Наконец, [они] по-видимому, они примирились; Андрони взял за руку высокого мужчину и увел его с собою. Немного погодя он возвратился за Аделиной, граф хотел идти за [ним] ними. «*Будьте спокойны*, — сказал ему профессор, — *завтра вы увидите вашу невесту*». Гости один за другим [уехали] разъехались; [а мы, увидя, что Андрони не возвращается, принуждены были последовать их примеру] мы ждали долго; наконец, видя, что остались одни, а хозяин не возвращается, поневоле последовали их примеру.

Пришед домой, ни я, ни Алцест [не думали ложиться спать] не могли сомкнуть глаза. Сон бежал от нас. Молча подошли мы к окну и долго смотрели, как [напротив нас] Андрони разговаривал с незнакомцем, размахивая руками. Мне показалось, что высокий мужчина опять был в красном плаще, а профессор в светло-сером сертуке; [но] однако я ничего [о том] не сказал об этом графу. Наконец [последние огни] свечи погасли в доме Андрони, и мы разошлись [Я не мог сомкнуть глаз] по своим спальням. Я лег в постелю, но не мог заснуть до самого рассвета.

На другой день рано поутру Алцест постучался в мои двери. Я вскочил, накинул утреннее платье и вышел к нему. Мы оба пошли к профессору. Входя в сени, мы услышали громкий шум и спор в верхнем этаже. Поспешно взбежали мы на лестницу... [Но] Ах! Кто изобразит удивление наше и ужас при виде [представившегося глазам нашим зрелища] того, что нам представилось? Вентурини[a] держал Аделину за голову, Андрони тянул ее к себе за ноги. Веки ее были раскрыты, но [место прекрасных ее глаз занимали глубокие ямы!!] на том месте, где сияли прекрасные глаза ее, находились глубокие ямы!! [По полу рассеяны лежали длинные ее черные волосы.] Длинные черные ее волосы разбросаны клочками по полу. Алцест [в сильной ярости] с яростью бросился на [красный плащ] человека в красном плаще. «Сумасшедший! — загремел [грубый голос] грубым голосом Вентурини. — *Возьми свою невесту!*» — он оторвал у Аделины руку и бросил ее графу в глаза. Деревян-

[a] *Так в копии.*

ная рука со стуком покатилась вниз по лестнице. Сумасшествие овладело [дерзким] бедным Алцестом: он [бросился] побежал по лестнице, громко смеясь и скрежеща зубами. Я [последовал за ним] за ним последовал. Внизу в сенях граф вдруг остановился, увидев в темном угле на полу что-то сверкающее. Он нагнулся и [хотел поднять] поднял... о ужас! Это были глаза его Аделины! Алцест испустил жалостный вопль, выбежал [на улицу] из сеней и как стрела пустился вдоль по Гриммской улице.

С. 57.

22 догнать его / его догнать

22 Когда уже был я на улице / Будучи уже на улице◊

22—23 мне слышался хохот / *а.* я слышал громкий хохот *б.* я всё еще слышал громкий хохот◊

23—24 стук молота ~ колеса / *а.* шум, как будто кто-то разбивал колесы *б.* стук молотка, как будто бы кто-нибудь разбивает колеса◊

25—26 Остаток ночи ~ с верным Иваном по Лейпцигу / *а.* Целый день я бродил в окрестностях Л⟨ейпцига⟩ с верным Иваном *б.* Целый день я бродил с верным Иваном в окрестностях Лейпцига◊

26—27 возвратился я домой... без него! / *а.* возвратились мы домой одни. *б.* я возвратился домой один.◊

27 дома, занимаемого Андрони / дома Андрони°

27 не было огня / не было видно огня◊

28 отворяя нам дверь / отворяя двери

28 что в то же утро / что того же утра

29 из города / из городу

30 треугольной / трехугольной

30 За ними следовало / *а.* За ним ехало *б.* За ним следовало◊

31 поклажею / кладью

32 начальник городской полиции / *а. Как в тексте. б.* лейпцигский полицеймейстер◊

33 на берегу реки Эльстер, подле / на берегу реки — подле

33—34 найден батистовый платок с меткою «С. А.» и два финифтяные глаза / *а.* нашли шляпу *б.* найдена шляпа, батистовый платок с литерами «С. А. N.» и два финифтяные глаза◊

34—35 Платок был Алцестов / Шляпа и платок были Алцестовы◊

35 тело несчастного моего друга / *а. Как в тексте. б.* тела погибшего моего друга

36 Я ~ в Россию. / Я собрался выехать в Россию.
36 В самый день отъезда / В самый день, назначенный к отъезду
37 один из служителей / один из слуг
38 Под Варшавою / Подъезжая к Варшаве◊
38—39 без памяти пролежал / *а.* лежал без памяти *б.* пролежал в постеле◊
39 замедлил приездом / опоздал своим приездом

С. 58.

4 Профессор / Механик◊
5 механик-вентрилок / *а.* вентрилок *б.* чревовещатель◊
6 познакомился с ним еще / знал его еще
7 непримиримым врагом моим / самым непримиримым моим врагом
8 моему роду / роду моему
9 Возвратясь в отечество / Приехав в Россию
9 старого графа / старого графа Н.

IV. СОВРЕМЕННИКИ О А. А. ПЕРОВСКОМ (А. ПОГОРЕЛЬСКОМ)

П. А. Вяземский

АЛЕКСЕЮ АЛЕКСЕЕВИЧУ ПЕРОВСКОМУ, АВТОРУ «МОНАСТЫРКИ»

Прости, проказник милый!
Ты едешь, добрый путь!
Твой гений златокрылый
Тебе попутчик будь.

Давно слетели пчелы
С медоточивых лип,
Давно деревья голы
И соловей охрип.

Под мраком снежной тучи
Одну ты песню знай,
Та песнь — мороз трескучий
Да вьюги вой и лай.

Не замышляй идиллий,
Мой нежный пастушок,
Ни Геснер, ни Виргилий[1]
Теперь тебе не впрок.

Аркадией не бредя
И помня, что ты росс,
В сибирского медведя
Воткни и спрячь свой нос.

А чтобы негой майской
Согреть и вспрыснуть грудь,
С собою ром ямайский
Ты взять не позабудь.

Уважь моим советам:
Ром — славный чудодей,
Зима с ним пахнет летом,
И нет ненастных дней.

В дороге на услуги
Он мастер пребольшой,
Он скуку и недуги
Снимает как рукой.

Почуешь ли изгагу[2]
Желудка иль души —
Целительную влагу
Себе ты пропиши.

Смотритель ли откажет
Дать лошадей тебе
И долго ждать прикажет
В курной своей избе,

Слов бранных по-пустому
Ты с ним не расточай,
А рому, много рому
Подлей себе ты в чай.

Два, три стакана дружно
Осушишь — а потом
И лошадей не нужно,
Ударь по всем по трем!

На этой рьяной тройке
Заедешь далеко,
Качаясь, как на койке,
Спокойно и легко.

Всё важничать рассудком —
Сухая жизни цель;
Не худо промежутком
Впустить в башку и хмель.

Бессмертие Платона
И с ним всех мудрецов
За день Анакреона
Отдать бы я готов.[3]

П. А. Вяземский

⟨ИЗ ЦИКЛА «ПОМИНКИ»⟩

Мой товарищ, спутник милый,
На младом рассвете дня
С кем испытывал я силы
Жизни новой для меня.

Как-то, встречею случайной,
Мы столкнулись в добрый час,
И сочувствий связью тайной
Породнились души в нас.

Мы с тобою обновили
Свежих радостей венок,
Вместе вплавь мы переплыли
Быстрой младости поток.

Время младости и счастья,
Лучезарная пора,
День без теней, без ненастья,
День без завтра и вчера!

Миг один, но всеобъятный,
Миг чудесный, сердца май!
Ты улыбкой благодатной
Претворяешь землю в рай.

Не зерцало ль мир наш внешний
Мира внутреннего в нас?
Мир цветет, пока день вешний
В сердце нашем не погас.

Но затмится ль, мир остынет,
Всё впадет в глубокий сон,
И рассудок тень накинет
На холодный небосклон.

Без оглядки и волненья
Тратим зрелые года,
Время строгого мышленья
И заботы и труда.

Но дни юности крылатой
Оставляют грустный след:
Мы скорбим над их утратой
И средь счастья и средь бед,

И под холодом суровым
Увядающих годов,
Чуждых обольщеньям новым,
Чуждых блеску милых слов.

Призрак их еще волнует:
Возвращаясь к дням былым,
Сердце ноет и тоскует
По тревогам молодым...

Берега студеной Камы,
Оживая предо мной,
Выступают, как из рамы,
С их бесцветной наготой.

Свод небес свинцово-темный,
Область вьюг и непогод,
Город тихий, город скромный,
В царство злата бедный вход.

Равнодушьем хладным света
(Лавр — обманчивая цель!)
Позабытого поэта
Мерзлякова колыбель,[1]

Пермь с радушием и лаской
Встретит нас, младых гостей,
Чудной песнью, чудной сказкой,
В блеске радужных лучей.

Там зарницей скоротечной
Развивались наши дни,
И на памяти сердечной
Отпечатались они.

С той порою златокрылой,
С той железной стороной
Неразрывно, друг мой милый,
Сочетался образ твой.

Тайных чувств моих наперсник,
Часто колкий судия!
По летам я был твой сверстник,
А по разуму — дитя.

Странствий сердца одиссею
Там я начал при тебе,
Там нашел свою Цирцею
И поддался ворожбе.[2]

Пермь, Казань, преданий тайных
Сердцу памятник живой,
Встреч сердечных, бурь случайных,
Так легко игравших мной,

Вы свидетелями были,
В вас — и помните ли вы? —
Я моей сердечной были
Издал первые главы.

И пока богиням Камы,
Волги, Клязьмы и Оки
Воздвигал я фимиамы
И к ногам бросал венки,

Охраняя ум свой здравый
От припадков сродных мне,
Лиц, обычаи и нравы
Ты следил наедине.

Вопрошал ты быт губерний,
Их причуды, суеты
И умел из этих терний
Вызвать свежие цветы.

И тебе и нам в то время
Тайной всем был твой удел;
Но уже таилось семя,
Но в тебе художник зрел.

И призванию послушный
Карандаш твой изучал
Монастырки простодушной
Миловидный идеал.

П. А. Вяземский

⟨ИЗ «СТАРОЙ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ»⟩

⟨1⟩

Мы сказали, что Фрожер[1] был искусный мистификатор. Этому слову нет соответственного у нас. Мистификация не просто одурачение, как значится в наших словарях. Это в своем роде разыгрывание маленькой домашней драматической шутки. В старину, особенно во Франции, — а следовательно, и к нам перешло — были, так сказать, присяжные мистификаторы, которые упражнялись и забавлялись над простодушием и легковерием простаков и добряков. Так, например, Фрожер, мастер

гримироваться и переряжаться не только пред лампами и освещением сцены, но и днем и запросто в комнате, бывал представляем в разные салоны под видом то врачебной европейской знаменитости, приехавшей в Петербург, то под известным именем какого-нибудь англичанина или немца и так далее. До конца вечера разыгрывал он невозмутимо принятую на себя роль. В обществе находились доверчивые простачки. Легко вообразить, какие выходили тут забавные недоразумения и qui pro quo (прошу покорнейше и это слово перевести по-русски).

В Париже был литератор Поансине (Poinsinet).[2] По необыкновенной доверчивости своей был он мишенью всех возможных мистификаций. Однажды уверили его, что король хочет приблизить его ко двору и назначить *придворным экраном* (ширмы, щит перед камином). Поансине поддался на эту ловушку, несколько дней сряду стоял близехонько перед пылающим камином и без милосердия жарил себе икры, чтобы приучить себя к новой должности своей. Милый и незабвенный наш Василий Львович Пушкин был в своем роде наш Поансине. Алексей Михайлович Пушкин, Дмитриев, Дашков, Блудов и другие приятели его не щадили доверчивости доброго поэта. Однажды, несмотря на долготерпение свое, он решился, если смеем сказать, огрызться прекрасным, полным горечи стихом:

Их дружество почти на ненависть похоже.[3]

Алексей Перовский (Погорельский) был позднее удачный мистификатор. Он однажды уверил сослуживца своего (который после сделался известен несколькими историческими сочинениями), что он великий мастер какой-то масонской ложи и властью своею сопричисляет его к членам ее. Тут выдумывал он разные смешные испытания, чрез которые новообращенный покорно и охотно проходил. Наконец заставил он его расписаться в том, что он *бобра не убил*.[4]

Перовский написал амфигури (amphigouri), шуточную, веселую чепуху. Вот некоторые стихи из нее:

Авдул-визирь
На лбу пузырь
И холит и лелеет;
А Папий сын,
Взяв апельсин,[5]

уже не помню, что из него делает. Но такими стихами написано было около дюжины куплетов. Он приносит их к Антонскому, тогдашнему ректору университета и председателю Общества любителей словес-

ности,[6] знакомит его с произведением своим и говорит, что желает прочесть стихи свои в первом публичном заседании Общества. Не должно забывать, что в то время граф Алексей Кириллович Разумовский был попечителем Московского университета или уже министром народного просвещения. Можно вообразить себе смущение робкого Антонского. Он, краснея и запинаясь, говорит: «Стишки-то ваши очень-то милы и замысловаты-то; но, кажется, не у места читать их в ученом собрании-то».* Перовский настаивает, что хочет прочесть их, уверяя, что в них ничего противуценсурного нет. Объяснения и пререкания продолжались с полчаса. Бедный Антонский бледнел, краснел, изнемогал чуть не до обморока.

А вот еще проказа Перовского. Приятель его был женихом. Вотчим невесты был человек так себе. Перовский уверил его, что и он страстно влюблен в невесту приятеля своего, что он за себя не отвечает и готов на всякую отчаянную проделку. Вотчим, растроганный и перепуганный таким признанием, увещевает его образумиться, одолеть себя. Перовский пуще предается своим сетованиям и страстным разглагольствиям. Вотчим не отходит от него, сторожит, не спускает его с глаз, чтобы вовремя предупредить какую-нибудь беду. Это продолжается с неделю и более. Раз всё семейство гуляет в саду. Вотчим идет рука под руку с Перовским, который продолжает нашептывать ему свои жалобы и отчаянные признания; наконец вырывается из рук его и бросается в пруд, мимо которого они шли. Перовский знал, что этот пруд был не глубок и не боялся утонуть; но пруд был грязный и покрытый зеленою тиною. Надобно было видеть, как вылез он из него зеленою русалкою и как Ментор ухаживал за своим злополучным Телемаком:[7] одел его своим халатом, поил теплою ромашкою и так далее, и так далее.

Другой проказник-мистификатор читает в «Петербургских ведомостях», что такой-то барин объявил о желании иметь на общих издержках попутчика в Казань. На другой день, в четыре часа поутру, наш мистификатор отправляется по означенному адресу и велит разбудить барина. Тот выходит к нему и спрашивает, что ему угодно. «А я пришел, — отвечает он, — чтобы извиниться и доложить вам, что я на вызов ваш собирался предложить вам товарищество свое, но теперь, по непредвидимым обстоятельствам, раздумал ехать с вами и остаюсь в Петербурге. Прощайте, желаю вам счастливого пути!»

Кажется, этот мистификатор чуть не был ли сродни Перовскому.[8]

---

* Антонский имел привычку прилагать к словам частичку «то». *Здесь звездочкой обозначено примечание автора.*

⟨2⟩

Есть у нас приятель; он с некоторым заиканием, говорит скороговоркою, а воображение его еще и языка скороговорчивее. Спрашивают его: есть ли лес в купленной им подмосковной? «Как же, — отвечает он, — сорок четыреста четыре тысячи сорок тысяч десятин строевого леса». Мы думали, что он дойдет до четырехсот тысяч десятин: да как-то духу у него не хватило, и он остановился. Заметка для читающего или для повторяющего этот рассказ: не надобно ставить запятых между цифрами ни письменно, ни устно; иначе пропадет вся прелесть этого crescendo.

В этом же роде рассказывал Алексей Перовский. Был ему хорошо знаком один зубной врач, не опровергавший французской поговорки: mentir comme un arracheur de dents (лгать как зубодерг). Однажды говорит он Перовскому: «На прошлой неделе вырвал я зуб у старого князя***. Как думаете, что он дал мне за операцию?» Перовский, зная хорошо приятеля своего, отвечает ему: «Тысячу рублей». — «Мало». — «Три тысячи?» — «Мало». — «Десять тысяч?» — Ошеломленный зубной врач не посмел идти далее и сказал: «Да, именно десять тысяч рублей, вы угадали». Но, одумавшись немножко, добавил: «И еще подарил мне славного рысака».

А. Ф. Воейков

⟨ИЗ САТИРЫ «ДОМ СУМАСШЕДШИХ»⟩

34

Вот на яицах наседкой
Сидя, клохчет сумасброд
И российские заедки —
Мак медовый он жует;
Вот чудак! Пред ним попарно
С обезьяной черный кот,
И советник титулярный
С куклой важно речь ведет.

или:

Вот на яицах наседкой
Сидя, клохчет сумасброд,
В самом желтом доме редкой!
Перед ним кружится кот,
Кукла страстно водит глазки,
Обезьяна скалит рот.
Он им сказывает сказки
И медовый мак жует.[1]

35

Кто ж бы это был? — «Перовский!» —
Мне товарищ прошептал.
— Уж не тот ли, что геройски
Турок в Варне откатал
Иль что взятчиков по-свойски
Из удела выгнал вон?[2]
— Нет! Писака, франт московский;
В круг ученых лезет он.[3]

36

Так тут чуда нет большого:
Спятить долго ли с уму
На конюшне у Ш⟨ишко⟩ва
И у Ливена в хлеву.[4]
— Жаль, и верно от собратов
Одурел он! — я сказал. —
Укусил его Ш⟨ихма⟩тов
Иль Ш⟨ишков⟩ поцеловал.[5]

Вот Перовский. Беспрестанно
Он коверкает лицо —
Кошкой, волком, обезьяной;
То свернется он в кольцо,

То у сильных ноги лижет,
То бессильных гонит вон,
То гроши на нитку нижет,
То бренчит на счетах он!

И. Н. Лобойко

ПЕРОВСКИЙ

Алексей Алексеевич Перовский, бывший попечителем Харьковского учебного округа в...,[a] брат министра графа Льва Алексеевича Перовского, воспитывался в Московском университете и получил степень доктора философии. Во время Наполеоновской войны был адъютантом при генерале Жомини, принадлежавшем к свите государя. Находясь по выходе в отставку в Петербурге, избран был в 1820 году в члены Общества любителей российской словесности[1] и радовал нас всех своим добродушным и занимательным обхождением.

Два случая, к нему относящиеся, остались у меня навсегда в памяти. У А. Ф. Воейкова назначен был один вечер в неделю, который проводили у него в беседе за чаем писатели, журналисты и особы из высшего круга. Тут бывали Н. М. Карамзин, поэт Жуковский, Александр Иванович Тургенев, гвардейцы-литераторы и все литературные знаменитости: Крылов, Гнедич, князь А. А. Шаховской, Греч, А. Е. Измайлов и проч. Иногда собиралось таких особ от 30-40.

Пребывание графа Остермана-Толстого в Петербурге дало повод собеседникам заговорить однажды о Кульмском сражении. «Кстати, — сказал Перовский, — позвольте, господа, занять вас подробностями этого дела, верно, никто его лучше меня и Булгарина не знает. Мы оба в 1813 году находились в центре сражавшихся армий. Я в корпусе графа Остермана-Толстого, при генерале Жомини, Булгарин, как французский офицер, в корпусе Вандамма».[2] — «Прекрасно! — вскричало всё собрание. — Говорите, говорите, вы оба превосходные рассказчики». Тут Перовский и Булгарин, одушевленные вниманием самого избранного общества, сменяя один другого, рассказали нам всё, что происходило в нашей и неприятельской армии до разбития корпуса Вандамма и взятия его русскими в плен. Но припомнить всё, что я тогда

---

[a] *Так в рукописи: свободное место, очевидно, оставлено для даты.*

слышал, невозможно. Описание перешло в самую живую драму, в которую введено было такое множество действующих лиц, столько было внезапного и поразительного, сцена так часто переменялась, что едва ли кто-либо из присутствовавших в состоянии был уловить все моменты этого представления.

Такие собрания в назначенные дни были по вечерам у Гнедича, у Греча, Булгарина, Измайлова, у П. И. Кеппена[3] и даже у Оленина и Шишкова.

Было с кем потолковать и чего тут нельзя было узнать и услышать. Алексею Алексеевичу Перовскому в это время поручено было графом Алексеем Кирилловичем Разумовским, бывшим с ним в родстве, продать дом его, находившийся на Фонтанке, вблизи дома Державина.[4] Алексей Алексеевич, кончив выгодно продажу, захотел отпраздновать с друзьями-соревнователями[5] свой выход и пригласил их на вечер. Тут были Греч, Булгарин, Воейков, Ф. Н. Глинка, Никитин, секретарь Общества,[6] братья Боровковы,[7] братья Николай и Александр Бестужевы, Кюхельбекер, барон Дельвиг, Анастасевич,[8] И. А. Гарижский,[9] прочих не помню. Угощение было самое роскошное. Напитки и кушанья самые дорогие и редкие. Гости не могли выдержать и отказывались пить; тогда хозяин бросал с досады на пол бутылку с шампанским; лакеи тотчас же очищали пол. Это заставляло нас пить снова. Вставши от ужина, хозяин повел нас по всем комнатам, показывал огромную библиотеку графа Разумовского и остановил нас пред портретом Петра Великого. «Замечаете ли, господа, что голова его вшита в полотно и платье дорисовано? Портрет этот достался графу Алексею Григорьевичу Разумовскому от императрицы Елисаветы Петровны. Петр Великий, находясь в Голландии и желая быть incognito, положим в Сардаме, зашел в один трактирец. На стене увидел он свой портрет с подписью по-латыне: „Царь всея России Петр Алексеевич". Заказав хозяйке завтрак и оставаясь в комнате один, он вырезал из портрета голову, положил щедрою рукою червонцев на стол и выскочил с этим портретом чрез окно и скрылся. По прибытии в Петербург государь рассказывал это приключение в своем семействе, портрет был восстановлен и от императрицы Елисаветы Петровны достался графам Разумовским».

Г. Н. Геннади

⟨ИЗ «ЗАПИСНОЙ КНИГИ TUTTI FRUTTI № 1»⟩

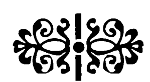
26 апр⟨еля⟩.[a]

У нас есть в литературе или, лучше сказать, был замечательный писатель, Алексей Алексеевич Перовский. Он писал под именем Погорельского, печатал повести в журналах (помню, что-то читал в «Репертуаре» или «Пантеоне»).[1] Написал роман «Монастырка» в 2 ч⟨астях⟩ и «Двойник» в 3 ч⟨астях⟩.[2] Потом написал миленькую вещицу для детей «Чернушка».[3] Это был преумный человек. По смерти его бумаги его достались [мужу его родной сестры] зятю его А. Толстому (к⟨ото⟩рый издал «Упырь»).[4] Этот Толстой не печатает их; а м⟨ожет⟩ б⟨ыть⟩, что то, что он печатает, он берет из бумаг покойного Перовского.

Перовские — незаконорожденные дети от канцлера гр⟨афа⟩ Разумовского[5] и Перовской, жившей в разводе с мужем.[6] Алексей б⟨ыл⟩ старший сын. Другие два сына — один Лев, теперь министр,[7] а другой (кажется, Владимир) теперь генерал-адъютант, губернатором в Оренбурге и делал известный Хивинский поход.[8] Говорят, что государь, отправляя его в поход, вручил ему запечатанный конверт с приказанием распечатать его, если он войдет со славою в Хиву. Так как поход б⟨ыл⟩ не кончен, то пакет возвращен закрытый. Вероятно, он заключал титул «Князя Хивинского».

---

[a] *На полях справа в начале текста запись: Литератор Погорельский-Перовский.*



Приложения

М. А. Турьян

ЛИЧНОСТЬ А. А. ПЕРОВСКОГО И ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ АНТОНИЯ ПОГОРЕЛЬСКОГО

В 1908 г. младосимволист Юрий Сидоров, удрученный литературной современностью и искавший отдохновения в полузабытых именах прошедших времен, писал такому же приверженцу классических традиций Борису Садовскому: «Приготовил я тебе небольшой подарок ⟨...⟩. А именно, у букиниста посчастливилось мне приобрести „Сочинения" А. Погорельского в 2-х томах, смирдинское издание 53 г. ⟨...⟩ люблю его за робкие, но верные и простые краски, за прекрасный и бесхитростный язык, за яркую и странную фантастичность, в которой он следовал великому учителю своему Гофману...».[1] С расстояния почти в столетие — емко и точно сформулированные непреходящие достоинства писателя: легкое перо Антония Погорельского, чья фигура скромно вырисовывается на фоне пушкинской эпохи, в самом деле пленяло не одно читательское поколение.

Спустя еще век черты особенности его литературного почерка, под стать созданному прихотливым воображением многомерному миру, дополнил лаконичной пушкинской формулой современный исследователь: «...парадоксов друг...».[2]

Жизненная судьба Алексея Алексеевича Перовского — таково настоящее имя писателя — по скудости сохранившихся сведений, сосредоточенных к тому же на периферии исследовательского внимания, извест-

---

[1] Цит. по: *Лавров А.* Юрий Сидоров: на подступах к литературной жизни // Slavic Studies. Vol. 32: A Centure's Perspective: Assays on Russian Literature in Honor of Olga Raevsky Hughes and Robert P. Hughes. Stanford, 2006. P. 50.

[2] См.: *Сапожков С.* «Гений, парадоксов друг...» // *Погорельский А.* Волшебные повести. М., 1992. С. 121—126.

на лишь в самых общих очертаниях. Контурно запечатлена в истории и сама его неординарная личность: человек яркого и ироничного ума, блестяще и всесторонне образован; герой 1812 г. — и влиятельный, послушный престолу сановник; друг Вяземского, Жуковского, братьев Тургеневых, Пушкина — и радетель консервативных устоев. Напоминал прекрасным своим обликом и легкой хромотой Байрона; душа общества, богат и холост... «Личность Перовского, говорят, была просто обаятельна. Он всюду вносил с собою атмосферу интеллигентности, ума, остроумия, веселости и душевной теплоты»[3] — это, можно сказать, парадный — по откликам современников — его портрет. Вот все — или почти все. Целостных воспоминаний не оставил о нем никто — даже друг Петр Андреевич Вяземский, печатно помянувший лишь о нем *раннем*, хотя они тесно общались на протяжении жизни, даже горячо любимый и воспитанный им Алексей Константинович Толстой, в котором он творчески продолжился... Из мозаики же упоминаний ускользает многогранность образа и загадка судьбы — по существу, глубоко драматической.

«Случайный» отпрыск одного из самых знаменитых «случайных» семейств в России, Алексей Перовский родился в екатерининское царствование, в 1787 г., в Москве. Он был внебрачным первенцем знатного графа Алексея Кирилловича Разумовского и безвестной Марии Михайловны Соболевской, дочери графского берейтора, сумевшей, однако, прочно удерживать подле себя надменного вельможу более тридцати пяти лет и родившей ему девятерых детей, — отцом последнего из них, Бориса, Разумовский стал в шестьдесят семь лет.

Самый род Разумовских лишь к середине восемнадцатого столетия головокружительно вознесся из черниговских крестьян до первых приближенных двора и государственных деятелей благодаря благосклонности Елизаветы Петровны к красавцу-пастуху и певчему сельской церкви Алексею Розуму. Однако уже дед Перовских, брат Алексея Кирилл Григорьевич, отправленный за знаниями в Европу, стал не только гетманом Украины — последним всевластным ее управителем (осколки его несметных малороссийских владений достались позже и Перовским), но и президентом Петербургской Академии наук и обладателем одной из богатейших частных библиотек России.[4]

---

[3] *Денисюк Н.* Граф А. К. Толстой: Его время, жизнь и сочинения. М., 1907. С. 43; см. также: Из моей старины: Воспоминания А. В. Мещерского // РА. 1900. Кн. 2. № 7. С. 372.

[4] См.: *Васильчиков А. А.* Семейство Разумовских. СПб., 1880—1894. Т. 1—5; о К. Г. Разумовском см. также: *Страхов Н.* Мои петербургские сумерки. СПб., 1810. Ч. 1. С. 68—75. Еще при жизни Елизаветы Петровны была предпринята льстивая попытка возвести род Разу-

О Соболевской сведений почти не сохранилось. Известно, однако, что воспитывалась Мария Михайловна в доме неких Денисьевых — за наперсника своего детства генерал-майора Петра Васильевича Денисьева, входившего в ближайшее окружение Разумовского, она вышла замуж после смерти графа.[5] Официальный муж (так же, видно, как и гражданский) души в ней не чаял, приписывая своему «незабвенному другу» необыкновенные добродетели. Сословный статус Марии Михайловны тем не менее темен. Так и повисло в воздухе выдвинутое было ею утверждение о том, что она — вдова польского дворянина на русской службе Алексея Перовского. Существует, правда, в этой связи глухое анонимное упоминание некоего «покладистого поляка Перовского» и того, что дети Соболевской, обретя стараниями отца грамоты на дворянское достоинство, по одной из версий «включены были в число дворян бывших польских губерний».[6] Если вспомнить горестный конец Алексея Алексеевича, настигший его в мимолетной Варшаве — на пути во Францию, то польские флюиды у его колыбели чудятся едва ли не фатальным предзнаменованием... Вместе с тем как будто в пользу версии Соболевской сохранились косвенные сведения — след неусыпных ее забот о двух своих родных братьях, к опеке над которыми она склонила Разумовского: в отчетах ему об их устройстве братья эти именуются дворянами. «Алексей Алексеевич ⟨...⟩ вашим именем просил меня о помещении в канцелярию двух дворян Соболевских, что еще на прошедшей неделе исполнено. ⟨...⟩ О чем Алексей Алексеевич обещал Вашему сиятельству донести», — отчитывался графу 3 октября 1810 г. сугубо преданный ему П. И. Голенищев-Кутузов. «Еще доношу, что г-н Соболевский, по его желанию и по настоянию Алексея Алексеевича Перовского ⟨...⟩ определен рисовальным учителем в Губернскую здешнюю (московскую. — *М. Т.*) гимназию с жалованьем весьма хорошим» — от него же, 14 сентября 1811 г. К слову, Дмитрий Михайлович Соболевский, живописец, о котором идет речь, до того был отправлен на обучение в Дрезден.[7] И все же, когда Алексей Кириллович довольно

мовских к польской княжеской фамилии Рожинских, самими Разумовскими, впрочем, отвергнутая (см.: *Милорадович Г.* Биографии достопамятных малороссиян. СПб., 1858. С. 1—4).

[5] См.: наст. изд., с. 480—483.

[6] См.: *Стафеев Г. И.* В отчизне пламени и слова: (А. А. Перовский и А. К. Толстой в Красном Роге). Тула, 1983. С. 28—29; а также: *Васильчиков А. А.* Семейство Разумовских. СПб., 1880. Т. 2. С. 112—113 (анонимный комментарий на полях экземпляра, хранящегося в ОР РНБ: шифр — В. 3/В—19); *Третьяков М. П.* Императорский Московский университет: 1798—1830 // РС. 1892. № 7. С. 126.

[7] См.: *Третьяков М. П.* Императорский Московский университет: 1798—1830. С. 322—323, 354, 380, а также: ОР РНБ, ф. 708 (Н. П. Собко), ед. хр. 616, л. 24—25.

долго — с 1796 по 1807 год — добивался для своих незаконнорожденных детей дворянства, он упорно, преодолевая серьезное противодействие Государственного совета, добивался того же и для их матери — что, кажется, ему так и не удалось.[8]

Загадочный этот союз по тогдашним понятиям сложился поздно, почти к сорокалетию графа. В свое время за него была просватана самая богатая невеста России — графиня Варвара Шереметева. Но Алексей Кириллович — интеллектуал и вольтерьянец с мизантропической душой, в которой равно уживались бунтарская философия и христианское смирение, — вытерпел набожную, приверженную суевериям и кое-как воспитанную графиню лишь лет десять, после чего в одночасье отказал ей от семейного дома, оставив при себе четверых прижитых с нею детей: двух никчемных сыновей — сумасбродно соривщего родительскими деньгами Петра и полусумасшедшего Кирилла — и двух более удачных дочерей: Варвару, в замужестве Репнину-Волконскую, и Екатерину, в замужестве Уварову. В 1785 г. родился у него еще сын, получивший имя Николай Иванович Перовский, — от безымянной поныне возлюбленной, по смутным слухам, бывшей замужем — странное совпадение имен! — за неким Иваном Перовским;[9] этот сын, вполне впоследствии состоявшийся: градоначальник Феодосии, губернатор Крыма и вообще comme il faut — был отдан на воспитание Наталье Кирилловне Загряжской, родной сестре графа.[10] Что касается детей Перовских от Соболевской, награжденных, в отличие от Николая, отчеством по отцу, то, согласно устойчивой версии, эта фамилия была дана им Разумовским по наследственной подмосковной вотчине Перово, где некогда Елизавета Петровна тайно венчалась с двоюродным их дедом.

Детство Перовских, на положении сирот и воспитанников графа, протекло на краю роскошного гнезда — отчасти, кажется, в Москве и подолгу — в богатом отцовском малороссийском поместье Почеп: с воцарением Павла Алексей Кириллович удалился от столицы и государственных дел, предаваясь лишь занятиям любимой ботаникой — и масонству. Нечасто допускавшиеся к нему дети по установленному негласному правилу до конца дней не смели называть отца иначе как

[8] См.: *Стафеев Г. И.* В отчизне пламени и слова: (А. А. Перовский и А. К. Толстой в Красном Роге). С. 28—33; РГАЛИ, ф. 2580 (Кол. Ципельзона), оп. 1, ед. хр. 98, л. 29 об.—30.

[9] См.: *Васильчиков А. А.* Семейство Разумовских. Т. 2. С. 112.

[10] Подробнее о Н. И. Перовском см.: *Перовский В. А.* Воспоминания о сестре. М.; Л., 1927. С. 5.

«граф». Вместе с тем это не мешало Разумовскому заботиться об их серьезном и всестороннем домашнем обучении. Как бы то ни было, но детство не оставило тяжелого следа в юных душах — неистощимая веселость Алексея Перовского, например, запечатлелась в памяти всех, кто с ним общался.

Соболевская во всю свою жизнь Разумовскими — да и, похоже, не только ими — принята не была. Косвенное, но красноречивое свидетельство тому — демонстративная фигура умолчания о ней на страницах монументальной летописи рода Разумовских, составленной А. А. Васильчиковым, потомком могучего клана по женской линии.

Однако это обстоятельство для ведшего замкнутую жизнь Алексея Кирилловича особого значения не имело и его привязанности к избраннице не ослабило — напротив. Объяснение тому, возможно, кроется в особом женском очаровании Соболевской — сведениями об иных ее достоинствах мы не располагаем. Во всяком случае, она полноправно разделяла с графом единый кров долгие годы, и этот альянс подарил России блестящее потомство, оставившее по себе заметную память. Злой на язык Ф. Ф. Вигель даже как-то заметил, что А. К. Разумовский «имел одну только беззаконную славу — быть отцом Перовских».[11]

В отношении Алексея Кирилловича этот едкий пассаж кажется все же не вполне справедливым, в то время как к Марии Михайловне его, думается, можно отнести вполне. Опираясь на скупые, дошедшие до нас, факты смело можно предположить, что сколько-нибудь серьезного влияния на становление своих детей оказывать она не могла и вообще относилась к материнским обязанностям весьма рассеянно, чтобы не сказать — беспечно, препоручив надзор за чадами жившей при ней сестре Прасковье (в иных источниках — Пелагее) Михайловне, по одним сведениям — женщине «очень простой и совершенно необразованной», по другим — «чистому существу, одаренному живым благочестием», «доброму гению всей семьи».[12] Здесь в семейную хронику Разумовских, и без того изобилующую разного рода «неправильностями», вплетается еще один «неправильный» сюжет.

Отец Алексея Кирилловича, известный вообще-то своим благородством и великодушием граф Кирила Григорьевич Разумовский, как-то в сердцах сетовал в письме к другому своему сыну, блестящему нашему посланнику при венском дворе Андрею Кирилловичу: «Старший

---

[11] *Вигель Ф. Ф.* Записки. М., 1928. Т. 1. С. 304.

[12] Записки графа Ф. П. Толстого. М., 2001. С. 172; *П. Б.* ⟨*П. Буренин*⟩. Граф Б. А. Перовский // РА. 1881. Кн. 3. № 2. С. 476.

брат ваш б... как рощею окружился, недвижим с места, всё видится ему вчерне...».[13] Одна из «героинь» этого нелестного пассажа очевидна. Другая же — то самое чистое и благочестивое существо — Прасковья Михайловна, нашедшая волею судьбы и обстоятельств постоянный приют под крышей Алексея Кирилловича. История ее хоть и схожа с сестринской, но много грустнее, и связана с еще одним Разумовским — Львом Кирилловичем, по словам П. А. Вяземского, человеком «чистейшей и рыцарской чести», любимцем Москвы, хлебосольным хозяином знаменитого дома со львами на Тверской, славившегося неслыханными обедами и веселыми празднествами и увековеченного в «Евгении Онегине» и «Анне Карениной». Характеристика Вяземского не сторонняя. Лев Кириллович тесно дружил не только с его семейством, но и с Карамзиным, и с Иваном Ивановичем Дмитриевым, и с известным знатоком музыки графом М. Ю. Виельгорским — круг его общения был поистине всеохватен. Из череды его увлечений широко известно самое удивительное — любовная история с красавицей Марией Григорьевной, урожденной княжной Вяземской, женой бесшабашного московского мота князя А. Н. Голицына, завершившаяся счастливым браком: стоустая молва настаивала на том, что влюбленный Лев Кириллович выиграл ее у Голицына за карточным столом.[14] Но еще до этого громкого, на обе столицы, события Лев Кириллович стал отцом нескольких детей — неясно, одного или двух сыновей и, кажется, двух дочерей. Однако в отличие от брата связи своей с их матерью он не афишировал. Между тем достоверно, что по крайней мере один сын и одна дочь были произведены на свет кроткой Прасковьей Михайловной. «Воспитанник» Льва Кирилловича Ипполит Иванович Подчасский, родившийся в 1792 г., дослужился до сенатора и действительного тайного советника и был всеми уважаем. В 1818 г., получив в Варшаве известие о близящемся конце милого ему графа Льва Кирилловича, Вяземский писал А. И. Тургеневу: «Бедный Разумовский! Если он умрет, то добрым человеком будет менее на свете. Сделал ли он что-нибудь для сына своего, Подчацкого?».[15] Дочь же его была замужем за неким, иностранного происхождения, Данилой Ивановичем Шотом,

---

[13] *Васильчиков А. А.* Семейство Разумовских. Т. 2. С. 44.

[14] См.: *Жихарев С. П.* Записки современника: В 2 т. Л., 1989. Т. 1: Дневник студента. С. 98, 293; *Назимова М. Г.* Бабушка графиня М. Г. Разумовская // ИВ. 1899. Т. 75. № 3. С. 841—854.

[15] См.: Остафьевский архив князей Вяземских. СПб., 1899. Т. 1. С. 164 (письмо от 6 декабря 1818 г.), а также с. 550—551; *Вяземский П. А.* Старая записная книжка. Л., 1929. С. 229.

приписанным к российскому купечеству. Семейство это впоследствии родственно привечал и опекал Алексей Перовский.[16] Понятно, что после женитьбы на Марии Григорьевне матери этих детей места возле Льва Кирилловича не нашлось, однако они, как и сама Прасковья Михайловна, были приняты в доме брата и, например, пережидали наполеоновское нашествие на первопрестольную в его тамбовском имении Ершово.[17]

Что же до первенца Марии Михайловны Алексея, то о самой ранней поре его жизни ничего не известно — если не считать единственного семейного упоминания о не дошедшем до нас опыте детского сочинительства, поднесенном графу А. К. Разумовскому в день его именин.[18] Сохранилось, пожалуй, только одно свидетельство — рассказанная им самим трепетная и неувядающая история о Черной курице. О том, имеет ли она действительную автобиографическую подоплеку, споры ведутся по сей день. О коротком пребывании маленького Алеши Перовского в петербургском пансионе Мейера мы располагаем лишь двумя короткими воспоминаниями. Одно из них принадлежит графу Ф. П. Литке, воспитаннику того же пансиона, бывшего, по его словам, в те времена на хорошем счету. Лучшим доказательством тому, утверждает он, «может служить то, что товарищем нашим был одно время, хотя и недолго, Алексей Перовский, впоследствии попечитель Харьковского университета и писатель под псевдонимом Антона Погорельского. Посещения отца его, графа Алексея Кирилловича Разумовского, бывали у нас всегда эпохой, по благовонию, распространявшемуся по всему дому от его платков и всей его персоны...».[19] Все бы ничего, если бы не упрямая хронология: дело в том, что Литке, родившийся в 1797 г., провел в пансионе Мейера шесть лет, начиная с 1803-го, когда Алексею Перовскому было уже шестнадцать! Между тем свидетельство Литке поддержано и дополнено в небольшом очерке о Погорельском В. Горленко, построенном на «преданиях родных»: автор почерпнул их из рассказов последнего владельца Погорельцев, племянника писателя Н. М. Буда-Жемчужникова. Согласно этим семейным преданиям, «отданный в какой-то петербургский пансион, Перовский бежал оттуда к своему воспитателю и во время бегства вывихнул ногу, так что всю жизнь немного хромал», —

---

16 См.: наст. изд., с. 424 и 717, письмо ⟨13⟩, примеч. 2.

17 См.: *Васильчиков А. А.* Семейство Разумовских. Т. 2. С. 168; *Беляев А. П.* Воспоминания о пережитом и перечувствованном // РС. 1880. Т. 29. № 9. С. 14.

18 См.: *Горленко В.* А. А. Перовский // Киевская старина. 1888. Т. 21. № 4. С. 117.

19 Автобиография графа Ф. П. Литке / Публ. В. П. Безобразова // Записки имп. Академии наук. СПб., 1888. Т. 57. Прил. 2. С. 34.

именно это, по отзывам очевидцев, еще более усиливало его сходство с Байроном.[20] Версия о хромоте, судя по всему, совершенно достоверна: ее подкрепляет и автопортретное описание Двойника — alter ego автора-рассказчика в «Двойнике, или Моих вечерах в Малороссии» («...я заметил, что он немного прихрамывает на правую ногу»),[21] и совершенно независимое свидетельство времени пребывания Перовского на посту попечителя Харьковского учебного округа: «Перовский был болезненный, *хромой*, худенький, низенький человек».[22] Но что же уверения Литке? Федор Петрович Литке — мореплаватель и географ — писал свои «Семейные записки» в 1865—1868 гг. Конечно, его воспоминания о пребывании Перовского в пансионе Мейера всецело можно было бы счесть одним из нередких случаев перенесения литературного сюжета на личность автора — так расценил, например, А. И. Кирпичников версию Горленко.[23] Вероятнее всего, утверждения Литке — аберрация памяти, запечатлевшей *слышанные рассказы* как *личные* впечатления. Неудивительно, если в пансионе, учениками которого большею частью были дети из коммерческих домов, надолго сохранилась память о таком незаурядном пансионере, как Алеша Перовский, и о его отце — знатном вельможе. Но и в этом случае мемуары престарелого графа сохраняют силу хотя и косвенного, но достаточно убедительного свидетельства.

Подобное предположение опирается еще на один красноречивый факт, свидетельствующий о той серьезности, с какой Алексей Кириллович стремился подойти к воспитанию старшего сына, следуя в этом примеру собственного отца, не жалевшего средств на образование детей. Известно, что в свое время Кирилл Григорьевич определил их в знаменитую и едва ли не им самим учрежденную «академию 10-й линии» — своеобразный пансион с лучшими преподавателями по всем наукам — в их числе и немецким историком Августом Шлецером. Располагалась, между прочим, «академия» на том же Васильевском острове, где и пансион Мейера.

В педагогическом смысле опыт Алексея Кирилловича оказался менее удачен, но именно ему мы обязаны одним из лучших в нашей детской литературе образцов не только «фантастической», но и автобиографической прозы.

---

[20] *Горленко В.* А. А. Перовский. С. 114.

[21] См.: наст. изд., с. 9 и 659, примеч. 3.

[22] *Багалей Д. И.* Опыт истории Харьковского университета (по неизданным материалам). Харьков, 1904. Т. 2: (1815—1835). С. 179.

[23] См.: *Кирпичников А. И.* Антоний Погорельский: Эпизод из истории русского романтизма // Кирпичников А. И. Очерки по истории новой русской литературы. 2-е изд., доп. М., 1903. Т. 1. С. 79—80.

Восемнадцати лет Алексей Перовский поступает в Московский университет. Отец и здесь определяет его в надежные руки — пансионером к профессору естественной истории Фридриху Фишеру, звавшемуся на русский лад Федором Богдановичем, — тому самому замечательному ботанику, что возделал славившийся и в Европе сад Разумовского в Горенках да и в будущем поместье своего студента Погорельцы.[24] По воспоминаниям сокурсника Перовского В. И. Лыкошина, одновременно с ними здесь слушали лекции Мерзлякова, Каченовского, Шлецера, совершенствовались в греческом и английском братья Михаил и Петр Чаадаевы, Александр Грибоедов, князья Алексей и Александр Лобановы.[25] Спустя два года Перовский заканчивает курс обучения и получает высшую ученую степень — доктора философии и словесных наук. Вполне понятно, что, находясь под опекой Фишера, он избрал темой трех обязательных пробных лекций ботанику (две из них он, сверх установленных требований, прочел на немецком и французском языках) — предмет страстного увлечения отца, прочно привитого и сыну. По воспоминаниям родных, Перовский, уже в зрелые лета, заботливо лелеял свой сад в Погорельцах и нередко давал садовнику червонец за удачно принявшееся дерево. Третья, русская лекция по лексике и стилистическому строю изобличала в молодом кандидате в доктора поклонника Карамзина.[26] К этому же времени относится и его первый литературный опыт: в 1807 г. он переводит на немецкий язык «Бедную Лизу», считая ее произведением «великолепным» и «прекрасным» именно «по способу своего изложения». Труд свой Перовский посвящает «его превосходительству господину тайному советнику и действительному камергеру графу Алексею Разумовскому». Этикетность этого посвящения достаточно выразительно рисует характер тогдашних отношений между отцом и сыном; кроется здесь и некий исторический парадокс: вскоре Разумовский, в качестве министра народного просвещения, будет получать доносы П. И. Голенищева-Кутузова на опасного вольнодумца Карамзина. Спустя год после «Бедной Лизы» выходят отдельной книжкой прочитанные в университете лекции Перовского — на этот раз с посвящением Льву Кирилловичу Разумовскому. Известен и подносной экземпляр еще одного переводного труда Перовского сестре графа, своей тетке Наталье

---

[24] См.: *N*. Описание ботанического сада Е⟨го⟩ с⟨ветлости⟩ графа А. К. Разумовского, в Горенках, близь Москвы: (Из письма одного путешественника) // ВЕ. 1810. Ч. 52. № 13. С. 52—62.

[25] См.: *Лыкошин В. И.* Из «Записок» // А. С. Грибоедов в воспоминаниях современников. М., 1980. С. 34.

[26] См.: наст. изд., с. 501—506.

Кирилловне Загряжской,[27] которую Алексей Кириллович называл «сиреною семьи». «Сирены» этой заслушивался впоследствии Пушкин, породнившийся с Загряжской через жену. Получается, между прочим, что Перовский и Пушкин состояли в дальнем родстве.

Все это, казалось бы, второстепенные, но весьма красноречивые факты признания незаконного сына А. К. Разумовского ближайшей знатной родней, что, несомненно имело для него важные и благие последствия. Не исключено, что именно Лев Кириллович и ввел его в московскую литературную среду: будущий писатель сближается с кругом его друзей и входит в орбиту своего кумира Карамзина, вокруг которого группируется новое литературное поколение, эстетически, однако, довольно независимое и далекое от пуританства в повседневном быту. Среди ближайших друзей Перовского этой поры — Вяземский и Жуковский. Вместе они «переплыли быстрой младости поток», вместе прошли по жизни, сохранив близость до конца дней. Вяземский светло вспоминал об этом по смерти друга:

Мой товарищ, спутник милый,
На младом рассвете дня
С кем испытывал я силы
Жизни новой для меня.

Как-то, встречею случайной,
Мы столкнулись в добрый час,
И сочувствий связью тайной
Породнились души в нас.

Окончив университет, в январе 1808 г. Перовский отправляется служить в Петербург, получив довольно высокий для молодых лет чин коллежского асессора и место в одном из департаментов Сената. Отец его к этому времени возвращается к государственной деятельности попечителем Московского учебного округа, а спустя несколько лет становится министром народного просвещения.

Сын влиятельного вельможи службой, однако, не манкирует — возможно, объяснялось это и стремлением обрести известную независимость, в том числе материальную, — такого рода благодеяния отца в это время кажутся весьма зыбкими. Уже в августе 1809 г. Перовский оставляет рассеянную и веселую столицу для полугодовых скита-

---

[27] Mœurs des Japonais. St. Pétersbourg, 1808 (Всесоюзный музей А. С. Пушкина, КП-23657 (писарская копия)).

ний по русской провинции — в составе Комиссии сенатора П. А. Обрескова, отправлявшегося ревизовать Пермскую, Казанскую, Нижегородскую и Владимирскую губернии. Картины русской провинциальной жизни дали немало впечатлений и немалую пищу его острому глазу и острому уму. Вяземский, участник той же Комиссии, оставил замечательное описание этих «странствий», отложившихся, по его убеждению, в творческом сознании будущего автора «Монастырки», в котором именно тогда «художник зрел». «Вообще эта официальная и ревизионная поездка от Москвы до Перми, — вспоминал Вяземский, — представляла ряд любопытных впечатлений. Не лишена была она и некоторых поэтических оттенков ⟨...⟩. Незнакомая нам приволжская и прикамская природа с разнообразными картинами своими была для нас новым зрелищем. Провинциальная жизнь и обстановка, хотя иногда и странная, выкупала свои областные и местные особенности добродушным гостеприимством ⟨...⟩. К тому же везде встречались несколько людей и не лишенных образованности. Они вынесли из прежней жизни в столицах привычки общежития и вежливости. Эти привычки, перенесенные на провинциальную почву и несколько приспособленные к этой почве, имели для нас особенный вкус новизны».[28] Мемуарные зарисовки почти зеркально отразились потом в посвящении Перовскому:

Вопрошал ты быт губерний,
Их причуды, суеты
И умел из этих терний
Вызвать свежие цветы.

Сохранившиеся письма Перовского к Вяземскому этой поры особенно важны: они отражают не только сердечность и доверительность их отношений, но и ту непринужденность, с какой Перовский освоился в московском обществе. Нет сомнения, что не иначе как по этой причине по возвращении из поездки по провинциям он недолго задержался в Петербурге. В ноябре 1810 г., невзирая на то что Разумовский, назначенный министром просвещения, перебрался всем домом на жительство в столицу, Алексей Алексеевич вновь переезжает в первопрестольную на службу в один из департаментов Московского Сената.

Неизвестно, осознает ли себя в это время литератором сам Перовский — во всяком случае, он уже автор серьезного перевода и грешит стихами. Стихотворные же обращения к нему Вяземского помогают со-

---

28 *Вяземский П. А.* Старая записная книжка. М., 2003. С. 399—400.

ставить некоторое представление о характере и литературных вкусах молодого человека, которому сопутствует «гений златокрылый». Он — тайный сочинитель «идиллий», однако вместе с тем и постоянный участник дружеских собраний ироничной и разгульной московской молодежи, и автор мастерских «амфигури» — образцов шуточного стихотворного балагурства, рождавшихся, возможно, не без влияния Жуковского и Вяземского, известных к этому времени эпиграмматистов; Жуковский же вскоре прославился и как классик пародийной арзамасской «галиматьи». Пародийное и эпиграмматическое творчество становится важной частью развернувшейся борьбы «архаистов» и «новаторов» за новые эстетические ориентации. Оно развивается в атмосфере «„Арзамаса" накануне „Арзамаса"», или «поддевического „Арзамаса"», как позже окрестил московское дружеское литературное сообщество первого десятилетия XIX в. один из его участников Александр Тургенев — по месту встреч в домике А. Ф. Воейкова на Девичьем Поле. При всем безусловном уважении к Карамзину именно на периферии строгой карамзинской эстетики в литературной практике его своенравных «птенцов» формируется поэтика «бессмыслицы» и «галиматьи» с ее дерзкими новациями в области семантики и стиля. Однако это не только плод «чистого» литературного творчества, но и отражение новой «психологии» жизни, эпатажных форм бытового поведения «детей», дерзко преступающих незыблемые каноны общественного этикета. Именно в те поры Вяземский — «безумец, расточитель молодой» — «прокипятил» на картах полмиллиона. Да и за самим Перовским очень скоро утвердилась репутация яркого остроумца и «проказника милого» — мастера озорных розыгрышей, о которых по городу ходили легенды. Не последнюю роль в этом играла принадлежность обоих к кругу Сергея Алексеевича Неелова, первого на Москве остроcлова и автора хотя и неуклюжих, но метких эпиграмм и фривольных сатирических стихотворений на любой случай московской светской жизни, разлетавшихся изустно по обеим столицам. Вяземский ценил в его «дурацких амфигури» умение «выражать общежитие» и считал Неелова «основателем стихотворческой школы, последователями коей были Мятлев и Соболевский».[29] Не без явного удовольствия отдавал должное незаурядности Неелова и Пушкин, вполне наследовавший в послелицейские годы эпатажность москвичей. «Стихи Неелова прелесть, — писал он как-то Вяземскому, — недаром я назвал его некогда le chantre de la merde![a] (Это между нами и

[29] *Вяземский П. А.* Стихотворения. Воспоминания. Записные книжки. М., 1988. С. 404.
[a] певец навоза (*фр.*)

потомством буди сказано.)»[30] Характеристики Вяземского и Пушкина не случайны: в «галиматье» Неелова и его друзей оба ясно ощущали близкие себе традиции «домашней» поэзии и стихотворного балагурства. Крупнейший знаток вопроса П. Н. Берков в известном смысле причислял к последователям Неелова и самих Вяземского и Пушкина, также культивировавших эпиграмматическую устную традицию.[31]

Широко процветало в этом кружке и «бытовое» мистификаторство — и Перовский, признанный мастер шутейного розыгрыша, был непременным участником веселых и изобретательных кунштюков. Альбом Неелова сохранил, например, автограф его блестящего амфигури, которому, кажется, могли бы позавидовать и новейшие абсурдисты:

Абдул-визирь
На лбу пузырь
Свой холит и лелеет.
Bayle, геометр,
Взяв термометр,
Пшеницу в поле сеет.

А Бонапарт
С колодой карт
В Россию поспешает.
Садясь в балон,
Он за бостон
Сесть Папу приглашает.

Перовский, мистифицируя председателя Общества любителей российской словесности А. А. Прокоповича-Антонского, добивался его разрешения на публичное чтение этих стихов перед почтенными членами Общества.[32] Кстати, они вызвали к жизни пародийное переложение самого хозяина альбома — характерный прием «домашней» поэзии:

Пускай монах
В монастырях
Обедни отправляет,
Пусть архирей
Всех стерлядей

---

30 Переписка А. С. Пушкина: В 2 т. М., 1982. Т. 1. С. 205 (письмо от 25 мая и около середины июня 1825 г.).

31 *Берков П. Н.* Козьма Прутков: (Литературная биография) // Козьма Прутков. Полн. собр. соч. М.; Л., 1933. С. 12.

32 См.: наст. изд., с. 556—557.

Икру себе сбирает
⟨. . . . .⟩
Пусть Бонапарт
С колодой карт
В пасьянс один играет.
Пусть Пий святой
С душой простой
Добра ему желает...[33]

Между прочим, сравнение этих амфигури отчетливо показывает, насколько ярче разработана у Перовского сама образная система абсурда и та «эстетика нелепости», которую унаследует потом через «посредство» А. К. Толстого Козьма Прутков. Точно так же «предугадано» Перовским пародирование библейских текстов, в духе просветительских традиций, столь распространенное потом у «арзамасцев».[34] Примечательна и еще одна черта этих «шутейных» упражнений веселого стихотворца: другое его альбомное стихотворение — «Неелов беспутный!» — заканчивается излюбленной в его зрелом творчестве игрой «готическими» топосами. Травестированная им концовка «романов тайн» — «Продолжение впредь» — обыгрывалась литераторами еще долго, ибо генезис ее русскому читателю обильной переводной «готики» был вполне понятен. Так, в 1825 г. Н. И. Греч завершил одно из своих «Писем на Кавказ» следующим образом: «Напишу, как журналист пред развязкою страшной повести: *Продолжение впредь*».[35]

Духом легкого мистификаторства и литературной игры отмечены и иные из дошедших до нас писем Перовского — эту особенность его эпистолярия друзья, кажется, ценили. Переправляя в 1821 г. Вяземскому в Москву письмо Перовского, А. И. Тургенев приписал: «Посылаю ein Gegenstück[a] для твоего собрания писем от Перовского».[36]

И «шутейный» опыт, и вкус к мистификациям оказались очень полезны: и то и другое органично вошло в творческий метод писателя Антония Погорельского, в полной мере отразившись в его произве-

---

[33] См.: наст. изд., с. 679.

[34] Подробнее см.: *Tourian M.* Antony Pogorelsky and A.K. Tolstoi: the Origins of Kozma Prutkov // Reflective Laughter: Aspects of Humor in Russian Culture / Ed. L. Milne. London, 2004. P. 37—47.

[35] *Ж. К.* [*Греч Н. И.*] Третье письмо на Кавказ // СО. 1825. № 5. С. 67.

[a] Здесь: в дополнение (*нем.*).

[36] Остафьевский архив князей Вяземских. СПб., 1899. Т. 2, кн. 1: (1820—1823). С. 231, 234 (письмо от 13 декабря 1821 г.).

дениях игровым началом и свободой в обращении с читательской аудиторией. По справедливому наблюдению Е. Н. Пенской, в частности, «Двойником» была подсказана и пародийная манера общения Пруткова с читателем, и «игровое воспроизведение современного литературного мира».[37]

Однако Перовского в эти годы отличает не одна веселость, но и «здравый» ум, и независимый, проницательный взгляд на «лиц, обычаи и нравы», которые он внимательно «следит наедине». Внутреннее становление, выбор жизненной позиции осуществлялись непросто, и «среда обитания» играла здесь, конечно, не последнюю роль. Свидетельства дружбы Перовского с Вяземским нам известны, но, к сожалению, мы не располагаем таковыми же в отношении Жуковского; думается, однако, что роднило их многое, в том числе и сходная жизненная судьба — «незаконное» происхождение. Не случайно первая же принесшая поэту славу элегия «Сельское кладбище» утверждала самоценность человека, свободную от сословных предрассудков. Именно об этом спустя десятилетие писал Жуковскому другой его сердечный друг, Василий Перовский: описывая непростые семейные перипетии в дни прощания с умершим отцом, он восхищался благородством неотлучно находившегося при графе брата Алексея, который доказал «сыновнею любовью, что пред Богом нет разницы между детьми законными и незаконными...».[38] Высокие нравственные представления Жуковского, в том числе и устремленность к самосовершенствованию, не могли не тронуть в душе Алексея Перовского созвучные струны. Быть может, в силу этого он и предпринимает неоднократные попытки сближения с масонами — вопреки неожиданному сопротивлению отца, видного и влиятельного масона. Быть может, граф втайне страшился для Алексея повторения печальной участи законного своего сына Кирилла, помешавшегося за границей на иллюминатах? Перовский, к слову, встретился с несчастным в Спасо-Евфимиевском монастыре, куда запер его отец, во время своего служебного путешествия по провинциям.[39] Согласно другой версии, Разумовский, вероятно, стремился оградить сына от пагубного влияния разгульных нравов, царивших в некоторых московских ложах.[40] Хотя не

---

37 *Пенская Е. Н.* Генезис пародийной маски Козьмы Пруткова в русской литературе XVIII—XIX вв.: Автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. филол. наук. М., 1989. С. 17.

38 См.: наст. изд., с. 466.

39 См.: *Вяземский П. А.* Старая записная книжка // Полн. собр. соч. СПб., 1883. Т. 8. С. 407—408; *Васильчиков А. А.* Семейство Разумовских. Т. 2. С. 124.

40 См.: *Smaga J.* Antoni Pogorielski: ycie i twórczość na tłe epoki. Wrocław; Warszawa; Kraków, 1970. P. 47. (PAN. Prace Komisji Słowianoznawstwa, N 21).

исключено, что в масонскую ложу Алексей Алексеевич тогда все же вступил.[41]

Молодой человек пытается занять себя и деятельностью на общественном поприще: он становится членом Общества испытателей природы, его подпись значится в числе основателей Общества любителей российской словесности, он упоминается и среди действительных членов Общества истории и древностей российских. Но и здесь он, очевидно, не находит удовлетворения и в работе Обществ фактического участия не принимает. То ли Москва не оправдала надежд, то ли Разумовский потребовал переезда сына, но в январе 1812 г. Перовский вновь отправляется служить в Петербург — на этот раз секретарем министра финансов по Департаменту внешней торговли. Живет он, очевидно, под отчим кровом, в просторном деревянном — «из гигиенических соображений», как всегда требовал того граф, — особняке с большим садом на Фонтанке, близ усадьбы Державина,[42] где незадолго перед тем Разумовский принимал в лицеисты быстроглазого отрока Александра Пушкина.

Служить, однако, Алексею Перовскому довелось недолго — с вторжением Наполеона в Россию он, подобно многим, уже не мысля себя штатским чиновником, в июле, наперекор Алексею Кирилловичу, уходит добровольцем в армию и становится казачьим офицером. Самый характер этого конфликта с отцом весьма показателен: запрещение Разумовского сыну ехать на театр военных действий было столь резким и категоричным, что сопровождалось даже угрозой лишить «незаконного» наследника материальной поддержки и имения. «Можете ли Вы думать, граф, — отвечал ему письмом после бурного объяснения Перовский, — что сердце мое столь низко, чувства столь подлы, что я решуся оставить свое намерение не от опасения потерять Вашу любовь, а от боязни лишиться имения?»[43] «Долг и честь» — вот избранный им почти рыцарский и, похоже, не нарушенный за жизнь девиз. К слову, ни Льву, ни Василию, также ушедшим воевать, подобного запрета от отца не последовало. Быть может, в Разумовском говорил глубоко затаенный страх за любимца?

Достойно удивления, каким образом в противоречивых обстоятельствах ранней поры сформировался характер Алексея Перовского. С од-

---

[41] Возможно, это была московская Ложа Благополучия (см.: *Серков А. И.* Русское масонство: 1731—2000 / Энцикл. словарь. М., 2001. С. 1025—1026). О связях А. А. Перовского с масонами в это время см.: *Васильчиков А. А.* Семейство Разумовских. Т. 2. С. 112, 487—492, 512.

[42] См.: наст. изд., с. 561.

[43] См.: наст. изд., с. 390.

ной стороны, органически воспринятые навыки барства — в зрелые лета, к примеру, он так и жил в своем имении Погорельцы — барином и именовался в округе генералом; с другой — пронесенное сквозь годы чувство свободного от меркантилизма достоинства. На протяжении лет он не раз поражал этим окружающих. Нет сомнения, что свою лепту в нравственное становление будущего писателя внесло и его московское окружение.

Решение не склонного к слепой покорности сына осталось неизменным. Василий Алексеевич вскоре писал матери с театра военных действий: «...про брата я слышал ⟨...⟩ что он вошел в казачий полк штабс-ротмистром, ето очень выгодно, и не сердитесь за ето на него, теперь всякому не грех служить».[44] Военная служба Алексея Перовского продлилась до 1816 г. Он стал участником партизанской войны, сражался под Морунгеном, Лосецами, Дрезденом и при Кульме. В октябре 1813 г., после взятия Лейпцига, прекрасно зарекомендовавший себя и к тому же свободно владевший немецким молодой офицер был назначен старшим адъютантом при генерал-губернаторе королевства Саксонского князе Н. Г. Репнине-Волконском, муже его сводной сестры Варвары Алексеевны.

Этот служебный альянс нельзя, кажется, назвать безоблачным. Нетрудно предположить, что осложнен он был семейными обстоятельствами. Репнину и в военном походе, и в Саксонии сопутствовала жена. Обласканная при дворе, известная своей благотворительностью, Варвара Алексеевна и здесь снискала всеобщую симпатию. Как строились ее отношения со сводным братом, неизвестно, но, шестилетней девочкой тяжело пережив разрыв родителей, она всю жизнь считала виновницей материнских семейных невзгод Соболевскую и впервые за долгие годы встретилась с полновластной дамой отцовского сердца — и то силою обстоятельств — лишь у его смертного одра, и это при том, что московский дом Репниных на Гороховом поле вплотную соединялся с усадьбой Разумовского садовою калиткой.[45] Сам Репнин, по общему мнению, также пользовался расположением саксонцев благодаря гуманному обхождению и плодотворным преобразованиям. Очевидно, что на служебном поприще ценил он высокие качества и в Перовском: вчерашний партизан, отличный кавалерист, Алексей Алексеевич в новом своем статусе проявил и дипломатический такт, и уважение к интересам народа и стра-

---

[44] РГИА, ф. 1021 (Перовских), оп. 1, ед. хр. 6, л. 1—2 (письмо от 10 августа 1812 г.).

[45] См.: *Васильчиков А. А.* Семейство Разумовских. Т. 2. С. 110—111, 140—144; наст. изд., с. 733—734, письмо ⟨1⟩, примеч. 5. Усадьба на Гороховом поле (ныне — ул. Казакова, д. 18—20) сохранилась.

ны, униженной за союз с Наполеоном тяготами оккупации.[46] Вместе с тем критические нотки в адрес Репнина запечатлелись, например, в репликах Н. И. Тургенева, испытывавшего к нему «отвращение», и Вяземского — последний как-то заметил, что в Дрездене «царствовал» князь Репнин.[47] Скорее всего, определенные черточки характера князя да и, наверное, дистанционность отношений с Варварой Алексеевной объясняют упорное нежелание Перовского продолжить послевоенную службу под началом Репнина — письма его к другу-конфиденту Сергею Тургеневу не оставляют сомнений в сложности их отношений: «Обиды, подозрения, вражда, перемирие, война, снова мир».[48]

Остававшаяся до сих пор в тени близость с братьями Тургеневыми, Сергеем и Николаем, — еще один важный факт военной биографии Алексея Перовского. Вновь выявленные в архивах письма и документы впервые позволяют составить довольно внятную картину этих отношений. Свело их бурное, озаренное надеждами время и исполненная созидательного смысла работа. В 1813—1814 гг. оба брата находились в Германии: Николай Иванович — во Временном центральном административном департаменте союзных правительств под началом известного реформатора барона фон Штейна; Сергей Иванович поначалу исполнял должность правителя канцелярии у того же Репнина; позже он, как и Алексей Перовский, был включен в состав Дрезденской ликвидационной комиссии, учрежденной для сдачи дел по Саксонскому королевству прусскому правительству, — работа, за которую будущий писатель был удостоен Анны 2-й степени с алмазами.[49] С 1815 г. основным местом пребывания братьев Тургеневых становится Франция: Николай был прикомандирован в Нанси к М. М. Алопеусу — генерал-губернатору одного из оккупированных французских округов; Сергей — к дипломатической миссии при командире русского оккупационного корпуса графе М. С. Воронцове. Здесь вокруг них — энергичных либералов — собирается круг офицеров-вольнолюбцев, среди которых и будущие декабристы. По крайней мере с одним человеком из этого окружения,

---

46 См.: *Дурылин С. Н.* Русские писатели в Отечественной войне 1812 г. М., 1943. С. 41.

47 Дневники Н. И. Тургенева. СПб., 1913. Т. 2: 1811—1816. С. 450 (запись 1814 г.: «...у меня сердце не лежит к Репнину, и сие отвращение увеличилось во время моего последнего пребывания в Лейпциге...»); *Вяземский П. А.* Полн. собр. соч. СПб., 1882. Т. 7. С. 426.

48 См.: наст. изд., с. 392.

49 См.: *Кирпичников А. И.* Антоний Погорельский: Эпизод из истории русского романтизма. С. 93.

Андреем Адольфовичем Мерианом, — швейцарцем на русской службе, блестящим дипломатом и единомышленником Тургеневых, поддерживал дружеские отношения и Перовский.[50]

Острый интерес русских воинов-победителей к политическому и общественному устройству побежденной страны общеизвестен. Сергей Тургенев составил себе, например, «План парижских занятий на каждый день».

В июне 1815 г. русские войска вторично вошли в Париж, а 9 июля генерал А. А. Закревский писал графу М. С. Воронцову: «Государь позволил главнокомандующему всех отпускать в Париж, даже и нижних чинов; но только чтобы они ходили здесь как прилично русскому офицеру».[51]

Ранней осенью, по окончании работы Ликвидационной комиссии, Алексей Перовский, одетый, надо думать, «как прилично русскому офицеру», впервые пересекает французскую границу и навещает в Париже и Нанси братьев Тургеневых. 6 октября он с Сергеем присутствует на заседании палаты депутатов. Современный исследователь русской военной среды во Франции даже называет Алексея Перовского в числе близких к Тургеневым *вольнодумцев*.[52] Думается, однако, что это утверждение не безусловно. Действительно, существует предположение, будто братья пытались пробудить друга к политической активности, но безуспешность этих попыток подтверждается устойчивой политической индифферентностью Алексея Перовского, неизменно чуждого политического радикализма. Единственное, что могло найти в нем отклик, это расцветшая в офицерской среде тяга к масонству: тогда в Париже в ложу вступили многие. Членом одной из лож был Н. И. Тургенев, однако он, как и Перовский, скептически относился к усилиям Сергея Ивановича придать этому нравственно-религиозному порыву политический смысл.

Не без оснований можно предположить, что в краткосрочную французскую поездку интересы будущего писателя были сосредоточены на ином. Он жадно впитывал атмосферу едва мелькнувшего перед ним Парижа, и многое, что успел здесь повидать, отложилось, как некогда и картины провинциальной России, в его творческой памяти, чтобы воскреснуть затем на страницах «Двойника...».[53]

---

50 См.: наст. изд., с. 393.

51 Архив кн. Воронцова. М., 1891. Кн. 37. С. 252.

52 См.: наст. изд., с. 700—701, примеч. 5.

53 См.: наст. изд., с. 59.

Невзирая на идейные расхождения, Алексея Перовского и Тургеневых связала короткая дружба; она отразилась прежде всего в задушевной интонации сохранившихся писем Алексея Алексеевича к С. И. Тургеневу; к сожалению, бóльшая их часть утрачена, но об интенсивной связи корреспондентов свидетельствует эпистолярий самих братьев Тургеневых. Постоянные встречи Перовского с Николаем Ивановичем продолжаются и по возвращении обоих в Петербург, и тот регулярно извещает Сергея о делах друга.[54]

Единомышленниками же Тургеневых достаточно уверенно можно считать младших братьев Алексея Алексеевича Льва и Василия, прошедших в молодости через искус фронды. Первые шаги на пути либерализма эти Перовские сделали еще в ранней преддекабристской организации «Юношеское братство». В войну Лев Алексеевич также дошел до Парижа и общался здесь с Тургеневыми — с Николаем Ивановичем он, видимо, был знаком еще по московскому Благородному пансиону. Возвратясь на родину, Перовские в 1818 г. вступили в Союз благоденствия — причем Лев едва ли не был одним из его основателей — и в «Военное общество».[55] Сведения об этой поре жизни братьев крайне скудны. Однако думается, что оба конечно же должны были быть тесно связаны с основным инициатором первого Союза и организатором второго — одним из наиболее ярких «ранних» декабристов Александром Николаевичем Муравьевым, с которым Василия могла роднить и приверженность масонскому братству.[56] Муравьев же, масон истовый, полагал, что нравственные догматы свободных каменщиков как нельзя более согласуются с теми прогрессивными идеями просветительского, «постепеновского» толка, которые исповедовались в первых тайных обществах. Он вышел из «Союза благоденствия» в 1819 г., когда в декабристском движении возобладали радикальные методы и цели, и даже уговаривал других его членов последовать за ним, что вскоре и сделали братья Перовские, также не разделявшие принципов политического радикализма; вполне возможно, что на этот шаг они решились не без влияния А. Н. Муравьева.[57] На следствии по делу декабристов «грех» юности был Перовским высочайше прощен. Но «прекрасное начало» не прошло бесследно. Лев Перовский — вообще-то человек весьма противоречивый, не наделенный талантами и обаянием братьев, слывший кос-

---

[54] См.: наст. изд., с. 586—587.

[55] См.: Декабристы: Биогр. справочник. М., 1988. С. 140—141.

[56] См.: *Серков А. И.* Русское масонство: 1731—2000. С. 635; *Семевский В. И.* Декабристы-масоны // Минувшие годы. 1908. № 5—6. С. 380.

[57] См.: *Муравьев А. Н.* Сочинения и письма. Иркутск, 1986. С. 23—31.

нозычным нелюдимом и жёлчным гордецом, непредсказуемо мстительным или милостивым, — так вот он тем не менее, спустя годы, будучи уже на пике карьеры, на высоких министерских постах, сохранял репутацию яростного противника всяческих низостей и активного антикрепостника, предпринимавшего постоянные усилия в деле освобождения крестьян, — деле, как нельзя более созвучном и «муравьевской» программе, и едва ли не главному жизненному устремлению братьев Тургеневых. Именно по записке Льва Перовского «Об уничтожении крепостного состояния в России», поданной Николаю I, был учрежден в 1846 г. секретный Крестьянский комитет.[58] Что касается Василия Алексеевича, то его яркая личность, запечатленная в истории не только на государственном, но и на просветительском поприще, безусловно достойна отдельного жизнеописания. Здесь же — лишь один штрих к вопросу о его *зрелом либерализме*: порою о *репутации* красноречивее достоверных фактов говорят *ошибки*. В 1836 г. заслуженный генерал граф М. С. Воронцов, пытаясь облегчить каторжную участь Александра Бестужева, обратился к Николаю I с просьбой о переводе писателя на гражданскую службу. Декабрист же А. Е. Розен в своих «Записках» уверенно приписывает этот поступок В. А. Перовскому, тогдашнему оренбургскому военному губернатору, ходатайствовавшему якобы перед государем о переводе Бестужева под его, Перовского, крыло. Ошибка, повторяем, — особенно в устах декабриста — красноречивая.[59]

Известно, что Василий Перовский — «как лицо историческое и характер» — был «ужасно интересен» Льву Толстому: писатель использовал его записки о 1812 годе в «Войне и мире» и собирался сделать его героем отдельного романа.[60]

Вернемся, однако, к Алексею Перовскому. Он прожил в Дрездене два года, но подробности его жизни в Саксонии нам, увы, неизвестны. Не вызывает между тем сомнений широта интересов молодого интеллектуала. Жизнь в Германии, вхождение в немецкую культуру, разнообразие художественных впечатлений, знакомство с новинками немецкой романтической литературы серьезно повлияли на формирование эстетических вкусов будущего писателя. Одной из очевидных заслуг ге-

---

58 Там же. С. 374, примеч. 159; *Панаев В. И.* Воспоминания // ВЕ. 1867. № 12. С. 129—137; *Оксман Ю. Г.* И. С. Тургенев на службе в министерстве внутренних дел // Учен. зап. Саратовского гос. ун-та. 1957. Вып. филол. Т. 56. С. 175—176.

59 См.: *Розен А. Е.* Записки декабриста. Иркутск, 1984. С. 367, а также: Оренбургский губернатор В. А. Перовский: Документы. Письма. Воспоминания. Оренбург, 1999.

60 *Толстой Л. Н.* Полн. собр. соч. М., 1936. Т. 17. С. 690 (Репринт: М., 1992); см. также: Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1955. Т. 2. С. 112—113.

нерал-губернатора Репнина и его окружения — в том числе, думается, и Перовского — считается организация театральной жизни Саксонии. Эти усилия, поддержанные дрезденской интеллигенцией, предполагали, конечно, и разносторонние «немецкие» контакты. Неоднократно поднимался и другой важный для творческой биографии писателя Антония Погорельского вопрос: о его возможном личном знакомстве с Э.-Т.-А. Гофманом — в ту пору, между прочим, дирижером оперной труппы, чье восхождение к известности и славе на писательском поприще также совпадает со временем пребывания Перовского в Германии. Гипотеза эта бытует более столетия, но впервые она была рассмотрена с исчерпывающей полнотой и охватом всех доступных немецких источников И. Е. Бабановым. Согласно доказательным выводам ученого, ставящего точку в этом вопросе, личная встреча писателей представляется маловероятной. Бесспорно вместе с тем, что Перовский был в числе первых читателей Гофмана и его знакомство еще в Германии — сразу по выходе в свет — с четырьмя сборниками «Фантастических пьес в духе Калло» (1814—1815) и первым томом романа «Эликсир дьявола» (1815) — сочинениями неизвестного дотоле автора, не вызывает сомнений. Имя писателя, печатавшегося до этого анонимно в музыкальных периодических изданиях, сразу оказалось в центре внимания немецкой прессы, особенно саксонской. Интерес Перовского к немецкому романтику держался устойчиво: отголоски произведений Гофмана, вышедших уже после его отъезда из Германии, обнаруживаются в первых же литературных опытах писателя Погорельского. По праву считается, что он положил начало «русской гофманиане».[61] А вернувшись в отечество, вероятнее всего, выступил и одним из первых пропагандистов новой яркой звезды на литературном небосклоне Германии. Вряд ли его рассказы миновали, скажем, Жуковского, впервые отправлявшегося осенью 1820 г. в Германию, — его-то встречи там с Гофманом бесспорны. Не исключено, что и Жуковский, и Перовский могли содействовать появлению русских переводов Гофмана в воейковском «Сыне отечества» в 1822—1823 гг.

27 октября (8 ноября) 1815 г. Николай Иванович Тургенев сообщает Сергею из Франкфурта о возвращении Льва и Алексея Перовских на родину; несколько слов о последнем: «Повеса Алексей Перов-

---

[61] См.: *Бабанов И.* К вопросу о русских знакомствах Э.-Т-.А. Гофмана // Вопр. лит. 2001. № 6. С. 155—162, а также: *Игнатов С. А.* Погорельский и Э. Гофман // Рус. филол. вестн. 1914. Т. 72. С. 249—278; *Ботникова А. Б.* Э.-Т.-А. Гофман и русская литература. Воронеж, 1977. С. 56—68; *Семейкина Н.* Э.-Т.-А. Гофман и А. Погорельский // В мире Гофмана. Калининград, 1994. Вып. 1. С. 208—211.

ский, проезжая здесь, и не осведомился даже о своем сундуке, здесь находящемся»[62] — выразительный штрих к портрету человека беззаботного и отнюдь не пуританского склада.

В начале 1816 г. Алексей Перовский — в Петербурге, но продолжает числиться в лейб-гвардии Уланском полку и в должности адъютанта Репнина.[63] Расстается он с военным мундиром лишь в сентябре и, как уже говорилось, решительно отказывается от продолжения службы под началом своего родственника, отправлявшегося губернатором в Малороссию. «Я с ним всё на такой же ноге, как и прежде», — признается он незадолго перед тем С. И. Тургеневу.[64] В это время А. К. Разумовский со своим побочным семейством — Соболевской, двумя незамужними дочерьми Анной и Ольгой и маленьким Борисом — по-прежнему в столице. Он все еще министр народного просвещения, хотя и накануне отставки, последовавшей в августе 1816 г. Тем не менее граф, конечно, в силе и явно прикладывает руку к послевоенному устройству сыновей. Алексей Алексеевич — не из тех, кто являлся на балы, не снимая шпаги, — возвращается в статскую службу. К концу года он вступает в должность чиновника особых поручений в Департамент духовных дел иностранных исповеданий, под начало старшего из Тургеневых — Александра Ивановича, — и получает гражданский чин надворного советника — на три ранга выше против полагавшегося ему за военное звание штабс-ротмистра коллежского секретаря: седьмой класс вместо десятого! Что все это требовало усилий, явствует из сообщений Николая Ивановича Тургенева брату Сергею в Париж: в октябре — «Вчера у меня был Ал. Перовский. Он опять идет в статскую службу»; спустя месяц: «Он будет определен в Департамент духовных дел иностранных исповеданий» — и, наконец, 17 декабря: «Сегодня государь приказал или позволил определить Алексея Перовского в Департамент иностранных исповеданий».[65]

Вместе с тем два красноречивых свидетельства сохранили и иную сторону отношений своенравного Разумовского с сыновьями.

В том же 1816 г. начинается и карьерный взлет В. А. Перовского. Офицер Генерального штаба и адъютант генерал-адъютанта П. В. Голенищева-Кутузова, он сопровождает великого князя Николая Павловича в его образовательных путешествиях по России и Европе. Человек силь-

---

[62] Декабрист Н. И. Тургенев: Письма к брату С. И. Тургеневу. М.; Л., 1936. С. 147.

[63] См.: Месяцеслов с росписью чиновных особ, или Общий штат Российской империи на 1816. СПб., 1816. Ч. 1. С. 104.

[64] См.: наст. изд., с. 392.

[65] Декабрист Н. И. Тургенев: Письма к брату С. И. Тургеневу. С. 202, 205, 206.

ного, своеобразного ума и благородных побуждений, Василий Перовский надолго завоевывает сердце Николая Павловича, и тот, близко наблюдавший «внутреннюю» и вовсе, наверное, не безбедную жизнь своего любимца, решается на откровенное письмо к графу А. К. Разумовскому: «Может быть, вас удивит просьба, с которой я к вам обращаюсь, — писал он, — но, зная вас настолько, чтобы не сомневаться в вашем великодушии, я не колеблясь адресуюсь к вам, выступая адвокатом в деле столь же важном для вас, как и для меня. Речь идет о благосостоянии моего дорогого Перов⟨ского⟩ и всей его семьи. Вам известно, конечно, мое дружеское к нему расположение, и потому совершенно естественно, что всё, что касается до него, живо меня интересует. Знать, что он счастлив и спокоен за своих близких и за себя самого, — вот что мне необходимо. Узнать же обратное — более чем ужасно для меня. Однако, граф, приходится опасаться этого в случае, если он окажется обойденным вашим великодушием. Его благополучие, как и благополучие всей его семьи, зависит единственно от вас, и я надеюсь, зная вас достаточно, что могу быть уверенным в вас и что вы не захотите покинуть того, кто вам обязан жизнью и кто по всем правам заслуживает первого места в вашем сердце. Если даже моя просьба и представляется вам обременительной, позвольте все-таки обратиться к вам — дело настолько заботит меня, что я не могу этого скрыть от вас и прошу поступить таким образом, чтобы мне никогда не пришлось усомниться в вашей доброте и справедливости. Скажу еще, что к милому нраву Василия невозможно добавить какие-либо иные свойства, более достойные уважения. Он мне очень дорог, я испытываю к нему самые искренние дружеские чувства, и я уверен, что чувства эти совершенно заслуженны. Как видите, намерения мои оправданны, если есть необходимость оправдываться в том, о чем я вам пишу. И потому я убежден, что увижу Перов⟨ского⟩ совершенно спокойным за свое благополучие и проч.»[66] Нелишне заметить, что Василий Алексеевич о существовании этого письма не ведал — в противном случае он, как сам признавался позже, его бы не допустил.

Тогда же Алексей Алексеевич, опровергая в письме к Сергею Тургеневу ложные слухи о потере им имения, с горькой усмешкой добавлял: «...имения потерять никак не мог по известной тебе немецкой пословице: „где нет ничего, там сам император теряет право"».[67]

---

[66] Французский текст письма известен только по публикации (см.: *Захарьин И. Н.* Граф В. А. Перовский и его зимний поход в Хиву. СПб., 1901. С. 79—80, примеч.; дата: «1821 г.»); перевод Н. Л. Дмитриевой.

[67] См.: наст. изд., с. 393.

Публикатор письма великого князя И. Н. Захарьин датирует его 1821 г., однако, за утратой подлинника, неизвестно, авторская ли это дата, как неясно, когда же все-таки Разумовский наделил Перовских поместьями. Но заступничество Николая Павловича возымело, кажется, действие: в 1824 г. Алексей Перовский благодарил его за участие в судьбе всего его семейства.[68] Доподлинно также и то, что Алексей Алексеевич, невзирая на предоставленную ему отцом свободу выбора, удивил всех своей скромностью, остановившись на небольших Погорельцах. Бывшее гетмановское поместье Красный Рог, судя по всему, было ему отписано позднее Погорелец.

По возвращении в Россию Алексей Перовский осуществляет и давнее свое желание, поддержанное в нем, очевидно, недавними парижскими встречами: он вступает в известную петербургскую масонскую ложу «Елисавета к Добродетели» и с 1816 г. по 1822-й, когда деятельность масонов была официально запрещена, числится здесь мастером 3-й степени.[69] Однако, кажется, он не обрел в среде вольных каменщиков столь вожделенной нравственной гармонии.

В это время в семье Перовских происходит важное событие, во многом определившее дальнейшую судьбу Алексея Алексеевича: 13 ноября 1816 г. его семнадцатилетняя сестра красавица Анна Алексеевна отнюдь не по собственному выбору, но подчиняясь воле отца, выходит замуж за отставного полковника и советника Государственного ассигнационного банка графа Константина Петровича Толстого — вдовца, чуждого ей и старшего шестнадцатью годами,[70] а следующим сентябрем у них рождается сын Алексей. Однако брак этот не сложился, супруги расстались, и Алексей Перовский, согласно позднейшему свидетельству А. К. Толстого, увозит сестру с полуторамесячным сыном в Погорельцы, расположенные вблизи собственного небольшого имения Анны Алексеевны Блистова: «Я 〈...〉 шести недель от роду был увезен в Малороссию своей матерью и дядей с материнской стороны г-ном Алексеем Перовским. 〈...〉 Он воспитал меня, первые годы мои прошли в его име-

---

68 См.: наст. изд., с. 405, 408.

69 См.: *Серков А. И.* Русское масонство: 1731—2000. С. 1060; Карманная книга бр〈ата〉 Казначея 〈масонской ложи〉 Елисаветы к Добродетели, в которую записывает он следующую от членов ее сумму денег по разным предметам и уплату ими оной. На вторую половину 1816-го года, то есть с 1-го ноября 1816 по 1-е маия 1817-го года // РГАЛИ, ф. 1571 (Кол. Юдина), оп. 1, ед. хр. 3368, л. 6 об.

70 Формулярный список — «аттестат» К. П. Толстого см.: РО ИРЛИ, ф. 187 (Л. Б. Модзалевского); см. также о нем воспоминания племянниц: *Каменская М. Ф.* Воспоминания // ИВ. 1894. Т. 55. № 2. С. 305—307; *Юнге Е.* Из моих воспоминаний // ВЕ. 1905. № 2. С. 801.

нии...».[71] Отныне и до конца дней в жизни легкого «повесы» не прослеживается ни одного сердечного увлечения — он всецело посвящает себя заботам о сестре и горячо любимом Алексаше. Эта семейная коллизия породила немало двусмысленных толков, и поскольку они выплеснулись на печатные страницы, придется задержаться на них и нам. Версию об интимных отношениях брата и сестры злорадно смаковали литературные враги Перовского и охочие до компроматов журналисты;[72] но существуют и опровержения, в том числе друзей. В 1820 г., в полемике, развернувшейся между Перовским и Воейковым вокруг «Руслана и Людмилы» (о чем речь впереди), Кайсаров, скрывшийся за инициалами «М. С.», защищая последнего от нелицеприятных, интимного свойства, намеков «антикритика», тоже перешел на «личности»: «Напрасно также ревностный защитник добродетели хлопочет о том, чтоб восстановить добрую славу Рогдая, — иронизировал он. — Его черный характер Пушкин изобразил яркими красками. 〈...〉 Но г-ну Замечателю везде угодно выдавать добродетель за порок, а порок за добродетель: c'est son fort!»[a] И далее: «Г-н Антикритик показал редкое искусство на пяти страничках убедить нас, что у него *нет робкого целомудрия и что совесть его не пуглива...*».[73]

Похоже, что это был грубый намек на поползшие слухи об Алексее Алексеевиче и Анне Алексеевне. Кажется, именно так расценил выпад Кайсарова и Н. И. Тургенев, энергично восставший на эту «глупость». 27 октября 1820 г. он записал в своем дневнике: «На сих днях у нас шумные разговоры об ответе на антикритику Перовского. В сем ответе, как кажется, без намерения, а может быть и с намерением, сказана непростительная глупость, до личности Перовского касающаяся. Михаил Кайсаров написал этот ответ. Это меня взбесило и огорчило. Каждый день узнаешь новые гнусности. Толпа подлых глупцов увеличивается. Беспрестанно видишь, что люди, которых почитал порядочными,

---

[71] *Толстой А. К.* Собр. соч.: В 4 т. М., 1964. Т. 4. С. 423 (письмо А. Губернатису от 20 февраля (4 марта) 1874 г.).

[72] См.: *Никитин А.* Литературные портреты: Гр. А. Толстой в литературе 60-х гг. // РВ. 1894. № 2. С. 305; *Гнедич П. П.* Последние орлы: (Силуэты конца XIX в.) // ИВ. 1911. № 1. С. 72—73; Летописец слухов: Неопубликованные воспоминания В. П. Бурнашева / Публ. А. И. Рейтблата // Новое лит. обозрение. 1993. № 4. С. 170; Видок Фиглярин: Письма и агентурные записки Ф. В. Булгарина в III Отделение / Сост. А. И. Рейтблат. М., 1998. С. 282, 286; *Фидлер Ф. Ф.* Из мира литераторов: Характеры и суждения / Изд. подгот. К. М. Азадовский. М., 2008. С. 314, 381; опровержение этой версии см.: *Кондратьев А. А.* Граф А. К. Толстой. СПб., 1912. С. 3—7, 111—113.

[a] в этом его сила! (*фр.*)

[73] СО. 1820. Ч. 65. № 43. С. 119, 121.

являются в противном виде. Я слишком ясно сказал мое мнение о Кайсарове Воейкову. Но он уверяет, что умыслу не было».[74] Правда, вызывает некоторое удивление тот малоприметный факт, что Вера Федоровна Вяземская, жена ближайшего друга Перовского, известная своей высокой нравственной репутацией, впервые намеревалась принять у себя незнакомую ей до того лично А. А. Толстую лишь в 1830 г.,[75] хотя перед родовитой графиней, отличавшейся не только красотой, но и умом и образованностью, двери светских и дружеских домов не закрывались никогда. И еще: как уже говорилось, лишь считанные, скупые упоминания о любимом своем воспитателе оставил А. К. Толстой, к тому же, на правах наследника, неизвестно как распорядившийся его архивом: по сию пору неясно, чьим умыслом или безмыслием он исчез и кто в этом повинен — он ли сам или уже во вдовстве Софья Андреевна. Что же касается писем, то, как свидетельствует племянница Софьи Андреевны С. П. Хитрово, знавшая еще, судя по всему, раннюю переписку А. К. Толстого и А. А. Перовского в полном объеме, корреспонденты называли друг друга «папочкой» и «сыном» — что, впрочем, нельзя считать безусловным свидетельством того или иного родства.[76] До сих пор за пределами внимания оставалось еще одно, весьма авторитетное, свидетельство, принадлежавшее графу Федору Петровичу Толстому, известному медальеру и брату призрачного мужа Анны Алексеевны. В своих воспоминаниях он подробно передает предысторию женитьбы Константина Петровича, по его словам, человека хотя честного и доброго, но «ни по наружности, ни по уму и образованию» не подходившего своей невесте. Она же, будучи характера твердого и своенравного, уже в пору сватовства прямо отказала ему не только в любви, но даже и в возможной привязанности — и этим своим словам не изменила. Со старшим же братом, по словам мемуариста, Анна Алексеевна не расставалась еще в невестах и родившегося в положенные природою сроки сына назвала его именем. Окрестив новорожденного, Разумовский с домочадцами уехал в Москву, и тогда-то, как пишет Ф. П. Тол-

---

[74] Дневники и письма Н. И. Тургенева за 1816—1824 годы. Пг., 1921. Т. 3. С. 245—246.

[75] См.: наст. изд., с. 432—433.

[76] См.: *Горленко В.* А. А. Перовский. С. 117; *Кондратьев А. А.* Граф А. К. Толстой. С. 6. Как замечает современная исследовательница, «представляется странным то обстоятельство, что ⟨А. К. Толстой⟩ не позаботился о сохранности завещанного ему архива, не написал даже краткой биографии и комментария к собранию сочинений 1853 года» (см.: *Званцева Е. П.* Место А. Погорельского в литературе пушкинской поры // Проблема традиций и новаторства в художественной литературе / Сб. науч. трудов. Горький, 1978. С. 62).

стой, «подозрительная всем тесная дружба Алексея Алексеевича с Анной Алексеевной открылась брату как непозволительная между родным братом и сестрою *связь*. Брат, оставя жене письмо, тотчас оставил свой дом навсегда. Анна Алексеевна тоже скоро с братом и сыном уехала в деревню...».[77]

Так или иначе, но поручителями с стороны невесты на венчании в Симеоновской церкви были граф А. К. Разумовский и Алексей Алексеевич Перовский, а восприемниками при крещении Алеши Толстого, тоже у Симеония, — Алексей Кириллович и графиня Елисавета Кирилловна Апраксина. Более того, спустя семнадцать лет, когда Алексею Толстому предстояло начать службу в Московском архиве министерства иностранных дел, К. П. Толстой подал в Департамент герольдии Правительствующего Сената прошение о выдаче его сыну Алексею (с которым, между прочим, во всю жизнь лишен был общения), на основании представленной родословной, свидетельства на графское и дворянское достоинство, что и было удостоверено по всей надлежащей форме.[78]

Не станем домогаться истины... Много лет спустя отдаленный родственник братьев Тургеневых Иван Сергеевич Тургенев заключил совсем иную историю — Лизы Калитиной и Лаврецкого — словами, исполненными универсальной мудрости: «Есть такие мгновения в жизни, такие чувства... На них можно только указать — и пройти мимо».

В ближайшие годы Перовский делит свое время между Погорельцами и Петербургом, где по-прежнему состоит на службе, но явно к ней охладевает. Зато быстро восстанавливаются прерванные войной литературные связи, и он окунается в среду «арзамасцев» — ему, «арзамасцу» по духу и складу характера, несомненно созвучную. Во всяком случае, известно, что и в январе, и осенью 1818 г. он — в кругу «московских» петербуржцев. 30 октября, например, Александр Тургенев, убаюкивая «беспокойства» Вяземского по поводу «пьяных вечеров» Жуковского, заверял друга, что тот их «уничтожает», «несмотря что мы упивались иногда только одним веселием и шутками Перовского, весьма, впрочем, благочинными».[79] Следующим летом Алексей Алексеевич навещает

---

77 Записки графа Федора Петровича Толстого. М., 2001. С. 170—174.

78 См.: *Lirondelle A.* Le poète Alexis Tolstoï: L'homme et l'œuvre. Paris, 1912. P. 4—8; исследователь, между прочим, допускает возможность фальсификации дат замужества Анны Алексеевны и крещения А. К. Толстого (там же, с. 7—8, сн. 1); Правительствующего Сената дело по прошению коллежского советника гр. Константина Толстого о выдаче сыну его Алексею на графское достоинство свидетельства. 20 сентября 1834 г.—21 сентября 1834 г. // РО ИРЛИ, ф. 187 (Л. Б. Модзалевского).

79 Остафьевский архив князей Вяземских. Т. 1. С. 136.

в Царском Карамзиных. «Жуковский теперь здесь, и мы вечеряли третьего дня у Перовских», — писал Вяземский А. И. Тургеневу 10 сентября 1820 г.[80] Кстати, именно к этому времени относится знакомство и начало прошедшей через всю жизнь сердечной дружбы Жуковского с Василием Алексеевичем Перовским, адресатом нескольких его поэтических посвящений. Тогда же знакомится Алексей Перовский и с Пушкиным.

В том же 1820 г. он заявляет о себе и как литератор, вновь пробуя силы в поэзии — на этот раз «серьезной». Однако дошедшие до нас опыты той поры — не вполне отделанная баллада «Странник-певец» и послание «Друг юности моей! / Ты требуешь совета?..», адресованное, скорее всего, сестре в связи с рождением сына, — не дают достаточного материала для каких бы то ни было оценок, тем более что оба стихотворения остались в рукописи. Правда, что касается «Странника-певца», то здесь вполне возможны отголоски жития Иоанна Дамаскина — певца, прославляющего богосозданный мир и всепобеждающую силу «святой любви». Однако намеченное продолжение выдержанной в романтических тонах баллады должно было, как кажется, вести читателя к иному сюжетному повороту и образному строю в стилистике «готического» романа: «Ах, страшны мне черный без выхода лес / И вранов унылые крики...».[81] В высшей степени примечательно, что несколько десятилетий спустя поэма «Иоанн Дамаскин» была написана творческим восприемником Алексея Перовского Алексеем Константиновичем Толстым.

Единственная же стихотворная публикация Алексея Перовского — перевод из Горация. Все это написано хотя и талантливым, но вполне традиционным пером и автора вряд ли могло удовлетворить: не поэзия определяет литературные поиски начинающего писателя. Интенсивность и разнонаправленность этих поисков запечатлелась в нескольких оставшихся на письменном столе и впервые публикуемых в настоящем издании черновиках Перовского, которые кардинально меняют сложившееся представление о начальном этапе его творческого становления, уже отмеченного неординарностью. Сохранившиеся фрагменты вряд ли были единственными — представляется весьма правдоподобным утверждение Н. М. Буда-Жемчужникова о былом «обилии» рукописей писателя.[82]

Первые пробы пера относятся к более раннему, чем до сих пор предполагалось, времени — начиная с 1818 или 1819 г. Наброски, кото-

---

[80] Там же. Т. 2. С. 66.

[81] См.: наст. изд., с. 331.

[82] См.: *Горленко В.* А. А. Перовский. С. 117.

рыми мы располагаем, демонстрируют очевидный интерес молодого прозаика и к нарождающемуся романтическому мироощущению, и к «бытописательству».

Отрывок «Молодой охотник...» — еще один явственный след знакомства Перовского с ранними немецкими романтиками: он представляет собой перевод начальных страниц новеллы-сказки «Руненберг» (1802), принадлежащей перу одного из самых ярких представителей йенской школы Людвигу Тику. Одновременно этот фрагмент явно корреспондирует и с поэтикой Жуковского — с «элегическим» топосом его пейзажных зарисовок, подобных «Сельскому кладбищу» или «Вечеру», с самой структурой пейзажной символики, призванной и в переведенном Перовским отрывке эмоционально поддержать намеченный здесь тип романтического героя, оставившего родные края, «чтоб искать чужих стран и удалиться из круга обыкновенных занятий», и одиноко тоскующего теперь на чужбине, в горах, под «журчание вод и шелест рощи». Не исключено, что самый выбор текста в первую очередь был продиктован именно интересом к «технике» воссоздания романтического пейзажа, непревзойденным мастером которого считался Людвиг Тик; одним же из ярких образцов его пейзажной «живописи» неизменно называется как раз экспозиция «Руненберга».

Однако интерес к новелле немецкого писателя этим, кажется, не исчерпывался: ее сюжетные мотивы (минуя, правда, художественный и философский строй произведения) разошлись и по другим набброскам. Уже в «Молодом охотнике...» обозначена важная для Перовского и впоследствии развернутая им тема просвещения, точнее просвещенности, — по его мысли, едва ли не определяющего фактора в нравственном становлении человека. Эта идея подхвачена в другом, «бытописательском» и чрезвычайно симптоматичном отрывке о юном книгочее из купеческой среды («С самых молодых лет...»), отмеченном несколькими существенными тенденциями. Важнейшая из них — интерес к «сниженной» социальной среде — купечеству, сохранившийся и в зрелом творчестве Погорельского, в замысле романа «Магнетизер». Не случайно в начальных главах так и не законченного романа и в раннем отрывке писатель — автор записки «О народном просвещении в России» — задерживает пристальное внимание на набирающем силу капитализирующемся слое общества, для которого тема просвещенности в широком ее понимании становится особенно актуальной. Вряд ли здесь можно усомниться в импульсах, полученных при чтении «Руненберга» — произведения с ясно выраженной социальной направленностью.

Этот круг размышлений отчасти отразился и в продуманном по главам плане произведения, также явно предполагавшегося как «нравоописательное». Герой его — молодой человек неблагополучной судьбы, вынужденный самостоятельно пробиваться в жизни. В его абрисе можно, вероятно, усмотреть и легкие автобиографические штрихи: «Служба штатская — служба военная. Главное препятствие состоит в деньгах, а ни в той, ни в другой приобрести оные невозможно». И хотя социальная принадлежность Ивана неотчетлива, в высшей степени интересно, что здесь получает отзвук еще одна — важнейшая — тема «Руненберга»: власть золота, фатально сгубившая Христиана стяжательская страсть. Путь своих героев «наверх» русский писатель также намерен был связать с «золотой рудой» — и, между прочим, почти провидчески по отношению к себе: «золотая лихорадка» впоследствии не миновала ни его самого, ни братьев.[83]

Самый характер сюжетных разработок целенаправленно выбранной Перовским немецкой литературной «модели» чрезвычайно важен: он являет собой первый опыт критической ассимиляции «чужого» текста — художественный принцип, на котором в значительной степени основано зрелое творчество писателя, и прежде всего его цикл «Двойник, или Мои вечера в Малороссии».

Среди рукописей этих лет есть и два критических опыта — первые попытки вхождения в живой процесс литературной и культурной жизни: «⟨Письмо к издателю «Вестника Европы»⟩» и заметки «⟨О выставке в Академии художеств⟩». Оба они относятся к 1820 г. и воспринимаются как «лаборатория», в которой нащупывались собственные принципы и приемы литературной полемики — будто в преддверии первого громкого печатного выступления — статей в защиту «Руслана и Людмилы». Эти черновики отмечены еще одной общностью: они свидетельствуют о неизменной приверженности их автора новой «антиархаической» эстетике, воспринятой «младшими карамзинистами» еще в довоенную пору. Именно этим и продиктованы критические оценки Перовского — в первую очередь повышенным вниманием к языковой стихии, ее семантике и стилистике.

В предполагавшемся выступлении на страницах «Вестника Европы» критические замечания Перовского, направленные против смысловых банальностей, вербальных клише и «дурного вкуса», адресованы «архаистам»: манерному вульгаризатору Карамзина П. И. Шаликову и клас-

---

[83] См.: наст. изд., с. 434—459, а также: *Берковский Н. Я.* Романтизм в Германии. Л., 1973. С. 255—257.

сицисту С. Д. Нечаеву. Но критика эта еще «беззлобная», имеющая целью лишь «пользу общую»: оба литературных антагониста — из его бытового окружения, и это, возможно, исключало «партийный» накал последовавших вскоре выступлений в защиту поэмы Пушкина. Тем не менее принадлежность автора карамзинской школе несомненна; более того, он предвосхищает поклонение будущих арзамасцев главному их идолу — «Богу вкуса».[84]

Статья о выставке в Академии художеств продолжает эту тенденцию — она примечательна, пожалуй, не столько тонкими художественными познаниями ее автора, сколько сопутствующим анализом стилевых погрешностей в заметках о выставке некоего москвича, в котором Перовский явно руководствуется нормами «нового» литературного языка. Как и в первой статье, он возражает против эпигонской манерности стиля, вроде: «Тот, который целый мир простирал в подножии гордости своей», против отдающих архаикой смысловых конструкций и против литературного дурновкусия. Особенно интересно едкое замечание по поводу вариации распространенного фразеологизма «пахнуть чем-либо» (от французского «il sent de...»). В заметке «москвича»: в «истинном храме художеств» «есть какой-то запах Италии»; у Перовского: «...смело сказать можно, что в сей комнате, наполненной множеством зрителей всякого звания, не пахло ни апельсинами, ни лимонами!»[85] Эта отповедь явно звучит отголоском недавней — 1817 г. — пародии Вяземского на стихотворение Н. А. Полевого «Иголки»:

Язык наш был кафтан тяжелый
И слишком пахнул стариной;
Дал Карамзин покрой иной.
Пускай ворчат себе расколы!
Все приняли его покрой.

Пародия эта имела свою предысторию, наверняка памятную Перовскому, поэтому трудно сомневаться в том, что Вяземский познакомил с ней друга еще в рукописи (опубликована она была в 1824 г.).

Речь идет об одном из эпизодов литературной борьбы за Карамзина — «антибобровской кампании» Вяземского и Батюшкова 1810 г., их эпиграмматическом залпе на страницах «Вестника Европы», направленном против антикарамзинских инвектив поэта-«архаиста» С. С. Бобро-

---

[84] См.: *Проскурин О.* Новый Арзамас — Новый Иерусалим: Литературная игра в культурно-историческом контексте // Новое лит. обозрение. 1996. № 19. С. 78—79.

[85] См.: наст. изд., с. 348.

ва. В его памфлете, в речи Галлоруса, и прозвучала эта формула: «пахнуть стариной», обыгранная Вяземским спустя семь лет в другом, но тематически соотносящемся с Бобровым и также полемическом тексте. У Боброва: «...ах! Как всё *пахнет стариной!* — даже несносно; будто мой язык чужой ему!..» При этом у Вяземского, как и у Перовского, вызывал возражение не сам галлицизм «пахнуть стариной», но его неуклюжее использование, противоречащее тем же критериям истинного вкуса. Перовский явно стремился включиться в развернувшуюся полемику о старом и новом слоге.[86]

Однако наиболее важными в этом ряду представляются рукописи, непосредственно относящиеся к будущему «Двойнику...», — они впервые позволяют установить хронологические границы замысла этого важнейшего в творческом наследии писателя произведения: 1818—1819 годы. Интересно, что уже эти наброски отмечены определенной «психологической» тенденцией — попыткой постичь «самую трудную науку в мире» — «познание человека», постичь свойства человеческого ума, предопределяющие сложную амплитуду противоречивых черт человеческой натуры, ее добродетелей и пороков, — того, что лежит в основе поведения человека. Знаково само название набросков: «Дианометр» — оно восходит к древнегреческому философскому термину, обозначающему способность мышления, разум. Эти ранние фрагменты, расширенные, но в существе своем не измененные, составили содержание «Вечера четвертого» в «Двойнике...». Ценность их еще в одном: считается, что отраженные здесь несколько наивные рационалистические построения Перовского восходят к трудам французского философа-просветителя Клода Адриана Гельвеция, между тем как сам автор адресует нас еще к одному, гораздо более показательному для его кругозора источнику — сочинениям австрийского врача Франца Галля, создателя френологии — новейшего к тому времени учения о психических особенностях человека.[87] Эта научная сенсация, захватившая европейские умы, как и исходные для Перовского философские постулаты Гельвеция (то и другое было воспринято им, однако, критически), составляют предмет спора.

Такова одна сторона содержания фрагментов, касающаяся наблюдений писателя над свойствами человеческого ума и натуры, т. е., как выразится потом Двойник, «простой опытности» («Я восходил от *фактов*

---

[86] Подробнее см.: *Проскурин О.* Скандалы пушкинской эпохи. М., 2000. С. 94, 100—102. (Материалы и исследования по истории русской культуры. Вып. 6).
[87] См.: наст. изд., с. 338—339.

к причинам» (курсив наш. — *М. Т.*), — сказано и у Гельвеция).[88] Между тем здесь присутствует и иной, нравственно-философский аспект, также нашедший отражение в «Двойнике...», — к нему мы обратимся в разговоре о «Вечере четвертом».

Тем же временем датируется и черновой автограф «Изидора и Анюты», первой новеллы будущего «Двойника...», — прощальная дань Погорельского карамзинской «чувствительной повести», но с уже не просто размытыми, а принципиально преобразованными канонами жанра. Сентиментальная история вобрала в себя и подлинную «злобу дня» — реалии недавней наполеоновской кампании, ярко прорисованные картины пожарной Москвы; в числе очевидцев писателю мог их живописать брат Василий, блестящий рассказчик.[89] Подробнее об этой новелле будет сказано впереди, но важно отметить, что текст ее, если не считать стилистической правки, в составе «Двойника...» никаких кардинальных изменений не претерпел. Более того, за несколько лет до опубликования она первой была представлена на суд друзей. 30 января 1825 г. поэт-слепец И. И. Козлов, в тесное окружение которого, наряду с Жуковским, братьями Тургеневыми, Дельвигом, Плетневым, входил и Перовский, записал в своем дневнике: «Перовский читал мне „Исидор и Анна", свою повесть».[90]

И наконец, ранний вариант еще одной новеллы «Двойника...» — «Пагубные последствия необузданного воображения» — писарская, с авторской правкой, копия повести под названием «Несчастная любовь. Истинное происшествие». В отличие от «Изидора и Анюты», эта новелла, написанная (как и копия) не позднее 1826 г.,[91] подверглась дальнейшей существенной переработке. К ней мы также еще вернемся.

В конце июля—начале августа 1820 г. выходит отдельным изданием первая поэма Пушкина «Руслан и Людмила», и вокруг нее разворачиваются ожесточенные журнальные бои. Перипетии этой полемики, возникшей в атмосфере наступления ревнителей канонов классицизма на формирующееся романтическое направление и явившейся прямым ее следствием, хорошо известны. Как известны и упреки петербургских и московских журналов в адрес юного поэта, преступившего, по их мнению, сложившиеся нормы жанра и стиля и законы «нравственности».

---

[88] *Гельвеций К.-А.* Соч.: В 2 т. М., 1973. Т. 1. С. 145; см. также: *Радлов Э. Л.* К. Гельвеций и его влияние в России. Пг., 1917.

[89] См.: *Перовский В. А.* Из записок // РА. 1865. № 3. С. 257—286.

[90] Старина и новизна. СПб., 1906. Кн. 11. С. 46.

[91] См.: наст. изд., с. 658.

В защиту Пушкина, от лица его единомышленников и друзей, с блестящими статьями выступил Алексей Перовский — в спорах вокруг «Руслана и Людмилы» они заняли особое место. В этом первом своем заметном печатном выступлении Перовский представлял определенную литературную позицию, отражавшую взгляды старших «арзамасцев» — в первую очередь Жуковского, Вяземского, Александра Тургенева, и тем самым сразу заявил себя не только ценителем восходящей поэтической звезды, но и открытым приверженцем новых литературных канонов. Яркая одаренность, острота и меткость суждений, способность к литературной мистификации, тонко использованной в качестве полемического приема, — все это раскрылось в статьях Перовского в полной мере.

Ареной основных битв стал журнал «Сын отечества». Против Пушкина выступили здесь А. Ф. Воейков — арзамасец, тяготевший, однако, к классицистской нормативности, и Д. П. Зыков, друг П. А. Катенина, архаиста и открытого противника «Арзамаса», которого Пушкин и его друзья ошибочно считали автором статьи. И Воейков в своем печально знаменитом «Разборе», и Зыков в «вопросах», направленных на разоблачение сюжетных, композиционных и художественных «нелепостей» «Руслана и Людмилы», — оба выступали с позиций нормативных поэтик XVIII в.

Антикритики Перовского рождались в кругу сторонников Пушкина и, видимо, предварительно там обсуждались. Во всяком случае, о первой из них (адресованной Зыкову) Тургенев извещал Вяземского еще до печати, а по поводу статьи Воейкова, возмутившей «арзамасцев», он тому же корреспонденту сообщал: «О критике на Пушкина я уже писал к тебе и откровенно говорил Воейкову, что такими замечаниями не подвинешь нашей литературы. Вчера принес ко мне Алексей Перовский замечания на критику, и довольно справедливые. Я отправлю их в „Сына"».[92]

Пародируя комическую сторону «допроса», учиненного юному поэту Зыковым, едко иронизируя над мелочной придирчивостью Воейкова, Перовский вместе с тем направляет свое перо против самих принципов классицистской поэтики, которые исповедуют его литературные противники, намекая, между прочим, и на неблаговидность нападений на высланного поэта. Он требует для Пушкина — «юного гиганта» — критики не только «истинной», но и благожелательной, подчеркивая тем са-

---

[92] Остафьевский архив князей Вяземских. Т. 2, кн. 1: (1820—1823). С. 71, 74 (письма от 20 и 22 сентября 1820 г.).

мым высокий авторитет нового поэтического гения, в котором, как и «арзамасцы», видит надежду русской словесности. «Мои чиновники Воейков и Алексей Перовский батально ругаются за Пушкина», — писал в эти дни А. И. Тургенев Вяземскому.[93]

Критические выступления Алексея Перовского были высоко оценены и самим Пушкиным. Следя за полемикой из южной ссылки и не зная еще об авторстве Перовского, он писал оттуда Н. И. Гнедичу: «...тот, кто взял на себя труд отвечать ему (Воейкову. — *М. Т.*) (благодарность и самолюбие в сторону), умнее всех их». Позже, в 1828 г., в предисловии ко второму изданию «Руслана и Людмилы», вспомнив о «вопросах» Зыкова, Пушкин назвал ответ Перовского ему «остроумным и забавным».[94]

В 1820 г. Алексей Перовский входит в круг Вольного общества любителей российской словесности.[95] К этому времени во главе его становится Федор Глинка и видную роль в Обществе начинают играть будущие декабристы: К. Ф. Рылеев, Николай и Александр Бестужевы, В. Кюхельбекер. Среди его членов Дельвиг и Грибоедов — с последним Алексей Алексеевич, скорее всего, был знаком еще по университету, с другими сближается лично впервые. Во всяком случае, по свидетельству И. Н. Лобойко, некоторые из них были вхожи в дом Перовского.[96] Не следует, конечно, преувеличивать значение и характер этих связей. Как вспоминал позже А. К. Толстой, то огромное доверие, которое он испытывал к своему дяде, постоянно «сковывалось опасением его огорчить, порой — раздражить и уверенностью, что он будет со всем пылом восставать против некоторых идей и некоторых устремлений ⟨...⟩. Помню, — пишет Толстой, — как я скрывал от него чтение некоторых книг, из которых черпал тогда свои пуританские принципы, ибо в том же источнике заключены были и те принципы свободолюбия и протестантского духа, с которыми бы он никогда не примирился...».[97]

Ранним апрелем 1822 г. умирает в Почепе граф А. К. Разумовский. Последние несколько лет его жизни почти неотлучно находился при нем любимец Алексей: совершенно необходимый отцу, он становится главным и непререкаемым его советчиком, без устали занимается разнооб-

---

93 Там же. С. 95 (письмо от 28 октября 1820 г.).

94 *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. М.; Л., 1937. Т. 13. С. 21; Т. 4. С. 282.

95 См.: наст. изд., с. 560 и 747, примеч. 1.

96 См. выше примеч. 25, а также: наст. изд., с. 560.

97 *Толстой А. К.* Собр. соч.: В 4 т. Т. 4. С. 60 (письмо С. А. Миллер от 6 января 1853 г.).

разными его поручениями, огромным, но опутанным долгами и залогами состоянием — Разумовский, в традициях русского барства, в хозяйственных своих распоряжениях всегда был своенравен, но слаб. На правах старшинства Алексей Алексеевич берет на себя ответственность и за благополучие братьев и сестер. При этом, назначенный Алексеем Кирилловичем фактическим исполнителем предсмертных, уже изустных его распоряжений, он в очередной раз демонстрирует непоказное достоинство и бескорыстие, не только примирив Разумовского с законными его детьми и официальными наследниками, но и отказавшись от каких бы то ни было материальных притязаний. Василий Алексеевич, поспешивший к умирающему отцу, но заставший его уже в гробу, писал в эти дни из Почепа Жуковскому: «Брат от всего отказался ⟨...⟩. Из нас, к счастию, не найдется ни одного, который бы в полной мере не был благодарен Алексею за поступок его».[98] Безупречное поведение старшего Перовского в навязанной ему обстоятельствами затяжной наследственной тяжбе с Петром Разумовским отметил и одобрил сам государь.

Спустя месяц по смерти отца Алексей Перовский подает прошение об отставке, его обыкновенным порядком удовлетворяют в июле, и он поселяется в Погорельцах вместе с сестрой и Алешей. Здесь, в тиши украинской деревни, в уединении, скрашенном присутствием дорогих людей, изысканной обстановкой барского дома, превосходной библиотекой — богатейшим петербургским книжным собранием отца (единственное, что принял он по завещанию), рождается писатель Антоний Погорельский.

Несколько лет Перовский почти безвыездно живет то в Погорельцах, то в старой гетманской усадьбе Красный Рог, построенной едва ли не самим Растрелли.[99] А. К. Толстой, побывавший еще мальчиком у маститого Гете в его веймарском доме, писал позже С. А. Толстой: «Этот дом считался когда-то роскошным, а он не в пример беднее нашего красногорского. И гипсовые статуи под бронзу там стоят, и ими, верно, Гете гордился».[100] Наряду с необходимыми хлопотами по имению и изнурительной тяжбой с Петром Разумовским предмет неустанных забот

---

[98] См.: наст. изд., с. 465.

[99] См.: *Дмитриев С.* Новоселье в Охотничьем замке // Мир музея. 1994. № 3. С. 69—71; *Трушкин М. Д.* Красный Рог: Очерк-путеводитель по литературно-мемориальному музею А. К. Толстого. Брянск, 1998.

[100] *Толстой А. К.* Собр. соч.: В 4 т. Т. 4. С. 309 (письмо С. А. Толстой от 4(16) сентября 1869 г.).

Алексея Алексеевича — воспитание Алеши. Первые же из адресованных ему писем, регулярно отправлявшихся во время вынужденных отлучек, пронизаны не только самой нежной любовью, но и «педагогикой»: Перовский исподволь формирует характер мальчика, внушая ему идеи естественной, органичной доброты и нравственности, — как позже будет формировать и его эстетические вкусы.

В это же время обретает контуры и его цикл «Двойник, или Мои вечера в Малороссии». В январе 1825 г. Алексей Перовский вместе с «Изидором и Анютой» привозит в Петербург еще одну повесть из будущего «Двойника...» — «Лафертовскую маковницу». Она появляется в мартовской книжке «Новостей литературы» и — подписанная новым литературным именем — псевдонимом «Антоний Погорельский» — сразу обращает на себя всеобщее внимание. Сочетание фантастической сказки, насыщенной узнаваемыми образами народной демонологии, рассказанной к тому же озорно и непринужденно, с сочно выписанным бытом московских окраин, было внове; внове оказалось и дерзкое небрежение автора «здравой» необходимостью «разумного» объяснения «чудесного».

Несмотря на очевидные разнородные влияния, о которых речь впереди, «Лафертовская маковница» признана в исследовательской литературе произведением безусловно самобытным, не только открывающим историю русской фантастической повести, но и послужившим камертоном дальнейшего развития форм фантастического повествования.[101]

Необычность сюжетной развязки и отсутствие вполне разрешающего фантастический план аккорда смутили прежде всего издателя «Новостей» — все того же Воейкова, вновь подтвердившего свою приверженность классицистским традициям. В приписанной им в качестве «рационального» комментария к «иррациональной» повести Погорельского «Развязке» он счел необходимым объяснить все перипетии фантастического сюжета с точки зрения здравого смысла и бытовых, психологически оправданных деталей. «Благонамеренный автор сей русской повести, вероятно, имел здесь целью показать, — писал Воейков, — до какой степени разгоряченное и с детских лет сказками о ведьмах напуганное воображение представляет все предметы в превратном виде». По мысли Воейкова, богатство старухи — не что иное, как «богатая дань суевер-

[101] См.: *Маркович В. М.* Балладный мир Жуковского и русская фантастическая повесть эпохи романтизма // Жуковский и русская культура. М., 1987. С. 143; *Брио В. В.* Творчество А. Погорельского. К истории русской романтической прозы: Автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. филол. наук. М., 1990. С. 17—18.

ных людей», приходивших к ней гадать; черный кот, превратившийся в господина Мурлыкина, — плод расстроенного «мнимым колдовством маковницы» воображения Маши — благо, Мурлыкин на беду свою был черноволос, круглолиц и носил густые бакенбарды и т. д. Извинение этому издатель находил в «суеверии русского простого народа, мало знакомого с просвещением», — тем более что суеверие, к возмущению его, распространилось даже среди просвещенных парижанок.[102] Для традиционалиста Воейкова напряженная и ироничная фантастика «Лафертовской маковницы» оказалась совершенно непонятной, чуждой и — неприемлемой. Новый способ художественного мышления вызывает противодействие: по существу, его «Примечание издателя» явилось продолжением старого спора с Перовским, возникшего пять лет назад по поводу «Руслана и Людмилы».

В кругу же литературных единомышленников «Лафертовская маковница» стала событием. Восхищенный завлекательной пластикой кота Мурлыкина, Пушкин писал брату: «Душа моя, что за прелесть бабушкин кот! Я перечел два раза и одним духом всю повесть, теперь только и брежу Тр. Фал. Мурлыкиным. Выступаю плавно, зажмуря глаза, повертывая голову и выгибая спину».[103] 22 декабря 1831 г. Вильгельм Кюхельбекер в Свеаборгской тюрьме делает в дневнике следующую запись: «Перечел я „Лафертовскую маковницу", которую в первый раз в 1825 году прочел мне Дельвиг на квартире у Плетнева: большое сходство с манерой Гофмана».[104]

Широкий резонанс повесть получила спустя три года, уже в составе «Двойника...» — в разговоре об этом цикле мы к ней и вернемся.

Этот приезд в Петербург ознаменовался для Алексея Перовского уверенным вступлением на литературное поприще — но не только: решает он вернуться и к государственной службе и адресуется по этому поводу на самый «верх» — лично к Александру I с просьбой о должности попечителя Харьковского учебного округа. Мотивируя свое решение желанием послужить отечеству и отблагодарить государя «за соделянные благодеяния», упоминает он и о личных обстоятельствах — обязанности старшего в семье заботиться о благополучии всех ее членов.[105] Думается, не последнюю роль играла здесь материальная сторона: мучительные перипетии тяжбы с Петром Разумовским, известной Александ-

---

102 Новости литературы. 1825. № 3. С. 133—134.
103 *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. Т. 13. С. 157 (письмо от 27 марта 1825 г.).
104 *Кюхельбекер В. К.* Путешествие. Дневник. Статьи. Л., 1979. С. 70.
105 См.: наст. изд., с. 411, 412.

ру, могли привести Перовских к неминуемому краху. В этом случае государственная служба, как это было, например, и с Вяземским, становилась насущной необходимостью.

Обращаясь к Александру I, Перовский заручился поддержкой министра народного просвещения А. С. Шишкова. К этому времени конфронтация пушкинско-жуковского круга с этим «беседчиком» как будто ослабла — даже Пушкин, посвятивший ему незадолго перед тем несколько сочувственных строк во «Втором послании цензору», как раз 25 января 1825 г. писал Вяземскому: «Так Арзамасец говорит ныне о деде Шишкове; tempora alti*». По свидетельству К. С. Сербиновича, в этом «старце», невзирая на резкие идейные и литературные расхождения с ним, ценились душевные качества и военные заслуги.[106]

Свои хлопоты по новому служебному устройству Алексей Перовский держал в тайне даже от друзей, хотя в отношениях с ними сохранялись обычная непринужденность и близость. А. И. Тургенев, уже post factum, сообщает эту новость друзьям в Москву: 30 марта — И. И. Дмитриеву: «Государь послезавтра уезжает в Ц⟨арское⟩ Село, а в субботу в Варшаву. Алексей Перовский сделан исправляющим должность харьковского попечителя»; 10 апреля — Вяземскому: «Алексей Перовский получил место куратора Харькова, как, узнаем после. Вчера был у меня кандидат на все места Лаваль и брызжет негодованием».[107]

В том же письме, между прочим, Александр Тургенев посылает другу и плод шутейного коллективного творчества — собственного, Жуковского и Перовского: переделку «катреня» на графа Дм. Хвостова, опубликованного в «Дамском журнале» и уже спародированного Вяземским; последняя пародия, увы, не сохранилась.[108]

Итак, письмо Перовского Александру I датировано 20 марта 1825 г.; уже 3 мая государь подписывает указ о его назначении с окладом в 3600 рублей столовых; 10 июня Перовский получает официальное уведомление об этом за подписью А. С. Шишкова и 26 июня вступает

---

* другие времена (*лат.*; *точнее*: *tempora altera*)

106 *Пушкин*. Письма / Под ред. и с примеч. Б. Л. Модзалевского. М.; Л., 1926. Т. 1: 1815—1825. С. 113—114, 184—185. (Репринт: М., 1989).

107 РА. 1867. № 1—12. Стб. 670; Остафьевский архив князей Вяземских. СПб., 1899. Т. 3. С. 112.

108 См.: Остафьевский архив князей Вяземских. Т. 3. С. 109, 112; Русская эпиграмма (XVIII—начало XX в.). Л., 1988. С. 204, 585 (Б-ка поэта; Большая сер.), а также: *Тынянов Ю. Н.* Ода Его сиятельству графу Хвостову // Пушкинский сборник памяти проф. С. А. Венгерова. М.; Пг., 1922. С. 77; *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.: В 10 т. 2-е изд. М., 1956. Т. 2. С. 248, 428.

в должность. Тогда же шлет ему министр и инструкцию: «по части нравственной», «по части учебной», «по части хозяйственной и полицейской».[109] Часть лета Алексей Алексеевич проводит в Погорельцах за изучением присланных из Харькова университетских дел, а в начале августа отправляется туда для личного знакомства с профессорами и студентами. В сентябре он энтузиастически готовит Таганрогскую коммерческую гимназию к приезду императора, который с удовлетворением осматривает ее 3 октября: Перовскому выпал единственный случай продемонстрировать государю обещанное усердие, — спустя всего месяц с небольшим в Харьков, где находился в это время новый попечитель, из того же Таганрога приходит нежданная весть о смерти Александра. В начале января здесь, в Харькове, в траурной процессии он сопровождает гроб с телом венценосца, изловчившись подтвердить при этом, что в жизни трагическое и комическое — рядом: Перовский всерьез суетится, оспаривая у губернского предводителя дворянства достойное для университетской делегации место в печальном кортеже.

В Петербург новому императору летит и его исполненное верности трону письмо — с осуждением «несчастных событий 14 числа» и с заверениями, что это «подлое преступление», к счастью, не пустило корни ни в студенчестве, ни в мыслях и душах харьковчан.[110]

9 марта 1826 г., удрученный бедственным положением вверенного ему университета, Перовский отправляется в столицу с докладом и для переговоров по этому поводу с министром Шишковым. Понятно, что появляется он там не в лучшую пору: Петербург подавлен. 13 марта состоялось наконец погребение Александра I; идет следствие по делу декабристов — фигурируют здесь, напомним, хотя и в числе «прощенных», Лев и Василий Перовские. Последний, как известно, будучи адъютантом Николая Павловича, 14 декабря находился в гуще событий, но в агрессивности по отношению к восставшим замечен не был. Так что Алексей Алексеевич по одному этому должен был быть в числе людей весьма осведомленных, однако не изменил своему политическому консерватизму, проявившемуся еще в 1815 г. в Париже и со всей искренностью спустя десятилетие подтвержденному в письмах двум императорам. То же, по сути, он повторил в 1826 г. и новому государю, усиленно

---

[109] Дело об увольнении попечителя Харьковского учебного округа Е. В. Корнеева и о назначении на его место А. А. Перовского. 25 марта 1825 г.—13 апреля 1826 г. // РГИА, ф. 733 (Департамент народного просвещения), оп. 49, ед. хр. 577, л. 1—21; *Багалей Д. И.* Опыт истории Харьковского университета (по неизданным материалам). Т. 2: (1815—1835). С. 172—175.

[110] См.: наст. изд., с. 414—416.

собиравшему «мнения» просвещенной части общества по поводу «народного воспитания», — Николай понимал, по точному слову Н. Я. Эйдельмана, что «без просвещения нельзя — но и с просвещением нельзя», и озабочен был тем, «каким образом сохранить все положительные, необходимые стороны просвещения, но избежать его постоянных спутников — вольности, либерализма, революции».[111]

20 апреля 1826 г. Алексей Перовский, выполняя монаршую волю, подает Николаю I — в ряду других — свою записку «⟨О народном просвещении в России⟩». Основных ее положений коснулся в свое время Н. Я. Эйдельман в контексте детального анализа аналогичной записки Пушкина «О народном воспитании», представленной императору позже записки Перовского — в конце года. Среди главных тенденций, которыми отмечена концепция «народного воспитания» Перовского, ученый отметил прежде всего идеи рационального начала, практической пользы, основанной на «положительных» знаниях — точных и прикладных науках — и благонамеренности.[112] Последний мотив подспудно присутствует и у Пушкина, однако если у поэта он был продиктован силою обстоятельств, то личная позиция Перовского вполне совпадала с тем, что хотели от него услышать. Позже попечителя Харьковского учебного округа обвиняли и в верноподданничестве, и в иных грехах — в том числе в наступлении на университетские свободы. Но не следует забывать, что при всем своем консерватизме Перовский — человек незаурядный и просвещенный, отнюдь не Магницкий или Рунич, и что некоторые его предложения продиктованы иной, быть может отчасти и спорной, но не лишенной резонов и продуманной логикой. Так, настаивая на ограничении университетского самоуправления, Перовский прежде всего имел в виду разграничение преподавательских и административных функций — последние давали ученым мужам чрезмерно соблазнительные возможности карьерного роста. Известно, что, посягая и на студенческие вольности, которыми, по свидетельству самих молодых людей, они «не умели пользоваться», Перовский вместе с тем значительно улучшил условия быта студентов, особенно казеннокоштных, и процесс обучения.[113] В ряде существенных пунктов харьковский

---

[111] *Эйдельман Н.* Пушкин: Из биографии и творчества. 1826—1837. М., 1987. С. 95.

[112] Там же. С. 96—97. О записке Пушкина см. с. 82—118.

[113] См.: Дело о разрешении попечителю Харьковского учебного округа назначать профессоров и адъюнктов в университет при условии утверждения их министром народного просвещения. 29 мая—18 августа 1825 г. // РГИА, ф. 733 (Департамента народного просвещения), оп. 49, ед. хр. 503; *Багалей Д. И.* Опыт истории Харьковского университета (по неизданным материалам). Т. 2: (1815—1835). С. 168—184.

попечитель совпадает с Пушкиным: оба — не сторонники революционных потрясений; оба признают и «силу вещей» — необходимость соответствия системы образования «системе государства», и пагубность «роскоши полупознаний» — следствия торопливости в просвещении, влекущей за собой самонадеянность недоучек и «порчу нравов». Отношение Перовского к новой немецкой философии, механически пересаженной на чуждую ей по своей исторической структуре русскую почву, — также пушкинское. В начале 1827 г. Пушкин, пытаясь в первопрестольной наладить контакты с новым журналом «Московский вестник» — фактическим органом «любомудров» — уморительно пересказывал Дельвигу, также противнику «германских идей», свои возражения московским издателям совершенно в духе Перовского: «Ты пеняешь мне за „Московский вестник" — и за немецкую метафизику. Бог видит, как я ненавижу и презираю ее; да что делать? Собрались ребяты теплые, упрямые; поп свое, а черт свое. Я говорю: господа, охота вам из пустого в порожнее переливать — всё это хорошо для немцев, пресыщенных уже положительными познаниями, но мы... „Московский вестник" сидит в яме и спрашивает: веревка вещь какая?».[114] Перовский же — точнее писатель Антоний Погорельский — еще через год почти буквально перенес свою филиппику против немецкой «метафизики» со страниц записки «⟨О народном просвещении в России⟩» в ткань художественного произведения — в новеллу «Пагубные последствия необузданного воображения» из цикла «Двойник...», причем текст этот появился здесь лишь в последней редакции: «...отвлеченная и запутанная философия Канта и Фихте была в большой моде в немецких университетах, и студенты, с свойственным неопытному юношеству жаром, предавались занятию наукою, которую и сами изобретатели едва ли понимали».[115]

Все так. Но дело в том, что в записке Пушкина — иное дыхание и иной *подтекст*. Перовский, скажем, в зловещей ситуации весны 1826 г. определенно выступал против гонений на просвещение, что были в конце царствования Александра, и вовсе не настаивал на запрещении преподавания философии, соблазняющей незрелые умы. Вместе с тем он считал необходимым введение во всех университетах единообразных программ, утвержденных правительством. Пушкин же спустя полгода предлагал Николаю ввести преподавание «высших политических наук» и прагматического курса истории без «нравственных и политических

---

[114] Переписка А. С. Пушкина: В 2 т. М., 1982. Т. 2. С. 399 (письмо от 2 марта 1827 г.).

[115] См.: наст. изд., с. 37.

рассуждений» — дабы республиканские идеи не имели для воспитанников «прелести новизны». Поэт в своей записке осторожно внедрял мысль о «чрезмерной молодости» недавно осужденных, о *милости к падшим*. Перовский же, вряд ли, конечно, подразумевая «молодую Россию» — героев, выигравших войну, и тем более парижских вольнолюбцев — тогдашних своих друзей, говорил тем не менее о «самонадеянности» молодых людей, помышляющих «о преобразовании государства», и предлагал исключить из учебных программ все, что «несообразно с духом монархического правления». Не случайно некоторые из его предложений в той или иной форме были позднее учтены правительством.[116]

Конечно, оба автора сдавали экзамен на благонадежность. Перовский выдержал испытание вполне: в апреле, когда была подана его записка, он числился еще «исполняющим обязанности», но уже 3 мая Николай подписал указ о полноправном его вступлении в должность попечителя Харьковского округа. Тогда же он был произведен в действительные статские советники и назначен членом Комитета по устройству учебных заведений, а в сентябре — председателем Комитета для рассмотрения учебных пособий.[117]

Сейчас, конечно, невозможно в полной мере воссоздать все детали и реалии изустного противоборства мнений того тревожного времени. Вряд ли взгляды Перовского составляли секрет для ближайших его друзей. Однако охлаждения в их отношениях явно не последовало.

С запиской «⟨О народном просвещении в России⟩», как представляется, косвенно связан еще один не до конца проясненный факт: причастность Алексея Перовского к составлению «чугунного» цензурного устава 1826 г.

29 сентября встревоженный Вяземский писал в Петербург из Москвы Жуковскому: «Ты должен бы, Жуковский! выписать устав от Перовского (Василия. — *М. Т.*), который, сказывают, участвовал в нем с братом Алексеем, под наитием Шишкова. А еще лучше: решись написать на него замечания и поднеси их царю. Это обязанность твоя! По смерти Карамзина ты призван быть представителем и предстателем

---

[116] Ср.: *Киселева Л. Н.* Пушкин и Жуковский в 1830-е годы // Пушкинская конференция в Стэнфорде. 1999: Материалы и исследования. М., 2001. С. 174—177 (Материалы и исследования по истории русской культуры. Вып. 7).

[117] РГИА, ф. 733 (Департамента народного просвещения), оп. 49, ед. хр. 577, л. 8, 14—14 об., 18—19; *Багалей Д. И.* Опыт истории Харьковского университета (по неизданным материалам). Т. 2: (1815—1835). С. 177— 178; *Кочубинский А. А.* Начальные годы русского славяноведения: Адмирал Шишков и гр. Румянцев. Одесса, 1887—1888. С. 191—194.

Русской Грамоты у трона безграмотного. Не шучу. Равнодушие твое в таких случаях было бы малодушием».[118]

Вяземский, скорее всего, прав — «под наитием Шишкова» находились оба брата Перовских: без сомнения, Василий Алексеевич, столь приближенный к государю, приложил руку к служебному устройству Алексея Алексеевича, поддержанного и министром просвещения, которому, в свою очередь, при составлении цензурного устава ничто в этой ситуации не могло помешать воспользоваться иными из идей кругом обязанного ему харьковского попечителя. Спустя два года, при составлении нового, гораздо более прогрессивного цензурного устава, некоторый свет на описанную историю пролил один из доносов Булгарина, всегда непримиримого к Алексею Перовскому. В его «Секретной газете» от 23 мая 1828 г. значилось: «Странно, что один из созданных Государем людей, харьковский попечитель Алексей Перовский, весьма сильно вооружается против нового Ценсурного устава и вопиет против отставки Шишкова. ⟨...⟩ Перовский кричит как исступленный, что просвещение погибло с Шишковым и что немцы всем овладеют. Насчет Устава он говорит явно: „Нынешний Устав хорошо написан, об этом ни слова, но это кукольная комедия, обман, мишура. Его не будут исполнять и станут действовать посредством секретных инструкций ценсорам. Напротив того, в прежнем Уставе видна была искренность, откровенность. Правительство явно высказало, чего хочет. Новый же Устав есть полицейская сеть для уловления легковерных и обмана народа"».[119] Из этого, впрочем, явствует, что даже в документе доносительского свойства Булгарин невольно передает нетривиальность мотивировок своего недруга. Принципиальную разность их идейных позиций подтверждает и другой, более поздний, но ничего по существу не меняющий, его донос, в котором противный лагерь представлен двумя монолитными именами — Жуковского и Алексея Перовского: в ряду других, он был направлен на дискредитацию «Литературной газеты» и «литературных аристократов» — и Булгарин позиционирует в нем Перовского как литератора, приверженного именно этому кругу.[120]

В марте 1826 г. вместе с братом возвращается в Петербург после долгого отсутствия и Анна Алексеевна с сыном. Девятилетний граф Тол-

---

[118] Переписка А. И. Тургенева с кн. П. А. Вяземским. Пг., 1921. Т. 1: 1814—1833. С. 41 (письмо П. А. Вяземского А. И. Тургеневу и В. А. Жуковскому от 29 сентября 1826 г.); см. также: *Пушкин.* Письма. М.; Л., 1928. Т. 2: 1826—1830. С. 185—186 (Репринт: 1990).

[119] Видок Фиглярин: Письма и агентурные записки Ф. В. Булгарина в III Отделение. С. 281—282.

[120] См.: Там же. С. 381—382.

стой, стараниями дяди Василия и Жуковского представленный наследнику престола Александру Николаевичу, становится в числе избранных детей наперсником его досуга. Покоренный чистым сердцем и незаурядными дарованиями Алеши Толстого, Александр сохранял неизменную приязнь к нему и на троне. Своенравную красавицу графиню Толстую, подобно отцу не ведавшую пределов собственным прихотям и дерзновенно появлявшуюся, например, на придворных балах в туалетах, одинаковых с императрицей, свет также принял благосклонно — быть может, покоряясь обаянию и высокому положению братьев.[121] Во всяком случае, ко времени летних коронационных торжеств в первопрестольной Анна Алексеевна отправляется туда с сыном, который спустя три года в одном из писем Алексею Перовскому вспомнит тогдашние свои игры с цесаревичем в Нескучном саду.[122]

Лето 1826 г. Алексей Перовский также проводит в Москве, у матери — уже генерал-майорши Денисьевой — в ее собственном доме на Басманной. Осенью — вновь Петербург, а весной 1827 г. он просится на три месяца за границу, в Карлсбад. Путешествие в Германию Алексей Алексеевич совершает вместе с сестрой и Алешей — именно тогда будущий поэт и удостоился чести во время визита к Гете посидеть на коленях у великого старца. Поездка, однако, затянулась — до января следующего года. С этого времени Перовский вновь в столице — и в кругу старых друзей.

В начале 1828 г. выходит в свет первая книга Антония Погорельского — «Двойник, или Мои вечера в Малороссии».

С точки зрения историко-литературной за «Двойником...» утвердилась репутация произведения полисемантического: его считают началом русского романтизма — и русской «гофманианы»; с «Двойника...» ведется отсчет отечественной фантастической прозы. Тем самым, по авторитетному утверждению В. Э. Вацуро, цикл Погорельского занял важное место и в судьбе готического романа в России, ибо одна из существенных составляющих «Двойника...» — обсуждение проблемы сверхъестественного — прямо соотносится с философией и эстетикой готиков. Однако связь с этой архаизирующейся уже к концу 1820-х гг. традицией становится предметом игры и пародирования: по наблюдениям В. Э. Вацуро, к этому времени англоязычная литература в совершенстве

---

[121] См.: *Ямпольский И.* Алексей Толстой // Толстой А. К. Стихотворения. [Л.], 1936. С. 6 (Б-ка поэта; Малая сер.); *Жемчужников Л.* Отрывки из моих воспоминаний о пятидесятых годах // ВЕ. 1899. № 11. С. 259—260.

[122] См.: *Кондратьев А. А.* Граф А. К. Толстой. С. 9.

владела техникой ее травестирования.[123] Блестящие образцы этой техники являли, в частности, новеллы Вашингтона Ирвинга, аккумулировавшие как европейские литературные, так и фольклорные источники. Американский писатель был широко представлен и в иноязычных, и в русских переводах; однако напомним, что Перовский прекрасно владел английским, а увлечение готической литературой он вполне мог унаследовать от отца, в библиотеке которого имелось, например, раритетное пятитомное посмертное издание сочинений Уолпола.[124] Следует остановиться еще на одном важном для нашей темы моменте, выделенном В. Э. Вацуро: уже после «Двойника...», в начале 1830-х гг., Вильгельм Кюхельбекер, читая в «Сыне отечества» переводы «Рассказов путешественника» Ирвинга (кстати, примерно тогда же перечитывал он и «Черную курицу» Погорельского), отметил «различие между методом Гофмана и Ирвинга: фантастика первого основана на „собственном суеверном убеждении в истине призраков, которые создает"» Гофман, «фантастика второго — на игровом, пародийном начале». Традиция, становящаяся «предметом игры, парадоксально-юмористической трактовки, пародирования», оказалась для Погорельского необыкновенно привлекательной — и много ранее, чем эту принципиальную дифференциацию фантастики сформулировал Кюхельбекер.[125] Думается, пристрастие автора «Двойника...» к самой идее травестии не в последнюю очередь диктовалось созвучными особенностями его собственной творческой индивидуальности.

В силу сказанного «Двойник...» справедливо признан уникальным образцом литературного эксперимента, запечатлевшим самый процесс поисков и становления форм романтического повествования.

Сама композиционная структура цикла предопределяет направление исследований его разнородной «генетики»: от западно-европейских образцов — Людвига Тика, «Серапионовых братьев» Гофмана или «Рассказов путешественника» Ирвинга до многочисленных появившихся в печати до 1828 г. русских «Вечеров» — «рамочных конструкций» переводной и оригинальной литературы. Эволюция этой структуры на русской почве прослежена Т. А. Китаниной. К этому следует добавить, что, например, В. Ф. Одоевский, воспользовавшийся позже тем же конструктивным принципом в своих «Русских ночах», говорил, что

---

123 См.: *Вацуро В. Э.* Готический роман в России. М., 2002. С. 422, 374.

124 См.: Catalogue des livres de la Bibliothèque de m-r le comte Alexis de Razoumoffsky. Moscou, 1814. T. 2. P. 377.

125 *Вацуро В. Э.* Готический роман в России. С. 375—376.

в 1820-е гг. ему, признанному эрудиту и знатоку немецкой философии и литературы, «Серапионовы братья» были вовсе неизвестны и что эта форма возникла у него благодаря увлечению диалогами Платона.[126] На античные и — что показательно — генетически родственные им балладные источники ссылается в самом «Двойнике...» и Погорельский: «В Апулее ⟨...⟩ множество страшных историй, которые даже годились бы для баллад».[127] Т. А. Китаниной указана и другая отличительная особенность «Двойника...», с одной стороны, вобравшего предшествующий опыт, с другой — продемонстрировавшего новые возможности циклической формы в рамках нарождающейся романтической поэтики: вместо клише, маркирующего единство сборника, — конструкция, наделенная сюжетной функцией, которая прямо соотносится с металитературным уровнем произведения.[128] Он заложен уже в полифонии ведущих повествование голосов: рассказчика и его двойника. Подобная, обычная для фантастической литературы, антагонистическая пара обретает под пером Погорельского особую свободу и пластичность в диаметральной смене позиций. Конкретнее об этом — речь впереди, однако предварительно следует отметить не только универсальный смысл такого приема, преследующего «разоблачительные» цели — компрометацию «сверхъестественного», но и способ его реализации — те самые изящные интонации легкого мистификаторства и иронии, что отличали писателя еще со времен шутейного стихотворства. Важнейшей здесь представляется фигура Двойника, которую с излишней доверчивостью к известным своей провокационностью формулировкам Погорельского принято трактовать только как композиционный прием, как формально-условный образ автора-рассказчика, назначение которого лишь «усладить по мере возможности» уединение собеседника.[129] Между тем персонаж этот запрограммирован гораздо сложнее: писатель награждает его «знаками» гетевского Мефистофеля (хромота, ерничанье) и приписываемой Сатане функцией космического провокатора. Именно Двойник со смехом отвер-

---

[126] См.: *Одоевский В. Ф.* Русские ночи. Л., 1975. С. 190—191; см. также: *Манн Ю.* Русская философская эстетика. М., 1998. С. 166—169.

[127] См.: наст. изд., с. 98.

[128] См.: *Китанина Т. А.* «Двойник» Антония Погорельского в литературном контексте 1810—1820-х гг.: Автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. филол. наук. СПб., 2000. С. 6—12.

[129] См., например: *Измайлов Н. В.* Фантастическая повесть // Русская повесть XIX в.: История и проблематика жанра. Л., 1973. С. 143; *Кормилов С. И.* Антоний Погорельский как предшественник русских классиков // Забытые и второстепенные писатели XVII—XIX вв. как явление европейской культурной жизни: Материалы международной научной конференции, посвященной 80-летию Е. А. Маймина. Псков, 2002. Т. 2. С. 43.

гает народные приметы нечистой силы; именно в его уста вкладывает Погорельский «разоблачительные» рассказы о сверхъестественном, профанирующие саму идею мистического с точки зрения здравого смысла. Причем игра возможностями амбивалентных толкований заложена уже в самой его «знаковой» внешности: его портретное — по сути автопортретное — описание завершается весьма приметной деталью: при первом знакомстве с Двойником рассказчик замечает, что тот «*немного прихрамывает на правую ногу*» (курсив наш. — *М. Т.*). Напомним, что сам Перовский страдал легкой хромотой. Однако в параллель отчетливо напрашивается сцена в погребе Ауэрбаха из «Фауста», — при появлении там Мефистофеля гуляка Зибель подозрительно восклицает: «Но отчего *прихрамывает* (курсив наш. — *М. Т.*) он?» (ч. 1, сц. 5).[130] Логично предположить, что характерологические особенности Двойника определяют тон его повествований. Ерничающий Нечистый, наследующий мефистофелевскую практику парадоксов, вместе с тем своей игнорирующей целомудренность каноников раскованностью живо воскрешает в памяти ранние амфигури Перовского, где «Папин сын» швыряет апельсинами в «батюшку». Само слово «двойник», с таящимися в нем широкими психоаналитическими возможностями и впоследствии в русской литературе столь востребованное, вводилось Погорельским впервые.[131] Правда, «раздвоение» повествовательного голоса здесь не есть еще в полной мере категория психологическая, не есть «двойничество» в его позднейшем, классическом, «достоевском» смысле; однако вне сомнений это — открытие темы, первая ступень, настолько очевидная, что даже такой приверженный архаическим литературным нормам критик, как А. В. Глаголев, признал «Двойника...» — наряду с «Черной курицей» и «Пестрыми сказками» В. Ф. Одоевского — «новым психическим явлением в русской литературе».[132]

Все вставные новеллы «Двойника», представляющие собой «ночные рассказы» автора и его собеседника, призваны подтвердить или опровергнуть дискутируемые постулаты, причем зачастую они воспроизводят, как и у Ирвинга, растиражированные европейские сюжеты. Что же касается их дидактической тональности, то здесь рациональный пафос генетически связан не только, как это принято считать, с приверженностью писателя просветительским канонам, но и с тяготеющей к ним

---

[130] *Гете И.-В.* Фауст. М.; Л., 1936. С. 88 (пер. Н. А. Холодковского).

[131] См.: *Левит Т.* Гофман в русской литературе // Гофман Э.-Т.-А. Собр. соч.: В 7 т. М., 1929—1930. Т. 6. С. 343; История немецкой литературы. М., 1966. Т. 3. С. 90.

[132] *Глаголев А. В.* Умозрительные и опытные основания словесности. СПб., 1845. С. 321.

традицией готического романа радклифианского типа с его разрешающими мистическую ауру «рациональными» финальными аккордами.

Художественную ткань произведения организуют четыре новеллы. Они обрамлены диалогическим «комментарием», который идеологически постулирует многомерность жизненных явлений, балансирующих на грани неправдоподобия и обыденности, логики и алогизма. Этот гофмановский «почерк», осложненный «готическим» влиянием, эта новаторская для тогдашней русской прозы — в сравнении с одномерной просветительской — установка поддержана и эстетическими новациями: четыре новеллы цикла — это четыре жанровых «шаблона» с точно обозначенным литературным «прототипом», который и подвергается «преображению» в соответствии с принципами иной, романтической эстетики. Самый этот прием родствен складу художественного мышления Жуковского, много позже признававшегося Гоголю: «...это вообще характер моего авторского творчества; у меня почти всё или чужое, или по поводу чужого — и всё, однако, мое».[133] От «чужого слова» отталкивался в своем зрелом творчестве, в значительной мере превратившемся в диалог с мировой культурой, и Пушкин.[134]

Первая из новелл — «Изидор и Анюта», — если принять одну из условных классификаций сентиментальной повести, предложенную В. В. Сиповским и поддержанную В. Э. Вацуро, принадлежит к группе повестей типа «Бедной Лизы». Именно она, судя по всему, послужила Погорельскому и ближайшим образцом: ее сюжет не просто, согласно общей схеме таких повестей, «история разлученных любовников с трагическим концом», но, подобно «Бедной Лизе», романическая история *падшей* героини.[135] Перовский, напомним, очень точный переводчик повести Карамзина, прочел ее необыкновенно вдумчиво, заимствовав опорные сюжетные мотивы. Эти формальные совпадения очевидны.

Обе истории разворачиваются практически в одном и том же локальном локусе: предместье (окраина Москвы (Симоново урочище, у стен Симонова монастыря) / Красное Село, вблизи церкви Тихвинской Божией Матери), бедная хижина. И там, и здесь обитательницы ее —

---

133 Переписка Н. В. Гоголя: В 2 т. М., 1988. Т. 1. С. 201 (письмо от 6(18) февраля 1847 г.).

134 См.: *Маркович В. М.* «Повести Белкина» и литературный контекст // Пушкин: Исследования и материалы. Л., 1989. Т. 13. С. 63—87; *Долинин А.* Пушкин и Англия // Эткиндовские чтения. I: Сб. статей по материалам Чтений памяти Е. Г. Эткинда (27—29 июня 2000). СПб., 2003. С. 86.

135 См.: *Вацуро В. Э.* Готический роман в России. С. 282—283; *Зорин А. Л., Немзер А. С.* Парадоксы чувствительности // «Столетья не сотрут...»: Русские классики и их читатели. М., 1989. С. 25—27.

две женщины: старушка и юная красавица. В судьбу обеих молодых героинь вторгается *история* — реальное историческое событие, война, требующая непременного участия в ней их возлюбленных. Однако Погорельский в силу иной литературной задачи отказывается от стержневого сюжетного элемента карамзинской «чувствительной» повести — социального неравенства героев — и смещает акценты. Оставаясь в пределах жанра сентиментальной повести и мастерски играя сюжетными и стилистическими топосами, он кардинально преобразует самые его каноны и открывает новые его возможности: доминирующим мотивным камертоном его новеллы становится *историческое*, а не *романическое* начало.[136] Тем самым в корне меняется мотивационный механизм поведения героев. В «Изидоре и Анюте» развитие романического сюжета диктуется реальным историческим событием — нашествием Наполеона, и это преобразует характер героев и психологическую мотивацию их поступков. Уход Изидора в действующую армию — не спасительное бегство, как у Эраста, от опостылевшей возлюбленной, но акт патриотического долга, настоятельно поддержанный к тому же матерью; «падение» Анюты — не полубессознательный чувственный порыв наивной Лизы, а осознанный выбор, желание до конца связать свою судьбу с любимым перед лицом смертельной опасности. Эта почти воздушно обозначенная писателем сцена в черновом варианте была прописана много отчетливее: после прощальной ночи, проведенной под развесистым кленом, герои клянутся друг другу в супружеской верности.[137] Самоубийство Анюты — логическое следствие неизменности этой клятвы.

Исторические страницы «Изидора и Анюты» дышат подлинностью. Упоминавшиеся ранее живо воссозданные картины пожарной Москвы, убеждающие своей новаторской топографической точностью, заслужили одобрение первых же критиков «Двойника...». По справедливому наблюдению польского исследователя Йозефа Смаги, в этой своей части новелла тематически примыкает к группе «антинаполеоновских» сочинений — расцветших в послевоенную пору литературно-публицистических жанров: широко известных и не нуждающихся в перечислении «записок», заметок, воспоминаний, очерков.[138] Погорельский предпринял едва ли не первую попытку беллетризации военной темы, сделав вместе с тем и робкую заявку на грандиозный толстовский охват: «война и мир» —

---

136 О нарративной структуре «Бедной Лизы» см.: *Топоров В. И.* О «Бедной Лизе» Н. М. Карамзина: Нарративная структура // Русская новелла: Проблемы теории и истории. СПб., 1993. С. 26—63.

137 См.: наст. изд., с. 522.

138 См.: *Smaga J.* Antoni Pogorielski: Życie i twórczość na tle epoki. P. 75—77.

о судьбе частного, маленького человека в горниле истории. Сами речевые анахронизмы — шишак, кирас, панцирь и пр. — воспринимаются в этом контексте как стилистический прием, восходящий к батальной поэзии классицизма и несомненно к «Певцу во стане русских воинов» Жуковского. О том, насколько важна была для писателя *история*, которой сам он оказался сопричастен, свидетельствует малоизвестный, выполненный им для парижского издания «L'Europe littéraire, journal de la littérature nationale et étrangère» французский перевод «Изидора и Анюты» — как раз в год двадцатилетия победы над Наполеоном.[139]

Однако финал новеллы возвращает нас в стилистику «чувствительной» повести. В отличие от сдержанно-элегической карамзинской интонации Погорельский нагнетает в нем расхожие «надрывные» элементы: вернувшийся с войны Изидор застает на месте родного крова пепелище, узнает о гибели матушки и возлюбленной, впадает в безумие, проводя ночи под обгорелым кленом, где познал счастье и где теперь является ему тень Анюты. С найденным им там же ее черепом в руках кончает герой свои горестные дни (напомним: Лиза похоронена под мрачным дубом, а единственная свидетельница ее гибели, между прочим, — поселянка по имени Анюта).

По сути балладный и разрабатывавшийся в различных модификациях (но с непременно трагическим концом) сюжет разлученных и посмертно соединяющихся любовников — еще один распространенный топос преромантической повести. В 1800-е гг. он широко использовался Жуковским и его литературным окружением, а к 1820-м гг., как и сюжетная схема «Бедной Лизы», становится предметом травестирования.

В случае с «Изидором и Анютой» это более чем очевидно: Погорельский «комментирует» свою новеллу травестийным контекстом, дезавуируя сентиментальный пафос ее концовки растиражированными «готическими» историями о явлениях после смерти. Поведанные рассказчиком как «случай из жизни», все они на поверку восходят к литературным источникам, причем разоблачает эти «были» не кто иной, как Двойник, апеллирующий к тому же в подтверждение своих доводов к «милосердному Создателю нашему»: история посмертного явления жены доктору Вецелю заканчивается саморазоблачением, случай с перстнем графини имеет своим источником рассказ Цицерона, а приключение Турбота и его друга, как и популярная легенда о Белой женщине, восходят к «Теории науки о духах» И.-Г. Юнга-Штиллинга.

---

[139] Le Sycomore / Traduit du Russe d'Antonin Pogorelski // L'Europe littéraire, journal de la littérature nationale et étrangère. [Paris], 1833. № 20. Lundi. 15 avril. P. 83—84.

Следующий рассказ Двойника (о «пагубных последствиях необузданного воображения») — новелла, за которой прочно утвердилась репутация слабого подражания «Песочному человеку» Гофмана.[140] Однако, как явствует из предваряющего ее диалога собеседников, она, условно говоря, не о «привидениях» и априорно предполагает историю с «объясненным сверхъестественным». О том же говорит и развернутое название новеллы, что Погорельскому, предпочитавшему титульный лаконизм с четким обозначением главного героя («Двойник», «Лафертовская маковница», «Монастырка», «Магнетизер»), вовсе не свойственно. Семантически же оно восходит отчасти к хронотопам готического повествования, отчасти к одному из самых употребительных клише в заголовках отошедшей к 1820-м гг. и пародируемой теперь сентименталистской прозы: «пагубными последствиями» пестрят сочинения конца XVIII—начала XIX в.[141] Другой излюбленный штамп «чувствительной» повести — «необузданное» воображение: повышенная эмоциональность — устойчивый топос сентиментальной ветви готического романа и, в частности, отличительная черта героинь Радклиф, также к тому времени звучавшей анахронистически и также пародируемой. Моралистический же оттенок вполне мог восходить и к традиции дидактических масонских изданий, Погорельскому хорошо известных. При этом важно, что уже в экспозиции цикла этой самой «необузданности» фантазий писателем задана откровенно ироническая тональность: еще до появления Двойника, скучая, по обыкновению, у окна, герой, не жалующийся «на леность своего воображения», строит «воздушные замки». Если при этом иметь в виду и дуалистическую природу рассказчика новеллы об Алцесте — Двойника, с уверенностью можно утверждать, что название «Пагубные последствия необузданного воображения» носит откровенно травестийный характер. Именно в этом ключе и пересказывается здесь гофмановский «Песочный человек», или,

---

140 См.: *Ботникова А. Б.* Э.-Т.-А. Гофман и русская литература. С. 60—64; *Амельянчик Н. А.* «Двойник» А. Погорельского и проблема фантастического // Сб. трудов молодых ученых. Томск, 1973. Вып. 2. С. 27—37; *Пенская Е. Н.* Антоний Погорельский и его «Двойник» // Погорельский А. Двойник, или Мои вечера в Малороссии. М., 1987. С. 5—42. Т. А. Китанина называет еще один возможный источник новеллы — сборник «Двенадцать нравоучительных повествований» (М., 1791), включающий, в частности, две повести: «Аделина» и «Действие воображения» (см.: *Китанина Т. А.* «Двойник» Антония Погорельского в литературном контексте 1810—1820-х гг. С. 19).

141 См., например: Нанси, или Пагубные следствия ревности и безрассудной ветрености. СПб., 1783; *Измайлов А. Е.* Евгений, или Пагубные следствия дурного воспитания. СПб., 1799; Жертва страсти, или Пагубные следствия предрассудка. М., 1801; Отец и дочь, или Пагубные следствия обольщения. М., 1808.

точнее, если воспользоваться термином современного кинематографа, перед нами — образец классического римейка, сохранившего общую ироническую интонацию первоисточника, но осложненного явно травестируемыми признаками готической поэтики и самой техники готического романа.

Оставив в стороне осложненную сюжетную и концептуальную канву гофмановской фантасмагории — и даже, казалось бы, столь органичную для его повествования, но иноприродную ему в толковании Гофмана тему двойничества, — Погорельский воспользовался только одной ее сюжетной линией, организующим центром которой является Олимпия — «одушевленное» создание физика Спаланцани и пьемонтского механика Копполы. Писатель превратил ее в обытовленную «русскую» историю с легко узнаваемыми приметами времени и деталями быта — и одновременно в «страшный рассказ» с «объясненным сверхъестественным».

Новелла Погорельского метатекстуальна, и это едва ли не ключевое свидетельство ее эстетической природы.[142] Как показал В. Э. Вацуро, русская фантастическая проза формировалась, в частности, на травестии готического романа, но травестируемый текст зачастую менял свои функции в соответствии с новым литературным заданием.[143] Именно это мы и наблюдаем в «Пагубных последствиях...», демонстрирующих пародийную игру с архаизирующейся традицией, переосмысление наиболее узнаваемых хронотопов готики — обытовление «сверхъестественного», подчеркнуто прозаическое, «естественное» объяснение «тайны» поведения Андрони — его месть отцу Алцеста, наконец, название новеллы. Само имя героини — Аделина — невольно воскрешает в памяти один из самых популярных романов Радклиф «Роман в лесу», где тамошняя Аделина — такая же игрушка в руках мстительного злодея Монтальта, как и Аделина Погорельского — в руках весьма похожего на него типически Андрони. И этот «двойник» гофмановского Спаланцани таит в себе элементы тонкой травестии. У Гофмана создатель Олимпии ассоциирован со знаменитым авантюристом Калиостро. В новелле Погорельского его имя впрямую не названо, но по характерным чертам в описании внешности Андрони он должен был быть безошибочно узнан: наверняка не угасли еще изустные отзвуки пребывания Калиостро

---

142 См. общетеоретическое замечание Б. М. Гаспарова о том, что «многосоставность текста типична для произведения, проникнутого романтической иронией» (*Гаспаров Б. М.* Поэтика Пушкина в контексте европейского и русского романтизма // Современное американское пушкиноведение: Сб. статей. СПб., 1999. С. 316).

143 См.: *Вацуро В. Э.* Готический роман в России. С. 372—377.

в Петербурге. В пушкинском же кругу в это время интерес к неординарным личностям, обсуждение мемуаров, дополняемое свидетельствами очевидцев недавнего прошлого, составляли важный предмет общения. Стоит напомнить, что спустя несколько лет на страницах «Пиковой дамы» Пушкина появляется учитель Калиостро — граф Сен-Жермен, также воплощающий здесь «злую магию». Немецкий ученый В. Шмид отмечает даже в пушкинской повести «скрытое присутствие» самого Калиостро, основанное, по его мнению, на явной эквивалентности персонажей.[144]

Ранний вариант этой новеллы под названием «Несчастная любовь. Истинное происшествие», тяготеющий еще к жанру «справедливой» повести, как уже говорилось, датируется временем не позднее 1826 г. Вторая ее редакция по всем признакам относится к 1827 г., времени окончательного формирования «Двойника...» как единого цикла. Прежде всего новелла меняет свое название, послужившее камертоном новой версии. Не менее знаковым представляется и заново переписанный финал. Теперь объяснение «сверхъестественного», игнорирующее магическую силу подзорной трубки Копполы, обретает пугающее своей серьезностью трагическое звучание: пародийная игра завершается реальной, лишенной всякой мистики человеческой драмой. Кардинально меняя мотивацию финала — сумасшествие и гибель героя, — Погорельский подкрепляет ее смелым, отсутствующим у немецкого писателя сюжетным ходом: свадьбой Алцеста и Аделины. Сценой сумасшествия героя, явившегося, в частности, следствием *несостоявшейся свадьбы* и рухнувших мечтаний о семейном счастье, завершится спустя несколько лет «Медный всадник» Пушкина.

Претерпевает серьезные изменения и образ героини, все более удаляющийся от своего литературного прообраза: писатель усиливает признаки и «сверхъестественности» ее красоты, и ее статуарности, вводя в текст новеллы и в обрамляющий ее диалог собеседников сюжет Пигмалиона (Андрони — «не отец Аделины, а ревнивый опекун, влюбленный в свою воспитанницу»). Хотя писатель целенаправленно дезавуирует элементы гофмановской тайны, сама концептуально важная для новеллы идея статуарности героини могла быть подсказана именно «Песочным человеком», где Олимпия, «одеревенелая и неподвижная», в глазах Натанаэля тем не менее «прекрасная статуя». Этот интерес писателя к художественно-философскому феномену Олимпии имеет прямое отношение

---

[144] *Шмид В.* Сен-Жермен, Казанова, Томский, Пушкин — маги рассказывания // Ars philologiae: Проф. А. Б. Муратову ко дню 60-летия. СПб., 1997. С. 39—40.

к мифу о губительной статуе — его возникновение на русской почве как раз в конце 1820-х гг., связанное с именем Пушкина и его поэтической мифологией, впервые было обосновано Романом Якобсоном.[145] Однако если говорить о литературном генезисе мифа, то к числу первых его формальных признаков в прозе несомненно относится образ Аделины, созданный Погорельским, непосредственным предшественником Пушкина-прозаика. Тему статуарности у Пушкина Якобсон, в частности, связывает с фактором «биографизма», очерчивая биографический фон, на котором оформлялась одна из версий пушкинского мифа о губительной статуе. Без сомнения можно утверждать, что и у Погорельского он стимулирован личными впечатлениями от представлений «говорящей» куклы физика Робертсона, виденной им в Париже в 1815 г.: рассказ о ней, окруженный аналогичными сюжетами вплоть до «болтливой куклы» Андроиды Альберта Великого, завершает печальную историю Алцеста.

В новой редакции писатель соединяет тему любви и тему смерти именно трагически — точно так, как это, хотя и в ином контексте, вскоре сделает Пушкин в «Каменном госте», тоже вразрез с известными до него вариантами легенды.

В нарративной структуре «Пагубных последствий...», в фантастике обыденного В. В. Гиппиус уловил и тона «кукольного театра», развитые потом Одоевским в «Пестрых сказках» — в «Сказке о том, как опасно девушкам ходить толпою по Невскому проспекту» — и Гоголем в «Невском проспекте»: первым — дидактически, вторым — трагически.[146]

Время завершающей работы над «Двойником...» — период наибольшей близости Перовского с Пушкиным и его окружением. С сентября 1826 г. до следующего лета и с января 1828 г. он безвыездно живет в Петербурге и, по сохранившимся свидетельствам, общение его с пушкинско-жуковским кружком — самое тесное. Это и регулярные встречи, и совместные обеды, и субботы Жуковского. Так, 17 апреля 1828 г. Вяземский писал жене в Москву после «пьяной ночи» у Филимонова с Пушкиным, Жуковским, Перовским: «...смеялся я, как во время оно...».[147] Завел у себя литературные пятницы и сам Перовский — на

---

[145] *Якобсон Р.* Статуя в поэтической мифологии Пушкина // Якобсон Р. Работы по поэтике. М., 1997. С. 145—180.

[146] *Гиппиус В. В.* Гоголь // Гиппиус В. Гоголь. Зеньковский В. Н. В. Гоголь. СПб., 1994. С. 46—47, 176.

[147] Литературное наследство. М., 1952. Т. 58: Пушкин. Лермонтов. Гоголь. С. 75.

одном из таких вечеров, именно в пятницу, 11 мая 1828 г., читал поэт «Бориса Годунова». Тот же Вяземский на следующий день рассказал об этом чтении и об известном разговоре Пушкина с Крыловым по поводу «Бориса» в письме Вере Федоровне: «Вчера ездили мы с Карамзиными Невою на биржу есть устрицы. 〈...〉 После биржевых устриц поехал я обедать к Перовскому также на устрицы. Там были, сверх того: Карбонье, Филимонов, Нечаев, Крылов, Пушкин, Мицкевич. Крылов 〈...〉 слышал трагедию Пушкина, и — классик присяжный — он не может не протестовать против романтизма ее».[148]

Новелла «Пагубные последствия необузданного воображения» создавалась Погорельским параллельно с «Лафертовской маковницей» и отмечена теми же поисками новых канонов фантастического повествования. Здесь он одновременно — а может быть и ранее «Лафертовской маковницы» — выявляет новые эстетические и философские возможности фантастического жанра, облекая повествование в форму «страшного рассказа», зачастую адресованного домашнему или дружескому кругу. Спустя год после выхода «Двойника...» Пушкин у Карамзиных поведал собравшимся завсегдатаям узких дружеских вечеров *свой* «страшный рассказ» «Уединенный домик на Васильевском», в котором, между прочим, В. Ходасевич уловил ранние рефлексии мифа о губительной статуе — в зловещем повороте головы извозчика-черта, повторенном позже в аналогичном движении Медного всадника.[149] Характерна и лексика пушкинского рассказа: «душевные удары», испытанные ветреным молодым человеком, который по легкомыслию связался с чертом (можно сказать, злым магом), произвели «действие неизгладимое на его *воображение* и характер» (курсив наш. — *М. Т.*). Остепенившись, он старался забыть «буйные веселия юности, сопряженные с 〈...〉 *пагубными последствиями*» (курсив наш. — *М. Т.*) — крахом собственных экзальтированных иллюзий и трагической смертью невинной Веры — «ангела», ставшей по его вине орудием исполнения злых умыслов Нечистого. Павел кончает фактическим помешательством.

Конечно, не следует забывать, что это знаковое, красноречиво «говорящее» вербальное сходство отражено в титовской записи пушкинского рассказа, хотя и просмотренной самим поэтом. Но такие, например, авторитетные пушкинисты, как Н. В. Измайлов и Н. Н. Петрунина, считая текст аутентичным, полагают, что «Уединенный домик на Ва-

---

148 Там же. С. 78—79; см. также: Крылов в воспоминаниях современников. М., 1982. С. 177.

149 См.: *Ходасевич В.* Статьи о русской поэзии. М., 1922. С. 84.

сильевском» мог появиться лишь после «Лафертовской маковницы», и ставят под сомнение мемуарное свидетельство Анны Керн, относящей этот рассказ к 1825 г.[150]

Все известные до сих пор комментарии «Вечера четвертого», как уже говорилось в связи с ранними его фрагментами «Дианометр», касаются отраженных здесь рационалистических принципов определения свойств ума и сущности человеческого характера. Формальная классификация «родов ума» и свойств натуры восходит, безусловно, к трудам Гельвеция «Об уме» (1758) и «О человеке» (1772). Однако, повторимся вновь, они были восприняты Перовским критически, и, что принципиально, он совершенно игнорирует их социальный аспект, сосредоточившись, не без влияния Галля, на «психологии» и наметив довольно сложный психологический рисунок человеческой личности. Не случайно и С. П. Шевырев, и рецензент «Сына отечества» увидели здесь «много новых и весьма умных ипотез», в то время как Н. А. Полевому, между прочим, рассуждения писателя показались лишь шуткой.[151]

Но ни то ни другое не исчерпывает содержания обоих текстов, внятно корреспондирующих с нравственно-религиозными постулатами масонов. С наибольшей ясностью они прочитываются в «Дианометре», что неудивительно: Перовский вступил в масонскую ложу незадолго до начала работы над этими фрагментами — обстоятельство, возможно, также побудившее его к отразившимся здесь размышлениям. Но особенно примечательна попытка писателя согласовать масонские идеи с новейшими на ту пору научными гипотезами. Останавливает внимание еще один момент: текст, воссоздающий масонскую «ауру», не только редуцирован в «Вечере четвертом» — он вложен здесь в уста Двойника, что само по себе может быть расценено как знак дискредитации, за которым стоит авторский пересмотр ценностных идей.

Начиная разговор о свойствах человеческого ума и заранее, полемически по отношению к Гельвецию, отказываясь от «анатомии», Двойник предваряет свои рассуждения звучащей почти кощунственно в его устах

---

150 См.: *Измайлов Н. В.* Фантастическая повесть // Русская повесть XIX в.: История и проблематика жанра. Л., 1973. С. 146—147; *Петрунина Н. Н.* Проза Пушкина: (Пути эволюции). Л., 1987. С. 46, примеч. Подробнее о новелле «Пагубные последствия...» см.: *Турьян М.* Рефлексии мифа о губительной статуе: Антоний Погорельский // Пушкинская эпоха: Проблемы рефлексии и комментария: Материалы международной конференции. Тарту, 2007. С. 200—213. (Пушкинские чтения в Тарту. 4).

151 См.: Моск. вестн. 1828. Ч. 10. № 14. С. 163; СО. 1828. № 7. С. 276; Моск. телеграф. 1828. Ч. 20. № 7. С. 361, а также статью В. П. Андросова «Нечто об уме, совести и чувствительности», в которой отразились тенденции, намеченные Погорельским (Благонамеренный. 1823. Ч. 21. № 3. С. 161—174).

преамбулой: «Всевышнему угодно было понятия наши об отвлеченных предметах ограничить резкою чертою, чрез которую умнейший человек при всем старании, при всех усилиях своих никак, сам собою, переступить не может. Всё, что находится за сею чертою, навсегда останется для нас неизвестным ⟨...⟩ я смотрел на людей, наблюдал их действия, размышлял о причинах и всякий раз более удостоверялся, что каждое усилие переступить чрез начертанную нам границу не только бесполезно, но ведет нас кратчайшим путем к заблуждению». В «Дианометре» аналогичный пассаж усилен важным сакральным символом: «Пред очами смертных задернута темная завеса, для них непроницаемая; самый умный — одаренный необыкновенными способностями — человек изредка только усматривает за оною мелькающие огни, освещающие ее слабо и местами; но не может различить того, что за нею происходит; обыкновенный же человек — тот не примечает и самой завесы!».[152] «Мелькающие огни» — синоним главного символа свободных каменщиков — «Пламенеющей Звезды», представляющей «Натуру», «всеобщий и центральный Огонь, который все сотворенное оживляет, соблюдает и разрушает».[153] И далее в «Дианометре»: «Человеку, одаренному способностями, надлежало бы довольствоваться тем, чтобы направлять оные на предметы, подвластные его органам. Но он обыкновенно требует более и напрягает душу на то, что находится вне границ ума человеческого и о чем получит он понятие разве тогда, когда душа его, сбросив оковы, на нее наложенные, совершенно будет свободною. Сюда принадлежат между проч⟨ими⟩ мистики, желающие проникнуть тайны, хранимые религиею, непризванные толкователи Свящ⟨енного⟩ писания, философы, которые заглядывают за завесу, скрывающую от нас мир духовный, искатели философского камня и тому подобные».[154] В «Нравоучительном катехизисе истинных франкмасонов» известного масона И. В. Лопухина, составленном в форме вопросов и ответов, в частности, значится: «Почему Таинство Ордена не может быть всякому известно? — Потому же, почему не всякий может видеть и ощущать Присутствие Бога Вездесущаго». «Что открывается сим Таинством? — То, чего око не видело и ухо не слышало, и на сердце Человеку не всходило, сие-то Бог чрез Таинство оное открывает возлюбленным своим». В другом же его сочинении «Некоторые черты о внутренней церкви» объясняется существо

---

[152] См.: наст. изд., с. 335.

[153] *Лопухин И. В.* Масонские труды: Духовный рыцарь. Некоторые черты о внутренней церкви. М., 1997. С. 46.

[154] См.: наст. изд., с. 340.

церкви Антихристовой: «Из кого же составляется церковь Антихристова? — Главные члены мерзкаго собора ея суть ложные чудодеи, лжеправедники, писатели откровений духа тьмы, облеченных в блеске ложнаго света...».[155]

«Корнем» всех перечисленных Двойником пороков человека, принадлежащих к «высшему разряду», он считает *самолюбие*, как правило осложненное *эгоизмом*, лицемерно прикрывающимся личиной добродетели. Разъясняя свою мысль о «главных членах мерзкаго собора» церкви Антихристовой, Лопухин пишет: «...наипаче же те между ими, которые дары благодати чрез *самолюбие* (курсив наш. — *М. Т.*) обратили на собственность, силы веры употребили во зло, свет, являвшийся им, хотели учинить пищею духовнаго своего сладострастия, и плоти и крови, не могущих входити в царствие Божие». И в продолжение: «Великие орудия в Антихристовой церкви суть духовные те Фарисеи, уподобленные гробам повапленным, которых самолюбие, гордость, духовное сладострастие, лукавство, властолюбие облекают в одежды смирения, воздержания, целомудрия и благотворения».[156]

Что же касается введенных в текст «Вечера четвертого» графических схем — обещанной еще в «Дианометре» геометрической фигуры, ибо «геометрия ⟨...⟩ основана на математике, на которой основано всё», — то небезынтересно отметить, что аналогичный рисунок, по тому же — сферическому — принципу отображающий социальное, интеллектуальное и духовно-религиозное движение человека от младенчества к старости, сохранился в бумагах еще одного рационалиста — В. Ф. Одоевского.[157]

Следующую повесть в «Вечере пятом» — «Лафертовскую маковницу» — рассказчик без всяких изменений пересказывает Двойнику в том виде, в каком она была опубликована в 1825 г. в «Новостях литературы», — правда, заключив ее здесь полемическим — совершенно в духе его критических статей о «Руслане и Людмиле» — исполненным легкой насмешки авторским диалогом с Двойником, адресующим читателя к сентенциям Воейкова трехлетней давности, которые сопровождали первое появление этого произведения в печати: «...напрасно, однако ж, вы не прибавили развязки, — говорит Двойник. — Иной и в самом деле подумает, что Машина бабушка была колдунья.

---

[155] *Лопухин И. В.* Масонские труды: Духовный рыцарь. Некоторые черты о внутренней церкви. С. 55, 90.

[156] Там же. С. 90—91; ср.: Гельвеций К.-А. О человеке // Гельвеций К. А. Соч.: В 2 т. М., 1974. Т. 2. С. 188—189 (гл. 4: «О себялюбии»).

[157] См.: наст. изд., с. 340, а также: ОР РНБ, ф. 539 (В. Ф. Одоевского), оп. 1, № 20, л. 97—97 об.

— Для суеверных людей развязок не напасешься, — отвечал я. — Впрочем, кто непременно желает знать развязку моей повести, тот пускай прочитает „Литературные новости" 1825 года. Там найдет он развязку, сочиненную почтенным издателем „Инвалида", которую я для того не пересказал вам, что не хочу присвоивать чужого добра».[158]

В контексте «Двойника» игровое и мистифицирующее начало «Лафертовской маковницы» становится вполне очевидным: она, как и предыдущие новеллы, окружена «разоблачительными» сюжетами — на этот раз о псевдогадалках и колдунах.

В критических отзывах на эту повесть — прижизненных и последующих — постоянно звучит мысль о присутствующем в ней гофмановском начале и даже о прямом подражании немецкому романтику. Однако, как и в случае с «Пагубными последствиями...», подобные утверждения нуждаются в существенной коррекции: Погорельский и здесь в следовании претексту весьма избирателен и независим. Если не считать некоторых мотивных и образных перекличек, в частности с «Золотым горшком» Гофмана, то принципиально важным следует признать, по формулировке В. М. Марковича, подробно рассмотревшего эту проблему, лишь родство «композиционно-смысловой основы», заключающееся в переплетении сверхъестественного с будничнo-реальным. Однако исследователь справедливо указывает на формальный характер этого сходства: гротесковая природа мифических метаморфоз Гофмана, как и их социальная направленность, оставляет Погорельского равнодушным. И художественные, и мировоззренческие его задачи гораздо камернее: в противовес гофмановскому мифологическому вселенскому конфликту он явно тяготеет к ясной эстетической природе русской волшебной сказки.

Фольклорная основа фантастики «Лафертовской маковницы», установка на устный «сказ», на свойственные ему четко очерченные эстетические и нравственные каноны, озаренные простодушной веселостью, наконец, идиллический финал — все это не раз уже отмечалось исследователями.

Неоднократно указывалась и генетическая связь повести Погорельского с балладной эстетикой — прежде всего с балладным миром Жуковского, также, в свою очередь, вобравшим в себя сказочные формы. Эта особенность художественной природы «Лафертовской маковницы» детально проанализирована В. М. Марковичем в уже упоминавшейся специальной работе о балладах Жуковского и их влиянии на формирова-

---

[158] См.: наст. изд., с. 93.

ние русской фантастической повести. Что касается Погорельского, то, согласно убедительным наблюдениям исследователя, наиболее значимой для писателя оказывается не только балладная стилистика, но и некоторые мотивы воплотившейся в балладах поэта художественной философии — прежде всего нравственной концепции, «диалектики добра и зла», заключающей в себе, в отличие от гофмановского романтического максимализма, «ясную простоту этических принципов, родственную сказочным художественным внушениям ⟨...⟩ или патриархальному нравственному кодексу народа». Это как нельзя более соответствовало самой природе дарования Погорельского, вряд ли всерьез склонного к крайностям «своенравной и необузданной фантазии», которые ему приписывали. Напротив, «Лафертовская маковница» может быть признана первым в русской литературе произведением о «маленьком человеке», открывающем галерею подобных героев у Пушкина, Гоголя и Достоевского. По словам В. М. Марковича, «Погорельский предвосхищает открытие всеобщего и вечного содержания в будничной жизни обыкновенных людей. Иными словами, то самое открытие, которое несколько лет спустя состоится в „Повестях Белкина"».[159]

Еще одно соображение по поводу возможного генезиса «Лафертовской маковницы», до сих пор, кажется, в исследовательской литературе не фигурировавшее, — сатирическая повесть XVIII в. — подсказано «фрейдистской» оговоркой Пушкина, когда он ошибочно в письме к брату назвал Мурлыкина вместо Аристарха Фалалеича — Трифоном Фалалеичем. Это невольно вызывает в памяти «Письма родных к Фалалею» Фонвизина, где имя непутевого героя — Фалалей Трифонович.

Несомненно, конечно, и то, что новации «Двойника...» отозвались в «Повестях Белкина», ибо именно здесь, в «Гробовщике», вновь возникает «тень» Погорельского, второе под пером Пушкина упоминание его «Лафертовской маковницы»: в легко и иронично рассказанной Пушкиным истории один из ее персонажей, будочник Юрко, сравнивается с «почталионом Погорельского», и это — уже свидетельство *вдумчивого*, без оговорок, наверняка повторного прочтения «Маковницы» в составе «Двойника...», не только отсылка к аналогичному «низовому» герою, но и ассоциативный знак тождественности художественного принципа «фантастического» повествования, погруженного в реальную «сниженную» бытовую среду. Более того, «Гробовщик», как и «Пагуб-

---

[159] Подробнее см.: *Маркович В. М.* Балладный мир Жуковского и русская фантастическая повесть эпохи романтизма. С. 143—150.

ные последствия...», как и «Лафертовская маковница», проникнут пародийным началом.

Между прочим, исследовательница литературных процессов пушкинской поры Е. П. Званцева усматривает преемственную связь «Лафертовской маковницы» не только с «Повестями Белкина», но и с «Пиковой дамой».[160]

В последней новелле «Двойника...» — «Путешествие в дилижансе» — Погорельский воспользовался еще одним европейским популярным образцом французской «ужасной», в духе Ф. Дюкре-Дюмениля, утрированно-мелодраматической прозы: повестью писателя и ученого Шарля Пужана «Жоко, анекдот, извлеченный из неизданных писем об инстинкте животных» — трогательным рассказом об обезьянке Жоко, полюбившей человека и павшей жертвой его корыстолюбия и неблагодарности. Интерес Пужана, естественника по образованию, к такого рода темам вполне понятен и даже отчетливо сформулирован в тексте самой повести: проверить описания естествоиспытателей и лично убедиться, «до какой степени могут простираться инстинкт и способности сего животного»; его «героиня» старательно и с успехом подражает навыкам и привычкам своего кумира. Снабдив свою историю подробным научным комментарием, французский писатель облекает ее, однако, в форму сентиментально-руссоистского повествования с драматической развязкой, изобличающего пороки цивилизованного европейца — его бесстыдную алчность и жестокость: «О Европа! Твой холодный яд отравляет все благородные движения сердца!».[161] Именно это, а не достоинства научных описаний обезьяны породы жоко принесли сочинению Пужана неслыханную популярность. Зародившись на родине, мода на «Жоко...» распространилась и в России. Уже в 1825 г. перевод повести появился в «Московском телеграфе», а в 1827-м на московской сцене, вслед парижской, представляли с колоссальным успехом ее драматургическую версию.[162] Память о Жоко держалась долго, и даже Пушкин помянул еще «резвую покойницу Жоко» в черновиках «Домика в Коломне».

Новелла Погорельского явилась первой, но не единственной русской иронической контрверсией нашумевшего сюжета, стилизованной к тому

---

[160] *Званцева Е. П.* Место А. Погорельского в литературе пушкинской поры. С. 66; см. также: *Питерцева Е. Ю.* «Двойник, или Мои вечера в Малороссии» А. Погорельского и «Повести покойного Ивана Петровича Белкина» А. С. Пушкина: Автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. филол. наук. Череповец, 2000.

[161] Моск. телеграф. 1825. Ч. 2. № 9. С. 48; № 10. С. 140.

[162] См.: *Родина Т. М.* Достоевский: Повествование и драма. М., 1984. С. 80.

же под расхожие, легко узнаваемые образные и вербальные трафареты этой самой «ужасной» прозы.[163]

Идея подобного прочтения «руссоистской» истории исходила, конечно, из пушкинско-жуковского круга и спустя несколько лет была воплощена — даже в более жесткой, гротескной тональности — еще и В. Ф. Одоевским в одной из его «Пестрых сказок» — «Жизнь и похождения одного из здешних обывателей в стеклянной банке, или Новый Жоко. (Классическая повесть)». Пушкин, например, резко отрицательно относившийся к пародируемому его друзьями жанру, восторженно отозвался о вышедшем спустя год после «Двойника...» романе «неистового» Жюля Жанена «Мертвый осел и обезглавленная женщина» именно потому, что воспринял его как пародию на французский «ужасный» роман. Обсуждая эту громкую литературную новинку с Верой Федоровной Вяземской, он писал по поводу некой смутившей ее фразы: «...*не надо принимать всерьез всего того, что говорит автор* (курсив наш. — *М. Т.*). Все превозносили первую любовь, он счел более занятным рассказать о второй».[164]

Погорельский «препарирует» пужановскую версию целенаправленно, начиная с сюжетной коллизии и с самой «героини». В противовес случайной встрече молодого героя с обезьянкой в лесу и последующей их дружбе-любви, в которой доминирует человек и его образ бытия, старательно копируемый животным, в русском варианте обезьяна похищает мальчика и страстно привязывается к обретенному воспитаннику, подчиняя его своему, звериному образу существования. Фигурирующую у Пужана обезьянку породы жоко (так, собственным именем, и называет ее рассказчик) — «прекрасное маленькое животное» — Перовский заменяет огромным агрессивным орангутангом — «мерзкой тварью», внушающей людям страх и отвращение. В обоих случаях слияние героев с «естественным» миром заканчивается трагически, но если в оригинальной версии человек — лишь косвенный виновник смерти Жоко, то

---

163 О русских интерпретациях «Жоко» Пужана см.: *Сакулин П. Н.* Из истории русского идеализма: Кн. В. Ф. Одоевский. Мыслитель. — Писатель. М., 1913. Т. 1, ч. 2. С. 370, примеч.2; *Passage Ch. E.* The Russian Hoffmanists. The Hague, 1963. P. 56—57; *Cornwell N.* V. F. Odoyevsky: His life, times and milieu. London, 1986. P. 303; *Leblanc R. D.* A Russian Tarzan, or «Aping» Jocko? // Slavic Review. 1987. Vol. 46. № 1. P. 70—86; *Китанина Т. А.* «Двойник» Антония Погорельского: структура романтического цикла // Русский текст. 1993. № 1. С. 36—38.

164 *Пушкин.* Письма. Т. 2: 1826—1830. С. 86, 415 (письмо от конца апреля 1830 г.); о пародийном осмыслении «Мертвого осла» см.: *Алавердов Ю. А.* Романтический стиль в кривом зеркале пародии: Жюль Жанен. «Мертвый осел и гильотинированная женщина» // Стилистические проблемы французской литературы. Л., 1975. С. 16—26.

у Погорельского Туту впрямую погибает от руки своего воспитанника. Сентиментально-идиллический фон пужановского повествования обретает под пером Погорельского зловещие натуралистические краски и буквально обагряется кровью, льющейся со страниц «кошмарных» романов. Воображению вернувшегося домой мальчика видится, как его «вторую мать» «терзают безжалостно и окровавленные члены ее бросают на съедение голодным собакам»; отрубленная отцом лапа бедной Туту оказывается на его одеяле — и на следующий день ее, обглоданную, приносит ему собака; застреленная им Туту умирает, «плавая в крови». Наконец, жизнь самого рассказчика заканчивается в полном соответствии с поведанной им историей: он был съеден «дикими» в Новой Голландии. Нелишне напомнить откровенно ироническую концовку и «Нового Жоко» Одоевского: «...моя повесть не ужаснее ли повести Эдипа, рассказов Энея?».

В завершающем рассказ Погорельского диалоге собеседников проясняются и преследуемые Двойником, в отличие от естественно-научных устремлений Пужана, исключительно нравственно-дидактические цели. В ответ на замечание его слушателя о том, что все эти «оригинальные» истории «что-то не в природе», тот назидательно называет единственную причину трагической судьбы полковника: мучения совести. «Страдания полковника проистекли от неблагодарности его к Туту, — восклицает он, — а неблагодарность, любезный Антоний, есть преступление столь гнусное, что чувствительный человек, имевший несчастие поступить так бесчеловечно с благодетельницей своей — хотя бы она была и обезьяна, никогда не может быть покоен, если не найдет средств загладить вину свою!».

Погорельский, помимо решаемых им в «Двойнике» литературных задач, остается верен и этой своей нравственно-просветительской приверженности: к человеческим порокам, перечисленным в «Вечере четвертом», он присовокупляет еще один, и весьма распространенный, — *неблагодарность*. Однако последняя новелла — а вместе с ней и цикл — завершаются все же в своей основной — ироничной и мистифицирующей читателя — тональности вопросом, остающимся без ответа: «В самом ли деле обезьяны на острове Борнео таковы, как изображает их Фан дер К...?». Как непонятно и то, закончен ли писателем «Двойник...» вообще или следует ждать его продолжения, ибо под текстом значится: «Конец второй части» — но не «Конец», как это обычно принято.[165]

Книга Погорельского широкого читательского успеха не имела, экспериментальный характер ее остался непонятым. Даже С. П. Шевырев,

[165] См.: наст. изд., с. 122—123.

хорошо знавший немецкую романтическую литературу, в частности Гофмана, увидел в «Двойнике...» лишь подражание ему, а в новеллах о кукле и обезьяне — «крайность своенравной и даже необузданной фантазии, преступившей границы всякого вероятия».[166] Исключение он делал, как и другие рецензенты, только для пленившей всех «Лафертовской маковницы». Подражательным показалось причудливое сочинение Погорельского и Н. А. Полевому. Но все единодушно отмечали — как редкое для современной литературы достоинство — прекрасный, легкий и «заманчивый» слог. Мастерство превосходного устного рассказчика, не раз восхищавшее слушателей Погорельского, сказалось в его писательской манере сполна. Вяземский позже писал, что он «очень хорошо передает себя в слоге своем».[167]

Однако, думается, кругу литературных единомышленников основной замысел Погорельского и новаторские достоинства «Двойника...» были вполне внятны и созвучны: в «Новом Жоко» В. Ф. Одоевский следовал его художественным принципам; переклички пушкинского «Гробовщика» с «Лафертовской маковницей» не только очевидны, но и открыто декларированы. Да и сами появившиеся вскоре циклы обоих писателей — «Повести Белкина» и «Пестрые сказки», при всех естественных оговорках и различии, в основе своей воспроизводили тот же эстетический угол зрения «на лиц, обычаи и нравы», что и в «Двойнике...», ту же пародийную стилистику. И если, читая «Повести Белкина», Баратынский «ржал и бился», а Кюхельбекер «от доброго сердца»[168] смеялся, то и Пушкин не мог не оценить достоинства «парадоксов-переосмыслений» (термин В. Э. Вацуро) Погорельского. О том, что «Двойник...» был прочитан ближайшими друзьями именно в таком ключе, свидетельствует и письмо Жуковского А. А. Воейковой: «Если будет возможно, — писал он, — то есть когда успею взять, то пошлю завтра к тебе с Ломоносовым, который едет отсюда в Париж, „Двойник, или Вечера в Малороссии", *сказка* Алексея Перовского, им недавно напечатанная».[169] В «Толковом словаре...» В. И. Даля в ряду жанровых определений сказки — «вымышленного рассказа» — значатся и сказки *балагурные*. Вероятнее всего, как раз их и имел в виду Жуковский.

---

[166] Моск. вестн. 1828. Ч. 10. № 14. С. 162.

[167] Остафьевский архив князей Вяземских. Т. 3. С. 221.

[168] *Кюхельбекер В. К.* Путешествие. Дневник. Статьи. Л., 1979. С. 250.

[169] Письмо написано не ранее марта 1828 г. (принятая дата: февраль 1828 г. — неверна, так как ч. 1 «Двойника...» была разрешена цензурой 29 февраля, а ч. 2 — 1 марта 1828 г.). Цит. по: *Соловьев Н. В.* История одной жизни: А. А. Воейкова. Пг., 1916. Т. 2. С. 68.

Книга Погорельского, рожденная в атмосфере утверждавшегося романтизма, в полной мере отразила этот «слом» направлений, движение писателя-сентименталиста карамзинской ориентации, разделявшего и просветительские идеи, к новому художественному мировоззрению. Само «двойничество» Погорельского представляет собой психологическую раздвоенность именно такого рода. «Двойник...» остался не только памятником эпохи литературного «перелома», он явился и по-своему провидческой книгой, «своеобразной творческой лабораторией становления русской романтической прозы»,[170] формирования всех основных жанров нарождающейся романтической повести. Тонкое литературное чутье писателя, освещенное особой природой его творческого мышления — полемической остротой и любовью к парадоксу, — позволило ему точно уловить и наметить ряд важных тенденций, развитых литературой романтизма и нашедших впоследствии наиболее совершенное свое выражение.

Как уже говорилось, самый конец 1820-х—начало 1830-х гг. — период наиболее тесного личного и литературного общения Перовского с кружком Пушкина — Жуковского. Из того немногого, что зафиксировано мемуаристами, мы знаем, в частности, о некоторых обсуждавшихся здесь с его участием проблемах — в том числе религиозно-философских. Повышенный интерес к ним в эту пору явствен в творчестве и замыслах как Пушкина, так и Жуковского. Особое место в этом ряду занимает тема Иисуса и Вечного жида — их диалектическую связь и философские потенции этой связи отчетливо обозначила Л. Н. Киселева в статье «Легенда о Вечном жиде в замыслах Пушкина и Жуковского». Работа эта, собственно, посвящена сюжету об Агасфере, дающему, однако, по справедливому утверждению исследовательницы, «богатые возможности для разнообразных трактовок», ибо он «концентрирует в себе все фундаментальные вопросы миропорядка, и в особенности христианской картины мира, такие как темы смерти/бессмертия, гордости/смирения, спасения души, покаяния, проблемы человеческих страданий и их искупительной силы, взаимоотношения человека с Творцом».[171] В орбиту этих интересов естественно был вовлечен и Перовский, частично уже коснувшийся в своем «Двойнике...», хотя и в ином ключе, нравственных вопросов бытия. При этом важно напомнить, что помимо дидактики просветительского толка в его цикле нашел отраже-

---

170 *Брио В. В.* Творчество А. Погорельского: К истории русской романтической прозы. С. 23—24.

171 См.: Коран и Библия в творчестве А. С. Пушкина. Jerusalem, 2000. С. 96.

ние и небезразличный, не понаслышке знакомый писателю масонский нравственный кодекс. Теперь, спустя год после «Двойника...», он откликается на обсуждаемые проблемы небольшой, но в высшей степени примечательной переводной, с английского, новеллой «Посетитель магика», выдержанной, как и претекст, в мистико-романтическом жанре. Сюжетной основой первоисточника послужил весьма необычный апокрифический сюжет об Агасфере, придуманный самим автором — малоизвестным английским писателем-романтиком Генри Нилом, снискавшим тем не менее репутацию изящного версификатора.[172] Его текст, в отличие от полемических интерпретаций «Двойника...», был передан в переводе Погорельского почти дословно.[173] Любопытно, что через четыре года, в 1833-м, в надеждинской «Молве» был опубликован еще один — анонимный и, что показательно, вольный перевод этого произведения, на сей раз явно с французского, без упоминания претекста и под иным названием: «Очарованное зеркало. Эпизод из жизни Корнелиуса Агриппы», за подписью хорошо известного к этому времени в России французского писателя и переводчика Амедея Пишо.[174] Известен он был, к слову, и как страстный англоман, всесторонний и тонкий знаток истории и литературы Альбиона.[175] Замечание о различных русских названиях новеллы Нила существенно; они служат концептуальной основой различных смысловых версий, с обозначением доминирующей роли разных героев: у Погорельского это Агасфер, у Пишо — Корнелий Агриппа. Кроме того, текст Погорельского интертекстуален и несет на себе все признаки эзотеризма. Эзотерика «Посетителя магика», как отчасти и «Вечер четвертый» в недавнем «Двойнике...», связана с масонством.

Затронутая в новелле тема греха и прощения также принадлежит к «фундаментальным вопросам миропорядка». Стилистические же и семантические преимущества эзотерической символики для ее художественного воплощения были Погорельскому очевидны. Известно, что идеология масонства в той или иной мере унаследовала как общие постулаты средневекового мистицизма — магию спиритуалистического мышления

---

172 *Neele H.*, esq. The Magician's Visiter // Forget Me Not: Christmas and New Years Present for 1828. London. P. 91—98; републикация: *Neele H.* The Magician's Visiter // Tales of the Wandering Jew / Ed. by B. Stableford. Dedalus Ltd., 1991. P. 32—37.

173 В годы студенчества Перовского Московский университет был единственным учебным заведением, где английский язык и литературу преподавал англичанин — Джон Бейли; он же вел и курс перевода (см.: *Кросс Э.* Британцы в Петербурге: XVIII век. СПб., 2005. С. 56).

174 Молва. 1833. № 38. 30 марта; № 39. 1 апр.

175 См.: *Pichoi A.* Voyage historique et littéraire en Angleterre et en Escosse. Paris, 1825. T. 1—3.

и многозначность символических уподоблений, так и конкретные формы их реализации. Именно поэтому атрибутика мистико-романтического повествования легко транспонируется в эзотерический текст. Нарративная структура, последовательность совершаемых в новелле действий носят целенаправленный характер: подтекст «Посетителя магика» явно таит в себе основные элементы масонского ритуала инициации. Кстати, в подобном приеме сюжетного воплощения обрядных действий ни Нил, ни Погорельский не были первооткрывателями.[176]

Уже вынесенное обоими писателями в заглавие слово «посетитель» являет собой известный масонский термин, «наименование масона, который присутствует на заседаниях масонской мастерской, не будучи афилированным в нее». Например, в длинном списке членов ложи «Елисаветы к Добродетели», в которой состоял Перовский, едва ли не половина — посетители.[177] Эзотерический «код» «Посетителя магика», семантически важные разночтения с вольным переводом Пишо — все это подробно рассмотрено нами в специальной статье, касающейся в том числе значимых сюжетообразующих элементов: времени и места действия, символики чисел и цвета, других «говорящих» деталей повествования, соотносимых с инициацией, которая призвана символически освободить человека от «первой смерти», т. е. от мирской жизни, к чему так стремится Агасфер — и что ему не дано. Он кидается к явленному ему в зеркале Агриппой образу непорочной своей дочери Мириамы (или, в латинском аналоге, Марии, девы Марии) как к мгновенному, но тут же погасшему лучу надежды на освобождение от начертанной Иисусом бессрочной кары. Для Агасфера наступает «вторая смерть» — иначе говоря, несостоявшаяся инициация.[178] Именно в этом — в трагической коллизии греха и *непрощения* — заключался смысл разысканного Перовским на страницах малоприметного английского альманаха нетривиального апокрифа о Вечном жиде. Более того, эта версия удивительным образом корреспондирует с пушкинской формулой, донесенной до нас Франтишком Малевским: «Не смерть, а жизнь ужасна»,[179] и будто именно ей находит Погорельский соответствие в тексте Генри Нила, включа-

---

176 См., например: *Розанов И.* М. М. Херасков // Масонство в его прошлом и настоящем. М., 1914. Т. 2. С. 48—50 (Репринт: М., 1991).

177 См.: *Серков А. И.* Русское масонство: 1731—2000. С. 1053—1164.

178 О «Посетителе магика» подробнее см.: *Турьян М.* К вопросу о «русском Агасфере»: Антоний Погорельский. Посетитель магика. С английского // Эткиндовские чтения. II—III: Сб. статей по материалам Чтений памяти Е. Г. Эткинда. СПб., 2006. С. 61—72.

179 Пушкин в дневнике Франтишка Малевского / Публ. Т. Цявловской // Литературное наследство. Т. 58: Пушкин, Лермонтов, Гоголь. С. 266.

ясь тем самым в «прения» «за высшие начала психологии и религии»: «Посетитель магика» воспринимается как отголосок изустных споров, как редкая возможность услышать «знакомых мертвецов живые разговоры».

Симптоматично, что «двойник» Агасфера вскоре возникает и под пером Владимира Федоровича Одоевского — в его новелле «Opere del Cavaliere Giambattista Piranesi». Правда, грех великого архитектора иной — но он также соотносим с тогдашним кругом волновавших Пушкина проблем, и в первую очередь — с нравственно-философским посылом его «Моцарта и Сальери»: «Гений и злодейство/Две вещи несовместные». (Напомним: оба произведения появились в 1832 г. в одном и том же выпуске альманаха «Северные цветы».) Однако наказывает Одоевский своего грешного героя подобно Погорельскому — бессмертием Вечного жида.

Одновременно с «Посетителем магика» выходит отдельным изданием еще одно сочинение писателя — кажется, единственное, составившее его нетленную славу, положившее начало жанру литературной сказки и вошедшее в золотой фонд отечественной детской литературы, — «Черная курица, или Подземные жители. Волшебная повесть для детей». Достоинства этой исполненной почти магической поэзии и глубокого смысла истории маленького Алеши, сочиненной, по преданиям родных, для любимца и воспитанника Алеши Толстого, стали очевидны первым же ее читателям, среди них Жуковскому, прочитавшему сказку еще до выхода ее в свет. Помогая в это время Дельвигу заполнить портфель очередного выпуска «Северных цветов», он настоятельно рекомендовал ему для альманаха «Черную курицу»: «У Перовского есть презабавная и, по моему мнению, прекрасная детская сказка „Черная курица". Она у меня. Выпросите ее себе».[180] Однако этот альянс не состоялся: отдельное издание сказки было уже, очевидно, предрешено.

«Черная курица» — первая в русской литературе книга о детстве, раскрывающая внутренний мир ребенка, особенности его психологии, мышления, формирования характера, — предшествует произведениям С. Т. Аксакова и Л. Н. Толстого, на которого она произвела в детстве «очень большое» впечатление.[181] Художественные и эстетические ее достоинства не раз становились предметом научного анализа.[182]

---

180 РА. 1891. Кн. 2. № 7. С. 364 (письмо без даты; В. Э. Вацуро датирует его временем до 3 декабря 1828 г. — см. в его кн.: Северные цветы: История альманаха Дельвига—Пушкина. М., 1978. С. 265, примеч. 80).

181 *Толстой Л. Н.* Полн. собр. соч. М., 1953. Т. 66. С. 67 (Репринт: М., 1992).

182 См.: *Бабушкина А. П.* История детской литературы. М., 1948. С. 196—203; *Званцева Е. П.* Жанр литературной сказки в творчестве Антония Погорельского // Проблемы эстетики и творчества романтиков. Калинин, 1982. С. 42—53.

В меньшей степени освещено в исследовательской литературе своеобразие ее поэтики, подчиненной на этот раз канонам фантастики не мистико-романтической, но фольклорной. Однако усваивая традиции народной сказки, Погорельский вместе с тем бесконечно усложняет и строй волшебно-сказочного повествования, и связанную с ним нарративную структуру. Так, он очерчивает хронологические и топографические контуры сюжета в конкретно-историческом, а не в условно-сказочном времени и пространстве, в точно соответствующих реалиям деталях.[183] Именно это, в частности, подтверждает автобиографическое начало «Черной курицы», о чем уже говорилось выше, в связи с фактами, касающимися раннего детства писателя, и в этом, думается, основная причина аберрации памяти Ф. П. Литке, сместившего на десятилетие пребывание Алексея Перовского в пансионе Мейера. Незримо присутствует в чертах сказочного героя и реальный адресат «Черной курицы» — Алеша Толстой, юный мечтатель с нежной душой и незаурядными дарованиями. По воспоминаниям друга его детства А. В. Мещерского, «граф Толстой был одарен необыкновенною памятью. Мы часто, — пишет мемуарист, — для шутки, испытывали друг у друга память, причем Алексей Толстой нас всех поражал тем, что по беглом прочтении целой большой страницы любой прозы, закрыв книгу, мог дословно всё им прочитанное передать без одной ошибки; никто из нас, разумеется, не мог этого сделать».[184] Без сомнения, именно эта способность мальчика преломилась в сказочной версии о волшебной силе конопляного семечка — как очевидно и то, что этот сюжет подчинен отчетливому дидактическому пафосу, находящему прямое соответствие в письмах Перовского этих лет к «милому Алешеньке», которому внушались понятия о нравственности и чести. Не следует игнорировать и остающийся за пределами эпистолярия, хотя вполне угадываемый, уровень интеллектуального общения с ним.

Неоценимый материал для понимания «надтекстового» смысла «Черной курицы», ее внелитературных, конкретно-бытовых и биографических деталей дает написанная много позднее Алексеем Константиновичем Толстым автобиографическая поэма «Портрет» (1874) — по его собственному признанию, «что-то вроде какой-то „Dichtung und Wahreit",[185] воспоминание детства, наполовину правдивое». Воскрешенные в этой «повести в стихах» воспоминания детства относятся как раз ко времени

---

[183] Ср. особенности интерпретации «сказочного» плана в «Пиковой даме» (см.: *Петрунина Н. Н.* Проза Пушкина: (Пути эволюции). С. 222—223).

[184] Из моей старины: Воспоминания кн. А. В. Мещерского // РА. 1900. Кн. 2. № 7. С. 370—371.

[185] «Поэзия и правда» — автобиографическая книга И.-В. Гете (1811—1833. Ч. 1—4).

появления адресованной ему сказки («...я думаю, мне было / Одиннадцать или двенадцать лет»), реминисцентно отразившейся в поэме.[186] Это дает веские основания для локализации места и времени написания «Черной курицы». «У самого Аничковского моста / Большой тогда мы занимали дом», — сказано в поэме. Речь идет о доме Екатерины Федоровны Муравьевой (ныне набережная реки Фонтанки, дом 25), матери декабристов Никиты и Александра Муравьевых. Жуковский, рекомендуя Дельвигу для «Северных цветов» «Черную курицу», советовал написать по этому поводу Перовскому, указав его адрес: «Он живет в доме Е. Ф. Муравьевой, вверху».[187] Дом был знаменит: именно «вверху», в третьем его этаже, проживал с 1816 г. Н. М. Карамзин, здесь он читал друзьям главы своей «Истории». В 1823 г. Карамзину пришлось освободить квартиру в связи с предстоящей свадьбой сына хозяйки дома, Никиты. Происходившие «у беспокойного Никиты» собрания будущих декабристов упомянуты в «Евгении Онегине».[188] В середине 1820-х гг. Е. Ф. Муравьева переехала в Москву для ухода за своим племянником К. Н. Батюшковым, отдав этот самый третий этаж (сама она жила во втором) Перовским — возможно, сразу по их возвращении из путешествия по Германии. Август—сентябрь 1828 г. сам Алексей Алексеевич провел в Одессе, после чего вернулся в Петербург. Вряд ли на юге он занимался сочинительством, зато встреча после разлуки с Алешей, в ту пору «миров искателем небывалых», вполне могла послужить к тому стимулом, и сказка, вероятнее всего, была написана быстро, в течение осени. Мальчика в это время усердно образовывали: «Предметы те ж, зимою как и летом, / Учителя ходили по билетам». Особенно вспоминаются поэту немец-гувернер, скорее всего Шад, приставленный к нему еще в Германии, и его уроки по истории античности. У этого ученого немца, страстного поклонника Плиния и Горация, были своеобразные методы обучения: «Он говорил: Смотрите, для примера, / Я несколько приму античных поз...».

В этой связи, как кажется, образ Черной курицы в сказке Погорельского возник не случайно. Прямых соответствий ему в русском фольклоре нет — за исключением типологически близкой «волшебной» курочки-рябы. Правда, существует житийный его аналог — в «Житии протопопа Аввакума», где фигурирует «черненькая курочка», кото-

---

[186] *Толстой А. К.* Поли. собр. стихотворений и поэм. СПб., 2004. С. 663—664. (Новая Б-ка поэта) (примеч. И. Г. Ямпольского). Здесь и далее поэма цитируется по этому изданию. См. также: *Lirondelle A.* Le poète Alexis Tolstoï: L'homme et l'œuvre. P. 19—20.

[187] См. примеч. 180.

[188] См.: *Канн П. Я.* Прогулки по Петербургу. СПб., 1994. С. 31—34.

рая «по два яичка ребятам на день приносила на пищу, помогая их нужде».[189] Правда, «Житие» в 1830-е гг. опубликовано еще не было, но имело широкое хождение в списках. Более соответствующий сказочному персонажу Погорельского образ присутствует в древнегреческой мифологии: это петух, который как раз связан с подземным царством, причем в полисемантическом мифологическом спектре этого образа функционально значимым является именно цвет: подземное царство символизирует только *черный* петух.[190]

Указание на этот мифологический источник, имея в виду конкретный адресат сказки, представляется резонным. Нелишне напомнить, что сам Алексей Перовский был тонким и глубоким знатоком «древних» и привил, конечно, любовь к ним юному Толстому. Спустя несколько лет Анна Алексеевна писала брату Льву о страстном увлечении сына древнегреческими героями. Еще через год, передавая Алеше суждение Жуковского о его стихотворных опытах, Алексей Алексеевич писал: «...греческие пиэсы твои он предпочитает потому, что они доказывают, что ты занимаешься древними».[191]

Думается, что пленительное создание Погорельского «Черная курица...» явилось плодом художественного синтеза двух топосов: фольклорного и мифологического.[192] Семантически же и, если угодно, философски двойственная природа этого образа — курица / министр подземного царства — открывала детскому сознанию неведомые ему дотоле многомерные горизонты бытия, неисчерпаемость смыслов действительной жизни.

В прессе новое произведение Погорельского было встречено в общем благосклонно, с неизменными похвалами свободному и изящному слогу. Однако вновь прозвучали укоры в подражании, в том числе «Эльфам» Людвига Тика, что не лишено оснований типологического свойства: достаточно напомнить ранний интерес русского писателя к этому немецкому романтику, зачинателю жанра литературной сказки, своеобразно вобравшей в себя под его пером и фольклорный опыт.[193]

---

189 Житие протопопа Аввакума, им самим написанное // Хрестоматия по древнерусской литературе / Под ред. Н. К. Гудзия. М., 1973. С. 486; см. также: Памятники истории старообрядчества XVII в. Л., 1927. Кн. 1, вып. 1. С. VII—XI.

190 См.: Мифы народов мира: Энциклопедия: В 2 т. М., 1982. Т. 2: К—Я. С. 309—310.

191 См.: наст. изд., с. 474—475, 427.

192 О широком использовании мифологических мотивов в волшебной сказке и процессе их трансформации см.: *Мелетинский Е. М.* Поэтика мифа. М., 1976. С. 262—265.

193 См.: Моск. вестн. 1829. Ч. 6. С. 151—154; обзор рецензий на «Черную курицу» см.: Русские писатели: 1800—1917: Биогр. словарь. М., 2007. Т. 5. С. 90. См. также: История немецкой литературы: В 5 т. М., 1966. Т. 3. С. 133—135.

По совпадению или нет, но «Черной курицей» открывается «сказочное поветрие», захватившее в начале 1830-х гг. Пушкина, Жуковского, Владимира Одоевского, начинающего Гоголя. Не случайно литературные новации писателя находят отклик в пушкинско-жуковском кругу: он желанный автор вновь затевающихся здесь изданий, и его альянс с Дельвигом все же состоялся — в первых номерах «Литературной газеты» появляются главы нового задуманного Погорельским романа «Магнетизер». Продолжения он, к сожалению, не имел, но яркая бытовая живопись опубликованного его начала, будто сошедшая с холстов старых голландских мастеров, свидетельствовала о таланте, набирающем силу. В сюжетной экспозиции ясно прорисована и социальная — вновь сниженная — среда намечавшегося повествования: провинциальное купечество, и завязка романного конфликта: вторжение в эту среду «таинственного» — но на этот раз отнюдь не сказочного, как в «Лафертовской маковнице», и не «объясненного сверхъестественного», как в «Пагубных последствиях необузданного воображения». Погорельский обращается к еще одной животрепещущей, широко дискутировавшейся в печати и обществе теме — месмеризму, учению австрийского врача Ф.-А. Месмера о существующем якобы в природе так называемом «животном магнетизме» — особой целительной или разрушающей жизненной силе медиумов, способных к порабощающему физическому и психическому воздействию на окружающих. Писатель вновь, кажется, едва ли не в числе первых, коснулся на страницах художественного произведения этой проблемы, точнее, особого ее аспекта: так называемого «беснования», или, говоря современным языком, физиопсихического феномена эпилепсии. Вскоре Владимир Федорович Одоевский, например, задумает целый цикл под названием «Беснующиеся», реализованный, правда, лишь в одной новелле 1838 г. — «Орлахская крестьянка».[194] Тема обрела устойчивую притягательность: ее художественно-философская разработка в русской литературе растянулась на столетие — вплоть до «Огненного ангела» Брюсова.

Откликаясь на только что вышедшие номера новой пушкинско-дельвиговской газеты, Павел Александрович Катенин, находившийся в сложных отношениях с Пушкиным и его кругом и отличавшийся резкостью суждений, писал своему другу Николаю Ивановичу Бахтину о новом сочинении Погорельского: «„Магнетизер" не хуже и не лучше многих

---

[194] См.: *Сакулин П. Н.* Из истории русского идеализма: Кн. В. Ф. Одоевский. Мыслитель. — Писатель. Т. 1, ч. 2. С. 91—101; *Турьян М. А.* «Странная моя судьба...»: О жизни В. Ф. Одоевского. М., 1991. С. 305—309.

нынче появляющихся повестей с замашками Вальтер Скотта...».[195] Суждение это диктовалось, похоже, первым беглым впечатлением, имевшим, однако, свои резоны: повествовательный дар, вкус к деталям и подробностям быта, придающим правдоподобие рассказу и характерам героев, наконец, пристрастие к пограничным ситуациям — все это вполне могло напоминать романный мир «шотландского чародея». Однако последняя особенность на страницах Погорельского, при кажущемся генетическом сходстве с таинственными героями Скотта, восходящими к готическому роману, имела, как мы говорили, иные корни. «Беснующаяся» горничная Катерина и таинственный маркиз-итальянец — *исцелитель* больной девушки и одновременно *губитель* Пашеньки — эта коллизия в смысловую и образную систему Вальтера Скотта уже никак не укладывалась. Не укладывается в нее и подчеркнутое внимание к южному этносу носителя магнетического дара, — эта черта впоследствии стала одной из концептуально важных в характеристике сходных персонажей русской «психологической» фантастики. Столь же концептуально важным представляется и возобладавший здесь принцип формирующейся поэтики русской фантастической литературы: укоренение сверхъестественного в структуре бытописания; и если Погорельский предполагал воспользоваться в «Магнетизере» техникой готического повествования, — то, судя по всему, иначе, чем великий шотландец.[196] Как именно, из осуществленных фрагментов неясно, но с уверенностью можно утверждать одно: будь «Магнетизер» простым перепевом Вальтера Скотта или «старой» готики, его автору не пришлось бы *объяснять* друзьям свой замысел. В момент выхода первых номеров «Литературной газеты», 16 января 1830 г., К. С. Сербинович подробно записывает в своем дневнике литературные разговоры на вечере, проведенном у Жуковского. Присутствовали на нем Пушкин, князь Одоевский, Крылов, Плетнев, Владимир Титов, пересказчик недавно вышедшего «Уединенного домика на Васильевском», братья Перовские — Василий и Алексей, «фантастические» произведения которого — в центре внимания: он «*объяснял* (курсив наш. — *М. Т.*) своего „Магнетизера"» присутствующим, затем говорил с Жуковским «о „Выжигине", о „Маковнице", о „Черной курице"».[197]

---

[195] РС. 1911. Т. 147. № 8. С. 326—327 (письмо от 27 января 1830 г.).

[196] См.: *Альтшуллер М. А.* Эпоха Вальтера Скотта в России. СПб., 1996. С. 21—23.

[197] Пушкин в дневнике К. С. Сербиновича / Публ. В. Нечаевой // Литературное наследство. Т. 58: Пушкин, Лермонтов, Гоголь. С. 258.

Представляет интерес и другой персонаж «Магнетизера» — Анисим Аникеевич Фесюрин, перекочевавший сюда из раннего наброска писателя («С самых молодых лет...»), где были уже очерчены и социальная среда — купечество, и характерологические особенности героя с его страстью к просвещению — единственно возможному пути обретения и личного достоинства, и жизненного благополучия: просветительские устремления Перовского остались неизменны.

Погорельский, казалось, явно утверждал за собой репутацию писателя «фантастического». Однако «Магнетизер» был оставлен. Возможно, причиной тому послужила сложность затронутой материи и ее художественно-философского развития. А может быть, и новый, захвативший его более близкий замысел — роман «Монастырка».

Появление этого, пожалуй, самого значительного создания Погорельского оказалось в русле нараставшего, весьма многогранного, интереса к Малороссии: 1820—1830-е гг. отмечены заметным увеличением «малорусского слоя» в репертуаре нашей литературы.[198] Однако явление «Монастырки» имело и некоторую собственную предысторию, объясняющую особый накал страстей в широко развернувшейся вокруг нее полемике. Незадолго перед этим, в конце 1829 г., на книжных прилавках появился роман Ф. В. Булгарина «Иван Выжигин». Написанный в «нравоописательном» жанре, он, однако, своими охранительными идеями, псевдоисторичностью и псевдобытописательством вызвал резкое противодействие прогрессивной критики. Причины неприятия булгаринского творения пушкинским кругом, явившегося и следствием, и продолжением идейного и литературного противостояния, были сформулированы, в частности, в рецензии Алексея Перовского. Оценив жанровую природу «Выжигина» как «роман нравов» и как «первое в сем роде оригинальное сочинение русское», рецензент решительно отказал ему в правдоподобии; незнание действительной жизни и общественных нравов выразилось здесь, по его мнению, в ходульности и даже непредумышленной карикатурности изображения отдельных характеров и общества в целом, в изобилии «противоречий и несообразностей». Коснулось критическое перо Перовского и булгаринского слога, не без скрытой иронии охарактеризованного как «гладкий и правильный».[199]

---

198 См.: *Трубицын Н. И.* О народной поэзии в общественном и литературном обиходе первой трети XIX в. СПб., 1912. С. 103—108, 505—508. (Зап. историко-филол. фак-та СПб. ун-та. Ч. 110).

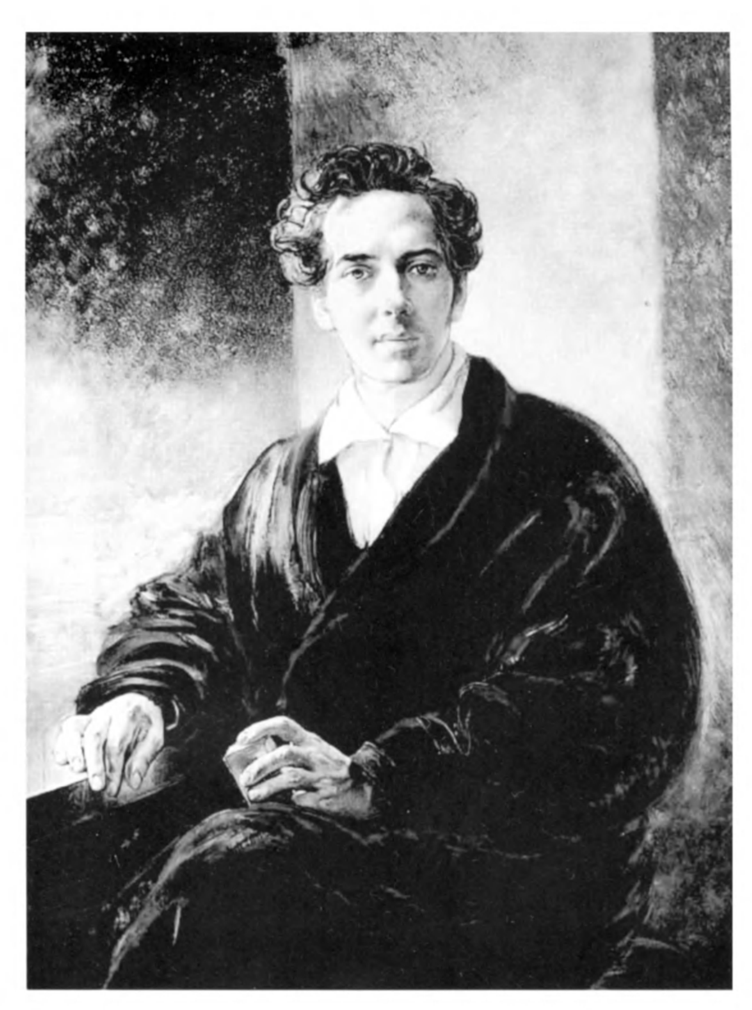
199 См.: наст. изд., с. 373.

А. А. Перовский.
Автопортрет. 1806 г. Бумага, карандаш.
На обороте — подпись: «Alexis de Perovsky».
Литературный музей Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН.
С.-Петербург.
Публикуется впервые.

Автограф стихотворения «Абдул-визирь...» с автопортретом.
⟨Середина 1811—начало 1812 г.⟩. Бумага, карандаш.
Из альбома С. А. Неелова.

Отдел рукописей Российской государственной библиотеки.
Москва.
Публикуется впервые.

А. А. Перовский.
Миниатюра на кости М.-М. Даффингера. ⟨1827 г.⟩.
Литературный музей Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН.
С.-Петербург.



А. А. Перовский.
Портрет работы К. П. Брюллова. Холст, масло. 1836 г.
Государственный Русский музей.
С.-Петербург.

А. К. Разумовский.
Гелиогравюра. Восходит к гравюре конца XVIII—начала XIX в.

Литературный музей
Института русской литературы
(Пушкинский Дом) РАН.
С.-Петербург.

Л. А. Перовский.
Литография Ф. Иентцена с портрета Ф. Крюгера.
⟨1841—1852 гг.⟩.

Литературный музей
Института русской литературы (Пушкинский Дом)
РАН.
С.-Петербург.

В. А. Перовский.
Рисунок А. А. Воейковой.
Бумага, карандаш.
⟨1820-е гг.⟩.

Рукописный отдел
Института русской литературы
(Пушкинский Дом) РАН.
С.-Петербург.

А. А. Толстая.
Миниатюра на кости
М.-М. Даффингера. 1827 г.

Литературный музей
Института русской литературы
(Пушкинский Дом) РАН.
С.-Петербург.

А. К. Толстой в юности.
Портрет работы К. П. Брюллова. Холст, масло. 1836 г.
Государственный Русский музей.
С.-Петербург.

А. К. Разумовский.
Миниатюра. Неизвестный художник. Без даты.
Фотокопия.

Рукописный отдел
Института русской литературы
(Пушкинский Дом) РАН.
С.-Петербург.
Публикуется впервые.

М. М. Соболевская.
Миниатюра Ж.-Д. Exca. 1808 г.
Фотокопия.

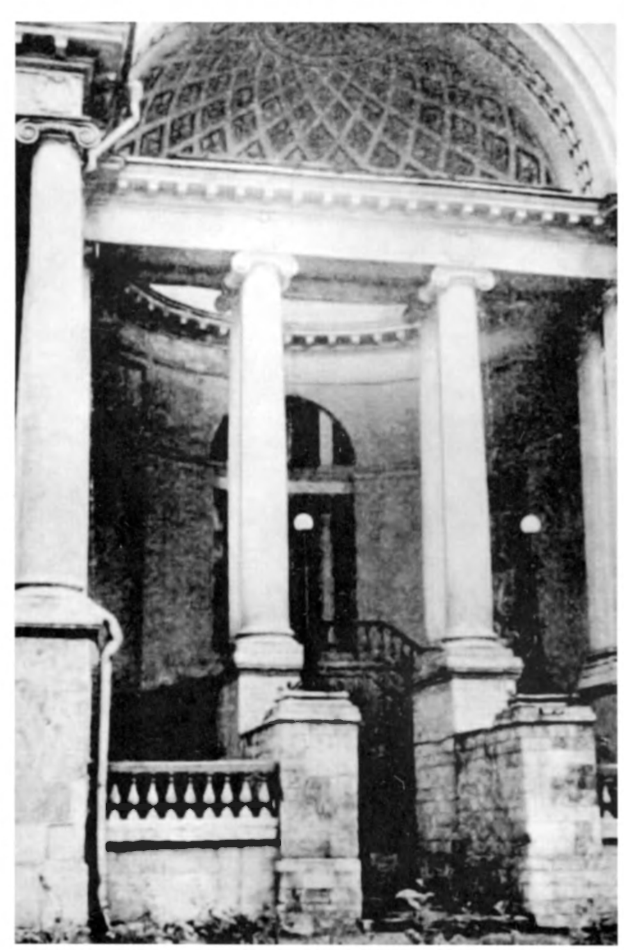
Рукописный отдел
Института русской литературы
(Пушкинский Дом) РАН.
С.-Петербург.
Публикуется впервые.

Л. А. Перовский.
Миниатюра. Неизвестный художник. Без даты.
Фотокопия.

Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН.
С.-Петербург.
Публикуется впервые.

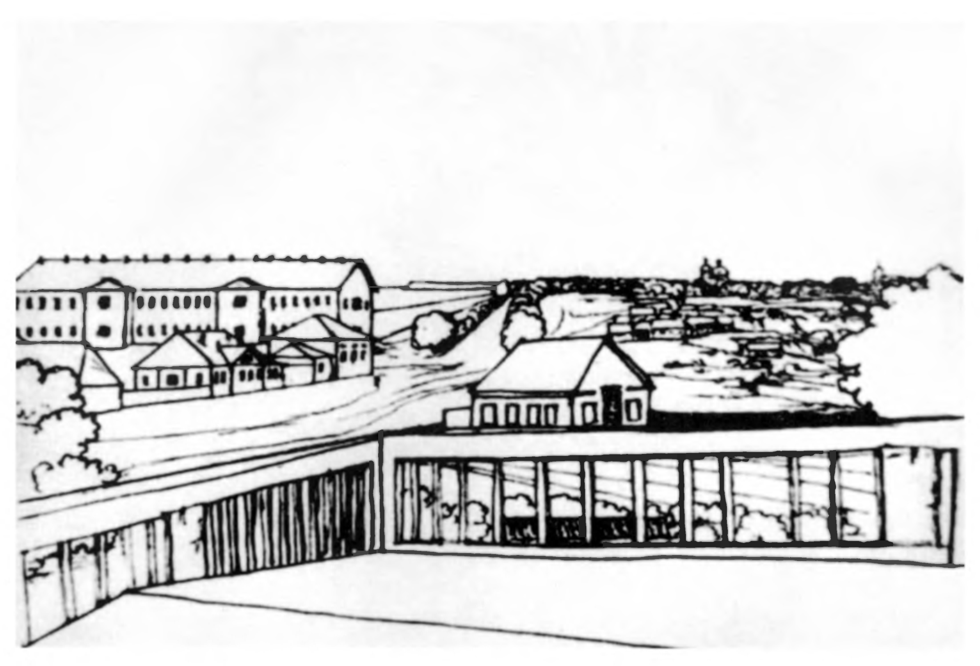
А. А. Толстая с сыном А. К. Толстым.
Миниатюра Э. Мартена. ⟨Начало 1820-х гг.⟩.
Фотокопия.

Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН.
С.-Петербург.
Публикуется впервые.



Усадьба А. К. Разумовского в Москве на Гороховом поле. Парадный вход.
Архитектор А. Менелас. 1801—1803 гг.

Дворец Разумовских в имении Почеп Черниговской губернии.



Оренбург. Рисунок В. А. Жуковского. Бумага, карандаш. 1837 г.
Государственный Русский музей.
С.-Петербург.

Фавн. Бюст работы Б. Бандинелли (?).
Мрамор. ⟨1560-е гг.⟩.

Государственный Эрмитаж.
С.-Петербург.

Заставка к первой части первого издания «Двойника, или Моих вечеров в Малороссии». 1828 г.

Заставка ко второй части первого издания
«Двойника, или Моих вечеров в Малороссии». 1828 г.

Тем не менее читательский успех «Ивана Выжигина» был огромен. На этом-то фоне спустя короткое время — в феврале следующего года — «Литературная газета» анонсирует скорый выход «Монастырки», а в первых мартовских номерах публикует отрывки из нее. В анонсе же подчеркивались как раз те достоинства нового, также «нравоописательного», романа Погорельского, которых лишен был «Иван Выжигин»: «живость картин, верность описаний, счастливо схваченные черты нравов малороссийских и прекрасный слог».[200] История неискушенной воспитанницы Смольного монастыря, рассказанная просто, искренне и не без психологической достоверности; убедительная в своей реальности, верно схваченная жизнь Малороссии — все это выгодно отличало «Монастырку» от романа Булгарина: несмотря на некоторую сентиментальность сюжета, здесь прослеживалась внутренняя логика характеров, а картины быта и нравов обретали силу жизненной правды.

Литературные единомышленники Погорельского решительно намеревались взять новый его роман под свое крыло. Только что вернувшийся в Петербург после отлучки Петр Андреевич Вяземский, пребывая первые дни, как он признался жене в письме от 4 марта, «в карантине», сообщает ей, что, «однако же, уже видел своих коротких, Жуковского, Перовского и пр.».[201] Спустя десять дней роман друга, еще до выхода в свет, прочитан. Жалуясь той же Вере Федоровне на суетность столичных друзей, он добавляет: «Один Перовский остается верен: он почти каждое утро бывает у меня. Первый том „Монастырки" его очень мил».[202] А еще через три дня в «Литературной газете» появляется его развернутая, выверенная в оценках и акцентах, рецензия на роман.

«Вот настоящий и, вероятно, первый у нас роман нравов», — писал Вяземский, представляя читателю первый том «Монастырки» и его героев: Анюту — «прототипа всех милых, простосердечных, откровенных монастырок бывших, настоящих и будущих»; Клима Сидоровича Дюндика — «лицо оригинальное, означенное резкими и забавными чертами и годное для изучения нравственного»; Марфу Петровну — женщину «себе на уме», которая «вопреки духовного наставления вовсе не боится мужа, а, напротив, держит его в ежовых рукавицах»; двух ее дочерей, «выучившихся французскому языку по книге „Jardin de Paradis pour le-

---

200 Лит. газ. 1830. Т. 1. № 10. 15 февр.

201 Звенья: Сб. материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли XIX в. М.; Л., 1936. Т. 6. С. 205 (письмо от 4 марта 1830 г.).

202 Там же. С. 216 (письмо от 14 марта 1830 г.).

çon des enfants...”». Во всех этих лицах, не исключая и «племянника Марфы Петровны, господина Прыжкова, урожденного Прыжко», который вздумал «промышлять» на роменской ярмарке забавой парижских шалунов, Вяземский находил ту точность психологических и бытовых характеристик, которые делают их реально узнаваемыми фигурами провинциальной помещичьей среды. Именно это, согласно Вяземскому, противостояло готовым булгаринским схемам, заимствованным из иноязычных литератур. Формула «первый роман нравов» звучала полемически не только по отношению к Булгарину, но и к Нарежному, имевшему перед Погорельским лишь преимущество хронологического первенства. «Нарежный был Теньер, и еще русский Теньер романа... — писал Вяземский. — Романы Нарежного обдают варенухою, и куда автор ни вводит нас, а всё, кажется, не выходишь у него из корчмы. Действующие лица в новом романе совершенно других примет».[203] В этом отзыве довольно точно схвачены литературные особенности «Монастырки»: бытовая сфера, освобожденная от несущественных, случайных черт, взятая в своих характерных проявлениях, и, с другой стороны, очищенная от натуралистического, «низкого», «грубого». Правда, следует признать, что в этом была и сила, и слабость «Монастырки»: бытописание в романах того же Нарежного ярче, смелее и свободнее от еще ощутимых в повествовании Погорельского сентименталистских традиций. Вместе с тем это был значительный шаг вперед по сравнению с «нравственно-сатирическим» романом — не только в смысле поэтики, но и стиля. «Язык и слог его», как отметил Вяземский, совершенно отвечали «требованиям природы и искусства». Это была еще одна стрела, пущенная в Булгарина. Жуковский также, в противовес «состряпанному» «Ивану Выжигину», отозвался о «Монастырке» как о романе «прекрасном».[204]

Для характеристики отношения к «Монастырке» в пушкинском кругу небезынтересно вспомнить признание Евгения Баратынского, тонкого ценителя литературного стиля. Прочитав только что вышедшие под псевдонимом «Рудый Панек» «Вечера на хуторе близ Диканьки», он писал: «Я приписывал их Перовскому, хоть я вовсе в них не узнавал его».[205] Вильгельм Кюхельбекер в своем «Русском Декамероне 1831-го года» устами просвещенных читательниц поставил роман Погорельского в один ряд с лучшими литературными новинками — «Полта-

[203] Лит. газ. 1830. Т. 1. № 16. 17 марта.

[204] РС. 1896. № 7. С. 83 (письмо В. А. Жуковского Д. П. Северину от 13 (25) апреля 1830 г.).

[205] Татевский сб. С. А. Рачинского Пб., 1899. С. 43 (письмо Е. А. Баратынского И. В. Киреевскому от 12 апреля 1832 г.).

вой» и «Юрием Милославским»: «„Монастырка" принесла всем истинное удовольствие, и жалели, что должны были ограничиться первой только частию».[206] До этого, 19 октября 1830 г., Мария Николаевна Волконская, критически оценивая беллетристический отдел первых номеров «Литературной газеты», писала из Сибири Вере Федоровне Вяземской: «Делаю исключение для „Монастырки" — то есть для трех писем, очень удачно включенных в „Газету"».[207]

Статья Вяземского прозвучала, как боевой сигнал. Булгарин должен был отвечать и защищать свои принципы дидактического бытописания. Еще до выхода романа Погорельского, 25 января 1830 г., он адресовал Бенкендорфу очередную — знаменательную и уже упоминавшуюся нами жалобу: «Меня гонят и преследуют сильные ныне при дворе люди: *Жуковский и Алексей Перовский* — за то именно, что я не хочу быть орудием никакой партии».[208] Но все же открыто нападать на «сильного при дворе» сановника и «сильного» литературного конкурента Булгарин не решился; в своей «Северной пчеле» он увенчивает автора «Монастырки» розами, имевшими, однако, довольно острые шипы. Начав статью буквально с тех же уверений в своей «внепартийности», что и в письме к Бенкендорфу, Булгарин расценивает «Монастырку» как роман «более юмористический, нежели сатирический», принадлежащий к числу тех «милых» произведений, в которых «не должно искать ни великих истин, ни сильных характеров, ни резких сцен, ни поэтических порывов», где представлены «обыкновенные случаи жизни, характеры, кажется, знакомые, рассуждения, слышимые ежедневно, но всё это так мило сложено, так искусно распределено, так живо нарисовано, что читатель невольно увлекается...».[209] В этих вынужденных похвалах очень важно замечание об «обыкновенности» лиц и жизненных ситуаций, — именно этот упрек, как известно, адресовал Александр Бестужев «Евгению Онегину», но именно эта «обыкновенность», неприемлемая для романтической эстетики, открывала русской литературе новые пути.

Наряду с сомнительными похвалами и признанием безупречности литературного слога Булгарин адресует ряд полемических выпадов как непосредственно Погорельскому, так и статье в «Литературной газете»; он решительно не согласен с тем, что «Монастырка» — «единственный

---

206 *Кюхельбекер В. К.* Путешествие. Дневник. Статьи. С. 505—506.
207 Пушкин: Исслед. и материалы. М.; Л., 1956. Т. 1. С. 262.
208 См. выше, с. 609.
209 Сев. пчела. 1830. № 52. 27 марта.

русский роман, изображающий нравы в настоящем виде». Не обошелся Булгарин и без довольно грубых выпадов личного свойства.

В ответ в «Северных цветах на 1831 год» Орест Сомов, обозревая последние новинки российской словесности, разбирает уже сочинения Погорельского и Булгарина рядом. Уличая последнего в анахронизме и полном непонимании «общего характера русского народа», считая к тому же, как и Вяземский, что «Булгарин пишет как иностранец, который постиг механизм русского языка», критик, напротив, видит в романе Погорельского очерки характеров, «схваченных с самой природы», и как знаток Малороссии отдает «всю справедливость наблюдательности и меткости автора», психологической и этнографической верности романа.[210]

Московские журналы, держась в стороне от петербургских литературных схваток, встретили «Монастырку» сдержаннее. Единодушно разделяя мнение о мастерстве Погорельского-рассказчика, они тем не менее оценили «Монастырку» как роман подражательный. Критик «Московского телеграфа» увидел в нем не более «как приятное описание семейственных картин», в котором не следует искать «ни страстей, ни мыслей, ни глубокого значения». «Неумеренные» похвалы «Литературной газеты» он объяснял личными дружескими связями писателя.[211] Брошенное Булгариным определение «Монастырки» как «милого», непритязательного романа нашло у москвичей сочувствие и поддержку; они не упустили случая задеть «литературных аристократов», к которым, естественно, причисляли и Погорельского.

Однако острые и в существе своем «партийные» споры не помешали шумному успеху романа. Им зачитывались в столицах и в провинции, и интерес к его продолжению не ослабевал в течение нескольких лет. Погорельский же заставил себя ждать довольно долго. Но когда, спустя три года, вышла наконец вторая часть «Монастырки», появление ее было воспринято как заметное событие: роман к тому времени обрел широкую читательскую аудиторию.[212] Однако критические оценки, на этот раз не столь многочисленные, утратили свой накал; рецензенты, фактически повторяя некогда уже сказанное, лишь подтвер-

---

[210] *Сомов О.* Обозрение российской словесности за первую половину 1830 г. // Сев. цветы на 1831 год. СПб., 1830. С. 62—75.

[211] О полемике вокруг «Монастырки» см.: *Турьян М.* Жизнь и творчество А. Погорельского // Погорельский А. Избранное. М., 1985. С. 17—21.

[212] Из «рядовых» читательских откликов см., например, письмо А. М. Донаурова Н. Э. Писареву от 12 апреля 1833 г.: «На днях порадовало нас явление в свет второй части «Монастырки»...» (Щукинский сб. М., 1907. Вып. 7. С. 362).

дили свой взгляд на «Монастырку» как на «приятное литературное явление».

Сам же писатель, вернувшийся к продолжению истории смолянки Анюты, придавал, кажется, второму тому романа особое значение, хотя и положил он его на бумагу почти впопыхах, — истекшие после выхода первого тома годы были заполнены иными, не литературными делами и событиями, — что, впрочем, не исключало *обдумывания*.

Бесценно единственное сохранившееся письмо Перовского к Пушкину этой поры — свидетельство того, что, выражаясь современно, «внутренними рецензентами» продолжения «Монастырки» были Пушкин и Вяземский. «Вот тебе, моя прелесть, — писал он, — две главы „Монастырки", которые прошу всепокорнейше рассмотреть поскорее, потому что мне бы желалось, буде можно, завтра отвезть их в типографию. Продолжение последует в скором времени: одна глава у Вяземского, две переписываются, а последняя сочиняется».[213] К слову, вряд ли многие могли позволить себе такую сердечную короткость в обращении к поэту.

Отзыв Пушкина о романе нам неизвестен. Вяземский же не только утвердился в своей первоначальной высокой оценке произведения друга, — оценке на этот раз приватной, а потому стоящей вне всяких «партийных» подозрений, — но и окончательно сформулировал принципиальные его завоевания. «Перовский кончил или кончает свою „Монастырку", — писал он 6 февраля 1833 г. Александру Тургеневу. — То, что я прочел из второй части, — прелесть. Вот настоящий, единственный романист у нас! Удивительная натуральность и un laisser-aller,[a] которого нигде и ни у кого из наших не найдешь. К тому же много верности в характеристических съемках, и веселость невымышленная, неподготовленная. Он очень хорошо передает себя в слоге своем...».[214] Спустя год язвительный, но тонкий эрудит Осип Сенковский, восхищенно откликнувшись в письме к Пушкину на первые главы «Пиковой дамы», посвятил бóльшую часть своих восторгов новаторским достоинствам языка пушкинской прозы — тому, без чего «нет настоящей национальной литературы»; отказав в «слоге» даже любимому М. Н. Загоскину и Александру Бестужеву, он писал: «По некоторым страницам „Монастырки" уже можно было как бы предчувствовать тот

---

[213] См.: наст. изд., с. 434.

[a] непринужденность (*фр.*)

[214] Остафьевский архив князей Вяземских. Т. 3. С. 220—221.

язык, который я ищу повсюду, но не нахожу в наших книгах...». Однако, по мнению Сенковского, «автор не сумел удержаться и впал в вульгарность». Впрочем, — добавлял он, — автор — «не гений; а человек, лишенный гениальности, не создан для того, чтобы пролагать новые пути в литературе».[215]

На гениальность Перовский, конечно, никогда не претендовал. Вульгарностью же Сенковский, скорее всего, посчитал обильные украинизмы, введенные писателем в языковую ткань «Монастырки» (пример, которому, между прочим, последовал в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Гоголь).[216] И тем не менее именно в этом романе — и только в нем — уловил суровый критик подступы к пушкинскому, новому литературному языку. В отзыве же Вяземского словно оспаривается мысль Сенковского о том, что «не гению» не дано «пролагать новые пути в литературе». Вяземский тонко почувствовал «много верности в характеристических съемках», преобладающий не социальный, а личностный, нравственно-философский аспект в построении образов — несмотря на то что функциональная шкала героев как будто подчинена еще рационалистическим схемам из «Вечера четвертого» в «Двойнике...».

Полемический, «партийный» характер критических оценок романа сузил означенный в нем круг проблем.

Новейшие исследования раскрывают важнейшую роль «Монастырки» в формировании жанра нравоописательного романа и его поэтики: речь идет об использованных здесь травестированных формах классической готики, переведенных на язык национальных бытовых понятий и в соответствии с этим меняющих принцип литературного функционирования готических топосов. Крупнейший знаток готических традиций в русской литературе В. Э. Вацуро в своем фундаментальном труде на эту тему посвятил роману Погорельского не одну страницу, усматривая в нем наиболее яркий образец становления нового жанра. Отсылая к развернутым и блестяще аргументированным положениям ученого, позволим себе лишь суммарный их пересказ.

«Радклифизм» «Монастырки» был замечен еще современниками, в частности Н. А. Полевым, точно уловившим в эпизоде побега Анюты от Дюндиков и ее странствий в лесу отзвуки готики. Сама авантюрная

---

[215] Переписка А. С. Пушкина: В 2 т. Т. 2. С. 420 (письмо от января—первой половины февраля 1834 г.).

[216] См.: *Кирилюк З. В.* Проза Антония Погорельского // Погорельский А. Двойник. Избр. произв. Киев, 1990. С. 14—16.

сюжетная фабула второй части романа строится, по мысли Вацуро, в соответствии с типовой схемой готического повествования: неискушенная девушка, волею обстоятельств подпадающая под враждебную ей власть опекунов, дом-тюрьма («замок»), куда везут ее гонители, таинственная помощь цыгана Василия, описанная в травестированных приемах «поэтики тайн», сам уединенный хутор Шендра «с чертами готической хронотопичности». Однако все эти элементы готической техники обретают под пером Погорельского сниженные формы: подобный эффект достигается «переводом готических образов и ситуаций на язык реалий провинциального помещичьего быта», почти комическим переосмыслением самого типа готических «злодеев», воплощенных здесь в образах Марфы Петровны и Прыжкова или зловещего «оборотня» Василия, оказывающегося для Анюты благодетелем. Историко-литературное значение новаций «Монастырки», согласно выводам исследователя, непреложно: «...закономерным результатам той деформации, которую под пером Погорельского претерпела готическая традиция 〈...〉 предстояло еще проявиться неоднократно — и именно в пределах „семейственного романа"».[217]

Спустя два десятилетия, уже после смерти писателя, откликаясь на выход двухтомника его сочинений, человек другого поколения — Н. Г. Чернышевский — назвал «Монастырку» «очень замечательным явлением» нашей литературы,[218] подтвердив тем самым оценку пушкинского круга, оправданную временем: на протяжении XIX в. роман Погорельского оставался одним из самых читаемых и даже вызвал к жизни подражания. Литературные же и эстетические его достоинства получили дальнейшее блистательное развитие — вплоть до романов Льва Толстого.

«Монастырка» была последним произведением Антония Погорельского. Правда, в промежутке между двумя ее частями, в 1830 г., в «Литературной газете» было напечатано еще его шутливое «лингвистическое» послание барону Гумбольдту о букве Ъ. Этот юмористическо-филологический спор, с персонификацией буквенных наименований, органично укладывался в возродившуюся к концу 1820-х гг. традицию многочисленных остроумных откликов на животрепещущую полемику,

---

[217] *Вацуро В. Э.* Готический роман в России. С. 422—430; см. также: *Granjard H.* A. A. Perovskij et son roman de mœurs «Monastyrka» // Revue des études slaves. Paris, 1960. T. 37. Fasc. 1—4. P. 101—112.

[218] *Чернышевский Н. Г.* Полное собрание сочинений русских авторов: Сочинения Антония Погорельского // Современник. 1854. Т. 45. № 6. С. 49—57.

связанную с предвидимыми реформами русской графики и возможным изъятием из алфавита ряда букв, в том числе и Ѣ.[219]

Имя писателя на страницах печати больше не появлялось. Быть может, не лишено оснований предположение В. Горленко о том, что уход Перовского с литературной арены отчасти связан с восхождением Гоголя: «Как человек с очень развитым вкусом, он не мог не чувствовать разницы своих работ с творчеством Гоголя».[220] Он не только покинул литературное поприще, но и в 1830 г. вышел в отставку. Д. И. Багалей, подробно изучивший историю Харьковского университета, подводит итог деятельности Алексея Алексеевича Перовского на посту попечителя Харьковского учебного округа без энтузиазма: служил спустя рукава, заметного следа в жизни университета не оставил.[221] Возможно. Но, согласно иным, противоречащим Багалею свидетельствам, не исключено и то, что неординарностью во всем, свойственной Перовскому, были отмечены и его представления об университетских преобразованиях и что именно поэтому они не нашли понимания и поддержки окружающих. Да и у него самого, по-видимому, недостало на это ни времени, ни сил.

За год до отставки он, в признание заслуг на ниве словесности — «в словесных науках и отечественном языке», — удостоился действительного членства в Российской академии наук.[222]

Сведения о последних годах жизни Алексея Перовского довольно скудны. Известно, что он более прежнего отдается воспитанию повзрослевшего Алеши, все отчетливее склонного к сочинительству. Один из первых исследователей жизни и творчества А. К. Толстого, А. А. Кондратьев, еще читавший исчезнувшие позднее ответные его письма Перовскому, свидетельствует, что они были исполнены не только горячей любви, но и предельного доверия: Перовский был первым читателем юношеских литературных опытов, авторитетным и дельным советчиком. Алексей Алексеевич не только постепенно вводил будущего писателя в высокий круг друзей, отдавая пробы его пера на суд Жуковскому и Пушкину; он исподволь формировал и художественный вкус, и пристрастия своего воспитанника, отвечавшего ему живым интересом к творческим занятиям наставника.[223] Нет сомнения, что печать «фанта-

---

219 См.: наст. изд., с. 692—693, а также: *Вайскопф М.* Сюжет Гоголя. Морфология. Идеология. Контекст. М., 2002. С. 438.

220 *Горленко В.* А. А. Перовский. С. 121.

221 См.: *Багалей Д. И.* Опыт истории Харьковского университета (по неизданным материалам). С. 179.

222 См.: *Сухомлинов М. И.* История Российской академии наук. СПб., 1885. С. 471.

223 См.: *Кондратьев А. А.* Граф. А. К. Толстой. С. 10—11.

стизма» и «готики» в ранних произведениях Алексея Константиновича Толстого — печать Антония Погорельского. К сожалению, тема эта в исследовательской литературе практически еще не тронута.[224]

В 1831 г. Алексей Алексеевич отправляется с Алешей и сестрой в путешествие по Италии. Знаток и ценитель искусства, он раскрывает перед своим духовным восприемником мир старых итальянских мастеров, значительно пополняет здесь свою и без того богатую коллекцию. Позже Вяземский, в присущей ему манере, писал Вере Федоровне: «Алексей Перовский привез из Италии чудеса в искусствах. Картины первых мастеров, бюст Фавна ⟨...⟩ работы Микель Анже, и бюсту этому, говорят, нет цены. Черт знает, что он за прокуратор и за пройдоха, этот Перовский».[225] «Фавн», или смеющийся сатир, купленный у разорившегося венецианского аристократа графа Гримани, оказался, правда, как было установлено позже, вовсе не резца Микеланджело, а предположительно его современника и соперника Баччо Бандинелли,[226] но неизгладимое, на всю жизнь, впечатление, которое произвел он на отрока Толстого — как и путешествие в целом, — ярко запечатлено не только на страницах его юношеского дневника,[227] но и в позднейших «автобиографических» письмах С. А. Миллер и А. Губернатису. 31 июля 1853 г. Толстой живо описывал Софье Андреевне свои отроческие слезы радости, вызванные вожделенной покупкой бюста Фавна, и свои волнения за его сохранность в случае стихийных бед.[228] Судьба к этому замечательному приобретению Перовского — по признанию Толстого, одной из самых красивых вещей, виденных им в жизни, — оказалась благосклонна: творение Бандинелли ныне — в собрании Эрмитажа.[229] С тем же не притупленным за годы восторгом вспомнил Алексей Константи-

---

224 О связи ранней прозы А. К. Толстого с «готической» традицией, но лишь с лаконичным упоминанием в этом контексте о литературном влиянии А. А. Перовского, см.: *Васильев С. Ф.* Проза А. К. Толстого: направление эволюции и контекст. Ижевск, 1989. С. 6—28.

225 Звенья: Сб. материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли XIX в. М., 1951. Т. 9. С. 251 (письмо от 12 января 1832 г.).

226 Баччо Бандинелли (Bandinelli, 1488—1560) — итальянский скульптор, живописец, рисовальщик; работал во Флоренции при дворе Медичи.

227 См.: *Толстой А. К.* Дневник // Толстой А. К. Собр. соч.: В 4 т. Т. 4. С. 10—11.

228 В этом письме Толстой называет владельцем скульптуры Д. П. Бутурлина (1790—1849): «Он находится теперь в доме Бутурлиных на Почтамтской; очень дурно стоит и очень дурно освещен» (Там же. С. 62). Имя этого нового владельца коллекции А. А. Перовского подтверждают А. О. Смирнова-Россет (см.: Дневник. Воспоминания. М., 1989. С. 186) и П. А. Вяземский (Полн. собр. соч. СПб., 1886. С. 17).

229 См.: Итальянская скульптура XIV—XVI веков: Каталог коллекции / Сост. С. О. Андросов. СПб., 2007. С. 72—73.

нович прекрасного фавна спустя еще двадцать лет, подтвердив и ту огромную роль, которую сыграло в его становлении предпринятое Алексеем Алексеевичем — конечно, во многом ради Алеши — путешествие в Италию. «Невозможно было бы передать всю силу моих впечатлений и тот переворот, который произошел во мне, когда сокровища искусства открылись моей душе, предчувствовавшей их еще до того, как я их увидел воочию».[230] Нашло отражение в подневных итальянских записях и общение путешественников с соотечественниками — С. А. Соболевским, С. П. Шевыревым, Карлом Брюлловым — с последним как раз в разгар его работы над «Последним днем Помпеи»;[231] знакомство с ним продолжилось в Москве.

В следующие после Италии годы Алексей Перовский летнее время живет со своими домочадцами в Погорельцах, занимаясь хозяйственными делами по имению, зимы — попеременно в обеих столицах. Август 1832 г. он проводит в Одессе, в зиму 1833 г., уже после выхода завершенной наконец «Монастырки», предпринимает далекое путешествие в Оренбург, к тамошнему губернатору — брату Василию Алексеевичу. Эта поездка имела своим следствием крупную предпринимательскую аферу братьев Перовских: они откупили в Сибири золотые прииски. Главой этого, не без риска, предприятия становится Алексей Алексеевич, весьма, кажется, увлекшийся открывшимися финансовыми возможностями. Доля его в этом деле — впрочем, как и все остальное — была отписана Анне Алексеевне и Алексею Константиновичу, и уже в 1850-е гг., совершенно в канонах, достойных пера бытописателя новейших времен Александра Николаевича Островского, на наследственные прииски, за долги, был наложен запрет неким золотопромышленником и почетным гражданином Александром Григорьевичем Зотовым — тем, который некогда начинал лишь подобострастным исполнителем воли Перовских.[232]

К 1835 г. Анна Алексеевна с сыном обосновываются в Москве, где Алешу усиленно готовят к университетским экзаменам. Именно в это время в его переписке с находившимся в Петербурге Алексеем Алексеевичем возникает самая, пожалуй, знаменательная в их эпистолярии тема — упоминание «фантастического» замысла Алексея Толстого, с осуществления которого начался его писательский путь: «Loup-garou» (оборотень, упырь — *фр.*).[233] Быть может, вняв советам своего наставника

---

[230] *Толстой А. К.* Собр. соч.: В 4 т. Т. 4. С. 425. Здесь Толстой называет нового владельца бюста фавна — Павла Строганова.

[231] См.: Там же. С. 23, 25, 27, 31.

[232] См.: наст. изд., с. 726, письмо ⟨2⟩, примеч. 3.

[233] См.: наст. изд., с. 426 и 719, письмо ⟨16⟩, примеч. 4.

«не торопиться», Толстой отдал эту повесть в печать лишь спустя пять лет после его кончины, с понятным для посвященных «знаком» литературной преемственности: молодой автор скрылся за псевдонимом «Красногорский» — по названию доставшегося ему в наследство имения Красный Рог, точно так, как некогда сам Алексей Перовский увековечил в своем псевдониме любимые им Погорельцы.[234]

1835-й год еще благополучен. Зиму и весну писатель проводит в Петербурге; в компании «всё народа веселого» — Вяземского, Жуковского, Пушкина, Константина Булгакова — славно празднует сорокалетие давнего приятеля Матвея Виельгорского.[235] Лето, как обычно, — в южных имениях, но один: Анна Алексеевна с сыном наслаждаются Карлсбадом. Осень — в Москве, в хлопотах по поводу предстоящих Алексею университетских испытаний. Однако следующую зиму, против обыкновения, Перовские в Погорельцах. В марте здесь, к великой их горести, умирает давний и фактический член семьи доктор Шредер, заразившийся горячкой от спасаемых им больных. Извещая Льва об этих печальных событиях, Анна Алексеевна впервые, «совершенно конфиденциально», делится своей тревогой по поводу симптомов зловещего недуга, одолевающего брата.[236] Сам Алексей Алексеевич, естественник, не лишенный медицинских познаний, ибо страстно увлекался гомеопатией, понимает, что на пороге его жизни — чахотка. Анна Алексеевна приписывает еще болезнь «черным мыслям», небрежению к себе и одиночеству, но надрывный кашель, боль в груди и слабость — верные причины несвойственной ему угрюмости. Сестра настаивает на его поездке в Петербург, но весной они втроем оказываются в Москве. Перовский держится мужественно. В первопрестольной Карл Брюллов, и Алексей Алексеевич, залучив его к себе, заказывает художнику портреты сестры, Алеши — и свой. Здесь в это время и Пушкин, восхищавшийся автором «Помпеи» и очень желавший заказать ему портрет Натальи Николаевны. Ей он весело передает перипетии отношений заказчика и портретиста: «...Перовский его было заполонил; перевез к себе, запер под ключ и заставил работать. Брюлов насилу от него удрал».[237] В письме ей же спустя неделю — о своем визите к Перов-

---

234 См. также письмо А. К. Толстого П. А. Плетневу от 11 марта 1840 г. с подписью: «Афанасий Погорельский» (ОР ИРЛИ, ф. 234 (П. А. Плетнева), оп. 3, ед. хр. 527).

235 См.: РА. 1904. Кн. 1. № 4. С. 568 (письмо К. Я. Булгакова А. Я. Булгакову от 16 апреля 1835 г.).

236 См.: наст. изд., с. 475—477.

237 Пушкин: Письма последних лет. 1834—1837. Л., 1969. С. 135 (письмо от 4 мая 1836 г.).

скому, с подробным пересказом смачных филиппик хозяина в адрес сбежавшего Брюллова, доставивших поэту нескрываемое удовольствие: «Был я у Перовского, который показывал мне недоконченные картины Брюлова. Брюлов, бывший у него в плену, от него убежал и с ним поссорился. Перовский показывал мне „Взятие Рима Гензериком" (которое стоит „Последнего дня Помпеи"), приговаривая: „Заметь, как прекрасно подлец этот нарисовал этого всадника, мошенник такой. Как он умел, эта свинья, выразить свою канальскую, гениальную мысль, мерзавец он, бестия. Как нарисовал он эту группу, пьяница он, мошенник". Умора».[238] Нездоровье друга не замечено, об этом — ни слова. Но брюлловский его «домашний», в халате, портрет, будто недосказанный, смятенный, столь непохожий на весело смотрящего на нас с других изображений красавца, — острый глаз художника, быть может непроизвольно, уловил начало конца...

Судя по всему, стремительно начала развиваться скоротечная чахотка. Спустя лишь месяц или около того после веселой встречи с Пушкиным это становится настолько очевидным, что поездка к спасительному южному солнцу неизбежна. Перовский распродает бо́льшую часть с любовью и вкусом собранной за жизнь художественной коллекции и в июне, в сопровождении сестры и Алеши, отправляется в последнее свое путешествие, в Ниццу. Навестившему его накануне отъезда старинному приятелю Александру Яковлевичу Булгакову он показался безнадежным; бросился в глаза контраст: лицо Алексея Алексеевича выглядело «еще болезненнее рядом со свежим веселым лицом сестры».[239]

Перовские доехали лишь до Варшавы. Здесь болезнь сломила умирающего окончательно. Но духом он был стоек и светел до конца. Недолго пространдав, он скончался на руках горячо любимых им родных 21 июля по новому стилю, 9-го — по старому.

Щемящая хроника его мужественного ухода из жизни, последнее беспокойство за близких — на страницах письма Анны Алексеевны Льву. Пересказывать его здесь нет нужды, оно — на страницах этой книги...

О его смерти коротко известила «Северная пчела»: «9 июля скончался в Варшаве действительный статский советник Алексей Алексее-

---

238 Там же. С. 137—138. Почти комическая история бегства запившего Брюллова из дома Перовского была широко известна (см.: *Денисюк Н.* Граф А. К. Толстой: Его время, жизнь и сочинения. С. 53; К. Брюллов в письмах, документах и воспоминаниях современников. 2-е изд. М., 1961. С. 123—125, 127—130).

239 Цит. по: *Кондратьев А. А.* Граф А. К. Толстой. С. 17.

вич Перовский, член Российской академии и других ученых сословий. Он ехал из Москвы в чужие краи, на теплые воды; прибыв в Варшаву, занемог и, несмотря на все пособия искусства, скончался чрез четыре дня на сороке восьмом году от рождения. В русской литературе он оставил по себе благодарное воспоминание прекрасными своими произведениями...».[240]

Могила его в Варшаве затеряна.

В середине девяностых годов минувшего столетия нашей известной поэтессе Белле Ахмадулиной случилось поправлять здоровье в одной из питерских больниц, на Васильевском острове. Там, по ее словам, она читала Пушкина и Гоголя. И еще — впервые, в старом издании, со старой орфографией — Антония Погорельского — конечно, и его «Лафертовскую маковницу», «где действует мистический Кот»: «Прямо перед окном палаты был дом, который казался мне таинственным. В нем то зажигался, то гас огонь свечи и мерцали глаза кошек. Я выходила в больничный двор. Возвращаясь в палату, читала Погорельского, а вблизи стоящий дом с чердаком опять был освещен мерцанием свечи и глазами кошек. Все это происходило на Васильевском острову...».

Столь давний, но замерцавший вдруг в современном Петербурге, как та свеча, мир полузабытого писателя всколыхнул широкие и разновременные миры, — так родились стихи, посвященные Антонию Погорельскому:

К окну вплотную подведен чердак.
Он хладен, как потухшая геенна.
В нем кошки — то ли в сумрачных чадрах,
То ль впрямь черны, как нагота Гарлема.
Чердак не прост и волшебством чреват:
В пустом окне вчера свеча горела.
⟨. . . . .⟩
— Мой Кот, стремглав влюбилась я в чердак.
Пусть при чертях служил твой предок всякий, —
я всей душой люблю тебя и так,
за профиль горбоносый и усатый.

---

240 Сев. пчела. 1836. № 16. 27 июля; см. также: Journal de St. Pétersbourg. 1836. № 90. 28 juillet.

Ты добр и мудр, ты много книг читал,
так одари еще одной усладой:
пусть род котов хранит в своих чертах
твой цвет: зелено-серый, полосатый.
⟨. . . . .⟩
Здесь — краткой оговорки пустяки.
Читатель, я на встречу не надеюсь,
Но к этой притче приложу стихи,
Кот будет их издатель и владелец.
Из лап его не вырвет ни строки
никто...[241]

---

[241] *Ахмадулина Б.* Созерцание стеклянного шарика. СПб., 1997. С. 39—46.

ПРИМЕЧАНИЯ

Единственное собрание сочинений Антония Погорельского (А. А. Перовского), куда вошли «Монастырка» (т. 1), «Двойник», «Магнетизер», «Письмо к барону Гумбольдту», в составе публикации «Новая тяжба о букве Ъ», и «Черная курица» (т. 2), увидело свет после его смерти (Сочинения Антония Погорельского. СПб., 1853. Т. 1—2).

В настоящем издании впервые предпринята попытка представить с максимально возможной полнотой не только художественное, но также критическое и эпистолярное наследие писателя, включающее как издававшиеся, так и впервые публикуемые материалы: судя по мемуарным свидетельствам (см.: наст. изд., с. 562, 593), последние, к сожалению, составляют лишь небольшую часть его некогда обширного архива, отложившуюся в хранилищах Петербурга и Москвы. Уже в советское время из фондов Литературного музея исчез, например, альбом со стихотворными переводами трех идиллий на немецкий язык, выполненными Перовским, с посвящением А. К. Разумовскому: известна переписка по этому поводу потомицы семьи Перовских и владелицы альбома З. А. Курбатовой (см.: наст. изд., с. 720, письмо ⟨19⟩, примеч. 1) с тогдашним директором музея В. Д. Бонч-Бруевичем (РГАЛИ, ф. 612 (ГЛМ), оп. 1, ед. хр. 1198, 1934—1936 гг.).

В раздел «Стихотворения» не включено стихотворение «Послание к друзьям моим П. и М.», приписываемое Перовскому Г. И. Стафеевым (см. в его кн.: В отчизне пламени и слова: (А. А. Перовский и А. К. Толстой в Красном Роге). Тула, 1983. С. 31) и опубликованное им по копии, сделанной неизвестной — не писарской — рукой (см.: РГИА, ф. 1021 (Перовских), оп. 1, ед. хр. 14, л. 1—2). Данных, подтверждающих авторство Перовского, не обнаружено.

Раздел «Статьи» пополнен двумя черновыми критическими набросками Перовского, предназначавшимися в «Вестник Европы» и «Сын отечества».

Раздел «Писем», в котором собраны рассеянные по различным изданиям письма писателя, также значительно расширен за счет первых публикаций (40 из 57-ми), содержащих неизвестные ранее факты биографии и сведения об общественно-культурных связях Перовского. Необходимо указать на ошибочно атрибутированное Я. А. Гординым Перовскому письмо Николаю I, касающееся след-

ствия по делу декабристов, доносительского свойства (см.: *Гордин Я.* Право на поединок. Л., 1989. С. 48—50). Подлинник этого письма неизвестен. Недатированная его копия, без подписи и каких-либо помет копииста, хранится в РГИА, в фонде Перовских (ф. 1021, оп. 1, ед. хр. 121, л. 6—11 об.). В архивной описи отправитель значится как «неустановленное лицо», на самой копии — карандашная помета архивиста: «А. Перовский» со знаком вопроса. Эта помета явно ошибочна. Секретные факты следствия, содержащиеся в письме, никоим образом не могли быть известны Перовскому. Его авторство исключает также и отраженная в письме субординация корреспондентов (см. письмо А. А. Перовского великому князю Николаю Павловичу от 6(18 июня) 1824 г.: «Не имея счастья быть лично представленным Вашему императорскому высочеству...» — наст. изд., с. 408). Бумага, на которой написан текст, — выпуска С.-Петербургской фабрики со штемпелем, относящимся к 1843—1854 гг. (см.: *Клепиков С. А.* Филиграни и штемпели на бумаге русского и иностранного производства XVII—XX веков. М., 1959. С. 105. № 123).

«Дополнения» включают в себя документы биографического характера и мемуарные свидетельства, позволяющие по-новому осветить отдельные стороны жизни писателя; они представлены в разделах «Материалы к биографии А. А. Перовского» и «Современники о А. А. Перовском (А. Погорельском)». В «Дополнения» вошли также фрагменты неосуществленных художественных замыслов, рукописные материалы, относящиеся к творческой истории двух новелл из цикла «Двойник, или Мои вечера в Малороссии», немецкий перевод «Бедной Лизы» Н. М. Карамзина. В предлагаемый корпус не включен авторский перевод новеллы «Изидор и Анюта» на французский язык, выполненный для издания «L'Europe littéraire, journal de la littérature nationale et étrangère» ([Paris], 1833. N 20. Lundi. 15 avril. P. 83—84).

Учитывая то обстоятельство, что первая треть XIX в. является эпохой «языковых сдвигов» (термин Ю. М. Лотмана), при публикации текстов нами приняты следующие принципы: орфография и пунктуация в основном приближены к современным правилам, однако в ряде случаев сохранены архаические написания и написания, отражающие речевую произносительную норму (в том числе и вариативные).

Переводы французских писем принадлежат Нине Львовне Дмитриевой, латинских и греческих текстов — Анне Владиславовне Черновской и Людмиле Юрьевне Меньшиковой, немецких — Борису Иосифовичу Асварищу. Выражаю им за это, как и за неизменное участие и безотказные ценнейшие консультации, глубокую благодарность. Искренняя признательность за помощь в работе сотрудникам Российского государственного исторического архива Л. М. Сеселкиной, заведующей Отделом хранения, увы, уже не располагающимся в здании Сената, и Л. Б. Заречной, сотруднице Отдела научно-справочного аппарата; сотрудникам Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН Р. Ю. Данилевскому, П. Р. Заборову, А. В. Лаврову, работникам Рукописного отдела Л. К. Хитрово, покойной Л. Н. Ивановой, а также К. М. Азадовскому, А. А. Долинину, В. В. Зельченко, Е. Г. Коненковой, К. А. Кумпан, А. Л. Раковой, Китти Стидворси (Кембридж, Англия).

В примечаниях приняты следующие сокращения:

Архивы

ОПИ ГИМ — Отдел письменных источников Государственного Исторического музея (Москва).
ОР РНБ — Отдел рукописей Российской национальной библиотеки (С.-Петербург).
РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства (Москва).
РГИА — Российский государственный исторический архив (С.-Петербург).
РО ИРЛИ — Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук (С.-Петербург).
РО РГБ — Рукописный отдел Российской государственной библиотеки (Москва).

Печатные издания

ВЕ — «Вестник Европы».
ИВ — «Исторический вестник».
ОЗ — «Отечественные записки».
РА — «Русский архив».
РВ — «Русский вестник».
РС — «Русская старина».
СО — «Сын отечества».
СПч — «Северная пчела».

СОЧИНЕНИЯ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА

ДВОЙНИК, ИЛИ МОИ ВЕЧЕРА В МАЛОРОССИИ

Впервые: «Лафертовская маковница» как самостоятельное произведение — Новости литературы. 1825. Март. С. 97—133, подп.: «Антоний Погорельский»; полностью — Двойник, или Мои вечера в Малороссии / Сочинение Антония Погорельского. СПб., 1828. Ч. 1—2 (ценз. разр. — 29 февр. и 1 марта 1828 г.).

Печатается по тексту первой полной публикации.

Автограф (полный) неизвестен. Сохранились черновая рукопись новеллы «Изидор и Анюта», близкая к окончательному тексту: РГИА, ф. 1021 (Перовских), оп. 1, ед. хр. 16, л. 9—18 (бумага с водяным знаком: «1818»), и писарская копия с авторской правкой и подписью: «Антоний Погорельский» под названием «Несчастная любовь. Истинное происшествие», текст которой существенно отличается от окончательного варианта, включенного Погорельским в цикл под названием «Пагубные последствия необузданного воображения»: РГАЛИ, ф. 1345 (Кол. рукописей), № 5, ед. хр. 5, л. 1—22 (с пометами на л. 1: «Русское сочинение» и «В „Новости литературы", издаваемые при „Инвалиде"»).

Рукопись «Изидора и Анюты» датируется ориентировочно 1818—1819 гг. «Несчастная любовь...» в «Новостях литературы» напечатана не была. Это издание прекратилось в 1826 г. Новелла, следовательно, не могла быть написана позднее этого времени, однако копия по типу бумаги, характеру почерка писца, архаичной манере написания отдельных слов, букв и иным графическим особенностям может быть датирована концом 1810-х—началом 1820-х гг.

Сохранились также три наброска («Самая древняя и самая трудная наука в мире...», «Ум есть название генерическое...», «Человеку, одаренному способностями ...» — см.: наст. изд., с. 335—340): РГИА, ф. 1021 (Перовских), оп. 1, ед. хр. 16, л. 33, 37, 31—32, 40, 35 (бумага с водяным знаком: «1818»), связанные с замыслом «Двойника...» (см. «Вечер четвертый» — наст. изд., с. 60—72) и предположительно датируемые 1818—1819 гг.

Автографы «Изидора и Анюты» и набросков позволяют, таким образом, определить время начала работы Погорельского над «Двойником...».

Новелла «Путешествие в дилижансе» могла быть написана не ранее 1824 г., так как она основана на сюжетных реминисценциях из необычайно популярной повести французского писателя и ученого Мари Шарля Жозефа Пужана (Pougens; 1755—1833) «Жоко, анекдот, извлеченный из неизданных писем об инстинкте животных» (*Pougens M.-Ch.-J.* Jocko, Anecdote détachée des lettres inédites sur l'instinct des animaux. Paris, 1824; русский перевод: *Пужан К.* Жоко, индийская повесть // Моск. телеграф. 1825. Ч. 2. № 8. С. 336—351; Ч. 3. № 9. С. 41—59, № 10. С. 134—144).

[1] *...находится село П*** . ~ густой сосновый лес со всех сторон закрывает виды вдаль.* — Это описание имения Перовского Погорельцы. Сад «в английском вкусе» был посажен известным ботаником Федором Богдановичем Фишером (Фридрих Эрнст Людвиг фон Фишер (Fischer); 1782—1854), управлявшим до этого созданным им ботаническим садом А. К. Разумовского в Горенках и позже (с 1823 г.) — ботаническим садом в Петербурге (см. также: наст. изд., с. 573 и сн. 24). Спустя два десятилетия после смерти Перовского пришедшие в упадок Погорельцы живописал в письме Н. М. Жемчужникову от 28 сентября (10 октября) 1858 г. унаследовавший имение А. К. Толстой: «Погорельцы — одно из самых диких, тенистых и оригинальных мест, с сосновым бором 〈...〉. Дом старый, полуразрушенный, но теплый. Сад заросший, с огромными деревьями всех сортов. Домов в кучке здесь четыре, двор также покрыт старыми деревьями вроде леса» (*Толстой А. К.* Собр. соч.: В 4 т. М., 1964. Т. 4. С. 98).

[2] *Что Господом дано ~ о том не сокрушайся.* — Точный источник цитаты не установлен. Возможно, это парафраза близкой по смыслу и лексике сентенции, сформулированной английским доктором Годвином в эссе «Об удовольствиях», которое было помещено в популярной учебной книге П. Железникова «Сокращенная библиотека в пользу господам воспитанникам Кадетского корпуса» (СПб., 1800—1804. Ч. 1—4): «Истинная добродетель учит нас наслаждаться тем, что имеем, и быть в готовности всего лишиться; она довольна, весела в бедности и в самых несчастных обстоятельствах находит способ утешаться и быть покойною» (СПб., 1802. Ч. 2. С. 134). О «даровитом, но пьяном Железникове» и его имевшем широкое употребление учебнике упоминает в своих мемуарах Н. И. Греч (*Греч Н. И.* Записки о моей жизни. М.; Л., 1930. С. 444, 780).

[3] *...что он немного прихрамывает на правую ногу.* — Описание Двойника — alter ego рассказчика — автопортрет писателя. То, что он страдал легкой хромотой, подтверждается свидетельством В. Горленко, опирающимся на «предание родных» — сведения, полученные им от племянника Перовского Н. М. Буда-Жемчужникова (см.: наст. изд., с. 571—572). Вместе с тем художественная функция этой автобиографической портретной характеристики амбивалентна, и второй ее смысл — знак инфернальности, вызывающей прежде всего литературную ассоциацию с гетевским Мефистофелем (см.: наст. изд., с. 612—613).

[4] *Теперь минуло уж десять лет после первого свидания нашего...* — Погорельский, как правило, точен в деталях: это временно́е указание можно считать косвенным подтверждением того, что в 1818 г. Перовский уже обдумывал «Двойника...» (см.: наст. изд., с. 658).

[5] *Существа моего рода ~ нашу братью называют Doppeltgänger.* — Современное написание слова «двойник» — Doppelgänger. Отсылка к Германии и использование немецкого термина, вероятнее всего, подразумевают конкретный источник, а именно Э.-Т.-А. Гофмана: в 1822 г. в альманахе «Праздничные часы» (Feierstunden: Eine Schrift für elde Unterhaltung: In 2 Bd. Brünn, 1822. Bd. 2) появился его рассказ «Двойники» («Die Doppeltgänger»), который вполне мог быть известен Погорельскому; о первом употреблении Гофманом слова «двойник» см.: *Гофман Э.-Т.-А.* Крейслериана. Житейские воззрения кота Мурра. Дневники. М., 1972. С. 441, 459, 581, 642, примеч. 10. (Сер. «Лит. памятники»). Русское

терминологическое обозначение данного феномена («двойник») Погорельский здесь вводит впервые. В русском народном сознании двойничество обычно связано с домовым, выступающим в облике двойника как предвестник несчастья, персонифицированная судьба и даже смерть (см.: *Власова М.* Новая абевега русских суеверий. СПб., 1995. С. 135—136).

[6] *Ученые люди ~ давление домового (Alpdrücken, cauchemar).* — В объяснении Двойника использована характерная атрибутика двойничества, присущая канонам как мистико-романтического, так и фольклорного повествования — в данном случае меморатам о домовом с его чертами антропоморфности, а зачастую и внешней идентичности с хозяином дома. Сюжеты «давления домового» широко бытовали как в русском, так и в украинском фольклоре (см.: *Иванов П. В.* Народные рассказы о домовых, леших, водяных и русалках // Сборник Харьковского историко-филологического общества. Харьков, 1893. Т. 5, вып. 1. С. 23—46, 52—53). Рациональное объяснение этого «давления» у Погорельского — «чрезмерное сгущение крови» — соотносимо с причинами его возникновения в условиях крестьянского быта (душная, угарная изба, обычай спать на печи и т. д. — см.: *Померанцева Э. В.* Мифологические персонажи в русском фольклоре. М., 1975. С. 99—101, 106—107).

[7] *— Попе рассказывает сам ~ и ни одной из них не было вверх ногами!* — Александр Поп (Pope; 1688—1744) — английский поэт, пользовавшийся в XVIII в. в России большой популярностью. Источник этого анекдота установить не удалось, однако странности Попа, собственные рассказы о них, а также о посещавших его видениях послужили благодатной почвой для возникновения многочисленных историй о поэте. Иные из его рассказов носили характер явных мистификаций (см.: *Warton J.* An Essay on the Genius and Writings of Pope: In 2 vols. New York, 1970. Vol. 2. P. 54—56). Рассказанный в «Двойнике» «вечерний» анекдот также, должно быть, возник на почве реального соответствия особенностям натуры Попа. В письме к Дж. Свифту от 17 мая 1739 г. поэт признавался: «Утра — моя жизнь. Вечерами я не то чтобы реально мертв, но сонлив и достаточно глуп. Я люблю более читать, чем беседовать, но глаза мои слипаются; и в часы, когда большинство людей предается общению, я чувствую себя усталым и измотанным...» (*Dyce A.* Memoir of Pope // Pope A. The Poetical Works: In 3 vols. Boston, 1875. Vol. I. P. CXVI—CXVII; см. также: *Spence J.* Anecdotes, observations and characters, of Books and Man, collected from the conversation of m-r Pope and other eminent persons of his time. London, 1820). О вероятном знакомстве Перовского с личностью и творчеством Попа еще в Московском университете см.: *Кросс Э.* Британцы в Петербурге: XVIII век. СПб., 2005. С. 56.

[8] *...был я в Праге ~ «Я служу при здешней библиотеке ~ я никогда уже не решался продолжать чтение рукописи».* — Источник этого анекдота не установлен.

[9] *...ни Брегетов, ни Элликотов.* — Абрахам Луи Бреге (Брегет) (Bréguet; 1747—1823) — прославленный парижский механик, часы которого были в то время в большой моде; Джон Элликот (Ellicott, 1706—1772) — английский часовой мастер, известный своими новациями в области различных часовых механизмов; часовщик Георга III.

[10] *Бердыш* — топор с лезвием в виде полумесяца на длинном древке. Был на вооружении русской пехоты в XV—XVII вв.

[11] *...въезжал в Дорогомиловскую заставу...* — Застава находилась в районе нынешней Дорогомиловской улицы. Через Дорогомилово в 1812 г. вошла в Москву армия Наполеона.

[12] *...чрез Ехалов мост...* — Ехалов (Елохов) мост — мост через ручей Елховец в районе площади Разгуляй, вблизи пересечения Старой и Новой Басманных улиц.

[13] *В Красном Селе, в приходе Тихвинской Божией Матери...* — Подразумевается часть Красного Села — окраинного района Москвы по обе стороны современных Краснопрудной и Русаковской улиц; примыкала к приходской церкви Воздвижения Креста Господня (1692; не сохранилась), где имелся придел в честь Тихвинской иконы Божией Матери.

[14] *...шишак и кирас...* — Шишак — фасон треугольной шляпы с железной накладкой на тулье, напоминавшей древний воинский металлический шлем, и кирас — нагрудные латы, были главными атрибутами кирасир — офицеров тяжелой кавалерии. В начале своего царствования Александр I заменил шишаки легкими поярковыми касками, некогда уже вводившимися Потемкиным; кирасы были отменены несколько ранее. К ношению того и другого вернулись лишь в 1812 г., поэтому сами названия — шишак и кираса — воспринимались как некий анахронизм и явно были использованы писателем с целью намеренной архаизации стиля, что придавало драматической коллизии оттенок возвышенности и даже трагизма, — распространенный стилистический прием сентименталистского повествования.

[15] *Георгиевский крест* — военный орден св. Георгия, учрежденный в 1769 г.

[16] *Один лейпцигский врач ~ «Явление жены моей после смерти».* — Речь идет о книге веймарского (а не лейпцигского) врача Иоганна Карла Венеля «Истинное явление жены моей по смерти, достоверная, недавно случившаяся история, ко всеобщему вниманию и особенно для психологов, для объективной и тщательной проверки, рассказанная д-ром И. К. В.» (Meiner Gattin wirkliche Erscheinung nach ihrem Tode, eine wahre unlängst erfolgte Geschichte für jedermann zur Beherzigung und vorzüglich für Psychologen zur unpartheischen und sorgfältigen Prüfung dargestellt von D-r I. K. W. Chemnitz, 1804). В качестве серьезного доказательства случающихся явлений душ по смерти апеллирует к истории Венеля масон А. Ф. Лабзин в предисловии к своему переводу книги И.-Г. Юнга-Штиллинга «Приключения по смерти». По словам переводчика, Венель, презирая все насмешки, «предложил сие обстоятельство на решение всем психологам, всем ученым и всем государям, прося их собрать подобные опыты и тем объяснить темную науку о душе» (*Штиллинг Г.* Приключения по смерти: В 3 ч. СПб., 1805. Ч. 2. С. VI—VII; подп.: У⟨ченик⟩ М⟨удрости⟩). Примерно в том же ключе упоминает эту «странную» книгу и В. А. Жуковский в примечании к своему переводу отрывка из сочинения К.-М. Виланда «Евфаназия, или О жизни после смерти», стимулированного именно публикацией Венеля. «Виланд никогда не бывал мечтателем, — пишет Жуковский. — Он сам, рассказывая повесть свою, остается в сомнении, хотя уверен совершенно, что она не вымышленная басня» (*Жу-*

ковский В. А. Неизъяснимое происшествие: (Разговор между Виллибальдом и Бландиною) // Жуковский В. А. Переводы в прозе. М., 1817. Ч. 5. С. 62—63; Жуковский передает название сочинения Виланда не вполне точно, у Виланда — «Eutanasia: Drey Gespräche über das Leben nach dem Tode...» (1805)). На этом фоне примечательна полная дезавуация подлинности описаний Веделя — устами Двойника — масоном Перовским в противовес обычному в масонской среде бытовому мистицизму (см.: *Вацуро В. Э.* Готический роман в России. М., 2002. С. 60).

[17] *...у графа Ст**...* — Имеется в виду барон (а не граф) Эрих Магнус Сталь фон Гольштейн (Staël-Holstein von; 1749—1802), шведский дипломат, бывший посланником во Франции в 1783—1796 и 1797—1799 гг. Был женат на Анне Луизе Жермене, урожд. Неккер (1766—1817), впоследствии известной писательнице баронессе де Сталь.

[18] *Цицерон рассказывает ~ и изобличает трактирщика в убийстве.* — История двух аркадян рассказана римским писателем Марком Туллием Цицероном (106—43 до н. э.) в трактате «О предвидении» (Цицерон, кн. 1, гл. 27, 57). Этот сюжет, но без указания первоисточника, был пересказан русскому читателю в переводе с французского еще в конце XVIII в. (см.: Бог мститель за невинно убиенных... / Пер. с фр. кн. Сергия Голицына. М., 1782. С. 79—80).

[19] *К известной английской фамилии Турбот ~ в его семействе.* — О частотности этого сюжета см.: *Китанина Т. А.* Материалы к указателю литературных сюжетов // Рус. лит. 1999. № 3. С. 210—212. В середине XIX в. аналогичная история (явление умершего друга оставшемуся в живых во исполнение данной клятвы) как подлинный случай медиумизма была зафиксирована А. Конан Дойлем (*Конан Дойль А.* История спиритизма. СПб., 1998. С. 137).

[20] *...Штиллинг в сочинении своем «Феория духов».* — Иоганн Генрих Юнг-Штиллинг (Jung-Schtilling; 1740—1817) — немецкий писатель-мистик, пользовавшийся необыкновенной популярностью в русской литературе и обществе в конце XVIII—начале XIX в. Речь идет о его не переведенной на русский язык книге «Theorie der Geisterkunde» (1808); в отечественной печати она преимущественно упоминалась под названием «Теория науки о духах». О Юнге-Штиллинге в России см.: *Виницкий И.* Нечто о привидениях. М., 1998. С. 105—137.

[21] *В той же «Феории духов» ~ под именем Белой женщины (die Weiße Frau)...* — Погорельский в точности воспроизводит вариант легенды о Белой женщине, изложенный Юнгом-Штиллингом (см.: *Jung, genannt Schtilling J.-H., Dr.* Theorie der Geisterkunde. Schtuttgart, 1832. P. 268—276), однако явно травестирует его. Легенда эта, по-видимому, была известна в России и по другим источникам (см.: *Вацуро В. Э.* Готический роман в России. С. 389—390). Сам Штиллинг почерпнул ее из средневекового издания «Театр Европы» (Theatrum Europaeum. Francfurt am Main, 1651. T. 5), где она рассказана Маттеусом Мерианом. См. также: Некоторые любопытные приключения и сны, из древних и новых времен. М., 1829. С. 147—159.

[22] *...о превращении Навуходоносора в быка... ~ и не имел бы никаких забот!* — Имеется в виду ветхозаветный сюжет о наказании вавилонского царя Навуходоносора за гордость: «...был голос с неба: „И отлучат тебя от людей, и будет обитание твое с полевыми зверями; травою будут кормить тебя, как вола, и

семь времен пройдут над тобою, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет!" Тотчас и исполнилось это слово над Навуходоносором, и отлучен он был от людей, ел траву, как вол...» (Книга пророка Даниила. 4:29, 30).

[23] *...философия Канта и Фихте была в большой моде ~ едва ли понимали.* — Неприятие «отвлеченных» постулатов новейшей немецкой философии Перовский позднее обосновал в своей записке «⟨О народном просвещении в России⟩» (см.: наст. изд., с. 369).

[24] *...ни гений Рафаэля, ни пламенная кисть Корреджия ~ неизвестного ваятеля Медицейской Венеры...* — Рафаэль (Рафаэлло Санти; Raffaello Santi; 1483—1520); Корреджо (Correggio; наст. имя и фам. — Антонио Аллегри (Allegri); ок. 1489—ок. 1534) — великие живописцы итальянского Возрождения, пользовавшиеся в это время в России едва ли не равной известностью и любовью. О «нежном, чувствительном Корреджо» писал Н. И. Гречу Пушкин в письме от 4 декабря 1820 г. (*Пушкин.* Полн. собр. соч. М.; Л., 1937. Т. 13. С. 21). Медицейская Венера, или Венера Медичи, — греческая статуя конца IV в. до н. э., открытая на вилле Адриана Тиволи в 1680 г. и в 1717 г. привезенная во Флоренцию; хранится там в собрании Галереи Уффици. В наполеоновскую кампанию Венера в числе других сокровищ искусства, вывезенных из побежденных стран, экспонировалась в Наполеоновском музее в Париже, но в конце 1815 г. была возвращена Италии. Об этом унизительном для французов перемещении шедевров вспоминал позже А. И. Михайловский-Данилевский: «Даже когда некоторые из союзников брали из Парижского Музеума обратно картины и статуи, им прежде принадлежавшие, французы не только не показывали, чему я был личный свидетель, большого прискорбия, хотя впоследствии писатели их и утверждали противное, но даже в журналах помещали шутки об увезении Венеры Медицейской и Венециянских лошадей» (*Михайловский-Данилевский А.* Записки 1814 и 1815 годов. 4-е изд. СПб., 1841. С. 154; см. также: *Левинсон-Лессинг В. Ф.* История картинной галереи Эрмитажа (1764—1917). Л., 1986. С. 38—43). Ф. Н. Глинка оставил восхищенное описание «Венеры Медицийской», которую он успел еще посмотреть в Париже в 1815 г. (см.: *Глинка Ф.* Письма русского офицера // Соч. М., 1986. С. 288). Без сомнения, тогда же любовался ею во французской столице и Перовский (о его пребывании в Париже осенью 1815 г. см.: наст. изд., с. 583).

[25] *...в развалинах Помпеи и Геркулана...* — Геркуланум и Помпеи — римские города, засыпанные пеплом при извержении Везувия в 79 г. н. э.

[26] *Скилла (Сцилла) и Харибда* — в греческой мифологии морские чудовища, подстерегавшие и губившие мореходов у узкого пролива; по позднейшим представлениям, обитали в пещерах Сицилийского (ныне Мессинского) пролива.

[27] *...камзол и исподнее платье глазетовые...* — Глазет, или гласет, — парча с шелковой основой, затканной серебряным или золотым узором.

[28] *Новая Голландия* — первоначальное название Австралии, данное материку его первооткрывателем голландцем В. Янсзоном (1606); наименование «Австралия» («Южная Земля») закрепилось в XIX в.

[29] *Померанцевые деревья* — особый сорт апельсинового дерева (померанец — горький апельсин); используется, в частности, как декоративное растение.

[30] *Экосез* — бальный танец, восходящий к шотландскому народному танцу (разновидность контрданса) и получивший распространение с конца XVIII в.

[31] *Вентрилок* (*фр.* ventrilogue) — чревовещатель.

[32] *...какой-то механик ~ на латинском языке...* — Сюжет, очевидно, распространенный; см., например: Зрелище деяний человеческих, или Изображение удивительных происшествий, учинившихся как в древние, так и новейшие времена и служащих к наставлению человека в каждом состоянии: В 2 ч. Иждивением И. Критского. М., 1795. Ч. 1. С. 148—151, где речь идет не о деревянном, а о живом вороне, приветствовавшем императора Августа при въезде его в Рим (а не в Ахен) после победы над Антонием словами: «Здравствуй, кесарь! Победитель император!».

[33] *...знаменитый Алберт ~ разбил ее на части.* — Альберт Великий (Albertus Magnus) (Альберт фон Больштедт (Albert von Bollstädt); ок. 1193/1207—1280) — немецкий ученый-алхимик и философ, монах-доминиканец. Известно, что в его кельнском кабинете стояла механическая голова, издававшая звуки, которую разбил ученик философа Фома Аквинский.

[34] *В тысяча восемьсот пятнадцатом году ~ об этой кукле Робертсона.* — Этьен Гаспар Роберт Робертсон (Robertson; 1763—1837) — бельгийский физик и воздухоплаватель; демонстрировал во Франции и других странах свои опыты, связанные с гальванизмом и аэростатикой. В России его представления проходили в Петербурге и Москве, — очевидно, после того как в 1805 г. в составе русского посольства Ю. А. Головкина он отправился в Китай в надежде предложить китайскому императору свои аэростатические опыты. В северной столице Робертсон показывал гидравлические фокусы, предлагая при этом в течение пяти сеансов — за 60 рублей — «учить людей чудесам». Под впечатлением его «физико-механического увеселительного кабинета», «сильно занимавшего петербургскую публику», устроил у себя в мастерской аналогичный кабинет известный медальер Ф. П. Толстой (см.: Записки графа Ф. П. Толстого. М., 2001. С. 201—204). В Москве Робертсон развернул свой знаменитый «Театр рисованных и движущихся фигур» («Théâtre pittoresque et mécanique»), со страниц «Московских ведомостей» широко оповещая публику о сеансах «кинетозографии» (механических картин) и «фантасмагории». Их описание оставил, в частности, С. П. Жихарев (см.: *Жихарев С. П.* Записки современника. М.; Л., 1955. С. 147—148; 717—718). Вспоминал о них позднее в Париже, увидев там аналогичные представления «кинетографии», и Н. И. Тургенев (см.: Дневники Н. И. Тургенева. СПб., 1913. Т. 2: 1811—1816 гг. С. 84—85). Приезжал Робертсон в Россию и в 1830 г. Механические клавикорды и куклу Робертсона Перовский действительно мог видеть в бытность свою в Париже в 1815 г. Скорее всего, речь идет об одном из представлений «Театра...» Робертсона, который он, между прочим, с успехом демонстрировал до того не только в России, но также в Вене и Берлине. Позднее и свои многочисленные опыты, и путешествия в Россию Робертсон описал в мемуарах (Mémoires récréatifs scientifiques et anecdotiques du physicien-aéronaute E.-G. Robertson. Paris, 1831—1833. Vol. 1—2; о «Театре...» см.: Vol. 2. P. 308). Возможно, лекцию именно Робертсона о «мнемонике, или науке о памя-

ти» посетил в Париже в 1825 г. А. И. Тургенев (см.: *Тургенев А. И.* Хроника русского. Дневники: 1825—1826. М.; Л., 1964. С. 321—322).

[35] *Иногда случается также, что качества, приобретаемые воспитанием...* — Ср.: *Гельвеций К.-А.* О воспитании // Соч.: В 2 т. М., 1974. Т. 2. С. 504—524 (разд. X: О могуществе воспитания).

[36] *...важнейший, полезнейший и необходимейший из родов ума есть здравый рассудок.* — Ср.: *Гельвеций К.-А.* Об уме // Соч.: В 2 т. М., 1973. Т. 1. С. 557—560 (гл. XII: О здравом смысле).

[37] *...читаете ли вы «Литературные новости», издаваемые при «Русском инвалиде»?* — «Новости литературы» выходили в 1822—1826 гг.

[38] *Проломная застава* — одна из застав в Лефортове (восточная часть Москвы), через которую проходила дорога на Владимир.

[39] *...лет двадцать прослужил в поле...* — Т. е. в армейских строевых частях, участвовавших в походах и сражениях.

[40] *...во всей Лафертовской части...* — Лафертовская (Лефортовская) часть — по административному делению Москвы конца XVIII—первой трети XIX в. одна из восточных частей города, расположенная на левом берегу Яузы.

[41] *Хамовники* — местность к юго-западу от Садового кольца между нынешними Комсомольским проспектом и улицей Льва Толстого.

[42] *Ерофеич* — водка, настоянная на травах.

[43] *...на колокольне Никиты-мученика...* — Имеется в виду колокольня церкви Никиты-мученика в Басманной слободе (ныне Старая Басманная, 16).

[44] *...как с самого Введенского кладбища...* — Это старинное московское кладбище было основано в 1771 г. в период эпидемии чумы и получило свое название по местоположению — у Введенских гор; существует поныне.

[45] *Роспуски* — дроги для перевозки клади.

[46] *...тот пускай прочитает «Литературные новости» 1825 года. Там найдет он развязку, сочиненную почтенным издателем «Инвалида»...* — См. об этом: наст. изд., с. 602—603.

[47] *— Я имел честь лично познакомиться с госпожою Le Normand ~ приняла от меня десять франков.* — Мария Анна Аделаида Ленорман (Lenormand; 1772—1843) — известная французская прорицательница, прозванная «Сивиллой Сен-Жерменского предместья», услугами которой в разное время пользовались республиканцы, члены Директории, лица королевской фамилии, военные чины. Она была дружна с Жозефиной Богарне, первой женой Наполеона, и спустя год после ее смерти (а не десять, как ошибочно у Погорельского) действительно опубликовала книгу «Годовщина смерти Жозефины» («Anniversaire de la mort de Joséphine», 1815). Описанный Погорельским визит к Ленорман, несмотря на откровенно ироничный тон, ценен своей подлинностью, так как несомненно несет на себе след личных впечатлений, с подтвержденной позднейшими свидетельствами достоверностью деталей. По некоторым источникам, роскошные апартаменты прорицательницы находились на улице Турнон, 5. О визите к ней в 1815 г. Александра I рассказывает со слов Ф. И. Тютчева А. О. Смирнова-Россет (см.: *Смирнова-Россет А О.* Дневник. Воспоминания. М., 1989. С. 12, 58, 140, 288).

[48] *В царствование Генриха IV во Франции... ~ В 1628 году Деборд (Debordes), камердинер ~ Карла IV ~ и публично сожгли на костре.* — Генрих IV (1553—1610) — французский король с 1589 г. (фактически был признан и вступил на престол в 1594 г. после перехода в католичество). Конкретные сведения о жестоких казнях колдунов, ведьм и оборотней в его времена Погорельский, скорее всего, почерпнул из книги Жюля Гарине «История магии во Франции» («Histoire de la magie en France», 1818) (см. по переизданию: Paris, 1965. P. 135—166), так как именно здесь описаны и колдовские «чудеса» Деборда, дословно воспроизведенные в «Двойнике» (см.: Ibid. P. 165—166). Сюжет о Деборде в пересказе см.: *M. Collin de Plancy.* Dictionnaire infernal, ou Bibliothèque universelle. Paris, 1825. Vol. 2. P. 348. Карл IV (1604—1675) правил в Лотарингии в эпоху Тридцатилетней войны.

[49] *...в царствование Лудовика XIV...* — Людовик XIV (1638—1715) был королем Франции с 1643 г.

[50] *Реформация* — антифеодальное, по преимуществу общественное, движение в Европе XVI в., возникшее в Германии и принявшее форму борьбы против католической церкви.

[51] *...во время Тридцатилетней войны...* — Тридцатилетняя война (1618—1648) — война между сторонниками католицизма и протестантизма, в которую были втянуты почти все европейские страны.

[52] *...Тацит рассказывает ~ велел умертвить и учителя своего Фрасивула.* — Сходный сюжет о том, что римский император (с 14 г.) Тиберий (полн. имя — Клавдий Нерон Тиберий (Claudius Nero Tiberius); 42 до н. э.—37 н. э.) действительно приказывал умерщвлять всех прорицателей, предсказывавших его судьбу, изложен римским историком Тацитом (ок. 58—ок. 117) в его «Анналах» (кн. 6, гл. 20—22).

[53] *Во времена Клавдия...* — *Клавдий* (полн. имя — Тиберий Клавдий Нерон Германик (Tiberius Claudius Nero Germanicus); 10 г. до н. э.—54 г. н. э.) — римский император с 41 г.

[54] *Павзаний говорит...* — Имеется в виду Павсаний (II в.) — древнегреческий писатель; жизнь и нравы Афин отображены им в труде «Описание Эллады».

[55] *Оно почерпнуто им из Спевзиппа.* — Спевсипп (ок. 395—334 до н. э.) — греческий философ, племянник и ученик Платона; сочинения его до нас не дошли.

[56] *Ту же самую историю рассказывает Валерий Максим с небольшими отступлениями.* — История об аркадянах рассказана римским писателем Валерием Максимом (I в.) в его книге «О замечательных деяниях и изречениях» (гл. «О снах»).

[57] *Геродот ~ пред войною персов с греками.* — Анекдот о видениях Ксеркса изложен древнегреческим историком Геродотом (484—ок. 430 до н. э.) в его «Истории» (кн. 7, гл. 12—14).

[58] *Плутарх, Аппиан и Флор упоминают о явлении, которое видел Брут.* — О видении Брута повествуют древнегреческий писатель и историк Плутарх (ок. 45—ок. 127) в своем сочинении «Сравнительные жизнеописания» (т. III, гл. «Брут», 36, 48); историк Древнего Рима Аппиан (?—70-е гг. II в.) в книге

«Гражданские войны» (кн. 4, гл. 134) и историк Луций Анней Флор (II в.) в своей «Римской истории» (гл. II, 8, 17).

[59] *Плиний рассказывает даже ~ и с того времени в доме сделалось спокойно.* — История о невольнике и Афенодоре рассказана римским писателем Плинием Младшим (61 или 62—ок. 114) в его «Письмах» (кн. 7, письмо 27, § 4—12).

[60] *Читали ль вы «Золотого осла» Апулеева? ~ Потом вдруг объял меня такой сильный и непреодолимый сон...»* — Апулей — древнеримский писатель II в. н. э.; его «Золотой осел. Метаморфозы в одиннадцати книгах» — один из самых известных античных романов. Первый русский перевод: Луция Апулея, платонической секты философа, Превращение, или Золотой осел / Перевел с лат. Ермил Костров. М., 1780. Элевсинские таинства, или мистерии, упоминающиеся в книге шестой, — греческие религиозные празднества в честь богини Деметры и дочери ее Персефоны, происходившие в храме Деметры в Элевсине (в 20 км от Афин). Повесть о купце Сократе изложена в книге первой (6—19), рассказ Телефрона — в книге второй (21—30).

[61] *Аргамаки* — породистые верховые лошади; здесь употреблено в ироническом смысле.

[62] *...знаки Св. Лудовика и Почетного легиона.* — Имеются в виду французский военный орден, учрежденный в 1696 г. Людовиком XIV, упраздненный в период революции и вновь восстановленный в 1814 г., и французский орден, учрежденный Наполеоном для лиц гражданских, военных и духовных.

[63] *Черная Грязь* — первая почтовая станция на тракте из Москвы в Петербург в 27 верстах от города, на берегу речки Чернавки.

[64] *...этот верный и строгий Аргус ~ пока мы сами не усыпили его.* — Имеется в виду персонаж греческой мифологии Аргос (Аргус), сын Геи-Земли, чье тело было испещрено множеством глаз; по одной из версий мифа их было действительно сто. Аргос был приставлен Герой неусыпным стражем и пастухом к Ио, возлюбленной Зевса, превращенной в корову. Метафорическая фигура Погорельского — «пока мы сами не усыпили его» — предполагает обстоятельства гибели Аргоса: по приказу Зевса тот был убит Гермесом, предварительно усыпившим его игрою на свирели.

ПОСЕТИТЕЛЬ МАГИКА

(С английского)

Впервые: Бабочка, дневник новостей, относящихся до просвещения и общежития. 1829. № 17. 27 февр. С. 66—67; № 18. 2 марта. С. 70—72, с указанием: «С английского: Антоний Погорельский».

Печатается по тексту первой публикации.

Автограф неизвестен.

Новелла представляет собой перевод произведения английского поэта и прозаика Генри Нила (Neele; 1798—1828) «The Magician's Visiter» («Посетитель магика»), опубликованного в лондонском альманахе «Незабудка»: Forget Me

Not: Christmas and New Years Present for 1828. London. P. 91—98. Подробнее см.: *Турьян М.* К вопросу о «русском Агасфере» // Эткиндовские чтения. II—III / Сб. статей по материалам Чтений памяти Е. Г. Эткинда. СПб., 2006. С. 60—72. По-видимому, к тому же источнику восходит новелла французского писателя, переводчика и пропагандиста английской литературы Амедея Пишо (Pichot; 1795—1877) «Очарованное зеркало. Эпизод из жизни Корнелиуса Агриппы», опубликованная в анонимном русском переводе в газете «Молва» (1833. № 38. 30 марта; № 39. 1 апр.).

[1] *...послышалось Корнелию Агриппе...* — Агриппа Корнелий Генрих Неттесгеймский (1486—1535) — писатель, врач, философ. В авторском примечании время жизни Агриппы в угоду авторской концепции отнесено к XIII в. (см.: *Турьян М.* К вопросу о «русском Агасфере». С. 65).

[2] *...исписанным восточными характерами...* — Т. е. восточными письменами (от англ. character — буква, литера, иероглиф).

[3] *...его посетил Вечный жид.* — Согласно легенде, Агасфер отказался предоставить отдых Иисусу Христу, идущему на Голгофу, и был обречен в наказание на вечную скитальческую жизнь.

ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ

Волшебная повесть для детей

Впервые: Черная курица, или Подземные жители: Волшебная повесть для детей / Сочинение Антония Погорельского. СПб., 1829 (ценз. разр. — 23 нояб. 1828 г.).

Печатается по тексту первой публикации.

Автограф неизвестен.

[1] *Лет сорок тому назад ~ нисколько не похожему на прежний.* — Судя по этому хронологическому указанию, мужской пансион Ефима Христофоровича Мейера, о котором идет речь, существовал уже в последнее десятилетие XVIII в. — возможно, вплоть до начала 20-х гг. XIX в. (см.: *Аллер С.* Руководство по отыскиванию жилищ по С.-Петербургу, или Прибавление к Адресной книге. СПб., 1824. С. 267). Дальнейшее же описание его носит несомненно автобиографический характер, что подтверждается воспоминаниями воспитанника этого учебного заведения графа Ф. П. Литке: «пансион помещался у Тучкова моста, на углу переулка, отделявшего его от дома Кусова» (Автобиография графа Ф. П. Литке / Публ. В. П. Безобразова // Записки Императорской Академии наук. СПб., 1888. Т. 57. Прил. 2. С. 34). Располагался он в каменном доме, построенном в последней трети XVIII в., у берега Малой Невы, на углу 1-й линии Васильевского острова и Магдалиновского переулка (нынешний участок дома № 56 на 1-й линии) (см.: *Никитенко Г. Ю.*, *Соболь В. Д.* Василеостровский район: Энциклопедия улиц С.-Петербурга. СПб., 2002. С. 163—164). См. также: наст. изд., с. 571—572.

[2] *Тогда на проспектах Васильевского острова ~ нынешних прекрасных тротуаров.* — Специальное постановление об устройстве тротуаров было утверждено Александром I 30 октября 1816 г. Реализация его со строгим соблюдением выработанных стандартов возлагалась на владельцев домов, но по причине дороговизны материалов предполагалось постепенное осуществление плана, начиная с наиболее населенных частей города. Мостили тротуары плитами. В первые два года тротуары появились на центральных улицах: обеих Морских, Вознесенской, Гороховой; на Васильевском острове — в последующие годы: в 1818-м — на Кадетской линии, начиная от угла с набережной Невы, на 1-й линии и Румянцевской площади; в 1819-м — по берегу Невы, мимо Академии художеств, до Горного корпуса и по линиям до Среднего проспекта, а также от Тучкова моста до Биржи (см.: *ОЗ.* 1820. № 3. С. 194—198; *Зарубин И.* Альманах-путеводитель по С.-Петербургу. СПб., 1892. С. 13).

[3] *Исакиевский мост...* — В описываемое время перед памятником Петру I через Неву существовал плашкоутный (наплавной) мост. Эта первая в Петербурге такого рода переправа, разбиравшаяся на зимнее время, была наведена против церкви Исаакия Далматского в 1727 г. Мост представлял собой довольно примитивную деревянную конструкцию: на расставленные на якорях плашкоуты укладывались пролетные строения из балок. В 20-х гг. XIX в., в процессе формирования Сенатской площади, был кардинально преобразован и внешний вид Исаакиевского моста: открытый осенью 1821 г., он поразил современников стройностью и красотой (см.: *Бунин М. С.* Мосты Ленинграда. Л., 1986. С. 46—48).

[4] *...площадь Исакиевская...* — На Исаакиевской площади в 1802 г. В. Бренна закончил строительство Исаакиевского собора по проекту А. Ринальди; собор был перенесен в центр вновь создаваемой городской площади с берега Невы. Со второй половины XVIII в. на месте нынешнего Мариинского дворца стоял дворец И. Г. Чернышева (1762—1768; архитектор Ж.-Б. Валлен-Деламот), а на углу Почтамтской улицы — существующий поныне особняк, построенный в 1740-х гг. для Л. А. Нарышкина (позднее дом Мятлевых; имя архитектора не установлено; перестроен в начале XIX в.).

[5] *Тогда монумент Петра Великого ~ прекрасным нынешним фасадом...* — В 1717 г. был проложен Адмиралтейский канал, соединявший Адмиралтейство и Новую Голландию; в 1804 г. он был заключен в кирпичный свод, а в 1817 г. засыпан. До 20-х гг. XIX в. на месте нынешнего Адмиралтейства находились каменные корпуса и башня, построенные в 1730-х гг. взамен мазанковых строений архитектором И. К. Коробовым. Новый проект А. Д. Захарова был осуществлен им в 1806—1823 гг. Тогда же, в процессе благоустройства окружающего пространства, были уничтожены земляные валы бывшей Адмиралтейской крепости и на их месте появился бульвар, ставший популярным местом гуляний (подробнее см.: *Столпянский П. Н.* Старый Петербург. Адмиралтейский остров. Сад трудящихся. М.; Пг., 1923. С. 19—20, 31—50). Конногвардейский манеж был построен по проекту Дж. Кваренги в 1804—1807 гг.

[6] *...из барочных досок.* — Т. е. из разобранных на доски барок.

[7] *...и из Милютиных лавок...* — Милютины лавки, или Милютины ряды, располагались на Невском проспекте между зданием Думы и Казанским мостом;

славились фруктами, овощами и колониальными товарами (см.: *Северцев Г. Т.* С.-Петербург в начале XIX века // Прогулки по Невскому проспекту в первой половине XIX века. СПб., 2002. С. 30, 261; *Пушкарев И. И.* Николаевский Петербург. СПб., 2000. С. 563).

[8] *...над буклями, тупеем и длинной косой учителя.* — Тупей — род прически: взбитый хохол; букли, тупей и длинная коса — элементы мужской прически конца XVIII в.

[9] *...сердитая и бранчивая чухонка...* — Чухонцы — петербургское прозвание пригородных финнов.

[10] *Империал* — золотая монета в десять рублей.

[11] *...стола, на котором также парадировал ~ окорок...* — Парадировать — красоваться.

[12] *Бергамоты* — сорт груш.

[13] *Винные ягоды* — смоква, или инжир; в качестве десерта подавались обычно вяленые ягоды.

[14] *...надел свою красную бекешь...* — Бекеша — мужское верхнее платье в талию со сборками.

[15] *...нарисованы были синей мура́вой...* — Синяя мура́ва — тонкий слой жидкого цветного стекла (глазуревая полива), которым покрывали глиняную посуду или изразцы.

[16] *...начала под ним увертываться и манежиться...* — Имеется в виду манежная верховая езда, т. е. езда по определенным правилам.

[17] *...из Шрековой «Всемирной истории»...* — Матиас Шрек (Schreck; 1733—1808) — немецкий историк, автор популярного исторического компендиума под общим названием «Die Weltgeschichte für Kinder» (Litz, 1779—1784. Т. 1—6), многократно переиздававшегося в России вплоть до 1820-х гг. Здесь, скорее всего, имеется в виду первый русский перевод вышедшей в Германии части издания («Allgemeine Weltgeschichte für Kinder»), опубликованный в Петербурге в 1787 г. под названием «Шрекова всемирная история для обучения юношества» (ч. 1). В том же году эта книга появилась и в Москве под названием «Краткая всеобщая история для употребления учащегося юношества». Дальнейшие русские издания были многотомными.

[18] *...слух о необыкновенных его способностях...* — Ср. воспоминания о незаурядной памяти А. К. Толстого друга его детства А. В. Мещерского (см.: наст. изд., с. 635).

МАГНЕТИЗЕР

(Отрывок из нового романа)

Впервые: Лит. газ. 1830. № 1. 1 янв. С. 1—2; № 2. 6 янв. С. 9—10, с подзаголовком: «Отрывок из нового романа, сочинение Антония Погорельского».

Печатается по тексту первой публикации.

Автограф неизвестен.

[1] *...золотая медаль на алой ленте...* — Лица недворянского происхождения (купцы, мещане и проч.) орденами, как правило, не жаловались; награждались они лишь за особые заслуги серебряными медалями или золотыми на аннинской (красной) ленте.

[2] *...сочкни-ка со свечки.* — Сочкнуть — снять нагар со свечи (*диал.*).

[3] *...в Коломне у Харламова моста.* — Коломна — один из старинных районов Петербурга, расположенных к западу от Сенной площади; Харламов мост — мост через Екатерининский канал (ныне — канал Грибоедова).

[4] *...в Немецкой слободе...* — Немецкая слобода находилась в северо-восточной части Москвы, на правом берегу реки Яузы.

МОНАСТЫРКА

Впервые: «Глава первая. Вместо предисловия» и «Глава вторая. Продолжение» — Лит. газ. 1830. № 14. 7 марта; № 15. 12 марта; «Часть первая» — Монастырка / Сочинение Антония Погорельского. СПб., 1830. Ч. 1 (ценз. разр. — 14 дек. 1829 г.); полностью — Монастырка / Сочинение Антония Погорельского. СПб., 1833. Ч. 1 (2-е изд.; ценз. разр. — 16 февр. 1833 г.) и 2 (ценз. разр. — 5 марта 1833 г.). Тексты первого и второго изданий ч. 1 идентичны.

Печатается по тексту первой полной публикации.

Автограф неизвестен.

[1] *...мне грезится Петербург, и Нева, и монастырь...* — Речь идет о Смольном институте благородных девиц (официальное название: Императорское воспитательное общество благородных девиц) — привилегированном женском учебно-воспитательном заведении закрытого типа для дочерей дворян, основанном в 1764 г. Екатериной II при Воскресенском Смольном женском монастыре в Петербурге; в быту институт обычно именовался Смольным монастырем. Восьми-девятилетние девочки принимались сюда сроком на 9 лет.

[2] *...когда еще были в кофейных! ~ и в голубых, и в белых!* — Воспитанницы Смольного монастыря в соответствии с возрастом были разделены на «классы», в каждом из которых они обучались по нескольку лет; в соответствии с «классами» полагались платья особого цвета: кофейные или коричневые — в младших, голубые — в средних и белые — в старших; в обиходе «классы» назывались по цвету платьев. Подробности об этом учебном заведении Погорельский мог знать от своего отца, бывшего как раз в описываемое время членом Совета Императорского воспитательного общества благородных девиц.

[3] *...(которая теперь попала в пепиньерки)...* — Класс пепиньерок (от фр. pépinière — питомник, рассадник) был основан императрицей Марией Федоровной в 1803 г. с целью устроить судьбу лучших, но бедных воспитанниц и обучить их педагогическим навыкам; это было, по существу, первое в России женское педагогическое учреждение.

[4] *...род передников — кадрилье красные с синим и зеленым.* — Это традиционная деталь тогдашней одежды малороссийской женщины, именовавшаяся

плахта: шерстяной клетчатый плат, обертываемый вокруг пояса вместо юбки (см.: *Даль В.* Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1980. Т. 3. Статья: Плаха). Не знакомая ни с украинским языком, ни с местными обычаями вчерашняя смолянка употребляет слово «кадрилье» (фр. quadrillé) — клетчатая ткань.

5 *...и в красной стамедовой юбке...* — Т. е. из шерстяной, в косую нитку, ткани.

6 *...от m-me Xavier? ~ к m-r Дювалю или к Ремплеру...* — Ксавье, Дюваль, Римплер (Ремплер) — владельцы модных магазинов в Петербурге.

7 *...читала Жуковского сочинения ~* о *бардах...* — Анюта смутно помнит читанный ею, очевидно, в первых классах знаменитый героико-патриотический гимн Жуковского «Песнь барда над гробом славян-победителей» (1806) — памяти павших в Аустерлицком сражении, восторженно встреченный широкой читающей публикой и прославивший имя автора.

8 *...в дистракции...* — Т. е. в рассеянности (от фр. distraction). Как и слово «кадрилье» (см. выше, примеч. 4), — характерный галлицизм в речи воспитанницы Смольного института.

9 *...к здешнему хорунжему (это такой чин)...* — Хорунжий — младший офицерский чин в казачьих войсках русской армии, соответствовавший чину подпоручика в пехоте или корнета в кавалерии.

10 *Французских кадрилей здесь вовсе не знают. Польские, экосезы, простые кадрили...* — Кадриль — с конца XVII в. и на протяжении XVIII—XIX вв. один из самых популярных народных и бальных танцев, состоящий из ряда фигур (чаще всего из 5—6-ти). Получил большое распространение в европейских странах, где, при сохранении основных композиционных особенностей (четыре пары, расположенные квадратом), мелодии и манеры исполнения, приобрел национальные различия. Польский — устарелое название полонеза — бального танца, пришедшего в XVIII в. из Польши и имевшего в каждой польской местности свои отличительные черты. Об экосезе см.: наст. изд., с. 664, примеч. 30.

11 *...как учила нас мадам Дидело!* — Роза Львовна Дидло (Мария Роза Дидло-Коллине; 1784—1843) — в 1805—1811 и 1816—1843 гг. танцовщица и педагог танцев в Императорском воспитательном обществе благородных девиц; жена известного балетмейстера Императорских театров Шарля Луи Дидло, работавшего в Петербурге в 1801—1831 гг.

12 *Поветовое училище* — уездное училище.

13 *...знаешь ли ты Блистовского...* — Фамилия героя происходит от названия имения Анны Алексеевны Толстой Блистова (Кролевецкий уезд Черниговской губернии), находившегося в сорока верстах от Погорельцев и позже перешедшего по наследству А. К. Толстому. 28 ноября 1858 г. он живописал Н. М. Жемчужникову Блистову как «лесистое, дикое и сильно симпатичное место» (*Толстой А. К.* Соч.: В 4 т. М., 1964. Т. 4. С. 97—98). См. также письма ⟨1⟩ и ⟨2⟩ А. А. Перовского С. С. Уварову и примеч. 3 и 4 к ним (наст. изд., с. 395—399 и 703—704).

14 *...у него два креста: один в петлице, а другой на шее...* — В эпоху Отечественной войны 1812 г. в петлице носились ордена Св. Георгия и Св. Владимира IV степени (боевой — с бантом — с 1789 г.), а с 1815 г. — Св. Анны

III степени. «На шею» офицер в чине штабс-ротмистра, скорее всего, мог получить орден Св. Анны II степени.

[15] *...белая медаль на голубой ленте.* — Медаль «В память Отечественной войны 1812 г.» — серебряная, на андреевской (голубой) ленте — была учреждена в 1813 г. для награждения строевых офицеров, солдат в армиях и ополченцев, сражавшихся против неприятеля в 1812 г.; в 1814 г. учредили такую же, но бронзовую, медаль для дворянства и купечества.

[16] *Он воспитывался в Петербурге у какого-то аббе Николя.* — Речь идет о французском пансионе аббата и педагога Карла Евгения Николя (1758—1835) — одном из наиболее известных учебных заведений Петербурга, существовавшем с 1794 г. до начала XIX в. (см.: Быт пушкинского Петербурга: Опыт энциклопедического словаря. СПб., 2003. [Т. 1]: А—К. С. 236).

[17] *«Кто мог любить так страстно, как я любил тебя»* — песня на стихи Н. М. Карамзина «Прости» (1792), включавшаяся во многие песенники начиная с 1790-х гг. М. А. Дмитриев в своих воспоминаниях называет ее в числе тех, что «пелись и в обществе светском, и в народе» (*Дмитриев М. А.* Мелочи из запаса моей памяти. М., 1869. С. 45—46). См.: Песни русских поэтов: В 2 т. 3-е изд. Л., 1988. Т. 1. № 66.

[18] *«Всех цветочков боле розу я любил»* — песня на стихи И. И. Дмитриева, написанная в 1795 г. и сразу же вошедшая в песенники. См.: Песни русских поэтов. В 2 т. Т. 1. № 77.

[19] *«Я в пустыню удаляюсь»* — песня, появившаяся в 1791 г. и приписываемая поэтессе XVIII в. М. В. Зубовой (ум. 1799); в ряде песенников фигурирует как народная. См.: Песни русских поэтов. В 2 т. Т. 1. № 109.

[20] *«Заря утрення взошла, ко мне Машенька пришла»* — одна из наиболее «употребительных» песен, возникших, очевидно, в конце XVIII в. Автор ее не установлен. В песенниках имя Машенька варьируется (Пашенька, Сашенька) (см.: *Герстенберг И. А., Дитмар Ф. А.* Русские народные песни XVIII в. М., 1958. С. 39—40, 306).

[21] «Di tanti palpiti» — ария Танкреда из одноименной оперы Дж. Россини (1813), пользовавшаяся особой популярностью.

[22] *Долг велыть ~ тебья забить.* — Автор песни не установлен.

[23] *Генеральный писарь* — один из высших чинов в Запорожском войске и на гетманской Украине в XVII—XVIII вв.

[24] *Когда, по воле незабвенной Екатерины ~ и последний гетман клейноды звания своего, бунчук и булаву ~ для вечной памяти потомства...* — Намек на историческое событие, непосредственно связанное с дедом писателя, последним гетманом Украины (с 1750 г.) графом К. Г. Разумовским (1728—1803). Вследствие распространившихся слухов о его заговоре против Екатерины II, императрица указом 1764 г. гетманство упразднила, однако Разумовскому было присвоено высшее воинское звание генерал-фельдмаршала со многими иными щедрыми пожалованиями. Клейноды — отличия и атрибуты власти на Украине в XVI—XVIII вв., к которым относились бунчук, булава, войсковая печать и др. Клейноды делились на гетманские, полковничьи, сотенные и т. д. Бунчук — старинная воинская регалия в виде древка с шаром или острием на верхнем конце, украшенном кистями

и прядями из конских волос; с 1575 г. до екатерининского царствования — регалия малороссийских гетманов. Булава — древнее холодное оружие; в XVI—XVIII вв. на Украине вручалась новоизбранному гетману как символ власти.

[25] *...старинный казачий чин бунчукового товарища...* — Имеется в виду чин воина гетманской гвардии, носившего обыкновенно бунчук.

[26] *Сосницкий повет* — Сосницкий уезд Черниговской губернии, к которому принадлежали и Погорельцы.

[27] *...повез его в Батурин ~ всё еще называл гетманом...* — В числе прочих пожалований К. Г. Разумовскому был выстроен за казенный счет дом в его имении Батурино Черниговской губернии Конотопского уезда. См.: *Гун О. фон.* Поверхностные замечания по дороге от Москвы в Малороссию в осени 1805: В 3 ч. М., 1806. Ч. 2. С. 22—23.

[28] *В турецкую войну...* — Речь идет, очевидно, о русско-турецкой войне 1787—1791 гг.

[29] *...а во французскую кампанию с Суворовым...*— Имеется в виду русско-французская война 1798—1800 гг., которая велась Россией в составе второй антифранцузской коалиции. В ходе ее (в 1799 г.) под предводительством А. В. Суворова были совершены Итальянский и Швейцарский походы.

[30] *...ордена Св. Анны и Иоанна Иерусалимского.* — Подразумеваются голштинский орден, включенный в число российских орденов в 1797 г. Павлом I, и орден, введенный в России в 1798 г. Павлом I — великим магистром (гроссмейстером) Мальтийского ордена Св. Иоанна Иерусалимского — для награждения российского потомственного дворянства с родословной не менее 150 лет, что служит косвенным подтверждением древности рода Орленко; орден был упразднен с воцарением Александра I: в 1803 г. он сложил с себя звание великого магистра Мальтийского ордена; с января 1817 г. награждение орденом в России было прекращено.

[31] *...и на снежных высотах сурового Сен-Готгарда...* — Сен-Готард (Сен-Готгард) — Сен-Готардский перевал в Швейцарских Альпах, преодоленный русскими войсками под начальством Суворова во время Итальянской кампании 1799 г.

[32] *Подкоморий* — межевой судья, пользовавшийся на Украине большим авторитетом и правами.

[33] *...во время Сосницкой ярмонки.* — В уездном городе Сосницы Черниговской губернии ярмарки проводились трижды в году: на сырной неделе, или масленице (восьмая неделя перед Пасхой), в десятую неделю по Пасхе и в день Воздвижения Честного Креста (14 сентября ст. ст.).

[34] *Поветовый маршал* — уездный предводитель дворянства на Левобережной Украине в XVIII—XIX вв.

[35] *Владимирский крест* — учрежденный в 1782 г. Екатериной II орден Святого равноапостольного князя Владимира; разделялся на четыре степени, последняя из которых, четвертая, давалась за выслугу лет на гражданской службе.

[36] *...предобрейший человек, истинный друг человечества!* — Иронически употребленная здесь формула «друг человечества», явно восходящая к фразеологии периода Великой французской революции, имела, очевидно, широкое хожде-

ние. Ср. у Пушкина в его раннем распространявшемся в списках стихотворении «Деревня» (1819): «Но мысль ужасная здесь душу омрачает: / Среди цветущих нив и гор / Друг человечества печально замечает / Везде невежества убийственный позор». Вполне вероятно, что источник ее — текст патента, направленного в 1792 г. Конвентом Ф. Шиллеру и утверждавшего его в звании «почетного гражданина Французской республики». Касаясь в «Дневнике писателя» за 1876 г. этого факта, Ф. М. Достоевский по-французски, т. е. цитатно, воспроизводит ту же формулу: «...au poète allemand Schiller, l'ami de l'humanité». Предположение комментаторов «Дневника писателя» о том, что эта формула, возможно, была создана самим Достоевским, ошибочно (см.: *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1981. Т. 23. С. 31, 364). См. также: *Тургенев А. И.* Хроника русского. Дневники (1825—1826 гг.). М.; Л., 1964. С. 213—214, 496.

[37] *...о материнском попечении августейшей их покровительницы...* — С 1796 г., после смерти Екатерины II, покровительницей Смольного института благородных девиц была императрица Мария Федоровна.

[38] *...веселые острова Невы!* — Гулянья на островах вошли в моду у столичных жителей в 1810-е гг. Особенным разнообразием увеселений для всех сословий отличался Крестовский остров. Публичные гулянья переместились сюда с Каменного острова, из сада А. С. Строганова, также привлекавшего публику всевозможными развлечениями, очевидно, после его смерти в 1811 г. В царствование Екатерины II Крестовский остров был пожалован ею графу К. Г. Разумовскому, владевшему им вплоть до своей кончины в 1799 г., когда он был продан наследниками князьям Белосельским (см.: Крестовский остров // ОЗ. 1820. № 3. С. 198—207; *Вигель Ф. Ф.* Записки. М., 1892. Ч. 6. С. 24—25; Прогулки по Невскому проспекту в первой половине XIX века. СПб., 2002. С. 257—258 (свод литературы и примеч. А. М. Конечного)).

[39] *Контракты* — периодические съезды для заключения коммерческих сделок — контрактов; проводились в Киеве с 1797 г.

[40] *...проводили Анюту до Трех Рук.* — Т. е. до первой почтовой станции в десяти верстах от Петербурга, которая называлась так по трем столбам, стоявшим на скрещении дорог; на столбах были изображения рук, указывавших направление.

[41] *...в беседке, сколоченной из тонких латв...* — Т. е. из тонких жердей.

[42] *Пятнадцать коп на десятине...* — Копа, или копна, в некоторых областях бралась за меру покосов из расчета десять копен на десятину; пятнадцать коп — показатель хорошего урожая.

[43] *Конная ярмонка приходила к концу ~ в Ромны...* — Здесь и далее речь идет об одной из наиболее популярных на Украине ярмарок, проводившихся четыре раза в году в уездном городе Ромны (или Ромен) Полтавской губернии. Роменская ярмарка описана Погорельским по личным впечатлениям: известно, что в 1819 г. он посетил ее вместе с А. К. Разумовским; скорее всего, бывал на ней и позднее.

[44] *...широким малиновым кушаком, окрашенным малороссийским червецом.* — Т. е. кошенилью: «червец — насекомое coecus, кошениль, дающее краску червец» (*Даль В.* Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1980. Т. 4. Статья: Червь).

[45] *Поярковая шляпа* — шляпа из тонкого войлока.

[46] *Кожу́х его, или нагольный тулуп...*— Т. е. тулуп «без покрышки, кожею наружу» (*Даль В.* Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 3. Статья: Кожа).

[47] *...мышковатую грудь.* — Неправильное употребление от «мыщатый, одаренный мышцами» (*Даль В.* Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 3. Статья: Мышь).

[48] *...в *** драгунском полку, что стоит здесь около Андреевки?* — Возможно, имеется в виду одно из шести селений, причисленных к Андреевскому конному заводу Роменского повета, который находился во владениях А. К. Разумовского (см.: *Гун О. фон* Поверхностные замечания по дороге от Москвы в Малороссию... Ч. 2. С. 44).

[49] *...и пунцовая тока на темных волосах...* — Ток (тока) — женский головной убор (от фр. toque — шапочка).

[50] *...ни Сосротов, ни Деспинов...*— Карл Сосерот, Иван Деспин — петербургские зубные врачи.

[51] *...не угодно ли настойки Трофимовского...* — Об известной настойке доктора Трофимовского, употреблявшейся в семействе Разумовского, см.: *Горленко В.* Алексей Алексеевич Перовский // Киевская старина. 1888. Т. 21. № 4. С. 113.

[52] *...и одетые совершенно по предпоследнему нумеру московского «Дамского журнала».* — «Дамский журнал» издавался с непременными картинками мод П. И. Шаликовым в Москве в 1823—1833 гг. Был популярен главным образом среди читательниц, так как регулярно знакомил их с новинками парижской моды. С точки же зрения литературной, в силу своих сомнительных художественных достоинств, служил постоянной мишенью для насмешек.

[53] *Майданщик* — мошенник, шатающийся по базарам, обыгрывающий людей в кости, карты и проч.

[54] *Ты, верно, боишься ~ чтоб зарезать Ваську?* — Этот эпизод, травестирующий приемы романов Радклиф, вызвал ироническую реплику «Северной пчелы»: в напечатанном здесь «Письме Курье к г-же Пигаль», помеченном 1 ноября 1807 г., рассказана «страшная» история «в духе Радклиф», построенная на схожей ситуации и заключенная примечанием анонимного переводчика: «Очевидное подражание (в 1807 году!) истории о козле в „Монастырке" г. Погорельского!» (1830. № 114. 23 сент.); см. также: *Вацуро В. Э.* Готический роман в России. М., 2002. С. 425.

[55] *...как пожил ~ на панском дворе форейтором...* — Форейтор — верховой, правящий передними лошадьми при запряжке цугом. «Всё, что было аристократия или претендовало на аристократию, ездило в каретах и колясках четвернею, цугом, с форейтором. Для хорошего тона, или, как теперь говорят, для *шика*, требовалось, чтобы форейтор был, сколь можно, маленький мальчик...» (*Пржецлавский О. А.* Воспоминания // Помещичья Россия по запискам современников. М., 1911. С. 67—68).

[56] *...сидел лакей в запачканном китайчатом платье ~ высокий, дородный мужчина в светло-сером нанковом сертуке...* — Китайка, или нанка, — про-

стая бумажная ткань, получившая название по месту своего происхождения (вывезена некогда из Китая).

[57] *Будище* — распространенное в Черниговской губернии название сел: здесь их было шесть.

[58] *...и о славном малороссийском разбойнике Гаркуше...* — Семен Гаркуша (1739—?) — запорожский казак, разбойник, в конце XVIII в. наводивший ужас на всю Гетманщину и Слободскую Украину. Несколько раз был пойман, осужден на каторгу, но бежал. В своих разбоях нередко действовал как мститель за казаков и крестьян. В последний раз был схвачен в Ромнах и сослан на вечные каторжные работы в Херсон, где, очевидно, и умер.

[59] *...считала тальки...* — Талька — моток ниток определенной меры, снятый с ручного мотовила — тальки.

[60] *Да расточатся врази твои...* — неточный текст начала молитвы Честному Кресту: «До воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящии Его...».

[61] *Господи, помилуй мя грешного. Верую во единого...* — Слова «Господи, помилуй мя грешного» включены во многие молитвы; «Верую во единого...» — начало Символа веры: «Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым».

[62] *В руце твоя, предаю себя, Господи! Помилуй мя грешного, помилуй мя!* — неточный текст молитвы, творимой перед сном: «В руце Твои, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой. Ты же мя благослови, Ты мя помилуй и живот вечный даруй ми. Аминь».

[63] *...еще не допитая кварта горелки.* — Т. е. кружка или штоф вместимостью в одну восьмую или одну десятую часть ведра.

[64] *...старую шпагу без темляка.* — Темляк — петля из кожи или ленты с кистью, которую носили по установленной форме на эфесе шпаги, сабли, шашки; надевалась на руку при пользовании оружием.

[65] *Чумаки* — возчики на Украине и юге России, перевозившие на волах хлеб, рыбу, соль.

[66] *Бортевые деревья* — деревья с дуплами, естественными или специально выдолбленными, в которых поселяются пчелы.

[67] *...домашнего бутора...*— Т. е. скарба.

[68] *...из гжельского фарфору...* — Одна из известных марок керамики, фаянса и фарфора, производящаяся и поныне в районе села Гжель (Раменский район Московской области). Зарождение производства гжельского фарфора относится к началу XIX в.

[69] *...нашли его в Пале-Рояле...* — Пале-Рояль (Palais Royal — Королевский дворец) — старинное здание в Париже (XVII в.), в помещениях которого располагались кофейни, рестораны, театры, увеселительные и игорные заведения.

[70] *...предлагал ее Александру Филипповичу Смирдину...* — А. Ф. Смирдин (1795—1857) — известный петербургский издатель и книгопродавец.

СТИХОТВОРЕНИЯ

НЕЕЛОВ БЕСПУТНЫЙ!..

Впервые: Русские пропилеи. М., 1916. Т. 2. С. 8—9. Републикации: Вопр. лит. 1984. № 10. С. 259 (публ. М. А. Турьян); *Погорельский А.* Избранное. М., 1985. С. 364.

Печатается по последнему изданию.

Автограф: ОР РНБ, ф. 129 (Киселевых), ед. хр. 20.5, л. 10 (альбом С. А. Неелова; бумага с водяным знаком: «1810»).

Датируется на тех же основаниях, что и стихотворение «Абдул-визирь...» (см. ниже), вместе с которым было вписано Перовским в альбом Неелова.

О С. А. Неелове см.: Русские писатели. 1800—1917: Биогр. словарь. М., 1999. Т. 4: М—П. С. 267—268, а также: наст. изд., с. 576—578.

[1] Намек на поэта-дилетанта Д. И. Хвостова (1757—1835).

ПОСЛАНИЕ К ДРУГУ МОЕМУ N. N., ВОЕННОМУ ЧЕЛОВЕКУ

Впервые: Вопр. лит. 1984. № 10. С. 259—260 (публ. М. А. Турьян). Републикация: *Погорельский А.* Избранное. С. 365—367.

Печатается по последнему изданию.

Автограф: ОР РНБ, ф. 129 (Киселевых), ед. хр. 20.4, л. 54—54а (альбом С. А. Неелова; бумага с водяным знаком: «1810»).

Датируется на тех же основаниях, что и стихотворение «Абдул-визирь...» (см. ниже), вместе с которым было вписано Перовским в альбом Неелова.

АБДУЛ-ВИЗИРЬ...

Впервые: Вопр. лит. 1984. № 10. С. 260—261 (публ. М. А. Турьян). Републикация: *Погорельский А.* Избранное. С. 366—367.

Печатается по последнему изданию.

Автограф: ОР РНБ, ф. 129 (Киселевых), ед. хр. 20.4, л. 62, с ошибочной датой неизвестной рукой: «1814» (альбом С. А. Неелова; бумага с водяным знаком: «1810»).

Датируется не 1814 г., когда А. А. Перовский находился в Германии, а промежутком между июнем и сентябрем 1811 г. (6 июня этого года было учреждено Общество любителей российской словесности при Московском университете, где Перовский числился одним из членов-учредителей; 29 сентября состоялось первое заседание, на котором он собирался выступить с чтением «Абдул-визиря...» — см. запись П. А. Вяземского в «Старой записной книжке» (наст. изд.,

с. 556—557)). Тогда же, очевидно, стихи были вписаны в альбом Неелова, где имеется и собственное, пародирующее «Абдул-визиря...» Перовского амфигури Неелова «Философические рассуждения во время моего процесса 1812 года в Санкт-Петербурге» (с датой: «21 апреля 1812 г.»). Об этом процессе см. письмо ⟨4⟩ Перовского Вяземскому и примеч. 4 к нему (наст. изд., с. 388 и 699).

СТРАННИК-ПЕВЕЦ

Впервые: *Стафеев Г. И.* В отчизне пламени и слова: (А. А. Перовский и А. К. Толстой в Красном Роге). Тула, 1983. С. 41—42, с некоторыми неточностями и иным чтением концовки. Републикация: *Погорельский А.* Избранное. С. 367—369.

Печатается по последнему изданию.

Черновой автограф: РГИА, ф. 1021 (Перовских), оп. 1, ед. хр. 16, л. 28—28 об. (бумага с водяным знаком: «1818»).

Датируется ориентировочно 1818—1819 гг.

ДРУГ ЮНОСТИ МОЕЙ! ТЫ ТРЕБУЕШЬ СОВЕТА?..

Впервые: *Стафеев Г. И.* В отчизне пламени и слова: (А. А. Перовский и А. К. Толстой в Красном Роге). С. 69, с некоторыми неточностями. Републикация: *Погорельский А.* Избранное. С. 369.

Печатается по последнему изданию.

Автограф: РГИА, ф. 1021 (Перовских), оп. 1, ед. хр. 16, л. 1 об. (бумага с водяным знаком: «1819»).

Датировано Г. И. Стафеевым второй половиной 1820-х гг. Однако, судя по водяному знаку бумаги и по содержанию, стихотворение, обращенное, вероятнее всего, к А. А. Толстой, могло быть написано в первые годы после рождения А. К. Толстого, т. е. в 1819—начале 1820-х гг.

К ТИНДАРИДЕ

Горация книга I. Ода IV

Впервые: СО. 1820. Ч. 65. № 42. С. 88—89, подп.: «Алексей Перовский». Републикация: *Погорельский А.* Избранное. С. 369—370.

Печатается по последнему изданию.

Автограф неизвестен.

Представляет собой перевод оды 17, а не 4 из книги I «Од» Горация, как ошибочно указано у Перовского. У Горация ода названия не имеет. Об адресате

ее сведений не сохранилось. Латинская строка — первый стих оды в подлиннике. Такое обозначение од Горация, не имевших названия, встречалось в дореволюционной эдиционной практике.

[1] *Ликей* — гора в Аркадии.

[2] *На холм приятного Лукретила меняет ~ вдоль Устики...* — *Лукретил, Устика* — гора и холмы близ сабинской виллы Горация.

[3] *От зноя Сирия...* — Сириус (Сейриос) — Большой Пес — самая яркая звезда ночного неба, с появлением которой наступает жаркое время года.

[4] *Темпея* — долина в Фессалии.

[5] *На лире тейской...* — Т. е. на «теосской» — на Анакреонов лад, так как Анакреон был родом из Теоса.

[6] *...страсть к Улиссу воспоешь / И Пенелопы и Цирцеи.* — Улисс (греч. Одиссей) — мифический царь острова Итака; Пенелопа — его жена, в течение двадцатилетних скитаний мужа хранившая ему верность; Цирцея (греч. Кирка) — волшебница с острова Эя, год удерживавшая Одиссея на своем острове и родившая ему сына Телегона.

[7] *...сок гроздей лесвийских...* — Т. е. растущих на острове Лесбос.

[8] *...с пылким Вакхом...* — Вакх (греч. Дионис) — бог растительности, покровитель виноградарства и виноделия.

[9] *Арей* — в греческой мифологии бог войны.

[10] *Кир* — персидский царь (VI в. до н. э.).

СТАТЬИ

ДИАНОМЕТР, ИЛИ МАСШТАБ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО УМА И ДЛЯ СООБРАЖЕНИЯ ОНОГО С ПРОЧИМИ КАЧЕСТВАМИ ДУШИ

Публикуется впервые.

Печатается по второму черновому автографу: РГИА, ф. 1021 (Перовских), оп. 1, ед. хр. 16, л. 33, 37, 31—32, 40, 35 (бумага с водяным знаком: «1818»). Первый черновой автограф (л. 34, 36) не воспроизводится, так как почти полностью идентичен второму.

Публикуемые фрагменты имеют прямое отношение к замыслу «Двойника...» (см.: наст. изд., с. 597—598).

[1] *Дианометр* — неологизм, образованный Перовским от термина древнегреческой философии «дианойя», обозначающего способность мышления, разум («dianoia» — букв. «сила мысли»).

[2] *...вот Хлыстов!* — См.: наст. изд., с. 325 и 678, примеч. 1.

[3] *...что она почерпнута из систем доктора Галля!* — Франц Иосиф Галль (Gall; 1758—1828) — австрийский врач и анатом, основатель френологии — учения о зависимости психических особенностей человека (или, согласно терминологии Перовского, душевных качеств) от строения и формы его черепа; именно это основное положение Галля и вызывает возражения Перовского («душа у всех одинакова»). Галль пользовался в России большой популярностью: у него, например, лечился П. Я. Чаадаев, его навещал в Вене в 1804 г. А. И. Тургенев. Позже Пушкин иронически упоминает теорию Галля в черновиках «Графа Нулина» (1825, опубл.: 1828): «Граф местной памяти орган / Имел по Галевой примете...» (*Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.: В 10 т. 2-е изд. М., 1957. Т. 4. С. 517).

[4] *Ум имеет столь тесную связь с другими качествами души ~ вывесть заключение.* — Перовский почти буквально по смыслу повторяет исходное положение Гельвеция, предваряющее его книгу «Об уме» (1758): «Знание ума, — если взять это слово во всем его объеме, — так тесно связано со знанием сердца и страстей человеческих, что нельзя было писать о нем, не затрагивая хотя бы той части этики, которая обща людям всех наций и которая при всяком образе правления имеет в виду только общественную пользу» (*Гельвеций К.-А.* Соч.: В 2 т. М., 1973. Т. 1. С. 145). Однако в дальнейших своих рассуждениях Перовский игнорирует социальный пафос французского философа, отдавая предпочтение нравственно-психологической стороне проблемы.

⟨ПИСЬМО К ИЗДАТЕЛЮ «ВЕСТНИКА ЕВРОПЫ»⟩

Публикуется впервые.

Печатается по черновому автографу: РГИА, ф. 1021 (Перовских), ед. хр. 16, л. 21—23.

Датируется 1820 г. по содержанию (см. примеч. 3).

[1] *...многие спорить могут ~ с «характерами» Лабрюера и с «правилами» Ларошфуко.* — Перовский имеет в виду сочинения французских писателей-моралистов: Жана де Лабрюйера (La Bruyère; 1645—1696), автора эталонной в своем роде книги «Характеры, или Нравы нашего века» (1688) (о необыкновенной ее популярности в России см.: *Сакулин П. Н.* Из истории русского идеализма: Кн. В. Ф. Одоевский. Мыслитель. — Писатель. М., 1913. Т. I, ч. 1. С. 80—83 и по указ.) и Франсуа де Ларошфуко (La Rochefoucauld; 1613—1680), автора «Размышлений, или Моральных изречений и максим» (1665). Обе книги считались образцом афористического стиля и тонкого психологического анализа.

[2] *Вольтер сказал весьма справедливо ~ ума своего тем не доказывают.* — Источник цитаты не установлен.

[3] *...несколько мыслей, напечатанных в 5-м № «Вестника Европы» нынешнего года...* — Речь идет о статье П. И. Шаликова «Мысли, характеры и портреты» (ВЕ. 1820. Ч. 110. № 5. Отд. «Смесь». С. 61—66). В «Дамском

журнале», который Шаликов начал издавать в 1823 г., он использовал это название для постоянного отдела, печатавшего материалы в духе Лабрюйера.

[4] *«Люди становятся иногда ~ их предосудительных слабостей».* — Цитата не совсем точна. У Шаликова: «Люди становятся иногда нашими недоброхотами — чтобы не сказать врагами — единственно оттого, что мы случайно были свидетелями их предосудительной слабости» (С. 61).

[5] *«Весьма многие ~ не действуют, а движутся».* — Процитировано точно (С. 62).

[6] *«Человеку нужно ~ не многим чем разнствует от зверя».* — У Шаликова: «Человек родится не с добродетелию, но для добродетели: поэтому-то ему необходимо нужно нравственное воспитание, без которого человек немногим чем разнствует от зверя» (С. 63).

[7] *«Некоторые писатели ~ на статую бога вкуса».* — Процитировано точно (С. 65).

[8] *Раскрываю азбуку ~ «Ти-ше е-дешь, да-ле бу-дешь.* — См.: *Курганов Н.* Письмовник. 5-е изд. СПб., 1793. Ч. 1. С. 139.

[9] *К чему привыкнешь в молодости, от того не отвыкнешь в старости.* — Аналогичную сентенцию: «К чему привыкнем в молодых летах, того не покинем и в старости нашей» — см.: Азбука российская новейшая, или Букварь для обучения малолетных детей чтению. СПб., 1815. С. 13.

[10] *Наука в развратном человеке ~ к причинению зла».* — Источник цитаты не установлен.

[11] *«Люди порочные ~ в незнакомой стране указывающему дорогу».* — У Шаликова: «Люди порочные, но проповедывающие добродетель, подобны такому человеку, который в незнакомой стране указывает дорогу» (С. 63).

[12] *...делайте то, что я говорю ~ весьма известно.* — По-видимому, источник этого широко распространенного в различных вариациях афоризма — сентенция раннеримского оратора Катона Старшего: «Rem tene, verba sequentur» («Овладей делом, а слова последуют»). Он бытует в восточном фольклоре («Делай то, что говорит мулла, но не делай, что он делает»), его приписывают Титу Ливию. Любопытно, что этот афоризм ассимилирован и Шекспиром — в «Венецианском купце» (1596), в реплике Порции: «Хорош тот священник, который поступает по собственным поучениям. Мне легче научить двадцать человек, как надо поступать, чем быть одной из этих двадцати и следовать собственным наставлениям» (акт I, сцена 2). Ср. у Пушкина в стихотворении «К другу стихотворцу» (1814) слова деревенского батюшки, обращенные к пастве: «Как в церкви вас учу, так вы и поступайте. / Живите хорошо, а мне не подражайте».

[13] *...да позволено мне будет сделать еще замечание на «мысли» другого сочинителя ~ в 6-м № прошлогоднего «Вестника Европы».* — Перовский имеет в виду статью С. Нечаева «Мысли, сравнения и замечания» (ВЕ. 1819. Ч. 104. № 6. С. 148—154).

[14] *«Модное воспитание ~ самые верные подвижные барометры».* — Процитировано точно (С. 151).

[15] *«Лучше ничего не делать ~ согласились с этим мнением».* — Процитировано точно (С. 153).

⟨О ВЫСТАВКЕ В АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ⟩

⟨*Письмо к издателю*⟩

Публикуется впервые.

Печатается по черновому автографу: РГИА, ф. 1021 (Перовских), ед. хр. 16, л. 4, 5, 2, 3, 6 (бумага с водяным знаком: «1819»).

Датируется 1820 г. на основании связи с публикацией в «Сыне отечества» (см. ниже).

7 сентября 1820 г. — после пятилетнего перерыва, связанного с реконструкцией помещений, — открылась выставка произведений воспитанников и профессоров Академии художеств, возобновлявшая традицию ежегодных выставок (о ее открытии см.: ОЗ. 1820. № 6. С. 269—291). Комментируемая статья представляет собой критический отклик на опубликованные в «Сыне отечества» (1820. Ч. 64. № 38. С. 205—226; № 39. С. 255—280; № 40. С. 299—316) заметки некоего «москвича», посетившего выставку в сопровождении петербуржца N. N. Статья А. А. Перовского в печати не появилась, — возможно, потому, что в «Сыне отечества» был вскоре напечатан другой отзыв о выставке и заметках «москвича», озаглавленный «Письмо к издателю» (1820. Ч. 64. № 44. С. 157—172, подп.: «А—ръ Б—ж—въ»). В отличие от Перовского, которого в его рецензии интересовали в основном стилистика и нормы литературного языка, автор «Письма к издателю» дает критический обзор самой выставки: «Не злословие и не страсть противоречить весьма справедливым замечаниям на Академию, напечатанным в вашем журнале, — сказано здесь, — заставили меня написать сии строки, но мысль быть полезным художествам чем-нибудь — хотя своими ошибками, ибо в кругу искусств не монополия, но *стечение* мнений совершенствует познания человеческие» (С. 172).

[1] «*Это столп России!*» ~ *а не на сваи!* — Перовский имеет в виду следующий текст в «Сыне отечества»: «„Это столпы России!" — сказал N. N. после некоторого молчания. „Твоей России! — воскликнул я, обращаясь к Петру, — державы, покрывающей седьмую часть лица земного; и вот на каких колоссах твой достойный преемник созидает храм ее Веры и величия"» (№ 38. С. 206). Речь идет о колоннах для строившегося Исаакиевского собора.

[2] *«В Египте ~ подобные громады!»* — Эта цитата не вполне точна. В «Сыне отечества»: «В Египте, как известно, искусство каменоломное оставило памятники, доселе изумляющие огромностию цельных гранитов, каких в творениях ваяния и зодчества нигде более не встречаем...» (№ 38. С. 206—207).

[3] *Сии последние имеют вышины 56 фут⟨ов⟩. Толщины — от 6 до 7 футов.* — Перовский практически точен: высота колонн Исаакия — 18 м (56 футов = 17.2 м), толщина — 1.85 м (6 футов = 1.84 м).

[4] *Славная статуя Озимандия ~ имеет вышины 68 футов и ширины в плечах от 19 до 20 футов.* — Древнегреческий историк Диодор Сицилийский (ок. 90—21 вв. до н. э.) описывает гробницу Озимандия в своей «Исторической

библиотеке»: «...гробница царя, именуемого Осимандуем, была пространством на десять стадий. При входе в оную находился притвор, сделанный из разновидных камней, длиною на два плефра (200 футов), вышиною в 45 локтей. Отсюда отошед, будет зал каменной квадратный, которого каждой бок мерою в 4 плефра и вместо столбов утвержден на 16 животных, из коих каждое сделано из одного камня и высечено древнею работою. Весь же свод и потолок широтою в две оргии (8 локтей) распещрен по голубой земле звездами, состоит из одного камня. За сим залом вход опять иной — и притвор первому, впрочем, подобен, но разною резьбою убран. При входе в оной видны три статуи, все из одного камня, работы Мемнона Сикнитянина. Из сих одна сидящая более всех других в Египте, которой нога мерою больше 7 локтей. Прочие две стоят у колен ее, одна с правой стороны, а другая с левой; а именно одна дочери, а другая матери, которые величиною до первой не доходят. Сие дело не только по величине своей достохвально, но и по работе удивление заслуживает, и по свойству камня превосходно, потому что в такой громаде не видно ни трещины и никакого порока» (Диодора Сикилийского Историческая библиотека / Пер. с греч. Ив. Алексеева. СПб., 1774. Ч. 1, кн. 1. Отд. 2. С. 77—78).

[5] *Плиний говорит ~ в 114 футов.* — Речь идет о фиванском камне — розовом или красном граните, добывавшемся в Египте, из которого египетские цари сооружали столпы, называя их обелисками. Один из таких обелисков, «в восемьдесят локтей» (37 м, или 120 футов), был установлен Птоломеем II Филадельфом (283—246 гг. до н. э.) в Александрии в знак любви к своей сестре и супруге Арсиное II; Плиний подробно описывает его сложнейшую транспортировку водным путем (см.: *Плиний Старший.* Естествознание. Об искусстве. М., 1994. С. 127—128).

[6] *В развалинах Луксора ~ видны развалины.* — Речь идет о памятниках Нового царства (XVI—XI вв. до н. э.). Упоминаемые Перовским обелиски были частью двух громадных комплексов: Луксорского храма, посвященного культу Фиванской триады богов (Амона, Мут и Хонсу), и соединенного с ним дорогой сфинксов Карнакского храма бога солнца Амона. Два обелиска высотой в 23 и 25 м (Перовский не совсем точен: 70 футов = 21.5 м, 75 футов = 23.1 м) были сооружены по обеим сторонам входа в Луксорский храм, где поныне сохранился только второй; первый же обелиск — в честь Рамсеса II — в 1831 г. был подарен французскому королю Луи Филиппу египетским правителем Мухаммедом Али и в 1836 г. установлен на площади Согласия в Париже. Самый высокий из сохранившихся обелиск в развалинах Карнакского храма в современном измерении имеет 37.7 м.

[7] *«Поспешим, поспешим ~ посвящали время свое».* — Перовский цитирует слова N. N. Им опущен конец фразы: «мы, конечно, найдем выставку значительную» (№ 38. С. 207).

[8] *«...оканчивали мы тротуар Кадетского корпуса». ~ сей тротуар окончен.* — См.: наст. изд., с. 669, примеч. 2.

[9] *Что значит: замедлить нетерпеливость?* — Это и последующие возражения Перовского против неуклюжести и очевидных погрешностей литературного стиля представляются обоснованными. Данная фраза в статье полностью звучит

так: «*Я* между тем открылся моим спутникам, что хотел бы в один раз загладить вину мою перед Академиею ⟨...⟩ то есть осмотреть ее; но что боюсь замедлить их нетерпеливость — видеть выставку» (№ 38. С. 208).

[10] *«Прежде, — сказал художник Т. ~ легко можно было простудиться».* — Эта цитата в «Сыне отечества» находится на с. 209, а не 208. В середине ее у Перовского пропуск. Надо: «...снимать верхнее платье, а особенно тому, кто шел пешком...».

[11] *«Новое начальство хлопотливо!»* — Эти слова принадлежат художнику Т.

[12] *«„Не правда ли, здесь присутствует божество? ~ есть какой-то запах Италии"».* — В «Сыне отечества» этот пассаж находится на с. 213—214. См. также: наст. изд., с. 596—597.

[13] *«Тот, который целый мир простирал в подножие гордости своей». Далее: «Повелитель мира!»* — Точный текст в «Сыне отечества»: « А ты — который целый мир простирал в подножие гордости своей, где ты, дух-истребитель? Где твои венцы и скипетры, твои громы и завоевания? Повелитель мира!» Речь идет о мраморной статуе Бонапарта. Текст сопровождается следующим примечанием: «Статуя сия, работа или подражание французскому ваятелю Шоде (Chaudet), подарена городом Гамбургом графу Витгенштейну, а от него Академии художеств» (№ 38. С. 218—219).

[14] *...и подвел к маленькой фигуре коня ~ а ведет его.* — На эту неточность обратил внимание и рецензент «Сына отечества» (см.: № 44. С. 159). Речь идет об эскизной скульптуре В. И. Демут-Малиновского (1779—1846) — известного мастера, профессора Академии по скульптурному классу.

[15] *«Прежде нежели Д. Л. Нарышкин приобрел Иоанна Доминикинова» ~ Славный живописец Dominico Zampieri ~ а не Доминикинов.* — Картина Доменикино (Доменико) Цампьери (Domenichino Zampieri; 1581—1641) «Иоанн Богослов» (1630-е гг., холст, масло, 102x83), принадлежащая к числу наиболее заметных живописных работ художника, в начале XIX в. находилась в Штутгарте (в собрании Фромана), откуда и была приобретена обер-егермейстером двора Дмитрием Львовичем Нарышкиным (1758—1838), а позднее у него — Николаем I. В 1880 г. по завещанию императрицы Марии Александровны была передана из Зимнего дворца в Эрмитаж, в собрании которого и находится в настоящее время (инв. № ГЭ 246). Понятно, что в 1820 г. широкому зрителю она была недоступна. На выставке была представлена копия картины Доменикино, принадлежавшая А. Е. Егорову (1776—1851) — профессору Академии художеств, который пользовался известностью как превосходный рисовальщик и автор многочисленных картин религиозного содержания. Автор «Письма к издателю» отмечал: «Что скажу я о Иоанне Крестителе г. Егорова? Какая сочность в красках, какая природа в колорите, в рисунке, в округлении теней! Кровь сквозит и переливается под кожею, и жизнь слилась с кисти художника, чтоб одушевить полотно! Может быть, в картине есть недостатки; но я их не видел, и г. Замечатель недаром назвал ее *жемчужиной* нынешней выставки! Слава и честь русскому Доминикину!» (№ 44. С. 171). Перовский, сосредоточившись на грамматической неточности «г-на Замечателя», опустил его слова, косвенно свидетельствую-

щие о том, что речь идет не о подлиннике, а о копии картины, — у него сказано: «...творения Доминикинова, одну из превосходных картин его, я не воображал когда-либо ее видеть» (№ 38. С. 225).

16 *...называет Суворова первым из полководцев нового мира.* — Речь идет о гравированном портрете А. В. Суворова, работы Н. И. Уткина (1780—1868), за который он в 1818 г. получил звание советника Академии художеств.

⟨ТРИ СТАТЬИ О ПОЭМЕ А. С. ПУШКИНА «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА»⟩

Первая статья — «Замечания на письмо к сочинителю критики на поэму „Руслан и Людмила"», напечатанная в «Сыне отечества» (1820. Ч. 65. № 41. С. 39—44; выход в свет — 9 окт.; с пометой и подписью: «Село Хмарино. К. Григорий Б—в»), явилась ответом на «Письмо к сочинителю критики на поэму „Руслан и Людмила"», появившееся в том же журнале за подписью: «NN» и принадлежавшее Д. П. Зыкову (1820. Ч. 64. № 38. С. 226—229; выход в свет — 18 сент.). «Письмо» Зыкова, в свою очередь, адресовалось автору первого критического разбора пушкинской поэмы на страницах «Сына отечества» А. Ф. Воейкову (см.: *В. ⟨Воейков А. Ф.⟩*. Разбор поэмы «Руслан и Людмила»: Сочинение Александра Пушкина // СО. 1820. Ч. 64. № 34—37; выход в свет — 21 авг.—11 сент.). Ответ Перовского Зыкову был написан в форме письма к издателю «Сына отечества»; издавал журнал Н. И. Греч, однако в этот период он отсутствовал в Петербурге и на время отъезда передоверил свои функции Воейкову. Таким образом, фактическим адресатом статьи Перовского являлся Воейков. Возражая Зыкову, он возражал попутно и ему. Несмотря на то что Воейков не подписал свою статью полным именем, авторство его в литературных кругах не было секретом, и можно думать, что Перовский намеренно прибегнул к своего рода мистификации: он писал «Замечания на письмо...», якобы не зная, что «сочинитель критики» на пушкинскую поэму и издатель «Сына отечества» одно и то же лицо.

Датируется статья временем между 18 сентября (датой выхода журнала со статьей Д. П. Зыкова) и 22 сентября 1820 г., когда А. И. Тургенев, еще до появления в печати ответа Перовского, сообщил в письме к П. А. Вяземскому о его авторстве: «Ответ на вопросы Катенина (см.: наст. изд., с. 599. — *М. Т.*) также Алексея Перовского!» (Остафьевский архив князей Вяземских. СПб., 1899. Т. 2, кн. 1: (1820—1823). С. 74).

Вторая антикритика Перовского — «Замечания на разбор поэмы „Руслан и Людмила", напечатанный в 34, 35, 36 и 37 книжках „Сына отечества"» — уже прямо была направлена против статьи Воейкова; она появилась в «Сыне отечества» (1820. Ч. 65. № 42. С. 72—86; выход в свет — 16 окт.) с подписью и пометой: «П. К—в. Павловск. 1820 ⟨г.⟩ сентября 15 дня». Нельзя было не заметить заимствования Перовского, рассчитанного на особый пародийный эффект: незадолго перед тем Воейков напечатал статью, полемически адресованную

Д. Н. Блудову и резкостью своего тона вызвавшую всеобщее возмущение (см.: СО. 1820. Ч. 64. № 37. С. 190—192), с подписью и пометой: «П. К—в. Павловск. 1820 г. сентября 5 дня». 15 сентября 1820 г. А. И. Тургенев писал по этому поводу П. А. Вяземскому: «Каков Воейков? Я вчера сказал ему в глаза всё, что думаю о его разборе и о его ответе Блудову» (Остафьевский архив князей Вяземских. СПб., 1899. Т. 2, кн. 1: (1820—1823). С. 68).

С возражениями на «Замечания...» Перовского выступил критик «М. К—в» (М. С. Кайсаров — авторство указано Н. И. Тургеневым; см.: наст. изд., с. 590—591). Статья эта под названием «Скромный ответ на нескромное замечание г. К—ва» также была опубликована в «Сыне отечества» (1820. Ч. 65. № 43. С. 112—121; выход в свет — 23 окт.). С появлением ее полемика достигла особой остроты и приобрела качественно иной характер. «М. К—в», вступившись за Воейкова и апеллируя к его ученым заслугам, фактически раскрыл его авторство, неизвестное до того широкой публике, а также, прибегнув в качестве защиты к авторитету И. И. Дмитриева, предал гласности и его отрицательный отзыв о поэме Пушкина («Я тут не вижу ни мыслей, ни чувств: вижу одну чувственность»). Тем самым анонимная журнальная рецензия приобретала силу приговора авторитетных литературных судей.

Продолжая полемику, Перовский написал новую антикритику, озаглавленную «Ответ на скромный ответ г-на М. К—ва» (при жизни Перовского не печаталась; впервые: *Вацуро В. Э.* Неизвестная статья А. А. Перовского о «Руслане и Людмиле» // Временник Пушкинской комиссии. 1963. М.; Л., 1966. С. 48—55). Датируется статья, по предположению В. Э. Вацуро, временем между 23 и 28 октября 1823 г. Перовский в «Ответе...», вновь защищая Пушкина и по необходимости защищаясь сам, повторял многое из того, о чем говорил ранее; вместе с тем он представлял своего противника как эпигона-«классика». Хорошо осведомленный в тонкостях литературной борьбы, он пытался нейтрализовать и отзыв Дмитриева. Однако необходимость в публикации статьи отпала; 28 октября 1820 г. А. И. Тургенев сообщал Вяземскому, что противники прекратили полемику, «помирились и обнялись» (Остафьевский архив князей Вяземских. Т. 2, кн. 1: (1820—1823). С. 95).

Сохранились автографы статьи первой (РГАЛИ, ф. 156 (Н. И. Греча), оп. 1, ед. хр. 27, л. 1—4 — беловой, с незначительными разночтениями) и третьей (РГИА, ф. 1021 (Перовских), оп. 1, ед. хр. 16, л. 22—27, 8 — черновой). Имя Пушкина, присутствующее в автографе «Замечаний на письмо...», всюду в тексте первой публикации заменено описательными оборотами («сочинитель поэмы» и т. п.); по-видимому, Перовский хотел избежать впечатления, что критик говорит от имени поэта.

Статьи печатаются по изданию: *Погорельский А.* Избранное. М., 1985. С. 372—390.

ЗАМЕЧАНИЯ НА ПИСЬМО К СОЧИНИТЕЛЮ КРИТИКИ НА ПОЭМУ «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА»

(Письмо к издателю)

[1] *(Однажды навсегда ~ «Начнем сначала».)* — Здесь и далее Перовский с пародийными целями повторяет французские фразы из «Письма к сочинителю критики на поэму „Руслан и Людмила"» Зыкова.

[2] *Их члены злобой съединенны; / Объяты, молча, костенеют...* — Эти строки переданы неточно — в поэме: Их члены злобой сведены; / Переплелись и костенеют...

ЗАМЕЧАНИЯ НА РАЗБОР ПОЭМЫ «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА», НАПЕЧАТАННЫЙ В 34, 35, 36 И 37 КНИЖКАХ «СЫНА ОТЕЧЕСТВА»

(Письмо к издателю)

[1] *...в поэме «Марфа-посадница», писанной в прозе ~ нежели в поэме «Искусства и науки», писанной в стихах.* — «Марфа-посадница, или Покорение Новагорода» (1803) — историческая повесть Н. М. Карамзина. *«Искусства и науки»* — поэма А. Ф. Воейкова, отрывок из которой незадолго перед тем появился на страницах «Сына отечества» (1820. Ч. 64. № 37. С. 178—180).

[2] *...смелою кистью Орловского...* — Александр Осипович Орловский (1777—1832) — живописец и график, писавший в романтической манере батальные и жанровые сцены. Пушкин, также возражая против неуместного сравнения Воейкова, писал Н. И. Гречу в письме от 4 декабря 1820 г., что Орловский «в руки кисти не берет, а рисует только почтовые тройки да киргизских лошадей» (*Пушкин А. С.* Поли. собр. соч. М.; Л., 1937. Т. 13. С. 21).

[3] *...мрачными красками Корреджия...* — Корреджо (Correggio; наст. имя и фам. — Антонио Аллегри (Allegri); ок. 1489—ок. 1534) — художник итальянского Возрождения, полотна которого отличаются грациозностью и праздничным, светлым колоритом. Ошибка Воейкова в свете всеобщих устойчивых оценок этого мастера выглядела прямым невежеством. Пушкин также отметил ее в цитированном выше письме к Н. И. Гречу: «В. ⟨...⟩ говорит, что характеры моей поэмы писаны мрачными красками этого нежного, чувствительного Корреджио» (Там же). О колорите Корреджо Перовский рассуждает в статье «Ответ на скромный ответ г-на М. К—ва» (см.: наст. изд., с. 366).

[4] *...можно быть или казаться Катоном, не быв притом невежливым.* — Имеется в виду Катон Старший (234—149 гг. до н. э.) — римский писатель и общественный деятель, имя которого стало синонимом строгости нравственных правил.

[5] *Объехав голову кругом, щекотит ноздри копиём...* — Эта цитата неточна — в поэме: Объехал голову кругом / И стал пред носом молчаливо; / Щекотит ноздри копиём...

[6] *«Мужицкие рифмы!»* — Этот упрек Воейкова Пушкину основывался на представлении, что нормой поэтической речи является славянская форма «копием» (без перехода *е* в *ё*). Форму «копиём» Воейков ощущал как простонародную.

ОТВЕТ НА СКРОМНЫЙ ОТВЕТ Г-НА М. К—ВА

[1] *...перевел «Енеиду» с латинского, проповеди с немецкого и «Век Лудовика XIV» с французского.* — Перовский пародирует следующий пассаж из статьи М. К—ва: «Г-н В. уже давно доказал a posteriori свое невежество:

a. Переводом Виргилиевых эклог, георгик и „Энеиды" с латинского.

b. Переводом разных мелких стихотворений, проповедей и повестей с немецкого.

c. Переводом Вольтерова „Века Лудовика XIV" и Делилевой поэмы „Сады" с французского» (СО. 1820. Ч. 65. № 43. С. 114).

[2] *...руководствовался иностранными журналами и Лагарпом...* — Жан-Франсуа де Лагарп (де Ла Гарп) (La Harpe; 1739—1803) — французский писатель, автор известного многотомного труда «Лицей, или Курс древней и новой литературы» (1799—1805, рус. пер. — 1810—1814), содержавшего свод эстетических канонов позднего французского классицизма и бывшего учебной книгой.

[3] *...вместо рассуждений о моих пороках и добродетелях...* — Об этом ответе Перовского на личный выпад М. С. Кайсарова по его адресу см.: наст. изд., с. 590—591.

[4] *...увенчанный, первоклассный писатель, на свидетельство которого вы упираетесь...* — Речь идет о И. И. Дмитриеве.

[5] *И я не менее «Невского зрителя» сожалею о том ~ слишком чувственны...* — Имеется в виду статья «Замечания на поэму „Руслан и Людмила", в шести частях, соч. А. Пушкина, 1820» (Невский зритель. 1820. № 7), где, в частности, содержится упрек Пушкину в том, «что он представляет часто такие картины, при которых невозможно не краснеть и не потуплять взоров» (С. 78).

[6] *...и предпочел идти по следам Ариосто и Виланда, а не Флориана.* — Очевидно, имеются в виду поэма «Неистовый Роланд» (1516) итальянского поэта Лодовико Ариосто (Ariosto; 1474—1533), волшебно-рыцарская поэма «Оберон» (1780) немецкого писателя Кристофа Мартина Виланда (Wieland; 1733—1813) и сентиментальные пасторали в прозе французского писателя Флориана (Florian) (наст. имя — Жан Пьер Клари де; 1755—1794), пользовавшиеся в России большим успехом (ср. у Вяземского в статье «О Ламартине и современной французской поэзии» (1830): «Прежде переводили у нас и Делилей, и Флорианов, и Лагарпов, не говорю уже о первостатейных поэтах; по крайней мере, переводы эти разнообразили движения нашего поэтического языка» (*Вяземский П. А.* Соч.: В 2 т. М., 1982. Т. 2. С. 143)).

[7] *...того Корреджия, прозванного живописцем граций! ~ Ночь Корреджия...* — «Живописцем граций» называл Корреджо Ж.-Ж. Руссо. Картина Корреджо «Рождество» (или «Ночь») (1530) хранится ныне в Дрезденской галерее.

⟨О НАРОДНОМ ПРОСВЕЩЕНИИ В РОССИИ⟩

Впервые: РС. 1901. № 5. С. 363—367.

Печатается по тексту первой публикации с исправлениями по автографу.

Беловой автограф: РГИА, ф. 1409 (Собственной Е. и. в. канцелярии), оп. 2, ед. хр. 4698, л. 1—6 (без авторского заглавия; на л. 1 — служебные пометы: «Мнение Перовского о народном просвещении» и «Получено от государя 6 маия 1826 г.»). Известна также авторизованная копия без заглавия и даты: РГИА, ф. 1021 (Перовских), оп. 1, ед. хр. 18, л. 1—10.

[1] *Некоторые из привилегий, дарованных университетам ~ но могут даже нанести существенный вред.* — По мнению некоторых современников, пребывание Перовского на посту попечителя Харьковского учебного округа было отмечено ущемлением университетских свобод; другие связывают это с необходимостью введения ряда практически полезных преобразований (см.: *Багалей Д. И.* Опыт истории Харьковского университета. Харьков, 1904. Т. 2. С. 168—184, 1107).

[2] *Столь же вредное на юношество влияние ~ телесные наказания в училищах.* — Примечательно, что А. К. Разумовский в бытность свою министром народного просвещения дважды издавал специальные циркуляры, направленные против телесных наказаний. Первый — от 18 марта 1811 г., сразу по вступлении в должность, напоминал, что «училищными постановлениями всякие телесные наказания учеников запрещены»; в качестве противодействующей меры Разумовский предписывал за нарушение сего виновных «отрешать от должностей» — вплоть до закрытия пансионов. Повторный циркуляр — от 4 февраля 1814 г. — категорически предписывал увольнение нарушителей (см.: Сборник распоряжений по Министерству народного просвещения. 2-е изд. СПб., 1898. Т. 1: 1802—1834. С. 182, 235).

[3] *Средствами к тому полагаю я следующие...* — Меры по преобразованию системы обучения в России, предложенные Перовским, позже в той или иной форме были приняты правительством (см.: *Эйдельман Н. Я.* Пушкин: Из биографии и творчества. 1826—1837. С. 97).

[4] *...нынешнего министра народного просвещения...* — Имеется в виду А. С. Шишков.

ИВАН ВЫЖИГИН: НРАВСТВЕННО-САТИРИЧЕСКИЙ РОМАН, В 4-х ЧАСТЯХ, СОЧ. ФАДЕЯ БУЛГАРИНА

Впервые: Бабочка. 1829. № 38. 11 мая. С. 151—152, подп.: «-й, -ъ, -й».

Печатается по тексту первой публикации.

Автограф неизвестен.

Принадлежность псевдонима Перовскому зафиксирована И. Ф. Масановым (см.: *Масанов И. Ф.* Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей. М., 1960. Т. 4. С. 364; см. также: *Кирпичников А. И.* Антоний Погорельский, эпизод из истории русского романтизма // Очерки по истории новой русской литературы. 2-е изд., доп. М., 1903. Т. 1. С. 103; Видок Фиглярин: Письма и агентурные записки Ф. В. Булгарина в III Отделение / Изд. подгот. А. И. Рейтблат. М., 1998. С. 381—382, 384—385, 673). Показательно также, что рецензия появилась в дружественной Перовскому и враждебной Булгарину «Бабочке», — резкие нападки «Северной пчелы» на этот «журналец» см.: СПч. 1829. № 4. 8 янв.

[1] *Автор «Выжигина» предстает пред суд публики как литератор и как россиянин.* — Эта авторская позиция была заявлена Булгариным в предваряющем роман посвящении А. А. Закревскому (см.: *Булгарин Ф. В.* Иван Выжигин. СПб., 1829. Ч. 1. С. XVII, XXI).

[2] *Г-н Булгарин очень ошибается ~ из общих топических мест.* — Это полемический выпад против сформулированных Булгариным задач, реализованных в «Выжигине»: «Благонамеренная сатира споспешествует усовершению нравственности, представляя пороки и странности в их настоящем виде и указывая в своем волшебном зеркале, чего должно избегать и чему следовать. Вот с какою целию сочинен роман „Иван Выжигин". В нем читатели увидят, что всё дурное происходит от недостатков нравственного воспитания и что всем хорошим люди обязаны Вере и Просвещению» (Там же. С. VII—VIII).

[3] *Вместо того чтоб видеть в нем ~ и ничего о последних.* — В панегирическом анонсе, приуроченном к выходу романа, Н. И. Греч на страницах «Северной пчелы», в частности, писал: «...характеры лиц, выведенных автором на сцену, не созданы его воображением: они существуют в природе, и тем для читателей привлекательнее. Дворянство белорусское; офицерские похождения в Польше; образ жизни и промысла польских жидов; подьячие и взяточники всех классов и разрядов; жизнь в Москве; помещики благородные и развратные; чиновники-плуты и чиновники честные; воспитание основательное и воспитание поверхностное; просвещение киргизское и непросвещение европейское; общество московское; общество петербургское и общество константинопольское ⟨...⟩ — вот главные черты сей панорамы!» (СПч. 1829. № 37. 26 марта).

[4] *Разве рассказ Выжигина о Венеции ~ сообщать нам подобные новости.* — Перовский не совсем точен: рассказы о Венеции и Константинополе принадлежат не Выжигину, а Миловидину: он описывает свои странствия Выжигину (Ч. 2. Гл. VI—VII).

[5] *...у нас мало уже осталось Глаздуриных ~ еще существуют в России.* — Речь идет об одном из персонажей романа Силе Миниче Глаздурине — о диких его нравах и об описании псовой охоты с его участием (Ч. 3, гл. 5: «Удалой помещик Сила Минич Глаздурин»).

ПИСЬМО К БАРОНУ ГУМБОЛЬДТУ

⟨*Из публикации «Новая тяжба о букве Ъ»*⟩

Впервые: Лит. газ. 1830. № 22. 16 апр. С. 172—177.

Публикация под указанным названием включает предисловие, «Письмо к барону Гумбольдту» и «Ответ барона Гумбольдта».

«Письмо к барону Гумбольдту» приведено во французском оригинале (под строкой), который в настоящем издании не воспроизводится, и в русском переводе (подп.: «Буква Ъ», дата: «С.-Петербург. 28 ноября 1829 г.»). «Ответ барона Гумбольдта» напечатан только в переводе (дата: «С.-Петербург. $\frac{\text{29 ноября}}{\text{11 декабря}}$ 1829 г.») с обещанием опубликовать подлинник в следующем номере газеты. В редакционном примечании также говорилось: «В оригинале подпись имени изображена по-русски и буквы Ъ и Ь подчеркнуты» («Гумбольтъ»).

Авторство Перовского было обнародовано в републикациях «Письма...»: *Погорельский А.* Соч. СПб., 1853. Т. 2. С. 319—345; РА. 1865. Стб. 1128—1129, 1403. В сопровождающей последнюю публикацию заметке П. И. Бартенев называет не только имя автора «Письма...», «замечательного как по обильному запасу филологического знания, так и по ясному изложению», но и имя автора предисловия П. А. Вяземского, ссылаясь на него самого. Эта атрибуция была принята позже и в Полном собрании его сочинений (СПб., 1879. Т. 3. С. 112—120). Точку зрения Бартенева поддержал С. Д. Полторацкий (см.: *Полторацкий С. Д.* Мой словарь библиографический русских безымянных и псевдонимных книг и статей, с означением имен писателей. I. 1821—1866 // ОР РНБ, ф. 603 (С. Д. Полторацкого), ед. хр. 286, л. 29, 49). Е. М. Блинова подтвердила авторство «Письма...» (Перовский) и предисловия к нему (Вяземский) публикацией пометы Вяземского на экземпляре «Литературной газеты», принадлежавшем А. И. Тургеневу: «Новая тяжба о букве Ъ — моя, а письмо — Перовского» (см.: *Блинова Е. М.* «Литературная газета» А. А. Дельвига и А. С. Пушкина. 1830—1831: Указ. содержания. М., 1966. С. 162, примеч. 173). Оспаривал авторство Вяземского Л. А. Черейский в статье «Пушкин и Александр Гумбольдт» (см.: Пушкин: Исслед. и материалы. М.; Л., 1956. Т. 1. С. 256).

«Ответ...» имеет в виду в качестве адресата Д. Н. Блудова, которому Гумбольдт приписал авторство «Письма...» (как письмо именно этому адресату текст помещен в издании: Переписка Александра Гумбольдта с учеными и государственными деятелями России. М., 1962. С. 95—96 — с указанием в примечаниях сведений о Перовском — подлинном авторе «Письма...»). Ошибка Гумбольдта (без указания имени) была отмечена в предисловии Вяземского.

«Письмо к барону Гумбольдту» печатается по тексту первой публикации. Предисловие и «Ответ барона Гумбольдта», также печатаемые по тексту первой публикации, отнесены в примечания.

Автограф «Письма...» неизвестен.

Александр Гумбольдт (Humboldt) (1769—1859) — выдающийся немецкий естествоиспытатель, географ и путешественник; почетный член Петербургской Академии

наук; в мае 1829 г. отправился в путешествие по Азиатской России — на Урал, в Западную Сибирь и на Алтай, широко освещавшееся в печати и поддержанное научной общественностью. По возвращении в ноябре более месяца пробыл в Петербурге (см.: *Есаков В. А.* Александр Гумбольдт в России. М., 1969. С. 58—71).

Полемика о букве Ѣ имела давние корни. По словам Перовского, «в исходе минувшего столетия» уже предпринимались попытки лишить эту букву «прав». В 1811 г. по поводу гонений на букву Ѣ сетовал Н. П. Страхов (см.: *Страхов Н.* Рассматриватель жизни и нравов. СПб., 1811. Ч. 1. С. 68—69). В конце 1820-х гг. эта проблема вновь возникла на фоне повышенного интереса к филологическим и педагогическим вопросам, связанного, в частности, с русской азбукой и возможными реформами русской графики. См. подробнее: *Алексеев М. П.* Запись Пушкина о «Трагедии, составленной из азбуки французской» // Алексеев М. П. Пушкин: Сравнительно-исторические исследования. Л., 1984. С. 411—420.

[1] «Письмо...» предваряется предисловием Вяземского: «Пребывание барона Гумбольдта в России есть важная эпоха в воспоминаниях нашего просвещения. Мы видели в нем высокий пример истинно ученого и образованного человека, который, посвятя жизнь и все способности свои на изучение и развитие одной из отраслей человеческих познаний, не чуждается всех других отраслей и любопытным взглядом окидывает все запросы, любопытные для ума человеческого вообще и для ума народного частно. Всеобъемность размышлений и разговоров его изумительна. Вероятно, никто лучше его не знает науки, избранной им целью постоянных усилий своих, и никто короче его не знает Вселенной. В этом выражении нет преувеличения.

С равною свободою, с равным сведением будет он вам говорить о таинствах подземного мира, об обширных подробностях пустыни Нового Света и о мелких, но блестящих частностях гостиных парижских, в которых жизнь стесняется в ограниченный, но не менее того любопытный круг: о духе младенчествующего человечества и о распре классицизма с романтизмом между Баур-Лормианом и Виктором Гюго. В России, столь еще богатой для наблюдений разнородных, столь еще свежей для изысканий, открылось обширное поле перед испытательным умом его. Язык, сие живое знамение бытия народа, язык наш, столь незнакомый чужестранцам, столь мало знакомый нам самим, должен был обратить на себя внимание ученого путешественника, слышавшего на веку своем звуки языков большей части мира известного: в краткое пребывание свое у нас он учился ему. Особенности его подвергались исследованиям его: буква Ѣ имела эту участь. Однажды в Петербурге, в одном доме, изъявил он мнение свое о бесполезности существования ее в нашей азбуке. Один из присутствовавших написал к нему на другой день челобитную от буквы Ѣ, на французском языке, но сам скрыл свое имя, так что барон Гумбольдт и не узнал его, но по своим соображениям отвечал на полученную грамоту к другому лицу, которое почитал автором ее. Надеясь на снисходительное разрешение обоих писателей, предлагаем читателям нашим сию маленькую тяжбу, которая тем занимательнее, что возникла между светскими учеными в петербургской гостиной, на сцене, в которой мало заботятся у нас о буквах Ѣ и Ь и вообще о русских письменах».

Распря «классицизма с романтизмом между Баур-Лормианом и Виктором Гюго», упоминаемая в предисловии, подразумевает эпизод из ранней юности Гюго, когда он, еще пятнадцатилетний ученик пансиона Кордье, и его старший брат Эжен, — оба крайне неодобрительно относившиеся к поэту-классику Луи Баур-Лормиану (1772—1854), — адресовали ему свои стихотворные послания, вызвавшие, однако, неодобрение их матери (см.: Виктор Гюго и его время / Пер. с фр. 2-е изд. М., 1890. С. 241).

[2] Далее следует «Ответ барона Гумбольдта»:

«Милостивый государь!

Особа весьма остроумная, которую вы часто встречаете в свете и удостоиваете своею благосклонностью, написала ко мне письмо, исполненное наблюдений замысловатых и глубоких об *ударении* и философии грамматики. Убедительно прошу ваше превосходительство изъявить мою живейшую благодарность этой почтенной особе, коей пол показался мне сомнительным, но между тем, вероятно, не принадлежащей к тому, который мы именуем прекрасным: ибо она, с прямым чистосердечием, хвалится преклонными летами своими. Она немного сутуловата и доказывает, что не могла пользоваться благодеяниями госпожи Т. Вы скажете, милостивый государь, что, не имея более права (благодаря добрым советам вашим) нападать на нравственность ее, я малодушно нападаю на наружный ее вид. Нет, м⟨илостивый⟩ г⟨осударь⟩, мир заключен между нами навсегда! Если осмеливаюсь говорить о наружности существа, покровительствуемого вами, и о сходстве его слишком великом с родственником, который слабее и тщедушнее его, то это по худой привычке натуралиста, который приучился рассматривать формы и по ним злословить о свойстве физиогномии личной.

Примите уверение в высоком почтении, с коим имею честь быть, милостивый государь,

вашего превосходительства покорнейший слуга

С.-Петербург. Гумбольдт.

29 ноября / 11 декабря 1829 г.».

Госпожа Т., о которой пишет Гумбольдт, — Анна Александровна Турчанинова (1774—1848), пользовавшаяся известностью в петербургском свете как «целительница-магнетизерка». Под «родственником» Ъ имеется в виду Ь.

ПИСЬМА

А. А. ПЕРОВСКИЙ — П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

Впервые: *Погорельский А.* Избранное. М., 1985. С. 392—398.

Печатаются по тексту первой публикации с исправлениями по автографам: РГАЛИ, ф. 195 (Вяземских), оп. 1, ед. хр. 2529, л. 1—8.

⟨1⟩

Авторская дата содержит описку. Датируется 1810 г. по содержанию (см. примеч. 5).

[1] *...вчерась поутру прибыл в Москву...*— Это и последующие два письма относятся ко времени работы возглавлявшейся П. А. Обресковым (см. о нем примеч. 6) Комиссии, ревизовавшей Нижегородскую, Казанскую, Владимирскую и Пермскую губернии (с 1 сент. 1809 г. по 1 марта 1810 г.). Перовский, в это время чиновник 6-го департамента Сената в Петербурге, и Вяземский, служивший в Московской Межевой канцелярии, были в ее составе. В письмах речь идет о некоторых обстоятельствах, связанных, по-видимому, с работой Комиссии. Ненадолго отлучившись в Москву, Перовский, вероятно, адресовал свои письма в Казань. Поздние воспоминания Вяземского об этой ревизионной поездке см.: наст. изд., с. 553—555.

[2] *...после кончины княгини...*— Имеется в виду Екатерина Андреевна Щербатова (род. 1789), родная сестра Вяземского, умершая 3 января 1810 г., в первый год своего замужества.

[3] *Катерина Андреевна* — жена Н. М. Карамзина.

[4] *Князь Алексей Григорьевич ~ думает отправиться в армию.* — А. Г. Щербатов (1777—1848), муж Е. А. Щербатовой; к этому времени — генерал-майор, участник войн с наполеоновской Францией начала XIX в. В. А. Жуковский, будучи со Щербатовым в дружеских отношениях и сочувствуя его утрате, посвятил ему в «Певце во стане русских воинов» проникновенные строки.

[5] *...отец князя Алексея Григорьевича вчера поутру скончался.* — Григорий Алексеевич Щербатов (род. 1735) скончался 18 января 1810 г. (см.: *Шереметевский В.* Русский провинциальный некрополь. М., 1914. Т. I. С. 978), что подтверждает датировку настоящего письма 1810 г.

[6] *Петру Алексеевичу и Елизавете Семеновне мое всенижайшее почтение...* — П. А. Обресков (1752—1814) — сенатор, главноуправляющий Межевой канцелярией Сената (1804—1814); по характеристике его родственника Д. Н. Свербеева, человек «умный и честный» (*Свербеев Д. Н.* Записки (1799—1826). М., 1899. Т. 2. С. 20). Елизавета Семеновна — жена П. А. Обрескова, урожд. Волчкова (по другим источникам — Балчкова; 1775—1856). См. о ней письмо ⟨3⟩, примеч. 2.

[7] *Иван Алексеевич* — младший брат П. А. Обрескова (ум. 1813), был в чине генерал-майора.

[8] *...17-го генваря был новый выбор министров...* — В соответствии с преобразовательными планами М. М. Сперанского в России к этому времени был учрежден Государственный совет в составе четырех департаментов; во главе их были поставлены высшие правительственные лица, занимавшие до того министерские посты. Освободившиеся же места стали замещаться другими людьми. 1 января 1810 г., в день открытия Государственного совета, состоялись первые назначения министров. Эти перемены явились для всех неожиданностью — сами сме-

щенные министры узнали о них лишь накануне Нового года. В письме Перовского нашли отражение слухи об обсуждении в правительственных сферах кандидатур на еще не занятые министерские должности. О готовившихся в Петербурге государственных переменах Перовский, вероятнее всего, знал от отца — человека в высшей степени информированного. Сам А. К. Разумовский был назначен министром народного просвещения 11 апреля 1810 г. вместо П. В. Завадовского, ставшего председателем Департамента законов (см.: *Васильчиков А. А.* Семейство Разумовских. СПб., 1880. Т. 2. С. 64).

⟨2⟩

1 *Граф опять занемог...* — Т. е. А. К. Разумовский.

2 *Карамзины на этих днях переезжают в Кушникова дом, что на Никитской...* — Сергей Сергеевич Кушников (1765—1839) — племянник Карамзина. Здесь Карамзины прожили только до лета. Вернувшись в сентябре в Москву из Остафьева, они поселились уже на Новой Басманной, в доме Н. С. Мордвинова. Дом же на Никитской сгорел в московском пожаре 1812 г.

3 *...Жуковский никак не хотел решиться ехать ~ его к тебе письмо.* — О чем идет речь, неясно.

4 *Князь Андрей Петрович...* — Имеется в виду Андрей Петрович Оболенский (1769—1852), родственник и друг семьи Вяземских. См. сердечные воспоминания П. А. Вяземского о «мире Оболенском» — патриархальном московском клане князей Оболенских (*Вяземский П. А.* Московское семейство старого быта // Стихотворения. Воспоминания. Записные книжки. М., 1988. С. 314—326). Дружен был с этим семейством и дядя Перовского Л. К. Разумовский.

5 *Димитриев, министр юстиции, живет в доме, который занимал князь Лопухин ~ Князь — президентом Гражданского департамента в Совете.* — Иван Иванович Дмитриев (1760—1837) был назначен министром юстиции 1 января 1810 г., в день открытия Государственного совета, когда состоялись первые назначения министров. В Петербург Дмитриев прибыл 5 января 1810 г. (см.: *Дмитриев И. И.* Взгляд на мою жизнь // Соч. М., 1866. С. 164—165); поселился он в доме Департамента Министерства юстиции на Малой Садовой улице (дом не сохранился; располагался между Большой Итальянской улицей и Невским проспектом). Петр Васильевич Лопухин (1753—1827) — предшественник Дмитриева на посту министра юстиции, назначенный председателем Департамента гражданских и духовных дел в Государственном совете.

6 *Говорят здесь в городе ~ Сенат Казанский, Сенат Киевский и проч...* — Это отражение слухов о готовившемся в то время М. М. Сперанским проекте учреждения Судебного Сената, который предполагалось разделить на четыре округа: Петербургский, Московский, Киевский и Казанский.

7 *На этих днях скончался князь Иван Сергеевич Гагарин.* — И. С. Гагарин (род. 1752), флота капитан 2-го ранга, родной дядя В. Ф. Вяземской со стороны отца; умер 20 января 1810 г.

8 *Вяземский князь Иван Григорьевич, брат графини Разумовской...* — Речь идет о брате Марии Григорьевны Разумовской, урожд. Вяземской (1772—

1865), жены Л. К. Разумовского. Вяземский знал М. Г. Разумовскую с тех лет, когда она была еще женой кн. А. Н. Голицына (до 1812 г.) и часто посещала дом Вяземских, как и ее второй муж Л. К. Разумовский, который был дружен с кн. А. И. Вяземским. Незаурядной личности М. Г. Разумовской и истории столь же незаурядного ее второго брака Вяземский посвятил несколько страниц своих воспоминаний (см.: *Вяземский П. А.* Старая записная книжка // Полн. собр. соч. СПб., 1883. Т. 8. С. 400—407). О самом же кн. И. Г. Разумовском сведений не сохранилось: в «Российской родословной книге» П. В. Долгорукова, например, два брата Марии Григорьевны значатся как «князь NN Григорьевич» и «князь NN Григорьевич» (СПб., 1854. Т. 1. С. 156).

9 *...был у Марьи Крестьяновны...* — Возможно, имеется в виду Мария Христиановна Волчкова (ум. 1830), родственница Е. С. Обресковой.

10 *...и диплом на звание почетного члена Императорского общества испытателей природы ~ его избрало.* — Председателем Общества был А. К. Разумовский, Перовский состоял его членом.

11 *Сушкову дружеский поклон.* — Андрей Васильевич Сушков (1785—1846), брат известного поэта, драматурга, мемуариста Н. В. Сушкова и П. В. Сушкова, отца Е. П. Ростопчиной. А. В. Сушков служил вместе с Вяземским в Межевой канцелярии секретарем П. А. Обрескова и входил, очевидно, в дружеский круг Перовского и Вяземского. Сохранилось посвященное ему амфигури С. А. Неелова, их общего приятеля (см.: наст. изд., с. 576—577, 678), написанное несколькими годами позднее: «Андрей Сушков / Лишь пять вершков / В природе занимает...» (РА. 1875. № 4. С. 476).

12 *...сколько здесь везде больных ~ при императоре.* — Речь идет о торжественном посещении Александром I Москвы 6—12 декабря 1809 г. — впервые после коронации, сопровождавшемся празднествами по случаю дня его рождения.

13 *Князь Николай Алексеевич Голицын также умер.* — Н. А. Голицын (род. 1751) — сенатор, дипломат; умер 4 декабря 1809 г.

⟨3⟩

1 *...мне благоразумие, честь и совесть запрещает ехать в Казань ~ Всякая ошибка влечет за собою наказание.* — С большой долей вероятности можно предположить, что речь идет о какой-то любовной интриге. Позже, описывая тогдашние «путевые впечатления» и припомнив несколько «провинциальных» влюбленностей своих сослуживцев, Вяземский признавался: «Каждый из нас оставлял по себе на память частичку сердца своего в том и другом городе» (*Вяземский П. А.* Старая записная книжка // Полн. собр. соч. Т. 8. С. 409—410).

2 *Князь Иван Михайлович ~ Тебе, я думаю, известны стихи Visapoure к Лизавете Семеновне ~ написал мелом на ломберном столе.* — Кн. И. М. Долгорукий (1764—1823) — поэт, позиционировавший себя как дилетант, в том числе как автор дружеских посвящений в традициях салонной поэзии; с 1802 по 1812 г. был губернатором во Владимире. Этот свой перевод стихов Визапура, по-

священных Е. С. Обресковой, он опубликовал в апрельском номере «Аглаи» за 1810 г. (Ч. 10. С. 27). Вошли эти стихи и в «Сочинения» Долгорукого — как и еще одно — уже оригинальное — посвящение Обресковой «Е. С. О. на бале» (см.: Сочинения кн. И. М. Долгорукого: В 2 т. СПб., 1849. Т. 2. С. 126, 184). Обрескова слыла «вечноюной красавицей» и покоряла сердца до преклонных лет (см. о ней воспоминания П. А. Вяземского в кн.: Хроника недавней старины: Из архива кн. Оболенского-Нелединского-Мелецкого. СПб., 1876. С. 323—324, а также: *Вяземский П. А.* Старая записная книжка. Л., 1929. С. 313, примеч. 101). По воспоминаниям А. О. Смирновой-Россет, уже вдовствующая — «величественная, как королева», — Обрескова очаровала и Карамзина (*Смирнова-Россет А. О.* Дневник. Воспоминания. М., 1989. С. 456). Visapoure (Визапур) — Александр Иванович (по другим источникам — Андреевич) Порюс-Визапурский, князь (1774?—?), эмигрант индийского происхождения; заметная фигура в череде «московских знаменитостей», был известен своей экстравагантностью; дилетант-стихотворец (см. о нем: *Гуров Н. В.* «Тот черномазенький...»: («Индейский князь» Визапур в комедии «Горе от ума») // А. С. Грибоедов: Материалы к биографии. Л., 1989. С. 133—146; *Долгоруков И. М.* Капище моего сердца. 2-е изд. М., 1890. С. 57—58).

[3] *Сообщаю тебе также стихи ~ и свет переживет.* — Эти стихи под названием «Перовскому», с некоторыми разночтениями, были опубликованы во втором томе сочинений Долгорукого в 1849 г. В печатном варианте — строка 1: «Перовский очень мил, тебе то всякой скажет»; строки 4—6: «От сердца моего летит к тебе сей стих, / От сердца, в коем ты приязни врезал чувство / Столь сильно, что его и время не сотрет» (Сочинения кн. И. М. Долгорукого. Т. 2. С. 137). В печати адресатом этих стихов ошибочно назван Н. И. Перовский (см.: РА. 1865. № 1—12. С. 369).

[4] *Прилагаю при сем к тебе письмо, кажется, от Чемесова.* — О каком Чемесове идет речь, неясно. Возможно, это Николай Ефимович Чемесов (род. 1767), знакомый П. А. Вяземского: в его архиве хранится адресованное ему письмо от 25 января 1810 г. Александры Чемесовой с припиской Н. Е. Чемесова (см.: РГАЛИ, ф. 195 (Вяземских), оп. 1, ед. хр. 3010). В своих воспоминаниях о пребывании в Казани Вяземский упоминает еще одного Чемесова, сына богатого казанского помещика (см.: *Вяземский П. А.* Старая записная книжка // Полн. собр. соч. Т. 8. С. 408—409).

⟨4⟩

[1] *Пушкина я еще не видал...* — Речь идет о Василии Львовиче Пушкине (1766—1830). О его пребывании в это время в Петербурге см.: *Пушкин В. Л.* Стихотворения. СПб., 2005. С. 288—289.

[2] *«Беседа» ~ непременно тебе будет доставлена.* — Имеется в виду «Чтение в Беседе любителей русского слова» — сборники, издававшиеся в Петербурге с 1811 по 1816 г. литературным обществом «Беседа любителей русского слова». Здесь речь идет о кн. 5 (ценз. разр. — 17 нояб. 1811 г.; выход в свет — 1812 г.).

[3] *...известие о поносе К. ...* — Этот выпад А. А. Перовского против издателя «Вестника Европы» М. Т. Каченовского, скорее всего, отражает отношение молодых «карамзинистов» к зарождавшейся оппозиции Каченовского к Н. М. Карамзину-историку: в это время Каченовский публикует в «Вестнике Европы», единоличным издателем которого стал с 1811 г., свои статьи, популяризировавшие исторические идеи А.-Л. Шлецера, резким противником которых выступал Карамзин. Именно эти статьи, конечно, подразумевает Перовский, говоря о «мягкой бумаге», так как «Вестник Европы» действительно печатался на мягкой тряпичной бумаге. Сказались здесь, очевидно, и принципиальные разногласия во взглядах на цели и задачи журнала, возникшие между Каченовским и недавним его соиздателем В. А. Жуковским, единомышленником Перовского и П. А. Вяземского (см.: Русские писатели. 1800—1917: Биогр. словарь. М., 1992. Т. 2: Г—К. С. 516—519; Из неизданной переписки В. А. Жуковского / Публ. Р. В. Иезуитовой // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1979 год. Л., 1981. С. 86—106).

[4] *Скажи пожалуй Неелову ~ чрез месяц.* — У С. А. Неелова в это время была длительная тяжба, рассматривавшаяся в Сенате, что нашло отражение в одном из его амфигури: «Мой геморой / Иной порой / Вертит меня, ломает; / Но ах, Сенат / Мне во сто крат / Жить более мешает» (РА. 1875. № 4. С. 476). Быстревский ⟨?⟩ — возможно, Степан Степанович Батиевский, обер-секретарь Второго апелляционного департамента Сената; Лука Иванович Тиханович — также обер-секретарь того же департамента.

[5] *Вельегорский* — Михаил Юрьевич Виельгорский (1788—1856) — композитор-дилетант, знаток музыки; друг Перовского и Вяземского.

[6] *Прасковья Николаевна* — П. Н. Гурьева, урожд. Салтыкова (1764—1830), жена министра финансов Д. А. Гурьева, под начало которого, на должность секретаря министра, только что поступил Перовский.

[7] *Уехал ли Петр Александрович в деревню?* — Имеется в виду кн. П. А. Оболенский (1742—1822), родственник Вяземских, «родоначальник многоколенного потомства Оболенских» (см.: *Вяземский П. А.* Стихотворения. Воспоминания. Записные книжки. М., 1988. С. 314—315). См. также письмо ⟨2⟩, примеч. 4.

⟨5⟩

[1] *...je vous annonce ~ que vous avez composés.* — Скорее всего, речь идет о стихотворении Вяземского, посвященном Перовскому: «Прости, проказник милый!..» (1811) (см.: наст. изд., с. 550—552).

[2] *...П. Н. Г. написала к жене твоей ~ ко всем родным...* — Прасковья Николаевна Гурьева по женской линии доводилась В. Ф. Вяземской, урожд. Гагариной, двоюродной сестрой: мать Гурьевой, Анна Сергеевна, также урожд. Гагарина, — родная сестра отца В. Ф. Вяземской.

А. А. ПЕРОВСКИЙ — А. К. РАЗУМОВСКОМУ

Публикуется полностью впервые. Отрывок с ошибочной архивной датой: «1811» см.: *Стафеев Г. И.* В отчизне пламени и слова: (А. А. Перовский и А. К. Толстой в Красном Роге). Тула, 1983. С. 34—35.

Печатается по автографу: РГИА, ф. 1021 (Перовских), оп. 1, ед. хр. 2, л. 1—4.

Датируется по содержанию: время написания ограничено, с одной стороны, датой начала Отечественной войны, с другой — датой вступления Перовского в 3-й Украинский казачий полк (см.: наст. изд., с. 470).

Уход Перовского в армию вопреки воле родителей подтверждается письмом В. А. Перовского матери от 10 (22) августа 1812 г.: «...про брата я слышал 〈...〉 что он вошел в казачий полк штабс-ротмистром, ето очень выгодно, и не сердитесь за ето на него, теперь всякому не грех служить» (РГИА, ф. 1021 (Перовских), оп. 1, ед. хр. 6, л. 1—2).

А. А. ПЕРОВСКИЙ — С. И. ТУРГЕНЕВУ

Публикуются впервые.

Печатаются по автографам: письмо 〈1〉 — РО ИРЛИ, ф. 309 (бр. Тургеневых), ед. хр. 2347, л. 1—2; письмо 〈3〉 — там же, л. 98—98 об. (с неверным архивным указанием адресата: «И. С. Тургеневу» — по явной описке Перовского в обращении); письмо 〈2〉 — РГАЛИ, ф. 501 (Тургеневых), оп. 1, ед. хр. 168, л. 1—2 (с неверным архивным указанием адресата: «А. И. Тургеневу»).

〈1〉

[1] *...находясь на стези ~ и великим человеком!* — С. И. Тургенев с осени 1815 г. состоял чиновником дипломатической миссии при командире русского оккупационного корпуса во Франции М. С. Воронцове; позднее — с января 1820 г. по сентябрь 1821 г. — был вторым советником при русской миссии в Константинополе. Примечательна идентичная лексика корреспондентов в характеристике Парижа: С. И. Тургенев в письме к братьям от 3 января 1821 г. писал: «Последний год встретил я в ажитациях разного рода, среди самой шумной столицы Европы» (Декабрист Н. И. Тургенев: Письма к брату С. И. Тургеневу. М.; Л., 1936. С. 489).

[2] Цитата из поэмы Гомера «Илиада» (кн. 2, ст. 22).

[3] Цитата из эклоги 3 (57) Вергилия.

[4] Цитата из поэмы Горация «Наука поэзии» (287). Последнее слово «Aetas» («Время») в цитате отсутствует; добавленное от себя Перовским, по смыслу оно соответствует и контексту Горация, и тому, о чем далее Перовский пишет Тургеневу.

[5] *...на другой день отъезда моего из Парижа...* — Перовский, скорее всего, был во Франции в конце сентября—начале октября 1815 г., по завершении работы

Ликвидационной комиссии в Пруссии, членом которой он состоял, и, между прочим, очевидно после специального разрешения Александра I на посещение военными Парижа (см.: наст. изд., с. 583). Известно, что в Париже 6 октября (н. ст.) Перовский вместе с С. И. Тургеневым присутствовал на заседании палаты депутатов (см.: *Орлик О. В.* Передовые русские люди во Франции в 1814—1825 гг. // Новая и новейшая история. 1970. № 6. С. 102—103); 10—11 октября он провел в Нанси у Н. И. Тургенева, прикомандированного к базировавшемуся там генерал-губернатору русской оккупационной зоны М. М. Алопеусу (см.: Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу. С. 142; *Тургенев Н.* Россия и русские. М., 1915. С. 50—51).

[6] *Репнин всё еще не генерал-губернатором... я с ним всё на такой же ноге, как и прежде.* — Николай Григорьевич Репнин ожидал назначения на должность генерал-губернатора Малороссии. Перовский, служивший под его началом старшим адъютантом в Саксонии с 1813 по 1814 г., вплоть до отставки оставался при нем в этой должности (см.: Месяцеслов и роспись чиновных особ, или Общий штат Российской империи на 1816 г. СПб., 1816. Ч. 1. С. 104). О непростом характере их отношений см.: наст. изд., с. 581—582, а также письмо В. А. Перовского В. А. Жуковскому от 10 (22) апреля 1822 г. (наст. изд., с. 464) и примеч. 4 к письму ⟨2⟩.

[7] Цитата из комедии Теренция «Евнух» (59—61).

[8] Цитата из сатиры III Персия (63—65). Чемерица (эллебор, мородник) — средство против душевных болезней и эпилепсии, а также слабительное и рвотное.

[9] Цитата из поэмы Вергилия «Энеида» (IV, 653—654).

[10] Цитата из оды Горация (I, 4, 15).

[11] *Миронов, который теперь комендантом в главной квартире...* — Миронов — командир Жандармского полка (очевидно, с 1815 г., когда этот полк был сформирован, — см.: Военная энциклопедия. СПб., 1912. Т. 10. С. 356) и комендант главной квартиры 1-й армии (с 15 сентября 1817 г. — полковник).

[12] Цитата из поэмы Вергилия «Энеида» (I, 405). Речь идет о Венере, явившейся Энею.

[13] Цитата из оды Горация (III, 6, 23—34). В данной отсылке к книге «Од» Перовский вместо общепринятого латинского сокращения «lib⟨rum⟩» (см. отсылку к оде 4 книги I «Од») употребил французское: «liv⟨re⟩». Эта цитата имеет довольно язвительный скрытый смысл. Контекст ее, Тургеневу, конечно, понятный, таков: «Едва созревши, девушка учится / Развратным пляскам, хитрым ласкательствам, / От малых лет в глубинах сердца / Мысль о нечистой любви лелея» (пер. Н. И. Шатерникова).

[14] Источник цитаты не установлен. Ср. у Плиния: «avidus novitatis», т. е. «жадный до новостей» (Plin. Nat. hist. XII, 11).

⟨2⟩

[1] *...из всех моих знакомых и приятелей, вне России находящихся ~ писал к тебе только одному...* — Как явствует из этих строк и вообще из содержания письма, оно адресовано в Париж, где продолжал служить С. И. Тургенев (мно-

гие письма из их переписки утрачены — см., например, упоминание двух из них, относящихся к 1816 и 1817 гг., в письмах Н. И. Тургенева С. И. Тургеневу — также в Париж: Декабрист Н. И. Тургенев: Письма к брату С. И. Тургеневу. С. 205, 241). Именно к нему, а не к А. И. Тургеневу и обращено это письмо. Как известно, А. И. Тургенев и Перовский летом 1816 г. находились в Петербурге (см.: Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина. 1799—1826. 2-е изд., испр. и доп. Л., 1991. С. 112; «Арзамас»: Сб.: В 2 кн. М., 1994. Кн. 1. С. 368—371).

[2] *...мне совестно против Мериана ~ я его очень люблю и уважаю.* — Андрей Адольфович Мериан (1772—1828) — барон, швейцарец на русской дипломатической службе с 1812 г.; близкий друг и единомышленник братьев Тургеневых, так же как и Перовский, высоко ценивших его человеческие качества, интеллект и дипломатические способности. Большею частью жил в Париже, выполняя различные дипломатические поручения (см. о нем: Декабрист Н. И. Тургенев: Письма к брату С. И. Тургеневу. С. 468, 550—551; *Пугачев В. В.* Предыстория «Союза благоденствия» // Пушкин: Исследования и материалы. М.; Л., 1962. Т. 4. С. 100).

[3] *Ейхгорну скажи ~ и та сегодня или завтра явится.* — Карл Фридрих Эйхгорн (Eichhorn; 1781—1854) — немецкий историк права, в 1813—1814 гг. был сотрудником Центрального административного департамента союзных правительств, где представлял Пруссию. От России здесь работали А. А. Мериан и Н. И. Тургенев (см.: *В. Ш.* Барон фон Штейн // ИВ. 1905. Т. 102. № 10. С. 243—244).

[4] *Репнин наконец генерал-губернатором ~ как еще решено было при тебе в Париже.* — Официальное назначение на должность генерал-губернатора Малороссии Репнин получил 29 сентября 1816 г. Ср. письмо ⟨1⟩ и примеч. 6 к нему.

[5] *Иван Николаевич Rondin* — лицо неустановленное.

⟨3⟩

[1] *...следующую терну simple, без амбов и проч.: 67.35.2.* — Имеются в виду термины игры в лотерею: терна — выход на таблице кряду трех из назначенных игроком номеров; эта ставка в различных вариациях была наиболее популярной в так называемой классической лотерее — в данном случае, это простая терна (simple); амба — выход двух номеров. Ставки соответственно означают тройной или двойной выигрыш. Во Франции в это время лотерея процветала, так как, будучи в монопольном владении государства, приносила существенный доход в казну. В России же она была запрещена еще Екатериной II.

[2] *...адресовав оные братьям Ливио.* — Братья Ливио — Лидел и Томас Ливио, иностранные купцы, занимавшиеся, очевидно, и финансовыми операциями на петербургской бирже.

[3] *Десять рублей получил. ~ Да не забудь прислать выигрыш.* — Эта приписка Н. И. Тургенева опубликована: Декабрист Н. И. Тургенев: Письма к брату С. И. Тургеневу. С. 238. В письме ему же от 25 января 1818 г. Н. И. Тургенев благодарит брата «за лотерейный билет» (Там же. С. 249).

А. А. ПЕРОВСКИЙ — С. С. УВАРОВУ

Публикуются впервые.

Печатаются по автографам: ОПИ ГИМ, ф. 17 (С. С. Уварова), оп. 1, ед. хр. 89, л. 48—56.

⟨1⟩

[1] *Моя сестра* — А. А. Толстая.

[2] *Он вам посылает новую доверенность для детского приюта...* — Скорее всего, имеется в виду датированная 26 августа (7 сентября) 1819 г. доверенность на ведение имущественных дел, выданная А. К. Разумовским, за личной подписью, С. С. Уварову (РГИА, ф. 1021 (Перовских), оп. 1, № 28); в архивном описании она неверно атрибутирована Перовскому.

[3] *...для освобождения земель моей сестры.* — Речь идет о заложенном имении А. А. Толстой Блистова Кролевецкого уезда Черниговской губернии. Взять на себя хлопоты по этому делу Перовские попросили влиятельного в это время в петербургских финансовых кругах Уварова. См. также письмо ⟨2⟩.

[4] *Василий* — В. А. Перовский.

[5] *...и снисходительности Тургенева, моего покровителя.* — Речь идет о А. И. Тургеневе, директоре Департамента духовных дел иностранных исповеданий, где Перовский служил чиновником по особым поручениям.

[6] *...никаких известий от Капниста...* — В. В. Капнист (1757—1823) — поэт и драматург, живший в своем имении Обуховка в соседней Полтавской губернии, давний знакомый А. К. Разумовского: в 1810-е гг. Капнист был почетным членом, а Разумовский — попечителем общества «Беседа любителей русского слова». В 1819 г. Капнист путешествовал по Крыму; очевидно, в память об этом Разумовский завещал ему карту полуострова Крым (см.: наст. изд., с. 469). О визите Капниста в Почеп см. письма ⟨2⟩ и ⟨3⟩.

⟨2⟩

[1] *...но поскольку граф удерживает меня здесь и я решительно не уеду этой зимой...* — Перовский, очевидно по настоянию отца, действительно находился при нем почти неотлучно. Н. И. Тургенев, сообщая 2 июля 1821 г. брату С. И. Тургеневу о постигшем некоторые губернии голоде — «особливо в Черниговской», — добавлял: «Алексей Перовский, живущий там у графа Разумовского, пишет мне, что и на будущий год они не могут ожидать лучшего» (Декабрист Н. И. Тургенев: Письма к брату С. И. Тургеневу. М.; Л., 1936. С. 345).

[2] *Всякий день ждем Капниста ~ как только будет что-то определенное.* — См. письмо ⟨3⟩, примеч. 1.

[3] *...граф был крайне огорчен ~ как достать требуемую сумму.* — Из свидетельства управлявшего всеми имениями А. К. Разумовского в 1817—1818 гг. О. И. Новицкого (подробнее о нем см. письмо ⟨3⟩, примеч. 1 и 2) явствует, что дела графа были расстроены и что за ним числились огромные долги:

при 450 000 руб. годового дохода 300 000 руб. уходило на их погашение. В первом из известных нам документов, касающихся завещания А. К. Разумовского, — безадресном «Объяснении» Перовского, датированном 22 апреля 1822 г. и зафиксировавшем последние указания графа, также говорится о специальных его распоряжениях наследникам по уплате долгов (см.: наст. изд., с. 467—469). См. также письма Ф. д'Изарна 1822—1825 гг. (вероятно, доверенного лица Разумовского в Москве) С. С. Уварову о возможности для Уваровых получить в наследство большие владения при условии уплаты лежащих на них долгов (ОПИ ГИМ (С. С. Уварова), ф. 17, оп. 1, ед. хр. 74).

[4] *Перехожу к делу моей сестры Толстой. ~ вы займетесь им.* — См. письмо ⟨1⟩, примеч. 3.

⟨3⟩

[1] *...смогу сообщить что-нибудь удовлетворительное ~ без какого-либо результата.* — В этом и предыдущих письмах сообщения об ожидаемом и состоявшемся визите Капниста, скорее всего, связаны с тяжбой А. К. Разумовского со своим управляющим О. И. Новицким (см. примеч. 2). Капнист обладал известным весом в губернских кругах — в 1817 г. он был избран маршалом (предводителем) Полтавской губернии, так что Разумовский, очевидно, рассчитывал на его поддержку.

[2] *К⟨ня⟩зь Репнин провел здесь несколько дней ~ о результатах Вашей попытки похлопотать перед Милорадовичем. ~ опровержение отчета Новицкого.* — Отчет О. И. Новицкого в качестве оправдательного документа в тяжбе с Разумовским был им издан под названием: «Щет о приходе, расходе и остатке сумм во время распоряжения генерал-маиора Новицкаго имениями и делами г. действительнаго тайнаго советника графа Алексея Кирилловича Разумовскаго: по Малороссийским экономиям за 1817-й и по сентябрь 1818-го, а по Великороссийским по 1 генваря текущаго 1819 года, с показанием чистой за всеми расходами прибыли, в течении означеннаго времени Его сиятельством полученной, в сравнении с доходами предшедших лет» (в раритетном его экземпляре, сохранившемся в фондах РНБ, на титуле — пояснение от руки: «Напечатан генерал-майором Осипом Ивановичем Новицким в С.-П⟨етер⟩б⟨урге⟩ в 1819 г., в типографии Комиссии составления законов, в числе 180 экз., которые были все уничтожены по требованию наследников графа А. К. Разумовского, так как книжка напечатана была без цензуры» — и неразборчивая подпись).

Конфликт представлялся весьма серьезным, чем и объясняется глубокая тревога Разумовского, наделившего в свое время Новицкого самыми широкими полномочиями. Из пояснений последнего к представленной смете явствует, что Разумовский резко отрицательно воспринимал его «распоряжения», предписав всем управляющим более «не относиться» по делам имений к Новицкому; в декабре же 1818 г. граф печатно известил «о уничтожении доверенностей», выданных ему ранее (см.: Щет... С. 1—2, 13—14). Разумовский, по-видимому, рассчитывал на совет или помощь князя Н. Г. Репнина (см. о нем: наст. изд., с. 581—582; 392 и 701, 393 и 702 — письма ⟨1⟩ и ⟨2⟩ А. А. Перовского

С. И. Тургеневу и примеч. 6 и 4 к ним). Ту же цель он наверняка преследовал и в поисках контактов с М. А. Милорадовичем, влиятельным не только в столице, но и в Малороссии, где он в послевоенные годы занимал должность военного губернатора Киева. Опровержение отчета Новицкого неизвестно.

[3] *Книга, которую вы мне прислали ~ вы его даже превосходите.* — Речь идет о только что вышедшей тиражом в 70 экземпляров книге С. С. Уварова и К. Н. Батюшкова «О греческой антологии» (СПб., 1820), где русские стихи принадлежали Батюшкову, а прозаический текст и французские переводы эпиграмм — Уварову. Перовский присоединил свой похвальный отзыв к многочисленным восторженным откликам на книгу (подробнее см.: «Арзамас»: Сб.: В 2 кн. М., 1994. Кн. 2. С. 100—115, 475—476).

⟨4⟩

[1] *...не могу сообщить ничего утешительного касательно вашей просьбы к графу.* — О какой просьбе идет речь, неясно.

[2] *Меня очень огорчает ~ очередные трудности.* — См. письма ⟨1⟩ и ⟨2⟩.

⟨5⟩

[1] *К⟨няги⟩ня Репнина в Почепе уже несколько дней.* — Речь идет о княгине В. А. Репниной, дочери А. К. Разумовского.

[2] *Последние распоряжения графа находятся у Николая Семеновича Мордвинова...* — Н. С. Мордвинов (1754—1845) — давний близкий друг и доверенное лицо А. К. Разумовского (см. о нем: *Иконников В. С.* Граф Н. С. Мордвинов. СПб., 1873, а также письмо ⟨4⟩ А. А. Перовского Л. А. Перовскому и примеч. 1 к нему и «Объяснение» А. А. Перовского и примеч. 1 к нему — наст. изд., с. 442, 448 и 729; 467 и 734).

⟨6⟩

[1] *Посылаю вам прилагаемую расписку, которую вы у меня просите...* — О какой расписке идет речь, неизвестно.

А. А. ПЕРОВСКИЙ — ВЕЛИКОМУ КНЯЗЮ НИКОЛАЮ ПАВЛОВИЧУ

Публикуется впервые.

Печатается по автографу: РГИА, ф. 1263 (Комитета министров), оп. 1, ед. хр. 414, л. 446—449 об. (на л. 446 служебные пометы: «Получено от государя 1-го августа 1824 г.» и «2 августа 1824. Сделан перевод, собрав справки, составить докладную записку»).

[1] *Благосклонное попечение ~ удостоился вашего участия в нашей судьбе...* — В 1818 г. В. А. Перовский был назначен адъютантом великого князя

Николая Павловича; в 1825-м, при восшествии Николая на престол, — его флигель-адъютантом; в 1828 г. — свиты генерал-майором, завоевав сердечное расположение и дружбу венценосца. Говоря об участии великого князя не только к Василию, но и ко всему семейству Перовских, Перовский несомненно имел в виду письмо, с которым Николай Павлович, осведомленный о стесненных материальных обстоятельствах семейства, в 1821 г. обратился к А. К. Разумовскому: в нем он выражал беспокойство «о благосостоянии» «очень близкого» его сердцу «дорогого Перовского и всей его семьи». Судя по настоящему письму, обращение Николая Павловича сыграло свою роль. См.: наст. изд., с. 588—589.

[2] *...затруднительное положение ~ получить причитающееся нам.* — Граф Петр Алексеевич Разумовский (1775—1835) — сын А. К. Разумовского и В. П. Шереметевой. Учился в Геттингенском университете, по возвращении в Россию был назначен генерал-адъютантом к деду своему, фельдмаршалу и гетману Малороссии К. Г. Разумовскому (1795—1797). Затем продолжил военную карьеру в Петербурге, однако более был известен здесь разгульным поведением, сомнительными знакомствами и огромными долгами. Чтобы положить этому конец, отец в 1806 г. перевел сына на службу в Одессу, чиновником по особым поручениям при новороссийском губернаторе; однако и там он продолжал прежний образ жизни, обрастая новыми долгами и не погашая старые иски. Скончался в Одессе (подробнее см.: *Васильчиков А. А.* Семейство Разумовских. СПб., 1880. Т. 2. С. 118—121; Русский биографический словарь. СПб., 1910. Т. 15). Согласно завещанию отца, Петр Алексеевич, наследовавший значительную часть состояния А. К. РАзумовского, обязан был погасить его долги. Среди кредиторов числились и Перовские, предъявившие заемные письма А. К. Разумовского, по которым, однако, П. А. Разумовский отказывался платить. Дело приняло затяжной и скандальный характер, дойдя до Александра I, к «справедливости» которого прибег А. А. Перовский (см.: Записка о деле действительного камергера графа Петра Алексеевича Разумовского с кредиторами покойного отца его // РГИА, ф. 1263, оп. 1, ед. хр. 114, л. 457—462 об. (служебная помета: «Получено от государя. 1-е августа 1824 г.»)). Для продвижения этого дела Перовские воспользовались высокими родственными и дружескими связями (см. письмо друга семьи В. А. Адлерберга, флигель-адъютанта великого князя Николая Павловича, М. А. Крыжановскому, где сообщалось о передаче записки о деле Перовских через великого князя императору, который «принимает живейшее участие в их положении, осуждая совершенно бесчестный поступок гр. П. А. Разумовского» (РГИА, ф. 1021 (Перовских), оп. 1, ед. хр. 27); ответ А. А. Перовскому Александра I, переданный через председателя Государственного совета В. П. Кочубея, с выражением полного одобрения всех его действий «во время болезни и кончины графа, как основанных на чести и справедливости» (см.: *Горленко В.* А. А. Перовский. Киев, 1888. С. 115), а также протокол заседания Комитета министров от 17 февраля 1825 г., которое было посвящено делу Перовских, переданному сюда на рассмотрение Александром I (РГИА, ф. 1263, ед. хр. 414, л. 443—445)). Наследственная тяжба братьев Перовских с П. А. Разумовским растянулась до 1836 г. (см. письмо ⟨4⟩ А. А. Перовского Л. А. Перовскому — наст. изд., с. 446—448, 453—455).

[3] *...граф без разбора начал продавать всё, что можно превратить в деньги...* — В частности, П. А. Разумовский отдал заимодавцам унаследованную им знаменитую усадьбу А. К. Разумовского на Гороховом поле (ныне ул. Казакова, д. 18—20); всевозможный антиквариат, собрание художественных ценностей и уникальная библиотека, которыми она славилась, были полностью расхищены (подробное описание усадьбы см.: *Пыляев М. И.* Старая Москва: Рассказы из былой жизни первопрестольной столицы. СПб., 1891. С. 342—343).

[4] *...Николаем Перовским, губернатором Феодосии...* — Н. И. Перовский (1785—1858) — сводный брат А. А., В. А. и Л. А. Перовских, также незаконнорожденный сын гр. А. К. Разумовского (см.: наст. изд., с. 568); губернатор (точнее, по официальной формулировке: градоначальник) Феодосии с 1821 по 1825 г. В 1822—1823 гг. был также и таврическим губернатором. Братья Перовские поддерживали с ним тесные родственные и дружеские отношения.

[5] *...копия письма, которое граф Разумовский, вероятно, послал Его величеству...* — Письмо П. А. Разумовского Александру I, датируемое по связи с настоящим письмом 1824 г., известно только в русском переводе (хранится: РГИА, ф. 1263, оп. 1, ед. хр. 414, л. 455 об.—456 об.):

«Список с письма Его императорскому величеству от графа Разумовского

Всемилостивейший государь!

Выполнение обязанности, возложенное на мне как чувствами сердца моего, так и чувствами честности, вынуждает меня умолять ныне высочайшее благоволение Вашего императорского величества.

Запутанное положение дел отца моего, соединенное к собственным моим долгам, препятствовало мне доныне исполнить волю его по разным предметам и удовлетворить как его должников, так и моих.

В то самое время, когда я употребил все силы свои выполнить обязательства, почитаемые мною священными, я находил препятствия во всех моих действиях предпринятыми должниками моими мерами, кои, ежели и не были, как я думаю, несправедливыми, но не менее того безрассудными. Несмотря на все неприятности и огорчения, по сему делу мне причиненные, а более всего от остановки в устроение моих дел против воли моей, я надеюсь, однако, что время, в угождение всем, их образумит, и я могу без всякого неудобства выждать в сем случае обыкновенный ход дел; но сие положение дела моего, всемилостивейший государь, поставит меня в невозможности удовлетворить воле отца моего и собственным моим намерениям относительно человека, крайность которого день ото дня сделается ужаснее. Я тут говорю о действительном статском советнике Николае Перовском. Сей несчастный отец семейства не имеет ничего на свете; отец мой, духовным его завещанием, назначил ему имение, доставляющее ему независимое существование; и без воли моего отца чувства мои к нему возложили бы на меня приятную обязанность обеспечить судьбу его. Долг службы препятствовал ему заботиться о собственных своих делах, и он ныне находится в самом бедственном положении без всяких средств, а имение, которое я бы желал ему отдать, заклю-

чается в числе прочих моих имений, против коих должники мои приняли самые строжайшие меры.

При таких обстоятельствах, всемилостивейший государь, остается мне только всеподданнейше просить Ваше величество в пользу человека, невинной ⟨жертвы⟩ обстоятельств, ему вовсе чуждых. Благоволите, всемилостивейший государь, дозволить мне заключить на имя Н. Перовского дарственный акт на тысячу душ, с тем чтоб он тотчас мог вступить во владение их.

Осмеливаюсь уверить Вашему величеству, что остающееся еще имение мое слишком достаточное удовлетворить обязательства отца моего и собственные мои. Без милости сей, государь, я в невозможности нахожусь обеспечить судьбу человека, которого я люблю и почитаю и который с многочисленным семейством не имеет малейшего средства к пропитанию.

23-го апреля.

Переводил коллежский асессор Юргенсон».

Просьбу П. А. Разумовского, как не требующую специального разрешения, Комитет министров не рассматривал, заподозрив в ней, кажется, лишь очередной демарш против Перовских; это решение дополнительно было мотивировано тем, что Н. И. Перовский в должности градоначальника получал жалованье в 6000 рублей годовых. Удивительная забота противоборствующих сторон о Н. И. Перовском объясняется, возможно, кроме личных притягательных его свойств, осведомленностью братьев Перовских и П. А. Разумовского о реальных его затруднениях: отец троих малолетних детей, Н. И. Перовский, находясь в 1824 г. в годичном отпуске, по истечении его собирался выйти — и вышел — в отставку, причины которой неизвестны. Правда, уже с марта 1825 и по 1829 г. включительно он числился по ведомству Коллегии иностранных дел.

[6] *Поручаю моему деверю Крыжановскому...* — Максим Константинович Крыжановский (1777—1839) — муж Марии Алексеевны Перовской; герой 1812 г., бесстрашный командир лейб-гвардии Финляндского полка, из-за множественных тяжелых ранений лишенный возможности продолжать строевую службу. Должен был быть известен великому князю.

[7] *...подробную записку о нашем деле...* — Ср. «Объяснение» А. А. Перовского (наст. изд., с. 466—470). Скорее всего, Николаю был представлен другой, несохранившийся текст, опиравшийся, без сомнения, на «Объяснение».

[8] В архивном деле имеется служебный перевод письма великому князю (РГИА, ф. 1263 (Комитета министров), оп. 1, ед. хр. 414, л. 452—455):

«Благосклонное попечение, которое благоугодно было Вашему императорскому высочеству оказать во всякое время брату моему Василию, придает мне смелость прибегать к вашему покровительству. Хотя не имею счастие быть лично известен Вашему императорскому высочеству, однако я также воспользовался участием, которое благоугодно было Вашему высочеству принять в положении целого нашего семейства; и преисполнен милостями вашими как преданнейший и благодарнейший слуга ваш, осмеливаюсь просить снисхождение ваше.

Вашему императорскому высочеству известны замешательства, в коих мы находились по причине отклонения графа Петра Разумовского уплатить долги отца его. Уже два года прошло после смерти графа Алексея, и мы не предвидим быть удовлетворены. Терпение наше, уступки, кои мы предлагали, служили только к тому, чтоб подать мысль нашему должнику, что возможно будет избегать уплаты должного нам. Окружен людьми, кои его обманывают, и не имея ни малейшее познание о законах, он убедился, что если ему и не удастся уничтожить векселя отца его, по крайней мере оспаривая действительность их, он может отложить удовлетворение по оным на весьма дальный срок. Хотя он и склонился признавать формально наши претензии, однако доброе сие расположение весьма недолго существовало. Василий и я, мы даже согласились на его убедительную просьбу выменять имеющиеся у нас векселя против недвижимых имений, и мы заключили акт, коим граф обязался ввести нас во владение сих имений в непродолжительном времени. С того времени прошли уже полтора года, и он не думает выполнить обязательство свое. Между тем акт сей поставляет нас в невозможность взымать уплату по нашим векселям, а имения, купленные нами, расстроиваются. В особенности имение, купленное Василием, совершенно расстроилось управителями, которые, зная, что оно должно перейти в другие руки, никакое попечение об оном не имеют. Сверх того, имение сие в скором времени имеет быть продано с публичного торгу за неплатеж лежащего на оном долга Государственному банку.

С другой стороны, брат мой Лев, возвратившись из Италии в октябре месяце прошлого года, находился в неприятном положении другого рода. Приехавши в Москву, узнал он, что граф, не думая более о том, что перед сим признавал законность наших претензий, подал в присутственное место прошение, коим протестует против платежа векселей под предлогом тем, что отец его никогда не занимал тех денег, о коих тут говорится. Векселя наши, быв совершенно той же самой категории, Лев вынужденным находился просить о наложении запрещения на имения графа до совершенной уплаты долгов отца его. Другие должники покойного еще прежде нас приняли таковую же меру в обеспечении их, к которой они тем более имели право приступить, когда видели, что граф, вместо того чтобы подумать об удовлетворении обязательств, кои должны были ⟨быть⟩ для него священными, продавал всё, что только возможно было, и расточил вырученные за оные деньги посмеянию достойным образом. Нет сомнения, что если бы дали ему волю продолжать сие еще один год, едва ли у него осталось бы чем удовлетворить казенные долги, а частные должники совершенно лишились бы уплаты.

При таком положении дел решился я в начале сего года отправиться в Одессу и стараться доказать графу, что собственная его польза требует успокоить должников его, переменяя поведение свое против них. Но все усилия мои были напрасны. Ни просьбы мои, ниже представления знатнейших и почтеннейших особ, кои брали участие в нем, не имели малейшего успеха. Исступленный, что находили средство поставить предел расточению имений его, и убежденный, что тяжба такого рода может быть продолжаема двадцать и более лет, он отвергал всякое предложение.

Расстройство, в которое нас погрузило сие упрямство и недостаток благорасположения, так отяготило нас, что я хотел умолять защиты государя императора.

Но опасаясь беспокоить Его императорское величество, который осыпал нас уже столь многими благодеяниями, остановился я поныне приступить к сему. Впрочем, я намеревался испытать еще раз средство примирения, и одна только крайность могла бы вынудить меня прибегнуть к неисчерпаемым милостям обожаемого монарха нашего.

Известие, полученное мною ныне, принуждает меня прервать безмолвие прежде, нежели желал. Николай Перовский, губернатор феодосийский, доставил ко мне копию с письма графа Разумовского, которое должно быть отправлено к Его величеству, и сие самое поставит меня в необходимость домогаться посредничества Вашего императорского высочества. Я приемлю смелость, представя у сего помянутую копию, всенижайше просить Ваше императорское высочество, дабы благоволили оправдать нас перед лицом государя, по предмету тому, в чем нас обвиняет письмо сие. Не мы противились исполнению воли покойного графа Разумовского. Далеко от сего, напротив того, я просил отца моего, на смертном одре, устроить состояние Николаю, и каждый из моих братьев, бывший на моем месте, точно так бы действовал. Мы искреннейше желаем, чтоб Его величество благосклонно принял просьбу графа; но нельзя нам стерпеть, чтоб он нас оклеветал пред лицом нашего монарха, доброе мнение коего есть для нас самое дражайшее на свете. Графу давно уже надлежало обеспечить судьбу Николая, и если он прежде о сем подумал, он бы не имел надобность утруждать Его величество, ибо несправедливо он нас обвиняет, что мы расстроили его дела. Ни малейшая распря не возникла бы между нами, ежели б он поступал с нами праведно и ежели б он имел точно те чувства для памяти отца его, коими он хвастается в прошении своем государю императору.

Я чувствую, сколь нужно мне снисхождение Вашего высочества, утруждавший вас сим длинным письмом, но я умоляю Ваше императорское высочество благоволить уважить причины, побудившие меня к тому. Государь столько милостей нам уже оказал и благоволение наше к священной особе его столь велико, что всякое предприятие зачернить нас пред лицом его оскорбляет нас самым жесточайшим образом. Мы предпочитали бы совершенное наше разорение к потере благоволения его, и один только страх быть подверженными сему вынуждает меня умолять вас предохранить нас от сего несчастия.

Я поручил деверю моему Крыжановскому представить Вашему императорскому высочеству подробную записку о нашем деле, присланную мною к нему сегодня. Если Вашему высочеству благоугодно будет взглянуть на оную, то увидите, что она послужит доказательством Вашему императорскому высочеству, что мы в поведении своем против графа Разумовского ни на шаг не отступили от правил снисхождения, — что только он нас принудил искать помощь законов и что лицы, в коих вам благоугодно было принимать участие, никогда не сделались недостойными оного.

С глубочайшим благоговением есмь Вашего императорского высочества всенижайший и послушнейший слуга

Новгород-Северский. Алексей Перовский.
6-го июня 1824-го.

Переводил коллежский асессор Юргенсон».

А. А. ПЕРОВСКИЙ — АЛЕКСАНДРУ I

Впервые: *Багалей Д. И.* Опыт истории Харьковского университета (по неизданным материалам). Харьков, 1904. Т. 2. С. 170—171.

Печатается по тексту первой публикации с исправлениями по беловому автографу.

Беловой автограф: РГИА, ф. 733 (Департамент народного просвещения), оп. 49, ед. хр. 577, л. 1—2 (на л. 1 служебная помета: «Получено от государя императора марта 25 дня 1825 года»); черновой автограф: РГИА, ф. 1021 (Перовских), оп. 1, ед. хр. 9.

Кроме Перовского были и другие претенденты на должность попечителя Харьковского учебного округа, в силу чего настоящее письмо носило, по-видимому, сугубо конфиденциальный характер (см.: наст. изд., с. 604).

[1] *Будучи старшим ~ новое существование...* — О ком идет речь, неясно.

[2] *...будучи занят делами, связанными с тяжбой, от которой зависит наше положение...* — Речь идет о наследственной тяжбе с П. А. Разумовским, известной Александру I (см. письмо к великому князю Николаю Павловичу от 6 (18) июня и примеч. к нему — наст. изд., с. 405—410 и 705—710).

[3] *...я не исполняю никакой службы и не приношу никакой пользы отечеству.* — Перовский подал в отставку 8 июля 1822 г., через несколько месяцев после смерти отца (умер 5 апреля 1822 г.), и поселился в Погорельцах.

[4] *Министр народного просвещения не возражает против моего назначения...* — Перовский, очевидно, заручился устным согласием министра народного просвещения А. С. Шишкова; официальное предложение от него последовало 10 июня 1825 г. (см. ответное письмо Перовского Шишкову от 28 июня (10 июля) 1825 г. — наст. изд., с. 412—413).

[5] *...ваш близкий отъезд...* — Перовский был осведомлен о том, что Александр I полагал сразу после Пасхи, приходившейся на 29 марта, отправиться в Варшаву по случаю открытия 3-го Польского сейма (состоялось 1 мая). 4 апреля Александр I действительно выехал туда из Царского Села.

А. А. ПЕРОВСКИЙ — А. С. ШИШКОВУ

Публикуется впервые.

Печатается по писарской копии с подписью Перовского: РГИА, ф. 733 (Департамента народного просвещения), оп. 49, ед. хр. 577, л. 18—18 об. (на полях служебная помета: «Принято г. министром к сведению. 7 июля 1825»).

[1] *Предложение Вашего высокопревосходительства ~ быть мне исправляющим должность попечителя Харьковского учебного округа...* — Имеется в виду сопроводительное письмо Шишкова при копии указа (РГИА, ф. 733, оп. 49, ед. хр. 577, л. 14—14 об.). Указ Александра I Правительствующему Се-

нату о назначении Перовского «исправляющим должность» попечителя Харьковского учебного округа «с производством ему столовых денег по три тысячи шестисот рублей в год из казначейства» был подписан им 3 мая 1825 г. в Варшаве (там же, л. 8; см. также: наст. изд., с. 604—605).

А. А. ПЕРОВСКИЙ — НИКОЛАЮ I

⟨1⟩

Публикуется впервые.

Печатается по автографу: РГИА, ф. 1021 (Перовских), оп. 1, ед. хр. 22, л. 1 (карандашная помета неизвестной рукой: «Отдать Перовскому, чтоб благодарил»).

Настоящее письмо, скорее всего, благодарность Перовского за некое очередное «благодеяние» Николая I, возможно продолжавшего оказывать помощь Перовским в их наследственной тяжбе с П. А. Разумовским (см.: наст. изд., с. 405—410 и 705—710).

[1] *Совсем недавно в Таганроге ~ со стороны августейшего благодетеля, которого я теперь оплакиваю!* — Речь идет о посещении Александром I Таганрога 3 октября 1825 г., когда Перовский, незадолго перед тем утвержденный императором в должности попечителя Харьковского учебного округа, с успехом представлял ему Таганрогскую коммерческую гимназию (подробнее см.: *Багалей Д. И.* Опыт истории Харьковского университета (по неизданным материалам). Харьков, 1904. Т. 2. С. 177).

[2] *...кои расточал на всё мое семейство покойный император.* — См.: наст. изд., с. 410—412.

⟨2⟩

Впервые: Рух декабристів на Україні: Ювілейне видання Укрцентрархіва. Харків, 1926. С. 182—184 (публ. и вступ. заметка О. Багалий-Татариновой).

Печатается по тексту первой публикации.

[1] *Поскольку арест графа Булгари ~ К счастью, нет никаких признаков сего...* — Речь идет о гр. Якове Николаевиче Булгари (ум. 1828), проживавшем в это время в Харькове и Белгороде. Привлечен к следствию из-за знакомства с декабристом Ф. Ф. Вадковским; арестован 24 декабря 1825 г. и препровожден в Петербург, где как раз 1 января 1826 г. был помещен в Петропавловскую крепость, но через 16 дней выпущен с подпиской о невыезде до окончания дела. 9 июня 1826 г. был освобожден с оправдательным аттестатом (см.: Декабристы: Биографический справочник. М., 1988. С. 32—33). К следствию по делу декабристов были привлечены четверо графов Булгари (см.: Там же. С. 31—33). Примечательно, что Перовский осмелился высказать в письме императору уверенность в невиновности Булгари сразу после ареста последнего. О личных

отношениях Перовского и Булгари сведений не сохранилось, но не была ли это со стороны Перовского, наряду с не только верноподданническим, но и искренним осуждением политической оппозиции и желанием отвести от себя возможный удар, также и попытка заступничества? Аналогичную позицию — вслед за ректором Харьковского университета И. Я. Кронебергом — занял Перовский и в 1827 г. в деле о хождении среди студентов «неблагонамеренных сочинений», возбужденном по доносу харьковского губернатора В. Г. Муратова (см. примеч. 2). В секретном предписании начальника Главного штаба И. И. Дибича, действовавшего по поручению Николая I, киевскому военному губернатору П. Ф. Желтухину было, между прочим, сказано, что, в то время как признаки крамолы очевидны, «попечитель Харьковского университета, защищая студентов оного университета, в донесении своем объясняет, что место, из которого сии студенты получали какие-либо подобного рода сочинения, есть военное Чугуевское поселение» (подробнее см.: *Цявловский М. А.* Эпигоны декабристов: (Дело о распространении «зловредных» сочинений среди студентов Харьковского университета в 1827 г.) // Голос минувшего. 1917. № 7—8. С. 76—104).

[2] *Здешний губернатор ~ и привержен нравственным правилам.* — Губернатором Харькова был в это время В. Г. Муратов, ближайший сподвижник А. А. Аракчеева: его благонадежность не вызывала сомнений.

А. А. ПЕРОВСКИЙ — А. К. ТОЛСТОМУ

Впервые: *Погорельский А.* Избранное М., 1985. С. 398—403 (письма ⟨6⟩, ⟨12⟩, ⟨16⟩—⟨19⟩).

Печатаются по тексту первой публикации.

Публикуются впервые (письма ⟨1⟩—⟨5⟩, ⟨7⟩—⟨11⟩, ⟨13⟩—⟨15⟩, ⟨20⟩—⟨23⟩).

Печатаются по автографам: РО ИРЛИ, ф. 301 (А. К. Толстого), № 10, л. 1—42.

Судьба писем А. К. Толстого к А. А. Перовскому в настоящее время неизвестна: в начале XX в. исследователь творчества Толстого А. А. Кондратьев имел еще возможность ознакомиться с письмами 1829—1834 гг. — он дает их краткое описание (без указания их местонахождения) в кн.: *Кондратьев А. А.* Граф А. К. Толстой. СПб., 1912. С. 9—11, 13—14.

⟨1⟩

[1] *Мне очень жаль, что я не могу остаться до завтрего.* — Возможно, это письмо было написано еще в Погорельцах накануне отъезда Перовского в Крым (см. письма ⟨2⟩ и ⟨3⟩).

⟨2⟩

Датируется на следующем основании: судя по содержанию, письмо было написано вслед за предыдущим в конце января и не позднее 10-х чисел февраля,

так как уже 19 февраля Перовский был в Феодосии, посетив до этого Репниных в Почепе и сделав остановку в Чернигове, откуда это письмо, возможно, и было отправлено.

[1]*...но никак нельзя мне не ехать в Крым...* — Это была деловая поездка к П. А. Разумовскому по делу о наследстве после смерти отца (см.: наст. изд., с. 405—410 и 705—710).

[2] *...у князя Репнина...* — Речь идет о князе Н. Г. Репнине. Его жена Варвара Алексеевна (см.: наст. изд., с. 581) после смерти отца унаследовала поместье Почеп в Черниговской губернии, недалеко от Погорелец, где супруги и поселились; здесь, скорее всего, их навестил Перовский — наверняка все для тех же переговоров о наследстве (см. письмо ⟨2⟩ В. А. Перовского В. А. Жуковскому — наст. изд., с. 465—466).

[3] *Робер* — гувернер Толстого; позже, в 1830 г., был также наставником сына П. А. Вяземского Павла (см.: *Вяземский П. П.* А. С. Пушкин: 1826—1837 // А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1985. Т. 2. С. 190).

[4] *Петя* — лицо неустановленное.

⟨4⟩

[1] *Николаев.* — В это время Перовский занимался «кораблестроительными делами»: на принадлежавших ему землях находились корабельные леса, которые он сплавлял в Николаев, на тамошние верфи (см. письмо ⟨4⟩ А. А. Перовского Л. А. Перовскому — наст. изд., с. 445, 452).

⟨5⟩

[1] *Я хотел купить тебе фантазмагорию...* — Фантасмагория — устройство, в котором посредством зеркальных отражений возникают изображения различных картин; демонстрация фантасмагорий входила в число увеселительных представлений в Петербурге.

[2] *Здесь теперь показывают зверей разных...* — В 1820—1830-х гг. в Петербурге были популярны зверинцы Лемана, постоянно пополнявшего свои «живые собрания». Площадки для зверинцев он арендовал в центре города — на Вознесенском проспекте, Гороховой улице, на набережной Мойки (см.: *Денисенко Е. Е.* От зверинцев к ZOOпарку. СПб., 2003. С. 41). Близкое описание петербургского зверинца, относящееся к 1840-м гг., оставил Е. И. Расторгуев в своих очерках «Прогулки по Невскому проспекту» (см.: Прогулки по Невскому проспекту в первой половине XIX в. / Сост., вступ. статья, коммент. А. М. Конечного. СПб., 2002. С. 170). Зверинец в Петербурге был популярен. 12 ноября 1819 г. А. И. Тургенев писал, например, Вяземскому о Пушкине: «...его мельком вижу только в театре, куда он заглядывает в свободное от зверей время. В прочем же жизнь его проходит у приема билетов, по которым пускают смотреть привезенных сюда зверей, между коими тигр есть самый сми-

ренный» (*Тургенев А.* Политическая проза. М., 1989. С. 180). См. также письмо ⟨6⟩.

[3] *Капитолина* — лицо неустановленное.

⟨6⟩

[1] *Благодарю тебя за басню ~ да про Мужика с Козаком.* — Это наиболее ранние из известных свидетельств о первых литературных опытах А. К. Толстого; ни басня, ни песни не сохранились.

[2] *Теперь расскажу тебе о слоне, которого я видел в другом месте. ~ выпьет бутылку и опять ее отдаст назад.* — Первый «слоновый двор» в Петербурге появился в 1714 г. — для слона, подаренного Елизавете Петровне персидским шахом. Позже обустроенные амбары для вновь прибывавших из Персии слонов располагались на территории нынешнего Михайловского замка и Михайловского манежа, затем на Фонтанке и Лиговском канале (так называемый Волынский двор). Тогда же, между прочим, слонов начали приучать и к водке, вводя ее в обязательный рацион. После 1828 г. слоновый двор был переведен в Царское Село (см.: *Пыляев М. И.* Старый Петербург. СПб., 1889. С. 62—65. (Репринт: Л., 1990); *Денисенко Е. Е.* От зверинцев к ZOOпарку. С. 9—15, 32).

⟨7⟩

[1] *Шемиот тебе кланяется...* — Речь идет о семействе Станислава Викентьевича Шемиота (1799—1866) — поляка, вице-президента Польского банка, работавшего в это время в Петербурге. Толстой поддерживал отношения с этим семейством и в зрелые годы (см.: ВЕ. 1897. № 4. С. 601 (письмо С. А. Толстой от 22 октября (3 ноября) 1852 г.)). С. В. Шемиот входил и в круг общения Перовского: его упоминает в своем дневнике поэт И. И. Козлов, с которым Перовский был дружен (см.: Старина и новизна: Ист. сб. СПб., 1906. Кн. 11. С. 53).

[2] *Никса и Саша* — братья Адлерберг — Николай Владимирович (1819—1892) и Александр Владимирович (1818—1888), с которыми дружил Толстой. Александр, как и Толстой, был в числе приглашаемых к наследнику престола Александру Николаевичу детей; впоследствии он стал одним из наиболее приближенных к Александру II лиц. Шуточные письма Толстого конца 1837—начала 1838 г. к другому брату, Николаю, предвосхищают будущего Козьму Пруткова (см.: *Толстой А. К.* Собр. соч.: В 4 т. М., 1964. Т. 4. С. 457—519).

[3] *Воейковы* — дети А. Ф. и А. А. Воейковых — Андрей, Александра и Екатерина. После смерти их матери А. А. Воейковой, урожд. Протасовой (1795—1829), племянницы В. А. Жуковского, наряду с ним детей опекало и семейство Перовских; в 1831 г. Александра Воейкова (1817—1892), ровесница А. К. Толстого, сопровождала его и А. А. Толстую в их поездке по Германии (см.: *Lirondelle A.* Le poète Alexis Tolstoi. Paris, 1912. P. 27; Старина и новизна: Ист. сб. С. 53; *Соловьев Н. В.* История одной жизни: А. А. Воейкова — «Светлана». Пг., 1915—1916. Т. 1—2, по указ.; *Смирнова-Россет А. О.* Дневник. Воспоминания. М., 1989, по указ.).

⟨9⟩

[1] *Мурочка* — Мария Алексеевна Крыжановская, урожд. Перовская (1791—1872, Троице-Сергиевская пустынь, похоронена вместе с А. А. Толстой) — родная сестра А. А. Перовского и А. А. Толстой.

[2] *Кланяйся от меня Шаду ~ Каро.* — Шад — немец-гувернер Толстого, сменивший немца же Науверка во время пребывания А. А. Перовского и А. А. Толстой с сыном в Веймаре при обстоятельствах, о которых спустя годы Толстой рассказал в письме к С. А. Толстой от 24 сентября н. ст. 1867 г. Здесь же он вспоминает о своих прогулках в веймарском парке с собакой Каро (см.: ВЕ. 1897. № 6. С. 628—629).

⟨10⟩

[1] *Я к тебе писал из Погорелец...* — Это письмо Перовского неизвестно.

[2] *Nicolas* — Николай Иванович Перовский (см. о нем: наст. изд., с. 568).

[3] *Тебе кланяются Адлерберг и мадам Баранова...* — Владимир Федорович Адлерберг (1791—1884), отец Александра и Николая (см. письмо ⟨7⟩, примеч. 2); в это время — адъютант Николая I, сопровождавший его в турецкую кампанию 1828 г. (см. о нем: Лица: Биогр. альм. М.; СПб., 1995. Вып. 6. С. 337); содействовал Перовскому в его наследственной тяжбе с П. А. Разумовским (см.: РГИА, ф. 1021 (Перовских), оп. 1, ед. хр. 27). Уехав в действующую армию в апреле 1828 г., Николай I в конце июля из Варны морем отправился в Одессу, где в это время находилось царское семейство: императрица, желая быть вблизи мужа, решила провести лето в Одессе, взяв туда с собой только старшую дочь великую княжну Марию Николаевну, при которой в статусе гофмейстерины находилась Ю. Ф. Баранова, родная сестра В. Ф. Адлерберга. Николай I отбыл из Одессы к войскам 22 августа (см.: СПч. 1828. № 105. 1 сент. Приб.). О круге общения Перовского в Одессе дает некоторое представление короткое свидетельство Д. В. Поленова, направлявшегося по делам посольской службы в Грецию. В письме к родителям от 5(17) августа 1832 г., рассказывая об обеде у градоначальника А. И. Левшина, он писал: «Я нашел у него некоторых хотя мне незнакомых, но известных лиц. Тут были некто г. Марсен, служивший в нашем министерстве; Перовский, сочинитель „Монастырки", и некто Тепляков, молодой поэт с большими дарованиями» (РА. 1885. Т. 3. № 9. С. 98—99).

⟨11⟩

[1] *Скоро мне можно будет ехать в Петербург...* — Возможно, Перовский задержался в Одессе из-за того, что в это время здесь находился с тяжелым ранением, полученным 1 сентября в боях при Варне, его брат В. А. Перовский, исправлявший должность начальника штаба (см.: СПч. 1828. № 110. 13 сент. Приб., а также письма В. А. Перовского В. А. Жуковскому из Одессы от 17(29) сентября и 28 сентября (10 октября) 1828 г. (см.: Оренбургский губернатор В. А. Перовский: Документы. Письма. Воспоминания. Оренбург, 1999. С. 113—115)).

⟨12⟩

[1] *...потому что живу на даче...* — Летом 1829 г. в Петергофе, где находился двор, проживали вместе в одном из «кавалерийских домиков» В. А. Перовский и В. А. Жуковский (см.: *Смирнова-Россет А. О.* Дневник. Воспоминания. С. 197). Вероятнее всего, именно в Петергофе обретался и А. А. Перовский.

[2] *Стихи ~ на день рождения маминьки...* — Стихи не сохранились.

⟨13⟩

[1] *...ты не хотел мне пожертвовать поездкою в Травеминде...* — Травеминде (Травемюнде) — немецкий курорт, а также порт, морские «ворота» Любека, куда приплывали корабли из Кронштадта.

[2] *...он так привык к Шотам...* — Речь идет о родственниках Разумовских. Данила Иванович Шот (в документах двоякое написание: второе — Шотт), принявший российское подданство и записавшийся в первую гильдию российского купечества в Петербурге, в 1809 г. женился там же «на русской» (см.: РГИА, ф. 1343 (Департамента Герольдии), оп. 33, ед. хр. 2379, л. 11) — видимо, на незаконнорожденной дочери («воспитаннице») Л. К. Разумовского, матерью которой предположительно могла быть Прасковья (по другим источникам — Пелагея) Михайловна Соболевская, сестра М. М. Соболевской (см.: *Васильчиков А. А.* Семейство Разумовских. М., 1880. Т. 2. С. 168). Во всяком случае, восприемниками при крещении родившегося в 1812 г. у Д. И. Шота сына Льва были А. К. Разумовский и Н. К. Загряжская (см. запись в метрической книге церкви Рождества Иоанна Предтечи при Пажеском императорском корпусе — Отдел государственного архива Черниговской обл. в г. Нежин, ф. 1104 (Гимназия высших наук кн. Безбородко), оп. 1, ед. хр. 88, л. 154). Обучался Л. Д. Шот вначале дома и в одном из «вольных» петербургских пансионов, а в 1826 г. по прошению отца, очевидно тогда же перебравшегося на жительство в Погорельцы, где поселился в наемной квартире (там же, л. 158; ед. хр. 57, л. 9; ед. хр. 132, л. 36; ед. хр. 102, л. 10), был принят в Нежинскую гимназию (закончил ее в 1831 г.); в апреле 1832 г. вступил в службу в Главный морской штаб (см.: РГИА, ф. 733 (Департамента народного просвещения), оп. 69, ед. хр. 89, л. 1—4). За сведения о Шотах благодарю О. К. Супронюк.

⟨14⟩

[1] *Кланяйся г-ну Шредеру...* — Профессор медицины Гебгард Шредер (Schröder; ум. 1836), сопровождавший Перовского и Толстых в поездке по Германии в 1831 г., стал затем их домашним врачом и близким семейству человеком (см. также письмо ⟨1⟩ А. А. Перовского Л. А. Перовскому и письмо ⟨2⟩ А. А. Толстой Л. А. Перовскому — наст. изд., с. 434—436, 475—477).

[2] *...написал к Шмидту ~ und 1/4 Tl...* — Шмидт — лицо неустановленное. В это время у курильщиков в употреблении были самокрутки; папиросы в бумажных гильзах появились в продаже лишь в 1840-х гг. (см.: *Пеликан А. А.*

Во 2-й половине XIX в. // Голос минувшего. 1915. № 1. С. 151; Прогулки по Невскому проспекту в первой половине XIX в. СПб., 2002. С. 179).

[3] *...скажи Никите Сергеевичу Меркулову ~ на имя Реута...* — Н. С. Меркулов (1768—1852) — очевидно, управляющий имением Перовского, служивший еще у А. К. Разумовского: в письме М. М. Соболевской Перовскому от 15 марта 1820 г. Меркулов упоминается в связи с отданными ему графом хозяйственными распоряжениями (см.: РГИА, ф. 1021 (Перовских), оп. 1, ед. хр. 25, л. 1—1 об.). Реут — возможно, кто-то из подвизавшихся на деловой ниве местных небогатых дворян (упоминание фамилии Ревут см.: Алфавитный список дворянских родов Черниговской губернии / Сост. Г. А. Милорадович. Чернигов, 1890. Раздел «Дворянство бюрократическое, приобретенное чином гражданской службы или пожалованием ордена». С. 25).

[4] *Вася* — В. А. Перовский, в это время оренбургский губернатор; о поездке Перовского в Оренбург см. примеч. 3 к письму ⟨1⟩ А. А. Перовского Л. А. Перовскому (наст. изд., с. 725).

⟨15⟩

[1] *...Адами не умеет вылечить тебя от лихорадки...* — Пьер Адами (1797—1834) — врач-гомеопат.

[2] *...но это не колеблет веры моей в гомеопатию. ~ не знал, куда деться.* — Перовский был страстным приверженцем и пропагандистом обретшей в эти годы огромную, хотя и спорную, популярность гомеопатии; он обратил в свою «веру» действительно одного из «самых записных» ее врагов — врача В. И. Даля. Перовский передает Толстому первые победные для него результаты их медицинского спора, которые Даль печатно подтвердил спустя несколько лет, сопроводив их публичным отречением от прежних печатных выступлений против гомеопатии (см., например: СО. 1833. Ч. 34. С. 347—358; Ч. 35. С. 28—33), с прямой ссылкой на Перовского, «который держался учения омеопатии с такою твердою, непоколебимою уверенностию», что в результате «долгих прений» и опытов над собой Даль вынужден был признаться, что хотя и «неохотно, принужденно», но верит «поневоле», на основании перемен, происшедших в состоянии его здоровья (см.: *Даль В.* Об омеопатии (письмо кн. В. Ф. Одоевскому) // Современник. 1838. Т. 12. Разд. 5. С. 43—72); тогда же Перовский пропагандировал гомеопатический метод лечения и в кругу семьи (см. письмо ⟨1⟩ А. А. Перовского Л. А. Перовскому — наст. изд., с. 432). См. также: Воспоминания доктора Зейдлица // РА. 1874. Кн. 1. № 4. С. 415—416; *Сакулин П. Н.* Из истории русского идеализма: Кн. В. Ф. Одоевский. Мыслитель. — Писатель. М., 1913. Т. I. С. 380—381, примеч.; Быт пушкинского Петербурга: Опыт энциклопедического словаря. [Т. 2]: Л—Я. СПб., 2005. С. 48.

⟨16⟩

[1] *Поздравляю тебя с прошедшими именинами...* — Именины А. К. Толстого отмечались 17 марта: М. М. Соболевская в письме к Перовскому от 15 марта

1820 г. поздравляла сына с этой датой: «Поздравляю тебя с послезавтрашным аменинником 17 число марта. Дай Боже, чтобы он здоров был» (РГИА, ф. 1021 (Перовских), оп. 1, ед. хр. 25, л. 1 об.).

[2] *...я ездил смотреть картину Брюлова...* — Имеется в виду картина К. П. Брюллова «Последний день Помпеи» (1830—1833), написанная художником в Италии, летом 1834 г. перевезенная в Петербург и с осени выставленная в Академии художеств. Во время путешествия в Италию в 1831 г. Перовский и четырнадцатилетний А. К. Толстой посещали в Риме Брюллова как раз в период его работы над этой картиной (см.: *Толстой А. К.* Собр. соч.: В 4 т. Т. 4. С. 25 (запись в дневнике от 4 мая 1831 г.)).

[3] *Мой Гауергманн тоже очень хорош в своем роде.* — Речь идет либо о Якобе Гауэрманне (Hauermann; 1772—1865), либо о Фридрихе Гауэрманне (Hauermann; 1807—1862) — австрийских художниках, писавших жанровые картины и пейзажи.

[4] *Не спеши с «Loup-garou».* — Это самое раннее упоминание о первой повести А. К. Толстого «Упырь», с которой он выступил в печати в 1841 г.

⟨17⟩

Место отправления письма исправляется на основании почтового штемпеля: «С.-Петербург. 22 марта 1835» и адреса назначения: «Москва».

[1] *Должен ли ты приготовляться на русскую историю и будешь ли держать экзамен?* — Речь идет о предстоявших А. К. Толстому экзаменах в Московском университете, которые он, не будучи студентом университета, сдал экстерном в декабре 1835 г.

[2] *Рейтлингер* — лицо неустановленное.

[3] *И Жуковского еще не видал ~ и он очень занят...* — В. А. Жуковский был воспитателем великого князя Александра Николаевича.

[4] *Борька тебе много кланяется...* — Имеется в виду младший брат А. А. Перовского и А. А. Толстой Борис Алексеевич Перовский (1815—1881), в это время корнет Кавалергардского полка. Толстой на протяжении жизни поддерживал с ним не просто родственные, но дружеские отношения.

[5] *Флери* — Лев Львович Флери — библиотекарь Ботанического сада в Петербурге.

⟨18⟩

[1] *...я отдал письмо твое Александру Ивановичу ~ очень счастлив своим положением.* — О ком идет речь, не установлено.

[2] *И Жуковского я видел ~ они, напротив, ему нравятся.* — «Вершины Альп» — не дошедшее до нас сочинение А. К. Толстого; Ваня — вероятнее всего, И. В. Киреевский, очень близкий Жуковскому (как и все семейство Киреевских) и опекаемый им человек; в письмах к его родным Жуковский неизменно называл его домашним именем Ваня.

[3] *Фишера я только видел на одну минуту ~ о форштмейстере...* — О Ф. Б. Фишере см.: наст. изд., с. 573. Форштмейстер (форстмейстер; от нем. Forstmeister) — лесничий.

⟨19⟩

Датируется 1835 г. по связи с письмом ⟨17⟩, где также идет речь об университетских экзаменах А. К. Толстого.

[1] *Узнай от Курбатовых...* — Петр Александрович Курбатов (1788(1795?)—1872), женатый на Прасковье (Елизавете?) Алексеевне, урожд. Перовской, был почетным членом Московского университета и занимал должность начальника университетской типографии (1816—1851). См. о нем: *Толстой М. В.* Мои воспоминания // РА. 1881. Кн. 2. № 3. С. 60—61; *Серков А. И.* Русское масонство. 1731—2000: Энциклопедический словарь. М., 2001. С. 447.

⟨20⟩

[1] *Поздравляю тебя с праздником...* — Имеется в виду Пасха, которая в 1835 г. приходилась на 7 апреля.

[2] *...портрет m-me Stogg ⟨?⟩...* — О каком портрете идет речь, неизвестно.

⟨21⟩

[1] *...я вовсе не на шутку тебе говорил при твоем отъезде...* — После перенесенной тяжелой болезни А. К. Толстой, получив 20 апреля по службе четырехмесячный отпуск «для поправления здоровья», уехал с матерью, в сопровождении доктора Шредера, за границу.

[2] *Дрозд* — лицо неустановленное.

[3] *Буковский* — лицо неустановленное.

[4] *Авдотья* — лицо неустановленное.

⟨22⟩

[1] *...кланяйся тете Маше...* — Т. е. М. А. Крыжановской.

⟨23⟩

[1] *Я раза два катался в Надежине по озеру ~ а голубей диких несметное число!* — Много позже, в письме от 28 ноября 1858 г., Толстой, приглашая в Погорельцы Н. М. Жемчужникова, описывал ему местные красоты, в том числе и озеро: «Погорельцы — одно из самых диких, тенистых и оригинальных мест, с сосновым бором, огромным озером, заросшим камышами, где весной миллионы уток и всякой болотной дичи, которую стреляют на лодках» (*Толстой А. К.* Собр. соч.: В 4 т. Т. 4. С. 98).

А. А. ПЕРОВСКИЙ — Н. И. ГРЕЧУ

Впервые: *Кочубинский А. А.* Адмирал Шишков и канцлер гр. Румянцев: Начальные годы русского славяноведения. Одесса, 1887—1888. С. CIII—CIV.

Печатается по тексту первой публикации с исправлениями по автографу.

Автограф: РО ИРЛИ, ф. 590 (Н. И. Греча из собр. П. Я. Дашкова), ед. хр. 125.

[1] *...возвращаю при сем ~ два руководства Ваши к российской грамматике...* — Речь идет о «Практической русской грамматике» и «Начальных правилах русской грамматики» Н. И. Греча. Оба учебника, представленные им в Комитет рассмотрения учебных пособий (председателем его в это время состоял Перовский), были изучены совместно с Рассматривательным комитетом Российской академии и отклонены ввиду большого количества замечаний и поправок, сделанных, в частности, А. Х. Востоковым. В связи с этим Греч письмами от 14(26) февраля и 21 февраля (5 марта) 1827 г. просил Перовского вернуть рукописи (подробнее см.: *Кочубинский А. А.* Адмирал Шишков и канцлер гр. Румянцев: Начальные годы русского славяноведения. С. C—CIII, CIV—CXV, XCVII—C, 191—194; *Багалей Д. И.* Опыт истории Харьковского университета (по неизданным материалам). Харьков, 1904. Т. 2. С. 178). Тем не менее оба учебника были изданы: первый — в том же 1827 г., второй — в 1828 г. (с дальнейшими переизданиями). Спустя несколько лет В. Г. Белинский назвал учебник Греча «сборником устарелых правил и дурных примеров» (*Белинский В. Г.* Полн. собр. соч. М., 1953. Т. 1. С. 312), однако позднейшие исследователи считают «Практическую русскую грамматику», несмотря на ее недостатки, «первым подробным и систематическим грамматическим руководством», оказавшим большое влияние на развитие учебной и научной литературы по русскому языку (см.: *Виноградов В. В.* Русская наука о русском литературном языке // Учен. зап. МГУ. 1946. Вып. 106. Т. 3, кн. 1. С. 48—49; Русские писатели. 1800—1917: Биогр. словарь. М., 1992. Т. 2: Г—К. С. 20).

А. А. ПЕРОВСКИЙ — С. И. ДОДАЕВУ-МАГАРСКОМУ (ДОДАШВИЛИ)

Впервые: Лит. Грузия. 1988. № 6. С. 222—223 (публ. С. Хуцишвили).

Печатается по тексту первой публикации.

С. И. Додашвили, известный в русской философской литературе как Додаев-Магарский (1805—1836) — грузинский философ, ученый, педагог; был в числе первых грузин, окончивших С.-Петербургский университет. В Петербурге же в 1827 г. издал свой труд, посвятив его Перовскому, тогдашнему попечителю Харьковского учебного округа, в который входила в числе других округов и Грузия. Текст посвящения, воспроизведенный в публикации, передан неточно (ср. в издании «Курс философии»: «Его превосходительству господину попечите-

лю Харьковского университета и его учебного округа, действительному статскому советнику и кавалеру Алексею Алексеевичу Перовскому»).

[1] *...по возвращении моем из-за границы...* — С июня 1827 г. по январь 1828 г. Перовский путешествовал за границей.

А. А. ПЕРОВСКИЙ — К. А. ЛИВЕНУ

Впервые: *Барсуков Н.* Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1890. Кн. 3. С. 166—167.

Печатается по тексту первой публикации (дата и адресат — «министр народного просвещения» — указаны публикатором).

[1] *Комитет, рассмотрев рукописи Мерзлякова...* — В конце 1827 г. Комитет устройства учебных заведений поручил известному университетскому профессору А. Ф. Мерзлякову, автору нескольких пособий по эстетике и теории литературы, составить для гимназий новую «Риторику» и краткую «Пиитику». Мерзляков окончил их в конце 1829 г. О результате рассмотрения представленных рукописей Комитетом Перовский, его председатель, и сообщает министру народного просвещения К. А. Ливену.

[2] *...известной книги Гейнзия «Der Redner und Dichter»...* — Иоганн Якоб Вильгельм Гейнзе (Heinse; 1746—1803) — немецкий писатель, знаток искусства; его книга «Der Redner und Dichter» («Оратор и поэт») выдержала несколько изданий (1810; 1817; 1824).

[3] *...с прибавлением авторов древних и европейских из Эшенбурга...* — Иоганн Иоахим Эшенбург (Eschenburg; 1743—1820) — немецкий историк литературы. Свои университетские курсы Мерзляков читал по иностранным руководствам, в частности по работам Эшенбурга, три из которых, с небольшими изменениями, он перевел на русский язык: «Краткая риторика, или Правила, относящиеся ко всем родам сочинений прозаических» (3-е изд. 1821), «Краткое начертание теории изящной словесности» (1822. Ч. 1—2) и «Краткое руководство к эстетике» (1829). См. также: *Сакулин П. Н.* Из истории русского идеализма: Кн. В. Ф. Одоевский. Мыслитель. — Писатель. М., 1913. Т. 1, ч. 1. С. 49—50, 53, примеч. 2.

[4] *«Счастливы те народы, у коих богов полны огороды!»* — В своей «Краткой риторике...» Мерзляков с «признательностью» упоминает, в частности, и «Риторику» Ивана Рижского, где в качестве примера иронии значится: «Коль святы те народы, / У коих полны все богами огороды!» (*Рижский И.* Опыт риторики. 3-е изд. Харьков, 1822. С. 291).

[5] *...для показания слога сатиры приводится сатир Антиоха Кантемира «К уму своему».* — Имеется в виду «К уму. Сатира I. На хулящих учения» (оконч. ред. 1743). В. А. Жуковский, высоко ценивший сатиры Кантемира, особенно эту, отмечал вместе с тем их архаический язык: «...стихотворец искусный,

умеющий владеть языком своим (весьма приятным, хотя он и устарел)...» (*Жуковский В. А.* О сатире и сатирах Кантемира // Жуковский В. А. Эстетика и критика. М., 1985. С. 204). Того же мнения позже придерживался и В. Г. Белинский: «По языку, неточному, неопределенному, по конструкции, часто запутанной ⟨...⟩ по стихосложению ⟨...⟩ сатиры Кантемира нельзя читать без некоторого напряжения» (*Белинский В. Г.* Полн. собр. соч. М., 1955. Т. 8. С. 633—634).

А. А. ПЕРОВСКИЙ — В. Ф. ВЯЗЕМСКОЙ

Публикуется впервые.

Печатается по автографу: РГАЛИ, ф. 195 (Вяземских), оп. 1, ед. хр. 3411, л. 1—1 об.

Адресат устанавливается по содержанию.

[1] *Время торопит, / И волосы дыбом встают...* — Источник цитаты не установлен.

[2] *...должен возвратиться из Египта к концу августа...* — Это единственное свидетельство путешествия Перовского в Египет; никакими иными сведениями об этом путешествии мы не располагаем. Однако несомненный интерес Перовского к Египту и его памятникам был, очевидно, устойчивым — его серьезные познания в этой области нашли отражение уже в ранних набросках неопубликованной статьи об Академии художеств (см.: наст. изд., с. 345—350).

[3] *Я даже запретил сестре провожать меня до первой станции ~ лишают ее удовольствия принять ваше приглашение...* — Первой почтовой станцией от Москвы в южном направлении был отстоявший от нее в 30-ти верстах город Подольск; имение Вяземских Остафьево находилось по той же дороге, не доезжая Подольска. Если бы визит А. А. Толстой к В. Ф. Вяземской состоялся, она, выехав из Москвы вместе с братом, должна была бы свернуть в Остафьево, не доехав до первой станции.

[4] *...молитесь иногда, чтобы Бог послал мне попутный ветер...* — Морской путь из России в Египет пролегал из Одессы — через Константинополь, Босфор и Дарданеллы — в Средиземное море, через остров Крит — и до Александрии.

[5] *Посылаю к вам одну из моих девиц с просьбой дружески ее принять.* — О ком идет речь, неизвестно.

А. А. ПЕРОВСКИЙ — А. С. ПУШКИНУ

Впервые: Письма Пушкина и к Пушкину: Новые материалы, собранные книгоиздательством «Скорпион» / Ред. и примеч. В. Брюсова. М., 1903. С. 111, с датой: ⟨1833?⟩; перепечатано: Пушкин: Переписка / Под ред. и с примеч. В. И. Саитова. СПб., 1911. Т. 3. С. 2, с пометой: «Январь 1833 г. Петербург»;

Пушкин. Полн. собр. соч. М.; Л., 1948. Т. 15. С. 48, с пометой: «Январь—первая половина февраля 1833 г. Петербург».

Печатается по последней публикации.

Датировка уточняется на следующих основаниях: 1) к моменту написания письма бо́льшая часть работы над текстом «Монастырки», частично уже отпечатанным, была позади, недописанной оставалась только последняя глава; 2) Перовский практически одновременно отдал на прочтение главы XVII и XVIII Пушкину и главу XIX Вяземскому, а главы XX—XXI передал переписчику. 6-го же февраля 1833 г. Вяземский сообщал А. И. Тургеневу: «Перовский кончил или кончает свою „Монастырку". То, что я прочел из второй части, — прелесть» (Остафьевский архив князей Вяземских. СПб., 1899. Т. 3. С. 220). Судя по сжатым срокам, которые Перовский отводил своим рецензентам, письмо, сопровождавшее переданные Пушкину главы, могло быть написано в первых числах февраля.

А. А. ПЕРОВСКИЙ — Л. А. ПЕРОВСКОМУ

Публикуются впервые.

Печатаются по автографам: РГИА, ф. 1021 (Перовских), оп. 1, ед. хр. 83, л. 1—14.

В русском переводе нами принято обращение А. А. Перовского к брату на «вы»: согласно свидетельству Ф. П. Толстого, деверя А. А. Толстой, близко общавшегося с семейством Перовских, Л. А. Перовский, человек, по его характеристике, «надменный» и соблюдавший дистанционные отношения с близкими, общался с братьями и сестрами на «вы», что, скорее всего, влекло за собой и аналогичное ответное обращение (см.: Записки гр. Ф. П. Толстого. М., 2001. С. 172). Такая форма вообще отражала патриархальные отношения — она присутствует, например, в переписке братьев Тургеневых — правда, в письмах младших к старшему (см.: *Лотман Ю. М.* Воспитание души. СПб., 2003. С. 568).

⟨1⟩

[1] *Я очень огорчен ~ Шредер ~ творит чудеса: если случайно встретите Кругликова-Чернышева ~ вы будете изумлены.* — О приверженности Перовского гомеопатии см. примеч. 2 к письму ⟨15⟩ А. К. Толстому — наст. изд., с. 718. Его доводы в пользу гомеопатического лечения свидетельствуют об осведомленности в основных принципах этого метода: согласно теории родоначальника гомеопатии Самуэля Ганнемана, «болезни зависят от расстройства жизненной силы, они имеют чисто духовный, нематериальный характер; поэтому лекарства действуют не своим вещественным составом, а заключенными в них нематериальными силами». Возражения противнику гомеопатии, некоему «эскулапу-злодею», отражают горячие и продолжительные дискуссии, развернувшиеся на страницах журналов с начала 1830-х гг. (подробнее см.: *Громбах С. М.* Пушкин и медицина его времени. М., 1989. С. 104—106). О Шредере см. примеч. 1 к письму ⟨14⟩

А. А. Перовского А. К. Толстому и письмо ⟨2⟩ А. А. Толстой Л. А. Перовскому — наст. изд., с. 717, 475—477. Иван Гаврилович Кругликов-Чернышев (правильнее: Чернышев-Кругликов) (1787—1847) — участник войны 1812 г. (полковник в отставке, впоследствии тайный советник); возможно, был знаком братьям Перовским с военных лет; был у них и общий круг петербургского общения — А. С. Пушкин, А. И. Тургенев, В. А. Жуковский. Чернышева-Кругликова могло также сближать с Перовским увлечение гомеопатией.

[2] *...однако нельзя отрицать ~ желаю ему этого.* — О ком идет речь, неясно.

[3] *Скажу вам, дорогой друг ~ чтобы начать всё сначала.* — Здесь и в следующих письмах речь идет о приобретении братьями Перовскими золотых приисков на Урале, в Оренбургской губернии. Инициатором и основным координатором этого предприятия, скорее всего, являлся Алексей Алексеевич, — именно с этим была связана и предшествовавшая настоящему письму его поездка в Оренбург в конце декабря 1833—январе 1834 г., где военным губернатором в это время был В. А. Перовский. Сохранился связанный, очевидно, с этой поездкой Перовского подробный маршрут от Симбирска до Бугульмы — уездного города Оренбургской губернии, откуда пролегала до Оренбурга Новомосковская почтовая дорога (РГИА, ф. 1021 (Перовских), оп. 1, ед. хр. 16, л. 41). Опасения Перовского по поводу выгод затеянного дела были в общем небезосновательны: до начала 1830-х гг. допуск частных лиц к разработке золотоносных россыпей в Сибири был запрещен; В. А. Перовский, желая изыскать средства для увеличения войсковых доходов, присоединился к тем, кто ратовал за развитие золотопромышленности на казачьих землях. Однако правовая сторона вопроса, включая обоснование более широкой выдачи подобных разрешений не только на землях оренбургского казачества, но и на частных башкирских владениях и казенных тептярских землях (см. примеч. 4), была окончательно отрегулирована лишь к 1835—1836 гг. (см.: Записки генерал-майора И. В. Чернова (1740—1881). Оренбург, 1907. С. 78). Чернов, между прочим, сообщает крайне любопытные, отсутствующие в других доступных источниках, сведения. По его утверждению, В. А. Обручев, сменивший в 1842 г. В. А. Перовского на посту оренбургского генерал-губернатора, отправил в военное министерство донос, в котором значилось, что «Перовский в 1835—1838 гг. утвердил приговор башкир о дозволении сестре его — Анне Алексеевне, графине Толстой, разработки золота» (Там же. С. 138). При этом в его «Записках» ни слова не говорится о золотопромышленных делах самих братьев Перовских. Что же касается А. А. Толстой, то, по сведениям более позднего времени, она действительно владела золотыми приисками (см. письмо ⟨2⟩, примеч. 3).

[4] *Дело тептярей ~ в Межевом департаменте...* — Тептяри — одна из некоренных народностей, населявших Оренбургскую губернию; они начали переселяться сюда из Казанской, Вятской и других губерний в XVI в. и селились на башкирских землях «по припуску», т. е. платя башкирам оброк. Это была неимущая и наиболее зависимая часть населения. В 1832 г. правительство издало наконец манифест, разрешавший многолетние земельные споры: тептяри получили в собственность земельные наделы (подробнее о тептярях см.: Адрес-календарь Оренбургской

губернии: С справочными приложениями 1851 года. Уфа, 1851. Разд. 2. С. 10—11; *Черемшанский В. М.* Описание Оренбургской губернии в хозяйственно-статистическом, этнографическом и промышленном отношениях. Уфа, 1859. С. 165—168). Именно с этим связано, скорее всего, предполагавшееся разбирательство дела тептярей в Межевом департаменте С.-Петербурга. Перовский не случайно ставит в известность об этом брата, который, будучи вице-президентом Департамента уделов, числился и среди сенаторов, назначенных к присутствию в Межевом департаменте Правительствующего Сената (см.: Месяцеслов и общий штат Российской империи на 1833 г. СПб., 1833. Ч. 1. С. 330). Братья Перовские, судя по всему, были в числе пионеров впоследствии расцветших золотопромышленных разработок на тептярских землях, обогативших эту некогда нищенствовавшую народность: к 1917 г. в Верхнеуральском уезде Оренбургской губернии существовала уже Тептярская золотопромышленная компания (см.: Урал северный, средний и южный: Справочная книга / Сост. Ф. П. Доброхотов. Пг., 1917. С. 689).

[5] *...билеты польского займа...* — Имеется в виду долгосрочный заем, пользовавшийся в Петербурге популярностью в течение длительного времени; объявления о выигрышных билетах широко печатались в прессе (см.: Прогулки по Невскому проспекту в первой половине XIX в. СПб., 2002. С. 149, 295—296).

[6] *...зайдите в косметический магазин...* — Магазин находился на Невском проспекте, 26.

⟨2⟩

[1] *...ваше письмо от 26 июля...* — Это письмо неизвестно.

[2] *...г-на Кузмина.* — Сокращение «s-r» (фр. seigneur) рядом с фамилией Кузмин во французском подлиннике здесь и далее имеет снисходительно-ироничный оттенок.

[3] *Я немедля пошлю ему доверенность... ~ во время вашего бродяжничания.* — Здесь, как и в предыдущем письме, речь идет о покупке Перовскими золотых приисков и организации управления ими. Кузмин и Тит Поликарпович — привлеченные к этому делу на месте исполнители — лица неустановленные. Александр Григорьевич Зотов, как явствует из этого и последующих писем, являлся главным доверенным лицом и, возможно, компаньоном А. А. Перовского (см. примеч. 7), впоследствии весьма преуспевшим: согласно газетным спискам имений, на которые наложены запрещения, в 1862 г. по двум искам золотопромышленника, почетного гражданина А. Г. Зотова на основании постановления С.-Петербургского гражданского надворного суда на все недвижимое имение наследника Перовского А. К. Толстого было наложено запрещение в обеспечение предъявленных Зотовым претензий на суммы в сто одну тысячу семьсот одиннадцать рублей тридцать четыре копейки и девяносто шесть тысяч пятьсот семьдесят два рубля шестьдесят три копейки (СПб. вед. 1862. № 66, 74). Аналогичные иски Зотов предъявил в 1854 и 1862 гг. и А. А. Толстой (см.: Там же. 1854. № 86; 1862. № 32). Очевидно, с последним обстоятельством связано относящееся к этому времени лаконичное свидетельство сенатора К. Н. Лебедева о резком вмешательстве Л. А. Перовского в дела судебного ведомства, в частно-

сти «по золотопромышленным делам сестры его графини Толстой» (см.: Из записок сенатора К. Н. Лебедева. 1852 г. // РА. 1888. Кн. 1. № 4. С. 625).

[4] *...как долго оренбургские волнения ~ чем разъяренных мужиков.* — По-видимому, речь идет о вспыхнувших в Оренбургской губернии волнениях из-за введения как для казачьих поселений, так и для удельных крестьян так называемой общественной запашки, якобы призванной обеспечить население дополнительным продовольствием, но на деле оказавшейся тяжелым и неоправданным бременем. Не исключено, что поездка Л. А. Перовского в Оренбург отчасти могла быть связана и с этим обстоятельством: ведомству уделов было подчинено и управление башкирами, и, по мнению И. В. Чернова, от Перовского «могли быть заимствованы необходимые указания» (Записки генерал-майора И. В. Чернова. С. 75, 163). Симбирск — промежуточный пункт по дороге в Оренбург. Бузинский — лицо неустановленное.

[5] *...земли Гусятникова лучше наших...* — Гусятниковы (в некоторых документах — Утятниковы) — исконный сибирский купеческий клан, процветавший со времен Анны Иоанновны и уже тогда владевший соляными разработками и построенным в Оренбургской губернии, под Табынском, Воскресенским медеплавильным заводом (см.: *Дебу И.* Топографическое и статистическое описание Оренбургской губернии в нынешнем ее состоянии. М., 1837. С. 124—127). Сам Табынск, расположенный на башкирских землях, возник в 1735 г. на месте соляных варниц купца Ивана Утятникова (см.: *Рычков П. И.* Топография Оренбургской губернии. Оренбург, 1890. С. 383). Очевидно, что значительная территория Кара-Табынской волости, где Перовский приобрел земли (см. примеч. 6), издавна принадлежала купцам Гусятниковым.

[6] *...я получил письмо от г-на Астафьева ~ не может быть мала...* — Астафьев — лицо неустановленное. Несомненно, к этому времени относится недатированный документ руки А. А. Перовского, скрепленный его подписью и озаглавленный «Замечания на пай в Каратабынской и Бугурусланской ⟨?⟩ волостях, приобретенный мною у Ф. И. Ульянова» (РО ИРЛИ, ф. 187 (Л. Б. Модзалевского), ед. хр. 22, л. 1); в нем оговариваются права компаньонов на совместное владение приисками: И. В. Жуковского (см. письмо ⟨7⟩ и примеч. 1 к нему), Краевского (возможно, хорунжий М. А. Краевский: члены войскового сословия, в том числе казачьего, состояли в торговом обществе) и Базилевского (Петр Федорович Базилевский в течение длительного времени (с 1826 г.) был секретарем при оренбургском гражданском губернаторе; в 1828—1830 гг. — сослуживец И. В. Жуковского). Федор Иванович Ульянов — участник войн с Персией (1826—1828) и Турцией (1828—1829); в 1834—1835 гг. исполнял при В. А. Перовском, как и при его предшественнике, должность секретаря по гражданской части.

[7] *Все сии сведения ~ прямо к В⟨аше⟩му прево⟨сходительст⟩ву...* — Письмо А. Г. Зотова Перовскому, о котором говорит Астафьев, сохранилось (РГИА, ф. 1021 (Перовских), оп. 1, ед. хр. 23, л. 1—2):

«Доныне отлагал я писать Вашему превосходительству в ожидании приятных вестей о будущей Америке, имеющей открытся в Каратабынской и Кубелятской

землях, в первой из них нашли уже золото в некоторых местах, но содержание онаго совсем незначительно, около полузолотника от ста и менее. А на вторую из Горнаго правления книга выдана, и затем предоставлено полное право к розысканию, но ничего еще о сем не имею, а по словам г-на Астафьева писал обратить особенное внимание на речьку Мукли, близь деревни Казакуловой.

Хотя, к сожалению, не мог я на сей раз ничего интереснее донести Вашему превосходительству, но тем не менее не решился оставлять Вас в неизвестности.

Здесь так холодно, что поверить трудно, московское солнце ничем не приветливее нашего уральского. Лета почти не было, а теперь уже (так рано еще для средней полосы России) и осень нанеслась на мрачных крыльях своих на желтокаменную Москву, длинные вечера и совершенное без людье делают ее не только скучной, но и какой-то дикой, как наши пустыни. С редка только за городом виднеются в ясные часы немногие чайные столики в роще парка, под сению петровских лип, а бедный Тоблер, с своими прохладительными явствами и питиями, чють сам заживо не застыл. А так уже и все протчие окрестности сиротствуют без посетителей. Одни ходынские равнины оживляются отчасти лагирем и пришедшей из других губерний кавалерией. Сии чада Марса и среди постоянной непогоды рисуются в стройных рядах своих, как бы в самое лучшее время.

Среди погорельского хозяйства Вашего превосходительства, полезнаго и приятнаго препровождения времени, Вы, вероятно, наслаждались и лучшим летом.

Ласкаясь надеждою на продолжение благословеннаго внимания Вашего превосходительства, с чувством истиннаго уважения и преданности имею честь остатся Вашего превосходительства милостиваго государя покорнейшим слугой.

Августа 15-го дня 1835 года. Александр Зотов.
Москва».

[8] *...по мнению штейгеров, не более $^1/_2$ золотника...* — Штейгер — мастер рудных работ; золотник — мера содержания золота на 100 пудов породы. Условно благоприятной считалась мера от одного до двух золотников на 100 пудов; однако, в зависимости от местных условий добычи, представлялось выгодным и меньшее содержание золота.

[9] *...граф Петр Разумовский ~ и приказом правительства о приостановлении всех операций.* — См. письмо ⟨4⟩, примеч. 12.

[10] *...непредвиденные тяжбы, одна из которых, с Уваровым ~ и неприятностей.* — Речь идет о затянувшейся наследственной тяжбе с законной дочерью А. К. Разумовского Екатериной Алексеевной, в замужестве Уваровой. С. С. Уваров представлял в этой тяжбе интересы жены. См. письма Е. А. Разумовской (Уваровой) мужу о наследстве после смерти отца (ОПИ ГИМ, ф. 17 (С. С. Уварова), оп. 1, ед. хр. 59) и письма д'Изарна С. С. Уварову (там же, ед. хр. 74). См. также письмо ⟨4⟩, примеч. 10.

[11] *Кукла* — А. А. Толстая.

[12] *...Либковиц ~ уехал в Иерусалим...* — О Франце Либковице (Лобковице) см. письмо ⟨1⟩ А. А. Толстой Л. А. Перовскому и примеч. 1 к нему — наст. изд., с. 474—475 и 736.

[13] *...подготовить Алешу к экзамену, который ему предстоит.* — Имеются в виду предстоявшие А. К. Толстому экзамены в Московском университете (см. письмо ⟨17⟩ А. А. Перовского А. К. Толстому и примеч. 1 к нему — наст. изд., с. 426—427 и 719).

⟨3⟩

[1] *...еще не перестал надеяться на успех Каратабынской, несмотря на плохое начало.* — См. письмо ⟨2⟩ и примеч. 6 к нему.

[2] *...посылаю эти деньги Крыжановскому...* — Максим Константинович Крыжановский — доверенное лицо Перовского в Петербурге (см. письмо А. А. Перовского великому князю Николаю от 6(18) июня 1824 г. и примеч. 6 к нему — наст. изд., с. 407, 410 и 708).

[3] *...переправить затем их Штиглицу.* — Людвиг Иванович Штиглиц (1777—1842) в 1803 г. основал в Петербурге банкирский дом «Штиглиц и К°», пользовавшийся высокой репутацией; в последние годы жизни был пожалован званием придворного банкира.

⟨4⟩

[1] *Адмирал прислал мне ~ благоприятных свидетельств скорейшего окончания мятежа...* — О волнениях в Оренбургской губернии см. письмо ⟨2⟩, примеч. 4. Адмирал — Н. С. Мордвинов; в это время член Государственного совета и Комитета министров (см. о нем письмо ⟨5⟩ А. А. Перовского С. С. Уварову и примеч. 2 к нему — наст. изд., с. 404 и 705). В. Ф. Адлерберг (см. о нем письмо ⟨10⟩ А. К. Толстому и примеч. 3 к нему — наст. изд., с. 422 и 716) — тогда директор канцелярии начальника Главного штаба и начальник Военно-походной канцелярии. Министр, — скорее всего, военный министр гр. А. И. Чернышев.

[2] *...пока кортома не была узаконена...* — Кортома — термин, в некоторых областях России обозначавший аренду или куплю по найму имущества, земель, лесов и пр., в том числе приисков и рудников в Сибири: процесс закрепления там правовых норм завершился специальным постановлением о кортоме общественных башкирских земель и угодий, оформленным в виде отдельной статьи в «Своде законов Российской империи» (Т. 9. Особое прил. Кн. 7. Ст. 40—54).

[3] *Братья Зотто* — возможно, компаньоны или посредники Перовских, с их точки зрения не вполне добросовестные. Скорее всего, по этой причине А. А. Перовский, со свойственной ему иронией, окрестил их «братьями Зотто» — по имени персонажей популярного романа Яна Потоцкого «Рукопись, найденная в Сарагоссе» (1804) — братьев-разбойников, одного из которых зовут Зото. (За это указание благодарю Н. Л. Дмитриеву.) Между прочим, к этому же времени относится и неоконченное стихотворение А. С. Пушкина «Альфонс садится на коня» (1836), написанное по мотивам этого романа.

[4] *Сангин* — лицо неустановленное.

[5] *Егоров* — по-видимому, один из сибирских деловых агентов А. А. Перовского (см. письма ⟨6⟩, ⟨8⟩).

[6] *...в положении дочери покойного Демидова ~ пока не обзавелся деньгами».* — О ком из Демидовых идет речь, неясно. Возможно, это известный московский богач Прокофий Акинфиевич Демидов (ум. 1786), отец нескольких сыновей и дочерей, памятный старожилам первопрестольной своими причудами и скупостью (см.: *Пыляев М. И.* Старая Москва: Рассказы из былой жизни первопрестольной столицы. СПб., 1891. С. 26—27, 569—570).

[7] *...земель, на которые зарится Гусятников...* — См. письмо ⟨2⟩, примеч. 5.

[8] *Я прилагаю копии нескольких предыдущих писем ~ от поименованных братьев.* — Эти письма неизвестны.

[9] *Вот уж почти месяц ~ похоже, мальчик был серьезно болен.* — О болезни Алеши см. примеч. 1 к письму ⟨21⟩ А. А. Перовского А. К. Толстому — наст. изд., с. 720.

[10] *Я провожу очень неприятное лето ~ где он прямой начальник.* — См. письмо ⟨2⟩ и примеч. 10 к нему. Язвительный смысл замечания А. А. Перовского по адресу С. С. Уварова, подразумевающий нечистоплотность последнего в делах не только нравственных и карьерных, но и материальных, должен был быть Льву совершенно понятен: в 1835 г. Уваров занимал пост министра просвещения, министерство же находилось в Чернышевом переулке, рядом с известным петербургским рынком — Щукиным двором, располагавшимся на углу Чернышева переулка и Большой Садовой. В памятном же еще прошлом — в 1821—1823 гг. — Уваров, будучи директором Департамента мануфактур и внутренней торговли, и на рынке был «прямым начальником» — притом, кажется, нечистым на руку. Характеристика Уварова как «подлеца» вполне отражает закрепившуюся за ним к этому времени репутацию в пушкинском кругу, к которому принадлежал Перовский. Ср. дневниковую запись Пушкина за февраль 1835 г., где он употребляет по отношению к Уварову те же слова — «большой подлец», — и далее говорит: «Кстати об Уварове: это большой негодяй и шарлатан. ⟨...⟩ Он крал казенные дрова и до сих пор на нем есть счеты (у него 11 000 душ)...» (*Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.: В 10 т. М., 1958. Т. 8. С. 63). Письмо А. А. Перовского С. С. Уварову, о котором здесь говорится, неизвестно.

[11] *...в период моих кораблестроительных дел ~ в Николаевское адмиралтейство...* — См. примеч. 1 к письму ⟨4⟩ А. А. Перовского А. К. Толстому — наст. изд., с. 714.

[12] *...каково следствие процесса с покойным графом Петром ~ о приостановлении всех дел.* — См. письмо А. А. Перовского великому князю Николаю Павловичу от 6(18) июня 1824 г. и примеч. к нему — наст. изд., с. 405—410 и 705—710. П. А. Курбатов был доверенным лицом Перовского в Москве (см. о нем также примеч. 1 к письму ⟨19⟩ А. А. Перовского А. К. Толстому — наст. изд., с. 720).

⟨5⟩

[1] *...копия нового донесения с Урала...* — Очевидно, это донесение Егорова (см. письмо ⟨6⟩).

⟨6⟩

1 *...я получил от Беллизара и К° 8 томов Казановы...* — Фердинанд Михайлович Беллизар (1798—1863) — содержатель книжного магазина в доме Голландской церкви (совр. адрес: Невский пр., 20). Через него можно было, в частности, выписывать книги из Парижа. Услугами Беллизара пользовался и Пушкин (см.: *Черейский Л. А.* Пушкин и его окружение. 2-е изд., доп. и перераб. Л., 1988. С. 34). Вероятнее всего, речь идет о следующем издании мемуаров Казановы: Mémoires de J. Casanova de Seingalt, écrits par lui-même / Edition originale. Leipzig; Paris; Bruxelles, 1826—1838. T. 1—12. К 1832 г. вышло восемь томов этого издания; тома 9—12 увидели свет только в 1838 г., напечатаны они были в Брюсселе.

⟨7⟩

1 *...его друг Жуковский...* — Иван Васильевич Жуковский (ум. 1856) — один из компаньонов Перовских (см. письмо ⟨2⟩, примеч. 6), из некоренных, но прочно ассимилировавшихся сибиряков, сын В. Г. Жуковского, принадлежавшего к старинной дворянской фамилии и переселившегося в Челябу в 1788 г., где он практиковал как уездный лекарь, заслуживший «благоговение» сограждан. И. В. Жуковский стал блестящим знатоком Оренбургского края, автором относящейся как раз к началу 1830-х гг. компетентной книги «Краткое географическое и статистическое описание Оренбургской губернии, составленное в 1832 году» (2-е изд. Уфа, 1880). Однако в отличие от двух своих братьев, занимавших должности губернаторов в Оренбурге и С.-Петербурге (Николай Васильевич) и Симферополе (Григорий Васильевич), Иван Васильевич, будучи «человеком добрым, замечательного ума, но вспыльчивого и неподчиняющегося характера, и потому не терпевший служебной зависимости», прослужив несколько лет — вначале уездным судьей (1826), а затем чиновником по особым поручениям при оренбургском гражданском губернаторе (1828—1830), — предпочел в итоге стезю золотопромышленника — и умер на прииске (Там же. С. 1, 102). По воспоминаниям Н. В. Веригина, близкого друга братьев Жуковских, которых называет он «олицетворенною добротою», Иван был «знаменитый, но слишком щедрый для других и для себя вредный золотопромышленник» (Записки Н. В. Веригина (1796— 1872) // PC. 1892. Т. 76. № 10. С. 50, 58).

2 *...решился в ваше отсутствие ~ за какую цену я соглашусь разменять полуимпериалы и серебро!* — Речь, очевидно, идет о Заемном банке, принимавшем в залог золото и серебро. Полуимпериал — золотая монета номиналом 5 рублей.

3 *Посылайте мне, пожалуйста, письма на Басманную ~ от предыдущей квартиры у Алсуфьева я отказался.* — М. М. Соболевская после смерти А. К. Разумовского в бытность свою в Москве жила в собственном доме на Новобасманной (см.: *Багалей Д. И.* Опыт истории Харьковского университета (по неизданным материалам). Харьков, 1904. Т. 2. С. 178; Оренбургский губернатор В. А. Перовский: Документы. Письма. Воспоминания. Оренбург, 1999. С. 29). Квартиру в обширном доме Александра Дмитриевича Олсуфьева на углу Тверской

и Леонтьевского переулка, с большим садом, А. А. Перовский и А. А. Толстая с сыном снимали в 1834—1835 гг. (см.: Матерьялы к истории рода Олсуфьевых. М., 1911. С. 35—36). Перовский, однако, от снимаемой здесь квартиры на этот раз, как предполагал, не отказался: еще в декабре того же года он приглашал сюда к себе на деловую встречу М. П. Погодина (см. письмо А. А. Перовского М. П. Погодину от 8(20) декабря 1835 г. — наст. изд., с. 460).

⟨8⟩

[1] *...продолжение донесений по приискам.* — Эти донесения неизвестны.

А. А. ПЕРОВСКИЙ — М. П. ПОГОДИНУ

Публикуется впервые.

Печатается по автографу: ОР РГБ, Пог / II 52 (М 3521), л. 136.

[1] *Мне крайняя нужда с Вами видеться...* — Вероятнее всего, необходимость свидания с Погодиным была связана с предстоявшими А. К. Толстому в декабре этого года экзаменами в Московском университете на право получения чина. Погодин же в это время — ординарный профессор Московского университета, читавший курс русской истории, которая должна была войти в экзаменационную программу, и автор только что вышедшего учебника «Начертание русской истории». Перовского интересовали сведения как о самих испытаниях, так и о составе экзаменаторов (подробнее см. письма ⟨17⟩ и ⟨19⟩ А. А. Перовского А. К. Толстому — наст. изд., с. 426—427 и 428).

ДОПОЛНЕНИЯ

I. МАТЕРИАЛЫ К БИОГРАФИИ А. А. ПЕРОВСКОГО

А. А. ПЕРОВСКИЙ — А. Н. ГОЛИЦЫНУ

Публикуется впервые.

Печатается по черновому автографу: РГИА, ф. 1021 (Перовских), оп. 1, ед. хр. 10, л. 1—2 (бумага с водяным знаком: «1819»).

Датируется на основании формулярного списка Перовского, согласно которому чин коллежского советника он получил 9 января 1819 г. (см.: наст. изд., с. 470). Письмо адресовано не министру двора князю П. М. Волконскому, как указано в архивном описании, а князю А. Н. Голицыну. Волконский в 1819 г. был начальником Главного штаба Его императорского величества, заняв долж-

ность министра двора только в 1826 г. Перовский же с 27 декабря 1816 г. числился чиновником Департамента духовных дел иностранных исповеданий, входившего в министерство духовных дел и народного просвещения, которое возглавлял А. Н. Голицын (1816—1824), являвшийся одновременно и членом Государственного совета. В пользу того, что прошение адресовано именно ему, говорит дважды повторенная запись на л. 2 об., не заполненном текстом: «Conseiller d'État» («Член Государственного совета» — *фр.*); здесь же роспись: «Peroffs⟨ky⟩». Прошение, скорее всего, отправлено не было. См. также: Представление министра духовных дел и народного просвещения о награждении А. А. Перовского чином коллежского советника со сведениями о его службе (РГИА, ф. 1263 (Комитета министров), оп. 1, ед. хр. 223, л. 364—365).

В. А. ПЕРОВСКИЙ — В. А. ЖУКОВСКОМУ

Впервые: ВЕ. 1901. Т. 2. № 4. С. 546—547, с многочисленными ошибками (публикация И. Захарьина).

Печатаются с исправлениями по автографам: ОР РНБ, ф. 286 (В. А. Жуковского), оп. 2, ед. хр. 189, л. 7—9.

Датируются годом смерти Разумовского.

⟨1⟩

1 *...граф скончался на другой день выезда моего из Петербурга ~ прямо в церковь.* — Разумовский скончался 5 апреля, на Святой, похоронен был в Почепе (о его перезахоронении в 1838 г. в Новгороде-Северском в связи с продажей наследниками Почепа см.: *Васильчиков А. А.* Семейство Разумовских. СПб., 1880. Т. 2. С. 111). Перовский выехал из Петербурга 4 апреля и прибыл в Почеп 8 апреля, т. е. в день похорон.

2 *Брат не отходил от постели его...* — А. А. Перовский.

3 *...по его напоминовению примирился с сыном...* — Имеется в виду законный сын Разумовского Петр (см. о нем письмо к великому князю Николаю Павловичу от 6 (18) июня 1824 г. и примеч. к нему — наст изд., с. 405—410 и 705—710). Судя по косвенным свидетельствам, отношения Разумовского с законными детьми были весьма напряженными.

4 *...наделил Перовского Таврического...* — Речь идет о Николае Ивановиче, сводном брате Перовских, проживавшем и служившем в Крыму (Тавриде). О нем и о затруднениях, возникших с получением завещанной ему наследственной доли, см.: наст. изд., с. 568, 407, 409—411, 707—708.

5 *В последние три дни была при графе княг⟨иня⟩ Репнина.* — Законная дочь Разумовского Варвара Алексеевна. По свидетельству ее дочери В. Н. Репниной, мать была вызвана к умирающему отцу, — вероятнее всего, А. А. Перовским — срочной эстафетой в Почеп, где она впервые встретилась лично с М. М. Соболевской. А. А. Васильчиков — также со слов В. Н. Репниной —

описывает эту встречу: «„Я вас ненавидела до сих пор, — сказала ей княгиня, — потому что вы были причиною несчастия моей матери, но я вам всё прощаю, если вы уговорите отца дозволить мне вместе с вами за ним ухаживать". Больной едва мог говорить и только знаками выказывал дочери свою благодарность. ⟨...⟩ Перед самою смертью старый вольтерьянец устами прильнул к подаваемому ему дочерью распятию» (*Васильчиков А. А.* Семейство Разумовских. Т. 2. С. 110—111).

[6] *...береги Ал⟨ександру⟩ Андр⟨еевну⟩...* — Т. е. А. А. Воейкову, урожд. Протасову (1795—1829), племянницу Жуковского, ближайшим и преданным другом которой был В. А. Перовский (об истории их отношений см.: *Соловьев Н. В.* История одной жизни: А. А. Воейкова — «Светлана». Пг., 1915. Т. I. С. 118—121, 248 и по указ.).

[7] *...кланяйся Тургеневу...* — Имеется в виду А. И. Тургенев.

⟨2⟩

[1] *Ангелу нашему писать нынче не буду...* — Т. е. А. А. Воейковой.

[2] *...и дошли до министра внутр⟨енних⟩ дел.* — С 1819 г. по 1825 г. министром внутренних дел был В. П. Кочубей.

[3] *Я пишу о том нынче к великому князю...* — С 1818 г. В. А. Перовский состоял адъютантом великого князя Николая Павловича.

⟨А. А. ПЕРОВСКИЙ О ЗАВЕЩАНИИ А. К. РАЗУМОВСКОГО⟩

ОБЪЯСНЕНИЕ

Публикуется впервые.

Печатается по автографу: ОПИ ГИМ, ф. 17 (С. С. Уварова), ед. хр. 41/245, № 15, л. 1—7.

[1] *...у адмирала Николая Семеновича Мордвинова...* — См. о нем письмо ⟨5⟩ С. С. Уварову и примеч. 2 к нему — наст. изд., с. 404 и 705.

[2] *...запечатать кабинет вместе с генералом Денисьевым и коллежским советником Дубовиком.* — Петр Васильевич Денисьев (?—1843), генерал-майор, после смерти Разумовского — муж М. М. Соболевской, которая воспитывалась в доме Денисьевых (см.: наст. изд., с. 482—483, 566). Дубовик — лицо неустановленное.

[3] *...отданная подполковнице Ольге Жемчужниковой.* — Ольга Алексеевна Жемчужникова, урожд. Перовская (?—1833), была замужем за подполковником артиллерии Михаилом Николаевичем Жемчужниковым.

[4] *...Капнисту ~ карту полуострова Крима.* — О В. В. Капнисте см. письма ⟨1⟩, ⟨2⟩, ⟨3⟩ А. А. Перовского С. С. Уварову и примеч. 6, 2, 1 к ним — наст. изд., с. 396, 397, 398, 399, 401 и 703—704.

⟨ФОРМУЛЯРНЫЙ СПИСОК А. А. ПЕРОВСКОГО⟩

О СЛУЖБЕ СТАТСКОГО СОВЕТНИКА ПЕРОВСКОГО

Публикуется впервые.

Печатается по автографу: РГИА, ф. 733 (Департамента народного просвещения), оп. 49, ед. хр. 577, л. 3—3 об. (на полях служебная помета: «Докладывал марта 29 дня 1825 года, высочайше повелено сделать представление в звание исправляющего должность попечителя Харьковского университета»).

Распоряжение Александра I последовало через 9 дней после письменной просьбы Перовского об искомой должности (см.: наст. изд., с. 410—412).

1 *...откуда уволен 1812-го года генваря 9-го...* — Скорее всего, это ошибка: по словам А. И. Кирпичникова, имевшего доступ к более подробному формулярному списку Перовского, тот 9 января только приступил к исполнению должности секретаря министра финансов; подтверждается это как тем, что он ушел в действующую армию в июле 1812 г. — не мог весь этот срок не служить, так и косвенными данными (см. письма А. А. Перовского П. А. Вяземскому от 16 (28) января и 9 (21) февраля 1812 г. из Петербурга — наст. изд., с. 387—388).

2 *В ноябре 1816-го определен в Департамент духовных дел иностранных исповеданий...* — См. об этом: наст. изд., с. 587.

3 *9-го генваря 1819-го года пожалован в коллежские советники.* — См. письмо А. А. Перовского А. Н. Голицыну от января (не позднее 9 ст. ст.) 1819 г. и примеч. к нему — наст. изд., с. 463—464 и 732—733.

4 О последующих служебных должностях, чинах и награждениях Перовского см.: Месяцеслов с росписью чиновных особ, или Общий штат Российской империи на 1828 г. СПб., [1828]. Ч. 1. С. 588.

⟨ЗАВЕЩАНИЕ А. А. ПЕРОВСКОГО⟩

Публикуется впервые.

Печатается по копии: РГИА, ф. 1021 (Перовских), оп. 1, ед. хр. 13, л. 1—3 (на полях л. 1 служебная помета: «По 1-й записной книге № 1-й»).

А. А. ТОЛСТАЯ — Л. А. ПЕРОВСКОМУ

Публикуются впервые.

Печатаются по автографам, хранящимся вместе с копиями: РГИА, ф. 1021 (Перовских), оп. 2, ед. хр. 56, л. 1—3 (письмо ⟨1⟩), л. 4—7 (письмо ⟨2⟩),

л. 9—11 (письмо ⟨3⟩); окончание письма ⟨3⟩ со слов: «Я уезжаю завтра» — написано на л. 9, вероятно из-за недостатка места.

⟨1⟩

[1] *...отослать в Вену в контору «Арнштейн и Эскель» для князя Франсуа де Лобковица.* — «Арнштейнер и К°» («N. A. Arnsteiner et C-ie») — старинный банкирский дом в Вене; русские пользовались его услугами еще в начале XIX в. — в том числе дядя А. А. Толстой Андрей Кириллович Разумовский (см.: *Васильчиков А. А.* Семейство Разумовских. СПб., 1894. Т. 5. С. 142, 152). Франсуа де Лобковиц — Франц Лобковиц (1800—1854?), князь, в 1830-е гг. чиновник австрийского посольства в Петербурге, принятый в столичных светских салонах. Например, А. А. Оленина характеризовала его как человека «очень любезного» и «очаровательного» (*Оленина А. А.* Дневник. Воспоминания. СПб., 1999. С. 159). У А. А. Толстой с Лобковицем были, очевидно, давние дружеские отношения (см. письмо ⟨2⟩ А. А. Перовского Л. А. Перовскому — наст. изд., с. 438, 440).

[2] *...правительство и я — мы совершенно задыхаемся без денег ~ в такую жару, как сейчас.* — Игра слов, основанная на буквальном значении слова «sec» (сухой) в выражении «être à sec» («быть без гроша»).

[3] *Скажите Эдуарду ~ займет место Голицына (новость из Москвы).* — Речь идет о друге Перовских Эдуарде (с 1829 г. — Владимир) Федоровиче Адлерберге (см. о нем примеч. 3 к письму ⟨10⟩ А. А. Перовского А. К. Толстому — наст. изд., с. 716), военном министре гр. А. И. Чернышеве и, скорее всего, о московском генерал-губернаторе кн. Д. В. Голицыне. Сведения, сообщаемые А. А. Толстой, — очевидный отголосок циркулировавших в свете слухов о каких-то возможных, но не состоявшихся служебных перестановках; слухи эти отчасти, видимо, основывались на том, что Адлерберг, будучи с 1832 г. начальником Военно-походной канцелярии и членом Военного совета, неоднократно управлял военным министерством на правах товарища министра. Что стояло за версией замещения Голицына находившимся в фаворе у Николая I Чернышевым, неясно.

[4] *...я часто виделась с «военной тетушкой»...* — Имя московской барыни, известной под этим прозвищем, установить не удалось: оно упоминается, в частности, в фальсифицированных «Записках» А. О. Смирновой-Россет: «Старушка X говорила мне о княгине Moustache, о „военной тетушке" и княгине „Черепахе" и дала мне понять, что они были не так красивы, как она, и гораздо старше ее» (Записки А. О. Смирновой: (Из записных книжек 1826—1845 гг.). СПб., 1895. Ч. 1. С. 96). Этот пассаж приводит в своих комментариях к «Старой записной книжке» П. А. Вяземского Л. Я. Гинзбург, также не раскрывая имен (*Вяземский П. А.* Старая записная книжка. Л., 1929. С. 310, примеч. 78).

[5] *«Мужчины все...»* — Начало неустановленной цитаты.

⟨2⟩

[1] *Всё кончено для бедного Шредера!* — О Шредере см. примеч. 1 к письму ⟨14⟩ А. А. Перовского А. К. Толстому — наст. изд., с. 717.

[2] *...но он не хочет из-за Т. ~ надо дать Т. 2000 р⟨ублей⟩.* — Вероятнее всего, речь идет о К. П. Толстом (см.: наст. изд., с. 589). Какие у Перовского были с ним денежные расчеты, неизвестно. По словам П. П. Гнедича — одного из тех, кто предал гласности версию о мнимом отцовстве К. П. Толстого, последний получил якобы за венчание с А. А. Перовской «денежное обеспечение» и чин действительного статского советника, какового на самом деле у него не было (см.: *Гнедич П. П.* Последние орлы: (Силуэты конца XIX века) // ИВ. 1911. № 1. С. 73).

[3] *...чтобы он приехал ради своей тяжбы...* — Имеется в виду длительная наследственная тяжба с П. А. Разумовским (см.: наст. изд., с. 405—410 и 705—710).

[4] *...тогда он поедет сразу после Пасхи ~ Дулов поедет с ним.* — В 1836 г. Пасха приходилась на 29 марта. О том, осуществилась ли эта поездка Перовского в Петербург, сведений нет. Дулов — лицо неустановленное.

⟨3⟩

[1] *Я уезжаю завтра ~ в первых числах сент⟨ября⟩ буду в Петербурге.* — Толстая должна была переехать из Дрездена в Любек — пароходы на Петербург отправлялись оттуда.

П. А. КУРБАТОВ — В. А. ПЕРОВСКОМУ

Публикуется впервые.

Печатается по автографу: РГИА, ф. 1021 (Перовских), оп. 2, ед. хр. 69, л. 3—4 (копия, без даты — л. 2).

Год написания письма устанавливается по дате смерти М. М. Соболевской, матери жены Курбатова Прасковьи Алексеевны, урожденной Перовской.

[1] *Согласно ее желанию ~ около Курска...* — М. М. Соболевская была похоронена в Каренской пустыни под Курском (см.: наст. изд., с. 482).

[2] *П⟨етр⟩ В⟨асильевич⟩* был очень опечален... — О П. В. Денисьеве см. примеч. 2 к «Объяснению» Перовского — наст. изд., с. 734.

[3] *...в Женске, и в Кульневе, и в Малиновке...* — Очевидно, имеются в виду имения Соболевской.

[4] *...чтобы повидать Льва...* — Т. е. Л. А. Перовского.

П. В. ДЕНИСЬЕВ — В. А. ПЕРОВСКОМУ

Публикуется впервые.

Печатается по автографу: РГИА, ф. 1021 (Перовских), оп. 2, ед. хр. 67, л. 1—2.

[1] *...отправивши полугодовое поминовение ~ 24-го декабря прошедшева года...* — См.: наст. изд., с. 480—481.

[2] *...в должности презуса...* — Т. е. в должности председателя военного суда.

А. ЛИРОНДЕЛЬ — Л. Б. МОДЗАЛЕВСКОМУ

Публикуется впервые.

Печатается по автографу: РО ИРЛИ, ф. 187 (Л. Б. Модзалевского).

[1] *...я встречал вашего отца в Академии наук ~ о его учтивой обязательности.* — Отец Льва Борисовича Модзалевского — Борис Львович Модзалевский (1874—1928) — известный литературовед, пушкинист. С 1899 г. служил в учреждениях Академии наук; с 1919 г. — первый старший ученый хранитель Пушкинского Дома. Письмо Л. Б. Модзалевскому написано, возможно, под влиянием известия о его кончине, последовавшей 3 апреля.

[2] *... в своем имении в Крыму умер господин Николай Львович Перовский, брат Софьи Перовской ~ не имевшим графского титула.* — Николай Львович Перовский (1845— 1913?) — старший сын Льва Николаевича Перовского (см. примеч. 3) и Луизы Петровны, урожденной Долгово-Сабуровой (об унаследованном Н. Л. Перовским имении деда под Севастополем см.: *Брагина Т., Васильева Н.* Путешествие по дворянским имениям Крыма. М., 2003. С. 128); Софья Львовна Перовская (1853—1881), их младшая дочь, — известная революционерка-народница, организатор и участница нескольких покушений на Александра II и его убийства; казнена в Петербурге 3 апреля 1881 г. (см. о ней: *Перовский В. Л.* Воспоминания о сестре. М.; Л., 1927; *Витмер А. Н.* Отрывочные воспоминания: Первое марта // Витмер А. Н. Что видел, слышал, кого знал... СПб., 2000. С. 524—529). Оба — внуки Николая Ивановича Перовского (см. о нем: наст. изд., с. 568, 707). Судя по воспоминаниям Василия Львовича, брата Николая и Софьи, внучатое поколение Н. И. Перовского считало деда родным старшим братом «остальных Перовских» и не знало о причине их разных отчеств; на могильной плите (на кладбище в имении Кильбурун близ Симферополя) он назван Алексеевичем (см.: *Перовский В. Л.* Указ. соч. С. 5).

[3] *...отец которого был гражданским губернатором Петербурга...* — Речь идет о Льве Николаевиче Перовском (1816—1890), сыне Н. И. Перовского (родился в Петербурге; восприемником его был А. К. Разумовский). В 1865—1866 гг. был губернатором — но не Петербурга, а Петербургской губернии.

Воспитывался в Царскосельском лицее, закончил Институт инженеров путей сообщения (его формулярный список см.: РГИА, ф. 1021 (Перовских), оп. 2, ед. хр. 132). Тем не менее по своему социальному статусу стоял ниже высокопоставленных родственников Перовских, однако всячески старался поддерживать с ними отношения и представлять им своих детей. Должность губернатора получил, кажется, не без содействия дяди Бориса Алексеевича Перовского (подробнее см.: *Перовский В. Л.* Указ. соч. С. 6, 9, 23).

[4] *Брат Николая, Василий, также придерживался крайних взглядов.* — Василий Львович Перовский (1849—?) разделял взгляды сестры и принимал участие в подпольной деятельности; в 1869 г. был уволен из С.-Петербургского университета за участие в беспорядках; несколько раз подвергался арестам; в 1881 г. был сослан на четыре года в Сибирь (см.: *Перовский В. Л.* Указ. соч. С. 37—38).

[5] *Œchs* — Жозеф Доминикус Ёхс (1775—1836) — немецкий миниатюрист; бывал в Петербурге.

[6] *E. Martin* — Э. Мартен, французский миниатюрист; бо́льшую часть жизни прожил в России.

II. ИЗ РАННИХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ОПЫТОВ А. А. ПЕРОВСКОГО

N. Karamzin

DIE ARME LISE

Übersetzt aus dem Russischen

Впервые: *Karamzin* N. Die arme Lise. Moscau, 1807. Перевод предваряется посвящением:

«Seiner Excellenz
dem Herrn Geheimenrath
und wuerklichen Kammerherrn
Grafen Alexis von Rasumoffsky.

Hochgeborner, Gnädiger Herr Graf!

Die Erzählung, welche der kleinen Arbeit, die ich Ew. Excellenz zu überreichen die Ehre habe, zu Grunde leigt, schien mir so vorzüglich und in ihrer ganzen Darstellung so schön, dass ich wie von selbst bey meiner Wahl auf sie geleitet wurde.

Es ist vielleicht kaum möglich, das, was Karamsin's Schriften in der Originalsprache so reizend macht, in einer Uebersetzung wiederzugeben; ich habe gesucht was mir möglich war, in dieser Hinsicht zu thun; aber wenn auch mein Versuch der gelungenste wäre, was Sie von meinen Kräften nicht fordern werden: so würde ich ihn

ohne Ihren Beyfall für höchst unvollkommen halten: denn ich habe keinen Wunsch, als dass Sie diese Blätter als ein Zeichen meiner vollkommensten Hochachtung und als den einzigen mir zu Gebote stehenden Beweis unbegränzter Dankbarkeit, die ich Ihnen schuldig bin, ansehen mögen.

Ew. Excellenz gehorsamster Diener

A. Peroffsky».

Перевод:

«Его превосходительству
господину тайному советнику и камергеру
графу Алексею Разумовскому.

Высокородный милостивый граф!

Повесть, побудившая меня взяться за небольшой труд, каковой имею честь преподнести Вашему превосходительству, кажется мне столь прелестной, а слог ее — столь прекрасным, что мне словно суждено было избрать именно ее.

То, что делает сочинение Карамзина таким привлекательным в русском изложении, едва ли возможно передать в переводе; по мере сил своих я стремился к этому, но даже если моя попытка и увенчалась бы полным успехом, чего Вы не потребуете от меня, без Вашего одобрения я не считал бы ее хоть сколько-нибудь совершенной. Ибо я не желаю ничего иного, как Вашего лицезрения этих листков — свидетельства абсолютного к Вам почтения и единственно доступного мне выражения безграничной благодарности, которую к Вам питаю.

Вашего превосходительства преданный слуга

А. Перовский».

Печатается по тексту первой публикации.

Автограф неизвестен.

Перевод «Бедной Лизы» Карамзина, принадлежащий Перовскому, не только один из ранних опытов такого рода — четвертый по счету — но и, по мнению современных исследователей, наиболее удачный в их ряду — «полный и без искажений» (см.: *Быкова Т. А.* Переводы произведений Карамзина // XVIII век. Л., 1969. Сб. 8. С. 328).

ТРИ ПРОБНЫЕ ЛЕКЦИИ НА НЕМЕЦКОМ, ФРАНЦУЗСКОМ И РОССИЙСКОМ ЯЗЫКАХ, ЧИТАННЫЕ В ИМПЕРАТОРСКОМ МОСКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ДОКТОРСКОЙ СТЕПЕНИ

⟨*Лекция третья*⟩

О растениях, которые бы полезно было размножать в России

Впервые: *Перовский А. А.* Три пробные лекции на немецком, французском и российском языках, читанные в Императорском Московском университете при получении докторской степени Алексеем Перовским. М., 1808. С. 47—63. Книга была посвящена автором «в знак глубочайшего высокопочитания и совершенной преданности» «Его сиятельству господину генерал-маиору и ордена Св. Владимира второй степени кавалеру Льву Кирилловичу Разумовскому». Дарственный экземпляр Наталье Кирилловне Загряжской см.: РНБ, шифр: 18.36.6.27.

Печатается по тексту первой публикации.

Автограф неизвестен.

Лекции на тему естественых наук были прочитаны Перовским при окончании Московского университета на соискание ученой степени доктора философии и словесных наук. Первая, произнесенная на немецком языке, была о минералогии: «Wie sind Thiere und Gewächse von einander unterschieden, und welches ist ihr Verhältniss zu den Mineralien?» («В чем различие животных и растений и каково их отличие от минералов?») (с. 3—21). Вторая, на французском, посвящена системе К. Линнея: «Sur le but et l'utilité du système des plantes de Linné» («О цели и пользе Линнеевой системы растений») (с. 25—43). Третья, русская, лекция демонстрирует познания Перовского в ботанике. О его пристрастии к естественным наукам говорит и тот факт, что в 1810 г. он стал членом московского Общества испытателей природы. С литературной точки зрения третья лекция представляет интерес как наиболее ранний у Перовского текст, обнаруживающий несомненное влияние стилистики Карамзина.

1 *...о так называемом льне Новой Зеландии ~ открытом во время путешествия Кукова...* — Имеется в виду английский мореплаватель Джеймс Кук (Cook; 1728—1779), совершивший три кругосветных экспедиции. В Новой Зеландии он побывал во время первой из них (на корабле «Индевор»; 1768—1771).

2 *Гмелин говорит ~ целое ведро простой водки.* — Иоганн Георг Гмелин (Gmelin; 1709—1749) — путешественник-натуралист, профессор ботаники в Тюбингене; происходил из известной семьи немецких ученых. В 1731 г. был приглашен в Петербург и в 1733 г. по поручению Академии наук принял участие в экспедиции по Сибири под руководством В. Беринга. Научные ее результаты описаны

им в фундаментальных трудах, один из которых посвящен ботанике: Flora Sibirica. СПб., 1747—1749. Т. 1—4, где Гмелин дает списки сибирских растений, до него почти неизвестных в Европе.

[3] *...но Паллас принес в этом отечеству нашему такую же пользу, как Шапталь Франции.* — Петр Симон Паллас (Pallas; 1741—1811) — выдающийся естествоиспытатель и путешественник с очень широким кругом интересов, академик Петербургской Академии наук (1767). Был приглашен в Петербург Екатериной II и по ее же указу в 1768—1774 гг. предпринял ряд научных экспедиций, в частности на Кавказ и в Закаспийский край. Как ботанику ему принадлежит первая попытка описать флору России — «Flora Rossica», где учтен 281 вид растений — важных преимущественно в хозяйственном отношении деревьев и кустарников. Жан-Антуан Шапталь (Chaptal; 1756—1832) — французский химик, врач, государственный деятель, занимавшийся в том числе виноделием. Предложенный им в 1800 г. в книге «L'art de faire le vin» прием винодельческой техники, улучшавший качество вин, был назван в его честь шаптализацией.

МОЛОДОЙ ОХОТНИК...

⟨Перевод начала новеллы-сказки Л. Тика «Руненберг»⟩

Публикуется впервые.

Печатается по автографу: РГИА, ф. 1021 (Перовских), оп. 1, ед. хр. 16, л. 39 и об. (без даты).

С САМЫХ МОЛОДЫХ ЛЕТ...

Публикуется впервые.

Печатается по автографу: РГИА, ф. 1021 (Перовских), оп. 1, ед. хр. 16, л. 7 (без даты; бумага с водяным знаком: «⟨18⟩19»).

⟨ПЛАН НЕОСУЩЕСТВЛЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ⟩

Публикуется впервые.

Печатается по автографу: РГИА, ф. 1021 (Перовских), оп. 1, ед. хр. 16, л. 1—1 об. (без даты; бумага с водяным знаком: «⟨18⟩19»).

III. ИЗ ТВОРЧЕСКОЙ ИСТОРИИ ЦИКЛА «ДВОЙНИК, ИЛИ МОИ ВЕЧЕРА В МАЛОРОССИИ»

ИЗИДОР И АНЮТА

Варианты чернового автографа

Публикуются впервые.
Описание чернового автографа см.: наст. изд., с. 658.

НЕСЧАСТНАЯ ЛЮБОВЬ
ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

Варианты авторизованной копии

Публикуются впервые.
Описание копии см.: наст. изд., с. 658.

IV. СОВРЕМЕННИКИ О А. А. ПЕРОВСКОМ (А. ПОГОРЕЛЬСКОМ)

П. А. Вяземский

АЛЕКСЕЮ АЛЕКСЕЕВИЧУ ПЕРОВСКОМУ, АВТОРУ «МОНАСТЫРКИ»

Печатается по изданию: *Вяземский П. А.* Полн. собр. соч. СПб., 1880. Т. 3. С. 20—22, с авторской датой: «Москва, 1811» (см.: Там же. С. I, примеч.). Под названием «К Перовскому» входит в авторский перечень стихотворений поэта 1810—1817 гг., которые он предполагал включить в собрание сочинений (см.: *Вяземский П. А.* Записные книжки. М., 1963. С. 143, 420).

По содержанию относится ко времени работы Комиссии П. А. Обрескова, ревизовавшей ряд губерний, в составе которой были Вяземский и Перовский (см.: наст. изд., с. 574—575). См. также письмо ⟨5⟩ А. А. Перовского П. А. Вяземскому с благодарностью за посвященные ему стихи — наст. изд., с. 388).

[1] *Ни Геснер, ни Виргилий...* — Конрад Геснер (Gesner; 1516—1565) — швейцарский естествоиспытатель; Вергилий (Публий Вергилий Марон; Publius Vergilius Maro; 70—19 до н. э.) — римский поэт. Упоминая эти имена, Вяземский имеет в виду разнообразные — естественнонаучные и литературные — увлечения Перовского.

[2] *Изгага* — изжога.

[3] *Бессмертие Платона ~ Отдать бы я готов.* — Финал стихотворения отражает тогдашнее «анакреонтическое» мироощущение и его автора, и адресата: в противовес Платону, который утверждал, что первично, подлинно лишь бытие, принадлежащее вечному миру духовных сущностей, оба предпочитали то, что ему представлялось вторичным, тусклым отблеском мира идей, — чувственную материальную действительность с ее наслаждениями и радостями, воспетыми Анакреоном.

П. А. Вяземский

⟨ИЗ ЦИКЛА «ПОМИНКИ»⟩

Печатается по изданию: *Вяземский П. А.* Полн. собр. соч. СПб., 1887. Т. 11. С. 13–17.

Датируется предположительно 1853 г.

Вяземский вспоминает здесь о той же служебной поездке в составе Комиссии П. А. Обрескова, что и в предыдущем стихотворении.

[1] *Позабытого поэта Мерзлякова колыбель...* — Алексей Федорович Мерзляков (1778—1830) — поэт, критик, профессор Московского университета; был в числе домашних учителей П. А. Вяземского. Известны воспоминания поэта о нем (см.: *Вяземский П. А.* Стихотворения. Воспоминания. Записные книжки. М., 1988. С. 170–171). См. также примеч. к письму А. А. Перовского К. А. Ливену от 14 (26) января 1830 г. — наст. изд., с. 573 и 722.

[2] *Там нашел свою Цирцею / И поддался ворожбе.* — О Цирцее см.: наст. изд., с. 680; кого из своих коварных соблазнительниц имеет в виду Вяземский, неизвестно.

П. А. Вяземский

⟨ИЗ «СТАРОЙ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ»⟩

Печатается по изданию: *Вяземский П. А.* Стихотворения. Воспоминания. Записные книжки. М., 1988. С. 426—428, 431.

[1] *Фрожер* — актер французской труппы, игравшей в Петербурге в 1819 г.

[2] *В Париже был литератор Поансине...* — Антуан Александр Анри Поансине (Poinsinet; 1735—1769) — французский драматург, автор комедий и водевилей.

[3] *Алексей Михайлович Пушкин, Дмитриев, Дашков, Блудов ~ Их дружество почти на ненависть похоже.* — Ср. строки из послания В. Л. Пушкина «К арзамасцам» (⟨1816⟩): «С прискорбием скажу: что прибыли любить? / Здесь острое словцо приязни всей дороже / И дружество почти на ненависть похоже»

(*Пушкин В. Л.* Стихотворения. СПб., 2005. С. 54). Известно, что Д. Н. Блудов и Д. В. Дашков, как и сам В. Л. Пушкин, были членами «Арзамаса».

[4] *Он однажды уверил сослуживца своего ~ расписаться в том, что он бобра не убил.* — Перовский в своем розыгрыше воспользовался неведением «новообращенного» по части существующей пословицы: «Убить бобра — не видать добра» (вариант: не убить — не видать); бобра сравнивали со свиньей («бобрища со свиньищу») — отсюда другой синоним неудачи: «Убить бобра, то есть свинью замест бобра» (см.: *Даль В.* Толковый словарь живого великого русского языка. М., 1978. Т. 1. Статья «Бобр»). Перовский, похоже, вынудил несчастного к нелепому заверению, что тот не закалывал свинью.

[5] *Авдул-визирь ~ Взяв апельсин...* — Цитата приведена по памяти с неточностями; полный текст амфигури см.: наст. изд., с. 328—329.

[6] *Он приносит их к Антонскому, тогдашнему ректору университета и председателю Общества любителей словесности...* — Вяземский не совсем точен: Антон Антонович Прокопович-Антонский (1762—1848) был не ректором университета, а директором Московского университетского пансиона (1791—1823); робкий по натуре, в своей педагогической деятельности Антонский энергично радел о добродетелях и нравственности юношества (см. о нем: *Сушков Н. В.* Московский университетский пансион и воспитанники Московского университета, гимназий его, университетского Благородного пансиона и Дружеского общества. М., 1858. С. 54—65; *Сакулин П. Н.* Из истории русского идеализма. Кн. В. Ф. Одоевский. Мыслитель. — Писатель. М., 1913. Т. 1, ч. 1. С. 13—19 и по указ.).

[7] *...и как Ментор ухаживал за своим злополучным Телемаком...* — Ментор — персонаж греческой мифологии — друг Одиссея, принявший на себя попечение о Телемахе, сыне Одиссея и Пенелопы, когда Одиссей отправился под Трою.

[8] *Кажется, этот мистификатор чуть не был ли сродни Перовскому.* — Вяземский имеет в виду А. К. Толстого.

А. Ф. Воейков

⟨ИЗ САТИРЫ «ДОМ СУМАСШЕДШИХ»⟩

Печатается по изданию: Поэты 1790—1810-х годов. Л., 1971. С. 800—801 (Б-ка поэта).

Согласно произведенной здесь Ю. М. Лотманом реконструкции текста строфы 34—36 вошли в третью редакцию сатиры; последняя публикуемая строфа — из других ее списков. На основании упоминающихся в строфах 34—36 реалий (см. ниже) они датируются 1825—1830 гг. (у Ю. М. Лотмана — 1826—1830 гг.).

Наличие нескольких вариантов сатирического «портрета» Перовского объясняется тем, что «Дом сумасшедших» — стихотворная «галерея» эпиграмм, не предназначавшихся к печати (время создания: 1814—1839 гг.), видоизменялась Воейковым в соответствии с «потребностями минуты», поэтому здесь отсутствует

понятие «окончательного текста». «Дом сумасшедших» был запрещен цензурой и при жизни Перовского распространялся только в списках (см.: *Лотман Ю. М.* Сатира Воейкова «Дом сумасшедших» //Труды по русской и славянской филологии. XXI. Литературоведение. Тарту, 1973. С. 3—45. (Учен. зап. ТГУ. Вып. 306)).

[1] *Вот на яицах наседкой ~ И медовый мак жует.* — Оба варианта строфы 34, скорее всего, были написаны сразу по выходе «Двойника...» в 1825 г., так как в них упоминаются его персонажи: обезьяна Туту из «Путешествия в дилижансе», черный кот из «Лафертовской маковницы» и кукла Аделина из «Пагубных последствий необузданного воображения».

[2] *Кто ж бы это был? — «Перовский!» ~ Из удела выгнал вон?* — Воейков имеет в виду братьев А. А. Перовского — В. А. Перовского, участника русско-турецкой войны 1828 г., раненного при Варне, и Л. А. Перовского, в 1828 г. занявшего пост вице-президента Департамента уделов и развившего энергичную деятельность по увольнению скомпрометировавших себя чиновников.

[3] *В круг ученых лезет он.* — В январе 1829 г. Перовский был избран членом Российской Академии наук.

[4] *На конюшне у Ш⟨ишко⟩ва / И у Ливена в хлеву.* — С 1825 по 1830 г. Перовский занимал должность попечителя Харьковского учебного округа, подчинявшегося министерству народного просвещения: в 1824—1828 гг. министром просвещения был А. С. Шишков, затем на этом посту его сменил К. А. Ливен.

[5] *Укусил его Ш⟨ихма⟩тов иль Ш⟨ишков⟩ поцеловал.* — Это резкий выпад Воейкова против шишковистов и «чугунного» цензурного устава, составленного в 1826 г. А. С. Шишковым и П. А. Ширинским-Шихматовым и поддержанного А. А. и В. А. Перовскими (см.: наст. изд., с. 608—609).

И. Н. Лобойко

ПЕРОВСКИЙ

Публикуется впервые.

Печатается по беловому автографу: РО ИРЛИ, ф. 154 (И. Н. Лобойко), ед. хр. 39, л. 94—98 авторской пагинации, без даты (архивная пагинация: л. 6—10; архивная датировка: 1840-е гг.); воспроизводится последний слой текста.

Известен также фрагмент чернового автографа (там же, л. 2—5 архивной пагинации).

Иван Николаевич Лобойко (?—1861) — уроженец Малороссии, окончил Харьковский университет. С 1821 г. — преподаватель русского и славянского языков и русской словесности в Виленском университете (с 1825 г. — профессор); с 1833 г. — профессор русского языка и в Виленской медико-хирургической академии. С 1816 г. — член Вольного общества любителей российской словесности. Выступал в печати как издатель «Собрания новых русских сочинений и переводов в прозе (1821—1825)» (СПб., 1825) и «Собрания российских стихо-

творений» (Вильна, 1827), а также как автор нескольких сочинений по истории Литвы и Польши.

Факты, описанные И. Н. Лобойко в комментируемой заметке, могут быть отнесены к периоду между 1818 г. (начало выхода журнала «Соревнователь просвещения и благотворения») и апрелем 1822 г. (до 5 апреля — даты кончины А. К. Разумовского).

[1] *...избран был в 1820 году в члены Общества любителей российской словесности...* — Имеется в виду Вольное общество любителей российской словесности. Это единственное свидетельство участия в нем Перовского: в официальных списках членов Общества он не значится (см.: *Базанов В.* Ученая республика. М.; Л., 1964. С. 442—447). В черновом автографе Лобойко называет иную дату принятия туда Перовского: 1818 г. (л. 2).

[2] *...дало повод собеседникам заговорить однажды о Кульмском сражении. ~ Я в корпусе графа Остермана-Толстого, при генерале Жомини, Булгарин ~ в корпусе Вандамма».* — Бой при деревне Кульм с французским корпусом под командованием генерала Доминика Жозефа Рене Вандама (Vandamme; 1770—1830) произошел 18 августа 1813 г. (см.: *Толь К. Ф.* Описание сражений при селе Кульме, происходивших августа 17 и 18 числ 1813 г. между союзными и французскими войсками, и происшествий, предшествовавших оным сражениям // Военный журнал. 1818. Кн. 1. С. 19—32). А. И. Остерман-Толстой (1770—1857) — генерал-адъютант; отличился при Бородине и Кульме. См. воспоминания о нем, в частности в сражении при Кульме, его адъютанта И. И. Лажечникова (*Лажечников И. И.* Несколько заметок и воспоминаний // РВ. 1864. № 6. С. 792—819). С 1817 г. числился в бессрочном отпуске, в Петербурге проживал в собственном доме (в 1-й Адмиралтейской части). Антуан Анри (Генрих Вениаминович) Жомини, барон (1779—1869) — генерал французской, а с 1813 г. русской службы, военный советник Александра I, виднейший военный теоретик и историк. В 1812—1813 гг. Булгарин в составе французской армии участвовал в Русском походе Наполеона; в 1813 г. — в чине капитана 7-го легиона улан.

[3] *П. И. Кеппен* — Петр Иванович Кеппен (1793—1864) — исследователь древней и новой истории, археолог, член Вольного общества любителей российской словесности с 1816 г.

[4] *Алексею Алексеевичу Перовскому в это время поручено было графом Алексеем Кирилловичем Разумовским ~ на Фонтанке, вблизи дома Державина.* — Дом А. К. Разумовского — с большим садом и просторным двором — просуществовал до начала XX в., когда на месте этого участка была проложена Бородинская улица и построены доходные дома: ныне № 86 и 88 — по набережной р. Фонтанки и № 31 и 33 — по Загородному проспекту — угловые здания, оформляющие начало и конец улицы (см.: *Руденская М., Руденская С.* «Наставникам... за благо воздадим». Л., 1986. С. 29). Разумовский приобрел его в 1810 г., после назначения на пост министра народного просвещения, связанного с необходимостью переезда в Петербург. По сведениям А. А. Васильчикова, дом был продан кн. А. Б. Куракину (см.: *Васильчиков А. А.* Семейство Разумовских. СПб., 1880. Т. 2. С. 66). В этом доме проходили вступительные экза-

мены в Царскосельский лицей (см.: Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина. 1799—1826. 2-е изд., испр. и доп. Л., 1991. С. 40). Дом Г. Р. Державина находится (по современному адресу) на набережной р. Фонтанки, 118.

5 *...захотел отпраздновать с друзьями-соревнователями...* — Имеются в виду участники ежемесячного журнала «Соревнователь просвещения и благотворения», издававшегося Вольным обществом любителей российской словесности (1818—1825).

6 *...Никитин, секретарь Общества...* — Андрей Афанасьевич Никитин (1790(1789?)—1859) — поэт, прозаик, литературный деятель; был близок к околодекабристским кругам и организациям. В 1816 г. стал одним из главных организаторов Общества, его секретарем и одной из наиболее заметных фигур в нем. Член масонской ложи «Избранного Михаила». См. о нем: *Базанов В.* Ученая республика (по указ.).

7 *...братья Боровковы...* — Александр Дмитриевич Боровков (1788—1856) — переводчик, мемуарист; один из учредителей и активных участников Общества, автор его устава; с 1818 г. — редактор «Соревнователя просвещения и благотворения»; член Союза благоденствия, член масонской ложи «Избранного Михаила»; после восстания декабристов — правитель Следственного комитета (см.: *Боровков А. Д.* Автобиографические записки // РС. 1898. Т. 95. № 10. С. 51—56). Иван Дмитриевич Боровков — также один из учредителей Общества и бессменный его казначей. См. о нем: *Базанов В.* Ученая республика (по указ.).

8 *...Анастасевич...* — Василий Григорьевич Анастасевич (1775—1845) — поэт, переводчик, журналист, библиограф.

9 *...И. А. Гарижский...* — Иван Андреевич Гарижский, действительный член Общества с 1816 г. См. о нем: *Базанов В.* Ученая республика (по указ.).

Г. Н. Геннади

⟨ИЗ «ЗАПИСНОЙ КНИГИ TUTTI FRUTTI № 1»⟩

Публикуется впервые.

Печатается по автографу: ОР РНБ, ф. 178 (Г. Н. Геннади), ед. хр. 7, л. 37—39 (в составе «Записной книги Tutti frutti № 1»).

Датируется 1845 г. на основании следующих соображений: записи, относящиеся к 1845 г., находятся на л. 1—90 книги (см. авторскую помету на л. 1: «Записная книга начата 1845 года генваря 1-го, понедельник» — и обозначение: «1846 г.» на л. 90); следующая за заметкой о Перовском запись от 27 апреля на л. 39 начинается словами: «Сегодня читал у Вольфа в кондитерской 3-й № Москвитянина за 1845».

Григорий Николаевич Геннади (1826—1880) — библиограф, автор «Справочного словаря о русских писателях и ученых, умерших в XVIII и XIX столетиях» (Берлин, 1876—1880. Т. 1—2), начал заниматься библиографией и вести свои «Записные книги», будучи студентом юридического факультета С.-Петер-

бургского университета (1844—1847). Сами неточности его заметки о Перовском, относящейся к этому времени, представляют известный интерес как отражение циркулировавших, очевидно, изустных сведений о писателе. Геннади и позже допустил неточность в библиографической заметке, вошедшей в его «Справочный словарь о русских писателях и ученых...», где Перовскому ошибочно приписана кроме должности попечителя Харьковского округа еще и должность попечителя Варшавского округа (см.: *Геннади Г.* Справочный словарь о русских писателях и ученых... Т. 3: Н—Р // Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете. М., 1907. Кн. 1. Разд. 2. С. 122).

1 *...(помню, что-то читал в «Репертуаре» или «Пантеоне»).* — Имеется в виду «Пантеон русского и всех европейских театров», выходивший в Петербурге в 1840—1841 гг. В 1842 г. он слился с журналом «Репертуар русского театра» (1839—1841) и стал называться «Репертуар русского и Пантеон всех европейских театров». Ни в одном из них произведения Перовского не печатались.

2 *...«Двойник» в 3 ч⟨астях⟩.* — «Двойник, или Мои вечера в Малороссии» вышел в 2-х частях, однако оговорка Геннади понятна: в конце «Двойника» значится: «Конец второй части» (а не «Конец», как в «Монастырке»), что могло означать наличие продолжения.

3 *«Чернушка»* — Т. е. «Черная курица».

4 *...зятю его А. Толстому (к⟨ото⟩рый издал «Упырь»).* — Имеется в виду повесть А. К. Толстого, племянника Перовского, изданная в 1841 г. (о первом ее замысле см. письмо ⟨16⟩ А. А. Перовского А. К. Толстому — наст. изд., с. 426).

5 *...от канцлера гр⟨афа⟩ Разумовского...* — Отец Перовских, Алексей Кириллович, канцлером не был.

6 *...и Перовской, жившей в разводе с мужем.* — Геннади неточен: в разводе с мужем, графом К. П. Толстым, была дочь А. К. Разумовского А. А. Толстая, урожд. Перовская.

7 *...Лев, теперь министр...* — Геннади ошибся: Л. А. Перовский был назначен министром уделов в 1852 г., — до этого он исполнял должность товарища министра уделов.

8 *...другой (кажется, Владимир) ~ и делал известный Хивинский поход.* — Василий (а не Владимир) Алексеевич Перовский, после Хивинского похода (1839), в 1842 г. по болезни был уволен от должности оренбургского военного губернатора и вторично занял ее в 1851 г. Звание генерал-адъютанта он сохранял до 1843 г., когда был произведен в генералы от кавалерии.

СОДЕРЖАНИЕ

СОЧИНЕНИЯ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА

СТИХОТВОРЕНИЯ

СТАТЬИ

ДОПОЛНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Научное издание

Антоний
Погорельский

СОЧИНЕНИЯ
ПИСЬМА

Утверждено к печати
Редакционной коллегией серии
«Литературные памятники»

Редактор издательства *Т. А. Лапицкая*
Художник *Е. В. Кудина*
Технический редактор *Е. Г. Коленова*
Корректоры *Н. И. Журавлева, Ф. Я. Петрова*
и *Е. В. Шестакова*
Компьютерная верстка *О. В. Никитиной*

Лицензия ИД № 02980 от 06 октября 2000 г.
Сдано в набор 07.08.08. Подписано к печати 29.03.10.
Формат 70 × 90 1/16. Бумага офсетная. Гарнитура Академия.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 56.7. Уч.-изд. л. 48.3. Тираж 1000 экз.
Тип. зак. № 4046. С 54

Санкт-Петербургская издательская фирма «Наука» РАН
199034, Санкт-Петербург, Менделеевская линия, 1
E-mail: main@nauka.nw.ru
Internet: www.naukaspb.spb.ru

Первая Академическая типография «Наука»
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗДАТЕЛЬСКАЯ
ФИРМА «НАУКА»

ГОТОВИТ К ВЫПУСКУ

СЛОВАРЬ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ XVIII ВЕКА

Выпуск 3

Р—Я

«Словарь русских писателей XVIII века» — первый в отечественной науке труд, представляющий собой свод биографий тех лиц, которые активно участвовали в литературном движении 1700—1800-х гг. В «Словарь» включены как биографии авторов, которые внесли заметный вклад в развитие русской литературы, так и статьи о менее значительных, забытых литераторах, рядовых деятелях русской культуры.

РУССКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ

АВТОБИОГРАФИИ И БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ В СОБРАНИИ ВЕНГЕРОВА

Аннотированный указатель

Том 2

Завершающий том коллекции автобиографий, которую 40 лет собирал известный литературовед С. А. Венгеров (1855—1920). О себе пишут люди, оставившие след в литературе, искусстве, науке, технике, политике, общественной жизни. Указатель служит путеводителем по этому уникальному документарию, сообщает научную информацию о степени содержательности каждого документа.

Для литературоведов, историков и всех интересующихся русской культурой.

Лукницкий П. Н.

ТРУДЫ И ДНИ Н. С. ГУМИЛЕВА

Книга представляет собой реконструкцию замысла выдающегося исследователя творчества Н. С. Гумилева, собирателя архива поэта П. Н. Лукницкого (1902—1973). Труд был выполнен лишь частично в виде кратких конспектов и планов всех его частей. Основой данной реконструкции явилось обширное собрание архивных материалов, хранящихся в Пушкинском Доме; также было предпринято специальное изучение жизни и творчества П. Н. Лукницкого; издание снабжено научным комментарием.